МОНТЕНЬ ❦ ОПЫТЫ

КНИГИ I-II

МИШЕЛЬ
МОНТЕНЬ

ОПЫТЫ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



MICHEL DE MONTAIGNE



LES ESSAIS

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ



ОПЫТЫ



В ТРЕХ КНИГАХ

КНИГИ
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

Издание подготовили
А. С. БОБОВИЧ, Ф. А. КОГАН-БЕРНШТЕЙН,
Н. Я. РЫКОВА, А. А. СМИРНОВ

Второе издание



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1979

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
СЕРИИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»

*М. П. Алексеев, Н. И. Балашов, Г. П. Бердников, Д. Д. Благой,
И. С. Брагинский, А. С. Бушмин, М. Л. Гаспаров, А. Л. Гришунин,
Л. А. Дмитриев, Н. Я. Дьяконова,
Б. Ф. Егоров (заместитель председателя), Д. С. Лихачев (председатель),
А. Д. Михайлов, Д. В. Ознобишин* (ученый секретарь), *Д. А. Ольдерогге,
Б. И. Пуришев, А. М. Самсонов (заместитель председателя),
М. И. Стеблин-Каменский, Г. В. Степанов, С. О. Шмидт*

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
Ю. Б. ВИППЕР

М $\frac{70304-293}{042(02)-79}$ 483—79. 4703000000

© Издательство «Наука», 1979 г.
Перевод

ОТ РЕДАКЦИИ

Полное издание трех книг знаменитых «Опытов» Монтеня в русском переводе впервые было осуществлено в 1954—1960 гг. В подготовке этого издания, вышедшего в серии «Литературные памятники», в том виде, какой оно приняло в 1960 г. (первая книга до этого выходила в свет в 1954 и 1958 гг., вторая в 1958 г.), участвовали следующие лица. Переводы были выполнены: первой книги — А. С. Бобовичем, второй — А. С. Бобовичем и Ф. А. Коган-Бернштейн, третьей — А. С. Бобовичем и Н. Я. Рыковой. Издание сопровождали две статьи Ф. А. Коган-Бернштейн: «Мишель Монтень и его «Опыты»» и «Философские воззрения Монтеня». Комментарии к первой книге составлены А. С. Бобовичем и Ф. А. Коган-Бернштейн, ко второй — Ф. А. Коган-Бернштейн, к третьей — А. С. Бобовичем и А. А. Смирновым. Это издание в чрезвычайно короткий срок разошлось. Вместе с тем творчество создателя бессмертных «Опытов» продолжает вызывать огромный интерес у советского читателя.

Произведение Монтеня, мастера психологического анализа, замечательного писателя, несет на себе проникнутый неотразимой притягательной силой отпечаток личности его автора. Эта книга, глубоко отразив исторический опыт своей эпохи, эпохи Возрождения, воплотив ее лучшие гуманистические устремления, стала неисчерпаемым кладезем жизненной мудрости и тончайших наблюдений над тайнами человеческой души. Она сохраняет непреходящее историческое, философское и эстетическое значение. Понятна поэтому насущная потребность в переиздании русского перевода «Опытов».

В основу данной публикации положено издание «Опытов», вышедшее в свет в 1960 г. Однако над ним была проведена большая дополнительная работа. Перевод «Опытов» был заново отредактирован Ю. Н. Стефановым. Им же при участии Р. М. Романовой были выверены комментарии. Русские переводы цитат из древнегреческих и латинских авторов были сличены с оригиналами и уточнены Ю. А. Шичалиным. Издание дополнено именным указателем, составленным Р. М. Романовой. Когда Ф. А. Коган-Бернштейн была уже серьезно больна, переработка статей, написанных ею, в соответствии с намеченным ранее планом, была, с согласия исследовательницы, доверена Ю. А. Гинзбург. Во избежание излишних повторений обе статьи Ф. А. Коган-Бернштейн были слиты в одну,

а текст их в этой связи отредактирован. Кроме того, Ю. А. Гинзбург пополнила статью ссылками на новейшую критическую литературу, посвященную «Опытам», а также написала самостоятельный раздел об эстетическом своеобразии произведения Монтеня и о его стиле. Она же добавила параграфы, в которых очерчивается место Монтеня в современной ему художественной прозе Франции и роль «Опытов» в последующем развитии французской литературы.

Издание 1954—1960 гг. выходило в свет под редакцией покойных С. Д. Сказкина и А. А. Смирнова. Общая редакция нового издания была осуществлена Ю. Б. Виппером.



«Монтень в воротничке».

Портрет работы неизвестного автора второй половины XVI в.

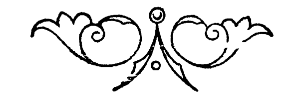
К ЧИТАТЕЛЮ

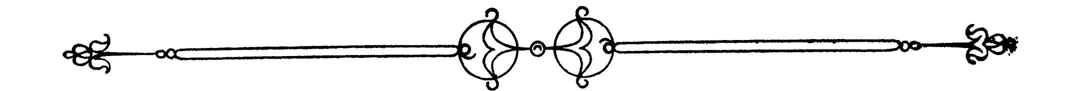
Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и, благодаря этому, восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо иного, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен, которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободою изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотою нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

Де Монтень

Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.

КНИГА ПЕРВАЯ





Глава I

РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОЖНО ДОСТИЧЬ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Если мы оскорбили кого-нибудь и он, собираясь отмстить нам, волен поступить с нами по своему усмотрению, то самый обычный способ смягчить его сердце — это растрогать его своею покорностью и вызвать в нем чувство жалости и сострадания. И, однако, отвага и твердость — средства прямо противоположные — оказывали порою то же самое действие.

Эдуард, принц Уэльский [1], тот самый, который столь долго держал в своей власти нашу Гиень [2], человек, чей характер и чья судьба отмечены многими чертами величия, будучи оскорблен лиможцами и захватив силой их город, оставался глух к воплям народа, женщин и детей, обреченных на бойню, моливших его о пощаде и валявшихся у него в ногах, пока, продвигаясь все глубже в город, он не наткнулся на трех французов-дворян, которые с невиданной храбростью, одни сдерживали натиск его победоносного войска. Изумление, вызванное в нем зрелищем столь исключительной доблести, и уважение к ней притупили острие его гнева и, начав с этих трех, он пощадил затем и остальных горожан.

Скандербег [3], властитель Эпира, погнался как-то за одним из своих солдат, чтобы убить его; тот, после тщетных попыток смягчить его гнев униженными мольбами о пощаде, решился в последний момент встретить его со шпагой в руке. Эта решимость солдата внезапно охладила ярость его начальника, который, увидев, что солдат ведет себя достойным уважения образом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие о поразительной физической силе и храбрости этого государя, могли бы истолковать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, герцога Баварского, не пожелал ни в чем пойти на уступки, хотя осажденные готовы были смириться с самыми позорными и унизительными условиями, и согласился только на то, чтобы дамам благородного звания, запертым в городе вместе с герцогом, позволено было выйти оттуда пешком, сохранив в неприкосновенности свою честь и унося на себе все, что они смогут взять. Они же, руководясь великодушным порывом, решили водрузить на свои плечи мужей, детей и самого герцога. Императора до такой степени восхитил их благородный и смелый поступок, что он заплакал от умиления; в нем погасло пламя непримиримой и смертельной вражды к побежденному герцогу, и с этой поры он стал человечнее относиться и к нему и к его подданным [4].

На меня одинаково легко могли бы воздействовать и первый и второй способы. Мне свойственна чрезвычайная склонность к милосердию и снисходительности. И эта склонность во мне настолько сильна, что меня, как кажется, скорее могло бы обезоружить сострадание, чем уважение. А между тем, для стоиков жалость есть чувство, достойное осуждения; они хотят, чтобы, помогая несчастным, мы в то же время не размягчались и не испытывали сострадания к ним.

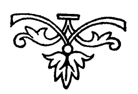
Итак, приведенные мною примеры кажутся мне весьма убедительными; ведь они показывают нам души, которые, испытав на себе воздействие обоих названных средств, остались неколебимыми перед первым из них и не устояли перед вторым. В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце состраданию свойственно людям снисходительным, благодушным и мягким, откуда проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и простолюдины. Напротив, оставаться равнодушным к слезам и мольбам и уступать единственно из благоговения перед святынею доблести есть проявление души сильной и непреклонной, обожающей мужественную твердость, а также упорной. Впрочем, на души менее благородные то же действие могут оказывать изумление и восхищение. Пример тому — фиванский народ, который, учинив суд над своими военачальниками и угрожая им смертью за то, что они продолжали выполнять свои обязанности по истечении предписанного и предуказанного им срока, с трудом оправдал Пелопида [5], согнувшегося под бременем обвинений и добивавшегося помилования лишь смиренными просьбами и мольбами; с другой стороны, когда дело дошло до Эпаминонда [6], красноречиво обрисовавшего свои многочисленные заслуги и с гордостью и высокомерным видом попрекавшего ими сограждан, у того же народа не хватило духа взяться за баллотировочные шары и, расходясь с собрания, люди всячески восхваляли величие его души и бесстрашие.

Дионисий Старший [7], взяв после продолжительных и напряженных усилий Регий [8] и захватив в нем вражеского военачальника Фитона, человека высокой доблести, упорно защищавшего город, пожелал показать на нем трагический пример мести. Сначала он рассказал ему, как за день до этого он велел утопить его сына и всех его родственников. На это Фитон ответил, что они, стало быть, обрели свое счастье на день раньше его. Затем Дионисий велел сорвать с него платье, отдать палачам и водить по городу, жестоко и позорно бичуя и, сверх того, понося гнусными и оскорбительными словами. Фитон, однако, стойко сохранял твердость и присутствие духа; идя с гордым и независимым видом, он напоминал громким голосом, что умирает за благородное и правое дело, за то, что не пожелал предать тирану родную страну, и грозил последнему близкой карой богов. Дионисий, прочитав в глазах своих воинов, что похвальба поверженного врага и его презрение к их вождю и его триумфу не только не возмущают их, но что, напротив, изумленные столь редким бесстрашием, они начинают проникаться сочувствием к пленнику, готовы поднять мятеж и даже вырвать его из рук стражи, велел прекратить это мучительство и тайком утопить его в море.

Изумительно суетное, поистине непостоянное и вечно колеблющееся существо — человек. Нелегко составить себе о нем устойчивое и единообразное представление. Вот перед нами Помпей, даровавший пощаду всему городу мамертинцев [9], на которых он перед тем был сильно разгневан, единственно из уважения к добродетелям и великодушию одного их согражданина — Зенона [10]; последний взял на себя бремя общей вины и просил только о единственной милости: чтобы наказание понес он один. С другой стороны, человек, который оказал Сулле гостеприимство, проявив подобную добродетель в Перузии [11], нисколько не помог этим ни себе ни другим.

А вот нечто совсем противоположное моим предыдущим примерам. Александр, превосходивший храбростью всех когда-либо живших на свете и обычно столь милостивый к побежденным врагам, завладев после величайших усилий городом Газой [12], наткнулся там на вражеского военачальника Бетиса, поразительное искусство и доблесть которого он имел возможность не раз испытать во время осады. Покинутый всеми, со сломанным мечом и разбитым щитом, весь израненный и истекающий кровью, Бетис один продолжал еще биться, окруженный толпой македонян, теснивших его. Александр, уязвленный тем, что победа досталась ему столь дорогою ценой,— ибо, помимо больших потерь в его войске, его самого только что дважды ранили,— крикнул ему: «Ты умрешь, Бетис, не так, как хотел бы. Знай: тебе придется претерпеть все виды мучений, какие можно придумать для пленника». Бетис не только сохранял полную невозмутимость, но больше того, с вызывающим и надменным видом молча внимал этим угрозам. Тогда Александр, выведенный из себя его гордым и упорным молчанием, продолжал: «Преклонил ли он колени, слетела ли с его уст хоть одна-единственная мольба? Но поверь мне, я преодолею твое безмолвие и, если я не могу исторгнуть из тебя слово, то исторгну хотя бы стоны». И распаляясь все больше и больше, он велел проколоть Бетису пятки и, привязав его к колеснице, волочить за нею живым, раздирая, таким образом, и уродуя его тело. Случилось ли это из-за того, что Александр утратил уважение к доблести, так как она была для него делом привычным и не вызывала в нем восхищения? Или, быть может, он настолько высоко ценил собственную, что не мог с высоты своего величия видеть в другом нечто подобное, не испытывая ревнивого чувства? Или же свойственная ему от природы безудержность гнева не могла стерпеть чьего-либо сопротивления? И, действительно, если бы она могла быть обуздана, она была бы обуздана, надо полагать, при взятии и разорении Фив [13], когда у него на глазах было самым безжалостным образом истреблено столько отважных людей, потерявших все и лишенных возможности защищаться. Ведь тогда по его приказу было убито добрых шесть тысяч, причем никого из них не видали бегущим или умоляющим о пощаде; напротив, всякий, бросаясь из стороны в сторону, искал случая столкнуться на улице с врагом-победителем, навлекая на себя таким путем почетную смерть. Не было никого, кто бы, даже изнемогая от ран, не пытался из последних сил отмстить за себя и во

всеоружии отчаянья найти утешение в том, что он продает свою жизнь ценою жизни кого-нибудь из неприятелей. Их доблесть, однако, не породила в нем никакого сочувствия, и не хватило целого дня, чтобы утолить его жажду мщения. Эта резня продолжалась до тех пор, пока не пролилась последняя капля крови; пощажены были лишь те, кто не брался за оружие, а именно: дети, старики, женщины, дабы доставить победителю тридцать тысяч рабов.



Глава II
О СКОРБИ

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть — чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу. Ведь это — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоики воспрещают мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу [1], царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стенали, сам он остался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь. Заметив, однако, одного из своих приближенных в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь [2].

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож [3]. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорою и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, что подало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать, почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. «Оттого,— сказал Псамменит,— что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения».

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца [4], который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея [5], потеряв сначала семерых сыновей, а затем столько же дочерей и не выдержав стольких утрат, в конце концов превратилась в скалу —

Diriguisse malis *.

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И, действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях,— а некоторое время спустя, разразившись, наконец, слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

Et via vix tandem voci laxata dolore est **.

Во время войны короля Фердинанда со вдовою венгерского короля Иоанна, в битве при Буде [8], немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменною храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав вместе с остальными, кто же все-таки этот всадник, он, после того как с убитого сняли доспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время, как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов [9], и он, оцепенев, не пал замертво наземь.

---

* Окаменела от горя [6] (*лат*).
** И с трудом, наконец, горе открыло путь голосу [7] (*лат.*).

Chi può dir com' egli arde, è in picciol fuoco *.

Говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

misero quod omnes
Eripit sensus mihi. Nam simul te,
Lesbia, aspexi, nihil est super mi
Quod loquar amens.
Lingua sed torpet, tenuis sub artus
Flamma dimanat, sonitu suopte
Tinniunt aures, gemina teguntur
Lumina nocte **.

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

Curae leves loquuntur, ingentes stupent ***.

Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

Ut me conspexit venientem, et Troia circum
Arma amens vidit, magnis exterrita monstris,
Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur ****.

Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах [14], кроме Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец, Тальвы [15], умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку: так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер [16]. И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суетности, укажем

---

* Кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем [10] (*ит.*).

** Увы мне, любовь лишила меня всех моих чувств. Стоит мне, Лесбия, увидеть тебя, как я, обезумев, уже не в силах что-либо произнести. У меня цепенеет язык, нежное пламя разливается по всему телу, звоном сами собой наполняются уши и тьмой заволакиваются глаза [11] (*лат.*).

*** Только малая печаль говорит, большая — безмолвна [12] (*лат.*).

**** Едва она заметила, что я подхожу, и увидела, в изумлении, вокруг меня троянских воинов,— устрашенная великим чудом, она обомлела; жизненный жар покинул ее кости; она падает и лишь спустя долгое время молвит [13] (*лат.*).

на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик [17] умер во время ученого спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же, благодаря постоянному размышлению, я с каждым днем все более черствею и закаляюсь.



Глава III

НАШИ ЧУВСТВА УСТРЕМЛЯЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ НАШЕГО «Я»

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять,— ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое,— затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет. Calamitosus est animus futuri anxius *.

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело и познай самого себя» [2]. Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себе и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что́ прежде всего он должен познать, что́ он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapientia semper eo contenta est quod adest, neque eam unquam sui poenitet **.

---

* Несчастна душа, исполненная забот о будущем [1] (*лат.*).

** И если глупость, даже достигнув того, чего она жаждала, все же никогда не считает, что приобрела достаточно, то мудрость всегда удовлетворена тем, что есть, и никогда не досадует на себя [3] (*лат.*).

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает обсуждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно обрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников: ведь и то и другое мы нередко ценим дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, что к его памяти относятся точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недостатки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия [4].

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того, как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скоморохом, возницею на ристалищах, я возненавидел тебя, ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния» [5]. Но кто же в здравом уме вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеймили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что, при всей безупречности принятого у лакедемонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак

скорби лицо и громко стенали и плакали, возглашая, что покойный — каков бы он ни был на деле — был лучшим из их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер, как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презренно? [6] Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать.

Quisquam
Vix radicitus e vita se tollit, et eiicit:
Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse...
Nec removet satis a proiecto corpore sese, et
Vindicat *.

Бертран Дю Геклен [8] умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано [9], начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио [10], однако, воспротивился этому: он предпочел пробиться открытою силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает,— сказал он,— чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, выказал после смерти страх перед ними».

Здесь будет кстати вспомнить о том, что, согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказывался тем самым от чести быть победителем и лишался, таким образом, права на то, чтобы воздвигнуть трофей [11]. Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий [12] не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай [13] закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простирать заботы о себе за преде-

---

* Вряд ли хоть кто-нибудь может с корнем изъять и вырвать себя из жизни. Сам того не сознавая, всякий предполагает, что от него должно нечто остаться, и он не может полностью отделить себя от простертого трупа и отрешиться от него [7] (*лат.*).

лы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости неба довольно часто следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности,— не говоря уже о примерах из нашего времени,— что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I [14], король английский, удостоверившись во время продолжительных войн своих с шотландским королем Робертом [15], насколько его присутствие способствовало успеху в делах,— ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа,— умирая, связал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот, после его кончины, выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению плоть; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами,— словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка [16], возмутивший Богемию ради поддержки заблуждений Уиклифа [17], высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сражаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Света берут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, дабы они служили им примером храбрости и залогом победы [18].

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда [19], который, почувствовав, что смертельно ранен выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать врагу спину, и продолжал биться, пока его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне царствующего короля Филиппа [20], был государем, наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесною красотою. Но наряду с этими качествами он обладал еще одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак: он не позволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближенному из своих слуг. Он всегда мочился в укромном месте и, будучи стыдлив, как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни

в чем стеснения, я, тем не менее, также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромных поступков и не обнажаю ни перед кем того, что по обычаю должно быть прикрыто. Я страдаю скорее застенчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что особо оговорил в своем завещании, чтобы ему после кончины надели подштанники, и добавил в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает с его трупом, завязали глаза. Если Кир[21] завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему, после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном верований; ведь и его историк и сам он, помимо прочих великих достоинств, отличались еще и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам.

Мне очень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемые каменною болезнью, он в последние часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, что они примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю, которого видел перед своей кончиной, чтобы тот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждавшими, что человек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался, по-видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля столь желанного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похорон. Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.

А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мне единокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, но проявлять при этом исключительную, совершенно не принятую в таких случаях, бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнюю волю Марка Эмилия Лепида[22], запретившего своим наследникам устраивать ему после смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность и воздержанность в том только и заключаются, чтобы избегать расточительности и излишества, когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие? Вот, действительно, легкий и недорогой способ самосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счет распоряжения, то,

полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон [23] поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляю обычаю установить распорядок похоронного обряда и охотно отдам свое мертвое тело на благоусмотрение тех,— кто бы это ни оказался,— кому придется взять на себя эту заботу: Totus hic locus est contemnendus in nobis, non negligendus in nostris *. И святая истина сказана одним из святых: Curatio funeris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, magis sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum **. Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновения его жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: «Как вам будет угодно». Если бы я простирал заботы о своем будущем столь далеко, я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить и дышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувства тем, что бесчувственно, кто умеет жить своей собственной смертью.

Я проникаюсь ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю о бесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравших у лакедемонян морское сражение при Аргинусских островах [26], самое значительное, самое ожесточенное среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а не задерживались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда я вспоминаю о Диомедоне, одном из осужденных на казнь, человеке замечательной воинской доблести и гражданских добродетелей. Выслушав обвинительный приговор, он вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервые позволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для самозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающей этих судей судьбе; он обратился к богам с мольбою не карать их за приговор и, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами, в ознаменование столь блистательного успеха, уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказав

* Мы должны относиться с презрением ко всем этим заботам, когда дело идет о нас, но не пренебрегать ими по отношению к нашим близким [24] (*лат.*).

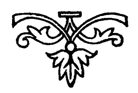
** Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — все это скорее утешение для живых, чем облегчение участи мертвых [25] (*лат.*).

больше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно, твердой походкой направился к месту казни. Через несколько лет, однако, судьба при сходных обстоятельствах отмстила афинянам. Хабрий, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, возглавлявшим морские силы спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, только из опасения, как бы не подвергнуться столь же печальной участи, какая постигла его предшественников. И, чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и невредимых врагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейший предрассудок.

Quaeris quo iaceas post obitum loco?
Quo non nata iacent *.

Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя:

Neque sepulcrum, quo recipiatur, habeat portum corporis.
Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat a malis **.



Глава IV

О ТОМ, ЧТО СТРАСТИ ДУШИ ИЗЛИВАЮТСЯ НА ВООБРАЖАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КОГДА ЕЙ НЕДОСТАЕТ НАСТОЯЩИХ

Один из наших дворян, которого мучали жесточайшие припадки подагры, когда врачи убеждали его отказаться от употребления в пищу кушаний из соленого мяса, имел обыкновение остроумно отвечать, что в разгар мучений и болей ему хочется иметь под рукой что-нибудь, на чем он мог бы сорвать свою злость, и что, ругая и проклиная то колбасу, то бычий язык или окорок, он испытывает от этого облегчение. Но, право же, подобно тому, как мы ощущаем досаду, если, подняв для удара руку, не поражаем предмета, в который метили, и наши усилия растрачены зря,

* Ты спрашиваешь, в каком месте будешь покоиться после смерти? Там, где покоятся еще не рожденные [27] (*лат.*).

** Пусть не найдет он могилы, которою был бы принят, пристанища для мертвого тела, где бы, когда жизнь человека кончилась, тело могло отдохнуть от невзгод [28] (*лат.*).

или, скажем, как для того, чтобы тот или иной пейзаж был приятен для взора, он не должен уходить до бесконечности вдаль, но нуждается на подобающем расстоянии в какой-нибудь границе, которая служила б ему опорою:

Ventus ut amittit vires, nisi robore densae
Occurrant silvae, spatio diffusus inani *,

так же, мне кажется, и душа, потрясенная и взволнованная, бесплодно погружается в самое себя, если не занять ее чем-то внешним; нужно беспрестанно доставлять ей предметы, которые могли бы стать целью ее стремлений и направлять ее деятельность. Плутарх говорит по поводу тех, кто испытывает чрезмерно нежные чувства к собачкам и обезьянкам, что заложенная в нас потребность любить, не находя естественного выхода, создает, лишь бы не прозябать в праздности, привязанности вымышленные и вздорные [2]. И мы видим, действительно, что душа, теснимая страстями, предпочитает обольщать себя вымыслом, создавая себе ложные и нелепые представления, в которые и сама порою не верит, чем оставаться в бездействии. Вот почему дикие звери, обезумев от ярости, набрасываются на оружие или на камень, которые ранили их, или, раздирая себя собственными зубами, пытаются выместить на себе мучающую их боль.

Pannonis haud aliter post ictum saevior ursa,
Cum iaculum parva Libys amentavit habena
Se rotat in vulnus, telumque irata receptum
Impetit, et secum fugientem circuit hastam **.

Каких только причин ни придумываем мы для объяснения тех несчастий, которые с нами случаются! За что ни хватаемся мы, с основанием или без всякого основания, лишь бы было к чему придраться! Не эти светлые кудри, которые ты рвешь на себе, и не белизна этой груди, которую ты, во власти отчаянья, бьешь так беспощадно, наслали смертоносный свинец на твоего любимого брата: ищи виновных не здесь. Ливий, рассказав о скорби римского войска в Испании по случаю гибели двух прославленных братьев [4], его полководцев, добавляет: Flere omnes repente et offensare capita ***. Таков общераспространенный обычай. И разве не остроумно сказал философ Бион о царе, который в отчаянии рвал на себе волосы: «Этот человек, кажется, думает, что плешь облегчит его скорбь» [6]. Кому из нас не случалось видеть, как жуют и глотают карты, как кусают игральную кость, чтобы выместить хоть на чем-нибудь свой проигрыш? Ксеркс велел высечь море — Геллеспонт [7] и наложить на него цепи, он обрушил на него поток брани и послал горе Афон вызов на

* И как ветер, рассеявшись в пустынном пространстве, теряет силу, если густые леса не встанут пред ним преградой [1] (*лат.*).
** Так паннонская медведица, рассвирепев от удара копьем, которое метнул в нее с помощью короткого ремня ливиец, изгибается к ране, в ярости стремится достать вонзившийся наконечник и мечется вокруг древка, убегающего вместе с нею [3] (*лат.*).
*** Все тотчас же принялись рыдать и бить себя по голове [5] (*лат.*).

поединок. Кир на несколько дней задержал целое войско, чтобы отомстить реке Гинд за страх, испытанный им при переправе через нее. Калигула[8] распорядился снести до основания прекрасный во всех отношениях дом из-за тех огорчений, которые претерпела в нем его мать.

В молодости я слышал о короле одной из соседних стран, который, получив от бога славную трепку, поклялся отмстить за нее; он приказал, чтобы десять лет сряду в его стране не молились богу, не вспоминали о нем и, пока этот король держит в своих руках власть, даже не верили в него. Этим рассказом подчеркивалась не столько вздорность, сколько бахвальство того народа, о котором шла речь: оба эти порока связаны неразрывными узами, но в подобных поступках проявляется, по правде говоря, больше заносчивости, нежели глупости.

Император Август[9], претерпев жестокую бурю на море, разгневался на бога Нептуна и, чтобы отмстить ему, приказал на время праздничных игр в цирке убрать его статую, стоявшую среди изображений прочих богов. В этом его можно извинить еще меньше, чем всех предыдущих, и все же этот поступок Августа более простителен, чем то, что случилось впоследствии. Когда до него дошла весть о поражении, понесенном его полководцем Квинтилием Варом в Германии, он стал биться в ярости и отчаянье головою о стену, без конца выкрикивая одно и то же: «О Вар, отдай мне мои легионы!»[10] Но наибольшее безумие — ведь тут примешивается еще и кощунство,— постигает тех, кто обращается непосредственно к богу или судьбе, словно она может услышать нашу словесную пальбу; они уподобляются в этом фракийцам, которые, когда сверкает молния или гремит гром, вступают в титаническую борьбу с небом, стремясь тучею стрел образумить разъяренного бога. Итак, как говорит древний поэт у Плутарха:

Когда ты в ярости судьбу ругаешь,
Ты этим только воздух сотрясаешь[11].

Впрочем, мы никогда не кончим, если захотим высказать все, что можно, в осуждение человеческой несдержанности.



Глава V

ВПРАВЕ ЛИ КОМЕНДАНТ ОСАЖДЕННОЙ КРЕПОСТИ ВЫХОДИТЬ ИЗ НЕЕ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ПРОТИВНИКОМ?

Луций Марций, римский легат, во время войны с Персеем, царем македонским, стремясь выиграть время, чтобы привести в боевую готовность свое войско, затеял переговоры о мире, и царь, обманутый ими, заключил перемирие на несколько дней, предоставив, таким образом, неприятелю возможность и время вооружиться и приготовиться, что и повело к окончательному разгрому Персея [1]. Но случилось так, что старцы-сенаторы, еще хранившие в памяти нравы своих отцов, осудили действия Марция как противоречащие древним установлениям, которые заключались, по их словам, в том, чтобы побеждать доблестью, а не хитростью, не засадами и не ночными схватками, не притворным бегством и неожиданным ударом по неприятелю, а также не начиная войны прежде ее объявления, но, напротив, зачастую оповещая заранее о часе и месте предстоящей битвы. Исходя из этого, они выдали Пирру его врача, задумавшего предать его, а фалискам — их злонамеренного учителя [2]. Это были правила подлинно римские, не имеющие ничего общего с греческой изворотливостью и пуническим вероломством, у каковых народов считалось, что меньше чести и славы в том, чтобы побеждать силою, а не хитростью и уловками. Обман, по мнению этих сенаторов, может увенчаться успехом в отдельных случаях, но побежденным считает себя лишь тот, кто уверен, что его одолели не хитростью и не благодаря случайным обстоятельствам, а воинской доблестью, в прямой схватке лицом к лицу на войне, которая протекала в соответствии с установленными законами и с соблюдением принятых правил. По речам этих славных людей ясно видно, что им еще не было известно нижеследующее премудрое изречение:

dolus an virtus quis in hoste requirat? *

Ахейцы, рассказывает Полибий, презирали обман и никогда не прибегали к нему на войне; они ценили победу только тогда, когда им удавалось сломить мужество и сопротивление неприятеля [4]. Eam vir sanctus et sapiens sciet veram esse victoriam, quae salva fide et integra dignitate parabitur **,— говорит другой римский автор.

Vos ne velit an me regnare hera quidve ferat fors
Virtute experiamur ***.

---

* Не все ли равно, хитростью или доблестью победил ты врага? [3] (*лат.*).

** Муж праведный и мудрый сочтет истинной только ту победу, которую доставит безупречная честность и незапятнанное достоинство [5] (*лат.*).

*** Испытаем же доблестью, вам или мне назначила властвовать всемогущая судьба, и что она несет [6] (*лат.*).

В царстве тернатском [7], именуемом нами с легкой душою варварским, общепринятые обычаи запрещают идти войною, не объявив ее предварительно и не сообщив врагу полного перечня всех сил и средств, которые будут применены в этой войне, а именно, сколько у тебя воинов, каково их снаряжение, а также оборонительное и наступательное оружие. Однако, если, невзирая на это, неприятель не уступает и не идет на мирное разрешение спора, они не останавливаются ни перед чем и полагают, что в этом случае никто не имеет права упрекать их в предательстве, вероломстве, хитрости и всем прочем, что могло бы послужить средством к обеспечению легкой победы.

Флорентийцы в былые времена были до такой степени далеки от желания получить перевес над врагом с помощью внезапного нападения, что за месяц вперед предупреждали о выступлении своего войска, звоня в большой колокол, который назывался у них Мартинелла.

Что касается нас, которые на этот счет гораздо менее щепетильны, нас, считающих, что, кто извлек из войны выгоду, тот достоин и славы, нас, повторяющих вслед за Лисандром, что, где недостает львиной шкуры, там нужно пришить клочок лисьей, то наши воззрения ни в какой степени не осуждают общепринятых способов внезапного нападения на врага. И нет часа, говорим мы, когда военачальнику полагается быть более начеку, чем в час ведения переговоров или заключения мира. Поэтому для всякого теперешнего воина непреложно правило, по которому комендант осажденной крепости не должен ни при каких обстоятельствах выходить из нее для переговоров с неприятелем. Во времена наших отцов в нарушении этого правила упрекали господ де Монмора и де Л'Ассиньи, защищавших Музон от графа Нассауского [8].

Но бывает и так, что нарушение этого правила имеет свое оправдание. Так, например, оно извинительно для того, кто выходит из крепости, обеспечив себе безопасность и преимущество, как это сделал граф Гвидо ди Рангоне (если прав Дю Белле, ибо, по словам Гвиччардини, это был не кто иной, как он сам) в городе Реджо [9], когда встретился с господином де Л'Экю для ведения переговоров. Он остановился на таком незначительном расстоянии от крепостных стен, что, когда во время переговоров вспыхнула ссора и противники взялись за оружие, господин де Л'Экю и прибывшие с ним не только оказались более слабою стороною,— ведь тогда-то и был убит Алессандро Тривульцио,— но и самому господину де Л'Экю пришлось, доверившись графу на слово, последовать за ним в крепость, чтобы укрыться от угрожавшей ему опасности.

Антигон, осадив Евмена в городе Нора [10], настойчиво предлагал ему выйти из крепости для ведения переговоров. В числе разных доводов в пользу своего предложения он привел также следующий: Эвмену, мол, надлежит предстать перед ним потому, что он, Антигон, более велик и могуществен, на что Евмен дал следующий достойный ответ: «Пока у меня в руках меч, нет человека, которого я мог бы признать выше себя». И он согласился на предложение Антигона не раньше, чем тот, уступив его требованиям, отдал ему в заложники своего племянника Птолемея.

Впрочем, попадаются и такие военачальники, которые имеют основание думать, что они поступили правильно, доверившись слову осаждающих и выйдя из крепости. В качестве примера можно привести историю Анри де Во, рыцаря из Шампани, осажденного англичанами в замке Коммерси. Бертелеми де Бонн, начальствовавший над осаждавшими, подвел подкоп под бо́льшую часть этого замка, так что оставалось только поднести огонь к запалу, чтобы похоронить осажденных под развалинами, после чего предложил вышеназванному Анри выйти из крепости и вступить с ним в переговоры, убеждая его, что это будет к его же благу, в доказательство чего и открыл ему свои козыри. После того как рыцарь Анри воочию убедился, что его ожидает неотвратимая гибель, он проникся чувством глубокой признательности к своему врагу и сдался со всеми своими солдатами на милость победителя. В подкопе был устроен взрыв, деревянные подпоры рухнули, замок был уничтожен до основания.

Я склонен оказывать доверие людям, но я обнаружил бы это пред всеми с большой неохотою, если бы мое поведение подавало кому-нибудь повод считать, что меня побуждают к нему отчаяние и малодушие, а не душевная прямота и вера в людскую честность.



Глава VI

ЧАС ПЕРЕГОВОРОВ — ОПАСНЫЙ ЧАС

Надо сказать, что не так давно я наблюдал в городе Мюссидане[1], находящемся по соседству со мной, как те, кто был выбит оттуда нашей армией, а также приверженцы их жаловались на предательство, ибо во время переговоров, условившись о перемирии, они подверглись внезапному нападению и были разбиты наголову. Подобная жалоба в другой век могла бы, пожалуй, вызвать сочувствие. Но, как я говорил выше, наши обычаи не имеют больше ничего общего с правилами былых времен. Вот почему не следует доверять друг другу, пока договор не скреплен последней печатью; да и при наличии этого, чего не случается!

Никогда, впрочем, нельзя с уверенностью рассчитывать, что победоносное войско станет соблюдать обязательства, которые дарованы победителем городу, сдавшемуся на сравнительно мягких и милостивых условиях и согласившемуся впустить еще разгоряченных боем солдат. Луций Эмилий Регилл, римский претор, потеряв время в бесплодных попытках захватить силою город фокейцев, ибо жители его защищались с поразительною отвагой, пошел, в конце концов, с ними на соглашение, по которому он принимал их под свою руку в качестве «друзей римского народа» и должен был вступить в их город, как в город союзников. Этим

он окончательно рассеял их опасения насчет возможности каких-либо враждебных действий со стороны победителей. Но, когда они вошли в город — ибо Эмилий, желая показать себя во всем блеске, ввел туда все свое войско,— усилия, которые он прилагал, чтобы держать их в узде, оказались напрасными, и значительная часть города была разгромлена у него на глазах: жажда пограбить и отмстить поборола в них уважение к его власти и привычку повиноваться.

Клеомен имел обыкновение говорить, что, каковы бы ни были злодеяния, совершаемые во время войны в отношении неприятеля, они выходят за пределы правосудия и не подчиняются его приговорам — за них не судят ни боги, ни люди. Договорившись с аргивянами о перемирии на семь дней, он напал на них уже в третью ночь, когда их лагерь был погружен в сон, и нанес им жесточайшее поражение, ссылаясь в дальнейшем на то, что в его договоре о перемирии ни словом не упоминается о ночах. Боги, однако, покарали его за это изощренное вероломство.

Жители города Казилина[2], беспечно полагаясь на свою безопасность, подверглись во время переговоров внезапному нападению, и это произошло в век наисправедливейших и благороднейших полководцев превосходного во всех отношениях римского войска. В самом деле, нигде ведь не сказано, что нам не дозволено в подобающем месте и в подобающий час воспользоваться глупостью неприятеля, подобно тому, как мы извлекаем для себя выгоду из его трусости. Война, естественно, имеет множество привилегий, которые в условиях военных действий совершенно разумны, вопреки нашему разуму; здесь не соблюдают правила: neminem id agere, ut ex alterius praedetur inscitia *.

Меня поражает, однако, та безграничность, какую допускает в отношении отмеченных привилегий такой автор, как Ксенофонт, о чем свидетельствуют и речи и деяния его якобы совершенного самодержца; а ведь в подобных вопросах это — писатель, обладающий исключительным весом, ибо он — прославленный полководец и философ из числа ближайших учеников Сократа. Далеко не всегда и не во всем я могу согласиться с его чрезмерно широкими, по-моему, взглядами на этот предмет[4].

Господин д'Обиньи, обложив осадою Капую, подверг ее жесточайшей бомбардировке, после чего сеньор Фабрицио Колонна, комендант города, стоя на стене бастиона, начал переговоры о сдаче, и, так как его солдаты утратили бдительность, наши ворвались в крепость и не оставили в ней камня на камне[5]. А вот еще более свежий в нашей памяти случай. Сеньор Джулиано Роммеро допустил в Ивуа[6] большой промах: он вышел из крепости для ведѐния переговоров с коннетаблем — и что же? — возвращаясь назад, обнаружил, что она захвачена неприятелем. Я расскажу еще об одном событии, дабы показать, что порою и мы оставались в накладе: маркиз Пескарский осаждал Геную, где начальствовал покровительствуемый нами герцог Оттавиано Фрегозо; переговоры между обоими военачальниками шли настолько успешно, что соглашение между ними

---

* Никто не должен извлекать выгоду из неразумия другого[3] (*лат.*).

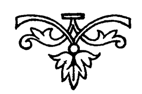
считалось уже делом решенным. Однако в момент их завершения испанцы проникли в город и стали распоряжаться в нем, словно и в самом деле одержали решительную победу [7]. И впоследствии также город Линьи в Барруа, где начальствовал граф де Бриенн, а осадою руководил сам император, был захвачен в то самое время, когда уполномоченный вышеназванного графа — Бертейль, выйдя за пределы крепостных стен ради переговоров, вел их с представителями противника [8].

Fu il vincer sempre mai laudabil cosa,
Vincasi o per fortuna o per ingegno,— *

так, по крайней мере, принято говорить. Впрочем, философ Хрисипп [10] не разделял этого мнения, и я также далек от того, чтобы признать его до конца справедливым. Он говорил, что соревнующиеся в беге должны приложить все свои силы, чтобы опередить остальных; но при этом им никоим образом не разрешается хватать рукою соперника, тем самым задерживая его, или подставлять ему ногу, чтобы он упал.

И еще благороднее ответ великого Александра Полисперхонту, который советовал воспользоваться ночной темнотой для неожиданного нападения на войска Дария. «Не в моих правилах,— сказал Александр,— одерживать уворованную победу» — Malo me fortunae poeniteat, quam victoriae pudeat **.

Atque idem fugientem haud est dignatus Orodem
Sternere, nec iacta caecum dare cuspide vulnus;
Obvius, adversoque occurrit, seque viro vir
Contulit, haud furto melior, sed fortibus armis ***.



Глава VII

О ТОМ, ЧТО НАШИ НАМЕРЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СУДЬЯМИ НАШИХ ПОСТУПКОВ

Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, что эти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключил соглашение с доном Филиппом, сыном императора Максимилиана,

* Победа всегда заслуживает похвалы, все равно, достигнута ли она случайно или благодаря искусству [9] (*ит.*).

** Я предпочитаю сетовать на свою судьбу, чем стыдиться победы [11] (*лат.*).

*** Тот же [Мезенций] не счел достойным сразить убегающего Орода и, метнув копье, нанести ему удар в спину; он мчится навстречу и, оказавшись перед ним, сходится с ним, как муж с мужем, превосходя не с помощью уловки, а смелостью в бою [12] (*лат.*).

или — чтобы придать его имени еще бо́льший блеск — отцом императора Карла V, в том, что вышеупомянутый Филипп передаст в его руки герцога Саффолка, его врага из партии Белой Розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище в Нидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизнь этого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своему сыну в оставленном им завещании немедленно после его кончины умертвить герцога Саффолка[1]. Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена нам герцогом Альбой и героями которой были несчастные графы Горн и Эгмонт, заключает в себе много такого, что заслуживает внимания[2]. Так, например, граф Эгмонт, уговоривший своего товарища графа Горна отдаться в руки герцогу Альбе и уверивший его в безопасности этого шага, настойчиво домогался умереть первым; он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которым он связал себя по отношению к графу Горну. Но ясно, что в первом из рассказанных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как во втором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его на себя и не умирал. Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вне нашей власти, то распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей: она-то и является неизбежно единственной основой и мерилом человеческого долга. Вот почему граф Эгмонт, и душою и разумом сохранявший верность данному им обещанию, хотя не имел никакой возможности его исполнить, без сомнения был бы освобожден от своего обязательства, если бы даже и пережил графа Горна. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего свое слово, никоим образом не может найти себе оправдание в том, что он отложил казнь герцога до своей смерти; равным образом, нет оправдания и тому каменщику у Геродота, который, соблюдая с безупречною честностью в течение всей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, своего владыки, умирая, открыл ее своим детям[3].

Я видел на своем веку немало таких людей, которые, хотя совесть и уличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легко мирились с этим, рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своей кончины, путем завещания. Такой образ действий ни в коем случае нельзя оправдать: плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, что они желают возместить причиненный ими убыток ценою столь малых усилий и столь мало поступаясь своей выгодой. Право, им надлежало бы поделиться тем, что им взаправду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем больше трудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бы такое возмещение и тем больше было бы им заслуги. Раскаяние требует жертв.

Еще хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу к кому-нибудь из своих ближних, выражая ее лишь в последнем изъявлении своей воли. Возбуждая в обиженном неприязнь к их памяти, они показывают тем самым, что мало пекутся о своей чести и еще меньше о совести, ибо не хотят угасить в себе злобного чувства хотя бы из ува-

жения к смерти и оставляют его жить после себя. Они подобны тем неправедным судьям, которые без конца откладывают свой приговор и выносят его лишь тогда, когда ими уже утрачено всякое представление о сути самого дела.

Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь.



Глава VIII

О ПРАЗДНОСТИ

Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячами видов сорных и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях, необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определенными семенами; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенные груды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое потомство, их необходимо снабдить семенем со стороны,— так же и с нашим умом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения:

Sicut aquae tremulum labris ubi lumen ahenis
Sole repercussum, aut radiantis imagine lunae
Omnia pervolitat late loca, iamque sub auras
Erigitur, summique ferit laquearia tecti *.

И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождал бы наш ум, пребывая в таком возбуждении,

velut aegri somnia, vanae
Finguntur species **.

Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель, ибо, как говорится, кто везде, тот нигде:

Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat ***.

Уединившись с недавнего времени у себя дома [4], я проникся намерением

* Подобно тому, как трепещущая поверхность воды в медном сосуде, отражая солнце или сияющий лик луны, посылает отблеск, который порхает повсюду, поднимается ввысь и касается резьбы на высоком потолке [1] (*лат.*).
** Подобные сновиденьям больного, создаются бессмысленные образы [2] (*лат.*).
*** Кто всюду живет, Максим, тот нигде не живет [3] (*лат.*).

не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить[4]. Мне показалось, что для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что

variam semper dant otia mentem *

и что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задает себе во сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И, действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится.



Глава IX

О ЛЖЕЦАХ

Нет человека, которому пристало бы меньше моего затевать разговоры о памяти. Ведь я не нахожу в себе ни малейших следов ее и не думаю, чтобы во всем мире существовала другая память столь же чудовищно немощная. Все остальные мои способности незначительны и вполне заурядны. Но в отношении этой я представляю собой нечто совсем исключительное и редкостное и потому заслуживаю, пожалуй, известности и громкого имени.

Не говоря уже о понятных каждому неудобствах, которые я претерпеваю от этого — ведь, принимая во внимание насущную необходимость памяти, Платон с достаточным основанием назвал ее великою и могущественною богинею[1],— в моих краях, если хотят сказать о том или ином человеке, что он совершенно лишен ума, то говорят, что он лишен памяти, и всякий раз, как я принимаюсь сетовать на недостаток своей, меня начинают журить и разуверять, как если бы я утверждал, что безумен. Люди не видят различия между памятью и способностью мыслить, и это значительно ухудшает мое положение. Но они несправедливы ко мне, ибо на опыте установлено, что превосходная память весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями. Они несправедливы еще и в

* Праздность порождает в душе неуверенность[5] (*лат.*).

другом отношении: ничто не удается мне так хорошо, как быть верным другом, а между тем, на моем наречии неблагодарность обозначается тем же словом, которым именуют также мою болезнь. О силе моей привязанности судят по моей памяти; природный недостаток перерастает, таким образом, в нравственный. «Он забыл,— говорят в этих случаях,— исполнить такую-то мою просьбу и такое-то свое обещание. Он забывает своих друзей. Он не вспомнил, что из любви ко мне ему следовало сказать или сделать то-то и то-то и, напротив, умолчать о том-то и том-то». Я, и в самом деле, могу легко позабыть то-то и то-то, но сознательно пренебречь поручением, данным мне моим другом,— нет, такого со мной не бывает. Пусть они удовольствуются моею бедой и не превращают ее в своего рода коварство, которому так враждебна моя натура.

Кое в чем я все же вижу для себя утешение. Во-первых, в этом своем недостатке я нахожу существенную опору, борясь с другим, еще худшим, который легко мог бы развиться во мне, а именно с честолюбием, ибо последнее является непосильным бременем для того, кто устранился от жизни большого света. Далее, как подсказывают многочисленные примеры подобного рода из жизни природы, она щедро укрепила во мне другие способности в той же мере, в какой обездолила в отношении вышеназванной. В самом деле, ведь я мог бы усыпить и обессилить мой ум и мою проницательность, идя проторенными путями, как это делает целый мир, не упражняя и не совершенствуя своих собственных сил, если бы, облагодетельствованный хорошею памятью, имел всегда перед собою чужие мнения и измышления чужого ума. Кроме того, я немногословен в беседе, ибо память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел. Наконец, если бы память была у меня хорошая, я оглушал бы своей болтовнею друзей, так как припоминаемые мною предметы пробуждали бы заложенную во мне способность, худо ли хорошо ли, владеть и распоряжаться ими, поощряя, тем самым, и воспламеняя мои разглагольствования. А это — сущее бедствие. Я испытал его лично на деле, в общении с иными из числа моих близких друзей; по мере того, как память воскрешает перед ними события или вещи со всеми подробностями и во всей их наглядности, они до такой степени замедляют ход своего рассказа, настолько загромождают его никому не нужными мелочами, что, если рассказ сам по себе хорош, они обязательно убьют его прелесть, если же плох, то вам только и остается, что проклинать либо выпавшее на их долю счастье, то есть хорошую память, либо, напротив, несчастье, то есть неумение мыслить. Право же, если кто разойдется, тому нелегко завершить свои разглагольствования или оборвать их на полуслове. А ведь нет лучшего способа узнать силу коня, как испытать его уменье останавливаться сразу и плавно. Но даже среди дельных людей мне известны такие, которые хотят, да не могут остановить свой разгон. И, силясь отыскать точку, где бы задержать, наконец, свой шаг, они продолжают тащиться, болтая и ковыляя, точно люди, изнемогающие от усталости. Особенно опасны тут старики, которые сохраняют память о былых делах, но не помнят о том, что уже много раз повторяли свои повествования. И я не раз наблюдал, как весьма

занимательные рассказы становились в устах какого-нибудь почтенного старца на редкость скучными; ведь каждый из слушателей насладился ими, по крайней мере, добрую сотню раз. Во-вторых, я нахожу для себя утешение также и в том, что моя скверная память хранит в себе меньше воспоминаний об испытанных мною обидах; как говаривал один древний писатель [2], мне нужно было бы составить их список и хранить его при себе, следуя в этом примеру Дария, который, дабы не забывать оскорблений, нанесенных ему афинянами, велел своему слуге трижды возглашать всякий раз, как он будет садиться за стол: «Царь, помни об афинянах». Далее: местности, где я уже побывал прежде, или прочитанные ранее книги всегда радуют меня свежестью новизны.

Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. Мне хорошо известно, что грамматики устанавливают различие между выражениями: «говорить ложно» и «лгать». Они разъясняют, что «говорить ложно» это значит — говорить вещи, которые не соответствуют истине, но, тем не менее, воспринимаются говорящим как истинные, а также, что слово «лгать» по-латыни — а от латинского слова произошло и наше французское — означает почти то же самое, что «идти против собственной совести» [3]. Здесь, во всяком случае, я веду речь лишь о тех, которые говорят одно, а про себя знают другое. А это либо те, чьи слова, так сказать, чистейший вымысел, либо те, кто лишь отчасти скрывает и искажает истину. Но, слегка скрывая и искажая ее, они рано или поздно, если наводить их снова и снова на один и тот же сюжет, сами изобличат себя во лжи, так как немыслимо, чтобы в их воображении не возникало всякий раз то представление о вещи, как она есть, которое первым отложилось в их памяти и затем прочно запечатлелось в ней, закрепившись в процессе познания, а затем и знания ее свойств; а это первоначальное представление понемногу вытесняет из памяти вымысел, который не может обладать такой же устойчивостью и прочностью, поскольку обстоятельства первого ознакомления с вещью, всплывая всякий раз снова в нашем уме, заслоняют воспоминание о привнесенном извне, ложном и извращенном. В тех же случаях, когда все сказанное людьми — сплошной вымысел и у них самих нет противоречащих этому вымыслу впечатлений, они, очевидно, имеют меньше оснований опасаться промаха. Однако и тут, раз их вымысел — призрак, нечто неуловимое, он так и стремится ускользнуть из их памяти, если она недостаточно цепкая.

Я частенько наблюдал подобные промахи, и, что всего забавнее, они приключались именно с теми, кто, можно сказать, сделал своею профессией строить свою речь так, чтобы она помогала в делах, а также была бы приятна влиятельным лицам, к которым обращена. Но раз обстоятельства, которым они готовы подчинить душу и совесть, подвержены бесчисленным изменениям, то и им приходится бесконечно разнообразить свои слова. А это приводит к тому, что ту же самую вещь они принуждены называть то серой, то желтой, и перед одним из своих собеседников утверждать одно, а перед другим — совершенно другое. Если те при случае сопоставят столь несходные между собой суждения, то во что превращается велико-

лепное искусство этих говорунов? А кроме того, и они сами, забывая об осторожности, изобличают себя во лжи, ибо какая же память способна вместить такое количество вымышленных, несхожих друг с другом образов одного и того же предмета? Я встречал многих моих современников, завидовавших славе, которою пользуются обладатели этой блистательной разновидности благоразумия. Они не замечают, однако, того, что слава славою, а толку от нее — никакого.

И, действительно, лживость — гнуснейший порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с бо́льшим основанием, чем иное преступление. Я нахожу, что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что; что их карают за проступки, совершенные по неведению и неразумию и не влекущие за собой никаких последствий. Одна только лживость и, пожалуй, в несколько меньшей мере, упрямство кажутся мне теми из детских пороков, с зарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться. Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь лжи, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде! От этого и проистекает, что мы встречаем людей, в других отношениях вполне честных и добропорядочных, но покоренных и порабощенных этим пороком. У меня есть портной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотя бы словечка правды, и притом даже тогда, когда она могла бы доставить ему только выгоду.

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов.

Пифагорейцы считают, что благо определенно и ограниченно, тогда как зло неопределенно и неограниченно. Тысячи путей уводят от цели, и лишь один-единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже ради предотвращения грозящей мне величайшей беды я мог бы заставить себя воспользоваться явной и беззастенчивой ложью.

Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществе знакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам не знаком: Ut externus alieno non sit hominis vice *. Но насколько же лживый язык, как средство общения, хуже молчания!

Король Франциск I хвалился, как ловко он обвел вокруг пальца посла миланского герцога Франческо Сфорца — Франческо Таверну, человека весьма прославленного в искусстве заговаривать зубы своему собеседнику. Тот был послан ко двору нашего короля, чтобы принести его величеству извинения своего государя в связи с одним весьма важным, излагаемым ниже делом. Король, которого незадолго до того вытеснили из Италии и даже из Миланской области, желая располагать сведениями обо всем, что

* Так что чужеземец для человека иного племени не является человеком [4] (*лат.*).

там происходит, придумал держать при особе миланского герцога одного дворянина, в действительности своего посла, но проживавшего под видом частного человека, приехавшего туда якобы по своим личным делам. И это было тем более необходимо, что герцог, завися больше от императора, чем от нас, а в то время особенно, так как сватался за его племянницу, дочь короля Дании, ныне вдовствующую герцогиню лотарингскую, не мог, не причиняя себе большого ущерба, открыто поддерживать с нами сношения и вступать в какие-либо переговоры. Лицом, подходящим для поддержания связи между обоими государями, и оказался некто Мервейль, королевский конюший и миланский дворянин [5]. Этот последний, снабженный тайными верительными грамотами и инструкциями, которые вручаются обычно послам, а также, для отвода глаз и соблюдения тайны, рекомендательными письмами к герцогу, относившимися к личным делам этого дворянина, провел при миланском дворе столь долгое время, что вызвал неудовольствие императора, каковое обстоятельство, как мы предполагаем, и явилось истинною причиной всего происшедшего дальше. А случилось вот что: воспользовавшись как предлогом каким-то убийством, герцог приказал в два дня закончить судебное разбирательство и повелел в одну прекрасную ночь отрубить голову названному Мервейлю. И так как король, требуя удовлетворения, обратился по поводу этого дела с посланием ко всем христианским государям, в том числе и к самому миланскому герцогу, мессер Франческо, посол последнего, заготовил пространное и лживое изложение этой истории, которое и представил королю во время утреннего приема.

В нем он утверждал, стремясь обелить своего господина, что тот никогда не считал Мервейля не кем иным, как частным лицом, миланским дворянином и своим подданным, прибывшим в Милан ради собственных дел и пребывавшим там исключительно в этих целях; далее, он решительно отрицал, будто герцогу было известно о том, что Мервейль состоял на службе у короля Франциска и даже что этот последний знал его лично, вследствие чего у герцога не было решительно никаких оснований смотреть на Мервейля, как на посла короля Франциска. Король, однако, тесня его, в свою очередь, различными вопросами и возражениями, подкапываясь под него различными способами и прижав, наконец, к стене, потребовал у посла объяснения, почему же, в таком случае, казнь была произведена ночью и как бы тайком. На этот последний вопрос бедняга, запутавшись окончательно и стремясь соблюсти учтивость, ответил, что герцог, глубоко почитая его величество, был бы весьма опечален, если бы подобная казнь была совершена днем. Нетрудно представить себе, что, допустив такой грубый промах, к тому же перед человеком с таким тонким нюхом, как король Франциск I, он был тут же пойман с поличным [6].

Папа Юлий II направил в свое время посла к английскому королю с поручением восстановить его против вышеназванного французского короля. После того, как посол изложил все, что было ему поручено, английский король [7], отвечая ему, заговорил о трудностях, с которыми, по его мнению, сопряжена подготовка к войне со столь могущественной державой, как Франция, и привел в подкрепление своих слов несколько соображений.

Посол весьма некстати заметил на это, что и он подумал обо всем этом и даже сообщил о своих сомнениях папе. Эти слова, очень плохо согласовавшиеся с целями посольства, состоявшими в том, чтобы побудить английского короля немедленно же начать войну, вызвали у этого последнего подозрение, впоследствии подтвердившееся на деле, что посол в душе был на стороне Франции. Он сообщил об этом папе; имущество посла было конфисковано, и сам он едва не поплатился жизнью.



Глава X

О РЕЧИ ЖИВОЙ И О РЕЧИ МЕДЛИТЕЛЬНОЙ

Не всем таланты все дарованы бывают [1]

Это относится, как мы можем убедиться, и к красноречию; одним свойственна легкость и живость в речах, и они, как говорится, за словом в карман не полезут, во всеоружии всегда и везде, тогда как другие, более тяжелые на подъем, напротив, не вымолвят ни единого слова, не обдумав предварительно своей речи и основательно не поработав над нею. И подобно тому, как дамам советуют иногда, в каких играх и телесных упражнениях им лучше участвовать, чтобы выставить напоказ все, что в них есть самого привлекательного [2], так и я на вопрос, какой из этих двух видов красноречия, которым в наше время пользуются преимущественно проповедники и адвокаты, под стать первым и какой — вторым, я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, адвокатом. Ведь обязанности первого предоставляют ему сколько угодно досуга для подготовки, а кроме того, его деятельность постоянно протекает в одном направлении, спокойно и ровно, в то время как обстоятельства, в которых живет и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку, причем неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла и ему тут же на месте приходится изыскивать новые приемы защиты.

Между тем, при свидании папы Климента с королем Франциском, происходившем в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуайе [3], человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся и высоко там ценимый, получив поручение произнести приветственную речь папе, имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нею и, как говорят, привез ее из Парижа в совершенно готовом виде

Но в тот самый день, когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы в приветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задеть находившихся при нем послов других государей, уведомил короля о желательном и, по его мнению, соответствующем месту и времени содержании речи. К несчастью, однако, это было совсем не то, над чем трудился господин Пуайе, так что подготовленная им речь оказалась ненужною, и ему надлежало в кратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособным к выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу Дю Белле [4].

Труд адвоката сложнее труда проповедника, и все же мы встречаем, по-моему, больше сносных адвокатов, чем проповедников. Так, по крайней мере, обстоит дело во Франции.

Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму — основательность и медлительность. Но как тот, кто, не располагая досугом для подготовки, остается немым, так и тот, кто говорит одинаково хорошо, независимо от того, располагал ли он перед этим досугом, представляют собою крайности. О Севере Кассии [5] рассказывают, что он говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи и что своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказывают также, что ему шло на пользу, если его раздражали во время произнесения речи, и что противники остерегались задевать его за живое, опасаясь, как бы гнев не удвоил его красноречия [6]. Я знаю, по личному опыту, людей с таким складом характера, с которым несовместима кропотливая и напряженная подготовка. Если у таких людей мысль в том или ином случае не течет легко и свободно, она становится не способною к чему-либо путному. Мы говорим об иных сочинениях, что от них несет маслом и лампой, так как огромный труд, который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости и неуклюжести. К тому же стремление сделать как можно лучше и напряженность души, чрезмерно скованной и поглощенной своим делом, искажают ее творение, калечат, душат его, вроде того, как это происходит иногда с водой, которая, будучи сжата и стеснена своим собственным напором и изобилием, не находит для себя выхода из открытого, но слишком узкого для нее отверстия.

У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногда так: им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как, например, ярость Кассия,— такое волнение было бы для них слишком грубым; их натура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении — в каких-либо особых впечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного склада, предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Легкое волнение придает ему жизнь и пробуждает талант.

Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. Случай имеет надо мной бóльшую власть, чем я сам. Обстоятельства, общество, в котором я нахожусь, наконец, звучание моего голоса извлекают из моего ума больше, чем я мог бы обнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребу себе самому.

Мои речи, вследствие этого, сто́ят больше, чем мои писания, если вообще допустимо выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности.

Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу, и, вообще, я чаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощи самоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкое и остроумное (я очень хорошо понимаю, что для другого может быть плохо то, что́ для меня очень хорошо; оставим ложную скромность: каждый старается в меру своих способностей). И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает, что я уже больше не знаю, что́ я хотел сказать; и случается, что сторонний человек понимает меня лучше, чем я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякий раз, когда в этом является надобность [7], от меня бы ровно ничего не осталось. Но может настать такой час, когда забытое мною озарится светом более ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моей теперешней растерянности.



Глава XI

О ПРЕДСКАЗАНИЯХ

Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться еще задолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пытался установить причины постигшего их упадка: Cur isto modo iam oracula Delphis non eduntur non modo nostra aetate sed iamdiu ut modo nihil possit esse contemptius? * Но что касается других предсказаний: по костям и внутренностям приносимых в жертву животных, у которых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мере приспособлено к этому [2], по тому, как роются в земле куры, по полету различных птиц, aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus **, по молнии, по извилинам рек, multa cernunt aruspices, multa augures provident, multa oraculis declarantur, multa vaticinationibus, multa somniis, multa portentis *** и иным приметам, на которых древние по большей части основывали свои начинания, как государственные, так и частные, то наша религия упразднила их. Но все же и у нас сохраняются кое-какие

* В чем же причина того, что не только в наше время, но и давно уже из Дельф не исходят больше подобные прорицания, так что ничем не пренебрегают в такой степени, как ими? [1] (*лат.*).

** Мы считаем, что некоторые птицы предназначены для гадания [3] (*лат.*).

*** Многое видят гаруспики, многое предвидят авгуры, многое возвещается оракулами, многое пророчествами, многое снами, многое знамениями [4] (*лат.*).

способы заглядывать в будущее: при помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и еще многого другого, что служит ясным свидетельством неудержимого любопытства нашей души, жаждущей заглянуть в будущее, точно ей не хватает забот в настоящем:

cur hanc tibi rector Olympi
Sollicitis visum mortalibus addere curam,
Noscant venturas ut dira per omina clades,
Sit subitum quodcunque paras, sit caeca futuri
Mens hominum fati, liceat sperare timenti *.

Ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Miserum est enim nihil proficientem angi **, и это, действительно, так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами.

Вот почему случившееся с Франческо, маркизом Салуцким, показалось мне весьма примечательным. Командуя той армией короля Франциска, что находилась по ту сторону гор, бесконечно обласканный нашим двором, обязанный королю своим титулом и своими владениями, конфискованными у его брата и отданными маркизу, не имея, наконец, ни малейшего повода к измене своему государю, тем более, что душа его противилась этому, он позволил запугать себя (как было выяснено впоследствии) предсказаниями об успехах, ожидающих в будущем императора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепых предсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получили настолько широкое распространение, что, вследствие слухов о грозящем нам якобы разгроме, в Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставя огромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своим приближенным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, над французской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов, он поднял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшим несчастьем, каково бы ни было расположение звезд. Но он вел себя при этом как человек, раздираемый противоположными побуждениями, ибо, имея в своих руках различные города и военную славу, находясь всего в двух шагах от неприятельских войск под начальством Антонио де Лейва [7], он мог бы, пользуясь нашим неведением о задуманной им измене, причинить значительно больше вреда. Ведь его предательство не стоило ни одной жизни, ни одного города, кроме Фоссано [8], да и то после долгой борьбы за него.

Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa nocte premit deus,

* ...к чему тебе, правитель Олимпа, угодно было прибавлять к мучениям смертных еще и эту заботу? К чему тебе, чтобы они через грозные предсказания знали о грядущих своих несчастьях? Пусть будет внезапным все, что ты готовишь, пусть ум у людей не видит того, на что они обречены в будущем; позволь надеяться объятому страхом [5] (*лат.*).

** Да и нет пользы знать, что случится. Ведь терзаться, не будучи в силах чем-либо помочь,— жалкая доля [6] (*лат.*).

Ridetque si mortalis ultra
Fas trepidat.
. . . .
Ille potens sui
Laetusque deget, cui licet in diem
Dixisse: Vixi. Cras vel atra
Nube polum pater occupato
Vel sole puro *.

Laetus in praesens animus, quod ultra est,
Oderit curare **.

Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами: Ista sic reciprocantur, ut et, si divinatio sit, dii sint; et, si dii sint, sit divinatio ***. Гораздо разумнее говорит Пакувий:

Nam istis qui linguam avium intelligunt,
Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo,
Magis audiendum quam auscultandum censeo ****.

Столь прославленное искусство тосканцев [13] угадывать будущее возникло следующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большой пласт земли, увидел, как из-под него вышел Тагет, полубог с лицом ребенка и мудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по части гаданий собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли [14]. Дальнейшее развитие этого искусства сто́ит его возникновения.

Что до меня, то я предпочел бы руководствоваться в своих делах скорее счетом очков брошенных мною игральных костей, чем подобными бреднями.

И действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданном фантазией Платона, он предоставляет жребию решать многие важные вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия; этому случайному выбору он придает настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит изгнанию на чужбину. Впрочем,

---

* Бог разумно скрывает во мраке ночи грядущее; и ему смешно, если смертный трепещет больше, чем подобает. Тот независим и счастлив, кто может сказать о сегодняшнем дне: «Пережит. Завтра пусть отец занимает свод хоть черною тучей, хоть ясным солнцем» [9] (*лат.*).

** Душа, довольная настоящим, не станет думать о будущем [10] (*лат.*).

*** Такова взаимосвязь: раз существует гадание, значит должны быть и боги; а раз существуют боги, значит должно быть и гадание [11] (*лат.*).

**** Что до тех, кто разумеет язык птиц и знает лучше чужую печень, нежели собственную, то полагаю, что скорее должно им внимать, чем их слушаться [12] (*лат.*).

если кто-нибудь из изгнанников, выросши, обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращен на родину; равным образом, кто из оставленных на родине, достигнув юношеского возраста, не оправдает надежд, тот может быть, в свою очередь, изгнан в чужие края.

Я знаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи [15], ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Но поскольку в таких альманахах можно найти все, что угодно, в них, очевидно, наряду с ложью должна содержаться и доля правды. Quis est enim qui totum diem iaculans non aliquando conlineet? * Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу порою их правоту. Уж лучше бы они всегда лгали: тогда люди знали бы, что́ о них думать. Добавим, что никто не ведет счета их промахам, как бы часты и обычны они ни были; что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то им придают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутся нам чем-то непостижимым и изумительным. Вот как Диагор, по прозвищу Атеист, находясь в Самофракии, ответил тому, кто, показав ему в храме многочисленные дарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении, обратился к нему с вопросом: «Ну вот, ты, который считаешь, что богам глубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасенных их милосердием?» «Пусть так,— ответил Диагор.— Но ведь тут нет изображений утонувших, а их несравненно больше». Цицерон говорит, что между всеми философами, разделявшими веру в богов, один Ксенофан Колофонский пытался бороться с предсказателями разного рода [17]. Тем менее удивительно, что иные из наших властителей, как мы видим, все еще придают значение подобной нелепости, и нередко себе во вред.

Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгу Иоахима, аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап, их имена и их облик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров и патриархов [18]. Но собственными глазами я видел лишь вот что: во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать в небесных знамениях причину и предвестие обрушившихся на них несчастий. И так как мои современники обнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришел к убеждению, что, поскольку для умов острых и праздных это занятие не что иное, как развлечение, всякий, кто склонен к такого рода умствованиям, кто умеет повернуть их то в ту, то в другую сторону, может отыскать в любых писаниях все, чего бы он ни искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей — это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, в которые авторы этих книг не вложили определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, чего бы ни пожелало.

---

* Найдется ли такой человек, который, бросая дротик целый день напролет, не попадет хоть разок в цель? [16] (*лат.*).

«Демон» Сократа[19] был, по-видимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие побуждения. Нередко я и сам их испытывал; они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают от какой-либо вещи,— последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим побуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного внушения.



Глава XII
О СТОЙКОСТИ

Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно, и опасаться, как бы они не постигли его. Напротив, все средства — при условии, что они не бесчестны,— способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мы нуждаемся в ней, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средств бороться. Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар.

Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, и они оборачивались к нему спиною с большей опасностью для него, чем если бы стояли к нему лицом.

Турки и сейчас еще знают толк в этом деле.

Сократ — у Платона — потешается над Лахесом, определявшим храбрость следующим образом: «Неколебимо стоять в строю перед лицом врага».— «Как! — восклицает Сократ.— Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая пред ним?» И в подкрепление своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энея за уменье искусно применять бегство. А после того как Лахет, подумав, должен был признать, что таков

действительно обычай у скифов, да и вообще у всех конных воинов, Сократ привел ему в пример еще пехотинцев-лакедемонян, народ, столь привыкший стойко сражаться в пешем строю: в битве при Платеях, после безуспешных попыток прорвать фалангу персов, они решили рассыпаться и податься назад, чтобы, создав, таким образом, видимость бегства, разорвать и рассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаря этой хитрости они добились победы [1].

Относительно скифов рассказывают, будто Дарий во время похода, предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя с жестокими упреками за то, что он непрерывно отступает пред ним и уклоняется от открытого боя. На что Индатирс [2] — таково было имя царя — ответил, что отступает не из страха пред ним, ибо вообще не боится никого на свете, но потому, что таков обычай скифов на войне; ведь у них нет ни возделываемых полей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг ими не поживился. Однако, добавил он, если Дарию так уж не терпится сойтись с противником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятся могилы предков Индатирса: там он найдет, с кем померяться силами.

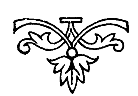
И все же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случается на войне, считается позорным бояться ядер, поскольку принято думать, что от них все равно не спастись вследствие их стремительности и мощи. И не раз бывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонял голову, вызывал, по меньшей мере, хохот товарищей.

Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императора Карла V против нас. Маркиз дель Гуасто, отправившись на разведку к городу Арлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившей приблизиться к городу, был замечен господами де Бонневалем и сенешалем Аженуа, которые прохаживались в амфитеатре арльского цирка. Последние указали на маркиза дель Гуасто господину де Вилье, начальнику артиллерии, и тот так метко навел кулеврину [3], что если бы названный выше маркиз, заметив, что по нем открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то, наверно, получил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло за несколько лет перед тем и с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, матери нашего короля [4], во время осады Мондольфо, крепости в Италии, расположенной в области, называемой Викариатом [5]: увидев, что уже поднесли фитиль к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросился на землю, нырнув, можно сказать, словно утка. Ибо иначе ядро, которое пронеслось почти над его головой, угодило бы, без сомнения, ему прямо в живот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились нами обдуманно, ибо, как можно составить себе суждение, высок ли прицел или низок, когда все совершается с такою внезапностью? И гораздо вернее будет предположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба и что, действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехом угодить под ядро, как и избегнуть его попадания.

Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи; мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее меня. Даже стоикам, и тем ясно, что душа мудреца, как они себе его представляют, неспособна устоять перед внезапно обрушившимися на нее впечатлениями и образами и что этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти: лишь бы мысль сохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум, оставаясь непоколебимым и верным себе, не поддался чувству страха или страдания. С теми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, если иметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если — вторую. Ибо у людей обычного склада действие страстей не остается поверхностным, но проникает в глубины их разума, заражая и отравляя его. Такой человек мыслит под прямым воздействием страстей и как бы повинуясь им. Вот вам полное и верное изображение душевного состояния мудреца-стоика:

Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes *.

Мудрец, в понимании перипатетиков, не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.



Глава XIII

ЦЕРЕМОНИАЛ ПРИ ВСТРЕЧЕ ЦАРСТВУЮЩИХ ОСОБ

Нет предмета, сколь бы ничтожен он ни был, который оказался бы неуместным среди этой моей причудливой смеси. Согласно принятым у нас правилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а тем более к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, если он предуведомил нас о своем прибытии. Больше того, королева Наваррская Маргарита[1] добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливо выйти из дому, как это часто случается, навстречу тому, кто должен его посетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее и учтивее ожидать его у себя, хотя бы из опасения

* Дух непоколебим· понапрасну катятся слезы[6] (*лат.*).

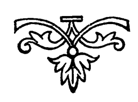
разминуться с ним в пути, и что в таких случаях достаточно проводить его в предназначенные ему покои.

Что до меня, то я частенько забываю как о той, так и о другой из этих пустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякие церемонии. Есть люди, которые иногда на это обижаются. Но что поделаешь! Лучше обидеть кого-нибудь один-единственный раз, чем постоянно терпеть самому обиду: это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственной берлоге?

А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякого рода: оно гласит, что нижестоящим подобает являться первыми, тогда как лицам более видным приличествует, чтобы их дожидались. Однако же перед встречею папы Климента с королем Франциском, имевшею произойти в Марселе, король, отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставив папе в течение двух или трех дней устраиваться и отдыхать, и лишь после этого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот же папа и император назначили встречу в Болонье, император предоставил папе возможность прибыть туда первым, сам же приехал несколько позже. При свиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие, следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагается быть в назначенном месте прежде других и даже прежде того государя, в чьих владениях происходит встреча; считают, что эта уловка применяется ради того, чтобы таким способом создать видимость, будто низшие разыскивают высшего и домогаются встречи с ним, а не наоборот.

Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждого сословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошо воспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобы знать законы нашей французской учтивости; больше того, я в состоянии преподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно, чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся нам стеснительными, и если мы забываем их предумышленно, а не по невоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередко встречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, что они были чересчур учтивы, и несносны вследствие того, что были чересчур вежливы.

А впрочем, уменье держать себя с людьми — вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на примере других и, вместе с тем, подавать пример и выказывать себя с хорошей стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих.



Глава XIV

О ТОМ, ЧТО НАШЕ ВОСПРИЯТИЕ БЛАГА И ЗЛА В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ МЫ ИМЕЕМ О НИХ

Людей, как гласит одно древнегреческое изречение, мучают не самые вещи, а представления, которые они создали себе о них [1]. И если бы кто-нибудь мог установить, что это справедливо всегда и везде, он сделал бы чрезвычайно много для облегчения нашей жалкой человеческой участи. Ведь если страдания и впрямь порождаются в нас нашим рассудком, то, казалось бы, в нашей власти либо вовсе пренебречь ими, либо обратить их во благо. Если вещи отдают себя в наше распоряжение, то почему бы не подчинить их себе до конца и не приспособить к нашей собственной выгоде? И если то, что мы называем злом и мучением, не есть само по себе ни зло, ни мучение, и только наше воображение наделяет его подобными качествами, то не кто иной, как мы сами, можем изменить их на другие. Располагая свободой выбора, не испытывая никакого давления со стороны, мы, тем не менее, проявляем необычайное безумие, отдавая предпочтение самой тягостной для нас доле и наделяя болезни, нищету и позор горьким и отвратительным привкусом, тогда как могли бы сделать этот привкус приятным; ведь судьба поставляет нам только сырой материал, и нам самим предоставляется придать ему форму. Итак, давайте посмотрим, можно ли доказать, что то, что мы зовем злом, не является само по себе таковым, или, по крайней мере, чем бы оно ни являлось,— что от нас самих зависит придать ему другой привкус и другой облик, ибо все, в конце концов, сводится к этому.

Если бы подлинная сущность того, перед чем мы трепещем, располагала сама по себе способностью внедряться в наше сознание, то она внедрялась бы в сознание всех равным и тождественным образом, ибо все люди — одной породы и все они снабжены в большей или меньшей степени одинаковыми способностями и средствами познания и суждения. Однако различие в представлениях об одних и тех же вещах, которое наблюдается между нами, доказывает с очевидностью, что эти представления складываются у нас не иначе, как в соответствии с нашими склонностями; кто-нибудь, быть может, и воспринимает их по счастливой случайности в согласии с их подлинной сущностью, но тысяча прочих видит в них совершенно иную, непохожую сущность.

Мы смотрим на смерть, нищету и страдание, как на наших злейших врагов. Но кто же не знает, что та самая смерть, которую одни зовут ужаснейшею из всех ужасных вещей, для других — единственное прибежище от тревог здешней жизни, высшее благо, источник нашей свободы, полное и окончательное освобождение от всех бедствий? И в то время, как одни в страхе и трепете ожидают ее приближения, другие видят в ней больше радости, нежели в жизни.

Есть даже такие, которые сожалеют о ее доступности для каждого:

Mors utinam pavidos vita subducere nolles,
Sed virtus te sola daret *.

Но не будем вспоминать людей прославленной доблести, вроде Теодора, который сказал Лисимаху, угрожавшему, что убьет его: «Ты свершишь в таком случае подвиг, посильный и шпанской мушке!» [3] Большинство философов сами себе предписали смерть или, содействуя ей, ускорили ее.

А сколько мы знаем людей из народа, которые перед лицом смерти, и притом не простой и легкой, но сопряженной с тяжким позором, а иногда и с ужаснейшими мучениями, сохраняли такое присутствие духа,— кто из упрямства, а кто и по простоте душевной,— что в них не замечалось никакой перемены по сравнению с обычным их состоянием. Они отдавали распоряжения относительно своих домашних дел, прощались с друзьями, пели, обращались с назидательными и иного рода речами к народу, примешивая к ним иногда даже шутки, и, совсем как Сократ, пили за здоровье своих друзей. Один из них, когда его вели на виселицу, заявил, что не следует идти этой улицей, так как он может встретиться с лавочником, который схватит его за шиворот: за ним есть старый должок. Другой просил палача не прикасаться к его шее, чтобы он не затрясся от смеха, до такой степени он боится щекотки. Третий ответил духовнику, который сулил ему, что уже вечером он разделит трапезу с нашим Спасителем: «В таком случае, отправляйтесь-ка туда сами; что до меня, то я нынче пощусь». Четвертый пожелал пить и, так как палач пригубил первым, сказал, что после него ни за что не станет пить, так как боится заболеть дурною болезнью. Кто не слышал рассказа об одном пикардийце? Когда он уже стоял у подножия виселицы, к нему подвели публичную женщину и пообещали, что если он согласится жениться на ней, то ему будет дарована жизнь (ведь наше правосудие порою идет на это); взглянув на нее и заметив, что она припадает на одну ногу, он крикнул: «Валяй, надевай петлю! Она колченогая». Существует рассказ в таком же роде об одном датчанине, которому должны были отрубить голову. Стоя уже на помосте, он отказался от помилования на сходных условиях лишь потому, что у женщины, которую ему предложили в жены, были ввалившиеся щеки и чересчур острый нос. Один слуга из Тулузы, обвиненный в ереси, в доказательство правильности своей веры мог сослаться только на то, что такова вера его господина, молодого студента, заключенного вместе с ним в темницу; он пошел на смерть, так и не позволив себе усомниться в правоте своего господина. Мы знаем из книг, что когда Людовик XI захватил город Аррас, среди его жителей оказалось немало таких, которые предпочли быть повешенными, лишь бы не прокричать: «Да здравствует король!».

В царстве Нарсингском [4] жены жрецов и посейчас еще погребаются

---

* О если бы, смерть, ты не отнимала жизни у трусов, о если бы одна доблесть дарила тебя! [2] (*лат.*).

заживо вместе со своими умершими мужьями. Всех прочих женщин сжигают живыми на похоронах их мужей, и они умирают не только с поразительной стойкостью, но, как говорят, даже с радостью. А когда предается сожжению тело их скончавшегося государя, все его жены, наложницы, любимцы и должностные лица всякого звания, а также слуги, образовав большую толпу, с такой охотой собираются у костра, чтобы броситься в него и сгореть вместе со своим властелином, что, надо полагать, у них почитается великою честью сопутствовать ему в смерти.

А что сказать об этих низких душонках — шутах? Среди них попадаются порой и такие, которые не хотят расставаться с привычным для них балагурством даже перед лицом самой смерти. Один из них, когда палач, вешая его, уже вышиб из-под него подставку, крикнул: «Эх, где наша не пропадала!», что было его излюбленной прибауткой. Другой, лежа на соломенном тюфяке у самого очага и находясь при последнем издыхании, ответил врачу, спросившему, где именно он чувствует боль: «между постелью и очагом». А когда пришел священник и, желая совершить над ним обряд соборования, стал нащупывать его ступни, которые он от боли подобрал под себя, он сказал: «Вы найдете их на концах моих ног». Тому, кто убеждал его вручить себя нашему господу, он задал вопрос: «А кто же меня доставит к нему?» и, когда услышал в ответ: «Быть может, вы сами, если будет на то его божья воля», то сказал: «Но ведь я буду у него, пожалуй, лишь завтра вечером».— «Вы только вручите себя его воле,— заметил на это его собеседник,— и вы окажетесь там очень скоро».— «В таком случае,— заявил умирающий,— уж лучше я сам себя и вручу ему» [5].

Во время наших последних войн за Милан, когда он столько раз переходил из рук в руки, народ, истомленный столь частыми превратностями судьбы, настолько проникся жаждою смерти, что, по словам моего отца, он видел там список, в котором насчитывалось не менее двадцати пяти взрослых мужчин, отцов семейств, покончивших самоубийством в течение одной только недели [6]. Нечто подобное наблюдалось и при осаде Брутом города Ксанфа [7]; его жителей — мужчин, женщин, детей — охватило столь страстное желание умереть, что люди, стремясь избавиться от грозящей им смерти, не прилагают к этому столько усилий, сколько приложили они, чтобы избавиться от ненавистной им жизни; и Бруту с трудом удалось спасти лишь ничтожное их число.

Всякое убеждение может быть достаточно сильным, чтобы заставить людей отстаивать его даже ценой жизни. Первый пункт той прекрасной и возвышенной клятвы, которую принесла и сдержала Греция во время греко-персидских войн, гласил, что каждый скорее сменит жизнь на смерть, чем законы своей страны на персидские [8]. А сколь многие во время греко-турецких войн предпочитали умереть мучительной смертью, лишь бы не осквернить обрезания и не подвергнуться обряду крещения! И нет религии, которая не могла бы побудить к чему-либо подобному.

После того как кастильские короли изгнали из своего государства евреев, король португальский Иоанн [9] предоставил им в своих владениях

убежище, взыскав по восемь экю с души и поставив условием, чтобы к определенному сроку они покинули пределы его королевства; он обещал для этой цели снарядить корабли, которые должны будут перевезти их в Африку. В назначенный день, по истечении коего все не подчинившиеся указу, согласно сделанному им предупреждению, обращались в рабов, им были предоставлены весьма скудно снаряженные корабли. Те, кто взошел на них, подверглись жестокому и грубому обращению со стороны судовых команд, которые, не говоря уже о других издевательствах, возили их по морю взад и вперед, пока изгнанники не съели всех взятых с собою припасов и не оказались вынуждены покупать их у моряков по таким баснословным ценам, что к тому времени, когда, наконец, их высадили на берег, они были обобраны до нитки.

Когда известие об этом бесчеловечном обращении распространилось среди оставшихся в Португалии, большинство предпочло стать рабами, а некоторые притворно выразили готовность переменить веру. Король Мануэль, наследовавший Иоанну, сначала возвратил им свободу, но затем, изменив свое решение, установил новый срок, по истечении коего им надлежало покинуть страну, для чего были выделены три гавани, где им предстояло погрузиться на суда. Он рассчитывал, как говорит в своей превосходно написанной на латыни книге историк нашего времени епископ Озорио [10], что если блага свободы, которую он им даровал, не могли склонить их к христианству, то к этому их принудит страх подвергнуться, подобно ранее уехавшим соплеменникам, грабежу со стороны моряков, а также нежелание покинуть страну, где они привыкли располагать большими богатствами, и отправиться в чужие, неведомые края. Но убедившись, что надежды его были напрасны и что евреи, несмотря ни на что, решили уехать, он отказался предоставить им две гавани из числа первоначально назначенных трех, рассчитывая, что продолжительность и трудности переезда отпугнут некоторых из них, или имея в виду собрать их всех в одно место, дабы с бо́льшим удобством исполнить задуманное. А задумал он вот что: он повелел вырвать из рук матерей и отцов всех детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, чтобы отправить их в такое место, где бы они не могли ни видеться, ни общаться с родителями, и там воспитать их в нашей религии. Говорят, что это приказание явилось причиной ужасного зрелища. Естественная любовь родителей к детям и этих последних к родителям, равно как и рвение к древней вере не могли примириться с этим жестоким приказом. Здесь можно было увидеть, как родители кончали с собой; можно было увидеть и еще более ужасные сцены, когда они, движимые любовью и состраданием к своим маленьким детям, бросали их в колодцы, чтобы хоть этим путем избежать исполнения над ними закона. Пропустив назначенный для них срок из-за нехватки кораблей, они снова были обращены в рабство. Некоторые из них стали христианами, однако и теперь, по прошествии целых ста лет, мало кто в Португалии верит в искренность их обращения или приверженность христианскому исповеданию их потомства, хотя привычка и время действуют гораздо сильнее, чем принуждение [11]. Quoties non modo ductores

nostri,— говорит Цицерон,— sed universi etiam exercitus ad non dubiam mortem concurrerunt *.

Мне привелось наблюдать одного из моих ближайших друзей, который всей душой стремился к смерти: это была настоящая страсть, укоренившаяся в нем и подкрепляемая рассуждениями и доводами всякого рода, страсть, от которой я не в силах был его отвратить; и при первой же возможности покончить с собой при почетных для него обстоятельствах он, без всяких видимых оснований, устремился навстречу смерти, влекомый мучительной и жгучей жаждой ее.

Мы располагаем примерами подобного рода и для нашего времени, вплоть до детей, которые из боязни какой-нибудь ничтожной неприятности накладывали на себя руки. «Чего только мы ни страшимся,— говорит по этому поводу один древний писатель [13],— если страшимся даже того, что трусость избрала своим прибежищем?» Если бы я стал перечислять всех лиц мужского и женского пола, принадлежавших к различным сословиям, исповедовавших самую различную веру, которые даже в былые, более счастливые времена с душевной твердостью ждали наступления смерти, больше того, сами искали ее, одни — чтобы избавиться от невзгод земного существования, другие — просто от пресыщения жизнью, третьи — в чаянии лучшего существования в ином мире,— я никогда бы не кончил. Число их столь велико, что поистине мне легче было бы перечесть тех, кто страшился смерти.

Только вот еще что. Однажды во время сильной бури философ Пиррон [14], желая ободрить некоторых из своих спутников, которые, как он видел, боялись больше других, указал им на находившегося вместе с ними на корабле борова, не обращавшего ни малейшего внимания на непогоду. Так что же, решимся ли мы утверждать, что преимущества, доставляемые нашим разумом, которым мы так гордимся и благодаря которому являемся господами и повелителями прочих тварей земных, даны нам на наше мучение? К чему нам познание вещей, если из-за него мы теряем спокойствие и безмятежность, которыми в противном случае обладали бы, и оказываемся в худшем положении, чем боров Пиррона? Не употребим ли мы во вред себе способность разумения, дарованную нам ради нашего вящего блага, если будем применять ее наперекор целям природы и общему порядку вещей, предписывающему, чтобы каждый использовал свои силы и возможности на пользу себе?

Мне скажут пожалуй: «Ваши соображения справедливы, пока речь идет о смерти. Но что скажете вы о нищете? Что скажете вы о страдании, на которое Аристипп [15], Иероним и большинство мудрецов смотрели как на самое ужасное из несчастий? И разве отвергавшие его на словах не признавали его на деле?» Помпей, придя навестить Посидония [16] и застав его терзаемым тяжкой и мучительной болезнью, принес свои извинения в том, что выбрал столь неподходящее время, чтобы послушать его философские рассуждения. «Да не допустят боги,— ответил ему По-

* Сколько раз не только наши вожди, но и целые армии устремлялись навстречу неминуемой смерти [12] (*лат.*).

сидоний,— чтобы боль возымела надо мной столько власти и могла воспрепятствовать мне рассуждать и говорить об этом предмете». И он сразу же пустился в рассуждения о презрении к боли. Между тем она делала свое дело и ни на мгновение не оставляла его, так что он, наконец, воскликнул: «Сколько бы ты, боль, ни старалась, твои усилия тщетны; я все равно не назову тебя злом». Этот рассказ, которому придают столько значения, свидетельствует ли он в действительности о презрении к боли? Здесь идет речь лишь о борьбе со словами. Ведь если бы страдания не беспокоили Посидония, с чего бы ему прерывать свои рассуждения? И почему придавал он такую важность тому, что отказывал боли в наименовании ее злом?

Здесь не все зависит от воображения. Если в иных случаях мы и следуем произволу наших суждений, то тут есть некая достоверность, которая сама за себя говорит. Судьями в этом являются наши чувства:

Qui nisi sunt veri, ratio quoque falsa sit omnis *.

Можем ли мы заставить нашу кожу поверить, что удары бича лишь щекочут ее? Или убедить наши органы вкуса, что настойка алоэ — это белое вино? Боров Пиррона — еще одно доказательство в нашу пользу. Он не знает страха перед смертью, но, если его начнут колотить, он станет визжать и почувствует боль. Можем ли мы побороть общий закон природы, согласно которому все живущее на земле боится боли? Деревья — и те как будто издают стоны, когда им наносят увечья. Что касается смерти, то ощущать ее мы не можем; мы постигаем ее только рассудком, ибо от жизни она отделена не более, чем мгновением:

Aut fuit, aut veniet, nihil est praesentis in illa,
Morsque minus poenae quam mora mortis habet **.

Тысячи животных, тысячи людей умирают прежде, чем успевают почувствовать приближение смерти. И действительно, когда мы говорим, что страшимся смерти, то думаем прежде всего о боли, ее обычной предшественнице.

Правда, если верить одному из отцов церкви, malam mortem non facit, nisi quod sequitur mortem ***. Но, мне кажется, правильнее было бы сказать, что ни то, что предшествует смерти, ни то, что за ней следует, собственно к ней не относится. Мы извиняем себя без достаточных оснований. И, как говорит опыт, дело тут скорее в невыносимости для нас мысли о смерти, которая делает невыносимой также и боль, мучительность которой мы ощущаем вдвойне, поскольку она предвещает нам смерть. Но так как разум бросает нам упрек в малодушии за то, что мы боимся столь внезапной, столь неизбежной и столь неощутимой вещи, мы прибегаем к этому, наиболее удобному оправданию своего страха.

---

* Если чувства будут не истинны, то и весь наш разум окажется ложным [17] (*лат.*).

** Смерть или была или будет, она не имеет отношения к настоящему; и менее мучительна сама смерть, чем ее ожидание [18] (*лат.*).

*** Смерть — зло лишь в силу того, что за ней следует [19] (*лат.*).

Любую болезнь, если она не таит в себе никакой другой опасности, кроме причиняемых ею страданий, мы зовем неопасною. Кто же станет считать зубную боль или, скажем, подагру, как бы мучительны они ни были, настоящей болезнью, раз они не смертельны? Но допустим, что в смерти нас больше всего пугает страдание,— совершенно так же, как и в нищете нет ничего страшного, кроме того, что, заставляя нас терпеть голод и жажду, зной и холод, бессонные ночи и прочие невзгоды, она делает нас добычей страдания.

Так вот, будем вести речь только о физической боли. Я отдаю ей должное: она — наихудший из спутников нашего существования, и я признаю это с полной готовностью. Я принадлежу к числу тех, кто ненавидит ее всей душой, кто избегает ее, как только может, и, благодарение господу, до этого времени мне не пришлось еще по-настоящему познакомиться с нею. Но ведь в нашей власти, если не устранить ее полностью, то, во всяком случае, до некоторой степени умерить терпением и, как бы ни страдало наше тело, сохранить свой разум и свою душу неколебимыми.

Если бы это было не так, кто среди нас стал бы ценить добродетели, доблесть, силу, величие духа, решительность? В чем бы они проявляли себя, если бы не существовало страдания, с которым они вступают в борьбу? Avida est periculi virtus *. Если бы не приходилось спать на голой земле, выносить в полном вооружении полуденный зной, питаться кониной или ослятиной, подвергаться опасности быть изрубленным на куски, терпеть, когда у вас извлекают засевшую в костях пулю, зашивают рану, промывают, зондируют, прижигают ее каленым железом,— в чем могли бы мы выказать то превосходство, которым желаем отличаться от низменных натур? И когда мудрецы говорят, что из двух одинаково славных деяний более заманчивым нам кажется то, выполнить которое составляет больше труда, то это отнюдь не похоже на совет избегать страданий и боли. Non enim hilaritate, nec lascivia, nec risu aut ioco comite levitatis, sed saepe etiam trister firmitate et constantia sunt beati **. Вот почему никак нельзя было разубедить наших предков в том, что победы, одержанные в открытом бою, среди превратностей, которыми чревата война, более почетны, чем достигнутые без всякой опасности, одной лишь ловкостью и изворотливостью:

Laetius est, quoties magno sibi conostat honestum ***.

Кроме того, мы должны находить для себя утешение также и в том, что обычно, если боль весьма мучительна, она не бывает очень продолжительной, если же она продолжительна, то не бывает особенно мучительной: si gravis brevis, si longus levis ****. Ты не будешь испытывать ее

* Доблесть жаждет опасности [20] (*лат.*).

** Ведь даже будучи удручены, часто не в веселье и не в забавах, не в смехе и не в шутке, спутнице легкомыслия, находят они отраду, но в твердости и постоянстве [21] (*лат.*).

*** Добродетель тем приятнее, чем труднее ее достичь [22] (*лат.*).

**** Если боль мучительна, то она непродолжительна, если продолжительна — то не мучительна [23] (*лат.*).

слишком долго, если чувствуешь ее слишком сильно; она положит конец либо себе, либо тебе. И то и другое ведет, в итоге, к одному и тому же. Если ты не в силах перенести ее, она сама унесет тебя. Memineris maximos morte finiri: parvos multa habere intervalla requietis; mediocrium nos esse dominos: ut si tolerabiles sint, feramus, sin minus, e vita cum ea non placeat, tanquam e theatro exeamus *.

Невыносимо мучительной делается для нас боль оттого, что мы не привыкли искать высшего нашего удовлетворения в душе и ждать от нее главной помощи, несмотря на то, что именно она — единственная и полновластная госпожа и нашего состояния и нашего поведения. Нашему телу свойственно более или менее одинаковое сложение и одинаковые склонности. Душа же наша бесконечно изменчива и принимает самые разнообразные формы, обладая при этом способностью приспосабливать к себе и к своему состоянию,— каким бы это состояние ни было,— ощущения нашего тела и все прочие его проявления. Вот почему ее должно изучать и исследовать, вот почему надо приводить в движение скрытые в ней могущественные пружины. Нет таких доводов и запретов, нет такой силы, которая могла бы противостоять ее склонностям и ее выбору. Перед нею — тысяча самых разнообразных возможностей; так предоставим же ей ту из них, которая может обеспечить нашу сохранность и наш покой, и тогда мы не только укроемся от ударов судьбы, но, даже испытывая страдания и обиды, будем считать, если она того пожелает, что нас осчастливили и облагодетельствовали ее удары.

Она извлекает для себя пользу решительно из всего. Даже заблуждения, даже сны — и они служат ее целям: у нее все пойдет в дело, лишь бы оградить нас от опасности и тревоги.

Легко видеть, что́ именно обостряет наши страдания и наслаждения: это — сила действия нашего ума. Животные, ум которых таится под спудом, предоставляют своему телу свободно и непосредственно, а следовательно, и почти тождественно для каждого вида, выражать одолевающие их чувства; в этом легко убедиться, глядя на их движения, которые при сходных обстоятельствах всегда одинаковы. Если бы мы не стесняли в этом законных прав частей нашего тела, то надо думать, нам стало бы от этого много лучше, ибо природа наделила их в должной мере естественным влечением к наслаждению и естественной способностью переносить страдание. Да они и не могли бы быть неестественными, так как они свойственны всем и одинаковы для всех. Но поскольку мы отчасти освободились от предписаний природы, чтобы предаться необузданной свободе нашего воображения, постараемся, по крайней мере, помочь себе, направив его в наиболее приятную сторону.

Платон опасается нашей склонности предаваться всем своим существом страданию и наслаждению, потому что она слишком подчиняет душу

* Помни, что сильные страдания завершаются смертью, слабые предоставляют нам частые передышки, а над умеренными — мы владыки; таким образом, если их можно стерпеть, снесем их; если же нет — уйдем из жизни, раз она не доставляет нам радости, как уходим из театра [24] (*лат.*).

нашему телу и привязывает ее к нему[25]. Что до меня, то я опасаюсь скорее обратного, а именно, что она отрывает и отдаляет их друг от друга.

Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится еще безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаемся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем ее. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.

Обратимся, однако, к примерам — этому подспорью людей слабосильных, вроде меня,— и тут мы сразу убедимся, что со страданием дело обстоит так же, как и с драгоценными камнями, которые светятся ярче или более тускло, в зависимости от того, в какую оправу мы их заключаем; подобно этому и страдание захватывает нас настолько, насколько мы поддаемся ему. Tantum doluerunt,— говорит св. Августин,— quantum doloribus se inseiverunt*. Мы ощущаем гораздо сильнее надрез, сделанный бритвой хирурга, чем десяток ранений шпагою, полученных нами в пылу сражения. Боли при родовых схватках и врачами и самим богом считаются необыкновенно мучительными, и мы обставляем это событие всевозможными церемониями, а, между тем, существуют народы, которые не ставят их ни во что. Я уже не говорю о спартанских женщинах; напомню лишь о швейцарках, женах наших наемников-пехотинцев. Чем отличается их образ жизни после родов? Разве только тем, что, шагая вслед за мужьями, сегодня иная из них несет ребенка у себя на шее, тогда как вчера еще носила его в своем чреве. А что сказать об этих страшных цыганках, которые снуют между нами? Они отправляются к ближайшей воде, чтобы обмыть новорожденного и искупаться самим. Оставим в стороне также веселых девиц, скрывающих, как правило, и свою беременность и появление на свет божий младенца. Вспомним лишь о почтенной супруге Сабина, римской матроне, которая, не желая беспокоить других, вынесла муки рождения двух близнецов совсем одна, без чьей-либо помощи и без единого крика и стона. Простой мальчишка-спартанец, украв лисицу и спрятав ее у себя под плащом, допустил, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не выдать себя (ведь они, как известно, гораздо больше боялись проявить неловкость при краже, чем мы — наказания за нее). Другой, кадя благовониями во время заклания жертвы и выронив из кадильницы уголек, упавший ему за рукав, допустил, чтобы он прожег ему тело до самой кости, опасаясь нарушить происходившее таинство. В той же Спарте можно было увидеть множество мальчиков семилетнего возраста, которые, подвергаясь, согласно принятому в этой стране обычаю, испытанию доблести, не менялись даже в лице, когда их засекали до смерти. Цицерон видел разделившихся на группы детей, которые дрались, пуская в ход кулаки, ноги и даже зубы, пока не падали без сознания, так и не признав себя побежденными. Nunquam naturam mos vinceret:

* Они испытывают страдания ровно настолько, насколько поддаются им[26] (*лат.*).

est enim ea semper invicta; sed nos umbris, deliciis, otio, languore, desidia animum infecimus; opinionibus maloque more delinitum mollivimus *. Кому не известна история Муция Сцеволы, который, пробравшись в неприятельский лагерь, чтобы убить вражеского военачальника, и потерпев неудачу, решил все же добиться своего и освободить родину, прибегнув к весьма необыкновенному средству? С этой целью он не только признался Порсенне — тому царю, которого собирался убить,— в своем первоначальном намерении, но еще добавил, что в римском лагере есть немало его единомышленников, людей такой же закалки, как он, поклявшихся совершить то же самое. И, чтобы показать, какова же эта закалка, он, попросив принести жаровню, положил на нее свою руку и смотрел спокойно, как она пеклась и поджаривалась, до тех пор, пока царь, придя в ужас, не повелел сам унести жаровню. Ну а тот, который не пожелал прервать чтение книги, пока его резали? [28] А тот, который не переставал шутить и смеяться над пытками, которым его подвергали, вследствие чего распалившаяся жестокость его палачей и все изощренные муки, какие только они в состоянии были для него придумать, лишь служили к его торжеству [29]? Это был, правда, философ. Ну так что ж? В таком случае, вот вам гладиатор Цезаря, который лишь смеялся, когда бередили или растравляли его раны. Quis mediocris gladiator ingemuit? Quis vultum mutavit unquam? Quis non modo stetit verum etiam decubuit turpiter? Quis sum decubuisset, ferrum recipere iussus, coellum contraxit? ** Добавим сюда женщин. Кто не слышал в Париже об одной особе, которая велела содрать со своего лица кожу единственно лишь для того, чтобы, когда на ее месте вырастет новая, цвет ее был более свежим? Встречаются и такие, которые вырывают себе вполне здоровые и крепкие зубы, чтобы их голос стал нежнее и мягче или чтобы остальные зубы росли более правильно и красиво. Сколько могли бы мы привести еще других примеров презрения к боли! На что только не решаются женщины? Существует ли что-нибудь, чего бы они побоялись, если есть хоть крошечная надежда, что это пойдет на пользу их красоте?

Vellere queis cura est albos a stirpe capillos,
Et faciem dempta pelle referre novam ***.

Я видел таких, что глотают песок или золу, всячески стараясь испортить себе желудок, чтобы лицо у них сделалось бледным. А каких только мук не выносят они, чтобы добиться стройного стана, затягиваясь и шну-

---

* Обычай не мог бы побороть природу — ибо она всегда остается непобежденной, но мы увлекли душу безмятежной жизнью, роскошью, праздностью, расслабленностью, ничегонеделанием: и когда она расслабилась, мы без усилия внушили ей наши мнения и дурные обычаи [27] (*лат.*).

** Кто даже из числа посредственных гладиаторов хоть когда-нибудь издал стон? Кто когда-нибудь изменился в лице? Кто из них, не только сражаясь, но и поверженный, обнаруживал трусость? Кто, будучи повержен и получив приказание принять смертельный удар, втягивал в себя шею? (*лат.*).

*** Есть такие, которые стараются вырвать у себя седые волосы и, избавившись от морщин, возвратить лицу молодость [31] (*лат.*).

руясь, терзая себе бока жесткими, въедающимися в тело лубками, отчего иной раз даже умирают!

У многих народов и в наше время существует обычай умышленно наносить себе раны, чтобы внушить больше доверия к тому, что они о себе рассказывают, и наш король [32] приводил немало замечательных случаев подобного рода, которые ему довелось наблюдать в Польше среди окружавших его людей. Не говоря уже о том, что иные и у нас во Франции, как мне известно, проделывают над собой то же самое из подражания; я видел незадолго до знаменитых штатов в Блуа одну девицу, которая, стремясь подтвердить пламенность своих обещаний, а заодно и свое постоянство, нанесла себе вынутой из прически шпилькою четыре или пять сильных уколов в руку, прорвавших у нее кожу и вызвавших сильное кровотечение. Турки в честь своих дам делают у себя большие надрезы на коже, и, чтобы след от них остался навсегда, прижигают рану огнем, причем держат его на ней непостижимо долгое время, останавливая таким способом кровь и, вместе с тем, образуя себе рубцы. Люди, которым довелось это видеть своими глазами, писали мне об этом, клянясь, что это правда. Впрочем, можно всегда найти среди них такого, который за десять асперов [33] сам себе нанесет глубокую рану на руке или ляжке [34].

Мне чрезвычайно приятно, что там, где нам особенно бывают необходимы свидетели, они тут как тут, ибо христианский мир поставляет их в изобилии. После примера, явленного нам нашим всеблагим пастырем, нашлось великое множество людей, которые из благочестия возжелали нести крест свой. Мы узнаем от заслуживающего доверия свидетеля [35], что король Людовик Святой носил власяницу до тех пор, пока его не освободил от нее, уже в старости, его духовник, а также, что всякую пятницу он побуждал его бить себя по плечам, употребляя для этого пять железных цепочек, которые постоянно возил с собою в особом ларце. Гильом, наш последний герцог Гиеньский [36], отец той самой Альеноры, от которой это герцогство перешло к французскому, а затем к английскому королевским домам, последние десять или двенадцать лет своей жизни постоянно носил под монашеской одеждой, покаяния ради, панцырь; Фульк [37], граф Анжуйский, отправился даже в Иерусалим с веревкой на шее для того, чтобы там, по его приказанию, двое слуг бичевали его перед гробом господним. А разве не видим мы каждый год, как толпы мужчин и женщин бичуют себя в страстную пятницу, терзая тело до самых костей? Я видел это не раз и, признаюсь, без особого удовольствия. Говорят, среди них (они надевают в этих случаях маски) бывают такие, которые берутся за деньги укреплять таким способом набожность в других, вызывая в них величайшее презрение к боли, ибо побуждения благочестия еще сильнее побуждений корыстолюбия.

Квинт Максим похоронил своего сына, бывшего консула, Марк Катон — своего, избранного на должность претора, а Луций Павел — двух сыновей, умерших один за другим, — и все они внешне сохраняли спокойствие и не выказывали никакой скорби. Как-то раз, в дни моей молодости, я сказал в виде шутки про одного человека, что он увильнул от

кары небесной. Дело в том, что он в один день потерял погибших насильственной смертью троих взрослых сыновей, что легко можно было истолковать, как удар карающего бича; и что же, он был недалек от того, чтобы принять это как особую милость! Я сам потерял двух-трех детей, правда в младенческом возрасте, если и не без некоторого сожаления, то, во всяком случае, без ропота. А между тем, нет ничего, что могло бы больше потрясти человека, чем это несчастье. Мне известны и другие невзгоды, которые обычно считаются людьми достаточным поводом к огорчению, но они едва ли могли бы задеть меня за живое, если бы мне пришлось столкнуться с ними; и действительно, когда они все же постигли меня, я отнесся к ним с полным пренебрежением, хотя тут были вещи, относимые всеми к самым ужасным, так что я не посмел бы хвалиться этим, перед людьми без краски стыда на лице. Ex quo intelligitur non in natura, sed in opinione esse aegritudinem *.

Наше представление о вещах — дерзновенная и безмерная сила. Кто стремился с такою жадностью к безопасности и покою, как Александр Великий и Цезарь к опасностям и лишениям? Терес, отец Ситалка, имел обыкновение говорить, что, когда он не на войне, он не видит между собой и своим конюхом никакого различия [39].

Когда Катон в бытность свою консулом, желая обеспечить себе безопасность в нескольких городах Испании, запретил их обитателям носить оружие, многие из них наложили на себя руки: Ferox gens nullam vitam rati sine armis esse **. А сколько мы знаем таких, кто бежал от утех спокойного существования у себя дома, в кругу родных и друзей, навстречу ужасам безлюдных пустынь, кто сам себя обрек нищете, жалкому прозябанию и презрению света и настолько был удовлетворен этим образом жизни, что полюбил его всей душой! Кардинал Борромео [41], скончавшийся недавно в Милане, в этом средоточии роскоши и наслаждений, к которым его могли бы приохотить и знатность происхождения, и богатство, и самый воздух Италии, и, наконец, молодость, жил в такой строгости, что одна и та же одежда служила ему и зимою и летом, и ему было незнакомо другое ложе, кроме охапки соломы; и если у него оставались свободные от его обязанностей часы, он их проводил в непрерывных занятиях, стоя на коленях и имея возле своей книги немного воды и хлеба, составлявших всю его пищу, которую он и съедал, не отрываясь от чтения. Я знаю рогоносцев, извлекавших выгоду из своей беды и добивавшихся благодаря ей продвижения, а между тем одно это слово приводит большинство людей в содрогание. Если зрение и не самое необходимое из наших чувств, оно все же среди них то, которое доставляет нам наибольшее наслаждение; а из органов нашего тела, одновременно доставляющих наибольшее наслаждение и наиболее полезных для человеческого рода, следует назвать, думается мне, те, которые служат деторождению. А между тем, сколько людей возненавидели их лютой ненавистью только

* Из чего явствует, что огорчение существует не само по себе, но в нашем представлении [38] (*лат.*).

** Дикое племя, которое не может представить себе жизнь без оружия [40] (*лат.*).

из-за того, что они дарят нам наслаждение, и отвергли именно потому, что они особенно важны и ценны. Так же рассуждал и тот, кто сам лишил себя зрения [42].

Большинство людей, и притом самые здоровые среди них, считают, что иметь много детей — великое счастье; что до меня и еще некоторых, мы считаем столь же великим счастьем не иметь их совсем. Когда спросили Фалеса [43], почему он не женится, он ответил, что не имеет охоты плодить потомство.

Что ценность вещей зависит от мнения, которое мы имеем о них, видно хотя бы уже из того, что между ними существует много таких, которые мы рассматриваем не только затем, чтобы оценивать их, но и с тем, чтобы оценить их для себя. Мы не принимаем в расчет ни их качества, ни степени их полезности; для нас важно лишь то, чего нам стоило добыть их, словно это есть самое основное в их сущности: и ценностью их мы называем не то, что они в состоянии нам доставить, но то, какой ценой мы себе их достали. Из этого я делаю заключение, что мы расчетливые хозяева и не позволяем себе лишних издержек. Если вещь добыта нами с трудом, она стоит в наших глазах столько, сколько стоит затраченный нами труд. Мнение, составленное нами о вещи, никогда не допустит, чтобы она имела несоразмерную цену. Алмазу придает достоинство спрос, добродетели — трудность блюсти ее, благочестию — претерпеваемые лишения, лекарству — горечь.

Некто, желая сделаться бедняком, выбросил все свои деньги в то самое море, в котором везде и всюду копошится столько других людей, чтобы уловить в свои сети богатство [44]. Эпикур [45] говорит, что богатство не облегчает наших забот. но подменяет одни заботы другими. И действительно, не нужда, но скорей изобилие порождает в нас жадность. Я хочу поделиться на этот счет своим опытом.

С тех пор как я вышел из детского возраста, я испытал три рода условий существования. Первое время, лет до двадцати, я прожил, не имея никаких иных средств, кроме случайных, без определенного положения и дохода, завися от чужой воли и помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более что количество их определяла прихоть судьбы. И все же никогда я не чувствовал себя лучше. Ни разу не случилось, чтобы кошельки моих друзей оказались для меня туго завязанными. Главнейшей моей заботой я считал в те времена заботу о том, чтобы не пропустить срока, который я сам назначил, чтобы расплатиться. Этот срок, впрочем, они продлевали, может быть, тысячу раз, видя усилия, которые я прилагал, чтобы вовремя рассчитаться с ними; выходит, что я платил им со щепетильною и, вместе с тем, несколько плутоватою честностью. Погашая какой-нибудь долг, я испытываю всякий раз настоящее наслаждение: с моих плеч сваливается тяжелый груз, и я избавляюсь от сознания своей зависимости. К тому же, мне доставляет некоторое удовольствие мысль, что я делаю нечто справедливое и удовлетворяю другого. Сюда, конечно, не относятся платежи, сопряженные с расчетами и необходимостью торговаться, так как если нет никого, на кого можно было бы свалить эту обузу,

я, к стыду своему, не вполне добросовестным образом оттягиваю их елико возможно; я смертельно боюсь всяких препирательств, к которым ни склад моего характера, ни мой язык никоим образом не приспособлены. Для меня нет ничего более ненавистного, чем торговаться: это сплошное надувательство и бесстыдство; после целого часа споров и жульничества обе стороны нарушают раньше данное ими слово ради каких-нибудь пяти су. Вот почему условия, на которых я занимал, бывали обычно невыгодными; не решаясь попросить денег при личном свидании, я обычно прибегал в таких случаях к письменным сношениям, а бумага — не очень хороший ходатай и часто соблазняет руку на отказ. Я гораздо охотнее и с более легким сердцем доверял в ту пору ведение моих дел счастливой звезде, чем доверяю их теперь своей предусмотрительности и здравому смыслу.

Большинство хороших хозяев считает чем-то ужасным жить в такой неопределенности; но, во-первых, они упускают из виду, что большинство людей живет именно таким образом. Сколько весьма почтенных людей жертвовало своей уверенностью в завтрашнем дне и продолжает каждодневно делать то же самое в надежде на королевское благоволение и на милости фортуны. Цезарь, чтобы сделаться Цезарем, издержал, помимо своего имущества, еще миллион золотом, взятый им в долг. А сколько купцов начинают свои торговые операции с продажи какой-нибудь фермы, которую они посылают, так сказать, в Индию

Tot per impotentia freta *.

Мы видим, что, несмотря на оскудение благочестия, многие тысячи монастырей не знают нужды, хотя дневное пропитание живущих в них монахов зависит исключительно от милостей неба. Во-вторых, эти хорошие хозяева забывают также о том, что обеспеченность, на которую они хотят опереться, столь же неустойчива и столь же подвержена разного рода случайностям, как и сам случай. Имея две тысячи экю годового дохода, я вижу себя столь близким к нищете, как если бы она уже стучалась ко мне в дверь. Ибо судьбе ничего не стоит пробить сотню брешей в нашем богатстве, открыв тем самым путь нищете, и нередко случается, что она не допускает ничего среднего между величайшим благоденствием и полным крушением:

Fortuna vitrea est; tunc cum splendet frangitur **.

И поскольку она сметает все наши шанцы и бастионы, я считаю, что нужда столь же часто по разным причинам бывает гостьей как тех, кто обладает значительным состоянием, так и тех, кто не имеет его; и подчас она менее тягостна, когда встречается сама по себе, чем когда мы видим ее бок о бок с богатством. Последнее создается не столько большими доходами, сколько правильным ведением дел: faber est suae quisque fortunae ***.

* Через столько бурных морей [46] (*лат.*).
** Судьба — стекло: блестя — разбивается [47] (*лат.*).
*** Каждый — кузнец своей судьбы [48] (*лат.*).

Озабоченный, вечно нуждающийся и занятый по горло делами богач кажется мне еще более жалким, чем тот, кто попросту беден: in divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est *.

Нужда и отсутствие денежных средств побуждали самых могущественных и богатых властителей к крайностям всякого рода. Ибо что может быть большею крайностью, чем превращаться в тиранов и бесчестных насильников, присваивающих достояние своих подданных?

Второй период моей жизни — это то время, когда у меня завелись свои деньги. Получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, я в короткий срок отложил довольно значительные, сравнительно с моим состоянием, сбережения, считая, что по-настоящему мы имеем лишь то, чем располагаем сверх наших обычных издержек и что нельзя полагаться на те доходы, которые мы только надеемся получить, какими бы верными они нам ни казались. «А вдруг,— говорил я себе,— меня постигнет та или другая случайность?» Находясь во власти этих пустых и нелепых мыслей, я думал, что поступаю благоразумно, откладывая излишки, которые должны были выручить меня в случае затруднений. И тому, кто указывал мне на то, что таким затруднениям нет числа, я отвечал, не задумываясь, что если это и не избавит меня от всех трудностей, то предохранит, по крайней мере, от некоторых и притом весьма многих. Дело не обходилось без мучительных волнений. Я из всего делал тайну. Я, который позволяю себе рассказывать так откровенно о себе самом, говорил о своих средствах, многое утаивая, неискренно, следуя примеру тех, кто, обладая богатством, прибедняется, а будучи бедным, изображает себя богачом, но никогда не признается по совести, чем он располагает в действительности. Смешная и постыдная осторожность! Отправлялся ли я в путешествие, мне постоянно казалось, что у меня недостаточно при себе денег. Но чем больше денег я брал с собой, тем больше возрастали мои опасения: то я сомневался, насколько безопасны дороги, то — можно ли доверять честности тех, кому я поручал мои вещи, за которые, подобно многим другим, я никогда не бывал спокоен, если только они не были у меня перед глазами. Если же шкатулку с деньгами я держал при себе,— сколько подозрений, сколько тревожных мыслей и, что самое худшее,— таких, которыми ни с кем не поделишься! Я был всегда настороже. В общем, уберечь свои деньги стоит бóльших трудов, чем добыть их. Если, бывало, я и не испытывал всего того, о чем здесь рассказываю, то каких трудов мне стоило удержаться от этого! О своем удобстве я заботился мало или совсем не заботился. От того, что я получил возможность тратить деньги свободнее, я не стал расставаться с ними с более легкой душой. Ибо, как говорил Бион [50], волосатый злится не меньше плешивого, когда его дерут за волосы. Как только вы приучили себя к мысли, что обладаете той или иной суммой, и твердо это запомнили,— вы уже больше не властны над ней, и вам страшно хоть сколько-нибудь из нее израсходовать. Вам все будет казаться, что перед вами строение, которое разрушится до основа-

---

* Испытывать нужду при богатстве — род нищеты наиболее тягостный [49] (*лат.*).

ния, стоит вам лишь прикоснуться к нему. Вы решитесь начать расходовать эти деньги только в том случае, если вас схватит за горло нужда. И в былое время я с большею легкостью закладывал свои пожитки или продавал верховую лошадь, чем теперь позволял себе прикоснуться к заветному кошельку, который я хранил в потайном месте. И хуже всего то, что нелегко положить себе в этом предел (ведь всегда бывает трудно установить границу того, что считаешь благом) и остановиться на должной черте в своем скопидомстве. Накопленное богатство невольно стараешься все время увеличить и приумножить, не беря из него чего-либо, а прибавляя, вплоть до того, что позорно отказываешься от пользования в свое удовольствие своим же добром, которое хранишь под спудом, без всякого употребления.

Если так распоряжаться своим богатством, то самыми богатыми людьми придется назвать тех, кому поручено охранять ворота и стены какого-нибудь богатого города. Всякий денежный человек, на мой взгляд,— скопидом.

Платон в следующем порядке перечисляет физические и житейские блага человека: здоровье, красота, сила, богатство. И богатство, говорит он, вовсе не слепо; напротив, оно весьма прозорливо, когда его освещает благоразумие [51].

Здесь уместно вспомнить о Дионисии Младшем, который весьма остроумно подшутил над одним скрягою. Ему сообщили, что один из его сиракузцев закопал в землю сокровища. Дионисий велел ему доставить их к нему во дворец, что тот и сделал, утаив, однако, некоторую их часть; а затем, забрав с собой припрятанную им долю, этот человек переселился в другое место, где, потеряв вкус к накоплению денег, начал жить на более широкую ногу. Услышав об этом, Дионисий приказал возвратить ему отнятую у него часть сокровищ, сказав, что, поскольку человек этот научился, наконец, пользоваться ими как подобает, он охотно возвращает ему отобранное [52].

И я в течение нескольких лет был таким же. Не знаю, какой добрый гений вышиб, на мое счастье, весь этот вздор из моей головы, подобно тому как это случилось и с сиракузцем. Забыть начисто о скопидомстве помогло мне удовольствие, испытанное во время одного путешествия, сопряженного с большими издержками. С той поры я перешел уже к третьему по счету образу жизни — так, по крайней мере, мне представляется,— несомненно более приятному и упорядоченному. Мои расходы я соразмеряю с доходами; если порою первые превышают вторые, а порою бывает наоборот, то все же большого расхождения между ними я не допускаю. Я живу себе потихоньку и доволен тем, что моего дохода вполне хватает на мои повседневные нужды; что же до нужд непредвиденных, то тут человеку не хватит и богатств всего мира. Глупостью было бы ждать, чтобы фортуна сама вооружила нас навсегда для защиты от ее посягательств. Бороться с нею мы должны своим собственным оружием. Случайное оружие всегда может изменить в решительную минуту. Если я иной раз и откладываю деньги, то лишь в предвидении какого-нибудь крупного рас-

хода в ближайшем времени, не для того, чтобы купить себе землю (с которою мне нечего делать), а чтобы купить удовольствие. Non esse cupidum pecunia est, non esse emacem vectigal est *.

Я не испытываю ни опасений, что мне не хватит моего состояния, ни желания, чтобы оно у меня увеличилось: Divitiarum fructus est in copia, copiam declarat satietas **. Я считаю великим для тебя счастьем, что эта перемена случилась со мною в наиболее склонном к скупости возрасте и что я избавился от недуга, столь обычного у стариков и притом самого смешного из всех человеческих сумасбродств.

Фераулес, унаследовав два состояния и обнаружив, что с возрастанием богатства желание есть, пить, спать или любить жену не возрастает, но остается таким же, как прежде, и чувствуя, с другой стороны, какое невыносимое бремя возлагает на него стремление соблюдать бережливость,— совсем как это было со мной,— решил облагодетельствовать одного юношу, своего верного друга, который жаждал разбогатеть, и с этою целью подарил ему не только все то, что уже имел,— а состояние его было огромным,— но и то, что продолжал получать от щедрот своего повелителя Кира, равно как и свою долю военной добычи, при условии, что этот молодой человек возьмет на себя обязательство достойным образом содержать и кормить его, как гостя и друга. Так они и жили с этой поры в полном согласии, причем оба были в равной мере довольны переменой в своих обстоятельствах. Вот пример, которому я последовал бы с величайшей охотою [55].

Я весьма одобряю также поведение одного пожилого прелата, который полностью освободил себя от забот о своем кошельке, о своих доходах и тратах, поручая их то одному из своих доверенных слуг, то другому, и провел долгие годы в таком неведении относительно состояния своих дел, словно он был во всем этом лицом посторонним. Доверие к добропорядочности другого является достаточно веским свидетельством собственной, и ему обычно покровительствует бог. Что касается упомянутого мною прелата, то нигде я не видел такого порядка, как у него в доме, как нигде больше не видел, чтобы хозяйство поддерживалось с таким достоинством и такой твердой рукой. Счастлив тот, кто сумел с такой точностью соразмерять свои нужды, что его средства оказываются достаточными для удовлетворения их, без каких-либо хлопот и стараний с его стороны. Счастлив тот, кого забота об управлении имуществом или о его приумножении не отрывает от других занятий, более соответствующих складу его характера, более спокойных и приятных ему.

Итак, и довольство и бедность зависят от представления, которое мы имеем о них; сходным образом и богатство, равно как и слава или здоровье, прекрасны и привлекательны лишь настолько, насколько таковыми находят их те, кто пользуется ими. Каждому живется хорошо или плохо в зависимости от того, что он сам по этому поводу думает. Доволен не тот,

* Не быть жадным — уже есть богатство; не быть расточительным — доход [53] (*лат.*).
** Плод богатства — обилие; признак обилия — довольство [54] (*лат.*).

кого другие мнят довольным, а тот, кто сам мнит себя таковым. И вообще, истинным и существенным тут можно считать лишь собственное мнение данного человека.

Судьба не приносит нам ни зла ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и способное оплодотворить эту материю семя. Наша душа, более могущественная в этом отношении, чем судьба, использует и применяет их по своему усмотрению, являясь, таким образом, единственной причиной и распорядительницей своего счастливого или бедственного состояния.

Внешние обстоятельства принимают тот или иной характер в зависимости от наших внутренних свойств, подобно тому, как наша одежда согревает нас не своей теплотою, но нашей собственной, которую, благодаря своим свойствам, она может задерживать и накапливать. Тот, кто укутал бы одеждою какой-нибудь холодный предмет, точно таким же образом поддержал бы в нем холод: так именно и поступают со снегом и льдом, чтобы предохранить их от таяния.

Как учение — мука для лентяя, а воздержание от вина — пытка для пьяницы, так умеренность является наказанием для привыкшего к роскоши, а телесные упражнения — тяготою для человека изнеженного и праздного, и тому подобное. Вещи сами по себе не являются ни трудными, ни мучительными, и только наше малодушие или слабость делают их такими. Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны. Весло, погруженное в воду, кажется нам надломленным. Таким образом, важно не только то, что́ мы видим, но и ка́к мы его видим.

А раз так, то почему среди стольких рассуждений, которые столь различными способами убеждают людей относиться с презрением к смерти и терпеливо переносить боль, нам не найти какого-нибудь годного также для нас? И почему из такого множества доводов, убедивших в этом других, каждому из нас не избрать для себя такого, который был бы ему больше по нраву? И если ему не по силам лекарство, действующее быстро и бурно и исторгающее болезнь с корнем, то пусть он примет хотя бы мягчительного, которое принесло бы ему облегчение. Opinio est quaedam effeminata ac levis, nec in dolore magis, quam eadem in voluptate: qua, cum liquescimus fluimusque mollitia, apis aculeum sine clamore ferre non possumus. Totum in eo est, ut tibi imperes *.

Впрочем, и тот, кто станет чрезмерно подчеркивать остроту наших страданий и человеческое бессилие, не отделается от философии. В ответ ему она выдвинет следующее бесспорное положение: «Если жить в нужде плохо, то нет никакой нужды жить в нужде».

---

* Бывает [у некоторых] такая изнеженность и слабость, и не только в страданиях, но и в разгар наслаждений; и когда из-за нее мы размягчаемся и теряем всякую волю, то даже укус пчелы — и тот исторгает у нас стенания... Дело в том, чтобы научиться владеть собою [56] (*лат.*).

Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам.

Кому недостает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть жизнь, кто не хочет ни бежать, ни сражаться, чем поможешь такому?



Глава XV

ЗА БЕССМЫСЛЕННОЕ УПРЯМСТВО В ОТСТАИВАНИИ КРЕПОСТИ НЕСУТ НАКАЗАНИЕ

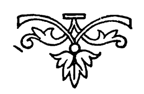
Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она может увлечь всякого, недостаточно хорошо знающего ее границы,— а установить их с точностью, действительно, нелегко — к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Это обстоятельство и породило обыкновение наказывать во время войны — иногда даже смертью — тех, кто упрямо отстаивает укрепленное место, удержать которое, по правилам военной науки, невозможно. Иначе не было бы такого курятника, который, в надежде на безнаказанность, не задерживал бы продвижение целой армии.

Господин коннетабль де Монморанси при осаде Павии[1] получил приказание переправиться через Тичино и захватить предместье св. Антония; задержанный защитниками предмостной башни, оказавшими упорное сопротивление, он все же взял ее приступом и велел повесить всех оборонявшихся в ней. Так же поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по ту сторону гор; после того как замок Виллано был им захвачен и солдаты, озверев, перебили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта и знаменосца, он велел, по той же причине, повесить и этих последних[2]. Подобную же участь и в тех же краях испытал и капитан Бони, все люди которого были перебиты при взятии укрепления; так приказал Мартен Дю Белле[3], в ту пору губернатор Турина. Но поскольку судить о мощи или слабости укрепления можно, лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих (ибо тот, кто с достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулевринам, поступил бы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против тридцати пушек), и так как здесь, кроме того, принимается обычно в расчет могущество вторгшегося государя, его репутация, уважение, которое ему должно оказывать, то существует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколько перевешивать. А это, в свою очередь, приводит к тому, что такой государь начинает настолько мнить о себе и своем могуществе, что ему кажется просто нелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь, достойный сопро-

тивляться ему, и пока ему улыбается военное счастье, он предает мечу всякого, кто борется против него, как это видно хотя бы на примере тех свирепых, надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были в обычае у восточных властителей да и ныне в ходу у их преемников.

Также и там, где португальцы впервые начали грабить Индию, они нашли государства, в которых господствовал общераспространенный и нерушимый закон, гласящий, что враг, побежденный войском, находящимся под начальством царя или его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду.

Итак, пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи, когда этот судья — победоносный и вооруженный до зубов враг.



Глава XVI
О НАКАЗАНИИ ЗА ТРУСОСТЬ

Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано им за столом, после того как ему рассказали о суде над господином де Верменом, приговоренным к смерти за сдачу Булони [1].

И в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливую границу между проступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаем против велений нашего разума, запечатленных в нас самою природою, тогда как, совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменять в вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правило, согласно которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности.

Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания — это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд [2] и что до него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью; он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество. Suffunde-

re malis hominis sanguinem quam effundere *. Римские законы, по крайней мере в древнейшее время, также карали бежавших с поля сражения смертною казнью. Так, Аммиан Марцеллин рассказывает, что десять солдат, повернувшихся спиной к неприятелю во время нападения римлян на войско парфян, были лишены императором Юлианом военного звания и затем преданы смерти в соответствии с древним законом [4]. Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал виновных лишь тем, что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровой каре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время той же войны был с Гнеем Фульвием при его поражении, тем не менее, в этом случае дело не дошло до наказания смертью.

Есть, однако, основание опасаться, что позор не только повергает в отчаянье тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.

Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместитель главнокомандующего в войсках маршала Шатильона, назначенный маршалом де Шабанном на пост губернатора Фуэнтарабии вместо господина дю Люда и сдавший этот город испанцам, был приговорен к лишению дворянского звания, и как он сам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причислены к податному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор был исполнен над ним в Лионе. В дальнейшем такому же наказанию были подвергнуты все дворяне, которые находились в городе Гизе, когда туда вступил граф Нассауский; с той поры то же претерпели и некоторые другие.

Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые и явные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе прийти к заключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли, и наказывать их так таковые.



Глава XVII

ОБ ОБРАЗЕ ДЕЙСТВИЙ НЕКОТОРЫХ ПОСЛОВ

Во время моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другими что-нибудь для меня новое (а это — одна из лучших школ, какие только можно себе представить), я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобы наводить своего собеседника на разговор о таких предме-

---

* Предпочитай, чтобы у человека кровь приливала к щекам, чем чтобы она была им пролита [3] (*лат.*).

тах, в которых он лучше всего осведомлен.

Basti al nocchiero ragionar de'venti,
Al bifolco dei tori, et le sue piaghe
Conti'l guerrier, conti'l pastor gli armenti *.

Впрочем, чаще всего наблюдается обратное, ибо всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, нежели о своем собственном, надеясь прослыть, таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области; так, например, Архидам [2] упрекал Периандра в том, что тот пренебрег славою выдающегося врача, погнавшись за славою дурного поэта.

Поглядите, сколь многословным становится Цезарь, когда он описывает нам свои изобретения, относящиеся к постройке мостов [3] или военных машин, и как, напротив, он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своих обязанностях военачальника, о своей личной храбрости или о поведении своих воинов.

Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийся полководец; ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходного военного инженера, а это нечто совсем уже новое. Не так давно некий ученый юрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг, относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, не обнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. А между тем он остановился, чтобы с ученым и важным видом потолковать по поводу заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату, хотя человек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на него никакого внимания.

Дионисий Старший был отличнейшим полководцем, как это и приличествовало его положению, но он стремился достигнуть славы преимущественно в поэзии, в которой решительно ничего не смыслил.

Optat ephippia bos piger, optat arare caballus **.

Но таким образом вы никогда не добьетесь чего-либо путного.

Итак, всякого, кем бы он ни был,— зодчий ли это, живописец, сапожник или кто-либо иной,— подобает неукоснительно возвращать к предмету его повседневных занятий. И по этому поводу замечу: читая сочинения по истории,— в каковом жанре упражнялись самые различные люди,— я усвоил обыкновение принимать в расчет, кем именно были писавшие; если это люди, не занимавшиеся ничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык; если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуре воздуха, о здоровье и складе характера государей, о ранениях и болезнях; если юристы, то в первую очередь следует направить свое внимание на их рассуждения по во-

---

* Пусть кормчий рассуждает лишь о ветрах, а земледелец — о быках; пусть воин рассказывает нам о своих ранах, а пастух о стадах [1] (*ит.*).

** Ленивый вол хочет ходить под седлом, а конь — пахать [4] (*лат.*).

просам права, о законах, о государственных учреждениях и прочих вещах такого же рода; если теологи — то на дела церковные, отлучения от церкви, эпитимии, разрешения на вступление в брак; если придворные — на описание обычаев и церемоний; если военные — на то, что относится к их ремеслу, и, главным образом, на их повествования о походах и битвах, в которых они принимали участие; если послы — то на всевозможные хитрости, шпионаж, подкупы и на то, как все это проделывалось.

По этой причине я выделил и отметил в «Истории» сеньора де Ланже[5], человека в высшей степени сведущего в этих делах, много такого, мимо чего я прошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительных предупреждениях, сделанных императором Карлом V римской консистории в присутствии наших послов, епископа Маконского и господина дю Велли, к чему император добавил немало оскорбительных выражений, направленных против нас, и, среди прочего, то, что если бы его военачальники, солдаты и подданные были столь же преданы своему господину и столь же искусны в военном деле, как те, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею веревку и отправился бы смиренно молить о пощаде (он, по-видимому, и сам в некоторой степени верил, что так оно в действительности и есть, ибо и позже, в течение своей жизни, раза два или три повторял то же самое), а также сообщив о том, что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке, в одних рубахах, на шпагах и на кинжалах,— вышеназванный сеньор де Ланже добавляет, что упомянутые послы, написав королю донесение, утаили от него бóльшую часть слов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Я нахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чем докладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более, что дело было чревато такими последствиями, что эти слова исходили от такого лица и были произнесены на столь многолюдном собрании. Мне кажется, что обязанность подчиненного — точно и правдиво, со всеми подробностями, излагать события, как они были, дабы господин располагал полной свободою отдавать приказания, оценивать положение и выбирать. Ибо искажать или утаивать истину из опасения, как бы он не принял ее неподобающим образом и как бы это не толкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлять его неосведомленным о действительном положении дел — подобное право, как я полагаю, принадлежит тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого они предназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, кто должен почитать себя низшим, и притом не только по своему положению, но и по опытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне, при всей ничтожности моей особы, служили вышеописанным образом.

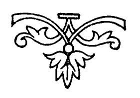
Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения и присвоить себе право распоряжаться; всякий из нас — и это вполне естественно — домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть в подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение.

Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собой известную независимость, то это большая помеха для отдающего приказание. Публий Красс [6], тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым, пребывая во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру-греку доставить к нему бо́льшую из двух корабельных мачт, которые он видел при посещении им Афин, дабы соорудить из нее задуманную им метательную машину; грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе нарушить приказ и привез ту из мачт, которая была меньше, но, вместе с тем, как подсказывал ему опыт, и более пригодной для указанной цели. Красс, терпеливо выслушав его доводы, велел все же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплина прежде всего, даже если это ведет к ущербу для дела.

С другой стороны, нелишне отметить, что безусловное повиновение полезно лишь при наличии точного и определенного приказания. Обязанности послов допускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим: ведь они не только исполнители воли своего государя, они также подготавливают ее и направляют своими советами. На своем веку я видел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинение букве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела.

Люди сведущие порицают еще и теперь обыкновение персидских властителей предоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько куцые полномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи испрашивать дополнительно указания. Подобное промедление, принимая во внимание огромные пространства персидского царства, нередко вредило, и весьма основательно, их делам.

И если Красс в письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал на употребление, которое он намерен дать мачте, то не означало ли это, что он вступил с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнить приказание с теми или иными поправками?



Глава XVIII

О СТРАХЕ

Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit *.

Я отнюдь не являюсь хорошим натуралистом (как принято выражаться), и мне не известно, посредством каких пружин на нас воздействует страх; но как бы там ни было, это — страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из

* Я оцепенел; волосы мои встали дыбом, и голос замер в гортани [1] (*лат.*).

положенной ему колеи в большей мере, чем эта. И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и темных, которые видят со страху то своих вышедших из могил и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ. Но даже солдаты, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться страху, не раз принимали, ослепленные им, стадо овец за эскадрон закованных в броню всадников, камыши и тростник за латников и копейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого цвета за красный [2].

Случилось, что, когда принц Бурбонский брал Рим [3], одного знаменщика, стоявшего на часах около замка св. Ангела, охватил при первом же сигнале тревоги такой ужас, что он бросился через пролом, со знаменем в руке, вон из города, прямо на неприятеля, убежденный, что направляется в город, к своим, и только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу,— ибо они подумали, что это вылазка, предпринятая осажденными,— он, наконец, опомнившись, повернул вспять и возвратился в город через тот же пролом, через который вышел только затем, чтобы пройти свыше трехсот шагов в сторону неприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилось дело со знаменщиком Жюля Когда начался штурм Сен-Поля, взятого тогда у нас графом де Бюром и господином дю Рю, этот знаменщик настолько потерялся от страха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем через пролом и был изрублен шедшими на приступ неприятельскими солдатами. Во время той же осады произошел памятный для всех случай, когда сердце одного дворянина охватил, сжал и оледенил такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имея на себе даже царапины.

Подобный страх овладевает иногда множеством людей. Во время одного из походов Германика [4] против аллеманов два значительных отряда римлян, охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях, причем один из них устремился как раз туда, откуда уходил другой.

Страх то окрыляет нам пятки, как в двух предыдущих примерах, то, напротив пригвождает и сковывает нам ноги, как можно прочесть об императоре Феофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами [5], впал в такое безразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать: adeo, pavor etiam auxilia formidat *. Кончилось тем, что Мануил, один из главных его военачальников, схватив его за плечо и встряхнув, как делают, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратился к нему с такими словами: «Если ты не последуешь сейчас же за мною, я предам тебя смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем, потеряв царство, сделаться пленником».

---

* До такой степени страх заставляет трепетать даже перед тем, что могло бы оказать помощь [6] (*лат.*).

Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом — в этот раз командовал ими консул Семпроний — один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видя, в своем малодушии, иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту же самую цену, которою мог бы купить блистательную победу. Вот чего я страшусь больше самого страха.

Вообще же страх ощущается нами с большею остротой, нежели остальные напасти.

Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы взглянуть на него. Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге; они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабы зачастую живут столь же беспечно, как все прочие люди. А сколько было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим, чем сама смерть.

Греки различали особый вид страха, который ни в какой степени не зависит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порою целый народ, целые армии. Таким был и тот приступ страха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всем городе слышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Всюду можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов, словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это были враги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и неистовства продолжались до тех пор, пока молитвами и жертвоприношениями они не смирили гнева богов [7].

Такой страх греки называли паническим.



Глава XIX

О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СУДИТЬ, СЧАСТЛИВ ЛИ КТО-НИБУДЬ, ПОКА ОН НЕ УМЕР

Scilicet ultima semper
Exspectanda dies homini est, dicique beatus
Ante obitum nemo, supremaque funera debet *.

Всякому ребенку известен на этот счет рассказ о царе Крезе: захваченный в плен Киром и осужденный на смерть, перед самой казнью он воскликнул: «О, Солон, Солон!» Когда об этом было доложено Киру и тот спросил, что это значит, Крез ответил, что он убедился на своей шкуре в справедливости предупреждения, услышанного им некогда от Солона, что как бы приветливо ни улыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минет последний день его жизни, ибо шаткость и изменчивость судеб человеческих таковы, что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего толчка,— и все тут же меняется. Вот почему и Агесилай [2] сказал кому-то, утверждавшему, что царь персидский — счастливец, ибо, будучи совсем молодым, владеет столь могущественным престолом: «И Приам в таком возрасте не был несчастлив». Царей Македонии, преемников великого Александра, мы видим в Риме писцами и столярами, тиранов Сицилии — школьными учителями в Коринфе. Покоритель полумира, начальствовавший над столькими армиями, превращается в смиренного просителя, унижающегося перед презренными слугами владыки Египта; вот чего стоило прославленному Помпею продление его жизни еще на каких-нибудь пять-шесть месяцев [3]. А разве на памяти наших отцов не угасал, томясь в заключении в замке Лош, Лодовико Сфорца, десятый герцог Миланский, перед которым долгие годы трепетала Италия? И самое худшее в его участи то, что он провел там целых десять лет [4]. А разве не погибла от руки палача прекраснейшая из королев, вдова самого могущественного в христианском мире государя? [5] Такие примеры исчисляются тысячами. И можно подумать, что подобно тому как грозы и бури небесные ополчаются против гордыни и высокомерия наших чертогов, равным образом там наверху существуют духи, питающие зависть к величию некоторых обитателей земли:

Usque adeo res humanas vis abdita quaedam
Obterit, et pulchros fasces saevasque secures
Proculcare, ac ludibrio sibi habere videtur **.

---

* Итак, человек всегда должен ждать последнего своего дня, и никого нельзя назвать счастливым до его кончины и до свершения над ним погребальных обрядов [1] (*лат.*).

** Так некая скрытая сила рушит человеческие дела, и попирать великолепные фасции и грозные секиры для нее, видно, забава [6] (*лат.*).

Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока низвергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет нас воскликнуть подобно Лаберию[7]: Nimirum hac die una plus vixi, mihi quam vivendum fuit *.

Таким образом, у нас есть все основания прислушиваться к благому совету Солона. Но поскольку этот философ полагал, что милости или удары судьбы еще не составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могущество считал маловажными случайностями, я нахожу, что он смотрел глубже и хотел своими словами сказать, что не следует считать человека счастливым,— разумея под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, а также твердость и уверенность умеющей управлять собою души,— пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие. Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать, наконец, без утайки, что́ у тебя за душой:

> Nam verae voces tum demum pectore ab imo
> Eiiciuntur, et eripitur persona, manet res **.

Вот почему это последнее испытание — окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Этот день — верховный день, судья всех остальных наших дней. Этот день, говорит один древний автор[10], судит все мои прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить плоды моей деятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст или также из сердца.

Я знаю иных, которые своей смертью обеспечили добрую или, напротив, дурную славу всей своей прожитой жизни. Сципион, тесть Помпея, заставил своей смертью замолкнуть дурное мнение, существовавшее о нем прежде[11]. Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше — Хабрия, Ификрата или себя, ответил: «Чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас»[12]. И действительно, очень многое отнял бы у него тот, кто стал бы судить о нем, не приняв в расчет величия и благородства его кончины. Неисповедима воля господня! В мои времена три самых отвратительных человека, каких я когда-либо знал, ведших самый мерзкий образ жизни, три законченных негодяя умерли как подобает порядочным людям и во всех отношениях, можно сказать, безупречно.

---

* Ясно, что на один этот день прожил я дольше, чем мне следовало жить[8] (*лат.*).
** Ибо только тогда, наконец, из глубины души вырываются искренние слова, срывается личина и остается сущность[9] (*лат.*).

Бывают смерти доблестные и удачные. Так, например, я знавал одного человека, нить поразительных успехов которого была оборвана смертью в момент, когда он достиг наивысшей точки своего жизненного пути; конец его был столь величав, что, на мой взгляд, его честолюбивые и смелые замыслы не заключали в себе столько возвышенного, сколько это крушение их. Он пришел, не сделав ни шагу, к тому, чего добивался, и притом это свершилось более величественно и с большею славой, чем на это могли бы притязать его желания и надежды. Своей гибелью он приобрел больше могущества и более громкое имя, чем мечтал об этом при жизни [13].

Оценивая жизнь других, я неизменно учитываю, каков был конец ее, и на этот счет главнейшее из моих упований состоит в том, чтобы моя собственная жизнь закончилась достаточно хорошо, то есть спокойно и неприметно.



Глава XX

О ТОМ, ЧТО ФИЛОСОФСТВОВАТЬ — ЭТО ЗНАЧИТ УЧИТЬСЯ УМИРАТЬ

Цицерон говорит, что философствовать — это не что иное, как приуготовлять себя к смерти [1]. И это тем более верно, ибо исследование и размышление влекут нашу душу за пределы нашего бренного «я», отрывают ее от тела, а это и есть некое предвосхищение и подобие смерти; короче говоря, вся мудрость и все рассуждения в нашем мире сводятся, в конечном итоге, к тому, чтобы научить нас не бояться смерти. И в самом деле, либо наш разум смеется над нами, либо, если это не так, он должен стремиться только к одной-единственной цели, а именно обеспечить нам удовлетворение наших желаний, и вся его деятельность должна быть направлена лишь на то, чтобы доставить нам возможность творить добро и жить в свое удовольствие, как сказано в Священном писании [2]. Все в этом мире твердо убеждены, что наша конечная цель — удовольствие, и спор идет лишь о том, каким образом достигнуть его; противоположное мнение было бы тотчас отвергнуто, ибо кто стал бы слушать человека, утверждающего, что цель наших усилий — наши бедствия и страдания?

Разногласия между философскими школами в этом случае — чисто словесные. Transcurramus sollertissimas nugas *. Здесь больше упрямства и препирательств по мелочам, чем подобало бы людям такого возвышен-

* Давайте оставим эти мелкие ухищрения [3] (*лат.*).

ного призвания. Впрочем, кого бы ни взялся изображать человек, он всегда играет вместе с тем и себя самого. Что бы ни говорили, но даже в самой добродетели конечная цель — наслаждение. Мне нравится дразнить этим словом слух тех, кому оно очень не по душе. И когда оно действительно обозначает высшую степень удовольствия и полнейшую удовлетворенность, подобное наслаждение в большей мере зависит от добродетели, чем от чего-либо иного. Становясь более живым, острым, сильным и мужественным, такое наслаждение делается от этого лишь более сладостным. И нам следовало бы скорее обозначать его более мягким, более милым и естественным словом «удовольствие», нежели словом «вожделение», как его часто именуют. Что до этого более низменного наслаждения, то если оно вообще заслуживает этого прекрасного названия, то разве что в порядке соперничества, а не по праву. Я нахожу, что этот вид наслаждения еще более, чем добродетель, сопряжен с неприятностями и лишениями всякого рода. Мало того, что оно мимолетно, зыбко и преходяще, ему также присущи и свои бдения, и свои посты, и свои тяготы, и пот, и кровь; сверх того, с ним сопряжены особые, крайне мучительные и самые разнообразные страдания, а затем — пресыщение, до такой степени тягостное, что его можно приравнять к наказанию. Мы глубоко заблуждаемся, считая, что эти трудности и помехи обостряют такое наслаждение и придают ему особую пряность, подобно тому как это происходит в природе, где противоположности, сталкиваясь, вливают друг в друга новую жизнь; но в не меньшее заблуждение мы впадаем, когда, переходя к добродетели, говорим, что сопряженные с нею трудности и невзгоды превращают ее в бремя для нас, делают чем-то бесконечно суровым и недоступным, ибо тут гораздо больше, чем в сравнении с вышеназванным наслаждением, они облагораживают, обостряют и усиливают божественное и совершенное удовольствие, которое добродетель дарует нам. Поистине недостоин общения с добродетелью тот, кто кладет на чаши весов жертвы, которых она от нас требует, и приносимые ею плоды, сравнивая их вес; такой человек не представляет себе ни благодеяний добродетели, ни всей ее прелести. Если кто утверждает, что достижение добродетели — дело мучительное и трудное и что лишь обладание ею приятно, это все равно как если бы он говорил, что она всегда неприятна. Разве есть у человека такие средства, с помощью которых кто-нибудь хоть однажды достиг полного обладания ею? Наиболее совершенные среди нас почитали себя счастливыми и тогда, когда им выпадала возможность добиваться ее, хоть немного приблизиться к ней, без надежды обладать когда-нибудь ею. Но говорящие так ошибаются: ведь погоня за всеми известными нам удовольствиями сама по себе вызывает в нас приятное чувство. Само стремление порождает в нас желанный образ, а ведь в нем содержится добрая доля того, к чему должны привести наши действия, и представление о вещи едино с ее образом по своей сущности. Блаженство и счастье, которыми светится добродетель, заливают ярким сиянием все имеющее к ней отношение, начиная с преддверия и кончая последним ее пределом. И одно из главнейших благодеяний ее — презрение к смерти; оно придает

нашей жизни спокойствие и безмятежность, оно позволяет вкушать ее чистые и мирные радости; когда же этого нет — отравлены и все прочие наслаждения.

Вот почему все философские учения встречаются и сходятся в этой точке. И хотя они в один голос предписывают нам презирать страдания, нищету и другие невзгоды, которым подвержена жизнь человека, все же не это должно быть первейшей нашей заботою, как потому, что эти невзгоды не столь уже неизбежны (бóльшая часть людей проживает жизнь, не испытав нищеты, а некоторые — даже не зная, что такое физическое страдание и болезни, каков, например, музыкант Ксенофил, умерший в возрасте ста шести лет и пользовавшийся до самой смерти прекрасным здоровьем [4]), так и потому, что, на худой конец, когда мы того пожелаем, можно прибегнуть к помощи смерти, которая положит предел нашему земному существованию и прекратит наши мытарства. Но что касается смерти, то она неизбежна:

Omnes eodem cogimur, omnium
Versatur urna, serius ocius
Sors exitura et nos in aeternum
Exitium impositura cymbae *.

Из чего следует, что если она внушает нам страх, то это является вечным источником наших мучений, облегчить которые невозможно. Она подкрадывается к нам отовсюду. Мы можем, сколько угодно, оборачиваться во все стороны, как мы делаем это в подозрительных местах: quae quasi saxum Tantalo semper impendet **. Наши парламенты нередко отсылают преступников для исполнения над ними смертного приговора в то самое место, где совершено преступление. Заходите с ними по дороге в роскошнейшие дома, угощайте их там изысканнейшими яствами и напитками,

non Siculae dapes
Dulcem elaborabunt saporem,
Non avium cytharaeque cantus
Somnum reducent ***;

думаете ли вы, что они смогут испытать от этого удовольствие и что конечная цель их путешествия, которая у них всегда пред глазами, не отобьет у них вкуса ко всей этой роскоши, и та не поблекнет для них?

Audit iter, numeratque dies, spatioque viarum
Metitur vitam, torquetur peste futura ****.

---

* Все мы влекомы к одному и тому же; для всех встряхивается урна, позже ли, раньше ли — выпадет жребий и нас для вечной погибели обречет ладье [Харона] [5] (*лат.*).

** Она всегда угрожает, словно скала Тантала [6] (*лат.*).

*** ...ни сицилийские яства не будут услаждать его, ни пение птиц и игра на кифаре не возвратят ему сна [7] (*лат.*).

**** Он тревожится о пути, считает дни, отмеряет жизнь дальностью дорог и мучим мыслями о грядущих бедствиях [8] (*лат.*).

Конечная точка нашего жизненного пути — это смерть, предел наших стремлений, и если она вселяет в нас ужас, то можно ли сделать хотя бы один-единственный шаг, не дрожа при этом, как в лихорадке? Лекарство, применяемое невежественными людьми,— вовсе не думать о ней. Но какая животная тупость нужна для того, чтобы обладать такой слепотой! Таким только и взнуздывать осла с хвоста.

Qui capite ipse suo instituit vestigia retro,— *

и нет ничего удивительного, что подобные люди нередко попадаются в западню. Они страшатся назвать смерть по имени, и большинство из них при произнесении кем-нибудь этого слова крестится так же, как при упоминании дьявола. И так как в завещании необходимо упомянуть смерть, то не ждите, чтобы они подумали о его составлении прежде, чем врач произнесет над ними свой последний приговор; и одному богу известно, в каком состоянии находятся их умственные способности, когда, терзаемые смертными муками и страхом, они принимаются, наконец, стряпать его.

Так как слог, обозначавший на языке римлян «смерть» [10], слишком резал их слух, и в его звучании им слышалось нечто зловещее, они научились либо избегать его вовсе, либо заменять перифразами. Вместо того, чтобы сказать «он умер», они говорили «он перестал жить» или «он отжил свое». Поскольку здесь упоминается жизнь, хотя бы и завершившаяся, это приносило им известное утешение. Мы заимствовали отсюда наше: «покойный господин имя рек». При случае, как говорится, слово дороже денег. Я родился между одиннадцатью часами и полночью, в последний день февраля тысяча пятьсот тридцать третьего года по нашему нынешнему летосчислению, то есть, считая началом года январь [11]. Две недели тому назад закончился тридцать девятый год моей жизни, и мне следует прожить, по крайней мере, еще столько же. Было бы безрассудством, однако, воздерживаться от мыслей о такой далекой, казалось бы, вещи. В самом деле, и стар и млад одинаково сходят в могилу. Всякий не иначе уходит из жизни, как если бы он только что вступил в нее. Добавьте сюда, что нет столь дряхлого старца, который, памятуя о Мафусаиле [12], не рассчитывал бы прожить еще годиков двадцать. Но, жалкий глупец,— ибо что же иное ты собой представляешь! — кто установил срок твоей жизни? Ты основываешься на болтовне врачей. Присмотрись лучше к тому, что окружает тебя, обратись к своему личному опыту. Если исходить из естественного хода вещей, то ты уже долгое время живешь благодаря особому благоволению неба. Ты превысил обычный срок человеческой жизни. И дабы ты мог убедиться в этом, подсчитай, сколько твоих знакомых умерло ранее твоего возраста, и ты увидишь, что таких много больше, чем тех, кто дожил до твоих лет. Составь, кроме того, список украсивших свою жизнь славою, и я побьюсь об заклад, что в нем окажется значительно больше умерших до тридцатипятилетнего возраста, чем перешедших этот порог. Разум и благочестие предписывают нам считать об-

* Он задумал идти, вывернув голову назад [9] (*лат.*).

разцом человеческой жизни жизнь Христа; но она окончилась для него, когда ему было тридцать три года. Величайший среди людей, на этот раз просто человек — я имею в виду Александра — умер в таком же возрасте.

И каких только уловок нет в распоряжении смерти, чтобы захватить нас врасплох!

Quid quisque vitet, nunquam homini satis
Cautum est in horas *.

Я не стану говорить о лихорадках и воспалении легких. Но кто мог бы подумать, что герцог Бретонский будет раздавлен в толпе, как это случилось при въезде папы Климента, моего соседа [14], в Лион? Не видали ли мы, как один из королей наших был убит, принимая участие в общей забаве? [15] И разве один из предков его не скончался, раненный вепрем? [16] Эсхил, которому было предсказано, что он погибнет раздавленный рухнувшей кровлей, мог сколько угодно принимать меры предосторожности: все они оказались бесполезными, ибо его поразил насмерть панцирь черепахи, выскользнувшей из когтей уносившего ее орла. Такой-то умер, подавившись виноградной косточкой [17]; такой-то император погиб от царапины, которую причинил себе гребнем; Эмилий Лепид — споткнувшись о порог своей собственной комнаты, а Авфидий — ушибленный дверью, ведущей в зал заседаний совета. В объятиях женщин окончили свои дни: претор Корнелий Галл, Тигеллин, начальник городской стражи в Риме, Лодовико, сын Гвидо Гонзаго, маркиза Мантуанского, а также — и эти примеры будут еще более горестными — Спевсипп, философ школы Платона, и один из пап. Бедняга Бебий, судья, предоставив недельный срок одной из тяжущихся сторон, тут же испустил дух, ибо срок, предоставленный ему самому, истек. Скоропостижно скончался и Гай Юлий, врач; в тот момент, когда он смазывал глаза одному из больных, смерть смежила ему его собственные. Да и среди моих родных бывали тому примеры: мой брат, капитан Сен-Мартен, двадцатитрехлетний молодой человек, уже успевший, однако, проявить свои незаурядные способности, как-то во время игры был сильно ушиблен мячом, причем удар, пришедшийся немного выше правого уха, не причинил раны и не оставил после себя даже кровоподтека. Получив удар, брат мой не прилег и даже не присел, но через пять или шесть часов скончался от апоплексии, причиненной этим ушибом. Наблюдая столь частые и столь обыденные примеры этого рода, можем ли мы отделаться от мысли о смерти и не испытывать всегда и всюду ощущения, будто она уже держит нас за ворот.

Но не все ли равно, скажете вы, каким образом это с нами произойдет? Лишь бы не мучиться! Я держусь такого же мнения, и какой бы мне ни представился способ укрыться от сыплющихся ударов, будь то даже под шкурой теленка, я не таков, чтобы отказаться от этого. Меня устраивает решительно все, лишь бы мне было покойно. И я изберу для себя наилуч-

---

* Человек не в состоянии предусмотреть, чего ему должно избегать в то или иное мгновение [13] (*лат.*).

шую долю из всех, какие мне будут предоставлены, сколь бы она ни была, на ваш взгляд, мало почетной и скромной:

praetulerim delirus inersque videri
Dum mea delectent mala me, vel denique fallant,
Quam sapere et ringi *.

Но было бы настоящим безумием питать надежды, что таким путем можно перейти в иной мир. Люди снуют взад и вперед, топчутся на одном месте, пляшут, а смерти нет и в помине. Все хорошо, все как нельзя лучше. Но если она нагрянет,— к ним ли самим или к их женам, детям, друзьям, захватив их врасплох, беззащитными,— какие мучения, какие вопли, какая ярость и какое отчаянье сразу овладевают ими! Видели ли вы кого-нибудь таким же подавленным, настолько же изменившимся, настолько смятенным? Следовало бы поразмыслить об этих вещах заранее. А такая животная беззаботность,— если только она возможна у сколько-нибудь мыслящего человека (по-моему, она совершенно невозможна) — заставляет нас слишком дорогою ценой покупать ее блага. Если бы смерть была подобна врагу, от которого можно убежать, я посоветовал бы воспользоваться этим оружием трусов. Но так как от нее ускользнуть невозможно, ибо она одинаково настигает беглеца, будь он плут или честный человек,

Nempe et fugacem persequitur virum,
Nec parcit imbellis iuventae
Poplitibus, timidoque tergo **,

и так как даже наилучшая броня от нее не обережет,

Ille licet ferro cautus se condat et aere,
Mors tamen inclusum protrahet inde caput ***,

давайте научимся встречать ее грудью и вступать с нею в единоборство. И, чтобы отнять у нее главный козырь, изберем путь, прямо противоположный обычному. Лишим ее загадочности, присмотримся к ней, приучимся к ней, размышляя о ней чаще, нежели о чем-либо другом. Будемте всюду и всегда вызывать в себе ее образ и притом во всех возможных ее обличиях. Если под нами споткнется конь, если с крыши упадет черепица, если мы наколемся о булавку, будем повторять себе всякий раз: «А что, если это и есть сама смерть?» Благодаря этому мы окрепнем, сделаемся более стойкими. Посреди празднества, в разгар веселья пусть неизменно звучит в наших ушах все тот же припев, напоминающий о нашем уделе; не будем позволять удовольствиям захватывать нас настолько

* ...я предпочел бы казаться слабоумным и бездарным, лишь бы мои недостатки развлекали меня или, по крайней мере, обманывали, чем их сознавать и терзаться от этого [18] (*лат.*).

** Ведь она преследует и беглеца-мужа и не щадит ни поджилок ни робкой спины трусливого юноши [19] (*лат.*).

*** Пусть он предусмотрительно покрыл себя железом и медью, смерть все же извлечет из доспехов его защищенную голову [20] (*лат.*).

чтобы время от времени у нас не мелькала мысль: как наша веселость непрочна, будучи постоянно мишенью для смерти, и каким только нежданным ударам ни подвержена наша жизнь! Так поступали египтяне, у которых был обычай вносить в торжественную залу, наряду с самыми лучшими яствами и напитками, мумию какого-нибудь покойника, чтобы она служила напоминанием для пирующих.

Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
Grata superveniet, quae non sperabitur hora *.

Неизвестно, где поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о смерти — значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь — не зло. Когда к Павлу Эмилию явился посланец от несчастного царя македонского, его пленника, передавший просьбу последнего не принуждать его идти за триумфальною колесницей, тот ответил: «Пусть обратится с этой просьбой к себе самому».

По правде сказать, в любом деле одним уменьем и стараньем, если не дано еще кое-что от природы, многого не возьмешь. Я по натуре своей не меланхолик, но склонен к мечтательности. И ничто никогда не занимало моего воображения в большей мере, чем образы смерти. Даже в наиболее легкомысленную пору моей жизни —

Iucundum cum aetas florida ver ageret **,

когда я жил среди женщин и забав, иной, бывало, думал, что я терзаюсь муками ревности или разбитой надеждой, тогда как в действительности мои мысли были поглощены каким-нибудь знакомым, умершим на днях от горячки, которую он подхватил, возвращаясь с такого же празднества, с душой, полною неги, любви и еще не остывшего возбуждения, совсем как это бывает со мною, и в ушах у меня неотвязно звучало:

Iam fuerit, nec post unquam revocare licebit ***.

Эти раздумья не избороздили мне морщинами лба больше, чем все остальные. Впрочем, не бывает, конечно, чтобы подобные образы при первом своем появлении не причиняли нам боли. Но возвращаясь к ним все снова и снова, можно, в конце концов, освоиться с ними. В противном случае — так было бы, по крайней мере, со мной — я жил бы в непрестанном страхе волнений, ибо никто никогда не доверял своей жизни меньше моего, никто меньше моего не рассчитывал на ее длительность. И превосходное здоровье, которым я наслаждаюсь посейчас и которое нарушалось весьма редко, нисколько не может укрепить моих надежд на этот счет,

---

* Считай всякий день, что тебе выпал, последним, и будет милым тот час, на который ты не надеялся [21] (*лат.*).

** Когда мой цветущий возраст переживал свою веселую весну [22] (*лат.*).

*** Он отживет свое, и никогда уже нельзя будет призвать его назад [23] (*лат.*).

ни болезни — ничего в них убавить. Меня постоянно преследует ощущение, будто я все время ускользаю от смерти. И я без конца нашептываю себе: «Что возможно в любой день, то возможно также сегодня». И впрямь, опасности и случайности почти или — правильнее сказать — нисколько не приближают нас к нашей последней черте; и если мы представим себе, что, кроме такого-то несчастья, которое угрожает нам, по-видимому, всех больше, над нашей головой нависли миллионы других, мы поймем, что смерть действительно всегда рядом с нами,—и тогда, когда мы веселы, и когда горим в лихорадке, и когда мы на море, и когда у себя дома, и когда в сражении, и когда отдыхаем. Nemo altero fragilior est: nemo in crastinum sui certior *. Мне всегда кажется, что до прихода смерти я так и не успею закончить то дело, которое должен выполнить, хотя бы для его завершения требовалось не более часа. Один мой знакомый, перебирая как-то мои бумаги, нашел среди них заметку по поводу некоей вещи, которую, согласно моему желанию, надлежало сделать после моей кончины. Я рассказал ему, как обстояло дело: находясь на расстоянии какого-нибудь лье от дома, вполне здоровый и бодрый, я поторопился записать свою волю, так как не был уверен, что успею добраться к себе. Вынашивая в себе мысли такого рода и вбивая их себе в голову, я всегда подготовлен к тому, что это может случиться со мной в любое мгновенье. И как бы внезапно ни пришла ко мне смерть, в ее приходе не будет для меня ничего нового.

Нужно, чтобы сапоги были всегда на тебе, нужно, насколько это зависит от нас, быть постоянно готовыми к походу, и в особенности остерегаться, как бы в час выступления мы не оказались во власти других забот, кроме как о себе.

Quid brevi fortes iaculamur aevo
Multa? **

Ведь забот у нас, и без того предостаточно. Один сетует не столько даже на самую смерть, сколько на то, что она помешает ему закончить с блестящим успехом начатое дело; другой — что приходится переселяться на тот свет, не успев устроить замужество дочери или проследить за образованием детей; этот оплакивает разлуку с женой, тот — с сыном, так как в них была отрада всей его жизни.

Что до меня, то я, благодарение богу, готов убраться отсюда, когда ему будет угодно, не печалуясь ни о чем, кроме самой жизни, если уход из нее будет для меня тягостен. Я свободен от всяких пут; я наполовину уже распрощался со всеми, кроме себя самого. Никогда еще не было человека, который был бы так основательно подготовлен к тому, чтобы уйти из этого мира, человека, который отрешился бы от него так окончательно, как, надеюсь, это удалось сделать мне.

---

* Всякий человек столь же хрупок, как все прочие; всякий одинаково не уверен в завтрашнем дне [24] (*лат.*).

** К чему нам в быстротечной жизни дерзко домогаться столь многого? [25] (*лат.*).

Miser, o miser, aiunt, omnia ademit
Una dies infesta mihi tot praemia vitae *.

А вот слова, подходящие для любителя строиться:

Manent opera interrupta, minaeque
Murorum ingentes **.

Не стоит, однако, в чем бы то ни было загадывать так далеко вперед или, во всяком случае, проникаться столь великою скорбью из-за того, что тебе не удастся увидеть завершение начатого тобой. Мы рождаемся для деятельности:

Cum moriar, medium solvar et inter opus ***.

Я хочу, чтобы люди действовали, чтобы они как можно лучше выполняли налагаемые на них жизнью обязанности, чтобы смерть застигла меня за посадкой капусты, но я желаю сохранить полное равнодушие и к ней, и, тем более, к моему не до конца возделанному огороду. Мне довелось видеть одного умирающего, который уже перед самой кончиной не переставал выражать сожаление, что злая судьба оборвала нить составляемой им истории на пятнадцатом или шестнадцатом из наших королей.

Illud in his rebus non addunt, nec tibi earum
Iam desiderium rerum super insidet una ****.

Нужно избавиться от этих малодушных и гибельных настроений. И подобно тому, как наши кладбища расположены возле церквей или в наиболее посещаемых местах города, дабы приучить, как сказал Ликург, детей, женщин и простолюдинов не пугаться при виде покойников, а также, чтобы человеческие останки, могилы и похороны, наблюдаемые нами изо дня в день, постоянно напоминали об ожидающей нас судьбе,

Quin etiam exhilarare viris convivia caede
Mos olim, et miscere epulis spectacula dira
Certantum ferro, saepe et super ipsa cadentum
Pocula respersis non parco sanguine mensis *****;

подобно также тому, как египтяне, по окончании пира, показывали присутствующим огромное изображение смерти, причем державший его восклицал: «Пей и возвеселись сердцем, ибо, когда умрешь, ты будешь таким же», так и я приучил себя не только думать о смерти, но и говорить о ней

* О я несчастный, о жалкий! — восклицают они. — Один горестный день отнял у меня все дары жизни [26] (*лат.*).

** Работы остаются незавершенными, и не закончены высокие зубцы стен [27] (*лат.*).

*** Я хочу, чтобы смерть застигла меня посреди трудов [28] (*лат.*).

**** Но вот чего они не добавляют: зато нет у тебя больше и стремления ко всему этому после смерти [29] (*лат.*).

***** Был в старину у мужей обычай оживлять пиры смертоубийством и примешивать к трапезе жестокое зрелище сражающихся, которые падали иной раз среди кубков, поливая обильно кровью пиршественные столы [30] (*лат.*).

всегда и везде. И нет ничего, что в большей мере привлекало б меня, чем рассказы о смерти такого-то или такого-то; что́ они говорили при этом, каковы были их лица, как они держали себя; это же относится и к историческим сочинениям, в которых я особенно внимательно изучаю места, где говорится о том же. Это видно хотя бы уже из обилия приводимых мною примеров и из того необычайного пристрастия, какое я питаю к подобным вещам. Если бы я был сочинителем книг, я составил бы сборник с описанием различных смертей, снабдив его комментариями. Кто учит людей умирать, тот учит их жить.

Дикеарх [31] составил подобную книгу, дав ей соответствующее название, но он руководствовался иною, и притом менее полезною целью.

Мне скажут, пожалуй, что действительность много ужаснее наших представлений о ней и что нет настолько искусного фехтовальщика, который не смутился бы духом, когда дело дойдет до этого. Пусть себе говорят, а все-таки размышлять о смерти наперед — это, без сомнения, вещь полезная. И потом, разве это безделица — идти до последней черты без страха и трепета? И больше того: сама природа спешит нам на помощь и ободряет нас. Если смерть — быстрая и насильственная, у нас нет времени исполниться страхом пред нею; если же она не такова, то, насколько я мог заметить, втягиваясь понемному в болезнь, я вместе с тем начинаю естественно проникаться известным пренебрежением к жизни. Я нахожу, что обрести решимость умереть, когда я здоров, гораздо труднее, чем тогда, когда меня треплет лихорадка. Поскольку радости жизни не влекут меня больше с такою силой, как прежде, ибо я перестаю пользоваться ими и получать от них удовольствие,— я смотрю и на смерть менее испуганными глазами. Это вселяет в меня надежду, что чем дальше отойду я от жизни и чем ближе подойду к смерти, тем легче мне будет свыкнуться с мыслью, что одна неизбежно сменит другую. Убедившись на многих примерах в справедливости замечания Цезаря, утверждавшего, что издалека вещи кажутся нам нередко значительно бо́льшими, чем вблизи, я подобным же образом обнаружил, что, будучи совершенно здоровым, я гораздо больше боялся болезней, чем тогда, когда они давали знать о себе: бодрость, радость жизни и ощущение собственного здоровья заставляют меня представлять себе противоположное состояние настолько отличным от того, в котором я пребываю, что я намного преувеличиваю в своем воображении неприятности, доставляемые болезнями, и считаю их более тягостными, чем оказывается в действительности, когда они настигают меня. Надеюсь, что и со смертью дело будет обстоять не иначе.

Рассмотрим теперь, как поступает природа, чтобы лишить нас возможности ощущать, несмотря на непрерывные перемены к худшему и постепенное увядание, которое все мы претерпеваем, и эти наши потери и наше постепенное разрушение. Что остается у старика из сил его юности, от его былой жизни?

Heu senibus vitae portio quanta manet *.

---

* Увы! Сколь малая толика жизни оставлена старцам [32] (*лат.*).

Когда один из телохранителей Цезаря, старый и изнуренный, встретив его на улице, подошел к нему и попросил отпустить его умирать, Цезарь, увидев, насколько он немощен, довольно остроумно ответил: «Так ты, оказывается, мнишь себя живым?» Я не думаю, что мы могли бы снести подобное превращение, если бы оно сваливалось на нас совершенно внезапно. Но жизнь ведет нас за руку по отлогому, почти неприметному склону, потихоньку да полегоньку, пока не ввергнет в это жалкое состояние, заставив исподволь свыкнуться с ним. Вот почему мы не ощущаем никаких потрясений, когда наступает смерть нашей молодости, которая, право же, по своей сущности гораздо более жестока, нежели кончина еле теплящейся жизни, или же кончина нашей старости. Ведь прыжок от бытия-прозябания к небытию менее тягостен, чем от бытия — радости и процветания к бытию — скорби и муке.

Скрюченное и согбенное тело не в состоянии выдержать тяжелую ношу; то же и с нашей душой: ее нужно выпрямить и поднять, чтобы ей было под силу единоборство с таким противником. Ибо если невозможно, чтобы она пребывала спокойной, трепеща перед ним, то, избавившись от него, она приобретает право хвалиться,— хотя это, можно сказать, почти превосходит человеческие возможности,— что в ней не осталось более места для тревоги, терзаний, страха или даже самого легкого огорчения.

Non vultus instantis tyranni
Mente quatit solida, neque Auster
Dux inquieti turbidus Adriae,
Nec fulminantis magna Iovis manus *.

Она сделалась госпожой своих страстей и желаний; она властвует над нуждой, унижением, нищетой и всеми прочими превратностями судьбы. Так давайте же, каждый в меру своих возможностей, добиваться столь важного преимущества! Вот где подлинная и ничем не стесняемая свобода, дающая нам возможность презирать насилие и произвол и смеяться над тюрьмами и оковами:

in manicis, et
Compedibus, saevo te sub custode tenebo.
Ipse deus simul atque volam, me solvet: opinor
Hoc sentit, moriar. Mors ultima linea rerum est **.

Ничто не влекло людей к нашей религии более, чем заложенное в ней презрение к жизни. И не только голос разума призывает нас к этому, говоря: стоит ли бояться потерять нечто такое, потеря чего уже не сможет вызвать в нас сожаления? — но и такое соображение: раз нам угрожают столь многие виды смерти, не тягостнее ли страшиться их всех, чем пре-

* Ничто не в силах поколебать стойкость его души: ни взгляд грозного тирана, ни Австр [южный ветер], буйный владыка бурной Адриатики, ни мощная рука громовержца Юпитера [33] (*лат.*).

** «В наручниках и сковав тебе ноги, я буду держать тебя во власти сурового тюремщика».— «Сам бог, как только я захочу, освободит меня». Полагаю, он думал при этом: «Я умру». Ибо со смертью — конец всему [34] (*лат.*).

терпеть какой-либо один? И раз смерть неизбежна, не все ли равно, когда она явится? Тому, кто сказал Сократу: «Тридцать тиранов осудили тебя на смерть», последний ответил: «А их осудила на смерть природа» [35].

Какая бессмыслица огорчаться из-за перехода туда, где мы избавимся от каких бы то ни было огорчений!

Подобно тому как наше рождение принесло для нас рождение всего окружающего, так и смерть наша будет смертью всего окружающего. Поэтому столь же нелепо оплакивать, что через сотню лет нас не будет в живых, как то, что мы не жили за сто лет перед этим. Смерть одного есть начало жизни другого. Точно так же плакали мы, таких же усилий стоило нам вступить в эту жизнь, и так же, вступая в нее, срывали мы с себя свою прежнюю оболочку.

Не может быть тягостным то, что происходит один-единственный раз. Имеет ли смысл трепетать столь долгое время перед столь быстротечною вещью? Долго ли жить, мало ли жить, не все ли равно, раз и то и другое кончается смертью? Ибо для того, что больше не существует, нет ни долгого ни короткого. Аристотель рассказывает, что на реке Гипанис обитают крошечные насекомые, живущие не дольше одного дня. Те из них, которые умирают в восемь часов утра, умирают совсем юными; умирающие в пять часов вечера умирают в преклонном возрасте. Кто же из нас не рассмеялся бы, если б при нем назвали тех и других счастливыми или несчастными, учитывая срок их жизни? Почти то же и с нашим веком, если мы сравним его с вечностью или с продолжительностью существования гор, рек, небесных светил, деревьев и даже некоторых животных [36].

Впрочем, природа не дает нам зажиться. Она говорит: «Уходите из этого мира так же, как вы вступили в него. Такой же переход, какой некогда бесстрастно и безболезненно совершили вы от смерти к жизни, совершите теперь от жизни к смерти. Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселенной порядка; она звено мировой жизни:

inter se mortales mutua vivunt
Et quasi cursores vitai lampada tradunt *.

Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть — обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то значит, вы стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей половиной принадлежит жизни, другой — смерти. В день своего рождения вы в такой же мере начинаете жить, как умирать:

Prima, quae vitam dedit, hora, carpsit **.

Nascentes morimur, finisque ab origine pendet ***.

---

* Смертные перенимают жизнь одни у других... и словно скороходы, передают один другому светильник жизни [37] (*лат.*).

** Первый же час давший нам жизнь, укоротил ее [38] (*лат.*).

*** Рождаясь, мы умираем; конец обусловлен началом [39] (*лат.*).

Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть. Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы покинете жизнь.

Или, если угодно, вы становитесь мертвыми, прожив свою жизнь, но проживаете вы ее, умирая: смерть, разумеется, несравненно сильнее поражает умирающего, нежели мертвого, гораздо острее и глубже.

Если вы познали радости жизни, вы успели насытиться ими; так уходите же с удовлетворением в сердце:

Cur non ut plenus vitae conviva recedis? *

Если же вы не сумели ею воспользоваться, если она поскупилась для вас, что́ вам до того, что вы потеряли ее, на что она вам?

Cur amplius addere quaeris
Rursum quod pereat male, et ingratum occidat omne? **

Жизнь сама по себе — ни благо, ни зло: она вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. И если вы прожили один-единственный день, вы видели уже все. Каждый день таков же, как все прочие дни. Нет ни другого света, ни другой тьмы. Это солнце, эта луна, эти звезды, это устройство вселенной — все это то же, от чего вкусили пращуры ваши и что взрастит ваших потомков:

Non alium videre patres: aliumve nepotes
Aspicient ***.

И, на худой конец, все акты моей комедии, при всем разнообразии их, протекают в течение одного года. Если вы присматривались к хороводу четырех времен года, вы не могли не заметить, что они обнимают собою все возрасты мира: детство, юность, зрелость и старость. По истечении года делать ему больше нечего. И ему остается только начать все сначала. И так будет всегда:

versamur ibidem, atque insumus usque
Atque in se sua per vestigia volvitur annus ****.

Или вы воображаете, что я стану для вас создавать какие-то новые развлечения?

Nam tibi praeterea quod machiner, inveniamque
Quod placeat, nihil est, eadem sunt omnia semper *****.

---

* Почему же ты не уходишь из жизни, как пресыщенный сотрапезник [с пира]? [40] (*лат.*).

** Почему же ты стремишься продлить то, что погибнет и осуждено на бесследное исчезновение? [41] (*лат.*).

*** Это то, что видели наши отцы, это то, что будут видеть потомки [42] (*лат.*).

**** Мы вращаемся и пребываем всегда среди одного и того же... И к себе по своим же следам возвращается год [43] (*лат.*).

***** Ибо, что бы я [Природа] ни придумала, чтобы я ни измыслила, нет ничего такого, что тебе бы не понравилось, все всегда остается тем же самым [44] (*лат.*).

Освбодите место другим, как другие освободили его для вас. Равенство есть первый шаг к справедливости. Кто может жаловаться на то, что он обречен, если все другие тоже обречены? Сколько бы вы ни жили, вам не сократить того срока, в течение которого вы пребудете мертвыми. Все усилия здесь бесцельны: вы будете пребывать в том состоянии, которое внушает вам такой ужас, столько же времени, как если бы вы умерли на руках кормилицы:

licet, quod vis, vivendo vincere saecla,
Mors aeterna tamen nihilominus illa manebit *.

И я поведу вас туда, где вы не будете испытывать никаких огорчений:

In vera nescis nullum fore morte alium te,
Qui possit vivus tibi te lugere peremotum.
Stansque iacentem **.

И не будете желать жизни, о которой так сожалеете:

Nec sibi enim quisquam tum se vitamque requirit,
Nec desiderium nostri nos afficit ullum ***.

Страху смерти подобает быть ничтожнее, чем ничто, если существует что-нибудь ничтожнее, чем это последнее:

multo mortem minus ad nos esse putandum
Si minus esse potest quam quod nihil esse videmus ****.

Что вам до нее — и когда вы умерли, и когда живы? Когда живы — потому, что вы существуете; когда умерли — потому, что вас больше не существует.

Никто не умирает прежде своего часа. То время, что останется после вас, не более ваше, чем то, что протекало до вашего рождения; и ваше дело тут — сторона:

Respice enim quam nil ad nos ante acta vetustas
Temporis aeterni fuerit *****

Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожил мало; не мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет определяет продолжительность вашей жизни. Неужели вы думали, что никогда так и не доберетесь туда, куда идете,

---

* Можно побеждать, сколько угодно, жизнью века,— все равно тебе предстоит вечная смерть [45] (*лат.*).

** Неужели ты не знаешь, что после истинной смерти не будет второго тебя, который мог бы, живой, оплакивать тебя, умершего, стоя над лежащим [46] (*лат.*).

*** И тогда никто не заботится ни о себе, ни о жизни... и у нас нет больше печали о себе [47] (*лат.*).

**** нужно считать, что смерть для нас — нечто гораздо меньшее,— если только может быть меньшее,— чем то, что, как видим, является ничем [48] (*лат.*).

***** Ибо заметь, вечность минувших времен для нас совершеннейшее ничто [49] (*лат.*).

не останавливаясь? Да есть ли такая дорога, у которой не было бы конца? И если вы можете найти утешение в доброй компании, то не идет ли весь мир той же стезею, что вы?

Omnia te vita perfuncta sequentur *.

Не начинает ли шататься все вокруг вас, едва пошатнетесь вы сами? Существует ли что-нибудь, что не старилось бы вместе с вами? Тысячи людей, тысячи животных, тысячи других существ умирают в то же мгновение, что и вы:

Nam nox nulla diem, neque noctem aurora secuta est,
Quae non audierit mistos vagitibus aegris
Ploratus, mortis cimites et funeris atri **.

Что пользы пятиться перед тем, от чего вам все равно не уйти? Вы видели многих, кто умер в самое время, ибо избавился, благодаря этому, от великих несчастий. Но видели ли вы хоть кого-нибудь, кому бы смерть причинила их? Не очень-то умно осуждать то, что не испытано вами, ни на себе, ни на другом. Почему же ты жалуешься и на меня и на свою участь? Разве мы несправедливы к тебе? Кому же надлежит управлять: нам ли тобою или тебе нами? Еще до завершения сроков твоих, жизнь твоя уже завершилась. Маленький человечек такой же цельный человек, как и большой.

Ни людей, ни жизнь человеческую не измерить локтями. Хирон отверг для себя бессмертие, узнав от Сатурна, своего отца, бога бесконечного времени, каковы свойства этого бессмертия [52]. Вдумайтесь хорошенько в то, что называют вечной жизнью, и вы поймете, насколько она была бы для человека более тягостной и нестерпимой, чем та, что я даровала ему. Если бы у вас не было смерти, вы без конца осыпали б меня проклятиями за то, что я вас лишила ее. Я сознательно подмешала к ней чуточку горечи, дабы, принимая во внимание доступность ее, воспрепятствовать вам слишком жадно и безрассудно устремляться навстречу ей. Чтобы привить вам ту умеренность, которой я от вас требую, а именно, чтобы вы не отвращались от жизни и вместе с тем не бежали от смерти, я сделала и ту и другую наполовину сладостными и наполовину скорбными.

Я внушила Фалесу, первому из ваших мудрецов, ту мысль, что жить и умирать — это одно и то же. И когда кто-то спросил его, почему же, в таком случае, он все-таки не умирает, он весьма мудро ответил: „Именно потому, что это одно и то же".

Вода, земля, воздух, огонь и другое, из чего сложено мое здание, суть в такой же мере орудия твоей жизни, как и орудия твоей смерти. К чему страшиться тебе последнего дня?. Он лишь в такой же мере способствует твоей смерти, как и все прочие. Последний шаг не есть причина усталости,

* ...и, прожив свою жизнь, все последуют за тобой [50] (*лат.*).

** Не было ни одной ночи, сменившей собой день, ни одной зари, сменившей ночь, которым не пришлось бы услышать смешанные с жалобным плачем малых детей стенания, этих спутников смерти и горестных похорон [51] (*лат.*).

он лишь дает ее почувствовать. Все дни твоей жизни ведут тебя к смерти; последний только подводит к ней».

Таковы благие наставления нашей родительницы-природы. Я часто задумывался над тем, почему смерть на войне — все равно, касается ли это нас самих или кого-либо иного,— кажется нам несравненно менее страшной, чем у себя дома; в противном случае, армия состояла бы из одних плакс да врачей; и еще: почему, несмотря на то, что смерть везде и всюду все та же, крестьяне и люди низкого звания относятся к ней много проще, чем все остальные? Я полагаю, что тут дело в печальных лицах и устрашающей обстановке, среди которых мы ее видим и которые порождают в нас страх еще больший, чем сама смерть. Какая новая, совсем необычная картина: стоны и рыдания матери, жены, детей, растерянные и смущенные посетители, услуги многочисленной челяди, их заплаканные и бледные лица, комната, в которую не допускается дневной свет, зажженные свечи, врачи и священники у нашего изголовья! Короче говоря, вокруг нас ничего, кроме испуга и ужаса. Мы уже заживо облачены в саван и преданы погребению. Дети боятся своих юных приятелей, когда видят их в маске,— то же происходит и с нами. Нужно сорвать эту маску как с вещей, так, тем более, с человека, и когда она будет сорвана, мы обнаружим под ней ту же самую смерть, которую незадолго перед этим наш старый камердинер или служанка претерпели без всякого страха. Благостна смерть, не давшая времени для этих пышных приготовлений.



Глава XXI

О СИЛЕ НАШЕГО ВООБРАЖЕНИЯ

Fortis imaginatio generat casum *,— говорят ученые.

Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой. Всякий более или менее поддается ему, но некоторых оно совершенно одолевает. Его натиск подавляет меня. Вот почему я норовлю ускользнуть от него, но не сопротивляться ему. Я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и веселые лица. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытывать физическое страдание, и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других. Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит в горле. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех, к кому меньше привязан и к кому испытываю меньшее уважение. Я перенимаю наблюдаемую бо-

* Сильное воображение порождает событие (*лат.*).

лезнь и испытываю ее на себе. И я не нахожу удивительным, что воображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто дает ему волю и поощряет его. Симон Тома был великим врачом своего времени. Помню, как однажды, встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больного чахоткой, он, толкуя о способах вернуть ему здоровье, сказал, между прочим, что один из них — это сделать для меня привлекательным пребывание в его обществе, ибо, направляя свой взор на мое свежее молодое лицо, а мысли на жизнерадостность и здоровье, источаемые моей юностью в таком изобилии, а также заполняя свои чувства цветением моей жизни, он сможет улучшить свое состояние. Он забыл только прибавить, что из-за этого может ухудшиться мое собственное здоровье. Вибий Галл настолько хорошо научился проникаться сущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум и никогда уже не мог вправить его; он мог бы с достаточным основанием похваляться, что стал безумным от мудрости [1]. Встречаются и такие, которые, трепеща перед рукой палача, как бы упреждают ее,— и вот тот, кого развязывают на эшафоте, чтобы прочитать ему указ о помиловании,— покойник, сраженный своим собственным воображением. Мы покрываемся потом, дрожим, краснеем, бледнеем, потрясаемые своими фантазиями, и, зарывшись в перину, изнемогаем от их натиска; случается, что иные даже умирают от этого. И пылкая молодежь иной раз так разгорячается, уснув в полном одеянии, что во сне получает удовлетворение своих любовных желаний:

Ut, quasi transactis saepe omnibus rebus, profundant
Fluminis ingentes fluctus vestemque cruentent *.

И хотя никому не внове, что в течение ночи могут вырасти рога у того, кто, ложась, не имел их в помине, все же происшедшее с Циппом [3], царем италийским, особенно примечательно; последний, следя весь день с неослабным вниманием за боем быков и видя ночь напролет в своих сновидениях бычью голову с большими рогами, кончил тем, что вырастил их на своем лбу одной силою воображения. Страсть одарила одного из сыновей Креза [4] голосом, в котором ему отказала природа; а Антиох схватил горячку, потрясенный красотой Стратоники, слишком сильно подействовавшей на его душу [5]. Плиний рассказывает, что ему довелось видеть некоего Луция Коссиция — женщину, превратившуюся в день своей свадьбы в мужчину. Понтано [6] и другие сообщают о превращениях такого же рода, имевших место в Италии и в последующие века. И благодаря не знающему преград желанию, а также желанию матери,

Vota puer solvit, quae femina voverat Iphis **.

Проезжая через Витри Ле-Франсе, я имел возможность увидеть там человека, которому епископ Суассонский дал на конфирмации имя Жер-

* Так что нередко они, словно бы совершив все, что требуется, извергают обильные потоки и марают свои одежды [2] (*лат.*).
** И юноша выполнил те обеты, которые были даны им же, когда он был девушкой Ифис [7] (*лат.*).

мен; этого молодого человека все местные жители знали и видели девушкой, носившей до двадцатидвухлетнего возраста имя Мария. В то время, о котором я вспоминаю, этот Жермен был с большой бородой, стар и не был женат. Мужские органы, согласно его рассказу, возникли у него в тот момент, когда он сделал усилие, чтобы прыгнуть подальше. И теперь еще между местными девушками распространена песня, в которой они предостерегают друг дружку от непомерных прыжков, дабы не сделаться юношами, как это случилось с Марией-Жерменом. Нет никакого чуда в том, что такие случаи происходят довольно часто. Если воображение в силах творить подобные вещи, то, постоянно прикованное к одному и тому же предмету, оно предпочитает порою, вместо того, чтобы возвращаться все снова и снова к тем же мыслям и тем же жгучим желаниям, одарять девиц навсегда этой мужской принадлежностью.

Некоторые приписывают рубцы короля Дагобера и святого Франциска [8] также силе их воображения. Говорят, что иной раз оно бывает способно поднимать тела и переносить их с места на место. А Цельс [9] — тот рассказывает о жреце, доводившем свою душу до такого экстаза, что тело его на долгое время делалось бездыханным и теряло чувствительность. Святой Августин называет другого, которому достаточно было услышать чей-нибудь плач или стон, как он сейчас же впадал в обморок, и настолько глубокий, что сколько бы ни кричали ему в самое ухо и вопили и щипали его и даже подпаливали, ничто не помогало, пока он не приходил, наконец, в сознание; он говорил, что в таких случаях ему слышатся какие-то голоса, но как бы откуда-то издалека и только теперь, опомнившись, он замечал свои синяки и ожоги. А что это не было упорным притворством и что он не скрывал просто-напросто свои ощущения, доказывается тем, что, пока длился обморок, он не дышал и у него не было пульса [10].

Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеет своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят.

Я держусь того мнения, что так называемое наведение порчи на новобрачных, которое столь многим людям причиняет большие неприятности и о котором в наше время столько толкуют, объясняется, в сущности, лишь действием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого я готов поручиться, как за себя самого, в том, что его-то уж никак нельзя заподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапно постигшем того, и притом в самый неподходящий момент, полном бессилии, испытал, оказавшись в сходном положении, то же самое вследствие страха, вызванного в нем этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с ним не раз случалась подобная вещь, ибо тягостное воспоминание о первой неудаче связывало и угнетало его. В конце

концов, он избавился от этого надуманного недуга при помощи другой выдумки. А именно, признаваясь в своем недостатке и предупреждая о нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможности неудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности, и она меньше тяготила его. После того как он избавился от угнетавшего его сознания вины и почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесные способности перешли в свое натуральное состояние; первая же попытка его оказалась удачной, и он добился полного исцеления.

Ведь кто оказался способным к этому хоть один раз, тот и в дальнейшем сохранит эту способность, если только он и в самом деле не страдает бессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах, когда наша душа сверх меры охвачена, с одной стороны, пылким желанием, с другой — робостью, и, особенно, если благоприятные обстоятельства застают нас врасплох и требуют решительности и быстроты действий; тут уж, действительно, ничем не поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды его собственное тело, когда в последнем началось пресыщение и вследствие этого ослабление плотского желания; с годами он стал ощущать в себе меньше бессилия именно потому, что сделался менее сильным. Знаю я и другого, которому от того же помог один из друзей, убедивший его, будто он обладает целой батареей амулетов разного рода, способных противостоять всяким чарам. Но лучше я расскажу все по порядку. Некий граф из очень хорошего рода, с которым я был в приятельских отношениях, женился на прелестной молодой женщине; поскольку за нею прежде упорно ухаживал некто, присутствовавший на торжестве, молодой супруг переполошил своими страхами и опасениями друзей и, в особенности, одну старую даму, свою родственницу, распоряжавшуюся на свадьбе и устроившую ее у себя в доме; эта дама, боявшаяся наваждений и сглаза, поделилась своею тревогой со мной. Я попросил ее положиться во всем на меня. К счастью, в моей шкатулке оказалась золотая вещица с изображенными на ней знаками Зодиака. Считалось, что, если ее приложить к черепному шву, она помогает от солнечного удара и головной боли, а дабы она могла там держаться, к ней была прикреплена лента, достаточно длинная, чтобы концы ее можно было завязывать под подбородком. Короче говоря, это такой же вздор, как и тот, о котором мы ведем речь. Этот необыкновенный подарок сделал мне Жак Пеллетье [11]. Я вознамерился употребить его в дело и сказал графу, что его может постигнуть такая же неудача, как и многих других, ибо тут находятся личности, готовые подстроить ему подобную неприятность. Но пусть он смело ложится в постель, так как я намерен оказать ему дружескую услугу и не пожалею для него чудесного средства, которым располагаю, при условии, что он даст мне слово сохранять относительно этого строжайшую тайну. Единственное, что потребуется от него, это чтобы ночью, когда мы понесем к нему в спальню свадебный ужин, он, буде дела его пойдут плохо, подал мне соответствующий знак. Его настолько взволновали мои слова и он настолько пал духом, что не мог совладать с разыгравшимся воображением и подал условленный между

нами знак. Тогда я сказал ему, чтобы он поднялся со своего ложа, как бы за тем, чтобы прогнать нас подальше, и, стащив с меня якобы в шутку шлафрок (мы были почти одного роста), надел его на себя, но только после того, как выполнит мои предписания, а именно: когда мы выйдем из спальни, ему следует удалиться будто бы за малой нуждою и трижды прочитать там такие-то молитвы и трижды же проделать такие-то телодвижения; и чтобы он всякий раз опоясывал себя при этом той лентою, которую я ему сунул в руку, прикладывая прикрепленную к ней медаль к определенному месту на пояснице, так, чтобы лицевая ее сторона находилась в таком-то и таком-то положении. Проделав это, он должен хорошенько закрепить ленту, чтобы она не развязалась и не сдвинулась с места и лишь после всего этого он может, наконец, с полной уверенностью в себе возвратиться к своим трудам. Но пусть он не забудет при этом, сбросив с себя мой шлафрок, швырнуть его к себе на постель, так чтобы он накрыл их обоих. Эти церемонии и есть самое главное; они-то больше всего и действуют: наш ум не может представить себе, чтобы столь необыкновенные действия не опирались на какие-нибудь тайные знания. Как раз их нелепость и придает им такой вес и значение. Короче говоря, обнаружилось с очевидностью, что знаки на моем талисмане связаны больше с Венерой, чем с Солнцем, а также, что они скорей поощряют, чем ограждают. На эту проделку толкнула меня внезапная и показавшаяся мне забавною прихоть моего воображения, в общем чуждая складу моего характера. Я враг всяческих ухищрений и выдумок. Я ненавижу хитрость, и не только потехи ради, но и тогда, когда она могла бы доставить выгоду. Если в самом поступке моем и не было ничего плохого, путь, мною избранный, все же плох.

Амасис, царь египетский [12], женился на Лаодике, очень красивой греческой девушке; и вдруг оказалось, что он, который неизменно бывал славным сотоварищем в любовных утехах, не в состоянии вкусить от нее наслаждений; он грозил, что убьет ее, считая, что тут не без колдовства. И как бывает обычно во всем, что является плодом воображения, оно увлекло его к благочестию; обратившись к Венере с обетами и мольбами, он ощутил уже в первую ночь после заклания жертвы и возлияний, что силы его чудесным образом восстановились.

И зря иные женщины встречают нас с таким видом, будто к ним опасно притронуться, будто они злятся на нас, и мы внушаем им неприязнь; они гасят в нас пыл, стараясь разжечь его. Сноха Пифагора говаривала, что женщина, которая спит с мужчиною, должна вместе с платьем сбрасывать с себя и стыдливость, а затем вместе с платьем вновь обретать ее. Душа осаждающего, скованная множеством тревог и сомнений, легко утрачивает власть над собою,— и кого воображение заставило хоть раз вытерпеть этот позор (а он возможен лишь на первых порах, поскольку первые приступы всегда ожесточеннее и неистовее, а также и потому, что вначале особенно сильны опасения в благополучном исходе), тот, плохо начав, испытывает волнение и досаду, вспоминая об этой беде, и то же самое, вследствие этого, происходит с ним и в дальнейшем.

Новобрачные, у которых времени сколько угодно, не должны торопиться и подвергать себя испытанию, пока они не готовы к нему; и лучше нарушить обычай и не спешить с воздаянием должного брачному ложу, где все исполнено волнения и лихорадки, а дожидаться, сколько бы ни пришлось, подходящего случая, уединения и спокойствия, чем сделаться на всю жизнь несчастным, пережив потрясение и впав в отчаянье от первой неудачной попытки.

Не без основания отмечают своенравие этого органа, так некстати оповещающего нас порой о своей готовности, когда нам нечего с нею делать, и столь же некстати утрачивающего ее, когда мы больше всего нуждаемся в ней; так своенравно сопротивляющегося владычеству нашей воли и с такою надменностью и упорством отвергающего те увещания, с которыми к нему обращается наша мысль. И все же, предложи он мне соответствующее вознаграждение, дабы я защищал его от упреков, служащих основанием, чтобы вынести ему обвинительный приговор, я постарался бы, в свою очередь, возбудить подозрение в отношении остальных наших органов, его сотоварищей, в том, что они, из зависти к важности и приятности принадлежащих ему обязанностей, выдвинули это ложное обвинение и составили заговор, дабы восстановить против него целый мир, злостно приписывая ему одному прегрешения, в которых повинны все они вместе.

Предоставляю вам поразмыслить, существует ли такая часть нашего тела, которая безотказно выполняла бы свою работу в согласии с нашей волей и никогда бы не действовала наперекор ей. Каждой из них свойственны свои особые страсти, которые пробуждают ее от спячки или погружают, напротив, в сон, не спрашиваясь у нас. Как часто непроизвольные движения на нашем лице уличают нас в таких мыслях, которые мы хотели бы утаить про себя, и тем самым выдают окружающим! Та же причина, что возбуждает наши сокровенные органы, возбуждает без нашего ведома также сердце, легкие, пульс: вид приятного нам предмета мгновенно воспламеняет нас лихорадочным возбуждением. Разве мышцы и жилы не напрягаются, а также не расслабляются сами собой, не только помимо участия нашей воли, но и тогда, когда мы даже не помышляем об этом? Не по нашему приказанию волосы становятся у нас дыбом, а кожа покрывается потом от желания или страха. Бывает и так, что язык цепенеет и голос застревает в гортани. Когда нам нечего есть, мы охотно запретили бы голоду беспокоить нас своими напоминаниями, и, однако, желание есть и пить не перестает терзать наши органы, подчиненные ему, совершенно так же, как то, другое желание; и оно же, когда ему вздумается, внезапно бежит от нас, и часто весьма некстати. Органы, предназначенные разгружать наш желудок, также сжимаются и расширяются по своему произволу, помимо нашего намерения, и порой вопреки ему, равно как и те, которым надлежит разгружать наши почки. Правда, св. Августин, чтобы доказать всемогущество нашей воли, в ряду других доказательств ссылается также на одного человека, которого он сам видел и который приказывал своему заду производить то или иное количество выстрелов, а комментатор св. Августина Вивес добавляет пример, отно-

сящийся уже к его времени, сообщая, что некто умел издавать подобные звуки соответственно размеру стихов, которые при этом читали ему; отсюда, однако, вовсе не вытекает, что данная часть нашего тела всегда повинуется нам, ибо чаще всего она ведет себя весьма и весьма нескромно, доставляя нам немало хлопот. Добавлю, что мне ведома одна такая же часть нашего тела, настолько шумливая и своенравная, что вот уже сорок лет, как она не дает своему хозяину ни отдыха, ни срока, действуя постоянно и непрерывно и ведя его, подобным образом, к преждевременной смерти.

Но и наша воля, защищая права которой мы выдвинули эти упреки,— как же дело обстоит с нею? Не можем ли мы по причине свойственных ей строптивости и необузданности с еще большим основанием заклеймить ее обвинением в возмущениях и мятежах? Всегда ли она желает того, чего мы хотим, чтобы желала она? Не желает ли она часто того — и притом к явному ущербу для нас,— что́ мы ей запрещаем желать? Не отказывается ли она повиноваться решениям нашего разума? Наконец, в пользу моего подзащитного я мог бы добавить и следующее: да соблаговолят принять во внимание то, что обвинение, выдвинутое против него, неразрывно связано с пособничеством его сотоварищей, хотя и обращено только к нему одному, ибо улики и доказательства здесь таковы, что, учитывая обстоятельства тяжущихся сторон, они не могут быть предъявлены его сотоварищам. Уже из этого легко усмотреть недобросовестность и явную пристрастность истцов. Как бы то ни было, сколько бы ни препирались и какие бы решения ни выносили адвокаты и судьи, природа всегда будет действовать согласно своим законам; и она поступила, вне всякого сомнения, вполне правильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он — вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Зачатие, согласно Сократу, есть божественное деяние; любовь — жажда бессмертия и она же — бессмертный дух.

Иной благодаря силе воображения оставляет свою золотуху у нас, тогда как товарищ его уносит ее обратно в Испанию [13]. Вот почему в подобных вещах требуется, как правило, известная подготовка души. Ради чего врачи с таким рвением добиваются доверия своего пациента, не скупясь на лживые посулы поправить его здоровье, если не для того, чтобы его воображение пришло на помощь их надувательским предписаниям? Они знают из сочинения, написанного одним из светил их ремесла, что бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарства.

Обо всех этих причудливых и странных вещах я вспомнил совсем недавно в связи с тем, о чем мне рассказывал наш домашний аптекарь,— его услугами пользовался мой покойный отец,— человек простой, из швейцарцев, а это, как известно, народ ни в какой мере не суетный и не склонный прилгнуть. В течение долгого времени, проживая в Тулузе, он посещал одного больного купца, страдавшего от камней и нуждавшегося по этой причине в частых клистирах, так что врачи, в зависимости от его состояния, прописывали ему по его требованию клистиры разного рода. Их приносили к нему, и он никогда не забывал проверить, все ли в надлежа-

щем порядке; нередко он пробовал также, не слишком ли они горячи. Но вот он улегся в постель, повернулся спиною; все сделано, как полагается, кроме того, что содержимое клистира так и не введено ему внутрь. После этого аптекарь уходит, а пациент устраивается таким образом, словно ему и впрямь был поставлен клистир, ибо все проделанное над ним действовало на него не иначе, как действует это средство на тех, кто по-настоящему применяет его. Если врач находил, что клистир подействовал недостаточно, аптекарь давал ему еще два или три совершенно таких же. Мой рассказчик клянется, что супруга больного, дабы избежать лишних расходов (ибо он оплачивал эти клистиры, как если бы они и в самом деле были ему поставлены), делала неоднократные попытки ограничиться тепловатой водой, но так как это не действовало, проделка ее вскоре открылась и, поскольку ее клистиры не приносили никакой пользы, пришлось возвратиться к старому способу.

Одна женщина, вообразив, что проглотила вместе с хлебом булавку, кричала и мучилась, испытывая, по ее словам, нестерпимую боль в области горла, где якобы и застряла булавка. Но так как не наблюдалось ни опухоли, ни каких-либо изменений снаружи, некий смышленый малый, рассудив, что тут всего-навсего мнительность и фантазия, порожденные тем, что кусочек хлеба оцарапал ей мимоходом горло, вызвал у нее рвоту и подбросил в то, чем ее вытошнило, изогнутую булавку. Женщина, поверив, что она и взаправду извергла булавку, внезапно почувствовала, что боли утихли. Мне известен также и такой случай: один дворянин, попотчевав на славу гостей, через три или четыре дня после этого стал рассказывать в шутку (ибо в действительности ничего подобного не было), будто он накормил их паштетом из кошачьего мяса. Это ввергло одну девицу из числа тех, кого он принимал у себя, в такой ужас, что у нее сделались рези в желудке, а также горячка, и спасти ее так и не удалось. Даже животные, и те, совсем как люди, подвержены силе своего воображения; доказательством могут служить собаки, которые околевают с тоски, если потеряют хозяина. Мы наблюдаем также, что они тявкают и вздрагивают во сне; а лошади ржут и лягаются.

Но все вышесказанное может найти свое объяснение в тесной связи души с телом, сообщающими друг другу свое состояние. Иное дело, если воображение, как это подчас случается, воздействует не только на свое тело, но и на тело другого. И подобно тому как больное тело переносит свои немощи на соседей, что видно хотя бы на примере чумы, сифилиса или глазных болезней, переходящих с одного на другого,—

> Dum spectant oculi laesos, laeduntur et ipsi:
> Multaque corporibus transitione nocent *,

так, равным образом, и возбужденное воображение мечет стрелы, способные поражать окружающие предметы. Древние рассказывают о скифских

* Смотря на больных, наши глаза и сами заболевают; и вообще многое приносит телам вред, передавая заразу [14] (*лат.*).

женщинах, которые, распалившись на кого-нибудь гневом, убивали его своим взглядом. Черепахи и страусы высиживают свои яйца исключительно тем, что, не отрываясь, смотрят на них, и это доказывает, что они обладают некоей изливающейся из них силою. Что касается колдунов, то утверждают, будто их взгляды наводят порчу и сглаз:

Nescio qui teneros oculus mihi fascinat agnos *.

Чародеи, впрочем, по-моему, плохие ответчики. Но вот что мы знаем на основании опыта: женщины сообщают детям, вынашивая их в своем чреве, черты одолевающих их фантазий; доказательством может служить та, что родила негра. Карлу, королю богемскому и императору, показали как-то одну девицу из Пизы, покрытую густой и длинною шерстью; по словам матери, она ее зачала такою, потому что над ее постелью висел образ Иоанна Крестителя. То же самое и у животных; доказательство — овны Иакова [16], а также куропатки и зайцы, выбеленные в горах лежащим там снегом. Недавно мне пришлось наблюдать, как кошка подстерегала сидевшую на дереве птичку; обе они некоторое время смотрели, не сводя глаз, друг на друга, и вдруг птичка как мертвая свалилась кошке прямо в лапы, то ли одурманенная своим собственным воображением, то ли привлеченная какой-то притягательной силой, исходившей от кошки. Любители соколиной охоты знают, конечно, рассказ о сокольничем, который побился об заклад, что, пристально смотря на парящего в небе ястреба, он заставит его, единственно лишь силою своего взгляда, спуститься на землю и, как говорят, добился своего. Впрочем, рассказы, заимствованные мной у других, я оставляю на совести тех, от кого я их слышал.

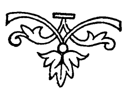
Выводы из всего этого принадлежат мне, и я пришел к ним путем рассуждения, а не опираясь на мой личный опыт. Каждый может добавить к приведенному мной свои собственные примеры, а у кого их нет, то пусть поверит мне, что они легко найдутся, принимая во внимание большое число и разнообразие засвидетельствованных случаев подобного рода. Если приведенные мною примеры не вполне убедительны, пусть другой подыщет более подходящие.

При изучении наших нравов и побуждений, чем я, собственно, и занимаюсь, вымышленные свидетельства так же пригодны, как подлинные, при условии, что они не противоречат возможному. Произошло ли это в действительности или нет, случилось ли это в Париже иль в Риме, с Жаном иль Пьером,— вполне безразлично, лишь бы дело шло о той или иной способности человека, которую я с пользою для себя подметил в рассказе. Я ее вижу и извлекаю из нее выгоду, независимо от того, принадлежит ли она теням или живым людям. И из различных уроков, заключенных нередко в подобных историях, я использую для своих целей лишь наиболее необычные и поучительные. Есть писатели, ставящие себе задачей изображать действительные события. Моя же задача — лишь бы я был в состоянии справиться с нею — в том, чтобы изображать вещи, которые могли бы произойти. Школьной премудрости разрешается — да иначе и быть не мог-

* Чей-то глаз порчу навел на моих ягняток [15] (*лат.*).

ло бы — усматривать сходство между вещами даже тогда, когда на деле его вовсе и нет. Я же ничего такого не делаю и в этом отношении превосхожу своею дотошностью самого строгого историка. В примерах, мною здесь приводимых и почерпнутых из всего того, что мне довелось слышать, самому совершить или сказать, я не позволил себе изменить ни малейшей подробности, как бы малозначительна она ни была. В том, что я знаю,— скажу по совести,— я не отступаю от действительности ни на йоту; ну, а если чего не знаю, прошу за это меня не винить.

Кстати, по этому поводу: порой я задумываюсь над тем, как это может теолог, философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом браться за составление хроник? Как могут они согласовать свое мерило правдоподобия с мерилом толпы? Как могут они отвечать за мысли неизвестных им лиц и выдавать за достоверные факты свои домыслы и предположения? Ведь они, пожалуй, отказались бы дать под присягою показания относительно сколько-нибудь сложных происшествий, случившихся у них на глазах; у них нет, пожалуй, ни одного знакомого им человека, за намерения которого они согласились бы полностью отвечать. Я считаю, что описывать прошлое — меньший риск, чем описывать настоящее, ибо в этом случае писатель отвечает только за точную передачу заимствованного им у других. Некоторые уговаривают меня [17] описать события моего времени; они основываются на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы то ни было, а также что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, ибо судьба доставила мне возможность общаться с вождями различных партий. Но они упускают из виду, что я не взял бы на себя этой задачи за всю славу Саллюстия [18], что я заклятый враг всяческих обязательств, усидчивости, настойчивости; что нет ничего столь противоречащего моему стилю, как пространное повествование; что я постоянно сам себя прерываю, потому что у меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно и ясно что-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых детей своим невежеством по части самых обыкновенных, употребляемых в повседневном быту фраз и оборотов. И все же я решился высказать здесь, приспособляя содержание к своим силам, то, что я умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь в поводыри, мои шаги едва ли совпадали б с его шагами. И если бы я был волен располагать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и на мой собственный взгляд и в соответствии с требованиями разума были бы противозаконными и подлежали бы наказанию [19]. Плутарх мог бы сказать о написанном им, что забота о достоверности, всегда и во всем, тех примеров, к которым он обращается,— не его дело; а вот, чтобы они были назидательны для потомства и являлись как бы факелом, озаряющим путь к добродетели,— это действительно было его заботой. Предания древности — не то, что какое-нибудь врачебное снадобье; здесь не представляет опасности, составлены ли они так или этак.



Глава XXII

ВЫГОДА ОДНОГО — УЩЕРБ ДЛЯ ДРУГОГО

Демад, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всем необходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишком большой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе, как ценою смерти очень многих людей [1]. Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо, вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других; и потому, если рассуждать как Демад, следовало бы осудить любой заработок.

Купец наживается на мотовстве молодежи; земледелец — благодаря высокой цене на хлеб; строитель — вследствие того, что здания приходят в упадок и разрушаются; судейские — на ссорах и тяжбах между людьми; священники (даже они!) обязаны как почетом, которым их окружают, так и самой своей деятельностью нашей смерти и нашим порокам. Ни один врач, говорится в одной греческой комедии, не радуется здоровью даже самых близких своих друзей, ни один солдат — тому, что его родной город в мире со своими соседями, и так далее. Да что там! Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются, по большей части, за счет кого-нибудь другого.

Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесь верна установленному ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели, зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой.

Nam quodcunque suis mutatum finibus exit,
Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante *.



Глава XXIII

О ПРИВЫЧКЕ, А ТАКЖЕ О ТОМ, ЧТО НЕ ПОДОБАЕТ БЕЗ ДОСТАТОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ МЕНЯТЬ УКОРЕНИВШИЕСЯ ЗАКОНЫ

Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый придумал сказку о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка и носить его на руках с часа его рождения и продолжая делать то же

* Если что-нибудь, изменившись, переступит свои пределы, оно немедленно оказывается смертью того, что было прежде [2] (*лат.*).

и дальше, таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал изрядным бычком [1]. И действительно, нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу, украдкой забирает она власть над нами, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укореняется и укрепляется в нас, пока, наконец, не сбрасывает покрова со своего властного и деспотического лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее взгляд. Мы видим, что она постоянно нарушает установленные самой природой правила: Usus efficacissimus rerum omnium magister *.

В связи с этим я вспоминаю пещеру Платона в его «Государстве» [3], а также врачей, которые в угоду привычке столь часто пренебрегают предписаниями своего искусства, и того царя, который приучил свой желудок питаться ядом [4], и девушку, о которой рассказывает Альберт [5], что она привыкла употреблять в пищу исключительно пауков.

И в Новой Индии [6], которая есть целый мир, были обнаружены весьма многолюдные народы, обитающие в различных климатах, которые также употребляют в пищу главным образом пауков; они заготовляют их впрок и откармливают, как, впрочем, и саранчу, муравьев, ящериц и летучих мышей, и однажды во время недостатка в съестных припасах там продали жабу за шесть экю; они жарят их и приготовляют с приправами разного рода. Были обнаружены и такие народы, для которых наша мясная пища оказалась ядовитою и смертельною. Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nive: in montibus uri se patiuntur. Pugiles caestibus contusi ne ingemiscunt quidem **.

Эти позаимствованные в чужих странах примеры не покажутся странными, если мы обратимся к личному опыту и припомним, насколько привычка способствует притуплению наших чувств. Для этого вовсе не требуется прибегать к рассказам о людях, живущих близ порогов Нила, или о том, что̀ философы считают музыкою небес, а именно, будто бы небесные сферы, твердые и гладкие, вращаясь, трутся одна о другую, что неизбежно порождает чудные, исполненные дивной гармонии звуки, следуя ритму и движениям которых перемещаются и изменяют свое положение на небосводе хороводы светил, хотя уши земных существ — так же, как, например, уши египтян, обитающих по соседству с порогами Нила,— по причине непрерывного этого звучания не в состоянии уловить его, сколько бы мощным оно ни было. Кузнецы, мельники и оружейники не могли бы выносить того шума, в котором работают, если бы он поражал их слух так же, как наш. Мой колет из продушенной кожи вначале приятно щекочет мой нос, но если я проношу его, не снимая, три дня подряд, он будет приятен лишь обонянию окружающих. Еще поразительнее, что в нас может образоваться и закрепиться привычка, подчиняющая себе наши органы чувств даже тогда, когда то, что породило ее, воздействует на них не непрерывно, но с большими промежутками; это хорошо знают те, кто живет поблизости от колокольни. У себя дома я живу в башне, на которой находится большой

* Наилучший наставник во всем — привычка [2] (*лат.*).
** Велика сила привычки. Охотники проводят ночь на снегу, страдают от мороза в горах. Борцы, избитые цестами, даже не издают стона [7] (*лат.*).

колокол, вызванивающий на утренней и вечерней заре Ave Maria [8]. Сама башня — и та бывает испугана этим трезвоном; в первые дни он и мне казался совершенно невыносимым, но спустя короткое время я настолько привык к нему, что теперь он вовсе не раздражает, а часто даже и не будит меня.

Платон разбранил одного мальчугана за то, что тот увлекался игрою в бабки. Тот ответил ему: «Ты бранишь меня за безделицу».— «Привычка,— сказал на это Платон,— совсем не безделица» [9].

Я нахожу, что все наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отец бывает до такой степени безрассуден, что, видя, как его сын ни за что ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом добрый признак воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сынок одурачивает, прибегая к обману и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущей его отпрыску бойкости ума. В действительности, однако, это не что иное, как семена и корни жестокости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно. Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист, пока он не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менее гадким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оно гадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующий вывод: «Почему такому-то не обмануть на целый экю, коль скоро он обманывает на одно су?» — вместо обычных рассуждений на этот счет: «Ведь он обманул только на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целый экю». Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы самая мысль о пороках, какую бы личину они ни носили, была им ненавистна. Я убежден, что если и посейчас еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить, что игры детей — вовсе не игры и что правильнее смотреть на них, как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то ни было плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываюсь с такою же щепетильностью, как если бы играл на двойные дублоны [10], и тогда, когда проигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю с женою и дочерью, и тогда, когда я смотрю на дело иначе. Во всем и везде мне достаточно своих соб-

ственных глаз, дабы исполнить, как подобает, мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.

Недавно я видел у себя дома одного карлика родом из Нанта, безрукого от рождения; он настолько хорошо приучил свои ноги служить ему вместо рук, что они, можно сказать, наполовину забыли возложенные на них природой обязанности. Впрочем, он их и не называет иначе, как своими руками; ими он режет, заряжает пистолет и спускает курок, вдевает нитку в иглу, шьет, пишет, снимает шляпу, причесывается, играет в карты и в кости, бросая их не менее ловко, чем всякий другой; деньги, которые я ему дал (ибо он зарабатывает на жизнь, показывая себя), он принял ногой, как мы бы сделали это рукой. Знал я и другого калеку, еще совсем мальчика, который, будучи также безруким, удерживал подбородком, прижимая его к груди, алебарду и двуручный меч, подбрасывал и снова ловил их, метал кинжал и щелкал бичом с таким же искусством, как заправский возчик-француз.

Но еще легче обнаружить тиранию привычки в тех причудливых представлениях, которые она создает в наших душах, поскольку они меньше сопротивляются ей. Чего только не в силах сделать она с нашими суждениями и верованиями! Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам ни казалось (я не говорю уже о грубом обмане, лежащем в основе многих религий и одурачившем столько великих народов и умных людей, ибо это за пределами человеческого разумения, и на кого не снизошла благодать божья, тому недолго и заблудиться), так вот, существуют ли такие, непостижимые для нас, взгляды и мнения, которых она не насадила бы и не закрепила в качестве непреложных законов в избранных ею по своему произволу странах? И до чего справедливо это древнее восклицание: Non pudet physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis quaerere testimonium veritatis! *

Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась бы где-нибудь как общераспространенный обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума. Существуют народы, у которых принято показывать спину тому, с кем здороваешься, и никогда не смотреть на того, кому хочешь засвидетельствовать почтение [12]. Есть и такой народ, у которого, когда царь пожелает плюнуть, одна из придворных дам, и притом та, что пользуется наибольшим благоволением, подставляет для этого свою руку; в другой же стране наиболее влиятельные из царского окружения склоняются при сходных обстоятельствах до земли и подбирают платком царский плевок.

Уделим здесь место следующей побасенке. Один французский дворянин неизменно сморкался в руку, что является непростительным нарушением наших обычаев. Защищая как-то эту свою привычку (а он был весь-

* Не стыдно ли физику, т. е. исследователю и испытателю природы, искать свидетельство истины в душах, порабощенных обычаем? [11] (*лат.*).

ма находчивый спорщик), он обратился ко мне с вопросом — какие же преимущества имеет это грязное выделение сравнительно с прочими, что мы собираем его в отличное тонкое полотно, завертываем и, что еще хуже, бережно храним при себе? Ведь это же настолько противно, что не лучше ли оставлять его, где попало, как мы и делаем с прочими нашими испражнениями? Я счел его слова не лишенными известного смысла и, привыкнув к тому, что он очищает нос описанным способом, перестал обращать на это внимание, хотя, слушая подобные рассказы о чужестранцах, мы находим их омерзительными.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не потому, что это ей свойственно. Привычка притупляет остроту наших суждений. Дикари для нас нисколько не большее чудо, нежели мы сами для них, да к этому и нет никаких оснований; это признал бы каждый, если б только сумел, познакомившись с чуждыми для нас учреждениями, остановиться затем на привычных и здраво сравнить их между собой. Ведь все наши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик,— а он бесконечен в своих проявлениях, бесконечен в разнообразии — примерно в одинаковой мере находят обоснование со стороны нашего разума. Но вернусь к моему рассуждению. Существуют народы, у которых никому, кроме жены и детей, не дозволяется обращаться к царю иначе, как через посредствующих лиц. У одного и того же народа девственницы выставляют напоказ наиболее сокровенные части своего тела, тогда как замужние женщины тщательно прикрывают и прячут их. С этим обычаем связан, до некоторой степени, еще один из числа распространенных у них: так как целомудрие ценится только в замужестве, девушкам разрешается отдаваться, кому они пожелают, и, буде они понесут, делать выкидыши с помощью соответствующих снадобий, ни от кого не таясь. Кроме того, если сочетается браком купец, все прочие приглашенные на свадьбу купцы ложатся с новобрачною прежде него, и чем больше их будет, тем больше для нее чести и уважения, ибо это считается свидетельством ее здоровья и силы; если женится должностное лицо, то и тут наблюдается то же самое; так же бывает и на свадьбе знатного человека, и у всех прочих, за исключением земледельцев и других простолюдинов, ибо здесь право первенства — за сеньором; но в замужестве полагается соблюдать безупречную верность. Существуют народы, у которых можно увидеть публичные дома, где содержатся мальчики и где даже заключаются браки между мужчинами; существуют также племена, у которых женщины отправляются на войну вместе с мужьями и не только допускаются к участию в битвах, но подчас и начальствуют над войсками. Бывают народы, где кольца носят не только в носу, на губах, на щеках и больших пальцах ноги, но продевают также довольно тяжелые прутья из золота через соски и ягодицы. Где за едой вытирают руки о ляжки, мошонку и ступни ног. Где дети не наследуют своим родителям, но наследниками являются братья и племянники, а бывает и так, что только племянники (впрочем, это не относится к престолонаследию). Где все находится в общем владении и для руководства всеми делами назначают облеченных верховною властью долж-

ностных лиц, которые и несут заботу о возделывании земли и распределении взращенных ею плодов в соответствии с нуждами каждого. Где оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков. Где на общее ложе укладывается десять или двенадцать супружеских пар. Где женщины, чьи мужья погибли насильственной смертью, могут выйти замуж вторично, тогда как всем прочим это запрещено. Где женщины ценятся до того низко, что всех новорожденных девочек безжалостно убивают; женщин же для своих нужд покупают у соседних народов. Где муж может оставить жену без объяснения причин, тогда как жена не может этого сделать, на какие бы причины она ни ссылалась. Где муж вправе продать жену, если она бесплодна. Где вываривают трупы покойников, а затем растирают их, пока не получится нечто вроде кашицы, которую смешивают с вином, и потом пьют этот напиток. Где самый желанный вид погребения — это быть отданным на съедение собакам, а в других местах — птицам. Где верят, что души, вкушающие блаженство, наслаждаются полной свободой, обитая в прелестных полях и испытывая самые разнообразные удовольствия, и что это они порождают эхо, которое нам доводится иногда слышать. Где сражаются только в воде и, плавая, метко стреляют из лука. Где в знак покорности нужно поднять плечи и опустить голову, а входя в жилище царя, разуться. Где у евнухов, охраняющих женщин, посвятивших себя религии, отрезают вдобавок еще носы и губы, чтобы их нельзя было любить, а священнослужители выкалывают себе глаза, дабы приблизиться к демонам и принимать их прорицания. Где каждый создает себе бога из всего, чего бы ни захотел: охотник — из льва или лисицы; рыбак — из той или иной рыбы, и они творят идолов из любого действия человеческого и из любой страсти; их главные боги: солнце, луна и земля; клянутся же они, прикоснувшись рукой к земле и обратив глаза к солнцу, а мясо и рыбу едят сырыми. Где самая страшная клятва — это поклясться именем какого-нибудь покойника, который пользовался доброю славой в стране, прикоснувшись рукой к его могиле. Где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылает князьям, своим вассалам, огонь из своего очага; и когда прибывает царский гонец, доставляющий этот огонь, все огни, до этого горевшие в княжеском дворце, должны быть погашены; а подданные князей должны в свою очередь заимствовать у них этот огонь под страхом кары за оскорбление величества. Где царь, желая отдаться целиком благочестию (а это случается у них достаточно часто), отрекается от престола, и тогда ближайший наследник его обязан поступить так же, а власть переходит к следующему. Где изменяют образ правления в государстве в соответствии с требованиями обстоятельств: царя, когда им кажется это нужным, они смещают, а на его место ставят старейшин, чтобы они управляли страной; иногда же всеми делами вершит община. Где и мужчины и женщины подвергаются обрезанию, а вместе с тем и крещению. Где солдат, которому удалось принести своему государю после одной или нескольких битв семь или больше голов неприятеля, причисляется к знати. Где люди живут в варварском и столь непривычном для нас убеждении, что души — смертны. Где женщины рожают без стонов и страха. Где на обоих коленях они носят медные

наколенники; они же, когда их искусает вошь, обязаны, следуя долгу великодушия, в свою очередь укусить ее; они же не смеют выходить замуж, не предложив прежде царю, если он того пожелает, своей девственности. Где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Где мужчины носят тяжести на голове, а женщины — на плечах; там же женщины мочатся стоя, тогда как мужчины — присев. Где в знак дружбы посылают немного своей крови и жгут благовония, словно в честь богов, перед людьми, которым желают воздать почет. Где в браках не допускают родства, и не только до четвертой степени, но и до любой, сколь бы далекой она ни была. Где детей кормят грудью целых четыре года, а часто и до двенадцати лет; но там же считают смертельно опасным для ребенка дать ему грудь в первый день после рождения. Где отцам надлежит наказывать мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям; наказание же у них состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают, подвесив за ноги над очагом. Где женщин подвергают обрезанию. Где едят без разбору все произрастающие у них травы, кроме тех, которые кажутся им дурно пахнущими. Где все постоянно открыто, и дома, какими бы красивыми и богатыми они ни были, не имеют никаких засовов, и в них не найти сундука, который запирался бы на замок; для вора же у них наказания вдвое строже, чем где бы то ни было. Где вшей щелкают зубами, как это делают обезьяны, и находят отвратительным, если кто-нибудь раздавит их ногтем. Где ни разу в жизни не стригут ни волос, ни ногтей; в других местах стригут ногти только на правой руке, на левой же их отращивают красоты ради. Где отпускают волосы, как бы они ни выросли, с правой стороны и бреют их с левой. А в землях, находящихся по соседству, в одной — отращивают волосы спереди, в другой, наоборот,— сзади, а спереди бреют. Где отцы предоставляют своих детей, а мужья жен на утеху гостям, получая за это плату. Где не считают постыдным иметь детей от собственной матери; у них же в порядке вещей, если отец сожительствует с дочерью или сыном. Где на торжественных праздниках обмениваются на утеху друг другу своими детьми.

Здесь питаются человеческим мясом, там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного возраста; еще где-нибудь отцы решают участь ребенка, пока он еще во чреве матери,— сохранить ли ему жизнь и воспитать его или, напротив, покинуть без присмотра и убить; еще в каком-нибудь месте мужья престарелого возраста предлагают юношам своих жен, чтобы те услужили им; бывает и так, что жены считаются общими, и в этом никто не усматривает греха; есть даже такая страна, где женщины носят на подоле одежды в качестве почетного знака отличия столько нарядных кисточек с бахромой, скольких мужчин они познали за свою жизнь. Не обычай ли породил особое женское государство? Не он ли вложил в руки женщин оружие? Не он ли образовал из них батальоны и повел их в бой? И чего не в силах втемяшить в мудрейшие головы философия, не внушает ли обычай своей властью самому темному простолюдину? Ведь мы знаем о существовании целых народов, которые не только с презрением относятся к смерти, но встречают ее даже с радостью, народов, у которых се-

милетние дети дают засечь себя насмерть, не меняясь даже в лице; где богатством гнушаются до того, что самый обездоленный горожанин счел бы ниже своего достоинства протянуть руку, чтобы поднять кошелек, полный золота. Нам известны также чрезвычайно плодородные и обильные всякими съестными припасами области, где, тем не менее, обычной и самой лакомой пищей считают хлеб, дикий салат и воду.

Не обычай ли сотворил чудо на острове Хиосе, где за целых семьсот лет не запомнили случая нарушения какой-нибудь женщиной или девушкой своей чести?

Короче говоря, насколько я могу представить себе, нет ничего, чего бы он не творил, ничего, чего бы не мог сотворить; и если Пиндар, как мне сообщили, назвал его «царем и повелителем мира» [13], то он имел для этого все основания.

Некто, застигнутый на том, что избивал собственного отца, ответил, что таков обычай, принятый в их роду; что отец его также, бывало поколачивал деда, а дед, в свою очередь, прадеда; и, указывая на своего сына, добавил: «А этот, достигнув возраста, в котором ныне я нахожусь, будет делать то же со мною».

И когда сын, схватив отца, тащил его за собой по улице, тот велел ему остановиться у некоей двери, ибо он сам, по его словам, никогда не волочил своего отца дальше; здесь проходила черта, за которую дети, руководствуясь унаследованным семейным обычаем, никогда не тащили своих отцов, подвергая их поношению. По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель, женщины вырывают у себя волосы, грызут ногти, поедают уголь и землю [14]; и скорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем следуя естественной склонности, мужчины сожительствуют с мужчинами.

Нравственные законы, о которых принято говорить, что они порождены самой природой, порождаются, в действительности, тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы.

Жители Крита в прежние времена, желая подвергнуть кого-либо проклятию, молили богов, чтобы те наслали на него какую-нибудь дурную привычку.

Но могущество привычки особенно явственно наблюдается в следующем: она связывает нас в такой мере и настолько подчиняет себе, что лишь с огромным трудом удается нам избавиться от ее власти и вернуть себе независимость, необходимую для того, чтобы рассмотреть и обсудить ее предписания. В самом деле, поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идти тем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которые разделяют все вокруг, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутся нам всеобщими и естественными.

Отсюда и проистекает, что все отклонения от обычая считаются отклонениями от разума,— и одному богу известно, насколько, по большей части, неразумно. Если бы и другие изучали себя, как мы, и делали то же, что мы, всякий, услышав какое-нибудь мудрое изречение, постарался бы немедленно разобраться, в какой мере оно применимо к нему самому,— и тогда он понял бы, что это не только меткое слово, но и меткий удар бича по глупости его обычных суждений. Но эти советы и предписания истины всякий желает воспринимать как обращенные к людям вообще, а не лично к нему; и вместо того, чтобы применить их к собственным нравам, их складывают у себя в памяти, а это — занятие весьма нелепое и бесполезное. Вернемся, однако, к тирании обычая.

Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобный случай к изменению государственного порядка ни предоставила им судьба, они даже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудь невыносимого государя, торопятся посадить на его место другого, ибо не могут решиться возненавидеть порабощение [15].

Дарий как-то спросил нескольких греков, за какую награду они согласились бы усвоить обычай индусов поедать своих покойных отцов (ибо это было принято между теми, поскольку они считали, что нет лучшего погребения, как внутри своих близких); греки на это ответили, что ни за какие блага на свете. Но когда Дарий попытался убедить индусов отказаться от их способа погребения и перенять греческий способ, состоявший в сжигании на костре умерших отцов, он привел их в еще больший ужас, чем греков. И всякий из нас делает то же, ибо привычка заслоняет собою подлинный облик вещей;

Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam
Principio, quod non minuant mirarier omnes
Paulatim *.

Некогда, желая укрепить одно наше довольно распространенное мнение, считаемое многими непререкаемым, и не довольствуясь, как это делается обычно, простой ссылкой на законы и на соответствующие примеры, но стремясь, как всегда, добраться до самого корня, я нашел его основание до такой степени шатким, что едва сам не отрекся от него,— и это я, который ставил своей задачей убедить в его правильности других.

Вот тот способ, который Платон, добиваясь искоренения противоестественных видов любви, пользовавшихся в его время распространением, считает всемогущим и основным: добиться, чтобы общественное мнение решительно осудило их, чтобы поэты клеймили их, чтобы каждый их высмеивал. Именно этому способу мы обязаны тем, что самые красивые дочери не возбуждают больше страсти в отцах, а братья, какой бы они выдающейся красотою ни отличались,— в сестрах; и даже сказания о Фиесте, Эдипе и

* Нет ничего, сколь бы великим и изумительным оно ни показалось с первого взгляда, на что мало-помалу не начинают смотреть с меньшим изумлением [16] (*лат.*).

Макарее, наряду с удовольствием, доставляемым декламацией этих прекрасных стихов, закрепляют, по мнению Платона [17], в податливом детском мозгу это полезное предостережение.

Надо правду сказать, целомудрие — прекрасная добродетель, и как велика его польза — известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь же трудно, сколь легко добиться его соблюдения, опираясь на обычай, законы и предписания. Обосновать изначальные и всеобщие истины не так-то просто. И наши наставники, скользя по верхам, торопятся поскорее подальше или, даже не осмеливаясь коснуться этих вопросов, сразу же ищут прибежища под сенью обычая, где пыжатся от преисполняющего их чванства и торжествуют. Те же, кто не желает черпать ниоткуда, кроме первоисточника, т. е. природы, впадают в еще большие заблуждения и высказывают дикие взгляды, как, например, Хрисипп [18], во многих местах своих сочинений показавший, с какой снисходительностью он относился к кровосмесительным связям, какими бы они ни были. Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но, вместе с тем, и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиною и разумом, такой человек почувствует, что, хотя прежние суждения его и полетели кувырком, все же почва под ногами у него стала тверже. И тогда, например, я спрошу у него: возможно ли что-нибудь удивительнее того, что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые были всегда для него загадкою, что во всех своих семейных делах, браках, дарственных, завещаниях, в купле, в продаже он связан правилами, которых не в состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке, вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупать за деньги? [19] Все это ни в малой степени не похоже на остроумное предложение Исократа, советующего своему государю обеспечить возможность подданным свободно, прибыльно и беспрепятственно торговать, но, вместе с тем, сделать для них разорительными, обложив высокой пошлиной, ссоры и распри [20], и вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум — и тот является предметом торговли, а законы — рыночным товаром. И я бесконечно благодарен судьбе, что первым, как сообщают наши историки, кто воспротивился намерению Карла Великого ввести у нас римское и имперское право, был некий дворянин из Гаскони, мой земляк [21]. Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у которого на основании освященного законом обычая судебные должности продаются [22], а приговоры оплачиваются звонкой монетой; где, опять-таки, совершенно законно отказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него; где эта торговля приобретает такие размеры, что создает в государстве в добавление к трем прежним сословиям — церкви, дворянству и простому народу — еще и четвертое, состоящее из тех, в чьем ведении находится суд; это последнее, имея попечение о законах и самовластно распо-

ряжаясь жизнью и имуществом граждан, является, наряду с дворянством, некоей обособленной корпорацией. Отсюда и возникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законы чести и те, на которых покоится правосудие. Первые, например, сурово осуждают того, кто, будучи обвинен во лжи, стерпит подобное обвинение, тогда как вторые — отмщающего за него. По законам рыцарского оружия такой-то, если снесет оскорбление, лишается чести и дворянского достоинства, тогда как по гражданским законам тот, кто мстит, подлежит уголовному наказанию. Значит, тот, кто обратится к закону, дабы защитить свою оскорбленную честь, обесчещивает себя, а кто не обратится к нему, того закон преследует и карает. И разве действительно не является величайшею дикостью, что из этих двух столь различных сословий, подчиненных, однако, одному и тому же властителю, одно заботится о войне, другое печется о мире; удел одного — выгода, удел другого — честь; удел одного — ученость, удел другого — доблесть; у одного — слово, у другого — дело; у одного — справедливость, у другого — отвага; у одного — разум, у другого — сила; у одного — долгополая мантия, у другого — короткий камзол.

Что до вещей менее важных, как, например, нашего платья, то тому, кто вздумал бы согласовать его с подлинным его назначением, а именно, служить нашему телу и доставлять ему возможно больше удобств,— что и определило изящество и благопристойность одежды при ее появлении,— я укажу лишь на самое что ни на есть чудовищное из того, что, по-моему, можно представить себе, и, среди прочего, на наши квадратные головные уборы, на этот длинный, свисающий с головы наших женщин хвост из собранного складками бархата, расшитого, к тому же, пестрыми украшениями, и, наконец, на нелепое и бесполезное подобие того органа, назвать который мы не можем, не нарушая приличия, и воспроизведение которого, да еще во всем блеске наряда, показываем, тем не менее, всему честному народу. Эти соображения не отвращают, однако, разумного человека от следования общепринятой моде; более того, хотя мне и кажется, что все выдумки и причуды в покрое нашего платья порождены скорее сумасбродством и спесью, чем действительной целесообразностью, и что мудрец должен внутренне оберегать свою душу от всякого гнета, дабы сохранить ей свободу и возможность свободно судить обо всем,— тем не менее, когда дело идет о внешнем, он вынужден строго придерживаться принятых правил и форм. Обществу нет ни малейшего дела до наших воззрений; но все остальное, как то: нашу деятельность, наши труды, наше состояние и самую жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а также на суд, как и поступил мужественный и великий Сократ, отказавшийся спасти свою жизнь лишь на том основании, что это явилось бы неповиновением власти, пусть даже весьма неправедной и пристрастной. Ибо правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой живет:

Νόμοις ἕπεσθαι τοῖσιν ἐγχωρίοις καλόν *.

* Прекрасно повиноваться законам своей страны [23] (*греч.*).

А вот кое-что в ином роде. Весьма сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы он ни был, принести столь очевидную пользу, чтобы перевесить то зло, которое возникает, если его потревожить; ведь государство можно в некоторых отношениях уподобить строению, сложенному из отдельных, связанных между собой частей, вследствие чего нельзя хоть немного поколебать даже одну среди них без того, чтобы это не отразилось на целом. Законодатель фурийцев велел, чтобы всякий, стремящийся уничтожить какой-нибудь из старых законов или ввести в действие новый, выходил пред народом с веревкой на шее с тем, чтобы, если предлагаемое им новшество не найдет единогласного одобрения, быть удавленным тут же на месте [24]. А законодатель лакедемонян [25] посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться от сограждан твердого обещания не отменять ни одного из его предписаний. Эфор, так безжалостно оборвавший две новые струны, добавленные Фринисом к его музыкальному инструменту [26], не задавался вопросом, улучшил ли Фринис свой инструмент и обогатил ли его аккорды; для осуждения этого новшества ему было достаточно и того, что старый, привычный образец претерпел изменение; то же обозначал и древний заржавленный меч правосудия, который бережно хранился в Марселе [27].

Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы обличии они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают. То из них, которое угнетает нас в течение уже стольких лет, не было, правда, непосредственною причиною всего происшедшего; но, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что именно в нем, в силу несчастного стечения обстоятельств, причина и корень всего, даже тех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без его участия и вопреки ему [28]. Пусть оно пеняет поэтому на себя самого.

Heu! patior telis vulnera facta meis *.

Те, кто расшатывают государственный строй, чаще всего первыми и гибнут при его крушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а ловить рыбу будут уже другие. Так как целость и единство нашей монархии были нарушены упомянутым новшеством, и ее величественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как это произошло, к тому же, в ее преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих собою как бы ворота для названных бедствий. Величие государя, говорит некий древний писатель, труднее низвести от его вершины до половины, чем низвергнуть от половины до основания.

Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, следуя образцам, зло и ужас которых сами ощутили и покарали. И если даже злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежат именно им.

* Увы! я страдаю от ран, нанесенных моим собственным оружием [29] (*лат.*).

Все виды новейших бесчинств с легкостью черпают образцы и наставления, как потрясать государственный строй, из этого главнейшего и неиссякаемого источника [30]. Даже в наших законах, созданных с целью пресечения этого изначального зла, и то можно найти наставления, как творить злодеяния всякого рода, и попытки оправдания их. С нами происходит теперь то самое, о чем говорит Фукидид [31], повествуя о гражданских войнах своего времени; тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давали им не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, обозначали словами новыми и менее резкими. И таким-то способом хотят подействовать на нашу совесть и исправить наши взгляды! Honesta ratio est *. Однако как бы благовиден ни был предлог, все же всякое новшество чревато опасностями: adeo nihil motum ex antiquo probabile est **. По правде говоря, мне представляется чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества не останавливаться пред нарушением общественного спокойствия, пред столькими неизбежными бедствиями и ужасающим падением нравов, которые приносят с собой гражданские войны, пред изменениями в государственном строе, что влечет за собой столь значительные последствия,— да еще делать все это в своей собственной стране. И не просчитывается ли тот, кто дает волю этим явным и всем известным порокам, дабы искоренить недостатки, в сущности спорные и сомнительные? И есть ли пороки худшие, нежели те, которые нестерпимы для собственной совести и для здравого смысла? [34]

Римский сенат в разгар распри с народом по поводу распределения жреческих должностей решился прибегнуть к уловке такого рода: Ad deos id magis quam ad se, pertinere: ipsos visuros ne sacra sua polluantur ***,— подражая в этом ответу оракула жителям Дельф во время греко-персидских войн. Опасаясь вторжения персов, дельфийцы обратились тогда к Аполлону с вопросом, что им делать со святынями его храма — укрыть ли их где-нибудь или же вывезти. Он ответил на это, чтобы они ничего не трогали: пусть они заботятся о себе, а он уже сам сумеет охранить свою собственность.

Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого и полезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, как выраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться властям и поддерживать существующий государственный строй. Какой поразительный пример оставила нам премудрость господня, которая, стремясь спасти род человеческий и осуществить свою славную победу над смертью и над грехом, пожелала свершить это не иначе, как опираясь на наше общественное устройство и поставив достижение и осуществление этой великой и благостной цели в зависимость от слепоты и неправедности наших обычаев и воззрений, допустив, таким образом, чтобы лилась невин-

* Предлог благовиден [32] (*лат.*).

** Нельзя одобрить отклонение от старины [33] (*лат.*).

*** Это касается больше богов, чем их; боги сами позаботятся о том, чтобы не подверглись осквернению их святыни [35] (*лат.*).

ная кровь столь многих возлюбленных чад ее и мирясь с потерею длинной чреды годов, пока не созреет этот бесценный плод.

Между подчиняющимся обычаям и законам своей страны и тем, кто норовит подняться над ними и сменить их на новые,— целая пропасть. Первый ссылается в свое оправдание на простосердечие, покорность, а также на пример других; что бы ни довелось ему сделать, это не будет намеренным злом, в худшем случае — лишь несчастьем. Quis est enim quem non moveat clarissimis monumentis testata consignataque antiquitas? *

Сверх того, как говорит Исократ, недобор ближе к умеренности, чем перебор [37]. Второй оправдывать гораздо труднее.

Ибо, кто берется выбирать и вносить изменения, тот присваивает себе право судить и должен поэтому быть твердо уверен в ошибочности отменяемого им и в полезности им вводимого. Это столь нехитрое соображение и заставило меня засесть у себя в углу; даже во времена моей юности — а она была много дерзостнее — я поставил себе за правило не взваливать на свои плечи непосильной для меня ноши, не брать на себя ответственности за решения столь исключительной важности, не осмеливаться на то, на что я не мог бы осмелиться, рассуждая здраво, даже в наиболее простом из того, чему меня обучали, хотя смелость суждений в последнем случае и не могла бы ничему повредить. Мне кажется в высшей степени несправедливым стремление подчинить отстоявшиеся общественные правила и учреждения непостоянству частного произвола (ибо частный разум обладает лишь частной юрисдикцией) и, тем более, предпринимать против законов божеских то, чего не потерпела бы ни одна власть на свете в отношении законов гражданских, которые, хотя и более доступны уму человеческому, все же являются верховными судьями своих судей; самое большее, на что мы способны, это объяснять и распространять применение уже принятого, но отнюдь не отменять его и заменять новым. Если божественное провидение и преступало порою правила, которыми оно по необходимости поставило нам пределы, то вовсе не для того, чтобы освободить и нас от подчинения им. Это мановения его божественной длани, и не подражать им, но проникаться изумлением перед ними, вот что должно нам делать: это случаи исключительные, отмеченные печатью ясно выраженного особого умысла, из разряда чудес, являемых нам как свидетельство его всемогущества и превышающих наши силы и наши возможности; было бы безумием и кощунством тщиться воспроизвести что-либо подобное,— и мы должны не следовать им, но с трепетом созерцать их. Это деяния, доступные божеству, но не нам.

Здесь весьма уместно привести слова Котты: Cum de religione agitur T. Coruncanium, P. Scipionem, P. Scaevolam, pontifices maximos, non Zenonem aut Cleanthem aut Chrysippum, sequor **.

---

* Найдется ли такой человек, на кого бы не произвела впечатления древность, засвидетельствованная и удостоверенная столькими славнейшими памятниками? [36] (*лат.*).

** Когда дело касается религии, я следую за Т. Корунканием, П. Сципионом, П. Сцеволой, верховными жрецами, а не Зеноном, Клеанфом или Хрисиппом [38] (*лат.*).

В настоящее время мы охвачены распрей: речь идет о том, чтобы убрать и заменить новыми целую сотню догматов, и каких важных и значительных догматов; а много ли найдется таких, которые могли бы похвастаться, что им досконально известны доводы и основания как той, так и другой стороны? Число их окажется столь незначительным — если только это и впрямь можно назвать числом,— что они не могли бы вызвать между нами смятения. Но все остальное скопище — куда несется оно? Под каким знаменем устремляются вперед нападающие? Здесь происходит то же, что с иным слабым и неудачно примененным лекарством; те вредные соки организма, которые ему надлежало бы изгнать, оно на самом деле, столкнувшись с ними, только разгорячило, усилило и раздражило, а затем, сотворив все эти беды, осталось бродить в нашем теле. Оно не смогло освободить нас от болезни из-за своей слабости и, вместе с тем, ослабило нас настолько, что мы не в состоянии очиститься от него; действие его сказывается лишь в том, что нас мучат нескончаемые боли во внутренностях.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегда превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько потесниться и кое в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободою действий, для кого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его намерениям, кто не знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят ему выгоду, неправильно и опасно: Aditum nocendi perfido praestat fides *. Но ведь обычный правопорядок в государстве, пребывающем в полном здравии, не предусматривает подобных исключительных случаев: он имеет в виду упорядоченное сообщество, опирающееся на свои основные устои и выполняющее свои обязанности, а также согласие всех соблюдать его и повиноваться ему. Действовать, придерживаясь закона, значит — действовать спокойно, размеренно, сдержанно, а это вовсе не то, что требуется в борьбе с действиями бесчинными и необузданными.

Известно, что и посейчас еще упрекают двух великих государственных деятелей, Октавия и Катона, за то, что первый во время гражданской войны с Суллою, а второй — с Цезарем готовы были скорее подвергнуть свое отечество самым крайним опасностям, чем оказать ему помощь, нарушив законы, и ни за что не соглашались хоть в чем-нибудь поколебать эти последние. Но в случаях крайней необходимости, когда все заключается в том, чтобы как-нибудь устоять, иной раз и впрямь благоразумнее опустить голову и стерпеть удар, чем биться сверх сил, не желая ни в чем уступить и доставляя возможность насилию подмять все под себя и попрать его [40]. И пусть лучше законы домогаются лишь того, что им под силу, когда им не под силу все то, чего они домогаются. Так, например, поступил тот, кто приказал, чтобы они заснули на двадцать четыре часа, и таким образом

* Доверие, оказываемое вероломному, дает ему возможность вредить [39] (*лат.*).

урезал на этот раз календарь на один день [41], и тот, кто превратил июнь во второй май [42]. Даже лакедемоняне, которые с таким усердием соблюдали законы своей страны, как-то раз, будучи связаны одним из своих законов, воспрещавшим вторичное избрание начальником флота того же лица,— а между тем обстоятельства настоятельно требовали от них, чтобы эту должность снова занял Лисандр [43],— нашли выход в том, что поставили начальником флота Арака, а Лисандра назначили «главным распорядителем» морских сил. Подобной же уловкой воспользовался один их посол, который был направлен ими к афинянам с тем, чтобы добиться отмены какого-то изданного этими последними распоряжения. Когда Перикл [44] в ответ сослался на то, что строжайшим образом запрещается убирать доску, на которой начертан какой-нибудь закон, посол предложил повернуть доску обратною стороной, так как это, во всяком случае, не запрещается. Это-то, наконец, за что Плутарх воздает хвалу Филопемену: рожденный повелевать, он умел повелевать не только согласно с законами, но в случае общественной необходимости и самими законами [45].



Глава XXIV

ПРИ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ НАМЕРЕНИЯХ ВОСПОСЛЕДОВАТЬ МОЖЕТ РАЗНОЕ

Жак Амио [1], главный придворный священник и раздаватель милостыни французского короля, рассказал мне как-то про одного нашего принца [2] (кто другой, а этот был наш с головы до пят, даром что по происхождению чужеземец) нижеследующую, делающую ему честь историю. Вскоре после того, как начались наши смуты, во время осады Руана [3] королева-мать [4] известила этого принца, что на его жизнь готовится покушение, причем в письме королевы точно указывалось, кто должен его прикончить. Это был один не то анжуйский, не то менский дворянин, который постоянно посещал дом принца. Принц никому не сказал об этом предупреждении. Но, прогуливаясь на следующий день на горе святой Екатерины, откуда бомбардировали Руан (ибо в ту пору мы его осаждали) вместе с вышеназванным главным раздавателем милостыни и одним епископом, он заметил этого дворянина, которого знал в лицо, и велел, чтобы его позвали к нему. Когда тот предстал перед ним, принц, видя, что он побледнел и дрожит, ибо совесть его была нечиста, сказал ему следующее: «Господин такой-то, вы догадываетесь, конечно, чего я хочу от вас; это написано на вашем лице. Вам следует признаться во всем, ибо я настолько осведомлен в вашем деле, что, пытаясь отпереться, вы только ухудшите

свое положение. Вы отлично знаете о том-то и том-то (тут он выложил ему решительно все, вплоть до мельчайших подробностей, касающихся заговора). Так не играйте же своей жизнью и расскажите всю правду о своем умысле». Когда бедняга окончательно понял, что он пойман с поличным и что от этого никуда не уйти (ибо их заговор открыл королеве один из его сообщников), ему ничего другого не оставалось, как, сложив умоляюще руки, просить принца о милости и пощаде; и он уже готовился пасть ему в ноги, но тот, удержав его, продолжал таким образом: «Послушайте: обидел ли я вас когда-нибудь? Преследовал ли я кого-нибудь из ваших друзей своей ненавистью? Всего три недели, как я знаком с вами; что же могло побудить вас покуситься на мою жизнь?» Дворянин, запинаясь, ответил, что никаких особых причин у него не было, но что он руководствовался интересами своей партии; его убедили, будто уничтожение столь могущественного врага их веры, каким бы способом оно ни было выполнено, будет делом, угодным богу. «А я,— продолжал принц,— хочу показать вам, насколько вера, которую я считаю своей, незлобивее той, которой придерживаетесь вы. Ваша подала вам совет убить меня, даже не выслушав, хотя я ничем не обидел вас; моя же требует, чтобы я даровал вам прощение, хотя вы полностью изобличены в том, что готовились злодейски прикончить меня, не имея к этому ни малейших оснований. Ступайте же прочь, убирайтесь и чтоб я вас здесь больше не видел. И если вы обладаете хоть крупицей благоразумия, принимаясь за дело, выбирайте себе в советники более честных людей».

Император Август, находясь в Галлии, получил достоверное сообщение о составленном против него Луцием Цинной заговоре; решив покарать его, он велел вызвать своих ближайших друзей на совет, назначив его на следующий день. Ночь накануне совета он провел, однако, чрезвычайно тревожно, мучимый мыслью, что обрекает на смерть молодого человека хорошего рода, племянника прославленного Помпея. Сетуя на трудность своего положения, он перебирал всевозможные доводы. «Так что же,— говорил он,— неужели нужно сказать себе: пребывай в тревоге и страхе и отпусти своего убийцу разгуливать на свободе? Неужели допустить, чтобы он ушел невредимым,— он, покусившийся на мою жизнь, которую я сберег в стольких гражданских войнах, в стольких сражениях на суше и море? Неужели простить того, кто умыслил не только убить меня — и когда! после того, что я установил мир во всем мире! — но и воспользоваться мною самим, как жертвой, приносимой богам?» Ибо заговорщики предполагали убить его в то время, когда он будет совершать жертвоприношение. Затем, помолчав некоторое время, он снова, и еще более твердым голосом, продолжал, обращаясь к самому себе: «К чему тебе жить, если столь многие хотят твоей смерти? Где же конец твоему мщению и жестокостям? Стоит ли твоя жизнь затрат, необходимых для ее сбережения?» Тогда жена его Ливия, слыша все эти сетования, сказал ему: «А не может ли жена подать тебе добрый совет? Поступи так, как поступают врачи: когда обычные лекарства не помогают, они испытывают те, которые оказывают противоположное действие. Суровостью ты ничего не добился:

за Сальвидиеном последовал Лепид, за Лепидом — Мурена, за Муреной — Цепион, за Цепионом — Эгнаций. Испытай, не помогут ли тебе мягкость и милосердие. Цинна изобличен, но прости его — ведь вредить тебе он больше не сможет,— а это послужит к возвеличению твоей славы». Август был очень доволен, что нашел поддержку своим добрым намерениям. Поблагодарив жену и отменив прежнее приказание о созыве друзей на совет. он велел призвать к себе только Цинну. Удалив всех из покоев и усадив Цинну, он сказал ему следующее: «Прежде всего, Цинна, я хочу, чтобы ты спокойно выслушал меня. Давай условимся, что ты не станешь прерывать мою речь; я предоставлю тебе возможность в свое время ответить. Ты очень хорошо знаешь, Цинна, что я захватил тебя в стане моих врагов, причем ты не то чтобы сделался мне врагом: ты, можно сказать, враг мой от рождения; однако я пощадил тебя; я возвратил тебе все, что было отнято у тебя и чем ты владеешь теперь; наконец, я обеспечил тебе изобилие и богатство в такой степени, что победители завидуют побежденному. Ты попросил у меня должность жреца, и я удовлетворил твою просьбу, отказав в этом другим, чьи отцы сражались бок о бок со мной. И вот, хотя ты кругом предо мною в долгу, ты замыслил убить меня!». Когда Цинна в ответ на это воскликнул, что он и не помышлял о таком злодеянии, Август заметил: «Ты забыл, Цинна, о нашем условии; ведь ты обещал, что не станешь прерывать мою речь. Да, ты замыслил убить меня там-то, в такой-то день, при участии таких-то лиц и таким-то способом».

Видя, что Цинна глубоко потрясен услышанным и молчит, но на этот раз не потому, что таков был уговор между ними, но потому, что его мучит совесть, Август добавил: «Что же толкает тебя на это? Или, быть может, ты сам метишь в императоры? Воистину, плачевны дела в государстве, если только я один стою на твоем пути к императорской власти. Ведь ты не в состоянии даже защитить своих близких и совсем недавно проиграл тяжбу из-за вмешательства какого-то вольноотпущенника. Или, быть может, у тебя не хватает ни возможностей, ни сил ни на что иное, кроме посягательства на жизнь цезаря? Я готов уступить и отойти в сторону, если только кроме меня нет никого, кто препятствует твоим надеждам. Неужели ты думаешь, что Фабий, сторонники Коссов или Сервилиев[5] потерпят тебя? Что примирится с тобою многолюдная толпа знатных,— знатных не только по имени, но делающих своими добродетелями честь своей знатности?» И после многого в этом же роде (ибо он говорил более двух часов) Август сказал ему: «Ну так вот что: я дарую тебе жизнь, Цинна, тебе, изменнику и убийце, как некогда уже даровал ее, когда ты был просто моим врагом; но отныне между нами должна быть дружба. Посмотрим, кто из нас двоих окажется прямодушнее, я ли, подаривший тебе жизнь, или ты, получивший ее из моих рук?» На этом они расстались. Некоторое время спустя Август предоставил Цинне должность консула, упрекнув его, что тот сам не обратился к нему с просьбой об этом. С этой поры Цинна сделался одним из наиболее любимых его приближенных, и Август назначил его единственным наследником

своего достояния. После этого случая, приключившегося, когда Августу шел сороковой год, за всю его жизнь не было больше ни одного заговора против него, ни одного покушения на него, и он был, можно сказать, справедливо вознагражден за свою снисходительность. Но совсем иначе случилось с нашим принцем, ибо мягкость нимало не помогла ему, и он попался впоследствии в расставленные ему сети предательства [6]. Вот до чего неверная и ненадежная вещь — человеческое благоразумие; ибо наперекор всем нашим планам, решениям и предосторожностям судьба всегда удерживает в своих руках власть над событиями.

Когда врачам удается добиться благоприятного исхода лечения, мы говорим, что им посчастливилось,— как будто их искусство единственное, которому требуется поддержка извне, так как, покоясь на слишком шатком основании, оно не может держаться собственной силою, как будто только оно нуждается в том, чтобы к его действиям приложила руку удача. Я готов думать о врачебном искусстве все, что угодно, и самое худшее и самое лучшее, ибо, благодарение богу, мы не водим с ним никакого знакомства. В этом случае я составляю противоположность всем прочим, так как всегда, при любых обстоятельствах, пренебрегаю его услугами; а когда мне случается заболеть, то, вместо того, чтобы смириться пред ним, я начинаю еще вдобавок ненавидеть и страшиться его. Тем, кто заставляет меня принять лекарство, я отвечаю обычно, чтобы они обождали, по крайней мере, пока у меня восстановятся здоровье и силы, дабы я мог противостоять с большим успехом действию их настоя и таящимся в нем опасностям. Я предоставляю полную свободу природе, полагая, что она имеет зубы и когти, чтобы отбиваться от совершаемых на нее нападений и поддерживать целое, распада которого она всячески старается избежать. Я опасаюсь, как бы лекарство вместо того чтобы оказать содействие, когда природа вступает в схватку с недугом, не помогло бы ее противнику и не возложило на нее еще больше работы.

Итак, я утверждаю, что не в одной медицине, но и в других, менее шатких искусствах, фортуне принадлежит далеко не последнее место. А порывы вдохновения, захватывающие и уносящие ввысь поэта,— почему бы и их не приписывать его удаче? Ведь он и сам признает, что они превосходят то, чего могли бы достигнуть его силы и дарования; ведь он и сам ощущает, что они пришли к нему помимо него и от него не зависят. То же самое говорят и ораторы, признающие, что они не властны над охватывающим их порывом и необыкновенным волнением, увлекающими их дальше первоначального их намерения. Так же точно и в живописи, ибо и здесь рука живописца создает порою творения, превосходящие и его замыслы и меру его мастерства, творения, восхищающие и изумляющие его самого. Но сколь велика в этих произведениях доля удачи, видно особенно явственно из изящества и красоты, которые возникли без всякого намерения и даже без ведома художника. Смыслящий в этих вещах читатель нередко находит в чужих сочинениях совершенства совсем иного рода, нежели те, какими хотел наделить их и какие усматривал сам автор, и благодаря этому придает им более глубокий смысл и выразительность.

Что до военного дела, то тут уже каждому ясно, сколь многое зависит в нем от удачи. Если мы обратимся хотя бы к нашим собственным расчетам и соображениям, то и здесь придется признать, что дело не обходится без участия судьбы и удачи, ибо мудрость человеческая в этих вещах мало чего стоит. Чем острее и проницательнее наш ум, тем отчетливее ощущает он свое бессилие и тем меньше доверяет себе. Я держусь того же мнения, что и Сулла, и когда всматриваюсь более пристально в наиболее прославляемые военные деяния, то вижу, что те, кто руководит ими, прибегают, на мой взгляд, к рассуждениям и составлению планов, так сказать, для очистки совести, самое главное и основное в своем предприятии предоставляя случаю, и, полагаясь на его помощь, отваживаются на действия, не оправданные здравым смыслом. Их рассуждения перебиваются порою приливами внезапного душевного подъема или дикой ярости, толкающими их на самые необоснованные, по-видимому, решения и придающими им смелость, выходящую за пределы благоразумия. Это-то и побуждало многих великих полководцев древности ссылаться на снизошедшее на них вдохновение или указание свыше в виде пророчеств или знамений, чтобы внушить войскам доверие к их безрассудным решениям.

Вот почему, пребывая в неуверенности и тревоге, порождаемых в нас нашею неспособностью видеть и избирать наиболее правильное решение, поскольку всякое дело сопряжено с трудностями из-за всевозможных случайностей и обстоятельств, на мой взгляд, самое надежное — даже если прочие соображения и не склоняют нас к этому — поступать возможно более честно и справедливо; и когда нас одолевают сомнения, какой путь самый короткий,— предпочитать всегда самый прямой. Так вот и в обоих приведенных мною выше примерах те, на чью жизнь готовилось покушение, проявили бы больше душевной красоты и благородства, простив покушавшихся, чем поступив по-иному. И если первый из них все же кончил плохо, то тут его добрые намерения ни при чем: ведь нам совершенно не известно, избежал ли бы он уготованной ему судьбой гибели, если бы поступил по-другому; но мы наверно знаем, что тогда он не приобрел бы той славы, которую ему доставило столь удивительное милосердие.

В исторических сочинениях мы встречаем великое множество властителей, дрожавших за свою жизнь, причем бо́льшая часть их предпочитала отвечать на заговоры и покушения местью и казнями; но я вижу из их числа лишь очень немногих, кому это средство пошло на пользу; пример — целый ряд римских императоров. Тот, кому грозит опасность подобного рода, не должен возлагать чрезмерных надежд на свою силу или бдительность. В самом деле, что может быть труднее, чем уберечься от врага, надевшего на себя личину нашего самого преданного друга, или проникнуть в сокровенные мысли и побуждения тех, кто находится постоянно около нас? Тут не помогут отряды иноземных наемников, не поможет тесно обступившая стража: тот, кто с презрением относится к собственной жизни, всегда сумеет лишить жизни другого. К тому же вечная подозрительность, заставляющая государя сомневаться во всех, не может не быть для него крайне мучительной.

И все же Дион, предупрежденный о том, что Каллипп изыскивает способ убить его, не мог заставить себя удостовериться в этом и заявил, что он скорей готов умереть, чем влачить столь жалкую жизнь, остерегаясь не только врагов, но и друзей[7]. Подобные же чувства еще ярче, и притом не на словах, а на деле, проявил Александр, когда, извещенный письмом Пармениона о том, что Филипп, его самый любимый врач, подкуплен Дарием, чтобы отравить его, передал это письмо в руки Филиппу и одновременно выпил приготовленное им питье. Не показал ли он этим, что, если друзья хотят убить его, он ничего не имеет против того, чтобы они это сделали? Никто не совершил столько отважных деяний, как Александр; но я не знаю в его жизни другого случая, когда он проявил бы столько же твердости и столько же нравственной красоты, примечательной во всех отношениях. Те, кто советует своим государям быть недоверчивыми и подозрительными, потому что этого якобы требуют соображения безопасности, советуют им идти навстречу своему позору и гибели. Всякое благородное дело сопряжено с риском. Я знаю одного государя, наделенного от природы весьма деятельной и мужественной душой, которому каждодневно наносят вред, советуя ему замкнуться в тесном кругу своих приближенных, не помышлять ни о каком примирении со своими былыми врагами, держаться в стороне и, боже упаси, доверяться более сильному, какие бы обещания ему ни давали и какие бы выгоды ни сулили. Я знаю также другого государя, которому неожиданно удалось достигнуть крупных успехов, потому что он последовал советам противоположного рода. Доблесть, которою так жаждут прославиться, может проявиться при случае столь же блистательно, независимо от того, надето ли на нас домашнее платье или боевые доспехи, находитесь ли вы у себя дома или в военном лагере, опущена ли ваша рука или занесена для удара. Мелочное и настороженное благоразумие — смертельный враг великих деяний. Сципион, желая добиться дружбы Сифакса, не поколебался покинуть свои войска в Испании, которая была еще очень неспокойна после недавнего завоевания, и переправиться в Африку на двух небольших кораблях, чтобы на враждебной земле доверить свою жизнь никому не ведомому варварскому царьку, без каких-либо обязательств с его стороны, без заложников, полагаясь лишь на величие своего сердца, на свою удачу, на то, что сулили его высокие надежды: habita fides ipsam plerumque fidem obligat *.

Человек, жизнь которого исполнена честолюбивых стремлений и славных деяний, должен держать подозрительность в крепкой узде и ни в чем не давать ей поблажки: боязливость и недоверие вызывают и навлекают опасность. Самый недоверчивый из наших монархов успешно уладил свои дела, главным образом благодаря тому, что по доброй воле доверил свою жизнь и свободу своим давним врагам[9], сделав при этом вид, что вполне на них полагается, чтобы и они ответили ему тем же. Цезарь противопоставил своим взбунтовавшимся и взявшимся за оружие легионам лишь властность своего лица и гордость речей; он настолько был

* Доверие, по большей части, вызывает ответную честность[8] (*лат.*).

проникнут верой в себя и в свою судьбу, что не побоялся доверить ее мятежному и своевольному войску [10].

> Stetit aggere fultus
> Cespitis, intrepidus vultu, meruitque timeri
> Nil metuens *.

Несомненно, однако, что эта уверенность может быть проявлена во всей непосредственности и полноте только теми, кого не страшат ни смерть, ни то худшее, что может за ней воспоследовать. Если же в каком-либо важном случае мы дадим почувствовать, что наша уверенность напускная, а на самом деле нами владеют страх, сомнения и тревога, то наши усилия пропали даром. Прекрасный способ завоевать сердца и расположение других — это предстать перед ними, отдавшись в их руки и доверившись им, но, разумеется, только при том условии, что это делается по собственной воле, а не по необходимости, что вы доверяете им искренно и до конца и уж, конечно, не дадите заметить на своем лице и тени тревоги. В детстве мне пришлось видеть одного дворянина, управлявшего большим городом, в состоянии полной растерянности перед восставшим, разъяренным народом. Желая потушить восстание в самом зародыше, он решил покинуть вполне безопасное место, где находился, и выйти к мятежной толпе; это плохо кончилось для него: он был безжалостно убит [12]. Я считаю, однако, что ошибка его заключалась не столько в том, что он вышел к толпе, в чем обыкновенно и упрекают его, сколько в том, что он предстал перед нею с покорным и заискивающим лицом, что он хотел усыпить ее гнев, скорее идя у нее на поводу, чем подчиняя ее себе, скорее как упрашивающий, чем как призывающий к порядку. Я думаю также, что умеренная суровость и исполненная твердости военная властность, более подобавшие его званию и значительности занимаемой должности, позволили бы ему с бо́льшим успехом и уж, во всяком случае, с большей честью и бо́льшим достоинством выйти из трудного положения. Менее всего можно надеяться, чтобы толпа — это разъяренное чудовище — обнаружила человечность и кротость; ей можно внушить скорее страх и благоговение. Я упрекнул бы погибшего дворянина и в том, что, приняв решение (на мой взгляд, скорее смелое, чем безрассудное) броситься слабым и беззащитным в это бушующее море обезумевших людей, он, вместо того чтобы испить чашу до дна и выдержать, чего бы это ни стоило, взятую на себя роль,— столкнувшись лицом к лицу с опасностью, струсил, и если вначале весь его облик говорил об угодливости и льстивости, то в дальнейшем их сменило выражение ужаса, а в голосе и глазах можно было прочесть испуг и мольбу о пощаде. Пытаясь спрятаться и забиться в щель, он еще более разжег ярость толпы и натравил ее на себя.

---

* Он взошел на дерновый вал без страха на лице и заставил бояться, не боясь ничего [11] (*лат.*).

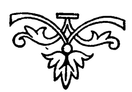
Однажды обсуждался вопрос об устройстве общего смотра различных отрядов[13], а это, как известно, самый удобный случай для сведéния личных счетов: тут это можно проделать с большею безопасностью, чем где бы то ни было. Явные и несомненные признаки предвещали, что может не поздоровиться некоторым из военачальников, прямой и непременной обязанностью которых было присутствовать при прохождении войск. Тут можно было услышать множество самых разнообразных советов, как это бывает всегда в любом трудном деле, имеющем большое значение и чреватом последствиями. Я предложил не подавать вида, что на этот счет существуют какие-либо опасения: пусть эти военачальники находятся в самой гуще солдатских рядов, с поднятой головой и открытым лицом; я советовал также ни в чем не отступать от принятого порядка и не ограничивать залпов (к чему, однако, склонялось мнение большинства), но, напротив, убедить офицеров, чтобы они приказали солдатам палить в честь присутствующих, не жалея пороха, бойко и дружно. Это вызвало признательность находившихся на подозрении войсковых частей и обеспечило на будущее столь благотворное для обеих сторон доверие.

Я нахожу, что способ действий, избранных Юлием Цезарем, является наилучшим из всех возможных. Сначала он пытался добиться ласковым обхождением и милосердием, чтобы его полюбили даже враги. Когда он узнавал о заговорах, то ограничивался простым заявлением, что предупрежден обо всем. Сделав это, он с благородной решимостью дожидался, без всякого страха и тревоги, чтó принесет ему будущее, вверяя себя охране богов и отдаваясь на волю судьбы. Таково же, бесспорно, было его поведение и в тот день, когда заговорщики умертвили его.

Один чужеземец, приехавший в Сиракузы, принялся болтать на всех перекрестках, что, если бы Дионисий, тамошний тиран, хорошо ему заплатил, он научил бы его безошибочно угадывать и распознавать дурные умыслы против него его подданных. Узнав об этом, Дионисий призвал приезжего к себе и попросил открыть ему этот способ, столь необходимый для сохранения его жизни. На это чужеземец ответил, что никакого особого уменья тут нет: пусть только Дионисий велит выплатить ему один талант серебром, а потом пусть похваляется перед всеми, будто бы приезжий открыл ему великий секрет. Выдумка эта весьма понравилась Дионисию, который велел отсчитать чужеземцу шестьсот экю. В самом деле, невероятно было бы предположить, что он уплатил такие деньги какому-то иноземцу, не получив от него взамен чрезвычайно полезных сведений. И Дионисий воспользовался возникшими по этому поводу толками, чтобы держать своих врагов в страхе. Вот почему государи поступают весьма разумно, когда предают гласности предостережения, которые они получили относительно происков, направленных против их жизни; они хотят заставить поверить, будто отлично обо всем осведомлены и что нельзя предпринять против них ничего такого, о чем бы они немедленно не узнали. Герцог Афинский[14], сделавшись тираном Флоренции, натворил на первых порах великое множество глупостей, но главнейшая среди них заключается в том, что, заблаговременно предупрежденный о заговоре, который

составился против него в народе, он велел умертвить оповестившего его об этом Маттео ди Морозо, одного из участников заговора, для того чтобы сохранить в тайне это сообщение и чтобы никто не подумал, будто хоть кто-нибудь в городе может тяготиться его столь прекрасным правлением.

Помнится, я читал когда-то историю одного римлянина, человека весьма почтенного, который, спасаясь от тирании триумвирата, благодаря своей исключительной ловкости и изворотливости сотни раз ускользал от преследователей. Случилось однажды, что отряд всадников, которому было поручено изловить его, проехал совсем рядом с кустом, за которым он притаился, и не заметил его. Тем не менее, подумав о всех тяготах и страданиях, которые ему уже столько времени приходилось переносить, скрываясь от непрерывных, настойчивых и производящихся повсеместно поисков, размыслив также о том, может ли доставить ему удовольствие подобная жизнь в будущем и насколько было бы для него легче сделать один решительный шаг, нежели пребывать и впредь в таком страхе,— он окликнул всадников и открыл свой тайник, добровольно отдавшись им на жестокую казнь, дабы избавить и их и себя от дальнейших хлопот. Подставить шею под удар врага — решение, пожалуй, чересчур смелое: однако же, мне думается, лучше принять его, чем вечно трястись в лихорадочном ожидании бедствия, против которого нет никакого лекарства. И поскольку меры предосторожности, о которых нужно постоянно заботиться, требуют бесконечных усилий и не могут считаться надежными, лучше вооружиться благородною твердостью и приготовить себя ко всему, что может случиться, находя некоторое утешение в том, что оно, быть может, все-таки не случится.



Глава XXV

О ПЕДАНТИЗМЕ

В детстве моем я нередко досадовал на то, что в итальянских комедиях педанты[1] — неизменно шуты, да и между нами слово «магистр» пользуется не бóльшим почетом и уважением. Отданный под их надзор и на их попечение, мог ли я безразлично относиться к их доброму имени? Я пытался найти объяснение этому в естественной неприязни, существующей между невеждами и людьми, не похожими на остальных и выделяющимися своим умом и знаниями, тем более что они идут совсем иною дорогою, чем все прочие люди. Но меня совершенно ставило в тупик то, что самые тонкие умы больше всего и презирают педантов; например, добрейший наш Дю Белле, сказавший:

Но ненавистен мне ученый вид педанта [2].

Так уже повелось издавна; ведь еще Плутарх говорил, что слова «грек» и «ритор» были у римлян бранными и презрительными [3]. В дальнейшем, с годами, я понял, что подобное отношение к педантизму в высшей степени обоснованно и что magis magnos clericos, non sunt magis magnos sapientes [4]. Но каким образом может случиться, чтобы душа, обогащенная знанием столь многих вещей, не становилась от этого более отзывчивой и живой, и каким образом ум грубый и пошлый способен вмещать в себя, нисколько при этом не совершенствуясь, рассуждения и мысли самых великих мудрецов, когда-либо живших на свете,— вот чего я не возьму в толк и сейчас.

Чтобы вместить в себя столько чужих мозгов, и, к тому же, таких великих и мощных, необходимо (как выразилась о ком-то одна девица, первая среди наших принцесс), чтобы собственный мозг потеснился, съежился и сократился в объеме.

Я готов утверждать, что подобно тому, как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а светильники — от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Но в действительности дело обстоит иначе, ибо чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится, и среди тех, кто жил в стародавние времена, можно встретить, напротив, немало людей, прославившихся на общественном поприще,— например, великих полководцев или государственных деятелей, отличавшихся вместе с тем и большою ученостью.

Что до философов, уклонявшихся от всякого участия в общественной жизни, то недаром их порою высмеивала без всякого стеснения современная им комедия, ибо их мнения и повадки действительно казались забавными. Угодно вам сделать их судьями, которые вынесли бы приговор по чьей-либо тяжбе или оценили действия того или иного лица? О, они с великой готовностью возьмутся за это! Прежде всего они займутся такими вопросами, как: существует ли жизнь, существует ли движение? Представляет ли собой человек нечто иное, чем бык? Что значит действовать и страдать? Что это за звери — законы и правосудие? Говорят ли они о правителях за глаза или беседуют с ними лично,— речи их равно дерзки и непочтительны. Слышат ли они похвалы своему князю или царю,— для них он не более, чем пастух, праздный, как все пастухи, занятый исключительно тем, что стрижет и доит свое стадо, только еще более грубый. Считаете ли вы кого-нибудь стоящим выше других по той причине, что ему принадлежат две тысячи арпанов [5] земли,— они начинают издеваться над этим, ибо привыкли рассматривать весь мир как свою собственность. Гордитесь ли вы своей знатностью на том основании, что можете насчитать семь богатых предков,— они не ставят вас ни во что, ибо вы не постигли, по их мнению, общей картины природы и забыли, сколько каждый

из нас насчитывает в своей родословной предшественников, богатых и бедных, царей и слуг, просвещенных людей и варваров. И будь вы даже в пятидесятом колене потомком Геркулеса, они и в этом случае скажут, что вы суетны, если цените этот подарок судьбы. Вот в этом и заключается причина презрения, которое к ним питает толпа, как к людям, не понимающим самых простых общеизвестных вещей, притом заносчивым и надменным [6]. Но это принадлежащее Платону изображение весьма далеко от того, что представляют собою наши педанты. Философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой особый лад, руководствуясь несколькими возвышенными и не получившими всеобщего распространения правилами. Наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже общего уровня, неспособны выполнять общественные обязанности и, наконец, придерживаются образа жизни и нравов еще более грубых и низменных, нежели нравы и образ жизни толпы.

Odi homines ignava opera, philosopha sententia *.

Так вот, что до философов древности, то они, по моему мнению, великие в мудрости, проявляли еще больше величия в своей жизни. Таков был, судя по рассказам, великий сиракузский геометр [8], который отвлекся от своих ученых разысканий, дабы применить их отчасти на практике для защиты своей родины, когда он неожиданно пустил в ход диковинные машины, действие которых превосходило все, что в состоянии вообразить человек. Но сам он глубоко презирал свои изобретения, считая, что, занявшись ими, унизил свою науку, для которой они были не более, как ученические упражнения или игрушки. Таким образом, эти мудрецы всякий раз, когда им приходилось подвергать себя испытанию действием, взлетали на огромную высоту, и всякому делалось ясно, что их сердца и их души возвысились и обогатились столь поразительным образом благодаря познанию сути вещей. Некоторые, однако, видя, что важнейшие должности в государстве заняты людьми неспособными, отказались от служения обществу; и тот, кто спросил Кратеса [9], доколе же следует философствовать, услышал в ответ: «Пока погонщики ослов не перестанут стоять во главе нашего войска». Гераклит отказался от царства, уступив его брату, и ответил эфесцам, порицавшим его за то, что он отдает все свое время играм с детьми перед храмом: «Разве это не лучше, чем вершить дела совместно с вами?» Иные, вознесясь мыслью над мирскими делами и судьбами, сочли не только судейские кресла, но и самые царские троны чем-то низменным и презренным. Отказался же Эмпедокл от престола, который ему предлагали жители Агригента. Фалесу [10], который неоднократно обличал скопидомство и жажду обогащения, бросили упрек в том, что он, как лисица в басне, чернит то, до чего не может добраться. И вот, однажды ему захотелось забавы ради произвести опыт; унизив

* Я ненавижу людей, не пригодных к делу и при этом пространно рассуждающих [7] (*лат.*).

свою мудрость до служения прибыли и наживе, он начал торговлю, которая в течение года доставила ему такие богатства, какие с превеликим трудом удавалось скопить за всю жизнь людям, наиболее опытным в делах подобного рода.

Аристотель рассказывает, что некоторые называли Фалеса, Анаксагора [11] и прочих, подобных им, мудрецами, но людьми отнюдь не разумными, по той причине, что они проявляли недостаточную заботу в отношении более полезных вещей. Но, не говоря о том, что я не очень-то улавливаю разницу между значениями этих двух слов, сказанное ни в какой мере не могло бы послужить к оправданию наших педантов: зная, с какой низкой и бедственной долей они мирятся, мы скорее имели бы основание применять к ним оба эти слова, сказав, что они и не мудры и не разумны.

Я не разделяю мнения тех людей, о которых говорит Аристотель; мы были бы ближе к истине, я полагаю, если б сказали, что все зло — в их неправильном подходе к науке. Принимая во внимание способ, которым нас обучают, неудивительно, что ни ученики, ни сами учителя не становятся от этого мудрее, хотя и приобретают ученость. И, в самом деле, заботы и издержки наших отцов не преследуют другой цели, как только забить нашу голову всевозможными знаниями; что до разума и добродетели, то о них почти и не помышляют. Крикните нашей толпе о ком-нибудь из мимоидущих: «Это ученейший муж!», и о другом: «Это человек, исполненный добродетели!»,— и она не преминет обратить свои взоры и свое уважение к первому. А следовало бы, чтобы еще кто-нибудь крикнул: «О, тупые головы! Мы постоянно спрашиваем: знает ли такой-то человек греческий или латынь? Пишет ли он стихами или прозой? Но стал ли он от этого лучше и умнее,— что, конечно, самое главное,— этим мы интересуемся меньше всего. А между тем, надо стараться выяснить — не кто знает больше, а кто знает лучше».

Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают птенцам; так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру.

До чего же, однако, я сам могу служить примером той же глупости! Разве не то же делаю и я в большей части этого сочинения? Я продвигаюсь вперед, выхватывая из той или другой книги понравившиеся мне изречения не для того, чтобы сохранить их в себе, ибо нет у меня для этого кладовых, но чтобы перенести их все в это хранилище, где, говоря по правде, они не больше принадлежат мне, чем на своих прежних местах. Наша ученость — так, по крайней мере, считаю я — состоит только в том, что́ мы знаем в это мгновение; наши прошлые знания, а тем более будущие, тут ни при чем.

Но, что еще хуже, ученики и птенцы наших педантов не насыщаются их наукой и не усваивают ее; она лишь переходит из рук в руки, служа только для того, чтобы ею кичились, развлекали других и делали из нее

предмет занятного разговора, она вроде счетных фишек, непригодных для иного употребления и использования, кроме как в счете или в игре: Apud alios loqui didicerunt, non ipsi secum *.— Non est loquendum, sed gubernandum **.

Природа, стремясь показать, что в подвластном ей мире не существует ничего дикого, порождает порой среди мало просвещенных народов такие жемчужины остроумия, которые могут поспорить с наиболее совершенными творениями искусства. Как хороша и как подходит к предмету моего рассуждения следующая гасконская поговорка: «Bouha prou bouha, mas a remuda lous ditz qu'em» — «Все дуть да дуть, но нужно же и пальцами перебирать» (речь идет об игре на свирели).

Мы умеем сказать с важным видом: «Так говорит Цицерон» или «таково учение Платона о нравственности», или «вот подлинные слова Аристотеля». Ну, а мы-то сами, что́ мы скажем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь это мог бы сказать и попугай. По этому поводу мне вспоминается один римский богач, который, не останавливаясь перед затратами, приложил немало усилий, чтобы собрать у себя в доме сведущих в различных науках людей; он постоянно держал их подле себя, чтобы в случае, если речь зайдет о том или другом предмете, один мог выступить вместо него с каким-нибудь рассуждением, другой — прочесть стих из Гомера, словом, каждый по своей части. Он полагал, что эти знания являются его личною собственностью, раз они находятся в головах принадлежащих ему людей. Совершенно так же поступают и те, ученость которых заключена в их роскошных библиотеках.

Я знаю одного такого человека: когда я спрашиваю его о чем-нибудь, хотя бы хорошо ему известном, он немедленно требует книгу, чтобы отыскать в ней нужный ответ; и он никогда не решится сказать, что у него на заду завела́сь парша, пока не справится в своем лексиконе, что собственно значит зад и что значит парша.

Мы берем на хранение чужие мысли и знания, только и всего. Нужно, однако, сделать их собственными. Мы уподобляемся человеку, который, нуждаясь в огне, отправился за ним к соседу и, найдя у него прекрасный, яркий огонь, стал греться у чужого очага, забыв о своем намерении разжечь очаг у себя дома. Что толку набить себе брюхо говядиной, если мы не перевариваем ее, если она не преобразуется в ткани нашего тела, если не прибавляет нам веса и силы? Или, быть может, мы думаем, что Лукулл, ознакомившийся с военным делом только по книгам и сделавшийся, несмотря на отсутствие личного опыта, столь видным полководцем, изучал его по нашему способу?

Мы опираемся на чужие руки с такой силой, что, в конце концов, обессиливаем. Хочу ли я побороть страх смерти? Я это делаю за счет Сенеки. Стремлюсь ли утешиться сам или утешить другого? Я черпаю

---

* Они научились говорить перед другими, но не с самими собой [12] (*лат.*).
** Нужно не разговаривать, а действовать [13] (*лат.*).

из Цицерона. А, между тем, я мог бы обратиться за этим к себе самому, если бы меня надлежащим образом воспитали. Нет, не люблю я этого весьма относительного богатства, собранного с мира по нитке.

И если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью.

Μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός *,

Ex quo Ennius: Nequicquam sapere sapientem, qui ipse sibi prodesse non quiret **.

si cupidus, si
Vanus et Euganea quantumvis vilior agna ***.

Non enim paranda nobis solum, sed fruenda sepientia est ****.

Дионисий издевался над теми грамматиками, которые со всей тщательностью изучают бедствия Одиссея, но не замечают своих собственных; над музыкантами, умеющими настроить свои флейты, но не знающими, как внести гармонию в свои нравы; над ораторами, старающимися проповедовать справедливость, не не соблюдающими ее на деле [18].

Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здравыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч; в этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. Но взгляните: вот он возвращается после пятнадцати или шестнадцати лет занятий; найдется ли еще кто-нибудь, столь же неприспособленный к практической деятельности? От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоуверенней, чем был прежде, покидая родительский кров,— вот и все его приобретения. Ему полагалось бы прийти с душой наполненной, а он приходит с разбухшею; ей надо было бы возвеличиться, а она у него только раздулась.

Наши учителя, подобно своим братьям-софистам, о которых это же самое говорит Платон [19], среди всех прочих людей — те, которые обещают быть всех полезнее человечеству, на деле же, среди всех прочих людей — единственные, которые не только не совершенствуют отданной им в обработку вещи, как делают, например, каменщик или плотник, а, напротив, портят ее, и притом требуют, чтобы им заплатили за то, что они привели ее в еще худшее состояние.

Если бы у нас было принято правило, предложенное Протагором [20] тем, кто у него обучался, а именно: либо они платят ему, сколько бы он ни назначил, либо под присягою заявляют во всеуслышание в храме, во сколько сами оценивают пользу от занятий с ним, и в соответствии с

---

* Ненавижу мудрого, который не мудр для себя [14] (*греч.*).

** На основании чего Энний: нет пользы мудрецу в мудрости, если он сам себе не может помочь [15] (*лат.*).

*** Если он жаден, лгун и купить его легче, чем евганейскую овцу [16] (*лат.*).

**** Ибо мы должны не только копить мудрость, но и извлекать из нее пользу [17] (*лат.*).

этим вознаграждают его за труд, то мои учителя не разбогатели бы, получив плату на основании принесенной мною присяги.

Мои земляки перигорцы очень метко называют таких ученых мужей — lettreferits [окниженные], вроде того как по-французски сказали бы lettre-ferus, то есть те, кого наука как бы оглушила, стукнув по черепу. И действительно, чаще всего они кажутся нам пришибленными, лишенными даже самого обыкновенного здравого смысла. Возьмите крестьянина или сапожника: вы видите, что они просто и не мудрствуя лукаво живут помаленьку, говоря только о тех вещах, которые им в точности известны. А наши ученые мужи, стремясь возвыситься над остальными и щегольнуть своими знаниями, на самом деле крайне поверхностными, все время спотыкаются на своем жизненном пути и попадают впросак. Они умеют красно говорить, но нужно, чтобы кто-то другой применил их слова на деле. Они хорошо знают Галена[21], но совершенно не знают больного. Еще не разобравшись, в чем суть вашей тяжбы, они забивают вам голову целою кучей законов. Им известна теория любой вещи на свете; надо только найти того, кто применил бы ее на практике.

Мне довелось как-то наблюдать у себя дома, как один из моих друзей, встретившись с подобным педантом, принялся, развлечения ради, подражать их бессмысленному жаргону, нанизывая без всякой связи ученейшие слова, нагромождая их одно на другое и лишь время от времени вставляя выражения, относящиеся к предмету их диспута. Целый день заставлял он этого дуралея, вообразившего, будто он отвечает на возражения, которые ему делают, вести нескончаемый спор. А ведь это был человек высокоученый, пользовавшийся известностью и занимавший видное положение.

Vos, o patricius sanguis, quos vivere par est
Occipiti caeco, posticae occurrite sannae *.

Кто присмотрится внимательнее к этой породе людей, надо сказать, довольно распространенной, тот найдет, подобно мне, что чаще всего они не способны понять ни самих себя, ни других, и что, хотя память их забита всякой всячиной, в голове у них совершенная пустота,— кроме тех случаев, когда природа сама не пожелала устроить их иначе. Таков был, например, Адриан Турнеб[23]. Не помышляя ни о чем другом, кроме науки, в которой, по моему мнению, он должен почитаться величайшим гением за последнее тысячелетие, он не имел в себе ничего от педанта, за исключением разве покроя платья и кое-каких привычек, не поощряемых, может быть, при дворе. Впрочем, это мелочи, на которые незачем обращать внимание; я ненавижу наших модников, относящихся нетерпимее к платью с изъяном, чем к такой же душе, и судящих о человеке лишь по тому, насколько ловок его поклон, как он держит себя на людях и какие на нем башмаки. По существу же, Турнеб обладал самой тонкой и чувствитель-

* О род патрициев! Вы, кому подобает жить, не оборачиваясь назад, остерегайтесь, как бы не стали потешаться над вами за вашей спиной[22] (*лат.*).

ною душой на свете. Я часто умышенно наводил его на беседу, далекую от предмета его обычных занятий; глаз его был до такой степени зорок, ум так восприимчив, суждения так здравы, что казалось, будто он никогда не занимался ничем иным, кроме военных вопросов и государственных дел. Натуры сильные и одаренные,

queis arte benigna
Ex meliore luto finxit praecordia Titan *,

сохраняются во всей своей цельности, как бы ни коверкало их воспитание. Недостаточно, однако, чтобы воспитание только не портило нас; нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему.

Некоторые наши парламенты, принимая на службу чиновников, проверяют лишь наличие у них нужных знаний; но другие присоединяют к этому также испытание их ума, предлагая высказаться по поводу того или иного судебного дела. Последние, на мой взгляд, поступают гораздо правильнее; хотя необходимо и то и другое и надлежит, чтобы оба эти качества были в наличии, все же, говоря по правде, знания представляются мне менее ценными, нежели ум. Последний может обойтись без помощи первых, тогда как первые не могут обойтись без ума. Ибо, как гласит греческий стих

Ὡς οὐδὲν ἡ μάθησις, ἢν μὴ νοῦς παρῇ,

к чему наука, если нет разумения?[25] Дай бог, чтобы ко благу нашего правосудия эти судебные учреждения сделались столь же разумны и совестливы, как они богаты ученостью. Non vitae, sed scholae discimus **. Ведь дело не в том, чтобы, так сказать, прицепить к душе знания: они должны укорениться в ней; не в том, чтобы окропить ее ими: нужно, чтобы они пропитали ее насквозь; и если она от этого не изменится и не улучшит своей несовершенной природы, то, безусловно, благоразумнее махнуть на все это рукой. Знания,— обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться: ut fuerit melius non didicisse ***.

Быть может, именно по этой причине и мы сами, и теология не требуем от женщин особых познаний; и когда Франциску, герцогу Бретонскому, сыну Иоанна V, сообщили, ввиду его предполагаемой женитьбы на Изабелле Шотландской[28], что она воспитана в простоте и не обучена книжной премудрости, он ответил, что ему это как раз по душе и что женщина достаточно образована, если не путает рубашку своего мужа с его курткой.

Поэтому вовсе не так уже удивительно, как об этом кричат повсюду, что науки не очень-то ценились нашими предками и что люди, овладев-

---

* Души которых при помощи благостного искусства вылепил из лучшей глины Титан [т. е. Прометей][24] (*лат.*).

** Мы учимся не для жизни, а для школы[26] (т. е. учимся не тому как надо действовать в жизни, а только рассуждать) (*лат.*).

*** Так что было бы лучше совсем не учиться[27] (*лат.*).

шие ими, и сейчас еще редкое исключение среди ближайших королевских советников. И если бы всеобщее стремление разбогатеть — чего в наши дни можно достигнуть при помощи юриспруденции, медицины, преподавания да еще теологии,— не поддерживало авторитета науки, мы бы видели ее, без сомнения, в таком же пренебрежении, в каком она находилась когда-то. Как жаль, однако, что она не учит нас ни правильно мыслить, ни правильно действовать! Postquam docti prodierunt, boni desunt *.

Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Причина этого, которую я пытался только что выяснить, заключается, быть может, и в том, что у нас во Франции обучение наукам не преследует, как правило, никакой иной цели, кроме прямой выгоды. Я не считаю тех, весьма немногих лиц, которые, будучи созданы самой природой для занятий скорей благородных, чем прибыльных, всей душой отдаются науке; иные из них, не успев как следует познать вкус науки, оставляют ее ради деятельности, не имеющей ничего общего с книгами. Таким образом, по-настоящему уходят в науку едва ли не одни горемыки, ищущие в ней средства к существованию. Однако в душе этих людей, и от природы и вследствие домашнего воспитания, а также под влиянием дурных примеров наука приносит чаще всего дурные плоды. Ведь она не в состоянии озарить светом душу, которая лишена его, или заставить видеть слепого; ее назначение не в том, чтобы даровать человеку зрение, но в том, чтобы научить его правильно пользоваться зрением, когда он движется, при условии, разумеется, что он располагает здоровыми и способными передвигаться ногами. Наука — великолепное снадобье; но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям, если плох сосуд, в котором его хранят. У иного, казалось бы, и хорошее зрение, да на беду он косит; вот почему он видит добро, но уклоняется от него в сторону, видит науку, но не следует ее указаниям. Основное правило в государстве Платона — это поручать каждому гражданину только соответствующие его природе обязанности. Природа все может и все делает. Хромые мало пригодны к тому, что требует телесных усилий; так же и те, кто хромает душой, мало пригодны к тому, для чего требуются усилия духа. Душа ублюдочная и низменная не может возвыситься до философии. Встретив дурно обутого человека, мы говорим себе: неудивительно, если это сапожник. Равным образом, как указывает нам опыт, нередко бывает, что врач менее, чем всякий другой, печется о врачевании своих недугов, теолог — о самоусовершенствовании, а ученый — о подлинных знаниях.

В древние времена Аристон из Хиоса был несомненно прав, высказав мысль, что философы оказывают вредное действие на своих слушателей, ибо душа человеческая в большинстве случаев неспособна извлечь пользу из тех поучений, которые, если не сеют блага, то сеют зло: asotos ex Aristippi, acerbos ex Zenonis schola exire **.

---

* После того, как появились люди ученые, нет больше хороших людей [29] (*лат.*).
** Из школы Аристиппа выходят распутники, из школы Зенона — брюзги [30] (*лат.*).

Из рассказа Ксенофонта о замечательном воспитании, которое давалось детям у персов, мы узнаем, что они обучали их добродетели, как другие народы обучают детей наукам. Платон говорит [31], что старшие сыновья их царей воспитывались следующим образом: новорожденного отдавали не на попечение женщин, а тех евнухов, которые по причине своих добродетелей пользовались расположением царской семьи. Они следили за тем, чтобы тело ребенка было красивым и здоровым, и на восьмом году начинали приучать его к верховой езде и охоте. Когда мальчику исполнялось четырнадцать лет, его передавали под надзор четырех воспитателей: самого мудрого, самого справедливого, самого умеренного и самого доблестного в стране. Первый обучал его религиозным верованиям и обрядам, второй — никогда не лгать, третий — властвовать над своими страстями, четвертый — ничего не страшиться.

Весьма примечательно, что в превосходном своде законов Ликурга, можно сказать, исключительном по своему совершенству, так мало говорится об обучении, хотя воспитанию молодежи уделяется весьма много внимания и оно рассматривается как одна из важнейших задач государства, причем законодатель не забывает даже о музах: выходит, будто это благородное юношество, презиравшее всякое другое ярмо, кроме ярма добродетели, нуждалось вместо наших преподавателей различных наук лишь в учителях доблести, благоразумия и справедливости,— образец, которому последовал в своих законах Платон. Обучали же их следующим образом: обычно к ним обращались с вопросом, какого они мнения о тех или иных людях и их поступках, и, если они осуждали или, напротив, хвалили то или иное лицо или действие, их заставляли обосновать свое мнение; этим путем они изощряли свой ум и, вместе с тем, изучали право. Астиаг, у Ксенофонта, требует от Кира отчета обо всем происшедшем на последнем уроке. «У нас в школе,— говорит тот,— мальчик высокого роста, у которого был слишком короткий плащ, отдал его одному из товарищей меньшего роста, отобрав у него более длинный плащ. Учитель велел мне быть судьею в возникшем из-за этого споре, и я решил, что все должно остаться как есть, потому что случившееся наилучшим образом устраивает и того и другого из тяжущихся. На это учитель заметил, что я неправ, ибо ограничился соображениями удобства, между тем как сначала следовало решить, не пострадает ли справедливость, которая требует, чтобы никто не подвергался насильственному лишению собственности». Мальчик добавил, что его высекли, совсем так, как у нас секут детей в деревнях за то, что забыл, как будет первый аорист глагола τύπτω [я бью]. Моему ректору пришлось бы произнести искуснейшее похвальное слово in genere demonstrativo * прежде чем он убедил бы меня в том, что его школа не уступает описанной. Древние хотели сократить путь и,— поскольку никакая наука, даже при надлежащем ее усвоении, не способна научить нас чему-либо большему, чем благоразумию, честности и решительности,— сразу же привить их своим детям, обучая последних не на

* В торжественном роде (*лат.*).

слух, но путем опыта, направляя и формируя их души не столько наставлениями и словами, сколько примерами и делами, с тем, чтобы эти качества не были восприняты их душой как некое знание, но стали бы ее неотъемлемым свойством и как бы привычкой, чтобы они не ощущались ею как приобретения со стороны, но были бы ее естественной и неотчуждаемой собственностью. Напомню по этому поводу, что, когда Агесилая спросили, чему, по его мнению, следует обучать детей, он ответил: «Тому, что им предстоит делать, когда они станут взрослыми». Неудивительно, что подобное воспитание приносило столь замечательные плоды.

Говорят, что ораторов, живописцев и музыкантов приходилось искать в других городах Греции, но законодателей, судей и полководцев — только в Лакедемоне. В Афинах учили хорошо говорить, здесь — хорошо действовать; там — стряхивать с себя путы софистических доводов и сопротивляться обману словесных хитросплетений, здесь — стряхивать с себя путы страстей и мужественно сопротивляться смерти и ударам судьбы; там пеклись о словах, здесь — о деле; там непрестанно упражняли язык, здесь — душу. Неудивительно поэтому, что, когда Антипатр [32] потребовал у спартанцев выдачи пятидесяти детей, желая иметь их заложниками, их ответ был мало похож на тот, какой дали бы на их месте мы; а именно, они заявили, что предпочитают выдать двойное количество взрослых мужчин. Так высоко ставили они воспитание на их родине и до такой степени опасались, как бы их дети не лишились его. Агесилай убеждал Ксенофонта отправить своих детей на воспитание в Спарту не для того, чтобы они изучали там риторику или диалектику, но для того, чтобы усвоили самую прекрасную (как он выразился) из наук — науку повиноваться и повелевать.

Весьма любопытно наблюдать Сократа, когда он подсмеивается, по своему обыкновению, над Гиппием, который рассказывает ему, что, занимаясь преподаванием, главным образом в небольших городах Сицилии, он заработал немало денег и что, напротив, в Спарте он не добыл ни гроша; там живут совершенно темные люди, не имеющие понятия о геометрии и арифметике, ничего не смыслящие ни в метрике, ни в грамматике и интересующиеся только последовательностью своих царей, возникновением и падением государств и тому подобной чепухой. Выслушав Гиппия [33], Сократ постепенно, путем остроумных вопросов, заставил его признать превосходство их общественного устройства, а также, насколько добродетельную и счастливую жизнь ведут спартанцы, предоставив своему собеседнику самому сделать вывод о бесполезности для них преподаваемых им наук.

Многочисленные примеры, которые являют нам и это управляемое на военный лад государство и другие подобные ему, заставляют признать, что занятия науками скорее изнеживают души и способствуют их размягчению, чем укрепляют и закаляют их. Самое мощное государство на свете, какое только известно нам в настоящее время,— это империя турок, народа, воспитанного в почтении к оружию и в презрении к наукам [34]. Я полагаю, что и Рим был гораздо могущественнее, пока там не распро-

странилось образование. И в наши дни самые воинственные народы являются вместе с тем и самыми дикими и невежественными. Доказательством могут служить также скифы, парфяне, Тамерлан [35]. Во время нашествия готов на Грецию ее библиотеки не подверглись сожжению только благодаря тому из завоевателей, который счел за благо оставить всю эту утварь, как он выразился, неприятелю, дабы она отвлекла его от военных упражнений и склонила к мирным и оседлым забавам. Когда наш король Карл VIII, не извлекши даже меча из ножен, увидал себя властелином неаполитанского королевства и доброй части Тосканы, его приближенные приписали неожиданную легкость победы только тому, что государи и дворянство Италии прилагали гораздо больше усилий, чтобы стать утонченными и образованными, чем чтобы сделаться сильными и воинственными [36].



Глава XXVI
О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Госпоже Диане де Фуа, графине де Гюрсон [1]

Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивел или горбат, хотя бы это и было очевидною истиной. И не потому — если только его не ослепило окончательно отцовское чувство,— чтобы он не замечал этих недостатков, но потому, что это его собственный сын. Так и я: ведь я вижу лучше, чем кто-либо другой, что эти строки — не что иное, как измышление человека, отведавшего только вершков науки, да и то лишь в детские годы, и сохранившего в памяти только самое общее и весьма смутное представление об ее облике: капельку того, чуточку этого, а в общем почти ничего, как водится у французов. В самом деле, я знаю, например, о существовании медицины, юриспруденции, четырех частей математики [2], а также, весьма приблизительно, в чем именно состоит их предмет. Я знаю еще, что науки, вообще говоря, притязают на служение человечеству. Но углубиться в их дебри, грызть себе ногти за изучением Аристотеля, властителя современной науки, или уйти с головою в какую-нибудь из ее отраслей, этого со мною никогда не бывало; и нет такого предмета школьного обучения, начатки которого я в состоянии был бы изложить. Вы не найдете ребенка в средних классах училища, который не был бы вправе сказать, что он образованнее меня, ибо я не мог бы подвергнуть его экзамену даже по первому из данных ему уроков; во всяком случае, это зависело бы от содержания такового. Если бы меня все

же принудили к этому, то, не имея иного выбора, я выбрал бы из такого урока, и притом очень неловко, какие-нибудь самые общие места, чтобы на них проверить умственные способности ученика,— испытание, для него столь же неведомое, как его урок для меня.

Я не знаю по-настоящему ни одной основательной книги, если не считать Плутарха и Сенеки, из которых я черпаю, как Данаиды [3], непрерывно наполняясь и изливая из себя полученное от них. Кое-что оттуда попало и на эти страницы; во мне же осталось так мало, что, можно сказать, почти ничего.

История — та дает мне больше поживы; также и поэзия, к которой я питаю особую склонность. Ибо, как говорил Клеанф [4], подобно тому, как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой. Что до моих природных способностей, образчиком которых являются эти строки, то я чувствую, как они изнемогают под бременем этой задачи. Мой ум и мысль бредут ощупью, пошатываясь и спотыкаясь, и даже тогда, когда мне удается достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворен достигнутым мною; я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять. И когда я принимаюсь рассуждать без разбора обо всем, что только приходит мне в голову, не прибегая к сторонней помощи и полагаясь только на свою сообразительность, то, если при этом мне случается — а это бывает не так уж редко — встретить, на мое счастье, у кого-нибудь из хороших писателей те самые мысли, которые я имел намерение развить (так было, например, совсем недавно с рассуждением Плутарха о силе нашего воображения), я начинаю понимать, насколько, по сравнению с такими людьми, я ничтожен и слаб, тяжеловесен и вял,— и тогда я проникаюсь жалостью и презрением к самому себе. Но в то же время я и поздравляю себя, ибо вижу, что мои мнения имеют честь совпадать иной раз с их мнениями и что они подтверждают, пусть издалека, их правильность. Меня радует также и то, что я сознаю — а это не всякий может сказать про себя,— какая пропасть лежит между ними и мною. И все же, несмотря ни на что, я не задумываюсь предать гласности эти мои измышления, сколь бы слабыми и недостойными они ни были, и притом в том самом виде, в каком я их создал, не ставя на них заплат и не подштопывая пробелов, которые открыло мне это сравнение. Нужно иметь достаточно крепкие ноги, чтобы пытаться идти бок о бок с такими людьми. Пустоголовые писаки нашего века, вставляя в свои ничтожные сочинения чуть ли не целые разделы из древних писателей, дабы таким способом прославить себя, достигают совершенно обратного. Ибо столь резкое различие в яркости делает принадлежащее их перу до такой степени тусклым, вялым и уродливым, что они теряют от этого гораздо больше, чем выигрывают.

Разные авторы поступали по-разному. Философ Хрисипп, например, вставлял в свои книги не только отрывки, но и целые сочинения других

авторов, а в одну из них он включил даже «Медею» Еврипида. Аполлодор[5] говорил о нем, что, если изъять из его книг все то, что принадлежит не ему, то, кроме сплошного белого места, там ничего не останется. У Эпикура, напротив, в трехстах оставшихся после него свитках не найдешь ни одной цитаты.

Однажды мне случилось наткнуться на такой заимствованный отрывок. Я со скукою перелистывал французский текст, бескровный, немощный, настолько лишенный и содержания и мысли, что иначе его не назовешь, как французским текстом, пока, наконец, после долгого и скучного блуждания, не добрался до чего-то прекрасного, роскошного, возвышающегося до облаков. Если бы склон, по которому я поднимался, был пологим и подъем, вследствие этого, продолжительным, все было бы в порядке; но это была столь обрывистая, совсем отвесная пропасть, что после первых же слов, прочтенных мною, я почувствовал, что взлетел в совсем иной мир. Оказавшись в нем, я окинул взором низину, из которой сюда поднялся, и она показалась мне такой безрадостной и далекой, что у меня пропало всякое желание снова спуститься туда. Если бы я приукрасил какое-нибудь из моих рассуждений сокровищами прошлого, это лишь подчеркнуло бы убожество всего остального.

Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать — а это я делаю весьма часто — чужие в себе. Обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища. Я-то хорошо знаю, сколь дерзновенно пытаюсь я всякий раз сравняться с обворованными мной авторами, не без смелой надежды обмануть моих судей: авось они ничего не заметят. Но я достигаю этого скорее благодаря прилежанию, нежели с помощью воображения. А кроме того, я не борюсь с этими испытанными бойцами по-настоящему, не схожусь с ними грудь с грудью, но делаю время от времени лишь небольшие легкие выпады. Я не упорствую в этой схватке; я только соприкасаюсь со своими противниками и скорее делаю вид, что соревнуюсь с ними, чем в действительности делаю это.

И если бы мне удалось оказаться достойным соперником, я показал бы себя честным игроком, ибо вступаю я с ними в борьбу лишь там, где они сильнее всего.

Но делать то, что делают, как я указал выше, иные, а именно: облачаться до кончиков ногтей в чужие доспехи, выполнять задуманное, как это нетрудно людям, имеющим общую осведомленность, путем использования клочков древней мудрости, понатыканных то здесь, то там, словом, пытаться скрыть и присвоить чужое добро — это, во-первых, бесчестно и низко, ибо, не имея ничего за душой, за счет чего они могли бы творить, эти писаки все же пытаются выдать чужие ценности за свои, а во-вторых,— это величайшая глупость, поскольку они вынуждены довольствоваться добытым с помощью плутовства одобрением невежественной толпы, роняя себя в глазах людей сведущих, которые презрительно морщат нос при виде этой надерганной отовсюду мозаики, тогда как только их похвала и имеет значение. Что до меня, то нет ничего, чего бы я столь же мало

желал. Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя. Сказанное мною не относится к центонам [6], публикуемым в качестве таковых; в молодости я видел между ними несколько составленных с большим искусством, какова, например, одна, выпущенная в свет Капилупи [7], не говоря уже о созданных в древности. Авторы их, по большей части, проявили свое дарование и в других сочинениях; таков, например, Липсий [8], автор ученейшей, потребовавшей огромных трудов компиляции, названной им «Политика».

Как бы там ни было,— я хочу сказать: каковы бы ни были допущенные мною нелепости,— я не собираюсь утаивать их, как не собираюсь отказываться и от написанного с меня портрета, где у меня лысина и волосы с проседью, так как живописец изобразил на нем не совершенный образец человеческого лица, а лишь мое собственное лицо. Таковы мои склонности и мои взгляды; и я предлагаю их как то, во что я верю, а не как то, во что должно верить. Я ставлю своею целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра, быть может, я стану другим, если узнаю что-нибудь новое, способное произвести во мне перемену. Я не пользуюсь достаточным авторитетом, чтобы каждому моему слову верили, да и не стремлюсь к этому, ибо сознаю, что слишком дурно обучен, чтобы учить других.

Итак, некто, познакомившись с предыдущей главой, сказал мне однажды, будучи у меня, что мне следовало бы несколько подробнее изложить свои мысли о воспитании детей. Сударыня, если я и впрямь обладаю хоть какими-нибудь познаниями в этой области, я не в состоянии дать им лучшее применение, как принеся в дар тому человечку, который грозит в скором будущем совершить свой торжественный выход на свет божий из вас (вы слишком доблестны, чтобы начинать иначе как с мальчика). Ведь, приняв в свое время столь значительное участие в устройстве вашего брака, я имею известное право печься о величии и процветании всего, что от него воспоследует; я не говорю уж о том, что давнее мое пребывание в вашем распоряжении в качестве вашего покорнейшего слуги обязывает меня желать всею душой чести, всяческих благ и успеха всему, что связано с вами. Но, говоря по правде, я ничего в названном выше предмете не разумею, кроме того, пожалуй, что с наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте.

Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, как перед нами встает великое разнообразие этих приемов и множество трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми: невелика хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как же их вырастить и воспитать.

Склонности детей в раннем возрасте проявляются так слабо и так

неотчетливо, задатки их так обманчивы и неопределенны, что составить себе на этот счет определенное суждение очень трудно.

Взгляните на Кимона, взгляните на Фемистокла и стольких других! До чего непохожи были они на себя в детстве! В медвежатах или щенках сказываются их природные склонности; люди же, быстро усваивающие привычки, чужие мнения и законы, легко подвержены переменам и к тому же скрывают свой подлинный облик.

Трудно поэтому преобразовать то, что вложено в человека самой природой. От этого и происходит, что, вследствие ошибки в выборе правильного пути, зачастую тратят даром труд и время на натаскивание детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить. Я считаю, что в этих затруднительных обстоятельствах нужно неизменно стремиться к тому, чтобы направить детей в сторону наилучшего и полезнейшего, не особенно полагаясь на легковесные предзнаменования и догадки, которые мы извлекаем из движений детской души. Даже Платон, на мой взгляд, придавал им в своем «Государстве» чрезмерно большое значение.

Сударыня, наука — великое украшение и весьма полезное орудие, особенно если им владеют лица, столь обласканные судьбой, как вы. Ибо, поистине, в руках людей низких и грубых она не может найти надлежащего применения. Она неизмеримо больше гордится в тех случаях, когда ей доводится предоставлять свои средства для ведения войн или управления народом, для того чтобы поддерживать дружеское расположение чужеземного государя и его подданных, чем тогда, когда к ней обращаются за доводом в философском споре или чтобы выиграть тяжбу в суде или прописать коробочку пилюль. Итак, сударыня, полагая, что, воспитывая ваших детей, вы не забудете и об этой стороне дела, ибо вы и сами вкусили сладость науки и принадлежите к высокопросвещенному роду (ведь сохранились произведения графов де Фуа [9], от которых происходит и господин граф, ваш супруг, и вы сами; да и господин Франсуа де Кандаль, ваш дядюшка, и ныне еще всякий день трудится над сочинением новых, которые продлят на многие века память об этих дарованиях вашей семьи), я хочу сообщить вам на этот счет мои домыслы, противоречащие общепринятым взглядам; вот и все, чем я в состоянии услужить вам в этом деле.

Обязанности наставника, которого вы дадите вашему сыну,— учитывая, что от его выбора, в конечном счете, зависит, насколько удачным окажется воспитание ребенка,— включают в себя также и многое другое, но я не стану на всем этом останавливаться, так как не сумею тут привнести ничего путного. Что же касается затронутого мною предмета, по которому я беру на себя смелость дать наставнику ряд советов, то и здесь пусть он верит мне ровно настолько, насколько мои соображения покажутся ему убедительными. Ребенка из хорошей семьи обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка (ибо подобная цель является низменной и недостойной милостей и покровительства муз и к тому же предполагает искательство и зависимость от другого) и не для того, чтобы

были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри. Вот почему я хотел бы, чтобы, выбирая ему наставника, вы отнеслись к этому с возможной тщательностью; желательно, чтобы это был человек скорее с ясной, чем с напичканной науками головой, ибо, хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и другим, все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености; и нужно также, чтобы, исполняя свои обязанности, он применил новый способ обучения.

Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали. Я хотел бы, чтобы воспитатель вашего сына отказался от этого обычного приема и чтобы с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему ребенка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему самому. Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы он слушал также своего питомца. Сократ, а впоследствии и Аркесилай заставляли сначала говорить учеников, а затем уже говорили сами. Obest plerumque iis qui discere volunt auctoritas eorum, qui docent *.

Пусть он заставит ребенка пройтись перед ним и таким образом получит возможность судить о его походке, а следовательно, и о том, насколько ему самому нужно умерить себя, чтобы приспособиться к силам ученика. Не соблюдая здесь соразмерности, мы можем испортить все дело; уменье отыскать такое соответствие и разумно его соблюдать — одна из труднейших задач, какие только я знаю. Способность снизойти до влечений ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной. Что до меня, то я тверже и увереннее иду в гору, нежели спускаюсь с горы.

Если учителя, как это обычно у нас делается, просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по силе и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания.

Пусть учитель спрашивает с ученика не только слова затверженного урока, но смысл и самую суть его и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит ко множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это; и в последовательности своих разъяснений пусть он руководствуется примером Платона [11]. Если

---

* Желающим научиться чему-либо чаще всего препятствует авторитет тех, кто учит [10] (*лат.*).

кто изрыгает пищу в том самом виде, в каком проглотил ее, то это свидетельствует о неудобоваримости пищи и о несварении желудка. Если желудок не изменил качества и формы того, что ему надлежало сварить, значит он не выполнил своего дела.

Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу. Nunquam tutelae suae fiunt *. Я знавал в Пизе одного весьма достойного человека, который настолько почитал Аристотеля, что первейшим его правилом было: «Пробным камнем и основой всякого прочного мнения и всякой истины является их согласие с учением Аристотеля; все, что вне этого,— химеры и суета, ибо Аристотель все решительно предусмотрел и все высказал». Это положение, истолкованное слишком широко и неправильно, подвергло его значительной и весьма долго угрожавшей ему опасности со стороны римской инквизиции.

Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние; пусть принципы Аристотеля не становятся неизменными основами его преподавания, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или, по крайней мере, останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности.

Che non men che saper dubiar m'aggrada **.

Ибо, если он примет мнения Ксенофонта или Платона, поразмыслив над ними, они перестанут быть их собственностью, но сделаются также и его мнениями. Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит; да ничего и не ищет. Non sumus sub rege; sibi quisque se vindicet ***. Главное — чтобы он знал то, что знает. Нужно, чтобы он проникся духом древних мыслителей, а не заучивал их наставления. И пусть он не страшится забыть, если это угодно ему, откуда он почерпнул эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их собственностью. Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то и то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаково. Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать

* Они никогда не выходят из-под опеки [12] (*лат.*).
** Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание [13] (*ит.*).
*** Над нами нет царя; пусть же каждый сам располагает собой [14] (*лат.*).

его собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Пусть он таит про себя все, что взял у других, и предает гласности только то, что из него создал. Грабители и стяжатели выставляют напоказ выстроенные ими дома и свои приобретения, а не то, что они вытянули из чужих кошельков. Вы не видите подношений, полученных от просителей каким-нибудь членом парламента; вы видите только то, что у него обширные связи и что детей его окружает почет. Никто не подсчитывает своих доходов на людях; каждый ведет им счет про себя. Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее.

Только рассудок, говорил Эпихарм [15], все видит и все слышит; только он умеет обратить решительно все на пользу себе, только он располагает всем по своему усмотрению, только он действительно деятелен — он господствует над всем и царит; все прочее слепо, глухо, бездушно. Правда, мы заставляем его быть угодливым и трусливым, дабы не предоставить ему свободы действовать хоть в чем-нибудь самостоятельно. Кто же спрашивает ученика о его мнении относительно риторики и грамматики, о том или ином изречении Цицерона? Их вколачивают в нашу память в совершенно готовом виде, как некие оракулы, в которых буквы и слоги заменяют сущность вещей. Но знать наизусть еще вовсе не значит знать; это — только держать в памяти то, что ей дали на хранение. А тем, что знаешь по-настоящему, ты вправе распорядиться, не оглядываясь на хозяина, не заглядывая в книгу. Ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость! Я считаю, что она украшение, но никак не фундамент; в этом я следую Платону, который говорит, что истинная философия — это твердость, верность и добросовестность; прочие же знания и все, что направлено к другой цели,— не более как румяна.

Хотел бы я поглядеть, как Палюэль или Помпей — эти превосходные танцовщики нашего времени — стали бы обучать пируэтам, только проделывая их перед нами и не сдвигая нас с места. Точно так же многие наставники хотят образовать наш ум, не будоража его. Можно ли научить управлять конем, владеть копьем, лютней или голосом, не заставляя изо дня в день упражняться в этом, подобно тому как некоторые хотят научить нас здравым рассуждениям и искусной речи, не заставляя упражняться ни в рассуждениях, ни в речах? А между тем, при воспитании в нас этих способностей все, что представляется нашим глазам, стоит назидательной книги; проделка пажа, тупость слуги, застольная беседа — все это новая пища для нашего ума.

В этом отношении особенно полезно общение с другими людьми, а также поездки в чужие края, не для того, разумеется, чтобы, следуя обыкновению нашей французской знати, привозить с собой оттуда разного рода сведения — о том, например, сколько шагов имеет в ширину церковь Санта-Мария Ротонда [16], или до чего роскошны панталоны синьоры Ливии, или, подобно иным, насколько лицо Нерона на таком-то древнем из-

ваянии длиннее и шире его же изображения на такой-то медали, но для того, чтобы вывезти оттуда знание духа этих народов и их образа жизни, и для того также, чтобы отточить и отшлифовать свой ум в соприкосновении с умами других. Я бы советовал посылать нашу молодежь за границу в возможно более раннем возрасте и, чтобы одним ударом убить двух зайцев, именно к тем из наших соседей, чья речь наименее близка к нашей, так что, если не приучить к ней свой язык смолоду, то потом уж никак ее не усвоить.

Недаром все считают, что неразумно воспитывать ребенка под крылышком у родителей. Вложенная в последних самой природой любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность. Они не способны ни наказывать своих детей за проступки, ни допускать, чтобы те узнали тяжелые стороны жизни, подвергаясь некоторым опасностям. Они не могут примириться с тем, что их дети после различных упражнений возвращаются потными и перепачкавшимися, что они пьют, как придется,— то теплое, то слишком холодное; они не могут видеть их верхом на норовистом коне или фехтующими с рапирой в руке с сильным противником, или когда они впервые берутся за аркебузу. Но ведь тут ничего не поделаешь: кто желает, чтобы его сын вырос настоящим мужчиною, тот должен понять, что молодежь от всего этого не уберечь и что тут, хочешь не хочешь, а нередко приходится поступаться предписаниями медицины:

Vitamque sub divo et trepidis agat
In rebus *.

Недостаточно закалять душу ребенка; столь же необходимо закалять и его тело. Наша душа слишком перегружена заботами, если у нее нет должного помощника; на нее тогда возлагается непосильное бремя, так как она несет его за двоих. Я-то хорошо знаю, как тяжело приходится моей душе в компании со столь нежным и чувствительным, как у меня, телом, которое постоянно ищет ее поддержки. И, читая различных авторов, я не раз замечал, что то, что они выдают за величие духа и мужество, в гораздо большей степени свидетельствует о толстой коже и крепких костях. Мне доводилось встречать мужчин, женщин и даже детей, настолько нечувствительных от природы, что удары палкою значили для них меньше, чем для меня щелчок по носу: получив удар, такие люди не только не вскрикнут, но даже и бровью не поведут. Когда атлеты своею выносливостью уподобляются философам, то здесь скорее сказывается крепость их мышц, нежели твердость души. Ибо привычка терпеливо трудиться — это то же, что привычка терпеливо переносить боль: labor callum obducit dolori **. Нужно закалять свое тело тяжелыми и суровыми упражнениями, чтобы приучить его стойко переносить боль и страдания от вывихов, колик, прижиганий и даже от мук тюремного заключения и пыток. Ибо надо

* Пусть он живет под открытым небом среди невзгод [17] (*лат.*).
** Труд притупляет боль [18] (*лат.*).

быть готовым и к этим последним; ведь в иные времена и добрые разделяют порой участь злых. Мы хорошо знаем это по себе! Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и веревкой. Добавлю еще, что и авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непререкаемым, страдает и расшатывается от такого вмешательства родителей. Кроме того, почтительность, которою окружает ребенка челядь, а также его осведомленность о богатстве и величии своего рода являются, на мой взгляд, немалыми помехами в правильном воспитании детей этого возраста.

Что до той школы, которой является общение с другими людьми, то тут я нередко сталкивался с одним обычным пороком: вместо того, чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить напоказ себя, и наши заботы направлены скорее на то, чтобы не дать залежаться своему товару, нежели чтобы приобрести для себя новый. Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные. Ребенка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расходовании знаний, которые он накопит; чтобы он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в его присутствии, ибо весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу. Пусть он довольствуется исправлением самого себя и не корит другого за то, что ему самому не по сердцу; пусть он не восстает также против общепринятых обычаев. Licet sapere sine pompa, sine invidia *. Пусть он избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не стремится прослыть человеком, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая. Si quid Socrates et Aristippus contra morem et consuetudinem fecerint, idem sibi ne arbitretur licere: magnis enim illi et divinis bonis hanc licentiam assequebantur **. Следует научить ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы; его нужно научить также не применять все те возражения, которые могут ему пригодиться, но только сильнейшие из них. Надо приучить его тщательно выбирать доводы, отдавая предпочтение наиболее точным, а следовательно, и кратким. Но, прежде всего, пусть научат его склоняться перед истиной и складывать перед нею оружие, лишь только он увидит ее,— независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого. Ведь ему не придется подыматься на кафедру, чтобы читать предписанное заранее. Ничто не обязывает его защищать мнения, с которыми он не согласен. Он не принадлежит к тем, кто продает за наличные

---

* Можно быть ученым без заносчивости и чванства [19] (*лат.*).

** Если Сократ и Аристипп и делали что-нибудь вопреки установившимся нравам и обычаям, пусть другие не считают, что и им дозволено то же; ибо эти двое получили право на эту вольность благодаря своим великим и божественным достоинствам [20] (*лат.*).

денежки право признаваться в своих грехах и каяться в них. Neque, ut omnia quae praescripta et imperata sint, defendat, necessitate ulla cogitur *.

Если его наставником будет человек такого же склада, как я, он постарается пробудить в нем желание быть верноподданным, беззаветно преданным и беззаветно храбрым слугой своего государя; но, вместе с тем, он и охладит пыл своего питомца, если тот проникнется к государю привязанностью иного рода, нежели та, какой требует от нас общественный долг. Не говоря уже о всевозможных стеснениях, налагаемых на нас этими особыми узами, высказывания человека, нанятого или подкупленного, либо не так искренни и свободны, либо могут быть приняты за проявление неразумия или неблагодарности. Придворный не волен — да и далек от желания — говорить о своем повелителе иначе, как только хорошее; ведь среди стольких тысяч подданных государь отличил его, дабы осыпать своими милостями и возвысить над остальными. Эта монаршая благосклонность и связанные с ней выгоды убивают в нем, естественно, искренность и ослепляют его. Вот почему мы видим, что язык этих господ отличается, как правило, от языка всех прочих сословий и что слова их не очень-то достойны доверия.

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума. Пусть его заставят понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своем рассуждении, даже если она никем, кроме него, не замечена, есть свидетельство ума и чистосердечия, к чему он в первую очередь и должен стремиться; что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам, и что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора — качества редкие, ценные и свойственные философам.

Его следует также наставить, чтобы, бывая в обществе, он присматривался ко всему и ко всем, ибо я нахожу, что наиболее высокого положения достигают обычно не слишком способные и что судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных. Так, например, я не раз наблюдал, как на верхнем конце стола, за разговором о красоте какой-нибудь шпалеры или о вкусе мальвазии, упускали много любопытного из того, что говорилось на противоположном конце. Он должен добраться до нутра всякого, кого бы ни встретил — пастуха, каменщика, прохожего; нужно использовать все и взять от каждого по его возможностям, ибо все, решительно все пригодится,— даже чьи-либо глупость и недостатки содержат в себе нечто поучительное. Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитывает в себе влечение к их хорошим чертам и презрение к дурным.

Пусть в его душе пробудят благородную любознательность, пусть он осведомляется обо всем без исключения; пусть осматривает все примечательное, что только ему ни встретится, будь то какое-нибудь здание, фон-

---

* И никакая необходимость не принуждает его защищать все то, что предписано и приказано [21] (*лат.*).

тан, человек, поле битвы, происходившей в древности, места, по которым проходили Цезарь или Карл Великий:

> Quae tellus sit lenta gelu, quae putris ab aestu,
> Ventus in Italiam quis bene vela ferat *.

Пусть он осведомляется о нравах, о доходах и связях того или иного государя. Знакомиться со всем этим весьма занимательно и знать очень полезно.

В это общение с людьми я включаю, конечно, и притом в первую очередь, и общение с теми, воспоминание о которых живет только в книгах. Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков. Подобное изучение прошлого для иного — праздная трата времени; другому же оно приносит неоценимую пользу. История — единственная наука, которую чтили, по словам Платона [23], лакедемоняне. Каких только приобретений не сделает он для себя, читая жизнеописания нашего милого Плутарха! Пусть, однако, наш воспитатель не забывает, что он старается запечатлеть в памяти ученика не столько дату разрушения Карфагена, сколько нравы Ганнибала и Сципиона; не столько то, где умер Марцелл, сколько то, почему, окончив жизнь так-то и так-то, он принял недостойную его положения смерть [24]. Пусть он преподаст юноше не столько знания исторических фактов, сколько уменье судить о них. Это, по-моему, в ряду прочих наук именно та область знания, к которой наши умы подходят с самыми разнообразными мерками. Я вычитал у Тита Ливия сотни таких вещей, которых иной не приметил; Плутарх же — сотни таких, которых не сумел вычитать я, и, при случае, даже такое, чего не имел в виду и сам автор. Для одних — это чисто грамматические занятия, для других — анатомия, философия, открывающая нам доступ в наиболее сокровенные тайники нашей натуры. У Плутарха мы можем найти множество пространнейших рассуждений, достойных самого пристального внимания, ибо, на мой взгляд, он в этом великий мастер, но вместе с тем и тысячи таких вещей, которых он касается только слегка. Он всего лишь указывает пальцем, куда нам идти, если мы того пожелаем; иногда он довольствуется тем, что обронит мимоходом намек, хотя бы дело шло о самом важном и основном. Все эти вещи нужно извлечь из него и выставить напоказ. Так, например, его замечание о том, что жители Азии были рабами одного-единственного монарха, потому что не умели произнести один-единственный слог «нет», дало, быть может, Ла Боэси тему и повод к написанию «Добровольного рабства» [25]. Иной раз он также отмечает какой-нибудь незначительный с виду поступок человека или его брошенное вскользь словечко,— а на деле это стоит целого рассуждения. До чего досадно, что люди выдающегося ума так любят краткость! Слава их от этого, без сомнения, возрастает, но мы остаемся в накладе. Плутарху важнее, чтобы мы восхваляли его за ум, чем за зна-

* Какая почва застывает от мороза, какая становится рыхлой летом, и какой ветер попутен парусу, направляющемуся в Италию [22] (*лат.*).

ния; он предпочитает оставить нас алчущими, лишь бы мы не ощущали себя пресыщенными. Ему было отлично известно, что даже тогда, когда речь идет об очень хороших вещах, можно наговорить много лишнего и что Александр бросил вполне справедливый упрек тому из ораторов, который обратился к эфорам с прекрасной, но слишком длинной речью: «О чужестранец, ты говоришь то, что должно, но не так, как должно»[26]. У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот приукрашивает ее напыщенными словами.

В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности. Ведь мы погружены в себя, замкнулись в себе; наш кругозор крайне узок, мы не видим дальше своего носа. У Сократа как-то спросили, откуда он родом. Он не ответил: «Из Афин», а сказал: «Из вселенной». Этот мудрец, мысль которого отличалась такой широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству,— не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами. Когда у меня в деревне случается, что виноградники прихватит морозом, наш священник объясняет это тем, что род человеческий прогневил бога, и считает, что по этой же самой причине и каннибалам на другом конце света нечем промочить себе горло. Кто, глядя на наши гражданские войны, не восклицает: весь мир рушится и близится светопреставление, забывая при этом, что бывали еще худшие вещи и что тысячи других государств наслаждаются в это самое время полнейшим благополучием? Я же, памятуя о царящей среди нас распущенности и безнаказанности, склонен удивляться тому, что войны эти протекают еще так мягко и безболезненно. Кого град молотит по голове, тому кажется, будто все полушарие охвачено грозою и бурей. Говорил же один уроженец Савойи, что, если бы этот дурень, французский король, умел толково вести свои дела, он, пожалуй, годился бы в дворецкие к его герцогу. Ум этого савойца не мог представить себе ничего более величественного, чем его государь. В таком же заблуждении, сами того не сознавая, находимся и мы, а заблуждение это, между тем, влечет за собой большие последствия и приносит огромный вред. Но кто способен представить себе, как на картине, великий облик нашей матери-природы во всем ее царственном великолепии; кто умеет подметить ее бесконечно изменчивые и разнообразные черты; кто ощущает себя,— и не только себя, но и целое королевство,— как крошечную, едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами.

Этот огромный мир, многократно увеличиваемый к тому же теми, кто рассматривает его как вид внутри рода, и есть то зеркало, в которое нам нужно смотреться, дабы познать себя до конца. Короче говоря, я хочу, чтобы он был книгой для моего юноши. Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность; а ведь это наука не из особенно легких. Картина стольких государствен-

ных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не слишком гордиться собой. Столько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечить в истории свое имя захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения, или взятием в плен десятка конных вояк. Пышные и горделивые торжества в других государствах, величие и надменность стольких властителей и дворов укрепят наше зрение и помогут смотреть, не щурясь, на блеск нашего собственного двора и властителя, а также преодолеть страх перед смертью и спокойно отойти в иной мир, где нас ожидает столь отменное общество. То же и со всем остальным.

Наша жизнь, говорил Пифагор, напоминает собой большое и многолюдное сборище на олимпийских играх. Одни упражняют там свое тело, чтобы завоевать себе славу на состязаниях, другие тащат туда для продажи товары, чтобы извлечь из этого прибыль. Но есть и такие — и они не из худших,— которые не ищут здесь никакой выгоды: они хотят лишь посмотреть, каким образом и зачем делается то-то и то-то, они хотят быть попросту зрителями, наблюдающими жизнь других, чтобы вернее судить о ней и соответственным образом устроить свою.

За примерами могут естественно последовать наиболее полезные философские правила, с которыми надлежит соразмерять человеческие поступки. Пусть наставник расскажет своему питомцу,

quid fas optare: quid asper
Utile nummus habet; patriae carisque propinquis
Quantum elargiri deceat; quem te deus esse
Iussit, et humana qua parte locatus es in re:
Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur *;

что означает: знать и не знать; какова цель познания; что такое храбрость, воздержанность и справедливость; в чем различие между жадностью и честолюбием, рабством и подчинением, распущенностью и свободою; какие признаки позволяют распознавать истинное и устойчивое довольство; до каких пределов допустимо страшиться смерти, боли или бесчестия,

Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem **;

какие пружины приводят нас в действие и каким образом в нас возникают столь разнообразные побуждения. Ибо я полагаю, что рассуждениями, долженствующими в первую очередь напитать его ум, должны быть те, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, на-

---

* Чего дозволено желать; в чем ценность недавно отчеканенных денег; насколько подобает расщедриться для своей родины и милых сердцу близких; кем бог назначил тебе быть, и какое место ты в действительности занимаешь между людьми; чем мы являемся или для какой жизни мы родились? [27] (*лат.*).

** Как и от каких трудностей ему уклоняться и какие переносить [28].

учить его познавать самого себя, а также жить и умереть подобающим образом. Переходя к свободным искусствам, мы начнем с того между ними, которое делает нас свободными.

Все они в той или иной мере наставляют нас, как жить и как пользоваться жизнью,— каковой цели, впрочем, служит и все остальное. Остановим, однако, свой выбор на том из этих искусств, которое прямо направлено к ней и которое служит ей непосредственно.

Если бы нам удалось свести потребности нашей жизни к их естественным и законным границам, мы нашли бы, что большая часть обиходных знаний не нужна в обиходе; и что даже в тех науках, которые так или иначе находят себе применение, все же обнаруживается множество никому не нужных сложностей и подробностей, таких, какие можно было бы отбросить, ограничившись, по совету Сократа, изучением лишь бесспорно полезного [29].

Sapere aude,
Incipe: vivendi recte qui prorogat horam,
Rusticus exspectat dum defluat amnis; at ille
Labitur, et labetur in omne volubilis aevum *.

Величайшее недомыслие — учить наших детей тому,

Quid moveant Pisces, animosaque signa Leonis,
Lotus et Hesperia quid Capricornus aqua **,

или науке о звездах и движении восьмой сферы раньше, чем науке об их собственных душевных движениях:

Τὶ Πλειάδεσσι κἀμοί
Τὶ δ'ἀστράσι Βοώτεω***.

Анаксимен [33] писал Пифагору: «Могу ли я увлекаться тайнами звезд, когда у меня вечно пред глазами смерть или рабство?» (Ибо это было в то время, когда цари Персии готовились идти походом на его родину.) Каждый должен сказать себе: «Будучи одержим честолюбием, жадностью, безрассудством, суевериями и чувствуя, что меня раздирает множество других вражеских сил, угрожающих моей жизни, буду ли я задумываться над круговращением небесных сфер?»

После того как юноше разъяснят, что же собственно ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и какую бы из этих наук он ни выбрал,— раз его ум к этому времени будет уже развит,— он быстро достигнет в ней успехов. Преподавать ему должно то путем собеседова-

---

* Решись стать разумным, начни! Кто медлит упорядочить свою жизнь, подобен тому простаку, который дожидается у реки, когда она пронесет все свои воды: а она течет и будет течь веки вечные [30] (*лат.*).

** Каково влияние созвездия Рыб, отважного Льва иль Козерога, омываемого гесперийскими водами [31] (*лат.*).

*** Что мне до Плеяд и до Волопаса? [32] (*греч.*).

ния, то с помощью книг; иной раз наставник просто укажет ему подходящего для этой цели автора, а иной раз он изложит содержание и сущность книги в совершенно разжеванном виде. А если сам воспитатель не настолько сведущ в книгах, чтобы отыскивать в них подходящие для его целей места, то можно дать ему в помощь какого-нибудь ученого человека, который каждый раз будет снабжать его тем, что требуется, а наставник потом уже сам укажет и предложит их своему питомцу. Можно ли сомневаться, что подобное обучение много приятнее и естественнее, чем преподавание по способу Газы? [24] Там — докучные и трудные правила, слова, пустые и как бы бесплотные; ничто не влечет вас к себе, ничто не будит ума. Здесь же наша душа не останется без прибытка, здесь найдется, чем и где поживиться. Плоды здесь несравненно более крупные и созревают они быстрее.

Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — бесконечные словопрения, в которых она погрязла. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающими страх. Кто напялил на нее эту обманчивую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть было не сказал — шаловливого. Философия призывает только к праздности и веселью. Если перед вами нечто печальное и унылое — значит философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в дельфийском храме на кучку сидевших вместе философов, сказал им: «Или я заблуждаюсь, или,— судя по вашему столь мирному и веселому настроению,— вы беседуете о пустяках». На что один из них — это был Гераклеон из Мегары — ответил: «Морщить лоб, беседуя о науке,— это удел тех, кто предается спорам, требуется ли в будущем времени глагола βάλλω две ламбды или одна или как образована сравнительная степень χεῖρον и βέλτιον и превосходная χείριστον и βέλτιστον [25]. Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют хмурить лоб и предаваться печали».

Deprendas animi tormenta latentis in aegro
Corpore, deprendas et gaudia; sumit utrumque
Inde habitum facies *.

Душа, ставшая вместилищем философии, непременно наполнит здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне; точно так же она изменит по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный

* Ты можешь обнаружить страдания души, сокрытой в больном теле, как можешь обнаружить и ее радость: ведь лицо отражает и то и другое [36] (*лат.*).

признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это barocо и baralipton[37] марают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе не она; впрочем, она известна им лишь понаслышке. В самом деле, это она успокаивает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод не при помощи каких-то воображаемых эпициклов[38], но опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума. Ее конечная цель — добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось приблизиться к добродетели, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогорье, откуда отчетливо видит все находящееся под нею; достигнуть ее может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут тенистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды небесные, склону. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшею добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но, вместе с тем, и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками — счастье и наслаждение, то, по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающее род человеческий.

Мой воспитатель, сознавая свой долг, состоящий в том, чтобы вселить в воспитаннике желание не только уважать, но в равной, а то и в большей мере и любить добродетель, разъяснит ему, что поэты, подобно всем остальным, подвержены тем же слабостям; он также растолкует ему, что даже боги, и те прилагали гораздо больше усилий, чтобы проникнуть в покои Венеры, нежели в покои Паллады. И когда его ученик начнет испытывать свойственное молодым людям томление, он представит ему Брадаманту и рядом с нею Анджелику[39] как возможные предметы его обожания: первую во всей ее непосредственной, не ведающей о себе красоте,— деятельную, благородную, мужественную, но никоим образом не мужеподобную, и вторую, исполненную женственной прелести,— изнеженную, хрупкую, изощренную, жеманную; одну — одетую юношей, с головой, увенчанной сверкающим шишаком шлема, другую — в девичьем наряде, с повязкой, изукрашенной жемчугом, в волосах. И остановив свой выбор совсем не на той, которой отдал бы предпочтение этот женоподобный фригийский пастух[40], юноша докажет своему воспитателю, что его любовь достойна мужчины. Пусть его воспитатель преподаст ему и такой урок: ценность и возвышенность истинной добродетели определяются легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения; бремя ее настолько ничтожно, что нести его могут как взрослые, так и дети, как те, кто прост, так и те, кто хитер. Упорядоченности, не силы, вот чего она от нас требует. И Сократ, первейший ее любимец, сознательно забыл о своей силе,

чтобы радостно и бесхитростно отдаться усовершенствованию в ней. Это — мать-кормилица человеческих наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придает им чистоту и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отметая те, которые она считает недостойными, она обостряет в нас влечение к дозволенным ею; таких — великое множество, ибо она доставляет нам с материнской щедростью до полного насыщения, а то даже и пресыщения, все то, что согласно с требованиями природы. Ведь не станем же мы утверждать, что известные ограничения, ограждающие любителя выпить от пьянства, обжору от несварения желудка и распутника от лысины во всю голову,— враги человеческих наслаждений! Если обычная житейская удача не достается на долю добродетели, эта последняя отворачивается от нее, обходится без нее и выковывает себе свою собственную фортуну, менее шаткую и изменчивую. Она может быть богатой, могущественной и ученой и возлежать на раздушенном ложе. Она любит жизнь, любит красоту, славу, здоровье. Но главная и основная ее задача — научить пользоваться этими благами, соблюдая известную меру, а также сохранять твердость, теряя их,— задача более благородная, нежели тягостная, ибо без этого течение нашей жизни искажается, мутнеет, уродуется; тут нас подстерегают подводные камни, пучины и всякие чудовища. Если же ученик проявит не отвечающие нашим чаяньям склонности, если он предпочтет побасенки занимательному рассказу о путешествии или назидательным речам, которые мог бы услышать; если, заслышав барабанный бой, разжигающий воинственный пыл его юных товарищей, он обратит свой слух к другому барабану, сзывающему на представление ярмарочных плясунов; если он не сочтет более сладостным и привлекательным возвращаться в пыли и грязи, но с победою с поля сражения, чем с призом после состязания в мяч или танцев, то я не вижу никаких иных средств, кроме следующих: пусть воспитатель — и чем раньше, тем лучше, причем, разумеется, без свидетелей,— удавит его или отошлет в какой-нибудь торговый город и отдаст в ученики пекарю, будь он даже герцогским сыном. Ибо, согласно наставлению Платона, «детям нужно определять место в жизни не в зависимости от способностей их отца, но от способностей их души».

Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты,— почему бы не приобщить к ней и детей?

> Udum et molle lutum est; nunc nunc properandus et acri
> Fingendus sine fine rota *.

А между тем нас учат жить, когда жизнь уже прошла. Сотни школяров заражаются сифилисом прежде, чем дойдут до того урока из Аристотеля, который посвящен воздержанию. Цицерон говорил, что, проживи он даже двойную жизнь, все равно у него не нашлось бы досуга для

---

* Глина влажна и мягка: нужно поспешить и, не теряя мгновения, обработать ее на гончарном круге [41] (*лат.*).

изучения лирических поэтов. Что до меня, то я смотрю на них с еще бо́льшим презрением — это совершенно бесполезные болтуны. Нашему юноше приходится еще более торопиться; ведь учению могут быть отданы лишь первые пятнадцать-шестнадцать лет его жизни, а остальное предназначено деятельности. Используем же столь краткий срок, как следует; научим его только необходимому. Не нужно излишеств: откиньте все эти колючие хитросплетения диалектики, от которых наша жизнь не становится лучше; остановитесь на простейших положениях философии и сумейте надлежащим образом отобрать и истолковать их; ведь постигнуть их много легче, чем новеллу Боккаччо, и дитя, едва выйдя из рук кормилицы, готово к их восприятию в большей мере, чем к искусству чтения и письма. У философии есть свои рассуждения как для тех, кто вступает в жизнь, так и для дряхлых старцев.

Я согласен с Плутархом, что Аристотель занимался со своим великим учеником не столько премудростью составления силлогизмов и основами геометрии, сколько стремился внушить ему добрые правила по части того, что относится к доблести, смелости, великодушию, воздержанности и не ведающей страха уверенности в себе; с таким снаряжением он и отправил его, совсем еще мальчика, завоевывать мир, располагая всего лишь тридцатью тысячами пехотинцев, четырьмя тысячами всадников и сорока двумя тысячами экю. Что до прочих наук и искусств, то, как говорит Плутарх, хотя Александр и относился к ним с большим почтением и восхвалял их пользу и великое достоинство, все же, несмотря на удовольствие, которое они ему доставляли, не легко было побудить его заниматься ими с охотою.

Petite hinc, iuvenesque senesque,
Finem animo certum, miserisque viatica canis *.

А вот что говорит Эпикур в начале своего письма к Меникею: «Ни самый юный не бежит философии, ни самый старый не устает от нее»[43]. Кто поступает иначе, тот как бы показывает этим, что пора счастливой жизни для него либо еще не настала, либо уже прошла.

Поэтому я не хочу, чтобы нашего мальчика держали в неволе. Я не хочу оставлять его в жертву мрачному настроению какого-нибудь жестокого учителя. Я не хочу уродовать его душу, устраивая ему сущий ад и принуждая, как это в обычае у иных, трудиться каждый день по четырнадцати или пятнадцати часов, словно он какой-нибудь грузчик. Если же он, склонный к уединению и меланхолии, с чрезмерным усердием, которое в нем воспитали, будет корпеть над изучением книг, то и в этом, по-моему, мало хорошего: это сделает его неспособным к общению с другими людьми и оттолкнет от более полезных занятий. И сколько же на своем веку перевидал я таких, которые, можно сказать, утратили человеческий облик из-за безрассудной страсти к науке! Карнеад[44] до такой степени ошалел от нее, что не мог найти времени, чтобы остричь себе

* Юноши, старцы! Здесь ищите истинной цели для вашего духа и поддержки для обездоленных седин[42] (*лат.*).

волосы и ногти. Я не хочу, чтобы его благородный нрав огрубел в соприкосновении с дикостью и варварством. Французское благоразумие издавна вошло в поговорку, в качестве такого, однако, которое, хотя и сказывается весьма рано, но зато и держится недолго. И впрямь, трудно сыскать что-нибудь столь же прелестное, как маленькие дети во Франции; но, как правило, они обманывают наши надежды и, став взрослыми, не обнаруживают в себе ничего выдающегося. Я слышал от людей рассудительных, что коллежи, куда их посылали учиться,— их у нас теперь великое множество,— и являются причиной такого их отупения.

Что касается нашего воспитанника, то для него все часы хороши и всякое место пригодно для занятий, будет ли то классная комната, сад, стол или постель, одиночество или компания, утро иль вечер, ибо философия, которая, образуя суждения и нравы людей, является главным предметом его изучения, имеет привилегию примешиваться решительно ко всему. Исократ-оратор, когда его попросили однажды во время пира произнести речь о своем искусстве, ответил — и всякий признает, что он был прав,— такими словами: «Для того, что я умею, сейчас не время; сейчас время для того, чего я не умею». Ибо, и в самом деле, произносить речи или пускаться в словесные ухищрения перед обществом, собравшимся, чтобы повеселиться и попировать, значило бы соединить вместе вещи несоединимые. То же самое можно было бы сказать и о всех прочих науках. Но когда речь заходит о философии и именно о том ее разделе, где рассматривается человек, а также в чем его долг и обязанности, то, согласно мнению всех мудрецов, дело здесь обстоит совсем поиному, и от нее не подобает отказываться ни на пиру, ни на игрищах — так сладостна беседа о ней. И мы видим, как, явившись по приглашению Платона на его пир [45], она изящно и сообразно месту и времени развлекает присутствующих, хотя и пускается в самые назидательные и возвышенные рассуждения:

Aeque pauperibus prodest, locupletibus aeque;
Et neglecta, aeque pueris senibusque nocebit *.

Таким образом, наш воспитанник, без сомнения, будет пребывать в праздности меньше других. Но подобно тому, как шаги, которые мы делаем, прогуливаясь по галерее, будь их хоть в три раза больше, не утомляют нас в такой мере, как те, что затрачены на преодоление какой-нибудь определенной дороги, так и урок, проходя как бы случайно, без обязательного места и времени, в сочетании со всеми другими нашими действиями, будет протекать совсем незаметно. Даже игры и упражнения — и они станут неотъемлемой и довольно значительной частью обучения: я имею в виду бег, борьбу, музыку, танцы, охоту, верховую езду, фехтование. Я хочу, чтобы благовоспитанность, светскость, внешность ученика совершенствовались вместе с его душою. Ведь воспитывают не

* Она полезна как бедняку, так и богачу; пренебрегая ею, и юноша, и старец причинят себе вред [46] (*лат.*).

одну душу и не одно тело, но всего человека: нельзя расчленять его надвое. И, как говорит Платон, нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так, как если бы это была пара впряженных в одно дышло коней[47]. И, слушая Платона, не кажется ли нам, что он уделяет и больше времени и больше старания телесным упражнениям, считая, что душа упражняется вместе с телом, а не наоборот?

Вообще же обучение должно основываться на соединении строгости с мягкостью, а не так, как это делается обычно, когда, вместо того, чтобы приохотить детей к науке, им преподносят ее как сплошной ужас и жестокость. Откажитесь от насилия и принуждения; нет ничего, по моему мнению, что так бы уродовало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам. Приучайте его к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать; отвадьте его от изнеженности и разборчивости; пусть он относится с безразличием к тому, во что он одет, на какой постели спит, что ест и что пьет: пусть он привыкнет решительно ко всему. Пусть не будет он маменькиным сынком, похожим на изнеженную девицу, но пусть будет сильным и крепким юношей. В юности, в зрелые годы, в старости — я всегда рассуждал и смотрел на дело именно так. И, наряду со многими другими вещами, порядки, заведенные в большинстве наших коллежей, никогда не нравились мне. Быть может, вред, приносимый ими, был бы значительно меньше, будь воспитатели хоть немножечко снисходительней. Но ведь это настоящие тюрьмы для заключенной в них молодежи. Там развивают в ней развращенность, наказывая за нее прежде, чем она действительно проявилась. Зайдите в такой коллеж во время занятий: вы не услышите ничего, кроме криков — криков школьников, подвергаемых порке, и криков учителей, ошалевших от гнева. Можно ли таким способом пробудить в детях охоту к занятиям, можно ли с такой страшной рожей, с плеткой в руках руководить этими пугливыми и нежными душами? Ложный и губительный способ! Добавим правильное замечание, сделанное на этот счет Квинтилианом: столь безграничная власть учителя чревата опаснейшими последствиями, особенно если учесть характер принятых у нас наказаний[48]. Насколько пристойнее было бы усыпать полы классных комнат цветами и листьями вместо окровавленных ивовых прутьев! Я велел бы там расписать стены изображениями Радости, Веселья, Флоры, Граций, как это сделал у себя в школе философ Спевсипп[49]. Где для детей польза, там же должно быть для них и удовольствие. Когда кормишь ребенка, полезные для него кушанья надо подсахаривать, а к вредным примешивать желчь.

Поразительно, сколько внимания уделяет в своих «Законах» Платон увеселениям и развлечениям молодежи в своем государстве; как подробно говорит он об их состязаниях в беге, играх, песнях, прыжках и плясках, руководство которыми и покровительство коим, по его словам, в древности было вверено самим божествам — Аполлону, музам, Минерве. Мы

найдем у него тысячу предписаний касательно его гимнасий; книжные знания его, однако, весьма мало интересуют, и он, мне кажется, советует заниматься поэзией только потому, что она связана с музыкой.

Нужно избегать всего странного и необычного в наших нравах и поведении, поскольку это мешает нам общаться с людьми и поскольку это вообще — уродства. Кто не удивился бы необычайным свойствам кравчего Александра, Демофона, который обливался потом в тени и трясся от озноба на солнце? Мне случалось видеть людей, которым был страшнее запах яблок, чем выстрелы из аркебуз, и таких, которые до смерти боялись мышей, и таких, которых начинало мутить, когда они видели сливки, и таких, которые не могли смотреть, когда при них взбивали перину, подобно тому как Германик [50] не выносил ни вида петухов, ни их пения. Возможно, что это происходит от какого-нибудь тайного свойства натуры: но, по-моему, все это можно побороть, если вовремя взяться за дело. Я был воспитан так, что мой вкус, хоть и не без труда, приспособился ко всему, что подается к столу, за исключением пива. Пока тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами и на все лады. И если воля и вкусы нашего юноши окажутся податливыми, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже, при случае, к беспутству и излишествам, если это окажется нужным. Пусть он приспосабливается к обычаям своего времени. Он должен уметь делать все без исключения, но любить делать должен только хорошее. Сами философы не одобряют поведения Каллисфена, утратившего благосклонность великого Александра из-за того, что он отказался пить так же много, как тот. Пусть юноша хохочет, пусть шалит, пусть беспутничает вместе со своим государем. Я хотел бы, чтобы даже в разгуле он превосходил выносливостью и крепостью своих сотоварищей. И пусть он никому не причиняет вреда не по недостатку возможностей и умения, а лишь по недостатку злой воли. Multum interest utrum peccare aliquis nolit aut nesciat *. Как-то раз, находясь в веселой компании, я обратился к одному вельможе, который, пребывая во Франции, никогда не отличался беспорядочным образом жизни, с вопросом, сколько раз в жизни ему пришлось напиться, находясь на королевской службе в Германии. Задавая этот вопрос, я имел в виду выразить ему свое уважение, и он так это и принял. Он ответил, что это случилось с ним трижды, и тут же рассказал, при каких обстоятельствах это произошло. Я знаю лиц, которые, не обладая способностями подобного рода, попадали в весьма тяжелое положение, ведя дела с этой нацией. Не раз восхищался я удивительной натурой Алкивиада [52], который с такой легкостью умел приспособляться, без всякого ущерба для своего здоровья, к самым различным условиям, то превосходя роскошью и великолепием самих персов, то воздержанностью и строгостью нравов — лакедемонян, то поражая всех своих целомудрием, когда был в Спарте, то сладострастием, когда находился в Ионии.

---

* Большая разница между нежеланием и неспособностью совершить проступок [51] (*лат.*).

Omnis Aristippum decuit color, et status, et res *.

Таким хотел бы я воспитать и моего питомца,

quem duplici panno patientia velat
Mirabor, vitae via si conversa decebit,
Personamque feret non inconcinnus utramque **.

Вот мои наставления. И больше пользы извлечет из них не тот, кто их заучит, а тот, кто применит их на деле. Если вы это видите, вы это и слышите; если вы это слышите, вы это и видите.

Да не допустит бог, говорит кто-то у Платона, чтобы занятия философией состояли лишь в усвоении разнообразных знаний и погружении в науку! Hanc amplissimam omnium artium bene vivendi disciplinam vita magis quam litteris persecuti sunt ***.

Леон, властитель Флиунта, спросил как-то Гераклида Понтийского, какой наукой или каким искусством он занимается. «Я не знаю ни наук, ни искусств,— ответил тот,— я — философ» [56].

Диогена упрекали в том, что, будучи невежественным в науках, он решается браться за философию. «Я берусь за нее,— сказал он в ответ,— с тем бо́льшими основаниями». Гегесий [57] попросил его прочитать ему какую-то книгу. «Ты смешишь меня! — отвечал Диоген.— Ведь ты предпочитаешь настоящие фиги нарисованным,— так почему же тебе больше нравятся не действительные деяния, а рассказы о них?»

Пусть наш юноша научится не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь. Пусть он повторяет их в своих действиях. И тогда будет видно, лежит ли благоразумие в основе его начинаний, проявляет ли он справедливость и доброту в своем поведении, ум и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, умеренность в наслаждениях, неприхотливость в питье и пище,— будет ли то мясо или же рыба, вино или вода,— умеет ли соблюдать порядок в своих домашних делах: Qui disciplinam suam, non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet, quique obtemperet ipse sibi, et decretis pareat **.

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

Зевксидам ответил человеку, спросившему его, почему лакедемоняне не излагают письменно своих предписаний относительно доблести и не дают их в таком виде читать молодежи: «Потому, что они хотят приучить ее к делам, а не к словам» [59]. Сравните их юношу пятнадцати или шестнадцати лет с одним из наших латинистов-школьников, который затратил

---

* Аристипп легко приспосабливался к любому обороту и состоянию дел [53] (*лат.*).

** Чтобы терпение укрывало его двойным плащом, и я был бы очень доволен, если бы он научился приспосабливаться к изменившимся обстоятельствам и легко выполнял бы и ту, и другую роль [54] (*лат.*).

*** Скорее из жизни, нежели из книг усвоили они эту науку правильно жить, высшую из всех [55] (*лат.*).

**** Надо, чтобы он видел в своей науке не похвальбу своей осведомленностью, но закон своей жизни, и чтобы он умел подчиняться себе самому и повиноваться своим решениям [58] (*лат.*).

столько же времени только на то, чтобы научиться как следует говорить. Свет слишком болтлив; я не встречал еще человека, который говорил бы не больше, а меньше, чем полагается; во всяком случае, половина нашей жизни уходит на разговоры. Четыре или пять лет нас учат правильно понимать слова и строить из них фразы; еще столько же — объединять фразы в небольшие рассуждения из четырех или даже пяти частей; и последние пять, если не больше — уменью ловко сочетать и переплетать эти рассуждения между собой. Оставим это занятие тем, кто сделал его своим ремеслом.

Направляясь как-то в Орлеан, я встретил на равнине около Клери двух школьных учителей, шедших в Бордо на расстоянии примерно пятидесяти шагов один позади другого. Еще дальше, за ними, я увидел военный отряд во главе с офицером, которым оказался не кто иной, как граф де Ларошфуко, ныне покойный. Один из сопровождавших меня людей спросил первого из учителей, кто этот дворянин. Тот, не заметив шедших подальше солдат и думая, что с ним говорят о его товарище, презабавно ответил: «Он вовсе не дворянин; это — грамматик, а что до меня, то я — логик». Но поскольку мы стараемся воспитать не логика или грамматика, а дворянина, предоставим им располагать своим временем столь нелепо, как им будет угодно; а нас ждут другие дела. Итак, лишь бы наш питомец научился как следует делам; слова же придут сами собой,— а если не захотят прийти, то он притащит их силой. Мне приходилось слышать, как некоторые уверяют, будто их голова полна всяких прекрасных мыслей, да только выразить их они не умеют: во всем, мол, виновато отсутствие у них красноречия. Но это — пустые отговорки! На мой взгляд, дело обстоит так. В головах у этих людей носятся какие-то бесформенные образы и обрывки мыслей, которые они не в состоянии привести в порядок и уяснить себе, а стало быть, и передать другим: они еще не научились понимать самих себя. И хотя они лепечут что-то как будто бы уже готовое родиться, вы ясно видите, что это скорей похоже на зачатие, чем на роды, и что они только подбираются издали к смутно мелькающей перед ними мысли. Я полагаю,— и в этом я могу опереться на Сократа,— что тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на тарабарском наречии, а если он немой, то с помощью мимики:

Verbaque praevisam rem non invita sequentur *.

Как выразился — хотя и прозой, но весьма поэтически — Сенека: cum res animum occupavere verba ambiunt **. Или, как говорил другой древний автор: Ipsae res verba rapiunt ***. Не беда, если мой питомец никогда не слышал о творительном падеже, о сослагательном наклонении и о существительном и вообще из грамматики знает не больше, чем его лакей

* Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой [60] (*лат.*).
** Когда суть дела заполняет душу, слова сопутствуют ей [61] (*лат.*).
*** Сам предмет подсказывает слова [62] (*лат.*).

или уличная торговка селедками. Да ведь этот самый лакей и эта торговка, лишь дай им волю, наговорят вам с три короба и сделают при этом не больше ошибок против правил своего родного языка, чем первейший магистр наук во Франции. Пусть наш ученик не знает риторики, пусть не умеет в предисловии снискать благоволение доверчивого читателя, но ему и не нужно знать всех этих вещей. Ведь, говоря по правде, все эти роскошные украшения легко затмеваются светом, излучаемым простой и бесхитростной истиной. Эти завитушки могут увлечь только невежд, неспособных вкусить от чего-либо более основательного и жесткого, как это отчетливо показано Апром у Тацита [63]. Послы самосцев явились к Клеомену, царю Спарты, приготовив прекрасную и пространную речь, которою хотели склонить его к войне с тираном Поликратом. Дав им возможность высказаться, Клеомен ответил: «Что касается зачина и вступления вашей речи, то я их забыл, равно как и середину ее; ну а что касается заключения, то я несогласен». Вот, как мне представляется, прекрасный ответ, оставивший этих говорунов с носом.

А что вы скажете о следующем примере? Афинянам надлежало сделать выбор между двумя строителями, предлагавшими свои услуги для возведения какого-то крупного здания. Один, более хитроумный, выступил с великолепной, заранее обдуманной речью о том, каким следует быть этому строению, и почти склонил народ на свою сторону. Другой же ограничился следующими словами: «Мужи афинские, что он сказал, то я сделаю».

Многие восхищались красноречием Цицерона в пору его расцвета; но Катон лишь подсмеивался над ним: «У нас,— говорил он,— презабавный консул». В конце ли, в начале ли речи, полезное изречение или меткое словцо всегда уместно. И если оно не подходит ни к тому, что ему предшествует, ни к тому, что за ним следует, оно все же хорошо само по себе. Я не принадлежу к числу тех, кто считает, что раз в стихотворении безупречен размер, то значит и все оно безупречно; по-моему, если поэт где-нибудь вместо краткого слога поставит долгий, беда не велика, лишь бы стихотворение звучало приятно, лишь бы оно обладало глубоким смыслом и содержанием — и я скажу, что перед нами хороший поэт, хоть и плохой стихотворец:

Emunctae naris, durus componere versus *.

Удалите, говорил Гораций, из его стихотворения чередование долгих и кратких слогов, удалите из него размеры,—

Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est,
Posterius facias, praeponens ultima primis,
Invenias etiam disiecti membra poetae **,

---

* Человек тонкого вкуса, стихи он складывал грубо [64] (*лат.*).

** Перепутай долгие и краткие слоги, разрушь ритм, измени порядок слов, поставь первое слово на место последнего и последнее на место первого... ты обнаружишь остаток даже растерзанного поэта [65].

оно не станет от этого хуже; даже отдельные части его будут прекрасны. Вот что ответил Менандр[66] бранившим его за то, что он еще не притронулся к обещанной им комедии, хотя назначенный для ее окончания срок уже истекал: «Она полностью сочинена и готова; остается только изложить это в стихах». Разработав в уме план комедии и расставив все по своим местам, он считал остальное безделицей. С той поры как Ронсар и Дю Белле создали славу нашей французской поэзии, нет больше стихоплетов, столь бы бездарными они ни были, которые не пучились бы словами, не нанизывали бы слогов, подражая им: Plus sonat quam valet *. Никогда еще не было у нас столько поэтов, пишущих на родном языке. Но хотя им и было легко усвоить ритмы двух названных поэтов, они все же не доросли до того, чтобы подражать роскошным описаниям первого и нежным фантазиям второго.

Но как же должен поступить наш питомец, если его начнут донимать софистическими тонкостями вроде следующего силлогизма: ветчина возбуждает желание пить, а питье утоляет жажду, стало быть, ветчина утоляет жажду? Пусть он посмеется над этим. Гораздо разумнее смеяться над подобными глупостями, чем пускаться в обсуждение их. Пусть он позаимствует у Аристиппа его остроумное замечание: «К чему мне распутывать это хитросплетение, если, даже будучи запутанным, оно изрядно смущает меня?» Некто решил выступить против Клеанфа во всеоружии диалектических ухищрений. На это Хрисипп сказал: «Забавляй этими фокусами детей и не отвлекай подобной чепухой серьезные мысли взрослого человека».

Если эти софистические нелепости, эти contorta et aculeata sophismata ** способны внушить ученику ложные понятия, то это и в самом деле опасно; но если они не оказывают на него никакого влияния и не вызывают в нем ничего, кроме смеха, я не вижу никаких оснований к тому, чтобы он уклонялся от них. Существуют такие глупцы, которые готовы свернуть с пути и сделать крюк в добрую четверть лье в погоне за острым словцом: aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba conveniant ***. А вот с чем мы встречаемся у другого писателя: sunt qui alicuius verbi decore placentis vocentur ad id quod non proposuerant scribere ****. Я охотнее изменю какое-нибудь хорошее изречение, чтобы вставить его в мои собственные писания, чем оборву нить моих мыслей, чтобы найти ему подходящее место. По-моему, это словам надлежит подчиняться и идти следом за мыслями, а не наоборот, и там, где бессилен французский, пусть его заменит гасконский. Я хочу, чтобы вещи преобладали, чтобы они заполняли собой воображение слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о словах. Речь, которую я

---

* Больше звону, чем смысла[67] (*лат.*).

** Запутанные и изощренные софизмы[68] (*лат.*).

*** ...или такие, что не слова соразмеряют с предметом, но выискивают предметы, к которым могли бы подойти эти слова[69] (*лат.*).

**** Бывают и такие, которые, увлекшись каким-нибудь излюбленным словом, обращаются к тому, о чем не предполагали писать[70] (*лат.*)

люблю,— это бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как на устах; речь сочная и острая, краткая и сжатая, не столько тонкая и приглаженная, сколько мощная и суровая:

Haec demum sapiet dictio, quae feriet *;

скорее трудная, чем скучная; свободная от всякой напыщенности, непринужденная, нескладная, смелая; каждый кусок ее должен выполнять свое дело; она не должна быть ни речью педанта, ни речью монаха, ни речью сутяги, но, скорее, солдатскою речью, как называет Светоний речь Цезаря [72], хотя, говоря по правде, мне не совсем понятно, почему он ее так называет.

Я охотно подражал в свое время той небрежности, с какой, как мы видим, наша молодежь носит одежду: плащ, свисающий на завязках, капюшон на плече, кое-как натянутые чулки — все это призвано выразить гордое презрение к этим иноземным нарядам, а также пренебрежение ко всякому лоску. Но я нахожу, что еще более уместным было бы то же самое в отношении нашей речи. Всякое жеманство, особенно при нашей французской живости и непринужденности, совсем не к лицу придворному, а в самодержавном государстве любой дворянин должен вести себя как придворный. Поэтому мы поступаем, по-моему, правильно, слегка подчеркивая в себе простодушие и небрежность.

Я ненавижу ткань, испещренную узелками и швами, подобно тому как и красивое лицо не должно быть таким, чтобы можно было пересчитать все его кости и вены. Quae veritati operam dat oratio, incomposita sit et simplex **. Quis accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui? ***.

Красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей.

Желание отличаться от всех остальных не принятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов. Почему я не могу пользоваться той же речью, какою пользуются на парижском рынке? Аристофан Грамматик [75], ничего в этом не смысля, порицал в Эпикуре простоту его речи и цель, которую тот ставил перед собой как оратор и которая состояла исключительно в ясности языка. Подражание чужой речи в силу его доступности — вещь, которой постоянно занимается целый народ; но подражать в мышлении и в воображении — это дается не так уж легко. Большинство читателей, находя облачение одинаковым, глубоко заблуждаются, полагая, что под ним скрыты и одинаковые тела.

Силу и сухожилия нельзя позаимствовать; заимствуются только уборы и плащ. Большинство тех, кто посещает меня, говорит так же, как

---

* Ведь в конце концов, нравится только такая речь, которая потрясает [71] (*лат.*).
** Речь, пекущаяся об истине, должна быть простой и безыскусной [73] (*лат.*).
*** Кто же оттачивает свои слова, если не тот, кто ставит своей задачей говорить вычурно? [74] (*лат.*).

написаны эти «Опыты»; но я, право, не знаю, думают ли они так же или как-нибудь по-иному.

Афиняне, говорит Платон [76], заботятся преимущественно о богатстве и изяществе своей речи, лакедемоняне — о ее краткости, а жители Крита проявляют больше заботы об изобилии мыслей, нежели о самом языке: они-то поступают правильнее всего. Зенон говорил, что у него было два рода учеников: одни, как он именует их, φιλολόγοι, алчущие познания самых вещей,— и они были его любимцами; другие — λογοφίλοι, которые заботились только о языке [77]. Этим нисколько не отрицается, что умение красно говорить — превосходная и весьма полезная вещь; но все же она совсем не так хороша, как принято считать, и мне досадно, что вся наша жизнь наполнена стремлением к ней. Что до меня, то я прежде всего хотел бы знать надлежащим образом свой родной язык, а затем язык соседних народов, с которыми я чаще всего общаюсь. Овладение же языками греческим и латинским — дело, несомненно, прекрасное и важное, но оно покупается слишком дорогою ценой. Я расскажу здесь о способе приобрести эти знания много дешевле обычного — способе, который был испытан на мне самом. Его сможет применить всякий, кто пожелает.

Покойный отец мой, наведя тщательнейшим образом справки у людей ученых и сведущих, как лучше всего изучать древние языки, был предупрежден ими об обычно возникающих здесь помехах; ему сказали, что единственная причина, почему мы не в состоянии достичь величия и мудрости древних греков и римлян,— продолжительность изучения их языков, тогда как им самим это не стоило ни малейших усилий. Я, впрочем, не думаю чтобы это была действительно единственная причина. Так или иначе, но мой отец нашел выход в том, что прямо из рук кормилицы и прежде, чем мой язык научился первому лепету, отдал меня на попечение одному немцу [78], который много лет спустя скончался во Франции, будучи знаменитым врачом. Мой учитель совершенно не знал нашего языка, но прекрасно владел латынью. Приехав по приглашению моего отца, предложившего ему превосходные условия, исключительно ради моего обучения, он неотлучно находился при мне. Чтобы облегчить его труд, ему было дано еще двое помощников, не столь ученых, как он, которые были приставлены ко мне дядьками. Все они в разговоре со мною пользовались только латынью. Что до всех остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакей или горничная не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских, усвоенных каждым из них, дабы кое-как объясняться со мною. Поразительно, однако, сколь многого они в этом достигли. Отец и мать выучились латыни настолько, что вполне понимали ее, а в случае нужды могли и изъясниться на ней; то же можно сказать и о тех слугах, которым приходилось больше соприкасаться со мною. Короче говоря, мы до такой степени олатинились, что наша латынь добралась даже до расположенных в окрестностях деревень, где и по сию пору сохраняются укоренившиеся вследствие частого употребления латинские названия некоторых ремесел

и относящихся к ним орудий. Что до меня, то даже на седьмом году я столько же понимал французский или окружающий меня перигорский говор, сколько, скажем, арабский. И без всяких ухищрений, без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розог и слез я постиг латынь, такую же безупречно чистую, как и та, которой владел мой наставник, ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и искажать ее. Когда случалось предложить мне ради проверки письменный перевод на латинский язык, то приходилось давать мне текст не на французском языке, как это делают в школах, а на дурном латинском, который мне надлежало переложить на хорошую латынь. И Никола́ Груши, написавший «De comitiis Romanorum», Гильом Герант, составивший комментарии к Аристотелю, Джордж Бьюкенен, великий шотландский поэт, Марк-Антуан Мюре [79], которого и Франция и Италия считают лучшим оратором нашего времени, бывшие также моими наставниками, не раз говорили мне, что в детстве я настолько легко и свободно говорил по-латыни, что они боялись подступиться ко мне. Бьюкенен, которого я видел и позже в свите покойного маршала де Бриссака, сообщил мне, что, намереваясь писать о воспитании детей, он взял мое воспитание в качестве образца; в то время на его попечении находился молодой граф де Бриссак, представивший нам впоследствии доказательства своей отваги и доблести.

Что касается греческого, которого я почти вовсе не знаю, то отец имел намерение обучить меня этому языку, используя совершенно новый способ — путем разного рода забав и упражнений. Мы перебрасывались склонениями вроде тех юношей, которые с помощью определенной игры, например шашек, изучают арифметику и геометрию. Ибо моему отцу, среди прочего, советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что,— во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в который они погружаются гораздо глубже, чем мы, взрослые,— мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из услужающих мне.

Этого примера достаточно, чтобы судить обо всем остальном, а также чтобы получить надлежащее представление о заботливости и любви столь исключительного отца, которому ни в малой мере нельзя поставить в вину, что ему не удалось собрать плодов, на какие он мог рассчитывать при столь тщательной обработке. Два обстоятельства были причиной этого: во-первых, бесплодная и неблагодарная почва, ибо, хоть я и отличался отменным здоровьем и податливым, мягким характером, все же, наряду с этим, я до такой степени был тяжел на подъем, вял и сонлив, что меня не могли вывести из состояния праздности, даже чтобы заставить хоть чуточку поиграть. То, что я видел, я видел как следует, и под этой тя-

желовесной внешностью предавался смелым мечтам и не по возрасту зрелым мыслям. Ум же у меня был медлительный, шедший не дальше того, докуда его довели, усваивал я также не сразу; находчивости во мне было мало, и, ко всему, я страдал почти полным — так что трудно даже поверить — отсутствием памяти. Поэтому нет ничего удивительного, что отцу так и не удалось извлечь из меня что-нибудь стоящее. А во-вторых, подобно всем тем, кем владеет страстное желание выздороветь и кто прислушивается поэтому к советам всякого рода, этот добряк, безумно боясь потерпеть неудачу в том, что он так близко принимал к сердцу, уступил, в конце концов, общему мнению, которое всегда отстает от людей, что идут впереди, вроде того как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю, не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии. Итак, он отправил меня, когда мне было около шести лет, в гиеньскую школу, в то время находившуюся в расцвете и почитавшуюся лучшей во Франции. И вряд ли можно было бы прибавить еще что-нибудь к тем заботам, которыми он меня там окружил, выбрав для меня наиболее достойных наставников, занимавшихся со мною отдельно, и выговорив для меня ряд других, не предусмотренных в школах, преимуществ. Но как бы там ни было, это все же была школа. Моя латынь скоро начала здесь портиться, и, отвыкнув употреблять ее в разговоре, я быстро утратил владение ею. И все мои знания, приобретенные благодаря новому способу обучения, сослужили мне службу только в том отношении, что позволили мне сразу перескочить в старшие классы. Но, выйдя из школы тринадцати лет и окончив, таким образом, курс наук (как это называется на их языке), я, говоря по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену.

Впервые влечение к книгам зародилось во мне благодаря удовольствию, которое я получил от рассказов Овидия в его «Метаморфозах». В возрасте семи-восьми лет я отказывался от всех других удовольствий, чтобы наслаждаться чтением их; кроме того, что латынь была для меня родным языком, это была самая легкая из всех известных мне книг и к тому же наиболее доступная по своему содержанию моему незрелому уму. Ибо о всяких там Ланселотах Озерных, Амадисах, Гюонах Бордоских [80] и прочих дрянных книжонках, которыми увлекаются в юные годы, я в то время и не слыхивал (да и сейчас толком не знаю, в чем их содержание),— настолько строгой была дисциплина, в которой меня воспитывали. Больше небрежности проявлял я в отношении других задаваемых мне уроков. Но тут меня выручало то обстоятельство, что мне приходилось иметь дело с умным наставником, который умел очень мило закрывать глаза как на эти, так и на другие, подобного же рода мои прегрешения. Благодаря этому я проглотил последовательно «Энеиду» Вергилия, затем Теренция, Плавта, наконец, итальянские комедии, всегда увлекавшие меня занимательностью своего содержания. Если бы наставник мой проявил тупое упорство и насильственно оборвал это чтение, я бы вынес из школы лишь лютую ненависть к книгам, как это случается почти со

всеми нашими молодыми дворянами. Но он вел себя весьма мудро. Делая вид, что ему ничего не известно, он еще больше разжигал во мне страсть к поглощению книг, позволяя лакомиться ими только украдкой и мягко понуждая меня выполнять обязательные уроки. Ибо главные качества, которыми, по мнению отца, должны были обладать те, кому он поручил мое воспитание, были добродушие и мягкость характера. Да и в моем характере не было никаких пороков, кроме медлительности и лени. Опасаться надо было не того, что я сделаю что-нибудь плохое, а того, что я ничего не буду делать. Ничто не предвещало, что я буду злым, но все — что я буду бесполезным. Можно было предвидеть, что мне будет свойственна любовь к безделью, но не любовь к дурному.

Я вижу, что так оно и случилось. Жалобы, которыми мне протрубили все уши, таковы: «Он ленив; равнодушен к обязанностям, налагаемым дружбой и родством, а также к общественным; слишком занят собой». И даже те, кто менее всего расположен ко мне, все же не скажут: «На каком основании он захватил то-то и то-то? На каком основании он не платит?» Они говорят: «Почему он не уступает? Почему не дает?»

Я буду рад, если и впредь ко мне будут обращать лишь такие, порожденные сверхтребовательностью, упреки. Но некоторые несправедливо требуют от меня, чтобы я делал то, чего я не обязан делать, и притом гораздо настойчивее, чем требуют от себя того, что они обязаны делать. Осуждая меня, они заранее отказывают тем самым любому моему поступку в награде, а мне — в благодарности, которая была бы лишь справедливым воздаянием должного. Прошу еще при этом учесть, что всякое хорошее дело, совершенное мною, должно цениться тем больше, что сам я меньше кого-либо пользовался чужими благодеяниями. Я могу тем свободнее распоряжаться моим имуществом, чем больше оно мое. И если бы я любил расписывать все, что делаю, мне было бы легко отвести от себя эти упреки. А иным из этих господ я сумел бы без труда доказать, что они не столько раздражены тем, что я делаю недостаточно много, сколько тем, что я мог бы сделать для них значительно больше.

В то же время душа моя сама по себе вовсе не лишена была сильных движений, а также отчетливого и ясного взгляда на окружающее, которое она достаточно хорошо понимала и оценивала в одиночестве, ни с кем ни общаясь. И среди прочего я, действительно, думаю, что она неспособна была бы склониться перед силою и принуждением.

Следует ли мне упомянуть еще об одной способности, которую я проявлял в своем детстве? Я имею в виду выразительность моего лица, подвижность и гибкость в голосе и телодвижениях, умение сживаться с той ролью, которую я исполнял. Ибо еще в раннем возрасте,

Alter ab undecimo tum me vix ceperat annus *,

я справлялся с ролями героев в латинских трагедиях Бьюкенена, Геранта и Мюре, которые отлично ставились в нашей гиеньской школе. Наш прин-

---

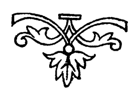
* Мне в ту пору едва пошел двенадцатый год [81] (*лат.*).

ципал, Андреа де Гувеа[82], как и во всем, что касалось исполняемых им обязанностей, был и в этом отношении, без сомнения, самым выдающимся среди принципалов наших школ. Так вот, на этих представлениях меня считали первым актером. Это — такое занятие, которое я ни в какой мере не порицал бы, если бы оно получило распространение среди детей наших знатных домов. Впоследствии мне доводилось видеть и наших принцев, которые отдавались ему, уподобляясь в этом кое-кому из древних, с честью для себя и с успехом.

В древней Греции считалось вполне пристойным, когда человек знатного рода делал из этого свое ремесло: Aristoni tragico actori rem aperit; huic et genus et fortuna honesta erant; nec ars, quia nihil tale apud. Graecos pudori est, ea deformabat *.

Я всегда осуждал нетерпимость ополчающихся против этих забав, а также несправедливость тех, которые не допускают искусных актеров в наши славные города, лишая тем самым народ этого публичного развлечения. Разумные правители, напротив, прилагают всяческие усилия, чтобы собирать и объединять горожан как для того, чтобы сообща отправлять обязанности, налагаемые на нас благочестием, так и для упражнений и игр разного рода: дружба и единение от этого только крепнут. И потом, можно ли было бы предложить им более невинные развлечения, чем те, которые происходят на людях и на виду у властей? И, по-моему, было бы правильно, если бы власти и государь угощали время от времени за свой счет городскую коммуну подобными зрелищами, проявляя тем самым свою благосклонность и как бы отеческую заботливость, и если бы в городах с многочисленным населением были отведены соответствующие места для представлений этого рода, которые отвлекали бы горожан от худших и темных дел.

Возвращаясь к предмету моего рассуждения, повторю, что самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью. Поощряя их ударами розог, им отдают на хранение торбу с разными знаниями, но для того, чтобы они были действительным благом, недостаточно их держать при себе,— нужно ими проникнуться.



* Он поделился своим замыслом с трагическим актером Аристоном; этот последний был хорошего рода, притом богат, и актерское искусство, которое у греков не считается постыдным, нисколько не унижало его[83] (*лат.*).

Глава XXVII
БЕЗУМИЕ СУДИТЬ, ЧТО ИСТИННО И ЧТО ЛОЖНО, НА ОСНОВАНИИ НАШЕЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

Не без основания, пожалуй, приписываем мы простодушию и невежеству склонность к легковерию и готовность поддаваться убеждению со стороны. Ведь меня, как кажется, когда-то учили, что вера есть нечто, как бы запечатлеваемое в нашей душе; а раз так, то чем душа мягче и чем менее способна оказывать сопротивление, тем легче в ней запечатлеть что бы то ни было. Ut necesse est lancem in libra ponderibus impositis deprimi, sic animum perspicuis cedere *.

В самом деле, чем менее занята и чем меньшей стойкостью обладает наша душа, тем легче она сгибается под тяжестью первого обращенного к ней убеждения. Вот почему дети, простолюдины, женщины и больные склонны к тому, чтобы их водили, так сказать, за уши. Но, с другой стороны, было бы глупым бахвальством презирать и осуждать как ложное то, что кажется нам невероятным, а это обычный порок всех, кто считает, что они превосходят знаниями других. Когда-то страдал им и я, и если мне доводилось слышать о привидениях, предсказаниях будущего, чарах колдовстве или еще о чем-нибудь, что было мне явно не по зубам,

Somnia, terrores magicos, miracula, sagas,
Nocturnos lemures portentaque Thessala **,

меня охватывало сострадание к бедному народу, напичканному этими бреднями. Теперь, однако, я думаю, что столько же, если не больше, я должен был бы жалеть себя самого; и не потому, чтобы опыт принес мне что-нибудь новое сверх того, во что я верил когда-то,— хотя в любознательности у меня никогда не было недостатка,— а по той причине, что разум мой с той поры научил меня, что осуждать что бы то ни было с такой решительностью, как ложное и невозможное,— значит приписывать себе преимущество знать границы и пределы воли господней и могущества матери нашей природы; а также потому, что нет на свете большего безумия, чем мерить их мерой наших способностей и нашей осведомленности. Если мы зовем диковинным или чудесным недоступное нашему разуму, то сколько же таких чудес непрерывно предстает нашему взору! Вспомним, сквозь какие туманы и как неуверенно приходим мы к познанию большей части вещей, с которыми постоянно имеем дело,— и мы поймем, разумеется, что если они перестали казаться нам странными, то

---

* Как чаша весов опускается под тяжестью груза, так и дух наш поддается воздействию очевидности [1] (*лат.*).

** Сны, наваждения магов, необыкновенные явления, колдуньи, ночные призраки и фессалийские чудеса [2] (*лат.*).

причина этому скорее привычка, нежели знание —

iam nemo, fessus satiate videndi,
Suspicere in coeli dignatur lucida templa *,

и что, если бы эти же вещи предстали перед нами впервые, мы сочли бы их столь же или даже более невероятными, чем воспринимаемые нами как таковые,

si nunc primum mortalibus adsint
Ex improviso, ceu sint obiecta repente,
Nil magis his rebus poterat mirabile dici,
Aut minus ante quod auderent fore credere gentes **.

Кто никогда не видел реки, тот, встретив ее в первый раз, подумает, что перед ним океан. И вообще, вещи, известные нам как самые что ни на есть большие, мы считаем пределом того, что могла бы создать в том же роде природа,—

Scilicet et fluvius, qui non est maximus, ei est
Qui non ante aliquem maiorem vidit, et ingens
Arbor homoque videtur; et omnia de genere omni
Maxima quae vidit quisque, haec ingentia fingit ***.

Consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque requirunt rationes earum rerum quas semper vident ****.

Не столько величественность той или иной вещи, сколько ее новизна побуждает нас доискиваться ее причины.

Нужно отнестись с бо́льшим почтением к этому поистине безграничному могуществу природы и яснее осознать нашу собственную невежественность и слабость. Сколько есть на свете маловероятных вещей, засвидетельствованных, однако, людьми, заслуживающими всяческого доверия! И если мы не в состоянии убедиться в действительном существовании этих вещей, то вопрос о них должен оставаться, в худшем случае, нерешенным; ибо отвергать их в качестве невозможных означает не что иное, как ручаться, в дерзком самомнении, будто знаешь, где именно находятся границы возможного. Если бы люди достаточно хорошо отличали невозможное от необычного и то, что противоречит порядку вещей и законам природы, от того, что противоречит общераспространенным мнениям, если бы они не были ни безрассудно доверчивыми, ни столь же безрассудно склонными к недоверию, тогда соблюдалось бы предписываемое Хилоном[7] правило: «Ничего чрезмерного».

---

* И каждый, утомившись и пресытившись созерцанием, не смотрит больше на сияющую храмину небес [3] (*лат.*).

** Если бы они впервые внезапно предстали смертным, не было бы ничего поразительнее их, на что бы ни дерзнуло перед тем воображение человека [4] (*лат.*).

*** Так и река, не будучи величайшей, является такой для того, кто не видел большей; и огромным представляется дерево, и человек, и вообще все, превосходящее, на его взгляд, предметы того же рода, мнится ему огромным [5] (*лат.*).

**** Души привыкают к предметам вместе с глазами, и эти предметы их больше не поражают, и они не доискиваются причин того, что у них всегда перед глазами [6] (*лат.*)

Когда мы читаем у Фруассара, что граф де Фуа, будучи в Беарне, узнал о поражении короля Иоанна Кастильского под Альхубарротой[8] уже на следующий день после битвы, а также его объяснения этого чуда, то над этим можно лишь посмеяться; то же относится и к содержащемуся в наших анналах[9] рассказу о папе Гонории, который в тот самый день, когда король Филипп Август[10] умер в Манте, повелел совершить торжественный обряд его погребения в Риме, а также по всей Италии, ибо авторитет этих свидетелей не столь уж значителен, чтобы мы безропотно подчинялись ему. Но так ли это всегда? Когда Плутарх, кроме других примеров, которые он приводит из жизни древних, говорит, что, как он знает из достоверных источников, во времена Домициана весть о поражении, нанесенном Антонию где-то в Германии, на расстоянии многих дней пути, дошла до Рима и мгновенно распространилась в тот же день, когда было проиграно это сражение[11]; когда Цезарь уверяет, что молва часто упреждает события[12],— скажем ли мы, что эти простодушные люди, не столь проницательные, как мы, попались на ту же удочку, что и невежественная толпа? Существует ли что-нибудь столь же тонкое, точное и живое, как суждения Плиния, когда он считает нужным сообщить их читателю, не говоря уже об исключительном богатстве его познаний? Чем же мы превосходим его в том и другом? Однако нет ни одного школьника, сколь бы юным он ни был, который не уличал бы его во лжи и не горел бы желанием прочитать ему лекцию о законах природы.

Когда мы читаем у Буше[13] о чудесах, совершенных якобы мощами святого Илария, то не станем задерживаться на этом: доверие к этому писателю не столь уж велико, чтобы мы не осмелились усомниться в правдивости его рассказов. Но отвергнуть все истории подобного рода я считаю недопустимой дерзостью. Св. Августин, этот величайший из наших святых, говорит, что он видел, как мощи святых Гервасия и Протасия, выставленные в Милане, возвратили зрение слепому ребенку; как одна женщина в Карфагене была исцелена от язвы крестным знамением, которым ее осенила другая, только что окрещенная женщина; как один из его друзей, Гесперий, изгнал из его дома злых духов с помощью горсти земли с гробницы нашего господа и как потом эта земля, перенесенная в церковь, мгновенно исцелила параличного; как одна женщина, до этого много лет слепая, коснувшись своим букетом во время религиозной процессии раки святого Стефана, потерла себе этим букетом глаза и тотчас прозрела; и о многих других чудесах, которые, как он говорит, совершились в его присутствии. В чем же могли бы мы предъявить обвинение и ему и святым епископам Аврелию и Максимину, на которых он ссылается как на свидетелей? В невежестве, глупости, легковерии? Или даже в злом умысле и обмане? Найдется ли в наше время столь дерзостный человек, который считал бы, что он может сравняться с ними в добродетели или благочестии, в познаниях, уме и учености? Qui, ut rationem nullam afferent, ipsa auctoritate me frangerent *.

* Которые, даже если бы не привели никаких доводов, все равно сокрушили бы меня своим авторитетом[14] (*лат.*).

Презирать то, что мы не можем постигнуть,— опасная смелость, чреватая неприятнейшими последствиями, не говоря уж о том, что это нелепое безрассудство. Ведь установив, согласно вашему премудрому разумению, границы истинного и ложного, вы тотчас же должны будете отказаться от них, ибо неизбежно обнаружите, что приходится верить в вещи еще более странные, чем те, которые вы отвергаете. И как мне кажется, уступчивость, проявляемая католиками в вопросах веры, вносит немалую смуту и в нашу совесть и в те религиозные разногласия, в которых мы пребываем. Им представляется, что они проявляют терпимость и мудрость, когда уступают своим противникам в тех или иных спорных пунктах. Но, не говоря уж о том, сколь значительное преимущество дает нападающей стороне то, что противник начинает подаваться назад и отступать, и насколько это подстрекает ее к упорству в достижении поставленной цели, эти пункты, которые они выбрали как наименее важные, в некоторых отношениях чрезвычайно существенны. Надо либо полностью подчиниться авторитету наших церковных властей, либо решительно отвергнуть его. Нам не дано устанавливать долю повиновения, которую мы обязаны ему оказывать. Я могу сказать это на основании личного опыта, ибо некогда разрешал себе устанавливать и выбирать по своему усмотрению, в чем именно я могу нарушить обряды католической церкви, из которых иные казались мне либо совсем незначительными, либо особенно странными; но, переговорив с людьми сведущими, я нашел, что и эти обряды имеют весьма глубокое и прочное основание и что лишь недомыслие и невежество побуждают нас относиться к ним с меньшим уважением, чем ко всему остальному. Почему бы нам не вспомнить, сколько противоречий ощущаем мы сами в своих суждениях! Сколь многое еще вчера было для нас нерушимыми догматами, а сегодня воспринимается нами как басни! Тщеславие и любопытство — вот два бича нашей души. Последнее побуждает нас всюду совать свой нос, первое запрещает оставлять что-либо неопределенным и нерешенным.



Глава XXVIII

О ДРУЖБЕ

Присматриваясь к приемам одного находящегося у меня живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему мастерством, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся пре-

лесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. И, по правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные как попало из различных частей, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?

Desinit in piscem mulier formosa superne *.

В последнем я иду вровень с моим живописцем, но что до другой, лучшей части его труда, то я весьма отстаю от него, ибо мое умение не простирается так далеко, чтобы я мог решиться задумать прекрасную, тщательно отделанную картину, написанную в соответствии с правилами искусства. Мне пришло в голову позаимствовать ее у Этьена де Ла Боэси, и она принесет честь всему остальному в этом труде. Я имею в виду его рассуждение, которому он дал название «Добровольное рабство» и которое люди, не знавшие этого, весьма удачно перекрестили в «Против единого»[2]. Он написал его, будучи еще очень молодым, в жанре опыта в честь свободы и против тиранов. Оно с давних пор ходит по рукам людей просвещенных и получило с их стороны высокую и заслуженную оценку, ибо прекрасно написано и полно превосходных мыслей. Нужно, однако, добавить, что это отнюдь не лучшее из того, что он мог бы создать; и если бы в том, более зрелом возрасте, когда я его знал, он возымел такое же намерение, как и я — записывать все, что ни придет в голову, мы имели бы немало редкостных сочинений, которые могли бы сравниться со знаменитыми творениями древних, ибо я не знаю никого, кто мог бы сравняться с ним природными дарованиями в этой области. Но до нас дошло, да и то случайно, только это его рассуждение, которого, как я полагаю, он никогда после написания больше не видел, и еще кое-какие заметки о январском эдикте[3] (заметки эти, быть может, будут преданы гласности где-нибудь в другом месте),— эдикте столь знаменитом благодаря нашим гражданским войнам. Вот и все — если не считать книжечки его сочинений, которую я выпустил в свет[4],— что мне удалось обнаружить в оставшихся от него бумагах, после того как он, уже на смертном одре, в знак любви и расположения, сделал меня по завещанию наследником и своей библиотеки и своих рукописей. Я чрезвычайно многим обязан этому произведению, тем более что оно послужило поводом к установлению между нами знакомства. Мне показали его еще задолго до того, как мы встретились, и оно, познакомив меня с его именем, способствовало, таким образом, возникновению между нами дружбы, которую мы питали друг к другу, пока богу угодно было, дружбы столь глубокой и совершенной, что другой такой вы не найдете и в книгах, не говоря уж о том, что между нашими современниками невозможно встретить что-либо похожее. Для того, чтобы возникла подобная дружба, требуется совпадение стольких обстоятельств, что и то много, если судьба ниспосылает ее один раз в три столетия.

---

* Сверху прекрасная женщина, снизу — рыба[1] (*лат.*).

Нет, кажется, ничего, к чему бы природа толкала нас более, чем к дружескому общению. И Аристотель указывает, что хорошие законодатели пекутся больше о дружбе, нежели о справедливости [5]. Ведь высшая ступень ее совершенства — это и есть справедливость. Ибо, вообще говоря, всякая дружба, которую порождают и питают наслаждение или выгода, нужды частные или общественные, тем менее прекрасна и благородна и тем менее является истинной дружбой, чем больше посторонних самой дружбе причин, соображений и целей примешивают к ней.

Равным образом не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая гостеприимством и любовная,— ни каждая в отдельности, ни все вместе взятые.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение. Дружба питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу слишком большого неравенства в летах, и к тому же она мешала бы иногда выполнению детьми их естественных обязанностей. Ибо отцы не могут посвящать детей в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с предупреждениями и увещаниями, что есть одна из первейших обязанностей между друзьями. Существовали народы, у которых, согласно обычаю, дети убивали своих отцов, равно как и такие, у которых, напротив, отцы убивали детей, как будто бы те и другие в чем-то мешали друг другу и жизнь одних зависела от гибели других. Бывали также философы, питавшие презрение к этим естественным узам, как, например, Аристипп; когда ему стали доказывать, что он должен любить своих детей хотя бы уже потому, что они родились от него, он начал плеваться, говоря, что эти плевки тоже его порождение и что мы порождаем также вшей и червей. А другой философ, которого Плутарх хотел примирить с его братом, заявил: «Я не придаю большого значения тому обстоятельству, что мы оба вышли из одного и того же отверстия». А между тем слово «брат»— поистине прекрасное слово, выражающее глубокую привязанность и любовь, и по этой причине я и Ла Боэси постоянно прибегали к нему, чтобы дать понятие о нашей дружбе. Но эта общность имущества, разделы его и то, что богатство одного есть в то же время бедность другого, все это до крайности ослабляет и уродует кровные связи. Стремясь увеличить свое благосостояние, братья вынуждены идти одним шагом и одною тропой, поэтому они волей-неволей часто сталкиваются и мешают друг другу. Кроме того, почему им должны быть обязательно свойственны то соответствие склонностей и душевное сходство, которые только одни и порождают истинную и совершенную дружбу? Отец и сын по свойствам своего характера могут быть весьма далеки друг от друга; то же и братья. Это мой сын, это мой отец, но вместе с тем это человек жестокий, злой или глупый. И затем, поскольку подобная дружба предписывается нам законом или узами, налагаемыми природой, здесь гораздо меньше нашего выбора и свободной воли. А между тем ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как

привязанность и дружба. Это вовсе не означает, что я не испытывал на себе всего того, что могут дать родственные чувства, поскольку у меня был лучший в мире отец, необычайно снисходительный вплоть до самой глубокой своей старости, да и вообще я происхожу из семьи, прославленной тем, что в ней из рода в род передавалось образцовое согласие между братьями:

et ipse
Notus in fratres animi paterni *.

Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ей любовь к женщине, хотя такая любовь и возникает из нашего свободного выбора. Ее пламя, охотно признаюсь в этом,—

neque enim est dea nescia nostri
Quae dulcem curis miscet amaritiem **,

более неотступно, более жгуче и томительно. Но это — пламя безрассудное и летучее, непостоянное и переменчивое, это — лихорадочный жар, то затухающий, то вспыхивающий с новой силой и гнездящийся лишь в одном уголке нашей души. В дружбе же — теплота общая и всепроникающая, умеренная, сверх того, ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой нет ничего резкого и ранящего. Больше того, любовь — неистовое влечение к тому, что убегает от нас:

Come segue la lepre il cacciatore
Al freddo, al caldo, alla montagna, al lito;
Nè più l'estima poi che presa vede,
Et sol dietro a chi fugge affretta il piede ***.

Как только такая любовь переходит в дружбу, то есть в согласие желаний, она чахнет и угасает. Наслаждение, сводясь к телесному обладанию и потому подверженное пресыщению, убивает ее. Дружба, напротив, становится тем желаннее, чем полнее мы наслаждаемся ею; она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое доставляет нам, и так как наслаждение это — духовное, то душа, предаваясь ему, возвышается. Наряду с этой совершенною дружбой и меня захватывали порой эти мимолетные увлечения; я не говорю о том, что подвержен им был и мой друг, который весьма откровенно в этом признается в своих стихах. Таким образом, обе эти страсти были знакомы мне, отлично уживаясь между собой в моей душе, но никогда они не были для меня соизмеримы: первая величаво и горделиво совершала свой подобный

---

* И сам я известен своим отеческим чувством к братьям [6] (*лат.*).

** Ведь и я знаком богине, которая примешивает сладостную горесть к заботам любви [7] (*лат.*).

*** Так охотник преследует зайца в мороз и в жару, через горы и долы; он горит желанием настигнуть зайца, лишь пока тот убегает от него, а овладев своей добычей, уже мало ценит ее [8] (*ит.*).

полету путь, поглядывая презрительно на вторую, копошившуюся где-то внизу, вдалеке от нее.

Что касается брака, то,— не говоря уж о том, что он является сделкой, которая бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (ибо длительность ее навязывается нам принудительно и не зависит от нашей воли), и, сверх того, сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях,— в нем бывает еще тысяча посторонних обстоятельств, в которых трудно разобраться, но которых вполне достаточно, чтобы оборвать нить и нарушить развитие живого чувства. Между тем, в дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой. Добавим к этому, что, по правде говоря, обычный уровень женщин отнюдь не таков, чтобы они были способны поддерживать ту духовную близость и единение, которыми питается этот возвышенный союз; да и душа их, по-видимому, не обладает достаточной стойкостью, чтобы не тяготиться стеснительностью столь прочной и длительной связи. И, конечно, если бы это не составляло препятствий и если бы мог возникнуть такой добровольный и свободный союз, в котором не только души вкушали бы это совершенное наслаждение, но и тела тоже его разделяли, союз, которому человек отдавался бы безраздельно, то несомненно, что и дружба в нем была бы еще полнее и безусловнее. Но ни разу еще слабый пол не показал нам примера этого, и, по единодушному мнению всех философских школ древности, женщин здесь приходится исключить.

Распущенность древних греков в любви, имеющая совсем особый характер, при наших нынешних нравах справедливо внушает нам отвращение. Но, кроме того, эта любовь, согласно принятому у них обычаю, неизбежно предполагала такое неравенство в возрасте и такое различие в общественном положении между любящими, что ни в малой мере не представляла собой того совершенного единения и соответствия, о которых мы здесь говорим: Quis est enim iste amor amicitiae? Cur neque deformem adolescentem quisquam amat, neque formosum senem? * И даже то изображение этой любви, которое дает Академия [10], не отнимает, как я полагаю, у меня права сказать со своей стороны следующее: когда сын Венеры поражает впервые сердце влюбленного страстью к предмету его обожания, пребывающему во цвете своей нежной юности,— по отношению к которой греки позволяли себе любые бесстыдные и пылкие домогательства, какие только может породить безудержное желание,— то эта страсть может иметь своим основанием исключительно внешнюю красоту, только обманчивый образ телесной сущности. Ибо о духе тут не могло быть и речи, поскольку он не успел еще обнаружить себя, поскольку он только еще зарождается и не достиг той поры, когда происходит его созревание. Если такой страстью воспламенялась низменная душа, то средствами, к которым она прибегала для достижения своей цели, были бо-

* Что же представляет собой эта влюбленность друзей? Почему никто не полюбит безобразного юношу или красивого старца? [9] (*лат.*).

гатство, подарки, обещание впоследствии обеспечить высокие должности и прочие низменные приманки, которые порицались философами. Если же она западала в более благородную душу, то и приемы завлечения были более благородными, а именно: наставления в философии, увещания чтить религию, повиноваться законам, отдать жизнь, если понадобится, за благо родины, беседы, в которых приводились образцы доблести, благоразумия, справедливости; при этом любящий прилагал всяческие усилия, дабы увеличить свою привлекательность добрым расположением и красотой своей души, понимая, что красота его тела увяла уже давно, и надеясь с помощью этого умственного общения установить более длительную и прочную связь с любимым. И когда усилия после долгих стараний увенчивались успехом (ибо, если от любящего и не требовалось осторожности и осмотрительности в выражении чувств, то эти качества обязательно требовались от любимого, которому надлежало оценить внутреннюю красоту, обычно неясную и трудно различимую), тогда в любимом рождалось желание духовно зачать от духовной красоты любящего. Последнее для него было главным, а плотское — случайным и второстепенным, тогда как у любящего все было наоборот. Именно по этой причине любимого древние философы ставили выше, утверждая, что и боги придерживаются того же. По этой же причине порицали они Эсхила, который, изображая любовь Ахилла к Патроклу, отвел роль любящего Ахиллу, хотя он был безбородым юношей, только-только вступившим в пору своего цветения и к тому же прекраснейшим среди греков. Поскольку в том целом, которое представляет собой такое содружество, главная и наиболее достойная сторона выполняет свое назначение и господствует, оно, по их словам, порождает плоды, приносящие огромную пользу как отдельным лицам, так и всему обществу; они говорят, что именно в этом заключалась сила тех стран, где был принят этот обычай, что он был главным оплотом равенства и свободы и что свидетельством этого является столь благодетельная любовь Гармодия и Аристогитона [11]. Они называют ее поэтому божественной и священной. И лишь произвол тиранов и трусость народов могут, по их мнению, противиться ей. В конце концов, все, что можно сказать в оправдание Академии, сводится лишь к тому, что эта любовь заканчивалась подлинной дружбой, а это не так уже далеко от определения любви стоиками: Amorem conatum esse amicitiae faciendae ex pulchritudinis specie *. Возвращаюсь к моему предмету, к дружбе более естественной и не столь неравной. Omnino amicitiae corroboratis iam confirmatisque ingeniis et aetatibus, iudicandae sunt **.

Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, это не более, чем короткие и близкие знакомства, которые мы завязали случайно или из соображений удобства и благодаря которым наши души

---

* Любовь есть стремление добиться дружбы того, кто привлекает своей красотой [12] (*лат.*).

** О дружбе может правильно судить лишь человек с уже закаленной душой в зрелом возрасте [13] (*лат.*).

вступают в общение. В той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто и они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: «Потому, что это был он, и потому, что это был я».

Где-то, за пределами доступного моему уму и того, что я мог бы высказать по этому поводу, существует какая-то необъяснимая и неотвратимая сила, устроившая этот союз между нами. Мы искали друг друга прежде, чем свиделись, и отзывы, которые мы слышали один о другом, вызывали в нас взаимное влечение большей силы, чем это можно было бы объяснить из содержания самих отзывов. Полагаю, что таково было веление неба. Самые имена наши сливались в объятиях. И уже при первой встрече, которая произошла случайно на большом празднестве, в многолюдном городском обществе, мы почувствовали себя настолько очарованными друг другом, настолько знакомыми, настолько связанными между собой, что никогда с той поры не было для нас ничего ближе, чем он — мне, а я — ему. В написанной им и впоследствии изданной превосходной латинской сатире [14] он оправдывает и объясняет ту необыкновенную быстроту, с какой мы установили взаимное понимание, которое так скоро достигло своего совершенства. Возникнув столь поздно и имея в своем распоряжении столь краткий срок (мы оба были уже людьми сложившимися, причем он — старше на несколько лет [15]), наше чувство не могло терять времени и взять себе за образец ту размеренную и спокойную дружбу, которая принимает столько предосторожностей и нуждается в длительном, предваряющем ее общении. Наша дружба не знала иных помыслов, кроме как о себе, и опору искала только в себе. Тут была не одна какая-либо причина, не две, не три, не четыре, не тысяча особых причин, но какая-то квинтэссенция или смесь всех причин вместе взятых, которая захватила мою волю, заставила ее погрузиться в его волю и раствориться в ней, точно так же, как она захватила полностью и его волю, заставив ее погрузиться в мою и раствориться в ней с той же жадностью, с тем же пылом. Я говорю «раствориться», ибо в нас не осталось ничего, что было бы достоянием только одного или только другого, ничего, что было бы только его или только моим.

Когда Лелий в присутствии римских консулов, подвергших преследованиям, после осуждения Тиберия Гракха, всех единомышленников последнего, приступил к допросу Гая Блоссия — а он был одним из ближайших его друзей — и спросил его, на что он был бы готов ради Гракха, тот ответил: «На все».— «То есть, как это на все? — продолжал допрашивать Лелий.— А если бы он приказал тебе сжечь наши храмы?» — «Он не приказал бы мне этого»,— возразил Блоссий. «Ну, а если бы он все-таки это сделал?» — настаивал Лелий. «Я бы повиновался ему»,— сказал Блоссий. Будь он и в самом деле столь совершенным другом Гракха, как утверждают историки, ему все же незачем было раздражать консулов своим смелым признанием; ему не следовало, кроме того, отступать-

ся от своей уверенности в невозможности подобного приказания со стороны Гракха. Во всяком случае, те, которые осуждают этот ответ как мятежный, не понимают по-настоящему тайны истинной дружбы и не могут постичь того, что воля Гракха была его волей, что он знал ее и мог располагать ею. Они были больше друзьями, чем гражданами, больше друзьями, чем друзьями или недругами своей страны, чем друзьями честолюбия или смуты. Полностью вверив себя друг другу, каждый из них полностью управлял склонностями другого, ведя их как бы на поводу, и поскольку они должны были идти в этой запряжке, руководствуясь добродетелью и велениями разума,— ибо иначе взнуздать их было бы невозможно,— ответ Блоссия был таким, каким надлежало быть. Если бы их поступки не были сходными, они, согласно тому мерилу, которым я пользуюсь, не были бы друзьями ни друг другу, ни самим себе. Замечу, что ответ Блоссия звучал так же, как звучал бы мой, если бы кто-нибудь обратился ко мне с вопросом: «Убили бы вы свою дочь, если бы ваша воля приказала вам это?», и я ответил бы утвердительно. Такой ответ не свидетельствует еще о готовности к этому, ибо у меня нет никаких сомнений в моей воле, так же как и в воле такого друга. Никакие доводы в мире не могли бы поколебать моей уверенности в том, что я знаю волю и мысли моего друга. В любом его поступке, в каком бы виде мне его ни представили, я могу тотчас же разгадать побудительную причину. Наши души были столь тесно спаяны, они взирали друг на друга с таким пылким чувством и, отдаваясь этому чувству, до того раскрылись одна перед другой, обнажая себя до самого дна, что я не только знал его душу, как свою собственную, но и поверил бы ему во всем, касающемся меня, больше, чем самому себе.

Пусть не пытаются уподоблять этой дружбе обычные дружеские связи. Я знаком с ними так же, как всякий другой, и притом с самыми глубокими из них. Не следует, однако, смешивать их с истинной дружбой: делающий так впал бы в большую ошибку. В этой обычной дружбе надо быть всегда начеку, не отпускать узды, проявлять всегда сдержанность и осмотрительность, ибо узы, скрепляющие подобную дружбу, таковы, что могут в любое мгновение оборваться. «Люби своего друга,— говорил Хилон,— так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь возненавидеть его; и ненавидь его так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь полюбить его» [16]. Это правило, которое кажется отвратительным, когда речь идет о возвышенной, всепоглощающей дружбе, весьма благодетельно в применении к обыденным, ничем не замечательным дружеским связям, в отношении которых весьма уместно вспомнить излюбленное изречение Аристотеля: «О друзья мои, нет больше ни одного друга!» [17]

В этом благородном общении разного рода услуги и благодеяния, питающие другие виды дружеских связей, не заслуживают того, чтобы принимать их в расчет; причина этого — полное и окончательное слияние воли обоих друзей. Ибо подобно тому, как любовь, которую я испытываю к самому себе, нисколько не возрастает от того, что по мере надоб-

ности я себе помогаю,— что бы ни говорили на этот счет стоики,— или подобно тому, как я не испытываю к себе благодарности за оказанное самому себе одолжение, так и единение между такими друзьями, как мы, будучи поистине совершенным, лишает их способности ощущать, что они тем-то и тем-то обязаны один другому, и заставляет их отвергнуть и изгнать из своего обихода слова, означающие разделение и различие, как например: благодеяние, обязательство, признательность, просьба, благодарность и тому подобное. Поскольку все у них действительно общее: желания, мысли, суждения, имущество жены, дети, честь и самая жизнь, и поскольку их союз есть не что иное, как — по весьма удачному определению Аристотеля — одна душа в двух телах [18],— они не могут ни ссужать, ни давать что-либо один другому. Вот почему законодатели, дабы возвысить брак каким-нибудь, хотя бы воображаемым, сходством с этим божественным единением, запрещают дарения между супругами, как бы желая этим показать, что все у них общее и что им нечего делить и распределять между собой.

Если бы в той дружбе, о которой я говорю, один все же мог что-либо подарить другому, то именно принявший от друга благодеяние обязал бы этим его: ведь оба они не желают ничего лучшего, как сделать один другому благо, и именно тот, кто предоставляет своему другу возможность и повод к этому, проявляет щедрость, даруя ему удовлетворение, ибо он получает возможность осуществить свое самое пламенное желание. Когда философ Диоген нуждался в деньгах, он не говорил, что одолжит их у друзей; он говорил, что попросит друзей возвратить ему долг. И для того, чтобы показать, как это происходит на деле, я приведу один замечательный пример из древности.

Эвдамид, коринфянин, имел двух друзей: Хариксена, сикионца, и Аретея, коринфянина. Будучи беден, тогда как оба его друга были богаты, он, почувствовав приближение смерти, составил следующее завещание: «Завещаю Аретею кормить мою мать и поддерживать ее старость, Хариксену же выдать замуж мою дочь и дать ей самое богатое приданое, какое он только сможет; а в случае, если жизнь одного из них пресечется, я возлагаю его долю обязанностей на того, кто останется жив». Первые, кто прочитали это завещание, посмеялись над ним; но душеприказчики Эвдамида, узнав о его содержании, приняли его с глубочайшим удовлетворением. А когда один из них, Хариксен, умер через пять дней и обязанности его перешли к Аретею, тот стал заботливо ухаживать за матерью Эвдамида и из пяти талантов, в которых заключалось состояние, два с половиной отдал в приданое своей единственной дочери, а другие два с половиною — дочери Эвдамида, которую выдал замуж в тот же день, что и свою.

Этот пример был бы вполне хорош, если бы не одно обстоятельство — то, что у Эвдамида было целых двое друзей, а не один. Ибо та совершенная дружба, о которой я говорю, неделима: каждый с такой полнотой отдает себя другу, что ему больше нечего уделить кому-нибудь еще; напротив, он постоянно скорбит о том, что он — только одно, а не два, три,

четыре существа, что у него нет нескольких душ и нескольких воль, чтобы отдать их все предмету своего обожания. В обычных дружеских связях можно делить свое чувство: можно в одном любить его красоту, в другом — простоту нравов, в третьем — щедрость; в том — отеческие чувства, в этом — братские, и так далее. Но что касается дружбы, которая подчиняет себе душу всецело и неограниченно властвует над нею, тут никакое раздвоение невозможно. Если бы два друга одновременно попросили вас о помощи, к которому из них вы бы поспешили? Если бы они обратились к вам за услугами, совместить которые невозможно, как бы вышли вы из этого положения? Если бы один из них доверил вам тайну, которую полезно знать другому, как бы вы поступили?

Но дружба единственная, заслоняющая все остальное, не считается ни с какими другими обязательствами. Тайной, которую я поклялся не открывать никому другому, я могу, не совершая клятвопреступления, поделиться с тем, кто для меня не «другой», а то же, что я сам. Удваивать себя — великое чудо, и величие его недоступно тем, кто утверждает, что способен себя утраивать. Нет ничего такого наивысшего, что имело бы свое подобие. И тот, кто предположил бы, что двух моих истинных друзей я могу любить с одинаковой силой и что они могут одинаково любить друг друга, а вместе с тем, и меня с той же силой, с какою я их люблю, превратил бы в целое братство нечто совершенно единое и единственное, нечто такое, что и вообще труднее всего сыскать на свете.

Конец рассказанной мной истории отлично подходит к тому, о чем я сейчас говорил,— ибо Эвдамид, поручая своим друзьям позаботиться о его нуждах, сделал это из любви и расположения к ним. Он оставил их наследниками своих щедрот, заключавшихся в том, что именно им дал он возможность сделать ему благо. И, без сомнения, в его поступке сила дружбы проявилась намного ярче, чем в том, что сделал для него Аретей. Словом, эти проявления дружбы непонятны тому, кто сам не испытал их. Вот почему я чрезвычайно ценю ответ того молодого воина Киру, который на вопрос царя, за сколько продал бы он коня, доставившего ему первую награду на скачках, и не согласен ли он обменять его на целое царство, ответил: «Нет, государь. Но я охотно отдал бы его, если бы мог такой ценой найти столь же достойного друга среди людей».

Он неплохо выразился, сказав «если бы мог найти», ибо легко бывает найти только таких людей, которые подходят для поверхностных дружеских связей. Но в той дружбе, какую я имею в виду, затронуты самые сокровенные глубины нашей души; в дружбе, поглощающей нас без остатка, нужно, конечно, чтобы все душевные побуждения человека были чистыми и безупречными.

Когда дело идет об отношениях, которые устанавливаются для какой-либо определенной цели, нужно заботиться лишь об устранении изъянов, имеющих прямое отношение к этой цели. Мне совершенно безразлично, каких религиозных взглядов придерживается мой врач или адвокат. Это обстоятельство не имеет никакой связи с теми дружескими услугами, которые они обязаны мне оказывать. То же и в отношении услужающих

мне. Я очень мало забочусь о чистоте нравов моего лакея; я требую от него лишь усердия. Я не так боюсь конюха-картежника, как конюха-дурака. По мне не беда, что мой повар сквернослов, знал бы он свое дело. Впрочем, я не собираюсь указывать другим, как нужно им поступать — для этого найдется много охотников,— я говорю только о том, как поступаю я сам.

Mihi sic usus est; tibi, ut opus est facto, face *.

За столом я предпочитаю занимательного собеседника благонравному; в постели красоту — доброте; для серьезных бесед — людей основательных, но свободных от педантизма. И то же во всем остальном.

Некий отец, застигнутый скачущим верхом на палочке, когда он играл со своими детьми, попросил человека, заставшего его за этим занятием, воздержаться от суждения об этом до тех пор, пока он сам не станет отцом: когда в его душе пробудится отцовское чувство, он сможет более здраво и справедливо судить о его поведении [20]. Точно так же и я; и мне хотелось бы говорить о дружбе лишь с теми, которым довелось самим испытать то, о чем я рассказываю. Но зная, что это — вещь необычная и редко в жизни встречающаяся, я не очень надеюсь найти судью, сведущего в этих делах. Ибо даже те рассуждения о дружбе, которые оставила нам древность, кажутся мне слишком бледными по сравнению с чувствами, которые я в себе ощущаю. Действительность здесь превосходит все наставления философии:

Nil ego contulerim iucundo sanus amico **.

Древний поэт Менандр говорил: счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень настоящего друга [22]. Он, конечно, имел основания это сказать, в особенности, если сам испытал нечто подобное. И в самом деле, когда я сравниваю всю последующую часть моей жизни, которую я, благодарение богу, прожил тихо, благополучно, и,— если не говорить о потере такого друга,— без больших печалей, в нерушимой ясности духа, довольствуясь тем, что мне было отпущено, не гоняясь за большим,— так вот, говорю я, когда я сравниваю всю остальную часть моей жизни с теми четырьмя годами, которые мне было дано провести в отрадной для меня близости и сладостном общении с этим человеком,— мне хочется сказать, что все это время — дым, темная и унылая ночь. С того самого дня, как я потерял его,

quem semper acerbum,
Semper honoratum (sic, dii, voluistis) habebo ***,

я томительно прозябаю; и даже удовольствия, которые мне случается испытывать, вместо того, чтобы принести утешение, только усугубляют

* Мой обычай таков, а ты поступай, как тебе нужно [19] (*лат.*).
** Покуда я в здравом уме, ни с чем не сравню милого друга [21] (*лат.*).
*** ...[дня], который я всегда буду считать самым ужасным и память о котором всегда буду чтить, ибо такова, о боги, была ваша воля [23] (*лат.*).

скорбь от утраты. Все, что было у нас, мы делили с ним поровну, и мне кажется, что я отнимаю его долю;

Nec fas esse ulla me voluptate hic frui
Decrevi, tantisper dum ille abest meus particeps *.

Я настолько привык быть всегда и во всем его вторым «я», что мне представляется, будто теперь я лишь полчеловека.

Illam meae si partem animae tulit
Maturior vis, quid moror altera,
Nec carus aeque, nec superstes
Integer? Ille dies utramque
Duxit ruinam **.

И что бы я ни делал, о чем ни думал, я неизменно повторяю мысленно эти стихи,— как и он делал бы, думая обо мне; ибо насколько он был выше меня в смысле всяких достоинств и добродетели, настолько же превосходил он меня и в исполнении долга дружбы.

Quis desiderio sit pudor aut modus
Tam cari capitis? ***

O misero frater adempte mihi!
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
Quae tuus in vita dulcis alebat amor.
Tu meà, tu moriens fregisti commoda, frater;
Tecum una tota est nostra sepulta anima,
Cuius ego interitu tota de mente fugavi
Haec studia atque omnes delicias animi.
. . . .
Alloquar? audiero nunquam tua verba loquentem?
Nunquam ego te, vita frater amabilior,
Aspiciam posthac? At certe semper amabo? ****

Но послушаем этого шестнадцатилетнего юношу.

---

* И я решил, что не должно быть больше для меня наслаждений, ибо нет того, с кем я делил их [24] (*лат.*).

** Если бы смерть преждевременно унесла [тебя], эту половину моей души, к чему задерживаться здесь мне, второй ее половине, не столь драгоценной и без тебя увечной? Этот день обоим нам принес бы гибель [25] (*лат.*).

*** Нужно ли стыдиться своего горя и ставить преграды ему, если ты потерял столь дорогую душу? [26] (*лат.*).

**** О брат, отнятый у меня, несчастного. Вместе с тобой исчезли все мои радости, которые питала, пока ты был жив, твоя сладостная любовь. Уйдя из жизни, брат мой, ты лишил меня всех ее благ; вместе с тобой погребена и вся моя душа: ведь после смерти твоей я отрекся от служения искусству и от всех услад души... Обращусь ли к тебе — мне не услышать от тебя ответного слова; отныне никогда я не увижу тебя, брат мой, которого я люблю больше жизни. Но, во всяком случае, я буду любить тебя вечно! [27] (*лат.*). Цитируется неточно.

Так как я узнал, что это произведение уже напечатано и притом в злонамеренных целях людьми, стремящимися расшатать и изменить наш государственный строй, не заботясь о том, смогут ли они улучшить его,— и напечатано вдобавок вместе со всякими изделиями в их вкусе,— я решил не помещать его на этих страницах [28]. И чтобы память его автора не пострадала в глазах тех, кто не имел возможности познакомиться ближе с его взглядами и поступками, я их предупреждаю, что рассуждение об этом предмете было написано им в ранней юности, в качестве упражнения на ходячую и избитую тему, тысячу раз обрабатывавшуюся в разных книгах. Я нисколько не сомневаюсь, что он придерживался тех взглядов, которые излагал в своем сочинении, так как он был слишком совестлив, чтобы лгать, хотя бы в шутку. Больше того, я знаю, что если бы ему дано было выбрать место своего рождения, он предпочел бы Сарлаку [29] Венецию,— и с полным основанием. Но, вместе с тем, в его душе было глубоко запечатлено другое правило — свято повиноваться законам страны, в которой он родился. Никогда еще не было лучшего гражданина, больше заботившегося о спокойствии своей родины и более враждебного смутам и новшествам своего времени. Он скорее отдал бы свои способности на то, чтобы погасить этот пожар, чем на то, чтобы содействовать его разжиганию. Дух его был создан по образцу иных веков, чем наш.

Поэтому вместо обещанного серьезного сочинения, я помещу здесь другое, написанное им в том же возрасте, но более веселое и жизнерадостное [30].



Глава XXIX

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ СОНЕТОВ ЭТЬЕНА ДЕ ЛА БОЭСИ

Госпоже де Граммон, графине де Гиссен

Сударыня, я не предлагаю вам чего-либо своего, поскольку оно и без того уже ваше и поскольку я не нахожу ничего достойного вас. Но мне захотелось, чтобы эти стихи, где бы они ни появились в печати, были отмечены в заголовке вашим именем и чтобы им выпала тем самым честь иметь своей покровительницей славную Коризанду Андуанскую [1]. Мне казалось, что это подношение уместно тем более, что во Франции немного найдется дам, которые могли бы столь же здраво судить о поэзии и находить ей столь же удачное употребление, как это свойственно вам. И еще: ведь нет никого, кто мог бы вложить в нее столько жизни и столько

души, сколько вы вкладываете в нее благодаря богатым и прекрасным звучаниям вашего голоса, которым природа одарила вас, вместе с целым миллионом других совершенств. Сударыня, эти стихи заслуживают того, чтобы вы оказали им благосклонность; вы, несомненно, согласитесь со мною, что наша Гасконь еще не рождала произведений, которые были бы изящнее и поэтичнее этих и которые могли бы свидетельствовать, что они вышли из-под пера более одаренного автора. И не досадуйте, что вы обладаете лишь остатком, поскольку часть этих стихов я как-то уже напечатал, посвятив их вашему достойному родственнику, господину де Фуа; ведь в тех, что остались на вашу долю, больше жизни и пылкости, так как они были сочинены в пору зеленой юности и согреты прекрасной и благородной страстью, о которой я как-нибудь расскажу вам на ушко. Что же касается тех других стихов, то он написал их позднее в честь невесты, когда готовился вступить в брак, и от них веет уже каким-то супружеским холодком. А я придерживаюсь мнения тех, кто считает, что поэзия улыбается только там, где ей приходится иметь дело с предметами шаловливыми и легкомысленными. (Это стихи можно прочесть в другом месте [2].)



Глава XXX

ОБ УМЕРЕННОСТИ [1]

Можно подумать, что наше прикосновение несет с собою заразу; ведь мы портим все, к чему ни приложим руку, как бы ни было оно само по себе хорошо и прекрасно. Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной: для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение. Те, кто утверждает, будто в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что все чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами:

Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui,
Ultra quam satis est virtutem si petat ipsam *.

Это не более, как философское ухищрение. Можно и чересчур любить добродетель и впасть в крайность, ревнуя к справедливости. Здесь уместно вспомнить слова апостола: «Не будьте более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру» [3].

Я видел одного из великих мира сего, который подорвал веру в свое благочестие, будучи слишком благочестив для людей его положения [4].

* И мудрого могут назвать безумцем, справедливого — несправедливым, если их стремление к добродетели превосходит всякую меру [2] (*лат.*)

Я люблю натуры умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность в чем бы то ни было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет меня, то, во всяком случае, удивляет, и я затрудняюсь, каким бы именем ее окрестить. И мать Павсания[5], которая первой изобличила сына и принесла первый камень, чтобы его замуровать, и диктатор Постумий[6], осудивший на смерть своего сына только за то, что пыл юности увлек того во время успешной битвы с врагами, и он оказался немного впереди своего ряда, кажутся мне скорее странными, чем справедливыми. И я не имею ни малейшей охоты ни призывать к столь дикой и столь дорогой ценой купленной добродетели, ни следовать ей.

Лучник, который допустил перелет, стоит того, чья стрела не долетела до цели. И моим глазам так же больно, когда их внезапно поражает яркий свет, как и тогда, когда я вперяю их во мрак. Калликл у Платона говорит, что крайнее увлечение философией вредно[7], и советует не углубляться в нее далее тех пределов, в каких она полезна; если заниматься ею умеренно, она приятна и удобна, но, в конце концов, она делает человека порочным и диким, презирающим общие верования и законы, врагом приятного обхождения, врагом всех человеческих наслаждений, не способным заниматься общественной деятельностью и оказывать помощь не только другому, но и себе самому, готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав, если предаваться в философии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который начертала для нас природа.

Привязанность, которую мы питаем к нашим женам, вполне законна; теология, однако, всячески обуздывает и ограничивает ее. Я когда-то нашел у святого Фомы[8], в том месте, где он осуждает браки между близкими родственниками, среди других доводов также и следующий: есть опасность, что чувство, питаемое к жене-родственнице, может стать неумеренным; ведь, если муж в должной мере испытывает к жене подлинную и совершенную супружескую привязанность и к ней еще добавляется та привязанность, которую мы должны испытывать к родственникам, то нет никакого сомнения, что этот излишек заставит его выйти за пределы разумного.

Науки, определяющие поведение и нравы людей,— как философия и теология,— вмешиваются во все: нет среди наших дел и занятий такого,— сколь бы оно ни было личным и сокровенным,— которое могло бы укрыться от их назойливых взглядов и их суда. Избегать их умеют лишь те, кто ревниво оберегает свою свободу. Таковы женщины, предоставляющие свои прелести всякому, кто пожелает: однако стыд не велит им показываться врачу. Итак, я хочу от имени этих наук наставить мужей (если еще найдутся такие, которые и в браке сохраняют неистовство страсти), что даже те наслаждения, которые они вкушают от близости с женами, заслуживают осуждения, если при этом они забывают о должной мере, и что в законном супружестве можно так же впасть в распущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки, на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполнены непристойности, но

и несут в себе пагубу нашим женам. Пусть лучше их учит бесстыдству кто-нибудь другой. Они и без того всегда готовы пойти нам навстречу. Что до меня, то я следовал лишь естественным и простым влечениям, внушаемым нам самой природой.

Брак — священный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которые он нам приносит, должны быть сдержанными, серьезными, даже, в некоторой мере, строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная. И поскольку основная цель такого союза — деторождение, некоторые сомневаются, дозволительна ли близость с женой в тех случаях, когда мы не можем надеяться на естественные плоды, например, когда женщина беременна или когда она вышла уже из возраста. По мнению Платона, это то же, что убийство[9]. Некоторые народы и, между прочим, магометане гнушаются сношений с беременными женщинами; другие — когда у женщины месячные. Зенобия допускала к себе мужа один только раз, а затем в течение всего периода беременности не разрешала прикасаться к ней; и только тогда, когда наступало время вновь зачать, он снова приходил к ней. Вот похвальный и благородный пример супружества[10].

У какого-то истомившегося и жадного до этой утехи поэта Платон позаимствовал такой рассказ. Однажды Юпитер до того возгорелся желанием насладиться со своей женой, что, не имея терпения подождать, пока она ляжет на ложе, повалил ее на пол. От полноты испытанного им удовольствия он начисто забыл о решениях, только что принятых им совместно с богами на его небесном придворном совете. Он похвалялся затем, что ему на этот раз было так же хорошо, как тогда, когда он лишил свою жену девственности тайком от ее и своих родителей[11].

Цари Персии хотя и приглашали своих жен на пиры, но когда желания их от выпитого вина распалялись и им начинало казаться, что еще немного и придется снять узду со страстей, они отправляли их на женскую половину, дабы не сделать их соучастницами своей безудержной похоти, и звали вместо них других женщин, к которым не обязаны были относиться с таким уважением.

Не всякие удовольствия и не всякие милости в одинаковой мере приличествуют людям разного положения. Эпаминонд велел посадить в темницу одного распутного юношу; Пелопид попросил его выпустить ради него узника на свободу; Эпаминонд ответил отказом, но уступил ходатайству одной из своих подруг, которая также об этом просила. Он следующим образом объяснил свое поведение: это была милость, оказанная приятельнице, но недостойная по отношению к военачальнику. Софокл, будучи претором одновременно с Периклом, увидел однажды проходившего мимо красивого юношу. «Погляди, какой прелестный юноша!» — сказал он Периклу, на что Перикл ответил: «Он может быть желанен для всякого, но не для претора, у которого должны быть незапятнанными не только руки, но и глаза».

Когда жена императора Элия Вера стала жаловаться, что он ищет любовных утех с другими женщинами, тот ей ответил, что делает это со спокойной совестью, так как брак есть исполненный достоинства, чест-

ный союз, а не легкомысленная и сладострастная связь. И наши старинные церковные авторы с похвалой вспоминают о женщине, которая дала развод своему мужу, потому что не пожелала терпеть его чрезмерно сладострастные и бесстыдные ласки. И, вообще говоря, нет такого дозволенного и законного наслаждения, в котором излишества и неумеренность не заслуживали бы нашего порицания.

Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепыми умствованиями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли:

Fortunae miseras auximus arte vias *.

Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий,— совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, более естественный путь, который и впрямь является и более удобным и более праведным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.

Между тем, наши врачеватели, и телесные и духовные, словно сговорившись между собой, не находят ни другого пути к исцелению, ни других лекарств против болезней души и тела, кроме мучений, боли и наказаний. Бдения, посты, власяница, изгнание в отдаленные и пустынные местности, заключение навеки в темницу, бичевание и прочие муки были введены именно ради этого и притом с непременным условием, чтобы они были самыми что ни на есть настоящими муками и мы со всей остротой ощущали бы их горечь и чтобы не получалось так, как произошло с неким Галлионом [13], который, будучи отправлен в изгнание на остров Лесбос, как сообщили оттуда в Рим, жил там в свое удовольствие, и, таким образом, то, что предназначалось ему в наказание, превратилось для него в благоденствие; тогда сенат, изменив ранее принятое решение, возвратил его обратно к жене и приказал ему не отлучаться из дома, дабы он и в самом деле почувствовал, что наказан. Ибо, кому пост придает здоровья и бодрости, кому рыба нравится больше, для того пост уже не будет исцеляющим душу средством; и точно так же, при врачевании тела, лекарства не оказывают полезного действия на того, кто принимает их с охотою и удовольствием. Горечь и отвращение, которое они вызывают, являются обстоятельствами, содействующими их целительным свойствам. Человек, который мог бы употреблять ревень как обычную пищу, не испытывал бы никакой пользы от его применения: надо, чтобы ревень бередил желудок,— только тогда он может оказать полезное действие. Отсю-

* Мы искусственно удлинили горестные пути судьбы [12] (*лат.*).

да вытекает общее правило, что все исцеляется своею противоположностью, ибо только боль врачует боль.

Это наводит на мысль о другом, весьма странном мнении, будто бы небесам и природе можно угодить кровопролитием и человекоубийством, как это признавалось всеми религиями. Еще на памяти наших отцов Мурад [14], захватив Коринфский перешеек, принес в жертву душе своего отца шестьсот молодых греков, чтобы их кровь искупила грехи покойного. И в новых землях, открытых уже в наше время, столь чистых и девственных по сравнению с нашими, подобный обычай имеет повсеместное распространение [15]; все их идолы захлебываются в человеческой крови, причем нередки примеры невообразимой жестокости. Жертвы поджаривают живыми и наполовину изжаренными вытаскивают из жаровни, чтобы вырвать у них сердце и внутренности. У других, в том числе даже у женщин, сдирают заживо кожу и этой еще окровавленной кожей накрываются сами и облачают в нее других. И мы встречаем у этих народов не меньше, чем у нас, примеров твердости и мужества. Ибо эти несчастные — старики, женщины, дети, предназначенные в жертву,— за несколько дней перед священнодействием обходят, собирая милостыню, дома, дабы принести ее в дар при жертвоприношении, и являются на эту бойню приплясывая и распевая вместе с сопровождающей их толпой. Послы мексиканского владыки, описывая Фернандо Кортесу мощь и величие своего господина, сообщили ему прежде всего о том, что у него тридцать вассалов и каждый из них может выставить по сто тысяч воинов и что он обитает в самом красивом и самом укрепленном, какой только существует в мире, городе, и под конец добавили, что ему полагается ежегодно приносить в жертву богам пятьдесят тысяч человек. Он ведет,— говорили они,— непрерывные войны с некоторыми большими, живущими по соседству народами не только для того, чтобы доставить упражнение молодежи своей страны, но и с целью обеспечить в своем государстве жертвоприношения военнопленными. В другой раз, в одном из их городов, по случаю прибытия туда Кортеса, было единовременно принесено в жертву пятьдесят человек. Расскажу еще следующее: некоторые из этих народов, разбитые Кортесом, дабы признать себя побежденными и искать его дружбы, отправили к нему своих представителей; послы, передавая три вида подарков, сказали: «Господин, вот тебе пять рабов. Если ты грозный бог и питаешься мясом и кровью, пожри их, и мы тебя еще больше возлюбим; если ты кроткий бог, вот ладан и перья; если же ты человек, прими этих птиц и эти плоды».



Глава XXXI
О КАННИБАЛАХ

Царь Пирр[1], переправившись в Италию и увидев боевой строй высланного против него римского войска, сказал: «Я не знаю, что тут за варвары (ибо греки называли так всех чужестранцев), но расположение войска, которое я пред собой вижу, нисколько не варварское». То же самое говорили и греки о войске, переправленном к ним Фламинием[2]; то же мнение высказал и Филипп, рассматривая с холма порядок и расположение римского лагеря, разбитого на его земле Публием Сульпицием Гальбой[3]. Это показывает, с какой осторожностью следует относиться к общепринятым мнениям, а также, что судить о чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не на общее мнение.

У меня довольно долго служил человек, проведший десять или двенадцать лет в том Новом Свете, который открыт уже в наше время; он жил в тех местах, где пристал к берегу Вильганьон[4], назвавший эту землю Антарктической Францией. Это открытие бескрайной страны является, по-видимому, весьма важным. Я не мог бы, впрочем, поручиться за то, что в будущем не будет открыта еще какая-нибудь другая, ведь столько людей, гораздо ученее нас, ошибались на этот счет. Я опасаюсь, однако, что наши глаза алчут большего, чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы захватываем решительно все, но наша добыча — ветер.

Солон у Платона[5] пересказывает слышанное им от жрецов города Саиса в Египте: некогда, еще до потопа, существовал большой остров, по имени Атлантида, расположенный прямо на запад от того места, где Гибралтарский пролив смыкается с океаном. Этот остров был больше Африки и Азии взятых вместе, и цари этой страны, владевшие не только одним этим островом, но утвердившиеся и на материке,— так что они господствовали в Африке вплоть до Египта, а в Европе вплоть до Тосканы,— задумали вторгнуться даже в Азию и подчинить народы, обитавшие на берегах Средиземного моря до залива его, известного под именем Большого моря[6]. С этой целью они переправились в Испанию, пересекли Галлию, Италию и дошли до Греции, где их задержали афиняне. Однако некоторое время спустя и они, и афиняне, и их остров были поглощены потопом. Весьма вероятно, что эти ужасные опустошения, причиненные водами, вызвали много причудливых изменений в местах обитания человека; ведь считают же, что море оторвало Сицилию от Италии,

Haec loca, vi quondam et vasta convulsa ruina,
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus
Una foret *;

Кипр от Сирии, остров Негрепонт[8] от материковой Беотии и, напротив,

* Эти земли, как говорят, были когда-то разъединены неким великим и разрушительным землетрясением; а раньше это была единая земля[7] (*лат.*).

воссоединило другие земли, которые прежде были отделены друг от друга, заполнив песком и илом углубления между ними:

> sterilisque diu palus aptaque remis
> Vicinas urbes alit, et grave sentit aratrum *.

Но не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, который мы недавно открыли, ибо вышеупомянутый остров почти соприкасался с Испанией, и трудно поверить, чтобы наводнение могло затопить страну протяжением более чем на тысячу двести лье; а кроме того, открытия мореплавателей нашего времени с точностью установили, что это не остров, но материк, примыкающий, с одной стороны, к Ост-Индии, а с другой — к землям, расположенным у того и другого полюса,— или, если он все-таки не смыкается с ними, то они отделены друг от друга настолько узким проливом, что это не дает основания называть новооткрытую землю островом [10].

По-видимому, этим огромным телам присущи, как и нашим, движения двоякого рода — естественные и судорожные. Когда я вспоминаю о переменах, произведенных, можно сказать, у меня на глазах моею родною Дордонью на правом ее берегу, если смотреть вниз по течению, и о том, что за двадцать лет она передвинулась до такой степени, что размыла фундаменты многих строений, я отчетливо вижу, что тут речь идет не об естественном, но о судорожном движении, ибо, если бы она и прежде перемещалась с подобной быстротой и впредь стала бы вести себя не иначе, то весь облик мира был бы изменен ею одной. Но реки, как правило, не всегда ведут себя одинаково: то они смещаются в одну сторону, то в другую, а то держатся своего старого русла. Я не говорю о внезапных наводнениях, причины которых нам хорошо известны. В Медоне [11] море засыпало извергнутым им песком земли моего брата, господина д'Арсака; виднеются только коньки крыш каких-то строений; сдававшиеся им в аренду участки и его возделанные поля превратились в скудные пастбища. Обитатели этих мест говорят, что с некоторых пор море так стремительно наступает на них, что они потеряли уже целых четыре лье прибрежной земли. Эти пески как бы его квартирьеры, и мы видим огромные груды их, которые движутся на полулье впереди моря, завоевывая для него сушу.

Другое свидетельство древних, с которым также хотят связать открытие Нового Света, мы находим у Аристотеля, если только та книжечка, где повествуется о неслыханных чудесах, действительно принадлежит ему [12]. В ней он рассказывает, что несколько карфагенян, миновав Гибралтарский пролив и выйдя в Атлантический океан, после долгого плавания вдалеке от всякого материка открыли в конце концов большой плодородный остров, весь покрытый лесами и орошаемый полноводными и глубокими реками; впоследствии и они, и вслед за ними другие, привлекаемые красотой и плодородием этого острова, отправились туда вместе с

* И бесплодная прежде лагуна, где плавали корабли, ныне, взрытая суровым плугом, питает соседние города [9] (*лат.*).

женами и детьми и начали там обосновываться. Властители Карфагена, однако, увидев, что страна их мало-помалу становится все безлюднее, издали строгий приказ, которым под страхом смерти запрещалось переселяться туда кому бы то ни было; этим же приказом они изгнали оттуда всех раньше поселившихся там из опасения, как бы те, умножившись в числе, не подавили их и не разорили их государства. Но и этот рассказ Аристотеля не имеет ни малейшего отношения к недавно открытым землям.

Слуга, о котором я говорю, был человеком простым и темным, а это как раз одно из необходимых условий достоверности показаний, ибо люди с более тонким умом наблюдают, правда, с большей тщательностью и видят больше, но они склонны придавать всему свое толкование, и, желая набить ему цену и убедить слушателей, не могут удержаться, чтобы не исказить, хоть немного, правду; они никогда не изобразят вещей такими, каковы они есть; они их переиначивают и приукрашивают в соответствии с тем, какими показались они им самим; и с целью придать вес своему мнению и склонить вас на свою сторону они охотно присочиняют кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняя истину. Тут нужен либо человек исключительно добросовестный, либо настолько простой, чтобы его умение сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам превосходило его способности, и вообще человек без предвзятых мыслей. Именно таким и был мой слуга. А кроме того, он не раз приводил ко мне матросов и купцов, с которыми свел знакомство во время своего путешествия. Таким образом, меня вполне удовлетворяют сведения, которыми они снабдили меня, и я не стану справляться, что говорят об этих вещах космографы.

Нам нужны географы, которые дали бы точное описание местностей, где они побывали. Но имея перед нами то преимущество, что они собственными глазами видели, например, Палестину, они стремятся воспользоваться этою привилегией и порассказать, сверх того, обо всем в мире. Я хотел бы, чтобы не только в этой области, но и во всех остальных каждый писал только о том, что он знает, и в меру того, насколько он знает, ибо иной может обладать точнейшими сведениями о свойствах какой-либо реки или источника, которые, может статься, он испытал на себе, а вместе с тем, не знать всего прочего, что известно каждому. Но вместо того, чтобы пустить в обращение малую толику своих знаний, он непременно затеет писать целую естественную историю. Этот недостаток порождает многие весьма важные неудобства.

Итак, я нахожу — чтобы вернуться, наконец, к своей теме,— что в этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи. Они дики в том смысле, в каком дики плоды, растущие на свободе, естественным образом; в действительности скорее

подобало бы назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил, изменив их природные качества. В дичках в полной силе сохраняются их истинные и наиболее полезные свойства, тогда как в плодах, выращенных нами искусственно, мы только извратили эти природные свойства, приспособив к своему испорченному дурному вкусу. И все же даже на наш вкус наши плоды в нежности и сладости уступают плодам этих стран, не знавшим никакого ухода. Да и нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую и всемогущую мать-природу. Мы настолько обременили красоту и богатство ее творений своими выдумками, что. можно сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания,

> Et veniunt hederae sponte sua melius,
> Surgit et in solis formosior arbutus antris,
> . . . .
> Et volucres nulla dulcius arte canunt *.

Все наши усилия не в состоянии воспроизвести гнездо даже самой маленькой птички, его строение, красоту и целесообразность его устройства, как, равным образом, и паутину жалкого паука. Всякая вещь, говорит Платон, порождена либо природой, либо случайностью, либо искусством человека; самые великие и прекрасные — первой и второй; самые незначительные и несовершенные — последним [14].

Итак, эти народы кажутся мне варварскими только в том смысле, что их разум еще мало возделан и они еще очень близки к первозданной непосредственности и простоте. Ими все еще управляют естественные законы, почти не извращенные нашими. Они все еще пребывают в такой чистоте, что я порою досадую, почему сведения о них не достигли нас раньше, в те времена, когда жили такие люди, которые могли бы судить об этом лучше, чем мы. Мне досадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платон; ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой век, и все ее выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления и пожелания философии. Философы не были в состоянии вообразить себе столь простую и чистую непосредственность, как та, которую мы видим собственными глазами; они не могли поверить, что наше общество может существовать без всяких искусственных ограничений, налагаемых на человека. Вот народ, мог бы сказать я Платону [15], у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со счетом, никаких признаков власти или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никаких занятий, кроме праздности, никакого особого

---

* Плющ растет лучше, когда он предоставлен себе, кустарник краше в пустынных пещерах... птицы поют сладостнее самых искусных певцов [13] (*лат.*).

почитания родственных связей, никаких одежд, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина или хлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательство, притворство, скупость, зависть, злословие, прощение. Насколько далеким от совершенства пришлось бы ему признать вымышленное им государство! Viri a diis recentes *.

Hos natura modos primum dedit **.

К тому же они обитают в стране с очень приятным и умеренным климатом, так что там, как сообщали мне очевидцы, очень редко можно встретить больного; и они уверяли меня, что им ни разу не пришлось видеть в этой стране старика, у которого тряслись бы от старости руки, гноились глаза, согнулась спина или выпали зубы. Они живут на морском побережье, и со стороны материка их защищают огромные и высокие горы, причем между горами и морем остается полоса приблизительно в сто лье шириной. У них великое изобилие рыбы и мяса различных животных, совершенно непохожих на наших, и едят они эту пищу без всяких приправ, лишь изжарив ее. Первый, кто появился у них верхом на коне, хотя они и знали этого человека по прежним его путешествиям, вызвал у них такой неописуемый ужас, что они убили его, осыпав стрелами, прежде чем смогли распознать. Их здания очень вытянуты в длину и вмещают от двухсот до трехсот душ; они обложены корою больших деревьев, причем полосы этой коры одним концом упираются в землю, а другим сходятся у вершины крыши, образуя конек и поддерживая друг друга, наподобие наших риг, кровля которых спускается до самой земли, служа одновременно и боковыми стенами.

Есть у них столь твердое дерево, что они изготовляют из него мечи и вертелы для жарения мяса. Их постели сделаны из бумажной ткани, и они подвешивают их к потолку, вроде того, как это принято у нас на кораблях, причем у каждого своя собственная постель, ибо жена у них спит отдельно от мужа. Встают же они вместе с солнцем и, как только встанут, принимаются за еду, наедаясь сразу на целый день, ибо другой трапезы у них не бывает. При этом они совершенно не пьют, подобно тому как и некоторые живущие на востоке народы, которые, по словам Суды [18], никогда не пьют за едою; зато они пьют несколько раз в течение дня, и помногу. Их питье варится из какого-то корня и цветом напоминает наше легкое красное вино. Пьют они его только теплым; оно сохраняется не более двух-трех дней; на вкус оно несколько терпкое, нисколько не опьяняет и благотворно действует на желудок; на тех, однако, кто не привык к нему, оно действует как слабительное; но для тех, кто привык, это очень приятный напиток. Вместо хлеба они употребляют какое-то белое вещество, напоминающее сваренный в сахаре кориандр [19]. Я отведал его; оно сладкое и чуть приторное на вкус. Весь день проходит у них в плясках. Те, кто помоложе, отправляются на охоту; охотятся же они на зверей вооруженные луком. Часть женщин занимается в это время

* Это люди, только что вышедшие из рук богов [16] (*лат.*).
** Таковы первичные законы. установленные природой [17] (*лат.*).

подогреванием их напитка, и это главное их занятие. Один из стариков по утрам, прежде чем все остальные примутся за еду, читает проповедь всем обитателям дома, двигаясь с одного конца его до другого и бормоча одно и то же, пока не обойдет всех (ведь их постройки в длину имеют добрую сотню шагов). Он внушает им только две вещи: храбрость в битвах с врагами и добрые чувства к женам, причем никогда не забывает прибавить, словно припев, что к женам должно питать благодарность за заботу о том, чтобы их питье было теплым и вкусным. У многих и, в частности, у меня можно увидеть образцы тамошних постелей, бечевок, мечей и деревянных запястий, которыми они прикрывают кисть руки во время сражений, а также длинных, выдолбленных с одного конца тростинок; дуя в них они извлекают звуки, под которые пляшут. Они бреют лицо, голову и все тело, причем делают это чище нашего, хоть бритвы у них каменные или деревянные. Они верят в бессмертие души и полагают, что те, кто заслужил это перед богами, пребывают на той стороне неба, где солнце всходит, а осужденные — на той, где оно заходит.

Есть у них своего рода жрецы и пророки, которые, однако, очень редко показываются народу, ибо живут где-то в горах. В честь их появления устраивается большое празднество, на которое собираются обитатели нескольких деревень (каждое жилище, мною описанное, представляет собой деревню, и находятся они примерно на расстоянии французского лье одно от другого). Этот пророк держит речь перед жителями, призывая их к добродетели и к исполнению долга; впрочем, вся их мораль сводится к двум предписаниям, а именно: быть отважными на войне и любить своих жен. Такой пророк предсказывает им будущее и разъясняет, на какой исход своих начинаний они могут рассчитывать; он же побуждает их к войне, или, напротив, отговаривает от нее. Он должен угадать правильно, потому что, если случится не так, как он предсказал, его объявят лжепророком и, поймав, изрубят на тысячу кусков. Поэтому тот из пророков, который ошибся в своих предсказаниях, старается навсегда скрыться с глаз своих земляков.

Дар прорицания — дар божий: вот почему злоупотребление им есть обман, который подлежит наказанию. Когда у скифов случалось, что предсказание их прорицателя не оправдывалось, они сковывали его по рукам и ногам, бросали на устланные вереском и влекомые быками повозки, а затем сжигали на них. Можно простить ошибки людей, берущихся судить о вещах, находящихся в пределах человеческого разума и способностей, если они сделали все, что в их силах. Но не следует ли карать за невыполнение обещанного и за дерзость обмана тех, кто хвалится необычайными способностями, превосходящими силу человеческого разумения?

Они ведут войны с народами, обитающими в глубине материка, по ту сторону гор, причем на войну они отправляются совершенно нагими, не имея другого оружия, кроме луков и стрел или деревянных мечей, заостренных наподобие железных наконечников наших копий. Поразительно,

до чего упорны их битвы, которые никогда не заканчиваются иначе, как страшным кровопролитием и побоищем, ибо ни страх, ни бегство им не известны. Каждый приносит с собой в качестве трофея голову убитого им врага, которую и подвешивает у входа в свое жилище. С пленными они долгое время обращаются хорошо, предоставляя им все удобства, какие те только могут пожелать; но затем владелец пленника приглашает к себе множество своих друзей и знакомых; обвязав руку пленника веревкою и крепко зажав конец ее в кулаке, он отходит на несколько шагов, чтобы пленник не мог до него дотянуться, а своему лучшему другу он предлагает держать пленника за другую руку, обвязав ее веревкою точно так же, после чего на глазах всех собравшихся оба они убивают его, нанося удары мечами. Сделав это, они жарят его и все вместе съедают, послав кусочки мяса тем из друзей, которые почему-либо не могли явиться. Они делают это, вопреки мнению некоторых, не ради своего насыщения, как делали, например, в древности скифы, но чтобы осуществить высшую степень мести. И что это действительно так, доказывается следующим: увидев, что португальцы, вступившие в союз с их врагами, казнят попавших к ним в плен их сородичей по-иному, а именно зарывая их до пояса в землю и осыпая открытую часть тела стрелами, а затем вешая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним из другого мира, распространившие среди их соседей знакомство со многими неведомыми доселе пороками и более изощренные в злодеяниях, чем они, не без основания, должно быть, применяют такой вид мести, который, очевидно, мучительнее принятого у них,— и вот, они начали отказываться от своего старого способа и переходить к новому. Меня огорчает не то, что мы замечаем весь ужас и варварство подобного рода действий, а то, что, должным образом оценивая прегрешения этих людей, до такой степени слепы к своим. Я нахожу, что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать его мертвым, большее варварство раздирать на части пытками и истязаниями тело, еще полное живых ощущений, поджаривать его на медленном огне, выбрасывать на растерзание собакам и свиньям (а мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами их [20], когда это проделывали не с закосневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами, и, что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией), чем изжарить человека и съесть его после того, как он умер.

Хрисипп и Зенон, основатели стоической школы, полагали, что нет ничего зазорного в том, чтобы любым способом использовать наши трупы, если в этом есть надобность, и даже питаться ими; именно так поступили наши предки, которые во время осады Цезарем города Алезии [21] решили смягчить голод, вызванный этой осадою, употребив в пищу тела стариков, женщин и всех неспособных носить оружие.

> Vascones, fama est, alimentis talibus usi
> Produxere animas *.

* Васконы, как говорят, подобною пищей продлили свою жизнь [22] (*лат.*).

Да и врачи также не стесняются изготовлять из трупов различные снадобья для возвращения нам здоровья, то прописывая последние внутрь, то применяя их как наружные[23]; но никогда никто не придерживался столь безнравственных взглядов, чтобы оправдывать измену, бесчестность, тиранию, жестокость, то есть наши обычные прегрешения.

Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения требований разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Их способ ведения войны честен и благороден, и даже извинителен и красив — настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недуг человечества: основанием для их войн является исключительно влечение к доблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все еще наслаждаются плодородием девственной природы, снабжающей их, без всякого усилия с их стороны, всем необходимым для жизни в таком изобилии, что им незачем расширять собственные пределы. Они пребывают в том благословенном состоянии духа, когда в человеке еще нет желаний сверх вызываемых его естественными потребностями; все то, что превосходит эти потребности, им ни к чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакового с ними возраста, они называют братьями, младших — своими детьми, стариков же — отцами. Эти последние оставляют свое имущество в наследство всей общине, без раздела и без всякого иного права на владение им, кроме того, какое дарует своим созданиям, производя их на свет, природа. Если их соседи, перейдя через горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то вся добыча победителя — только в славе да еще в сознании своего превосходства в силе и доблести; им нет дела до имущества побежденных, и они возвращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в чем, а главное — в том величайшем благе, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ею. Так же поступают, в свою очередь, и они сами, когда им случается быть победителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, что те признали себя побежденными; но в течение целого столетия не нашлось среди них такого, который не предпочел бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих речах или действиях величием своего несокрушимого мужества; и не встретишь среди них такого, который из страха быть убитым и съеденным унизился бы до просьбы о помиловании. Они предоставляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела для них тем бо́льшую цену, и постоянно напоминают им об их близкой смерти, о муках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Все это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотя бы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежать и таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать свое превосходство над ними. Ибо, в сущности

говоря, именно в этом и состоит подлинная победа:

victoria nulla est
Quam quae confessos animo quoque subiugat hostes *.

Венгры, весьма воинственная нация, в былые времена никогда не добивали своих врагов, когда те начинали молить их о пощаде. Но, вырвав у них это признание в своем поражении, венгры, не причиняя им вреда, отпускали их без выкупа, самое большее,— взяв с них слово, что впредь те никогда уже не выступят против них.

Весьма часто своим превосходством над врагом мы бываем обязаны преимуществам внешним, случайным, а не таким, которые относятся к числу наших достоинств. Крепкие руки и ноги хороши для носильщика, но они не имеют никакого отношения к доблести; наше сложение — это качество бездушное и чисто телесное; если наш противник споткнулся или глаза его ослепило солнце, это подарок судьбы и ничего больше; умение хорошо фехтовать — не что иное, как знание и искусство, которые могут быть усвоены человеком трусливым и ничтожным. Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его воле; именно здесь — основа его подлинной чести. Доблесть есть сила не наших рук или ног, но мужества и души; она зависит от качеств не нашего коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, si succiderit, de genu pugnat **, тот, кто пред лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто, испуская последнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом,— тот сражен, но не побежден.

Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми.

Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей. Четыре победы, эти четыре сестры, прекраснейшие из всех, какие когда-либо видело солнце,— при Саламине, Платеях, при Микале и в Сицилии,— не осмелились противопоставить всю свою славу, вместе взятую, славе поражения царя Леонида и его воинов в Фермопильском ущелье [26].

Устремлялся ли кто-нибудь когда-нибудь с таким великолепным и гордым мужеством навстречу своей победе, как Исхолай [27] устремился навстречу верному поражению? Кто столь же искусно и предусмотрительно действовал ради своего спасения, как он — ради гибели? Ему было поручено оборонять от аркадян одно из ущелий, ведущих в Пелопоннес. Выяснив, что это совершенно невыполнимо по причине условий местности и неравенства в силах, и понимая, что всякий, кто выступит против врага, неминуемо ляжет на месте, но считая, вместе с тем, недостойным своей доблести, величия и имени лакедемонянина не выполнить возложенной на него задачи, он принял следующее, среднее между двумя этими крайностями, решение. Наиболее сильных и молодых воинов, дабы сберечь их

* Подлинной можно считать только такую победу, когда сами враги признали себя побежденными [24] (*лат.*).
** Даже поверженный наземь продолжает сражаться [25] (*лат.*).

для служения и защиты родины, он отослал от себя, с остальными же, гибель которых была не столь ощутительна, он решил отстаивать это ущелье, чтобы своей и их смертью принудить врагов оплатить возможно дороже этот проход. Так оно и случилось, ибо, окруженные почти отовсюду аркадянами, среди которых они учинили страшное избиение, и он и все его воины были перебиты один за другим. Существует ли какой-нибудь трофей в честь победителей, который не подобало бы присудить скорее таким побежденным? Кто подлинный победитель, решается не исходом сражения, а ходом его; и честь воина и доблесть его в том, чтобы биться, а не в том, чтобы разбить врага.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Как бы пленников ни запугивали, так и не удается заставить их проявить малодушие; напротив, в течение двух-трех месяцев, пока их не трогают, они держатся бодро и весело, торопят своих победителей поскорее подвергнуть их последнему испытанию, поносят их, осыпают бранью и упреками в трусости, перечисляют битвы, проигранные ими их соплеменникам. У меня есть сочиненная одним из пленников песнь, в которой поется: пусть все они смело приходят и собираются, чтобы насытиться им; ведь они будут есть своих отцов и своих предков, которые послужили пищей для его тела и взрастили его. «Эти мышцы,— говорит он,— это мясо и жилы — ваши, жалкие вы глупцы! Вы не хотите признать, что в них еще сохраняется та же плоть, из которой состояли тела ваших предков? Так распробуйте же их хорошенько, и вы ощутите в них вкус своего собственного мяса».

Такая поэзия нисколько не отзывается варварством. Люди, видевшие, как они расстаются с жизнью, изображая картину их казни, рассказывают, что пленник плюет в лицо своим убийцам и дразнит их. Поистине, до последнего своего вздоха они не перестают держать себя вызывающе и выказывать свое презрение словами и жестами. Право же, по сравнению с нами их можно назвать сущими дикарями, ибо, по совести говоря, одно из двух — либо они дикари, либо мы: так велико различие между их образом жизни и нашим.

Мужчины у них имеют по нескольку жен, и их бывает тем больше, чем больше мужчина славится своей доблестью. И вот прекрасная и изумительная особенность их брачных союзов: насколько наши жены стараются воспрепятствовать нам добиваться расположения и близости других женщин, настолько их жены сами стремятся к этому. Заботясь о чести своих мужей больше, чем о чем-либо ином, они прилагают все усилия к тому, чтобы у них было как можно больше товарок, ибо это свидетельствует о доблести их мужей.

Наши жены, пожалуй, скажут, что это чудо из чудес. Вовсе нет: это проявление истинной супружеской добродетели, но только в самой высокой ее форме. Загляните в Библию: Лия, Рахиль, Сарра и жены Иакова [28] приводили к своим мужьям красивых рабынь; Ливия также, в ущерб себе, потворствовала вожделениям Августа, а Стратоника, жена Дейотара [29], не только отдала мужу свою красивую молодую служанку, но даже заботливо воспитала ее детей и помогла им унаследовать царство отца.

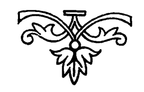
Но дабы кто-нибудь не подумал, что все это не более как простая и рабская покорность общепринятым обычаям, внушенная им авторитетом давно установившегося уклада, который они принимают безропотно и без рассуждений, ибо ум их настолько не развит, что не в состоянии представить себе что-либо иное, я могу привести несколько доказательств их одаренности и ума. Выше я привел уже отрывок из песни их воина, теперь приведу другую, любовную песню, которая начинается так: «Остановись, змейка, остановись, чтобы сестра моя могла всмотреться в узор твоей шкурки и по образцу его сделать роскошную ленту, которую я мог бы подарить моей милой; и пусть твоей красоте, твоим формам будет навсегда отдано предпочтение перед всеми другими змейками». Таков первый куплет и он же припев этой песни. Я достаточно знаком с поэзией, чтобы утверждать, что в этой песне не только нет ничего варварского, но что это самое настоящее анакреонтическое произведение[30]. Кстати сказать, их язык очень мягкий, приятный на слух, напоминает своими окончаниями греческий.

Трое из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, когда там находился король Карл IX[31]. Не подозревая того, как тяжело в будущем отзовется на их покое и счастье знакомство с нашей испорченностью, не ведая того, что общение с нами навлечет на них гибель,— а я предполагаю, что она уже и в самом деле очень близка,— эти несчастные, увлекшись жаждою новизны, покинули приветливое небо своей милой родины, чтобы посмотреть, что́ представляет собою наше. Король долго беседовал с ними; им показали, как мы живем, нашу пышность, прекрасный город. После этого кому-то захотелось узнать, каково их мнение обо всем виденном и что сильнее всего поразило их; они назвали три вещи, из которых я забыл, что именно было третьим, и очень сожалею об этом; но две первые сохранились у меня в памяти. Они сказали, что прежде всего им показалось странным, как это столько больших, бородатых людей, сильных и вооруженных, которых они видели вокруг короля (весьма возможно, что они говорили о швейцарских гвардейцах), безропотно подчиняются мальчику и почему они сами не изберут кого-нибудь из своей среды, кто начальствовал бы над ними; во-вторых,— у них есть та особенность в языке, что они называют людей «половинками» друг друга,— они заметили, что между нами есть люди, обладающие в изобилии всем тем, чего только можно пожелать, в то время как их «половинки», истощенные голодом и нуждой, выпрашивают милостыню у их дверей; и они находили странным, как это столь нуждающиеся «половинки» могут терпеть такую несправедливость,— почему они не хватают тех других за горло и не поджигают их дома.

С одним из этих туземцев я очень долго беседовал, но мой толмач так плохо переводил мои слова, и ему, по причине его тупости, так трудно было улавливать мои мысли, что я не извлек никакого удовольствия из этого разговора. На мой вопрос: какие преимущества доставляет ему высокое положение среди соплеменников (ибо это был вождь и наши матросы называли его королем), он ответил: «Идти впереди всех на войну».

Когда я спросил, сколько же людей ведет он за собой, он жестом отмерил некоторое пространство, желая показать, что их столько, сколько может здесь поместиться; получалось примерно четыре или пять тысяч человек. Наконец, на вопрос, не прекращается ли его власть вместе с войной, он ответил, что сохраняет ее и в мирное время и что заключается она в том, что, когда он посещает подчиненные ему деревни, жители их прокладывают для него сквозь чащу лесов тропинки, по которым он может пройти с полным удобством.

Все это не так уже плохо. Но помилуйте, они не носят штанов!



Глава XXXII

О ТОМ, ЧТО СУДИТЬ О БОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДНАЧЕРТАНИЯХ СЛЕДУЕТ С ВЕЛИЧАЙШЕЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и, кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишают нас возможности что-либо им противопоставить. По этой причине, замечает Платон, гораздо легче угодить слушателям, говоря о природе богов, чем о природе людей; ибо невежество слушателей дает полнейший простор и неограниченную свободу для описания таинственного [1].

Поэтому люди ни во что не верят столь твердо, как в то, о чем они меньше всего знают, и никто не разглагольствует с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например алхимики, астрологи, предсказатели, хироманты, врачи, id genus omne *. Я охотно прибавил бы к их числу, если б осмелился, еще целую кучу народа, а именно присяжных толкователей и угадчиков намерений божьих, которые считают своей обязанностью отыскивать причины всего, что случается, усматривать в тайнах воли господней непостижимые побуждения господних деяний; и хотя разнообразие и постоянная несогласованность происходящих событий и заставляют их метаться из стороны в сторону и из одной крайности в другую, они все же не бросают своей игры и той же самой кистью размалевывают все без разбора то в белый, то в черный цвет.

У одного индейского племени есть похвальный обычай: когда им не повезет в какой-нибудь стычке или в сражении, они всей общиной про-

* И все люди подобного рода [2] (*лат.*).

сят за это у солнца, своего бога, прощения, словно они совершили неправедное деяние; ибо свою удачу и неудачу они приписывают божественному разуму, ставя по сравнению с ним ни во что свои домыслы и суждения.

Для христианина достаточно верить, что все исходит от бога, принимать все с благодарностью и признанием его неисповедимой божественной мудрости, считать благом все выпавшее на его долю, в каком бы обличии оно ни было ему ниспослано. Но я никоим образом не могу примириться с тем, что вижу повсюду, а именно, со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию ссылками на успех и процветание наших дел. Наша вера располагает достаточным количеством иных оснований, не нуждаясь в подобного рода ссылках на событие; ведь существует опасность, что народ, привыкнув к этим, столь соблазнительным и пришедшимся ему по вкусу доводам, когда вдруг случится что-нибудь противоположное и ему неприятное, может поколебаться в своей вере. И вот вам пример из происходящих ныне у нас религиозных войн. Победители в битве при Ларошлабейле необычайно ликовали по поводу своей удачи и видели в ней доказательство правоты своего дела. Когда же им довелось испытать поражения при Монконтуре и при Жарнаке[3], им, чтобы как-нибудь объяснить свои неудачи, пришлось вспомнить и об отеческих розгах и об отеческих наказаниях. И если бы народ не был всецело у них в руках, он бы сразу почуял, что это то же самое, что за помол одного мешка брать плату дважды или, дуя себе на пальцы, одновременно студить и согревать их. Было бы много лучше сказать ему чистую правду. Несколько месяцев тому назад под командованием Дон Хуана Австрийского была одержана блестящая морская победа над турками[4]; но господу богу не раз бывало угодно допускать также и победы турок над христианами. Короче говоря, трудно взвешивать на наших весах дела божии, чтобы они не терпели при этом ущерба. И кто пожелал бы придать особый смысл тому, что Арий и близкий к нему по образу мыслей папа Лев, важнейшие главари ереси ариан[5], умерли хотя и в разное время, но столь сходной и странной смертью (оба они, покинув из-за резей в желудке диспут, внезапно скончались в отхожем месте), и, сверх того, особо подчеркнуть обстоятельства и самое место, где совершилось это божественное возмездие,— тому я мог бы указать в придачу и на Гелиогабала, который был убит также в нужнике[6]. Но помилуйте! И святого Иринея[7] постигла та же самая участь. Господь бог, желая показать нам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого должен страшиться злой, не имеют ничего общего с удачами и неудачами мира сего, располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям, отнимая тем самым у нас возможность пускаться на этот счет в нелепейшие рассуждения. И в дураках остаются те, кто пытается разобраться в этих вещах, опираясь на свой человеческий разум. За каждым удачным ударом у них следует, по меньшей мере, два промаха. Это хорошо показал св. Августин на примере своих противников. Этот спор решается скорее оружием, чем оружием разума. Нужно довольствоваться тем светом, который солнцу

угодно изливать на нас своими лучами; кто же поднимет взор, чтобы впитать в себя немного больше света, пусть не сетует, если в наказание за свою дерзость он лишится зрения. Quis hominum potest scire consilium dei? aut quis poterit cogitare quid velit dominus? *



Глава XXXIII

О ТОМ, КАК ЦЕНОЙ ЖИЗНИ УБЕГАЮТ ОТ НАСЛАЖДЕНИЙ

Я убедился в том, что мнения древних, в большинстве случаев, сходятся в следующем: когда в жизни человека больше зла, нежели блага, значит настал час ему умереть; и еще: сохранять нашу жизнь для мук и терзаний — значит нарушать самые законы природы; о чем и говорят приводимые ниже древние изречения:

Ἢ ζῆν ἀλύπως, ἢ θανεῖν εὐδαιμόνως.
Καλὸν τὸ θνήσκειν οἷς ὕβριν τὸ ζῆν φέρει.
Κρεῖσσον τὸ μὴ ζῆν ἐστιν ἢ ζῆν ἀθλίως **.

Но доводить презрение к смерти до такой степени, чтобы использовать ее в качестве средства избавиться от почестей, богатства, высокого положения и других преимуществ и благ, которые мы называем счастьем, возлагать на наш разум еще и это новое бремя, как будто ему и без того не пришлось достаточно потрудиться, чтобы убедить нас отказаться от них,— ни таких советов, ни упоминания о действительных случаях подобного рода я не встречал, пока мне случайно не попал в руки следующий отрывок из Сенеки. Обращаясь к Луцилию, человеку весьма могущественному и имевшему большое влияние на императора, с советом сменить свою роскошную и исполненную наслаждений жизнь и суетность света на тихое и уединенное существование, заполненное философскими размышлениями, и, зная о том, что Луцилий ссылается на связанные с этим некоторые трудности, Сенека говорит: «Я держусь того мнения, что тебе надлежит либо отказаться от этого образа жизни, либо от жизни вообще; я советую, однако, избрать менее трудный путь и скорее развязать, нежели разрубить тот узел, который ты так неудачно завязал, при условии,

* Ибо какой человек в состоянии познать совет божий? Или кто может уразуметь, что угодно господу? [8] (*лат.*).

** Либо жизнь без печалей, либо счастливая смерть. Хорошо умереть, кому жизнь приносит бесчестие. Лучше не жить, чем жить в горести [1] (*греч.*).

разумеется, что, если развязать его не удастся, ты все же его разрубишь. Нет человека, каким бы трусом он ни был, который не предпочел бы упасть один-единственный раз, но уже навсегда, чем постоянно колебаться из стороны в сторону»[2]. Я склонен был думать, что такой совет подходит лишь к суровому учению стоиков; однако, удивительное дело, он оказался позаимствованным у Эпикура, который по этому поводу писал Идоменею весьма сходные вещи.

Нечто подобное, как мне кажется, подметил я и между людьми нашего исповедания, правда, смягченное до некоторой степени христианством. Святой Иларий, епископ города Пуатье[3], этот знаменитый враг арианской ереси, находясь в Сирии, был извещен о том, что его единственная дочь Абра, которую он оставил дома вместе с ее матерью, окружена толпой поклонников, людей в тех краях весьма видных, домогающихся сочетаться с ней браком, так как была она девицей весьма хорошо воспитанной, красивой, богатой и в цвете лет. Он написал ей (как нам это известно), чтобы она отвратилась от всех соблазнов и наслаждений, которые ей предлагают; он добавлял, что во время своего путешествия подыскал ей супруга несравненно более высокого и достойного, обладающего неизмеримо большею властью и величием, который одарит ее бесценнейшими нарядами и украшениями. Его намерение состояло в том, чтобы искоренить в ней влечение и привычку к мирским удовольствиям и полностью обратить ее к богу. Но так как ему казалось, что простейшим и самым верным средством для этого была бы смерть его дочери, он неустанно обращался к богу с просьбами и мольбами, чтобы он призвал ее к себе из этого мира; так оно и случилось, ибо вскоре после возвращения Илария его дочь скончалась, чему он был несказанно рад. Этот Иларий, пожалуй, превзошел своим рвением остальных, ибо прибегнул к подобному средству сразу же, тогда как другие прибегают к нему, когда уже нет иного исхода, а также потому, что он это сделал по отношению к единственной своей дочери. Однако мне хочется досказать эту историю до конца, хотя конец ее и не касается непосредственно предмета моего рассуждения. Жена святого Илария, узнав от него, что смерть их дочери была вызвана им намеренно и сознательно, а также, насколько она стала счастливее, покинув наш мир, вместо того, чтобы и дальше томиться в нем, прониклась столь пылким влечением к вечному блаженству на небе, что, осаждая своего супруга непрестанными просьбами, умолила его сделать то же самое и для нее. И господь, вняв мольбам их обоих, немного времени спустя призвал к себе и ее, и смерть эту оба они встретили с величайшей радостью.



Глава XXXIV

СУДЬБА НЕРЕДКО ПОСТУПАЕТ РАЗУМНО[1]

Непостоянство и шаткость судьбы приводят к тому, что ей приходится представать перед нами в самых разнообразных обличиях. Свершалось ли когда-нибудь правосудие с такой стремительностью, как в следующем случае? Герцог Валантинуа[2], решив отравить Адриана, кардинала Корнето, у которого в Ватикане собирались отужинать он сам и его отец, папа Александр VI, отправил заранее в его покои бутылку отравленного вина, наказав кравчему хорошенько беречь ее. Папа, прибыв туда раньше сына, попросил пить, и кравчий, думая, что вино было поручено его особому попечению только из-за своего отменного качества, предложил его папе. В этот момент появляется, к началу пира, и герцог; полагая, что к его бутылке не прикасались, он пьет то же самое вино. И вот, отца постигла внезапная смерть, а сын, долгое время тяжело проболев, выжил, чтобы претерпеть еще худшую участь.

Иногда кажется, что судьба дожидается определенного часа, чтобы сыграть с нами шутку. Господин д'Эстре, в то время знаменосец в полку господина Вандома, и господин де Лик, заместитель начальника отряда герцога д'Аско, ухаживали одновременно, хотя и принадлежали к враждующим сторонам (как это бывает с соседями, которых разделяет граница), за сестрою господина де Фукероля, отдавшей, в конце концов, предпочтение второму из них. Но в день свадьбы и, что еще хуже, прежде, чем разделить с новобрачной ложе, молодой супруг пожелал преломить копье в честь своей супруги и с этой целью засел в засаде близ Сент-Омера, где господин д'Эстре, оказавшись сильнее, захватил его в плен; и в довершение торжества д'Эстре случилось так, что молодая дама,

Coniugis ante coacta novi dimittere collum,
Quam veniens una atque altera rursus hiems
Noctibus in longis avidum saturasset amorem *,

обратилась к нему с просьбой оказать ей любезность и отпустить пленника, что он и сделал, ибо французский дворянин никогда и ни в чем не отказывает даме.

Не кажется ли порой, что судьба — остроумная выдумщица? Константин, сын Елены, основал Константинопольскую империю, и много столетий спустя Константином, сыном Елены, завершилось ее многовековое существование[4].

Иногда ей угодно бывает передразнивать совершаемые богом чудеса. Передают, будто бы, когда король Хлодвиг осаждал Ангулем, стены его сами собой пали пред ним; кроме того, и Буше[5] также сообщает, позаимствовав этот рассказ у какого-то автора, что король Роберт осадил некий

---

* Принужденная выпустить из объятий молодого супруга раньше, чем долгие ночи одной или двух зим могли бы насытить алчность их любви[3] (*лат.*).

город, а затем отлучился из войска, чтобы, выполняя обет, отправиться в Орлеан отпраздновать день святого Агнана; но когда он присутствовал на торжественном богослужении, то в какой-то момент мессы стены осажденного города без всякого усилия со стороны осаждающих сами собой развалились. Нечто совсем иное произошло во время наших войн за Миланское герцогство. Полководец Риенци, сражаясь на нашей стороне, осадил город Эронну и заложил мину под изрядный кусок крепостной стены. Когда пришел срок, часть стены целиком взлетела кверху, а затем — подобно пущенной прямо в небо и упавшей обратно стреле — опустилась так же целиком на свое прежнее место, так что осажденные ничего от этого не потеряли.

Иногда судьба занимается и врачеванием: Ясон Ферский[6] страдал нарывом в груди, и врачи от него отступились, считая, что он безнадежен. Страстно желая избавиться от страданий, хотя бы ценой смерти, он очертя голову бросился во время сражения в самую гущу врагов и был ранен, но так удачно, что нарыв его прорвался и он выздоровел.

Не превзошла ли судьба художника Протогена в его искусстве? Нарисовав в совершенстве усталую и измученную собаку, он был вполне удовлетворен своей работой, однако за одним исключением: ему никак не удавалось изобразить, как ему хотелось, слюну и пену у ее рта. Раздосадованный этим, он схватил губку, пропитанную разными красками, и запустил ею в картину, чтобы стереть все нарисованное; судьба, однако, весьма кстати направила удар прямо в морду собаки и выполнила таким путем то, что было не под силу искусству.

Не руководит ли порой судьба нашими замыслами и не исправляет ли она их? Изабелла, королева английская, переправляясь с войском из Зеландии в свое королевство, чтобы оказать помощь сыну в борьбе против мужа, погибла бы, если бы прибыла в ту самую гавань, куда направлялась, ибо именно там-то ее и поджидали враги; но судьба, наперекор ее воле, отбросила ее корабли в другое место, где она благополучно высадилась[7]. И не имел ли оснований тот древний, который, швырнув камень в собаку, попал в мачеху и убил ее, произнести следующий стих:

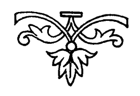
Ταὐτόματον ἡμῶν καλλίω βουλεύεται,

то есть: судьба лучше нас знает, что надо делать[8].

Икет[9] подговорил двух воинов, чтобы они убили Тимолеона, жившего в то время в Адране, в Сицилии. Они договорились, что сделают это, как только он приступит к жертвоприношению, и, замешавшись в толпу, уже перемигнулись между собой в знак того, что настало время выполнить их намерение. Но в это мгновение возле них появился третий воин, который хватил одного из них мечом по голове так, что тот упал замертво; свершив это, он пустился бежать. Товарищ убитого, считая, что все открылось и он погиб, бросился к алтарю и, моля о пощаде, обещал признаться во всем. Но в то время, как он рассказывал о заговоре, удалось схватить третьего воина, и в страшной давке, осыпая ударами, его потащили как убийцу к Тимолеону и наиболее видным лицам, присутствовавшим

на торжестве. Схваченный, моля о помиловании, заявил, что он совершил акт правосудия, умертвив убийцу своего отца; и свидетели, которых ему весьма кстати послал его счастливый жребий, подтвердили, что, действительно, в городе леонтинцев его отец был убит тем, кому он сейчас отомстил. Ему тут же было пожаловано десять аттических мин, ибо на его долю выпало счастье, мстя за смерть отца, избавить от смерти отца сицилийцев. Судьба, как мы видим, в этом случае превзошла хитроумием хитроумие наших расчетов.

И еще один, последний пример. Не проявилось ли в том, о чем я хочу рассказать, особая доброта, милость и человеколюбие судьбы? Игнации, отец и сын, внесенные римскими триумвирами в проскрипционные списки, приняли благородное решение отдать свою жизнь один другому, обманув тем самым жестокость тиранов; и вот, обнажив мечи, они ринулись один на другого. Судьбе было угодно направить острия мечей таким образом, что и сын и отец были поражены насмерть; и та же судьба, воздавая дань почтения столь поразительной и прекрасной любви, позволила им сохранить достаточно сил, чтобы каждый из них, вырвав свой меч из тела другого, мог сжать своего близкого окровавленной и вооруженной рукой в столь цепком объятии, что палачам, отрубившим обе головы сразу, пришлось оставить тела в этом благородном сплетении, так, что рана одного приникла к ране другого, и они любовно впивали в себя остатки крови и жизни друг друга.



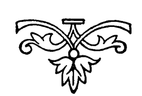
Глава XXXV

ОБ ОДНОМ УПУЩЕНИИ В НАШИХ ПОРЯДКАХ

Мой покойный отец, человек, руководствовавшийся всю свою жизнь опытом и природной сметкой, при этом обладавший ясным умом, говорил мне когда-то, что ему очень хотелось бы, чтобы во всех городах было известное место, куда сходились бы все имеющие в чем-либо нужду и где бы они могли сообщить о ней, чтобы приставленный к этому делу чиновник записал их пожелания, например: «Хочу продать жемчуг, хочу купить жемчуг»; «такой-то ищет спутника для поездки в Париж», «такой-то — слугу, умеющего делать то-то и то-то»; «такой-то — учителя»; «такому-то нужен подмастерье»; одним словом, одному — одно, другому — другое, кому что нужно. И мне кажется, что подобная мера должна была бы в немалой степени облегчить общественные сношения, ибо всегда и везде имеются люди, обстоятельства которых складываются таким образом, что они ощущают нужду друг в друге, но, так и не отыскав один другого, испытывают крайние неудобства.

Мне известно, что, к величайшему стыду нашего века, у нас на глазах умерли с голоду два человека выдающихся знаний: Лилио Грегорио Джиральди в Италии и Себастиан Касталион в Германии[1]; полагаю, что нашлось бы немало людей, которые пригласили бы их к себе на весьма хороших условиях или, во всяком случае, оказали бы помощь, где бы они не жили, если бы знали об их бедственном положении. Мир не настолько еще испорчен, чтобы не нашлось человека — и я знаю такого,— который не пожелал бы от всего сердца расходовать унаследованные им от родителей средства, пока судьбе будет угодно, чтобы он ими располагал, на избавление от нищеты людей редкостных и выдающихся в какой-либо имеющей значение области, ибо нередко судьба преследует их по пятам и доводит до крайности. Этот человек создал бы им, по меньшей мере, такие условия, что если бы среди них и нашелся кто-нибудь, кто не был бы ими доволен, то это могло бы случиться лишь по причине его собственного неразумия.

И в делах хозяйственных мой отец установил порядки, которые я считаю похвальными, но которые, увы, я не в силах поддерживать. Ведь кроме записей, относящихся к ведéнию различных хозяйственных дел, куда заносились счета помельче, платежи, сделки, не требующие скрепления рукой нотариуса,— ибо регистрация таковых возлагается на правительственного сборщика податей,— он поручил тому из своих доверенных слуг, которого использовал как писца, вести также дневник, в котором полагалось отмечать все достойные внимания происшествия, а также день за днем решительно все события, относящиеся к истории нашего дома. И теперь, когда время начинает изглаживать в памяти живые воспоминания, заглянуть в эту летопись чрезвычайно приятно и столь же полезно, ибо она нередко разрешает наши сомнения: когда именно было задумано такое-то дело? Когда оно было закончено? Как оно шло? Как завершилось? Тут же мы можем прочесть о наших путешествиях, наших отлучках, браках, смертях, о получении счастливых или печальных известий, о смене важнейших из наших слуг и тому подобных вещах. Это — старинный обычай, и я думаю, что неплохо было бы каждому освежить его у своего камелька. А себя я считаю глупцом, что не придерживался его.



Глава XXXVI

ОБ ОБЫЧАЕ НОСИТЬ ОДЕЖДУ

За что бы я ни брался, мне приходится преодолевать преграды, созданные обычаем,— настолько опутал он каждый наш шаг. В эту прохладную пору года я думал как-то о том, является ли для недавно открытых народов привычка ходить совершенно нагими следствием высокой температуры воздуха, как мы утверждаем это относительно индейцев и мавров.

или же она первоначально была свойственна всем людям. Но поскольку все, что живет под небом, как говорит Писание, подвластно одинаковым законам [1], люди мыслящие, сталкиваясь с вопросами подобного рода, где нужно проводить различие между законами естественными и надуманными, имеют обыкновение обращаться к общему миропорядку, в котором не может быть никакой фальши. Итак, раз все сущее вооружено, так сказать, иголкой и ниткой, чтобы поддерживать свое бытие, право же, трудно поверить, что только одни мы созданы столь немощными и убогими, что не в состоянии поддержать себя без сторонней помощи. Я полагаю поэтому, что, подобно тому как любое растение, дерево, животное, да и вообще все, что живет, самой природой обеспечено покровами, достаточными, чтобы защитить себя от суровой непогоды:

> Proptereaque fere res omnes aut corio sunt
> Aut seta, aut conchis, aut callo, aut cortice tectae *,

точно так же было когда-то и с нами; но подобно тем, кто заменяет дневной свет искусственным, и мы заменили естественные средства заимствованными. И нетрудно убедиться, что этот обычай делает для нас невозможным то, что в действительности вовсе не является таковым. В самом деле, народы, не имеющие никакого понятия об одежде, обитают примерно в том же климате, что и мы; а, кроме того, наиболее чувствительные части нашего тела остаются открытыми, например глаза, рот, нос, уши, а у наших крестьян,— как, впрочем, и наших предков,— сверх того, еще грудь и и живот. И если бы нам от рождения было предопределено носить штаны или юбки, то можно не сомневаться, что природа снабдила бы те части нашего тела, которые она оставила уязвимыми для суровостей погоды, более толстой кожей, как она это сделала на концах пальцев и на ступнях ног.

Почему же трудно поверить этому? Между моим способом одеваться и тем, как одет в наших краях крестьянин, я нахожу различие большее, чем между его одеждою и одеждою человека, прикрытого своею кожей.

А сколько людей, особенно в Турции, ходят нагими из благочестия!

Некто, увидев в разгаре зимы одного из наших нищих, который, не имея на себе ничего, кроме рубашки, чувствовал себя все же не хуже. чем тот, кто закутан по самые уши в куний мех, спросил его, как он может терпеть такой холод. «Ну, а вы, сударь,— ответил тот,— ведь и у вас тоже лицо ничем не прикрыто. Вот так и я — весь словно лицо». Итальянцы рассказывают о шуте, если не ошибаюсь, герцога Флорентийского, который на вопрос своего господина, как он может, столь плохо одетый, переносить холод, когда он, герцог, так от него страдает, ответил: «Последуйте моему совету, наденьте на себя все, что только у вас найдется, как это сделал я, и вы не больше моего будете страдать от мороза». Царя Масиниссу до глубокой старости нельзя было убедить покрывать голову ни в мороз, ни в бурю, ни в дождь [3]. То же передают и об императоре Севере [4].

---

* Вот почему почти все живое покрыто либо кожей, либо шерстью, либо раковинами, либо наростами, либо корой [2] (*лат.*).

Геродот рассказывает, что во время войн египтян с персами и им и другими было замечено, что головы убитых египтян гораздо крепче, чем головы персов, потому что первые бреют их и оставляют непокрытыми с детских лет, тогда как у вторых они постоянно покрыты в юные годы колпаками, а позднее — тюрбанами [5].

Царь Агесилай до преклонного возраста носил зимой и летом одинаковую одежду. Цезарь, как сообщает Светоний, выступал всегда впереди своего войска и чаще всего шел пешком, с непокрытой головой, все равно — палило ли солнце или лил дождь; [6] то же самое рассказывают и о Ганнибале.

tum vertice nudo
Excipere insanos imbres coelique ruinam *.

Один венецианец, который прожил долгое время в царстве Пегу [8] и только недавно возвратился оттуда, пишет, что тамошние мужчины и женщины, хотя и покрывают прочие части тела одеждой, ходят всегда босые и так же ездят верхом на лошади.

И замечательно, что Платон также советует ради здоровья всего нашего тела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того, которым их одарила сама природа [9].

Король, которого поляки избрали себе после нашего [10],— он и впрямь один из самых великих государей нашего века,— никогда не носит перчаток и не сменяет ни зимою, ни в непогоду той шапочки, что он носит у себя дома [11].

Если я терпеть не могу ходить нараспашку, не застегнув камзол на все пуговицы, то мои соседи-землепашцы почувствовали бы себя, напротив, очень стесненными, когда бы им пришлось ходить в таком виде. Варрон считает, что предписавшие римлянам обнажать голову в присутствии богов и должностных лиц сделали это скорее имея в виду здоровье граждан, а также желая закалить их от непогоды, чем из уважения к высшим [12].

И раз уж речь зашла о холодах и о французах, привыкших напяливать на себя целую кучу пестрого тряпья (я не говорю о себе, ибо, подражая моему покойному отцу, одеваюсь исключительно в черное и белое), то добавлю, что, согласно рассказу нашего полководца Мартена Дю Белле, ему во время похода в Люксембург [13] довелось испытать морозы настолько суровые, что вино в провиантском складе кололи топорами и клиньями, выдавая его солдатам по весу, и те уносили его в корзинах. Совсем так, как у Овидия:

Nudaque consistunt formam servantia testae
Vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt **.

У устья Меотийского озера морозы бывают настолько суровы, что в том самом месте, где полководец Митридата дал бой врагам и разбил их в

---

* ...который с непокрытой головой переносил ужасные ливни и грозы небесные [7] (*лат.*).
** И [замерзшее] вино, извлеченное из сосуда, сохраняет его форму, и его не пьют глотками, а разбивают на куски [14] (*лат.*).

пешем строю, он же, когда наступило лето, выиграл у них еще и морское сражение [15].

Римлянам пришлось претерпеть много бедствий во время сражения с карфагенянами близ Плаценции [16], ибо, когда они бросились на врагов, у них от холода стыла кровь и коченели руки и ноги, тогда как Ганнибал велел развести костры, чтобы солдаты во всем его войске могли обогреваться у них, а также распределить по отрядам масло, дабы, обмазав им свое тело, они придали мышцам больше гибкости и подвижности и защитили поры от морозного воздуха и порывов дувшего тогда студеного ветра.

Отступление греков из Вавилона на родину знаменито теми лишениями и трудностями, которые им потребовалось преодолеть. Застигнутые в горах Армении ужасной снежной бурей, они заблудились и потеряли дорогу; яростно, можно сказать, осаждаемые непогодой, они в течение суток ничего не ели и не пили, бо́льшая часть бывших с ними животных пала; многие воины умерли, многие были ослеплены градом и белизной снега; иные изувечили себе руки и ноги, иные закоченели до того, что остались неподвижными на месте, хотя и полностью сохранили сознание.

Александр видел народ, где плодовые деревья закапывают на зиму в землю, чтобы предохранить их таким способом от мороза.

Что касается одежды, то мексиканский царь менял четыре раза в день свои облачения и никогда не надевал снова уже хотя бы раз надетого платья. Он употреблял их для раздачи в качестве наград и пожалований; равным образом, ни один горшок, блюдо или другая кухонная и столовая утварь не были подаваемы ему дважды.



Глава XXXVII

О КАТОНЕ МЛАДШЕМ

Я не разделяю всеобщего заблуждения, состоящего в том, чтобы мерить всех на свой аршин. Я охотно представляю себе людей, не схожих со мной. И, зная за собой определенные свойства, я не обязываю весь свет к тому же, как это делает каждый; я допускаю и представляю себе тысячи иных образов жизни, и, вопреки общему обыкновению, с большей готовностью принимаю несходство другого человека со мною, нежели сходство. Я нисколько не навязываю другому моих взглядов и обычаев и рассматриваю его таким, как он есть, без каких-либо сопоставлений, но меряя его, так сказать, его собственной меркой. Отнюдь не будучи сам воздержанным, я от чистого сердца восхищаюсь воздержанностью фельянтинцев и капуцинов [1], находя их образ жизни весьма достойным; и силой моего воображения я без труда переношу себя на их место.

И я тем больше люблю их и уважаю, что они иные, чем я. И ничего я так не хотел бы, как чтобы о каждом из нас судили особо и чтобы меня не стригли под общую гребенку.

Моя собственная слабость нисколько не умаляет того высокого мнения, которое мне подобает иметь о стойкости и силе людей, этого заслуживающих. Sunt qui nihil laudant, nisi quod se imitari posse confidunt *. Пресмыкаясь во прахе земном, я, тем не менее, не утратил способности замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать, и сохранять, по крайней мере, неиспорченной эту главнейшую часть моего существа,— по мне, и то уже много. Ведь обладать доброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами,— настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в риторике:

virtutem verba putant, ut
Lucum ligna **.

Quam vereri deberent, etiamsi percipere non possent ***.

Это безделушка, которую можно повесить у себя на стенке или на кончике языка, или на кончике уха в виде украшения.

Не заметно больше поступков, исполненных добродетели; те, которые кажутся такими, на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава, страх, привычка и другие столь же далекие от добродетели побуждения. Справедливость, доблесть, доброта, которые мы обнаруживаем при этом, могут быть названы так лишь теми, кто смотрит со стороны, на основании того облика, в каком они предстают на людях, но для самого деятеля это никоим образом не добродетель; он преследует совершенно иные цели, им руководят иные побудительные причины. А добродетель, между тем, признает своим только то, что творится посредством нее одной и лишь ради нее.

После великой битвы при Потидее, в которой греки под предводительством Павсания нанесли Мардонию и персам страшное поражение, победители, следуя принятому у них обычаю, стали судить, кому принадлежит слава этого великого подвига, и признали, что наибольшую доблесть в этой битве проявили спартанцы. Когда же спартанцы, эти отличные судьи в делах добродетели, стали решать, в свою очередь, кому из них принадлежит честь свершения в этот день наиболее выдающегося деяния, они пришли к выводу, что храбрее всех сражался Аристодем; и все же они не дали ему этой почетной награды, потому что его доблесть воспламенялась желанием

---

* Существуют люди, которые хвалят лишь то, чему они, по их мнению, в состоянии подражать [2] (*лат.*).

** Для них добродетель — лишь слово, а священная роща — дрова [3] (*лат.*).

*** Они должны были бы ее [т. е. добродетель] чтить, даже если не в состоянии постигнуть ее [4] (*лат.*).

смыть пятно, которое лежало на нем со времени Фермопил, и он жаждал пасть смертью храброго, дабы искупить свой прежний позор [5]. Следуя за общей порчею нравов, пошатнулись и наши суждения. Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы умалить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины.

Велика хитрость! Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем, с полным правдоподобием, полсотни порочных намерений. Одному богу известно, сколько разнообразнейших побуждений можно, при желании, вычитать в человеческой воле! Но любители заниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием.

С таким же усердием и готовностью, с каким глупцы стремятся унизить эти великие имена, я хотел бы приложить все силы, чтобы вновь их возвысить. Я не тешу себя надеждой, что мне удастся восстановить в их былом достоинстве эти драгоценнейшие образцы, могущие, по мнению мудрецов, служить примером для всего мира, но я все же постараюсь использовать для этого все доступные мне возможности и всю силу моей аргументации, как бы недостаточна она ни была. Ибо надо помнить, что все усилия нашего воображения не в состоянии подняться до уровня их заслуг.

Долг честных людей — изображать добродетель как можно более прекрасною, и не беда, если мы увлечемся страстью к этим священным образам. Что же до наших умников, то они всячески их чернят либо по злобе, либо в силу порочной склонности мерить все по собственной мерке, о чем я говорил уже выше, либо — что мне представляется наиболее вероятным — от того, что не обладают достаточно ясным и острым зрением, чтобы различить блеск добродетели во всей ее первозданной чистоте: к таким вещам их глаз непривычен. Так, например, Плутарх говорит, что в его время некоторые считали причиной самоубийства Катона Младшего его мнимый страх перед Цезарем, и, вполне основательно, возмущается этим толкованием [6]; можно себе представить, какое негодование вызвали бы у него те из наших современников, которые приписывают самоубийство Катона его честолюбию! Глупцы! Он совершил бы прекрасное, благородное и возвышенное деяние даже в том случае, если бы его ожидал за это позор, а не слава. Этот человек был, поистине, образцом, избранным природой для того, чтобы показать нам, каких пределов могут достигнуть человеческая добродетель и твердость [7].

Я не буду пытаться исчерпать здесь эту благородную тему. Мне хочется, однако, устроить своего рода соревнование между стихами пяти латинских поэтов, восхвалявших Катона и этим поставивших памятник не только ему, но, в известном смысле, и самим себе. Всякий мало-мальски развитой ребенок заметит, что первые два из высказываний, по сравнению с остальными, немного хромают, а третье, хотя и будет покрепче, именно в силу избытка своей силы отличается некоторой сухостью; словом, целая ступень, или даже две, поэтического совершенства отделяют их от четвертого,

прочитав которое, всякий всплеснет руками от восхищения. Наконец, прочитав последнее или, лучше сказать, первое, идущее впереди всех остальных на известном расстоянии, на таком, однако, что, готов поклясться, его не заполнить никаким усилием человеческого ума,— он будет поражен, он замрет от восторга.

Но странная вещь: у нас больше поэтов, чем истолкователей и судей поэзии. Творить ее легче, чем разбираться в ней. О поэзии, не превышающей известного, весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписаний и правил поэтического искусства. Но поэзия прекрасная, выдающаяся, божественная — выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить ее красоту твердым и уверенным взглядом, может разглядеть ее не более, чем сверкание молнии. Она нисколько не обогащает наш ум; она пленяет и опустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, заражает и тех, кто слушает, как рассуждают о ней или читают ее образцы; тут то же самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу, но и передает ей способность притягивать в свою очередь другие иглы. И всего отчетливее это заметно в театре. Мы видим, как священное вдохновение муз, ввергнув сначала поэта в гнев, скорбь, ненависть, самозабвение, во все, что им будет угодно, потрясает затем актера через посредство поэта и, наконец, зрителей через посредство актера. Это целая цепь наших магнитных игл, висящих одна на другой. С самого раннего детства поэзия приводила меня в упоение и пронизывала все мое существо. Но заложенная во мне самой природой восприимчивость к ней с течением времени все обострялась и совершенствовалась, благодаря знакомству со всем ее многообразием — я имею в виду не то, чтобы поэзию прекрасную и дурную (ибо я избирал всегда наиболее высокие образцы в каждом поэтическом роде), а различие в ее оттенках; вначале это была веселая и искрометная легкость, затем возвышенная и благородная утонченность и, наконец, зрелая непоколебимая сила. Примеры скажут об этом еще яснее: Овидий, Лукан, Вергилий. Но вот мои поэты,— пусть каждый говорит за себя.

Sit Cato, dum vivit, sane vel Caesare maior *,—

заявляет один.

Et invictum, devicta morte, Catonem **,—

вспоминает другой.

Третий, касаясь гражданских войн между Цезарем и Помпеем, говорит:

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni ***.

Четвертый, воздав хвалу Цезарю, добавляет:

---

* И Катон, пока жил, был более велик, чем сам Цезарь [8] (*лат.*).

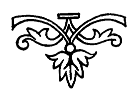
** И непобедимого, победившего смерть, Катона [9] (*лат.*).

*** Боги были на стороне победителей, на стороне побежденных — Катон [10] (*лат.*).

Et cuncta terrarum subacta,
Praeter atrocem animum Catonis *.

И, наконец, корифей этого хора, перечислив всех наиболее прославленных римлян, которых он изобразил на своей картине, заканчивает именем Катона:

His dantem iura Catonem **.



Глава XXXVIII

О ТОМ, ЧТО МЫ СМЕЕМСЯ И ПЛАЧЕМ ОТ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ

Читая в исторических сочинениях о том, что Антигон разгневался на своего сына, когда тот поднес ему голову врага его, царя Пирра, только что убитого в сражении с его войсками, и что, увидев ее, Антигон заплакал [1], или что герцог Рене Лотарингский также оплакал смерть герцога Карла Бургундского [2], которому он только что нанес поражение, и облачился на его похоронах в траур, или что в битве при Оре [3], которую граф де Монфор выиграл у Шарля де Блуа, своего соперника в борьбе за герцогство Бретонское, победитель, наткнувшись на тело своего умершего врага, глубоко опечалился,— давайте воздержимся от того, чтобы воскликнуть:

Et cosi avven che l'animo ciascuna
Sua passion sotto'l contrario manto
Ricopre, con la vista or'chiara, or bruna ***.

Историки сообщают, что, когда Цезарю поднесли голову Помпея, он отвратил от нее взор, как от ужасного и тягостного зрелища [5]. Между ними так долго царило согласие, они так долго сообща управляли государственными делами, их связывали такая общность судьбы, столько взаимных услуг и совместных деяний, что нет никаких оснований полагать, будто поведение Цезаря было не более, как притворством, хотя такого мнения придерживается автор следующих стихов:

tutumque putavit
Iam bonus esse socer: lacrimas non sponte cadentes
Effudit, gemitusque expressit pectore laeto ****.

---

* И все на земле подчинилось, кроме суровой души Катона [11] (*лат.*).

** Творящего над ними суд Катона [12] (*лат.*).

*** Так прикрывает душа сокровенные свои чувства противоположной личиной; печаль — радостью, радость — печалью [4] (*ит.*).

**** И тогда, решив, что он может без опасности для себя разыграть доброго тестя, он стал проливать притворные слезы и исторгать вздохи из своей ликующей груди [6] (*лат.*).

Ибо хотя большинство наших поступков и в самом деле не что иное, как маска и лицемерие, и поэтому иногда вполне соответствует истине, что

Haeredis fletus sub persona risus est *,

все же, размышляя по поводу вышеприведенных случаев, нужно учитывать, до чего часто нашу душу раздирают противоположные страсти. В нашем теле, говорят врачи, существует целый ряд различных соков, среди которых господствующим является тот, который обычно преобладает в нас в зависимости от нашего телосложения; так и в нашей душе: сколько бы различных побуждений ни волновало ее, среди них есть такое, которое неизменно одерживает верх. Впрочем, его победа никогда не бывает настолько решительной, чтобы, из-за податливости и изменчивости нашей души, более слабые побуждения не отвоевывали себе при случае места и не добивались, в свою очередь, кратковременного преобладания. Именно по этой причине одна и та же вещь, как мы видим, может заставить и смеяться и плакать не только детей, с непосредственностью следующих во всем природе, но зачастую и нас самих; в самом деле, ведь ни один из нас не может похвастаться, что, отправляясь в путешествие, сколь бы желанным оно для него ни было, и отрываясь от семьи и друзей, он не чувствовал бы, что у него щемит сердце; и, если у него тут же не выступят слезы, все же он будет вдевать ногу в стремя с лицом, по меньшей мере, унылым и опечаленным. И как бы ни согревало нежное пламя сердце благонравной девицы, ее приходится, можно сказать, насильно вырывать из объятий матери, дабы вручить супругу, что бы ни говорил на этот счет наш добрый приятель Катулл:

Estne novis nuptis odio Venus, anne parentum
Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,
Ubertim thalami quas intra limina fundunt?
Non, ita me divi, vera gemunt, iuverint **,

Итак, нет ничего удивительного, что иной оплакивает смерть человека, которого он вовсе не желал бы видеть живым.

Когда я браню моего слугу, я браню его от всего сердца, и проклятия мои искренние, а не притворные; но пусть только уляжется мое раздражение, и у того же слуги будет нужда во мне, я охотно сделаю все, что в моих силах, как ни в чем не бывало. Когда я называю его болваном или ослом, у меня нет и в мыслях прилепить к нему навсегда эти прозвища, и я не считаю, что противоречу себе, когда, через короткое время, называю его славным малым. Нет таких качеств, которые целиком и полностью господствовали бы в нас. Если бы разговаривать с самим собой не было свойством сумасшедших, то каждый день можно было слышать, как я ворчу на

* Плач наследника — это смех под маской [7] (*лат.*).

** Или новобрачным ненавистна Венера, или притворными слезами они хотят нарушить радость родителей, когда обильно проливают их у порога супружеской спальни. Нет, призываю богов во свидетели, они плачут неискренно [8] (*лат.*).

себя, обзывая себя дерьмом. И все же я не считаю, что это слово точно определяет мою сущность.

Глупцом был бы тот, кто, видя меня то равнодушным, то влюбленным возле моей жены, счел бы, что я притворяюсь в обоих случаях. Нерон, прощаясь с матерью, когда ее уводили, чтобы по его приказанию утопить, испытал все же при этом сыновнее чувство; он содрогнулся и пожалел ее![9]

Говорят, что солнечный свет не представляет собой чего-то сплошного, но что солнце настолько часто мечет свои лучи один за другим, что мы не в состоянии заметить промежутки, которые их отделяют:

Largus enim liquidi fons luminis, aetherius sol
Irrigat assidue coelum candore recenti,
Suppeditatque novo confestim lumine lumen *,

так и наша душа испускает различные лучи с неуловимыми переходами от одного из них к другому.

Артабан, заметив однажды внезапную перемену в выражении лица своего племянника Ксеркса, пожурил его за это. Ксеркс в это время смотрел на несметные полчища, переправлявшиеся через Геллеспонт, чтобы вторгнуться в Грецию. При виде стольких тысяч подвластных ему людей, он затрепетал от удовольствия, и на лице его появилось выражение торжества. Но вдруг в то же мгновение ему пришла в голову мысль, что не пройдет и ста лет, как из всего этого великого множества не останется в живых ни одного человека,— и тут на чело его набежали морщины и он огорчился до слез.

Мы, не колеблясь, отомстили за нанесенное нам оскорбление и испытали глубокое удовлетворение, добившись своего; и вдруг мы залились слезами. Разумеется, не успех побудил нас заплакать, и все осталось по-прежнему; но душа наша смотрит теперь на дело другими глазами, и оно представляется ей в новом обличии, ибо всякая вещь многообразна и многоцветна. Теперь нашим воображением овладели воспоминания о родственных связях, давнем знакомстве и дружбе, и, в зависимости от их яркости, оно оказывается потрясено ими, но только образы эти проносятся в нашем сознании так стремительно, что мы не в состоянии задержаться на них:

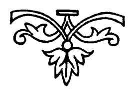
Nil adeo fieri celeri ratione videtur
Quam si mens fieri proponit et inchoat ipsa.
Ocius ergo animus quam res se perciet ulla,
Ante oculos quarum in promptu natura videtur **

И по этой причине, желая объединить все эти последовательные переживания в нечто цельное, мы впадаем в ошибку. Когда Тимолеон оплаки-

* Ведь неиссякаемый источник светового потока — солнце — с эфирных высот заливает небо все новым светом и непрерывной чередой шлет луч за лучом[10] (*лат.*).

** Ничто, по-видимому, не совершается столь же быстро, как то, что замышляет и приводит в исполнение ум. Итак, душа движется быстрее, чем любая другая вещь из тех, что, не скрываясь, находятся у нас пред глазами[11] (*лат.*).

вает убийство, совершенное им после возвышенного и зрелого размышления, он оплакивает не свободу, возвращенную его деянием родине, он оплакивает не тирана, нет, он оплакивает брата [12]. Часть своего долга он выполнил, предоставим же ему выполнить и другую.



Глава XXXIX
ОБ УЕДИНЕНИИ

Оставим в стороне пространные сравнения жизни уединенной и жизни деятельной. Что же касается красиво звучащего изречения, которым прикрываются честолюбие и стяжательство, а именно: «Мы рождены не для себя, но для общества», то пусть его твердят те, кто без стеснения пляшет со всеми другими под одну дудку. Но если у них есть хоть крупица совести, они должны будут сознаться, что за привилегиями, должностями и прочей мирской мишурой они гонятся вовсе не ради служения обществу, а скорей ради того, чтобы извлечь из общественных дел выгоду для себя. Бесчестные средства, с помощью которых многие в наши дни возвышаются, ясно говорят о том, что и цели также не стоят доброго слова. А честолюбию давайте ответим, что оно-то и прививает нам вкус к уединению, ибо чего же чуждается оно больше, чем общества, и к чему оно стремится с такой же настойчивостью, как не к тому, чтобы иметь руки свободными? Добро и зло можно творить повсюду: впрочем, если справедливы слова Бианта, что «бо́льшая часть — это всегда наихудшая» [1], или также Экклезиаста, что «и в целой тысяче не найти ни одного доброго»,—

Rari quippe boni: numero vix sunt totidem, quot
Thebarum portae, vel divitis ostia Nili *,

то в этой толчее недолго и заразиться. Нужно или подражать людям порочным, или же ненавидеть их. И то и другое опасно: и походить на них, ибо их превеликое множество, и сильно ненавидеть их, ибо они на нас непохожи.

Купцы, отправляясь за море, имеют все основания приглядываться к своим попутчикам на корабле, не развратники ли они, не богохульники ли, не злодеи ли, считая, что подобная компания приносит несчастье. Вот почему Биант, обратившись к тем, которые, будучи с ним на море во время разыгравшейся бури, молили богов об избавлении от опасности, шутливо

---

* Хорошие люди редки; едва ли наберется их столько же, сколько насчитывается ворот в Фивах или устьев у плодоносного Нила [2] (*лат.*).

сказал: «Помолчите, чтобы боги не заметили, что и вы здесь вместе со мной!»

Еще убедительнее пример Альбукерке[3], вице-короля Индии в царствование португальского короля Мануэля. Когда кораблю, на котором он находился, стала угрожать близкая гибель, он посадил себе на плечи мальчика, с той единственной целью, чтобы этот невинный ребенок, судьбу которого он связал со своей, помог ему снискать и обеспечил милость всевышнего, и тем самым спас бы их от гибели.

Сказанное вовсе не означает, что мудрец не мог бы жить в свое удовольствие где угодно, чувствуя себя одиноким даже среди толпы придворных; но если бы ему было дано выбирать, то, как учит его философия, он постарался бы даже не глядеть на этих людей. Он готов снести это, если окажется необходимым, но если дело будет зависеть от него самого, он выберет совершенно иное. Ему будет казаться, что он и сам не вполне избавился от пороков, если ему понадобится бороться с пороками остальных.

Харонд карал как преступников даже тех, кто был уличен, что он водится с дурными людьми. И нет другого существа, которое было бы столь же неуживчиво и столь же общительно, как человек: первое — по причине его пороков, второе — в силу его природы.

И Антисфен, когда кто-то упрекнул его в том, что он общается с дурными людьми, ответил, по-моему, не вполне убедительно, сославшись на то, что и врачи проводят жизнь среди больных. Дело в том, что, заботясь о здоровье больных, врачи, бесспорно, наносят ущерб своему собственному, поскольку они постоянно соприкасаются с больными и имеют дело с ними, подвергая себя опасности заразиться.

Цель, как я полагаю, всегда и у всех одна, а именно жить свободно и независимо; но не всегда люди избирают правильный путь к ней. Часто они думают, что удалились от дел, а оказывается, что только сменили одни на другие. Не меньшая мука управлять своею семьей, чем целым государством: ведь если что-нибудь тяготит душу, она уже полностью отдается этому; и хотя хозяйственные заботы не столь важны, все же они изрядно докучливы. Сверх того, отделавшись от двора и городской площади, мы не отделались от основных и главных мучений нашего существования:

ratio et prudentia curas,
Non locus effusi late maris arbiter, aufert *.

Честолюбие, жадность, нерешительность, страх и вожделения не покидают нас с переменой места.

Et post equitem sedet atra cura **.

Они преследуют нас нередко даже в монастыре, даже в убежище философии. Ни пустыни, ни пещеры в скалах, ни власяница, ни посты не избав-

* Отгоняют заботы разум и мудрость, а не какая-либо местность с видом на широкий простор моря[4] (*лат.*).
** И позади всадника сидит мрачная забота[5] (*лат.*).

ляют от них:

haeret lateri letalis arundo *.

Сократу сказали о каком-то человеке, что путешествие нисколько его не исправило. «Охотно верю,— заметил на это Сократ.— Ведь он возил с собой себя самого».

Quid terras alio calentes
Sole mutamus? patria quis exul
Se quoque fugit? **

Если не сбросить сначала со своей души бремени, которое ее угнетает, то в дорожной тряске она будет еще чувствительней. Ведь так же и с кораблем: ему легче плыть, когда груз на нем хорошо уложен и закреплен. Вы причиняете больному больше вреда, чем пользы, заставляя его менять положение; шевеля его, вы загоняете болезнь внутрь. Чем больше мы раскачиваем воткнутые в землю колья и нажимаем на них, тем глубже они уходят в почву и увязают в ней. Недостаточно поэтому уйти от людей, недостаточно переменить место, нужно уйти и от свойств толпы, укоренившихся в нас; нужно расстаться с собой и затем обрести себя заново.

Rupi iam vincula dicas:
Nam luctata canis nodum arripit; attamen illi,
Cum fugit, a collo trahitur pars longa catenae ***.

Мы волочим за собой свои цепи; здесь нет еще полной свободы — мы обращаем свой взор к тому, что оставили за собой, наше воображение еще заполнено им;

Nisi purgatum est pectus, quae proelia nobis
Atque pericula tunc ingratis insinuandum?
Quantae conscindunt hominem cuppedinis acres
Sollicitum curae, quantique perinde timores?
Quidve superbia, spurcitia, ac petulantia, quantas
Efficiunt clades? quid luxus desidiesque? ****

Зло засело в нашей душе, а она не в состоянии бежать от себя самой:

In culpa est animus qui se non effugit unquam [10].

Итак, ей нужно обновиться и замкнуться в себе: это и будет подлинное уединение, которым можно наслаждаться и в толчее городов и при дворах

* В бок впилась смертоносная стрела [6] (*лат.*).
** Что нам искать земель, согреваемых иным солнцем? Кто, покинув отчизну, сможет убежать от себя? [7] (*лат.*).
*** Ты скажешь что избавился от оков? Собака после долгих усилий рвет, наконец, свою привязь и убегает, но на шее у нее еще болтается большой обрывок цепи [8] (*лат.*).
**** Если наша душа не очистилась, сколько нам, несчастным, должно вынести еще [внутренних] битв, сколько преодолеть опасностей! Какие мучительные тревоги терзают человека, одолеваемого страстями, а также сколькие страхи! В какие бедствия ввергнут его надменность, распутство, несдержанность, в какие — роскошь и праздность [9] (*лат.*).

королей, хотя свободнее и полнее всего наслаждаться им в одиночестве. А раз мы собираемся жить одиноко и обходиться без общества, сделаем так, чтобы наша удовлетворенность или неудовлетворенность зависели всецело от нас; освободимся от всех уз, которые связывают нас с ближними; заставим себя сознательно жить в одиночестве, и притом так, чтобы это доставляло нам удовольствие.

Стильпону удалось спастись от пожара, опустошившего его родной город; но в огне погибли его жена, дети и все его имущество. Встретив его и не прочитав на его лице, несмотря на столь ужасное бедствие, постигшее его родину, ни испуга, ни потрясения, Деметрий Полиоркет [11] задал ему вопрос, неужели он не потерпел никакого убытка. На это Стильпон ответил, что дело обошлось без убытков и ничего своего, благодарение бога, он не потерял. То же выразил философ Антисфен в следующем шутливом совете: «Человек должен запасать только то, что держится на воде и в случае кораблекрушения может вместе с ним вплавь добраться до берега» [12].

И действительно, мыслящий человек ничего не потерял, пока он владеет собой. После разрушения варварами города Нолы тамошний епископ Павлин, потеряв все и попав в плен к победителям, обратился к богу с такой молитвой: «Господи, не дай мне почувствовать эту потерю; ибо ничего из моего, как тебе ведомо, они пока что не тронули». Те богатства, которые делали его богатым, и то добро, которое делало его добрым, остались целыми и невредимыми.

Вот что значит умело выбирать для себя сокровища, которые невозможно похитить, и укрывать их в таком тайнике, куда никто не может проникнуть, так что выдать его можем только мы сами. Надо иметь жен, детей, имущество и, прежде всего, здоровье, кому это дано: но не следует привязываться ко всему этому свыше меры, так, чтобы от этого зависело наше счастье. Нужно приберечь для себя какой-нибудь уголок, который был бы целиком наш, всегда к нашим услугам, где мы располагали бы полной свободой, где было бы главное наше прибежище, где мы могли бы уединяться. Здесь и подобает нам вести внутренние беседы с собой и притом настолько доверительные, что к ним не должны иметь доступа ни наши приятели, ни посторонние; здесь надлежит нам размышлять и радоваться, забывая о том, что у нас есть жена, дети, имущество, хозяйство, слуги, дабы, если случится, что мы потеряем их, для нас не было бы чем-то необычным обходиться без всего этого. Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у нее есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить. Нам нечего опасаться, что в этом уединении мы будем коснеть в томительной праздности:

in solis sis tibi turba locis *.

Добродетель, говорит Антисфен, довольствуется собой: она не нуждается ни в правилах, ни в воздействии со стороны.

---

* Когда ты в одиночестве, будь себе сам толпой [13] (*лат.*).

Среди тысячи наших привычных поступков мы не найдем ни одного, который мы совершали бы непосредственно ради себя. Посмотри: вот человек, который карабкается вверх по обломкам стены, разъяренный и вне себя, будучи мишенью для выстрелов из аркебуз; а вот другой, весь в рубцах, изможденный, бледный от голода, решивший скорее подохнуть, но только не отворить городские ворота первому. Считаешь ли ты, что они здесь ради себя? Они здесь ради того, кого никогда не видели, кто нисколько не утруждает себя мыслями об их подвигах, утопая в это самое время в праздности и наслаждениях. А вот еще один: харкающий, с гноящимися глазами, неумытый и нечесаный, он покидает далеко за полночь свой рабочий кабинет: думаешь ли ты, что он роется в книгах, чтобы стать добродетельнее, счастливее и мудрее? Ничуть не бывало. Он готов замучить себя до смерти, лишь бы поведать потомству, каким размером писал свои стихи Плавт, или как правильнее пишется такое-то латинское слово. Кто бы не согласился с превеликой охотой отдать свое здоровье, покой или самую жизнь в обмен на известность и славу — самые бесполезные, ненужные и фальшивые из всех монет, находящихся у нас в обращении? Нам мало страха за свою жизнь, так давайте же трепетать еще за жизнь наших жен, детей, домочадцев! Нам мало хлопот с нашими собственными делами, так давайте же мучиться и ломать себе голову из-за дел наших друзей и соседей!

Vah! quemquamne hominem in animum instituere aut
Parare, quod sit carius quam ipse est sibi? *

Уединение, как мне кажется, имеет разумные основания скорее для тех, кто успел уже отдать миру свои самые деятельные и цветущие годы, как это сделал, скажем, Фалес.

Мы пожили достаточно для других, проживем же для себя хотя бы остаток жизни. Сосредоточим на себе и на своем собственном благе все наши помыслы и намерения! Ведь нелегкое дело — отступать, не теряя присутствия духа; всякое отступление достаточно хлопотливо само по себе, чтобы прибавлять к этому еще другие заботы. Когда господь дает нам возможность подготовиться к нашему переселению, используем ее с толком; уложим пожитки; простимся заблаговременно с окружающими; отделаемся от стеснительных уз, которые связывают нас с внешним миром и отдаляют от самих себя. Нужно разорвать эти на редкость крепкие связи. Можно еще любить то или другое, но не связывая себя до конца с чем-либо, кроме себя самого. Иначе говоря: пусть все будет по-прежнему близко нам, но пусть оно не сплетается и не срастается с нами до такой степени прочно, чтоб нельзя было его отделить от нас, не ободрав у нас кожу и не вырвав заодно еще кусок мяса. Самая великая вещь на свете — это владеть собой.

Наступил час, когда нам следует расстаться с обществом, так как нам

---

* Подумать только! Привязаться к кому-нибудь или проникнуться к нему таким чувством, что он может оказаться тебе дороже, чем ты сам для себя? [14] (*лат.*).

больше нечего предложить ему. И кто не может ссужать, тот не должен и брать взаймы. Мы теряем силы; соберем же их и прибережем для себя. Кто способен пренебречь обязанностями, возлагаемыми на него дружбой и добрыми отношениями, и начисто вычеркнуть их из памяти, пусть сделает это! Но ему нужно остерегаться, как бы в эти часы заката, который превращает его в ненужного, тягостного и докучного для других, он не стал бы докучным и для себя самого, а также тягостным и ненужным. Пусть он нежит и ублажает себя, но, главное, пусть управляет собой, относясь с почтением и робостью к своему разуму и своей совести,— так, чтобы ему не было стыдно взглянуть им в глаза. Rarum est enim ut satis se quisque vereatur *.

Сократ говорил, что юношам подобает учиться, взрослым — упражняться в добрых делах, старикам — отстраняться от всяких дел как гражданских, так и военных и жить по своему усмотрению без каких-либо определенных обязанностей [16].

Есть люди такого темперамента, что им легко дается соблюдение правил уединенной жизни. Натуры, чувства которых ленивы и вялы, а воля и страсти не отличаются большой пылкостью, вследствие чего они нелегко подчиняются им, увлекаются чем-либо,— таков и я, например, и по природному складу характера, и по моим убеждениям,— такие натуры скорее и охотнее примут этот совет, нежели души деятельные и живые, стремящиеся охватить решительно все, вмешивающиеся во все, увлекающиеся всем, что бы ни попалось на глаза, предлагающие и себя и свои услуги во всех случаях жизни и готовые взяться за любое дело. Следует пользоваться случайными и не зависящими от нас удобствами, которые дарует нам жизнь, раз они доставляют нам удовольствие, но не следует смотреть на них как на главное в нашем существовании; это не так, и ни разум, ни природа не хотят этого. К чему, вопреки законам ее, ставить в зависимость удовлетворенность или неудовлетворенность нашей души от вещей, зависящих не от нас? Предвосхищать возможные удары судьбы, лишать себя тех удобств, которыми мы можем располагать,— как это делали многие из благочестия, а некоторые философы — в соответствии со своими воззрениями,— отказываться от помощи слуг, спать на голых досках, выкалывать себе глаза, выбрасывать свое богатство в реку, искать страданий (первые — для того, чтобы мучениями в этой жизни снискать блаженство в грядущей, вторые — чтобы, спустившись на самую нижнюю ступень лестницы, обезопасить себя от падения еще ниже) — это чрезмерные проявления добродетели. Превращать же свой тайник в источник собственной славы и в образец для других — пусть этим занимаются другие, те, которые тверже и крепче:

tuta et parvula laudo,
Cum res deficiunt, satis inter vilia fortis:
Verum ubi quid melius contingit et unctius, idem

---

* Ведь не часто бывает, чтобы кто-нибудь в достаточной мере боялся себя [15] (*лат.*).

Hos sapere, et solos aio bene vivere, quorum
Conspicitur nitidis fundata pecunia villis *.

Что до меня, то мне хватает и своих дел, чтобы не забираться так далеко. Мне более чем достаточно, пока судьба дарит меня своей благосклонностью, подготовлять себя к ее неблагосклонности и, пребывая в благополучии, представлять себе настолько мрачное будущее, насколько хватает моего воображения,— наподобие того, как мы приучаем себя к фехтованию и турнирам, играя в войну среди нерушимого мира.

Философ Аркесилай [18] нисколько не теряет в моем уважении из-за того, что употреблял, как известно, золотую и серебряную посуду, поскольку ему позволяло это его состояние; и он внушает мне тем большее уважение, что не лишил себя всех этих благ, но пользовался ими с умеренностью и отличался, вместе с тем, неизменной щедростью.

Я вижу, до чего ограниченны естественные потребности человека; и, глядя на беднягу-нищего у моей двери, часто гораздо более жизнерадостного и здорового, чем я сам, я мысленно ставлю себя на его место, стараюсь почувствовать себя в его шкуре. И хоть я превосходно знаю, что смерть, нищета, презрение и болезни подстерегают меня на каждом шагу, все же, вспоминая о таком нищем и о многом другом в этом же роде, я убеждаю себя не проникаться ужасом перед тем, что стоящий ниже меня принимает с таким терпением. Я не могу заставить себя поверить, чтобы неразвитый ум мог сотворить большее, чем ум сильный и развитой, а также, чтобы с помощью размышления нельзя было достигнуть того же, что достигается простой привычкой. И зная, насколько ненадежны эти второстепенные жизненные удобства, я, живя в полном достатке, неустанно обращаюсь к богу с главнейшей моею просьбой, а именно, чтобы он даровал мне способность довольствоваться самим собою и благами, порождаемыми мною самим. Я знаю цветущих юношей, которые постоянно держат в своем ларце множество разных пилюль на случай простуды, и, полагая, что обладают средством против нее, меньше опасаются этой болезни. Нужно подражать им в этом, а кроме того, если вы подвержены какой-нибудь более серьезной болезни, вам следует обзавестись такими лекарствами, которые унимают боль и усыпляют пораженные органы.

При подобном образе жизни должно избрать для себя такое занятие, которое не было бы ни слишком хлопотливым, ни слишком скучным; в противном случае, не к чему было устраивать себе уединенное существование. Это зависит от личного вкуса; что до моего, то хозяйство ему явно не по нутру. Кто же любит его, пусть и занимается им, но отнюдь не чрезмерно:

Conentur sibi res, non se submittere rebus **.

---

* Когда я в бедности, я довольствуюсь своим небольшим доходом, сохраняя твердость духа и в скудности. Когда же мне перепадет кусочек получше и пожирней, я говорю: «Мудры и живут, как подобает, лишь те, чье богатство, вложенное в роскошные поместья, у всех на виду» [17] (*лат.*).

** Пусть они постараются подчинить себе обстоятельства, а не подчиняются им сами [18] (*лат.*).

В противном случае это увлечение хозяйственными делами превратится, по словам Саллюстия [20], в своего рода рабство. Есть тут отрасли и более благородные, например плодоводство, пристрастие к которому Ксенофонт приписывал Киру [21]. Вообще же здесь можно найти нечто среднее между низкой и жалкой озабоченностью, связанных с вечной спешкой, которые мы наблюдаем у тех, кто уходит во всякое дело с головой, и глубоким, совершеннейшим равнодушием, допускающим, чтобы все приходило в упадок, как мы это наблюдаем у некоторых:

Democriti pecus edit agellos
Cultaque, dum peregre est animus sine corpore velox *.

Но выслушаем совет, который дает по поводу все того же уединенного образа жизни Плиний Младший своему другу Корнелию Руфу: «Я советую тебе поручить своим людям эти низкие и отвратительные хлопоты по хозяйству и, воспользовавшись своим полным и окончательным уединением, целиком отдаться наукам, чтобы оставить после себя хоть крупицу такого, что принадлежало бы только тебе» [23]. Он подразумевает здесь славу, совсем так же, как и Цицерон, заявляющий, что он хочет использовать свой уход от людей и освобождение от общественных дел, дабы обеспечить себе своими творениями вечную жизнь [24]:

usque adeone
Scire tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter **

Это, мне кажется, было бы вполне правильно, если бы речь шла о том, чтобы уйти из мира, рассматривая его как нечто, находящееся вне тебя; названные же мною авторы делают это только наполовину. Они задумываются над тем, что будет, когда их самих больше не будет; но тут получается забавное противоречие, ибо плоды своих намерений они рассчитывают пожать в этом мире, однако лишь тогда, когда они сами будут уже за его пределами. Гораздо более здравыми представляются мне соображения тех, кто ищет уединения из благочестия, поддерживая в себе мужество верой в будущую жизнь, которая принесет им осуществление обещанного нам богом. Они отдают себя богу, существу бесконечному и в благости и в могуществе; и перед душой открывается необозримый простор для осуществления ее чаяний. И болезни и страдания приносят им пользу, ибо через них они добывают себе вечное здоровье и вечное наслаждение; и даже смерть представляется им желанною, ибо она — переход к этому совершенному состоянию. Суровость их дисциплины благодаря привычке вскоре перестает казаться им тягостной, их плотские вожделения, будучи подавляемы, успокаиваются и замирают, ибо они поддерживаются в нас исключительно тем, что мы беспрепятственно удовлетворяем их. Эта единственная их цель,— бла-

* Скот объедал поля и посевы Демокрита, пока дух его, изойдя из тела, пребывал вдалеке [22] (*лат.*).
** Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь [25] (*лат.*).

женная и бессмертная жизнь — и в самом деле заслуживает того, чтобы отказаться ради нее от радостей и утех нашего бренного существования. И кто может зажечь в своей душе пламя этой живой веры, а также надежды, по-настоящему и навсегда, тот создает себе и в пустыне жизнь, полную наслаждений и радостей, превышающих все, чего можно достигнуть при всяком ином образе жизни.

Итак, ни цель, ни средства, которые предлагает Плиний, не удовлетворяют меня; следуя ему, мы лишь попадаем из огня да в полымя. Эти книжные занятия столь же обременительны, как все прочее, и столь же вредны для здоровья, которое должно быть главной нашей заботой. И никоим образом нельзя допускать, чтобы удовольствие, доставляемое нашими занятиями, затмило все остальное: ведь это то самое удовольствие, которое губит жадного хозяина, стяжателя, сладострастника и честолюбца. Мудрецы затратили немало усилий, чтобы предостеречь нас от ловушек наших страстей и научить отличать истинные, полновесные удовольствия от таких, к которым примешиваются заботы и которые омрачены ими. Ибо большинство удовольствий, по их словам, щекочет и увлекает нас лишь для того, чтобы задушить до смерти, как это делали те разбойники, которых египтяне называли филетами. И если бы головная боль начинала нас мучить раньше опьянения, мы остерегались бы пить через меру. Но наслаждение, чтобы нас обмануть, идет впереди, прикрывая собой своих спутников. Книги приятны, но если, погрузившись в них, мы утрачиваем, в конце концов, здоровье и бодрость — самое ценное достояние наше,— то не лучше ли оставить и их. Я принадлежу к числу тех, кто считает, что польза от них не может возместить эту потерю. Подобно тому как люди, ослабленные длительным недомоганием, отдают себя в конце концов в руки врачей и соглашаются подчинить свою жизнь некоторым предписанным ими правилам, которые и стараются не преступать, так и тому, кто, усталый и разочарованный, покидает людей, надлежит устроить для себя жизнь согласно правилам разума, упорядочить ее и соразмерить, предварительно все обдумав. Он должен распрощаться с любым видом труда, каков бы он ни был; и, вообще, он должен остерегаться страстей, нарушающих наш телесный и душевный покой; он должен избрать для себя тот путь, который ему больше всего по душе:

Unusquisque sua noverit ire via [26].

Занимаетесь ли вы хозяйством, науками, охотой или чем-либо иным, вы должны отдаваться этому не дальше того предела, где кончается удовольствие; берегитесь увлечься и устремиться вперед, туда, где к удовольствию примешивается усилие. Нужно предаваться занятиям и заботам лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы сохранять бодрость и обезопасить себя от неприятностей, порождаемых противоположною крайностью, а именно, вялым и сонным бездельем. Есть науки бесплодные и бесполезные, и большинство из них создано ради житейской суеты; их следует предоставить тем, кто занят мирскими делами. Что до меня, то я люблю лишь развлекательные и легкие книги либо те, которые возбуждают мое любопытство,

либо те, которые утешают меня или советуют, как упорядочить мою жизнь и мою смерть:

tacitum silvas inter reptare salubres
Curantem quidquid dignum sapiente bonoque est *.

Люди более мудрые, обладая душою мужественной и сильной, способны сохранять душевное спокойствие, независимо от всего прочего. Но так как душа у меня самая обыкновенная, мне приходится поддерживать ее телесными удовольствиями; и поскольку возраст отнимает у меня те из них, которые были мне больше всего по вкусу, я приучаю себя острее воспринимать другие, более соответствующие этой новой поре моей жизни. Нужно вцепиться и зубами и когтями в те удовольствия жизни, которые годы вырывают у нас одно за другим:

carpamus dulcia: nostrum est
Quod vivis: cinis et manes et fabula fies **.

Что до славы, предлагаемой нам Цицероном и Плинием в качестве нашей цели, то я очень далек от подобных стремлений. Честолюбие несовместимо с уединением. Слава и покой не могут ужиться под одной крышей. Сколько я вижу, оба названных мною писателя унесли из житейской толчеи только руки да ноги; душой же и помыслами они погрязли в ней еще глубже, чем когда-либо прежде:

Tun, vetule, auriculis alienis colligis escas? ***

Они всего-навсего лишь отступили немного назад, чтобы прыгнуть дальше и лучше, чтобы, напрягшись, как следует, рвануться в самую гущу толпы. Хотите убедиться, насколько легковесны их рассуждения? Сопоставим мнения двух философов [30], принадлежащих к совершенно различным школам и пишущих, один — Идоменею, другой — Луцилию, их друзьям, убеждая их отказаться от дел и почестей и уединиться от мира. Вы жили, говорят они, до этого времени, плавая и носясь по волнам,— так доберитесь, наконец, до гавани, чтобы там умереть. Всю свою жизнь вы отдали свету — проведите остаток ее в тени. Невозможно отрешиться от дел, не отрешившись от их плодов; по этой причине оставьте заботу о своем имени и о славе. Есть опасность, что блеск ваших былых деяний осеняет вас слишком ярким ореолом и не покинет вас и в вашем убежище. Откажитесь вместе со всеми прочими наслаждениями и от того, которое вы испытываете, когда вас одобряют другие; а что касается ваших знаний и ваших талантов, то не тревожьтесь о них; они не утратят своего значения оттого, что вы сами сделаетесь более достойными их. Вспомните человека, который на вопрос, зачем он тратит столько усилий, постигая искусство, недоступ-

---

* Молча бродя по благодатным лесам и устремляя свой взор на то, что достойно мудрого и добропорядочного человека [27] (*лат.*).

** Будем наслаждаться. Нынешний день — наш; а после ты станешь прахом, тенью, преданием [28] (*лат.*).

*** Не о том ли хлопочешь, старик, как бы потешить уши других? [29] (*лат.*).

ное большинству людей, ответил: «С меня довольно очень немногих, с меня довольно и одного, с меня довольно, если даже не будет ни одного». Он говорил сущую правду. Вы и хотя бы еще один из ваших друзей — это уже целый театр для вас обоих, и даже вы один — театр для себя самого. Пусть целый народ будет для нас этим «одним» и этот «один» — целым народом. Желание извлечь славу из своей праздности и своего затворничества — это суетное тщеславие. Нужно поступать так, как поступают дикие звери, заметающие следы у входа в свою берлогу. Вам не следует больше стремиться к тому, чтобы о вас говорил весь мир; достаточно и того, чтобы вы сами могли говорить с собой о себе. Удалитесь в себя, но позаботьтесь сначала о том, чтобы сделать это подобающим образом; было бы безумием довериться себе, если вы не умеете собою управлять. Можно ошибаться в уединении так же, как и в обществе подобных себе. Пока вы не сделаетесь таким, перед которым не посмеете отступиться, и пока не будете внушать себе самому почтение и легкий трепет,— observentur species honestae animo *,— помните всегда о Катоне, Фокионе [32] и Аристиде, в присутствии которых даже безумцы старались скрыть свои заблуждения, и изберите их судьями всех своих помыслов; если эти последние пойдут по кривому пути, уважение к названным героям возвратит вас на правильный путь. Они поддержат вас на нем, они помогут вам довольствоваться самим собой, ничего не заимствовать ни у кого, кроме как у самого себя, сосредоточить и укрепить свою душу на определенных и строго ограниченных размышлениях, таких, где она сможет находить для себя усладу и, познав, наконец, истинные блага, наслаждение которыми усиливается по мере познания их, удовольствоваться всем этим, не желая ни продления жизни, ни увековечения своего имени. Вот совет истинной и бесхитростной философии, а не болтливой и показной, как у первых двух упомянутых мной мыслителей.



Глава XL

РАССУЖДЕНИЕ О ЦИЦЕРОНЕ

Вот еще одна черта, полезная для сравнения двух этих пар. Произведения Цицерона и Плиния (на мой взгляд очень мало походившего по складу ума на своего дядю) представляют собой бесконечный ряд свидетельств о чрезмерном честолюбии их авторов. Между прочим, всем известно, что они добивались от историков своего времени, чтобы те не забывали их в своих произведениях. Судьба же, словно в насмешку, донесла до нашего времени сведения об этих домогательствах, а самые повествования дав-

* Пусть они запечатлеют в своей душе образцы добродетели [31] (*лат.*).

ным-давно предала забвению. Но что переходит все пределы душевной низости в людях, занимавших такое положение, так это стремление приобрести высшую славу болтовней и краснобайством, доходящее до того, что для этой цели они пользовались даже своими частными письмами к друзьям, причем и в тех случаях, когда письмо своевременно не было отправлено, они все же предавали его гласности с тем достойным извинением, что не хотели, мол, даром потерять затраченный труд и часы бдения. Подобало ли двум римским консулам, верховным должностным лицам государства, повелевающего миром, употреблять свои досуги на тщательное отделыванье красивых оборотов в письме, для того чтобы прославиться хорошим знанием языка, которому их научила нянька? Разве хуже писал какой-нибудь школьный учитель, зарабатывавший себе этим на жизнь? Не думаю, чтобы Ксенофонт или Цезарь стали описывать свои деяния, если бы эти деяния не превосходили во много раз их красноречие. Они старались прославиться не словами, а делами. И если бы совершенство литературного слога могло принести крупному человеку завидную славу, наверно Сципион и Лелий не уступили бы чести создания своих комедий, блещущих красотами и тончайшими оттенками латинского языка, на котором они написаны, рабу родом из Африки[1]: красота и совершенство этих творений говорят о том, что они принадлежат им, да и сам Теренций признает это. И я возражал бы против всякой попытки разубедить меня в этом.

Насмешкой и оскорблением является стремление прославить человека за те качества, которые не подобают его положению, хотя бы они сами по себе были достойны похвалы, а также за те, которые для него не наиболее существенны, как, если бы, например, прославляли какого-нибудь государя за то, что он хороший живописец или хороший зодчий, или метко стреляет из аркебузы, или быстро бегает наперегонки. Подобные похвалы приносят честь лишь в том случае, если они присоединяются к другим, прославляющим качества, важные в государе, а именно — его справедливость и искусство управлять народом в дни мира и во время войны. Так, в этом смысле Киру приносят честь его познания в земледелии, а Карлу Великому — его красноречие и знакомство с изящной литературой. Мне приходилось встречать людей, для которых уменье владеть пером было признанием, обеспечившим им высокое положение, но которые, тем не менее, отрекались от своего искусства, нарочно портили свой слог, и щеголяли таким низменным невежеством, которое наш народ считает невозможным у людей образованных; они старались снискать уважение, избрав для себя более высокое поприще.

Сотоварищи Демосфена, вместе с ним отправленные послами к Филиппу, стали восхвалять этого царя за его красоту, красноречие и за то, что он мастер выпить. Демосфен же нашел, что такие похвалы больше подходят женщине, стряпчему и хорошей губке, но отнюдь не царю.

Imperet bellante prior, iacentem
Lenis in hostem *.

* Пусть он будет беспощаден в бою и щадит поверженного врага [2] (*лат.*).

Не его дело быть хорошим охотником или плясуном,

> Orabunt causas alii, coelique meatus
> Describent radio, et fulgentia sidera dicent;
> Hic regere imperio populos sciat *.

Более того, Плутарх говорит, что обнаруживать превосходное знание вещей, не столь уж существенных, это значит вызывать справедливые нарекания в том, что ты плохо использовал свои досуги и недостаточно изучал вещи, более нужные и полезные[4]. Филипп, царь македонский, услышав однажды на пиру своего сына, великого Александра, который пел, вызывая зависть прославленных музыкантов, сказал ему: «Не стыдно ли тебе так хорошо петь?» Тому же Филиппу некий музыкант, с которым он вступил в спор об его искусстве, заметил: «Да не допустят боги, государь, чтобы тебе когда-либо выпало несчастье смыслить во всем этом больше меня».

Царь должен иметь возможность ответить так, как Ификрат ответил оратору, который бранил его в своей речи: «А ты кто такой, чтобы так храбриться? Воин? Лучник? Копьеносец?» — «Я ни то, ни другое, ни третье, но я тот, кто умеет над ними всеми начальствовать».

И Антисфен считал доказательством ничтожности Исмения то обстоятельство, что его хвалили как отличного флейтиста[5].

Когда я слышу тех, кто толкует о языке моих «Опытов», должен сказать, я предпочел бы, чтобы они помолчали, ибо они не столько превозносят мой слог, сколько принижают мысли, и эта критика особенно досадна, потому что она косвенная. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли другие больше меня заботились именно о содержании. Худо ли, хорошо ли, но не думаю, чтобы какой-либо другой писатель дал в своих произведениях большее богатство содержания или, во всяком случае, рассыпал бы его более щедро, чем я на этих страницах. Чтобы его было еще больше, я в сущности напихал сюда одни лишь главнейшие положения, а если бы я стал их еще и развивать, мне пришлось бы во много раз увеличить объем этого тома. А сколько я разбросал здесь всяких историй, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения! Но тот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашел бы материал еще для бесконечного количества опытов. Ни эти рассказы, ни мои собственные рассуждения не служат мне только в качестве примера, авторитетной ссылки или же украшения. Я обращаюсь к ним не только потому, что они для меня полезны. В них зачастую содержатся, независимо от того, о чем я говорю, семена мыслей, более богатых и смелых[6], и, словно под сурдинку, намекают о них и мне, не желающему на этот счет распространяться, и тем, кто способен улавливать те же звуки, что и я. Возвращаясь к дару слова, я должен сказать, что не нахожу большой разницы

---

* Одни будут витийствовать в суде, другие изображать при помощи циркуля вращение небосвода и перечислять сияющие светила; а уделом римского народа пусть будет искусство властвовать над народами[3] (*лат.*).

между тем, кто умеет только неуклюже выражаться, и теми, кто ничего не умеет делать, кроме как выражаться изящно. Non est ornamentum virile concinnitas *.

Мудрецы утверждают, что для познания — философия, а для деятельности — добродетель, вот то, что пригодно для людей любого состояния и звания.

Нечто подобное обнаруживается и у знакомых нам двух философов, ибо они тоже обещают вечность тем письмам, которые писали своим друзьям [8].

Но они делают это совсем иным образом, с благой целью снисходя к тщеславию ближнего. Ибо они пишут своим друзьям, что если стремление стать известными в грядущих веках и жажда славы еще препятствуют этим друзьям покинуть дела и заставляют опасаться уединения и отшельничества, к которым они их призывают, то не следует им беспокоиться об этом: ведь они, философы, будут пользоваться у потомства достаточной известностью и потому могут отвечать за то, что одни только письма, полученные от них друзьями, сделают имена друзей более известными и более прославят их, чем они могли бы достичь этого своей общественной деятельностью. И кроме указанной разницы это отнюдь не пустые и бессодержательные письма, весь смысл которых в тонком подборе слов, объединенных и размещенных согласно определенному ритму,— они полным-полны прекрасных и мудрых рассуждений, которые учат не красноречию, а мудрости, которые поучают не хорошо говорить, а хорошо поступать. Долой красноречие, которое влечет нас само по себе, а не к стоящим за ним вещам! Впрочем, о цицероновском слоге говорят, что, достигая исключительного совершенства, он в нем и обретает свое содержание.

Добавляю еще один рассказ о Цицероне, который рисует его натуру с осязательной наглядностью. Ему предстояло публично произнести речь и не хватало времени, чтобы как следует подготовиться. Один из его рабов, по имени Эрот, пришел к нему с известием, что выступление переносится на следующий день. Он был до того обрадован, что за эту добрую весть отпустил раба на волю.

Насчет писем хочу сказать, что, по мнению моих друзей, у меня есть способность к сочинению их. И для распространения своих выдумок я охотно пользовался бы этой формой, если бы имел подходящего собеседника. Я нуждаюсь в таком общении с собеседником (некогда я его имел!), которое бы поддерживало и вдохновляло меня. Ибо бросать слова на ветер, как делают другие, я мог бы разве только во сне, а изобретать несуществующих людей для того, чтобы писать им о значительных вещах, мне тоже было бы противно, так как я заклятый враг всяких подделок. Если бы я обращался к хорошему другу, то был бы более внимателен и более уверен в себе, чем теперь, когда вижу перед собой многоликую толпу, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в этом случае писал бы удач-

* Изящество не является украшением достойного мужа [7] (*лат.*).

нее. Природа одарила меня слогом насмешливым и непринужденным, но эта свойственная мне форма изложения не годится для официальных сношений, как и вообще мой язык, слишком сжатый, беспорядочный, отрывистый. И я не отличаюсь уменьем писать церемонные послания, у которых нет другого смысла, кроме изящного нанизывания любезных слов. Нет у меня ни способности, ни склонности ко всякого рода пространным изъявлениям своего уважения и готовности к услугам. Я вовсе этого не чувствую, и мне неприятно говорить больше, чем я чувствую. В этом я очень далек от теперешней моды, ибо никогда еще не было столь отвратительного и низменного проституирования слов, выражающих почтение и уважение: «жизнь», «душа», «преданность», «обожание», «раб», «слуга» — все это до того опошлено, что, когда люди хотят высказать подлинно горячее чувство и настоящее уважение, у них уже не хватает для этого слов.

Я смертельно ненавижу все, что хоть сколько-нибудь отдает лестью, и поэтому, естественно, склонен говорить сухо, кратко и прямо, а это тем, кто меня плохо знает, кажется высокомерием. С наибольшим почтением отношусь я к тем, кому не расточаю особо почтительных выражений, и если душа моя устремляется к кому-либо с радостью, я уже не могу заставить ее выступать шагом, которого требует учтивость. Тем, кому я действительно принадлежу всей душой, я предлагаю себя скупо и с достоинством и меньше всего заявляю о своей преданности тем, кому больше всего предан. Мне кажется, что они должны читать в моем сердце и что всякое словесное выражение моих чувств только исказит их.

Я не знаю никого, чей язык был бы так туп и неискусен, как мой, когда дело касается всевозможных приветствий по случаю прибытия, прощаний, благодарностей, поздравлений, предложений услуг и других словесных выкрутасов, предписываемых церемонными правилами нашей учтивости.

И ни разу не удавалось мне написать письмо с рекомендацией кого-либо или с просьбой об одолжении кому-либо так, чтобы тот, для кого оно писалось, не находил его сухим и вялым.

Величайшие мастера составлять письма — итальянцы. У меня, если не ошибаюсь, не менее ста томов таких писем; лучшие из них, по-моему, письма Аннибале Каро [9]. Если бы вся та бумага, которую я в свое время исписал, обращаясь к женщинам, была теперь налицо, то из написанного мной в те дни, когда руку мою направляла настоящая страсть, может быть и нашлась бы страничка, достойная того, чтобы ознакомить с нею нашу праздную молодежь, обуреваемую пылом любви. Я всегда пишу свои письма торопливо и так стремительно, что, хотя у меня отвратительный почерк, я предпочитаю писать их своей рукой, а не диктовать другому, так как не могу найти человека, который бы поспевал за мной, и никогда не переписываю набело. Я приучил высоких особ, которые со мной знаются, терпеть мои кляксы и помарки на бумаге без сгибов и полей. Те письма, на которые я затрачиваю больше всего труда, как раз самые неудачные: когда письмо не далось мне сразу, значит, мне не уда-

лось вложить в него душу. Приятнее всего для меня — начинать безо всякого плана: пусть одно влечет за собой другое. В наше время в письмах больше всяких отступлений и предисловий, чем делового содержания. Так как я предпочитаю написать два письма, чем сложить и запечатать одно, то это дело я всегда возлагаю на кого-нибудь другого. Точно так же, когда все, что нужно было сказать в письме, исчерпано, я охотно поручал бы кому-нибудь другому добавлять к нему все эти длинные обращения, предложения и просьбы, которыми у нас принято уснащать конец письма, и очень желал бы, чтобы какой-нибудь новый обычай избавил нас от этого, а также от необходимости выписывать перечень всех чинов и титулов. Чтобы тут не напутать и не ошибиться, я не раз отказывался от намерения писать, особенно же к людям из судейского и финансового мира. Там постоянно возникают новые должности, царит путаница в распределении и присвоении высоких званий, а они покупаются настолько дорого, что нельзя забыть их или заменить одно другим, не нанеся обиды. Точно так же нахожу я неподходящим делом помещать посвящение с перечнем чинов и титулов на заглавных листах книг, которые мы посылаем в печать.



Глава XLI

О НЕЖЕЛАНИИ УСТУПАТЬ СВОЮ СЛАВУ

Из всех призрачных стремлений нашего мира самое обычное и распространенное — это забота о нашем добром имени и о славе. В погоне за этой призрачной тенью, этим пустым звуком, неосязаемым и бесплотным, мы жертвуем и богатством, и покоем, и жизнью, и здоровьем — благами действительными и существенными:

La fama, ch'invaghisce a un dolce suono
Gli superbi mortali, et par si bella,
È un echo, un sogno, anzi d'un sogno un'ombra
Ch'ad ogni vento ci delegua e sgombra *.

И из всех неразумных человеческих склонностей это, кажется, именно та, от которой даже философы отказываются позже всего и с наибольшей неохотой. Из всех она самая неискоренимая и упорная: quia

* Молва, которая своим сладостным голосом чарует исполненных тщеславия смертных и кажется столь пленительной,— не что иное, как эхо, как сновидение или даже тень сновидения; она расплывается и исчезает при малейшем дуновении ветра [1] (*ит.*).

etiam bene proficientes animos temptare non cessat*. Но найдешь другого предрассудка, чью суетность разум обличал бы столь ясно. Но корни его вросли в нас так крепко, что не знаю, удавалось ли кому-нибудь полностью избавиться от него. После того как вы привели все свои доводы, чтобы разоблачить его, вашим рассуждениям противостоит столь глубокое влечение к славе, что вам нелегко устоять перед ним. Ибо, как говорит Цицерон, даже восстающие против него стремятся к тому, чтобы книги, которые они на этот счет пишут, носили их имя, и хотят прославить себя тем, что презрели славу[3]. Все другое может стать общим; когда нужно, мы жертвуем для друзей и имуществом и жизнью. Но уступить свою честь, подарить другому свою славу — такого обычно не увидишь. Катул Лутаций во время войны против кимвров, исчерпав все средства, чтобы остановить своих солдат, бегущих от неприятеля, сам стал во главе беглецов и выдал себя за труса, дабы всем казалось, что они скорее следуют за своим начальником, чем спасаются от врага: так он пожертвовал своим честным именем, чтобы покрыть чужой стыд. Говорят, что когда Карл V в 1537 г. вторгся в Прованс, Антонио де Лейва[4], видя, что император твердо решил предпринять этот поход, и считая, что он может увенчаться необычайной славой, тем не менее возражал и давал императору противоположный совет, с той лишь целью, чтобы вся слава и честь этого решения были приписаны его повелителю и чтобы, по мнению всех, так велика оказалась мудрость и предусмотрительность государя, что, даже вопреки советам окружающих, он успешно завершил столь блестящее предприятие. Таким образом стремился он прославить его за свой счет. Когда фракийские послы, утешая Архилеониду, мать Брасида[5], потерявшую сына, славили его вплоть до утверждения, будто он не оставил равных себе, она отвергла эту хвалу, частную и личную, чтобы воздать ее всему народу: «Не говорите мне этого,— сказала она;— я знаю, что Спарта имеет граждан более великих и доблестных, чем он». Во время битвы при Креси[6] принцу Уэльскому, тогда еще весьма юному, пришлось командовать авангардом. Именно здесь и завязалась самая жестокая схватка. Находившиеся при нем приближенные, видя, что им приходится туго, послали королю Эдуарду просьбу оказать им помощь. Он спросил, в каком положении сейчас его сын, и, получив ответ, что тот жив и попрежнему на коне, сказал: «Я повредил бы ему, если бы отнял у него честь победы в этом сражении, в котором он так стойко держался. И хотя ему сейчас трудновато, пусть она достанется ему одному». И он не пожелал ни сам прийти сыну на помощь, ни послать кого-либо, зная, что если бы он туда отправился, стали бы говорить, что без его поддержки все погибло бы, и приписали бы ему одному успех в этом доблестном деле. Semper enim quod postremum adiectum est, id rem totam videtur traxisse**.

* Ибо он [дьявол] не перестает искушать души даже тех, кто преуспел в добродетели[2] (*лат.*).

** Ведь всегда кажется, что именно отряды, последними вступившие в бой, решили исход дела[7] (*лат.*).

В Риме многие считали и говорили повсюду, что главными победами своими Сципион был в значительной степени обязан Лелию, который, однако, всегда и всеми способами содействовал блеску величия и славы Сципиона, нисколько не помышляя о себе[8]. А царь спартанский Феопомп, когда кто-то стал говорить, что государство держится крепко потому, что он умеет хорошо повелевать, ответил: «Нет, скорее потому, что народ умеет так хорошо повиноваться».

Подобно тому, как женщины, унаследовавшие звание пэров, имели право, несмотря на свой пол, присутствовать и высказываться при разбирательстве дел, подлежащих юрисдикции пэров, так и пэры, принадлежащие к церкви, несмотря на свой духовный сан, обязаны были во время войны помогать нашим королям не только присылкой своих людей и слуг, но и личным присутствием.

Епископ города Бове, находясь при короле Филиппе-Августе во время битвы при Бувине[9], сражался весьма мужественно. Но он полагал, что ему не следует пожинать плоды и славу такого кровавого и жестокого дела. Многих врагов смирил он в тот день своей рукой, но всегда передавал их первому попавшемуся дворянину, предоставляя ему поступить с ними по своему усмотрению: умертвить или взять в плен. Таким образом передал он Уильяма, графа Солсбери, мессиру Жану де Нель. С такой же щепетильностью в делах совести, как та, о которой я только что говорил, он соглашался оглушить врага, но не ранить, и сражался только палицей. Уже в наше время некий дворянин, которого король укорил за то, что он поднял руку на священника, твердо и решительно отрицал это. А дело было в том, что он бил его и топтал ногами.



Глава XLII

О СУЩЕСТВУЮЩЕМ СРЕДИ НАС НЕРАВЕНСТВЕ[1]

Плутарх говорит в одном месте, что животное от животного не отличается так сильно, как человек от человека[2]. Он имеет в виду душевные свойства и внутренние качества человека. И поистине, от Эпаминонда, как я себе его представляю, до того или иного из известных мне людей, хотя бы и не лишенного способности здраво рассуждать, столь же, по-моему, далеко, что я выразился бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между иными людьми разница часто бо́льшая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными,—

Hem! vir viro quid praestat? *

* Насколько же один человек превосходит другого! [3] (*лат.*).

и что ступеней духовного совершенства столько же, сколько саженей отсюда до неба; им же несть числа.

Но, если уж говорить об оценке людей, то — удивительное дело — все вещи, кроме нас самих, оцениваются только по их собственным качествам. Мы хвалим коня за силу и резвость:

volucrem
Sic laudamus equum, facili cui plurima palma
Fervet, et exultat rauco victoria circo *,

а не за сбрую; борзую за быстроту бега, а не за ошейник; ловчую птицу за крылья, а не за цепочки и бубенчики. Почему таким же образом не судить нам и о человеке по тому, что ему присуще? Он ведет роскошный образ жизни, у него прекрасный дворец, он обладает таким-то влиянием, таким-то доходом; но все это — при нем, а не в нем самом. Вы не покупаете кота в мешке. Приторговывая себе коня, вы снимаете с него боевое снаряжение, осматриваете в естественном виде; если же он все-таки покрыт попоной, как это делали в старину, приводя коней на продажу царям, то она прикрывает наименее существенное для того чтобы вы не увлеклись красотой шерсти или шириной крупа, а обратили главное внимание на ноги, глаза, копыта — наиболее важное во всякой лошади:

Regibus hic mos est: ubi equos mercantur, opertos
Inspiciunt, ne, si facies, ut saepe, decora
Molli fulta pede est, emptorem inducat hiantem,
Quod pulchrae clunes, breve quod caput, ardua cervix **.

Почему же, оценивая человека, судите вы о нем, облеченном во все покровы? Он показывает нам только то, что ни в какой мере не является его сущностью, и скрывает от нас все, на основании чего только и можно судить о его достоинствах. Вы ведь хотите знать цену шпаги, а не ножен: увидев ее обнаженной, вы, может быть, не дадите за нее и медного гроша.

Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам, и, как остроумно говорит один древний автор, «знаете ли, почему он кажется вам таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков» [6]. Цоколь — еще не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и звания и предстанет перед вами в одной рубашке. Обладает ли тело его здоровьем и силой, приспособлено ли оно к свойственным ему занятиям? Какая душа у него? Прекрасна ли она, одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли

* Так восхищаемся мы быстротой коня, который часто и с легкостью берет призы, вызывая у толпы, заполняющей цирк, громкие рукоплескания [4] (*лат.*).

** У царей есть обычай: когда они покупают коней, они осматривают их покрытыми, ибо прекрасная стать опирается часто на слабые ноги, и восхищенного покупателя могут соблазнить красивый круп, небольшая голова и гордо изогнутая шея [5] (*лат.*).

принадлежит ее богатство или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю? Может ли она хладнокровно видеть блеск обнаженных мечей? Способна ли бесстрашно встретить и естественную и насильственную смерть? Достаточно ли в ней уверенности, урановешенности, удовлетворенности? Вот в чем надо дать себе отчет, и по этому надо судить о существующих между нами громадных различиях. Если человек

sapiens, sibique imperiosus
Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent,
Responsare cupidinibus, contemnere honores
Fortis, et in se ipso totus teres atque rotundus,
Externi ne quid valeat per laeve morari,
In quem manca ruit semper fortuna? *

то он на пятьсот саженей возвышается над всеми королевствами и герцогствами, в самом себе обретая целое царство.

Sapiens... pol ipse fingit fortunam sibi **.

Чего ему остается желать?

Nonne videmus
Nil aliud sibi naturam latrare, nisi ut quoi
Corpore seiunctus dolor absit, mente fruatur,
Iucundo sensu cura semotus metuque? ***

Сравните с ним толпу окружающих нас людей, тупых, низких, раболепных, непостоянных и беспрерывно мятущихся по бушующим волнам различных страстей, которые носят их из стороны в сторону, целиком зависящих от чужой воли: от них до него дальше, чем от земли до неба. И тем не менее, таково обычное наше ослепление, что мы очень мало или совсем не считаемся с этим. Когда же мы видим крестьянина и короля, дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо, богача и бедняка, нашим глазам они представляются до крайности несходными, а между тем они, попросту говоря, отличаются друг от друга только своим платьем.

Во Фракии царя отличали от его народа способом занятным, но слишком замысловатым: он имел особую религию, бога, ему одному принадлежавшего, которому подданные его не имели права поклоняться,— то был Меркурий. Он же пренебрегал их богами — Марсом, Вакхом,

---

* ...если он мудр и сам себе господин, и его не пугают ни нищета, ни смерть, ни оковы; если, твердый духом, он умеет владеть страстями и презирать почести; и если он весь как бы гладкий и круглый, так что ничто внешнее не может его сбить с толку, то властны ли над ним превратности судьбы? [7] (*лат.*).

** Мудрец воистину сам кует свое счастье [8] (*лат.*).

*** Не ясно ли всякому, что природа наша требует лишь одного — чтобы тело не ощущало страданий и чтобы мы могли наслаждаться размышлениями и приятными ощущениями, не зная страха и тревог? [9] (*лат.*).

Дианой. И все же это лишь пустая видимость, не представляющая никаких существенных различий. Они подобны актерам, изображающим на подмостках королей и императоров; но сейчас же после спектакля они снова становятся жалкими слугами или поденщиками, возвращаясь в свое изначальное состояние. Поглядите на императора, чье великолепие ослепляет вас во время парадных выходов:

Scilicet et grandes viridi cum luce smaragdi
Auro includuntur, teriturque Thalassina vestis
Assidue, et Veneris sudorem exercita potat *.

А теперь посмотрите на него за опущенным занавесом: это обыкновеннейший человек и, может статься, даже более ничтожный, чем самый жалкий из его подданных: Ille beatus introrsum est. Istius bracteata felicitas est **. Трусость, нерешительность, честолюбие, досада и зависть волнуют его, как всякого другого:

Non enim gazae neque consularis
Summovet lictor miseros tumultus
Mentis et curas laqueata circum
Tecta volantes ***;

тревога и страх хватают его за горло, когда он находится среди своих войск.

Re veraque metus hominum, curaeque sequaces,
Nec metuunt sonitus armorum, nec fera tela;
Audacterque inter reges, rerumque potentes
Versantur, neque fulgorem reverentur ab auro ****.

А разве лихорадка, головная боль, подагра щадят его больше, чем нас? Когда плечи его согнет старость, избавят ли его от этой ноши телохранители? Когда страх смерти оледенит его, успокоится ли он от присутствия вельмож своего двора? Когда им овладеет ревность или внезапная причуда, приведут ли его в себя низкие поклоны? Полог над его ложем, который весь топорщится от золотого и жемчужного шитья, не способен помочь ему справиться с приступами желудочных болей.

---

* Потому что он носит оправленные в золото и сияющие зеленым блеском огромные изумруды, и постоянно облачен в одеяние цвета моря, пропитанное потом любовных утех [10] (*лат.*).

** Такой человек [мудрец] счастлив поистине; счастье же этого — только наружное [11] (*лат.*).

*** Ибо ни сокровища, ни высокий сан консула не отгонят злых душевных тревог и печалей, витающих под золочеными украшениями потолка [12] (*лат.*).

**** И действительно, людские страхи и назойливые заботы не боятся ни бряцанья оружия, ни смертоносных дротиков и они дерзко витают между царей и великих мира сего, не страшась блеска, исходящего от их золота [13] (*лат.*).

Nec calidae citius decedunt corpore febres,
Textilibus si in picturis ostroque rubenti
Iacteris, quam si plebeia in veste cubandum est *.

Льстецы Александра Великого убеждали его в том, что он сын Юпитера. Однажды, будучи ранен, он посмотрел на кровь, текущую из его раны, и заметил: «Ну, что вы теперь скажете? Разве это не красная, самая, что ни на есть человеческая кровь? Что-то не похожа она на ту, которая у Гомера вытекает из ран, нанесенных богам». Поэт Гермодор сочинил стихи в честь Антигона, в которых называл его сыном Солнца. Но Антигон возразил: «Тот, кто выносит мое судно, отлично знает, что это неправда»[15]. Царь — всего-навсего человек. И если он плох от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше:

puellae
Hunc rapiant: quicquid calcaverit hic, rosa fiat **.

Что толку от всего этого, если как человек он душевно ничтожен и груб? Для наслаждения и счастья необходимы и душевные силы и разум:

haec perinde sunt, ut lilius animus qui ea possidet,
Qui uti scit, ei bona: illi qui non utitur recte, mala ***.

Каковы бы ни были блага, дарованные вам судьбой, надо еще обладать способностью ощущать их прелесть. Не владение чем-либо, а наслаждение делает нас счастливыми:

Non domus et fundus, non aeris acervus et auri
Aegroto domini deduxit corpore febres,
Non animo curas: valeat possessor oportet,
Qui comportatis rebus bene cogitat uti.
Qui cupit aut metuit, iuvat illum sic domus aut res,
Ut lippum pictae tabulae, fomenta podagram ****.

Кто глуп, чьи вкусы грубы и притуплены, тот способен наслаждаться ими не более, чем утративший обоняние и вкус — сладостью греческих вин или лошадь — роскошью сбруи, которой ее украсили. Верно говорит

* И лихорадка не скорее отстает от тебя, если ты мечешься на пурпурной или вытканной рисунками ткани, чем если бы ты лежал на обыкновенном ложе[14] (*лат.*).

** Пусть девы отнимают его одна у другой, и пусть везде, где бы он ни ступил, распускаются розы[16] (*лат.*).

*** ...все вещи таковы, каков дух того, кто ими владеет; для того, кто умеет ими пользоваться, они хороши; а для того, кто пользуется ими неправильно, они плохи[17] (*лат.*).

**** Ни дом, ни поместье, ни груды бронзы и золота не изгонят из больного тела их владельца горячку, и из духа его — печали; если обладатель всей этой груды вещей хочет хорошо ими пользоваться, ему нужно быть здоровым. Кто же жадничает или боится, тому его дом и богатства принесут столько же пользы, сколько картины тому, у кого гноятся глаза, или припарки — страдающему подагрой[18] (*лат.*).

Платон, утверждая, что здоровье, красота, сила, богатство и все, что называется благом, для неразумного столь же плохо, как для разумного хорошо, и наоборот [19]. К тому же, если тело и душа недужны, к чему все эти внешние удобства жизни? Ведь малейшего укола булавки, малейшего душевного волнения достаточно для того, чтобы отнять у человека всякую радость обладания всемирной властью. При первом же приступе подагрических болей, каким бы он там ни был государем или величеством,

Totus et argento conflatus, totus et auro *,—

разве не забывает он о своих дворцах и о своем величии? А если он в ярости, то разве его царское достоинство поможет ему не краснеть, не бледнеть и не скрипеть зубами, как безумцу? Если же это человек благородный и обладающий разумом, царский престол едва ли добавит что-нибудь к его счастью.

Si ventri bene, si lateri est pedibusque tuis, nil
Divitiae poterunt regales addere maius **.

Он видит, что это только обманчивая личина. Быть может, он даже согласится с мнением царя Селевка, что «тот, кто знает, как тяжел царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы нашел его валяющимся на земле» [22]; он говорил так из-за великого и тягостного бремени, выпадающего на долю хорошего царя. И действительно, управлять другими не легкое дело, когда и самим собою управлять нам достаточно трудно. Что же касается возможности повелевать, которая представляется столь сладостной, то, принимая во внимание жалкую слабость человеческого разумения и трудность выбора между вещами новыми и сомнительными, я придерживаюсь того мнения, что легче и приятнее следовать за кем-либо, чем предводительствовать, и что великое облегчение для души — придерживаться уже предписанного пути и отвечать лишь за себя:

Ut satius multo iam sit parere quietum,
Quam regere imperio res velle ***.

К тому же Кир говорил, что повелевать может только такой человек, который лучше тех, кем он повелевает. Но царь Гиерон у Ксенофонта утверждает, что даже в наслаждениях своих цари находятся в худшем положении, чем простые люди: ибо, с удобством и легкостью предаваясь удовольствиям, они не находят в них той сладостно-терпкой остроты, которую ощущаем мы [24].

Pinguis amor nimiumque potens in taedia nobis
Vertitur, et stomacho dulcis ut esca nocet ****.

* Весь обряженный в серебро, обряженный в золото [20] (*лат.*).
** Если у тебя все в порядке с желудком, грудью, ногами, никакие царские сокровища не смогут ничего прибавить [к твоему благоденствию] [21] (*лат.*).
*** Таким образом, лучше спокойно подчиняться, чем желать властвовать самому [23] (*лат.*).
**** Слишком горячая и пылкая любовь нагоняет на нас, в конце концов, скуку и вредна точно так же, как слишком вкусная пища вредна для желудка [25] (*лат.*).

Разве детям, поющим в церковном хоре, музыка доставляет большое удовольствие? Пресыщенность ею вызывает у них скорее скуку. Празднества, танцы, маскарады, турниры радуют тех, кто не часто бывает на них и кого туда влечет. Но человеку, привычному к ним, они кажутся нелюбопытными и пресными. И общество дам не возбуждает того, кто может наслаждаться им до пресыщения; кому не приходится испытывать жажды, тот не станет пить с удовольствием. Выходки фигляров веселят нас, а для них они — тяжелая работа. Так и получается, что для высоких особ — праздник, наслаждение, если иногда они, переодевшись, могут предаться на некоторое время простонародному и грубому образу жизни:

Plerumque gratae principibus vices,
Mundaeque parvo sub lare pauperum
Cenae, sine aulaeis et ostro,
Sollicitam explicuere frontem *.

Ничто так не раздражает и не вызывает такого пресыщения, как изобилие. Какой сладострастник не почувствует отвращения, если во власти его окажутся триста женщин, как у султана в его серале? И какое влечение, какой вкус к охоте мог быть у того из его предков, который выезжал в поле, сопровождаемый не менее чем семью тысячами сокольничих? Помимо этого я полагаю, что самый блеск величия привносит немалые неудобства в наслаждении наиболее сладостными удовольствиями: владыки мира слишком освещены отовсюду, слишком на виду. И я не понимаю, как можно обвинять их больше, чем других людей, за старания скрыть или утаить свои прегрешения. Ибо то, что для нас только слабость, у них, по мнению народа, есть проявление тирании, презрение и пренебрежение к законам: кажется, что, кроме удовлетворения своих порочных склонностей, они еще тешатся тем, что оскорбляют и попирают ногами общественные установления. Действительно, Платон в «Горгии» [27] определяет тирана как того, кто имеет возможность в государстве делать все, что ему угодно. И часто по этой причине открытое выставление напоказ их пороков оскорбляет больше, чем самый порок. Никому не нравится, чтобы за ним следили и проверяли его поступки. С них не спускают глаз, отмечая их манеру держаться и стараясь проникнуть даже в их мысли, ибо весь народ считает, что судить об этом — его право и его законный интерес. Я уже не говорю о том, что пятна кажутся больше на поверхности выдающейся и ярко освещенной, и что царапина или бородавка на лбу сильнее бросается в глаза, чем шрам в месте не столь заметном.

Вот почему поэты изображают, будто Юпитер в своих любовных похождениях принимал различные обличия; и из всех любовных историй, которые ему приписываются, есть, мне кажется, только одна, где он выступает во всем своем царственном величии.

---

* Люба изысканность великим мира сего; меж тем нередко разглаживала морщины на их челе простая еда в скромном жилище бедняков, без ковров и без пурпура [26] (*лат.*).

Но вернемся к Гиерону. Он также свидетельствует и о том, какие неудобства приходится испытывать от царской власти, не позволяющей ему свободно путешествовать и вынуждающей его, подобно пленнику, оставаться в пределах своей страны, и о том, что во всех своих действиях он подвергается самым досадным стеснениям. И по правде сказать, видя, как наши короли сидят совсем одни за столом, а кругом толпится столько посторонних, которые глазеют на них и судачат, я часто испытываю больше жалости, чем зависти.

Король Альфонс [28] говорил, что в этом отношении даже ослы находятся в лучшем положении, чем властители: хозяева дают им пастись на свободе, где им угодно, чего короли никак не могут добиться от своих слуг.

Я же никогда не воображал, что разумному человеку может показаться каким-либо особым удобством иметь двадцать надсмотрщиков за своим стульчаком, и не считал, что услуги человека, имеющего десять тысяч ливров дохода, либо взявшего Казале или отстоявшего Сиену [29], для него более удобны и приемлемы, чем услуги хорошего опытного лакея.

Преимущества царского сана — в значительной степени мнимые: на любой ступени богатства и власти можно ощущать себя царем. Цезарь называл царьками всех владетельных лиц, которые в его время пользовались во Франции правом суда и расправы. В самом деле, за исключением титула «величество» положение любого сеньора, в сущности, мало уступает королевскому. А посмотрите, в провинциях, отдаленных от двора — назовем, к примеру, Бретань,— как живет там, уединившись в своем поместье, сеньор, окруженный слугами, посмотрите на его свиту, его подчиненных, на то, каким церемониалом он окружен, и посмотрите, куда заносит его полет воображения,— нет ничего более царственного: он слышит о своем короле и повелителе едва ли раз в год, словно о персидском царе, и признает лишь свое старинное родство с ним, которое удостоверено в бумагах, хранящихся у секретаря. По правде сказать, законы наши достаточно свободны, и верховная власть дает себя чувствовать французскому дворянину, может быть, раза два за всю его жизнь. Из нас всех подчиненное положение ощущают по-настоящему, в действительности, только те, кто сам на это идет, желая своей службой достичь почестей и богатств. Ибо тот, кто хочет тихо сидеть у себя дома и умеет вести свое хозяйство без ссор и судебных тяжб, так же свободен, как венецианский дож. Paucos servitus, plures servitutem tenent *.

Сверх того, Гиерон особо подчеркивает, что царское достоинство совершенно лишает государя дружеских связей и живого общения с людьми, а ведь именно в этом величайшая радость человеческой жизни. Ибо как я могу рассчитывать на выражение искренней приязни и доброй воли от того, кто — хочет он этого или нет — во всем от меня зависит? Могу ли я доверять его смиренным речам и учтивым приветствиям, раз он

* Рабство связывает немногих, в большинстве люди сами держатся за рабскую долю [30] (*лат.*).

вообще не имеет возможности вести себя иначе? Почести, воздаваемые нам теми, кто нас боится, не почести: уважение в данном случае воздается не мне, а царскому сану:

> maximum hoc regni bonum est,
> Quod facta domini cogitur populus sui
> Quam ferre tam laudare *.

Разве мы не видим, что и доброму и злому владыке, и тому, кого ненавидят, и тому, кого любят, воздается одно и то же? С такими же высшими знаками почтения, с тем же церемониалом служили моему предшественнику и будут служить моему преемнику. Если подданные не оскорбляют меня, это не является выражением их привязанности: какое право имел бы я думать, что это привязанность, когда они не могут быть иными, даже если бы захотели? Никто не следует за мной в силу дружеского чувства, возникшего между нами; ибо не может завязаться дружба там, где так мало взаимных связей и соответствия в положении. Высота, на которой я пребываю, поставила меня вне общения с людьми. Они следуют за мной по обычаю или по привычке, или, точнее, не за мной, а за моим счастьем, чтобы приумножить свое. Все, что они мне говорят и для меня делают,— только прикрасы, ибо их свобода со всех сторон ограничена моей великой властью над ними. Все, что я вижу вокруг себя, прикрыто личинами.

Однажды придворные восхваляли императора Юлиана за справедливость. «Я охотно гордился бы,— сказал он,— этими похвалами, если бы они исходили от лиц, которые осмелились бы осудить или подвергнуть порицанию противоположные действия, буде я их совершил бы».

Все подлинные блага, которыми пользуются государи, общи у них с людьми среднего состояния: только богам дано ездить верхом на крылатых конях и питаться амброзией. Сон и аппетит у них такой же, как у нас; их сталь не лучшего закала, чем та, которой вооружаемся мы; венец не предохраняет их от солнца и дождя. Диоклетиан, царствовавший так счастливо и столь почитавшийся всеми, в конце концов отказался от власти и предпочел радости частной жизни; когда же через некоторое время обстоятельства стали требовать, чтобы он вернулся к государственным делам, он отвечал тем, кто просил его об этом: «Вы бы не решились уговаривать меня, если бы видели прекрасные ряды деревьев, которые я сам посадил у себя в саду, и чудесные дыни, которые я вырастил».

По мнению Анахарсиса, лучшим управлением было бы такое, в котором, при всеобщем равенстве во всем прочем, первые места были бы обеспечены добродетели, а последние — пороку [32].

Когда царь Пирр намеревался двинуться на Италию, Кинеад, его мудрый советчик, спросил, желая дать ему почувствовать всю суетность

---

* Наибольшее преимущество обладания царской властью — это то, что народам приходится не только терпеть, но и прославлять любые поступки своих властителей [31] (*лат.*).

его тщеславия: «Ради чего, государь, затеял ты это великое предприятие?» — «Чтобы завоевать Италию»,— сразу же ответил царь.— «А потом,— продолжал Кинеад,— когда это будет достигнуто?» — «Я двинусь,— сказал тот,— в Галлию и в Испанию».—«Ну, а потом?» — «Я покорю Африку, и наконец, подчинив себе весь мир, буду отдыхать и жить в свое полное удовольствие».— «Клянусь богами, государь,— продолжал Кинеад,— что же мешает тебе и сейчас, если ты хочешь, наслаждаться всем этим? Почему бы тебе сразу не поселиться там, куда ты, по твоим увереньям, стремишься, и не избежать всех тяжелых трудов и всех случайностей, стоящих на пути к твоей цели?» [33]

Nimirum, quia non bene norat quae esset habendi
Finis, et omnino quoad crescat vera voluptas *.

Закончу это рассуждение кратким изречением одного древнего автора, поразительно, на мой взгляд, подходящим для данного случая: Mores cuique sui fingunt fortunam **.



Глава XLIII

О ЗАКОНАХ ПРОТИВ РОСКОШИ

Тот способ, которым законы наши стараются ограничить безумные и суетные траты на стол и одежду, на мой взгляд, ведет к совершенно противоположной цели. Правильнее было бы внушить людям презрение к золоту и шелкам, как вещам суетным и бесполезным. Мы же вместо этого увеличиваем их ценность и заманчивость, а это самый нелепый способ вызвать к ним отвращение. Ибо объявить, что только особы царской крови могут есть палтуса или носить бархат и золотую тесьму, и запретить это простым людям, разве не означает повысить ценность этих вещей и вызвать в каждом желание пользоваться ими? Пусть короли смело откажутся от таких знаков величия — у них довольно других; подобные же излишества извинительны кому другому, только не государю. Взяв пример с других народов, мы можем научиться гораздо лучшим способом внешне отличать людей по рангу (что, по-моему, в государстве действительно необходимо), не насаждая столь явной испорченности и изнеженности нравов. Удивительно, как в этих, по существу безразличных, вещах легко и быстро сказывается власть привычки. И года не прошло с тех пор, как мы, следуя примеру двора, стали носить сукно в знак траура по ко-

* И не удивительно, ибо он не знал точно, где следует остановиться, и не знал совершенно, доколе может возрастать наслаждение [34] (*лат.*).
** Наша судьба зависит от наших нравов [35] (*лат.*).

роле Генрихе II[1], а шелка настолько упали во всеобщем мнении, что, встречая кого-либо в шелковой одежде, вы тотчас же решали, что это не дворянин, а горожанин. Шелковые ткани достались в удел врачам и хирургам. И хотя все были одеты более или менее одинаково, оставалось достаточно внешних различий в положении людей.

Как быстро в наших войсках входят в честь засаленные куртки из замши и холста, а чистая и богатая одежда вызывает упреки и презрение!

Пусть короли прекратят это мотовство, и все будет сделано в один месяц, без постановлений и указов: мы сразу же последуем за ними.

Наоборот, закон должен был бы объявлять, что красный цвет и ювелирные украшения запрещены людям всех состояний, за исключением комедиантов и куртизанок. Такими законами Залевк[2] исправил развращенные нравы локрийцев. Его указы были таковы: «Женщине свободного состояния запрещается выходить в сопровождении более чем одной служанки, разве что она пьяная. Запрещается ей также выходить из города по ночам, носить золотые драгоценности на своей особе и украшенные вышивкой одежды, если она не девка и не блудница. Ни одному мужчине, кроме распутников, не разрешается носить на пальцах золотые перстни и одеваться в тонкие одежды, как, например, сшитые из шерсти, вытканной в городе Милете». Благодаря таким постыдным исключениям он искусным образом отвратил граждан от излишеств и гибельной изнеженности.

Это было очень разумное средство — привлечь людей к выполнению долга и повиновению, соблазняя их почетом и удовлетворением честолюбивых стремлений. Короли наши всемогущи в области таких внешних преобразований. Quidquid principes faciunt, praecipere videntur *. Вся Франция принимает за правило то, что является правилом при дворе. Пусть они откажутся от этих безобразных панталон, которые выставляют напоказ наши обычно скрываемые части тела; от камзолов на толстой подкладке, придающих нам вид, какого на самом деле мы не имеем, и очень неудобных для ношения оружия: от длинных, как у женщин, кудрей; от обычая целовать предметы, которые мы передаем своим друзьям, или наши пальцы, перед тем как сделать приветственный жест,— в старину эта церемония была в ходу лишь в отношении принцев; от требования, чтобы дворянин находился в местах, в которых ему подобает держать себя достойно, без шпаги на боку, неряшливый, в расстегнутом камзоле, словно он только что вышел из нужника; от того, чтобы, вопреки обычаю наших отцов и особым вольностям дворян нашего королевства, мы снимали головные уборы, даже стоя очень далеко от королевской особы, где бы она ни находилась, и даже не только в ее окружении, но и вблизи сотен других, ибо сейчас у нас развелось множество королей на одну треть или даже на одну четверть. Так обстоит и с другими подобными

---

* Что бы ни делали государи, кажется, будто они это предписывают и всем остальным [3] (*лат.*).

вредными нововведениями: они сразу потеряли бы всякую привлекательность и исчезли бы. Все это заблуждения поверхностные, но не предвещающие ничего доброго; ведь хорошо известно, что самая основа стен подвергается порче, когда начинают трескаться краска и штукатурка.

Платон в своих «Законах» считает, что нет более гибельной для государства чумы, чем предоставление молодым людям свободы постоянно переходить — и в манере одеваться, и в жестах, и в танцах, и в гимнастических упражнениях, и в песнях — от одной формы к другой, колебаться в своих мнениях то в одну сторону, то в другую, стремиться ко всяческим новшествам и почитать их изобретателей; ибо таким путем происходит порча нравов, и все древние установления начинают презираться и забываться[4]. Во всем, что не является явно плохим, перемен следует опасаться: это относится и к временам года, и к ветрам, и к пище, и к настроениям. И только те законы заслуживают истинного почитания, которым бог обеспечил существование настолько длительное, что никто уже того не знает, когда они возникли и были ли до них какие-либо другие.

Глава XLIV

О СНЕ

Разум повелевает нам идти все одним и тем же путем, но не всегда с одинаковой быстротой; и хотя мудрый человек не должен позволять страстям своим отклонять его от правого пути, он может, не поступаясь долгом, разрешить им то убыстрять, то умерять его шаг, и ему не подобает стоять на месте, словно он колосс, неподвижный и бесстрастный. Даже у добродетельнейшего из людей, я полагаю, пульс бьется сильнее, когда он идет на приступ, чем когда направляется к обеденному столу; необходимо даже, чтобы он иногда погорячился и разволновался. По этому поводу я заметил как явление редкое, что иногда великие люди в своих самых возвышенных предприятиях и важнейших делах так хорошо сохраняют хладнокровие, что даже не укорачивают времени, предназначенного для сна.

Александр Великий в день, когда назначена была решающая битва с Дарием, спал таким глубоким сном и так долго, что Пармениону пришлось зайти в его опочивальню и, подойдя к ложу, два или три раза окликнуть царя, чтобы разбудить его, ибо уже наступило время начинать битву.

Император Отон[1], задумавший покончить жизнь самоубийством, в ту самую ночь, когда он решил умереть, приведя в порядок свои до-

машние дела, разделив свои деньги между слугами, наточив лезвие меча и ожидая только известий о том, что все его сторонники успели укрыться в безопасных местах, погрузился в такой глубокий сон, что его приближенные слуги слышали, как он храпит.

Смерть этого императора имеет много общего со смертью великого Катона даже в подробностях: ибо Катон, собиравшийся покончить с собой и ожидавший сообщения, что сенаторы, которым он хотел обеспечить спасение, уже отплыли из гавани Утики, так крепко заснул, что из соседней комнаты было слышно его дыхание. И когда тот, кого он послал в гавань, разбудил его, чтобы сообщить, что сенаторы не могут выйти в открытое море из-за поднявшегося сильного ветра, он отправил в гавань другого, а сам, снова улегшись в постель, опять начал дремать, пока посланец не известил его об отъезде сенаторов.

Мы имеем право сравнить того же Катона с Александром, когда в дни заговора Катилины над Катоном нависла великая и грозная опасность вследствие мятежа, поднятого трибуном Метеллом, который хотел обнародовать постановление о возвращении Помпея с его войсками. Так как один лишь Катон возражал против этого, у него с Метеллом в сенате дело дошло до резких слов и грубых угроз. Но окончательное решение надлежало принять лишь на другой день на площади, куда Метелл, и без того сильный поддержкой народа и Цезаря, тогда бывшего с ним в заговоре в пользу Помпея, должен был явиться в сопровождении большого количества рабов-чужеземцев и отчаянных рубак, Катон же — вооруженный только своей непреклонной твердостью. Поэтому его близкие, члены семьи и многие достойные люди находились в большой тревоге; среди них были такие, которые провели ночь вместе с ним, не желая ни спать, ни пить, ни есть из-за опасности, которой ему предстояло подвергнуться. Даже его жена и сестры только плакали да тревожились в его доме. Он же, наоборот, всех успокаивал и, отужинав как обычно, отправился спать и проспал глубоким сном до утра, пока один из его товарищей по трибунату не разбудил его, чтобы идти на предстоявшую схватку. То, что мы знаем о величии и мужестве этого человека по его дальнейшей жизни, позволяет нам с уверенностью сказать, что все это исходило из души, так высоко вознесенной над подобными происшествиями, что он и не удостаивал мыслить о них иначе, как о чем-то самом обыкновенном.

Во время морского сражения у берегов Сицилии, в котором Август одержал победу над Секстом Помпеем [2], он в тот самый момент, когда надо было отправляться на битву, оказался погруженным в такой глубокий сон, что его друзьям пришлось разбудить его, чтобы он дал сигнал к началу сражения; это позволило Марку Антонию упрекнуть его впоследствии, будто у него не хватило храбрости своими глазами взглянуть на расположение войск и будто он не смел предстать перед солдатами, пока Агриппа не пришел к нему объявить о победе, одержанной над неприятелем. Но что касается Младшего Мария [3], то с ним вышло и того хуже, ибо в день своей последней битвы с Суллой, расставив войска и отдав приказ начать сражение, он прилег в тени дерева отдохнуть и так

крепко заснул, что не без труда проснулся, когда его побежденные войска обратились в бегство, и даже не видел самой битвы; это случилось, говорят, потому, что он изнемог от трудов и вынужденной бессонницы, и природа в конце концов взяла свое. Тут врачи должны решить, так ли необходим сон, что от него может зависеть наша жизнь: ибо мы знаем, например, что царя македонского Персея[4] в римском плену довели до смерти, не давая ему спать; впрочем, Плиний приводит в качестве примера других, долго живших без сна.

Геродот упоминает о племенах, где люди полгода спят и полгода бодрствуют[5].

А те, кто описал жизнь мудреца Эпименида, утверждают, что он проспал, ни разу не пробудившись, пятьдесят семь лет[6].



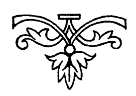
Глава XLV

О БИТВЕ ПРИ ДРЁ

В битве при Дрё[1] было много замечательных случаев. Но те, кому не по душе слава господина де Гиза[2], усиленно подчеркивают, что нет никакого извинения его задержке с подчиненными ему частями и проявленной им медлительности в то время, когда с помощью артиллерии был прорван фронт господина коннетабля, командующего армией; они также утверждают, что лучше было положиться на случай и ударить неприятелю во фланг, чем, дожидаясь благоприятного момента, когда он подставит под удар свой тыл, терпеть столь тяжкие потери. Но, помимо даже того, что показал исход сражения, всякий рассуждающий беспристрастно признает, по-моему, что целью и стремлением не только военачальника, но и каждого солдата должна быть окончательная победа и что любые частные и случайные успехи, какую бы выгоду они для них ни представляли, не могут отвлекать их от этой заботы. Филопемен в одном из своих столкновений с Маханидом[3] выслал вперед для нападения сильный отряд, вооруженный луками и дротиками; враги отбросили его, увлеклись стремительным преследованием и помчались вдоль всего фронта войск, где находился Филопемен. Хотя солдаты его были чрезвычайно возбуждены, он решил не двигаться с места и не нападать на неприятеля, чтобы помочь своим людям; так позволил он отогнать их и уничтожить у себя на глазах, а затем напал на врага, обрушившись на пехоту, как только увидел, что конница оставила ее без прикрытия; и, поскольку ему удалось захватить врагов в то время, когда они, уверенные, что битва ими уже выиграна, расстроили свои ряды, он, хотя они и были лакедемоняне,

быстро справился с ними и затем бросился преследовать Маханида. Этот случай во всем сходен с делом господина де Гиза.

В жестокой битве между Агесилаем и беотийцами, которую участвовавший в ней Ксенофонт считает самой тяжелой из всех виденных им когда-либо, Агесилай пренебрег возможностью, которую давало ему военное счастье,— пропустить мимо себя беотийские войска и ударить по их тылам, полагая, что сделать так — означало бы проявить больше искусства, чем доблести; чтобы показать свое геройство, он предпочел с изумительным пылом храбрости атаковать их в лоб, но, разбитый и раненный в сражении, был вынужден отступить и принять решение, от которого сперва отказался,— расступиться и пропустить весь этот поток беотийцев между своими частями; затем, после их прохода, убедившись, что они двигаются без всякого порядка, словно им уже ничто не грозит, он отдает приказ начать преследование и напасть на них с флангов. Но все же ему не удалось обратить их в беспорядочное бегство; и они отступали медленно, все время огрызаясь, до тех пор, пока не оказались в безопасности.



Глава XLVI

ОБ ИМЕНАХ

Сколько бы ни было различных трав, все их можно обозначить одним словом: «салат». Так и здесь, под видом рассуждения об именах, я устрою мешанину из всякой всячины.

У каждого народа есть некоторые имена, которые, уж не знаю почему, не в чести: у нас это — Жан, Гильом, Бенуа.

Далее, в родословных государей есть имена, роковым образом встречающиеся постоянно: таковы Птолемеи в Египте, Генрихи в Англии, Карлы во Франции, Балдуины во Фландрии, а в нашей Аквитании в старину — Гильомы, откуда даже, как уверяют, произошло название Гиень: словопроизводство такого рода следовало бы признать очень натянутым, если бы даже у Платона не встречались столь же грубые его образчики [1].

Для примера можно привести также случай пустяковый, но все же достойный быть отмеченным и описанный очевидцем: Генрих, герцог Нормандский, сын Генриха II, короля Англии, давал однажды во Франции пир, на котором присутствовало столько знати, что забавы ради она разделилась на отряды по признаку общности имен: и в первом отряде — отряде Гильомов — оказалось сто десять рыцарей этого имени, сидящих за столом, не считая простых дворян и слуг.

Рассадить гостей за столами по именам было столь же забавной выдумкой, как со стороны императора Геты[2] установить порядок подаваемых на пиру блюд по первым буквам названий: так, например, слуги подавали подряд блюда, начинающиеся на «б»: баранину, буженину, бекасов, белугу и тому подобное.

Далее, существует выражение: хорошо иметь доброе имя, то есть пользоваться доверием и хорошей славой. Но ведь, кроме того, приятно обладать и красивым именем, легко произносимым и запоминающимся. Ибо королям и вельможам тогда проще запоминать нас и труднее забывать. И мы сами чаще отдаем распоряжения и даем поручения тем из наших слуг, чьи имена легче всего слетают с нашего языка.

Я сам наблюдал, как король Генрих II не мог правильно произнести фамилию некоего гасконского дворянина, и он же сам решил именовать одну из фрейлин королевы по названию местности, откуда она была родом, так как название ее родового поместья представлялось ему слишком трудным.

И Сократ также считал выбор красивого имени ребенку достойной заботой отца.

Далее, относительно постройки церкви Богоматери в Пуатье рассказывают, что некий развратный юноша, первоначально живший на том месте, приведя к себе однажды девку, спросил ее имя, а оно оказалось — Мария; тогда он внезапно проникся таким религиозным трепетом и уважением к пресвятому имени Девы, матери нашего Спасителя, что не только тотчас же прогнал блудницу, но каялся в своем грехе всю остальную жизнь. И в ознаменование этого чуда на месте, где находился дом юноши, построили часовню Богоматери, а впоследствии и стоящую сейчас церковь. Здесь благочестивое исправление произошло через слово и звук, проникшие прямо в душу. А вот другой случай, в том же роде, когда воздействие на телесные вожделения оказали музыкальные звуки. Находясь однажды в обществе молодых людей, Пифагор почувствовал, что они, разгоряченные пиршеством, сговариваются пойти и учинить насилие в одном доме, где процветало целомудрие. Тогда Пифагор приказал флейтистке настроиться на другой лад и звуками музыки мерной, строгой, выдержанной в спондейном ритме, понемногу заворожил их пыл и убаюкал его.

Далее, не скажет ли потомство о реформах, современниками которых мы являемся, что они показали свою проникновенность и правоту не только тем, что боролись с пороками и заблуждениями, наполнив весь свет благочестием, смирением, послушанием, миром и всякого рода добродетелями, но дошли и до того, что восстали против старых имен, которые нам давались при крещении,— Шарля, Луи, Франсуа, чтобы населить мир Мафусаилами, Иезекиилями, Малахиями, гораздо сильнее отдающими верой? Некий дворянин, мой сосед, который обычаи прошлого предпочитал нынешним, не забывал сослаться при этом и на великолепные, горделивые дворянские имена былых времен — дон Грюмедан, Кедраган, Агези-

лан — утверждая, что даже по звучанию их чувствуется, что люди те были иного полета, чем какие-нибудь Пьер, Гильом и Мишель.

Далее, я весьма признателен Жаку Амио за то, что, произнося однажды на французском языке проповедь, он оставил все латинские имена в неприкосновенности, а не коверкал их и не изменял так, чтобы они звучали на французский лад. Сначала это немного резало слух, но затем, благодаря успеху его перевода «Жизнеописаний» Плутарха, вошло во всеобщее употребление и перестало представляться нам странным. Я часто высказывал пожелание, чтобы люди, пишущие исторические труды по-латыни, оставляли наши имена такими, какими мы знаем их, ибо когда Водемон превращается в Валлемонтануса [3] и вообще все переиначивается на греческий или латинский лад, мы перестаем уже разбираться в чем-либо и что-либо понимать.

В заключение скажу, что обыкновение именовать каждого по названию его поместья или лена — очень дурной обычай, приводящий у нас во Франции к самым плохим последствиям: ничто на свете не способствует в такой мере генеалогической путанице и недоразумениям. Младший отпрыск благородного рода, получив во владение землю, а вместе с нею и имя, под которым он приобрел известность и почет, не может отказаться от него без ущерба для своей чести; через десять лет после его смерти земля переходит к совершенно постороннему человеку, который поступает точно так же; вы сами можете сообразить, легко ли будет разобраться в их родословной. Незачем далеко ходить за примерами — вспомним о нашем королевском семействе, где сколько ветвей, столько и фамильных прозвищ, а корни фамильного древа теряются в неизвестности.

И все эти изменения происходят так свободно, что в наше время я не видел ни одного человека, достигшего прихотью судьбы исключительно высокого положения, который не обретал бы немедленно новых родовых званий, его отцу не известных и взятых из какой-либо знаменитой родословной; и легко понять, что незнатные фамилии особенно охотно идут на подобную подделку. Сколько у нас во Франции дворян, заявляющих права на происхождение от королевского рода! Я полагаю — больше, чем тех, которые на это не притязают. Один из моих друзей рассказал мне такой весьма забавный случай. Однажды собрались вместе несколько дворян, и они принялись обсуждать спор, возникший между двумя сеньорами. Один из этих сеньоров, благодаря своим титулам и брачным связям, имел известные преимущества перед простыми дворянами. Из-за этого его преимущества каждый, пытаясь сравняться с ним, приписывал себе — кто то, кто иное происхождение, ссылаясь либо на сходство своего фамильного имени с каким-либо другим, либо на сходство гербов, либо на старую грамоту, сохранявшуюся у него в доме; и самый ничтожный из этих дворян оказывался потомком какого-нибудь заморского государя. Так как этот спор происходил за обедом, тот, кто рассказал мне о нем, вместо того, чтобы занять свое место, попятился назад с нижайшими поклонами, умоляя собравшихся извинить его за то, что он до сих пор имел смелость пребывать среди них, как равный; теперь же, узнав об их высо-

ком происхождении, он будет чтить их, согласно их рангам, и ему не подобает сидеть в присутствии стольких принцев. После этой шутовской выходки он крепко отругал их: «Будьте довольны, клянусь богом, тем, чем довольствовались наши отцы, и тем, чем мы в действительности являемся; мы и так достаточно много собой представляем — только бы нам уметь хорошо поддерживать честь своего имени; не будем же отрекаться от доли и от судеб наших предков и отбросим эти дурацкие выдумки, только вредящие тем, кто имеет бесстыдство на них ссылаться».

Гербы не более надежны, чем фамильные прозвища. У меня, например, лазурное поле, усеянное золотыми трилистниками, и золотая львиная лапа держит щит, пересеченный красной полосой. По какому особому праву эти изображения должны оставаться только в моей семье? Один из зятьев перенесет их в другую; какой-нибудь безродный, приобретший землю за деньги, сделает себе из них новый герб. Ни в чем другом не бывает столько изменений и путаницы.

Но это рассуждение заставляет меня перейти к другому вопросу. Подумаем хорошенько и, ради господа бога, приглядимся внимательно, на каких основаниях зиждутся слава и почет, ради которых мы готовы перевернуть весь мир; на чем покоится известность, которой мы с таким трудом домогаемся. В конце концов, какой-нибудь Пьер или Гильом является носителем этой славы, ее защитником, и она его касается ближе всего. О, полная отваги человеческая надежда! Зародившись в какое-то мгновение в ком-то из смертных, она готова завладеть необъятным, бесконечным, вечным! Природа одарила нас забавной игрушкой! А что такое эти Пьер или Гильом? Всего-навсего пустой звук, три или четыре росчерка пера, в которых — заметьте при этом! — так легко напутать. Право, я готов спросить: кому же, в конце концов, принадлежит честь стольких побед — Гекену, Глекену или Геакену?[4] Здесь такой вопрос уместнее, чем у Лукиана, где Σ спорит с Т, ибо

> non levia aut ludicra petuntur
> Praemia *.

Здесь дело немаловажное: речь идет о том, какой из этих букв воздать славу стольких осад, битв, ран, дней, проведенных в плену, и услуг, оказанных французской короне этим ее прославленным коннетаблем. Никола Денизо[6] дал себе труд сохранить лишь самые буквы, составлявшие его имя, но совершенно изменил их порядок, чтобы путем их перестановки создать себе новое имя — граф д'Альсинуа, которое и венчал славой своего поэтического и живописного искусства. А историку Светонию было дорого только значение его имени, и он сделал Транквилла наследником своей литературной славы, отказав в этом Ленису, как прозывался его отец[7]. Кто поверил бы, что полководцу Баярду принадлежит только та честь, которую он заимствовал у деяний Пьера Террайля?[8] И что Антуан Эскален допустил, чтобы на глазах его капитан Пулен и барон де Ла-

* ...здесь речь идет не о дешевой и пустой награде[5] (*лат.*).

Гард похитили у него славу стольких морских путешествий и трудных дел, совершенных на море и на суше? [9]

Кроме того, эти начертания пером одинаковы для тысяч людей. Сколько у того или иного народа носителей одинаковых имен и прозваний! А сколько таких среди различных народов в различных странах и на протяжении веков? История знает трех Сократов, пять Платонов, восемь Аристотелей, семь Ксенофонтов, двадцать Деметриев, двадцать Феодоров. А сколько еще их не сохранилось в памяти истории — попробуйте угадать! Кто помешает моему конюху назваться Помпеем Великим? Но в конце-то концов, какие способы, какие средства существуют для того, чтобы связать с моим покойным конюхом или тем другим человеком, которому в Египте отрубили голову, соединить с ними эти прославленные сочетания звуков и начертания букв так, чтобы они могли ими гордиться?

Id cinerem et manes credis curare sepultos? *

Что знают оба великих мужа, одинаково высоко оцененных людьми,— Эпаминонд о том прославляющем его стихе, который в течение стольких веков передается из уст в уста:

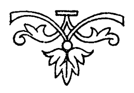
Consiliis nostris laus est attonsa Laconum? **

и Сципион Африканский о другом стихе, относящемся к нему:

A sole exoriente supra Maeotis paludes
Nemo est qui factis me aequiparare queat? ***

Людей, живущих после них, ласкает сладость подобных восхвалений, возбуждая в них ревность и жажду славы, и бессознательно, игрой воображения, они переносят на усопших эти собственные свои чувства; а обманчивая надежда заставляет их верить, что они сами способны на такие же деяния. Богу это известно. И тем не менее,

ad haec se
Romanus, Graiusque, et Barbarus induperator
Erexit, causas discriminis atque laboris
Inde habuit: tanto maior famae sitis est quam
Virtutis ****.



* Неужели ты думаешь, что прах и души покойников пекутся об этом? [10] (*лат.*).

** Нашими стараниями поубавилась слава спартанцев [11] (*лат.*).

*** От самого восхода солнца у Меотийского озера нет никого, кто мог бы сравниться подвигами со мною [12] (*лат.*).

**** ...вот что воодушевляло полководцев греческих, римских и варварских, вот что заставило их бросить вызов опасности и вынести столько лишений; ибо поистине люди более жадны к славе, чем к добродетели [13] (*лат.*).

Глава XLVII
О НЕНАДЕЖНОСТИ НАШИХ СУЖДЕНИЙ

Хорошо говорится в этом стихе:

Ἐπέων δὲ πολὺς νόμος ἔνθα καὶ ἔνθα.

Мы можем обо всем по произволу говорить и за и против [1]. Например:

Vinse Hannibal, et non seppe usar' poi
Ben la vittoriosa ventura *.

Тот, кто разделяет это мнение и утверждает, что наши сделали ошибку в битве при Монконтуре, не развив своего успеха, или тот, кто осуждает испанского короля за то, что он не использовал своей победы над нами при Сен-Кантене [3], может сказать, что повинны в этих ошибках душа, опьяненная выпавшей ей удачей, и храбрость, которая, сразу насытившись первыми успехами, теряет всякую охоту умножать их и с трудом переваривает достигнутое: она забрала в охапку сколько могла, больше ей не захватить, она оказалась недостойна дара, полученного от фортуны. Ибо какой смысл в нем, если врагу дана возможность оправиться? Можно ли надеяться, что осмелится вторично напасть на врага, сомкнувшего ряды, отдохнувшего и вновь вооружившегося своей досадой и жаждой мщения, тот, кто не решился преследовать его, когда он был разбит и ошеломлен,

Dum fortuna calet, dum conficit omnia terror **,

и разве дождется он чего-либо лучшего после такой потери? Это ведь не фехтование, где выигрывает тот, кто большее количество раз кольнул рапирой противника; пока враг не повержен, надо наносить ему удар за ударом; успех — только тогда победа, когда он кладет конец военным действиям. Цезарь, которому не повезло в схватке у Орика, упрекал солдат Помпея, утверждая, что был бы уничтожен, если бы их военачальник сумел победить его до конца; сам же он по-иному взялся за дело, когда пришла его очередь. Но почему, наоборот, не сказать, что неуменье положить конец своим жадным устремлениям есть проявление излишней торопливости и ненасытности? Что желание пользоваться милостями неба без меры, которую им положил сам господь, есть злоупотребление благостью божией? Что устремляться к опасности, уже одержав победу, значит снова испытывать судьбу? Что одно из мудрейших правил в воинском искусстве — не доводить противника до отчаяния? Сулла и Марий, разбившие марсов во время Союзнической войны [5] и увидевшие, что

---

* Ганнибал победил, но он не сумел как следует воспользоваться плодами победы [2] (*ит.*).

** В разгар успеха, когда враг охвачен ужасом [4] (*лат.*).

один уцелевший отряд намеревается броситься на них с отчаянием диких зверей, не стали дожидаться и напали на него первыми. Если бы господин де Фуа [6], увлеченный своим пылом, не стал слишком яростно преследовать остатки разбитого у Равенны врага, он не омрачил бы победы своей гибелью: недаром этот недавний пример сослужил службу господину д'Ангиену и удержал его от подобной же ошибки в битве при Серизоле [7]. Опасное дело — нападать на человека, у которого осталось только одно средство спасения — оружие, ибо необходимость — жестокая наставница: gravissimi sunt morsus irritatae necessitatis *.

Vincitur haud gratis iugulo qui provocat hostem **.

Вот почему Фаракс воспрепятствовал царю лакедемонян, одержавшему победу над мантинейцами, напасть на тысячу аргивян, которые избежали разгрома; он предоставил им спокойно отступить, чтобы не испытывать доблести этих людей, раздраженных и раздосадованных неудачей. Хлодомир, король Аквитании, одержав победу, стал преследовать разгромленного и обратившегося в бегство Гундемара, короля бургундского, и вынудил его принять бой; но собственное упорство отняло у Хлодомира плоды победы, ибо он погиб в этой схватке.

Точно так же, если кому-нибудь приходится делать выбор — давать ли своим солдатам богатое и роскошное военное снаряжение или же снаряжать их только самым необходимым — в пользу первого мнения, которого придерживались Серторий, Филопемен, Брут, Цезарь и другие, можно сказать, что для солдата пышное снаряжение — лишний повод искать почестей и славы и проявлять большее упорство в бою, раз ему надо спасать ценное оружие как свое имущество или достояние. По этой же причине, говорится у Ксенофонта, азиатские народы брали с собою в походы своих жен и наложниц со всеми их богатствами и драгоценными украшениями [10]. Но, с другой стороны, на это можно возразить, что гораздо правильнее искоренять в солдате мысль о самосохранении, чем поддерживать ее, что, заботясь о ценностях, он еще меньше склонен будет подвергаться риску, и что, вдобавок, возможная богатая добыча только увеличит в неприятеле стремление к победе; замечено было, что именно это удивительно способствовало храбрости римлян в битве с самнитами. Когда Антиох показал Ганнибалу войско, которое он готовил против римлян, великолепно и пышно снаряженное, и спросил его: «Придется ли по вкусу римлянам такое войско?», Ганнибал ответил ему: «Придется ли по вкусу? Еще бы, ведь они такие жадные». Ликург запрещал своим воинам не только надевать богатое снаряжение, но даже грабить побежденных, желая, как он говорил, чтобы бедность и умеренность украшали тех, кто вернется после битвы.

Во время осады и в других случаях, когда нам удается сблизиться с противником, мы охотно разрешаем солдатам вести себя с ним заносчиво,

---

* Укусы разъяренной необходимости наиболее опасны [8] (*лат.*).
** Нелегко одержать победу над тем, кто сражается, будучи готов умереть [9] (*лат.*).

выражать ему презрение и осыпать его всевозможными поношениями. И не без некоторого основания, ибо немалое дело отнять у них всякую надежду на пощаду или возможность договориться с врагом, показав, что не приходится ожидать этого от тех, кого они так жестоко оскорбили, и что единственный выход — победа. Так и получилось с Вителлием; ибо, имея против себя Отона, более слабого из-за того, что солдаты его отвыкли от войны и разнежились среди столичных утех, он так раздразнил их, в конце концов, своими едкими насмешками над их малодушием и тоской по женщинам и пирам, только что оставленным в Риме, что одним этим вернул им мужество, которого не могли в них вдохнуть никакие призывы, и сам заставил их броситься на него, чего от них никак нельзя было добиться. И правда, когда оскорбления задевают за живое, они могут привести к тому, что воин, не слишком рвущийся в битву за дело своего владыки, ринется в нее с новым пылом, мстя за свою собственную обиду.

Если принять во внимание, что сохранность жизни вождя имеет для всего войска особенное значение и что враг всегда старается поразить именно эту голову, от которой зависят все прочие, нельзя сомневаться в правильности решения, часто принимавшегося многими крупными военачальниками — переодеться и принять другой облик в самый час битвы. Однако же неудобство, проистекающее от этой меры, не меньше того, которого было желательно избежать. Ибо мужество может изменить солдатам, не узнающим своего полководца, чье присутствие и пример воодушевляли их, и, не видя его обычных отличительных признаков, они могут подумать, что он погиб или бежал с поля битвы, отчаявшись в ее исходе. Что же до проверки этого дела опытом, то мы видим, что он говорит в пользу то одного, то другого мнения. Случай с Пирром в битве, которая произошла в Италии между ним и консулом Левином, служит нам доказательством и того и другого. Ибо, одевшись в доспехи Демогакла и отдав ему свои, он, конечно, спас свою жизнь, но зато претерпел другую беду — проиграл битву [11]. Александр, Цезарь, Лукулл любили в сражении отличаться от других богатством и яркостью своей одежды и вооружения. Наоборот, Агис, Агесилай и великий Гилипп [12] шли в сражение одетыми незаметно и безо всякого царственного великолепия.

В связи с битвой при Фарсале [13] Помпей подвергался многочисленным нападкам и, в частности, за то, что он остановил свое войско, ожидая неприятеля. Тем самым — здесь я приведу собственные слова Плутарха, которые сто́ят больше моих — «он умерил силу, которую разбег придает первым ударам, воспрепятствовал стремительному напору, с которым сражающиеся сталкиваются друг с другом и который обычно наполняет их особенным буйством и яростью в ожесточенных схватках, распаляя их храбрость криками и движениями, и, можно сказать, охладил, заморозил боевой пыл своих воинов» [14]. Вот что говорит он по этому поводу. Но если бы поражение потерпел Цезарь, разве нельзя было бы утверждать, что, наоборот, самая мощная и прочная позиция у того. кто неподвижно стоит на месте, сдерживая себя и накопляя силы для решительного уда-

ра, с бо́льшим преимуществом по сравнению с тем, кто двинул свои войска вперед, вследствие чего они запыхались от быстрого бега? К тому же войско ведь является телом, состоящим из многих различных частей; оно не имеет возможности в этом яростном напоре двигаться с такой точностью, чтобы не нарушить порядка и строя и чтобы самые быстрые из воинов не завязали схватки еще до того, как их товарищи смогут им помочь. В злосчастной битве между двумя братьями персами[15] лакедемонянин Клеарх, командовавший греками в армии Кира, повел их в наступление без особой торопливости; когда же они приблизились на пятьдесят шагов, он велел им бежать на врага, рассчитывая, что достаточно короткое расстояние не утомит их и не расстроит рядов, а в то же время они получат то преимущество, которое яростный напор дает и самому воину и его оружию. Другие в своих армиях разрешили это сомнение таким образом: если враг двинулся вперед, жди его, стоя на месте, если же он занял оборонительную позицию, переходи в наступление.

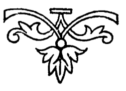
Когда император Карл V решил вторгнуться в Прованс[16], король Франциск мог принять одно из двух решений: либо двинуться навстречу ему в Италию, либо ждать его на своей земле. Он, конечно, хорошо сознавал, насколько важно предохранить страну от потрясений войны, чтобы, полностью обладая своими силами, она непрерывно могла предоставлять средства для ведения войны и, в случае необходимости, помощь людьми. Он понимал, что в обстановке войны поневоле приходится производить опустошения, чего следовало бы избегать у себя на родине, ибо крестьянин не станет переносить разорение от своих так безропотно, как от врага, и из-за этого среди нас могут вспыхнуть мятежи; что позволение грабить и разорять жителей, которого нельзя дать солдатам у себя дома, очень облегчает им тяготы войны и что трудно удержать от дезертирства того, кто не имеет иных доходов, кроме своего солдатского жалованья, и в то же время находится в двух шагах от своей жены и от своего дома; что тот, кто накрывает другому стол, сам и платит за обед; что нападение больше поднимает дух, чем оборона; что проиграть сражение внутри страны — дело ужасное, которое может поколебать все государство, принимая во внимание, насколько заразителен страх, как легко он одолевает людей и как быстро распространяется, и что города, которые услышали раскаты этой грозы у своих стен, приняв к себе в качестве беглецов своих полководцев и солдат, еще дрожащих и задыхающихся, могут сгоряча пойти на что угодно. И тем не менее он предпочел вывести свои войска из Италии и ждать вражеского наступления. Ибо, с другой стороны, он мог представить себе, что, находясь у себя дома среди друзей, он будет в изобилии получать все припасы, так как по рекам и по дорогам к нему будут подвозить сколько понадобится провианта и денег без особой военной охраны; что сочувствие подданных будет тем вернее, чем ближе угрожающая им опасность; что, имея возможность всегда укрыться в стольких городах и укреплениях, он сможет выбирать выгодное и удобное время и место для столкновений с врагом и что, если бы ему захотелось выжидать, он мог бы, находясь в надежном укрытии,

взять врага измором и добиться разложения его войск, поскольку перед неприятелем возникли бы непродолимые трудности: он во вражеской стране, где все воюет с ним и спереди, и сзади, и вокруг; он не имеет никакой возможности ни освежить и пополнить свое войско, если в нем начнут свирепствовать болезни, ни укрыть где-либо раненых, он может лишь силой оружия добывать деньги и провиант; ему негде передохнуть и собраться с силами, у него нет достаточно ясного представления о местности, которое могло бы обезопасить его от засад и других случайностей, а в случае проигрыша битвы — никакой возможности спасти остатки разгромленной армии.

Таким образом, есть достаточно примеров как в пользу одного, так и в пользу другого мнения. Сципион предпочел напасть на врага в его африканских владениях, вместо того чтобы защищать свои и оставаться у себя в Италии; это обеспечило ему успех [17]. И, наоборот, в этой же самой войне Ганнибал потерпел поражение из-за того, что отказался от завоевания чужой страны ради защиты своей. Судьба оказалась немилостива к афинянам, когда они оставили неприятеля на своей земле, а сами напали на Сицилию [18]; но к Агафоклу, царю Сиракузскому, она была благосклонна, хотя он тоже отправился походом в Африку, оставив неприятеля у себя дома [19]. Потому-то мы и говорим обычно не без основания, что и события и исход их, особенно на войне, большей частью зависят от судьбы, которая вовсе не намерена считаться с нашими соображениями и подчиняться нашей мудрости, как гласят следующие стихи:

Et male consultis pretium est: prudentia fallax,
Nec fortuna probat causas sequiturque merentes;
Sed vaga per cunctos nullo discrimine fertur;
Scilicet est aliud quod nos cogatque regatque
Maius, et in proprias ducat mortalia leges *.

Но, в сущности, сами наши мнения и суждения точно так же, по-видимому, зависят от судьбы, и она придает даже им столь свойственные ей смутность и неуверенность. «Мы рассуждаем легкомысленно и смело,— говорит у Платона Тимей,— ибо как мы сами, так и рассуждения наши подвержены случайности».



* И на долю неблагоразумия выпадает успех: благоразумие часто обманывает, и Фортуна, мало разбираясь в заслугах, не всегда благоприятствует правому делу. Непостоянная, она переходит от одного к другому, не делая никакого различия. Стало быть, есть над нами высшая власть, которая вершит дела смертных, руководствуясь собственными законами [20] (*лат.*).

Глава XLVIII
О БОЕВЫХ КОНЯХ

Вот и я стал грамматиком, я, который всегда изучал какой-либо язык только путем практического навыка, и до сих пор не знаю, что такое имя прилагательное, сослагательное наклонение или творительный падеж. Я от кого-то слышал, что у римлян были лошади, которых они называли funales или dextrarii [1]; они бежали справа от всадника в качестве запасных, чтобы в случае нужды можно было использовать их свежие силы. Потому-то мы и называем destriers добавочных лошадей. А те, кто пользуется романским, обычно говорят adestrer вместо accompaignier. Римляне называли также desultorii equi лошадей, обученных таким образом, что когда они бежали во весь опор попарно, бок о бок, без седла и уздечки, римские всадники в полном вооружении могли во время езды перепрыгивать с одной на другую. Нумидийские воины всегда имели под рукой вторую лошадь, чтобы воспользоваться ею в самом пылу схватки: Quibus, desultorum in modum, binos trahentibus equos, inter acerrimam saepe pugnam in recentem equum ex fesso armatis transsultare mos erat: tanta velocitas ipsis, tamque docile equorum genus *.

Существуют кони, обученные так, чтобы помогать своим хозяевам бросаться на всякого, кто встанет пред ними с обнаженным мечом, топтать и кусать наступающих и нападающих. Но чаще получается так, что своим они причиняют больше вреда, чем врагам. Добавим, что их уже нельзя укротить, раз они ввязались в бой, и судьба всадника целиком зависит от случайностей битвы. Так, тяжкая беда постигла Артибия, командовавшего персидскими войсками, когда он вступил в единоборство с Онесилаем, царем Саламина, верхом на коне, обученном таким образом, ибо конь этот стал причиной его смерти: пехотинец, сопровождавший Онесилая, нанес Артибию сокрушительный удар секирой в спину как раз тогда, когда конь Артибия напал на Онесилая и поднялся над ним на дыбы [3].

Когда же итальянцы рассказывают, что в битве при Форнуово [4] лошадь короля, брыкаясь и лягаясь, спасла его от наседавших врагов и что иначе он бы погиб, то даже если это правда, здесь просто исключительно счастливый случай.

Мамелюки хвалятся тем, что у них лучшие в мире боевые кони и что по природе своей они таковы, да и обучены так, чтобы по данному им голосом или движением знаку узнавать и различать неприятелей. И будто бы точно так же они по приказанию своего хозяина умеют поднимать зубами и подавать ему копья и дротики, разбросанные по полю сражения, а также видеть и различать...[5]

---

* У них в обычае, подобно цирковым наездникам, иметь при себе запасного коня, и часто в разгаре битвы они, вооруженные, перепрыгивают с усталой лошади на свежую — такова их ловкость, и так послушлива порода их лошадей [2] (*лат.*).

О Цезаре и о Великом Помпее говорят, что, наряду с другими своими выдающимися качествами, они были прекрасные наездники. О Цезаре же, в частности,— что в молодости он садился задом наперед на невзнузданного коня, заложив руки за спину, и пускал его во весь опор. Сама природа сделала из этого человека и из Александра два чуда военного искусства и, можно сказать, она же постаралась вооружить их необыкновенным образом. Ибо о коне Александра Буцефале известно, что голова его походила на бычью, что он позволял садиться на себя только своему господину, не подчинялся никому, кроме него, а после смерти удостоился почестей, и даже один город был назван его именем.

У Цезаря была столь же удивительная лошадь, с передними ногами, напоминавшими человеческие, и копытами, как бы разделенными на пальцы. Она тоже не позволяла садиться на себя и управлять собой никому, кроме Цезаря, который после ее смерти посвятил богине Венере ее изображение.

Я неохотно слезаю с лошади, раз уж на нее сел, так как, здоров я или болен, лучше всего чувствую себя верхом. Платон советует ездить верхом для здоровья; Плиний тоже считает верховую езду очень полезной для желудка и для суставов [6]. Вернемся же к тому, о чем мы говорили. У Ксенофонта читаем, что закон запрещал путешествовать пешком человеку, имеющему лошадь [7]. Трог и Юстин утверждают, что парфяне имели обыкновение не только воевать верхом на конях [8], но также вершить в этом положении все свои общественные и частные дела — торговать, вести переговоры, беседовать и прогуливаться — и что главное различие между свободными и рабами у них состояло в том, что одни ездили верхом, а другие ходили; установление это было введено царем Киром.

В истории Рима мы находим много примеров (Светоний отмечает это в особенности о Цезаре) [9], когда полководцы приказывали своим конникам спешиться в наиболее опасные моменты боя, чтобы лишить их какой бы то ни было надежды на бегство, а также и для того, чтобы использовать все преимущества пешего боя: quo haud dubie superat Romanus *, — говорит Тит Ливий.

Для того чтобы предотвратить восстания среди вновь покоренных народов, римляне прежде всего забирали у них оружие и лошадей: потому-то так часто и читаем мы у Цезаря: arma proferri, iumenta produci, obsides dari iubet **. В наше время турецкий султан не дозволяет никому из своих подданных христианского или еврейского исповедания иметь собственных лошадей.

Предки наши, особенно в войне с англичанами, во всех знаменитых битвах и прославленных в истории сражениях, большей частью бились пешими, ибо опасались вверять такие ценные вещи, как жизнь и честь, чему-либо иному, кроме своей собственной силы и крепости своего мужества и своих членов. Что бы ни говорил Хрисанф у Ксенофонта [12],

---

* ...в котором, без сомнения, римляне были сильнее [10] (*лат.*).
** Приказывает выдать оружие, предоставить лошадей, дать заложников [11] (*лат.*).

вы всегда связываете и доблесть свою и судьбу с судьбою и доблестью вашего коня; его ранение или смерть влекут за собой и вашу гибель, его испуг или его ярость делают вас трусом или храбрецом; если он плохо слушается узды или шпор, вам приходится отвечать за это своей честью. По этой причине я не считаю странным, что битвы, которые ведутся в пешем строю, более упорны и яростны, нежели конные:

> cedebant pariter, pariterque ruebant
> Victores victique, neque his fuga nota neque illis *,

В те времена победы в битвах давались с бо́льшим трудом, чем теперь, когда все сводится к натиску и бегству: primus clamor atque impetus rem decernit **. И разумеется, дело столь важное и в нашем обществе подверженное стольким случайностям, должно находиться всецело в нашей власти. Точно так же советовал бы я выбирать оружие, действующее на наиболее коротком расстоянии, такое, которым мы владеем всего увереннее. Очевидно же, что для нас шпага, которую мы держим в руке, гораздо надежнее, чем пуля, вылетающая из пистолета, в котором столько различных частей — и порох и кремень, и курок: откажись малейшая из них служить — и вам грозит смертельная опасность.

Мы не можем нанести удар с достаточной уверенностью в успехе, если он должен достигнуть нашего противника не непосредственно, а по воздуху:

> Et quo ferre velint permittere vulnera ventis:
> Ensis habet vires, et gens quaecunque virorum est,
> Bella gerit gladiis ***.

Что касается огнестрельного оружия, то о нем я буду говорить подробнее при сравнении вооружения древних с нашим. Если не считать грохота, поражающего уши, к которому теперь уже все привыкли, то я считаю его малодейственным и надеюсь, что мы в скором времени от него откажемся.

Оружие, которым некогда пользовались в Италии,— метательные и зажигательные снаряды — было гораздо ужаснее. Древние называли phalarica особый вид копья с железным наконечником длиною в три фута, так что оно могло насквозь пронзить воина в полном вооружении; в стычке его метали рукой, а при защите осажденных крепостей — с помощью различных машин. Древко, обернутое паклей, просмоленной и пропитанной маслом, зажигалось при бросании и разгоралось в полете; вонзившись в тело или в щит, оно лишало воина возможности действовать оружием или своими членами. Все же мне представляется, что когда

---

* ...отступали и снова устремлялись вперед и победители и побежденные, и тем и другим было неведомо бегство [13] (*лат.*).

** Первый натиск и первые крики решают дело [14] (*лат.*).

*** И они препоручают, таким образом, ветру наносить удары там, где он пожелает. Силен только меч, и всякий народ, в котором есть воинская доблесть, ведет войны мечами [15] (*лат.*).

дело доходило до рукопашного боя, такие копья вредили также и тому, кто их бросал, и что горящие головешки, усеивавшие поле битвы, мешали во время схватки обеим сторонам:

magnum stridens contorta phalarica venit
Fulminis acta modo *.

Были у них и другие средства, заменявшие им наш порох и ядра: средствами этими они пользовались с искусством, для нас, вследствие нашего неумения с ними обращаться, просто невероятным.

Они метали копья с такой силой, что зачастую пронзали сразу два щита и двух вооруженных людей, которые оказывались словно нанизанными на одно копье. Так же метко и на столь же большом расстоянии поражали врага их пращи: saxis globosis funda mare apertum incessentes: coronas modici circuli, magno ex intervallo loci, assueti traiicere: non capita modo hostium vulnerabant, sed quem locum destinassent **. Их осадные орудия производили такое же действие, как и наши, с таким же грохотом: ad ictus moenium cum terribili sonitu editos pavor et trepidatio cepit ***. Галаты, наши азиатские сородичи, ненавидели эти предательские летающие снаряды: они привыкли с большей храбростью биться врукопашную: Non tam patentibus plagis moventur: ubi latior quam altior plaga est, etiam gloriosius se pugnare putant, idem, cum aculeus sagittae aut glandis abditae introrsus tenui vulnere in speciem urit, tum, in rabiem et pudorem tam parvae perimentis pestis versi, prosternunt corpora humi ****. Эта картина очень походит на битву воинов, вооруженных аркебузами.

Десять тысяч греков во время своего долгого и столь знаменитого отступления повстречали на своем пути племя, которое нанесло им большой урон стрельбой из больших крепких луков; стрелы же у этих людей были такие длинные, что пронзали насквозь щит вооруженного воина и его самого, а взяв такую стрелу в руки, можно было пользоваться ею, как дротиком. Машины, изобретенные Дионисием Сиракузским [20] для метания толстых массивных копий и ужасающей величины камней на значительное расстояние и с большой быстротой, очень схожи с нашими изобретениями [21].

Кстати будет вспомнить забавную посадку на муле некоего мэтра

---

* ...и со свистом несется пущенная как молния фаларика [16] (*лат.*).

** Привыкнув метать пращой в море округлые камни и со значительного расстояния попадать в центр небольшого круга, они поражали врагов не только в голову, но и в любое намеченное ими место [17] (*лат.*).

*** Страх и трепет охватили осажденных, когда со страшным грохотом начали разбивать стены [18] (*лат.*).

**** Они не боятся огромных ран. Когда рана более широка, чем глубока, они считают, что тем больше славы для продолжающего сражаться. Но когда наконечник стрелы или пущенный пращой свинцовый шарик, проникнув глубоко в тело, при небольшой с виду ране, мучают их, они, придя в бешенство, что повержены столь незначительным повреждением, начинают кататься по земле от ярости и стыда [19] (*лат.*).

Пьера Поля, доктора богословия, о котором Монтреле рассказывает, что он имел обыкновение ездить верхом по улицам Парижа, сидя боком, по-дамски. В другом месте он сообщает, что гасконцы имели страшных лошадей, приученных круто поворачиваться на всем скаку, что вызывало великое изумление у французов, пикардийцев, фламандцев и брабантцев, ибо, как он говорит, «непривычно им было видеть подобное»[22]. Цезарь говорит о свевах: «Во время конных стычек они часто соскакивают на землю, чтобы сражаться пешими, а лошади их приучены в таких случаях стоять на месте, чтобы они могли, когда понадобится, снова вскочить на них. По их обычаю, пользоваться седлом и потником — дело для храброго воина постыдное, и они так презирают тех, кто употребляет седла, что даже горстка свевов осмеливается нападать на крупные их отряды»[23].

В свое время я был очень удивлен, увидев лошадь, обученную таким образом, что ею можно было управлять одним лишь хлыстом, бросить поводья на ее шею, но это было обычным делом у массилийцев, которые пользовались своими лошадьми без седла и без уздечек:

Et gens quae nudo residens Massilia dorso
Ora levi flectit, frenorum nescia, virga *.

Et Numidae infreni cingunt **.

Equi sine frenis, deformis ipse cursus, rigida cervice et extento capite currentium ***.

Король Альфонс, тот самый, что основал в Испании орден рыцарей Повязки или Перевязи[27], установил среди прочих правил этого ордена и такое, согласно которому ни один рыцарь не имел права садиться верхом на мула или лошака под страхом штрафа в одну марку серебром; я прочел это недавно в «Письмах» Гевары[28], которым люди, назвавшие их «золотыми», дают совсем не ту оценку, что я.

В книге «Придворный»[29] говорится, что в прежнее время считалось непристойным для дворянина ездить верхом на этих животных. Наоборот, абиссинцы, наиболее высокопоставленные и приближенные к пресвитеру Иоанну[30], своему государю, предпочитают в знак своего высокого положения ездить на мулах. Ксенофонт рассказывает, что ассирийцы на стоянках держали своих лошадей спутанными — до того они буйны и дики, а чтобы распутать их и взнуздать требовалось столько времени, что внезапное нападение врага могло привести войско в полное замешательство; поэтому свои походные лагери они всегда окружали валом и рвом[31].

---

* И те, что живут в Массилии, садятся верхом на ничем не покрытые спины коней и управляют ими с помощью небольшого хлыста вместо уздечки[24] (*лат.*).

** И нумидийцы управляют невзнузданными конями[25] (*лат.*).

*** Их невзнузданные кони бегут некрасиво; когда они бегут, шея у них напряжена, и голова вытянута вперед[26] (*лат.*).

Кир, великий знаток в обращении с лошадьми, сам объезжал своих коней и не разрешал давать им корм, пока они не заслужат его, хорошо пропотев от какого-нибудь упражнения.

Скифы, когда им приходилось голодать в походах, пускали своим коням кровь и утоляли ею голод и жажду:

Venit et epoto Sarmata pastus equo *.

Критяне, осажденные Метеллом, так страдали от отсутствия воды, что принуждены были пить мочу своих лошадей [33].

В доказательство того, насколько турецкие войска выносливее и неприхотливее наших, приводят обычно то обстоятельство, что они пьют только воду и едят только рис и соленое мясо, истолченное в порошок, месячный запас которого каждый легко может унести на себе, а также, подобно татарам и московитам, кровь своих лошадей, которую они солят.

Недавно обнаруженные народы Индии [34], когда там появились испанцы, приняли этих прибывших к ним людей и их лошадей за богов или за животных, обладающих такими высокими качествами, которые человеческой природе не свойственны. Некоторые из них, после того как они были побеждены, явились просить у испанцев мира и пощады, принеся им золото и пищу; с такими же подношениями они подходили и к лошадям и обращались к ним так же, как к людям, принимая их ржание за выражение согласия и примирения.

А в ближней Индии в старину считалось высшей и царской почестью ехать на слоне, почестью второго разряда ехать на колеснице, запряженной четверкой лошадей, третьего — верхом на верблюде и, наконец, последнею и самой низшей — ехать верхом на коне или в повозке, запряженной одной лошадью.

Кто-то из наших современников пишет, что в тех краях он видел страны, где ездят верхом на быках, употребляя вьючные седла, стремена и уздечки, и что это считается очень удобным.

Квинт Фабий Максим Рутилиан [35] в битве с самнитами, видя, что его конникам даже после трех или четырех атак не удалось врезаться в неприятельские ряды, велел им разнуздать коней и пришпорить их изо всей силы; теперь уж ничто не могло остановить лошадей; они помчались вперед, опрокидывая людей с их оружием, и проложили дорогу пехоте, которая и нанесла врагам кровавое поражение.

Такой же приказ отдал Квинт Фульвий Флакк в битве с кельтиберами: Id cum maiore vi equorum facietis, si effrenatos in hostes equos immittitis; quod saepe Romanos equites cum laude facisse sua, memoriae proditum est. Detractisque frenis, bis ultro citroque cum magna strage hostium, infractis omnibus hastis, transcurrerunt **.

---

* Вот и сармат, вскормленный конской кровью [32] (*лат.*).

** ...Натиск ваших коней будет сильнее, если вы разнуздаете их, прежде чем броситься на неприятеля; известно, что этим приемом часто с успехом пользовалась римская конница. [Они последовали его совету:] разнуздав коней, они дважды проскакали

Великий князь Московский в старые времена должен был оказывать татарам такой почет: когда от них прибывали послы, он выходил к ним навстречу пешком и предлагал им чашу с кобыльим молоком (этот напиток они почитают самым сладостным), а если, выпивая его, они проливали хоть несколько капель на конскую гриву, он обязан был слизать их языком.

Войско, посланное в Россию султаном Баязетом [37], было застигнуто такой ужасной снежной бурей, что для того, чтобы укрыться от нее и спастись от холода, многие решили убить своих лошадей, вспарывали им животы, залезали туда, согреваясь их животной теплотой.

Баязету, после жестокого сражения, в котором он был разбит Тамерланом, удалось бы спастись поспешным бегством на арабской кобыле, если бы он не был вынужден дать ей напиться вволю, когда переезжал через речку: после этого она настолько остыла и ослабела, что он был легко настигнут своими преследователями. Считают, что лошадь ослабевает, если дать ей помочиться, но что касается питья, то я полагал бы скорее, что это должно освежить ее и придать ей силы.

Крез, проходя в окрестностях города Сарды, нашел там луга, где в изобилии водились змеи, которых охотно поедали лошади его войска, и это, говорит Геродот, явилось для него дурным предзнаменованием [38].

Мы считаем, что лошадь в исправном состоянии, если у нее целы грива и уши, и только такие допускаются на смотры и парады. Лакедемоняне, нанеся в Сицилии поражение афинянам и торжественно возвращаясь с победой в Сиракузы, кроме других глумлений над врагами, остригли их лошадей и так вели их в своем триумфальном шествии. Александр воевал с народом, называвшимся дагами [39]: они выступали на войну подвое в полном вооружении на одном коне; но во время сражения то один из них, то другой соскакивали с коня и так сражались по очереди — один верхом, другой пеший.

Я думаю, что ни один народ не превосходит нас в искусстве верховой езды и в изяществе посадки. Впрочем, говоря о хорошем наезднике, обычно имеют в виду скорее храбрость, чем изящество. Из тех, кого я знал, самым умелым, уверенным в себе и ловким наездником, был, на мой взгляд, господин де Карневале, этим своим искусством служивший нашему королю Генриху II. Я видел, как один человек скакал, стоя обеими ногами на седле, как он сбросил седло, а затем на обратном пути поднял, приладил и сел в него, проделав все это на полном скаку, с брошенными поводьями; промчавшись над брошенной наземь шляпой, он сзади стрелял в нее из лука, а также поднимал с земли все, что угодно, опустив одну ногу и держа другую в стремени, и показывал еще много подобных же фокусов, которыми зарабатывал себе на жизнь.

В наше время в Константинополе видели двух человек, которые, сидя верхом на одном коне, на всем скаку спрыгивали по очереди на землю и

вперед назад, через вражеское войско, нанеся врагу страшные потери и переломив у него все копья [36] (*лат.*).

потом опять взлетали в седло. Видели и такого, который одними зубами взнуздывал и седлал лошадь. И еще такого, который скакал во всю прыть сразу на двух лошадях, стоя одной ногой на седле первой лошади, а другой на седле второй, и в то же время держал на себе человека, а этот второй человек, стоя во весь рост, очень метко стрелял из лука. Были там и такие, которые пускали коня во весь опор, стоя вверх ногами на седле, причем голова находилась между двух сабель, прикрепленных к седлу. Во времена моего детства князь Сульмоне в Неаполе укрощал как-то всевозможными приемами норовистую лошадь: чтобы показать крепость своей посадки, он держал под коленами и под большими пальцами ног несколько реалов [40], которые были там совершенно неподвижны, словно пригвожденные.

Глава XLIX

О СТАРИННЫХ ОБЫЧАЯХ

Я охотно извинил бы наш народ за то, что для совершенствования своего он не имеет никаких других образцов и правил, кроме своих собственных обычаев и нравов. Ибо не одному лишь простонародью, но и почти всем людям свойствен этот порок — определять свои желания и взгляды по тем условиям жизни, в которые они поставлены от рождения. Я готов примириться с тем, что наш народ, если бы ему довелось увидеть Фабриция или Лелия [1], нашел бы их внешность и поведение варварскими, потому что их одежда и обращение не соответствуют нашей моде. Но меня приводит в негодование то исключительное легкомыслие, с которым наши люди позволяют ослеплять и одурачивать себя вкусам нынешнего дня до такой степени, что они способны менять взгляды и мнения каждый месяц, если этого требует мода, и всякий раз готовы судить о себе по-разному. Когда пряжку на своем камзоле они носили на высоте сосков, то самым убедительным образом доказывали, что это и есть самое подходящее для нее место. Но вот прошло несколько лет, она опустилась и носится теперь почти что между бедрами, и люди смеются над прежней модой, находя ее нелепой и безобразной. Принятый сегодня способ одеваться тотчас же заставляет их осудить вчерашний, притом с такой решительностью и таким единодушием, что, кажется, ими овладела какая-то мания, перевернувшая им мозги.

Вкусы наши меняются так быстро и внезапно, что даже самые изобретательные портные не могут поспеть за ними и выдумать столько новинок. Поэтому неизбежно получается так, что отвергнутые формы зачастую снова начинают пользоваться всеобщим признанием, чтобы вскоре

опять оказаться в полном пренебрежении. И выходит, что на протяжении пятнадцати-двадцати лет один и тот же человек по одному и тому же поводу высказывает два или три не только различных, но и прямо противоположных мнения, с непостоянством и легкомыслием поразительными. И нет среди нас человека, настолько разумного, чтобы он не поддался чарам всех этих превращений, ослепляющих и внутреннее и внешнее зрение.

Я хочу привести здесь примеры некоторых древних обычаев, сохранившихся у меня в памяти — одни из них сходны с нашими, другие отличаются от них,— для того чтобы, имея все время перед глазами эту непрерывную изменяемость вещей, мы могли высказать о ней наиболее трезвое и основательное суждение.

То, что у нас называется фехтованием на шпагах с плащом, было известно еще римлянам, как говорит Цезарь: Sinistris sagos involvunt, gladiosque distringunt *. Он же отмечает в нашем племени дурное обыкновение останавливать встречающихся нам по пути прохожих, выпытывать у них, кто они такие, и считать оскорблением и поводом для ссоры, если те отказываются отвечать [3].

Во время омовений, которые древние совершали перед каждой едой так же часто, как мы моем руки, они первоначально мыли только руки до локтей и ноги, но впоследствии установился обычай, сохранившийся в течение ряда веков у большинства народов тогдашнего мира, мыть все тело надушенной водой с различными примесями, так что мытье в простой воде стало считаться проявлением величайшей простоты в обиходе. Наиболее утонченные и изнеженные душили себе все тело три-четыре раза в день. Зачастую они выщипывали себе волосы на всей коже, подобно тому как с недавнего времени у французских женщин вошло в обычай выщипывать себе брови,

Quod pectus, quod crura tibi, quod bracchia vellis **.

хотя имели для этой же цели особые притирания:

Psilotro nitet, aut arida latet oblita creta ***.

Они любили мягкие ложа и считали признаком особой выносливости спать на простом матрасе. Они ели, возлежа на ложе, приблизительно так, как это делают в наше время турки,

Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto ****.

А о Катоне Младшем рассказывают, что после Фарсальской битвы он наложил на себя траур из-за дурного состояния общественных дел и принимал пищу сидя, так как начал вообще вести более суровый образ

* Они обертывают левую руку плащом и обнажают меч [2] (*лат.*).
** Ты выщипываешь у себя волосы на груди, на руках и на ногах [4] (*лат.*).
*** Она вся блестит от мази, или, натертая [ею], обсыпает себя сухим мелом [5] (*лат.*).
**** И тогда родитель Эней так начал с высокого ложа [6] (*лат.*).

жизни. В знак уважения и привета они целовали руки вельмож, а друзья, здороваясь, целовались, как это делают венецианцы:

Gratatusque darem cum dulcibus oscula verbis *.

А приветствуя высокопоставленное лицо или прося его о чем-либо, притрагивались к его колену. Однажды, при таком случае, философ Пасикл, брат Кратета, коснулся не колен, а половых органов. Когда тот, к кому он обращался, резко оттолкнул его, Пасикл спросил: «Как, разве эти части не твои так же, как колени?»

Подобно нам они ели фрукты после обеда.

Они подтирали себе задницу (незачем нам по-женски бояться слов) губкой: потому-то слово spongia ** по-латыни считается непристойным. О такой губке, привязанной к концу палки, идет речь в рассказе об одном человеке, которого вели, чтобы отдать на растерзание зверям на глазах народа. Он попросил отпустить его в отхожее место и, не имея другой возможности покончить с собой, засунул себе палку с губкой в горло и задохся [8]. Помочившись, они подтирались надушенными шерстяными тряпочками.

At tibi nil faciam, sed lota mentula lana [9].

В Риме на перекрестках ставились особые посудины и низкие чаны, чтобы прохожие могли в них мочиться.

Pusi saepe lacum propter, se ac dolia curta
Somno devincti credunt extollere vestem ***.

В промежутках между трапезами они закусывали. Летом у них продавали снег для охлаждения вин; а некоторые и зимой пользовались снегом, находя вино недостаточно холодным. У знатных людей были особые слуги, которые разливали вино и разрезали мясо, а также шуты, которые их забавляли. Зимой кушанья подавали им на жаровнях, ставившихся на стол. Они имели и переносные кухни — я сам видел такие — со всеми приспособлениями для приготовления пищи: их употребляли во время путешествия;

Has vobis epulas habete lauti;
Nos offendimur ambulante cena ****.

Летом же они часто проводили в нижние помещения дома по особым каналам прохладную чистую воду, в которой было много живой рыбы, и присутствующие выбирали и собственными руками вынимали понравив-

---

* Я поцеловал бы [тебя], приветствуя ласковыми словами [7] (*лат.*).

** Губка (*лат.*).

*** Маленькие дети часто видят во сне, что они поднимают платье перед ямой или перед ночным горшком [10] (*лат.*).

**** Пусть лакомятся модники подобными яствами, мне же не по вкусу странствующий ужин [11] (*лат.*).

шихся им рыб, чтобы они были приготовлены по их вкусу. Рыба и тогда пользовалась привилегией, которую сохраняет доныне: великие мира сего лично вмешивались в ее приготовление, считая себя знатоками в этом деле. И действительно, на мой взгляд по крайней мере,— вкус ее гораздо более изысканный, чем вкус мяса. Но во всякого рода роскоши, распущенности, сладострастных прихотях, изнеженности и великолепии мы, по правде сказать, делаем все, чтобы сравняться с древними, ибо желания у нас извращены не меньше, чем у них; но достичь этого мы не способны: сил у нас не хватает, чтобы уподобиться им и в добродетелях и в пороках. Ибо и те и другие проистекают от крепости духа, которой они обладали в несравненно большей степени, нежели мы. Чем слабее души, тем меньше возможности имеют они поступать очень хорошо или очень худо.

Самым почетным местом за столом считалась у них середина. Первое или второе место ни в письменной, ни в устной речи не имело никакого значения, как это видно из их литературных произведений: «Оппий и Цезарь» они скажут так же охотно, как «Цезарь и Оппий», «я и ты» для них так же безразлично, как «ты и я». Вот почему я отметил в жизнеописании Фламиния во французском Плутархе одно место, где автор, говоря о споре между этолийцами и римлянами — кто из них больше прославился в совместно выигранной ими битве,— кажется, придает значение тому, что в греческих песнях этолийцев называли раньше римлян, если только в переводе этого места на французский не допущена какая-нибудь двусмысленность.

Женщины принимали мужчин в банях; там же их рабы мужеского пола растирали их и умащали:

Inguina succinctus nigra tibi servus aluta
Stat, quoties calidis nuda foveris aquis *.

Чтобы меньше потеть, женщины присыпали кожу особым порошком.

Древние галлы, свидетельствует Сидоний Аполлинарий, спереди носили длинные волосы, а затылок выстригали — этот обычай недавно перенял наш изнеженный и расслабленный век [13].

Римляне платили судовладельцам за перевоз при отплытии; мы же расплачиваемся по прибытии к месту назначения:

dum as exigitur, dum mula ligatur,
Tota abit hora **.

Женщины ложились на краю постели. Вот почему Цезаря прозвали spondam regis Nicomedis ***.

---

* Раб с прикрытыми черным передником чреслами прислуживает тебе всякий раз, когда ты, нагая, обливаешься теплой водой [12] (*лат.*).

** ...пока уплатили, пока впрягли мула, прошел целый час [14] (*лат.*).

*** Краем ложа царя Никомеда [15] (*лат.*).

Они пили вино меньшими глотками, чем мы, и разбавляли его водой:

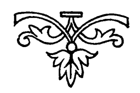
quis puer ocius
Restinguet ardentis falerni
Pocula praetereunte lympha? *

Наглые выходки наших лакеев были в ходу и у их слуг:

O Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit,
Nec manus auriculas imitata est mobilis albas,
Nec linguae quantum sitiat canis Apula tantum **.

Аргивянки и римлянки носили траур белого цвета, как женщины и у нас делали в старину и, на мой взгляд, должны были бы делать и ныне.

Но обо всех этих вещах написаны целые томы.



Глава L
О ДЕМОКРИТЕ И ГЕРАКЛИТЕ

Рассуждение есть орудие, годное для всякого предмета, и оно примешивается всюду. По этой причине в моих опытах я пользуюсь им при любом случае. Если речь идет о предмете, мне неясном, я именно для того и прибегаю к рассуждению, чтобы издали нащупать брод и, найдя его слишком глубоким для моего роста, стараюсь держаться поближе к берегу. Но уже понимание того, что переход невозможен, есть результат рассуждения, притом один из тех, которыми способность рассуждения может больше всего гордиться. Иногда я беру предмет пустой и ничтожный и пытаюсь придать ему основательность, размышляя, чем бы его поддержать и подкрепить. Иногда же я применяю рассуждение к предмету возвышенному и часто разрабатывавшемуся; в этом случае ничего своего не найдешь — дорога уже настолько избита, что можно идти только по чужим следам. Тогда игра рассуждающего состоит в том, чтобы избрать путь, который ему представляется наилучшим, и установить, что из тысячи тропок надо предпочесть ту или эту. Я беру наудачу первый попавшийся сюжет. Все они одинаково хороши. И я никогда не стараюсь исчерпать мой сюжет до конца, ибо ничего не могу охватить в целом,

* ...какой другой мальчик скорее охладит чаши пламенного фалерна влагой протекающего рядом ручья? [16] (*лат.*).

** О Янус! Тебе никто не мог бы показать сзади кукиш, или быстрым движением рук — ослиные уши, или язык, длинный, как у апулийской собаки, которой хочется пить [17] (*лат.*).

и полагаю, что не удается это и тем, кто обещает нам показать это целое. Каждая вещь состоит из многих частей и сторон, и я беру всякий раз какую-нибудь одну из них, чтобы лизнуть или слегка коснуться, хотя порою вгрызаюсь и до кости. Я стараюсь по возможности идти не столько вширь, сколько вглубь, и порою мне нравится смотреть на вещи под необычным углом зрения. Если бы я знал себя хуже, то, может быть, и попытался бы досконально исследовать какой-нибудь вопрос. Я бросаю тут одно словечко, там другое — слова отрывочные, лишенные прочной связи,— не ставя себе никаких задач и ничего не обещая. Таким образом, я не обязываю себя исследовать свой предмет до конца или хотя бы все время держаться его, но постоянно перебрасываюсь от одного к другому, а когда мне захочется, предаюсь сомнениям, неуверенности и тому, что мне особенно свойственно,— сознанию своего неведения.

Каждое наше движение раскрывает нас. Та же самая душа Цезаря, которая проявилась в воинском искусстве во время битвы при Фарсале, обнаружила себя и в его досужих и любовных похождениях. О лошади мы должны судить не только по тому, как она несется вскачь, но и по тому, как она идет шагом и даже как ведет себя, когда спокойно стоит в своем стойле.

Среди отправлений человеческой души есть и низменные: кто не видит и этой ее стороны, тот не может сказать, что знает ее до конца. И случается, что легче всего постичь душу человеческую тогда, когда она идет обычным своим шагом. Ибо бури страстей захватывают чаще всего наиболее возвышенные ее проявления. Вдобавок она предается вся целиком каждому затронувшему ее предмету, отдает ему все свои силы, никогда не увлекается сразу двумя предметами и всегда рассматривает то, что в данное время притягивает ее, исходя не из его сущности, а из своей собственной. Вещи, находящиеся вне ее, может быть, и обладают своим весом, своими мерами, своими свойствами, но внутри нас, в нашем душевном восприятии, мы перекраиваем их на свой лад. Смерть представляется ужасной Цицерону, желанной Катону, безразличной Сократу. Здоровье, сознание, власть, наука, богатство, красота и все, что им противоположно, совлекают с себя у порога все свои облачения и получают от нашей души новые одежды такой расцветки, какая ей больше нравится — коричневой, зеленой, светлой, темной, яркой, нежной, глубокой, поверхностной. И притом каждая душа судит по-своему, ибо они не согласуют между собой свои стили, правила и формы: каждая сама себе госпожа. Поэтому не будем ссылаться на внешние свойства вещей: мы сами представляем их себе такими, а не иными. Наше счастье или несчастье зависят только от нас самих.

Вот куда нам следует обращаться с дарами и обетами, а не к судьбе. Наши нравы зависят не от нее, наоборот, они увлекают ее за собой и придают ей тот или иной облик по образу своему и подобию. Разве не могу я составить себе мнение об Александре на основании того, как ведет он себя за столом, как беседует и пьет или как он играет в шахматы? Каких только струн его души не затрагивала эта пустая детская игра?

Я лично терпеть ее не могу и всячески избегаю именно за то, что она — недостаточно игра и захватывает нас слишком всерьез; мне совестно уделять ей столько внимания, которое следовало бы отдать на что-либо лучшее. Александр не больше ломал себе голову над планом похода на Индию, или какой-либо другой великий человек,— разыскивая путь. от которого зависит спасение человечества. Посмотрите, как наша душа придает этой смешной забаве значение и смысл, как напрягаются все наши нервы и как благодаря этому она дает возможность любому человеку познать себя самого и непосредственно судить о себе. Какие только страсти не возбуждаются при этой игре! Гнев, досада, ненависть, нетерпение и пламенное честолюбивое стремление к победе в состязании, в котором гораздо извинительнее было бы гордиться поражением, ибо недостойно порядочного человека иметь редкие, выдающиеся над средним уровнем способности в таком ничтожном деле. То, что я говорю по поводу этого примера, может быть сказано о любом другом. Каждая мелочь, каждое занятие человека выдает его полностью и показывает во весь рост так же, как и всякий другой пустяк.

Демокрит и Гераклит — два философа; из коих первый, считая судьбу человека ничтожной и смешной, появлялся на людях не иначе, как с насмешливым и смеющимся лицом. Напротив, Гераклит, у которого тот же удел человеческий вызывал жалость и сострадание, постоянно ходил с печальным лицом и полными слез глазами:

alter
Ridebat, quoties a limine moverat unum
Protuleratque pedem; flebat contrarius alter *.

Настроение первого мне нравится больше — не потому, что смеяться приятнее, чем плакать, а потому, что в нем больше презрения к людям, и оно сильнее осуждает нас, чем настроение второго; а мне кажется, что нет такого презрения, которого мы бы не заслуживали. Жалость и сострадание всегда связаны с некоторым уважением к тому, что вызывает их; тому же, над чем смеются, не придают никакой цены. Я не думаю, чтобы злонамеренности в нас было так же много, как суетности, и злобы так же много, как глупости: в нас меньше зла, чем безрассудства, и мы не столь мерзки, сколь ничтожны. Так, Диоген, который бездельничал в уединении, катая свою бочку и воротя нос от великого Александра, и считал нас чем-то вроде мух или надутых воздухом пузырей, был судьей более язвительным и жестоким, а следовательно, на мой взгляд, и более справедливым, чем Тимон, прозванный человеконенавистником [2]. Ибо раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу. Тимон желал нам зла, страстно жаждал нашей гибели и избегал общения с нами, как с существами опасными, зловредными и развращенными. Диоген же ставил нас ни во что; общение с нами не могло ни смутить его, ни изменить его настроения; он не желал иметь с нами дела не из каких-либо

* Как только они выходили за порог дома, один смеялся, другой же, напротив, плакал [1] (*лат.*).

опасений, но от презрения к нашему обществу, считая нас не способными ни к добру, ни ко злу.

Такого же рода был ответ Статилия Бруту, склонявшему его присоединиться к заговору против Цезаря: замысел этот он нашел справедливым, но не видел людей, достойных того, чтобы сделать ради них хоть малейшее усилие. Тут он следовал учению Гегесия[3], который утверждал, что мудрец должен заботиться только о себе самом, ибо лишь он один и достоин того, чтобы для него было что-нибудь сделано, а также учению Феодора[4], считавшего, что было бы несправедливо, если бы мудрец рисковал собой для блага своей родины и мудрость подвергал опасности ради безумцев.

Наши природные и благоприобретенные свойства столь же нелепы, как и смешны.



Глава LI
О СУЕТНОСТИ СЛОВ

Один ритор былых времен говорил, что его ремесло состоит в том, чтобы вещи малые изображать большими. Пригонять большие сапоги к маленькой ноге — искусство сапожника. В Спарте его подвергли бы бичеванию за то, что он сделал своим ремеслом обман и надувательство. Я думаю, что Архидам, который был царем Спарты, не без удивления выслушал ответ Фукидида[1] на свой вопрос, кто сильнее в единоборстве — он или Перикл. «Это,— сказал Фукидид,— было бы трудно проверить; ибо если бы я свалил его на землю, он сумел бы убедить зрителей, что он не упал, а одержал верх». Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика — потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее. Государства, в управлении которыми господствовал твердый порядок, как, например, критское или лакедемонское, не придавали большого значения ораторам.

Аристон[2] мудро определяет риторику: искусство убеждать народ; Сократ и Платон: искусство льстить и обманывать[3], а те, кто отвергает такое общее определение, подтверждают его правильность в своих частных наставлениях.

Магометане запрещают обучать своих детей риторике ввиду ее бесполезности. А афиняне, у которых она была в большом почете, заметив, сколь губительно оказываемое ею действие, предписали устранить из нее самое главное — все, что возбуждало волнение чувств, вместе со вступлениями и заключениями.

Это орудие, изобретенное для того, чтобы волновать толпу и управлять неупорядоченной общиной, применяется, подобно лекарствам, только в нездоровых государственных организмах. Ораторы во множестве расплодились там, где простонародье, невежды и вообще все без разбору пользовались властью, как, например, в Афинах, на Родосе, в Риме, и где вся общественная жизнь протекала бурно. И действительно, в этих государствах было мало влиятельных людей, которые выдвинулись бы без помощи красноречия: при его поддержке достигли, в конце концов, высших должностей такие люди, как Помпей, Цезарь, Красс, Лукулл, Лентул, Метелл [4], и оно помогло им больше, чем сила оружия, вопреки воззрениям лучших времен. Ибо Луций Волумний, выступая публично в пользу избрания консулами Квинта Фабия и Публия Деция, сказал: «Это — мужи, рожденные для войны, великие в действии, суровые в словесных схватках, истинно консульские умы; утонченные, красноречивые и ученые, они хороши для городских должностей в качестве преторов, отправляющих правосудие».

Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясали бури гражданской войны, подобно тому как на невозделанном и запущенном поле пышнее всего разрастаются сорные травы. Из этого можно сделать вывод, что государства, где правит монарх, нуждаются в красноречии меньше, чем все другие. Ибо массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей. На подобном легкомыслии, говорю я, не так легко играть, когда речь идет об одном человеке, которого к тому же легче предохранить хорошим воспитанием и добрыми советами от этого яда. Недаром из Македонии или Персии не вышло ни одного знаменитого оратора.

Все сказанное пришло мне в голову после недавнего разговора с одним итальянцем, который служил дворецким у кардинала Караффы [5] до самой его смерти. Я попросил его рассказать мне о должности, которую он отправлял. Он произнес целую речь об этой науке ублаготворения глотки со степенностью и обстоятельностью ученого, словно толковал мне какой-нибудь важный богословский тезис. Он разъяснил мне разницу в аппетитах — какой у человека бывает натощак, какой после второго и какой после третьего блюда; изложил средства, которыми его можно или просто удовлетворить, или возбудить и обострить; дал обстоятельное описание соусов, сперва общее, а затем частное, остановившись на качестве отдельных составных частей и на действии, которое они производят; рассказал о различии салатов в зависимости от времени года,— какие из них следует подогревать, какие лучше подавать холодными, каким способом их убирать и украшать, чтобы они были еще и приятны на вид. После этого он стал распространяться о порядке подачи кушаний, высказав много прекрасных и важных соображений:

nec minimo sane discrimine refert
Quo gestu lepores, et quo gallina secetur *.

* ...и вовсе не безразлично, каким образом следует разрезать курицу или зайца [6] (*лат.*).

И все это в великолепных и пышных выражениях, таких, какие употребляют, говоря об управлении какой-нибудь империей. Этот человек привел мне на память следующие строки:

Hoc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum est parum,
Illud recte: iterum sic memento; sedulo
Moneo quae possum pro mea sapientia.
Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,
Inspicere iubeo, et moneo quid facto usus sit *.

Впрочем, даже греки весьма хвалили порядок и устройство пиршества, которое Павел Эмилий [8] дал им по своем возвращении из Македонии; но здесь я говорю не о существе дела, а о словах.

Не знаю, как у других, но когда я слышу, как наши архитекторы щеголяют пышными словами вроде: пилястр, архитрав, карниз, коринфский и дорический ордер, и тому подобными из их жаргона, моему воображению представляется дворец Аполидона [9]; а на самом деле я вижу здесь только жалкие доски моей кухонной двери.

Вы слышите, как произносят слова метонимия, метафора, аллегория и другие грамматические наименования, и не кажется ли вам, что обозначаются таким образом формы необычайной, особо изысканной речи? А ведь они могут применяться и к болтовне вашей горничной.

Подобный же обман — давать нашим государственным должностям великолепные римские названия, хотя наши должности по характеру выполняемых обязанностей имеют очень мало общего с римскими, а по размерам власти и могущества — еще меньше. Укажу еще на один обман, который, по-моему, когда-нибудь будет приводиться в доказательство исключительной умственной ограниченности нашего времени, — это наделять без всяких оснований кого угодно славными прозваниями, которыми древние почтили только одного-двух выдающихся людей на протяжении целых столетий. Прозвание «божественный» было дано Платону всеобщим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать. Но итальянцы, которые не без основания могут похваляться тем, что ум у них более развит, а суждения более здравы, чем у других народов нашего времени, недавно почтили этим прозвищем Аретино [10], который, на мой взгляд, ничем не возвышается над средним уровнем писателей своего времени, если не считать его пышной и заостренной манеры, не лишенной изысканности, но искусственной и надуманной, и кроме того — обычного красноречия, а уж до «божественности» в том смысле, какой придавали этому слову древние, ему далеко. А прозвище «великий» мы часто даем государям, которые отнюдь не возвышаются над любым средним человеком.



* «То пересолено, а то подгорело, а то получилось слишком сухим; а вот это хорошо приготовлено; запомни же, чтобы и другой раз так сделать». Так-то учу я их старательно, в меру моего разумения. Словом, Демеа, я велю им смотреть в кастрюли, словно в зеркало, и наставляю по части всего, что следует делать [7] (*лат.*).

Глава LII
О БЕРЕЖЛИВОСТИ ДРЕВНИХ

Аттилий Регул [1], командовавший римскими войсками в Африке, в самый разгар своей славы и своих побед над карфагенянами обратился к республике с письмом, в котором сообщал, что слуга, которому он поручил управлять своим имением, состоявшим из семи арпанов земли, бежал, захватив с собой все земледельческие орудия; поэтому Регул просил предоставить ему отпуск, чтобы он мог вернуться и привести свое хозяйство в порядок, так как он боялся, что его жена и дети могут от этого пострадать. Сенат позаботился о том, чтобы в имение Регула был послан другой управляющий, велел возместить Регулу все убытки и, кроме того, распорядился, чтобы его жена и дети получали содержание от государства.

Катон Старший, возвращаясь из Испании, чтобы занять должность консула, продал лошадь, каковой пользовался, желая сберечь деньги, которые пришлось бы заплатить за ее перевозку морем в Италию. Будучи правителем Сардинии, он по всем своим делам ходил пешком в сопровождении одного лишь служителя, состоявшего на жалованье у республики и носившего за ним его мантию и сосуд для совершения жертвоприношений; чаще всего, впрочем, свою поклажу он носил сам. Он хвалился тем, что никогда не имел одежды, стоившей дороже десяти экю, и никогда не тратил на рынке больше десяти су в день; хвалился он также и тем, что ни один из его деревенских домов не был оштукатурен и побелен снаружи. Сципион Эмилиан [2], после того как он получил два триумфа и дважды был избран консулом, отправился легатом в провинцию в сопровождении всего семи слуг. Утверждают, что у Гомера никогда не было больше одного слуги, у Платона более трех, а у Зенона, главы стоической школы, не было даже и одного.

Когда Тиберий Гракх, бывший тогда первым среди римлян, уезжал по делам республики, ему назначали содержание в размере всего пяти с половиной су в день.



Глава LIII
ОБ ОДНОМ ИЗРЕЧЕНИИ ЦЕЗАРЯ

Если бы мы хоть изредка находили удовольствие в том, чтобы присматриваться к самим себе, и время, которое мы затрачиваем на наблюдение за другими и ознакомление с вещами, до нас не касающимися, употребляли на изучение самих себя, то быстро поняли бы, какое ненадежное и хрупкое сооружение наше «я». Разве не является удивительным свиде-

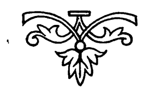
тельством несовершенства неспособность наша по-настоящему удовлетвориться чем-либо, равно как и то обстоятельство, что даже в желании и воображении не способны мы выбрать то, что нам нужнее всего? Об этом ясно свидетельствует извечный великий спор между философами — в чем заключается высшее благо для человека,— который еще продолжается и будет продолжаться вечно, не находя ни решения, ни примирения;

> dum abest quod avemus, id exsuperare videtur
> Cetera; post aliud cum contigit illud avemus,
> Et sitis aequa tenet *.

С чем бы мы ни знакомились, чем бы ни наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет, и жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить: не потому, на мой взгляд, что в нем нет ничего, могущего нас насытить, а потому, что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные:

> Nam, cum vidit hic, ad usum quae flagitat usus,
> Omnia iam ferme mortalibus esse parata,
> Divitiis homines et honore et laude potentes
> Affluere, atque bona natorum excellere fama,
> Nec minus esse domi cuiquam tamen anxia corda,
> Atque animum infestis cogi servire querelis:
> Intellexit ibi vitium vas efficere ipsum,
> Omniaque illius vitio corrumpier intus,
> Quae collata foris et commoda quaeque venirent **.

Наше алкание неустойчиво и ненадежно: оно не способно ничего удержать, не способно дать нам чем-либо насладиться по-настоящему. Человек, полагая, что недостаток — в самих вещах, начинает вкушать и поглощать другие вещи, которых он доселе не знал, с которыми еще не ознакомился; к ним устремляет он свои желания и надежды, их он уважает и чтит, как об этом сказал Цезарь: Communi fit vitio naturae ut invisis, latitantibus atque incognitis rebus magis confidamus, vehementiusque exterreamur ***.



* ...пока у нас нет того, к чему мы стремимся, нам кажется, что эта вещь превосходит все прочее; а получив ее, мы начинаем столь же страстно желать чего-то другого [1] (*лат.*).

** Когда он [Эпикур] увидел, что смертные обладают почти всем необходимым и что даже те из них, которые наделены богатствами, почестями и уважением и которых отличает добрая слава их сыновей, в душе и в сердце своем все же терзаются тревогой, а их душа поневоле предается горестным жалобам, он понял, что все зло — в самом сосуде, обладающем неким изъяном и потому портящем самую драгоценную влагу, вливаемую в него [2] (*лат.*).

*** Таков порок, присущий нашей природе; вещи невидимые, скрытые и непознанные порождают в нас и бо́льшую веру и сильнейший страх [3] (*лат.*).

Глава LIV

О СУЕТНЫХ УХИЩРЕНИЯХ

Часто люди пытаются добиться одобрения путем легкомысленных суетных ухищрений. Таковы поэты, которые сочиняют длинные творения, состоящие из стихов, начинающихся с какой-либо одной буквы; так в древности греки подбирали размеры своих стихов, удлиняя или укорачивая строки таким образом, чтобы из сочетания этих строк образовывались какие-нибудь фигуры — яйца, шарики, крылья, топоры; такова же была мудрость и того человека, который увлекся вычислением, сколькими различными способами можно расположить буквы алфавита, обнаружив, в конце концов, как рассказывает об этом Плутарх, что существует невероятное количество таких комбинаций [1]. Я нахожу правильным мнение о подобных вещах одного человека, которому показали искусника, научившегося так ловко метать рукой просяное зерно, что оно безошибочно проскакивало через ушко иголки; когда этого человека попросили вознаградить столь редкое искусство каким-либо подарком, он отдал забавное и, по-моему, вполне правильное приказание выдать искуснику две-три меры проса, чтобы он мог сколько угодно упражняться в своем прекрасном искусстве [2]. И поразительное свидетельство немощности нашего разума заключается в том, что он оценивает всякую вещь с точки зрения ее редкости и новизны, а также малодоступности, хотя бы сама по себе она и не содержала в себе ничего хорошего и полезного.

Недавно у меня в доме мы занялись игрой — кто подберет большее количество слов, выражающих два совершенно противоположных значения, как, например, sire, которое обозначает титул, присвоенный самой высокой особе в нашем государстве — королю, но применимо также и к простым людям, например торговцам, не касаясь, однако, лиц, занимающих промежуточное между ними положение. Женщину высокопоставленную называют — dame, женщину среднего сословия — demoiselle, а женщин самого низкого состояния опять-таки — dame. Балдахины над столами допускаются только у особ королевской крови и в трактирах.

Демокрит утверждал, что боги и звери обладают более острой чувствительностью, чем люди, которые в этом отношении находятся на среднем уровне [3]. Римляне носили одинаковые одежды в траурные и в праздничные дни. Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызывают понос.

Прозвище «дрожащий», полученное двенадцатым королем Наварры Санчо, доказывает, что смелость заставляет наши члены дрожать, подобно страху. Однажды слуги, надевая на своего господина доспехи и видя его дрожь, пытались ободрить его и стали приуменьшать опасность, которой ему предстояло подвергнуться, но он сказал им: «Вы плохо меня знаете. Если бы тело мое представляло себе, куда увлечет его сейчас моя храбрость, оно бы, объятое смертным холодом, упало на землю».

Слабость, овладевающая нами вследствие холодности и отвращения к венериным играм, возникает у нас также и от чрезмерных желаний и необузданной пылкости. Слишком сильный холод и слишком сильный жар могут варить и жарить. Аристотель утверждает, что слитки свинца размягчаются и плавятся от холода и от зимних морозов так же, как от сильного жара [4]. Вожделение и пресыщение в равной мере заставляют страдать нас и когда мы еще не достигли наслаждения, и когда мы перешли его границы. Глупость и мудрость сходятся в одном и том же чувстве и в одном и том же отношении к невзгодам, которые постигают человека: мудрые презирают их и властвуют над ними, а глупцы не отдают себе в них отчета; вторые, если можно так выразиться, не доросли до них, первые их переросли. Мудрые, хорошо взвесив и рассмотрев свойства наших несчастий, измерив их и обсудив их истинную природу, возвышаются над ними мощным и мужественным порывом: они презирают их, попирают ногами, ибо обладают такой силой и крепостью духа, что стрелы злого рока, попадая в них, неизбежно должны отскакивать и притупляться, как от встречи с твердым телом, в которое им не проникнуть. Люди обыкновенные, средние, находятся между двумя этими крайностями — они сознают свои беды, ощущают их и не имеют силы их перенести. Детство и старческая дряхлость сходны умственной слабостью, алчность и расточительность — стремлением приобретать, увеличивать свое достояние.

Есть все основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества так же создается и порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею.

Простые умы, мало любознательные и мало развитые, становятся хорошими христианами из почтения и покорности; они бесхитростно веруют и подчиняются законам. В умах, обладающих средней степенью силы и средними способностями, рождаются ошибочные мнения. Они следуют за поверхностным здравым смыслом и имеют некоторое основание объяснять простотой и глупостью то, что мы придерживаемся старинного образа мыслей, имея в виду тех из нас, которые не просвещены наукой. Великие умы, более основательные и проникновенные, являют собой истинно верующих другого рода: они длительно и благоговейно изучают Священное писание, обнаруживают в нем более глубокую истину и, озаренные ее светом, понимают сокровенную и божественную тайну учения нашей церкви. Все же мы видим, что некоторые достигают этой высшей ступени через промежуточную, испытав при этом величайшую радость и убежденность в том, что ими достигнута последняя грань христианского просвещения, и наслаждаются своей победой, нравственно перерожденные, исполненные умиления, благодарности и величайшей скромности. Но в их число я не хотел бы включать тех людей, которые, желая очиститься от всякого подозрения в склонности к своим прежним заблуждениям и убедить нас в своей твердости, впадают в крайность, становятся нетерпимыми и несправедливыми в отстаивании нашего дела и пятнают его, вызывая постоянные упреки в жестокости.

Простые крестьяне — честные люди; честные люди также философы, натуры глубокие и просвещенные, обогащенные обширными познаниями в области полезных наук. Но метисы, пренебрегшие состоянием первоначального неведения всех наук и не сумевшие достигнуть второго, высшего состояния (то есть сидящие между двух стульев, как, например, я сам и многие другие), опасны, глупы и вредны: они-то и вносят в мир смуту. Что касается меня, то я стараюсь, насколько это в моих силах, вернуться к первоначальному, естественному состоянию, которое совсем напрасно пытался покинуть.

Народная и чисто природная поэзия отличается непосредственной свежестью и изяществом, которые уподобляют ее основным красотам поэзии, достигшей совершенства благодаря искусству, как свидетельствуют об этом гасконские вилланели [5] и поэтические произведения народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности. Поэзия посредственная, занимающая место между народною и тою, которая достигла высшего совершенства, заслуживает пренебрежения, недостойна того, чтобы цениться и почитаться.

Однако, предавшись подобным умственным изысканиям, я увидел, как это часто бывает, что мы принимали за трудную и необычную работу то, что на самом деле не таково; находчивость наша, обострившись, обнаруживает бесконечное количество подобных примеров. Я приведу здесь только один: если стоит говорить об этих моих «Опытах», то может случиться, думается мне, что они не придутся по вкусу ни умам грубым и пошлым, ни умам исключительным и выдающимся. Те их не поймут, эти поймут слишком хорошо; и придется им удовольствоваться читателем среднего умственного уровня.



Глава LV

О ЗАПАХАХ

О некоторых людях — к ним относится Александр Великий — говорят, что их пот издавал приятный запах, благодаря каким-то редким и исключительным особенностям их телесного устройства. Причину этого пытались выяснить Плутарх и другие [1]. Но обычно человеческие тела устроены совсем по-иному: лучше всего, если они вовсе не имеют запаха. Самым чистым и сладостным дыханием — например, дыханием здорового ребенка — мы восхищаемся потому, что оно лишено какого бы то ни было неприятного запаха. Вот почему, как говорит Плавт,

Mulier tum bene olet, ubi nihil olet *.

* Женщина пахнет хорошо, когда она ничем не пахнет [2] (*лат.*).

Лучше всего ведет себя та женщина, о поведении которой ничего не знают и не слышат. Что же касается приятных запахов, заимствованных извне, то мне кажется правильным мнение, что люди пользуются духами для того, чтобы скрыть какой-нибудь природный недостаток. Отсюда такое отождествление у древних поэтов: благоухание у них часто означает вонь —

Rides nos, Coracine, nil olentes
Malo quam bene olere nil olere *,

и в другом месте:

Posthume, non bene olet, qui bene semper olet **.

Тем не менее я очень люблю вдыхать приятные запахи и до крайности ненавижу дурные, ибо к ним я чувствительнее, чем кто-либо другой:

Namque sagacius unus odoror,
Polypus, an gravis hirsutis cubet hircus in alis.
Quam canis acer ubi lateat sus ***.

Самые простые и естественные запахи для меня всего приятнее. И это в особенности касается женщин. Во времена самого грубого варварства скифские женщины, помывшись, пудрили и мазали себе лицо и тело ароматическим снадобьем, распространенным в их стране; перед тем, как сблизиться с мужчиной, они снимали эти притирания, и тело их становилось гладким и благоухающим.

Удивительно, до какой степени пристают ко мне всевозможные запахи, до какой степени моя кожа обладает способностью впитывать их в себя. Тот, кто жалуется, что природа не наделила человека особым орудием для того, чтобы подносить запахи к носу, неправ, ибо запахи сами проникают в нос. Мне же, в частности, очень помогают в этом отношении мои пышные усы. Стоит мне поднести к ним мои надушенные перчатки или носовой платок, и запах будет держаться на них потом целый день. По ним можно обнаружить, откуда я пришел. Когда-то, в дни юности, крепкие поцелуи, сладкие, жадные и сочные, прилипали к ним и часами удерживались на них. И, однако, я мало подвержен тем повальным болезням, которые передаются при соприкосновении человека с человеком или чрез зараженный воздух. В свое время я счастливо избег таких заболеваний, свирепствовавших в наших городах и среди войск. О Сократе мы читаем, что хотя он не покидал Афин в то время, как их несколько раз посещала чума, он один ни разу ею не заразился [6]. Я полагаю, что врачи могли бы лучше использовать запахи, чем они это делают, ибо часто замечал, что от запахов изменяется мое состояние, так они действуют на мое настроение в зависимости от своих свойств. И в этом я нахожу

---

* Ты смеешься надо мной, Корацин, что я ничем не пахну; но я предпочитаю ничем не пахнуть, чем благоухать [3] (*лат.*).

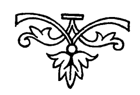
** Постум, нехорошо пахнет тот, кто всегда благоухает [4] (*лат.*).

*** Мое обоняние, Полип, различает козлиный запах волосатых подмышек лучше, чем пес с самым острым нюхом чует логово вепря [5] (*лат.*).

подтверждение моего взгляда, что употребление ладана и других ароматов в церквах, распространенное с древнейших времен среди всех народов и во всех религиях, имеет целью пробудить, очистить и возвеселить наши чувства, сделав нас тем самым более способными к созерцанию.

Чтобы лучше судить об этом, я хотел бы попробовать стряпню тех поваров, которые умеют приправлять кушанья различными ароматическими веществами, как это бросалось в глаза во время трапез короля тунисского, который в наши дни прибыл в Неаполь для свидания с императором Карлом[7]. У него кушанья начинялись душистыми пряностями, и притом так щедро, что один павлин и два фазана, приготовленные по их способу, обходились в сотню дукатов. Когда их разрезали, то не только в пиршественной зале, но и во всех комнатах дворца и даже в соседних домах распространялись сладостные испарения, которые улетучивались не скоро.

Отыскивая себе жилье, я прежде всего забочусь о том, чтобы избежать тяжелого и зловонного воздуха. Пристрастие, которое я питаю к прекрасным городам Венеции и Парижу, ослабляется из-за острого запаха стоячей воды в Венеции и грязи в Париже.



Глава LVI

О МОЛИТВАХ[1]

Я предлагаю вниманию читателя мысли неясные и не вполне законченные, подобно тем, кто ставит на обсуждение в ученых собраниях сомнительные вопросы: не для того, чтобы найти истину, но чтобы ее искать. И подчиняю эти свои мысли суждению тех, кто призван направлять не только мои действия и мои писания, но и то, что я думаю. Мною принято будет и обращено мне же на пользу осуждение так же, как и одобрение, ибо сам я сочту нечестием, если окажется, что по неведению или небрежению позволил себе высказать что-либо противное святым установлениям католической апостольской римской церкви, в которой умру и в которой родился. И все же, отдаваясь всегда во власть их цензуры, которой целиком подчиняюсь, я имею дерзновение коснуться здесь подобных предметов.

Не знаю, ошибочно ли мое мнение, но поскольку богу угодно было по особой своей милости и благоволению предписать нам и продиктовать собственными устами особый вид молитвы, мне всегда казалось, что мы должны были бы пользоваться ею чаще, чем это делаем. И по моему убеждению, перед едой и после еды, перед сном и после пробуждения и при всех обстоятельствах вообще, когда мы обычно молимся, христианам сле-

довало бы читать «Отче наш», если не в качестве единственной молитвы, то во всяком случае неизменно. Церковь может увеличить количество молитв, разнообразить их, наставляя нас в том или ином отношении по мере надобности: ибо я хорошо знаю, что сущность их и предмет всегда одни и те же. Но этой именно молитве подобало бы отдать предпочтение, чтобы она постоянно была у всех на устах. Ибо не подлежит сомнению, что в ней сказано все необходимое и что она подходит для всех случаев жизни. Это единственная молитва, которой я пользуюсь неизменно, и я повторяю ее, вместо того, чтобы заменить другой.

Благодаря этому ни одной молитвы я не помню так хорошо, как эту.

Теперь я думаю о том, откуда взялось у нас ошибочное стремление прибегать к богу во всех наших намерениях и предприятиях, призывать его во всех наших нуждах и во всех делах, в которых нам по слабости нашей требуется помощь, не заботясь о том, справедливы или несправедливы наши желания, и взывать к имени его и могуществу во всяком положении и во всяком деле, даже в самом порочном.

Конечно, он — единственный наш защитник, и в его власти все средства, чтобы нам помочь. Но, не говоря уже о том, угодно ли ему будет удостоить нас своей сладостной отеческой милости, он так же справедлив, как благостен и всемогущ. И справедливость свою он являет чаще, чем всемогущество, благодетельствуя нам в меру ее требований, а не согласно нашим просьбам.

Платон в своих законах указывает на три ошибочных суждения о богах: что их вовсе нет, что они не вмешиваются в наши дела и что они ни в чем не отказывают нам, когда мы прибегаем к ним с молитвами, обетами и жертвоприношениями. По его мнению, никогда не бывает, чтобы первое из названных заблуждений прочно укоренялось в человеке с детства до старости. Два других могут оказаться более упорными [2].

Справедливость божия и его могущество нераздельны. Тщетно призываем мы силу его к себе на помощь в неправом деле. Хотя бы в то мгновение, когда мы обращаемся к нему с молитвой, душа у нас должна быть чистой и свободной от порочных страстей; в противном случае мы сами подносим ему те бичи, которыми он нас карает. Вместо того чтобы очиститься от греха, мы удваиваем его, прибегая к тому, у кого должны просить прощения, с чувствами неблагоговейными и полными ожесточения. Вот почему я не слишком восхищаюсь теми, кто молится богу особенно часто и усердно, если их поступки, совершаемые после молитвы, не свидетельствуют о раскаянии и исправлении:

si, nocturnus adulter,
Tempora santonico velas adoperta cucullo *.

И поведение человека, который сочетает гнусную жизнь с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека,

---

* ...если ты, ночной прелюбодей, скрываешь свое лицо под галльским плащом с капюшоном [3] (*лат.*).

верного себе во всем и всегда одинаково порочного. Вот почему наша церковь всегда отвергает человека, упорствующего в каком-нибудь важном грехе, и закрывает перед ним свои двери.

Молимся мы по обычаю и по привычке или, вернее сказать, мы просто читаем или произносим слова молитв. В конце концов, это всего-навсего личина благочестия.

Мне противно бывает, когда люди трижды осеняют себя крестом во время benedicite[4] и столько же раз во время благодарственной молитвы, а во все остальные часы дня упражняются в ненависти, жадности и несправедливости; и тем более противно мне это, что сам я весьма почитаю крестное знамение, постоянно осеняю себя крестом и даже, зевая, крещу себе рот. Порокам свой час, богу — свой; так люди словно возмещают и уравновешивают одно другим. Просто диву даешься, как это столь разные дела совершают они одно за другим и с таким неизменным рвением, что при этом не заметно никакого перерыва, никакого изменения даже при переходе от одного к другому.

Поистине чудовищной должна быть совесть, которая остается невозмутимой, давая приют под одной кровлей, в столь согласном и мирном сообществе, и преступнику и судье! Что может говорить о делах своих господу человек, у которого на уме одно только распутство и который знает, сколь мерзостно оно пред лицом всевышнего? Он обращается к богу лишь для того, чтобы тотчас же снова пасть. Если, как он уверяет, мысль о божьем правосудии и ощущение его во время молитвы поражают и потрясают его душу, то, как бы кратко ни было раскаяние, один страх божий так часто возвращал бы его мысль к покаянию, что он тотчас же побеждал бы угнездившиеся и укоренившиеся в нем пороки. Но что сказать о тех, вся жизнь которых основана на том, что они пожинают плоды и выгоды порока, зная, что это смертный грех? А сколько у нас занятий и должностей по самой природе своей порочных! Один человек, открывшись мне, признался в том, что всю свою жизнь исповедовал догматы религии и выполнял ее обряды, хотя и отвергал их в душе, для того чтобы не утратить своего высокого положения и почетных должностей. Как хватило у него духу сделать подобное признание? Каким языком говорят эти люди, обращаясь к правосудию божию? Не дано им право перед богом и перед нами ссылаться на свое раскаянье, ибо оно проявляется лишь в чисто внешнем и поверхностном исправлении. Или они дерзновенно решаются просить прощения, даже не помышляя об искуплении и раскаянии? Я полагаю, что с ними дело обстоит так же, как и с теми, о которых я говорил раньше, только упорство их труднее побороть. Эта противоречивость, эта столь внезапная резкая переменчивость мнений, которую они выказывают, притворяясь перед нами, кажется мне каким-то чудом.

Они являют нам душу в состоянии невыносимой агонии. Каким извращенным представлялось мне воображение тех людей, которые в недавнее время имели обыкновение упрекать каждого, кто сохранял ясность мысли, исповедуя католическую веру, якобы в притворстве, да еще к тому же

утверждать,— по-видимому, желая ему польстить,— что он лишь с виду католик, а в душе не может не признавать истинной религию, реформированную на их лад! Какое докучное и болезненное заблуждение — мнить себя столь мудрым, что даже не допускать мысли о возможности кому-либо другому думать совсем иначе! А еще хуже то, что подобные люди полагают, будто этот другой готов переменчивость земных судеб поставить выше надежд на вечное спасение и угрозы вечного проклятия. Они могут мне поверить. Ибо если в мои юные годы что-нибудь могло совратить меня, то честолюбивое стремление бросить вызов судьбе и преодолеть все опасности, связанные с недавними событиями, сыграло бы здесь немаловажную роль.

Не без достаточных оснований, думается мне, церковь запрещает слишком свободно, смело и неосмотрительно пользоваться теми священными и божественными песнопениями, которые дух святой вложил в уста царя Давида. Примешивать бога к делам нашим допустимо лишь с должным благоговением и осторожностью, проникнутой почитанием и уважением. Голос этот — слишком божественный, чтобы воспроизводить его только ради упражнения легких и удовольствия, доставляемого нашему слуху; эти слова должна повторять совесть наша, а не язык. Безрассудно было бы допускать, чтобы какой-нибудь приказчик из лавки забавлялся и развлекался ими вперемешку со своими суетными и пустыми помыслами.

Столь же неразумно было бы позволять, чтобы в общей зале или на кухне валялись священные книги, излагающие божественные тайны нашей веры. Когда-то они были тайнами, а теперь служат для развлечения и забавы. Предмет столь важный и достойный почитания нельзя изучать в сутолоке и мимоходом. К нему надо приступать сосредоточенно и степенно, предпосылая изучению, в качестве вступления, слова, которыми начинается церковная служба: Sursum corda [5], и даже тело наше необходимо привести в положение, свидетельствующее об особом внимании и уважении.

Это занятие не для всех и каждого: оно подобает лишь тем, кто посвятил себя ему, кто призван для этого богом. Дурным и невежественным людям оно принесет только вред. Священная история рассказывается не для развлечения — ей должно внимать благоговейно, смиренно и с почтением. Как смешны люди, возомнившие, что сделали ее доступной народу, изложив на народном языке! Словно ему достаточно разобраться в словах, чтобы понять все, что написано! Я сказал бы даже больше: вместо того, чтобы приблизить простого человека к священной книге, они удаляют его от нее. Полное незнание, во всем полагающееся на других, было более спасительным и более мудрым, чем эта чисто словесная и пустая наука, питающая в людях самомнение и дерзость.

Я думаю также, что в предоставлении каждому свободы распространять слово божие на всевозможных языках гораздо больше опасности, чем пользы. Евреи, магометане и почти все другие народы приняли и почитают тот язык, на котором впервые открылись им тайны их веры. И не без основания у них запрещено заменять его каким-либо другим. Можем ли мы сказать, что у басков или бретонцев найдутся судьи, до-

статочно сведущие для того, чтобы установить, правильно ли переведено Священное писание на их язык? Для церкви вселенской вопрос этот самый насущный и трудный. В проповедях и словесных поучениях даются толкования менее определенные, более свободные и текучие, и к тому же — по отдельным вопросам, так что это совсем не одно и то же.

Один из греческих историков-христиан справедливо порицает свое время за то, что тайны христианской веры свободно распространялись тогда на площадях, попадая в руки каких-нибудь ничтожных ремесленников, и что каждый мог обсуждать их и толковать по-своему. Он говорит также, что для нас, по благодати божией обладающих чистейшими тайнами благочестия,— величайший стыд допускать, чтобы тайны эти опошлялись в устах простых и невежественных людей,— ведь даже язычники запрещали Сократу, Платону и другим величайшим мудрецам говорить и рассуждать о предметах, порученных ведению дельфийских жрецов. Говорит он и о том, что, когда государи берут ту или иную сторону в богословских спорах, они бывают вооружены не религиозным рвением, но гневом, что рвение воодушевляется божественным разумом и справедливостью и потому всегда спокойно и умеренно в своих проявлениях, однако увлекаемое страстью человеческой, может превратиться в ненависть и зависть, и тогда вместо пшеницы и винограда оно производит плевелы и крапиву. Другой историк, давая советы императору Феодосию, правильно указывал, что диспуты не столько устраняют несогласия в церкви, сколько возбуждают и воодушевляют еретические учения, и что поэтому следует избегать всяческих споров и словопрений и опираться исключительно на предписания и догматы, установленные древними. А император Андроник, встретив у себя во дворце двух вельмож, споривших с Лопадием [6] по одному из важнейших вопросов нашей веры, сурово выбранил их и даже пригрозил утопить в реке, если они тотчас же не перестанут.

В наши дни дети и женщины оспаривают мнения людей самого почтенного возраста и наиболее умудренных в вопросах церковных законов, между тем как первый же закон Платона запрещал им даже осведомляться об основаниях гражданских законов, которые для них должны были являться установлениями божественными. Разрешая старцам обсуждать вопросы законодательства между собой и с должностными лицами, этот платоновский закон добавляет: с тем, чтобы это не происходило в присутствии молодежи или непосвященных.

Некий епископ писал, что на другом конце света есть остров, у древних называвшийся Диоскоридой [7], который отличается здоровым климатом, плодородием, изобилует всякого рода деревьями и плодами и населен племенем, исповедующим христианство, имеющим церкви и алтари, украшенные одним лишь крестом без всяких других изображений. Люди эти тщательно соблюдают посты и праздники, усердно платят десятину священникам и столь целомудренны, что ни один из них не может знать больше одной женщины за всю жизнь. Впрочем, они так довольны своей судьбой, что, живя на острове посреди моря, не имеют понятия о кораб-

лях, и настолько простодушны, что ни слова не разумеют в религиозном учении, которому так старательно следуют. Это могло бы показаться невероятным тому, кто не знает, что некоторые язычники — ревностные идолопоклонники — о богах своих не ведают ничего, кроме их имен и статуй.

Старинное начало «Меланиппы», трагедии Эврипида, гласило:

> О Юпитер! Ибо ничего не знаю я о тебе,
> Кроме одного твоего имени [8].

В наше время мне приходилось слышать жалобы на некоторые произведения, которые упрекают за то, что содержание их — слишком человеческое и философское без всякой примеси богословских рассуждений. Но на подобные жалобы можно не без основания возразить, что божественному учению гораздо лучше занимать особое место, подобающее ему, как царствующему и господствующему; что оно всюду должно быть главенствующим, а не играть подсобной и второстепенной роли; что рассуждения человеческого и философского характера подкреплять примерами из грамматики, риторики, логики гораздо уместнее, чем из предмета столь священного, и что их также лучше брать из области театра, игр и публичных зрелищ; что божественные установления рассматриваются с бо́льшим уважением и почитанием, взятые в отдельности и в соответствующих им выражениях, а не в связи с рассуждениями о человеческом; что гораздо чаще грешат богословы, употребляющие слишком земные слова, чем гуманисты, пишущие недостаточно возвышенно (философия, говорит Иоанн Златоуст, изгонялась святой наукой, как бесполезная служанка, не достойная видеть даже мимоходом, с порога, хранилище священных сокровищ небесного учения); что человеческой речи свойственны формы более низменные и ей не подобают возвышенное достоинство, величие и царственность слова божия. Я бы предоставил ей говорить verbis indisciplinatis * о судьбе, предназначении, случайности, счастье и несчастье, о богах и употреблять другие, свойственные ей выражения.

Я предлагаю домыслы человеческие, и в том числе мои собственные, просто как человеческие, взятые обособленно, а не как установленные и упорядоченные небесным повелением и потому не подлежащие сомнению и непререкаемые: это — дело взгляда на вещи, а не дело веры; как то, что я обсуждаю, согласно своему разумению, а не как то, во что я верю по слову божию. Они подобны тем упражнениям, которые задают детям и которые никак не поучительны, а наоборот, сами нуждаются в поучении. Все это я обсуждаю с мирской точки зрения, а не церковной, хотя и в глубоко благочестивом духе.

И не следует ли считать основательным, во многих отношениях полезным и справедливым предписание о том, чтобы по вопросам религии лишь с чрезвычайной осторожностью писали все те, кто предназначен

---

* Словами грубыми и простыми [9] (*лат.*).

для этого по своему положению? Мне же, быть может, лучше всего не говорить о подобных вещах.

Меня уверяли, что даже те, кто не принадлежит к нашей вере, запрещают у себя употреблять имя божие в повседневной речи. Они не желают, чтобы им пользовались для призывов и восклицаний, для клятв или сравнений, и я нахожу, что в этом они правы. При каких обстоятельствах ни призывали бы мы бога среди наших мирских дел и в общении друг с другом,— это должно совершаться серьезно и благоговейно.

Кажется, у Ксенофонта есть одно место, где он говорит, что нам следует реже молиться богу, поскольку не так легко привести свою душу в состояние сосредоточенности, чистоты и благоговения, в котором ей следует находиться во время молитвы. Иначе моления наши не только тщетны и бесполезны, но даже греховны [10]. Прости нам, говорим мы, как мы прощаем своим обидчикам. Что это значит, если не то, что мы отдаем ему свою душу, очищенную от вражды и жажды мщения? И тем не менее мы обычно взываем к помощи божией даже в греховных своих стремлениях и молим его совершить несправедливость:

Quae, nisi seductis, nequeas committere divis *.

Скупец молится о сохранении своих суетных и излишних сокровищ, честолюбец — о победах, о возможности свободно отдаваться своей страсти; вор просит помочь ему преодолеть опасности и затруднения, противостоящие его зловредным замыслам, или же благодарит за легкость, с какой ему удалось ограбить прохожего. У порога дома, в который грабители пытаются проникнуть по приставной лестнице или взломав замок, возносят они молитвы, питая намерения и надежды, полные жестокости, жадности и сластолюбия:

Hoc ipsum quo tu Iovis aurem impellere tentas,
Dic agedum Staio: Proh Iuppiter, o bone, clamet,
Iuppiter! at sese non clamet Iuppiter ipse **.

Королева Маргарита Наваррская рассказывает о некоем молодом принце (и, хотя она не называет его, легко догадаться, кто это), что, направляясь на любовное свидание с женой одного парижского адвоката, он должен был проходить мимо церкви, и всякий раз, дойдя до этого святого места, он произносил молитву [13]. Предоставляю вам самим судить, для чего ему, преисполненному столь благих помыслов, нужна была помощь божия. Впрочем, королева Наваррская упоминает об этом в доказательство его исключительного благочестия. Но не один этот пример свидетельствует о том, что женщины совершенно не способны рассуждать на богословские темы.

---

* Ты просишь у богов такое, о чем можешь сказать им только тайком [11] (*лат.*).

** Скажи-ка Стаю-то, чем ты стремишься поразить слух Юпитера,— и он, конечно, воскликнет: «О Юпитер, о всеблагой Юпитер!» Да и Юпитер сам не удержится от такого же восклицания [12] (*лат.*).

Истинная молитва, истинное примирение с богом не могут быть доступны душе нечистой, да еще в тот миг, когда она находится во власти сатаны. Тот, кто призывает помощь божию в порочном деле, поступает так, как поступил бы вор, залезший в чужой кошелек и в то же время взывающий к правосудию, или как те, кто упоминает имя божие, лжесвидетельствуя:

tacito mala vota susurro
Concipimus *.

Мало найдется людей, которые решились бы открыто высказать то, о чем тайно просят бога:

Haud cuivis promptum est murmurque humilesque susurros
Tollere de templis, et aperto vivere voto **.

Вот почему пифагорейцы требовали, чтобы люди молились публично и вслух, дабы у бога не просили они о вещах недостойных и неправедных, в таком, например, роде:

clare cum dixit: Apollo!
Labra movet, metuens audiri: Pulchra Laverna,
Da mihi fallere, da iustum sanctumque videri.
Noctem peccatis et fraudibus obice nubem ***.

Боги выполнили неправедные молитвы Эдипа для того, чтобы жестоко покарать его за них. Он молил о том, чтобы дети его силою оружия решили между собою спор о наследовании его престола, и имел несчастье быть пойманным на слове. Не о том следует просить, чтобы все шло по нашему желанию, а о том, чтобы все шло согласно требованиям разума.

И в самом деле, кажется, что мы пользуемся нашими молитвами, словно каким-то условным языком, подобно тем, кто святые и божественные слова применяет для волшебства и магических целей, и что мы полагаем, будто действие молитвы зависит от расположения и последовательности слов, от их звучания или от движений, которые мы делаем во время молитвы. Ибо с душой, полной вожделений, не затронутой раскаяньем или подлинным желанием вновь примириться с богом, мы обращаем к нему эти слова, которые подсказывает нам память, и надеемся таким образом искупить свои прегрешения. Нет ничего более кроткого, ласкового и милосердного к нам, чем божественный закон: он призывает нас к себе, как бы мерзостны и грешны мы ни были; он открывает нам объятия и принимает в лоно свое, как бы мы ни были гнусны, грязны и отвратительны и сейчас и в будущем. Но зато и мы должны взирать на

---

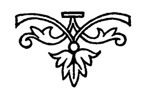
* ...мы потихоньку бормочем преступные молитвы [14] (*лат.*).

** Не всякий откажется от бормотания и постыдного шопота в храме и открыто вознесет свои молитвы богам [15] (*лат.*).

*** ...сначала воззвав зычным голосом к Аполлону, он затем едва шевелит губами, боясь, что его услышат: «О дивная Лаверна, помоги мне обмануть, помоги мне казаться честным и правдивым! Прикрой мои прегрешения ночной тьмою и плутни — облаком» [16] (*лат.*).

него чистыми очами. Мы должны принимать это прощение с величайшей благодарностью, и хотя бы в то мгновение, когда обращаемся к богу, ощущать всей душой своей отвращение к своим грехам и ненависть к страстям, которые заставили нас преступить божий закон. Ни боги, ни благомыслящие люди, говорит Платон, не принимают даров от злых [17].

Immunis aram si tetigit manus,
Non sumptuosa blandior hostia,
Mollivit aversos Penates
Farre pio et saliente mica *.



Глава LVII
О ВОЗРАСТЕ

Я не знаю, на основании чего устанавливаем мы продолжительность нашей жизни. Я вижу, что, по сравнению с общим мнением на этот счет, мудрецы сильно сокращают ее срок. «Как,— сказал Катон Младший тем, кто хотел помешать ему покончить с собой,— неужели, по-вашему, я настолько молод еще, что заслуживаю упрека в желании слишком рано уйти из жизни?» [1] А ему было всего сорок восемь лет. Сообразуясь с тем, что лишь немногие люди достигают этого возраста, он считал его весьма зрелым и преклонным. Те же, кто ссылается на какой-то другой срок, который они считают естественным и который обещает еще несколько лет жизни, могли бы делать это с некоторым основанием, если бы обладали преимуществом, избавляющим их от бесчисленных случайностей, которым каждый из нас подвержен по самой природе вещей и которые всегда могут сократить этот положенный, по их мнению, срок. Какое тщетное мечтание — надеяться на смерть от истощения сил вследствие глубокой старости и считать, что этим определяется продолжительность нашей жизни! Ведь этот род смерти наиболее редкий и наименее обычный из всех. Мы называем естественным только его, как будто для человека неестественно сломать себе шею при падении, утонуть во время кораблекрушения, схватить чуму или воспаление легких, и как будто обычные условия нашего существования не подвергают нас всем подобным бедствиям. Не будем обольщаться приятными словами: естественным гораздо правильнее считать то, что оказывается наиболее распространенным,

---

* Если коснуться алтаря чистой рукой, то можно смягчить суровость пенатов не только богатыми приношениями, но и горсткой полбы, благочестиво предложенной вместе с солью [18] (*лат.*).

обычным и всеобщим. Умереть от старости — это смерть редкая, исключительная и необычная, это последний род смерти, возможный лишь как самый крайний случай, и чем более удалена от нас такая возможность, тем меньше оснований на нее рассчитывать. Разумеется, это тот предел, который мы никогда не переступим и который закон природы не разрешает нам переступать; и этот закон лишь очень редко позволяет нам дожить до предела. Это исключительный дар, которым природа особо награждает какого-нибудь одного человека на протяжении двух-трех столетий, избавляя его от опасностей и трудностей, непрерывно встречающихся на столь долгом жизненном пути.

Поэтому, на мой взгляд, достигнутый нами возраст надо рассматривать как такой, которого достигают лишь немногие люди. Поскольку обычно людям не дано бывает дойти до него, это признак того, что нам удалось далеко зайти. И раз мы перешли обычные границы, которые и являются подлинной мерой длительности нашего существования, нам не следует надеяться на то, что путь наш еще удлинится. Мы уже избежали стольких случаев умереть, постоянно подстерегающих человека, что должны признать столь необычно поддерживающее нас счастье совершенно исключительным и не рассчитывать на то, что оно продлится.

Сами законы наши повинны в том, что нами овладевает это ложное самообольщение: они не считают человека способным располагать его имуществом до двадцати пяти лет, а ведь ему далеко не всегда удается дожить до этого возраста. Август сбавил пять лет по сравнению со старинными римскими установлениями, объявив, что для занятия судейских должностей достаточно иметь тридцать лет. Сервий Туллий освободил всадников, достигших сорока семи лет, от военной повинности; Август еще снизил этот срок до сорока пяти лет. Мне же кажется, что нет особых оснований отпускать людей на покой ранее пятидесяти пяти — шестидесяти лет. Мое мнение таково, что в интересах общества — дать нам возможность как можно дольше исправлять занимаемые нами должности, но я считаю, с другой стороны, что нам следует открывать к ним доступ раньше. Сам Август девятнадцати лет решал судьбы мира, а в то же время он издает указ, что надо достигнуть тридцати лет, чтобы решать вопрос о том, где установить какой-нибудь сточный желоб.

Я же считаю, что к двадцати годам душа человека вполне созревает, как и должно быть, и что она раскрывает уже все свои возможности. Если до этого возраста душа человеческая не выказала с полной очевидностью своих сил, то она уже никогда этого не сделает. Именно к этому сроку наши природные качества и добродетели должны проявить себя с полной силой и красотой или же они никогда не проявят себя:

Раз шип не острый с первых дней,
Потом не станет он острей,—

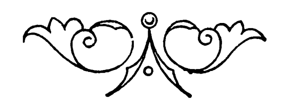
говорят в Дофине.

Из всех известных мне прекрасных деяний человеческих, каковы бы они ни были, гораздо больше, насколько мне кажется, совершалось до

тридцатилетнего возраста, чем позднее. Так было в древности, так и в наше время, и часто в жизни одного и того же человека: ведь это с полной уверенностью можно сказать о Ганнибале и о его великом противнике Сципионе. Добрая половина их жизни была прожита за счет славы, которую они стяжали в молодости: позже они тоже были великими людьми, но лишь по сравнению с другими, а не с самими собой. Что до меня, то я с полной уверенностью могу сказать, что с этого возраста мой дух и мое тело больше утратили, чем приобрели, больше двигались назад, чем вперед. Возможно, что у тех, кто умеет хорошо использовать свое время, знание и опыт растут вместе с жизнью, но подвижность, быстрота, стойкость и другие душевные качества, непосредственно принадлежащие нашему существу, более важные и основные, слабеют и увядают:

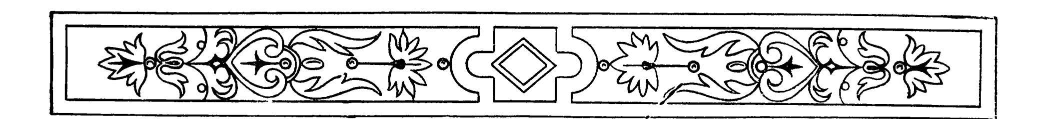
> ubi iam validis quassatum est viribus aevi
> Corpus, et obtusis ceciderunt viribus artus,
> Claudicat ingenium, delirat linguaque mensque *.

Иногда первым уступает старости тело, иногда душа. Я видел достаточно примеров, когда мозг ослабевал раньше, чем желудок или ноги. И это зло тем опаснее, что оно менее заметно для страдающего и проявляется не так открыто. Вот почему я и сетую не на то, что законы слишком долго не освобождают нас от дел и обязанностей, а на то, что они слишком поздно допускают нас к ним. Мне кажется, что, принимая во внимание бренность нашей жизни и все те естественные и обычные подводные камни, которые она встречает на своем пути, не следовало бы придавать такое большое значение происхождению и уделять столько времени обучению праздности.



* После того, как тело расслабили тяжкие удары времени, после того, как руки и ноги отяжелели, утратили силу, разум тоже начинает прихрамывать, язык заплетаться и ум убывать [2] (*лат.*).

КНИГА ВТОРАЯ



Глава I

О НЕПОСТОЯНСТВЕ НАШИХ ПОСТУПКОВ

Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший [1] в одних случаях выступал как сын Марса, в других — как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII [2], как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон [3] — это подлинное воплощение человеческой жестокости,— когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» — так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть. Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их сколько угодно; поэтому мне кажется странным, когда разумные люди пытаются иногда мерить все человеческие поступки одним аршином, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы, свидетельством может служить известный стих насмешника Публилия:

Malum consilium est, quod mutari non potest *.

Есть некоторое основание составлять себе суждение о человеке по наиболее обычным для него чертам поведения в жизни; но, принимая во внимание естественное непостоянство наших обычаев и взглядов, мне часто казалось, что напрасно даже лучшие авторы упорствуют, стараясь представить нас постоянными и устойчивыми. Они создают некий обобщенный образ и, исходя затем из него, подгоняют под него и истолковывают все поступки данного лица, а когда его поступки не укладываются в эти рамки, они отмечают все отступления от них. С Августом [5], однако, у них дело не вышло, ибо у этого человека было такое явное, неожиданное и постоянное сочетание самых разнообразных поступков в течение всей его жизни, что даже самые смелые судьи вынуждены были признать его лишенным цельности, неодинаковым и неопределенным. Мне

---

* Плохо то решение, которого нельзя изменить [4] (*лат.*).

труднее всего представить себе в людях постоянство и легче всего — непостоянство. Чаще всего окажется прав в своих суждениях тот, кто вникнет во все детали и разберет один за другим каждый поступок.

На протяжении всей древней истории не найдешь и десятка людей, которые подчинили бы свою жизнь определенному и установленному плану, что является главной целью мудрости. Ибо, как говорит один древний автор [6], если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость — это «всегда желать и всегда не желать той же самой вещи». «Я не считаю нужным,— говорил он,— прибавлять к этому: лишь бы желание это было справедливым, так как, если бы оно не было таковым, оно не могло бы быть всегда одним и тем же». Действительно, я давно убедился, что порок есть не что иное, как нарушение порядка и отсутствие меры, и, следовательно, исключает постоянство. Передают, будто Демосфен говорил [7], что «началом всякой добродетели является взвешивание и размышление, а конечной целью и увенчанием ее — постоянство». Если бы мы выбирали определенный путь по зрелом размышлении, то мы выбрали бы наилучший, но никто не думает об этом:

Quod petiit spernit; repetit, quod nuper omisit;
Aestuat, et vitae disconvenit ordine toto *.

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы отвергаем только что принятое решение, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство:

Ducimur, ut nervis alienis mobile lignum **.

Мы не идем — нас несет, подобно предметам, подхваченным течением реки,— то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива:

nonne videmus
Quid sibi quisque velit nescire, et quaerere semper
Commutare locum, quasi onus deponere possit ***.

Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются вместе с течением времени:

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Iuppiter auctifero lustravit lumine terras ****.

---

* Он уже гнушается тем, чего добился, и вновь стремится к тому, что недавно отверг: он мечется, нарушая весь порядок своей жизни [8] (*лат.*).

** Как кукла, которую за ниточку движут другие [9] (*лат.*).

*** Не видим ли мы, что человек сам не знает, чего он хочет, и постоянно ищет перемены мест, как если бы это могло избавить его от бремени [10] (*лат.*).

**** Мысли людей меняются так же, как и плодоносные дни, которыми сам отец Юпитер освятил земли [11] (*лат.*).

Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного. В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.

Эмпедокл [12] обратил внимание на одну странность в характере агригентцев: они предавались наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как если бы им предстояло жить вечно.

Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего [13]: тут тронь одну клавишу — и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. А что до нас самих, тут все наоборот: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяснять наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.

Во время неурядиц в нашем насчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, выбросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны мерзавца солдата, ее постояльца; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло, но ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и посулами, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого — ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели,— ни дать, ни взять вторая Лукреция [14]. Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит присловье, «если ты, будучи тих и скромен, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывод о ее неприступности: придет час — и погонщик мулов свое получит».

Антигон [15], которому один из его солдат полюбился за храбрость и добродетель, приказал своим врачам вылечить его от болезни, которая давно его мучила. Заметив, что после выздоровления в нем поубавилось бранного пыла, Антигон спросил его, почему он так изменился и утратил мужество. «Ты сам, государь, тому причиной,— ответил солдат,— ибо избавил меня от страданий, из-за которых мне жизнь была не мила». Один из солдат Лукулла [16] был ограблен кучкой вражеских воинов и, пылая местью, совершил смелое и успешное нападение на них. Когда солдат вознаградил себя за потерю, Лукулл, оценив его храбрость, захотел использовать его в одном задуманном им смелом деле и стал уговаривать его, соблазняя самыми заманчивыми обещаниями, какие он только мог придумать:

Verbis quae timido quoque possent addere mentem *.

---

* Со словами, которые и трусу могли бы прибавить духу [17] (*лат.*).

«Поручи это дело,— ответил тот,— какому-нибудь бедняге, обчищенному ими»:

quantumvis rusticus: Ibit,
Ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit, inquit *,

и наотрез отказался.

Сообщают, что Мехмед[19] однажды резко обрушился на предводителя своих янычар Гасана за то, что тот допустил, чтобы венгры обратили в бегство его отряд, и трусливо вел себя в сражении. В ответ на это Гасан, не промолвив ни слова, яростно бросился один, как был с оружием в руках, на первый попавшийся отряд неприятеля и был тотчас же изрублен. Это было не столько попыткой оправдаться, сколько переменою чувств, и говорило не столько о природной доблести, сколько о новом взрыве отчаяния.

Пусть не покажется вам странным, что тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом; гнев или нужда в чем-нибудь, или какая-нибудь дружеская компания, или выпитое вино, или звук трубы заставили его сердце уйти в пятки. Ведь речь здесь идет не о чувствах, порожденных рассудком и размышлением, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, если человек этот стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других — что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна — к добру, другая — ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе.

Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, кроме того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее обращаю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек зрения. Тут словно бы чередуются все заключенные во мне противоположные начала. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе нахожу в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно, я не могу определить себя единым словом, без сочетания противоположностей. Distinguo **— такова постоянная предпосылка моего логического мышления.

---

* С присущей ему грубоватостью ответил: пойдет куда хочешь тот, кто потерял свой кушак с деньгами[18] (*лат.*).

** Я различаю (*лат.*).

Должен сказать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении; ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет так же стойко переносить болезнь в постели, как и ранение на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс или потеряв сына.

Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность, или боящийся бритвы цирюльника обнаруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.

Многие греки, говорит Цицерон, не выносят вида врагов и стойко переносят болезни; и как раз обратное наблюдается у кимвров и кельтиберов [20]. Nihil enim potest esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur *.

Нет высшей храбрости в своем роде, чем храбрость Александра Македонского, но и она — храбрость лишь особого рода, не всегда себе равная и всеобъемлющая. Как бы несравненна она ни была, на ней все же есть пятна. Так, мы знаем, что он совсем терял голову при самых туманных подозрениях, возникавших у него относительно козней его приверженцев, якобы покушавшихся на его жизнь; мы знаем, с каким неистовством и откровенным пристрастием он бросался на расследование этого дела, объятый страхом, мутившим его природный разум. И то суеверие, которому он так сильно поддавался, тоже носит характер известного малодушия. Его чрезмерное раскаяние в убийстве Клита [22] тоже говорит за то, что его храбрость не всегда была одинакова.

Наши поступки — не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия (voluptatem contemnunt, in dolore sunt molliores; gloriam negligunt, franguntur infamia **), и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к

---

* Не может быть однородным то, что не вытекает из одной определенной причины [21] (*лат.*).

** Брезгуют наслаждением, но поддаются горю; презирают славу, но не выносят бесчестья (*лат*).

нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно (cui vivendi via considerata atque provisa est*), если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот, замедлять), предоставьте его самому себе — он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота [24].

Неудивительно, говорит один древний автор [25], что случай имеет над нами такую огромную власть: ведь то, что мы живем,— тоже случайность. Тот, кто не поставил себе в жизни определенной цели, не может наметить себе и отдельных действий. Тот, кто не имеет представления о целом, не может распределить и частей. Зачем палитра тому, кто не знает, что делать с красками? Никто не строит цельных планов на всю жизнь; мы обдумываем эти планы лишь по частям. Стрелок прежде всего должен знать свою мишень, а затем уже он приспосабливает к ней свою руку, лук, стрелу, все свои движения. Наши намерения меняются, так как они не имеют одной цели и назначения. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Я не согласен с тем решением, которое было вынесено судом относительно Софокла [26] и которое, вопреки иску его сына, признавало Софокла способным к управлению своими домашними делами на основании только одной его прослушанной судьями трагедии.

Я не нахожу также, что паросцы посланные положить конец неурядицам милетян, сделали правильный вывод из их наблюдений. Прибыв в Милет, они обратили внимание на то, что некоторые поля лучше обработаны и некоторые хозяйства ведутся лучше, чем другие; они записали имена хозяев этих полей и хозяйств и, созвав народное собрание, объявили, что вручают этим людям управление государством, так как они считают, что эти хозяева будут так же заботиться об общественном достоянии, как они заботились о своем собственном [27].

Мы все лишены цельности и скроены из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Magnam rem puta unum hominem agere**. Так как честолюбие может внушить людям и храбрость, и уверенность, и щедрость, и даже иногда справедливость; так как жадность способна пробудить в мальчике — подручном из лавочки, выросшем в бедности и безделье, смелую уверенность в своих силах и заставить его покинуть отчий дом и плыть в утлом суденышке, отдавшись воле волн разгневанного Нептуна, и в то же время жадность способна научить скромности и осмотрительности; так как сама Венера порождает смелость и решимость в юношах, еще сидящих на школьной

* Тот, кто размышлял над своим образом жизни и предусмотрел его [23] (*лат.*).
** Знай: великое дело играть одну и ту же роль [28] (*лат.*).

скамье, и укрепляет нежные сердца девушек, охраняемых своими матерями,—

Hac duce, custodes furtim transgressa iacentes
Ad iuvenem tenebris sola puella venit *,

то не дело зрелого разума судить о нас поверхностно лишь по нашим доступным обозрению поступкам. Следует поискать внутри нас, проникнув до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное, я хотел бы, чтобы как можно меньше людей занимались этим.



Глава II
О ПЬЯНСТВЕ

Мир — не что иное, как бесконечное разнообразие и несходство. Все пороки совершенно сходны между собой в том, что они пороки, и именно так их и толкуют стоики. Но хотя все они равно пороки, они пороки не в равной мере. Трудно допустить, чтобы тот, кто преступил установленную границу на сто шагов,—

Quos ultra citraque nequit consistere rectum **,—

не был более тяжким преступником, чем тот, кто преступил ее на десять; или что совершить святотатство не хуже, чем украсть на огороде кочан капусты:

Ne vincet ratio, tantundem ut peccet idemque
Qui teneros caules alieni fregerit horti,
Et qui nocturnus divum sacra legerit ***.

Во всех этих проступках столько же различий, сколько и в любом другом деле.

Очень опасно не различать характер и степень прегрешения. Это было бы весьма выгодно убийцам, предателям, тиранам. Не следует, чтобы их совесть испытывала облегчение от сознания, что такой-то вот человек лентяй, или похотлив, или недостаточно набожен. Всякий склонен подчеркивать тяжесть прегрешений своего ближнего и преуменьшать свой собственный грех. На мой взгляд, даже судьи часто неправильно оценивают их.

* Под ее [Венеры] водительством юная девушка, крадучись мимо уснувших хранителей, ночью одна пробирается к своему возлюбленному [29] (*лат.*).
** Дальше и ближе которых [этих пределов] не может быть справедливого [1] (*лат.*).
*** Разумом нельзя доказать, что переломать молодые кочаны капусты на чужом огороде такое же преступление, как и ограбить ночью храм [2] (*лат.*).

Сократ говорил, что главная задача мудрости в том, чтобы различать добро и зло; то же самое и мы, в чьих глазах нет безгрешных, должны сказать об умении различать пороки, ибо без этого точного знания нельзя отличить добродетельного человека от злодея.

Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным. В других пороках больше участвует ум; существуют даже пороки, в которых, если можно так выразиться, имеется оттенок благородства. Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с проницательностью, с ловкостью и хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих народов — тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело:

cum vini vis penetravit
Consequitur gravitas membrorum, praepediuntur
Crura vacillanti, tardescit lingua, madet mens,
Nant oculi; clamor, singultus, iurgia gliscunt *.

Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой

По поводу пьяных среди прочего говорят, что подобно тому, как при кипячении вся муть со дна поднимается на поверхность, точно так же те, кто хватил лишнего, под влиянием винных паров выбалтывают самые сокровенные тайны:

tu sapientium
Curas et arcanum iocoso.
Consilium retegis Lyaeo **.

Иосиф [5] рассказывает, что, напоив направленного к нему неприятелем посла, он выведал у него важные тайны. Однако Август, доверившись в самых сокровенных своих делах завоевателю Фракии Луцию Пизону, ни разу не просчитался, как равным образом и Тиберий [6] с Коссом, которому он открывал все свои планы; между тем известно, что оба они были столь привержены к вину, что их нередко приходилось уносить из сената совсем упившимися:

Hesterno inflatum venas de more Lyaeo ***.

И ведь не побоялись же заговорщики посвятить Цимбра [8], который часто напивался, в свой замысел убить Цезаря, как они посвятили в него Кассия, который пил только воду. Цимбр по этому поводу весело сострил:

---

* Когда вино окажет свое действие на человека, все тело его отяжелеет, начнут спотыкаться ноги, заплетаться язык, затуманится разум, глаза станут блуждать, и поднимутся, все усиливаясь, крики, брань, икота [3] (*лат.*).

** Твое веселое вино., амфора, раскроет думы мудрецов и зреющие втайне замыслы [4] (*лат.*).

*** Вены его [Силена]. как обычно, вздуты вчерашним вином [7] (*лат.*).

«Мне ли носить в себе тайну о тиране,— ведь я даже вино переношу плохо!» Известно также, что немецкие солдаты, действующие во Франции, даже напившись до положения риз, никогда не забывают, однако, ни о том, в каком полку числятся, ни о своем пароле, ни о своем чине:

nec facilis victoria de madidis et
Blaesis, atque mero titubantibus *.

Я бы не мог себе представить такого беспробудного и нескончаемого пьянства, если бы не прочел у одного историка [10] о следующем случае. Аттал, пригласив на ужин того самого Павсания, который впоследствии, в связи с нижеописанным происшествием убил македонского царя Филиппа — царя, своими превосходными качествами доказавшего, какое прекрасное воспитание он получил в доме Эпаминонда и в его обществе,— желая нанести Павсанию чувствительное оскорбление, напоил его до такой степени, что Павсаний, совершенно не помня себя, как гулящая девка, стал отдаваться погонщикам мулов и самым презренным слугам в доме Аттала.

Или вот еще один случай, о котором рассказала мне одна весьма уважаемая мною дама. Неподалеку от Бордо, возле Кастра, где она живет, одна деревенская женщина, вдова, славившаяся своей добродетелью, вдруг заметила у себя признаки начинающейся беременности. «Если бы у меня был муж,— сказала она соседям,— то я решила бы, что я беременна». С каждым днем подозрения относительно беременности все усиливались, и наконец дело стало явным. Тогда она попросила, чтобы с церковного амвона было оглашено, что она обещает тому, кто сознается в своем поступке, простить его и, если он захочет, выйти за него замуж. И вот один из ее молодых работников, ободренный ее заявлением, рассказал, что однажды в праздничный день он застал ее около очага погруженную после обильной выпивки в такой глубокий сон и в такой нескромной позе, что сумел овладеть ею, не разбудив ее. Они и поныне живут в честном браке.

Известно, что в древности пьянство не особенно осуждалось. Многие философы в своих сочинениях довольно мягко отзываются о нем; и даже среди стоиков есть такие, которые советуют иногда выпивать, но только не слишком много, а ровно столько, сколько нужно, чтобы потешить душу:

Hoc quoque virtutum quondam certamine, magnum
Socratem palmam promeruisse ferunt **.

Того самого Катона [12], которого называли цензором и наставником, упрекали в том, что он изрядно выпивал:

Narratur et prisci Catonis
Saepe mero caluisse virtus ***.

---

* Хотя они захмелели, пошатываются и от вина языки их заплетаются, однако их нелегко одолеть [9] (*лат.*).

** Говорят, что в этом состязании на доблесть пальма первенства досталась великому Сократу [11] (*лат.*).

*** Рассказывают, что доблесть древнего Катона часто подогревалась вином [13] (*лат.*).

Прославленный Кир [14], желая показать свое превосходство над братом Артаксерксом, в числе прочих своих достоинств ссылался на то, что он умеет гораздо лучше пить, чем Артаксеркс. У самых цивилизованных и просвещенных народов очень принято было пить. Я слышал от знаменитого парижского врача Сильвия [15], что, для того, чтобы наш желудок не ленился работать, хорошо раз в месяц дать ему встряску, выпив вина и пробудив этим его активность.

О персах пишут, что они совещались о важнейших своих делах под хмельком [16].

Что касается меня, то врагом этого порока является не столько мой разум, сколько мой нрав и мои вкусы. Ибо, кроме того, что я легко поддаюсь авторитетным мнениям древних авторов, я действительно нахожу, что пьянство — бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, подтачивающие самые устои человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже о том, что он не требует особых ухищрений и его проще всего удовлетворить, что также должно быть принято в соображение.

Один весьма почтенный и пожилой человек говорил мне, что в число трех главных оставшихся ему в жизни удовольствий входит выпивка. Но она не шла ему впрок: в этом деле надо избегать изысканности и нельзя быть чересчур разборчивым в выборе вина. Если вы хотите получать от вина наслаждение, смиритесь с тем, что оно иногда будет вам не вкусно. Надо иметь и более грубый, и более разнообразный вкус. Кто желает быть настоящим выпивохой, должен отказаться от тонкого вкуса. Немцы, например, почти с одинаковым удовольствием пьют всякое вино. Они хотят влить в себя побольше, а не лакомиться вином. Это вещь более достижимая. Удовольствие немцев в том, чтобы вина было вволю, чтобы оно было доступным. Что касается французской манеры пить, то прикладываться к бутылке дважды в день за едой, умеренно, опасаясь за здоровье,— значит лишать себя многих милостей Вакха. Тут нужно больше постоянства, больше пристрастия. Древние предавались этому занятию ночи напролет, прибавляя часто сверх того еще и дни. И, действительно, надо, чтобы обычная порция вина была и более обильной и более постоянной. Я знавал некоего сановника, на редкость удачливого во всех своих великих начинаниях, который без труда выпивал во время своих обычных трапез не менее двадцати пинт вина и после этого становился только более проницательным и искусным в решении сложных дел. Удовольствие, которое мы хотим познать в жизни, должно занимать в ней побольше места. Нельзя упускать ни одного представляющегося случая выпить и следует всегда помнить об этом желании, надо походить в этом отношении на рассыльных из лавки или на мастеровых. Похоже на то, что мы с каждым днем ограничиваем наше повседневное потребление вина и что раньше в наших домах, как я наблюдал в детстве, всякие угощения и возлияния были куда более частыми и обычными, чем в настоящее время.

Значит ли это, что мы в каких-то отношениях идем к лучшему? Отнюдь нет! Это значит только, что мы в гораздо большей степени, чем наши отцы, ударились в распутство. Ведь невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой — делает нас дамскими угодниками, более падкими к любовным утехам.

Какое множество рассказов довелось мне слышать от моего отца о добродетельности людей его времени! Добродетель, по его словам, как нельзя более соответствовала нравам тогдашних дам. Отец мой говорил мало и очень складно, уснащая свою речь некоторыми выражениями не из древних, а из новых авторов, в особенности из испанских; из испанских книг его излюбленной было сочинение, обычно именуемое у испанцев «Марком Аврелием» [17]. Он держался с приятным достоинством, полным скромности и смирения. На нем лежал особый отпечаток честности и порядочности; он проявлял большую тщательность в одежде как обычного рода, так и для верховой езды. Он был поразительно верен своему слову, а в отношении религиозных убеждений скорее склонен был к суеверию, чем к другой крайности. Он был небольшого роста, но полон сил, имел хорошую выправку и был прекрасно сложен. У него было приятное смугловатое лицо. Он был ловок и искусен во всякого рода физических упражнениях. Я еще застал палки со свинцовым грузом, которые, как мне передавали, служили ему для упражнения рук при подготовке к игре в городки или фехтованию, и ботинки со свинцовыми набойками, в которых легче было бегать и прыгать. С самых ранних лет в моей памяти с ним связаны маленькие чудеса. Когда ему было уже за шестьдесят, мне не раз приходилось видеть, как он, посмеиваясь над нашей неловкостью, вскакивал в своем меховом плаще на коня, как он перепрыгивал через стол или как он, поднимаясь по лестнице в свою комнату, всегда перескакивал через три или четыре ступеньки. Он утверждал, что во всей нашей области вряд ли можно было найти хоть одну благородную женщину, которая пользовалась бы дурной славой, и рассказывал о приключавшихся с ним случаях удивительной близости с почтенными женщинами, случаях, не вызывавших никаких сомнений в его безупречном поведении. Он клялся, что до самой своей женитьбы был девственником. Он провел многие годы в Италии, участвуя в итальянских походах, о которых оставил нам собственноручный дневник с подробнейшим описанием всего происходившего, описанием, предназначавшимся и для его личного и для общественного пользования.

Поэтому он и женился довольно поздно, по возвращении из Италии, в 1528 году, когда ему было тридцать три года. Но вернемся к разговору о бутылках.

Докуки старости, нуждающейся в опоре и каком-то освежении, с полным основанием могли бы внушить мне желание обладать умением пить, ибо это одна из последних радостей, которые остаются после того, как убегающие годы украли у нас одну за другой все остальные. Знающие толк в этом деле собутыльники говорят, что естественное тепло прежде

всего появляется в ногах: оно сродни детству. По ногам оно поднимается вверх, в среднюю область, и, водворясь здесь надолго, является источником, на мой взгляд, единственных, подлинных плотских радостей (другие наслаждения меркнут по сравнению с ними). Под конец, подобно поднимающемуся и оседающему пару, оно достигает нашей глотки и здесь делает последнюю остановку.

Однако я не могу представить себе, как можно продлить удовольствие от питья, когда пить уже больше не хочется, и как можно создать себе воображением искусственное и противоестественное желание пить. Мой желудок был бы не способен на это: он может вместить только то, что ему необходимо. У меня привычка пить только после еды, и поэтому я под конец почти всегда пью самый большой бокал. Анахарсис [18] удивлялся, что греки к концу трапезы пили из более объемистых чаш, чем в начале ее. Я полагаю, что это делалось по той же причине, по какой так поступают немцы, которые к концу начинают состязание — кто выпьет больше. Платон запрещал детям пить вино до восемнадцатилетнего возраста и запрещал напиваться ранее сорока лет; тем же, кому стукнуло сорок, он предписывает наслаждаться вином вволю и щедро приправлять свои пиры дарами Диониса, этого доброго бога, возвращающего людям веселье и юность старцам, укрощающего и усмиряющего страсти, подобно тому как огонь плавит железо. В своих «Законах» [19] он считает такие пирушки полезными (лишь бы для наведения порядка был распорядитель застолья, сдерживающий остальных), ибо опьянение — это хорошее и верное испытание натуры всякого человека; оно, как ничто другое, способно придать пожилым людям смелость пуститься в пляс или затянуть песню, чего они не решились бы сделать в трезвом виде. Вино способно придать душе выдержку, телу здоровье. И все же Платон одобряет следующие ограничения, частью заимствованные им у карфагенян: «Следует отказаться от вина в военных походах; всякому должностному лицу и всякому судье надо воздерживаться от вина при исполнении своих обязанностей и решении государственных дел; выпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведенных для других занятий, ни той ночи, когда хотят дать жизнь потомству».

Говорят, что философ Стильпон [20], удрученный надвинувшейся старостью, сознательно ускорил свою смерть тем, что пил вино, не разбавленное водой. По той же причине — только вопреки собственному желанию — погиб и отягченный годами философ Аркесилай [21].

Существует старинный, очень любопытный вопрос: поддается ли душа мудреца действию вина?

Si munitae adhibet vim sapientiae *.

На какие только глупости не толкает нас наше высокое мнение о себе! Самому уравновешенному человеку на свете надо помнить о том, чтобы твердо держаться на ногах и не свалиться на землю из-за собственной

* Не придаст ли оно [вино] ослабевшей мудрости большую мощь [22] (*лат.*).

слабости. Из тысячи человеческих душ нет ни одной, которая хоть в какой-то миг своей жизни была бы недвижна и неизменна, и можно сомневаться, способна ли душа по своим естественным свойствам быть таковой? Если добавить к этому еще постоянство, то это будет последняя ступень совершенства; я имею в виду, если ничто ее не поколеблет,— а это может произойти из-за тысячи случайностей. Великий поэт Лукреций философствовал и зарекался, как только мог, и все же случилось, что он вдруг потерял рассудок от любовного напитка. Думаете ли вы, что апоплексический удар не может поразить с таким же успехом Сократа, как и любого носильщика? Некоторых людей болезнь доводила до того, что они забывали свое собственное имя, а разум других повреждался от легкого ранения. Ты можешь быть сколько угодно мудрым, и все же в конечном счете ты — человек; а есть ли что-нибудь более хрупкое, более жалкое и ничтожное? Мудрость нисколько не укрепляет нашей природы:

Sudores itaque et pallorem existere toto
Corpore, et infringi linguam, vocemque aboriri
Caligare oculos, sonere aures, succidere artus
Denique concidere ex animi terrore videmus *.

Человек не может не начать моргать глазами, когда ему грозит удар. Он не может не задрожать всем телом, как ребенок, оказавшись на краю пропасти. Природе угодно было сохранить за собой эти незначительные признаки своей власти, которую не может превозмочь ни наш разум, ни стоическая добродетель, чтобы напомнить человеку, что он смертен и хрупок. Он бледнеет от страха, краснеет от стыда; на припадок боли он реагирует если не громким и отчаянным воплем, то хриплым и неузнаваемым голосом:

Humani a se nihil alienum putet **.

Поэты, которые творят со своими героями все, что им заблагорассудится, не решаются лишить их способности плакать:

Sic fatur lacrimans, classique immitit habenas ***.

С писателя достаточно того, что он обуздывает и умеряет склонности своего героя; но одолеть их не в его власти. Даже сам Плутарх,— этот превосходный и тонкий судья человеческих поступков,— упомянув о Бруте [26] и Торквате [27], казнивших своих сыновей, выразил сомнение, может ли добродетель дойти до таких пределов и не были ли они скорее всего побуждаемы какой-нибудь другой страстью. Все поступки, выходящие за обычные рамки, истолковываются в дурную сторону, ибо нам не по вкусу ни то, что выше нашего понимания, ни то, что ниже его.

---

* Если душа охвачена страхом, то мы видим, что тело покрывается потом, бледнеет кожа, цепенеет язык, голос прерывается, темнеет в глазах, в ушах звенит, колени подгибаются и человек валится с ног [23] (*лат.*).

** Пусть ничто человеческое ему не будет чуждо [24] (*лат.*).

*** Так говорит он сквозь слезы и замедляет ход кораблей [25] (*лат.*).

Оставим в покое стоиков, явно кичащихся своею гордыней. Но когда среди представителей философской школы, которая считается наиболее гибкой [28], мы встречаем следующее бахвальство Метродора: «Occupavi te, Fortuna, atque cepi; omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses» *; или когда по повелению кипрского тирана Никокреона, положив Анаксарха в каменную колоду, его бьют железными молотами и он не перестает восклицать при этом: «Бейте, колотите сколько угодно, вы уничтожаете не Анаксарха, а его оболочку» [30]; или когда мы узнаём, что наши мученики, объятые пламенем, кричали тирану: «С этой стороны уже достаточно прожарено, руби и ешь, мясо готово; начинай поджаривать с другой»; или когда у Иосифа мы читаем [31], что ребенок, которого по приказанию Антиоха рвут клещами и колют шипами, все еще смело противится ему и твердым, властным голосом кричит: «Тиран, ты попусту теряешь время, я прекрасно себя чувствую. Где то страдание, те муки, которыми ты угрожал мне? Знаешь ли ты, с чем ты имеешь дело? Моя стойкость причиняет тебе большее мучение, чем мне твоя жестокость, о гнусное чудовище, ты слабеешь, а я лишь крепну; заставь меня жаловаться, заставь меня дрогнуть, заставь меня, если можешь, молить о пощаде, придай мужества твоим приспешникам и палачам — ты же видишь, что они упали духом и больше не выдерживают,— дай им оружие в руки, возбуди их кровожадность»,— когда мы узнаём обо всем этом, то, конечно, приходится признать, что в душах всех этих людей что-то произошло, что их обуяла какая-то ярость, может быть священная. А когда мы читаем о следующих суждениях стоиков: «Я предпочитаю быть безумным, чем предаваться наслаждениям» (слова Антисфена [32]) — Μανείην μᾶλλον ἢ ἡσθείην; когда Секст [33] уверяет нас, что предпочитает быть во власти боли, нежели наслаждения; когда Эпикур легко мирится со своей подагрой, отказывается от покоя и здоровья и, готовый вынести любые страдания, пренебрегает слабою болью и призывает более сильные и острые мучения, как более достойные его:

Spumantemque dari pecora inter inertia votis
Optat aprum, aut fulvum descendere monte leonem **,

то кто не согласится с тем, что это проявления мужества, вышедшего за свои пределы? Наша душа не в состоянии воспарить из своего обиталища до таких высот. Ей надо покинуть его и, закусив удила, вознестись вместе со своим обладателем в такую высь, что потом он сам станет удивляться случившемуся, подобно тому как это бывает при военных подвигах, когда в пылу сражения отважные бойцы часто совершают такие рискованные вещи, что, придя потом в себя, они первые им изумляются; и точно так же поэты часто приходят в восторг от своих собственных про-

* Я поймал и обуздал тебя, судьба; я закрыл для тебя все входы и выходы, чтобы ты не могла до меня добраться [29] (*лат.*).

** Он жаждет, чтобы среди этих беззащитных животных ему явился, весь в пене, кабан или спустился с горы рыжий лев [34] (*лат.*).

изведений и не помнят, каким образом их озарило такое вдохновение; это и есть то душевное состояние, которое называют восторгом и исступлением. И как Платон говорит, что тщетно стучится в дверь поэзии человек бесстрастный, точно так же и Аристотель утверждает, что ни одна выдающаяся душа не чужда до известной степени безумия[35]. Он прав, называя безумием всякое исступление, каким бы похвальным оно ни было, превосходящее наше суждение и разумение. Ведь мудрость — это умение владеть своей душой, которой она руководит осмотрительно, с тактом и с чувством ответственности за нее.

Платон следующим образом обосновывает утверждение[36], что дар пророчества есть способность, превосходящая наши силы: «Пророчествуя,— говорит он,— надо быть вне себя, и наш рассудок должен быть помрачен либо сном, либо какой-нибудь болезнью, либо он должен быть вытеснен каким-то сошедшим с небес вдохновением».



Глава III

ОБЫЧАЙ ОСТРОВА КЕИ[1]

Если философствовать, как утверждают философы, значит сомневаться, то с тем бо́льшим основанием заниматься пустяками и фантазировать, как поступаю я, тоже должно означать сомнение. Ученикам подобает спрашивать и спорить, а наставникам — решать. Мой наставник — это авторитет божьей воли, которому подчиняются без спора и который выше всех пустых человеческих измышлений.

Когда Филипп[2] вторгся в Пелопоннес, кто-то сказал Дамиду, что лакедемонянам придется плохо, если они не сдадутся ему на милость. «Ах ты трус,— ответил он ему,— чего может бояться тот, кому не страшна смерть?» Кто-то спросил Агиса[3]: «Как следует человеку жить, чтобы чувствовать себя свободным?» «Презирая смерть»,— ответил он. Такие и тысячи им подобных изречений несомненно не означают, что надо терпеливо дожидаться смерти. Ибо в жизни случается многое, что гораздо хуже смерти. Подтверждением может служить тот спартанский мальчик, взятый Антигоном[4] в плен и проданный в рабство, который, понуждаемый своим хозяином заняться какой-нибудь грязной работой, заявил: «Ты увидишь, кого ты купил. Мне было бы стыдно находиться в рабстве, когда свобода у меня под рукой»,— и с этими словами он бросился на камни с вышки дома. Когда Антипатр[5], желая заставить лакедемонян подчиниться какому-то его требованию, обрушился на них с жестокими угрозами, они ему ответили: «Если ты будешь угрожать

нам чем-то худшим, чем смерть, мы умрем с тем большей готовностью». А Филиппу[6], который написал им, что помешает всякому их начинанию, они заявили: «Ну, а умереть ты тоже сможешь помешать нам?» Ведь говорят же по этому поводу, что мудрец живет столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить, и что лучший дар, который мы получили от природы и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, это — возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни. Нам может не хватать земли для прожития, но, чтобы умереть, человеку всегда ее хватит, как ответил Байокал[7] римлянам. «Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не удерживает; если ты живешь в муках, причиной тому твое малодушие: стоит тебе захотеть и ты умрешь»:

Ubique mors est: optime hac cavit deus;
Eripere vitam, nemo non homini potest;
At nemo mortem: mille ad hanc aditus patent *.

Смерть — не только избавление от болезней, она — избавление от всех зол. Это — надежнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Все сводится к тому же, кончает ли человек с собой или умирает; бежит ли он навстречу смерти или ждет, когда она придет сама; в каком бы месте нить ни оборвалась, это — конец клубка. Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же — только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразоваться только с нашими чувствами. Мнение других в таком деле не имеет никакого значения; очень глупо считаться с ним. Жизнь превращается в рабство, если мы не вольны умереть. Обычно мы расплачиваемся за выздоровление частицами самой жизни: нам что-то вырезают или прижигают, или ампутируют, или ограничивают питание, или лишают части крови; еще один шаг — и мы можем исцелиться окончательно от всего. Почему бы в безнадежных случаях не перерезать нам, с нашего согласия, горло вместо того чтобы вскрывать вену для кровопускания? Чем серьезнее болезнь, тем более сильных средств она требует. Грамматик Сервий[9], страдавший от подагры, не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к яду, чтобы умертвить свои ноги. Пусть они останутся подагрическими, лишь бы он их не чувствовал! Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, бог дает нам при этом достаточно воли.

Поддаваться страданиям значит выказывать слабость, но давать им пищу — безумие.

Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы значит вовремя отказаться от жизни, хоть бы он и был в цвете сил; для

---

* Всюду — смерть: с этим бог распорядился наилучшим образом; всякий может лишить человека жизни, но никто не может отнять у него смерти: тысячи путей ведут к ней[8] (*лат.*).

глупца же естественно цепляться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив, лишь бы он в большинстве вещей сообразовался, как они говорят, с природой.

Подобно тому, как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни.

Гегесий [10] говорил, что все, что касается нашей смерти или нашей жизни, должно зависеть от нас.

Диоген [11], встретив уже много лет страдавшего от водянки философа Спевсиппа, которого несли на носилках и который крикнул ему: «Доброго здоровья, Диоген!», ответил: «А тебе я вовсе не желаю здоровья, раз ты миришься с жизнью, находясь в таком состоянии».

И действительно, некоторое время спустя Спевсипп покончил с собой, устав от такого тяжкого существования.

Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней; что лишь от бога, который послал нас в мир не только ради нас самих, но и ради его славы и служения ближнему, зависит дать нам волю, когда он того захочет, и не нам принадлежит этот выбор; мы рождены, говорят они, не только для себя, но и для нашего отечества; в интересах общества законы требуют от нас отчета в наших действиях и судят нас за самоубийство, иначе говоря, за отказ от выполнения наших обязанностей нам полагается наказание и на том и на этом свете:

> Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi letum
> Insontes peperere manu, lucemque perosi
> Proiecere animas *.

Больше стойкости — в том, чтобы жить с цепью, которою мы скованы, чем разорвать ее, и Регул [13] является более убедительным примером твердости, чем Катон. Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной; даже в горе и страдании она ищет своей пищи. Угрозы тиранов, костры и палачи только придают ей духу и укрепляют ее:

> Duris ut ilex tonsa bipennibus
> Nigrae feraci frondis in Algido,
> Per damna, per caedes, ab ipso
> Ducit opes animumque ferro **.

---

* Рядом занимают места несчастные, которые, ни в чем не повинные, сами покончили с собой и, возненавидев мир, лишили себя жизни [12] (*лат.*).

** Так и дуб, что растет в густых лесах на Алгиде: его подрубают злой секирой а он, несмотря на раны и удары, закаляется от нанесенных ударов и черпает в них силу [14] (*лат.*).

Или, как говорит другой поэт,

Non est, ut putas, virtus, pater,
Timere vitam, sed malis ingentibus
Obstare, nec se vertere ac retro dare *.

Rebus in adversis facile est contemnere mortem
Fortius ille facit qui miser esse potest **.

Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы,— таков удел трусости, а не добродетели. Добродетель не прерывает своего пути, какая бы гроза над нею ни бушевала:

Si fractus illabatur orbis
Inpavidum ferient ruinae ***.

Нередко стремление избежать других бедствий толкает нас к смерти; иногда же опасение смерти приводит к тому, что мы сами бежим ей навстречу —

Hic, rogo, non furor est, ne moriare mori ****.

подобно тем, кто из страха перед пропастью сами бросаются в нее:

multos in summa pericula misit
Venturi timor ipse mali; fortissimus ille est,
Qui promptus metuenda pati, si cominus instent,
Et differre potest *****.

Usque adeo, mortis formidine, vitae
Percipit humanos odium, lucisque videndae,
Ut sibi consciscant maerenti pectore letum
Obliti fontem curarum hunc esse timorem ******.

Платон в своих «Законах» [21] предписывает позорные похороны для того, кто лишил жизни и всего предназначенного ему судьбой своего самого близкого и больше чем друга, то есть самого себя, и сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и

---

* Доблесть не в том, как ты полагаешь, отец, чтобы бояться жизни, а в том, чтобы уметь противостоять большому несчастью, не отвернуть и не отступить перед ним [15] (*лат.*).

** В бедствиях легко не бояться смерти, но гораздо больше мужества проявляет тот, кто умеет быть несчастным [16] (*лат.*).

*** Пусть рушится распавшийся мир: его обломки поразят бесстрашного [17] (*лат.*).

**** Разве не безумие — спрашиваю я вас — умереть от страха смерти? [18] (*лат.*).

***** Самый страх перед возможной бедой ставил многих людей в очень опасные положения; но храбрейшим является тот, кто легко переносит опасности, если они непосредственно угрожают, и умеет избежать их [19] (*лат.*).

****** Из-за страха перед смертью людей охватывает такое отвращение к жизни и дневному свету, что они в тоске душевной лишают себя жизни, забывая, что источником их терзаний был именно этот страх [20] (*лат.*).

неизбежной случайности и не из-за невыносимого стыда, а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия. Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо в конечном счете она — все, что у нас есть, она — все наше бытие. Те существа, жизнь которых богаче и лучше нашей, могут осуждать наше бытие, но неестественно, чтобы мы презирали сами себя и пренебрегали собой; ненавидеть и презирать самого себя — это какой-то особый недуг, не встречающийся ни у какого другого создания. Это такая же нелепость, как и наше желание не быть тем, что́ мы есть. Следствие такого желания не может быть нами оценено, не говоря уже о том, что оно само себе противоречит и уничтожает себя. Тот, кто хочет из человека превратиться в ангела, ничего не достигнет, ничего не выиграет, ибо раз он перестает существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это улучшение?

> Debet enim misere cui forte aegreoue futurum est,
> Ipse quoque esse in eo tum tempore, cum male possit
> Accidere *.

Спокойствие, отсутствие страданий, невозмутимость духа, избавление от зол этой жизни, обретаемые нами ценою смерти, нам ни к чему. Незачем избегать войны тому, кто не в состоянии наслаждаться миром, и тот, кто не может вкушать покой, напрасно бежит страданий.

Среди философов, приверженцев первой точки зрения, были большие сомнения вот по какому поводу: какие причины достаточно вески, чтобы заставить человека принять решение лишить себя жизни? Они называют это εὔλογον ἐξαγωγήν**. Ибо хотя они говорят, что нередко приходится умирать из-за незначительных причин, так как те, что привязывают нас к жизни, не слишком вески, все же в этом должна быть какая-то мера. Существуют безрассудные и взбалмошные порывы, толкающие на самоубийство не только отдельных людей, а целые народы. Выше я уже приводил такого рода примеры [24], сошлюсь, кроме того, на девушек из Милета, которые, вступив в какой-то безумный сговор, вешались одна за другой до тех пор, пока в это дело не вмешались власти, издавшие приказ, что впредь тех, кого найдут повесившимися, на той же веревке будут волочить голыми по всему городу [25]. Когда Терикион стал убеждать Клеомена [26] покончить с собой из-за тяжелого положения, в котором тот оказался, избежав почетной смерти в только что проигранном сражении, и доказывать Клеомену, что тот должен решиться на эту менее почетную смерть, чтобы не дать победителю возможности обречь его ни на позорную жизнь, ни на позорную смерть, Клеомен с подлинно спартанским стоическим мужеством отверг этот совет, как малодушный и трусливый: «Этот выход,— сказал он,— от меня никогда не уйдет, но к нему не следует прибегать, пока остается хотя тень надежды». Жизнь, говорил он,

---

* Тот, кому будущее представляется тяжелым и мучительным, еще должен быть в живых тогда, когда эти невзгоды могут обрушиться [22] (*лат.*).

** Разумным выходом [23] (*греч.*).

иногда есть доказательство выдержки и мужества; он хочет, чтобы самая смерть его сослужила службу его родине, и потому он желает превратить ее в деяние доблести и добродетели. Терикиона это не убедило, и он покончил с собой. Клеомен спустя некоторое время поступил так же, но после того, как испробовал все. Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти.

Кроме того, в судьбе человеческой бывает иной раз столько внезапных перемен, что трудно судить, в какой мере мы правы, полагая, будто не остается больше никакой надежды:

Sperat et in saeva victus gladiator arena
Sit licet infesto pollice turba minax *.

Старинное присловие гласит: пока человек жив, он может на все надеяться. «Конечно,— отвечает на это Сенека,— но почему я должен думать о том, что фортуна может все сделать для того, кто жив, а не думать о том, что она ничего не может сделать тому, кто сумел умереть?»[28] У Иосифа[29] мы читаем, что он находился на краю гибели, когда весь народ поднялся против него, и, рассуждая здраво, он видел, что для него не оставалось спасения; и все же, сообщает он, когда один из его друзей посоветовал ему покончить с собой, то он, к счастью, решил все же не терять надежды,— и вот, против всякого ожидания, судьбе угодно было распорядиться так, что он выпутался из затруднений без всякого для себя ущерба. А Брут и Кассий, наоборот, своей поспешностью и легкомыслием лишь способствовали гибели последних остатков римской свободы, защитниками которой они были, после чего покончили с собой раньше времени. Я видел, как сотни зайцев спасались, будучи почти уже в зубах борзых. Aliquis carnifici suo superstes tuit **.

Multa dies variusque labor mutabilis aevi
Rettulit in melius; multo alterna revisens
Lusit, et in solido rursus fortuna locavit ***.

Плиний утверждает[32], что есть лишь три болезни, из-за которых можно лишить себя жизни; из них самая мучительная — это камни в мочевом пузыре, препятствующие мочеиспусканию. Сенека же считает наихудшими те болезни, которые надолго повреждают наши умственные способности[33].

Некоторые, желая избежать худшей смерти, полагают, что они должны бежать ей навстречу. Вождю этолийцев Дамокриту, когда его вели пленником в Рим, удалось ночью бежать. Преследуемый стражей, он закололся мечом, прежде чем его поймали[34].

---

* И побежденный в жестоком бою гладиатор надеется, хотя толпа, угрожая, требует его смерти[27] (*лат.*).

** Есть и такие, что пережили своего палача[30] (*лат.*).

*** Нередко время и разнообразные труды переменчивого века улучшают положение дел; изменчивая фортуна, снова посещая людей, многих обманула, а затем снова укрепила[31] (*лат.*).

Антиной и Теодот, когда их город в Эпире доведен был римлянами до последней крайности [35], стали увещевать все население лишить себя жизни; но жители города, решив, что лучше умереть победителями, пошли на смерть и ринулись на врагов, словно не оборонялись, а наступали на них.

Когда остров Гоцо [36] несколько лет тому назад вынужден был сдаться туркам, один сицилиец, у которого были две красивые дочери на выданье, собственной рукой убил их, а вслед за тем и их мать, которая прибежала, узнав об их смерти. Выскочив затем на улицу с аркебузой и арбалетом, он двумя выстрелами убил наповал двух первых попавшихся ему навстречу турок, приближавшихся к его дому; потом с мечом в руке яростно кинулся в самую гущу врагов, которыми был тотчас же окружен и изрублен в куски; так он спас себя от рабства, избавив сначала от него своих близких.

Еврейские матери, совершив, несмотря на преследования, обрезание своим сыновьям, настолько страшились гнева Антиоха, что сами лишали себя жизни [37]. Мне рассказывали про некоего знатного человека, что, когда он был посажен в одну из наших тюрем, его родители, узнав, что он наверняка будет осужден на казнь, желая избежать такой постыдной смерти, подослали к нему священника, внушившего ему, что наилучшим для него средством избавления будет отдаться под покровительство того или иного святого, принеся определенный обет, после чего он в течение недели не должен притрагиваться к пище, какую бы слабость ни чувствовал. Узник поверил священнику и уморил себя голодом, избавив себя этим и от опасности, и от жизни. Скрибония, советуя своему племяннику Либону лучше лишить себя жизни, чем ждать приговора суда, убеждала его, что оставаться в живых для того, чтобы через три-четыре дня отдать свою жизнь тем, кто возьмет ее, в сущности то же, что делать за другого его дело, и что это означает оказывать услугу врагам, сохраняя свою кровь, чтобы она послужила им добычей [38].

В Библии мы читаем, что гонитель истинной веры Никанор повелел своим приспешникам схватить доброго старца Разиса, прозванного за свою добродетель отцом иудеев. И вот когда этот добрый муж увидел, что дело принимает дурной оборот, что ворота его двора подожжены и враги готовятся схватить его, он, решив, что лучше умереть доблестной смертью, чем отдаться в руки этих злодеев и позволить всячески унижать себя и позорить, пронзил себя мечом. Но от поспешности он нанес себе лишь легкую рану, и тогда, взбежав на стену, он бросился с нее вниз головой на толпу своих гонителей, которая расступилась так, что образовалась пустота, куда он и упал, почти размозжив себе голову. Однако, чувствуя, что он еще жив, и пылая яростью, он, несмотря на лившуюся из него кровь и тяжкие раны, поднялся на ноги и пробежал, расталкивая толпу, к крутой и отвесной скале. Здесь, собрав последние силы, он сквозь глубокую рану вырвал у себя кишки и, скомкав и разорвав их руками, швырнул их своим гонителям, призывая на их головы божью кару [39].

Из насилий, чинимых над совестью, наиболее следует избегать, на мой взгляд, тех, которые наносятся женской чести, тем более, что в таких случаях страдающая сторона неизбежным образом также испытывает известное физическое наслаждение, в силу чего сопротивление ослабевает, и получается, что насилие отчасти порождает ответное желание. Пелагея и Софрония — обе канонизированные святые — покончили с собой: Пелагея, спасаясь от нескольких солдат, вместе с матерью и сестрами бросилась в реку и утонула, Софрония же тоже лишила себя жизни, чтобы избежать насилия со стороны императора Максенция [40]. История церкви знает много подобных примеров и чтит имена тех благочестивых особ, которые шли на смерть, чтобы охранить себя от насилий над их совестью.

К нашей чести в будущих веках окажется, пожалуй, то, что один ученый автор наших дней, притом парижанин [41], всячески старается внушить нашим дамам, что лучше пойти на все, что угодно, но только не принимать рокового, вызванного отчаянием, решения покончить с собой. Жаль, что ему осталось неизвестным одно острое словцо, которое могло бы усилить его доводы. Одна женщина в Тулузе, прошедшая через руки многих солдат, после говорила: «Слава богу, хоть раз в жизни я досыта насладилась, не согрешив».

Эти жестокости действительно не вяжутся с кротким нравом французского народа, и мы видим, что со времени этого забавного признания положение дел весьма улучшилось; с нас достаточно, чтобы наши дамы, следуя завету прямодушного Маро [42], позволяли все, что угодно, но говорили при этом: «Нет, нет, ни за что!»

История полна примеров, когда люди всякими способами меняли несносную жизнь на смерть.

Луций Арунций [43] покончил с собой, чтобы уйти разом, как он выразился, и от прошедшего, и от грядущего.

Граний Сильван и Стаций Проксим [44], получив помилование от Нерона, все же лишили себя жизни — то ли потому, что не захотели жить по милости такого злодея, то ли для того, чтобы над ними не висела угроза вновь зависеть от его помилования: ведь он был подозрителен и беспрестанно осыпал обвинениями знатных лиц.

Спаргаписес [45], сын царицы Томирис, попав в плен к Киру, воспользовался первой же милостью Кира, приказавшего освободить его от оков, и лишил себя жизни, так как он счел, что наилучшим применением свободы будет выместить на себе позор своего пленения.

Богу, наместник царя Ксеркса в Эйоне, осажденный афинской армией под предводительством Кимона, отверг предложение вернуться целым и невредимым со всем своим имуществом в Азию, так как не хотел примириться с потерей всего того, что было ему доверено Ксерксом. Он защищал поэтому свой город до последней крайности, но, когда в крепости кончились съестные припасы, он приказал бросить в реку Стримон все золото и ценности, которыми враг мог бы увеличить свою добычу. Затем он велел соорудить большой костер и, умертвив жен, детей, наложниц и слуг, бросил их в огонь, а после этого сам кинулся в пламя [46].

Индусский сановник Нинахтон, прослышав о намерении португальского вице-короля отрешить его без всякой видимой причины от занимаемого им в Малакке поста и передать его царю Кампара, принял следующее решение. Он приказал построить длинный, но не очень широкий помост, укрепленный на столбах, и раскошно украсить его цветами, расставив курильницы с благовониями. Облачившись затем в одеяние из золотой ткани, усыпанное драгоценными камнями, он вышел на улицу и взошел по ступеням на помост, в глубине которого был зажжен костер из ароматических деревьев. Народ стекался к помосту, чтобы посмотреть, для чего делаются эти необычные приготовления. Тогда Нинахтон запальчиво и с негодующим видом стал рассказывать о том, чем ему обязаны португальцы, как преданно он служил им, как часто он с оружием в руках доказывал, что честь ему куда дороже жизни, но что сейчас он не может не подумать о себе, и так как у него нет средств бороться против оскорбления, которое ему хотят нанести, то его доблесть велит ему по крайней мере не покориться духом и сделать так, чтобы в народе сложилась молва о его торжестве над недостойными его людьми. Сказав это, он бросился в огонь [47].

Секстилия [48], жена Сквара, и Паксея, жена Лабеона, желая придать духу своим мужьям и избавить их от грозившей им опасности, которая им обеим вовсе не угрожала и тревожила их только из любви к мужьям, предложили добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы в том безвыходном положении, в каковом оказались их мужья, послужить им примером и разделить их участь. То же самое что эти женщины совершили для своих мужей, сделал и Кокцей Нерва [49] для блага отечества, хотя и с меньшей пользой, но побуждаемый столь же сильной любовью. У этого выдающегося законоведа, наслаждавшегося цветущим здоровьем, богатством, славой и доверием императора, не было никаких других оснований лишить себя жизни, кроме удручавшего его положения дел в его отечестве. Но нет ничего благороднее той смерти, на которую обрекла себя жена приближенного Августа, Фульвия. До Августа дошло, что Фульвий проговорился о важной тайне, которую он ему доверил, и, когда Фульвий однажды утром пришел к нему, Август встретил его весьма неласково. Фульвий вернулся домой в отчаянии и дрожащим голосом рассказал жене, в какую беду он попал, добавив, что он решил покончить с собой. «Ты поступишь совершенно правильно,— ответила она ему смело,— ведь ты много раз убеждался в моей болтливости и все же не таился от меня. Позволь только мне покончить с собой первой». И без лишних слов она пронзила себя мечом.

Вибий Вирий [50], потеряв надежду на спасение своего родного города, осажденного римлянами, и не рассчитывая на милость с их стороны, на последнем собрании городского сената, изложив все свои доводы и соображения на этот счет, заключил свою речь выводом, что лучше всего им будет покончить с собою своими собственными руками и так спастись от ожидавшей их участи. «Враги проникнутся к нам уважением,— сказал он,— и Ганнибал узнает, каких преданных сторонников он бросил на про-

извол судьбы». После этого он пригласил всех, согласных с его мнением, на пиршество, уже приготовленное в его доме, с тем, что, когда они насытятся яствами и напитками, они все также хлебнут из той чаши, которую ему поднесут. «В ней будет напиток,— заявил он,— который избавит наше тело от мук, душу от позора, а глаза и уши от всех тех мерзостей, которые жестокие и разъяренные победители творят с побежденными. Я распорядился, и держу наготове людей, которые бросят наши бездыханные тела в костер, разложенный перед моим домом». Многие одобрили это смелое решение, но лишь немногие последовали ему. Двадцать семь сенаторов пошли за Вибием в его дом и, попытавшись утопить свое горе в вине, закончили пир условленным смертельным угощением. Посетовав вместе над горькой участью родного города, они обнялись, после чего некоторые из них разошлись по домам, другие же остались у Вибия, чтобы быть похороненными вместе с ним в приготовленном перед его домом костре. Но смерть их оказалась мучительно долгой, ибо винные пары, заполонив вены, замедлили действие яда, так что некоторые из них умерли всего за час до происшедшего на другой день захвата римлянами Капуи и едва-едва спаслись от бед, за избавление от которых заплатили такой дорогой ценой.

Другой капуанец, Таврей Юбеллий [51], когда консул Фульвий вернулся после позорной бойни, учиненной им над двумястами двадцатью пятью сенаторами, дерзко окликнул его по имени и остановил его. «Прикажи,— сказал он ему,— после стольких совершенных тобой казней лишить и меня жизни; тогда ты сможешь похваляться, что убил человека много достойнее себя». И так как Фульвий не обращал на него, как на безумца, внимания (к тому же он только что получил из Рима предписания, шедшие вразрез с его бесчеловечно жестоким поведением и связывавшие ему руки), то Юбеллий продолжал: «Итак, теперь, когда мой край в руках врагов, когда мои друзья погибли, когда я собственной рукой лишил жизни жену и детей, чтобы спасти их от этих бедствий, а я сам лишен возможности разделить участь моих сограждан,— пусть моя собственная доблесть избавит меня от этой ненавистной жизни». С этими словами он вытащил спрятанный под платьем кинжал и, пронзив себе грудь, замертво упал к ногам консула.

Александр осаждал какой-то город в Индии. Жители, доведенные до крайности, твердо решили лишить его радости победы; они подожгли город и вместе с ним все погибли в пламени, презрев великодушие победителя. Началось новое сражение: враги дрались за то, чтобы их спасти, а жители — за возможность покончить с собой, причем прилагали к этому такие же усилия, какие люди обычно делают, чтобы спасти свою жизнь.

Жители испанского города Астапы [52], видя, что его стены и укрепления недостаточно крепки, чтобы устоять против римлян, сложили на городской площади, в виде огромной кучи, все свои богатства и домашнюю утварь, посадив сверху жен и детей, и обложили эту груду хворостом и другими легко воспламеняющимися материалами, оставив там пятьдесят

юношей для выполнения задуманного ими плана. После этого они сделали вылазку и, убедившись в невозможности победить врага, все до последнего добровольно лишили себя жизни. А пятьдесят юношей, умертвив всех оставшихся в городе жителей, подожгли затем высившуюся на площади груду и сами бросились в этот костер. Так распрощались они со своей благородной свободой не с болью и позором, а скорее в бесчувственном состоянии, доказав врагам, что если бы судьбе угодно было, то у них хватило бы мужества лишить их победы с тем же успехом, с каким они сумели сделать для них эту победу бесплодной, отталкивающей, а кое для кого даже смертоносной. Ведь некоторые из противников, привлеченные блеском золота, плавившегося в этом пожарище, подбегали слишком близко к огню и либо задыхались от дыма, либо сгорали, ибо не могли уже податься назад, так как сзади напирала следовавшая за ними толпа. Такое же решение приняли и жители Абидоса, доведенные до крайности Филлипом [53]. Но царь, внезапно взяв город и не желая быть свидетелем того, как это ужасное решение, принятое с безрассудной поспешностью, будет приводиться в исполнение, приказал захватить все те сокровища и утварь, которые они собирались сжечь или утопить, а затем отозвал своих солдат, предоставив жителям три дня, в течение которых они могли бы свободно лишать себя жизни, как им заблагорассудится. Они и воспользовались этим, устроив такое кровопролитие и смертоубийство, которое превзошло всякую вражескую жестокость; не осталось в живых ни единой души, у которой была возможность свободно распорядиться своей участью. Известно множество случаев таких массовых самоубийств, которые кажутся нам тем более ужасными, чем большее число лиц в них участвовало. На самом же деле они менее ужасны, чем самоубийства единичные, ибо доводы, которые на каждого человека, взятого в отдельности, и не подействовали бы, на массу могут подействовать: в пылком порыве, охватывающем толпу, гаснет разум отдельных людей.

Во времена Тиберия те, кто были осуждены и ожидали казни, лишались своего имущества и права на погребение; тех же, кто, предвосхищая события, сами лишали себя жизни, хоронили, и они могли составлять завещания [54].

Но иногда желают смерти в ожидании какого-то большего блага. «Имею желание разрешиться,— говорит святой Павел,— и быть со Христом»; и в другом месте он спрашивает: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» [55] Клеомброт Амбракийский, прочтя «Пир» Платона, так загорелся жаждой грядущей жизни, что без всяких других к тому поводов бросился в море. Отсюда явствует, что мы неправильно именуем отчаянием то добровольное решение, к которому нас часто побуждает пылкая надежда, а нередко и спокойное, ясное рассуждение. Суассонский епископ Жак дю Шатель, участник крестового похода Людовика Святого [56], видя, что король и вся армия собираются вернуться во Францию, не доведя до конца свое предприятие, решил, что лучше уж ему отправиться в рай. Простившись со своими друзьями, он на глазах у всех бросился в гущу врагов и был изрублен.

В одном из царств новооткрытых земель в день торжественной процессии, когда в огромной колеснице везут по улицам боготворимого ими идола, некоторые отрубают у себя куски тела и бросают ему, другие же ложатся посреди дороги, чтобы быть раздавленными под колесами и в награду за это после смерти причисленными к святым [57].

В смерти вышеназванного епископа больше благородного порыва, нежели рассудка, так как он был отчасти увлечен пылом сражения.

В некоторых странах государственная власть вмешивалась и пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо добровольно лишать себя жизни. В прежние времена в нашем Марселе хранился запас цикуты, заготовленный на государственный счет и доступный всем, кто захотел бы укоротить свой век, но при условии, что причины самоубийства должны были быть одобрены советом шестисот, то есть сенатом; наложить на себя руки можно было только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях.

Такой же закон существовал и в других местах. Секст Помпей [58], направляясь в Азию, по дороге из Негропонта остановился на острове Кее. Как сообщает один из его приближенных, случилось как раз так, что, когда он там находился, одна весьма уважаемая женщина, изложив своим согражданам причины, по которым она решила покончить с собой, попросила Помпея оказать ей честь своим присутствием при ее смерти. Помпей согласился и в течение долгого времени пытался с помощью своего отменного красноречия и различных доводов отговорить ее от ее намерения, но все было напрасно, и под конец он вынужден был дать согласие на ее самоубийство. Она прожила девяносто лет в полном благополучии, и телесном, и духовном; и вот теперь, возлегши на свое более чем обычно украшенное ложе, она, опершись на локоть, промолвила: «О, Секст Помпей, боги,— и, пожалуй, скорее те, которых я оставляю, чем те, которых я скоро увижу,— воздадут тебе за то, что ты не погнушался мной и сначала пытался уговорить меня жить, а затем согласился быть свидетелем моей смерти. Что касается меня, то фортуна всегда обращала ко мне свой благой лик, и вот боязнь, как бы желание жить дольше не принудило меня узреть другой ее лик, побуждает меня отказаться от дальнейшего существования, оставив двух дочерей и множество внуков». Сказав это, она дала наставление своим близким и призвала их к миру и согласию, разделила между ними свое имущество и поручила домашних богов своей старшей дочери; затем она твердой рукой взяла чашу с ядом и, вознеся мольбы Меркурию и попросив его уготовить ей какое-нибудь спокойное местечко в загробном мире, быстро выпила смертельный напиток. Но она продолжала следить за последствиями своего поступка; чувствуя, как ее органы один за другим охватывал леденящий холод, она заявила под конец, что холод этот добрался до ее сердца и внутренностей, и подозвала своих дочерей, чтобы те сотворили над ней последнюю молитву и закрыли ей глаза.

Плиний сообщает [59] об одном из северных народов, что благодаря мягкости тамошнего воздуха люди в тех краях столь долговечны, что

обычно сами кончают с собой; устав от жизни, они обыкновенно, по достижении весьма почтенного возраста, после славной пирушки бросаются в море с вершины определенной, предназначенной для этой цели скалы.

По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству.



Глава IV

ДЕЛА — ДО ЗАВТРА!

Среди всех французских писателей я отдаю пальму первенства — как мне кажется, с полным основанием — Жаку Амио [1], и не только по причине непосредственности и чистоты его языка — в чем он превосходит всех прочих авторов,— или упорства в столь длительном труде, или глубоких познаний, помогших ему передать так удачно мысль и стиль трудного и сложного автора (ибо меня можно уверить во всем, что угодно, поскольку я ничего не смыслю в греческом; но я вижу, что на протяжении всего его перевода смысл Плутарха передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он настолько вжился в мысли Плутарха, сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде по крайней мере он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило). Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы поднести ее в подарок моему отечеству. Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся и говорить, и писать по-французски; даже дамы состязаются в этом с магистрами. Амио — это наш молитвенник. Если этому благодетелю суждено еще жить долгие годы, то я советовал бы ему перевести Ксенофонта [2]: это занятие более легкое и потому более подходящее его преклонному возрасту. И потом, мне почему-то кажется, что, хотя он очень легко и искусно справляется с трудными местами, все же его стиль более верен себе, когда мысль его течет плавно, без стеснения, не преодолевая препятствий.

Я только что перечел то место, где Плутарх рассказывает о себе следующее. Однажды Рустик, слушая в Риме его публичную речь, получил послание от императора, но не стал вскрывать его, пока речь не была окончена. Все присутствующие, сообщает Плутарх, очень хвалили выдержку Рустика [3]. Рассуждая о любопытстве и о том жадном и остром пристрастии к новостям, которое нередко побуждает нас нетерпеливо и бес-

церемонно бросать все ради того, чтобы побеседовать с новым лицом, или заставляет нас, пренебрегая долгом вежливости и приличием, тотчас же распечатывать, где бы мы ни находились, доставленные нам письма, Плутарх имел все основания одобрить выдержку Рустика; он мог бы кроме того похвалить еще его благовоспитанность и учтивость: ведь тот не пожелал прерывать течения его речи. Но я сомневаюсь, можно ли хвалить Рустика за благоразумие, ибо при неожиданном получении письма, да притом еще от самого императора, легко могло случиться, что, не распечатав и не прочитав его сразу, он тем самым навлек бы на себя крупную неприятность.

Прямо противоположен любопытству другой недостаток — беспечность, к которой я склонен по своему нраву. Я знал многих лиц, беспечность которых доходила до того, что у них можно было найти в карманах нераспечатанные письма, полученные за три или четыре дня до того.

Я никогда не распечатываю не только писем, порученных мне для передачи другим, но и тех, которые случайно попадают мне в руки; и мне бывает совестно, если, находясь возле какого-нибудь высокопоставленного лица, я ненароком бросаю взгляд на какую-нибудь строку из важного письма, которое он читает. Нет человека, который бы меньше, чем я, интересовался чужими делами и стремился за ними подглядывать.

На памяти наших отцов господин де Бутьер чуть было не потерял Турин из-за того, что, сидя за ужином в приятной компании, не стал тотчас читать полученное им донесение об изменах, замышлявшихся в городе, обороной которого он руководил. Из того же Плутарха [4] я узнал, что Юлий Цезарь избежал бы смерти, если бы, идучи в сенат в тот день, когда он был убит заговорщиками, прочел переданную ему записку. Плутарх еще рассказывает о фиванском тиране Архии, что накануне того дня, когда Пелопид привел в исполнение свой замысел убить его и вернуть свободу своему отечеству, некий другой Архий, афинянин, точнейшим образом изложил ему в письме все, что против него затевалось; но так как это сообщение было передано Архию во время ужина, то он отложил и не стал распечатывать письма, произнеся слова, которые с тех пор вошли в Греции в пословицу: «Дела — до завтра!» [5]

Разумный человек может, на мой взгляд, в интересах других — ради, например, того, чтобы не нарушить нескромным образом компанию, как это могло иметь место с Рустиком, или ради того, чтобы не расстроить какое-нибудь важное дело,— отложить на время ознакомление с сообщаемыми ему новостями; непростительно делать это ради самого себя или какого-нибудь своего удовольствия, в особенности если это человек, занимающий высокий пост, и когда отсрочка делается для того, чтобы не нарушить обед или сон. Ведь существовало же в древнем Риме за столом так называемое консульское место, которое считалось самым почетным и предназначалось главным образом для того, чтобы неожиданно зашедшим лицам было легче и доступнее поговорить с тем, кто сидел на нем. Это свидетельствует о том, что, находясь за столом, они не откладывали других дел на «потом» и сразу же узнавали о случившемся.

Однако — договаривая до конца — очень трудно, в особенности когда дело идет о человеческих поступках, предписать какие-нибудь точные, продиктованные разумом правила и исключить действие случайности, всегда сохраняющей свои права в этих делах.



Глава V
О СОВЕСТИ

Однажды, во время наших гражданских войн, я, путешествуя вместе с моим братом, сиром де Ла Брусс, встретился с одним почтенным дворянином. Он был приверженцем противной нам партии, но я этого не знал, так как он подделывался под нашу. Хуже всего в этих войнах то, что карты в них до того перемешаны, что нет никакой определенной приметы, по которой можно было бы признать своего врага: он не отличается ни по языку, ни по внешнему виду, он дышит тем же воздухом, что и мы, вырос среди тех же законов и обычаев, так что трудно не ошибиться, не попасть впросак. Это заставляло меня самого опасаться, как бы мне не встретиться с нашим же отрядом в таких местах, где меня не знают и где мне пришлось бы назвать себя или натолкнуться на что-нибудь еще худшее, как это уже однажды со мной случилось. А именно, при одном из таких недоразумений я потерял своих лошадей и несколько людей, в том числе моего пажа, итальянского дворянина, которого я заботливо воспитывал и который погиб в расцвете своих отроческих лет, не успев оправдать больших надежд, которые он подавал. Но тот дворянин, с которым мы на сей раз встретились, имел такой растерянный вид и так пугался при каждом появлении конных солдат или когда мы проезжали через города, стоявшие за короля, что под конец я догадался: то были муки его неспокойной совести. Этому бедняге казалось, что сквозь его маску и куртку для верховой езды можно прочесть тайные замыслы, которые он таил в душе. Вот какие удивительные вещи способна проделывать с нами совесть! Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она выдает нас против нашей воли —

Occultum quatiens animo tortore flagellum *.

Всем, вплоть до малых детей, известен следующий рассказ. Финикиец Бессий, которого упрекали в том, что он без причины разорил воробьи-

* Душа, как палач, терзает их скрытым бичеванием [1] (*лат.*).

ное гнездо и убил воробьев, оправдывался тем, что эти птички без умолку зря обвиняли его в убийстве отца. До этого мгновения никто ничего не знал об этом отцеубийстве, оно оставалось тайной, но мстящие фурии человеческой совести заставили раскрыть эту тайну именно того, кто должен был понести за нее наказание [2].

Гесиод, в отличие от Платона, заявлявшего, что наказание следует по пятам за преступлением, утверждал, что наказание совершается вместе с преступлением, в тот же миг [3]. Кто ждет наказания, несет его, а тот, кто его заслужил, ожидает его. Содеянное зло порождает терзания —

Malum consilium pessimum *,—

подобно тому как пчела, жаля и причиняя боль другому, причиняет себе еще большее зло, ибо теряет жало и погибает:

vitasque in vulnere ponunt **.

Шпанская муха носит в себе какое-то вещество, которое служит противоядием против ее собственного яда. Сходным образом одновременно с наслаждением, получаемым от порока, совесть начинает испытывать противоположное чувство, которое и во сне и наяву терзает нас мучительными видениями:

Quippe ubi se multi, per somnia saepe loquentes
Aut morbo delirantes, protraxe ferantur
Et celata diu in medium peccata dedisse ***.

Аполлодору привиделось во сне, будто скифы сдирают с него кожу и варят его в котле, а сердце его при этом приговаривает: «это я причина всех этих зол» [7]. Эпикур говорил, что злодеям нигде нельзя укрыться, так как они не могут уйти от собственной совести [8].

...prima est haec ultio, quod se
Iudice nemo nocens absolvitur ****.

Совесть может преисполнять нас страхом, так же как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием. О себе я могу сказать, что во многих случаях я шел гораздо более твердым шагом, ибо ощущал тайное согласие со своей волей и сознавал чистоту моих помыслов:

Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra
Pectora pro facto spemque metumque suo *****.

---

* Дурной совет более всего вредит советчику [4] (*лат.*).

** И свою жизнь они оставляют в ране [, которую нанесли] [5] (*лат.*).

*** Ибо многие выдавали себя, говоря во сне или в бреду во время болезни, и разоблачали злодеяния, долго остававшиеся скрытыми [6] (*лат.*).

**** Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед собственным судом [9] (*лат.*).

***** Наши действия порождают в нас надежды или страх в зависимости от наших побуждений [10] (*лат.*).

FEBRVARIVS 28 ΕΛΑΦΗΒΟΛΙΩΝ

PR. ID. FEBR. ἐπιχυρία

ΦΑΜΕΝΩΘ 4 9 אדר

ANNO ante nat. Chr. 506, Pugnatum est inter Romanos & Hethruscos, qui Tarquinium Roma eiectũ restituere volebant. Periere Hethruscorum 11300, ex Romanis vno pauciores ceciderunt. Sub initium pugnæ Iun. Brutus, & Aruns Tarquinii filius, mutuis vulneribus in concursu cadũt. Plut. in Publicola.

ANNO ante nat. Chr. 186, Mẽse intercalario, Magnificè Triumphauit L. Cornelius Scipio Asiaticus, de victo Antiocho, eiusq; exercitu cæso ad Thermopylas primum, deinde in Asia. Liuius lib. 7, Decad. 4. in fine.

ANNO post nat. Chr. 1402, Natus est Carolus, Caroli VI Frãcorum Regis filius, qui pòst in regno patri succeßit, propter fratrum natu maiorum obitus. Annal. Fran.

ANNO post nat. Chr. 1441, Rauẽna vrbs Pollẽtesiis seu Pollentanis principibus qui eã circiter 150, annos obtinuerant, eiectis: in Venetorum manus deuenit. Bergomensis.

ANNO 1468. Natus est Paulus III. Pont. Romanus. Genethl.

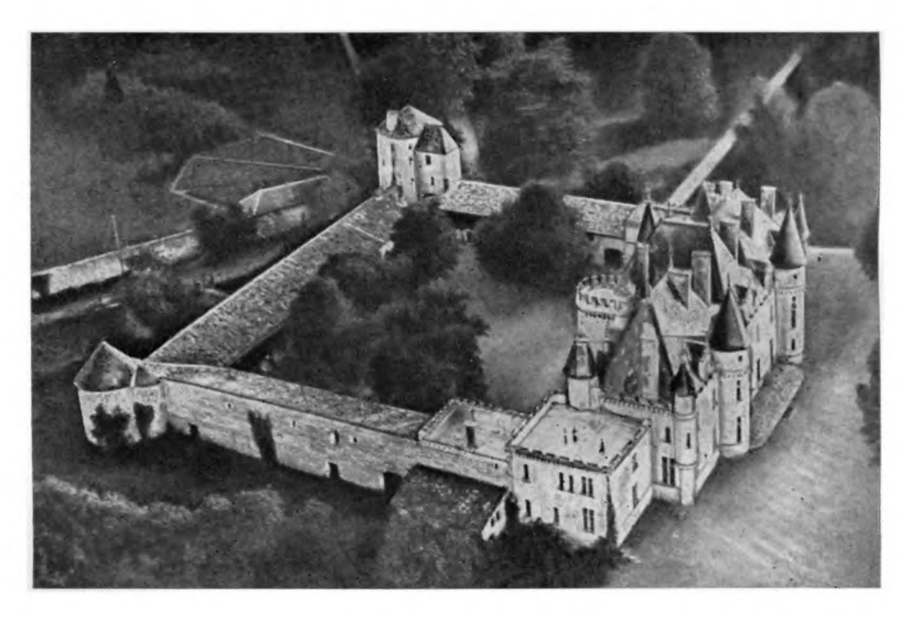
ANNO post natum Chr. 1518, Natus est Ambasiæ Franciscus, Francisci I. Franciæ Regis primogenitus, sed qui anno ætat. 19, veneno sublatus est. Annal. Fran.

Hoc die circiter horam undecimam ante meridiem natus est petro ~~Eyquemio~~ Montano & Antonina Lopessia nobilibus parentibus Michael ~~Eyquemius~~ Montanus in confinis Burdigalensiũ & Petragorensium in domo paterna Montana a Christo nato 1533 latina computa

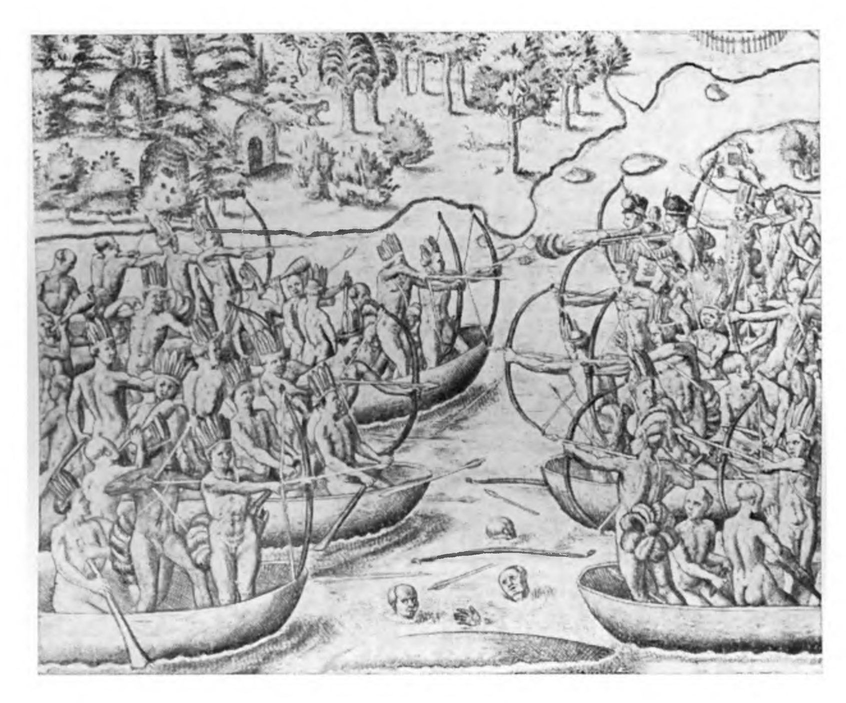
Лист календаря, на котором Монтень сам отметил дату своего рождения



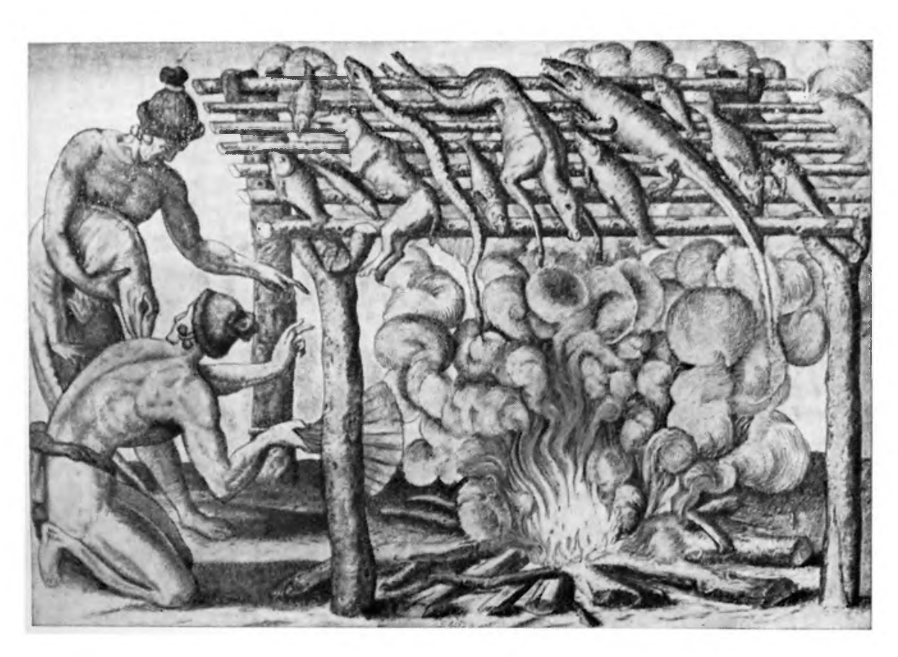
Бордо в 1583 г. Гравюра XVI в.



Замок Монтеня. Современная фотография. Вид сверху



Сражение между индейцами. Гравюра Жака Лемуана де Morga. 1564 г.



Индейцы коптят рыбу и мясо. Гравюра Жака Лемуана де Morga. 1564 г.



Фронтиспис так называемого «Бордоского» издания. 1588 г.

Такого рода примеров тысячи, я ограничусь, однако, только тремя, касающимися одного и того же лица.

Когда Сципиона [11] однажды обвинили пред лицом римского народа в важном преступлении, он вместо того, чтобы оправдываться перед своими судьями или заискивать перед ними, сказал им: «Очень вам это к лицу — затевать суд и требовать головы человека, благодаря которому вы наделены властью судить весь мир». Другой раз в ответ на обвинения, которые бросил ему в лицо один народный трибун, он вместо того, чтобы защищаться, сказал, обращаясь к своим согражданам: «Давайте пойдем и воздадим хвалу богам за победу, которую они мне даровали над карфагенянами в такой же день, как сегодня», и когда он двинулся по направлению к храму, вся толпа, и в том числе его обвинитель, последовали за ним [12]. Когда Петилий [13], по наущению Катона, потребовал у Сципиона дать отчет в деньгах, потраченных во время войны против Антиоха, Сципион, явившись по этому поводу в сенат, вынул принесенную им под платьем книгу записей и заявил, что в ней содержится полный отчет всех приходов его и расходов; но когда ему предложили предъявить эту книгу для проверки, он наотрез отказался сделать это, заявив, что не желает подвергать себя такому позору, и собственноручно, перед лицом сенаторов, разорвал книгу в клочья. Я не думаю, чтобы человек с нечистой совестью мог изобразить подобную уверенность. Тит Ливий говорит [14], что Сципион обладал от природы благородным сердцем, всегда устремленным к слишком высоким целям, чтобы он мог быть преступником или унизиться до того, чтобы защищать свою невиновность.

Изобретение пыток — опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто не в состоянии сделать это. Действительно, почему боль заставит меня скорее признать то, что есть, чем то, чего нет? И, наоборот, если человек, не совершавший того, в чем его обвиняют, достаточно терпелив, чтобы вынести эти мучения, то почему человек, совершивший это дело, не будет столько же терпелив, зная, что его ждет такая щедрая награда, как жизнь. Я думаю, что это изобретение в основе своей покоится на сознании нашей совести. Ведь виновному кажется, что совесть помогает пытке, понуждая его признать свою вину, и что она делает его более слабым, невинному же она придает силы переносить пытку. Однако, говоря по правде, пытка — весьма ненадежное и опасное средство.

Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не сделает, лишь бы избежать этих ужасных мук?

Etiam innocentes coget mentiri dolor *.

Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невинного, погибает и невинным и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения. К числу их я отношу и Филоту [16],

* Беда заставляет лгать даже невинных [15] (*лат.*).

принимая во внимание условия суда, устроенного над ним Александром, и то, как его пытали.

И тем не менее говорят, что это наименьшее из зол, изобретенных человеческой слабостью! Я, однако, нахожу пытку средством крайне бесчеловечным и совершенно бесполезным. Многие народы, менее варварские в этом отношении, чем греки и римляне, называющие их варварами, считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответственен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти? Чтобы хорошенько вникнуть в это, заметьте только, как часто бывает, что испытуемый предпочитает лучше умереть без всяких оснований, лишь бы только не подвергаться этому испытанию, которое хуже казни и нередко своей жестокостью приводит к смерти, предвосхищая казнь. Не помню, откуда я взял этот рассказ [17], но он дает точное представление о совестливости нашего правосудия. Некая крестьянка обвинила перед полководцем и главным судьей армии одного солдата в том, что он отнял у ее маленьких детей ту малость вареного мяса, которая оставалась у нее для их пропитания, ибо эта армия разграбила все деревни кругом. И действительно, нигде не осталось ни зернышка. Полководец приказал женщине сначала хорошенько обдумать свои слова, ибо она должна будет отвечать за них, если окажется, что это ложное обвинение. Но так как женщина твердо стояла на своем, то он приказал распороть солдату живот, чтобы удостовериться в истине. И тогда убедились, что женщина сказала правду. Поучительное наказание!



Глава VI

ОБ УПРАЖНЕНИИ

Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы усердно мы себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы, кроме этого, не упражняем нашу душу и не приучаем ее к деятельности, предназначенной ей нами; в противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной. Вот почему те философы, которые стремились добиться более высокого совершенства, не довольствовались тем, чтобы, затаившись в каком-нибудь укрытии, ждать невзгод судьбы, а опасаясь, чтобы они не застали их неподготовленными и непривычными к борьбе, шли им навстречу и намеренно подвергали себя всяким трудным испытаниям. Одни отказывались от богат-

ства и добровольно обрекали себя на бедность; другие стремились к тяжелой работе и суровым условиям жизни, чтобы закалиться и приучить себя к труду и нужде; некоторые же лишали себя самых ценных частей тела, как, например, глаз или половых органов, боясь, чтобы пользование ими, дающее так много радости и наслаждения, не ослабило и не изнежило их души. Но упражнение не может приучить нас к самому большому делу, которое нам предстоит — к смерти, здесь оно бессильно. Можно путем упражнения и с помощью привычки закалить себя и приобрести стойкость в перенесении боли, стыда, бедности и других подобных горестей; но что касается смерти, то мы можем испытать ее только раз в жизни, и потому все мы являемся новичками, когда подходим к ней.

В древние времена были люди, так превосходно умевшие пользоваться своим временем, что они пытались даже получить наслаждение от самой смерти и заставить свой ум понять, что представляет собой этот переход к смерти; но они не вернулись обратно, чтобы поделиться с нами этими сведениями:

nemo expergitus extat
Frigida quem semel est vitai pausa secuta *.

Знатный римлянин Каний Юлий, отличавшийся добродетелью и исключительной твердостью, будучи осужден на смерть злодеем Калигулой [2], кроме многих других поразительных доказательств своего мужества, дал еще следующее. Когда рука палача уже вот-вот должна была опуститься на его голову, один из его друзей, философ, спросил его: «Итак, Каний, как чувствует себя в эту минуту твоя душа? Что она делает? О чем ты думаешь?» «Я стараюсь,— ответил Каний,— быть наготове и напрячь все свои силы, чтобы постараться уловить в течение краткого мгновения смерти, произойдет ли какое-нибудь движение в моей душе и ощутит ли она свой уход из тела, с тем чтобы, если я что-нибудь подмечу, потом, по возможности, сообщить об этом моим друзьям». Вот человек, философствующий не только до самой смерти, но и в самый момент смерти. Какой стойкостью надо обладать, какой непоколебимостью духа, чтобы желать извлечь урок из самой своей смерти и быть в состоянии еще думать о чем-то постороннем в такой важный момент!

Ius hoc animi morientis habebat **.

И все же мне кажется, что есть какой-то способ приучить себя к смерти и некоторым образом испробовать ее. Хотя наш опыт в этом деле не может быть ни совершенным, ни полным, он во всяком случае может быть небесполезным для нас, придав нам сил и уверенности. Мы не можем погрузиться в смерть, но мы можем приблизиться к ней и рассмотреть ее; и хотя мы не в состоянии путем упражнения дойти в этом деле до конца, во всяком случае мы можем кое-что разглядеть и ознакомиться с под-

---

* Тому не пробудиться, в ком оборвалась и остыла жизнь [1] (*лат.*).
** Такую власть он имел над своей умирающей душой [3] (*лат.*).

ступами к смерти. Ведь не без основания нам предлагают приглядываться даже к нашему сну, ввиду того что он походит на смерть.

Как легко совершается переход от бодрствования ко сну! Как незаметно мы перестаем сознавать себя и окружающее!

Можно было бы, пожалуй, признать сон, лишающий нас возможности действовать и чувствовать, чем-то ненужным и противоестественным, если бы не то, что с его помощью природа показывает нам, что она предназначила нас в такой же степени для жизни, как и для смерти, и если бы не то, что посредством сна она еще при жизни приоткрывает нам ту вечность, которая ждет нас после этой нашей жизни, для того чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха перед ней.

Но те, кому довелось из-за какого-нибудь несчастного случая лишиться сознания или упасть без чувств, те, по моему мнению, были весьма близки к тому, чтобы увидеть подлинный и неприкрашенный лик смерти; ибо, что касается самого момента перехода от жизни к смерти, то нечего опасаться, что он связан с каким-либо страданием или неприятным ощущением, если учесть, что для того, чтобы почувствовать что-нибудь, нужно какое-то время. Чтобы ощутить страдания, требуется время, а между тем момент смерти столь краток и стремителен, что он неизбежно должен быть безболезненным. У нас есть основания бояться только подготовительных мгновений к смерти, но они-то как раз и поддаются упражнению.

Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности. Бóльшую часть моей жизни я наслаждался цветущим здоровьем, больше того, силы переполняли меня, они так и бурлили во мне. Это радостное, ликующее ощущение здоровья заставляло меня думать о болезнях с таким ужасом, что, когда мне довелось на деле их испытать, я обнаружил, что они гораздо менее мучительны, что это мне рисовалось под влиянием страха.

Вот что я постоянно испытываю: если ночью, хорошо укутанный, я нахожусь в уютной комнате, в то время как за окнами бушует буря и непогода, я не могу без страха и содрогания думать о тех, кого они застигли в пути; но если в такую минуту я сам нахожусь в дороге, мне и в голову не придет пожелать находиться в каком-нибудь другом месте.

Уже одно то, что быть запертым в четырех стенах, казалось мне нестерпимым; но вскоре я научился оставаться в таком положении неделю, даже месяц, изнемогая от боли, лишений и слабости, и тогда я понял, что, когда был здоров, я жалел больных в гораздо большей степени, чем сам заслуживаю сожаления теперь во время своей болезни, и что воображение заставляло меня почти вдвое преувеличивать истинное положение вещей. Надеюсь, что то же случится и тогда, когда я буду умирать, и что не стоит так много хлопотать, суетиться и готовиться к смерти, как это обычно делают люди. Но все же, на всякий случай, никакие меры предосторожности тут не могут быть лишними.

Во время нашей второй или третьей гражданской войны [4] (не могу в точности припомнить, какой именно) я вздумал однажды покататься

на расстоянии одного лье от моего замка, расположенного в самом центре происходивших смут. Находясь поблизости от своего дома, я считал себя настолько в безопасности, что не взял с собой ничего, кроме удобного, но не очень выносливого коня. При возвращении случилось неожиданное происшествие, заставившее меня воспользоваться моим конем для дела, к которому он был непривычен. Один из моих людей, человек рослый и сильный, ехавший верхом на коренастом и тугоуздом жеребце, желая выказать отвагу и опередить своих спутников, пустил его во весь опор прямо по той дороге, по которой ехал я, и со всего размаха лавиной налетел на меня и мою лошадь, опрокинув нас своим напором и тяжестью. Оба мы полетели вверх ногами, моя лошадь свалилась и лежала совершенно оглушенная, я же оказался поодаль, в десятке шагов, бездыханный, распростертый навзничь; лицо мое было в сплошных ранах, моя шпага отлетела еще на десяток шагов, пояс разорвался в клочья, я лежал колодой, без движения, без чувств. Это был первый обморок в моей жизни. Мои спутники всеми силами тщетно пытались привести меня в чувство, и, наконец, решив, что я мертв, подняли меня и с огромным трудом на руках перенесли в мой дом, отстоявший примерно в полумиле от места происшествия. По дороге, после того как в течение более двух часов меня считали мертвым, я стал слегка шевелиться и дышать; за это время столько крови попало в мой желудок, что мне необходимо было разгрузиться от нее. Меня поставили на ноги, и из меня вылилось целое ведро крови; и еще несколько раз, пока меня несли, мне пришлось повторить эту операцию. Благодаря этому я начал чуть-чуть оживать, но это происходило так медленно и с такими промежутками, что мои первые ощущения были скорее похожи на смерть, чем на жизнь:

Perche, dubbiosa anchor del suo ritorno,
Non s'assecura attonita la mente *.

Это воспоминание, так сильно врезавшееся мне в память и давшее мне возможность увидеть лицо смерти почти вплотную и без прикрас, как-то примирило меня с нею. Когда глаза мои стали что-то разбирать и я стал что-то видеть, я видел так смутно, слабо и как бы в тумане, что сначала я мог различать только свет —

come que ch'or apre or chiude
Gli occhi, mezzo tra'l sonno e l'esser desto **.

Что касается моих душевных способностей, то они восстанавливались столь же медленно, как и физические. Я видел себя сплошь окровавленным, так как плащ мой весь был пропитан моей кровью. Первой моей мыслью было, что меня ранили из аркебузы в голову, так как в ту пору вокруг нас сильно постреливали. Мне казалось, что жизнь моя держится

---

* Так как, все еще сомневаясь в своем пробуждении, потрясенный ум не уверен в себе [5] (*ит.*).

** Как тот, кто, одолеваемый сном, то закрывает, то открывает глаза [6] (*ит.*).

лишь на кончиках губ; я закрывал глаза, стараясь, как мне представлялось, помочь ей уйти от меня, и мне было приятно изнемогать и отдаваться течению. Это была мысль, еле брезжившая в моем сознании, такая же слабая и зыбкая, как и все остальные, но она не только не была мне неприятна, а напротив, к ней примешивалось то сладостное ощущение, которое бывает, когда мы погружаемся в сон.

Мне сдается, что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей, и я думаю, что мы напрасно оплакиваем их, считая, что их мучат в это время жестокие боли или что душа их подавлена мрачными мыслями. Я всегда считал, расходясь во мнениях с другими и даже с Этьеном Ла Боэси[7], что те, кого мы видим лежащими, так же как и я, ничком и как бы отходящими ко сну в ожидании конца, или те, кто измождены долгими муками или разбиты апоплексическим ударом, или в припадке падучей,—

vi morbi saepe coactus
Ante oculos aliquis nostros, ut fulminis ictu,
Concidit, et spumas agit; ingemit, et fremit artus.
Desipit, extentat nervos, torquetur, anhelat,
Inconstanter et in iactando membra fatigat *,

или те, что ранены в голову,— когда мы слышим, как они иногда вопят и отчаянно стонут,— я всегда считал, повторяю, что их душа и тело спят, окутанные саваном, хотя по некоторым признакам мы и можем уловить, что в них есть еще проблески сознания, и мы еще замечаем какие-то движения их тел:

Vivit, et est vitae nescius ipse suae **.

Я не могу поверить, чтобы в этом состоянии, когда все тело так пострадало и чувства ослаблены донельзя, у души хватало еще сил сознавать себя; мне кажется поэтому, что у этих людей не остается никакого проблеска мысли, которая бы мучила их и способна была ощутить и уяснить всю тяжесть их положения; из этого следует, что не к чему так уж сильно жалеть их.

Я не представляю для себя лично ничего более невыносимого и ужасного, чем, испытывая живое и острое страдание, не иметь возможности как-либо его выразить. Это можно было бы сказать про тех, кого отправляют на казнь, предварительно отрезав им язык, если бы не то, что для казнимого публично смерть без единого звука — наиболее пристойный исход, при условии, чтобы лицо при этом выражало твердость и достоинство. Вполне применимо сказанное мною к тем несчастным пленникам, ко-

---

* Часто человек, сраженный болезнью, словно от удара молнии, падает на наших глазах с пеной у рта; он стонет и дрожит всем телом, лишен сознания, мышцы его сведены судорогой, он дышит прерывисто и беспорядочными движениями изнуряет свои члены[8] (*лат.*).

** Он жив, но не сознает этого[9] (*лат.*).

торые попадают в руки мерзских палачей — солдат нашего времени, подвергающих их самым жестоким истязаниям с целью выжать из них какой-нибудь баснословный и необыкновенный выкуп, держа их в таких условиях и в таких местах, что они не имеют никакой возможности подать голос, заявить о постигшей их беде.

Поэты придумали некоторых богов, которые будто бы облегчают смерть людям, терпящим такие жестокие муки:

hunc ego Diti
Sacrum iussa fero, teque isto corpore solvo *.

Но если окружающие, всячески тормоша таких умирающих и крича им в самое ухо, и могут подчас исторгнуть у них какие-то краткие и бессвязные ответы или уловить какие-то движения, которые как бы выражают согласие на то, о чем их спрашивают,— это еще не доказывает, что такие люди живы, во всяком случае не доказывает, что они вполне живы. Ведь случается же с нами, когда нас клонит ко сну, хоть мы еще не вполне в его власти, что мы ощущаем, как во сне, все, что творится вокруг нас, и отвечаем спрашивающим нас смутным и неопределенным согласием, которое дается почти без сознания; мы даем эти ответы на последние долетевшие до нас слова, ответы случайные и часто бессмысленные.

Теперь, после того как я сам испытал это состояние, у меня нет никаких сомнений в том, что до сих пор я вполне правильно о нем судил! В самом деле, я прежде всего, еще не приходя в сознание, попытался разорвать свой камзол ногтями (ибо я был без оружия), а между тем я хорошо знаю, что вовсе не представлял себе, будто ранен. Ведь есть столько движений, которые совершаются без нашего ведома:

Semianimesque micant digiti ferrumque retractant **.

Так, например, при падении люди часто выбрасывают вперед руки, повинуясь естественному побуждению, заставляющему части нашего тела оказывать друг другу помощь, не дожидаясь предписаний нашего разума:

Falciferos memorant currus abscindere membra,
Ut tremere in terra videatur ab artubus id quod
Decidit abscissum, cum mens tamen atque hominis vis
Mobilitate mali non quit sentire dolorem ***.

Мой желудок переполнен был свернувшейся кровью, и мои пальцы сами устремились к нему, как это часто бывает против нашей воли с

* По божественному приказу я явилась, чтобы освободить тебя от этого тела [10] (*лат.*).

** Полуживые пальцы дрожат и опять хватаются за меч [11] (*лат.*).

*** Рассказывают, что снабженные косами колесницы рассекают тела и что можно увидеть валяющиеся на земле отсеченные руки и ноги в то время, как ум и сознание людей еще не в состоянии были почувствовать боли из-за внезапности стремительного удара [12] (*лат.*).

нашими руками, когда где-нибудь у нас зудит. У многих животных и даже у людей, когда они уже испустили дух, мышцы все еще продолжают сокращаться и распускаться. Всякий по опыту знает, что есть органы, которые приходят в движение, поднимаются и опускаются часто без нашего ведома. Про эти влечения, которые затрагивают нас лишь чисто внешним образом, нельзя сказать, что это наши влечения, так как для того, чтобы они стали нашими, человек должен быть всецело охвачен ими; нельзя, например, сказать, что боль, ощущаемая рукой или ногой во сне, есть наша боль.

Когда мы уже подъезжали к моему дому, куда успело дойти известие о моем падении, и члены моей семьи с криками, как бывает в таких случаях, выбежали мне навстречу, я не только что-то ответил спрашивавшим, но рассказывают, будто я даже догадался приказать, чтобы подали лошадь моей жене, которая, как я смог заметить, выбивалась из сил, спеша ко мне по очень крутой и каменистой тропинке. Может показаться, что такой приказ должен быть исходить от человека, уже совершенно пришедшего в сознание. Вовсе нет: то были лишь смутные и бессвязные мысли, исходившие от впечатлений, полученных от зрения и слуха, но не от меня. Я не соображал, ни откуда двигаюсь, ни куда направляюсь; я не в состоянии был разобрать и понять, о чем меня спрашивают; это были очень слабые движения, которые мои чувства производили как бы по привычке; мой разум участвовал в этом сквозь дрему, подвергаясь легчайшему прикосновению, щекотанию со стороны чувств. Между тем мое самочувствие было поистине очень приятным и спокойным: я не испытывал тревоги ни за себя, ни за других, я ощущал какую-то истому и необычайную слабость, но никакой боли. Я видел свой дом, но не узнавал его. Когда меня уложили в постель, я почувствовал несказанное блаженство от этого покоя, так как меня порядком растрясло, пока эти славные люди несли меня на руках по такой плохой и длинной дороге, что им пришлось раза два или три сменить друг друга, чтобы передохнуть. Мне стали насильно давать разные лекарства, но я не принял ни одного из них, так как был убежден, что смертельно ранен в голову. Это была бы поистине очень легкая смерть, ибо из-за бесконечной слабости разум мой не в состоянии был ни о чем судить, а тело ничего не чувствовало. Я тихонько отдался течению, и мне было так легко и спокойно, что, казалось, ничего не могло быть приятнее. Когда, спустя два или три часа, я начал приходить в себя и силы мои стали восстанавливаться,

Ut tandem sensus convaluere mei *,

я вдруг сразу почувствовал сильнейшие боли, ибо от падения все члены мои были расшиблены и изранены. В течение двух или трех ночей после этого мне было очень плохо, и мне казалось, что я еще раз умираю, но только более мучительной смертью; я еще и сейчас ощущаю страшный удар, полученный при падении. И вот что примечательно: последней мыс-

* Когда наконец я пришел в себя [13] (*лат.*).

лью, сохранившейся у меня в сознании, было воспоминание о том, что со мной случилось; но прежде чем понять все как следует, я заставлял по нескольку раз повторять себе, куда я ехал, откуда возвращался, в котором часу со мной это произошло. Что касается обстоятельств моего падения, то от меня их скрывали, не желая выдавать виновника катастрофы, и придумывали для меня все новые и новые объяснения. Некоторое время спустя, уже на следующий день, когда память моя начала восстанавливаться и рисовать мне, в каком состоянии я был в тот момент, когда заметил обрушивающуюся на меня лошадь (ибо я увидел ее у самых ног и подумал, что пришла моя смерть; но эта мысль была так мимолетна, что не успела даже вызвать во мне страх), мне показалось, что меня поразила молния и что я возвращаюсь с того света.

Рассказ об этом малозначительном происшествии мог бы показаться не заслуживающим внимания, если бы не то поучение, которое я извлек для себя из него. Я действительно убедился, что для того, чтобы свыкнуться со смертью, нужно только приблизиться к ней вплотную. Всякий из нас, по словам Плиния [14], может служить хорошим поучением для самого себя, лишь бы он обладал способностью пристально следить за собой. Рассказывая о случившемся со мной, я не поучаю других, а поучаюсь сам; это урок, извлеченный мною для себя, а не наставление для других.

И не следует ставить мне в укор, что я об этом рассказываю, ибо то, что полезно для меня, может при случае оказаться полезным и для другого. Как бы там ни было, я ничего ни у кого не отнимаю, а только извлекаю пользу из своего добра. А если я говорю глупости, то никто от этого не страдает, кроме разве меня самого; к тому же эти глупости со мной и кончаются, не имея дальнейшего продолжения. Так писали о себе всего лишь два или три древних автора, да и то, не зная о них ничего, кроме их имен, не берусь утверждать, что они писали совершенно в таком духе, как и я. С тех пор никто не шел по их стопам. И неудивительно, ибо прослеживать извилистые тропы нашего духа, проникать в темные глубины его, подмечать те или иные из бесчисленных его малейших движений — дело весьма нелегкое, гораздо более трудное, чем может показаться с первого взгляда. Это занятие новое и необычное, отвлекающее нас от повседневных житейских занятий, от наиболее общепринятых дел. Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя, а если я и изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе или, вернее, вложить в себя. И мне отнюдь не кажется ошибочным, если, подобно тому как это делается в других науках, несравненно менее полезных, чем эта, я сообщаю все добытое мною на этом поприще, хотя и не могу сказать, что доволен успехами, достигнутыми мною до этого времени. Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного. Всегда надо хорошенько пообчиститься, приодеться, привести себя в порядок, прежде чем показаться на людях. Так вот и я постоянно привожу себя в порядок, ибо постоянно занят самоописанием. Говорить

о себе считается дурной привычкой, решительно осуждаемой из-за оттенка хвастовства, которое обычно кажется неизбежно связанным с рассказами о себе.

Но это значило бы выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка:

In vitium ducit culpae fuga *.

Я нахожу, что такое средство скорее вредно, чем полезно. Но если бы даже было верно, что рассказывать людям о себе есть обязательно тщеславие, то я все же не должен, будучи верен своей основной задаче, подавлять в себе это злосчастное свойство, раз уж оно мне присуще, и утаивать этот порок, который является для меня не только привычкой, но и призванием. Как бы то ни было, говоря по правде, я должен сказать по поводу этого обыкновения, что неправильно осуждать вино за то, что многие напиваются им допьяна. Злоупотреблять можно только хорошими вещами. Осудительное отношение к этому обычаю, по-моему, направлено против широко распространенной слабости. Это узда для коров, которой не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я, хотя и не принадлежу к числу как тех, так других. Хотя они прямо в этом и не признаются, они никогда не упустят случая выставить себя напоказ. О чем больше всего рассуждает Сократ, как не о себе самом? К чему он постоянно направляет мысли своих учеников, как ни к тому, чтобы они говорили о себе, но не на основании вычитанного ими из книг, а на основании движений их собственной души? Мы благоговейно исповедуемся перед богом и нашим духовником, а наши соседи исповедуются публично [16]. Но мне скажут, что мы исповедуемся только в прегрешениях; на это я отвечу, что мы исповедуемся во всем, ибо сама наша добродетель небезупречна и нуждается в покаянии. Жить — вот мое занятие и мое искусство. Тот, кто хочет запретить мне говорить об этом по моему разумению, опыту и привычке, пусть прикажет архитектору говорить о зданиях не своими мыслями, а чужими, на основании чужих знаний, а не своих собственных. Если говорить о своих качествах есть самомнение, то почему Цицерон не превозносит красноречия Гортензия, а Гортензий — красноречие Цицерона? [17] Пожалуй, кто-нибудь скажет, что лучше было бы, если бы я свидетельствовал о себе делами и творениями, а не одними только словами. Но я изображаю главным образом мои размышления — вещь, весьма неуловимую и никак не поддающуюся материальному воплощению. Лишь с величайшим трудом могу я облечь их в такую воздушную оболочку, как голос. Многие более мудрые и более благочестивые люди прожили жизнь, не совершив никаких выдающихся поступков. Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом. Они свидетельствуют скорее о своей роли, чем о моей, позволяя судить о последней лишь гадательно и очень неточно: всякий раз с какой-либо одной стороны. А тут я выставляю целиком себя напоказ: нечто вроде скелета, в котором

* Стремление избегнуть ошибки ведет к промаху [15] (*лат.*).

с одного взгляда можно увидать все — вены, мускулы, связки, все в отдельности и на своем месте. А кашель показал бы лишь одну часть картины, внезапная бледность или сердцебиение — другую, да и то не вполне достоверным образом. Тут я описываю не свои движения, а себя, свою сущность. Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе и равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делаются ли они вслух или про себя. Если бы мне казалось, что я добр и умен или что-нибудь в этом роде, я сказал бы об этом во весь голос. Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на деле,— не скромность, а глупость. Расценивать себя ниже того, что ты сто́ишь, есть, по словам Аристотеля, трусость и малодушие[18]. Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не покоится на лжи. Говорить о себе, превознося себя, лучше, чем ты есть на деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость. В основе этого порока лежит, по-моему, чрезмерное самодовольство и неразумное себялюбие. Лучшее средство для исцеления от этого порока — делать прямо противоположное тому, что предписывают те, кто, запрещая говорить о себе, тем самым еще строже запрещают о себе думать. Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие. Запрещающим говорить о себе кажется, что заниматься собой значит любоваться собой, что неотвязно следить за собой и изучать себя значит придавать себе слишком много цены. Это, конечно, бывает. Но такая крайность проявляется только у тех, кто изучает себя лишь поверхностно; у тех, кто обращается к себе, лишь покончив со всеми своими делами; кто считает занятие собой делом пустым и праздным; кто держится мнения, что развивать свой ум и совершенствовать свой характер — все равно что строить воздушные замки; и кто полагает, что самопознание — дело постороннее и третьестепенное.

Если кто-нибудь, оглядываясь на нижестоящих, кичится своей ученостью, пусть он обратит взор к минувшим векам, тогда он сразу смирится, увидев, сколько было тысяч людей, стоявших неизмеримо выше его. А если он преувеличенного мнения о своей доблести, пусть припомнит жизнь обоих Сципионов и стольких армий и стольких народов, до которых ему бесконечно далеко. Никакое особое достоинство не преисполнит гордостью того, кто осознает все великое множество присущих ему несовершенств и слабостей, и вдобавок ко всему — все ничтожество человеческого существования.

Именно потому, что Сократ сумел искренне принять наставление своего бога: «Познай самого себя», и в результате этого самопознания проникся презрением к себе, он удостоился звания мудреца. Тот, кто сумеет таким же образом познать себя, может не бояться говорить о результатах своего познания[19].



Глава VII
О ПОЧЕТНЫХ НАГРАДАХ

Описывающие жизнь Цезаря Августа[1] отмечают, что в воинском деле он был поразительно щедр в раздаче даров всем тем, кто этого заслуживал, но вместе с тем был столь же скуп в раздаче чисто почетных наград. Между тем сам он получил множество воинских наград от своего дяди[2], еще не успев ни разу побывать на поле сражения. Хорошей выдумкой, утвердившейся в большинстве стран мира, было установление некоторых малозначительных и ничего не стоящих знаков отличия для награждения и почтения добродетели, к числу которых относятся лавровые, дубовые, миртовые венки, особые виды одежды, привилегия проезжать на колеснице по городу или ночные шествия с факелами, право занимать особое место в публичном собрании, прерогатива носить известные титулы и прозвища, иметь определенные знаки в гербе и тому подобные вещи. Этот обычай в различных формах был принят у многих народов и до сих пор остается в силе.

Что касается нас, французов, и некоторых соседних с нами народов, то у нас для этого введены рыцарские ордена. Это поистине очень хороший и полезный обычай отмечать заслуги выдающихся и исключительных людей, выделять и награждать их при помощи пожалований, нисколько не обременяющих общество и ничего не стоящих государству. Между тем из опыта древних и нашего собственного известно, что выдающиеся люди больше домогались таких наград, чем денежных и доходных пожалований; это вполне понятно и имеет веские основания. Действительно, если к награде, которая должна быть только почетной, примешиваются другие блага и богатства, то это сочетание вместо того, чтобы усилить почет, снижает и уменьшает его. Издавна прославленный у нас орден святого Михаила[3] имел то огромное преимущество, что он не связан был ни с какими другими благами. Поэтому не было такого чина и звания, которого дворянство домогалось бы с бо́льшим рвением и пылом, чем этого ордена; не было положения, которое приносило бы больше уважения и почета, ибо в этом случае добродетель стремилась получить и получала наиболее подходящую награду, в которой было больше славы, нежели выгоды. Действительно, все остальные награды не связаны с таким почетом, так как они даются по самым различным поводам. Деньгами награждают слугу за его заботы, гонца за его усердие; ими награждают за обучение танцам, фехтованию, красноречию, а также за самые низменные услуги; оплачивается даже и порок, как, например, лесть, сводничество, измена; поэтому нет ничего удивительного в том, что добродетель менее охотно принимает эту избитую монету и стремится к получению той вполне благородной и почетной награды, которая ей лучше всего подходит. Август поэтому с полным основанием был более расчетлив и скуп при раздаче почетных наград, чем обычных, тем более что почет — это не зау-

рядное явление, а исключительное, так же как и добродетель:

Cui malus est nemo, quis bonus esse potest? *

Желая рекомендовать какого-нибудь человека, не отмечают, что он заботится о воспитании своих детей, ибо это явление обычное, как бы похвально оно ни было. Я не думаю, чтобы какой-нибудь спартанец хвастался своей доблестью, ибо это была добродетель, широко распространенная среди этого народа; и столь же мало спартанцы склонны были хвастаться своей верностью и презрением к богатству. Как бы велика ни была добродетель, но если она вошла в привычку, то не стоит награды, и я даже не уверен, назовем ли мы ее великой, если она стала обычной.

Так как вся ценность и весь почет этих знаков отличия покоятся на том, что они присваиваются лишь небольшому числу людей, то широкая раздача их равносильна сведению их на нет. Если бы даже в наше время было больше людей, заслуживающих этот орден, чем в прошлые времена, то все же не следовало бы подрывать его ценности. Я вполне допускаю, что значительно большее число людей в настоящее время достойно этого ордена, ибо из всех добродетелей воинская доблесть распространяется с наибольшей быстротой. Существует другая доблесть — истинная, совершенная и философская, о которой я здесь не говорю (пользуясь словом «доблесть» в обычном, принятом у нас смысле); она более значительна, чем воинская доблесть, более полноценна и заключается в стойкости и силе нашей души, которая с одинаковым презрением относится ко всем враждебным ей обстоятельствам; эта доблесть всегда себе равна, неизменна и постоянна, и обычная наша доблесть — лишь очень слабое отражение ее. Привычка, обычай, воспитание и пример играют огромную роль в укреплении воинской доблести и содействуют широкому распространению ее, в чем легко убедиться на опыте наших гражданских войн. И если бы кто-нибудь сумел объединить нас в настоящее время и направить весь наш народ на одно общее дело, то вновь могла бы расцвести наша древняя военная слава. Не подлежит сомнению, что награждение орденом в прежние времена имело в виду не только это соображение, оно предусматривало и более далекую цель. Присвоение ордена всегда было награждением не просто лишь доблестного воина, но прославленного военачальника. Умение повиноваться не заслуживало столь почетной награды. Для получения ордена в прежние времена требовался более всеобъемлющий военный опыт; военному человеку надо было обнаружить самые выдающиеся способности: Neque enim eaedem militares et imperatoriae artes sunt **, и, кроме того, он должен был по своему положению подходить к этому званию. Но если бы даже оказалось, что в настоящее время найдется гораздо больше людей, заслуживающих этой награды, чем раньше, то все же я считаю, что не следовало бы раздавать ее с большей легкостью, и было бы даже предпочтительнее не давать ее всем тем, кто заслужил эту награду, чем навсегда свести на нет — как это делается у

* Кто может казаться добрым тому, кому никто не кажется злым? [4] (*лат.*).

** У солдата и у полководца не одно и то же искусство [5] (*лат.*).

нас — столь полезный обычай. Ни один благородный человек не сочтет возможным хвалиться тем, что у него есть общего со многими другими, и те, кто в настоящее время менее заслужил эту награду, делают вид, будто относятся к ней с пренебрежением, чтобы таким образом стать в ряды тех, кого обижают слишком частой раздачей этой обесцениваемой таким путем награды, которая только этим последним и подобает.

Но трудно рассчитывать на то, чтобы, ослабив и уничтожив этот орден, можно было создать и сделать высоко почетной другую подобную ему награду. В тот смутный и испорченный век, в какой мы живем, новый, недавно учрежденный орден[6] с самого же начала будет подточен действием тех же причин, которые разрушили орден св. Михаила. Чтобы придать этому новому ордену авторитет, его следовало бы раздавать с величайшей осмотрительностью и в весьма редких случаях; а между тем в наше бурное время невозможно вести это дело с большой строгостью, твердо держа его в руках. Кроме того, чтобы оно обрело популярность, нужно было бы вытравить память о первом ордене и о том пренебрежении, в которое он впал.

Этот вопрос мог бы послужить темой для рассуждения о доблести и ее отличии от других добродетелей; но так как Плутарх неоднократно возвращался к этой теме, я не стану ее касаться и приводить то, что он говорит по этому поводу. Но стоит отметить, что наш народ выделяет доблесть (vaillance) из других добродетелей и придает ей первостепенное значение, что явствует уже из самого ее названия, происходящего от слова «достоинство» (valeur). Равным образом, когда мы говорим, что такой-то весьма достойный или порядочный человек в стиле нашего двора или нашего дворянства, то это означает, что речь идет о храбром, доблестном человеке, то есть мы употребляем это название в том же смысле, как это принято было в древнем Риме. Действительно, у римлян самое название «добродетель» (virtus) проистекало от слова «сила» (то есть храбрость). Военное призвание — самое важное, самое подходящее и единственное призвание французского дворянства. Весьма возможно, что первой добродетелью, появившейся среди людей и давшей одним из них превосходство над другими, и была именно эта самая добродетель, с помощью которой более сильные и более храбрые приобрели власть над более слабыми и заняли особое положение: с тех пор за ними сохранилась эта честь и название. Однако возможно также, что эти народы, будучи весьма воинственными, особенно высоко оценили ту из добродетелей, которая была им наиболее близка и казалась наиболее достойной этого названия. Нечто подобное можно наблюдать у нас и в другой области: неусыпная забота о целомудрии наших женщин приводит к тому, что, когда мы говорим «хорошая женщина», «порядочная женщина», «почтенная и добродетельная женщина», то имеем при этом в виду не что иное, как «целомудренная женщина», и похоже на то, что, стремясь заставить женщин быть целомудренными, мы придаем мало значения всем прочим их добродетелям и готовы простить им любой порок, лишь бы они зато соблюдали целомудрие.

Глава VIII

О РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ

Госпоже д'Этиссак [1]

Сударыня, если меня не спасут новизна и необычность моей книги, нередко придающие цену вещам, то я никогда не выйду с честью из этой нелепой затеи; но она так своеобразна и столь непохожа на общепринятую манеру писать, что, может быть, именно это послужит ей пропускным листом. Первоначально фантазия приняться за писание пришла мне в голову под влиянием меланхолического настроения, совершенно не соответствующего моему природному нраву; оно было порождено тоской одиночества, в которое я погрузился несколько лет тому назад. И, так как у меня не было никакой другой темы, я обратился к себе и избрал предметом своих писаний самого себя. Это, вероятно, единственная в своем роде книга с таким странным и несуразным замыслом [2]. В ней нет ничего заслуживающего внимания, кроме этой особенности, ибо такую пустую и ничтожную тему самый искусный мастер не смог бы обработать так, чтобы стоило о ней рассказывать. Однако, сударыня, задавшись целью изобразить в этой книге мой собственный портрет, я упустил бы в нем одну весьма важную черту, если бы не упомянул о том почтении, которое я всегда питал к вашим заслугам. Я хотел отметить это в посвящении этой главы тем более, что среди других ваших прекрасных качеств одно из первых мест занимает та привязанность, которую вы неизменно выказывали по отношению к вашим детям. Тот, кто знает, в каком молодом возрасте ваш муж, господин д'Этиссак, оставил вас вдовой; тот, кто знает, какие почетные и выгодные предложения делались с тех пор вам, как одной из знатнейших дам Франции; тот, кто знает твердость и постоянство, которые вы неизменно проявляли в течение всех этих лет в управлении имуществом и ведении дел ваших детей в самых различных уголках Франции, что бывало часто связано с огромными трудностями; тот, кто знает, как счастливо они разрешались только благодаря вашей предусмотрительности или удаче,— тот несомненно согласится со мной, что нет в наше время примера более глубокой материнской любви. Я благодарю бога, сударыня, за то, что эта любовь принесла столь добрые плоды, ибо большие надежды, подаваемые вашим сыном, господином д'Этиссаком, сулят, что, выросши, он выкажет вам признательность и повиновение. Но так как из-за своего малолетства он до сих пор еще не был в состоянии оценить те неисчислимые услуги, которыми он вам обязан, я хотел бы, чтобы эти строки, если они когда-нибудь попадут ему в руки, когда меня уже не будет и я не смогу сказать ему этого, я хотел бы, повторяю, чтобы он воспринял их как чистую правду; она будет ему еще убедительнее доказана теми благими последствиями, которые он ощутит на себе. Правда эта состоит в том, что нет дворянина во Франции, который был бы больше обязан своей матери, чем он, и что он не может дать в будущем лучшего доказательства своей добродетели, чем признав, насколько он вам обязан.

Если существует действительно какой-либо естественный закон, то есть некое исконное и всеобщее влечение, свойственное и животным, и людям (что далеко, впрочем, не бесспорно), то, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным стремления оберегать себя и избегать всего вредоносного стоит любовь родителей к своему потомству. И так как природа как бы предписала ее нам с целью содействовать дальнейшему плодотворному развитию вселенной, то нет ничего удивительного в том, что обратная любовь детей к родителям не столь сильна.

К этому надо еще добавить наблюдение Аристотеля [3], что делающий кому-либо добро любит его сильнее, чем сам им любим; и что заимодавец любит своего должника больше, чем тот его, совершенно так же, как всякий мастер больше любит свое творение, чем любило бы его это творение, обладай оно способностью чувствовать. Мы ведь дорожим своим бытием, а бытие состоит в движении и действии, так что каждый из нас до известной степени вкладывает себя в свое творение. Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок, а тот, кто принимает добро, делает только нечто полезное; полезное же гораздо менее достойно любви, чем благородное. Благородное твердо и постоянно; оно доставляет тому, кто сделал его, прочное чувство удовлетворения. Полезное легко утрачивается и исчезает; оно не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания. Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой; и давать труднее, чем брать.

Так как богу угодно было наделить нас некоторой способностью суждения, чтобы мы не были рабски подчинены, как животные, общим законам и могли применять их по нашему разумению и доброй воле, то мы должны до известной степени подчиняться простым велениям природы, но не отдаваться полностью ее власти, ибо руководить нашими способностями призван только разум. Что касается меня, то я мало расположен к тем склонностям, которые возникают у нас без вмешательства разума. Я, например, не могу проникнуться той страстью, в силу которой мы целуем новорожденных детей, еще лишенных душевных или определенных физических качеств, которыми они способны были бы внушить нам любовь к себе. Я поэтому не особенно любил, чтобы их выхаживали около меня. Подлинная и разумная любовь должна была бы появляться и расти по мере того, как мы узнаем их, и тогда, если они этого заслуживают, естественная склонность развивается одновременно с разумной любовью и мы любим их настоящей родительской любовью; но точно так же и в том случае, если они не заслуживают любви, мы должны судить о них, всегда обращаясь к разуму и подавляя естественное влечение. Между тем очень часто поступают наоборот, и чаще все мы больше радуемся детским шалостям, играм и проделкам наших детей, чем их вполне сознательным поступкам в зрелом возрасте, словно бы мы их любили для нашего развлечения, как мартышек, а не как людей. И нередко тот, кто щедро дарил им в детстве игрушки, оказывается очень скупым на малейший расход, необходимый им, когда они подросли. Похоже на то, что мы завидуем, видя, как они радуются жизни, между тем как нам необходимо

уже расставаться с ней, и эта зависть заставляет нас быть по отношению к ним более скаредными и сдержанными: нас раздражает, что они идут за нами по пятам, как бы убеждая нас уйти поскорее. И если бы мы должны были этого бояться — ибо в силу извечного порядка вещей они действительно могут жить лишь за счет нашего существа и нашей жизни,— то нам не следовало бы становиться отцами.

Что касается меня, то я нахожу жестоким и несправедливым не уделять детям части нашего имущества, не делать их совладельцами наших благ и соучастниками в наших имущественных делах, когда они стали уже способными их вести; я нахожу, что мы обязаны урезывать наши блага в их пользу, ибо ведь для этого мы породили их на свет. Это величайшая несправедливость — когда старый, больной и еле живой отец один пользуется, греясь у очага, доходами, которых хватило бы на содержание нескольких детей; когда он заставляет их, за недостатком средств, терять лучшие годы, не имея возможности продвинуться на государственной службе и узнать людей. Их приводят этим в отчаяние и побуждают стараться всякими путями, как бы дурны они ни были, обеспечить себя; и в самом деле, я видел на своем веку немало молодых людей из хороших семей, ставших такими закоренелыми ворами, что их ничем нельзя было уже вернуть на путь истинный. Я знаю одного такого человека из хорошей семьи, с которым я однажды говорил по этому поводу по просьбе его брата, весьма порядочного и почтенного дворянина. Бедняга прямо признался мне, что на этот злополучный и грязный путь его толкнули черствость и скупость его отца и что он теперь так привык к этому, что не может жить иначе; и действительно, вскоре после этого он был изобличен в том, что украл кольца у одной дамы, на утреннем приеме которой он находился вместе с другими людьми. Это напомнило мне рассказ, который мне довелось услышать от другого дворянина, так пристрастившегося с молодых лет к этому злосчастному занятию, что впоследствии, вступив во владение своим имуществом и решив избавиться от своего порока, он не в состоянии был удержаться и пройти мимо лавки, не украв какой-нибудь вещи, которая была ему нужна, с тем чтобы потом послать деньги за нее. Я видел людей, до того пристрастившихся к этому пороку и погрязших в нем, что даже у своих товарищей они крали вещи, которые потом возвращали. Я — гасконец, но не знаю порока, который был бы мне более непонятен. Я его еще больше ненавижу чувством, чем разумом. Даже в помысле моем я не мог бы ни у кого ничего похитить. Гасконцы пользуются в этом отношении более дурной славой, чем другие народы Франции, хотя мы не раз видели в наши дни, что в руки правосудия попадали родовитые люди из других частей страны, уличенные в гнусных кражах. Я подозреваю, что в этом беспутстве отчасти повинен названный порок отцов.

Быть может, мне приведут в виде возражения то, что сказал один разумный вельможа, заявивший, что он копит богатства лишь для того, чтобы быть почитаемым и ценимым своими близкими, и, так как старость отняла у него все другие возможности, это единственное оставшееся ему

средство поддержать свою власть в семье и избежать всеобщего презрения (напомним, что, по словам Аристотеля [4], не только старость, но и всякая вообще умственная слабость порождает скупость). В этом есть некоторая доля истины, но ведь это лишь лекарство против болезни, самого возникновения которой не следует допускать. Жалок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его помощи. Да и можно ли вообще называть это любовью? Следует внушать уважение своими добродетелями и рассудительностью, а любовь — добротой и мягкостью. Даже прах благородного человека заслуживает уважения: мы привыкли воздавать почет и окружать поклонением даже останки выдающихся людей. У человека, достойно прожившего свою жизнь, не может быть настолько убогой и жалкой старости, чтобы она из-за этого не внушала уважения, в особенности его собственным детям, которых с малолетства надлежало приучить к исполнению своего долга убеждением, а не принуждением, грубостью, скупостью или суровостью:

Et errat longe, mea quidem sententia,
Qui imperium credat esse gravius aut stabilius
Vi quod fit, quam illud quod amicitia adiungitur *.

Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что того, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и уменья, нельзя добиться и силой [6]. Такое воспитание получил я сам. Рассказывают, что в раннем детстве меня всего два раза высекли, и то лишь слегка. Своих детей я воспитывал в том же духе; к несчастью, все они умирали в младенческом возрасте; этой участи счастливо избежала только дочь моя Леонор [7], к которой до шестилетнего возраста и позднее никогда не применялось никаких других наказаний за ее детские провинности, кроме словесных внушений, да и то всегда очень мягких (что вполне отвечало снисходительности ее матери). И если бы даже мои намерения в отношении воспитания и не оправдали себя на деле, это можно было бы объяснить многими другими причинами, не опорочивая моего метода воспитания, который правилен и естественен. С мальчиками в этом отношении я рекомендовал бы быть особенно сдержанными, ибо они еще в меньшей мере созданы для подчинения и предназначены к известной независимости; я поэтому постарался бы развить в них пристрастие к прямоте и непосредственности. Между тем от розог я не видел никаких других результатов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво упрямыми.

Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишить их повода желать нашей смерти (хотя никакой вообще повод для такого ужасного положения нельзя считать законным и простительным — nullum scelus rationem habet **), то нам следует разумно сделать для них

* По-моему, глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и твердой власть, покоящуюся на силе, чем ту, которая основана на любви [5] (*лат.*).
** Никакое преступление не может иметь законного основания [8] (*лат.*).

все, что в нашей власти. Поэтому нам не следует жениться очень рано, дабы не получалось, что наш возраст очень близок к возрасту наших детей, так как это обстоятельство создает для нас большие неудобства. Я особенно имею в виду наше дворянство, которое ведет праздную жизнь и живет, как выражаются, только своими рентами, ибо в тех семьях, где средства к существованию добываются трудом, наличие большого числа детей облегчает ведение хозяйства, так как оно означает наличие дополнительного числа рабочих рук или орудий.

Я женился, когда мне было тридцать три года, и поддерживаю приписываемое Аристотелю мнение [9], что жениться следует в тридцать пять лет. Платон требует [10], чтобы женились не ранее тридцати лет, но он прав, когда смеется над теми, кто вступает в брак после пятидесяти лет, и считает, что потомство таких людей не пригодно к жизни.

Фалес [11] установил в этом вопросе наиболее правильные границы. Когда он был очень молод и мать убеждала его жениться, он отвечал ей, что еще не пришло время, а состарившись, заявлял, что уже поздно. Следует отказываться от всяких несвоевременных действий.

Древние галлы считали весьма предосудительным иметь сношения с женщиной, не достигнув двадцатилетнего возраста, и настойчиво советовали мужчинам, готовившимся к военному поприщу, по возможности дольше сохранять девственность, ибо близость с женщинами ослабляет мужество [12].

Ma hor congiunto à giovinetta sposa,
Lieto homai de'figli, era invilito
Ne gli affetti di padre e di marito *.

Из истории Греции мы знаем, что Икк Тарентский, Крисон, Астил, Диопомп и другие, желая сохранить свои силы нерастраченными для олимпийских игр, гимнастических и других состязаний, воздерживались во время подготовки к ним от всяких любовных дел [14].

Султан Туниса Мулей Гасан [15], которого император Карл V восстановил на троне, не мог простить своему отцу даже после его смерти его непрестанных похождений с женщинами и называл его бабой, плодящей детей.

В некоторых областях Америки, завоеванных испанцами, мужчинам запрещалось жениться ранее сорокалетнего возраста, женщинам же разрешалось уже в десять лет вступать в брак [16]. Тридцатипятилетнему дворянину еще не время уступать место своему двадцатилетнему сыну: это возраст, когда он еще сам может участвовать в военных походах и являться ко двору своего государя. Ему самому нужны для этого деньги; он, разумеется, должен уделять часть из них детям, но такую лишь, чтобы это не стесняло его самого. Это положение правильно отражает тот ответ, который обычно на устах у отцов и который гласит: «Я не хочу раздеваться раньше, чем мне придется лечь спать».

---

* Теперь, соединившись с молодой супругой, он счастлив тем, что у него будут дети; отцовские и супружеские чувства изнежили его [13] (*ит.*).

Но отец, отягощенный годами и болезнями, лишенный из-за своих немощей и старости возможности занимать свое место в обществе, поступает несправедливо по отношению к своим детям, продолжая бесплодно оберегать свои богатства. Если он умен, то вполне уместно, чтобы у него явилось желание раздеться прежде, чем лечь спать,— раздеться не до рубашки, а вплоть до очень теплого халата; все же остальные роскошества, которые ему уже не по зубам, он должен с готовностью раздать тем, кому они должны по закону природы принадлежать. Вполне естественно, чтобы он предоставил детям пользоваться ими, поскольку природа лишает его самого этой возможности; иначе здесь проявится злая воля и зависть. Лучшим из поступков императора Карла V было умение признать (по примеру некоторых древних мужей под стать ему), что разум повелевает нам раздеться, если наше платье отягощает нас и мешает нам, и что следует лечь, если ноги нас больше не держат. Почувствовав, что он не в силах больше вести дела с прежней твердостью и силой, он отказался от своих богатств, почестей и власти в пользу сына [17].

Solve senescentem mature sanus equum, ne
Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat *.

Это неумение вовремя остановиться и ощутить ту разительную перемену, которая с возрастом естественно происходит в нашем теле и в нашей душе (причем, на мой взгляд, эта перемена в одинаковой мере относится и к телу, и к душе, а возможно, что к душе даже больше), погубило славу многих великих людей. Я видел на своем веку и близко знавал весьма выдающихся людей, у которых на моих глазах поразительным образом угасали былые качества, по слухам, отличавшие их в их лучшие годы. Я предпочел бы, чтобы они, ради их собственной чести, удалились на покой и отказались от тех государственных и военных постов, которые стали им не по плечу. Я когда-то, как свой человек, бывал в доме одного дворянина-вдовца, очень старого, но еще бодрого. У него было несколько дочерей на выданье и сын, которому пришло время показываться в свете, что было связано с множеством расходов и с посещениями разных посторонних людей, бывавших в отеческом доме. Все это вызывало неудовольствие отца, не столько по причине лишних расходов, сколько потому, что ввиду своего преклонного возраста он усвоил образ жизни, глубоко отличный от нашего. Однажды я довольно смело, как обычно с ним говорил, заявил ему, что ему следовало бы освободить для нас место, что лучше ему было бы предоставить сыну главный дом (ибо только он один был хорошо расположен и обставлен), а самому устроиться в одном из соседних его поместий, где никто не будет нарушать его покоя, так как иначе он не сможет избавиться от тех неудобств, которые связаны с образом жизни его детей. Он последовал моему совету и остался доволен.

---

* Вовремя, если разумен, выпрягай стареющего коня, чтобы он не стал спотыкаться и задыхаться от усталости на потеху всем [18] (*лат.*).

Я не хочу, однако, этим сказать, что нельзя взять назад уступленных детям прав. Я предоставил бы детям (и в близком будущем намерен сам так поступить) возможность пользоваться моим домом и моими поместьями, но с правом отказать им в этом, если они дадут к тому повод. Я предоставил бы им пользование всем моим имуществом, когда это стало бы для меня обременительным; но общее управление им я сохранил бы за собой в той мере, в какой мне было бы это желательно, так как я всегда считал, что для состарившегося отца должно быть большой радостью самому ввести своих детей в управление своими делами и иметь возможность, пока он жив, проверять их действия, давать им советы и наставления на основании своего опыта; большой радостью должно быть для него иметь возможность самому поддерживать благополучие своего дома, перешедшего в руки его преемников, и укрепиться таким образом в надеждах, которые он может возлагать на них в будущем. Поэтому я не стал бы сторониться их общества, а, наоборот, хотел бы находиться около них и наслаждаться — в той мере, в какой мне это позволил бы мой возраст,— их радостями и их увеселениями. Если бы даже я и не жил общей с ними жизнью (так как в этом случае я омрачал бы их общество печалями моего возраста и моих болезней, а кроме того, меня это вынудило бы нарушить мой новый образ жизни), я бы, по крайней мере, постарался жить около них в какой-нибудь части моего дома, не в самой парадной, но в наиболее удобной. Я не хотел бы повторить того, что мне пришлось видеть несколько лет назад на примере декана монастыря св. Илария в Пуатье; подавленный тяжелой меланхолией, он жил таким отшельником, что перед тем, как я вошел в его комнату, он двадцать два года ни разу не выходил из нее, и, несмотря на это, был в полном здравии, не считая того, что изредка страдал желудком. Очень неохотно разрешал он кому-нибудь хоть раз в неделю его проведать и всегда сидел взаперти, в полном одиночестве. Только раз в день к нему входил слуга, приносивший пищу, после чего сразу же уходил. Все его занятия состояли в том, что он расхаживал по комнате или читал какую-нибудь книгу — ибо он был не чужд литературе,— твердо решив так и окончить свою жизнь, что с ним в скором времени и случилось.

Я бы попытался в сердечных беседах внушить моим детям искреннюю дружбу и неподдельную любовь к себе, чего нетрудно добиться, когда имеешь дело с добрым существом; если же они подобны диким зверям (а таких детей в наш век тьма-тьмущая), их надо ненавидеть и бежать от них. Мне не нравится обычай некоторых отцов, запрещающих детям применять к ним обращение «отец» и вменяющих детям в обязанность называть их более уважительными именами, как если бы природа недостаточно позаботилась о соблюдении нашего авторитета. Называем же мы всемогущего бога отцом, так почему же мы не хотим, чтобы наши дети так называли нас? Безрассудно и нелепо также со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно-близкие отношения и принимать в общении с ними надутый и важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении. Но на деле это бес-

смысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными или — что еще хуже — потешными: ведь их дети молоды, полны сил, и им, следовательно, море по колено, а потому им смешны надменные и властные гримасы бессильного и дряхлого старца, напоминающего пугало на огороде. Если бы речь шла обо мне, я бы скорее предпочел, чтобы меня любили, чем боялись [19].

Старость связана с множеством слабостей, она так беспомощна, что легко может вызывать презрение; поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и привязанность близких. Приказывать и внушать страх — не ее оружие. Я знал одного человека, который в молодости был необычайно властным; а теперь, состарившись, он, сохраняя превосходное здоровье, стал бросаться на людей, дико ругаться, драться, словом, сделался величайшим буяном во Франции; денно и нощно его гнетут заботы о хозяйстве, и он зорко следит за ним. Но все это сплошная комедия, так как все его домашние в заговоре против него: хотя он бережет как зеницу ока ключи от всех замков, другие широко пользуются его житницами, его кладовой и даже его кассой. В то время как он скредничает и старается выгадать на своей пище, в его доме, в разных частях его, расшвыривают, проигрывают и растрачивают его добро, посмеиваясь над его бессильным гневом и бдительностью. Все в доме на страже против него. Стоит кому-нибудь из слуг проявить преданность к нему, как тотчас же домашние стараются вызвать в нем к этому слуге подозрительность, которая старикам весьма свойственна. Он неоднократно похвалялся мне, что держит своих домашних в узде, что они полностью повинуются ему и относятся к нему с почтением, хвастался тем, как проницательно ведет свои дела,—

Ille solus nescit omnia *.

Я не знаю человека, который обладал бы более подходящими природными или приобретенными качествами, необходимыми для управления имуществом, чем этот дворянин, и при всем том он беспомощен, как ребенок. Вот почему я и выбрал его как наиболее яркий пример среди многих других известных мне подобных же случаев.

Лишь предметом бесплодного школьного диспута мог бы явиться вопрос: что для этого старца лучше: знать ли правду или чтобы все обстояло так, как оно есть? С виду все ему повинуются. Мнимое признание его власти заключается в том, что ему никогда ни в чем не перечат: ему верят, его боятся, его всячески почитают. Если он выгоняет слугу, тот складывает свои пожитки и уходит, но в действительности только исчезает с его глаз. Старость так мало подвижна, зрение и прочие чувства у стариков так ослаблены, что слуга может целый год жить и исполнять свои обязанности в том же доме, оставаясь незамеченным. А когда наступает подходящий момент, то делают вид, будто откуда-то из дальних краев при-

* Один только он ни о чем не знает [20] (*лат.*).

шло жалобное, умоляющее письмо, полное обещаний исправиться, и слугу прощают и восстанавливают в должности. Если старик-хозяин совершает какое-нибудь действие или отдает письменное распоряжение, которые не угодны его домашним, то их не выполняют, а затем придумывают тысячу предлогов, оправдывающих это. Письма со стороны никогда не передаются ему тотчас же по их получении, кроме тех, которые считают возможным довести до его сведения. Если же какое-нибудь нежелательное письмо случайно попадет ему в руки, то — так как он всегда поручает кому-нибудь читать ему вслух — немедленно устраивают так, что он получает то, что желательно окружающим: например, что такой-то просит у него прощения, между тем как в письме содержатся самые оскорбительные вещи. Не желая огорчать старика или вызывать его гнев, ему представляют его дела в извращенном и приукрашенном виде, лишь бы только он был доволен. Я встречал довольно много семей, где в течение долгого времени, а иногда даже постоянно, жизнь шла подобным же образом, лишь с небольшими различиями.

Жены всегда склонны перечить мужьям. Они используют любой повод, чтобы поступить наоборот, и малейшее извинение для них равносильно уже полнейшему оправданию. Я знал одну женщину, которая утаивала от своего мужа изрядные суммы, чтобы, как она призналась своему духовнику, иметь возможность более щедро раздавать милостыню. Верь, кто хочет, этому благочестивому предлогу! Всякое распоряжение деньгами кажется им недостаточно почтенным, если оно совершается с согласия мужа; они должны обязательно захватить его в руки либо хитростью, либо упрямством, но всегда каким-нибудь способом: без этого они не почувствуют ни полноты своей власти, ни удовольствия от нее. И когда такие их действия — как в только что описанном случае — направлены против несчастного старика и в пользу детей, они хватаются за этот предлог и дают волю своей страсти, составляя заговор против господства главы дома. Если у него есть взрослые и полные сил сыновья, они быстро, лаской или таской, подчиняют себе домоправителя, казначея и всех прочих служащих. Если же у бедняги нет ни жены, ни сыновей, он не так легко попадает в эту беду, но зато, когда это случается, он страдает еще более жестоко и унизительно. Катон Старший говорил [21] в свое время, что сколько у человека слуг, столько у него и врагов. Не хотел ли он нас предупредить, что у нас будет столько же врагов, сколько жен, сыновей и слуг: ведь его время славилось большей чистотой нравов, нежели наше. При старческой немощи большим облегчением является благодетельная способность многого не замечать, не знать и легко поддаваться обману. Но что сталось бы с нами, если бы мы все это сознавали, особенно в наше-то время, когда судьи, призванные решать наши тяжбы, обычно становятся на сторону детей и потому бывают пристрастны.

Допуская даже, что я не замечаю этого надувательства, я во всяком случае отлично вижу, что могу стать его жертвой. Найдется ли достаточно слов, чтобы выразить, сколь ценен — по сравнению с такими общественными связями — истинный друг? Один образ такой дружбы, которую

я наблюдаю в самом чистом виде среди животных, преисполняет меня чувством почтительности и благоговения.

Если другие меня обманывают, то я во всяком случае не обманываюсь и сознаю, что неспособен уберечь себя от обмана. Однако я и не ломаю себе голову над тем, чтобы этого достигнуть. От подобных обманов я спасаюсь тем, что ухожу в себя, но побуждаемый к тому не смятением и тревожной любознательностью, а скорее по внутреннему решению и чтобы отвлечься. Когда мне рассказывают о делах какого-нибудь постороннего человека, я не смеюсь над ним, а обращаю тотчас же свой взор на себя и смотрю, как обстоит дело у меня самого. Все, что касается другого, относится и ко мне. Приключившаяся с ним беда служит мне предупреждением и настораживает меня. Ежедневно и ежечасно мы говорим о других людях то, что мы скорее сказали бы о себе, если бы умели так же строго судить себя, как судим других.

Так поступают многие авторы: они вредят делу, которое защищают, безрассудно нападая сами на своих противников и бросая им такие упреки, которые должны были бы быть обращены против них же самих.

Покойный маршал де Монлюк [22], потеряв сына, смелого и подававшего большие надежды человека, погибшего на острове Мадейре, горько жаловался мне на то, что среди многих других сожалений его особенно мучит и угнетает то, что он никогда не был близок с сыном. В угоду личине важного и недоступного отца, которую он носил, он лишил себя радости узнать как следует своего сына, поведать ему о своей глубокой к нему привязанности и сказать ему, как высоко он ценил его доблесть. Таким образом, рассказывал Монлюк, бедный мальчик встречал с его стороны только хмурый, насупленный и пренебрежительный взгляд, сохранив до конца убеждение, что тот не смог ни полюбить, ни оценить его по достоинству: «Кому же еще мог я открыть эту нежную любовь, которую я питал к нему в глубине души? Не он ли должен был испытать всю радость этого чувства и проявить признательность за него? А я сковывал себя и заставлял себя носить эту бессмысленную маску; из-за этого я лишен был удовольствия беседовать с ним, пользоваться его расположением, которое он мог выказывать мне лишь очень холодно, всегда встречая с моей стороны только суровость и деспотическое обращение». Я думаю, что эта жалоба была справедлива и основательна, ибо хорошо знаю по опыту, что когда умирают наши друзья, то нет для нас лучшего утешения, чем сознание, что мы ничего не забыли им сказать и находились с ними в полнейшей и совершенной близости.

Я открываюсь моим близким, насколько могу; с большой готовностью я выражаю им свое расположение и высказываю свое суждение о них, так же как я делаю это по отношению ко всякому человеку. Я спешу проявить и показать свое отношение, так как не хочу вводить на этот счет в заблуждение в каком бы то ни было смысле.

У наших древних галлов, по словам Цезаря [23], в числе других особенных обычаев был следующий: сыновья могли появляться перед отцами и находиться при народе около них только после достижения воинского

возраста; этим самым как бы хотели сказать, что наступил момент, когда отцы должны принять их в свой круг и сблизиться с ними.

Мне пришлось столкнуться и с другого рода несправедливостью некоторых отцов в мое время: не довольствуясь тем, что они в течение долгой своей жизни лишали своих детей причитавшейся им доли имущества, они еще завещали своим женам всю власть над всем своим имуществом и право распоряжаться им по своему усмотрению. Я знал одного сеньора, из числа виднейших служителей короны, который должен был получить в наследство ренту более чем в пятьдесят тысяч экю, а умер в нужде и обремененный долгами на шестом десятке, между тем как его совсем уже дряхлая мать пользовалась всем состоянием, ибо таково было распоряжение его отца, прожившего около восьмидесяти лет. Такое отношение к детям отнюдь не кажется мне разумным.

Я нахожу неразумным, когда человек, дела которого идут хорошо, ищет себе жену с большим приданым: деньги со стороны всегда приносят в семью беду. Мои предки обычно придерживались этого правила и я со своей стороны также последовал ему. Но те, кто не советуют нам жениться на богатых невестах, ссылаясь на то, что с ними труднее иметь дело и что они менее признательны, ошибаются и упускают некое реальное благо ради сомнительной догадки. Взбалмошной женщине ничего не стоит менять свои намерения. Женщины больше всего довольны собой в тех случаях, когда они кругом неправы. Неправота привлекает их, подобно тому как хороших женщин подстрекает честь их добродетельных поступков; чем они богаче, тем они добрее, и, подобно этому, чем они красивее, тем более склонны к целомудрию.

Правильно оставлять управление всеми имущественными делами семьи в руках матери, пока дети не достигли требующегося по закону совершеннолетия; но плохо воспитал своих сыновей тот отец, который не питает уверенности, что, став взрослыми, они не смогут вести дела лучше и искуснее, чем его жена, представительница слабого пола. Однако было бы, разумеется, еще более противоестественно, если бы благополучие матери зависело от детей. Для матерей следует щедро выделять средства, чтобы они могли жить, как того требует обстановка их дома и как им полагается по их возрасту, принимая во внимание, что они гораздо менее приспособлены к перенесению нужды и лишений, чем их мужское потомство; поэтому следует возложить это бремя скорее на детей, чем на мать.

Вообще, наиболее разумным разделом нашего имущества перед смертью является, по-моему, раздел его согласно принятому в стране обычаю. Существующие на этот счет законы тщательно продуманы, так что уж лучше пусть они иной раз в чем-нибудь погрешат, нежели погрешим мы сами, действуя наобум. Наши блага не вполне являются нашими, ибо, согласно установлениям, сложившимся без нашего участия, они предназначены для наших преемников. И хотя мы обладаем некоторой свободой распоряжаться ими и за пределами нашей жизни, я считаю, что должны быть очень веские и убедительные причины, чтобы заставить нас лишить человека состояния, которое ему предназначено и полагается по установ-

ленному закону; иначе это будет злоупотреблением нашей свободой вопреки разуму и в угоду нашим случайным и пустым прихотям. Судьба была милостива ко мне в этом отношении, избавив меня от поводов, которые могли бы меня соблазнить и заставить нарушить общепринятый закон. Но я знаю немало людей, в отношении которых длительная служба и помощь оказались впустую потраченным временем: одно неудачное и плохо воспринятое слово уничтожает иной раз заслуги десятка лет. Счастлив тот, кому удается загладить впечатление от такого слова в момент составления завещания! Обычно же последнее впечатление берет верх: не лучшие и обычные услуги, а самые последние, удержавшиеся в памяти жесты решают все. Такие люди играют своими завещаниями, словно кнутом и пряником, для наказания или награждения заинтересованных лиц за отдельные их поступки. Завещание — вещь слишком серьезная и имеющая слишком важные последствия, чтобы можно было позволить себе непрерывно менять его; вот почему люди умные составляют его раз и навсегда, сообразуясь с доводами разума и принятыми в стране установлениями.

Мы придаем чересчур большое значение наследованию по мужской линии и охвачены нелепым желанием увековечить наши имена. Мы возлагаем также слишком большие надежды на способности наших детей. В отношении меня могла быть ненароком учинена несправедливость и меня могли передвинуть с занимаемого мною по старшинству места, так как я был самым вялым и самым несмышленым ребенком, самым медлительным и самым ленивым не только из всех моих братьев, но и из всех детей моей округи, как в умственных занятиях, так и в физических упражнениях. Глупо производить необычные разделы наследства на основании таких предзнаменований, которые потом часто оказываются ошибочными. Если уж можно нарушить обычный порядок и исправить выбор, который судьбе угодно было установить в отношении наших наследников, то с бо́льшим основанием можно это сделать при наличии какого-нибудь значительного и заметного физического уродства, то есть постоянного и неисправимого недостатка, являющегося для рьяных ценителей красоты важным изъяном.

Нижеследующий занятный диалог между законодателем Платоном и его согражданами окажется здесь уместным[24]. «Почему,— спрашивают они, чувствуя приближение смерти,— мы не можем распоряжаться тем, что нам принадлежит, и отказать наше имущество тому, кому хотим? Какая жестокость, о боги, что мы не вправе отказать по нашему усмотрению нашим близким, одному больше, другому меньше, в зависимости от того, насколько плохо или хорошо они относились к нам в старости, во время наших болезней и при разных наших делах?» На что законодатель отвечает так: «Друзья мои, вам, которым несомненно предстоит вскоре умереть, трудно разобраться в вашем нынешнем имуществе, да и в самих себе, как это предписывает дельфийская надпись[25]. Вот почему я, устанавливающий законы, говорю: вы не принадлежите себе, и это имущество, которым вы пользуетесь, не принадлежит вам; все нынешнее по-

коление и его имущество принадлежат всей совокупности предшествовавших и будущих поколений, а еще в большей мере государству. Поэтому я не позволю, чтобы какая-нибудь одолевшая вас страсть или какой-нибудь проныра, подольстившийся к вам в годы вашей старости или во время вашей болезни, внушили вам мысль составить несправедливое завещание. Но, относясь с уважением к тому, что наиболее полезно и государству в целом, и вашему роду, я установлю соответствующие законы и заставлю признать разумным, что частное благо отдельного гражданина должно подчиняться общему интересу. А вы шествуйте смиренно и добровольно по пути, свойственному человеческой природе. Мне, который в меру сил охраняет общий интерес и для которого одна вещь не более важна, чем другая, надлежит позаботиться об оставляемом вами имуществе».

Возвращаясь к моему рассуждению, должен сказать следующее: мне представляется, что при всех условиях мужчины не должны находиться в подчинении у женщин — за исключением естественного подчинения материнской власти,— если только это не делается в наказание тем мужчинам, которые, поддавшись какому-то бурному порыву, сами добровольно подчинились женщинам. Но это не относится к старым женщинам, о которых здесь идет речь. Очевидность этого соображения побудила нас измыслить и начать применять тот самый закон [26], которого никто никогда не видел и на основании которого женщины лишаются права наследования французского престола. Нет в мире такой сеньории, где на этот закон не ссылались бы так же, как и у нас, в силу видимой его разумности, хотя в одних странах он получил случайно более широкое распространение, чем в других. Опасно предоставлять раздел нашего наследства на усмотрение женщин на основании того выбора между детьми, который они сделают, ибо выбор этот всегда будет несправедливым и пристрастным. Те болезненные причуды и влечения, которые проявляются у женщин во время беременности, таятся в их душах всегда. Сплошь и рядом видишь, что они особенно привязываются к детям, более слабым и обиженным природой, или к тем, которые еще сидят у них на шее. Не обладая достаточной рассудительностью, чтобы выбрать того из детей, кто этого заслуживает, они легко отдаются природным влечениям и похожи в этом отношении на животных, которые знают своих детенышей лишь до тех пор, пока их кормят.

Между тем легко убедиться на опыте, что та естественная привязанность, которой мы придаем такое огромное значение, имеет очень слабые корни. Мы постоянно заставляем женщин за ничтожную плату бросать кормление своих детей, чтобы выкормить наших; мы заставляем их передавать своих детей какой-нибудь хилой кормилице, которой мы не хотим отдавать наших детей, или даже просто козе; мы запрещаем этим женщинам не только кормить грудью их собственных детей, как бы вредоносно это для них ни было, но и вообще сколько-нибудь заботиться о них, чтобы это не мешало кормилицам полностью отдаваться нашим детям. И в результате у многих из этих женщин в силу привычки появляется более сильная привязанность к выкормленным ими чужим детям, чем к своим

собственным, и бо́льшая забота об их благополучии. Что же касается упомянутых мною коз, то это довольно распространенное явление в моих краях, где деревенские женщины, когда они сами лишены возможности кормить своих детей, пользуются для этой цели козами; у меня в настоящее время работают двое слуг, которые в младенчестве всего лишь неделю пробыли на женском молоке. Козы очень быстро приучаются давать вымя малышам, узнают их по голосу, когда они плачут, и спешат сами к ним. Если вместо их питомца им подкладывают другого, они отворачиваются от него, и так же поступает ребенок, когда к нему подводят другую козу. Я видел недавно ребенка, у которого отняли его козу, потому что его отец не мог больше получать ее от соседа; ребенок не смог привыкнуть к другой приставленной к нему козе и умер, несомненно, от голода. Животные с не меньшим успехом, чем люди, способны отклонить естественную привязанность от ее обычного пути.

Геродот рассказывает, что в одной из областей Ливии мужчины свободно сходятся с женщинами, но как только родившийся от такой связи ребенок начинает ходить, он отыскивает в толпе своего отца и узнает его в том мужчине, к которому по естественной склонности устремляются его первые шаги [27]. Но я думаю, что здесь часто бывали ошибки.

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отражают нас, чем физическое наше потомство.

Платон замечает по этому поводу, что наши духовные творения — это бессмертные дети, они приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как, например случилось с Ликургом, Солоном, Миносом [28].

Страницы истории пестрят примерами любви отцов к своим детям, и мне представляется уместным привести здесь некоторые из них.

Гелиодор, добрейший епископ города Трикки, предпочел лишиться своего почтенного сана, доходов и всего связанного с его высокой должностью, чем отречься от своей дочери, которая жива и хороша еще поныне, хотя для дочери церкви, для дочери священнослужителя она и несколько вольна, и чересчур занята любовными похождениями [29].

Жил в Риме некий Лабиен [30], человек больших достоинств и весьма влиятельный, отличавшийся, помимо других качеств, своими литературными дарованиями; он был, как я полагаю, сыном великого Лабиена, яв-

лявшегося при Цезаре во время его войн в Галлии одним из виднейших военачальников, в дальнейшем же перешел на сторону великого Помпея и проявлял большую доблесть вплоть до момента, когда тот был разбит наголову Цезарем в Испании. Добродетели того Лабиена, о котором я веду здесь речь, создали ему большое число завистников, но особенно, по-видимому, ненавидели его императорские придворные и фавориты за его приверженность к свободе и унаследованную от отца враждебность тирании. Этот образ его мыслей, должно быть, сказался в его писаниях. Враги преследовали его и добились постановления римского сената о сожжении многих опубликованных им сочинений. Именно с Лабиена начался тот новый вид наказания — карать смертью сами произведения,— который с тех пор утвердился в Риме по отношению ко многим другим авторам. Еще не были использованы все средства и достигнуты все пределы жестокости, пока люди не придумали простирать ее на то, что по самой природе своей лишено чувствительности и способности испытывать страдания, как наша посмертная слава и создания человеческого духа, и пока не придумали физически увечить и истреблять человеческие мысли и творения муз. Лабиен не мог примириться с этой утратой и пережить свои, столь дорогие ему создания; он велел отнести себя в гробницу предков и запереть там живым; так он зараз и покончил с собой и похоронил себя. Трудно найти пример более горячей родительской любви, чем эта. Кассий Север [31], выдающийся оратор и друг Лабиена, видя, как сжигают его книги, воскликнул, что в силу того же самого приговора следует и его самого сжечь живым, ибо он хранит в памяти содержание этих книг.

Подобное же произошло и с Кремуцием Кордом [32], обвиненным в том, что он в своих сочинениях отзывался с похвалой о Бруте и Кассии. Гнусный, пресмыкающийся и разложившийся сенат, достойный еще худшего повелителя, чем Тиберий, приговорил его писания к сожжению; Корд решил погибнуть вместе с ними и уморил себя голодом.

Славный Лукан, будучи осужден негодяем Нероном, приказал своему врачу вскрыть ему на руках вены, желая поскорее умереть. В последние минуты жизни, когда он совсем уже истекал кровью и тело его начало коченеть, объятое смертельным холодом, охватившим его жизненные органы, он принялся декламировать отрывок из своей поэмы о Фарсале [33]; так он и умер с созданными им стихами на устах. Разве это не было нежным отцовским прощанием со своим детищем, подобным нашему прощанию и поцелую, какими мы обмениваемся с нашими детьми перед смертью? Разве это не было проявлением той естественной привязанности, вызывающей у нас в смертный час воспоминания о вещах, которые в жизни были нам дороже всего?

Когда Эпикур умирал, истерзанный, по его словам, невероятными страданиями, вызванными коликой, его единственным утешением было то, что он оставляет после себя свое учение. Но можно ли думать, что ему доставили бы такую же радость несколько одаренных и хорошо воспитанных детей — если бы они у него были,— как и создание его глубокомысленных творений? И что если бы он был поставлен перед выбором, оставить ли

после себя уродливого и неудачного ребенка или же нелепое и глупое сочинение, то он — и не только он, но и всякий человек подобных дарований — не предпочел бы скорее первое, нежели второе? Если бы, например, святому Августину[34] предложили похоронить либо свои сочинения, имеющие такое важное значение для нашей религии, либо же своих детей — в случае, если бы они у него были,— то было бы нечестивым с его стороны, если бы он не предпочел второе.

Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от союза с моей женой.

То, что я отдаю этому духовному созданию[35], я отдаю бескорыстно и безвозвратно, как отдают что-либо своим детям; та малость добра, которую я вложил в него, больше не принадлежит мне; оно может знать много вещей, которых я больше не знаю, и воспринять от меня то, чего я не сохранил, и что я, в случае надобности, должен буду, как совершенно постороннее лицо, заимствовать у него. Если я мудрее его, то оно богаче, чем я.

Немного найдется таких приверженных к поэзии людей, которые не сочли бы для себя бо́льшим счастьем быть отцами «Энеиды», чем самого красивого юноши в Риме, и которые не примирились бы легче с утратой последнего, чем с утратой «Энеиды». Ибо, по словам Аристотеля[36], из всех творцов именно поэты больше всего влюблены в свои творения. Трудно поверить, чтобы Эпаминонд[37], хвалившийся, что он оставляет после себя всего лишь двух дочерей, но таких, которые в будущем окружат почетом имя их отца (этими дочерьми были две славные его победы над спартанцами), согласился обменять их на самых красивых девушек во всей Греции; и так же трудно представить себе, чтобы Александр Македонский или Цезарь согласились когда-нибудь отказаться от величия своих славных военных подвигов ради того, чтобы иметь детей и наследников, сколь бы совершенными и замечательными они ни были. Я сильно сомневаюсь также, чтобы Фидий[38] или какой-нибудь другой выдающийся ваятель был более озабочен благополучием и долголетием своих детей, чем сохранностью какого-нибудь замечательного своего произведения, художественного совершенства которого он добился в результате длительного изучения и неустанных трудов. Даже если вспомнить о тех порочных и неистовых страстях, которые вспыхивают иногда у отцов к своим дочерям или же у матерей к сыновьям, то и такие страсти загораются иной раз по отношению к духовным созданиям; примером может служить то, что рассказывают о Пигмалионе[39], который, создав статую женщины поразительной красоты, столь страстно влюбился в свое творение, что, снисходя к его безумию, боги оживили ее для него:

Tentatum mollescit ebur, positoque rigore
Subsedit digitis *.

---

* Слоновая кость, к которой он прикасается, размягчается, утрачивает свою твердость и подается под пальцами[40] (*лат.*).

Глава IX
О ПАРФЯНСКОМ ВООРУЖЕНИИ

Дурным обыкновением дворянства нашего времени, свидетельствующим об его изнеженности, является то, что оно облачается в доспехи лишь в момент крайней необходимости и снимает их тотчас же, как только появляются малейшие признаки того, что опасность миновала. Это ведет ко всякого рода непорядкам, ибо в результате того, что все бросаются к своему оружию лишь в момент боя, получается, что одни только еще облачаются в броню, когда их соратники уже разбиты. Наши отцы предоставляли оруженосцам нести только их шлем, копье и рукавицы, сохраняя на себе все остальное снаряжение до окончания военных действий. В наших войсках в настоящее время царит сильнейшая путаница из-за скопления боевого снаряжения и слуг, которые не могут отдаляться от своих господ, имея на руках их вооружение.

Тит Ливий писал про наших предков: «Intolerantissima laboris corpora vix arma humeris gerebant» *.

Многие народы в старину шли в бой — а некоторые идут еще и сейчас — совсем без оборонительного оружия или очень легко прикрытыми.

Tegmina queis capitum raptus de subere cortex **.

Александр Македонский, храбрейший из всех полководцев, облачался в броню лишь в очень редких случаях, и те из них, кто пренебрегает латами, ненамного ухудшают этим свое положение. Если и случается человеку погибнуть из-за того, что на нем не было брони, то чаще бывало, что она оказывалась помехой и человек погибал, не в силах высвободиться из нее, либо придушенный ее тяжестью, либо скованный ею в своих движениях, либо еще как-нибудь иначе. При виде тяжести и толщины наших лат может показаться, что мы только и думаем, как бы защитить себя, но в действительности они больше обременяют нас, чем защищают. Мы заняты тем, что тащим на себе этот груз, спутанные и стесненные, как если бы наша задача заключалась в том, чтобы бороться с нашим оружием, которое на деле должно было бы нас защищать.

Тацит забавно описывает наших древних галльских воинов [3], которые были так тяжело вооружены, что только-только были в силах держаться на ногах, будучи не в состоянии ни защищаться, ни нападать, ни даже подняться, когда они бывали опрокинуты. Лукулл, заметив, что некоторые воины-мидийцы, составлявшие передовую линию в армии Тиграна [4], были столь тяжело и неуклюже вооружены, что казались заключенными в железную тюрьму, решил, что будет нетрудно их опрокинуть, и начал с этого свое нападение, увенчавшееся победой.

---

* Совершенно неспособные переносить физическую усталость, они с трудом влачили на себе доспехи [1] (*лат.*).

** Головы их защищены шлемами из коры пробкового дерева [2] (*лат.*).

Я полагаю, что в настоящее время, когда в большой славе наши мушкетеры, будет сделано какое-нибудь изобретение, чтобы прикрыть и обезопасить нас стенами, и мы будем отправляться на войну, запертые в крепостях, подобных тем, которые древние укрепляли на спинах своих слонов.

Такого рода пожелание очень далеко от того, чего требовал Сципион Младший[5]. Он сурово упрекал своих воинов за то, что они построили под водой западни в тех местах рва, через которые солдаты осажденного им города могли совершать вылазки. Осаждающие должны думать о нападении, а не бояться, заявлял Сципион, справедливо опасаясь, чтобы эта предосторожность не усыпила бдительность его воинов.

Юноше, который однажды показывал Сципиону свой превосходный щит, он сказал: «Твой щит действительно хорош, сын мой, но римский воин должен больше полагаться на свою правую руку, чем на левую»[6].

Тяжесть военного снаряжения невыносима для нас лишь потому, что мы не привыкли к ней.

L'husbergo in dosso haveano, e l'elmo in testa,
Dui di quelli guerrier, de i quali io canto.
Ne notte o di, dopo ch'entraro in questa
Stanza, gli haveano mai messi da canto,
Che facile a portar comme la vesta
Era lor, perche in uso l'avean tanto *.

Император Каракалла[8] шел в походе впереди своего войска в полном вооружении.

Римские пехотинцы не только имели на себе каску, щит и меч,— ибо, по словам Цицерона, они так привыкли иметь у себя на плечах оружие, что оно столь же мало стесняло их, как их собственные члены,— «arma enim membra militis esse dicunt» **, но одновременно они еще несли двухнедельный запас продовольствия и несколько брусьев весом до шестидесяти фунтов, необходимых им для устройства укрытий. С таким грузом солдаты Мария[10] обязаны были за пять часов пройти шесть миль или, в случае спешки, даже семь. Военная дисциплина была у них куда строже, чем у нас, и потому давала совсем иные результаты. В этой связи поразителен следующий случай: одного спартанского воина упрекали в том, что во время похода его видели однажды под крышей дома. Они были до такой степени приучены к трудностям, что считалось позором находиться под иным кровом, чем под открытым небом, и в любую погоду. Сципион Младший, перестраивая свои войска в Испании, отдал приказ, чтобы воины его ели только стоя и притом только сырое. При таких порядках мы недалеко ушли бы с нашими солдатами.

Аммиан Марцеллин[11], воспитанный на войнах римлян, отмечает лю-

---

* Двое из воинов, которых я воспеваю здесь, одеты были в кольчуги, а на головах у них были шлемы. С того мгновения, как они очутились в этой броне, они ни днем, ни ночью не снимали ее и до такой степени привыкли к ней, что носили ее как обыкновенную одежду[7] (*ит.*).

** Вооружение, говорят они, это все равно, что руки и ноги солдата[9] (*лат.*).

бопытную особенность вооружения у парфян, весьма отличную от системы римского вооружения. Они носили, сообщает он, броню, как бы сотканную из перышков, не стеснявшую их движений и вместе с тем столь прочную, что, попадая в нее, наши копья отскакивали от нее (это были чешуйки, которыми постоянно пользовались наши предки). В другом месте [12] Марцеллин пишет: «Лошади у них были сильные и выносливые; сами всадники были защищены с головы до ног толстыми железными пластинами, так искусно прилаженными, что, когда надо было, они смещались. Можно было подумать, что это какие-то железные люди; на головах у них были надеты каски, в точности соответствовавшие форме и частям лица, настолько плотно пригнанные, что можно было поразить их только через маленькие круглые отверстия для глаз, пропускавшие свет, или через щели для ноздрей, через которые они с трудом дышали»:

Flexilis inductis animatur lamina membris
Horribilis visu; credas simulacra moveri
Ferrea, cognatoque viros spirare metallo,
Par vestitus equis: ferrata fronte minantur
Ferratosque movent, securi vulneris, armos *.

Вот картина, которая очень напоминает описание снаряжения французского воина во всех его доспехах.

Плутарх сообщает, что Деметрий [14] приказал изготовить для себя и для Алкина, первого состоявшего при нем оруженосца, по сплошной броне для каждого, весом в сто двадцать фунтов, между тем как обычная броня весила всего шестьдесят фунтов.



Глава X
О КНИГАХ

Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты — только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний; и тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство

* При взгляде на гибкий металл, получивший жизнь от тела, в него одетого, становится страшно; можно подумать, что это двигаются железные изваяния и что человек дышит через металл, сросшись с ним. Так же одеты и лошади; они угрожающе напирают своей железной грудью и передвигаются в полной безопасности под железным одеянием, прикрывающим их бока [13] (*лат.*).

мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится, и я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, и с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах, а о себе самом; эти вещи я, может быть, когда-нибудь узнаю или знал их раньше, если случайно мне доводилось найти разъяснение их, но я уже не помню его.

Если я и могу иной раз кое-что усвоить, то уж совершенно не способен запоминать прочно. Поэтому я не могу поручиться за достоверность моих познаний и в лучшем случае могу лишь определить, каковы их пределы в данный момент. Не следует обращать внимание на то, какие вопросы я излагаю здесь, а лишь на то, как я их рассматриваю.

Пусть судят на основании того, что я заимствую у других, сумел ли я выбрать то, что повышает ценность моего изложения. Ведь я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума. Я не веду счета моим заимствованиям, а отбираю и взвешиваю их. Если бы я хотел, чтобы о ценности этих цитат судили по их количеству, я мог бы вставить их в мои писания вдвое больше. Они все, за очень небольшими исключениями, принадлежат столь выдающимся и древним авторам, что сами говорят за себя. Я иногда намеренно не называю источник тех соображений и доводов, которые я переношу в мое изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость поспешных суждений, которые часто выносятся по отношению к недавно вышедшим произведениям еще здравствующих людей, написанным на французском языке, о которых всякий берется судить, воображая себя достаточно в этом деле сведущим. Я хочу, чтобы они в моем лице поднимали на смех Плутарха или обрушивались на Сенеку. Я хочу прикрыть свою слабость этими громкими именами. Я приветствовал бы того, кто сумел бы меня разоблачить, то есть по одной лишь ясности суждения, по красоте и силе выражений сумел бы отличить мои заимствования от моих собственных мыслей. Ибо, хотя за отсутствием памяти мне самому зачастую не под силу различить их происхождение, я все же, зная мои возможности, очень хорошо понимаю, что роскошные цветы, рассеянные в разных местах моего изложения, отнюдь не принадлежат мне и неизмеримо превосходят мои собственные дарования.

Я обязан дать ответ, есть ли в моих писаниях такие недостатки, которых я не понимаю или неспособен понять, если мне их покажут. Ошибки часто ускользают от нашего взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что мы неспособны рассуждать здраво. Мы можем, не обладая способностью суждения, обладать и знанием и истиной, но и суждение, со своей стороны, может обходиться без них; больше того: признаваться в незнании, на мой взгляд, одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума. У меня нет другого связующего звена при изложении моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются; иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обыч-

ный ход их, во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли; поэтому здесь нет таких вопросов, которых нельзя было бы не знать или о которых нельзя было бы говорить случайно и приблизительно.

Я, разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание, и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать голову ни над чем, даже ради науки, какую бы ценность она ни представляла. Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности, и занят изучением только одной науки, науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо умереть:

Has meus ad metas sudet oportet equus *.

Если я при чтении натыкаюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а, попытавшись разок-другой с ними справиться, прохожу мимо.

Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения, и то, чего я не воспринял сразу, я начинаю понимать еще хуже, если упорно бьюсь над этим. Я все делаю весело, упорство же и слишком большое напряжение действуют на мой ум удручающе, утомляют и омрачают его. При вчитывании я начинаю хуже видеть, и внимание мое рассеивается. Мне приходится отводить глаза от текста и опять внезапно взглядывать на него; совершенно так же, как для того, чтобы судить о красоте алого цвета, нам рекомендуют несколько раз скользнуть по нему глазами, неожиданно отворачиваясь и взглядывая опять. Если какая-нибудь книга меня раздражает, я выбираю другую и погружаюсь в чтение только в те часы, когда меня начинает охватывать тоска от безделья.

Я редко читаю новых авторов, ибо древние кажутся мне более содержательными и более тонкими, однако не берусь при этом за греческих авторов, ибо мое знание греческого языка не превышает познаний ребенка или ученика.

К числу книг просто занимательных я отношу из новых — «Декамерон» Боккаччо, Рабле и «Поцелуи» Иоанна Секунда [2], если их можно поместить в эту рубрику. Что касается «Амадиса» [3] и сочинений в таком роде, то они привлекали мой интерес только в детстве. Скажу еще — может быть, смело, а может, безрассудно,— что моя состарившаяся и отяжелевшая душа нечувствительна больше не только к Ариосто, но и к доброму Овидию: его легкомыслие и прихоти фантазии, приводившие меня когда-то в восторг, сейчас не привлекают меня.

Я свободно высказываю свое мнение обо всем, даже о вещах, превосходящих иногда мое понимание и совершенно не относящихся к моему ве́дению. Мое мнение о них не есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи. Когда во мне вызывает

---

* Надо, чтобы мой конь напряг все силы для достижения этой цели [1] (*лат.*).

отвращение, как произведение слабое, «Аксиох»[4] Платона, то, учитывая имя автора, мой ум не доверяет себе: он не настолько глуп, чтобы противопоставлять себя авторитету стольких выдающихся мужей древности, которых он считает своими учителями и наставниками и вместе с которыми он готов ошибаться. Он ополчается на себя и осуждает себя либо за то, что останавливается на поверхности явления, не в силах проникнуть в самую его суть, либо за то, что рассматривает его в каком-то ложном свете. Мой ум довольствуется тем, чтобы только оградить себя от неясности и путаницы, что же касается его слабости, то он охотно признает ее. Он полагает, что дает правильное истолкование явлениям, вытекающим из его понимания, но они нелепы и неудовлетворительны. Большинство басен Эзопа многосмысленны и многообразны в своем значении. Те, кто истолковывает их мифологически, выбирают какой-нибудь образ, который хорошо вяжется с басней, но для многих это лишь первый попавшийся и поверхностный образ; есть другие более яркие, более существенные и глубокие образы, до которых они не смогли добраться: так же поступаю и я.

Однако, возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу: мне всегда казалось, что в поэзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукреций, Катулл и Гораций, в особенности «Георгики» Вергилия, которые я считаю самым совершенным поэтическим произведением; при сравнении их с «Энеидой» нетрудно убедиться, что в ней есть места, которые автор, несомненно, еще отделал бы, если бы у него был досуг. Наиболее совершенной мне представляется пятая книга «Энеиды». Люблю я также Лукана и охотно его читаю; я не так ценю его стиль, как его самого. правильность его мнений и суждений. Что касается любезного Теренция, нежной прелести и изящества его латинского языка, то я нахожу, что он превосходен в верном изображении душевных движений и состояния нравов; наши поступки то и дело заставляют меня возвращаться к нему. Сколько бы раз я его ни читал, я всегда нахожу в нем новую прелесть и изящество. Люди времен, близких к Вергилию, жаловались на то, что некоторые сравнивали его с Лукрецием. Я нахожу, что это действительно неравные величины, и особенно укрепляюсь в этом убеждении, когда вчитываюсь в какой-нибудь прекрасный стих Лукреция. Но если этих людей обижало сравнение Вергилия с Лукрецием, то что сказали бы они о варварской глупости тех, кто в настоящее время сравнивает Вергилия с Ариосто, и что сказал бы по этому поводу сам Ариосто?

O saeculum insipiens et infacetum! *

Я полагаю, что древние имели еще больше оснований обижаться на тех, кто равнял с Плавтом Теренция (ибо последний гораздо утонченнее), чем на тех, кто сравнивал Лукреция с Вергилием. Для истинной оценки Теренция и признания его превосходства важно отметить то, что только его — и никого другого из его сословия — постоянно цитирует отец рим-

* О, неразумный и грубый век![5] (*лат.*).

ского красноречия [6], и большое значение имеет тот приговор, который вынес Теренцию первый судья среди римских поэтов [7]. Мне часто приходило на ум, что в наше время те, кто берется сочинять комедии,— как, например, итальянцы, у которых есть в этой области большие удачи,— заимствуют три-четыре сюжета из комедий Теренция или Плавта и пишут на этой основе свои произведения. В одной комедии они нагромождают пять-шесть новелл Боккаччо. Такой способ добычи материала для своих писаний объясняется тем, что они не доверяют своим собственным дарованиям; им необходимо нечто прочное, на что они могли бы опереться, и, не имея ничего своего, чем они могли бы нас привлечь, они хотят заинтересовать нас новеллой. Нечто обратное видим мы у Теренция: перед совершенством его литературной манеры бледнеет интерес к сюжету его пьес; его изящество и остроумие все время приковывают наше внимание, он всегда так занимателен, — Liquidus puroque simillimus amni * — и так восхищает нашу душу своим талантом, что мы забываем о достоинствах разрабатываемой им фабулы.

Это мое соображение приводит меня к другому замечанию. Я вижу, что прекрасные античные поэты избегали не только напыщенности и причудливой выспренности испанцев или петраркистов, но даже тех умеренных изощренностей, которые являются украшением всех поэтических творений позднейшего времени. Всякий тонкий знаток сожалеет, встречая их у античного поэта, и несравненно больше восхищается цветущей красотой и неизменной гладкостью эпиграмм Катулла, чем теми едкими остротами, которыми Марциал уснащает концовки своих эпиграмм. Это и побудило меня высказать выше то же соображение, которое Марциал высказывал применительно к себе, а именно: minus illi ingenio laborandum fuit, in cuius locum materia successerat **. Поэты первого рода без всякого напряжения и усилий легко проявляют свой талант: у них всегда есть над чем посмеяться, им не нужно щекотать себя, поэты же другого толка нуждаются в посторонней помощи. Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет. Они норовят ездить верхом на коне, потому что чувствуют себя недостаточно твердо на собственных ногах. Точно так же у нас на балах люди простого звания, не обладая хорошими манерами дворянства, стараются отличиться какими-нибудь рискованными прыжками или другими необычными движениями и фокусами. Подобно этому и дамы лучше умеют держаться при таких танцах, где есть различные фигуры и телодвижения, чем во время торжественных танцев, когда им приходится только двигаться естественным шагом, сохраняя свое обычное изящество и умение непринужденно держаться. Мне приходилось равным образом видеть, как превосходные шуты, оставаясь в своем обычном платье и ничем не отличаясь в своих манерах от прочих людей, доставляли нам все то удовольствие, какое только может давать их искусство, между тем как ученикам и тем, кто не имеет такой хорошей выучки, чтобы нас рассмешить,

---

* Ясен, подобен чистому ручью [8] (*лат.*).

** Не приходилось делать больших усилий там, где ум заменен был сюжетом [9] (*лат.*).

приходилось пудрить себе лицо, напяливать какой-нибудь наряд и корчить страшные рожи. В правильности высказанного мною выше суждения можно лучше всего убедиться, если сравнить «Энеиду» с «Неистовым Роландом». Стих Вергилия уверенно парит в высоте и неизменно следует своему пути; что же касается Тассо, то он перепархивает с одного сюжета на другой, точно с ветки на ветку, полагаясь на свои крылья лишь для очень короткого перелета, и делает остановки в конце каждого эпизода, боясь, что у него перехватит дыхание и иссякнут силы:

Excursusque breves tentat *.

Вот авторы, которые мне больше всего нравятся в этих литературных жанрах.

Что же касается другого круга моего чтения, при котором удовольствие сочетается с несколько большей пользой,— так как с помощью этих книг я учусь развивать свои мысли и понятия,— то сюда относятся произведения Плутарха — с тех пор как он переведен на французский язык — и Сенеки. Оба эти автора обладают важнейшим для меня достоинством: та наука, которую я в них ищу, дана у них не в систематическом изложении, а в отдельных очерках, поэтому для одоления их не требуется упорного труда, к которому я неспособен. Таковы мелкие произведения Плутарха и «Письма» Сенеки, составляющие лучшую и наиболее полезную часть их творений. Мне не надо делать никаких усилий, чтобы засесть за них, и я могу оборвать чтение, где мне захочется, ибо отдельные части этих произведений не связаны друг с другом. Оба эти автора сходятся в ряде своих полезных и правильных взглядов; сходна во многом и их судьба: оба они родились почти в одном веке, оба были наставниками двух римских императоров[11], оба были выходцами из иных стран, были богаты и могущественны. Их учение — это сливки философии, преподнесенной в простой и доступной форме. Плутарх более единообразен и постоянен, Сенека более изменчив и гибок. Сенека прилагает усилия, упорствует и стремится вооружить добродетель против слабости, страха и порочных склонностей, между тем как Плутарх не придает им такого значения, он не желает из-за этого торопиться и вооружаться. Плутарх придерживается взглядов Платона, терпимых и подходящих для гражданского общества, Сенека же — сторонник стоических и эпикурейских воззрений, значительно менее удобных для общества, но, по-моему, более пригодных для отдельного человека и более стойких. Похоже на то, что Сенека до известной степени порицает тиранию императоров своего времени, ибо когда он осуждает дело благородных убийц Цезаря, то я убежден, что с его стороны это суждение вынужденное; Плутарх же всегда свободен в своих высказываниях. Писания Сенеки пленяют живостью и остроумием, писания Плутарха — содержательностью. Сенека вас больше возбуждает и волнует, Плутарх вас больше удовлетворяет и лучше вознаграждает. Плутарх ведет нас за собой, Сенека нас толкает.

* Решаясь только на короткие перелеты[10] (*лат.*).

Что касается Цицерона, то для моей цели могут служить те из его произведений, которые трактуют вопросы так называемой нравственной философии. Но, говоря прямо и откровенно (а ведь когда стыд преодолен, то больше себя не сдерживаешь), его писательская манера мне представляется скучной, как и всякие другие писания в таком же роде. Действительно, подразделения, предисловия, определения, всякого рода этимологические тонкости занимают большую часть его писаний, и та доля сердцевины и существенного, что в них имеется, теряется из-за этих длинных приготовлений. Когда я, потратив час на чтение его,— что для меня много,— начинаю перебирать, что я извлек из него путного, то в большинстве случаев обнаруживаю, что ровным счетом ничего, ибо он еще не перешел к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу. Для меня, который хочет стать только более мудрым, а не более ученым или красноречивым, эти логические и аристотелевские подразделения совершенно ни к чему: я хочу, чтобы начинали с последнего, самого важного пункта; я достаточно понимаю, что такое наслаждение и что такое смерть,— пусть не тратят времени на копанье в этом: я ищу прежде всего убедительных веских доводов, которые научили бы меня справляться с этими вещами. Ни грамматические ухищрения, ни остроумные словосочетания и тонкости здесь ни к чему: я хочу суждений, которые затрагивали бы самую суть дела, между тем как Цицерон ходит вокруг да около. Его манера хороша для школы, для адвокатской речи, для проповеди, когда мы можем себе позволить вздремнуть немного и еще через четверть часа вполне успеем уловить нить изложения. Так следует разговаривать с судьями, которых не мытьем, так катаньем хотят склонить на свою сторону, с детьми и с простым народом, которому надо рассказывать обо всем, чтобы его пронять. Я не хочу, чтобы старались подстрекнуть мое внимание и пятьдесят раз кричали мне по примеру наших глашатаев: «Слушайте!» Римляне провозглашали в своих молитвах: «Hoc age!» *, что соответствует нашему «Sursum corda!» ** — это тоже для меня совершенно излишние слова. Я приступаю к делу, будучи вполне готов: мне не нужно ни лакомой приманки, ни соуса, я охотно ем готовое мясо, а эти подготовки и вступления не только не возбуждают моего аппетита, а, наоборот, ослабляют и утомляют его.

Не послужит ли распущенность нашего века достаточным оправданием моего святотатства, если я позволю себе сказать, что нахожу также тягучими диалоги самого Платона? Ведь даже у него предмет исследования слишком заслонен формой изложения, и мне жаль, что этот человек, который мог сказать столько замечательных вещей, тратил свое время на эти длинные, ненужные подготовительные разговоры. Мое невежество послужит мне извинением в том, что я ничего не понимаю в красоте его языка.

---

* Делай это! [12] (*лат.*).
** Ввысь да стремятся сердца! [13] (*лат.*).

Я вообще отдаю предпочтение книгам, которые используют достижения наук, а не тем, которые созидают сами эти науки.

Писания Плутарха и Сенеки, а также Плиния и им подобных отнюдь не пестрят этими «Hoc age!»; они хотят иметь дело с людьми, которые сами себя предупредили, а в тех случаях, когда в них содержится такое «Hoc age!», оно относится к существу дела и имеет особое оправдание.

Я охотно читаю также «Письма к Аттику» Цицерона [14] и не только потому, что они содержат обширные сведения о делах и событиях его времени, но гораздо более потому, что в них раскрываются частные дела самого Цицерона. А я обладаю — как я указывал уже в другом месте [15] — особого рода любопытством: я стремлюсь узнать душу и сокровенные мысли моих авторов. По тем писаниям, которые они отдают на суд света, следует судить об их дарованиях, но не о них самих и их нравах. Тысячи раз сожалел я о том, что до нас не дошла книга Брута о добродетели [16]: ведь так интересно узнать теорию тех, кто так силен в практике. Но поскольку одно дело проповедь, а другое — проповедник, то мне столь же приятно познакомиться с Брутом по рассказу Плутарха, как и по его собственной книге. Я скорее предпочел бы знать доподлинно разговоры, которые он вел в своей палатке с кем-нибудь из частных лиц накануне сражения, чем речь, которую он держал перед армией на следующий день после него, и я больше хотел бы знать, что он делал в своем кабинете и в своей спальне, чем то, что он делал на площади и в сенате.

Что касается Цицерона, то я держусь того распространенного о нем мнения, что, кроме учености, в нем не было ничего особенно выдающегося; он был добрым и благонравным гражданином, какими часто бывают толстяки и говоруны,— каков он и был в действительности,— но что касается внутренней слабости и честолюбивого тщеславия, то, по правде признаться, этим он обладал в избытке. Я не знаю, чем можно извинить то, что он считал возможным опубликовать свои стихи. Нет большой беды в том, чтобы писать плохие стихи, но то, что он не понимал, насколько они недостойны славы его имени, свидетельствует о недостатке ума. Что касается его красноречия, то оно вне всякого сравнения; я думаю, что никто никогда в этом отношении ему не уподобится. Когда Цицерон Младший [17], походивший на своего отца только тем, что носил то же имя, служил в Азии, однажды к нему, среди многих других гостей, затесался Цестий [18], сидевший у самого края стола, как это бывает на открытых пирах вельмож. Цицерон спросил, кто это, у одного из своих слуг, который сообщил ему, что это Цестий. Но когда Цицерон, который занят был другим и забыл, что́ ему ответили, еще два или три раза переспросил об этом слугу, тот, чтобы избавиться от необходимости повторять ему по нескольку раз одно и то же и желая указать какую-нибудь примету, сказал: «Это тот самый Цестий, о котором вам говорили, что он не очень-то ценит красноречие вашего отца по сравнению со своим собственным». Уязвленный этим, Цицерон приказал схватить несчастного Цестия и выпороть его в своем присутствии. Вот пример поистине неучтивого хозяина. Однако даже среди тех, кто в числе прочих вещей ценил

несравненное цицероновское красноречие, были люди, отмечавшие в нем недостатки; так, например, друг Цицерона великий Брут [19] говорил, что это было «волочащееся и спотыкающееся» красноречие, fractam et elumbem. Ораторы, близкие к нему по времени, переняли у него манеру делать длинную паузу в конце отрывка и употреблять слова «esse videatur» *, которыми он так часто пользовался. Что касается меня, то я предпочитаю более короткие фразы с ямбической каденцией. Иногда он примешивает и резче звучащие фразы, хотя и редко. Я обратил внимание на то, как звучит, например, следующее место: «Ego vero me minus diu senem esse mallem, quam esse senem, antequam essem» **.

Историки составляют мое излюбленное чтение [21], занимательное и легкое; тем более, что человек вообще, к познанию которого я стремлюсь, выступает в их писаниях в более ярком и более цельном освещении, чем где бы то ни было; мы видим разнообразие и действительность его внутренних свойств как в целом, так и в подробностях, многообразие средств, которыми он пользуется, и бедствий, которые ему угрожают. Больше всего мне по душе авторы жизнеописаний: их прельщает не само событие, а его подоплека, они задерживаются на том, что происходит внутри, а не на том, что совершается снаружи. Вот почему Плутарх — историк во всех отношениях в моем вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка Диогенов Лаэрциев [22] или нет хотя бы одного более пространного и объемистого. Ибо меня не в меньшей степени интересует судьба и жизнь этих великих наставников человечества, чем их различные учения и взгляды.

В области истории следует знакомиться со всякого рода авторами, и старыми и новыми, и французскими и иноземными, чтобы изучать вещи в различном освещении, которое каждый из них дает. Но особенно достойным изучения представляется мне Цезарь и не только ради знакомства с историей, но и ради него самого, настолько он превосходит всех других авторов, хотя Саллюстий [23] относится к тому же числу. Признаюсь, я читаю Цезаря с несколько большим благоговением и подчинением, чем обычно читаются человеческие произведения; иногда сквозь его действия я вижу его самого и постигаю тайну его величия; иногда я восхищаюсь чистотой и неподражаемой легкостью его слога, в чем он не только превзошел, как признает Цицерон, всех историков, но и самого Цицерона [24]. С большой искренностью судит Цезарь о своих врагах, и я думаю, что, кроме прикрас, которыми он старается прикрыть неправое свое дело и свое пагубное честолюбие, его можно упрекнуть только в том, что он слишком скупо говорит о себе. Ведь все эти великие дела не могли быть им выполнены без большей доли его участия, чем он изображает.

Я люблю историков либо весьма простодушных, либо проницательных. Простодушные историки, которые не вносят в освещение событий ничего своего, а заняты лишь тем, чтобы тщательно собрать все дошедшие до

---

* Надо полагать (*лат.*).

** Я предпочитаю лучше недолго быть старым, нежели состариться до наступления старости [20] (*лат.*).

них сведения и добросовестно записать все события без всякого отбора, всецело предоставляют познание истины нам самим. Таков, например, в числе прочих добрейший Фруассар [25], который подходит к своему делу с такой откровенной наивностью, что, совершив ошибку, отнюдь не боится ее признать и исправить там, где ее заметил; он приводит подряд самые разнообразные слухи об одном и том же событии или противоречивые объяснения, которые до него доходили. История Фруассара — это сырой и необработанный материал, который всякий может использовать по-своему, в меру своего понимания. Проницательные историки умеют отобрать то, что достойно быть отмеченным; они способны выбрать из двух известий более правдоподобное; кроме того, они объясняют решения государей их характером и положением и приписывают им соответствующие речи. Они правы, ставя своей задачей склонять нас к своим взглядам, но, разумеется, на это способны лишь немногие. Историки, занимающие промежуточную позицию (а это наиболее распространенная разновидность их), все портят: они стремятся разжевать нам отрывочные данные, они присваивают себе право судить и, следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению [26], ибо, если суждение историка однобоко, то он не может предохранить свое повествование от извращения в том же направлении. Такого рода историки занимаются отбором фактов, достойных быть отмеченными, и часто скрывают от нас то или иное слово или частное действие, которые могли бы объяснить нам значительно больше; они опускают, как вещи невероятные, то, чего не понимают, а иногда опускают кое-что, может быть, просто потому, что не умеют выразить этого на хорошем латинском или французском языке. Пусть они смело выставляют напоказ свое слабое красноречие и свои рассуждения, пусть высказывают какие угодно суждения, но пусть оставят и нам возможность судить после них, пусть они не искажают своими сокращениями и своим отбором исторический материал, ничего из него не изымают, а предоставят нам его в полном объеме и в нетронутом виде.

Большей частью, в особенности в наше время, в качестве историков выбираются люди из простонародья единственно на том основании, что они хорошо владеют пером, как если бы мы стремились научиться у них грамматике! А они, заботясь лишь об этой стороне дела, по-своему правы, поскольку они продают только свое умение болтать и им платят деньги именно за это. Поэтому, жонглируя красивыми словами, они преподносят набор всяких слухов, собранных ими на городских перекрестках. Единственно доброкачественные исторические сочинения были написаны людьми, которые сами вершили эти дела, либо причастны были к руководству ими, или теми, на долю которых выпало по крайней мере вести другие подобного же рода дела. Таковы почти все исторические сочинения, написанные греческими и римскими авторами. И так как о тех же делах писали многие очевидцы (как водилось в те времена, когда и знания и высокое положение обычно сочетались в одном лице), то если у них и встретится какая-нибудь ошибка, она должна быть очень незначительна и относиться к какому-нибудь весьма неясному случаю. Но чего можно

ждать от врача, пишущего о делах войны, или от ученика, излагающего планы государей? Достаточно привести один пример, чтобы убедиться, насколько щепетильны были в своих писаниях римские авторы. Азиний Поллион [27] обнаружил кое-какие неточности даже в исторических работах самого Цезаря; Цезарь допустил их либо потому, что не мог своими глазами уследить за всем, что происходило во всех частях его армии, и полагался на отдельных людей, нередко сообщавших ему недостаточно проверенные факты, либо потому, что его приближенные не вполне точно осведомляли его о делах, которые они вели в его отсутствие. На этом примере можно убедиться, до чего тонкое дело установление истины, раз при описании какого-нибудь сражения нельзя положиться на донесение того, кто им руководил, или на рассказ солдат о том, что происходило около них, а надо сопоставить — как это делается при судебном разбирательстве — показания свидетелей и учитывать возражения, даже по поводу мельчайших подробностей в каждом случае. Надо признать, что наши познания в нашей собственной истории весьма слабы. Но об этом достаточно писал Боден в том же духе, что и я.

Чтобы помочь делу с моей плохой памятью, которая так изменяла мне, что мне приходилось не раз брать в руки как совершенно новые и мне неизвестные книги, которые несколько лет тому назад я тщательно читал и испещрил своими замечаниями, я с недавнего времени завел себе привычку отмечать в конце всякой книги (я имею в виду книги, которые я хочу прочитывать только один раз) дату, когда я закончил ее читать, и в общих чертах суждение, которое я о ней вынес, чтобы иметь возможность на основании этого по крайней мере припомнить общее представление, которое я составил себе о данном авторе, читая его. Я хочу здесь привести некоторые из этих заметок.

Вот что я записал около десяти лет тому назад на моем экземпляре Гвиччардини [28] (ибо на каком бы языке книги ни говорили со мной, я всегда говорю с ними на моем языке): «Вот добросовестный историк, у которого, по-моему, с большей точностью, чем у кого бы то ни было, можно узнать истинную сущность событий его времени; к тому же в большинстве из них он сам принимал участие и состоял в высоких чинах. Совершенно непохоже на то, чтобы он из ненависти, лести или честолюбия искажал факты: об этом свидетельствуют его независимые суждения о сильных мира сего, и в частности о тех, которые выдвигали и назначали его на высокие посты, как например о папе Клименте VII [29]. Что касается той его особенности, которую он как будто желал вменить себе в наибольшую заслугу, а именно его отступлений и речей, то среди них есть меткие и удачные, но он чересчур увлекался ими: действительно, стараясь ничего не упустить и имея дело с таким обширным и почти необъятным материалом, он становится многословным и несколько болтливым на школьный манер. Я обратил также внимание на то, что о каких бы людях и делах, о каких бы действиях и замыслах он ни судил, он никогда не выводит их ни из добродетели, ни из благочестия и совести — как если бы этих вещей вовсе не существовало — и объясняет все по-

ступки, какими бы совершенными они ни казались сами по себе, либо какой-нибудь выгодой, либо порочными побуждениями. Однако нельзя себе представить, чтобы среди всех тех бесчисленных действий, о которых он судит, не было хоть каких-нибудь продиктованных разумом. Никакое разложение не может охватить настолько всех без исключения людей, чтобы не осталось ни одного не затронутого им человека; это вызывает у меня опасение, нет ли у Гвиччардини какого-то порока в этом его пристрастии и не судит ли он о других по себе».

В моем Филиппе де Коммине [30] записано следующее: «Вы найдете у него изящный и приятный стиль, отличающийся простотой и непосредственностью; неприкрашенное повествование, сквозь которое явно просвечивает добросовестность автора, свободного от тщеславия, когда он говорит о себе, и от зависти и пристрастия, когда он говорит о других; его рассуждения и увещания проникнуты скорее искренностью и добрыми побуждениями, чем каким-нибудь выдающимся талантом; и на всем изложении лежит отпечаток авторитетности и значительности, свидетельствующих о высоком положении автора и его опыте в ведении больших дел».

В мемуарах братьев Дю Белле [31] я записал: «Всегда приятно читать изложение событий в описании тех, кто пытался ими руководить, но нельзя не признать, что обоим авторам мемуаров очень недостает той искренности и независимости в суждениях, присущих старым авторам подобного рода мемуаров, как, например, сиру Жуанвилю, слуге Людовика Святого [32], или приближенному Карла Великого, Эгингарду [33], или же Филиппу де Коммину, если взять автора более близкого по времени. Мемуары Дю Белле — это не история, а скорее апология Франциска I, направленная против Карла V [34]. Я не хочу допустить, что они исказили самый смысл событий, но они весьма искусны в том, чтобы, нередко вопреки истине, истолковывать события в нашу пользу и скрывать все щекотливые моменты, касающиеся их повелителя; так, например, ни одним словом не упомянуты отступления Монморанси [35] и Бриона [36], отсутствует даже самое имя госпожи д'Этамп [37]. Можно умалчивать о тайных делах, но не говорить о том, что всем известно, и о вещах, которые повлекли за собой последствия большой государственной важности,— непростительный недостаток. Словом, чтобы составить себе полное представление о Франциске I и о событиях его времени, следует, по-моему, обратиться к какому-нибудь другому источнику; мемуары же братьев Дю Белле могут быть полезны вот в каком отношении: в них можно найти любопытное описание тех сражений и военных походов, в которых оба эти сеньора принимали участие; сообщения о некоторых речах и частных поступках современных им государей и, наконец, известия о сношениях и переговорах, которые вел сеньор де Ланже [38]; в них содержится множество сведений, заслуживающих известности, и некоторые незаурядные суждения».



Глава XI
О ЖЕСТОКОСТИ

Мне кажется, что добродеятель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру. Люди по природе своей добропорядочные и с хорошими задатками идут тем же путем и поступают так же, как и люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее и более действенное, чем способность тихо и мирно, в силу счастливого нрава, подчиняться велениям разума. Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесенные ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похвалы; но тот, кто, задетый обидой за живое и разъяренный, сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую жажду мести и выйти победителем, совершил бы несомненно нечто большее. Первый поступил бы хорошо, второй же — добродетельно; первый поступок можно назвать добрым, второй — добродетельным, ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может существовать без противодействия. Ведь не случайно мы называем бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным, ибо все его действия непринужденны и совершаются без всяких усилий. Многие философы — и не только стоики, но и эпикурейцы — близки к такому пониманию добродетели. Я объединяю тех и других [1] вопреки общераспространенному мнению, которое ложно, как бы ни расценивать остроумный ответ, данный Аркесилаем тому, кто упрекал его в том, что многие переходят из его школы к эпикурейцам, но никогда от эпикурейцев к стоикам. «Согласен! — ответил Аркесилай [2].— Многие петухи превращаются в каплунов, но каплуны никогда не становятся петухами». И действительно, по части твердости взглядов и строгости наставлений эпикурейцы отнюдь не уступают стоикам, если быть в отношении их добросовестными и не подражать тем спорщикам, которые, стремясь одержать легкую победу над Эпикуром, приписывают ему то, чего он никогда не думал, и выворачивают его слова наизнанку, злоупотребляя грамматикой и вкладывая в его фразы совсем другой смысл, чем тот, какой эти фразы (равно как и его дела, как им хорошо известно) на самом деле имели. Недаром некий стоик заявляет, что он перестал быть эпикурейцем по той причине — в числе прочих,— что эпикурейцы идут слишком возвышенным, недоступным путем et ii qui φιλήδονοι vocantur, sunt φιλόκαλοι omnesque virtutes et colunt et retinent *. Итак, повторяю: из философов многие стоики и эпикурейцы считали, что недостаточно обладать душой благонамеренной, уравновешенной и склонной к добродетели, что недостаточно быть способным высказывать суждения и принимать решения, ставящие

---

* И те, которых вы называете любителями наслаждений, на самом деле являются любителями прекрасного и честного, и они чтут и блюдут все добродетели [3] (*лат.*).

нас выше всех жизненных невзгод и превратностей, но что необходимо, кроме того, самому искать случаев применить их на практике. Они хотели испытать боль, нужду, презрение, чтобы с ними бороться и сохранять душу в боевой готовности: multum sibi adicit virtus lacessita *. Вот одна из причин, побудившая Эпаминонда, принадлежавшего к третьей школе [5], отказаться от богатства, которое судьба послала ему в руки самым законным путем, ибо он хотел, по его собственному выражению, сражаться с бедностью, и прожил в нужде до конца своих дней. Сократ подвергал себя еще более жестокому, на мой взгляд, испытанию, поскольку таким испытанием являлась для него злоба жены; это, по-моему, равносильно упражнению с остро отточенным ножом. Метелл [6], единственный из римских сенаторов, решил подвергнуть испытанию свою добродетель, чтобы положить предел насилию народного трибуна Сатурнина [7], старавшегося всеми силами провести несправедливый закон в пользу плебеев. Приговоренный за это к изгнанию — каре, которую Сатурнин ввел против отказывавшихся признать этот закон,— Метелл обратился к тем, кто сопровождал его в этот тяжкий для него час, со следующими словами: «Делать зло — вещь слишком легкая и слишком низкая; делать добро в тех случаях, когда с этим не сопряжено никакой опасности,— вещь обычная; но делать добро, когда это опасно,— таково истинное призвание добродетельного человека». Эти слова Метелла ясно подтверждают мою мысль о том, что добродетель не вяжется с отсутствием трудностей и что легкий, удобный и наклонный путь, по которому направляется хорошая природная склонность, это еще не есть путь истинной добродетели. Последняя требует трудного и тернистого пути, она, как в случае с Метеллом, должна преодолевать либо внешние трудности, которыми судьба старается отвлечь ее от ее нелегкого пути; либо трудности внутренние, вызываемые нашими необузданными страстями и несовершенством.

Вплоть до этой минуты я чувствовал себя в своем изложении совершенно уверенным. Но, когда я дописывал последнюю фразу, мне пришло в голову, что, согласно моей мысли, душа Сократа, самая совершенная из всех мне известных, должна быть отнесена не к самым образцовым, ибо я не могу представить себе в нем борьбы с каким бы то ни было порочным стремлением. Я не могу вообразить себе, чтобы его добродетель испытывала какие бы то ни было трудности или какое-нибудь принуждение. Я знаю могущество и власть его разума, который никогда не дал бы зародиться какому-нибудь порочному стремлению. Такой возвышенной добродетели, как у Сократа, я не могу ничего противопоставить. Мне кажется, я вижу, как, свободная, она ступает победоносным и торжествующим шагом, не встречая никаких помех, никаких трудностей. Если добродетель ярче сияет благодаря борьбе противоположных стремлений, то значит ли это, что она не может обойтись без порока и что своей ценностью и почетом она обязана ему? Что скажем мы также об этом честном и благородном эпикурейском наслаждении, которое мимохо-

---

* Добродетель возрастает, если ее подвергают испытаниям [4] (*лат.*).

дом, словно играючи, воспитывает добродетель, подчиняя ей, в виде забавы, стыд, лихорадки, бедность, смерть и узилища? Если я предположу, что совершенная добродетель познается лишь путем умения подавлять и терпеливо сносить боль, не моргнув глазом выдерживать жестокие приступы подагры; если я предпишу ей в качестве обязательного условия трудности и препятствия, то что же сказать о добродетели, поднявшейся на такую высоту, что она не только презирает страдание, но даже наслаждается им, упивается до степени восторженного экстаза, подобно некоторым эпикурейцам, оставившим нам весьма достоверные свидетельства подобных, испытанных ими переживаний?

Есть немало случаев, когда люди на деле превзошли требования, предъявляемые их учением. Доказательством этого может служить пример Катона Младшего [8]. Когда я представляю себе, как он умирал, вырывая из тела свои внутренности, я не могу допустить, что душа его в этот момент была лишь полностью свободна от страха и смятения, не могу поверить, чтобы, совершая этот поступок, он только выполнял правила, предписываемые ему стоическим учением, иначе говоря, что душа его оставалась спокойной, невозмутимой и бесстрастной. Мне кажется, что в добродетели этого человека было слишком много пламенной силы, чтобы он мог удовольствоваться этим; я нисколько не сомневаюсь, что он испытывал радость и наслаждение, совершая свой благородный подвиг, и что он был им более удовлетворен, чем каким бы то ни было другим поступком в своей жизни. Sic abit e vita ut causam moriendi nactum se esse gauderet *. Я настолько убежден в этом, что сомневаюсь, пожелал ли бы он лишиться возможности совершить такое прекрасное деяние. Если бы меня не останавливала мысль о благородстве, побуждавшем его всегда ставить общественное благо выше личного, то я очень склонен был бы допустить, что он благодарен был судьбе за то, что она послала такое прекрасное испытание его добродетели, и за то, что она помогла «этому разбойнику» [10] растоптать исконную свободу его родины. Мне кажется, что при совершении этого поступка его душа испытывала несказанную радость и мужественное наслаждение, ибо она сознавала, что благородство и величие его —

Deliberata morte ferocior ** —

вдохновлены не мыслью о грядущей славе (как это бывает у некоторых слабых и заурядных людей; но для души столь благородной, сильной и гордой это был бы слишком низменный стимул), а красотой самого поступка. Эту красоту он видел во всем ее совершенстве и яснее, чем мы, ибо он владел ею так, как нам не дано.

К моему большому удовольствию, философы считают, что такой замечательный поступок был бы неуместен во всякой другой жизни, и только одному Катону можно было так закончить свою жизнь. Поэтому он с

---

* Он ушел из жизни, радуясь, что нашел случай покончить с собой [9] (*лат.*).

** Она неустрашима, так как решила умереть [11] (*лат.*).

полным основанием рекомендовал своему сыну и окружавшим его сенаторам выйти из положения иначе. Catoni cum incredibilem natura tribuisset gravitatem, eamque ipse perpetua constantia roboravisset, semperque in proposito consilio permansisset, moriendus potius quam tyranni vultus aspiciendus erat *. Всякая смерть должна соответствовать жизни человека. Умирая, мы остаемся такими же, какими были в жизни. Я всегда нахожу объяснение смерти данного человека в его жизни. И, когда мне рассказывают о стойком по видимости конце человека, проведшего вялую жизнь, я считаю, что он вызван был какой-либо незначительной причиной, соответствующей жизни этого человека. Можно ли сказать, что легкость, с которой шел к смерти Катон, и та непринужденность, которой он достиг силой своего духа, должны как-то умалить красоту его добродетели? Кто из людей, хоть в малейшей степени причастных к истинной философии, может себе представить, что Сократ, когда на него обрушились осуждение, оковы и темница, всего-навсего лишь не испытал страха и оставался невозмутим? Кто не согласится признать, что он проявил не только стойкость и уверенность в себе (таково было его обычное состояние), но что в его последних словах и действиях сказались какое-то радостное веселие и совершенно новая удовлетворенность? Не доказывает ли то содрогание от удовольствия, которое он испытал от возможности почесать себе ногу, когда с нее сняли оковы, что подобная же радость была в его душе при мысли, что он освобождается от всех злоключений прошлого и находится на пороге познания будущего? Да простит меня Катон: его смерть была более стремительной и более трагической, но в смерти Сократа есть нечто более невыразимо прекрасное.

Аристипп[13] говорил тем, кто сожалел о ней: «Да ниспошлют боги и мне такую смерть!»

На примере этих двух людей и их подражателей (ибо я сильно сомневаюсь, чтобы существовали люди, им подобные) можно убедиться в такой необыкновенной привычке к добродетели, что она вошла в их плоть и кровь. Эта добродетель достигается у них не усилием, не предписаниями разума; им не нужно для соблюдения ее укреплять свою душу, ибо она составляет сущность их души, это ее обычное и естественное состояние. Они достигли этого путем длительного применения наставлений философии, семена которой пали на прекрасную и благодатную почву. Пробуждающиеся в нас порочные склонности не находят к ним доступа; силой и суровостью своей души они подавляют их в самом зародыше.

Я думаю, нет сомнений в том, что лучше по божьему изволению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушений были уже вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и пре-

---

* Катон, наделенный от природы невероятной непреклонностью, которую он еще укрепил неизменным постоянством, и всегда придерживавшийся принятого решения, должен был предпочесть скорее умереть, чем увидеть тирана[12] (*лат.*).

одолеть их; но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать просто цельным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, люди невинные, но и не добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро. К тому же такой душевный склад так недалек от слабости и несовершенства, что я не в состоянии даже разграничить их. Именно по этой причине с самыми понятиями доброты и невинности связан некий оттенок пренебрежения. Я вижу, что некоторые добродетели, например целомудрие, воздержание и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками. Стойкость в перенесении опасностей (если только ее можно назвать в данном случае стойкостью), презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречаются у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели, и мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бы бранить. Один итальянский вельможа, нелюбезно отзывавшийся о своей нации, однажды в моем присутствии говорил следующее. Сообразительность и проницательность итальянцев — утверждал он — так велики, что они заранее способны предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью, между тем как французы и испанцы, которые не столь проницательны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда страх не удерживает их; немцы же и швейцарцы, более вялые и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами. Он, может быть, говорил все это шутки ради; однако несомненно верно, что новички в военном деле часто бросаются навстречу опасности, но, побывав в переделках, уже не действуют столь опрометчиво:

haud ignarus quantum nova gloria in armis,
Et praedulce decus primo certamine possit *.

Вот почему, когда судят об отдельном поступке, то, прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание всю сущность человека, который совершил его.

Несколько слов о себе. Мои друзья нередко называли во мне осмотрительностью то, что в действительности было случайностью, и считали проявлением смелости и терпения то, что было проявлением рассудительности и определенного мнения; словом, мне часто приписывали одно качество вместо другого, и иногда к выгоде для меня, иногда мне в ущерб. На деле же я далек как от той первой и более высокой степени совершенства, когда добродетель превращается в привычку, так и от совершен-

---

* ...хоть и знал я, как много значат для первого сражения только что обретенная военная слава и пресладостный почет [14] (*лат.*).

ства второй степени, доказательств которого я не смог дать. Мне не приходилось прилагать больших усилий, чтобы обуздать обуревавшие меня желания. Моя добродетель — это добродетель или, лучше сказать, невинность случайная и преходящая. Будь у меня от рождения более неуравновешенный характер, я представлял бы, наверное, жалкое зрелище, ибо мне не хватило бы твердости противостоять натиску страстей, даже не особенно бурных. Я совершенно не способен к внутреннему разладу и борьбе. Поэтому мне нечего особенно благодарить себя за то, что я лишен многих пороков:

si vitiis mediocribus et mea paucis
Mendosa est natura, alioqui recta, velut si
Egregio inspersos reprehendas corpore naevos *,

то я скорее обязан этим моей судьбе, чем моему разуму. Ей угодно было, чтобы я происходил из рода, прославившегося своей безупречной честностью, и был сыном замечательного отца; не знаю, унаследовал ли я от него некоторые его качества или на меня незаметно повлияли примеры, которые я видел в семье, и хорошее воспитание, полученное мною в детстве, или что-нибудь иное —

Seu Libra, seu me Scorpius aspicit
Formidolosus pars violentior
Natalis horae, seu tyrannus
Hesperiae Capricornus undae **, —

но, как бы там ни было, я питаю отвращение к большинству пороков. Антисфен [17] ответил спросившему его, чему лучше всего научиться: «Отучиться от зла». Я питаю, говорю я, к порокам отвращение, столь естественное и глубоко мне присущее, что никакие обстоятельства не смогли заставить меня изменить это усвоенное с младенческих лет чувство; не смогли заставить меня изменить ему даже мои собственные суждения, несмотря на то что они, отклоняясь в некоторых отношениях от общепринятого пути, легко могли бы мне дозволить поступки, которые эта естественная склонность побуждает меня ненавидеть.

Не могу удержаться от весьма странного признания: я нахожу, что благодаря моему отвращению к порокам в моих нравах больше постоянства и уравновешенности, чем в моих суждениях, и что моя похоть менее разнузданна, чем мой разум.

Аристипп высказал такие смелые мысли в защиту наслаждения и богатства, что философы всех направлений ополчились против него. Но что до его собственных нравов, то когда тиран Дионисий [18] предоставил ему на выбор трех прекрасных женщин, Аристипп заявил, что выбирает всех

---

* Если моя природа, наделенная лишь небольшими недостатками, в остальном благополучно устроена и подобна прекрасному телу, которому можно поставить в укор несколько рассеянных по нему пятнышек [15] (*лат.*).

** Преобладало ли в момент моего рождения влияние созвездия Весов или грозного Скорпиона, или же владыки западного моря, Козерога [16] (*лат.*).

трех и что он не одобряет Париса за то, что тот отдал предпочтение одной из трех; но, приведя их к себе в дом, он отослал их обратно, не прикоснувшись к ним. Однажды, когда его слуга, который во время путешествия нес за ним деньги, выбился из сил из-за тяжести своей ноши, Аристипп приказал ему бросить все лишнее и оставить только то, что он в состоянии нести [19].

И Эпикур с его безбожным и утонченным учением в личной жизни был весьма благочестив и трудолюбив. Одному из своих друзей он пишет, что питается только черным хлебом с водой и просит прислать немного сыра на случай, если он захочет устроить роскошный обед [20]. Верно ли, что для того, чтобы быть добрым до конца, надо быть им в силу какого-то тайного, естественного и общего свойства, без всякого на то закона или основания, или примера?

Пороки, которым мне случалось поддаваться, слава богу, не из худших. Я по достоинству осуждал их в себе, ибо мой разум оставался незатронутым ими; напротив, он строже осуждал их во мне, чем осудил бы в ком-нибудь другом. Но этим дело и ограничивалось, ибо я способен оказывать лишь слабое сопротивление и легко даю себя увлечь; однако я не допускаю, чтобы к имеющимся у меня порокам присоединялись еще и другие, что случается с теми, кто этого не остерегается, ибо пороки большей частью переплетаются между собой. Что касается моих пороков, то я их в меру моих возможностей ограничил, оставив себе очень немногие и самые простые.

nec ultra
Errorem foveo *.

Между тем стоики утверждают, что когда мудрец совершает благое дело, он делает его с помощью всех своих добродетелей, хотя одна из них в зависимости от характера действия и преобладает (доводом в пользу этого им могло бы служить до известной степени сходство с человеческим организмом, ибо действие гнева может происходить в нас лишь с помощью всех других чувств, хотя гнев и преобладает над ними); но если они отсюда хотят сделать вывод, что, когда порочный человек творит дурное дело, он совершает его при помощи всех своих пороков, то я им в этом не верю или не понимаю их в этом отношении, ибо в действительности я ощущаю прямо противоположное. Однако это несущественные тонкости, на которых иногда останавливаются философы.

Я поддаюсь кое-каким порокам, но других избегаю не менее усердно, чем святой.

Перипатетики также не признают такой неразрывной связи между пороками, и Аристотель считает [22], что человек благоразумный и справедливый может быть и невоздержанным, и распутным.

Сократ охотно признавался перед теми, кто находил в чертах его лица некоторую склонность к пороку, что она действительно была ему

---

* И не потакаю другим слабостям [21] (*лат.*).

свойственна от природы, но что благодаря самообладанию ему удалось обуздать ее [23].

Близкие к философу Стильпону люди утверждали [24], что он с ранних лет был привержен к вину и питал слабость к женщинам, но в результате упорных усилий стал весьма воздержан в том и в другом.

Тем, что есть во мне хорошего, я, напротив, обязан своему происхождению. Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путем какого-нибудь другого обучения. Мне присуща естественная доброта, в которой немного силы, но нет ничего искусственного. И по природе своей и по велению разума я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков. В этом отношении я до такой степени чувствителен, что не переношу, когда режут цыпленка или когда слышу, как верещит заяц в зубах моих собак, хотя и считаю охоту одним из самых больших удовольствий.

Те, кто осуждает наслаждение, желая доказать, что оно порочно и неразумно, охотно пользуются следующим доводом: когда оно достигает высшей точки,— говорят они,— оно так безраздельно завладевает нами, что полностью вытесняет разум, и ссылаются на то, что мы испытываем при сношениях с женщинами:

cum iam praesagit gaudia corpus
Atque in eo est Venus ut muliebria conserat arva *.

Они находят, что в эти мгновения мы настолько бываем вне себя, что наш разум, полностью поглощенный наслаждением и потонув в нем, не в состоянии выполнять свое назначение. Я знаю, что бывает и иначе и что иногда, если захочешь, можно и в этот самый момент обратиться душой к другим мыслям, но для этого требуется душевное напряжение и предварительная подготовка. Я знаю, что можно обуздывать порыв этого наслаждения; я хорошо знаком с этим по опыту и не нахожу, что Венера,— столь требовательная богиня, как считают многие и более чистые, чем я, люди. Мне, например, не кажется, как королеве Наваррской [26] в одной из новелл ее «Гептамерона» (книге, прелестной по содержанию), ни невероятным, ни слишком трудным проводить весело и непринужденно целые ночи напролет с давно желанной возлюбленной, выполняя данное ей обещание ограничиваться только поцелуями и легкими прикосновениями. Я полагаю, что для доказательства того, что при сильном волнении мы иной раз теряем разум, лучше подходит пример охоты (ибо в этом случае меньше наслаждения, но больше восхищения и неожиданности, которые не дают разуму возможности быть наготове и во всеоружии): когда после долгих преследований животное внезапно показывается там, где мы меньше всего ожидаем его увидеть, то испытываемое нами потрясение, еще усиленное яростным гиканием, бывает настолько велико, что тем, кто любит такого рода охоту, невозможно в этот момент отвлечься мыс-

---

* Когда тело уже предчувствует наслаждения и в нем — Венера, что готовится оплодотворить женское лоно [25] (*лат.*).

лями куда-нибудь в сторону. Недаром поэты изображают Диану победительницей над факелом и стрелами Купидона:

> Quis non malarum, quas amor curas habet
> Haec inter obliviscitur? *

Возвращаясь к сказанному, замечу, что я горячо сочувствую чужим печалям и плакал бы вместе с горюющими, если бы умел плакать в каких бы то ни было случаях. Слезы, не только искренние, но и притворные, всегда вызывают у меня желание плакать. Я не жалею мертвецов, я скорее готов им завидовать, но от души жалею людей, находящихся при смерти. Меня возмущают не те дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей. Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданны. Некто, желая подтвердить великодушие Юлия Цезаря, сообщает следующее [28]. Он был великодушен, даже когда мстил: захватив тех пиратов, которые в свое время держали его в плену и заставили уплатить выкуп, Цезарь, ранее угрожавший распять их на кресте, все же приказал сначала удавить их, а потом уже распять. Своего секретаря, Филемона, который намеревался его отравить, Цезарь приказал просто умертвить, не наложив на него более тяжкого наказания. Кто бы ни был тот римский автор, который в доказательство великодушия Цезаря ссылается на то, что он осуждал своих обидчиков только на простую смерть, видно все же, что и он был потрясен гнусными и страшными примерами жестокости, свойственной римским тиранам.

Что касается меня, то всякое дополнительное наказание сверх обыкновенной смерти даже по закону есть, по-моему, чистейшая жестокость [29]; это особенно относится к нам, христианам, которые должны заботиться о том, чтобы души отправлялись на тот свет успокоенными, что невозможно, если их измучили и истерзали невыносимыми пытками.

В недавние дни некий пленный воин, заметив с высоты башни, в которую он был заточен, что на площади плотники начали уже свои приготовления и сюда же стал стекаться народ, решил, что все это готовится для него, и пришел в отчаяние. Не имея под руками ничего другого, чем себя убить, он схватил попавшийся ему ржавый гвоздь от старой повозки и нанес себе им два сильных удара в шею, но чувствуя, что он еще жив, нанес себе еще третью рану в живот и потерял сознание. В таком состоянии его застал один из наведавшихся к нему надзирателей. Его привели в чувство и, чтобы не терять времени, пока он не умер, ему тут же прочитали приговор, на основании которого ему должны были отрубить голову. Он очень обрадовался этому приговору, согласился выпить вино, от которого раньше отказывался, и, поблагодарив судей за неожиданно мягкое решение, заявил, что решил покончить с собой из страха перед более жестокой казнью и что страх его еще усилился, когда он увидел

* Кто среди этих радостей не позабудет жестоких мук любви [27] (*лат.*).

приготовления, из-за чего он и захотел избавиться от более жестокой смерти.

Я бы рекомендовал, чтобы суровые примерные наказания, с помощью которых хотят держать народ в повиновении, применялись к трупам уголовных преступников, ибо когда видят, что их лишают права погребения или бросают в кипящей котел, или четвертуют, то это должно производить не менее сильное действие, чем пытки, которым подвергают живых людей, хотя в действительности и этим достигают очень немногого, вернее сказать, ничего, ибо, как говорится в Евангелии: Qui corpus occidunt, et postea non habent quod faciant *. Недаром и поэты со своей стороны особенно подчеркивают страх перед этими картинами, перед дополнительными наказаниями, кроме смерти:

> Heu! reliquias semiussi regis, denudatis ossibus,
> Per terram sanie delibutas foede divexarier **.

Я находился однажды в Риме в тот момент, когда расправлялись с известным вором, Катеной [32]. Его задушили при полном молчании присутствующих, но когда его стали четвертовать, то при каждом ударе топора слышались жалобные восклицания, как если бы каждый из собравшихся хотел выразить трупу свое сочувствие.

Эти бесчеловечные зверства можно позволять себе не по отношению к живому человеку, а к его мертвой оболочке. Так и поступил в сходном до известной степени случае Артаксеркс [33], смягчив суровость старинных персидских законов и издав указ, чтобы сановников, которые совершили должностные преступления. раздевали и секли их одежду вместо них самих, как это водилось встарь, и вместо того, чтобы вырывать им волосы с головы, с них снимали только их высокие колпаки.

Благочестивые египтяне считали, что они вполне угождают божественному правосудию, принося в жертву ему изображения свиней [34]: смелая выдумка — желать расплатиться с богом, высшим в мире существом, изображением или тенью предмета.

Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости [35], вызванных разложением, порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас каждодневно. Однако это ни в какой степени не приучило меня к жестокости, не заставило с нею свыкнуться. Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей; при этом они не получают от этого никаких выгод и не питают вражды к своим жертвам,

---

* Убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать [30] (*лат.*).

** О пусть не влачат с позором по земле окровавленные, с оголенными костями останки наполовину сожженного царя! [31] (*лат.*).

а поступают так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли. Вот поистине вершина, которой может достигнуть жестокость: Ut homo hominem non iratus, non timens, tantum spectaturus, occidat *.

Что касается меня, то мне всегда было тягостно наблюдать, как преследуют и убивают невинное животное, беззащитное и не причиняющее нам никакого зла [37]. Я никогда не мог спокойно видеть, как затравленный олень — что нередко бывает,— едва дыша и изнемогая, откидывается назад и сдается тем, кто его преследует, моля их своими слезами о пощаде,

quaestuque cruentus
Atque imploranti similis **.

Это всегда казалось мне невыносимым зрелищем.

Я никогда не держу у себя пойманных животных и всегда отпускаю их на свободу. Пифагор покупал у рыбаков рыб, а у птицеловов — птиц, чтобы сделать то же самое [39].

...primoque a caede ferarum
Incaluisse puto maculatum sanguine ferrum ***.

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.

После того как в Риме привыкли к зрелищу убийства животных, перешли к зрелищам с убийством и осужденных, и гладиаторов. Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Никого не забавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между собой, и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они дерутся и грызутся.

Для того чтобы не смеялись над моим сочувствием к животным, напомню, что религия предписывает нам известное милосердие по отношению к ним, поскольку один и тот же владыка поселил нас в одном и том же мире, чтобы служить ему, и поскольку они, как и мы, суть его создания. Пифагор заимствовал идею метемпсихоза у египтян, но с тех пор она была воспринята многими народами, и в частности нашими друидами [41].

Morte carent animae; semperque priore relicta
Sede, novis domibus vivunt, habitantque receptae ****.

---

* Чтобы человек, не побуждаемый ни гневом, ни страхом, убивал другого, только чтобы полюбоваться этим [36] (*лат.*).

** Обливаясь кровью и словно моля о пощаде [38] (*лат.*).

*** Думаю, что обагренный кровью меч был впервые раскален убийством диких зверей [40] (*лат.*).

**** Души не умирают, но, покинув прежние места, живут вечно, поселяясь в новых обителях [42] (*лат.*).

Религия древних галлов исходит из того, что души, будучи бессмертными, все время пребывают в движении и переходят из одного тела в другое. Они связывали, кроме того, с этой идеей известное представление о божественном правосудии: так, основываясь на переселениях душ, они утверждали, что когда душа находилась в Александре, то бог приказал ей переселиться в другое тело, более или менее соответствующее ее способностям:

multa ferarum
Cogit vincla pati, truculentos ingerit ursis,
Praedonesque lupis, fallaces vulpibus addit;
Atque ubi per varios annos, per mille figuras
Egit, lethaeo purgatos flumine, tandem
Rursus ad humanae revocat primordia formae *.

Если душа была храброй, то поселяли ее в тело льва, если сладострастной — то в тело свиньи, если трусливой — то в оленя или зайца, если хитрой — то в лису; и под конец душа, очистившись путем такого наказания, возвращалась в тело какого-нибудь другого человека:

Ipse ego nam memini, Troiani tempore bello
Panthoides Euphorbus eram **.

Что касается нашего родства с животными, то я не придаю ему большого значения, как равно и тому, что многие народы — и в частности наиболее древние и благородные — не только допускали животных в свое общество, но и ставили их значительно выше себя; некоторые народы считали их друзьями и любимцами своих богов, которые будто бы почитают и любят их больше, чем людей; другие же не признавали никаких других божеств, кроме животных; belluae a barbaris propter beneficium consecratae ***.

Crocodilon adorat
Pars haec, illa pavet saturam serpentibus ibin;
Effigies sacri hic nitet aurea cercopitheci;
...hic piscem fluminis, illic
Oppida tota canem venerantur ****.

Для животных почетно и то истолкование этого явления, которое дано Плутархом[47] и получило широкое распространение. Действительно, Плутарх утверждал, что египтяне почитали не кошку, например, или быка,

* Он заключает души в бессловесных животных; грубияна вселяет в медведя, разбойника — в волка, обманщика — в лису. И заставив их на протяжении многих лет принять тысячи обличий, очистив в летейском потоке, он вновь заставляет их родиться в человеческом облике[43] (*лат.*).

** Сам помню, что во время Троянской войны я был Эвфорбом, сыном Пандея[44] (*лат.*).

*** Варвары обожествляли животных за те услуги, которые они им оказывали[45] (*лат.*).

**** Одни почитают крокодилов, другие страшатся ибиса, наевшегося змей, здесь сверкает золотое изображение священной обезьяны, там поклоняются речной рыбе, в иных местах целые города обоготворяют собак[46] (*лат.*).

а чтили в этих животных олицетворение некоторых божественных качеств: в быке — терпение и полезность, в кошке — живость или нежелание сидеть взаперти (вроде наших соседей бургундцев вместе со всей Германией); под этим они разумели свободу, которую любили и почитали превыше всех других божественных качеств. Так же истолковывали они и почитание других животных. Но когда я встречаю у представителей самых умеренных взглядов рассуждения о якобы близком сходстве между нами и животными и описания великих преимуществ, которыми они по сравнению с нами будто бы обладают, и утверждения правомерности приравнивания нас к ним, то цена нашего самомнения в моих глазах сильно снижается и я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества над всеми другими созданиями [48].

Но как бы то ни было, все же существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого. Между нами и ими существует какая-то связь, какие-то взаимные обязательства. Мне не стыдно признаться в такой моей ребяческой слабости: я не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне некстати предлагает или которой она от меня требует. У турок существуют больницы и учреждения по оказанию помощи животным. Римляне заботились в общественном порядке о пище для гусей, бдительность которых спасла Капитолий [49]; афиняне приняли решение, чтобы мулы, работавшие на постройке храма под названием Гекатомпедон, были выпущены на волю и могли свободно пастись всюду.

У агригентцев существовал обычай [50] по-настоящему хоронить животных, которые были им дороги, например лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им и во всякого рода других вещах, особенно ярко проявилось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохранявшихся на протяжении многих веков.

Египтяне хоронили волков, медведей, крокодилов, собак и кошек в священных местах, бальзамировали их тела и носили по ним траур [51].

Кимон [52] устроил торжественные похороны кобылам, которые трижды доставили ему победу в беге колесниц на олимпийских состязаниях. Старый Ксантипп [53] похоронил свою собаку на утесе, высящемся на морском побережье и известном с тех пор под ее именем. Плутарх рассказывает [54], что ему было бы совестно продать за скромную сумму или послать на бойню вола, который долгое время ему служил.



Глава XII
АПОЛОГИЯ РАЙМУНДА САБУНДСКОГО[1]

Наука — это поистине очень важное и очень полезное дело, и те, кто презирают ее, в достаточной мере обнаруживают свою глупость[2]. Но все же я не придаю ей такого исключительного значения, как некоторые другие, например философ Герилл[3], который видел в ней высшее благо и считал, что она может сделать нас мудрыми и счастливыми. Я этого не думаю; не считаю я также, как утверждают некоторые, что наука — мать всех добродетелей и что всякий порок есть следствие невежества. Необходимо тщательно выяснить, верно ли это. Мой дом с давних пор был радушно открыт для ученых людей и славился этим; ибо отец мой, управлявший им более полувека, охваченный тем самым новым пылом, который побудил короля Франциска I[4] покровительствовать наукам и поднять уважение к ним, искал, не щадя усилий и средств, знакомства с образованными людьми. Он принимал их с благоговением, как людей святых и наделенных какой-то особой божественной мудростью; их высказывания и суждения он воспринимал как прорицания оракулов и относился к ним с тем большей верой и почтительностью, что сам не в состоянии был разобраться в них, так как был столь же мало сведущ в науках, как и его предки. Что касается меня, то я люблю науку, но не боготворю ее.

Одним из таких образованных людей был и Пьер Бюнель[5], славившийся в свое время ученостью. Он провел в замке Монтень несколько дней вместе с другими столь же образованными людьми в обществе моего отца и при отъезде подарил ему книгу под названием «Theologia naturalis, sive Liber creaturarum, magistri Raymondi de Sabonde» *. Так как отец мой владел итальянским и испанским, а книга эта была написана на ломаном испанском языке с латинскими окончаниями, то Бюнель рассчитывал, что отец мой, при старании, сумеет одолеть ее, и рекомендовал ее ему как книгу, весьма полезную и своевременную, принимая во внимание тогдашние обстоятельства. Это происходило как раз тогда, когда новшества Лютера[7] стали находить последователей и когда наша старая вера во многих местах пошатнулась. Бюнель справедливо оценил значение этих событий: он правильно рассудил и предугадал по началу болезни, что она легко приведет к чудовищному атеизму. Ведь простой народ, не в силах судить о вещах на основании их самих, легко поддается случайным влияниям и видимости; пользуясь тем, что ему позволили дерзко презирать и проверять учения, к которым он раньше относился с величайшим почтением, а именно к тем, где дело идет о его спасении, он, раз некоторые пункты его религии были поставлены под сомнение и заколебались, легко

* Естественная теология, или Книга о творениях, написанная Раймундом Сабундским.[6] (*лат.*).

может подвергнуть такому же испытанию и все остальные положения своей веры, ибо они не имеют для него большей убедительности и силы, чем те, которые были поколеблены; он теперь отвергает, как тираническое иго, все воззрения, которые раньше принимал, потому что они покоились на авторитете закона или на уважении к старинному обычаю:

Nam cupide conculcatur nimis ante metutum *.

Отныне он желает признавать лишь то, что принято по его собственному решению и с его согласия.

Мой отец незадолго до смерти, случайно наткнувшись на эту книгу, лежавшую в кипе заброшенных бумаг, попросил меня перевести ее для него на французский язык. Таких авторов, как Раймунд Сабундский, нетрудно переводить, ибо тут важно только существо дела; куда сложнее с теми, кто придавал большое значение изяществу и красоте языка, в особенности, когда приходится переводить на менее разработанный язык. Перевод оказался для меня делом новым и необычным, но, так как я, по счастью, имел тогда много свободного времени и был не в состоянии отказать в чем бы то ни было лучшему из отцов в мире, то, как мог, справился со своей задачей. Перевод мой доставил отцу огромное удовольствие, и он распорядился его напечатать, что и было выполнено после его смерти [9].

Мне понравились взгляды этого автора, весьма последовательное построение его работы и его замысел, исполненный благочестия. Так как эту книгу с удовольствием читают многие, и в особенности дамы, к которым мы должны быть сугубо внимательны, то мне часто хотелось прийти им на помощь и снять с этой книги два основных обвинения, которые ей предъявляют. Цель книги весьма смелая и решительная: автор ставит себе задачей установить и доказать, вопреки атеистам, все положения христианской религии с помощью естественных доводов и доводов человеческого разума. Говоря по правде, я нахожу, что он делает это весьма убедительно и удачно; вряд ли это можно сделать лучше, и вряд ли кто-нибудь может сравниться с ним в этом отношении [10]. Книга эта представляется мне весьма содержательной и интересной; между тем имя ее автора мало известно: все, что мы знаем о нем, сводится к тому, что это был испанец, врач по профессии, живший в Тулузе около двух веков тому назад. Это побудило меня в свое время обратиться к всезнающему Адриану Турнебу [11] с вопросом, что ему известно об этой книге. Он мне ответил, что в этой книге дана, на его взгляд, самая суть учения Фомы Аквинского [12]; ибо, действительно, только этот человек, отличавшийся огромной эрудицией и замечательной тонкостью ума, способен был высказать подобные взгляды. Но кто бы ни был автором и творцом этой книги (а по-моему, нет особых оснований лишать Раймунда Сабундского этого звания), приходится признать, что это был очень одаренный человек, обладавший множеством достоинств.

---

* Ведь с наслаждением топчут то, что некогда внушало ужас [8] (*лат.*).

Первое возражение, которое делается книге Раймунда Сабундского, состоит в том, что христиане неправы, желая обосновать свою религию с помощью доводов человеческого разума, ибо она познается только верой и особым озарением божественной благодати. В этом возражении есть, по-видимому, некое благочестивое рвение, поэтому нам следует с тем бóльшей мягкостью и обходительностью попытаться ответить тем, кто его выдвигает. Лучше было бы, если бы это сделал человек более опытный в вопросах богословия, чем я, который ничего в нем не смыслит.

И тем не менее я считаю, что в таком возвышенном и божественном вопросе, намного превосходящем человеческий разум, каким является религиозная истина, которою божьей благодати угодно было нас просветить, необходима божественная помощь и притом необычайная и исключительная, для того чтобы мы могли эту истину постичь и воспринять. Я не думаю, чтобы этого можно было как-нибудь достичь чисто человеческими средствами. Ведь если бы это было возможно, то неужели столько необыкновенно одаренных и выдающихся мужей древности не смогли бы силами своего ума достигнуть этого познания? Разумеется, возвышенные тайны нашей религии познаются глубоко и подлинно только верой, но это отнюдь не значит, что не было бы делом весьма похвальным и прекрасным поставить на службу нашей религии естественные и человеческие орудия познания, которыми наделил нас бог. Можно не сомневаться, что это было бы самым почетным применением, какое только мы можем им дать, и что нет дела и намерения более достойного христианина, чем стараться всеми своими силами и знаниями украсить, расширить и углубить истину своей религии. Однако мы не довольствуемся тем, чтобы служить богу только умом и душой, мы обязаны воздавать и воздаем ему также и материальное поклонение: для почитания его мы пользуемся даже нашим телом, нашими движениями и внешними предметами. Точно так же и нашу веру следует подкреплять всеми силами нашего разума, но всегда памятуя при этом, что она зависит не от нас и что наши усилия и рассуждения не могут привести нас к этому сверхъестественному и божественному познанию.

Если вера не открывается нам сверхъестественным наитием, если она доходит до нас не только через разум, но и с помощью других человеческих средств, то она не выступает во всем своем великолепии и достоинстве; но все же я полагаю, что мы овладеваем верой только таким путем. Если бы мы воспринимали бога путем глубокой веры, если бы мы познавали его через него самого, а не с помощью наших усилий [13], если бы мы имели божественную опору и поддержку, то человеческие случайности не в состоянии были бы нас так потрясать, как они нас потрясают. Наша твердыня не рушилась бы от столь слабого натиска. Пристрастие к новшествам, насилие государей, успех той или иной партии, случайная и неожиданная перемена наших взглядов не могли бы заставить нас поколебать или изменить нашу веру, мы не решились бы вносить в нее раскол под влиянием какого-нибудь нового довода или уговоров, сколь бы красноречивыми они ни были. С непреклонной и неизменной твердостью мы

сдерживали бы напор этих потоков:

> Illisos fluctus rupes ut vasta refundit,
> Et varias circum latrantes dissipat undas
> Mole sua *.

Если бы этот луч божества как-нибудь касался нас, он проявлялся бы во всем: это сказалось бы не только на наших речах, но и на наших действиях, на которых лежал бы его отблеск; все исходящее от нас было бы озарено этим возвышенным светом. Нам должно быть стыдно, что среди последователей всех других религий никогда не было таких, которые не сообразовали бы так или иначе свое поведение и образ жизни со своими верованиями — как бы ни были эти верования нелепы и странны,— в то врёмя как христиане, исповедующие столь божественное и небесное учение, являются таковыми лишь по названию.

Хотите убедиться в этом? Сравните наши нравы с нравами магометанина или язычника — и вы увидите, что мы окажемся в этом отношении стоящими ниже. А между тем, судя по превосходству нашей религии, мы должны были бы сиять таким несравненным светом, что о нас следовало бы говорить: «Они справедливы, милосердны, добры. Значит, они христиане». Все остальные признаки одинаковы у всех религий: чаяния, вера, чудесные события, обряды, покаяния, мученичества. Отличительной чертой нашей истинной религии должна была бы быть христианская добродетель, ибо она является наиболее возвышенным и небесным проявлением нашей религии, будучи самым достойным плодом божественной истины. Между тем прав был наш добрый святой Людовик [15], когда он решительно отклонил желание новообращенного татарского хана прибыть в Лион, чтобы поцеловать папскую туфлю и увидеть здесь воочию ту святость, которую он надеялся найти в наших нравах; ибо Людовик опасался, как бы наш распущенный образ жизни не отвратил новообращенного от святой веры Правда, совсем иначе случилось потом с другим человеком, который отправился с той же целью в Рим и, увидев здесь разврат прелатов и народа того времени, еще более укрепился в нашей вере, решив, что очень уж она должна быть могущественна и божественна, если сохраняет свое величие и достоинство посреди такого распутства и находясь в столь порочных руках [16].

Если бы в нас была хоть капля веры, то мы, как говорится в Священном писании, способны были бы двигать горами [17]; наши действия, будучи направляемы и руководимы божеством, не были бы просто человеческими: в них было бы нечто чудесное, как и в нашей вере. Brevis est institutio vitae honestae beataeque, si credas **.

Одни уверяют, будто верят в то, во что на деле не верят; другие (и таких гораздо больше) внушают это самим себе, не зная по-настоящему, что такое вера.

---

* Как мощный утес, который своей громадой отражает ударяющиеся об него потоки и разбивает все клокочущие вокруг него волны [14] (*лат.*).
** Если ты веруешь, тебя недолго наставить к честной и блаженной жизни [18] (*лат.*).

И мы еще удивляемся тому, что среди войн, которые сейчас терзают наше отечество[19], все творится и вершится так, как мы это видим! Ведь мы сами, только мы сами в этом повинны. Если и есть истина на стороне одной из борющихся партий, то она служит ей лишь прикрытием и украшением; на нее ссылаются, но ее не чувствуют, не сознают, не проникаются ею; она подобна той истине, которая на устах у адвоката, но не внедрилась в сердце, в душу приверженцев этой партии. Бог оказывает свою чудодейственную помощь не нашим страстям, а вере и религии; но эта помощь оказывается через людей, которые используют религию в своих интересах, между тем как должно было бы быть наоборот.

Признаемся: ведь мы ее направляем куда нам заблагорассудится! Разве мы не лепим, как из воска, сколько угодно противоположных образов из столь единого и твердого вероучения? Где это было видано больше, чем во Франции в наши дни? И те, кто направляет ее налево, и те, кто направляет ее направо, и те, кто говорит: «Это черное», и те, кто говорит: «Это белое»,— все одинаково используют ее в своих честолюбивых и корыстных целях, совершенно одинаково творя бесчинства и беззакония, до такой степени, что трудно и прямо-таки невозможно поверить, что их взгляды, как они уверяют, резко расходятся в вопросе, от которого зависит наше поведение в жизни, наш моральный закон. Может ли какая-нибудь философская школа или система морали порождать более одинаковые, более сходные нравы?

Посмотрите, с каким потрясающим бесстыдством мы обращаемся с божественным промыслом: как святотатственно мы то отвергаем, то вновь принимаем его, в зависимости от позиции, которую нам случается занимать во времена теперешних общественных потрясений. Возьмем столь торжественный догмат, как тот, который гласит: «имеет ли подданный, ради защиты веры, право вооружиться и восстать против своего государя»[20]. Припомните: кто год тому назад отстаивал положительное решение этого вопроса, объявляя его основой основ своей партии; и, наоборот, краеугольным камнем какой другой партии было отрицательное решение того же вопроса? Сопоставьте теперь это с тем, кто в настоящее время проповедует положительное решение этого вопроса, а кто отрицательное, и меньше ли бряцают оружием в одном лагере, чем в другом? А мы сжигаем на кострах людей, которые заявляют, что надо приспособить истину к нашим потребностям! Но насколько же Франция поступает на деле хуже, чем те, кто такие вещи лишь говорит!

Будем правдивы и признаемся[21], что если отобрать даже из законной и обычной армии тех, кто идет в бой только из религиозного рвения, а также тех, кто движим единственно желанием защитить законы своей страны или послужить своему государю, то из них едва ли можно будет составить полную роту солдат. Чем объясняется, что в наших междоусобных войнах так мало людей, объединенных единой волей и единым стремлением, и что они действуют то слишком вяло, то совсем разнузданно, и что эти же люди вредят нашему делу то своими насилиями и жестокостями, то своим равнодушием, апатией и медлительностью,— чем

объясняется все это, как не тем, что участники этих междоусобиц движимы своекорыстными побуждениями, подчиняя им все остальное?

Я вижу ясно, что мы охотно делаем для нашего благочестия лишь то, что удовлетворяет нашим страстям. Никакая вражда не может сравниться с христианской. Наше рвение творит чудеса, когда оно согласуется с нашей склонностью к ненависти, жестокости, тщеславию, жадности, злословию и восстанию. Напротив, на путь доброты и умеренности его не заманить ни так, ни эдак, если только его что-либо не толкнет туда чудом.

Наша религия создана для искоренения пороков, а на деле она их покрывает, питает и возбуждает [22].

Не следует, как говорится, морочить господа бога. Если бы мы верили в него — я имею в виду не вероисповедание, а простую веру,— то есть (и это я говорю к великому нашему смущению) если бы мы верили в него, как в любой рассказ, если бы мы чувствовали его так, как одного из наших товарищей, то мы должны были бы любить его больше всего за его бесконечную благость и светлую красоту; мы любили бы его по крайней мере не меньше, чем мы любим богатство, удовольствия, славу и наших друзей.

Самый добропорядочный из нас не боится оскорбить его, как мы боимся оскорбить своего соседа, или своего родственника, или своего господина. Найдется ли такой глупец, который, имея перед собой возможность, с одной стороны, достигнуть одного из наших порочных удовольствий, а с другой — не меньшую уверенность в достижении бессмертной славы, согласился бы обменять второе на первое? А между тем мы часто отказываемся от второго только из презрения: и впрямь, что заставляет нас богохульствовать, как не самое желание иногда нанести оскорбление?

Философ Антисфен [23], когда его посвящали в орфические таинства, в ответ на слова жреца о том, что посвятившие себя новой религии получают после смерти совершеннейшие и вечные блага, сказал ему: «Почему же в таком случае ты сам не умираешь, если веришь в это!»

А Диоген [24], по своему обыкновению, еще более грубо сказал жрецу, убеждавшему его стать последователем проповедуемого им учения, чтобы добиться вечных благ на том свете: «Так ты хочешь, чтоб я поверил, что такие великие люди, как Агесилай или Эпаминонд, будут несчастны, а что такой ничтожный тупица, как ты, получит небесное блаженство только на том основании, что ты жрец?»

Если бы мы относились к великим обещаниям вечного блаженства с таким же уважением, как к философским рассуждениям, то мы не испытывали бы того страха перед смертью, который владеет нами:

Non iam se moriens dissolvi conquereretur;
Sed magis ire foras, vestemque relinquere, ut anguis,
Gauderet, praelonga senex aut cornua cervus *.

* Мы не только не жаловались бы на ожидающее нас после смерти разложение, но скорее с радостью оставляли бы нашу телесную оболочку, как змея меняет кожу или как олень — рога [25] (*лат.*).

«Имею желание разрешиться,— говорили бы мы в таком случае,— и быть со Христом» [26]. Ведь убедительность рассуждений Платона о бессмертии души побуждала же некоторых его учеников кончать с собой, чтобы скорее насладиться благами, которые он сулил им [27].

Все это убедительнейшим образом доказывает [28], что мы воспринимаем нашу религию на наш лад, нашими средствами, совсем так, как воспринимаются и другие религии. Мы либо находим нашу религию в стране, где она была принята, либо проникаемся уважением к ее древности и к авторитету людей, которые придерживались ее, либо страшимся угроз, предрекаемых ею неверующим, либо соблазняемся обещанными ею наградами. Наша религия должна использовать все эти соображения, но лишь как вспомогательные средства, ибо это средства чисто человеческие: другая область, другие свидетельства, сходные награды и угрозы могли бы таким же путем привести нас к противоположной религии.

Мы христиане в силу тех же причин, по каким мы являемся перигорцами или немцами.

Утверждение Платона [29], что мало таких убежденных атеистов, которые под влиянием опасности не могли бы быть доведены до признания божественного провидения, не применимо к истинному христианину: только смертные и человеческие религии признаются в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Что это за вера [30], которою вселяют и устанавливают в нас трусость и малодушие? Нечего сказать, хороша вера, которая верит в то, во что верит, только потому, что у нее нет мужества не верить! Может ли такая порочная страсть, как непостоянство или страх, породить в нашей душе нечто незыблемое?

Опираясь на разум, люди приходят к выводу,— говорит Платон [31],— будто все, что рассказывают об аде и загробных муках, ложно; но когда им представляется возможность проверить это на опыте, когда старость или болезни приближают их к смертному часу, то страх при мысли о том, чтó их ожидает, преисполняет их новой верой. Ввиду того, что под давлением подобных представлений храбрые становятся боязливыми, Платон в своих законах восстает против всяких угроз такого рода [32], равно как и против уверения, будто боги способны причинять человеку какое бы то ни было зло, кроме тех случаев, когда оно направлено к еще большему благу человека или к целительному воздействию на него. Они рассказывают о Бионе [33], что, заразившись неверием от Феодора, он долгое время издевался над верующими людьми, но когда смерть неожиданно подкралась к нему, он предался самому крайнему суеверию, как если бы существование бога зависело от того, как обстояли дела у Биона.

Платон, а также указанные примеры приводят нас к заключению, что мы приходим к вере в бога либо с помощью разума, либо силой обстоятельств. Так как атеизм есть учение чудовищное и противоестественное, к тому же с трудом укладывающееся в человеческой голове в силу присущей ему наглости и разнузданности, то встречается немало таких людей, которые исповедуют его для вида из тщеславия или из чванства, желая

показать, что они придерживаются не общепринятых, а бунтарских взглядов. Эти люди, хотя они и достаточно безумны, недостаточно, однако, сильны, чтобы укоренить безбожие в своем сознании. Они не преминут поднять руки к небу, если вы им нанесете хороший удар кинжалом в грудь, а когда страх или болезнь несколько утихомирят их разнузданный пыл и ослабят это преходящее умонастроение, они тотчас же опомнятся и покорно подчинятся установленным верованиям и обычаям. Одно дело — основательно усвоенная догма, и совсем другое — порожденные разгулом свихнувшегося ума поверхностные представления, которые, беспорядочно и постоянно сменяясь, теснятся в нашем воображении. О, несчастные люди с вывихнутыми мозгами, которые стараются быть хуже, чем они есть!

Заблуждения язычества и незнакомство с нашей святой верой привели к тому, что Платон, этот великий ум (наделенный, однако, только чисто человеческим величием), впал еще и в другую ошибку: он утверждал, что дети и старики более восприимчивы к религии, как если бы религия была порождением нашей глупости и на ней покоилась.

Узы, которые должны связывать наш разум и нашу волю и которые должны укреплять нашу душу и соединять ее с нашим творцом, такие узы должны покоиться не на человеческих суждениях, доводах и страстях, а на божественном и сверхъестественном основании; они должны покоиться на авторитете бога и его благодати: это их единственная форма, единственный облик, единственный свет. Так как вера управляет и руководит нашим сердцем и нашей душой, то естественно, что она заставляет служить себе и все другие наши способности, в зависимости от их важности. Поэтому нет ничего невероятного в том, что на всей вселенной лежит некий отпечаток руки этого великого ваятеля и что в земных вещах есть некий образ, до известной степени схожий с создавшим и сформировавшим их творцом. Он наложил на эти возвышенные творения печать своей божественности, и только по неразумению нашему мы не в состоянии ее обнаружить. Он сам заявляет нам об этом, говоря, что «эти невидимые дела его раскрываются нам через дела видимые». Раймунд Сабундский потратил немало усилий на изучение этого важного вопроса, и он показывает нам, что нет такого существа на свете, которое отрицало бы своего творца. Было бы оскорблением божественной благости, если бы вселенная не была заодно с нашей верой. Небо, земля, стихии, наши душа и тело — все принимают в этом участие, надо лишь уметь найти способ использовать их. Они сами наставляют нас, когда мы оказываемся в состоянии их понять. В самом деле, наш мир — не что иное, как священный храм, открытый для человека, чтобы он мог созерцать в нем предметы, не созданные смертной рукой, а такие, как солнце, звезды, вода и земля, которые божественное провидение сотворило доступными чувствам для того, чтобы дать нам представление о вещах, доступных лишь высшему разуму. «Ибо невидимое Его,— как говорит апостол Павел,— вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны» [34].

Atque adeo faciem coeli non invidet orbi
Ipse deus, vultusque suos corpusque recludit
Semper volvendo; seque ipsum inculcat et offert
Ut bene cognosci possit, doceatque vivendo
Qualis eat, doceatque suas attendere leges *.

Наши человеческие доводы и рассуждения подобны косной и бесплодной материи; только благодать божья их образует: она придает им форму и ценность. Подобно тому как добродетельные поступки Сократа или Катона остаются незачтенными и бесполезными, поскольку они не были направлены к определенной цели, поскольку они не знали истинного бога и не были проникнуты любовью к творцу всех вещей и повиновением ему,— точно так же обстоит дело и с нашими взглядами и суждениями: они имеют некое содержание, но остаются неопределенной и бесформенной массой, не просветленной до тех пор, пока они не соединятся с верой и божьей благодатью. Так как доводы Раймунда Сабундского пронизаны и озарены верой, то она делает их несокрушимыми и убедительными; они могут служить первым вожатым ученика на этом пути. Его рассуждения до известной степени подготовляют ученика к восприятию божьей благодати, с помощью которой достигается и в дальнейшем совершенствуется наша вера. Я знаю одного почтенного и весьма образованного человека, который признался мне, что он выбрался из заблуждений неверия с помощью доводов Раймунда Сабундского. Если даже лишить эти доводы той веры, которая является их украшением и подтверждением, и принять их просто в качестве чисто человеческих суждений для опровержения тех, кто склонился к чудовищному мраку неверия, то и в этом случае они остаются непоколебленными и настолько убедительными, что им нельзя противопоставить никаких других равноценных доводов. Таким образом, мы можем сказать нашим противникам:

Si melius quid habes, accerse, vel imperium fer **,

либо признайте силу наших доказательств, либо покажите нам какие-нибудь другие более обоснованные и более несокрушимые доводы.

Развивая эти мысли, я незаметно перешел уже ко второму возражению, на которое я хотел ответить за Раймунда Сабундского.

Некоторые утверждают, что его доводы слабы и не способны подтвердить то, что он хочет, и берутся легко их опровергнуть. Эти лица заслуживают более резкой отповеди, ибо они опаснее и зловреднее первых. Мы обычно охотно истолковываем высказывания других людей в пользу наших собственных, укоренившихся в нас, предрассудков; для атеиста, например, все произведения ведут к атеизму: самую невинную вещь он

---

* Сам бог дозволил миру созерцать небо; вечно вращая его, он открывает свои лики и тело; и он запечатлевает и обнаруживает себя самого, чтобы можно было достоверно его постигать, чтобы научить нас в проявлениях жизни распознавать его поступь и соблюдать его законы [35] (*лат.*).

** Если есть у тебя нечто лучшее, предложи, если же нет — покоряйся [36] (*лат.*).

заражает своим собственным ядом. У этих людей есть некое умственное предубеждение, в силу которого доводы Раймунда Сабундского до них не доходят. А между тем им кажется, что им представляется благоприятный случай свободно опровергать чисто человеческим оружием нашу религию, на которую они иначе не решились бы нападать, памятуя о всем ее величии, о ее авторитете и ее предписаниях. Чтобы обуздать это безумие, вернейшим средством я считаю низвергнуть и растоптать ногами это высокомерие, эту человеческую гордыню, заставить человека почувствовать его ничтожество и суетность, вырвать из рук его жалкое оружие разума, заставить его склонить голову и грызть прах земной из уважения перед величием бога и его авторитетом. Знание и мудрость являются уделом только бога, лишь он один может что-то о себе мнить, мы же крадем у него то, что мы себе приписываем, то, за что мы себя хвалим.

Οὐ γὰρ ἐᾷ φρονέειν μέγα ὁ θεὸς ἄλλον ἢ ἑωντῶν *.

Собьем с человека эту спесь, эту главную основу тирании зловредного человеческого разума. Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam **. Все боги обладают разумом, заявляет Платон, из людей же — очень немногие [39].

Разумеется, для христианина большое утешение видеть, что наше бренное оружие столь же применимо к нашей святой и божественной вере, как и к нашим человеческим и бренным делам; оно действует в обоих случаях одинаково и с той же силой. Посмотрим же, имеет ли человек в своем распоряжении другие аргументы, более сильные, чем доводы Раймунда Сабундского, и вообще, возможно ли для человека прийти путем доказательств и суждений к какой-нибудь достоверности.

Блаженный Августин [40], споря с неверующими, изобличает их в том, что они не правы, утверждая, будто те части нашей веры, которые не могут быть доказаны нашим разумом, ложны; желая показать им, что существует — и существовало — много вещей, причины и природа которых не могут быть изъяснены нашим разумом, он ссылается на ряд известных и бесспорных примеров, относительно которых человек признает, что он ничего в них не понимает; с этой целью Августин приводит, как и во многих других местах, очень тонкие и остроумные доказательства. Но надо пойти дальше и показать, что для того, чтобы убедить их в слабости человеческого разума, незачем ссылаться на редкостные явления; что человеческий разум настолько недостаточен и слеп, что нет ни одной вещи, которая была бы ему достаточно ясна; что для него все равно — что трудное, что легкое; что все явления и вся природа вообще единодушно отвергают его компетенцию и притязания.

Чему учит нас вера, когда она проповедует остерегаться светской философии [41], когда она постоянно внушает нам, что наша мудрость —

---

* Божество не терпит, чтобы кто-нибудь другой, кроме его самого, мнил о себе высоко [37] (*греч.*).

** Бог гордым противится, а смиренным дает благодать [38] (*лат.*).

лишь безумие перед лицом бога [42], что человек — самое суетное существо на свете, что человек, кичащийся своим знанием, даже не знает того, что такое знание [43], и что человек, который почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, обольщает и обманывает сам себя [44]? Эти наставления Священного писания так ясно и наглядно выражают то, что́ я хочу доказать, что для людей, которые беспрекословно и смиренно признавали бы авторитет Священного писания, мне ничего больше не требовалось бы. Но те, которым я возражаю, хотят быть побитыми их же оружием: они желают, чтобы борьба с разумом велась не иначе, как с помощью самого разума.

Рассмотрим же человека, взятого самого по себе, без всякой посторонней помощи, вооруженного лишь своими человеческими средствами и лишенного божественной милости и знания, составляющих в действительности всю его славу, его силу, основу его существа. Посмотрим, чего он сто́ит со всем этим великолепным, но чисто человеческим вооружением. Пусть он покажет мне с помощью своего разума, на чем покоятся те огромные преимущества над остальными созданиями, которые он приписывает себе. Кто уверил человека, что это изумительное движение небосвода, этот вечный свет, льющийся из величественно вращающихся над его головой светил, этот грозный ропот безбрежного моря,— что все это сотворено и существует столько веков только для него, для его удобства и к его услугам [45]? Не смешно ли, что это ничтожное и жалкое создание, которое не в силах даже управлять собой и предоставлено ударам всех случайностей, объявляет себя властелином и владыкой вселенной, малейшей частицы которой оно даже не в силах познать, не то что повелевать ею! На чем основано то превосходство, которое он себе приписывает, полагая, что в этом великом мироздании только он один способен распознать его красоту и устройство, что только он один может воздавать хвалу его творцу и отдавать себе отчет в возникновении и распорядке вселенной? Кто дал ему эту привилегию? Пусть он покажет нам грамоты, которыми на него возложены эти сложные и великие обязанности.

Даны ли они только одним мудрецам? Относятся ли они только к немногим людям? Или безумцы и злодеи также сто́ят того, чтобы они, худшие существа вселенной, пользовались та́ким предпочтением перед всеми остальными?

Можно ли этому поверить? Quorum igitur causa quis dixerit effectum esse mundum? Eorum scilicet animantium quae ratione utuntur. Hi sunt dii et homines, quibus profecto nihil est melius *. Нет слов, чтобы достаточно осмеять это бесстыдное приравнивание людей к богам.

Есть ли в этом жалком существе хоть что-нибудь достойное такого преимущества? Подумайте только о нетленной жизни небесных тел, их красоте, их величии, их непрерывном и столь правильном движении:

---

* Итак, кто скажет, для кого же создан мир? Для тех, следовательно, одушевленных существ, которые одарены разумом, то есть для богов и для людей, ибо нет ничего лучше их [46] (*лат.*).

cum suspicimus magni caelestia mundi
Templa super, stellisque micantibus aethera fixum,
Et venit in mentem lunae solisque viarum *.

Подумайте о том, какую огромную власть и силу имеют эти небесные тела не только над нашей жизнью и превратностями нашей судьбы,

Facta etenim et vitas hominum suspendit ab astris **,

но, как учит нас наш разум, даже над нашими склонностями, над нашей волей, которой они управляют и движут по своему усмотрению:

speculataque longe
Deprendit tacitis dominantia legibus astra,
Et totum alterna mundum ratione moveri,
Fatorumque vices certis discernere signis ***.

Подумайте о том, что не только отдельный человек, будь то даже король, но и целые монархии, целые империи и весь этот подлунный мир изменяется под воздействием малейших небесных движений:

Quantaque quam parvi faciant discrimina motus:
Tantum est hoc regnum, quod regibus imperat ipsis! ****

А что сказать, если наши добродетели, наши пороки, наши способности, наши знания и даже само это рассуждение о силе небесных светил и само это сравнение их с нами проистекают — как полагает наш разум — с их помощью и по их милости;

furit alter amore
Et pontum tranare potest et vertere Troiam;
Alterius sors est scribendis legibus apta;
Ecce patrem nati perimunt, natosque parentes;
Mutuaque armati coeunt in vulnera fratres:
Non nostrum hoc bellum est, coguntur tanta movere,
Inque suas ferri poenas, lacerandaque membra;
Hoc quoque fatale est, sic ipsum expendere fatum *****.

---

* Когда мы устремляем взор к необъятным небесным пространствам и видим в мерцании звезд неподвижное сияние эфира над нами, и обращаем мысль к движениям луны и солнца [47] (*лат.*).

** Жизнь и действия людей он [бог] ставит в зависимость от небесных светил [48] (*лат.*).

*** Человек понимает, что эти издали глядящие светила властвуют над ним в силу сокровенных законов, что вся вселенная движется благодаря череде причин и что исход судеб можно различить по определенным знакам [49] (*лат.*).

**** Столь малые движения порождают такие различия; таково это царство, властвующее над самими государями [50] (*лат.*).

***** Один, обезумев от любви, может переплыть море и разрушить Трою. Другой судьбою предназначен к созданию законов. Вот сыновья, убивающие отца, вот отцы, убивающие детей, вот сходятся вооруженные братья, наносящие друг другу раны. Не мы виною этих распрей. Мы вынуждены так действовать, наказывать самих себя и раздирать на части. Неизбежно и то, что сама судьба должна оцениваться под этим углом зрения [51] (*лат.*).

Если даже та доля разума, которой мы обладаем, уделена нам небом, как же может эта крупица разума равнять себя с ним? Как можно судить о его сущности и его способностях по нашему знанию! Все, что мы видим в небесных телах, поражает и потрясает нас. Quae molitio, quae ferramenta, qui vectes, quae machinae, qui ministri tanti operis fuerunt *? На каком же основании лишаем мы их души, жизни и разума? Убедились ли мы в их неподвижности, бесчувствии и неразумии, мы, не имеющие с ними никакого общения и вынужденные им лишь повиноваться? Сошлемся ли мы на то, что мы не видели ни одного существа, кроме человека, которое наделено было бы разумной душой? А видели ли мы нечто подобное солнцу? Перестает ли оно быть солнцем от того, что мы не видели ничего подобного? Перестают ли существовать его движения на том основании, что нет подобных им? Если нет того, чего мы не видели, то наше знание становится необычайно куцым: Quae sunt tantae animi angustiae **! Не химеры ли это человеческого тщеславия — превращать луну в некую небесную землю и представлять себе на ней, подобно Анаксагору [54], горы и долины, находить на ней человеческие селения и жилища и даже устраивать на ней, ради нашего удобства, целые колонии, как это делают Платон и Плутарх, а нашу землю превращать в сверкающее и лучезарное светило? Inter cetera mortalitatis incommoda et hoc est, caligo mentium, nec tantum necessitas errandi sed errorum amor ***. Corruptibile corpus aggravat animam, et deprimit terrena inhabitatio sensum multa cogitantem ****.

Самомнение — наша прирожденная и естественная болезнь. Человек самое злополучное и хрупкое создание и тем не менее самое высокомерное [57]. Человек видит и чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира, он прикован к худшей, самой тленной и испорченной части вселенной, находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее удаленной от небосвода, вместе с животными наихудшего из трех видов [58], и, однако же, он мнит себя стоящим выше луны и попирающим небо. По суетности того же воображения он равняет себя с богом, приписывает себе божественные способности, отличает и выделяет себя из множества других созданий, преуменьшает возможности животных, своих собратьев и сотоварищей, наделяя их такой долей сил и способностей, какой ему заблагорассудится. Как он может познать усилием своего разума внутренние и скрытые движения животных? На основании какого сопоставления их с нами он приписывает им глупость [59]?

Когда я играю со своей кошкой, кто знает, не забавляется ли скорее она мною, нежели я ею! Платон в своем изображении золотого века Сатурна [60] относит к важнейшим преимуществам человека тех времен его

---

* Какие приготовления, какие орудия, какие рычаги, какие машины, какие рабочие потребовались для постройки такого грандиозного здания? [52] (*лат.*).

** К чему заключать наш разум в такие теснины? [53] (*лат.*).

*** Среди множества недостатков нашей смертной природы есть и такой: ослепление ума — не только неизбежность заблуждений, но и любовь к ошибкам [55] (*лат.*).

**** Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум [56] (*лат.*).

общение с животными, изучая и поучаясь у которых, он знал подлинные качества и особенности каждого из них; благодаря этому он совершенствовал свой разум и свою проницательность, и в результате жизнь его была во много раз счастливее нашей. Нужно ли лучшее доказательство глупости обычных человеческих суждений о животных? Этот выдающийся автор полагал [61], что ту телесную форму, которую дала им природа, она в большинстве случаев назначила лишь для того, чтобы люди по ней могли предсказывать будущее, чем в его время и пользовались.

Тот недостаток, который препятствует общению животных с нами,— почему это не в такой же мере и наш недостаток, как их? Трудно сказать, кто виноват в том, что люди и животные не понимают друг друга, ибо ведь мы не понимаем их так же, как и они нас. На этом основании они так же вправе считать нас животными, как мы их. Нет ничего особенно удивительного в том, что мы не понимаем их: ведь точно так же мы не понимаем басков или троглодитов. Однако некоторые люди хвастались тем, что понимают их, например Аполлоний Тианский, Меламп, Тиресий, Фалес и другие [62]. И если есть народы, которые, как утверждают географы, выбирают себе в цари собаку [63], то они должны уметь истолковывать ее лай и движения. Нужно признать равенство между нами и животными: у нас есть некоторое понимание их движений и чувств, и примерно в такой же степени животные понимают нас. Они ласкаются к нам, угрожают нам, требуют от нас; то же самое проделываем и мы с ними.

В то же время известно, что и между самими животными существует глубокое общение и полное взаимопонимание, причем не только между животными одного и того же вида, но и различных видов:

> Et mutae pecudes et denique saecla ferarum
> Dissimiles soleant voces variasque cluere
> Cum metus aut dolor est, aut cum iam gaudia gliscunt *.

Заслышав собачий лай, лошадь распознает, злобно ли лает собака, и нисколько не пугается, когда собака лает совсем по-иному. Но и относительно животных, лишенных голоса, мы без труда догадываемся по тем услугам, которые они оказывают друг другу, о каком-то существующем между ними способе общения; они рассуждают и говорят с помощью своих движений:

> Non alia longe ratione atque ipsa videtur
> Protrahere ad gestum pueros infantia linguae **.

Почему бы и нет? Ведь видим же мы, как немые при помощи жестов спорят, доказывают и рассказывают разные вещи. Я видел таких искусников в этом деле, что их действительно можно было понимать полностью. Влюбленные ссорятся, мирятся, благодарят, просят друг друга, уславли-

* Ведь и бессловесные домашние животные и дикие звери издают различные звуки, в зависимости от того, испытывают ли они страх, боль или радость [64] (*лат.*).

** В силу тех же причин, какие, судя по всему, и детей, не владеющих речью, вынуждают жестикулировать [65] (*лат.*).

ваются и говорят друг другу все одними только глазами:

E'l silenzio ancor suole
Aver prieghi e parole *.

А чего только мы ни выражаем руками? Мы требуем, обещаем, зовем и прогоняем, угрожаем, просим, умоляем, отрицаем, отказываем, спрашиваем, восхищаемся, считаем, признаемся, раскаиваемся, пугаемся, стыдимся, сомневаемся, поучаем, приказываем, подбадриваем, поощряем, клянемся, свидетельствуем, обвиняем, осуждаем, прощаем, браним, презираем, не доверяем, досадуем, мстим, рукоплещем, благословляем, унижаем, насмехаемся, примиряем, советуем, превозносим, чествуем, радуемся, сочувствуем, огорчаемся, отказываемся, отчаиваемся, удивляемся, восклицаем, немеем. Многоразличию и многообразию этих выражений позавидует любой язык! Кивком головы мы соглашаемся, отказываем, признаемся, отрекаемся, отрицаем, приветствуем, чествуем, почитаем, презираем, спрашиваем, выпроваживаем, потешаемся, жалуемся, ласкаем, покоряемся, противодействуем, увещеваем, грозим, уверяем, осведомляем. А чего только ни выражаем мы с помощью бровей или с помощью плеч! Нет движения, которое не говорило бы и притом на языке, понятном всем без всякого обучения ему, на общепризнанном языке. Таким образом, если учесть наличие множества других языков, каждый из которых принят лишь в определенных областях или государствах, то язык движений следует, пожалуй, признать наиболее пригодным для человеческого рода. Я уже не говорю о том, как под давлением необходимости ему сразу научаются те, кому это нужно; не говорю я ни об азбуке пальцев, ни о грамматике жестов, ни о науках, которые изъясняются и выражаются лишь с их помощью; ни о тех народах, которые, по словам Плиния [67], не имеют никакого другого языка.

Посол города Абдеры после длинной речи, произнесенной перед спартанским царем Агисом, спросил его: «Итак, государь, какой ответ я должен передать моим согражданам?» — «Что я позволил тебе,— ответил Агис,— сказать все, что ты хотел и сколько ты хотел, не произнеся ни одного слова» [68]. Разве это не образец разговора без слов и притом совершенно понятного?

Наконец, каких только человеческих способностей не узнаем мы в действиях животных! Существует ли более благоустроенное общество, с более разнообразным распределением труда и обязанностей, с более твердым распорядком, чем у пчел? Можно ли представить себе, чтобы это столь налаженное распределение труда и обязанностей совершалось без участия разума, без понимания?

His quidam signis atque haec exempla secuti,
Esse apibus partem divinae mentis et haustus
Aethereos dixere **.

* Само молчание наполнено словами и просьбами [66] (*ит.*).
** Судя по этим примерам и признакам, некоторые утверждали, что в пчелах есть доля божественного ума и дыхание эфира [69] (*лат.*).

Разве ласточки, которые с наступлением весны исследуют все уголки наших домов с тем, чтобы из тысячи местечек выбрать наиболее удобное для гнезда, делают это без всякого расчета, наугад? И разве могли бы птицы выбирать для своих замечательных по устройству гнезд скорее квадратную форму, чем круглую, предпочтительно тупой угол, а не прямой, если бы они не знали преимуществ этого? Разве, смешивая глину с водой, они не понимают, что из твердого материала легче лепить, если он увлажнен? Разве, устилая свои гнезда мохом или пухом, не учитывают они того, что нежным тельцам птенцов так будет мягче и удобнее? Не потому ли защищаются они от ветра с дождем и вьют гнезда на восточной стороне, что разбираются в действии разных ветров и считают, что одни из этих ветров для них полезнее, чем другие? Почему паук, если он лишен способности суждения и умения делать выводы, в одном месте ткет густую паутину, в другом — редкую и пользуется в одних случаях сетью из толстых нитей, в других — из тонких? На большинстве творений животных мы убеждаемся, как слабо мы способны подражать им. Ведь знаем же мы, когда речь идет о наших более грубых творениях, какие способности участвуют в их создании, и видим, что душа наша напрягает при этом все свои силы; почему в таком случае не думать того же о животных? На каком основании приписываем мы творения животных какой-то врожденной слепой склонности, хотя эти творения превосходят все, на что мы способны по своим природным дарованиям и знаниям! Так, мы, не задумываясь, наделяем животных бо́льшим преимуществом по сравнению с нами самими, допускаем, что природа с материнской нежностью охраняет и как бы собственноручно направляет их при всех обстоятельствах их жизни, во всех их действиях, между тем как нас, людей, она предоставляет на волю судьбы и случая, заставляя с помощью знания отыскивать вещи, необходимые для нашего сохранения; при этом природа отказывает нам в средствах, с помощью которых мы могли бы путем какого-то обучения и совершенствования уравнять наши способности с природной сметливостью животных. Ввиду этого, несмотря на неразумие животных, они во всех отношениях превосходят все, что доступно нашему божественному разуму.

Мы вправе были бы на этом основании назвать природу несправедливой мачехой. Но дело обстоит вовсе не так, и мы отнюдь не в столь уж плохом и невыгодном положении. В действительности природа позаботилась о всех своих созданиях, и нет из них ни одного, которого бы она не наделила всеми необходимыми средствами самозащиты. Жалобы, которые мы постоянно слышим от людей (ибо по присущему им высокомерию они склонны то заноситься выше облаков, то впадать в противоположную крайность), заключаются в том, что человек будто бы единственная, брошенная на произвол судьбы тварь, голый человек на голой земле, связанный по рукам и ногам, могущий вооружиться и защититься лишь чужим оружием,— между тем природа позаботилась снабдить все другие создания раковинами, стручками, корой, мехом, шерстью, шкурой, шипами, перьями, волосами, чешуей, щетиной, руном, в зависимости от потребностей того

или иного существа; она вооружила их когтями, зубами, рогами для нападений и защиты, она сама научила их тому, что им свойственно,— плавать, бегать, летать, петь, между тем как человек без обучения не умеет ни ходить, ни говорить, ни есть, а только плакать.

Tum porro puer, ut saevis proiectus ab undis
Navita nudus humi iacet, infans, indigus omni
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras
Nixibus ex alvo matris natura profudit;
Vagituque locum lugubri complet, ut aequum est
Cui tantum in vita restet transire malorum.
At variae crescunt pecudes, armenta feraeque
Nec crepitacula eis opus est, nec cuiquam adhibenda est
Almae nutricis blanda atque infracta loquella;
Nec varias quaerunt vestes pro tempore caeli;
Denique non armis opus est, non moenibus altis,
Queis sua tutentur quando omnibus omnia large
Tellus ipsa parit, naturaque daedala rerum *.

Эти жалобы человека необоснованны: мир устроен более справедливо и более единообразно. Наша кожа не менее, чем кожа животных, способна противостоять переменам погоды, как показывает пример народов, которые никогда не носили никакой одежды. Наши предки, древние галлы, были одеты совсем легко, как легко одеты и наши соседи ирландцы, живущие в весьма холодном климате. Да мы можем убедиться в этом и по себе, ибо все те части тела, которые мы, согласно принятому в тех или иных краях обычаю, оставляем открытыми для ветра и воздуха, быстро приспосабливаются к этому, как, например, наше лицо, руки, ноги, плечи, голова. Если у нас и есть слабое место, которое должно было бы бояться холода, то это желудок, где происходит пищеварение, а между тем наши отцы не прикрывали его; если взять наших дам, таких слабых и хрупких, то мы нередко видим, что они обнажаются до пупка. Пеленание и завязывание детей тоже необязательны, как показывает пример спартанских матерей, которые воспитывали детей, не завязывая и не пеленая их, предоставляя полную свободу их членам [71]. Плакать так же свойственно большинству других животных, как и человеку, и многие из них долгое время после появления своего на свет пищат и стонут, ибо этот плач есть следствие

---

* Вот и младенец, подобно моряку, выброшенному жестокой бурей на берег, лежит на земле,— нагой, бессловесный, совсем беспомощный в жизни с той минуты, как природа в тяжком усилии исторгла его на свет из материнского лона. Его жалобный плач раздается кругом,— да и как ему не жаловаться, когда ему предстоит испытать при жизни столько злоключений? Между тем и крупный и мелкий скот, и дикие звери вырастают, не нуждаясь ни в погремушках, ни в том, чтобы их нежно утешала, коверкая слова, кормилица. Не нужна им и различная одежда, в зависимости от времени года; нет у них, наконец, нужды ни в оружии, ни в высоких стенах для охраны своего достояния, ибо все им в изобилии производит земля и искусно готовит природа [70] (*лат.*).

той слабости, которую они ощущают. Что касается привычки есть, то она и у нас, и у животных прирожденная и не требует обучения:

Sentit enim vim quisque suam quam possit abuti *.

Кто же усомнится в том, что ребенок, уже набравшийся достаточно сил, чтобы питаться, не сумеет отыскать себе пищу? Земля производит достаточно и может дать сколько ему нужно, не требуя обработки и никакого применения искусства; а то обстоятельство, что она может прокормить не во всякое время, относится в одинаковой мере и к животным, как показывает пример муравьев и других животных, делающих запасы на голодное время. Пример недавно открытых народов, у которых мы видим столь обильные запасы пищи и естественных напитков, не требующих ни трудов, ни забот, учит нас, что хлеб — вовсе не единственный наш предмет питания и что без всякого земледелия наша мать-природа позаботилась о произрастании всего нам необходимого; и не исключено даже, что она делала это щедрее и богаче, чем в настоящее время, когда мы присоединили к этому наше искусство,—

Praeterea nitidas fruges vinetaque laeta
Sponte sua primum mortalibus ipsa creavit;
Ipsa dedit dulces foetus et pabula laeta,
Quae nunc vix nostro grandescunt aucta labore,
Conterimusque boves et vires agricolarum **,—

но только чрезмерные наши желания, которые мы спешим удовлетворить, опережают все наши достижения.

Что касается вооружения, то мы вооружены природой лучше, чем большинство других животных; мы располагаем бо́льшим числом разнообразных движений наших членов и извлекаем из них бо́льшую пользу, притом без всякого обучения; те, кто вынуждены сражаться нагими, так же как и мы, отдаются на волю случая. Если некоторые животные и имеют перед нами в этом отношении преимущество, мы зато превосходим многих других животных. Что же касается искусства укреплять тело и защищать его разными способами, то это делается инстинктивно, по внушению природы. Так, например, слон с этой целью точит и упражняет те зубы, которыми он пользуется в борьбе (ибо у слонов имеются для этой цели особые зубы, которые они берегут и не употребляют для других надобностей) [74]. Когда быки идут на бой, они поднимают вокруг себя пыль в виде завесы; кабаны оттачивают свои клыки; когда ихневмон готовится к битве с крокодилом, он для предохранения обмазывает свое тело слоем ила наподобие брони. Разве это не так же естественно, как

---

* Каждый чувствует, каковы его силы, на которые он может рассчитывать [72] (*лат.*).

** Вначале земля сама создала для смертных много наливных хлебов и тучных виноградников, давая им также сладкие плоды и богатые пастбища. А теперь все это лишь с трудом вырастет при усиленном нашем труде: мы изнуряем волов и надрываем силы землепашцев [73] (*лат.*).

то, что мы вооружаемся деревянными или железными приспособлениями?

Что касается дара речи, то если он не дан природой, без него можно обойтись. Но все же я полагаю, что ребенок, которого вырастили бы в полном одиночестве, без всякого общения с другими людьми (это был бы весьма трудно осуществимый опыт), все же имел бы какие-то слова для выражения своих мыслей. Нет оснований думать, что природа отказала бы нам в этой способности, которою она наделила многих других животных, ибо их способность, пользуясь голосом, жаловаться, радоваться, призывать на помощь, склонять к любви разве не есть речь? Почему бы им не разговаривать друг с другом, раз они разговаривают с нами, как и мы говорим с ними? Разве мы не разговариваем на все лады с нашими собаками? И они нам отвечают! Мы разговариваем с ними другим языком, другими словами, чем с птицами или со свиньями, или с волами, или с лошадьми; мы меняем свою речь в зависимости от вида животных, с которыми мы говорим.

Cosi per entro lora schiera bruna
S'ammusa l'una con l'altra formica
Forse a spiar lor via, et lor fortena *.

Мне помнится, Лактанций [76] приписывает животным не только способность речи, но и способность смеяться. То же различие в языках, которое мы наблюдаем у людей разных стран, мы встречаем у животных одного и того же вида. Аристотель по этому поводу упоминает куропаток, голоса которых различаются в зависимости от мест, где они водятся [77]:

variaeque volucres
Longe alias alio iaciunt in tempore voces,
Et partim mutant cum tempestatibus una
Raucisonos cantus **.

Но хотелось бы знать, на каком языке будет говорить ребенок выросший в полном одиночестве, ибо то, что говорится об этом наугад, не очень-то убедительно. Если, желая мне возразить, сошлются на то, что глухие от природы не умеют говорить, то я отвечу, что это объясняется не только тем, что они не смогли обучиться говорить с помощью слуха, но происходит еще более оттого, что орган слуха, которого они лишены, связан с органом речи и что оба эти органа естественным образом связаны между собою; поэтому, прежде чем обратиться со словами к другим людям, нам нужно сначала сказать их себе, нужно, чтобы эти слова прозвучали в наших собственных ушах.

Все сказанное мною должно подтвердить сходство в положении всех

---

* Так, в темной куче муравьев можно увидеть таких, которые плотно, голова к голове, приблизились один к другому, словно для того, чтобы следить друг за другом, за намерениями и удачами другого [75] (*ит.*).

** Многие птицы в разное время поют совершенно по-разному и с переменой погоды меняют свое хриплое пение [78] (*лат.*).

живых существ, включая в их число человека. Человек не выше и не ниже других; все, что существует в подлунном мире, как утверждает мудрец [79], подчинено одному и тому же закону и имеет одинаковую судьбу:

Indupedita suis fatalibus omnia vinclis *.

Разумеется, есть и известные различия — подразделения и степени разных свойств, но все это в пределах одной и той же природы:

res quaeque suo ritu procedit, et omnes
Foedere naturae certo discrimina servant **.

Надо заставить человека признать этот порядок и подчиниться ему. Он не боится, жалкий, ставить себя выше его, между тем как в действительности он связан и подчинен тем же обязательствам, что и другие создания его рода; он не имеет никаких подлинных и существенных преимуществ или прерогатив. Те преимущества, которые он из самомнения произвольно приписывает себе, просто не существуют; и если он один из всех животных наделен свободой воображения и той ненормальностью умственных способностей, в силу которой он видит и то, что есть, и то, чего нет, и то, что он хочет, истинное и ложное вперемешку, то надо признать, что это преимущество достается ему дорогой ценой и что ему нечего им хвалиться, ибо отсюда ведет свое происхождение главный источник угнетающих его зол: пороки, болезни, нерешительность, смятение и отчаяние.

Итак, возвращаясь к прерванной нити изложения, я утверждаю, что нет никаких оснований считать, будто те действия, которые мы совершаем по своему выбору и умению, животные делают по естественной склонности и по принуждению. На основании сходства действий мы должны заключить о сходстве способностей и признать, что животные обладают таким же разумом, что и мы, действуя одинаковым с нами образом. Почему мы предполагаем в животных природное принуждение, мы, не испытывающие ничего подобного? Тем более что почетнее быть вынужденным действовать по естественной и неизбежной необходимости — и это ближе к божеству,— чем действовать по своей воле — случайной и безрассудной; да и гораздо спокойнее предоставлять бразды нашего поведения не нам, а природе. Из нашего тщеславного высокомерия мы предпочитаем приписывать наши способности не щедрости природы, а нашим собственным усилиям и, думая этим превознести и возвеличить себя, наделяем животных природными дарами, отказывая им в благоприобретенных. И я считаю это большой глупостью, ибо, на мой взгляд, качества, присущие мне от рождения, следует ценить ничуть не меньше, чем те, которые я собрал по крохам и выклянчил у обучения. Мы не в силах придумать человеку лучшую похвалу, чем сказав, что он одарен от бога и от природы.

---

* Все связано неизбежными узами судьбы [80] (*лат.*).
** Всякая вещь следует своим правилам, все вещи твердо блюдут законы природы и сохраняют свои отличия [81] (*лат.*).

Возьмем, к примеру, лисицу [82], которую фракийцы, желая узнать, можно ли безопасно пройти по тонкому речному льду, пускали вперед. Подойдя к краю воды, лиса приникает ухом ко льду, чтобы определить, слышен ли ей шум воды, текущей подо льдом, с далекого или близкого расстояния. И когда она, узнав таким образом, какова толщина льда, на этом основании решает, идти ли вперед или отступить, не должны ли мы заключить, что в уме лисицы совершается та же работа, что и в нашем, что она рассуждает совсем так же, как мы, и что ход ее мыслей примерно таков: то, что производит шум, движется; то, что движется, не замерзло; то, что не замерзло, находится в жидком состоянии; то, что жидко, не выдержит тяжести. Ибо думать, что действия лисицы являются лишь следствием остроты ее слуха и совершаются без рассуждения, значит допускать невероятное, не сообразное со здравым смыслом. И то же самое следует допустить относительно множества разных уловок и хитростей, с помощью которых животные защищаются от человека.

А если бы мы захотели усмотреть некоторое наше преимущество в том, что мы можем ловить животных, заставлять их служить нам и использовать их по нашему усмотрению, то ведь это лишь то самое преимущество, какое один из нас имеет перед другим. На этом преимуществе основано существование у нас рабов. Разве не доказывает это пример сирийских климакид, которые, став на четвереньках, служили ступеньками или подножками для дам, садившихся в экипаж [83]? Разве не видим мы, как многие свободные люди за ничтожную плату вынуждены отдавать свою жизнь и свои силы в распоряжение господина? Жены и наложницы фракийцев спорили между собой о том, кому достанется честь быть убитой на могиле мужа [84]. У тиранов никогда не было недостатка в преданных им людях, многие из которых готовы были разделить с ними не только жизнь, но и смерть.

Целые армии давали такие клятвы своим предводителям [85]. Формула присяги, которую приносили бойцы в суровых гладиаторских школах, обязуясь сражаться до последнего вздоха, гласила: «Мы клянемся, что позволим заковать себя в цепи, жечь, бить, пронзать мечами и стерпим все, что настоящие гладиаторы терпят от своего господина, самоотверженно отдавая на службу ему свою душу и тело» [86]:

> Ure meum, si vis, flamma caput, et pete ferro
> Corpus, et intorto verbere terga seca *.

Это — подлинное обязательство; и был год, когда таких бойцов оказалось десять тысяч,— и все они погибли.

У скифов был обычай: хороня своего царя, они душили у его трупа любимую его наложницу, его виночерпия, конюшего, сокольничего, ключника и повара; а по прошествии года убивали пятьдесят коней и пятьдесят посаженных на них юношей, в трупы которых вгонялся вдоль спинного

---

* Сожги, если хочешь, в огне мою голову, пронзи мечом мое тело и исполосуй мне спину ударами плети [87] (*лат.*).

хребта прямой кол, доходивший до самой шеи; таких всадников они выставляли напоказ вокруг могилы [88].

Люди, которые на нас работают, служат нам за более дешевую плату и пользуются менее бережным и обходительным обращением, чем то, какое мы оказываем птицам, лошадям и собакам.

Каких только забот ни проявляем мы об их удобствах! Мне кажется, что самые жалкие слуги не делают с большей готовностью для своих господ того, что властелины почитают за честь сделать для своих животных.

Так, Диоген, узнав, что его родные стараются выкупить его из рабства, заявил [89]: «Они безумны! Ведь мой хозяин заботится обо мне, кормит и холит меня; те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные — им».

У животных есть та благородная особенность, что лев никогда не становится из малодушия рабом другого льва, а конь — рабом другого коня. Подобно тому, как мы охотимся на зверей, так и львы, и тигры охотятся на людей; и точно так же животные охотятся кто на кого: собака — на зайцев, щуки — на линей, ласточки — на сверчков, ястребы — на дроздов и жаворонков:

serpente ciconia pullos
Nutrit, et inventa per devia rura lacerta,
Et leporem aut capream famulae Jovis, et generosae.
In saltu venantur aves *.

Мы делим добычу с нашими собаками и птицами, точно так же, как делим с ними во время самой охоты труды и усилия: например, выше Амфиполя [91] во Фракии охотники и неприрученные соколы делят добычу пополам; подобно этому, если на побережье Меотийского озера рыболов не отдаст добровольно волкам ровно половину добычи, они тотчас же разорвут его сети.

Подобно тому как у нас существует охота, которая ведется больше с помощью хитрости, чем силы, например с применением силков или удочек и крючков, точно так же мы встречаемся с такими же видами охоты и у животных. Аристотель рассказывает [92], что каракатица выбрасывает из горла длинную кишку наподобие удочки; она вытягивает ее в длину и приманивает ею, а когда захочет, втягивает ее в себя обратно. Когда она замечает, что приближается маленькая рыбка, она дает ей возможность укусить кончик этой кишки, а сама, зарывшись в песок или тину, постепенно втягивает кишку, пока рыбка не окажется так близко от нее, что она одним прыжком может ее поймать.

Что касается силы, которую способны применить животные, то никому не угрожает в этом отношении больше опасностей, чем человеку, причем для этого вовсе не требуется какой-нибудь кит или слон, или крокодил,

---

* Аист кормит своих птенцов змеями и ящерицами, которых он достает им из пустынных мест, а благородная птица, спутник Юпитера, охотится в горных лесах на козу и зайцев [90] (*лат.*).

или какое-нибудь подобное животное, каждое из которых может погубить множество людей; вши смогли положить конец диктатуре Суллы [93], ничтожного червя достаточно, чтобы подточить сердце и жизнь великого и увенчанного победами императора.

На каком основании мы считаем, что только человек обладает знанием и умением различать, какие вещи для него полезны и целебны, какие вредны, что только ему, человеку, известны свойства ревеня и папоротника? Почему не полагаем мы, что это тоже проявление разума и знаний, когда видим, например, что раненные стрелой критские козы разыскивают среди множества трав особую целебную траву — ясенец; или когда черепаха, проглотившая гадюку, тотчас же ищет душицу, чтобы прочистить желудок; или когда дракон трет и прочищает себе глаза укропом; или когда аисты ставят себе клизмы из морской воды; или когда слоны извлекают у себя из тела копья и стрелы, которыми они были ранены в сражении, причем проделывают это не только на себе и на других слонах, но и на своих хозяевах (примером чего может служить царь Пор, который был разбит Александром [94]), и притом с такой ловкостью, что мы не смогли бы сделать это так безболезненно. Если же с целью унизить животных мы станем утверждать, что они все это делают благодаря полученному от природы умению разбираться в ней и пользоваться ею, то это не будет означать, что они лишены ума и знаний; напротив, это значит признать за ними ум и знания еще с бо́льшим основанием, чем за человеком, поскольку они приобретают их в такой великолепной школе, где наставницей — сама природа.

Хрисипп [95] был весьма низкого мнения о животных и судил о них, как и обо всем на свете, с таким презрением, как ни один другой философ. При всем том ему однажды довелось наблюдать движения собаки, которая встретилась ему на перекрестке трех дорог и которая то ли шла по следу своего хозяина, которого она потеряла, то ли разыскивала какую-то убежавшую вперед дичь. Она обнюхала сначала одну дорожку, потом другую и, не найдя на них следа того, что искала, она, ни минуты не колеблясь, устремилась по третьему пути. Видя это, Хрисипп вынужден был признать, что собака рассуждала следующим образом: «До этого перекрестка я шла по следу моего хозяина; затем он неминуемо должен был пойти по одному из трех открывшихся путей, но не пошел ни по первому, ни по второму, следовательно, он обязательно должен был пойти по третьему». Убежденная этим умозаключением, собака уже больше не прибегает к своему обонянию и не обнюхивает третьего пути, а сразу устремляется по нему, движимая силой разума. Разве это диалектическое суждение и это умение пользоваться как отдельными частями силлогизма, так и силлогизмом в целом, которыми собака обладает от природы, не сто́ит выучки, полученной у Георгия Трапезундского [96]?

Разве животные не так же способны к обучению, как и мы? Мы учим говорить дроздов, ворон, сорок, попугаев; разве гибкость голоса и податливость дыхания, которую мы обнаруживаем у них при обучении их известному числу звуков и слогов, не свидетельствуют о присущем им разу-

ме, который делает их способными к обучению и вселяет им охоту учиться? Я думаю, что все приходят в изумление при виде множества фокусов, которым дрессировщики научают своих собак, при виде того, как собаки танцуют, не ошибаясь ни в одном такте мелодии, которую они слышат, при виде разных движений и прыжков, которые собаки исполняют по приказу своих хозяев. С еще большим восхищением я наблюдаю другое, довольно распространенное явление — собак, являющихся поводырями слепых, как в городе, так и в деревне; я замечаю, как собаки останавливаются у дверей определенных домов, где они привыкли получать подаяние, как они охраняют своих слепых хозяев от проезжающих повозок даже тогда, когда дорога, на их взгляд, достаточно широка; я видел собаку, шедшую вдоль городского рва, которая оставила широкую и удобную тропу и выбрала менее удобную, но с тем, чтобы ее хозяин был подальше от рва. Как можно было объяснить этой собаке, что ее обязанность заключается в том, чтобы заботиться только о безопасности ее хозяина и пренебрегать своими собственными удобствами? И как могла собака знать, что такая-то дорога, которая достаточно широка для нее, будет недостаточно широка для слепого? Как можно все это объяснить, если мы отрицаем у животных разум и способность рассуждать?

Стоит вспомнить рассказ Плутарха о собаке[97], которую он видел в Риме в театре Марцелла вместе с императором Веспасианом-отцом[98]. Эта собака принадлежала одному фокуснику, который разыгрывал представление из нескольких пантомим с участием многих действующих лиц, причем одна из ролей отводилась собаке. В числе прочего ей надо было изобразить в одном месте смерть от какого-то принятого ею лекарства. Проглотив кусок хлеба, который должен был изображать это лекарство, она начала дрожать и трепетать, как если бы лишилась чувств, и наконец распростерлась и вытянулась неподвижно, как мертвая; ее можно было волочить и перетаскивать с места на место, как требовалось по ходу действия; затем, когда наступил известный ей момент, она стала сперва чуть заметно шевелиться, как если бы просыпалась от глубокого сна, и приподняв голову, оглядывалась по сторонам с таким выражением, которое поразило всех присутствующих.

Для орошения царских садов в Сузах волы должны были вращать огромные колеса, к которым были прикреплены наполнявшиеся водой чаны наподобие тех, что часто встречаются в Лангедоке. В течение дня каждый вол должен был сделать до ста оборотов, и волы настолько привыкли к этому числу движений, что никакими силами нельзя было заставить их сделать лишний оборот; выполнив свою работу, они решительно останавливались. До отроческих лет мы не умеем считать до ста, а недавно были открыты народы, не имеющие вообще никакого понятия о счете.

Чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем чтобы научиться самому. Демокрит полагал и доказывал, что мы научились многим ремеслам у животных; например, искусству ткать и шить — у паука, строить — у ласточки, музыке — у соловья и лебедя, а искусству лечить болезни — подражая многим животным. В свою очередь Аристотель считал, что со-

ловьи обучают своих птенцов петь и тратят на это время и усилия; этим, по его мнению, объясняется, что пение соловьев, выросших в неволе и не имевших возможности получить выучку у своих родителей, далеко не столь сладостно. Из этого мы можем заключить, что их пение улучшается благодаря упражнению и выучке; ведь даже не все соловьи, живущие на свободе, поют одинаково, а каждый по своим способностям; они с таким рвением стремятся к обучению и так яростно соревнуются между собой, что нередко побежденный соловей падает замертво не потому, что у него прервался голос, а потому что прервалось дыхание. Самые юные птенцы молча слушают и пытаются повторить некоторые строфы песни; прослушав урок своего наставника, ученик тщательно исполняет его; то один, то другой умолкает, слышно, как исправляются ошибки, и можно разобрать упреки наставника [99]. «Я видел однажды,— рассказывает Арриан [100],— слона, у которого к каждой ноге и к хоботу были подвешены цимбалы, под звуки которых все остальные слоны танцевали вокруг него, приподнимаясь и опускаясь в такт; слушать эту гармонию было удовольствием». На зрелищах в Риме [101] можно было зачастую видеть дрессированных слонов, которые под звук голоса двигались и исполняли танцы с разными, очень трудными фигурами. Встречались такие слоны, которые на досуге вспоминали выученное ими и упражнялись в нем, побуждаемые прилежанием и стремлением научиться, чтобы их учителя не бранили или не били их [102].

Поразительна история сороки, о которой сообщает Плутарх [103]. Она жила в лавке цирульника в Риме и удивительно умела подражать голосом всему, что слышала. Однажды случилось, что несколько трубачей остановились и долго трубили перед этой лавкой. С этого момента и на весь следующий день сорока впала в задумчивость, онемела и загрустила. Все удивлялись этому и полагали, что гром труб так оглушил и поразил ее, что она вместе со слухом утратила и голос. Но под конец обнаружилось, что это было глубокое изучение и уход в себя, во время которого она внутренне упражнялась и готовилась изобразить звук этих труб; прежний голос ушел на то, чтобы изобразить переходы трубачей от одной ноты к другой, их паузы и повторения, причем это новое обучение вытеснило все, что она умела делать до этого, и заставило ее отнестись к своему прошлому с презрением.

Не могу не привести также и другого примера, виденного и сообщаемого тем же Плутархом [104] (хотя я прекрасно сознаю, что нарушаю порядок изложения этих примеров, но забочусь только о том, чтобы они подтверждали выводы всего моего рассуждения). Находясь на корабле, Плутарх однажды наблюдал собаку, которая была в затруднительном положении, так как не могла добраться до растительного масла, находившегося на дне кружки и не могла дотянуться до него языком из-за слишком узкого горлышка кружки. И вдруг она принялась подбирать находившиеся на корабле камешки и кидать их в кружку до тех пор, пока масло не поднялось до края кружки, который она могла достать. Разве это не действие достаточно изощренного ума? Говорят, что так же поступают

берберийские вороны, когда они хотят напиться воды, уровень которой слишком для них низок.

Эти действия весьма напоминают мне то, что рассказывает о слонах один из знатоков их, Юба[105]. Он сообщает, что когда какой-нибудь слон, поддавшись на хитрость охотника, попадает в одну из глубоких ям, которые специально роют для них и прикрывают сверху хворостом, чтобы их обмануть, то его товарищи заботливо притаскивают большие камни и деревья, чтобы он с их помощью мог выбраться. Это животное во множестве других поступков настолько не уступает по уму человеку, так что если бы я стал подробно прослеживать, чему учит в этом отношении опыт, то легко мог бы доказать свое мнение, что иной человек отличается от другого больше, чем животное от человека. Сторож слона, живший в одном частном доме в Сирии, крал половину каждой порции еды, которую ему приказано было выдавать животному. Однажды хозяин сам захотел накормить своего слона и высыпал ему в кормушку всю порцию ячменя, которая ему полагалась, но слон, с укором взглянув на смотрителя, отделил хоботом половину и отодвинул ее в сторону, свидетельствуя тем самым об ущербе, который ему наносили[106]. Другой слон, смотритель которого добавлял в его пищу камней, чтобы увеличить размеры порции, подошел к котлу, в котором варилось для него мясо, и насыпал в него золы. Я привел здесь отдельные случаи, но многие видели и знают, что во всех армиях Востока одной из главных боевых сил были слоны; они приносили несравненно большую пользу, чем приносит в настоящее время артиллерия, играющая примерно ту же роль в регулярном сражении, что хорошо известно людям, знающим древнюю историю:

si quidem Tyrio parere solebant
Hannibali, et nostris ducibus, regique Molosso,
Horum maiores, et dorso ferre cohortes
Partem aliquam belli et euntem in proelia turmam *.

Надо было очень полагаться на ум и рассудительность этих животных, чтобы предоставлять им решающую роль в сражении, когда малейшего промедления, которое они могли допустить из-за своей громоздкости и тяжести, или малейшего испуга, который побудил бы их обратиться против своего же войска, было бы достаточно, чтобы погубить все дело. Между тем известно очень мало случаев, чтобы они обращались против своих собственных солдат, что гораздо чаще случается с нашими войсками. Слонам давались сложные задания: им поручались не простые передвижения, а проведение нескольких различных операций в сражении. Такую же роль играли у испанцев, при завоевании ими Америки, собаки, которым платили жалованье и уделяли часть добычи[108]; эти животные обнаруживали наряду с рвением и воинственностью необычайную ловкость

---

* Ведь предки этих слонов служили только Ганнибалу Тирскому и нашим полководцам и эпирскому царю; они носили на спинах когорты, участвовавшие в войне, и отряды, идущие в сражение[107] (*лат.*).

и рассудительность в умении добиваться победы, нападать или отступать смотря по обстоятельствам, различать друзей от врагов.

Мы больше восхищаемся вещами необычными, нежели повседневными, и больше ценим первые; не будь так, я не стал бы приводить такое множество примеров, ибо, по-моему, тот, кто захочет внимательно понаблюдать за обычным поведением живущих среди нас животных, убедится, что они совершают не менее поразительные действия, чем те, которые можно встретить в давние времена и в далеких странах. Повсюду мы имеем дело с одной и той же природой. Кто достаточно разбирается в этом сейчас, сумеет сделать твердые выводы на этот счет для прошлого и будущего.

Мне как-то довелось видеть людей, привезенных к нам из дальних заморских стран. Кто из нас не называл их грубыми дикарями единственно лишь потому, что мы не понимали их языка и что по своему виду, поведению и одежде они были совершенно не похожи на нас? Кто из нас не считал их тупыми и глупыми по той причине, что они молчали, не зная французского языка, не будучи знакомы с нашей манерой здороваться и извиваться в поклонах, с нашей осанкой и поступью, которые, конечно же, должен взять себе за образец весь род людской.

Мы осуждаем все, что нам кажется странным и чего мы не понимаем; то же самое относится и к нашим суждениям о животных. Животные обладают некоторыми способностями, соответствующими нашим, и об этих способностях мы можем догадываться, сравнивая их с нашими, но мы ничего не знаем об их отличительных особенностях. Лошади, собаки, быки, овцы, птицы и наибольшая часть прирученных животных узнают человеческий голос и повинуются ему. Так было еще с муреной Красса, которая выплывала на его зов, так же ведут себя угри в источнике Аретусы [109]. Мне пришлось видеть водоемы, где рыбы по зову смотрителей выплывали за кормом:

nomen habent, et ad magistri
Vocem quisque sui venit citatus *.

Мы способны понять это. Можно также утверждать, что у слонов есть нечто вроде религии [111]; так, мы видим, что в определенные часы дня они после разных омовений поднимают хобот, подобно тому как мы воздеваем к небу руки, и, устремив взор к восходящему солнцу, надолго погружаются в созерцание и размышление. Все это они проделывают по собственному побуждению, без всякой выучки и наставления. Мы не можем утверждать, что у них нет религии, на том лишь основании, что мы не наблюдаем ничего подобного у других животных, ибо не можем судить о том, что от нас скрыто. Мы видим, например, нечто похожее на наши действия в том явлении, которое наблюдал философ Клеанф [112]. Он рассказывал, что видел муравьев, отправившихся из своего муравейника к другому, неся на себе мертвого муравья. Множество других муравьев

* Они имеют имена, и каждая из них является на зов своего господина [110] (*лат.*).

вышло им навстречу из того другого муравейника, как бы для переговоров с ними. Постояв некоторое время вместе, вторая партия муравьев вернулась к себе, чтобы посовещаться и обдумать положение вместе со своими товарищами; они проделали этот путь два или три раза, по-видимому, потому, что трудно было договориться. Наконец, вторая партия муравьев принесла первой червя из своего гнезда, как бы в виде выкупа за убитого; тогда первая партия муравьев взвалила на плечи червя и унесла его к себе, оставив второй партии труп муравья. Таково истолкование, которое дал этому явлению Клеанф, признав тем самым, что хотя животные и лишены речи, они все же способны к взаимному общению и сношениям. А мы, которые не в состоянии проникнуть в сущность этого общения, беремся — как это ни глупо — судить об их действиях.

Впрочем, они совершают еще множество других действий, во много раз превосходящих наши способности; мы не в состоянии ни воспроизвести их путем подражания, ни даже понять их усилием нашего воображения. Многие считают, что в том великом последнем морском сражении, в котором Антоний был разбит Августом[113], корабль Антония был на полном ходу остановлен маленькой рыбкой, которую римляне называли remora по той причине, что она обладает способностью останавливать всякий корабль, присосавшись к нему. Когда император Калигула плыл с большим флотом вдоль побережья Романьи, именно его галера была внезапно остановлена этой же рыбкой. Несмотря на свои малые размеры, она способна была справляться с морем, с ветрами и гребцами любой силы, лишь присосавшись пастью к галере (это рыбка, живущая в раковине). Разгневанный император приказал достать ее со дна своего корабля и не без основания был весьма поражен, увидев — когда ему ее принесли,— что, находясь на корабле, она совсем не имела той силы, которой обладала в море. Некий житель Кизика[114] следующим образом приобрел славу хорошего математика. Наблюдая поведение ежа, нора которого с нескольких сторон была открыта для ветров различных направлений, он заметил, что, предвидя, какой подует ветер, еж принимался законопачивать свою нору с соответствующей стороны. Сделав это наблюдение, житель Кизика стал давать своему городу верные предсказания об ожидаемом направлении ветра. Хамелеон принимает окраску того места, где он обитает; осьминог же сам придает себе нужную ему в зависимости от обстоятельств окраску, например, желая укрыться от того, кого он боится, или поймать то, что он ищет. Для хамелеона это пассивная перемена, между тем как у осьминога она активная. При испуге, гневе, стыде и в других состояниях мы меняемся в лице, но эта перемена происходит независимо от нас, пассивно, так же как и у хамелеона; во время желтухи мы желтеем, но эта желтизна отнюдь не зависит от нашей воли. Бóльшие возможности по сравнению с человеком, которыми обладают некоторые животные свидетельствуют о том, что им присуща некая высшая, скрытая от нас способность; весьма вероятно, что мы не знаем еще многих других их способностей и свойств, проявления которых нам недоступны.

Самыми древними и самыми верными из всех тех предсказаний, которые делались в прошлые времена, были предсказания по полету птиц. Есть ли в нас что-либо похожее или столь замечательное? Правильность и закономерность взмахов их крыльев, по которым судят о предстоящих вещах,— эти замечательные действия должны направляться каким-то изумительным способом, ибо приписывать эту выдающуюся способность какому-то естественному велению, не связывая его ни с разумом, ни с пониманием, ни с волей того, кто производит эти движения,— точка зрения, лишенная смысла и несомненно ложная. Доказательством этого может служить пример ската [115], который обладает способностью усыплять не только части тела, прикасающиеся к нему непосредственно, но и приводить в какое-то оцепенение руки тех, кто тащит и направляет сети; более того, рассказывают, что если полить его сверху водой, то эта его усыпляющая сила, поднимаясь сквозь воду, достигает рук. Это — поразительная способность и весьма полезная для ската: он ощущает ее и пользуется ею; так, стремясь поймать выслеживаемую им добычу, он зарывается в ил, так, чтобы другие рыбы оказывались над ним, и тогда, пораженные этим оцепенением, они попадают к нему в пасть. Журавли, ласточки и другие перелетные птицы отчетливо сознают свою способность угадывать будущее и применяют ее на деле. Охотники уверяют, что если из нескольких щенят хотят выбрать самого лучшего, то следует предоставить выбор их матке; так, если вытащить щенят из их конуры, то тот, кого мать первым спрячет туда обратно, и есть самый лучший, или если сделать вид, что конура со всех сторон охвачена пламенем, то лучшим будет тот щенок, к которому матка прежде всего кинется на помощь. Отсюда следует, что у собак есть способность угадывать будущее, которою мы не обладаем, или что у них есть какая-то иная и более верная, чем у нас, способность судить о своих детенышах.

Животные производят на свет детенышей, кормят их, учат их двигаться и действовать совсем так же, как люди; они живут и умирают так же, как и мы; таким образом, то, что мы отказываем животным в некоторых движущих стимулах и приписываем себе высшие по сравнению с ними способности, никак не может основываться на превосходстве нашего разума. Для укрепления нашего здоровья врачи предлагают нам жить по образу и по примеру животных, недаром с давних пор в народе говорят:

Ноги и голову теплей укрывай,
А во всем остальном — зверям подражай.

Размножение есть главнейшее проявление нашей плотской природы, и известные особенности в расположении наших органов делают нас более приспособленными для этого. Однако некоторые утверждают, что лучше для нас было бы подражать здесь позе зверей, как более соответствующей преследуемой цели:

more ferarum
Quadrupedumque magis ritu, plerumque putantur

Concipere uxores, qui sic loca sumere possunt,
Pectoribus positis, sublatis femina lumbis *.

И они считают вредными те бесстыдные и распущенные движения, которые женщины сами уже добавили от себя, рекомендуя женщинам вернуться к образу действий и поведению самок животных, более умеренному и скромному:

Nam mulier prohibet se concipere atque repugnat,
Clunibus ipsa viri Venerem si laeta retractat,
Atque exossato ciet omni pectore fluctus.
Eiicit enim sulcum recta regione viaque
Vomeris, atque locis avertit seminis ictum **.

Если справедливость заключается в том, чтобы воздавать каждому по заслугам, то надо признать, что животные, которые служат своим благодетелям, любят и защищают их, а на чужих и на тех, кто обижает их хозяев, набрасываются, преследуя их, обладают чувством, похожим на наше чувство справедливости. Животные обнаруживают строжайшую справедливость и при распределении пищи между своими детенышами. Что касается дружбы, то в ней животные проявляют несравненно больше постоянства и глубины, чем люди. Собака царя Лисимаха [118], Гиркан, когда ее хозяин умер, упорно не отходила от его ложа, отказываясь от пищи и питья, а когда тело царя предавали сожжению, бросилась в огонь и сгорела. Так же поступила и собака некоего Пирра: с момента смерти своего хозяина она лежала неподвижно на его ложе, а когда тело унесли, она с трудом поднялась и бросилась в костер, на котором его сжигали. Есть некоторые сердечные склонности, иногда возникающие в нас без ведома разума в силу какого-то невольного порыва, именуемого некоторыми симпатией. Животные, как и мы, способны на такие чувства. Так, например, лошади проникаются столь сильной привязанностью друг к другу, что нам бывает нелегко разлучить их и заставить служить врозь; нередко мы наблюдаем, что лошадей, словно к определенному лицу, влечет к определенной масти их сотоварища, и всюду, где бы ни повстречалась им лошадь такой масти, они тотчас же дружески и с радостью к ней устремляются, а ко всякой другой масти относятся с ненавистью и отвращением. Животные, как и мы, разборчивы в любви и выбирают, подобно нам, себе самок; они также не чужды ревности или бурных и неутолимых желаний.

Вожделения бывают либо естественные и необходимые, как, например, голод или жажда; либо естественные, но не необходимые, как, например,

* Многие полагают, что супруги должны были бы зачинать по способу четвероногих зверей, ибо семя лучше доходит до цели, когда грудь опущена вниз, а чресла приподняты [116] (*лат.*).

** Женщина задерживает зачатие и препятствует ему, если, охваченная похотью, она отклоняется от мужчины и возбуждает его гибкими движениями своего тела, ибо этим она сворачивает лемех с его прямого пути и мешает семени попасть в должное место [117] (*лат.*).

половое общение; либо и не естественные и не необходимые: таковы почти все человеческие вожделения, которые и искусственны и излишни. В самом деле, поразительно, как немного человеку нужно для его подлинного удовлетворения и как мало природа оставила нам такого, чего еще можно пожелать. Обильные кушанья, изготовляемые в наших кухнях, не опровергают установленного ею порядка. Стоики утверждают, что человеку достаточно для пропитания одной маслины в день. Изысканные вина, которые мы пьем, не имеют ничего общего с предписаниями природы, так же как и прихоти наших плотских желаний:

neque illa
Magno prognatum deposcit consule cunnum *.

У нас так много искусственных вожделений, порожденных нашим непониманием того, что есть благо, и нашими ложными понятиями, что они оттесняют почти все наши естественные вожделения; получается так, как если бы в каком-нибудь городе оказалось такое большое число иностранцев, что они совсем вытеснили туземцев или лишили их прежней власти, завладев ею полностью. Животные гораздо более умеренны, чем мы, и держатся в пределах, поставленных природой, но и у них иногда можно отметить некоторое сходство с нашей склонностью к излишествам. Подобно тому как неистовые вожделения толкали иногда людей к сожительству с животными, точно так же и животные иногда влюбляются в людей и бывают преисполнены неестественной нежности то к одному существу, то к другому. Примером может служить слон, соперник Аристофана Грамматика [120], влюбившийся в юную цветочницу в городе Александрии; он расточал ей знаки внимания страстного поклонника, ни в чем не уступая Аристофану: так, прогуливаясь по рынку, где продавались фрукты, он хватал их своим хоботом и подносил ей; он старался не упускать ее из вида и иногда клал ей на грудь свой хобот, стараясь прикоснуться к ее соскам. Рассказывают также о драконе, влюбленном в молодую девушку, о гусе, пленившемся ребенком в городе Асопе, и об одном баране, поклоннике музыкантши Главки; а как часто можно видеть обезьян, страстно влюбленных в женщин. Встречаются также животные, предающиеся однополой любви. Оппиан [121] и другие авторы приводят примеры, свидетельствующие об уважении животных к браку, о том, что они не сожительствуют со своими детьми; однако наблюдения показывают обратное:

nec habetur turpe iuvencae
Ferre patrem tergo; fit equo sua filia conjux;
Quasque creavit init pecudes caper, ipsaque, cuius
Semine concepta est, ex illo concipit ales **.

---

* Ей не требуется дочь великого консула [119] (*лат.*).

** Телка без стыда отдается своему отцу, а жеребцу — дочь; козел сочетается с им же созданными козами, и птицы — с тем, кем они были зачаты [122] (*лат.*).

Что касается хитрости, то можно ли найти более яркое проявление ее, чем случай с мулом философа Фалеса [123]? Переходя через реку и будучи нагружен солью, он случайно споткнулся, вследствие чего навьюченные на него мешки промокли насквозь. Заметив, что благодаря растворившейся соли поклажа его стала значительно легче, он с тех пор, как только на пути его попадался ручей, тотчас же погружался в него со своей ношей; он проделывал это до тех пор, пока его хозяин не обнаружил его хитрость и не приказал нагрузить его шерстью. Потерпев неудачу, мул перестал прибегать к своей хитрости. Многие животные простодушно подражают нашей жадности: действительно, мы видим, как они крайне озабочены тем, чтобы захватить все, что можно тщательно спрятать, хотя бы это были вещи, для них бесполезные.

Что касается хозяйственности, то животные превосходят нас не только в умении собирать и делать запасы на будущее, но им известны необходимые для этого сведения из области домоводства. Так, например, когда муравьи замечают, что хранимые ими зерна и семена начинают сыреть и отдавать затхлостью, они раскладывают их на воздухе для проветривания, освежения и просушки, опасаясь, как бы они не испортились и не стали гнить. Но особенно замечательно, с какой предусмотрительностью и предосторожностью они обращаются с семенами пшеницы, далеко превосходя в этом отношении нашу заботливость. Ввиду того что зерна пшеницы не остаются навсегда сухими и твердыми, с течением времени увлажняются и размягчаются, готовясь прорасти, муравьи из страха лишиться сделанных ими запасов отгрызают кончик зерна, из которого обычно выходят ростки [124].

Что касается войн, которые принято считать самым выдающимся и достославным человеческим деянием, то я хотел бы знать, должны ли они служить доказательством некоего превосходства человека, или наоборот, показателем нашей глупости и несовершенства? Животным поистине не приходится жалеть о том, что им неизвестна эта наука уничтожать и убивать друг друга и губить свой собственный род [125]:

quando leoni
Fortior eripuit vitam leo? quo memore unquam
Expiravit aper maioris dentibus apri? *

Не всем, однако, животным неведомы войны: примером тому служат яростные сражения пчел и столкновения предводителей их армий:

saepe duobus
Regibus incessit magno discordia motu
Continuoque animos vulgi et trepidantia bello
Corda licet longe praesciscere **.

* Разве более сильный лев убивал когда-нибудь льва послабее? Разве видели когда-нибудь кабана, издыхающего от удара клыков кабана посильнее? [126] (*лат.*).

** Часто между двумя царями возникает ожесточенная распря; тогда нетрудно предвидеть, что начнется волнение в народе и в сердцах вспыхнет воинственное одушевление [127] (*лат.*).

Всегда, когда я читаю это изумительное описание войны, я не могу отделаться от представления, что передо мною картина человеческой глупости и суетности [128]. И впрямь поразительно, какими ничтожными причинами вызываются жестокие войны, наполняющие нас страхом и ужасом, этот ураган звуков и криков, эта устрашающая лавина вооруженных полчищ, это воплощение ярости, пыла и отваги:

Fulgur ibi ad caelum se tollit, totaque circum
Aere renidescit tellus, subterque virum vi
Excitur pedibus sonitus, clamoreque montes
Icti reiectant voces ad sidera mundi *.

И улаживаются эти раздоры благодаря столь ничтожным случайностям:

Paridis propter narratur amorem
Graecia barbariae diro collisa duello **;

вся Азия, говорят, была разорена и опустошена в результате войн из-за распутства Париса. В основе того великого разрушения, каким является война, часто лежит прихоть одного человека; войны нередко ведутся из-за какой-нибудь причиненной ему обиды, либо ради его удовлетворения, либо из-за какой-нибудь семейной распри, то есть по причинам, не стоящим выеденного яйца. Послушаем, что говорят на этот счет те, кто сами являются главными зачинщиками и поджигателями их; выслушаем самого крупного, самого могущественного и самого победоносного из всех живших на земле императоров [131], который, словно играя, затевал множество опасных сражений на суше и на море, из-за которого лилась кровь и ставилась на карту жизнь полумиллиона человек, связанных с его судьбой, и ради предприятий которого расточались силы и средства обеих частей света:

Quod futuit Glaphyran Antonius, hanc mihi poenam
    Fulvia constituit, se quoque uti futuam.
Fulviam ego ut futuam? Quid, si me Manius oret
    Paedicem, faciam? Non puto, si sapiam.
Aut futue, aut pugnemus, ait. Quid, quod mihi vita
    Carior est ipsa mentula? Signa canant ***.

---

* Блеск от оружия возносится к небу; земля всюду кругом сверкает медью и гулко содрогается от тяжкой поступи пехоты; потрясенные криками горы отбрасывают голоса к небесным светилам [129] (*лат.*).

** Рассказывают, что из-за страсти Париса греки столкнулись в жестокой войне с варварами [130] (*лат.*).

*** Оттого только, что Антоний забавлялся с Глафирой, Фульвия хочет принудить меня к любви к ней? Чтобы я стал с ней забавляться? Как! Если Маний станет просить меня, чтоб я уступил? Соглашусь я? И не подумаю! Мне говорят: Люби меня, или же будем сражаться,— Как! Чтобы я больше дорожил своей жизнью, чем своей мужской силой? Трубите, трубы! [132] (*лат.*).

(Пользуясь Вашим любезным разрешением, я злоупотребляю латинскими цитатами[133].) А между тем этот многоликий великан, который как бы сотрясает небо и землю,—

Quam multi Libyco volvuntur marmore fluctus,
Saevus ubi Orion hybernis conditur undis,
Vel cum sole novo densae torrentur aristae,
Aut Hermi campo, aut Lyciae flaventibus arvis,
Scuta sonant, pulsuque pedum conterrita tellus *.

Это страшное чудовище о стольких головах и руках — всего лишь злополучный, слабый и жалкий человек. Это — всего лишь потревоженный и разворошенный муравейник:

It nigrum campis agmen **.

Достаточно одного порыва противного ветра, крика ворона, неверного шага лошади, случайного полета орла, какого-нибудь сна, знака или звука голоса, какого-нибудь утреннего тумана, чтобы сбить его с ног и свалить на землю. Одного солнечного луча достаточно, чтобы сжечь и уничтожить его; достаточно бросить ему немного пыли в глаза (или напустить пчел, как мы читаем у нашего поэта[136]) — и сразу все наши легионы даже с великим полководцем Помпеем во главе будут смяты и разбиты наголову. Ведь именно против Помпея, как мне помнится, Серторий применил эту проделку в Испании, чтобы разбить его прекрасную армию, и эта же военная хитрость впоследствии сослужила службу и другим, например Евмену против Антигона или Сурене против Красса[137]:

Hi motus animorum atque haec certamina tanta
Pulveris exigui iactu compressa quiescunt ***.

Да и сейчас, если напустить на толпу людей рой пчел, он рассеет ее. В недавние времена, когда португальцы осаждали город Тамли в княжестве Шьятиме[139], жители города поставили на крепостных стенах множество ульев, которые у них имелись в изобилии. Приготовившись, они быстро выпустили пчел на неприятельскую армию, которая тотчас же обратилась в бегство, ибо солдаты не в состоянии были справиться с жалившими их пчелами. Так с помощью этого необычайного средства город одержал победу над португальцами и сохранил свою свободу.

Души императоров и сапожников скроены на один и тот же манер[140]. Наблюдая, с каким важным видом и торжественностью действуют государи, мы воображаем, что их действия вызываются столь же важными и

* Как неисчислимые валы, бушующие на побережье Ливии, когда грозный Орион скрывается в зимних волнах; как густые колосья, зреющие под взошедшим солнцем или на лидийских лугах или на полях Ликии,— стонут щиты и земля сотрясается под топотом ног[134] (*лат.*).

** Черный строй идет полем[135] (*лат.*).

*** Эти душевные волнения и все такие сражения стихают, подавленные горстью пыли[138] (*лат.*).

вескими причинами. Но мы ошибаемся, ибо на самом деле они руководствуются в своих действиях теми же побуждениями, что и мы. Тот же повод, который вызывает ссору между мной и моим соседом, вызывает войну между государями; та же причина, по которой кто-нибудь бьет слугу, может побудить государя опустошить целую область. Государи столь же непостоянны в своих желаниях, как и мы, но у них больше возможностей. У слона и у клеща одни и те же побуждения.

Что касается верности, то нет в мире такого животного, которое можно было бы упрекнуть в неверности по отношению к человеку. Из истории известно много случаев, когда собаки разумно выясняли причину смерти хозяев. Царь Пирр [141], увидев однажды собаку, сторожившую покойника, и узнав, что она выполняет эту обязанность уже три дня, приказал похоронить труп и насильно увести собаку. Однажды, когда он производил осмотр своих войск, эта собака, увидев убийц своего хозяина, с яростным лаем набросилась на них, чем способствовала раскрытию убийства, виновники которого понесли должное наказание. То же самое сделала собака мудрого Гесиода [142], указавшая детям Ганистора из Навпакта на того, кто был виновником убийства ее господина. Другая собака, охранявшая храм в Афинах, заметила вора-святотатца, похитившего самые ценные его сокровища, и стала на него изо всех сил лаять. Так как сторожа храма не проснулись от ее лая, она по пятам пошла за вором, а когда рассвело, стала держаться от вора подальше, не теряя, однако, его из вида. Она отказывалась от пищи, если он предлагал ей, другим же прохожим приветливо махала хвостом и брала у них из рук еду, которую ей давали; если вор делал привал, чтобы поспать, она останавливалась в том же месте. Когда весть об этой собаке дошла до сторожей храма, они принялись ее разыскивать, расспрашивая о ее породе, и наконец нашли ее в городе Кромионе вместе с вором; они препроводили последнего в Афины, где он и был наказан. Кроме того, судьи, желая наградить собаку за оказанную услугу, распорядились, чтобы ей отпускалась на общественный счет определенная порция хлеба, причем жрецы обязаны были следить за этим. Об этом случае, как о достоверном, происшедшем на его памяти, сообщает Плутарх [143].

Что касается благодарности животных (ибо мне кажется, что это слово вполне применимо к ним), то достаточно привести один пример, о котором сообщает Апион и свидетелем которого он был [144]. Однажды, рассказывает он, когда в Риме для народного увеселения был устроен бой редких зверей, главным образом львов необыкновенной величины, среди них особенно привлек общее внимание один лев, выделявшийся своим свирепым видом, силой, огромными размерами и грозным рычанием. Среди рабов, которые были выбраны для сражения с этими львами, находился некий Андрод, родом из Дакии, принадлежавший одному римскому вельможе, имевшему звание консула. Названный лев, издали увидев Андрода, внезапно остановился и словно замер от восторга. Потом он ласково, кротко и мирно приблизился к нему, как бы стараясь распознать его. Убедившись, что это был тот, кого он искал, он принялся вилять

хвостом, как это делают собаки, приветствуя своих хозяев, целовать и лизать руки и ноги этого несчастного раба, который дрожал от страха и был сам не свой. Но через некоторое время, убедившись в доброжелательности льва, Андрод собрался с духом и открыл глаза, чтобы рассмотреть его, и тут произошло нечто необыкновенное. К неописуемому удовольствию публики, лев и раб стали приветствовать и ласкать друг друга. При виде этого народ стал испускать радостные крики, приветствовать это зрелище. Тогда император велел позвать раба и приказал ему объяснить причину такого странного происшествия. В ответ на это раб рассказал следующую, дотоле неизвестную и примечательную историю.

«Когда мой хозяин,— сообщил раб,— был проконсулом в Африке, он ежедневно так нещадно бил меня и обращался со мной так жестоко, что я вынужден был скрыться и бежать от него. Желая спрятаться в надежном месте от такого могущественного человека, я задумал бежать в пустынную и необитаемую часть Африки, решив, что если не найду там пропитания, то уж как-нибудь сумею покончить с собой. Солнце в тех краях жгло необычайно, жара стояла невыносимая, и потому, увидев укромную и недоступную пещеру, я поспешил спрятаться в нее. Некоторое время спустя в пещеру явился этот самый лев с окровавленной лапой, стонавший и изнывавший от боли. Его появление сильно испугало меня, но он, увидев, что я забился в угол логова, кротко приблизился ко мне, протягивая мне свою раненую лапу и как бы моля о помощи. Несколько освоившись с ним, я вытащил у него из раны большую занозу и, массируя рану, вынул попавшую в нее грязь и тщательно прочистил и вытер лапу. Почувствовав сразу облегчение от мучившей его боли, лев заснул, продолжая, однако, держать свою лапу в моих руках. С тех пор мы прожили с ним в этой пещере целых три года, питаясь одной и той же пищей: обычно он уходил на добычу и приносил мне лучшие куски от пойманных им зверей; за отсутствием огня, я жарил их на солнце и питался ими. Под конец эта грубая и дикая жизнь надоела мне, и однажды, когда лев, как обычно, отправился на охоту, я покинул пещеру и через три дня был схвачен воинами, которые доставили меня из Африки в этот город, к моему господину. Он тотчас же приговорил меня к смерти и велел отдать меня на растерзание зверям. Очевидно, вскоре после того, как я был схвачен, пойман был и этот лев, который сейчас старался отблагодарить меня за оказанное ему благодеяние — за исцеление, которое я принес ему».

Такова история, рассказанная Андродом императору, приказавшему передать ее слово в слово народу. Вслед за тем, по просьбе присутствующих, Андрод был отпущен на волю со снятием с него наказания, и сверх того, по решению народа, ему был подарен этот самый лев. С тех пор, сообщает Апион, Андрод водил на привязи своего льва, обходя с ним римские таверны и собирая монетки, которые им подавали; иногда льву бросали цветы, и он позволял украшать ими себя. Завидя их, все говорили: «Вот лев, который радушно приютил у себя в логове человека, а вот человек, вылечивший льва».

Мы часто оплакиваем смерть наших любимых животных, но и они оплакивают нас:

Post bellator equus, positis insignibus Aethon
It lacrimans, guttisque humectat grandibus ora *.

У некоторых народов существует общность жен, у других царит моногамия, то же самое наблюдается и у животных, у которых можно встретить браки, более прочные, чем у нас.

Животные также создают свои объединения для взаимопомощи, и нередко можно видеть, как быки, свиньи и другие животные всем стадом бегут на крик своего раненного товарища, спеша присоединиться к нему и защитить его. Если рыба-усач попалась на удочку рыболова, то ее товарищи собираются стаей вокруг нее и перегрызают лесу; если же кто-нибудь из них попадет в сеть, то остальные вытаскивают наружу его хвост и, впившись в него зубами, вытягивают товарища и увлекают его с собой. Усачи; когда один из них оказывается пойман, поддевают леску спиной, которая у них имеет зазубрины, как пила, и с ее помощью перепиливают и перерезают леску.

Что касается отдельных оказываемых нами друг другу услуг, то подобные примеры можно встретить и у животных. Рассказывают, что кит никогда не плавает один, а всегда следует за похожей на пескаря и плывущей впереди его маленькой рыбкой, которую поэтому называют лоцманом. Кит плывет за ней и позволяет ей управлять собой, как руль управляет кораблем; в довершение всего кит, который сразу же проглатывает все, что пападает ему в пасть,— любое животное или даже целую лодку,— вбирает в свою пасть эту маленькую рыбку и держит там, не причиняя ей никакого вреда. Когда она спит у него в пасти, кит не шелохнется, а как только она выскальзывает оттуда, он тотчас же следует за ней; если же случайно она отплывет от него куда-нибудь в сторону, он начинает блуждать, натыкаясь на скалы, как корабль, потерявший управление. Плутарх рассказывает, что наблюдал это на острове Антикире [146]. Такой же союз существует между маленькой птичкой, называемой корольком, и крокодилом. Она служит этому огромному животному сторожем, и если ихневмон, враг крокодила, приближается к нему, желая с ним сразиться, то боясь, чтобы он не застиг крокодила спящим, она начинает петь и клевать его, стараясь разбудить и предупредить об опасности. Она питается остатками пищи этого чудовища, которое охотно пропускает ее к себе в пасть и позволяет ей клевать и выискивать маленькие кусочки мяса, застрявшие у него между челюстями и зубами; если же крокодил хочет закрыть свою пасть, то он предупреждает ее об этом, смыкая челюсти мало-помалу и не причиняя ей вреда. Раковина, обычно называемая перламутром, живет таким же образом с небольшим животным вроде краба, который служит ей сторожем и привратником, ибо он помещается у

---

* Далее, плача, идет невзнузданный боевой конь, Этон, и крупные слезы текут по его морде [145] (*лат.*).

входа в раковину и держит ее всегда приоткрытой до тех пор, пока в нее не заберется какая-нибудь рыбешка, годная им обоим в пищу. Тогда он залезает в раковину и, пощипывая ее, заставляет плотно закрыться, после чего они съедают свою добычу [147].

Образ жизни тунцов свидетельствует о том, что они по-своему знакомы с тремя разделами математики. Что касается астрономии, то можно сказать, что они обучают ей людей: действительно, они останавливаются в том месте, где их застает зимнее солнцестояние, и остаются здесь до следующего равноденствия; вот почему даже Аристотель охотно признает за ними знакомство с этой наукой. Что касается геометрии и арифметики, то они всегда составляют косяк кубической формы, во всех направлениях квадратный, и образуют плотное тело, замкнутое и со всех сторон окруженное шестью равными гранями; после чего они плавают в таком квадратном распорядке, в виде косяка, имеющего одинаковую ширину сзади и спереди, так что завидевшему косяк и сосчитавшему число рыб в одном ряду, нетрудно установить численность всего косяка, ибо глубина его равна ширине, а ширина — длине [148].

Красноречивым проявлением гордости у животных может служить история, приключившаяся с огромным псом, присланным царю Александру из Индии [149]. Ему сначала предложили сразиться с оленем, потом с кабаном, затем с медведем, но пес не удостоил их внимания и даже не двинулся с места. Лишь увидев перед собой льва, от тотчас же поднялся на ноги, ясно показывая этим, что его достоинство позволяет ему сразиться только со львом.

Что касается раскаяния и признания своих ошибок, то об одном слоне, убившем в пылу гнева своего сторожа, рассказывают, что от огорчения он перестал принимать пищу и этим уморил себя [150].

Не чуждо животным и великодушие. Об одном тигре — а тигр ведь самое свирепое животное — рассказывают, что когда ему дали в пищу молодую козочку, он целых два дня голодал, щадя ее. На третий день он разбил клетку, в которую был заключен, и отправился искать себе другую добычу, не желая трогать козочки, своего ближнего и гостя [151].

Что касается близости и согласия, которые устанавливаются между животными благодаря общению, то мы часто видим, что кошки, собаки и зайцы привыкают друг к другу и живут вместе. Но то, что приходится наблюдать мореплавателям, особенно плывущим вдоль берегов Сицилии, превосходит всякое человеческое воображение. Я говорю об алкионах. Какому еще виду животных природа оказала столько внимания при родах и появлении на свет потомства? Поэты утверждают, что один из плавучих Делосских островов укрепился и стал неподвижным, чтобы Латона [152] могла на нем разрешиться от бремени. Но богу было угодно, чтобы все море было неподвижно и гладко, чтобы на нем царило безветрие и не было ни малейшего волнения и никакого дождя в день, когда алкион порождает свое потомство, что приходится как раз в зимнее солнцестояние, то есть в самый короткий день в году; благодаря этой милости, оказываемой алкионам, мы можем в разгар зимы в течение семи

суток плавать в безопасности. Их самки не признают никаких других самцов, кроме своей же породы, они проводят с ними всю жизнь, никогда не покидая их; если же случается, что самец становится слабосильным и дряхлеет, они взваливают его себе на плечи, повсюду носят с собой и заботятся о нем до самой смерти. Никто еще до настоящего времени не в состоянии был ни постигнуть то изумительное искусство, с каким алкион устраивает гнездо для своего потомства, ни разгадать, из чего он его делает. Плутарх[153], который видел и обследовал собственными руками многие из них, полагает, что это кости какой-то рыбы, которые алкион как-то соединяет и связывает между собой, располагая одни из них вдоль, другие — поперек и устраивая ложбинки и углубления, так что под конец образуется круглое, способное плавать суденышко; закончив это сооружение, алкион испытывает его с помощью морского прибоя; поместив его туда, где волны ударяют слабо, он узнает, что̀ в этом суденышке необходимо еще починить и в каких местах его нужно еще лучше укрепить, чтобы оно не распадалось от ударов волн. Во время этого испытания все части, которые в суденышке хорошо прилажены, от ударов морских волн пристают друг к другу еще тесней и смыкаются так плотно, что оно не может ни разломаться, ни распасться, и только в редких случаях может пострадать, наткнувшись на камень или кусок железа. Нельзя, кроме того, не восхищаться формой и пропорциями внутреннего устройства этого сооружения: действительно, оно сделано и рассчитано так, что в нем не может поместиться никакая другая птица, кроме той, которая его построила, ибо оно закрыто и никакое постороннее тело, за исключением морской воды, не в состоянии в него проникнуть. Вот к чему сводится очень ясное описание этого сооружения, взятое из хорошего источника, и тем не менее мне все же представляется, что оно недостаточно разъясняет нам всю сложность этой постройки. Какого же безмерного самомнения должны мы быть преисполнены, чтобы отзываться с презрением о действиях, которых мы не в состоянии ни понять, ни воспроизвести, и ставить их ниже наших?

Но продолжим это сопоставление ценности и соответствия наших способностей способностям животных и перейдем к той привилегии, которой особенно гордится наша душа, а именно к уменью мыслить бестелесно все то, что она постигает, и воспринимать все, что до нее доходит лишенным тленных и материальных качеств. Этим она освобождает предметы, которые считает достойными соприкосновения с нею, от их тленных свойств, отбрасывая их, как низменные и ненужные оболочки,— от таких свойств, как толщина, длина, глубина, вес, цвет, запах, шероховатость, гладкость, твердость, мягкость и все другие чувственные качества,— с тем чтобы они соответствовали ее бессмертной и духовной сущности. Так, например, я мыслю в душе моей Рим или Париж, представляя их себе без их размеров и местоположения, без камней, известки и дерева, из которых они построены.

Но ведь такая привилегия присуща и животным. В самом деле, когда мы видим, что конь, привыкший к звукам труб, к стрельбе и грохоту

боя, лежа и дремля на лужайке, вдруг вздрагивает и начинает трепетать во сне, словно бы он находился на поле сражения, ясно, что он мысленно представляет себе бой барабана, но бесшумный, и войско, но бесплотное и безоружное:

Quippe videbis equos fortes, cum membra iacebunt
In somnis, sudare tamen spirareque saepe,
Et quasi de palma summas contendere viris *.

Заяц, которого борзая видит во сне, за которым она во сне гонится, распустив хвост по ветру, сгибая, как при беге, колени и выделывая безукоризненно все те движения, которые мы наблюдаем у нее при преследовании зайца,— это заяц без шерсти и без костей:

Venantumque canes in molli saepe quiete
Iactant crura tamen subito, vocesque repente
Mittunt, et crebras reducunt naribus auras,
Ut vestigia si teneant inventa ferarum.
Experge factique sequuntur inania saepe
Cervorum simulacra, fugae quasi dedita cernant:
Donec discussis redeant erroribus ad se **.

Нередко приходится наблюдать, как сторожевые псы рычат во сне, потом вдруг, громко тявкнув, внезапно просыпаются и вскакивают, словно бы они заметили приближение кого-то чужого; этот чужак, который им привиделся,— человек бесплотный, неосязаемый, лишенный объема, цвета и плоти:

At consueta domi catulorum blanda propago
Degere, saepe levem ex oculis volucremque saporem
Discutere, et corpus de terra corripere instant,
Proinde quasi ignotas facies atque ora tuantur ***.

Что касается телесной красоты, то, прежде чем перейти к дальнейшему, я хотел бы знать, есть ли между нами согласие в определении ее. Похоже на то, что мы не знаем, что такое природная красота и красота вообще, ибо приписываем человеческой красоте самые различные черты, а между тем, если бы существовало какое-нибудь естественное представление о ней, мы все узнавали бы ее так же, как мы узнаем жар, исходя-

---

* Можно наблюдать, как быстрые кони, в то время как тело их отдыхает, погруженное в сон, вдруг начинают покрываться испариной, учащенно дышать и напрягать все силы, как если бы дело шло о завоевании пальмы первенства в беге [154] (*лат.*).

** Часто охотничьи собаки, погруженные в спокойную дремоту, вдруг или вскакивают на ноги, или внезапно начинают лаять, нюхая воздух кругом, как если бы они напали на след зверя. Иногда, даже проснувшись, они продолжают преследовать призрак якобы убегающего оленя до тех пор, пока обман не рассеется и они не придут в себя [155] (*лат.*).

*** Часто привыкшие к хозяйскому дому ласковые щенята, стряхнув с себя легкий сон, внезапно поднимаются с земли, словно они увидели незнакомые лица [156] (*лат.*).

щий от огня. Но каждый из нас рисует себе красоту по-своему:

Turpis Romano Belgicus ore color *.

Индийцы изображают красавиц [158] черными и смуглыми, с широкими и плоскими носами, пухлыми и оттопыренными губами, с толстыми золотыми кольцами, продетыми через нос и свисающими до рта, а также с широкими кольцами, украшенными камнями и продетыми через нижнюю губу и свешивающимися над подбородком; при этом особенно привлекательным у них считается оскалить зубы до самых десен. В Перу наиболее красивыми считаются самые длинные уши, и перуанцы искусственно вытягивают их до предела, а некий наш современник сообщает [159], что у одного восточного народа придается такое большое значение этому увеличению размеров ушей и украшению их тяжелыми драгоценностями, что он мог продеть свою руку в перчатке через отверстие их ушной мочки.

Некоторые народы тщательно красят зубы в черный цвет и с презрением относятся к белым зубам [160], в других местах зубы красят в красный цвет. Не только в стране басков, но и во многих других местах красивыми считаются женщины с бритыми головами; поразительно, что такое мнение, как утверждает Плиний [161], распространено и в некоторых областях на крайнем севере. У мексиканок считается красивым низкий лоб, поэтому они отращивают волосы на лбу и прикрывают ими лоб, но бреют волосы на всех остальных частях тела; у них так ценятся большие груди, что они стараются кормить своих младенцев, забрасывая груди за плечи [162]. У нас это считалось бы уродством. Итальянцы изображают грудь крепкой и пышной, испанцы — тощей и дряблой; у нас же одни изображают ее белой, другие — смуглой, одни — мягкой и нежной, другие — крепкой и сильной, одни требуют от нее грации и нежности, другие — больших размеров и силы. Сходным образом Платон считал [163] самой совершенной по красоте шаровидную форму, а эпикурейцы — пирамидальную или квадратную, и не могли представить себе бога в виде шара.

Как бы то ни было, природа не наделила нас бо́льшими преимуществами по сравнению с животными ни в отношении телесной красоты, ни в смысле подчинения ее общим законам. И если мы как следует понаблюдаем себя, то убедимся, что хотя и есть некоторые животные, обделенные по сравнению с нами телесной красотой, но зато есть немало и таких, которые наделены богаче, чем мы,— a multis animalibus decore vincimur **,— даже среди живущих рядом с нами, наземных; ибо что касается морских животных, то (оставляя в стороне общую форму тела, которая не может идти ни в какое сравнение с нашей, настолько она отлична) мы значительно уступаем им и в окраске, и в правильности линий, и в гладкости, и в строении, точно так же мы по всем статьям значительно уступаем птицам и другим летающим животным. То преимущество, которое так прославляют поэты, а именно наше вертикальное положение и

* Цвет лица белгов постыден для римлянина [157] (*лат.*).
** Многие животные превосходят нас красотой [164] (*лат.*).

взгляд, устремленный к небу, нашей прародине,—

> Pronaque cum spectant animalia cetera terram,
> Os homini sublime dedit, caelumque videre
> Iussit, et erectos ad sidera tollere vultus * —

есть всего лишь поэтическая метафора; ибо имеется много животных с устремленным вверх взглядом, а если взять шеи верблюда или страуса, то они еще прямее, чем у нас, и более вытянуты.

У каких животных взгляд не обращен так же, как и у нас, вверх и вперед? А разве по положению своего тела животные не обращены так же, как и человек, и к небу и к земле?

Разве многие наши телесные свойства не присущи, как показывают Платон и Цицерон, тысячам других видов животных [166]?

На нас наиболее похожи самые некрасивые и противные животные: ведь как раз обезьяны наиболее походят на нас головой и всем своим внешним видом:

> Simia quam similis, turpissima bestia, nobis **,

а по внутреннему строению и устройству органов — свиньи. Действительно, когда я мысленно представляю себе человека совершенно нагим (и именно того пола, который считается наделенным большей красотой), когда представляю себе его изъяны и недостатки, его природные несовершенства, то нахожу, что у нас больше оснований, чем у любого другого животного, прикрывать свое тело. Нам простительно подражать тем, кого природа наделила щедрее, чем нас в этом отношении, украшая себя их красотой, прятаться под тем, что мы отняли у них, и одеваться в шерсть, перья, меха и шелка.

Заметим, кроме того, что мы являемся единственным видом животных, недостатки которого неприятно поражают наших собственных собратьев, мы единственные, которым приходится скрываться при удовлетворении наших естественных потребностей. Достойно внимания, что опытные люди рекомендуют для излечения от любовной страсти увидеть безвозбранно желанное тело нагим, полагая, что для охлаждения страсти достаточно увидеть то, что любишь, в неприкрытом виде:

> Ille quod obscoenas in aperto corpore partes
> Viderat, in cursu qui fuit, haesit amor ***.

И если даже допустить, что подобное изречение высказано человеком, чрезмерно утонченным и пресыщенным, все же то обстоятельство, что привычка вызывает у нас охлаждение между супругами, является неопровержимым доказательством нашего несовершенства. То, что наши дамы не

---

* В то время как взгляд других животных устремлен долу, [бог] дал человеку высокое чело, повелев глядеть прямо в небо и подымать взор к светилам [165] (*лат.*).

** Как похожа на нас обезьяна, безобразнейшее животное [167] (*лат.*).

*** Иной, увидев обнаженными сокровенные части женского тела, вдруг остывает в своей закипавшей было страсти [168] (*лат.*).

разрешают нам входить к ним, пока они не будут одеты, причесаны и готовы показаться на люди, объясняется не столько их стыдливостью, сколько хитростью и предусмотрительностью.

Nec Veneres nostras hoc fallit; quo magis ipsae
Omnia summo opere hos vitae postscaenia celant,
Quos retinere volunt adstrictosque esse in amore *.

Между тем у многих животных нет ничего такого, чего мы не любили бы, что нам не нравилось бы; ведь известно, что некоторые наши лакомые блюда, самые лучшие духи и дорогие украшения изготовляются из их выделений или даже из экскрементов.

Эти рассуждения относятся, однако, только к обычному течению нашей жизни и не касаются — что было бы кощунством — тех божественных, сверхъестественных и необычайных красот, которые иногда, как звезды, сияют среди нас в земной и телесной оболочке.

Как бы то ни было, даже те блага природы, которыми мы, по нашему собственному признанию, наделяем животных, представляют большие преимущества. А самим себе мы либо приписываем воображаемые и фантастические блага, ожидаемые в будущем и пока что отсутствующие, блага, которые не зависят от человеческих способностей, либо же по самонадеянности нашей ложно приписываем себе такие блага, как разум, знание, честь; животным же мы отдаем в удел такие важные, реальные и ощутимые блага, как мир, покой, безопасность, простота и здоровье; подумайте, даже здоровье, которое является самым прекрасным и щедрым даром природы! Недаром философы, и даже стоики, утверждают, что если бы Гераклит и Ферекид [170] имели возможность променять свою мудрость на здоровье и избавиться путем этой сделки — один от водянки, другой от мучащей его ломоты в ногах, то они с радостью пошли бы на это. Из другого высказывания стоиков также явствует, как они расценивают мудрость, сравнивая и противопоставляя ее здоровью. Так, они утверждают, что если бы Цирцея [171] предложила Улиссу на выбор два напитка: один — превращающий глупца в мудреца, другой — превращающий мудрого в глупца, то Улисс, наверное, предпочел бы напиток глупости, лишь бы не быть превращенным в животное, и что сама мудрость должна была сказать ему так: «Оставь меня! Лучше расстанься со мной, но не вселяй меня в тело осла». Как! Неужели же философы расстаются с великой и божественной мудростью ради того, чтобы сохранить свой земной и телесный облик? Значит, мы превосходим животных не разумом, не способностью суждения и наличием души, а нашей красотой, нашим приятным цветом лица и прекрасным сложением? И оказывается, что ради этого стоит отказаться и от нашего ума, и от нашей мудрости и всего прочего?

Что ж, я согласен с этим откровенным и искренним признанием! Они несомненно знали, что эти наши преимущества, с которыми мы так носим-

* Это не тайна для наших любовниц: они усиленно прячут закулисную сторону своей жизни от тех, кого стремятся удержать в своих любовных сетях [169] (*лат.*).

ся,— чистая фантазия. Значит, если бы даже животные обладали всей добродетелью, знанием, мудростью и совершенством стоиков, они все же оставались бы животными и их нельзя было бы сравнивать даже с жалким, глупым и дурным человеком. Итак, все, что не похоже на нас, ничего не стоит. И сам бог, для того чтобы чтили его, должен, как мы сейчас покажем, походить на нас. Из этого явствует, что мы ставим себя выше других животных и исключаем себя из их числа не в силу истинного превосходства разума, а из пустого высокомерия и упрямства.

Но, возвращаясь к прерванной нити рассуждения, рассмотрим, какие блага приходятся на долю человека. Наш удел — это непостоянство, колебания, неуверенность, страдание, суеверие, забота о будущем — а значит, и об ожидающем нас после смерти,— честолюбие, жадность, ревность, зависть, необузданные, неукротимые и неистовые желания, война, ложь, вероломство, злословие и любопытство. Да, мы несомненно слишком дорого заплатили за этот пресловутый разум, которым мы так гордимся, за наше знание и способность суждения, если мы купили их ценою бесчисленных страстей, во власти которых мы постоянно находимся. Ведь нам нечего хвалиться, как справедливо указывает Сократ [172], тем замечательным преимуществом по сравнению с другими животными, что в то время как животным природа отвела для любовных утех определенные сроки и границы, человеку она предоставила в этом отношении полную свободу.

Ut vinum aegrotis, quia prodest raro, nocet saepissime, melius est non adhibere omnino, quam, spe dubiae salutis, in apertam perniciem incurrere: sic haud scio an melius fuerit humano generi motum istum celerem cogitationis, acumen, solertiam, quam rationem vocamus, quoniam pestifera sint multis, admodum paucis salutaria, non dari omnino, quam tam munifice et tam large dari *.

Какая польза была Аристотелю и Варрону [174] от того, что они обладали такими огромными познаниями? Избавило ли это их от человеческих бедствий? Были ли они благодаря этому свободны от припадков, которыми страдает какой-нибудь грузчик? Способно ли было их мышление доставить им какое-нибудь облегчение от подагры? Меньше ли были их страдания от того, что они знали, что эта болезнь гнездится в суставах? Примирились ли они со смертью, узнав, что некоторые народы встречают ее с радостью, или, например, с неверностью жен, узнав, что в некоторых странах существует общность жен? И хотя оба они были первоклассными учеными — один в Риме, а другой в Греции,— в пору наивысшего процветания наук в их странах, нам тем не менее неизвестно, чтобы они в своей жизни пользовались какими-нибудь особыми преимуществами; наоборот, Аристотелю, например, стоило немалых усилий освободиться от некоторых возведенных на него обвинений.

* Лучше вовсе запретить давать вино больным, так как оно лишь изредка помогает им, а чаще вредит, чем идти на явный риск в надежде на сомнительное исцеление; и точно так же не знаю, не лучше ли было бы совсем не давать человеческому роду той быстрой сообразительности, остроты и проницательности, которые в совокупности составляют разум и которыми мы так обильно и щедро одарены, ибо эти качества благодетельны для немногих, большинству же идут во вред [173] (*лат.*).

Было ли кем-нибудь установлено, что наслаждение и здоровье доставляют бóльшую радость тому, кто сведущ в астрологии и грамматике—

Illiterati num minus nervi rigent? *

или, что он легче переносит бедность и позор?

Scilicet et morbis et debilitate carebis
Et luctum et curam effugies, et tempora vitae
Longa tibi post haec fato meliore dabuntur **.

Я видел на своем веку сотни ремесленников и пахарей, которые были более мудры и счастливы, чем ректоры университетов, и предпочел бы походить на этих простых людей [177]. Знание, по-моему, относится к вещам, столь же необходимым в жизни, как слава, доблесть, высокое звание или же — в лучшем случае — как красота, богатство и тóму подобные качества, которые, конечно, имеют в жизни значение, но не решающее, а гораздо более отдаленное и скорее благодаря нашему воображению, чем сами по себе.

Для нашей обыденной жизни нам требуется гораздо больше правил, установлений и законов, чем журавлям и муравьям для их жизни, а между тем мы видим, что они живут по строго заведенному порядку, не имея никакого представления о науке. Если бы человек был мудр, он расценивал бы всякую вещь в зависимости от того, насколько она полезна и нужна ему в жизни.

Если судить о нас по нашим поступкам и поведению, то гораздо больше превосходных людей (имею в виду во всякого рода добродетелях) окажется среди лиц необразованных, чем среди ученых. Древний Рим, на мой взгляд, проявил больше доблести как в делах мира, так и в делах войны, чем тот ученый Рим, который сам себя погубил. Если бы во всех остальных отношениях оба эти Рима были совершенно сходны, то во всяком случае в том, что касается чистоты и нравственности, преимущество было на стороне древнего Рима, ибо эти качества как нельзя лучше вяжутся с простотой.

Но я лучше прерву здесь это рассуждение, которое могло бы завести меня слишком далеко. Добавлю только еще, что смирение и послушание отличают добродетельного человека. Нельзя предоставлять каждому человеку судить о своих обязанностях: ему следует их предписать, а не давать возможность выбирать по своему усмотрению. В противном случае мы способны по неразумию и бесконечному многообразию наших мнений прийти под конец к заключению, что мы обязаны, как выражается Эпикур [178], поедать друг друга. Первейшей заповедью, которую бог дал человеку, было беспрекословное повиновение; это было простое и ясное

* Разве мускулы невежды сокращаются хуже [175] (*лат.*).

** Значит, ты избежишь болезней и дряхлости; не будешь знать ни забот, ни печалей, и напоследок благосклонный рок наградит тебя долголетней жизнью [176] (*лат.*).

предписание; человеку не надо было ни знать ничего, ни рассуждать, поскольку повиновение есть главная обязанность разумной души, признающей верховного небесного благодетеля. Из повиновения и смирения рождаются все другие добродетели, из умствования же — все греховные помыслы. Знание было первым искушением, которым дьявол соблазнил человека, первым ядом, который мы впитали, поверив тому, что он обещал наделить нас высшим знанием и пониманием, сказав: Eritis sicut dei, scientes bonum et malum *. Ведь, согласно Гомеру [180], даже сирены, желая обмануть Улисса и завлечь его в свои гибельные и опасные воды, обещали ему в дар знание. Бич человека — это воображаемое знание. Вот почему христианская религия так настойчиво проповедует нам неведение, являющееся лучшей основой для веры и покорности: Cavete, ne quis vos decipiat per philosophiam et inanes seductiones secundum elementa mundi **.

Философы всех школ согласны в том, что высшее благо состоит в спокойствии души и тела. Но где его найдешь?

Ad summum sapiens uno minor est Iove: dives
Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum;
Praecipue sanus, nisi cum pituita molesta est ***.

Право, похоже на то, что природа, видя нашу несчастную и жалкую долю, дала нам в утешение лишь одно высокомерие. Это и утверждает Эпиктет [183], говоря: «У человека нет ничего своего, кроме мнений». Наш удел — лишь дым и пепел. Философы утверждают, что боги обладают подлинным здоровьем и воображаемыми болезнями, человек же, наоборот, подвержен подлинным болезням, а все получаемые им блага — лишь мнимые. Мы вправе гордиться силою нашего воображения, ибо все наши блага являются плодом его. Послушаем, как это жалкое и злополучное создание прославляет свое состояние: «Нет ничего прекраснее,— заявляет Цицерон [184],— занятий науками: с их помощью мы познаем бесконечное множество окружающих нас предметов, необъятность природы; они раскрывают нам небо, моря и землю; наука внушила нам веру, скромность и величие духа, она вывела нашу душу из тьмы и показала ей всякие вещи — возвышенные и низменные, первоначальные, конечные и промежуточные; наука учит нас жить хорошо и счастливо; руководясь ею, мы можем беспечально и безмятежно прожить свой век». Уж не говорит ли здесь наш автор о каком-то бессмертном и всемогущем боге? Ибо в действительности тысячи самых бесхитростных деревенских женщин прожили жизнь более мирную, счастливую и спокойную, чем наш автор.

---

* И вы будете, как боги, знающие добро и зло [179] (*лат.*).

** Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением по стихиям мира [181] (*лат.*).

*** Словом, мудрец ниже одного лишь Юпитера: он и богат, и волен, и в почете, и красив; в довершение он царь над царями, он здоров, как никто, если только не схватит насморк случайно [182] (*лат.*).

Deus ille fuit, deus, inclute Memmi,
Qui princeps vitae rationem invenit eam, quae
Nunc appellatur sapientia, quique per artem
Fluctibus e tantis vitam tantisque tenebris
In tam tranquilla et tam clara luce locavit *.

Таковы были возвышенные и прекрасные речи великого поэта, но, несмотря на эту божественную мудрость и божественные наставления, достаточно было ничтожной случайности, чтобы разум этого человека померк и стал слабее разума самого простого пастуха [186]. Тем же человеческим высокомерием проникнуто обещание, данное Демокритом в его работе [187]: «Я собираюсь судить обо всем», и чванный титул, которым наделяет нас Аристотель, именующий нас смертными божествами, а также суждение Хрисиппа, заявлявшего, что Дион был так же добродетелен, как бог. А мой Сенека признает, что бог даровал ему жизнь, но что уменье жить добродетельно исходит от него самого. Это вполне соответствует утверждению другого автора: In virtute vere gloriamur; quod non contingeret, si id donum a deo, non a nobis haberemus **. А вот еще одно суждение Сенеки [189] в том же роде: мудрец обладает мужеством, не уступающим богу, но наряду с человеческой слабостью; в этом отношении человек превосходит бога. Подобные безрассудные утверждения весьма обычны. Все мы менее возмущаемся сравнением нас с богом, чем низведением нас на положение других животных: настолько более мы печемся о своей славе, чем о славе нашего создателя!

Но необходимо ниспровергнуть это безрассудное высокомерие и разрушить те нелепые основания, на которых покоятся такого рода вздорные притязания. Пока человек будет убежден, что сам обладает какой-то силой и средствами, он никогда не признает, чем он обязан своему владыке; он, как говорится, всегда будет раздуваться в вола, и следует его несколько развенчать.

Посмотрим на каком-нибудь наглядном примере, что дала человеку его философия.

Посидоний [190], страдавший от тяжкой болезни, которая заставляла его корчиться от боли и скрежетать зубами, желая обмануть свою боль, кричал ей: «Можешь делать со мной все, что тебе угодно, но все же я не скажу, что ты — боль». Он испытывал такие же страдания, как и мой слуга, но старался, чтобы по крайней мере его язык оставался верен наставлениям его школы; однако разве это не пустые слова? Re succumbere non oportebat verbis gloriantem ***.

---

* Поистине богом, доблестный Меммий, был тот [Эпикур], кто впервые открыл ту разумную основу жизни, которую мы называем теперь мудростью; он, кто так искусно сумел ввести в жизнь на смену стольким волнениям и глубочайшему мраку полное, озаренное ярким светом спокойствие [185] (*лат.*).

** Мы по праву гордимся добродетелью: но этого никак не могло бы быть, если бы она была даром богов а не зависела от нас самих [188] (*лат.*)

*** Не следовало сдаваться на деле, если на словах был героем [191] (*лат.*).

Аркесилай[192] был измучен подагрой. Однажды, когда Карнеад пришел его навестить и, весьма огорченный, собирался уже уходить, Аркесилай позвал его и, указывая на свои ноги и грудь, сказал: «Знай, что ничего из ног не поднялось сюда». Это, конечно, было неплохо сказано: хотя Аркесилай терзался болью и рад был бы от нее избавиться, все же эта боль не сломила его сердца, не обессилила его. Посидоний, боюсь, сохранял непреклонность скорее на словах, чем на деле. А Дионисий Гераклейский[193] под влиянием мучительной болезни глаз был вынужден совсем отречься от своих стоических принципов.

Но даже если наука действительно, как утверждают философы, сглаживает и притупляет остроту испытываемых нами страданий, то не происходит ли это с еще большим успехом и более очевидным образом при отсутствии всяких знаний? Философ Пиррон[194], будучи застигнут разразившимся на море сильнейшим штормом, указал своим спутникам как на образец для подражания на спокойствие и невозмутимость находившейся с ними на корабле свиньи, которая переносила бурю без малейшего страха. Уроки, которые мы можем извлечь из философии, сводятся в конечном счете к примерам о каком-нибудь силаче или погонщике мулов, которые, как правило, несравненно меньше боятся смерти, боли и других бедствий и проявляют такую твердость, какой никогда не могла внушить наука человеку, который не был подготовлен к этому от рождения и в силу естественной привычки. Разве не благодаря своему неведению дети меньше страдают, когда делают надрезы на их нежной коже, чем взрослые? А разве лошадь по этой же причине не страдает меньше, чем человек? Сколько больных породила одна лишь сила воображения! Постоянно приходится видеть, как такие больные делают себе кровопускания, очищают желудок и пичкают себя лекарствами, стремясь исцелиться от воображаемых болезней. Когда у нас нет настоящих болезней, наука награждает нас придуманными ею. На основании изменившегося цвета лица или кожи тела у вас находят катаральный процесс; жаркая погода сулит вам лихорадку; определенный завиток линии жизни на вашей левой руке предвещает вам в ближайшем времени некое серьезное заболевание или даже полное разрушение вашего здоровья. Нельзя оставить в покое даже веселую бодрость молодости, надо убавить у нее крови и сил, чтобы они на беду как-нибудь не обратились против нее же самой. Сравните жизнь человека, находящегося во власти таких выдумок, с жизнью крестьянина, который следует своим природным склонностям, который расценивает все вещи только с точки зрения того, чего они сто́ят в данный момент, которому неведомы ни наука, ни предвещания, который болен только тогда, когда он действительно болен, в отличие от первого, у которого камни иной раз возникают раньше в душе, чем в почках, и который своим воображением предвосхищает боль и сам бежит ей навстречу, словно боясь, что ему не хватит времени страдать от нее, когда она действительно на него обрушится.

То, что я говорю здесь о медицине, может быть применено ко всякой науке. Отсюда мнение тех древних философов, которые считали высшим

благом признание слабости нашего разума. В отношении моего здоровья мое невежество дает мне столько же оснований надеяться, как и опасаться, и потому, не располагая ничем, кроме примеров, которые я вижу вокруг себя, я выбираю из множества известных мне случаев наиболее меня обнадеживающие. Безукоризненное и крепкое здоровье я приветствую с распростертыми объятиями и тем полнее им наслаждаюсь, что в настоящее время оно для меня стало уже не обычным, а довольно редким явлением; я не хочу поэтому нарушать его сладостного покоя горечью какого-нибудь нового и стеснительного образа жизни. Мы можем видеть на примере животных, что душевные волнения вызывают у нас болезни.

Говорят, что туземцы Бразилии умирают только от старости[195], и объясняют это действием целительного и превосходного воздуха их страны, я же склонен скорее приписывать это их безмятежному душевному покою, тому, что душа их свободна от всяких волнующих страстей, неприятных мыслей и напряженных занятий, тому, что эти люди живут в удивительной простоте и неведении, без всяких наук, без законов, без королей и религии.

И чем иным объясняется то, что́ мы наблюдаем повседневно, а именно, что люди совсем необразованные и неотесанные являются наиболее подходящими и пригодными для любовных утех, что любовь какого-нибудь погонщика мулов оказывается иногда гораздо более желанной, чем любовь светского человека,— как не тем, что у последнего душевное волнение подрывает его физическую силу, ослабляет и подтачивает ее?

Душевное волнение ослабляет и подрывает обычно и телесные силы, а вместе с тем также и саму душу. Что делает ее болезненной, что доводит ее так часто до маний, как не ее собственная порывистость, острота, пылкость и в конце концов ее собственная сила? Разве самая утонченная мудрость не превращается в самое явное безумие? Подобно тому как самая глубокая дружба порождает самую ожесточенную вражду, а самое цветущее здоровье — смертельную болезнь, точно так же глубокие и необыкновенные душевные волнения порождают самые причудливые мании и помешательства; от здоровья до болезни лишь один шаг. На поступках душевнобольных мы убеждаемся, как непосредственно безумие порождается нашими самыми нормальными душевными движениями. Кто не знает, как тесно безумие соприкасается с высокими порывами свободного духа и с проявлениями необычайной и несравненной добродетели? Платон утверждает, что меланхолики — люди, наиболее способные к наукам и выдающиеся. Не то же ли самое можно сказать и о людях, склонных к безумию? Глубочайшие умы бывают разрушены своей собственной силой и тонкостью. А какой внезапный оборот вдруг приняло жизнерадостное одушевление у одного из самых одаренных, вдохновенных и проникнутых чистейшей античной поэзией людей, у того великого итальянского поэта, подобного которому мир давно не видывал[196]? Не обязан ли он был своим безумием той живости, которая для него стала смертоносной, той зоркости, которая его ослепила, тому напряженному и

страстному влечению к истине, которое лишило его разума, той упорной и неутолимой жажде знаний, которая довела его до слабоумия, той редкостной способности к глубоким чувствам, которая опустошила его душу и сразила его ум? Я ощутил скорее горечь, чем сострадание, когда, будучи в Ферраре, увидел его в столь жалком состоянии, пережившим самого себя, не узнающим ни себя, ни своих творений, которые без его ведома были у него на глазах изданы в изуродованном и неряшливом виде.

Если вы хотите видеть человека здоровым и уравновешенным, в спокойном и нормальном расположении духа, позаботьтесь, чтобы он не был мрачным, ленивым и вялым. Нам следует поглупеть, чтобы умудриться, и ослепить себя, чтобы дать вести себя.

Если мне скажут, что преимущество иметь притупленную и пониженную чувствительность к боли и страданиям связано с той невыгодой, что сопровождается менее острым и менее ярким восприятием радостей и наслаждений, то это совершенно верно; но, к несчастью, мы так устроены, что нам приходится больше думать о том, как избегать страданий, чем о том, как лучше радоваться, и самая ничтожная боль ощущается нами острее, чем самое сильное наслаждение. Segnius homines bona quam mala sentiunt *. Мы ощущаем несравненно острее самое пустяковое заболевание, чем самое полное здоровье:

pungit
In cute vix summa violatum plagula corpus
Quando valere nihil quemquam movet. Hoc iuvat unum
Quod me non torquet latus aut pes: cetera quisquam
Vix queat aut sanum sese, aut sentire valentem **.

Наше хорошее самочувствие означает лишь отсутствие страдания. Вот почему та философская школа, которая особенно превозносила наслаждение, рассматривала его как отсутствие страдания. Не испытывать страдания значит располагать наибольшим благом, на какое человек может только надеяться; как сказал Энний,

Nimium boni est, cui nihil est mali [199].

Действительно, то острое и приятное ощущение, которое присуще некоторым наслаждениям и которое как будто выше простого ощущения здоровья и отсутствия боли, то действенное и бурное наслаждение, жгучее и жалящее,— ведь даже оно имеет целью лишь устранить страдание. Даже вожделение, испытываемое нами к женщине, направлено лишь к стремлению избавиться от мучения, порождаемого пылким и неистовым желанием; мы жаждем лишь утолить его и успокоиться, освободившись от этой лихорадки. Так же обстоит и в других случаях.

---

* Люди более чувствительны к боли, чем к наслаждению [197] (*лат.*).

** Мы остро ощущаем самый легкий укол и не испытываем никакого наслаждения от того, что здоровы. С нас достаточно, чтобы у нас не болел бок или нога, но мы почти не отдаем себе отчета в том, что здоровы и хорошо себя чувствуем [198] (*лат.*).

Поэтому я говорю, что если простота приближает нас к избавлению от боли, то она тем самым приближает нас к блаженному состоянию, учитывая то, как мы по природе своей устроены.

Однако отсутствие боли не следует представлять себе столь тупым, чтобы оно равносильно было полной бесчувственности. Крантор[200] справедливо оспаривал эпикуровскую бесчувственность, доказывая, что ее нельзя расширять настолько, чтобы в ней отсутствовал даже всякий намек на страдание. Я совсем не преклоняюсь перед такой бесчувственностью, которая и нежелательна и невозможна. Я рад, если я не болен, но если я болен, то хочу это знать; и если мне делают прижигание или разрез, я хочу ощущать их. В самом деле, уничтожая ощущение боли, одновременно уничтожают и ощущение наслаждения, и в конечном счете человек перестает быть человеком. Istud nihil dolere, non sine magna mercede contingit immanitatis in animo, stuporis in corpore *.

Страдание тоже должно занимать свое место в жизни человека. Человек не всегда должен избегать боли и не всегда должен стремиться к наслаждению.

Большая честь для неведения — то, что само знание бросает нас в его объятия в тех случаях, когда знание оказывается бессильным помочь нам облегчить наши страдания. В таких случаях знание вынуждено идти на эту уступку; оно принуждено предоставлять нам свободу и возможность укрыться в лоне неведения, спасаясь от ударов судьбы и ее напастей. Действительно, что иное означает проповедуемый знанием совет отвращаться мыслью от переживаемых злоключений и воспоминаний об утраченных благах и, в утешение от зол сегодняшнего дня, думать о прошедших радостях, призывать на помощь исчёзнувшее душевное довольство в противовес тому, что нас сейчас удручает: Levationes aegritudinum in avocatione a cogitanda molestia et revocatione ad contemplandas voluptates ponit **? Разве это не значит, что там, где знание оказывается бессильным, оно пускается на хитрость и проявляет гибкость там, где ему недостает силы? В самом деле, что за утешение не только для философа, но и просто для разумного человека, если в тот момент, когда он страдает от мучительного приступа лихорадки, предложить ему предаться воспоминаниям о превосходном греческом вине? Это означало бы скорее обострить его мучение:

Che ricordarsi il ben doppia la noia ***.

Такого же порядка и другой даваемый философами совет[204] — помнить только о радостных событиях прошлого и изглаживать воспоминание о пережитых злоключениях, как если бы искусство забвения было в

* Это бесчувствие достигается немалой ценой, за счет очерствения души и оцепенения тела[201] (*лат.*).

** Для облегчения наших страданий,— говорит [Эпикур],— следует избегать тягостных мыслей и думать о приятном[202] (*лат.*).

*** Воспоминание о былом счастье усугубляет горе[203] (*ит.*).

нашей власти. А вот еще малоутешительный совет:

Suavis est laborum praeteritorum memoria *.

Я не понимаю, как философия, которая обязана вооружить меня для борьбы с судьбой, внушить мне мужество и научить попирать ногами все человеческие бедствия, может дойти до такой слабости, чтобы с помощью этих нелепых и трусливых изворотов заставить меня сдаться? Ведь память рисует нам не то, что мы выбираем, а что ей угодно. Действительно, нет ничего, что так сильно врезывалось бы в память, как именно то, что мы желали бы забыть; вернейший способ сохранить и запечатлеть что-нибудь в нашей душе — это стараться изгладить его из памяти. Неверно утверждение: Est situm in nobis, ut et adversa quasi perpetua oblivione obruamus, et secunda iucunde et suaviter meminerimus **, но зато верно другое: Memini etiam quae nolo, oblivisci non possum, quae volo ***. Кому принадлежит этот совет? Тому, qui se unus sapientem profiteri sit ausus ****.

Qui genus humanum ingenio superavit et omnis
Praestrinxit stellas, exortus ut aetherius sol *****.

Но разве вычеркнуть и изгладить из памяти не есть вернейший путь к неведению? Iners malorum remedium ignorantia est ******. Мы встречаем немало подобных наставлений, которые предлагают нам в тех случаях, когда разум бессилен, довольствоваться пустенькими и плоскими утешениями, лишь бы они давали нам душевное спокойствие. Там, где философы не в силах залечить рану, они стараются усыпить боль и прибегают к другим паллиативам. Мне думается, они не будут отрицать того, что если бы им удалось наладить людям спокойную и счастливую жизнь, хотя бы и основанную на поверхностной оценке вещей, они не отказались бы от этого:

potare et spargere flores
Incipiam, patiarque vel inconsultus haberi *******.

Многие философы согласились бы с Ликасом, который, ведя добродетельную жизнь, живя тихо и спокойно в своей семье, выполняя все свои обязанности по отношению к чужим и своим и умело охраняя себя от всяких бедствий, вдруг, впав в душевное расстройство, вообразил, что он

---

* Сладостна память о минувших трудностях [205] (*лат.*).

** В нашей власти почти полностью вытравить из памяти наши злоключения и с радостью вспоминать только о счастливых часах [206] (*лат.*).

*** Я вспоминаю о вещах, которые хотел бы забыть: я не в состоянии забыть того, о чем желал бы не помнить [207] (*лат.*).

**** Единственному человеку, который осмелился назвать себя мудрецом [208] (*лат.*).

***** Он, превзошедший своим дарованием людей и всех затмивший, подобно восходящему солнцу, заставляющему померкнуть звезды [209] (*лат.*).

****** Незнание — негодное средство избавиться от беды [210] (*лат.*).

******* Начну пить и рассыпать цветы, хотя бы под страхом прослыть безрассудным [211] (*лат.*).

все время находится в театре и смотрит там представления, пьесы и самые прекрасные спектакли. Едва лишь врачи исцелили его от этого недуга, как он стал требовать, чтобы они вернули его во власть этих чудесных видений:

Pol! me occidistis amici,
Non servastis, ait, cui sic extorta voluptas
Et demptus per vim mentis gratissimus error *.

Подобное же произошло с Трасилаем, сыном Пифодора, возомнившим, будто все корабли, приходящие в Пирей и бросающие якорь в его гавани, состоят у него на службе: он радостно встречал их, поздравляя с благополучным прибытием. Когда же его брат Критон исцелил его от этой фантазии, Трасилай непрерывно сокрушался об утрате того блаженного состояния, в котором он пребывал, не зная никаких горестей [213]. Это самое утверждается в одном древнегреческом стихе, где говорится, что не в мудрости заключается сладость жизни [214]: ἐν τῷ φρονεῖν γὰρ μηδὲν ἥδιστος βίος.

Да и в «Екклезиасте» сказано: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания — умножает скорбь» [215].

И, наконец, к тому же самому сводится последнее наставление, разделяемое почти всеми философами и гласящее, что, если из-за изобилия бедствий жизнь делается невыносимой, надо положить ей конец: Placet? pare. Non placet? quacunque vis, exi **; Pungit dolor? Vel fodiat sane Si nudus es, da iugulum; sin tectus armis Vulcaniis, id est fortitudine, resiste ***, а также девиз, который применяли в этом случае сотрапезники в древней Греции,— Aut bibat, aut abeat **** (изречение, которое у гасконца, произносящего обычно «v» вместо «b», звучит еще лучше, чем у Цицерона):

Vivere si recte nescis, decede peritis;
Lusisti satis, edisti satis atque bibisti;
Tempus abire tibi est, ne potum largius aequo
Rideat et pulset lasciva decentius aetas *****;

разве и то и другое не означает признания своего бессилия и попытку искать спасения даже не в неведении, а в самой глупости, в бесчувствии

---

* О друзья, не спасли вы меня, а убили,— вскричал тот, чье наслаждение разрушили, насильно лишив его самого приятного для его души обмана [212] (*лат.*).

** Мила тебе она? В таком случае терпи! Не нравится? Тогда любым способом уходи [216] (*лат.*).

*** Тебя мучит боль? Она терзает тебя? Согни выю, если ты беззащитен, если же ты прикрыт щитом Вулкана, т. е. мужеством, сопротивляйся! [217] (*лат.*).

**** Пусть либо пьет, либо уходит [218] (*лат.*).

***** Если ты не умеешь как следует пользоваться жизнью, уступи место тем, кто умеет. Ты уже вдоволь поиграл, вдоволь поел и выпил, настало время тебе уходить, чтобы молодежь, которой это больше пристало, не подняла тебя на смех и не прогнала тебя, если ты хватил лишнего [219] (*лат.*).

и в небытии?

Democritum postquam matura vetustas
Admonuit memorem motus languescere mentis,
Sponte sua leto caput obvius obtulit ipse *.

В этом же смысле высказывался и Антисфен [221], заявлявший, что надо запастись либо умом, чтобы понимать, либо веревкой, чтобы повеситься. В этом же духе истолковывал Хрисипп следующие слова поэта Тиртея [222]:

Приблизиться либо к добродетели, либо к смерти.

Кратет [223], со своей стороны, утверждал, что если не время, то голод исцеляет от любви, а кому оба эти средства не по вкусу, пусть запасается веревкой.

Тот самый Секстий [224], о котором Сенека и Плутарх отзываются с таким глубоким почтением, отказался от всего и погрузился в изучение философии; увидев, что успехи его слишком медленны и требуют слишком длительных усилий, он пришел к выводу, что ему остается только броситься в море. Не будучи в состоянии овладеть наукой, он кинулся в объятия смерти.

Вот как гласит закон по этому поводу: если с кем-нибудь приключится большая и непоправимая беда, то прибежище к его услугам, и можно найти спасение, расставшись с телом, как с ладьей, которая дала течь, ибо лишь страх смерти, а вовсе не жажда жизни, привязывают глупца к телу.

Простота делает жизнь не только более приятной, но, как я только что сказал, и более чистой и прекрасной. Простые и бесхитростные мира сего, по словам апостола Павла, возвысятся и обретут небо, мы же, со всей нашей мудростью, обречены бездне адовой [225]. Не буду распространяться ни о Валентиане [226], этом отъявленном враге науки и всякого образования, ни о Лицинии, двух римских императорах, называвших знание ядом и бичом всякого государства; не буду останавливаться и на Магомете, который, как мне довелось слышать, запретил своим приверженцам заниматься науками; сошлюсь только на пример великого Ликурга, огромный авторитет которого не подлежит сомнению, на стяжавший всеобщее уважение замечательный государственный строй Спарты, где долгое время царили добродетель и благоденствие и где не существовало никакого обучения наукам. Люди, побывавшие в Новом Свете, который на памяти наших отцов открыт был испанцами, могут засвидетельствовать, насколько тамошние народы, не знающие ни властей, ни законов, ни способов управления, живут более примерно и честно, чем наши европейские народы,

---

* Когда зрелая старость уже предупредила Демокрита о том, что разум его ослабел, он сам памятуя о неизбежном, добровольно пошел навстречу смерти [220] (*лат.*).

у которых больше чиновников и законов, чем других граждан и деяний:

Di cittatorie piene e di libelli,
D'esamine e di carte, di procure
Hanno le mani e il seno, et gran fastelli
Di chiose, di consigli e di letture:
Per cui le faculta de poverelli
Non sono mai ne le citta sicure;
Hanno dietro e dinanzi, e d'ambi ilati,
Notai, procuratori e avvocati *.

Некий сенатор времен упадка Рима [228] говаривал, что от его предков разило чесноком, но их нутро благоухало доблестью, между тем как его современники, наоборот, снаружи надушены духами, внутри же пропитаны вонью всяких пороков; это должно было означать, как мне кажется, что они были людьми больших познаний и способностей, но далеко не безукоризненной нравственности. Неотесанность, необразованность, невежество, простота нередко прикрывают невинность и чистоту, меж тем как любопытство, изощренность, знание порождают влечение к злу. Смирение, боязнь, покорность, благочестие (являющиеся важнейшим залогом сохранения человеческого общества) требуют души, ничем не отягченной, послушной и лишенной самомнения.

Христиане особенно хорошо знают, что любопытство есть первородный грех и исконное зло в человеке. Стремление умножить свои познания, тяга к мудрости с самого начала были на пагубу человеческому роду; это и есть путь, который привел человека к вечному осуждению. Гордыня — вот источник гибели и развращения человека; она побуждает человека уклоняться от проторенных путей, увлекаться новшествами; она порождает стремление возглавлять людей заблудших, ставших на стезю гибели; она заставляет человека предпочитать быть учителем лжи и обмана, чем учеником в школе истины, который дает вести себя за руку другому по проложенному и праведному пути. Именно это имеет в виду древнегреческое изречение, гласящее, что суеверие следует за гордыней, повинуясь ей, как отцу [229]: ἡ δεισιδαιμονία καθάπερ πατρὶ τῷ τυφῷ πείτεται.

О, мышление, какая ты помеха для людей! Сократ был изумлен, узнав, что бог мудрости присвоил ему прозвание мудреца; разобравшись в себе, он не нашел никаких оснований для этого божественного постановления [230]. Он знал людей столь же справедливых, выдержанных, мужественных и ученых, как он сам, притом еще более красноречивых, более

---

* Повесток, исков, вызовов на суд
И актов о взыскании убытков
Полны все руки у нее — и груд
Различных кляуз, толкований свитков,
Из-за которых бедняки живут,
Дрожа за целость нищенских пожитков;
И множество сопутствовало ей
Нотариусов, стряпчих и судей [227] (*ит.*).

прекрасных и более полезных отечеству. В конце концов он пришел к выводу, что он не лучше других и мудр только тем, что не считает себя мудрецом, и что его бог видит большую глупость в том, что человек так превозносит свое знание и мудрость, ибо наилучшей наукой для человека является наука незнания и величайшей мудростью — простота.

Священное Писание зовет жалкими тех людей, которые много мнят о себе. «Чем гордится земля и пепел? Чем ты кичишься?» — говорит оно человеку[231]. А в другом месте Писания сказано: «Бог сделал человека подобным тени; кто сможет судить о ней, когда с заходом солнца она исчезнет?»[232] От нас действительно ничего не останется. Мы далеки еще от понимания божьего величия и меньше всего понимаем те творения нашего создателя, которые явственно носят на себе его печать и являются всецело делом его рук. Для христиан натолкнуться на вещь невероятную — повод к вере. И это тем разумнее, чем сильнее такая вещь противоречит человеческому разуму. Если бы она согласовалась с разумом, то не было бы чуда, и если бы она была на что-нибудь похожей, то в ней не было бы чего-то необыкновенного. Melius scitur deus nesciendo *,— говорит блаженный Августин; и Тацит заявляет: Sanctius est ac reverentius de actis deorum credere quam scire **.

Платон полагает[235], что нечестиво слишком углубляться в исследование вопроса о боге, о мире и первопричине всего сущего.

Atque illum quidem quasi parentem huius universitatis invenire difficile; et cum iam inveneris, indicare in vulgus. nefas ***,— заявляет Цицерон.

Мы часто говорим: «могущество, истина, справедливость». Все это слова, означающие нечто великое, но мы не имеем представления об этом величии, не понимаем его. Мы говорим, что бог боится, гневается, любит,—

Immortalia mortali sermone notantes ****,—

но все это чувства и страсти, которые не могут быть у бога такими же, как у нас, и мы не в состоянии себе представить, каковы они у него. Только сам бог может познать себя и истолковать свои творения.

Желая приблизить бога к нам, свести его на землю, где мы распростерты во прахе, мы неправильно применяем к нему наши слова. Возьмем, к примеру, слово «благоразумие», означающее способность различать добро и зло; может ли это слово иметь отношение к нему, которому чуждо всякое зло[238]? Или еще «разум» и «понимание», которыми мы пользуемся для уяснения непонятных нам вещей,— разве эти понятия применимы к богу, для которого нет ничего непонятного? Или еще: «справедливость», воздающая каждому должное и установленная для людей и человеческого

---

* Бог лучше познается неведением[233] (*лат.*).

** Относительно деяний богов благочестивее и почтительнее верить, нежели знать[234] (*лат.*).

*** Трудно познать того, кто создал вселенную; если же тебе удалось познать его, то описывать его ко всеобщему сведению нечестиво[236] (*лат.*).

**** Выражая смертными словами бессмертные вещи[237] (*лат.*).

общежития,— какова она в боге? Что представляет, далее, в применении к богу «умеренность», означающая ограничение телесных наслаждений, если им вообще нет места в боге? И столь же мало относится к нему «стойкость» в перенесении боли, опасностей и тяжелых трудов, поскольку все эти вещи ему чужды. Вот почему Аристотель утверждает, что бог одинаково свободен как от добродетели, так и от порока [239]. Neque gratia neque ira teneri potest, quod quae talia essent, imbecilla essent omnia *.

Какова бы ни была наша доля познания истины, мы достигли ее не нашими собственными усилиями. Бог достаточно открыл нам истину через апостолов, выбранных им из народа, из людей простых и темных, чтобы просветить нас в отношении его удивительных тайн: наша вера не есть приобретение, сделанное нами самими, она — дар щедрости другого. Нашу религию мы получили не путем размышления или усилий нашего разума, а по воле другого, его властью. В делах веры слабость нашего разума больше нам помогает, чем его сила, и наша слепота ценнее нашей прозорливости. Божественная истина открывается нам больше с помощью нашего неведения, чем наших познаний. Нет ничего удивительного в том, что мы не в состоянии постигнуть это сверхъестественное и небесное знание с помощью наших земных и естественных средств; поэтому отнесемся к нему со смирением и покорностью, ибо сказано в Писании: «погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну» [241]. Где он, мудрец? Где писатель? Где спорщик века сего? Разве не сделал бог глупой мудрость мира сего? Так как мир не в состоянии был путем мудрости постигнуть бога, то богу угодно было спасти верующих с помощью проповеди.

Перейду теперь к рассмотрению вопроса, в силах ли человек найти то, что он ищет, и обогатили ли его каким-нибудь новым знанием или установлением незыблемой истины те поиски, которые он вел на протяжении стольких веков.

Я полагаю, что, если говорить по совести, человек должен будет сознаться, что весь итог столь долгих исканий свелся к тому, что они заставили его понять и признать свою слабость. В результате длительного изучения мы пришли лишь к подтверждению и оправданию того неведения, которое было присуще нам от природы. С подлинно учеными людьми случилось то же, что происходит с колосьями пшеницы: они гордо высятся, пока стоят пустые, но стоит им созреть и наполниться семенами, как они начинают клониться долу и никнуть. Точно так же и люди: после того как они все испробовали, исследовали и убедились, что нет ничего прочного и устойчивого во всем этом хаосе наук и ворохе разнородных накопленных знаний, что все это суета,— они отреклись от своей гордыни и оценили свое естественное состояние.

Именно в этом Веллей упрекает Котту и Цицерона; у Филона они научились— говорит он,— тому, что ничему не научились [242].

* Ни гнев, ни милость ему неведомы: ибо если бы он был подвержен им, это означало бы в нем слабость [240] (*лат.*).

Один из семи мудрецов, Ферекид, перед смертью написал Фалесу следующее[243]: «Я велел моим близким, когда меня не станет, передать тебе мои рукописи. Если ты и другие мудрецы сочтете их достойными внимания, можешь их обнародовать, в противном случае — уничтожь их; они лишены достоверности, которая удовлетворяла бы меня самого». Я тоже не утверждаю, что владею истиной или способен овладеть ею. Я не столько открываю вещи, сколько показываю их. Самый мудрый человек в мире на вопрос, что́ он знает, ответил, что знает только то, что ничего не знает[244]. Он подтвердил этим ту истину, которая гласит: «Бо́льшая часть того, что мы знаем, представляет собой лишь ничтожную долю того, чего мы не знаем»; иными словами: даже то, что́ мы знаем, есть лишь часть — и притом ничтожная часть — того, чего мы не знаем.

«Мы знаем вещи в сновидении,— говорит Платон,— а в действительности ничего не знаем»[245].

Omnes paene veteres nihil cognosci, nihil percipi, nihil sciri posse dixerunt; angustos sensus, imbecillos animos, brevia curricula vitae *.

Даже Цицерон, который всем своим авторитетом обязан был своим познаниям, по словам Валерия, на старости лет стал проникаться презрением к науке[247]. А в те времена, когда он занимался ею, он не принадлежал ни к какому определенному направлению, но в зависимости от того, что́ ему казалось правильным, склонялся на сторону то одного течения, то другого, неизменно придерживаясь при этом сомнения, свойственного Академии[248].

Dicendum est sed ita ut nihil affirmem, quaeram omnia, dubitans plerumque et nihil diffidens **.

Я слишком бы облегчил себе задачу, если бы для проверки того, что дало человеку знание, взял среднего человека и судил по большинству людей; между тем я мог бы поступить именно так, руководясь принятым правилом, гласящим, что судить об истине следует не по весу того или иного голоса, а по большинству голосов. Оставим в стороне обычных людей,

Qui vigilans stertit,
Mortua cui vita est prope iam vivo atque videnti ***,

которые не анализируют себя, не разбираются в себе и природные способности которых дремлют. Я хочу взять для рассмотрения самую высокую разновидность людей. Посмотрим, что́ представляет собой человек из того небольшого круга выдающихся и избранных людей, которые, будучи наделены превосходными и исключительными природными способ-

---

* Почти все древние философы утверждали, что нельзя ничего постигнуть, узнать, изучить, ибо чувства наши ограниченны, разум слаб, а жизнь коротка[246] (*лат.*).

** Я буду говорить, ничего, однако, не утверждая; буду все исследовать, но в большинстве случаев сомневаясь и не доверяя себе[249] (*лат.*).

*** Кто, бодрствуя, храпит; чья жизнь, хоть он живой и зрячий, подобна смерти[250] (*лат.*).

ностями, еще развили их и усовершенствовали с помощью воспитания, науки и искусства, достигнув вершины мудрости. Они изощрили свою душу во всех отношениях, укрепили ее всякой посторонней помощью, какая только была ей на пользу, обогатили и украсили ее всем, что только можно было позаимствовать в мире для ее блага; в этих людях, таким образом, воплощены высшие достижения человеческой природы. Эти люди установили в обществе законы и порядки, обучили людей с помощью наук и искусств и вдобавок воспитали их примером своих замечательных нравов. Я приму в расчет при рассмотрении интересующего меня вопроса только эту категорию людей, их показания и их опыт. Посмотрим же, к чему они пришли, каковы их достижения. Пороки и недостатки, которые мы найдем у такого рода людей, все остальные смело смогут признать присущими и им.

Всякий, ищущий решения какого-нибудь вопроса, в конце концов приходит к одному из следующих заключений: он либо утверждает, что нашел искомое решение, либо — что оно не может быть найдено, либо — что он все еще продолжает поиски. Вся философия делится на эти три направления [251]. Ее задача состоит в искании истины, знания и достоверности. Перипатетики, эпикурейцы, стоики и представители других философских школ полагали, что им удалось найти истину. Они ввели существующие у нас науки и трактовали их как достоверные знания. Клитомах [252], Карнеад и академики отчаялись в своих поисках и пришли к мысли, что нашими средствами нельзя познать истину. Конечный вывод их — признание человеческой слабости и неведения; это течение имело наибольшее число приверженцев и самых выдающихся последователей.

Пиррон и другие скептики, или эпехисты (многие стороны учения которых восходят к глубокой древности, к Гомеру, семи мудрецам, Архилоху, Еврипиду, а также Зенону, Демокриту и Ксенофану [253]), утверждали, что они все еще находятся в поисках истины. Они считали, что бесконечно ошибаются те, кто полагает, что открыли ее, и находили слишком смелым даже вышеуказанное утверждение, что человеческими средствами невозможно познать истину. Ибо, по их мнению, установить пределы наших возможностей, познать и судить о трудностях вещей уже само по себе — большая и сложная наука, которая вряд ли под силу человеку.

Nil sciri quisquis putat, id quoque nescit
An sciri possit quo se nil scire fatetur *.

Неведение, которое сознает себя, судит и осуждает себя, уже не есть полное неведение; чтобы быть таковым, оно не должно сознавать себя. Поэтому высший принцип пирронистов — это всегда колебаться, сомневаться, искать, ни в чем не быть уверенным и ни за что не ручаться. Из трех способностей души — воображения, желания и утверждения — они признают только первые две; что же касается третьей, то они вы-

* Тот, кто полагает, что нельзя ничего знать, не знает и того, можно ли знать, почему он утверждает, что он ничего не знает [254] (*лат.*).

сказываются о ней неопределенно, не принимая и не отвергая ее,— настолько они считают ее ненадежной.

Свое представление об этом разделении душевных способностей Зенон изобразил в жестах: открытая и протянутая рука выражала вероятие; согнутая в локте, с несколько загнутыми пальцами, выражала согласие; сжатый кулак — понимание; если же при этом он сжимал в кулак еще и левую руку, это означало достоверное знание. Такая прямая и непреклонная манера суждения, принимающая все без утверждения и применения, приводила пирронистов к их атараксии [255], то есть к спокойному и размеренному образу жизни, свободному от волнений, проистекающих от нашего мнения о вещах и воображаемого знания их. Это предполагаемое знание вещей порождает страх, жадность, зависть, необузданные желания, честолюбие, надменность, суеверие, страсть к новизне, возмущение, неповиновение, упрямство и большинство физических зол. Придерживаясь своего учения, пирронисты были свободны от нетерпимости и довольно вяло спорили со своими противниками. Они не боялись возражений и опровержений. Когда они утверждали, что тяжелые тела падают вниз, они были недовольны, если с ними соглашались в этом, и хотели, чтобы им противоречили, дабы таким путем посеяно было сомнение, которое повлекло бы за собой воздержание от суждения, являвшееся их конечной целью. Они выдвигали свои положения лишь для того, чтобы опровергать те, в которых другие, по их мнению, были уверены. Если бы вы приняли их положения, они столь же охотно стали бы доказывать обратное, ибо им было все равно: ведь они не делали выбора между той и другой точками зрения. Если бы вы вздумали утверждать, что снег черен, они, наоборот, стали бы доказывать, что он бел. Если вы стали бы говорить, что он и не черен, и не бел, они стали бы утверждать, что он и черен, и бел. Если бы вы начали уверенно отстаивать, что ничего не знаете о данном предмете, они стали бы доказывать, что вы его знаете. Если же, основываясь на утвердительном суждении, вы начали бы уверять, что вы в этом сомневаетесь, они стали бы спорить с вами и доказывать, что вы в этом не сомневаетесь. Этой чрезмерностью сомнения, которое само себя опровергает, пирронисты отличались от представителей других точек зрения и даже от тех, кто отстаивал разные другие виды сомнения и неведения.

Почему им нельзя сомневаться, спрашивали пирронисты,— ведь можно же одним догматикам уверять, что данная вещь зеленая, а другим — что она желтая. Существует ли такая вещь, относительно которой можно высказываться только либо в утвердительном, либо в отрицательном смысле и относительно которой нельзя было бы высказываться двояким образом? Почему, если одним можно склоняться в пользу той или иной философской школы, либо следуя обычаю своей страны, либо наставлению родителей, либо же просто наобум и без всякого основания, даже в большинстве случаев не достигнув разумного возраста, становиться на сторону стоиков или эпикурейцев, за которыми они слепо следуют, как бы клюнув на удочку, от которой они не в состоянии освободиться,— ad

quamcunque disciplinam velut tempestate delati, ad eam tanquam ad saxum adhaerescunt *,— почему в таком случае и пирронистам нельзя сохранять полную свободу и рассматривать вещи без всякого принуждения и обязательства? Hoc liberiores et solutiores quod integra illis est iudicandi potestas **. Разве нет известного преимущества в свободе от необходимости делать выбор, так затрудняющий других? Не лучше ли вовсе воздержаться от суждения, чем выбирать среди множества заблуждений, порожденных человеческим воображением? Не лучше ли воздержаться от суждения, чем ввязываться в нескончаемые распри и споры? Что мне выбрать? Что угодно, лишь бы был сделан выбор [258]. Вот глупый ответ, к которому, однако, приводит всякий догматизм, не разрешающий нам не знать того, чего мы в самом деле не знаем. Возьмите самую прославленную философскую систему — даже и она не прочна настолько, чтобы для укрепления ее положений нам не было бы необходимо оспаривать и опровергать сотни других систем. Не лучше ли оставаться в стороне от этой схватки? Почему, если вам разрешается защищать, словно вашу жизнь и честь, учение Аристотеля о бессмертии души, отвергая и опровергая мнение на этот счет Платона,— почему, говорю я, вашим противникам не дозволяется спорить с вами и сомневаться? Если Панэцию [259] дозволено было высказать свое собственное суждение относительно гадания по внутренностям животных, снов, оракулов, прорицаний — вещей, в которых стоики нисколько не сомневались,— то почему мудрецу нельзя, подобно Панэцию, высказываться о вещах, которые он усвоил у своих учителей и о которых существует установившееся мнение школы, последователем и приверженцем коей он является? Если о чем-нибудь берется судить ребенок, то он не знает, о чем говорит, если же это ученый, то он судит предвзято. Пирронисты, избавив себя от необходимости защищаться, создали себе замечательное преимущество в борьбе. Им неважно, если их бьют, лишь бы они сами наносили удары, и они пользуются любым оружием. Если они побеждают, значит ваше положение хромает, и наоборот. Если они ошибаются, они подтверждают этим свое незнание; если же вы ошибаетесь, то вы подтверждаете его. Они будут удовлетворены, если сумеют доказать вам, что нельзя ничего познать, но они будут удовлетворены и в том случае, если не смогут этого доказать. Ut, cum in eadem re paria contrariis in partibus momenta inveniuntur, facilius ab utraque parte assertio sustineatur ***.

Для них важнее доказать вам, что данная вещь неверна, чем то, что она верна; или доказать, что она не является тем-то, чем то, что она является этим; они охотнее скажут вам, чего они не думают, чем то, что́ они думают.

---

* Они цепляются за первое попавшееся учение, как за скалу, к которой их прибило бурей [256] (*лат.*).

** Они тем более свободны и независимы, что их способность суждения остается совершенно незатронутой [257] (*лат.*).

*** Так как по поводу всякой вещи можно привести одинаково сильные доводы в пользу и против нее, то легче воздержаться от всякого суждения [260] (*лат.*).

Пирронисты обычно выражались так: «Я ничего не утверждаю; он ни то, ни другое; я не понимаю этого; и то и другое одинаково вероятно; можно с равным основанием говорить и за и против любого утверждения. Нет ничего истинного, что́ не могло бы казаться ложным»[261]. Их излюбленное слово — это ἐπέχω[262], т. е. я воздерживаюсь, я не склоняюсь ни в ту, ни в другую сторону. Они постоянно повторяли его или что-нибудь в этом роде. Их целью являлся ясный, полный и совершенный отказ от суждения или воздержание от него. Они пользовались своим разумом для поисков истины и споров о ней, но не для того, чтобы что-нибудь решать и производить выбор. Тот, кто может представить себе постоянное признание неведения, кто может представить себе суждение, не склоняющееся ни в ту, ни в другую сторону, чего бы это ни касалось, тот поймет, что такое пирронизм. Я излагаю воззрения пирронистов, как умею; но многие находят, что взгляды их трудно понять и даже сами пирронисты излагают их не совсем ясно и по-разному.

В обыденной жизни пирронисты ведут себя, как все люди[263]. Они подчиняются естественным склонностям и влечениям, голосу страстей, велениям законов и обычаев, требованиям житейской деятельности. Non enim nos Deus ista scire, sed tantum modo uti voluit *. Они руководствуются этими вещами в своем практическом поведении, не рассуждая о них, не критикуя их. Но я никак не могу согласовать с этим то, что рассказывают о Пирроне. Его изображают человеком тяжеловесным и упрямым, жившим нелюдимо и необщительно, легко переносившим все неудобства, любившим все дикое и сумрачное, отказывавшимся повиноваться законам. Это значило бы идти дальше его системы. Он не желал превратиться в камень или пень; он хотел быть живым человеком, думающим и рассуждающим, наслаждающимся всеми естественными благами и удовольствиями, правильно и по назначению применяющим и использующим все свои физические и духовные силы. А что касается ложных вымышленных и фантастических привилегий, присвоенных себе человеком, а именно предписывать, устанавливать истину и поучать ей, то он с легким сердцем отверг их и отрекся от них.

Да и нет такой философской школы, которая не была бы вынуждена разрешить своим приверженцам, если только они хотят участвовать в жизни, выполнять множество вещей, для них непонятных, необъяснимых и неприятных. Так, когда мудрец предпринимает морское путешествие, он следует этому принципу, не зная, пойдет ли он ему на пользу: он рассчитывает на то, что судно в порядке, что его ведет опытный кормчий, что погода благоприятна, то есть полагается на обстоятельства лишь возможные, но не обязательные; после чего он отдается на волю случая, если только нет явных признаков опасности. Он обладает телом и душой, чувства толкают его на те или иные действия, разум побуждает к тому или иному. Хотя он и не признает у себя наличия особой способности суждения и помнит, что не должен ничего утверждать, поскольку

* Бог наделил нас не знанием этих вещей, а умением пользоваться ими[264] (*лат.*).

вместо безусловной истины может столкнуться с ложным ее подобием, тем не менее он целиком и полностью выполняет свои житейские обязанности. А сколько есть разных наук, которые в гораздо большей степени опираются на догадки, чем на знание, которые не судят о том, что истинно и что ложно, а следуют лишь тому, что представляется вероятным. Существует, говорят пирронисты, и истинное, и ложное, и мы обладаем способностью доискиваться, но не способностью в точности определять. Мы предпочитаем без размышления следовать установленному в мире порядку. Душе, свободной от всякой предвзятости, гораздо легче достичь спокойствия. Люди, которые судят и проверяют суждения других людей, никогда его не обретут. Насколько же простые и нелюбопытные умы более послушны политическим законам и установлениям религии и легче поддаются руководству, чем умы, кичащиеся знанием человеческих и божественных причин и поучающие им [265].

Среди человеческих измышлений нет ничего более истинного и полезного, чем пирронизм. Он рисует человека нагим и пустым; признающим свою природную слабость; готовым принять некую помощь свыше; лишенным человеческого знания и тем более способным вместить в себя божественное знание; отказывающимся от собственного суждения, чтобы уделить больше места вере; ни неверующим, ни устанавливающим какую-либо догму, противоречащую принятым взглядам; смиренным, послушным, уступчивым, усердным; заклятым врагом ереси; свободным, следовательно, от пустых и нечестивых взглядов, введенных ложными сектами; это — чистая доска, готовая принять от перста божия те письмена, которые ему угодно будет начертать на ней. Чем больше мы отдаемся на волю божию и поручаем себя ей, отказываясь от собственной воли, тем достойнее ее становимся. Принимай, говорит Екклезиаст, за благо вещи такими, как они представляются тебе и видом и вкусом своим повседневно, все остальное выше твоих познаний [266]. Dominus novit cogitationes hominum, quoniam vanae sunt *.

Таким образом, из трех основных философских школ две открыто исповедуют сомнение и неведение; что же касается приверженцев третьей школы — догматиков, то нетрудно убедиться, что большинство их прикрывалось уверенностью лишь из желания придать себе лучший вид. Они заняты были не столько тем, чтобы установить какую-то достоверность, сколько стремлением показать, как далеко они зашли в поисках истины: quam docti fingunt, magis quam norunt **.

Тимей, желая поведать Сократу все то, что ему известно о богах, о мире и о людях, намерен говорить об этом как человек с человеком, полагая, что достаточно, если его мнения будут столь же достоверны, как и мнения всякого другого человека; ибо он не имеет точных доказательств, как не имеет их ни один смертный [269]. Подражая этому, один из последователей Платона [270], касаясь вопроса о презрении к смерти, вопроса есте-

* Господь знает мысли человеческие, что они суетны [267] (*лат.*).
** Что ученые скорее предполагают, чем знают [268] (*лат.*).

ственного и доступного всякому, формулировал эту мысль следующим образом: Ut potero, explicabo; nec tamen, ut Pythius Apollo, certa ut sint et fixa, quae dixero; sed ut homunculus probabilia coniectura sequens *.

В другом месте Цицерон даже перевел дословно мысль Платона по этому поводу: Si forte, de deorum natura ortuque mundi disserentes, minus id quod habemus animo consequimur, haud erit mirum, Aequum est enim meminisse et me qui disseram, hominem esse, et vos qui iudicetis; ut, si probabilia dicentur, nihil ultra requiratis **.

Аристотель обычно приводит множество чужих мнений и взглядов для того, чтобы, сопоставив с ними свою точку зрения, показать нам, насколько он пошел дальше и в какой мере он приблизился к правдоподобию,— об истине нельзя судить на основании чужого свидетельства или полагаясь на авторитет другого человека. Поэтому Эпикур тщательнейшим образом избегал в своих сочинениях ссылаться на них. Аристотель — царь догматиков, и тем не менее мы узнаем от него, что чем больше знаешь, тем больше у тебя поводов к сомнению [273]. Он часто умышленно прикрывается до того темными и запутанными выражениями, что совершенно невозможно разобраться в его точке зрения. Его учение в действительности — пирронизм, только скрытый под видом утверждений.

Послушаем заявление Цицерона, который разъясняет нам чужие взгляды с помощью своей точки зрения: Qui requirunt quid de quaque re ipsi sentiamus, curiosius id faciunt quam necesse est. Haec in philosophia ratio contra omnia disserendi nullamque rem aperte iudicandi, profecta a Socrate, repetita ab Arcesila, confirmata a Carneade, usque ad nostram viget aetatem. Hi sumus qui omnibus veris falsa quaedam adiuncta esse dicamus, tanta similitudine ut in iis nulla insit certe iudicandi et assentiendi nota ***.

С какой целью не только Аристотель, но и большинство других философов прибегали к запутанным выражениям, как не для того, чтобы повысить интерес к бесплодному предмету и возбудить любопытство нашего ума, предоставив ему глодать эту сухую и голую кость? Клитомах утверждал, что он никогда не в состоянии был понять из сочинений Карнеада,

---

* Объясню, как смогу: но не буду говорить ничего окончательного и определенного, словно я — Аполлон Пифийский, а, будучи всего лишь человеком, обращусь к правдоподобным предположениям [271] (*лат.*).

** Если, рассуждая о природе богов и происхождении вселенной, мы не достигнем желанной нашему уму цели, то в этом нет ничего удивительного. Ведь следует помнить, что, и я, говорящий, и вы, судьи — всего лишь люди; так что, если наши соображения будут правдоподобны, не следует стремиться ни к чему большему [272] (*лат.*).

*** Те, кто хотят узнать, что мы думаем о всякой вещи, более любопытны, чем нужно. Вплоть до настоящего времени все еще процветает в философии метод, созданный Сократом, воспринятый Аркесилаем и подтвержденный Карнеадом, который состоит в том, чтобы все критиковать и ни о чем не высказывать безусловных суждений. Мы полагаем, что во всякой истине всегда есть нечто ложное и что сходство между истиной и ложью столь велико, что нет такого отличительного признака, на основании которого можно было бы судить наверняка и которому можно довериться [274] (*лат.*).

каковы его взгляды[275]. Почему Эпикур избегал ясности в своих сочинениях, а Гераклит был прозван за свою манеру изложения σκοτεινός*! Непонятное изложение, к которому прибегают ученые, это тот же прием, который применяют фокусники, чтобы скрыть ничтожество своего искусства, прием, на который легко попадается человеческая глупость:

> Clarus, ob obscuram linguam, magis inter inanis,
> Omnia enim stolidi magis admirantur amantque
> Inversis quae sub verbis latitantia cernunt **.

Цицерон упрекает некоторых своих друзей за то, что они уделяли астрономии, юриспруденции, диалектике и геометрии больше времени, чем эти науки заслуживают, и пренебрегали из-за этого более стоящими и более важными обязанностями в жизни[278]. Равным образом и философы-киренаики не придавали цены физике и диалектике[279]. Зенон в самом же начале своих книг «О государстве» объявлял бесполезными все свободные науки[280].

Хрисипп утверждал, что все написанное Платоном и Аристотелем о логике писалось ими в шутку и ради упражнения; он не мог поверить, чтобы они серьезно говорили о таких пустяках[281]. Плутарх утверждает то же самое относительно метафизики[282]. Эпикур сказал бы то же самое и о риторике, грамматике, поэзии, математике и всех прочих науках, кроме физики. Сократ со своей стороны признал бы это относительно всех наук, за исключением лишь той, которая занимается вопросами нашей жизни и нравов. О чем бы его ни спросили, он всегда заставлял спрашивающего прежде всего разобраться в обстоятельствах его прошлой и настоящей жизни; только эти обстоятельства он исследовал и по ним судил, считая всякое иное знание второстепенным по сравнению с этим и излишним. Parum mihi placeant eae litterae quae ad virtutem doctoribus nihil profuerunt ***.

Таким образом, большинство наук находилось в пренебрежении у самих ученых, но они не считали излишним изощрять свой ум и упражнять его хотя бы на вещах заведомо недостоверных и мало полезных.

Одни называли Платона догматиком, другие — сомневающимся скептиком, третьи считали, что он в некоторых вопросах догматик, в иных скептик[284].

Главное лицо в его диалогах, Сократ, всегда направляет беседу, ставя вопросы и возбуждая споры; он никогда не обрывает обсуждения, никогда не бывает удовлетворен и говорит, что не владеет никакой иной наукой, кроме науки противоречия. Их любимый автор, Гомер, в равной мере заложил основания всех философских школ, желая показать, что совершенно безразлично, каким путем мы пойдем[285]. Уверяют, что Платон был

* Темный[276] (*греч.*).

** [Гераклит], стяжавший себе славу темнотой своего языка по преимуществу среди невежд. Ибо глупцы дивятся и встречают с любовным почтением все, что, по их мнению, скрывается за двусмысленными выражениями[277] (*лат.*).

*** Я мало ценю те науки, которые ничего не сделали для добродетели ученых[283] (*лат.*).

родоначальником десяти различных философских школ [286], и поэтому, на мой взгляд, ни одно учение не было в такой степени проникнуто колебаниями и сомнениями, как его. Сократ говорил [287], что повивальные бабки, избрав своим ремеслом принимать детей у других, сами перестают рожать; так и он, получив от богов звание знатока повивального искусства в делах мудрости, тоже, подобно повивальным бабкам, отказался сам рождать. Преисполнившись любовью, он принимает у мужчин, а не у женщин и присматривает за рождением их душ. Он довольствуется тем, что оказывает рожающим поддержку и покровительство, помогает их естеству раскрыться, смазывает пути, по которым идет плод, и облегчает родовые муки; в дальнейшем он помогает судить о новорожденном, наладить его питание, рост, пеленание и обрезание; таким образом, он применяет свое искусство на пользу другому, ради его блага и устранения грозящих ему опасностей.

Точно так же обстоит дело и с сочинениями большинства философов третьего направления, как это отметили уже древние авторы относительно творений Анаксагора, Демокрита, Парменида, Ксенофана и других [288]. Их манера изложения по существу пронизана сомнением, они умышленно скорее спрашивают, чем поучают, хотя и перемежают свое изложение догматическими утверждениями. Это можно так же хорошо проследить на Сенеке, как и на Плутархе. Те, кто занимается ими вплотную, отлично знают, что они судят о вещах то с одной точки зрения, то с совершенно противоположной, и комментаторам следовало бы прежде всего примирить каждого из них с ним самим.

Мне кажется, что Платон умышленно любил философствовать в диалогической форме, ибо многообразие и противоречивость его взглядов не так бросались в глаза, когда их излагали разные собеседники.

Рассматривать предметы с разных точек зрения так же хорошо, как и рассматривать их под одним углом зрения, или даже еще лучше, ибо такое рассмотрение шире и полезнее. Возьмем пример из нашей практики: судебные решения составляют конечный пункт догматического обсуждения дела; однако те решения, которые наши парламенты представляют в качестве образцов, способных внушить народу то уважение, которое он обязан питать к этим высоким учреждениям, главным образом благодаря достоинству заседающих в них лиц,— хороши не своими заключениями, которые носят обычный характер и которые дает всякий судья, а тем, что они составляют итог прений и столкновения различных и противоположных мнений по поводу данного юридического случая.

Наиболее обширную область для взаимных упреков философов представляют те их расхождения и противоречия, в которых запутывается каждый из них либо умышленно, с целью показать шаткость человеческого ума в суждении о всяком предмете, либо, помимо их ведома, вследствие текучести и непонятности всякого явления.

Это выражено в следующем постоянно повторяемом изречении: «Если вопрос скользкий и зыбкий, воздержимся от суждения», ибо, как говорит Еврипид, «творения бога различным образом смущают нас» [289].

Это напоминает Эмпедокла [290], который, как бы охваченный божественным вдохновением и терзаемый истиной, постоянно твердит в своих писаниях: «Нет, нет, мы ничего не чувствуем и ничего не видим; все вещи сокрыты для нас, нет ни одной, о которой мы в состоянии были бы установить, что̀ она такое». Ту же самую мысль выражают и следующие слова божественного Писания: Cogitationes mortalium timidae et incertae ad inventiones nostrae et providentiae *. Не следует удивляться тому, что люди, отчаявшиеся овладеть истиной, тем не менее находят удовольствие в погоне за ней, ибо изучение наук — весьма увлекательное занятие; оно столь приятно, что стоики, например, в числе различных наслаждений запрещают также и то, которое проистекает от упражнения ума: они хотят обуздать его и считают невоздержанностью стремление слишком много знать [292].

Однажды, когда Демокрит ел во время обеда фиги, пахнувшие медом, он вдруг задумался над тем, откуда взялась у фиг эта необычная сладость, и, чтобы выяснить это, он встал из-за стола, желая осмотреть то место, где эти фиги были сорваны. Его служанка, узнав, почему он всполошился, смеясь, сказала ему, чтобы он не утруждал себя: она просто положила фиги в сосуд из-под меда. Демокрит был раздосадован тем, что она лишила его повода произвести расследование и отняла у него предмет, возбудивший его любознательность. «Уходи,— сказал он ей,— ты причинила мне неприятность; я все же буду искать причину этого явления так, как если бы оно было природным» [293]. И он не преминул найти какое-то истинное основание для объяснения этого явления, хотя оно было ложным и мнимым. Указанное происшествие с великим и прославленным философом служит ярким примером той страсти к знанию, которая заставляет нас пускаться в поиски, заведомо безнадежные. Плутарх рассказывает о сходном случае с одним человеком, который не желал быть выведенным из сомнения, одолевавшего его по поводу некоторых вещей, так как это лишило бы его удовольствия доискиваться; другой человек точно так же не желал, чтобы врач исцелил его от перемежающейся лихорадки, чтобы не лишиться удовольствия получать облегчение от питья. Satius est supervacua discere quam nihil **.

Подобно тому как всякая пища часто доставляет только удовольствие, между тем как далеко не все то приятное, что мы едим, бывает питательным и здоровым,— точно так же нам неизменно доставляет наслаждение все то, что наш ум извлекает из занятий науками, даже когда оно не бывает ни питательным, ни целебным.

Вот что говорят ученые: «Изучение природы служит пищей для нашего ума; оно возвышает и поднимает нас, оно заставляет нас презирать низменные и земные вещи по сравнению с возвышенными и небесными; само исследование вещей сокрытых и значительных — весьма увлекательное занятие даже для того, кто благодаря этому проникается лишь благогове-

---

* Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны [291] (*лат.*).
** Лучше изучить лишнее, чем ничего не изучить [294] (*лат.*).

нием и боязнью судить о них» [295]. Эти слова выражают убеждение их авторов. Еще более ярким образцом такой болезненной любознательности является другой пример, на который они постоянно с гордостью ссылаются. Евдокс [296] умолял богов дать ему возможность хоть один раз увидеть вблизи солнце и узнать, каковы его форма, величина и красота, даже ценою того, чтобы быть им тотчас же сожженным. Он жаждал ценою жизни приобрести знание, которым он не смог бы воспользоваться, и ради этого мгновенного и мимолетного познания готов был отказаться от всех имевшихся у него знаний и от тех, которые он мог бы еще приобрести в дальнейшем.

Меня нелегко убедить в том, что Эпикур, Платон и Пифагор принимали за чистую монету свои атомы, свои идеи, свои числа: они были слишком умны, чтобы верить в столь недостоверные и спорные вещи. Но каждый из этих великих мужей стремился внести какой-то луч света, желая рассеять нашу тьму и невежество; они тешились измышлениями, которые по крайней мере были увлекательными и остроумными, и если даже они оказывались ложными, то были не хуже противоположных убеждений: unicuique ista pro ingenio finguntur, non ex scientiae vi *.

Некий древний мудрец, которого упрекали в том, что он проповедует такую философию, о которой сам он в душе невысокого мнения, ответил: «Это и значит философствовать». Философы хотели все исследовать, все взвесить и считали, что это соответствует присущей нам природной любознательности. Некоторые вещи они писали ради пользы общества, как, например, о религии, и это было с их стороны благоразумно, ибо они не хотели разоблачать общепринятые мнения, опасаясь вызвать этим смуту и нарушить повиновение законам и обычаям своей страны.

Платон разрешает этот вопрос просто и ясно: когда он говорит от своего лица, то не предписывает ничего определенного, когда же выступает как законодатель, то начинает выражаться решительно и властно [298]. При этом он, не стесняясь, уснащает свое изложение самыми фантастическими измышлениями, весьма полезными для народа, но смешными в его собственных глазах, ибо он знает, до какой степени мы склонны поддаваться всяким внушениям, даже самым диким и нелепым.

Вот почему в своих «Законах» он тщательно предусматривает [299], что в общественных местах должны распеваться только такие гимны, баснословные вымыслы которых могут послужить какой-нибудь полезной цели. Будучи убежден, что человеческий ум легко поддается внушению, он считал, что уж лучше питать его полезными вымыслами, чем бесполезными или даже вредными. В своем «Государстве» он прямо заявляет, что для пользы людей часто бывает необходимо их обманывать [300]. Нетрудно заметить, что одни философские школы больше стремились к истине, другие же — к пользе, благодаря чему последние и получили большее распространение. Беда наша в том, что нередко вещи, кажущиеся нам наи-

---

* Каждый сообразует их [эти учения] с требованиями своего ума, вместо того чтобы сообразовать их с требованиями науки [297] (*лат.*).

более истинными, не являются наиболее полезными для нашей жизни. Даже эпикурейцы, пирронисты и приверженцы Новой Академии [301], то есть представители самых смелых философских школ, в конечном счете вынуждены склоняться перед гражданским законом.

Есть еще и другие вопросы, которые они тщательно обсуждали, выворачивая их так и этак, причем каждый старался сказать свое слово, удачное или неудачное. Так как они исходили из того, что нет ничего столь сокровенного, чего им нельзя было бы расследовать, то им часто приходилось строить несостоятельные и нелепые догадки, которые они сами не считали основательными, и выдвигали их не для того, чтобы установить истину, а только чтобы поупражнять свой ум. Non tam id sensisse quod dicerent, quam exercere ingenia materiae difficultate videntur voluisse *.

В противном случае было бы непонятно, как могли эти выдающиеся и замечательные люди обнаружить такое необычайное непостоянство, такую разноголосицу и легковесность в своих воззрениях? Так, например, что может быть нелепее, чем желать представить себе бога с помощью наших уподоблений и догадок; или пытаться подчинить его и мир нашим законам и мерить их нашими силами; или пользоваться в применении к божеству той крупицей способностей, которые ему угодно было уделить человеческой природе; или желать низвести его на землю и сделать столь же тленным и жалким, как мы сами, только потому, что мы не в состоянии простереть своих взоров до его славного престола?

Из всех человеческих — и притом самых древних — религиозных воззрений наиболее правдоподобным и находящим оправдание мне представляется то, которое признает бога непостижимой силой, источником и хранителем всех вещей, считает, что бог — весь благо, весь совершенство и что он благосклонно принимает почести и поклонение людей, в какой бы форме, под каким бы именем и каким бы способом люди их ни выражали [303].

Iuppiter omnipotens rerum, regumque deumque
Progenitor genitrixque **.

Небо всегда благосклонно взирало на это рвение. Все правительства извлекали пользу из благочестия верующих [305]; нечестивые люди и их поступки повсюду получали соответствующее воздаяние. Писавшие о языческих народах признают достоинство, правопорядок, справедливость, истинность чудес и оракулов, служащих им на пользу, и наставления, которые заключены в их баснословных религиях, поскольку бог, по своему милосердию, пожелал с помощью этих благодеяний укрепить слабые ростки весьма грубого познания его, достигнутого их естественным разумом, хотя и сквозь оболочку лживых выдумок.

Но те выдумки, которые измышлял человек, были не только ложными, но и нечестивыми и безнравственными.

* Они, кажется, не столько заботились о достоверности, сколько хотели поупражнять свой ум на трудном предмете [302] (*лат.*).

** Всемогущий Юпитер, отец и вместе с тем мать вещей, царей и богов [304] (*лат.*).

Из всех святынь, почитавшихся в Афинах, святой Павел счел наиболее допустимой ту, где был жертвенник с надписью: «Неведомому и невидимому богу» [306].

Пифагор ближе всего подошел к истине, считая, что познание этой первопричины, этой сущности всего сущего, не подлежит никакому ограничению, никаким предписаниям и никакому внешнему выражению, ибо это познание есть не что иное, как крайнее усилие нашего воображения, стремящегося к совершенству, причем каждый по своим способностям составляет себе идею этого существа. Но когда Нума решил приспособить к такому пониманию религию своего народа [307] и привязать его к чисто духовной вере, не имеющей определенного предмета поклонения и лишенной всякой материальности, то это оказалось бесплодной попыткой, ибо человеческому уму не за что было ухватиться в этой безбрежности смутных мыслей, ему необходимо было уплотнить их в некий образ, созданный им по своему подобию. Божественное величие, таким образом, позволило до известной степени ограничить себя ради нас телесными границами. Его сверхъестественные и небесные таинства носят на себе печать земной природы человека, и почитание бога выражается в молитвах и звучащих словах, ибо при этом верует и молится человек. Я оставляю в стороне другие доводы, которые приводят в данном случае; но вряд ли меня можно убедить в том, что наши распятия и изображение жалостных крестных мук, вид церковных украшений и обрядов, пение, выражающее наши благочестивые помыслы, и общее связанное с этим возбуждение наших чувств не воспламеняют души народов религиозной страстью, оказывающей весьма полезное действие [308].

Из религий, в основе которых лежало поклонение телесному божеству,— что необходимо было при царившем в те времена всеобщем невежестве,— я бы, мне кажется, охотнее всего примкнул к тем, кто поклонялся солнцу.

О солнце...
...Всеобщий светоч,
Глаз мира; если бог с небес глядит на нас,
То солнца жаркий свет — сиянье божьих глаз:
Всему дарит он жизнь, и все он охраняет
И все дела людей в широком мире знает.
Да, солнце дивное, блюдя святой черед,
В двенадцати домах на небесах живет,
Для нас, живых людей, меняя лики года,
И тают облака в лучах его восхода.
Вселенной мощный дух, горячий, огневой,
Оно за краткий день, кочуя над землей,
Всю твердь небесную огромным плотным шаром
Сумеет обежать в своем стремленье яром.
Трудов не ведает — а счесть не может их,—
Природы старший сын, отец существ живых [309].

Ибо, помимо своего величия и красоты, солнце представляет собой наиболее удаленную от нас и потому наименее известную нам часть вселенной, так что вполне простительно испытывать по отношению к нему чувство восхищения и благоговения.

Фалес, который первым исследовал такие вопросы, считал бога духом, который создал все из воды; Анаксимандр считал, что боги рождаются и умирают через известные промежутки времени и что миров и их богов существует бесконечное множество; Анаксимен признавал, что бог есть воздух, что он возникает, что он безмерен и всегда находится в движении; Анаксагор первый считал, что устройство и мера всех вещей определяются и совершаются силой и прозорливостью бесконечного разума[310]. Алкмеон[311] приписывал божественность солнцу, луне, звездам и душе. Пифагор учил, что бог есть дух, который пребывает в природе всех вещей и от которого исходят наши души; Парменид[312] считал, что горящий световой круг, опоясывающий небо и сохраняющий своей теплотой вселенную, и есть бог. Эмпедокл полагал, что богами являются четыре стихии, из которых созданы все вещи; Протагор[313] говорил, что о богах он ничего не знает, существуют они или нет и каковы они. Демокрит то утверждал, что боги — это «образы»[314] и их круговращения, то — что они представляют собой природу, которая излучает эти образы, то, наконец, что боги — это наше знание и разум. Платон по-разному излагает свои воззрения; в «Тимее» он утверждает, что невозможно назвать отца мира; в «Законах» он говорит, что не следует допытываться, что такое бог; но в других местах тех же сочинений он называет богами мир, небо, звезды, землю и наши души, а кроме того, признает всех тех богов, которые приняты были в древности в каждом государстве. Ксенофонт, излагая учение Сократа, отмечает такую же путаницу: то Сократ утверждал, что не следует доискиваться, каков образ бога; то он считал богом солнце, то — душу; иногда он говорил, что существует единый бог, иногда же — что их много. Племянник Платона, Спевсипп[315], считал, что бог есть некая одушевленная сила, которая всем управляет. Аристотель иногда признавал, что бог — это дух, а иногда — что это вселенная, в некоторых же случаях он ставил над нашим миром другого владыку, а иногда полагал, что бог — это небесный огонь. Ксенократ[316] насчитывал восемь богов, из которых первые пять — это планеты, шестой бог — все неподвижные звезды, вместе взятые, а седьмым и восьмым богами являются солнце и луна. Гераклид Понтийский[317] колеблется между различными точками зрения: он признает, что бог лишен чувств, и придает ему то один образ, то другой, а под конец заявляет, что боги — это небо и земля. Такое же непостоянство в своих взглядах обнаруживает и Феофраст[318]: он приписывает управление миром то разуму, то небу, то звездам.

Стратон[319] полагал, что бог — это бесформенная и бесчувственная природа, обладающая способностью порождать, увеличивать и уменьшать. Зенон полагал, что бог — это естественный закон, повелевающий творить добро и запрещающий делать зло; закон этот, по его мнению, — нечто

одушевленное; Зенон не причисляет к богам Юпитера, Юнону, Весту, обычно называемых богами. Диоген Аполлонийский [320] полагал, что бог — это воздух. Ксенофан [321] считал, что бог шарообразен, видит и слышит, но неодушевлен и не имеет ничего общего с человеческой природой. Аристон [322] полагал, что образ бога непознаваем и что бог лишен чувств; он сомневался, есть ли бог нечто одушевленное или нет. Клеанф [323] признавал богом иногда разум, иногда вселенную, иногда душу природы, иногда небесный жар, который окружает и охватывает все. Ученик Зенона, Персей [324], считал, что звания богов удостоились все те, кто сделал что-нибудь полезное для человеческого общежития. Хрисипп нагромоздил в одну кучу все предшествующие высказывания о богах и, наделив их тысячью различных образов, причислил к ним также людей, которые обессмертили себя. Диагор и Феодор [325] полностью отрицали существование богов. Эпикур полагал, что боги светоносны, прозрачны и воздушны; они обитают между двумя небосводами, как бы между двумя укреплениями, обладают человеческим обликом и имеют такие же, как у нас, части тела, хотя телом своим никак не пользуются [326].

Ego deum genus esse semper dixi, et dicam caelitum;
Sed eos non curare opinor, quid agat humanum genus *.

И вот при виде этой полнейшей неразберихи философских мнений попробуйте положиться на вашу философию, попробуйте уверить, что вы нашли изюминку в пироге! Убедившись в этом хаосе, я пришел к выводу, что нравы и мнения, отличающиеся от моих, не столько мне неприятны, сколько поучительны; сопоставление их дает мне основание не к тому, чтобы возгордиться, а к тому, чтобы почувствовать свое ничтожество: мне кажется, что ни одно мнение не имеет преимущества перед другим, за исключением тех, которые внушены мне божьей волей. Я оставляю в стороне образ жизни необычный и противоестественный. Наблюдаемые в мире политические порядки противоречат друг другу в не меньшей степени, чем философские школы: мы можем, таким образом, убедиться, что сама фортуна не более изменчива и многолика, чем наш разум, что она не более слепа и безрассудна.

То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обожествления [328]; вот почему делать из нас богов, как поступали древние, значит доказывать полнейшее ничтожество человеческого разума. Я бы скорее понял тех, кто поклоняется змее, собаке или быку, поскольку, меньше зная природу и свойства этих животных, мы можем с бо́льшим основанием думать о них все, что нам хочется, и приписывать им необычайные способности. Но делать богов из существ, обладающих нашей природой, несовершенство которой нам должно быть известно; приписывать богам желания, гнев, мстительность; заставлять их заключать браки, иметь детей и

* Я говорил всегда и буду говорить, что род небожителей существует, но я не считаю, будто их заботит, как идут дела у рода людского [327] (*лат.*).

вступать в родственные связи, испытывать любовь и ревность; наделять их частями нашего тела, нашими костями, нашими недугами и нашими наслаждениями, нашими смертями и нашими похоронами — все это можно объяснить лишь чрезмерным опьянением человеческого разума.

Quae procul usque adeo divino ab numine distant,
Inque deum numero quae sint indigna videri *.

Formae, aetates, vestitus, ornatus noti sunt: genera, coniugia, cognationes omniaque traducta ad similitudinem imbecillitatis humanae: nam et perturbatis animis inducuntur; accipimus enim deorum cupiditates, aegritudines, iracundias **.

Это все равно, что обожествлять не только веру, добродетель, честь, согласие, свободу, победу, благочестие, но и вожделение, обман, смертность, зависть, старость, страдания, страх, лихорадку, злополучие и другие напасти нашей изменчивой и бренной жизни.

Quid iuvat hoc, templis nostros inducere mores?
O curvae in terris animae et caelestium inanes ***.

Египтяне без стеснения предусмотрительно запрещали под страхом смерти говорить о том, что их боги Серапис и Изида были когда-то людьми, хотя это было всем известно. Их изображали с прижатым к губам пальцем, что, по словам Варрона, означало таинственное приказание жрецам хранить молчание об их смертном происхождении,— иначе они неминуемо лишились бы всякого почитания [332].

Раз уж человек желает сравняться с богом, говорит Цицерон [333], он поступил бы лучше, наделив себя божественными свойствами и совлекши их на землю, вместо того чтобы воссылать на небо свою тленную и жалкую природу; но, говоря по правде, человек, побуждаемый тщеславием, делал на разные лады и то и другое.

Я не могу поверить, что философы говорят серьезно, когда устанавливают иерархию своих богов и вдаются в описание их союзов, их обязанностей и их могущества. Когда Платон говорит о жезле Плутона и о телесных наградах и наказаниях, которые ожидают нас после распада наших тел, сообразуя эти воздаяния с тем, что мы испытываем в этой жизни [334],—

Secreti celant calles, et myrtea circum
Silva tegit; curae non ipsa in morte relinquunt ****,

* Вещи, весьма далекие божественной природе и недостойные того, чтобы их приписывали богам [329] (*лат.*).

** Известны облик богов, их возраст, одежды, убранство; родословные, браки, родственные связи и все прочее перенесено на них по аналогии с человеческой немощью; нам изображают их испытывающими волнения; знаем же мы о страстях богов, об их болезнях, гневе [330] (*лат.*).

*** К чему вводить в храм наши дурные нравы? О души, погрязшие в земных помыслах и неспособные мыслить возвышенно! [331] (*лат.*).

**** Тайные тропинки прячут их, и миртовый лес прикрывает кругом; сама смерть не избавляет их от забот [335] (*лат.*).

или когда Магомет обещает своим единоверцам рай, устланный коврами, украшенный золотом и драгоценными камнями, рай, в котором нас ждут девы необычайной красоты и изысканные вина и яства, то для меня ясно, что это говорят насмешники, приспособляющиеся к нашей глупости: они стремятся привлечь и соблазнить нас этими описаниями и обещаниями, доступными нашим земным вкусам. Ведь впадают же некоторые наши единоверцы в подобное заблуждение и надеются после воскресения вернуться к земной и телесной жизни со всеми мирскими благами и удовольствиями. Можно ли поверить, чтобы Платон — с его возвышенными идеями и столь близкий к божеству, что за ним сохранилось прозвище божественного,— допускал, что такое жалкое создание, как человек, имеет нечто общее с этой непостижимой силой? Можно ли представить себе, чтобы он считал наш разум и наши слабые силы способными участвовать в вечном блаженстве или терпеть вечные муки? От имени человеческого разума следовало бы сказать ему: если те радости, которые ты сулишь нам в будущей жизни, такого же порядка, как и те, которые я испытывал здесь на земле, то это не имеет ничего общего с бесконечностью. Даже если все мои пять чувств будут полны веселья и душа будет охвачена такой радостью, какой она только может пожелать и на какую может надеяться, это еще ничего не значит, ибо меру ее возможностей мы знаем. Если в этом есть хоть что-нибудь человеческое, значит в этом нет ничего божественного. Если оно не отличается от нашего земного существования, то оно ничего не стоит. Все радости смертных тоже смертны. Если нас еще может трогать и радовать в будущем мире то, что мы узнаем наших родителей, наших детей и наших друзей, если мы еще ценим такие удовольствия, то это показывает, что мы находимся еще во власти земных и преходящих радостей. Мы не в состоянии достойным образом оценить величие этих возвышенных и божественных обещаний, если способны их как-то понять; ибо для того, чтобы представить их себе надлежащим образом, их следует мыслить невообразимыми, невыразимыми, непостижимыми и глубоко отличными от нашего жалкого опыта. «Не видел того глаз,— говорит апостол Павел,— не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» [336]. И если для того, чтобы сделать нас к этому способными, потребуется преобразовать и изменить наше существо (как ты этому учишь, Платон, путем описанных тобой очищений), то это изменение должно быть таким коренным и всесторонним, что мы перестанем быть в физическом смысле тем, чем были:

Hector erat tunc cum bello certabat; at ille,
Tractus ab Aemonio, non erat Hector, equo *,

и эти награды на том свете получит уже какое-то другое существо:

---

* Гектором был тот, кто воевал, но тот, кого влекли кони Ахиллеса, не был больше Гектором [337] (*лат.*).

quod mutatur, dissolvitur; interit ergo:
Traiciuntur enim partes atque ordine migrant *.

Ибо когда мы говорим о метемпсихозе Пифагора и о том, как он представлял себе переселение душ, то разве мы думаем, что лев, в котором воплотилась душа Цезаря, испытывает те же страсти, которые волновали Цезаря, или что лев и есть Цезарь! Если бы это было так, то были бы правы те, кто, оспаривая это мнение Платона [339], упрекали его в том, что в таком случае могло бы оказаться, что превратившаяся в мула мать возила бы на себе сына, и приводили другие подобные нелепости. И разве новые существа, возникшие при этих превращениях одних животных в других того же вида, не будут иными, чем их предшественники? Говорят, что из пепла феникса рождается червь, а потом другой феникс [340]; можно ли думать, что этот второй феникс не будет отличаться от первого? Мы видим, что шелковичный червь умирает и засыхает и из него образуется бабочка, а из нее в свою очередь другой червь, которого нелепо было бы принимать за первого. То, что однажды прекратило существование, того больше нет [341]:

Nec, si materiem nostram collegerit aetas
Post obitum, rursumque redegerit, ut sita nunc est,
Atque iterum nobis fuerint data lumina vitae,
Pertineat quidquam tamen ad nos id quoque factum,
Interrupta semel cum sit repetentia nostra **.

И когда в другом месте, ты, Платон [343], говоришь, что этими воздаяниями в будущей жизни будет наслаждаться духовная часть человека, то ты говоришь нечто маловероятное.

Scilicet, avolsis radicibus, ut nequit ullam
Dispicere ipse oculus rem, seorsum corpore toto ***.

Ибо тот, кто будет испытывать это наслаждение, не будет больше человеком, а следовательно, это будем не мы; ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существа:

Inter enim iacta est vitai pausa, vageque
Deerrarunt passim motus ab sensibus omnes ****.

Не говорим же мы, что человек страдает, когда черви точат части его бывшего тела или когда оно гниет в земле:

* Что меняется, то разрушается и, следовательно, гибнет: ведь части смещаются и выходят из строя [338] (*лат.*).

** Да и если бы после смерти вещество нашего тела было вновь собрано временем и приведено в нынешний вид и если бы нам дано было вторично явиться на свет, то это все-таки не имело для нас никакого значения, так как память о прошлом была бы уже прервана [342] (*лат.*).

*** Вырванный из орбиты и находящийся вне тела глаз не в состоянии узреть никакого предмета [344] (*лат.*).

**** Тут наступил перерыв бытия, и тела в беспорядочном движении блуждали, лишенные чувств [345] (*лат.*).

Et nihil hoc ad nos, qui coitu coniugioque
Corporis atque animae consistimus uniter apti *.

Далее, на каком основании боги могут вознаграждать человека после его смерти за его благие и добродетельные поступки, раз они сами побудили его к этому и совершили их через него? И почему они гневаются и мстят ему за его порочные деяния, раз они же сами наделили его этой несовершенной природой, между тем как самое ничтожное усилие их воли могло бы предохранить его от этого? Разве не это самое возражение Эпикур приводил с большей убедительностью против Платона, прикрываясь нередко следующим изречением: «Обладая лишь смертной природой, нельзя установить ничего достоверного о природе бессмертной. Она всегда сбивает нас с толку, в особенности, когда вмешивается в божественные дела». Кто яснее понимает это, чем мы? Ибо хотя мы и даем нашему разуму точные и непогрешимые наставления, хотя мы и освещаем путь его святым светочем истины, которым богу угодно было наделить нас, однако мы каждодневно видим, что стóит ему хоть немного уклониться от обычной тропы, свернуть с пути, проторенного и проложенного церковью, как он тотчас же запутывается и начинает блуждать без руля и без ветрил в безбрежном море зыбких и смутных человеческих мнений. Как только разум теряет эту верную столбовую дорогу, он устремляется по тысяче различных путей.

Человек может быть только тем, что он есть, и представлять себе всё только в меру своего понимания. Когда те, кто всего-навсего люди,— говорит Плутарх [347],— берутся судить и рассуждать о богах и полубогах, это еще бóльшая самонадеянность, чем когда человек, ничего не смыслящий в музыке, берется судить о тех, кто поет; или когда человек, никогда не бывавший на поле боя, пробует рассуждать об оружии и способах ведения войны, полагая, что с помощью легковесных догадок можно разобраться в существе того искусства, которое выше его понимания. На мой взгляд, древние думали, что возвеличивают божество, приравнивая его к человеку, наделяя его человеческими способностями, самыми затейливыми прихотями и самыми низменными потребностями; предлагая ему в пищу наше мясо; забавляя его нашими плясками, шутками и фокусами; предлагая ему наши одеяния и наши дома; услаждая его запахом благовоний и звуками музыки, празднествами и цветами. Наделяя божество нашими порочными страстями, они льстиво приписывали его правосудию бесчеловечную мстительность и увеселяли его зрелищем разрушения и разорения того, что оно само создало и охраняло. Так поступил, например, Тиберий Семпроний [348], предав огню и принеся в жертву Вулкану богатую военную добычу и оружие, захваченное им у неприятеля в Сардинии. Павел Эмилий [349] принес в жертву Марсу и Минерве добычу, доставшуюся ему в Македонии. Александр, придя к Индийскому океану [350], бросил в его воды в честь Фетиды несколько больших золотых сосудов и устроил, кро-

* Это не имело бы значения для нас, поскольку мы в нашем существовании составляем некое единство благодаря связи и союзу душ и тела [346] (*лат.*).

ме того, на своих алтарях бойню, принеся в жертву не только невинных животных, но и людей. Человеческие жертвоприношения были обычными у многих народов, в том числе и у нашего; я думаю, что ни один народ не представлял исключения в этом отношении.

Sulmone creatos
Quattuor hic iuvenes, totidem quos educat Ufens,
Viventes rapit, inferias quos immolet umbris *.

Геты [352] считали себя бессмертными; умереть значило для них отправиться к своему божеству Салмоксису. Каждые пять лет геты посылали к Салмоксису кого-либо из своих соплеменников, чтобы попросить его о самом необходимом. Посланца избирали по жребию, и обряд этот совершался таким образом: сначала ему устно передавали то или иное поручение, после чего трое воинов выстраивались в ряд с тремя копьями в руках, а другие со всего размаху бросали обреченного на них. Если он при этом получал смертельную рану и тотчас же умирал, это считалось верным признаком божественного благоволения. Если же вестник не умирал сразу, геты считали, что он порочный и недостойный человек, и избирали другого посланца вместо него.

Когда Аместрида, мать Ксеркса [353], состарилась, то, следуя религии своей страны и желая умилостивить какого-то подземного бога, приказала однажды закопать в землю живыми четырнадцать персидских юношей знатного происхождения.

Еще и поныне идолы Темикститана обагряются кровью младенцев; им угодны жертвы только этих невинных детских душ: правосудие жаждет крови невинных!

Tantum religio potuit suadere malorum! **

Карфагеняне приносили в жертву Сатурну своих собственных детей; а бездетные покупали для этой цели чужих детей; отец и мать обязаны были присутствовать при обряде жертвоприношения с веселыми и довольными лицами [355]. Странной фантазией было платить за милость богов нашими страданиями; так поступали, например, лакедемоняне, услаждавшие свою Диану истязаниями юношей, которых они в угоду ей часто бичевали до смерти [356]. Дикой прихотью было благодарить зодчего разрушением его созданий и карать невинных, чтобы предотвратить наказание, заслуженное виновными. Дико было думать, что заклание и смерть бедной Ифигении в Авлиде очистит греческое войско от обиды, нанесенной богам [357].

Sed casta inceste, nubendi tempore in ipso,
Hostia concideret mactatu moesta parentis ***.

* Он [Эней] схватил четыоех юношей, сыновей Сульмоны, и еще четырех сыновей Уфента, чтобы принести их живыми в жертву теням преисподней [351] (*лат.*).
** Вот к каким злодеяниям побуждала религия! [354] (*лат.*).
*** Ее влекут к алтарю, чтобы ей, непорочной, в самое время свершения брачного обряда печальною жертвой пасть, преступно закланной отцом [358] (*лат.*).

А что сказать о двух прекрасных и благородных Дециях [359], отце и сыне, которые, чтобы расположить богов в пользу римлян, бросились в самую гущу неприятельских войск!

Quae fuit tanta deorum iniquitas, ut placari populo Romano non possent, nisi tales viri occidissent *. Добавляю, что отнюдь не дело преступника определять меру и час своего наказания; только судья засчитывает в наказание ту кару, которую он назначает, но он не устанавливает наказание по выбору того, кто сам себя подвергает ему. Божественная кара предполагает наше полное несогласие как с нашим осуждением, так и с налагаемым на нас наказанием.

Нелепым было ухищрение Поликрата [361], тирана самосского, когда он, желая нарушить свое постоянное благоденствие и искупить его, бросил в море самое дорогое и ценное сокровище, в надежде, что этой искупительной жертвой ему удастся предотвратить непостоянство фортуны, избежать ее превратностей; она же, насмехаясь над его глупостью, сделала так, что брошенная в море драгоценность снова вернулась в его руки, будучи найдена в желудке рыбы. А кому нужны были те мучения и терзания, которые причиняли себе корибанты и менады [362]? Или те шрамы на лице, животе и конечностях, которые еще в наше время наносят себе магометане, желая угодить своему пророку? Ведь оскорбление, наносимое богу, коренится в нашей воле, а вовсе не в груди, не в глазах, не в половых органах, не в плечах или в гортани! Tantus est perturbatae mentis et sedibus suis pulsae furor, ut sic dii placentur, quemadmodum ne homines quidem saeviunt **.

Наше тело призвано служить не только нам, но также и богу и другим людям; поэтому умышленно терзать его столь же недопустимо, как и лишать себя жизни под каким бы то ни было предлогом. Уродовать и калечить бессознательные и непроизвольные отправления нашего тела ради того, чтобы избавить душу от необходимости разумно руководить ими значит проявлять большую трусость и предательство.

Ubi iratos deos timent, qui sic propitios habere merentur? In regiae libidinis voluptatem castrati sunt quidam; sed nemo sibi, ne vir esset, iubente, domino, manus intulit ***. Так, религия приводила людей ко многим дурным поступкам:

saepius illa
Religio peperit scelerosa atque impia facta ****.

---

* Какова же несправедливость богов, если их нельзя было умилостивить на пользу римского народа иначе, как убийством столь добродетельных мужей [360] (*лат.*).

** Таково уж неистовство их расстроенного и сбитого с толку ума, что в угоду богам они совершают такие зверства, каких не делают промеж себя даже люди [363] (*лат.*).

*** Чем же боятся прогневать богов те, кто рассчитывает таким способом расположить их к себе? Бывало, что некоторых людей оскопляли в угоду царскому распутству, но никто по приказу господина не брал сам в руки нож, чтобы перестать быть мужчиной [364] (*лат.*).

**** Религия нередко порождала преступные и нечестивые деяния [365] (*лат.*).

Ничто, присущее нам, ни в каком отношении не может быть приравнено к божественной природе или отнесено к ней, ибо это накладывало бы на нее отпечаток несовершенства. Как может эта бесконечная красота, бесконечное могущество и бесконечная благость без ущерба для своего божественного величия допустить какое-либо соответствие или сходство с таким существом, как человек?

Infirmum dei fortius est hominibus, et stultum dei sapientius est hominibus *.

Когда кто-то спросил философа Стильпона [367], радуют ли богов воздаваемые им почести и приносимые им жертвы, он ответил: «Ты неразумен; давай уединимся; если ты хочешь поговорить об этом».

И тем не менее мы предписываем богу определенные пределы; мы ограничиваем его могущество доводами нашего разума (я называю разумом наши домыслы и фантазии и исключаю отсюда философию, которая утверждает, что даже безумный или злой вынуждены действовать по разумным основаниям; но это разум особого рода), хотим подчинить его, который создал нас и наше знание, пустым и ничтожным доводам нашего рассудка. Мы говорим: «Бог не мог создать мир без материи, ибо из ничего нельзя ничего создать». Как! Разве бог вручил нам ключи своего могущества и открыл нам тайны его? Разве он обязался не выходить за пределы, поставленные нашей наукой? Допустим, о человек, что ты сумел заметить здесь на земле некоторые следы его действий,— думаешь ли ты, что он применил при этом все свои силы и воплотил в этом творении все свои помыслы, что он исчерпал при этом все формы? Ты видишь в лучшем случае только устройство и порядки того крохотного мирка, в котором живешь; но божественное могущество простирается бесконечно дальше его пределов; эта частица — ничто по сравнению с целым:

omnia cum caelo terraque marique
Nil sunt ad summam summai totius omnem **.

Ты ссылаешься на местный закон, но не знаешь, каков закон всеобщий. Ты можешь связывать себя с тем, чему ты подчинен, но его ты не свяжешь; он тебе не собрат, не земляк или товарищ. Если он как-то вступает в общение с тобой, то не для того, чтобы сравняться с твоим ничтожеством или вручить тебе надзор над своей властью. Тело человека не может витать в облаках — таков закон для тебя. Солнце непрерывно движется по своему пути; моря и земли имеют свои границы; вода текуча и жидка; сплошная стена непроницаема для твердого тела; человек не может не сгореть в пламени; он не может физически одновременно находиться на небе, на земле и в тысяче других мест. Все эти правила бог установил для тебя; они связывают только тебя. Он показал христианам, что может нарушать все эти законы, когда ему заблагорассудится. Действи-

---

* Немудрое божие премудрее человеков и немощное божие сильнее человеков [366] (*лат.*).
** Все сущее, вместе с небом, землей и морем, ничто по сравнению с целой вселенной [368] (*лат.*).

тельно, для чего ему, раз он всемогущ, ограничивать свои силы определенными пределами? В угоду кому будет он отказываться от своих преимуществ? Твой разум с полным основанием и величайшей вероятностью доказывает тебе, что существует множество миров:

Terramque, et solem, lunam, mare, cetera quae sunt,
Non esse unica, sed numero magis innumerali *.

В это верили, побуждаемые доводами разума, самые выдающиеся умы прошлых веков и даже некоторые наши современники; тем более что в нашем мироздании нет ни одного предмета, который существовал бы в единственном числе:

cum in summa res nulla sit una,
Unica quae gignatur, et unica solaque crescat **,

и все вещи существуют во множественном числе; поэтому представляется невероятным, чтобы бог сотворил только один этот мир, не создав подобных ему, и чтобы вся материя была полностью истрачена на это единственное творение:

Quare etiam atque etiam talis fateare necesse est
Esse alios alibi congressus materiai,
Qualis hic est avido complexu quem tenet aether ***,

в особенности, если существо это одушевленное, как можно предполагать по его движениям и как уверяет Платон [372]; некоторые наши ученые [373] подтверждают это мнение, другие же не осмеливаются опровергать его. А может быть, правильно то старинное воззрение, согласно которому небо, звезды и другие части вселенной представляют собой создания, состоящие из тела и души, которые смертны по своему составу, но бессмертны по решению создателя. В случае же если существует множество миров, как полагали Демокрит, Эпикур и почти все философы, то откуда мы знаем, что принципы и законы нашего мира приложимы также и к другим мирам? Эти миры, может быть, имеют другой вид и другое устройство [374]? Эпикур представлял их себе то сходными между собой, то несходными [375]. Ведь даже в нашем мире мы наблюдаем бесконечное разнообразие и различия в зависимости от отдаленности той или иной страны. Так, например, в том Новом Свете, который открыт был нашими отцами, не известны ни хлеб, ни вино, ни одно из наших животных; все там иное. А в скольких странах света в прежние времена не имели представления ни о Вакхе, ни о Церере [376]? Если верить Плинию и Геродоту [377], то в некоторых странах есть люди, очень мало на нас похожие.

---

* Земля, солнце, луна, море и все прочие вещи не единственны, но существуют, надо думать, в неисчислимом множестве [369] (*лат.*).

** Нет во вселенной ни единой вещи, которая могла бы возникнуть и расти одна [370] (*лат.*).

*** Следует признать, что где-то должны существовать другие скопления материи, сходные с теми, которые цепко держит эфир [371] (*лат.*).

Существуют смешанные породы людей, представляющие собой нечто среднее между человеческой природой и животной. Есть страны, где люди рождаются без головы, а глаза и рот помещаются у них на груди; где все люди — двуполые существа; где люди ходят на четвереньках; где у людей только один глаз во лбу, а голова более похожа на голову собаки, чем человека; где люди наполовину — в нижней части тела — рыбы и живут в воде; где женщины рожают в пятилетнем возрасте и живут только до восьми лет; где у людей лоб так тверд и кожа на нем так толста, что железо не в состоянии пробить их и сгибается; где у мужчин не растет борода; есть народы, которые не знают употребления огня; и другие, у которых сперма черного цвета.

Существуют люди, которые с легкостью превращаются в волков или в кобыл, а затем снова становятся людьми. И если верно утверждение Плутарха[378], что в некоторых частях Индии имеются люди без рта, питающиеся лишь запахами, то многие наши описания неправильны; такие люди отнюдь не смешнее, чем мы, их разум, может быть, нисколько не уступает нашему, и они в такой же мере, как мы, способны к общественной жизни, и тогда может оказаться, что наше внутреннее устройство и законы не применимы к большинству людей.

Далее, сколько мы знаем вещей, противоречащих тем прекрасным правилам, которые мы установили для природы и предписали ей! А мы еще хотим связать ими самого бога! Сколько явлений мы называем сверхъестественными и противоречащими природе! Каждый человек и каждый народ называет так вещи, недоступные его пониманию. А сколько мы наблюдаем таинственных свойств и квинтэссенций[379]? Ибо для нас «поступать согласно природе» значит «поступать согласно нашему разуму», насколько он в состоянии следовать за ней и насколько мы в состоянии распознать этот путь; все, что выходит за пределы разума, чудовищно и хаотично. Но с этой точки зрения наиболее проницательным и изощренным людям все должно представляться чудовищным, ибо человеческий разум убедил их, что нет никаких серьезных оснований утверждать даже то, что снег бел (Анаксагор заявлял, что он черен)[380]. Все неясно: существует ли что-нибудь или ничего не существует? Знаем ли мы что-либо или ничего не знаем? (Метродор Хиосский отрицал за человеком возможность ответить на этот вопрос)[381]. Живем ли мы или нет? Ибо Еврипид сомневался, «является ли наша жизнь жизнью или же жизнь есть то, что мы называем смертью»:

τίς δ᾽οἶδεν εἰ τὸ ζῆν μέν ἐστι κατθανεῖν τὸ κατθανεῖν δὲ ζῆν[382].

Еврипид сомневался не без основания; действительно, почему называть жизнью тот миг, который является только просветом в бесконечном течении вечной ночи и очень кратким перерывом в нашем постоянном и естественном состоянии, ибо смерть занимает все будущее и все прошлое этого момента, да еще и немалую часть его самого? Другие уверяют, что нет никакого движения и что ничто не движется, как утверждают последователи Мелисса[383] (ибо, если существует только единое, то оно не мо-

жет ни обладать сферическим движением, ни передвигаться с места на место, как это доказывает Платон[384]), и что в природе нет ни рождения, ни истлевания.

Протагор утверждал, что в природе нет ничего, кроме сомнения, и что обо всех вещах можно спорить с одинаковым основанием и даже о том, можно ли спорить с одинаковым основанием обо всех вещах; Навсифан[385] заявлял, что из тех вещей, которые нам кажутся, ни одна не существует с большей вероятностью, чем другая, и что нет ничего достоверного, кроме недостоверности; Парменид утверждал, что ничто из того, что нам кажется, не существует вообще и что существует только единое[386]; Зенон утверждал, что даже единое не существует и что не существует ничего.

Если бы существовало нечто, то оно находилось бы либо в другом, либо в самом себе; если бы оно находилось в другом, в таком случае их было бы два, а если бы оно находилось в самом себе, то и в этом случае их было бы два: содержащий и содержимое. Природа вещей, согласно этим учениям, есть не что иное, как ложная или пустая тень[387].

Мне всегда казались безрассудными и непочтительными в устах христианина выражения вроде следующих: бог не может умереть, бог не может себе противоречить, бог не может делать того или этого. Я нахожу неправильным подчинять божественное всемогущество законам нашей речи. То предположение, которое мы вкладываем в эти слова, следовало бы выражать более почтительно и более благочестиво.

Наша речь, как и все другое, имеет свои слабости и свои недостатки. Поводами к большинству смут на свете являлись споры грамматического характера. Наши судебные процессы возникают только из споров об истолковании законов; большинство войн происходит из-за неумения ясно формулировать мирные договоры и соглашения государей. А сколько препирательств — и притом каких ожесточенных — было вызвано сомнением в истолковании слога «hoc»[388]. Возьмем формулу, которая со стороны логической представляется нам совершенно ясной. Если вы говорите «стоит хорошая погода» и если при этом вы говорите правду, значит погода действительно хорошая. Разве это не достоверное утверждение? И тем не менее оно способно нас обмануть, как это видно из следующего примера. Если вы говорите «я лгу» и то, что вы при этом утверждаете, есть правда, значит вы лжете[389]. Логическое построение, основательность и сила этого умозаключения совершенно схожи с предыдущими, и тем не менее мы запутались. Я убеждаюсь, что философы-пирронисты не в состоянии выразить свою основную мысль никакими средствами речи; им понадобился бы какой-то новый язык! Наш язык сплошь состоит из совершенно неприемлемых для них утвердительных предложений, вследствие чего, когда они говорят «я сомневаюсь», их сейчас же ловят на слове и заставляют признать, что они по крайней мере уверены и знают, что сомневаются[390]. Это побудило их искать спасения в следующем медицинском сравнении, без которого их способ мышления был бы необъясним: когда они произносят «я не знаю» или «я сомневаюсь», то они говорят, что это утверждение

само себя уничтожает, подобно тому как ревень, выводя из организма дурные соки, выводит вместе с ними и самого себя [391].

Этот образ мыслей более правильно передается вопросительной формой: «Что знаю я?», как гласит девиз, начертанный у меня на коромысле весов [392].

Посмотрите, как злоупотребляют этой насквозь неблагочестивой манерой выражаться! Если в происходящих у нас теперь религиозных спорах вы станете теснить своих противников, то они прямо скажут вам, что не во власти бога сделать так, чтобы его тело находилось одновременно и в раю, и на земле, и в нескольких разных местах [393]. А как ловко пользуется этим аргументом наш древний насмешник [394]! «Для человека,— говорит он,— немалое утешение видеть, что бог не все может: так, он не может покончить с собой, когда ему захочется, что является наибольшим благом в нашем положении; не может сделать смертных бессмертными; не может воскресить мертвого; не может сделать жившего нежившим, а того, кому воздавались почести, не получавшим их,— так как он не имеет никакой иной власти над прошлым, кроме забвения». Наконец,— чтобы довершить это сравнение человека с богом забавным примером — он добавляет, что бог не может сделать, чтобы дважды десять не было двадцатью. Вот что он говорит! Но всем этим не должен был бы осквернять свои уста христианин. А между тем люди, наоборот, пользуются этой безумной дерзостью языка, с тем чтобы низвести бога до своего уровня:

cras vel atra
Nube polum pater occupato,
Vel sole puro; non tamen irritum
Quodcumque retro est, efficiet, neque
Diffinget infectumque reddet
Quod fugiens semel hora vexit *.

Когда мы говорим, что для бога бесчисленный ряд веков, как прошлых, так и будущих, только одно мгновение, что его благость, мудрость, могущество — то же самое, что и его сущность, то мы произносим слова, которых наш ум не понимает. И тем не менее наше самомнение побуждает нас мерить божество своим аршином. Отсюда проистекают все обманы и заблуждения, которыми охвачены люди, желающие свести к своим размерам и взвесить на своих весах существо, столь их превосходящее. Mirum quo procedat improbitas cordis humani, parvulo aliquo invitata successu **.

Стоики сурово упрекали Эпикура за то, что он только бога считал истинно благим и блаженным существом, а мудреца всего лишь тенью и подобием его [397]. Как кощунственно связали они бога с судьбой (я бы хо-

---

* Пусть завтра Юпитер покроет небо черной тучей или наполнит его сияющим солнцем: не в его власти повернуть назад то, что свершилось, или отменить и сделать небывшим то, что унесло с собой быстротекущее время [395] (*лат.*).

** Поразительно видеть, до чего доходит бесстыдство человеческого сердца, влекомого самой ничтожной выгодой [396] (*лат.*).

тел, чтобы ни один христианин не последовал за ними в этом!) — а Фалес, Платон и Пифагор подчинили его необходимости! Это нескромное желание узреть бога нашими глазами побудило одного из наших великих христиан [398] приписать божеству телесную форму. По этой же причине мы постоянно приписываем божьей воле важные события, имеющие для нас особое значение; поскольку эти события много значат для нас, нам кажется, что они важны и для него и что он относится к ним серьезнее и внимательнее, чем к событиям, для нас мало значащим или обычным. Magna dii curant, parva negligunt *. Послушайте, какой пример Цицерон приводит,— это разъяснит вам ход его мыслей: Nec in regnis quidem reges omnia minima curant **.

Как будто для бога имеет большее значение сокрушить империю, чем шелохнуть листок на дереве! Как будто его промысел осуществляется иначе, когда дело идет об исходе сражения, чем когда дело идет о прыжке блохи! Его рука управляет всем с одинаковой твердостью и постоянством. Наши интересы не имеют при этом никакого значения; наши побуждения и наши оценки его не трогают.

Deus ita artifex magnus in magnis, ut minor non sit in parvis ***. Наше высокомерие всегда склоняет нас кощунственно сравнивать себя с богом. Так как дела обременяют людей, то Стратон освободил богов от всяких обязанностей, как освобождены были от них и священнослужители [402]. Он заставляет природу творить и сохранять все вещи и из их масс и движений создает все части мира, освобождая человека от страха перед божьим судом. Quod beatum aeternumque sit, id nec habere negotii quicquam, nec exhibere alteri ****. Природе угодно, чтобы сходные вещи имели и сходные отношения; поэтому бесконечное число смертных заставляет заключать о таком же числе бессмертных; бесконечное число вещей, несущих смерть и разрушение, заставляет предполагать такое же число целебных и полезных вещей. Подобно тому как души богов, не имея дара речи, глаз, ушей, чувствуют все одинаково и знают о наших мыслях, так и души людей, когда они свободны или оторваны от тела сном или состоянием экстаза, прорицают, предсказывают и предвидят такие вещи, которых они не могли бы увидеть, будучи соединены с телом [404].

Люди, говорит апостол Павел [405], «называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку...»

Присмотритесь, каким шарлатанством было обставлено обожествление у древних [406]. После пышной и торжественной церемонии похорон, когда пламя касалось уже верхушки сооружения и охватывало ложе умершего, они выпускали орла, полет которого ввысь означал, что душа покойника отправилась в рай. У нас имеются тысячи медалей — в том числе и выби-

* Боги заботятся о важных делах и не пекутся о малых [399] (*лат.*).

** Государи не вдаются во все незначительные дела в их государствах [400] (*лат.*).

*** Бог великий мастер как в большом, так и в малом [401] (*лат.*).

**** Блаженное и вечное существо само не имеет никаких обязанностей и ни на кого их не налагает [403] (*лат.*).

тая в память благонравной супруги Фаустины[407],— на которых изображен орел, возносящий к небу эти обожествленные души. Жалкое зрелище! Мы сами себя обманываем нашими собственными измышлениями и притворством:

Quod finxere, timent *.

словно дети, вымазавшие сажей лицо одного из своей ватаги и потом сами пугающиеся его. Quasi quicquam infelicius sit homine cui sua figmenta dominantur **. Почитать того, кто создал нас, далеко не одно и то же, что почитать того, кого создали мы сами. Августу было воздвигнуто более храмов, чем Юпитеру; ему поклонялись с таким же рвением и верили в совершаемые им чудеса. Жители Тасоса, желая отблагодарить Агесилая за оказанные им благодеяния, пришли однажды объявить, что они причислили его к сонму богов. «Разве во власти народа,— сказал он им,— делать богом кого вам заблагорассудится? В таком случае сделайте это для примера с одним из вас; а потом, когда я увижу что с ним приключится, я воздам вам великую благодарность за ваше предложение»[410].

Человек крайне неразумен; он не в состоянии создать клеща, а между тем десятками создает богов.

Послушайте как восхваляет наши способности Трисмегист[411]: из всех удивительных вещей самая поразительная та, что человек сумел изобрести божественную природу и создать ее. Послушайте рассуждения философов:

Nosse cui divos et caeli numina soli,
Aut soli nescire, datum ***.

«Если бог есть, то он живое существо; если он живое существо, то обладает чувствами; если он обладает чувствами, то подвержен тлению. Если он не имеет тела, то не имеет и души, а следовательно, неспособен действовать; если же он имеет тело, то он тленен»[413]. Разве это не убедительное умозаключение? Мы неспособны создать мир; следовательно, существует более совершенная природа, которая создала его. Было бы глупым высокомерием с нашей стороны считать себя самыми совершенными существами во вселенной; следовательно, имеется некое существо, более совершенное, чем мы: это бог. Когда вы видите богатое и роскошное здание, то даже не зная, кто хозяин его, вы все же не скажете, что оно предназначено для крыс. Не должны ли мы в таком случае думать, что это божественное сооружение, этот созерцаемый нами небесный дворец является жилищем существа более возвышенного, чем мы? Разве все находящееся вверху не является всегда и более достойным? А ведь мы помещены внизу. Ничто, лишенное души и разума, не может породить что-либо одушевленное и обладающее разумом. Мир порождает

---

* Боятся того, что сами выдумали[408] (*лат.*).

** Есть ли кто несчастнее человека, ставшего рабом своих собственных измышлений[409] (*лат.*).

*** Кому лишь одному дано познать богов и небесные силы или не познать их[412] (*лат.*).

нас; следовательно, он имеет душу и разум. Любая наша часть меньше, чем мы, мы — часть мира; следовательно, мир наделен мудростью и разумом в большей степени, чем мы. Прекрасная вещь — быть великим правителем, следовательно, управление миром принадлежит некоей блаженной природе. Светила не причиняют нам вреда; следовательно, они полны благости. Мы нуждаемся в пище; следовательно, боги тоже в ней нуждаются и питаются парами, поднимающимися ввысь. Мирские блага не являются благами для бога; следовательно, они не являются благами и для нас. Наносить оскорбление и быть оскорбленным в одинаковой мере свидетельствует о слабости; следовательно, безумие — бояться бога. Бог благ по своей природе; человек же благ в меру своих стараний, а это выше. Божественная мудрость отличается от человеческой лишь тем, что она вечна; но длительность ничего не прибавляет к мудрости, следовательно, мы сотоварищи Мы обладаем жизнью, разумом и свободой, почитаем благость, милосердие и справедливость, следовательно, эти качества присущи богу. Словом, когда человек приписывает божеству какие-либо свойства или отказывает ему в них, он делает это по собственной мерке. Хорош пример! Хорош образец! Сколько бы мы ни усиливали, ни возвеличивали, ни раздували человеческие качества, это бесполезно; жалкий человек может пыжиться сколько ему угодно:

Non, si te ruperis, inquit *.

Profecto non Deum, quem cogitare non possunt, sed semetipsos pro illo cogitantes, non illum sed se ipsos, non illi sed sibi comparant **.

Даже в естественных случаях следствия лишь отчасти раскрывают причину; — что же сказать о данной причине, когда речь идет о божестве? Она выше естественного порядка вещей; она слишком возвышенна, слишком далека от нас и слишком могущественна, чтобы наши заключения могли связывать и сковывать ее. К пониманию божества можно прийти не через нас, это слишком низменный путь. Находясь на Монсенисе [416], мы не ближе к небу, чем находясь на дне морском. Можете убедиться в этом с помощью астролябии. Люди низводят бога до того, что приписывают ему — как это делалось не раз — даже плотское соединение с женщинами: Паулина, жена Сатурнина, матрона, славившаяся в Риме своей добродетелью, полагая, что сочетается с богом Сераписом, очутилась в объятиях одного из ее поклонников, что было подстроено жрецами этого храма [417]. Варрон, самый проницательный и самый ученый из латинских авторов, в своих книгах о божествах сообщает [418], что служка храма Геркулеса играл в кости попеременно обеими руками — одной рукой за самого себя, а другой — за Геркулеса, с условием, что если выиграет он сам, то на доходы приготовит себе ужин и приведет любовницу, если же проигра-

* Нет, хоть лопни! — ответил [414] (*лат.*).

** Когда они думают о боге, которого не в состоянии постигнуть, то в действительности думают о самих себе, а не о нем; они сравнивают не его, но себя, и не с ним, а с собой [415] (*лат.*).

ет, то предложит за свой счет и то и другое Геркулесу. Он проиграл и расплатился своим ужином и молодой девушкой. Ее звали Лаурентиной; ночью она увидела во сне, будто очутилась в объятиях Геркулеса, который, между прочим, сказал ей, что первый же человек, которого она на следующий день встретит, щедро с нею расплатится за него. Им оказался богатый юноша Тарунций, который взял ее к себе и впоследствии сделал своей наследницей. Она же в свою очередь, желая сделать угодное этому богу, завещала свое наследство римскому народу и за это ее удостоили божеских почестей.

Считалось, что Платон был божественного происхождения как по отцовской, так и по материнской линии, причем предком его в обоих случаях был Нептун; но мало того: в Афинах считалась достоверной следующая версия его происхождения. Аристон не знал, как овладеть прекрасной Периктионой; во сне бог Аполлон возвестил ему, чтобы он не прикасался к ней, пока она не разрешится от бремени: это и были отец и мать Платона [419].

Сколько существует подобных побасенок о том, как боги наставляли рога бедным смертным, и о мужьях, несправедливо оклеветанных ради детей [420]?

У магометан народ верит, что есть много таких Мерлинов [421], т. е. детей, не имеющих отцов, зачатых духовно и рожденных божественным образом из чрева девственниц; они носят имя, означающее это понятие на их языке [422].

Следует помнить, что для всякого существа нет ничего прекраснее и лучше его самого (лев, орел и дельфин выше всего ценят себе подобных) [423] и всякий сравнивает качества всех других существ со своими собственными. Эти качества мы можем усиливать или ослаблять, но мы не можем сделать ничего большего, ибо дальше этого сопоставления и этого принципа наше воображение не способно пойти; оно не в состоянии вообразить ничего иного, оно не может выйти за эти пределы и переступить их! Так возникли следующие древние умозаключения: «Самый прекрасный из всех обликов — это человеческий; следовательно, богу присущ этот облик. Никто не может быть блаженным без добродетели; не может быть добродетели без разума, а разум нигде, кроме человеческого тела, находиться не может; следовательно, бог имеет человеческий облик» [424].

Ita est informatum anticipatum mentibus nostris ut homini, cum de deo cogitet, forma occurrat humana *.

Ксенофан [426], шутя, заявлял, что если животные создают себе богов (а это вполне правдоподобно!), то они, несомненно, создают их по своему подобию и так же превозносят их, как и мы. Действительно, почему, например, гусенок не мог бы утверждать о себе следующее [427]: «Внимание вселенной устремлено на меня; земля служит мне, чтобы я мог ходить по ней; солнце — чтобы мне светить; звезды — чтобы оказывать на меня свое

* Таковы привычка и предубеждение нашего ума, что если человек начнет размышлять о боге, то представляет себе его в виде человека [425] (*лат.*).

влияние; ветры приносят мне одни блага, воды — другие; небосвод ни на кого не взирает с большей благосклонностью, чем на меня; я любимец природы. Разве человек не ухаживает за мной, не дает мне убежище и не служит мне? Для меня сеет и мелет он зерно. Если он съедает меня, то ведь то же самое делает он и со своими сотоварищами — людьми, а я поедаю червей, которые точат и пожирают его». Сходным образом мог бы рассуждать о себе журавль и даже более красноречиво, ибо он свободно летает в этой прекрасной небесной выси и владеет ею: tam blanda conciliatrix et tam sui est lena ipsa natura *.

Рассуждая подобным же образом, мы утверждаем, что все предназначено для нас: для нас существует вселенная, для нас — свет, для нас гремит гром, как творец, так и все твари существуют для нас. Мы — цель всего, мы — центр, к которому тяготеет все сущее. Посмотрите летопись небесных дел, отмеченных философами на протяжении более двух тысячелетий; боги действовали и говорили, имея в виду только человека; у них не было никаких других забот и занятий. То они воевали против людей:

domitosque Herculea manu
Telluris iuvenes, unde periculum
Fulgens contremuit domus
Saturni veteris **,

то участвовали в наших смутах, воздавая нам за то, что мы много раз бывали участниками в их распрях:

Neptunus muros magnoque emota tridenti
Fundamenta quatit, totamque a sedibus urbem
Eruit. Hic Iuno Scaeas saevissima portas
Prima tenet ***.

Желая обеспечить поклонение одним лишь богам своих отцов, все кавнии, вооружившись до зубов, бегут по своей земле, ударяя мечами по воздуху, чтобы поразить и изгнать из своих пределов чужеземных богов [431]. Боги наделяются теми способностями, которые нужны человеку: один исцеляет лошадей, другой — людей; один лечит чуму, другой — паршу, третий — кашель; один лечит такой-то вид чесотки, другой — такой-то (adeo minimis etiam rebus prava religio inserit deos ****). Один бог содействует произрастанию винограда, другой — чеснока; один покровительст-

---

* Насколько природа — ласковая примирительница, настолько она благоприятствует тому, что ею создано! [428] (*лат.*).

** Сыновья Земли, от которых, трепеща, ждал гибели сверкающий дом древнего Сатурна, были укрощены рукой Геракла [429] (*лат.*).

*** Здесь Нептун потрясает стены и основания, выворачивая их огромным трезубцем, и весь город рушит до основания. Там беспощадная Юнона первая завладевает Скейскими воротами [430] (*лат.*).

**** Так суеверие связывает богов с самыми ничтожными делами [432]. (*лат.*).

вует разврату, другой — торговле; у ремесленников всякого рода — свой особенный бог; каждый бог имеет свою область: один чтится на востоке, другой — на западе:

hic illius arma
Hic currus fuit *.

O sancte Apollo, qui umbilicum certum terrarum obtines **!

Pallada Cecropidae, Minoia Creta Dianam,
Vulcanum tellus Hypsipylea colit,
Iunonem Sparte Pelopeiadesque Mycenae!
Pinigerum Fauni Moenalis ora caput;
Mars Latio venerandus erat ***.

Некоторые боги имеют в своем распоряжении всего лишь какую-нибудь деревню или владеют всего-навсего одним семейством; некоторые боги живут в одиночестве, другие — в добровольном или вынужденном союзе друг с другом.

Iunctaque sunt magno templa nepotis avo ****.

Есть среди богов и столь захудалые (ибо число их было очень велико, достигая тридцати шести тысяч[437]), что для произрастания одного колоса пшеницы требовалось не менее пяти или шести богов, и все они имели разные имена. У каждой двери было три божества: один у порога, другой у петель, третий у косяка; четыре божества были при колыбели ребенка: один ведал его пеленками, другой — его питьем, третий — пищей, четвертый — сосанием. Были божества известные, неизвестные и сомнительные, а иные не допускались даже в рай:

Quos quoniam caeli nondum dignamur honore,
Quas dedimus certe terras habitare sinamus *****.

Были божества, введенные поэтами, физиками, гражданскими властями; некоторые божества, обладая наполовину божественной, наполовину человеческой природой, являлись посредниками между нами и богом, нашими заступниками перед ним. Им поклонялись с меньшим почтением, как божествам второго ранга; иные божества имели бесчисленное количество званий и обязанностей; иные почитались добрыми, иные — злыми. Были божества старые и дряхлые, были и смертные. Хрисипп полагал, что при последнем мировом пожаре все боги погибнут, кроме Юпитера[439]. Человек придумывает тысячу забавных связей между собой и богом: не быва-

* Здесь были ее [Юноны] оружие и колесница[433] (*лат.*).
** О святой Аполлон, обитающий в самом центре земли[434]! (*лат.*).
*** Афиняне чтят Палладу, миносский Крит — Диану, Лемнос — Вулкана, Спарта и Микены — Юнону, Менал — голову Пана в сосновом венке; Марса же почитают в Лациуме[435] (*лат.*).
**** Храм внука соединен с храмом знаменитого предка[436] (*лат.*).
***** Так как мы не считаем их еще достойными неба, то позволим им по крайней мере обитать на дарованых им землях[438] (*лат.*).

ет ли он иной раз его земляком?

Iovis incunabula Creten *.

Вот как объясняли это дело великий понтифик Сцевола и великий теолог тех времен Варрон: народ не должен знать многого из того, что есть истина, и должен верить во многое такое, что есть ложь [441]: cum veritatem qua liberetur, inquirat; credatur ei expedire, quod fallitur **.

Человеческий глаз может воспринимать вещи лишь в меру его способностей. Вспомним, какой прыжок совершил несчастный Фаэтон [443], когда захотел смертной рукой управлять конями своего отца. Наш разум рушится в такую же бездну и терпит крушение из-за своего безрассудства. Если вы спросите философов, из какого вещества состоят небо и солнце, то разве они не скажут вам, что из железа или (вместе с Анаксагором) из камня [444], или из какого-нибудь другого знакомого нам вещества? Если спросить у Зенона [445], что такое природа, он ответит, что она — изумительный огонь, способный порождать и действующий согласно твердым законам. Архимед [446], величайший знаток той науки, которая приписывала себе наибольшую истинность и достоверность по сравнению с другими, утверждает: «Солнце — это бог, состоящий из раскаленного железа». Неплохая выдумка, к которой приводит уверенность в красоте и неизбежной принудительности геометрических доказательств! Однако они не так уж неизбежны и полезны; недаром Сократ считал [447], что достаточно знать из геометрии лишь столько, чтобы уметь правильно измерить участок земли, который отдают или получают; а превосходный и знаменитый в этой области ученый Полиэн стал пренебрежительно относиться к геометрическим доказательствам, считая их ложными и призрачными, после того как он вкусил сладких плодов из безмятежных садов Эпикура.

Как рассказывает Ксенофонт [448], Сократ утверждал по поводу вышеприведенного суждения Анаксагора о солнце и небе (последний в древности ценился выше всех философов своим знанием небесных и божественных явлений), что он помутился рассудком, как это случается со всеми теми, кто слишком глубоко вдается в исследование недоступных им вещей. Анаксагор, заявляя, что солнце есть раскаленный камень, не сообразил того, что камень в огне не светит и — что еще хуже — разрушается в пламени; далее, он считал, что солнце и огонь одно и то же, а между тем те, кто смотрит на огонь, не чернеют, и люди могут пристально смотреть на огонь, но не могут смотреть на солнце; не учел он и того, что растения и травы не могут расти без солнечных лучей, но погибают от огня. Вместе с Сократом я держусь того мнения, что самое мудрое суждение о небе — это отсутствие всякого суждения о нем.

Платон заявляет в «Тимее» по поводу природы демонов следующее [449]: это дело превосходит наше понимание. Тут надо верить тем древним, которые сами, по их словам, произошли от богов. Неразумно не верить де-

* Крит — колыбель Громовержца [440] (*лат.*).

** В то время как он ищет истину, которая открыла бы ему все пути, мы считаем, что ему лучше обманываться [442] (*лат.*).

тям богов, хотя бы их рассказы и не опирались на убедительные и правдоподобные доказательства, ибо они повествуют нам о своих домашних и семейных делах.

Посмотрим, имеем ли мы более ясное представление о человеческих делах и делах, касающихся природы.

Разве не смешно приписывать вещам, которых наша наука, по нашему собственному признанию, не в состоянии постигнуть, другое тело и наделять их ложной, вымышленной нами формой. Так, поскольку наш ум не может представить себе движение небесных светил и их естественное поведение, мы наделяем их нашими материальными, грубыми и физическими двигателями:

temo aureus, aurea summae
Curvatura rotae, radiorum argenteus ordo *.

Похоже на то, как если бы у нас были возчики, плотники и маляры, которых мы отправили на небо, чтобы они там соорудили машины с различными движениями и наладили кругообращение небесных тел, отливающих разными цветами и вращающихся вокруг веретена необходимости, о коем писал Платон [451].

Mundus domus est maxima rerum,
Quam quinque altitonae fragmine zonae
Cingunt, per quam limbus pictus bis sex signis
Stellimicantibus, altus in obliquo aethere, lunae
Bigas acceptat **.

Все это — грезы и безумные фантазии. Если бы в один прекрасный день природа захотела раскрыть нам свои тайны и мы увидели бы воочию, каковы те средства, которыми она пользуется для своих движений, то, боже правый, какие ошибки, какие заблуждения мы обнаружили бы в нашей жалкой науке! Берусь утверждать, что ни в одном из своих заявлений она не оказалась бы права. Поистине, единственное, что я сколько-нибудь знаю,— это то, что я полнейший невежда во всем.

Разве не Платону принадлежит божественное изречение, что природа есть не что иное, как загадочная поэзия [453]! Она подобна прикрытой и затуманенной картине, просвечивающей бесконечным множеством обманчивых красок, над которой мы изощряемся в догадках.

Latent ista omnia crassis occultata et circumfusa tenebris, ut nulla acies humani ingenii tanta sit, quae penetrare in caelum, terram intrare possit ***.

Поистине, философия есть не что иное, как софистическая поэзия. Разве все авторитеты древних авторов не были поэтами? Да и сами древ-

---

* Дышло и ободья вокруг больших колес были золотые, а спицы — серебряные [450] (*лат.*).

** Мир — это гигантский дом, опоясанный пятью зонами, из которых каждая имеет особое звучание, и пересеченный поперек каймой, украшенной двенадцатью знаками из сияющих звезд и увенчанный упряжью луны [452] (*лат.*).

*** Все эти вещи скрыты и погружены в глубокий мрак, и нет столь проницательного человеческого ума, который смог бы проникнуть в тайны неба и земли [454] (*лат.*).

ние философы были лишь поэтами, излагавшими философию поэтически. Платон — всего лишь расплывчатый поэт. Тимон, насмехаясь над ним, называет его великим кудесником [455].

Подобно тому как женщины, потеряв зубы, вставляют себе зубы из слоновой кости и вместо естественного цвета лица придают себе с помощью красок искусственный, делают себе накладные груди и бедра из сукна, войлока или ваты и на глазах у всех создают себе поддельную и мнимую красоту, не пытаясь никого ввести в заблуждение,— совершенно так же поступает наука (включая даже правоведение, ибо оно пользуется юридическими фикциями, на которых зиждется истинность его правосудия); она выдает нам за истины и вероятные гипотезы вещи, которые она сама признает вымышленными. Действительно, все эти концентрические и эксцентрические эпициклы, которыми астрономия пользуется для объяснения движения светил, она выдает нам за лучшее, что она могла по этому поводу придумать; и точно так же философы рисуют нам не то, что есть, и не то, что они думают, а то, что они измышляют как наиболее правдоподобное и привлекательное. Так, Платон, объясняя строение тела у человека и у животных, говорит [456]: «Мы бы утверждали истинность того, что мы сейчас изложили, если бы получили на этот счет подтверждение оракула; поэтому мы заявляем, что это лишь наиболее правдоподобное из того, что мы могли сказать».

Философы не только наделяют небо своими канатами, колесами и двигателями. Послушаем, что они говорят о нас самих и о строении нашего тела. У планет и небесных тел не больше всяких отклонений, сближений, противостояний, скачков и затмений, чем они приписали жалкому крохотному человеческому телу. Они действительно с полным основанием могли назвать человеческое тело микрокосмом, поскольку употребили для создания его столько различных частей и форм. На сколько частей разделили они нашу душу, чтобы объяснить движения человека, различные функции и способности, которые мы ощущаем в себе, в скольких местах они поместили ее! А помимо естественных и ощутимых нами движений, на сколько разрядов и этажей разделили они несчастного человека! Сколько обязанностей и занятий придумали для него! Они превращают его в якобы общественное достояние: это предмет, которым они владеют и распоряжаются; им предоставляется полная свобода расчленять его, соединять и вновь составлять по своему усмотрению; и тем не менее они все еще не разобрались в нем. Они не в состоянии постигнуть его не только на деле, но даже и своей фантазией; какой-то штрих, какая-то черта всегда ускользает от них, как ни грандиозно придуманное ими сооружение, составленное из тысячи фиктивных и вымышленных частей. Но это не основание к тому, чтобы извинять их; в самом деле, если живописцы рисуют небо, землю, моря, горы и отдаленные острова, то мы готовы удовлетвориться, чтобы они изображали нам лишь нечто слегка им подобное; поскольку это вещи нам неизвестные, мы довольствуемся неясными и обманчивыми очертаниями; но когда они берутся рисовать нам с натуры какой-нибудь близкий и знакомый нам предмет, мы требу-

ем от них точного и правильного изображения линий и красок, и презираем их, если они не в состоянии этого сделать [457].

Я одобряю ту остроумную служанку-милетянку, которая, видя, что ее хозяин философ Фалес постоянно занят созерцанием небесного свода и взор его всегда устремлен ввысь, подбросила там, где он должен был проходить, какой-то предмет, чтобы он споткнулся [458]; она хотела дать ему понять, что он успеет насладиться заоблачными высями после того, как обратит внимание на то, что лежит у его ног. Она таким образом правильно посоветовала ему смотреть больше на себя, чем на небо, ибо, как говорит Демокрит устами Цицерона,

Quod est ante pedes, nemo spectat; caeli scrutantur plagas *.

Но мы устроены так, что даже познание того, что лежит у нас в руках, не менее удалено от нас и не менее для нас недосягаемо, чем познание небесных светил. Как говорит Сократ у Платона [460], всякого, кто занимается философствованием, можно упрекнуть в том же, в чем эта женщина упрекнула Фалеса, а именно — что он не замечает того, что у него под носом. Такой философ действительно не знает ни того, что представляет собой его сосед, ни того, что он сам собой представляет; он не знает даже, являются ли они оба людьми или животными.

Не приходилось ли тем людям, которые находят доводы Раймунда Сабундского слишком слабыми [461], для которых нет ничего неизвестного, которые воображают, будто управляют миром и все понимают:

> Quae mare compescant causae; quid temperet annum;
> Stellae sponte sua iussaeve vagentur et errent;
> Quid premat obscurum Lunae; qui proferat orbem;
> Quid velit et possit rerum concordia discors **,

сталкиваться в своих книгах с трудностями, встающими перед всяким, кто хочет познать свое собственное существо? Мы ясно видим, что палец двигается и что нога двигается; что некоторые наши органы двигаются сами собой, без нашего ведома, другие же, наоборот, приводятся в движение по нашему повелению; что одно представление заставляет нас краснеть, другое — бледнеть; что одно впечатление действует только на селезенку, другое — на мозг; что одно заставляет нас смеяться, другое — плакать, а бывает и такое, которое поражает все наши чувства и останавливает движение всех наших членов, что одно представление приводит в движение наш желудок, а другое — орган, находящийся пониже. Но для человека всегда оставалось неизвестным, каким образом умственное впечатление вызывает такие изменения в телесном и материальном предмете, какова природа этой связи и сочетания этих удивительных сил.

---

* Никто из исследующих беспредельность небесного свода не смотрит на то, что у него под ногами [459] (*лат.*).

** Что укрощает море и регулирует год; блуждают ли звезды по своей воле или движение их предопределено; почему серп луны то растет, то убывает; к чему стремятся и на что способны гармония и раздор в мире? [462] (*лат.*).

Omnia incerta ratione et in naturae maiestate abdita *,— говорит Плиний. А блаженный Августин заявляет: Modus quo corporibus adhaerent spiritus, omnino mirum est, nec comprehendi ab homine potest: et hoc ipse homo est **. И тем не менее эта связь никем не ставится под сомнение, ибо суждения людей покоятся на авторитете древних; их принимают на веру, как если бы это были религия или закон. То, что общепризнанно, воспринимается как некий условный язык, непонятный непосвященным: такую истину принимают вместе со всей цепью ее доводов и доказательств, как нечто прочное и нерушимое, не подлежащее дальнейшему обсуждению. Всякий старается, наоборот, укрепить и приукрасить эту принятую истину в меру сил своего разума, являющегося гибким и подвижным орудием, прилаживающимся к любой вещи. Так мир переполняется нелепостью и ложью. Во многих вещах не сомневаются потому, что общепринятых мнений никогда не проверяют; никогда не добираются до основания, где коренится ошибка или слабое место; спорят не о корешках, а о вершках; задаются не вопросом, правильно ли что-нибудь, а лишь вопросом, понималось ли это таким или иным образом. Спрашивают не о том, сказал ли Гален [465] нечто ценное, а сказал ли он так или иначе. Вполне естественно поэтому, что это подавление свободы наших суждений, эта установившаяся по отношению к нашим взглядам тирания широко распространилась, захватив наши философские школы и науку. Аристотель — это бог схоластической науки [466]; оспаривать его законы — такое же кощунство, как нарушать законы Ликурга в Спарте. Его учение является у нас незыблемым законом, а между тем оно, быть может, столь же ошибочно, как и всякое другое. Я не вижу оснований, почему бы мне не принять с такой же готовностью идеи Платона [467], атомы Эпикура, полное и пустое Левкиппа и Демокрита, воду Фалеса, бесконечную природу Анаксимандра, воздух Диогена, числа и симметрию Пифагора, бесконечное Парменида, единое Мусея, воду и огонь Аполлодора, сходные частицы Анаксагора, раздор и любовь Эмпедокла, огонь Гераклита или любое другое воззрение из бесконечного хаоса взглядов и суждений, порождаемых нашим хваленым человеческим разумом, его проницательностью и уверенностью во всем, во что он вмешивается. Я не вижу, почему я должен принимать учение Аристотеля об основах природных вещей; эти принципы, по мысли Аристотеля, сводятся к материи, форме и «лишенности» формы [468]. Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем считать само отсутствие формы, «лишенность» ее, причиной происхождения вещей? Ведь «лишенность» есть нечто отрицательное; по какой же прихоти ее можно считать причиной и началом вещей, которые существуют? Но решиться оспаривать это можно только ради упражнения в логике, ибо об этом спорят не для того, чтобы что-нибудь

---

* Все эти вещи сокрыты от нас вследствие слабости нашего ума и величия природы [463] (*лат.*).

** Ведь способ, каким соединяются души с телами, весьма поразителен и решительно непонятен для человека; а между тем это и есть сам человек [464] (*лат.*).

поставить под сомнение, а лишь для того, чтобы защитить главу школы от возражений противников: его авторитет — это та цель, которая выше всяких сомнений.

Из общепризнанных положений нетрудно построить все, что угодно, так как остальная часть сооружения строится легко, без препятствий, по тому же закону, что и основание. Действуя таким путем, мы находим, что наши соображения твердо обоснованы и рассуждаем уверенно; ибо наши учителя настолько завоевывают наперед наше доверие, что могут потом выводить все, что им угодно, по примеру геометров, исходящих из принятых ими постулатов. То, что мы согласны с нашими учителями и одобряем их, дает им возможность склонять нас то вправо, то влево и заставляет нас плясать под их дудку. Тот, чьим гипотезам верят, становится нашим учителем и богом: он строит столь обширный и на вид ясный план своих сооружений, что по ним он может, если захочет, легко поднять нас до облаков.

Применяя такой подход к науке, мы приняли за чистую монету изречение Пифагора, что всякий знаток должен пользоваться доверием в своей науке. Диалектик обращается к знатоку грамматики по вопросу о значении слов; знаток риторики заимствует у диалектика его аргументы; поэт заимствует у музыканта его ритмы, геометр — у знатока арифметики его пропорции; метафизик же принимает за основу гипотезы физики. Всякая наука имеет свои признанные принципы, которыми человеческое суждение связано со всех сторон. Если вы захотите разрушить этот барьер — главную причину заблуждений, вы тотчас же услышите исходящее из их уст поучение, что не следует спорить с теми, кто отрицает принципы.

Но у людей не может быть принципов, если божество не открыло им их. А все остальное — начало, середина и конец — не что иное, как бесплодная фантазия. Те, кто спорит против предвзятых положений, явно исходят из таких же предвзятых положений, которые можно оспаривать. Ибо всякое положение, высказываемое человеком, имеет такую же опору в авторитете, как и любое другое, если только разум не сделает между ними различия. Поэтому необходимо все их взвешивать и в первую очередь наиболее распространенные и властвующие над нашими умами. Уверенность в несомненности есть вернейший показатель неразумия и крайней недостоверности; и нет людей более легкомысленных и менее философских, чем филодоксы[469] Платона. Надо исследовать все: горяч ли огонь, бел ли снег, можем ли мы признать что-либо твердым или мягким. Что же касается вздорных ответов, какие давались в древности,— вроде, например, того, что ставившему под сомнение тепло предлагали броситься в огонь, а не верившему, что снег холоден, советовали положить его себе на грудь,— то они совершенно недостойны истинных философов. Если бы нас оставили в нашем естественном состоянии, при котором мы воспринимали бы вещи так, как они представляются нашим чувствам, и если бы нам предоставили возможность следовать нашим простым потребностям, определяемым условиями нашего происхождения, то эти умники

имели бы основание рассуждать таким образом; но у них мы научились считать себя судьями мира; от них мы восприняли представление, что человеческий разум является главным смотрителем всего, что находится вне и внутри небесного свода, что он способен все охватить, все может, что с помощью его все познается и постигается. Такой ответ годился бы для каннибалов, которые наслаждаются долгой, спокойной и мирной жизнью, не зная правил Аристотеля и даже самого названия физики. В этом случае такой ответ был бы лучше и убедительнее всех почерпнутых ими из разума или придуманных ими. Такой ответ могли бы дать вместе с нами все животные и все те, кто живет еще под властью простого и безыскусственного естественного закона; но философы отказались от этого. Мне не нужно, чтобы они говорили мне: «Это истинно потому, что вы так видите и чувствуете»; мне нужно, чтобы они мне сказали, чувствую ли я действительно то, что мне кажется; и если я действительно это чувствую, пусть они объяснят мне название, происхождение, все свойства и следствия тепла и холода, все качества действующего начала и начала, на которое воздействуют. В противном случае пусть они откажутся от своего звания философов, требующего принимать и одобрять только то, что доказано разумом; это их пробный камень при всех испытаниях; но он, разумеется, приводит к ошибкам и заблуждениям, ибо он слаб и недостаточен.

Чем мы можем лучше всего испытать разум как не посредством его же самого? Но если не следует верить его показаниям о самом себе, то как можно верить его суждениям о посторонних ему вещах? Если разум что-либо знает, то по крайней мере он знает, какова его собственная сущность и где его местонахождение. Он находится в душе и составляет часть ее или ее действие; ибо подлинный и главный разум, название которого мы неправильно присваивали нашему, находится в лоне бога: там его обиталище и убежище; оттуда он выходит, когда богу угодно дать нам узреть какой-нибудь луч его, подобно Палладе, вышедшей из головы своего отца, чтобы приобщиться к миру [470].

Посмотрим же, чему человеческий разум учит нас о самом себе и о душе: не о душе вообще, которою почти вся философия наделяет небесные тела и важнейшие элементы, и не о той душе, которую Фалес, ссылаясь на действие магнита, приписывал даже неодушевленным предметам; но о той душе, которая находится в нас и которую мы поэтому должны лучше всего знать:

Ignoratur enim quae sit natura animai,
Nata sit, an contra nascentibus insinuetur,
Et simul intereat nobiscum morte dirempta,
An tenebras Orci visat, vastasque lacunas,
An pecudes alias divinitus insinuet se *.

* Природа души неизвестна, неизвестно, рождается ли она вместе с телом или потом внедряется в тех, кто родился, погибает ли она вместе с нами, прекращая существование со смертью, спускается ли она во тьму к Орку и в пустынные пространства или же по воле богов вселяется в других животных [471] (*лат.*).

Опираясь на соображения разума, Кратет и Дикеарх[472] учили, что души вообще не существует и что тело приводится в движение естественным движением, Платон — что душа есть самодвижущаяся субстанция, Фалес — что она представляет собой естество, лишенное покоя, Асклепиад — что она есть упражнение чувств, Гесиод и Анаксимандр — что она есть вещество, состоящее из земли и воды, Парменид — что она состоит из земли и огня, Эмпедокл — что она из крови:

Sanguineam vomit ille animam *,

Посидоний, Клеант и Гален — что душа представляет собой тепло или теплородное тело:

Igneus est ollis vigor, et caelestis origo **,

Гиппократа человеческий разум учил тому, что душа — это дух, разлитый в теле; Варрона — что она воздух, вдыхаемый ртом, согревающийся в легких, превращающийся в сердце в жидкость и распространяющийся по всему телу; Зенона — что она есть сущность четырех стихий; Гераклита Понтийского — что она есть свет; Ксенократа и египтян — что она переменное число; халдеян — что она есть сила, лишенная определенной формы:

habitum quendam vitalem corporis esse,
Harmoniam Graeci quam dicunt ***.

Не забудем и Аристотеля, согласно которому душа есть то, что естественно заставляет тело двигаться и что он называет энтелехией[476]; но это название ничего не объясняет, ибо оно ничего не говорит ни о сущности, ни о происхождении, ни о природе души, а лишь о ее действии. Лактанций, Сенека и большинство догматиков признавали, что душа есть нечто для них непонятное. Изложив все эти взгляды, Цицерон заявляет: Harum sententiarum quae vera sit, deus aliquis viderit ****. «Я знаю по себе,— говорит святой Бернард[478],— насколько бог непостижим, ибо я не в состоянии понять даже, что представляют собой части моего собственного существа». Гераклит, полагавший, что все полно душ и демонов, утверждал[479], однако, что, как бы далеко мы ни подвинулись в познании души, мы все же никогда не узнаем ее до конца — так глубока ее сущность.

Не меньше разногласий и споров существует по вопросу о местопребывании души. Гиппократ и Герофил[480] помещают ее в желудочке мозга, Демокрит и Аристотель — во всем теле:

---

* Он изрыгнул свою кровавую душу[473] (*лат.*).
** Она [душа] обладает огненной силой и имеет небесное происхождение[474] (*лат.*).
*** Телу присуще некое жизненное состояние, которое греки называют гармонией[475] (*лат.*).
**** Какое из этих мнений истинно, ведомо одному только богу[477] (*лат.*).

Ut bona saepe valetudo cum dicitur esse
Corporis, et non est tamen haec pars ulla valentis *,

Эпикур помещает ее в желудке:

Hic exultat enim pavor ac metus, haec loca circum
Laetitiae mulcent **.

Стоики помещают душу в сердце и вокруг него[483], Эрасистрат[484] — в черепной оболочке, Эмпедокл — в крови, так же как и Моисей, запретивший поэтому употреблять в пищу кровь животных, с которою соединена их душа; Гален полагал, что всякая часть тела имеет свою душу; Стратон помещал ее между бровями! Qua facie quidem sit animus aut ubi habitet, ne quarendum quidem est ***,— говорит Цицерон. Я охотно привожу его собственные слова, не желая искажать его манеру выражаться, тем более что мало смысла присваивать себе его мысли: они встречаются нередко, довольно тонки и небезызвестны. Не следует также забывать причину, по которой Хрисипп и другие его последователи помещают душу в области сердца. Это потому, говорит он, что, когда мы хотим сказать нечто утвердительное, мы кладем руку на сердце, а когда мы хотим произнести ἐγώ, что по-гречески означает «я», наша нижняя челюсть опускается к сердцу. Нельзя не отметить нелепость этого рассуждения, хотя оно и принадлежит столь выдающемуся философу: ибо, помимо того, что приведенные доводы чрезвычайно легковесны, второй из них мог бы доказывать только, что у греков, а не у других народов, душа находится в этом месте. Даже самая неутомимая человеческая мысль впадает иногда в дремоту!

Что сказать обо всем этом? Мы видим, что даже стоики, эти родоначальники человеческой мудрости, считают, что душа, подавленная разрушением тела, долгое время томится и всячески старается вырваться из него, как мышь, попавшая в мышеловку[486].

Некоторые полагают, что мир был сотворен для того, чтобы в виде наказания наделить телами падших ангелов, лишившихся по своей вине той чистоты, в которой они были созданы, ибо первоначальные существа были бестелесными; и в зависимости от того, насколько они отдалились от своей былой духовности, они обретают более легкие или более грузные тела. Отсюда проистекает разнообразие созданной материи. Но тот ангел, который в виде наказания облечен был в тело солнца, должен был претерпеть чрезвычайно редкое и сильное изменение. Подобно тому как это имеет место, по словам Плутарха (в предисловии к его жизнеописаниям[487]), на картах мира, где крайние границы известных нам земель окружены болотами, густыми лесами и пустынными и необитаемыми пространствами,— области, находящиеся у пределов нашего исследования,

* Часто говорят о здоровье, что оно является свойством тела, однако оно не составляет у здорового человека отдельной части[481] (*лат.*).
** Там трепещут страх и ужас, в этом же месте бурлят радости[482] (*лат.*).
*** Не следует даже доискиваться, какой вид имеет душа и где она обитает[485] (*лат.*).

покрыты глубоким мраком. Вот почему самые грубые и вздорные выдумки возникают большей частью у тех, кто занимается самыми возвышенными и трудными вопросами; любознательность и высокомерие заставляют их погружаться в глубокие бездны. Но и у истоков науки, и у конечных пределов ее мы одинаково встречаем глупость: вспомните, как устремляется ввысь мысль Платона в его поэтических мечтаниях; послушайте, как он говорит на языке богов. Однако о чем он думал, определяя человека как двуногое бесперое животное [488]! Ведь этим он доставил великолепный случай желающим посмеяться над ним: ощипав живого каплуна, они потом называли его «человеком Платона».

А что сказать об эпикурейцах? Сначала они наивно воображали, что мир создан из атомов, которые они считали телами, обладающими известным весом и естественным тяготением книзу. Но потом их противники указали им на то, что раз, согласно их описанию, атомы падают вниз прямо и перпендикулярно, образуя при этом параллельные линии, они не могут соединяться и связываться друг с другом. Чтобы исправить свою ошибку, им пришлось прибавить еще боковое, случайное движение и наделить, кроме того, свои атомы кривыми и изогнутыми концами, чтобы они могли соединяться и цепляться друг за друга!

Но после этой поправки их противники высказали следующую мысль, которая ставит эпикурейцев в весьма затруднительное положение [489]. Если атомы могли составить такое множество различных фигур, то почему они никогда не расположились так, чтобы образовать дом или башмак? Почему точно так же нельзя себе представить, что достаточно высыпать бесчисленное множество букв греческого алфавита, чтобы получить текст Илиады? То, что имеет разум, говорит Зенон, лучше, чем то, что не имеет его; но нет ничего лучше мира, следовательно, он наделен разумом. Путем такого же рассуждения Котта делает мир математиком; затем, опираясь на другой аргумент того же Зенона, гласящий: «целое больше части; мы способны к мудрости и являемся частью мира, следовательно, мир мудр», делает мир музыкантом и органистом.

Можно было бы привести бесчисленное множество подобного рода доводов — не только ложных, но и нелепых, совершенно несостоятельных и говорящих не столько о невежестве, сколько о вздорности тех философов, которые выдвигали эти доводы в спорах между собой и представляемыми ими школами. Можно было бы сделать поразительный подбор таких несуразностей, именующих себя человеческой мудростью.

Я охотно собираю подобные образцы, изучать которые в некоторых отношениях не менее полезно, чем рассматривать высказывания здравые и умеренные. По ним можно судить, что́ мы должны думать о человеке, его чувствах и его разуме, если у таких выдающихся людей, поднявших дарования человека на огромную высоту, встречаются столь грубые ошибки. Что касается меня, то я склонен думать, что они занимались наукой между прочим и пользовались ею, как игрушкой, годной для всех; они забавлялись разумом как легким развлекательным инструментом, придумывая всякого рода малозначащие или совсем пустые измышления и

фантазии. Тот самый Платон, который дал человеку определение, годящееся для каплуна, в другом месте[490] устами Сократа говорит, что он поистине не знает, что такое человек и что человек — одна из наиболее труднопознаваемых вещей в мире. Обнаруживая такое непостоянство и шаткость своих взглядов, они как бы за руку, невольно приводят нас к выводу об отсутствии у них всяких прочных выводов. Они стараются не высказывать своих взглядов открыто и ясно; они прикрывают их то баснословными вымыслами поэзии, то какой-нибудь другой маской, ибо наша слабость проявляется в том, что сырое мясо не всегда годится для нашего желудка; его надо сначала прокоптить, просолить или как-то еще иначе приготовить. Именно так поступают и они. По большей части они затемняют и искажают свои подлинные взгляды и суждения, стремясь сделать их пригодными для общего пользования. Чтобы не пугать детей, они не хотят открыто признать слабости и безумия нашего разума; но они достаточно раскрывают нам это, показывая непостоянство и противоречивость науки.

Находясь в Италии, я дал одному человеку, плохо изъяснявшемуся по-итальянски, следующий совет: раз он хочет только, чтобы его понимали, а не стремится хорошо говорить на этом языке, пусть употребляет первые попавшиеся слова — латинские, французские, испанские или гасконские,— прибавляя к ним итальянские окончания; в таком случае его речь непременно совпадет с каким-нибудь наречием страны: тосканским, римским, венецианским, пьемонтским или неаполитанским, или с какой-нибудь из их разновидностей. То же самое я мог сказать и о философии: она выступает в столь разнообразных обличиях и содержит столько разных положений, что в ней можно найти любые домыслы и бредни. Человеческое воображение не в состоянии придумать ничего хорошего или плохого, чего в ней уже не было бы кем-нибудь сказано. Nihil tam absurde dici potest quod non dicatur ab aliquo philosophorum *. Я с тем большей готовностью выпускаю в свет плоды моих причуд, что, хотя они являются моим порождением и ни с кого не списаны, я все же убежден, что нечто подобное найдется у какого-нибудь древнего автора, и тогда наверное кто-нибудь скажет: «Вот откуда он почерпнул их!»

Мои правила жизни естественны, и для выработки их я никогда не прибегал к учению какой-либо школы. Но, так как они были очень просты, то, когда у меня явилось желание изложить их, я, стремясь выпустить их в свет в несколько более приличном виде, вменил себе в обязанность подкрепить их рассуждениями и примерами и сам был крайне удивлен, когда оказалось, что они случайно совпали со столькими философскими примерами и рассуждениями. Каков был строй моей жизни, я узнал только после того, как она была прожита и близка к завершению; вот новая фигура непредвиденного и случайного философа!

---

* Нет величайшей нелепости, которая не была бы сказана кем-либо из философов[491] (*лат.*).

Но вернемся к вопросу о нашей душе. Когда Платон помещал [492] разум в мозгу, гнев в сердце, а вожделение в печени, он, по-видимому, скорее хотел дать истолкование наших душевных движений, нежели разгораживать и разделять душу, подобно телу, на множество частей. Наиболее правдоподобным из философских взглядов является тот, согласно которому существует только одна душа, которая с помощью различных частей тела рассуждает, вспоминает, понимает, судит, желает и совершает все другие свои действия, подобно тому как кормчий управляет кораблем, применяя на деле весь свой опыт,— то натягивая или отпуская какой-нибудь канат, то ставя парус, то налегая на весло, причем все эти различные действия исходят только от него одного. Мне представляется также наиболее правдоподобным, что душа помещается в мозгу; это явствует из того, что ранения и несчастные случаи, поражающие мозг, тотчас же отражаются на душевных способностях; нет ничего невероятного в том, что из мозга душа проникает во все остальные части тела:

medium non deserit unquam
Caeli Phoebus iter; radiis tamen omnia lustrat *,

подобно солнцу, которое излучает свой свет и тепло, наполняя им вселенную:

Cetera pars animae per totum dissita corpus
Paret, et ad numen mentis nomenque movetur **.

Некоторые утверждали, что первоначально существовала общая душа, подобная огромному телу, от которой отделились затем все отдельные души и в которую они возвращаются, постоянно смешиваясь с этой всеобщей материей:

Deum namque ire per omnes
Terrasque tractusque maris caelumque profundum:
Hinc pecudes, armenta, viros, genus omne ferarum,
Quemque sibi tenues nascentem arcessere vitas;
Scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri
Omnia: nec morti esse locum ***.

Одни полагали, что души вновь возвращаются в эту общую душу и воссоединяются с ней; другие утверждали, будто души были созданы из божественной субстанции; третьи — что они созданы ангелами из огня и воздуха. Одни уверяли, что души существуют от века, другие — что

* Солнце никогда не уклоняется от своего пути среди небесного свода, но своими лучами оно освещает все [493] (*лат.*).

** Остальная часть души рассеяна по всему телу и движется волею ума и по его повелению [494] (*лат.*).

*** Бог наполняет все — земли, моря и бездонное небо; и стада, и все дикие звери, и люди, и рождающиеся существа требуют от него немного жизни; а под конец, все, вновь распавшись, возвращается туда же, и для смерти не остается места [495] (*лат.*).

только с того момента, как они воплотились в тело; третьи полагали, что души спускаются с луны и возвращаются туда же. Большинство древних считало, что души переходят от отца к сыну и что это совершается так же естественно, как и всякие другие явления в природе; они доказывали это сходством детей с отцами:

Instillata patris virtus tibi *:
. . . .
Fortes creantur fortibus et bonis **,

ссылаясь на то, что дети перенимают от отцов не только телесное сходство, но и одинаковый нрав и одинаковые душевные склонности:

Denique cur acris violentia triste leonum
Seminium sequitur; dolus vulpibus, et fuga cervis
A patribus datur, et patrius pavor incitat artus;
Si non certa, sua quia semina seminioque
Vis animi pariter crescit cum corpore quoque? ***

Они указывали, что на этом покоится божественное правосудие, карающее детей за грехи отцов [499], ибо отцовские пороки как-то заражают души детей и накладывают на них свой отпечаток, вследствие чего испорченность воли отцов отражается на детях. Некоторые утверждали, что если бы души возникали не естественным путем, а как-то иначе и, находясь вне тела, были бы чем-то иным, то, обладая естественными способностями: мыслить, рассуждать и вспоминать, они должны были бы сохранить воспоминание о своем первоначальном существовании:

si in corpus nascentibus insinuatur,
Cur superante actam aetatem meminisse nequimus,
Nec vestigia gestarum rerum ulla tenemus? ****

Ведь для того чтобы оценить способности наших душ столь высоко, как нам хотелось бы, следует предположить, что, пребывая в своем естественном состоянии простоты и невинности, они были всеведущими. И такими они должны были быть, пока пребывали свободными от телесного плена, до того как вошли в тело; и мы надеемся, что они опять станут

---

* Доблесть твоего отца передалась тебе.[496] (*лат.*).
** Храбрых рождают люди храбрые и честные [497] (*лат.*).
*** Наконец, почему свирепая лютость переходит по наследству к львиному роду, почему передается от отцов лисе — коварство, а оленям — прыткость и отцовский страх, трепещущий в их членах? Несомненно, потому, что вследствие действия семени вместе с ростом всего тела развиваются и душевные свойства [498] (*лат.*).
**** Если душа внедряется в тело при рождении, то почему же в таком случае мы не помним о прошлой жизни, почему не сохраняем никаких воспоминаний о совершившихся раньше событиях [500]? (*лат.*).

такими после того, как покинут его. Но и находясь в теле, они должны были бы сохранять воспоминание об этом знании, как утверждал Платон, согласно которому то, чему мы научаемся, есть лишь воспоминание о том, что мы уже знали раньше. Однако всякий может по своему опыту доказать ложность этого положения; во-первых, потому, что мы вспоминаем только то, чему нас научили; и если бы сущность души сводилась только к памяти, то мы по крайней мере должны были бы узнать кое-что сверх того, чему нас учили; а во-вторых, то, что душа знала, пребывая в своей чистоте, было совершенным знанием, ибо благодаря своему божественному пониманию душа познавала вещи такими, каковы они в действительности, между тем как, обучая ее здесь, ей прививают ложь и порок! Поэтому она не может воспользоваться своей способностью воспоминания, ибо эти образы и представления никогда не находились в ней раньше. Утверждать, что пребывание в теле до такой степени подавляет первоначальные способности души, что все они глохнут, прежде всего противоречит тому другому убеждению, а именно, что силы души столь велики и ее действия, которые люди испытывают в этой жизни, столь удивительны, что отсюда можно сделать вывод о ее божественном происхождении и существовании от века, а также о предстоящем ей бессмертии:

Nam si tanto opere est animi mutata potestas
Omnis ut actarum exciderit retinentia rerum,
Non, ut opinor, ea ab leto iam longior errat *.

Кроме того, силы и действия души следует рассматривать здесь, у нас на земле, а не в другом месте, ибо все прочие ее совершенства тщетны и бесполезны: ее бессмертие должно признаваться на основании того, чем она является в настоящем, и на основании того, что она значит в жизни человека. Было бы несправедливо отнять у души ее силы и способности, обезоружить ее с тем, чтобы на основании того срока, когда она будет находиться в плену, будет заточена в теле, будет слаба и больна, будет вынуждена терпеть насилие и принуждение,— чтобы на основании ее действий за этот срок вынести приговор, обрекающий ее на вечные муки; было бы несправедливо принять в расчет этот краткий срок, который — длится ли он несколько часов или, самое большое, сотню лет — есть лишь один миг по сравнению с бесконечностью, и на основании того, что сделано в этот промежуток времени, вынести душе окончательное решение ее участи. Было бы большой несправедливостью получить вечное воздаяние за столь краткую жизнь.

Платон, желая устранить это несоответствие, считал [502], что посмертное воздаяние должно ограничиваться сроком в сто лет, ибо таков примерно срок человеческой жизни, и многие христианские авторы также ограничивали воздаяние определенным временем.

---

* Если же душа способна настолько измениться, что совершенно утрачивает память обо всем минувшем, то это, по-моему мало отличается от смерти [501] (*лат.*).

Вместе с Эпикуром и Демокритом, чьи взгляды на природу души были наиболее приняты, философы считали, что жизнь души разделяет общую судьбу вещей, в том числе и жизни человека; они считали, что душа рождается так же, как и тело; что ее силы прибывают одновременно с телесными; что в детстве она слаба, а затем наступает период ее зрелости и силы, сменяющийся периодом упадка и старостью, и под конец душа впадает в дряхлость:

gigni pariter cum corpore, et una
Crescere sentimus, pariterque senescere mentem *.

Они считали, что душа способна испытывать различные страсти и переживать разные мучительные волнения, повергающие ее в усталость или причиняющие ей страдания; она способна испытывать превращения и изменения, чувствовать радость, впадать в дремоту и в апатию; она подвержена болезням и может быть поранена, подобно желудку или ноге:

mentem sanari, corpus ut aegrum
Cernimus, et flecti medicina posse videmus **.

Душа бывает возбуждена и омрачена под влиянием вина, теряет равновесие под влиянием лихорадки, засыпает под влиянием одних лекарств и пробуждается под влиянием других:

corpoream naturam animi esse necesse est
Corporeis quoniam telis ictuque laborat ***.

Достаточно укуса бешеной собаки, чтобы потрясти душу до основания и привести все ее способности в расстройство; от действия этих случайностей ее не может избавить никакая сила разума, никакие способности, никакая добродетель, никакая философская решимость или напряжение всех сил. Слюна паршивой дворняжки, забрызгав руку Сократа, может погубить всю его мудрость, все его великие и глубокомысленные идеи, уничтожить их дотла, не оставив и следа от всего его былого знания:

vis animai
Conturbatur . . . . . . et divisa seorsum
Disiectatur, eodem illo distracta veneno ****.

* Мы видим, что душа рождается вместе с телом, что она растет вместе с ним и одновременно стареет [503] (*лат.*).
** Мы видим, что душу можно точно так же врачевать, как и больное тело, и что она вполне поддается лечению [504] (*лат.*).
*** Значит, природа души должна быть телесна, раз она страдает от оружия и телесных ударов [505] (*лат.*).
**** Способности души помрачены... поражены и надломлены действием этого яда [506] (*лат.*).

Его душа столь же бессильна перед этим ядом, как душа четырехлетнего ребенка; этот яд способен превратить всю воплотившуюся в человека философию в бешеную и безумную; он действует так, что Катон, который смело бросал вызов судьбе и самой смерти, после того как он заразился от бешеной собаки и заболел тем, что врачи называют водобоязнью, не мог смотреть без страха и ужаса на зеркало или на воду:

vis morbi distracta per artus
Turbat agens animam, spumantes aequore salso
Ventorum ut validis fervescunt viribus undae *.

Правда, раз уж мы завели об этом речь, надо признать, что философия хорошо научила человека переносить всякого рода несчастия, вооружив его либо терпением, либо если уж очень трудно вытерпеть, то самым верным средством: полнейшим бесчувствием. Однако все эти способы годятся лишь для души здоровой, которая владеет своими силами, способна рассуждать и решать, но они совершенно бессильны, когда душа — даже если это душа философа — впадает в безумие, когда она потрясена, надломлена. Так бывает во многих случаях, когда душа испытывает слишком бурное волнение, вызванное какой-нибудь сильной страстью, либо ранением какой-нибудь части тела, либо вздутием желудка, приводящим к помрачению сознания и головокружению:

morbis in corporis, avius errat
Saepe animus: dementit enim, deliraque fatur;
Interdumque gravi lethargo fertur in altum
Aeternumque soporem, oculis nutuque cadenti **.

Философы, как мне кажется, никогда не касались этой темы, а равным образом и другой, имеющей не менее важное значение. Чтобы утешить нас перед лицом неминуемой смерти, у них всегда на устах следующая дилемма: душа либо смертна, либо бессмертна. Если она смертна, то избавлена от наказаний; если она бессмертна, то будет все более и более совершенствоваться. Они никогда не ставят себе вопроса: «А что, если она будет все время ухудшаться?», и предоставляют поэтам расписывать загробные кары. Но они слишком облегчают себе этим дело. Я постоянно замечаю в их рассуждениях два слабых пункта. Сначала скажу о первом.

Такая душа теряет влечение к высшему благу стоиков, столь, казалось бы, постоянное и незыблемое. В этом случае нашей хваленой мудрости приходится сдаться и сложить оружие. Впрочем, философы, увле-

* Душа поражена силой болезни, распространяющейся по всему телу, подобно тому как под напором неистового ветра волны бурлят и пенятся на поверхности бушующего моря [507] (*лат.*).

** Часто при болезнях тела душа блуждает, не зная пути, лишается разума и начинает говорить вздор; а иногда под влиянием глубокой летаргии она впадает в непробудный сон; глаза смежаются и голова поникает [508] (*лат.*).

каемые суетным человеческим разумом, считали, что нельзя представить себе смешения и сосуществования двух столь разных вещей, как смертное тело и бессмертная душа:

Quippe etenim mortale aeterno iungere, et una
Consentire putare, et fungi mutua posse
Desipere est. Quid enim diversius esse putandum est,
Aut magis inter se disiunctum discrepitansque
Quam mortale quod est, immortali atque perenni
Iunctum, in concilio saevas tolerare procellas? *

Поэтому они считали, что душа умирает подобно телу:

simul aevo fessa fatiscit **,

что достаточно убедительно доказывается сном, который, согласно Зенону, является прообразом смерти, ибо Зенон полагал, что сон представляет собой изнеможение и угасание души, равно как и тела. Contrahi animum et quasi labi putat atque concidere ***. А то, что некоторые люди до конца своих дней сохраняют силу и бодрость души, философы связывали с теми или иными болезнями, которыми страдают люди. Так, мы замечаем, что у некоторых людей до конца жизни сохраняется без изменений одно чувство, у других — другое, у одного — слух, у другого — обоняние; но мы никогда не видим такого одновременного ослабления всех чувств, чтобы у человека не оставалось каких-нибудь здоровых и не затронутых болезнью органов:

Non alio pacto quam si, pes cum dolet aegri,
In nullo caput interea sit forte dolore ****.

Как говорит Аристотель [513], наш разум так же не способен созерцать истину, как глаз совы не выносит сияния солнца. Наличие столь грубых заблуждений при таком ярком свете лучше убеждает нас в этом.

Противоположное мнение о бессмертии души, которое, по словам Цицерона, было впервые введено, по крайней мере по книжным свидетельствам, Ферекидом Сиросским в царствование Тулла [514] (другие приписывают его Фалесу, а иные еще кому-то), является той проблемой, о ко-

---

* Какое безумие — сочетать смертное с бессмертным, думать, что они могут чувствовать и действовать заодно! Что можно представить себе более различное, несоединимое, не вяжущееся друг с другом, чем смертное, соединенное с вечным и бессмертным, чтобы в этом соединении выносить неизбежные жестокие и бурные столкновения? [509] (*лат.*).

** Она погибает вместе с ним под бременем старости [510] (*лат.*).

*** Он полагает, что во сне душа сжимается, как-то обмякает и угасает [511] (*лат.*).

**** Так же, как может болеть больная нога, между тем как голова может не испытывать никакого страдания [512] (*лат.*).

торой обычно высказываются с наибольшей осторожностью и сомнениями. Даже самые закоренелые догматики вынуждены, рассматривая ее, укрываться под сенью Академии. Никому не известно, как же, в сущности, решил этот вопрос Аристотель, а равным образом и все древние авторы, рассуждавшие о бессмертии души с оговорками и колебаниями: rem gratissimam promittentium magis quam probantium*. Аристотель укрылся за туманом слов и темных, непонятных намеков, предоставив своим последователям спорить как относительно его мнения на этот счет, так и по поводу самого бессмертия души. Они считали бессмертие души правдоподобным по двум соображениям: во-первых, потому, что без бессмертия души утратила бы всякую опору та суетная надежда на славу, которая имеет такую огромную власть над людьми; во-вторых, потому, что это, как утверждает Платон [516], чрезвычайно полезное воззрение, ибо пороки, которые остаются скрытыми от несовершенного человеческого правосудия, могут получить возмездие от божественного правосудия, которое преследует виновных даже после их смерти.

Человек необычайно озабочен тем, чтобы продлить свое существование; он предусмотрел все в этом отношении: для сохранения тела должны служить гробницы, для увековечения имени — слава.

Заботясь о своей участи, он все свои помыслы направляет к тому, чтобы воссоздать себя, и старается подбодрить себя своими выдумками. Душа, не будучи в состоянии из-за своего смятения и своей слабости опереться на себя, ищет утешений, надежд и поддержки во внешних обстоятельствах. Какими бы легковесными и фантастическими ни были эти придуманные ею подспорья, она опирается на них увереннее и охотнее, чем на себя.

Но поразительно, что даже люди, наиболее убежденные в бессмертии души, которое кажется им столь справедливым и ясным, оказывались все же не в силах доказать его своими человеческими доводами: Somnia sunt non docentis, sed optantis**, как выразился один древний автор. Человек может убедиться на основании этого свидетельства, что той истиной, которую он сам открывает, он обязан только случаю; ибо, если даже она дается ему в руки, ему нечем схватить и удержать ее, и его разум не в состоянии воспользоваться ею. Все созданное нашим собственным умом и способностями, как истинное, так и ложное, недостоверно и спорно. Чтобы наказать нашу гордыню и показать нам наши ничтожество и слабость, бог произвел при постройке древней вавилонской башни столпотворение и смешение языков. Всё, что мы делаем без его помощи, всё что мы видим без светоча его благодати, суетно и безумно; даже когда счастливый случай помогает нам овладеть истиной, которая едина и постоянна, мы, по своей слабости, искажаем и портим ее. Какой бы путь человек ни избрал сам, бог всегда приводит его к тому самому смятению, незабываемым примером которого является справедливое наказание, кото-

---

* Нам скорее обещают, чем доказывают столь приятную вещь [515] (*лат.*).
** Это мечты человека желающего, а не доказывающего [517] (*лат.*).

рому он подверг дерзость Нимврода[518], расстроив все его попытки соорудить башню. Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo *. Чем пестрота языков и наречий, погубившая это предприятие, отличается от нескончаемых споров и разногласий, которые сопровождают и запутывают сооружение суетного здания человеческой науки? И хорошо, что запутывают его, ибо кто мог бы нас сдержать, если бы мы обладали хоть каплей познания? Мне очень по душе следующее изречение святого Августина: Ipsa utilitatis occultatio aut humilitatis exercitatio est, aut elationis attritio **. Нет пределов высокомерию и заносчивости, до которых доводят нас наше ослепление и наша глупость.

Но возвращаюсь к моему рассуждению. Было бы безусловно правильно, если бы мы всего ожидали только от бога, от его благодати и истинности столь возвышенной веры, ибо только его щедрость дает нам бессмертие, которое состоит в обладании вечным блаженством.

Признáем чистосердечно, что бессмертие обещают нам только бог и религия; ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. И тот, кто захочет испытать внутренние и внешние способности человека без этой божественной помощи, кто посмотрит на человека без лести, не найдет в нем ни одного качества, ни одного свойства, которые не отдавали бы тленом и смертью. Чем больше мы принимаем от бога, чем больше мы ему обязаны и чем больше воздаем ему, тем больше мы выказываем себя христианами.

Не лучше ли было бы в вопросе о бессмертии души опираться на бога, чем, подобно стоическому философу, опираться на случайное согласие человеческих мнений? Cum de animarum aeternitate disserimus, non leve momentum apud nos habet consensus hominum aut timentium inferos, aut colentium. Utor hac publica persuasione ***.

Слабость человеческих доводов в этом вопросе особенно ясно видна из тех фантастических подробностей, которые они добавили в подкрепление своего мнения, желая установить, какова природа этого нашего бессмертия. Оставим в стороне стоиков — usuram nobis largiuntur tanquam cornicibus: diu mansuros aiunt animos; semper negant ****,— утверждающих, что и после смерти человека душа его продолжает жить, но лишь определенное время. Наиболее распространенным и общепринятым мнением, существующим во многих местах до наших дней, является то, создателем которого считался Пифагор,— не потому, что оно было впервые им высказано, а потому, что оно приобрело вес и популярность, получив его авторитетное одобрение; оно сводится к тому, что души, покинув нас,

* Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну[519] (*лат.*).

** Само сокрытие пользы есть или испытание нашего смирения, или уничижение гордости[520] (*лат.*).

*** Когда мы рассуждаем о бессмертии души, то немалое значение для нас имеет единодушное мнение людей, боящихся или почитающих обитателей преисподней. Я использую это всеобщее мнение[521] (*лат.*).

**** Они признают, что наши души столь же живучи, как вóроны: они долговечны, но не бессмертны[522] (*лат.*).

переселяются из одного тела в другое, из льва в лошадь, из лошади в царя, непрерывно кочуя таким образом из одного обиталища в другое.

О самом себе Пифагор говорил[523], будто он помнит, что раньше был Эталидом, потом Эвфорбом, потом Гермотимом и, наконец, от Пирра перешел в Пифагора, сохраняя таким образом память о себе на протяжении двухсот шести лет. Некоторые добавляли, что иногда души возносятся на небо, а затем снова спускаются на землю:

> O pater, anne aliquas ad caelum hinc ire putandum est
> Sublimes animas iterumque ad tarda reverti
> Corpora? Quae lucis miseris tam dira cupido? *

Согласно Оригену[525], души непрерывно переходят из лучшего состояния в худшее. Варрон высказал мнение[526], что души по истечении четырехсот сорока лет возвращаются в то же тело, с которым первоначально были соединены. Хрисипп считал, что это возвращение совершается по истечении какого-то неопределенного времени. Платон говорит[527], что он заимствовал у Пиндара и у древних поэтов представление о бесконечных превращениях, предстоящих душе, поскольку наказания и награды, получаемые ею в другом мире, только временные, как и сама жизнь ее на земле была временной. Отсюда Платон делает вывод, что душа обладает превосходным знанием того, что совершается на небе, в аду и на земле, где она множество раз переселялась из одного тела в другое; на этом и основано его учение о воспоминаниях.

Вот как в другом месте он развивает свое учение[528]. Кто жил добродетельно, соединяется с предназначенной ему звездой, а кто жил во зле, превращается в женщину; но если он и после этого не исправляется, то затем он превращается в такое животное, характер которого наиболее соответствует его порочным наклонностям. Конец его карам наступает лишь тогда, когда он возвращается в свое первоначальное состояние, избавившись, благодаря разуму, от своих грубых и низменных земных свойств.

Но я не могу умолчать о возражении, выдвигаемом эпикурейцами против учения о переселении душ из одного тела в другое. Оно очень забавно. Они спрашивают: каков будет порядок перехода душ, если число умирающих окажется больше, чем число новорожденных? Ведь души, покинувшие свои обиталища, начнут скопляться и теснить друг друга, ибо каждая захочет первой войти в новую оболочку. Эпикурейцы спрашивают далее: как будут души проводить то время, пока им придется ждать, чтобы для них приготовлено было новое обиталище? Или наоборот, если число рождающихся превысит число умерших, то, по их словам, тела окажутся в тяжелом положении, ибо они должны будут ждать, пока в них вселятся души, и может случиться, что некоторые из них умрут еще

* Верно ли, отец, что некоторые возвышенные души возносятся на небо, а затем снова возвращаются в бренные тела? Откуда такая страстная жажда жизни у этих несчастных[524]? (*лат.*).

до того, как могли бы начать жить:

> Denique connubia ad Veneris partusque ferarum
> Esse animas praesto deridiculum esse videtur,
> Et spectare immortalis mortalia membra
> Innumero numero, certareque praeproperanter
> Inter se, quae prima potissimaque insinuetur *.

Иные полагали, что души задерживаются в телах умерших и вселяются потом в змей, червей и других животных, зарождающихся, как говорят, в нашем разлагающемся теле или даже возникающих из нашего пепла. Некоторые различают в душе смертную и бессмертную части. Другие считают, что она телесна и тем не менее бессмертна. Иные думают, что она бессмертна, но не обладает ни знанием, ни пониманием. Есть и такие писатели, которые полагают, что души осужденных превращаются в бесов (это мнение разделяют и некоторые из новейших писателей [530]),— вроде того, как Плутарх считает, что души праведников превращаются в богов. Этот последний автор лишь об очень немногих вещах говорит столь решительным тоном, как об этой, и во всех других случаях придерживается иной манеры выражаться — двусмысленной и таящей в себе сомнение. Следует считать, говорит он [531], и твердо верить, что души людей добродетельных, согласно природе и божественному правосудию, переходят в святых людей, затем из святых в полубогов, а из полубогов, после того как они подвергнутся, путем очистительных жертв, полному очищению, освободятся от всякой подверженности страданию и смерти, они делаются — не по какому-нибудь судебному постановлению, а в действительности и на самых правдоподобных основаниях — полными и совершенными богами и получат преблаженный и преславный удел. Но Плутарх, который, как правило, является одним из наиболее сдержанных и умеренных авторов, становится, когда дело касается этого вопроса, необычайно решительным и неистощимым в сообщении различных чудес на эту тему. Тому, кто захотел бы удостовериться в этом, я могу указать на его рассуждения о луне или о демоне Сократа. На этих примерах легче всего убедиться в том, что тайны философии имеют много общего с фантастическими вымыслами поэзии. Человеческий разум, желающий до всего доискаться и все решительно проверить, под конец теряется и вынужден сдаться, подобно тому как и вообще человек, утомленный и измученный долгим жизненным путем, снова впадает в детство. Таковы достоверные и прочные выводы, которые можно извлечь из рассмотрения человеческой науки по вопросу о нашей душе!

Не меньше неразумия в том, чему она учит нас о нашем теле. Выберем один или два примера, иначе мы рискуем потеряться в бурном и безбрежном море медицинских заблуждений. Установим, согласны ли медики

---

* Не смешно ли думать, что и при любовных объятиях и при рождении животных души стоят наготове, и, бессмертные, ожидают смертного тела, бесчисленные числом; и что, спеша, они спорят между собой, какая, обойдя других, водворится первой [529] (*лат.*).

по крайней мере в том, каково то вещество, из которого происходят люди, ибо что касается первого появления человека на земле, то нет ничего удивительного, что человеческий ум теряется перед таким возвышенным и исконным вопросом. Физик Архелай, учеником и любимцем которого был Сократ, утверждал, согласно Аристоксену, что люди и животные созданы из млечного сока, выступившего из земли под действием тепла [532]. Пифагор утверждал, что наше семя есть пена из лучшей части нашей крови; Платон — что оно представляет собой спинномозговую жидкость, в подтверждение чего он ссылался на то, что именно в спине мы прежде всего ощущаем усталость после полового акта; Алкмеон полагал, что семя является частью мозгового вещества, и в доказательство ссылался на то, что у тех, кто злоупотребляет этим делом, помрачается зрение; Демокрит считал семя веществом, выделяемым всем телом; Эпикур полагал, что оно выделяется и душой, и телом; Аристотель считал его выделением из вещества, питающего кровь, которая распространяется по всем нашим членам; другие считали его кровью, изменившейся под действием тепла половых органов; они доказывали это тем, что при крайних усилиях выделяются капли чистой крови; последнее мнение представляется несколько более вероятным, если можно вообще говорить о вероятности при такой путанице. А сколько существует противоположных мнений по вопросу об оплодотворении этим семенем! Аристотель и Демокрит полагали, что у женщин нет семенной жидкости и что под влиянием тепла, вызываемого наслаждением и движениями, у них выступает испарина, не играющая никакой роли при оплодотворении. Гален и его последователи, напротив, полагали, что не может быть зачатия, если не происходит встречи мужского и женского семени. А сколько споров ведут медики, философы, юристы и теологи между собой и вперемешку с женщинами по вопросу о сроках беременности женщин! Я же, основываясь на примере из моей жизни, поддерживаю тех, кто считает, что беременность может продолжаться одиннадцать месяцев. Мир полон подобного рода примерами; и нет такой глупой бабенки, которая не готова была бы высказать свое твердое мнение по поводу всех этих споров, а между тем мы никак не можем прийти к единомыслию.

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться, что человек знает о своем теле не больше, чем о душе. Мы намеренно предложили ему высказаться о самом себе; мы предложили его разуму судить о самом себе, желая посмотреть, что он нам скажет по этому поводу. Мне кажется, я показал достаточно, как мало он себя знает. А как может понимать что-либо тот, кто не понимает самого себя? Quasi vero mensuram ullius rei possit agere, qui sui nesciat *. В хорошенькой небылице хотел уверить нас Протагор, утверждавший, будто мерой всех вещей является тот самый человек, который никогда не мог познать даже своей собственной меры. Если же не сам человек является этой мерой, то его достоинство не позволяет ему

* Как если бы тот, кто не знает собственной меры, мог знать меру какой-либо другой вещи [533] (*лат.*).

наделить этим преимуществом какое-нибудь другое создание. Но поскольку человек так противоречив и одно утверждение постоянно опровергается у него другим, приходится признать, что лестное для человека суждение Протагора является лишь насмешкой: оно неизбежно приводит нас к выводу о негодности как предлагаемой меры, так и того, кто производит измерение.

Когда Фалес утверждает, что человеку очень трудно познать самого себя, он тем самым учит его тому, что познание всякой другой вещи для человека невозможно [534].

Вы, для которой я, вопреки своему обыкновению, взялся написать столь пространное рассуждение [535], не должны отказываться защищать вашего Раймунда Сабундского с помощью обычных доказательств, которыми вы пользуетесь повседневно; упражняйте на этом ваш ум и ваши знания. Ибо тем приемом борьбы, к которому я прибегнул здесь, следует пользоваться только как крайним средством. Это отчаянный прием, заключающийся в том, что мы отказываемся от собственного оружия, лишь бы только выбить оружие из рук противника; это тонкая уловка, которой следует пользоваться лишь изредка и осторожно. Большая смелость — рисковать собой ради уничтожения другого.

Не следует идти на смерть, как сделал Гобрий, только для того, чтобы отомстить врагу; ибо, когда Гобрий бился с одним персидским вельможей, а Дарий, устремившийся к нему на помощь с мечом в руках, стоял в нерешительности, боясь ударить, чтобы не ранить Гобрия, тот крикнул ему: «Рази мечом, хотя бы по обоим» [536].

Мне известны случаи, когда отвергались такие вызовы на единоборство, условия которых почти не оставляли надежды, что хотя бы один из противников останется в живых. Когда однажды португальцы в Индийском океане взяли в плен четырнадцать турок, последние, не желая мириться со своей участью, решили взорвать корабль, на котором они находились, и погубить таким образом и себя и захвативших их португальцев, и самый корабль; с этой целью они принялись тереть один о другой гвозди корабля, пока вылетевшая искра не попала в стоявшие рядом бочки с порохом [537].

Прибегая к таким средствам, мы преступаем границы знания, последние пределы его; а между тем крайности в этом отношении так же вредны, как и в добродетели. Придерживайтесь средней дороги; нехорошо быть столь утонченным и изысканным. Помните тосканскую пословицу, которая гласит: Chi troppo s'assotiglia si scavezza *. Придерживайтесь, советую вам, в ваших взглядах и суждениях, а также в нравах и во всем прочем умеренности и осмотрительности; избегайте новшеств и экстравагантности. Всякие крайние пути меня раздражают. Пользуясь своим высоким положением, а еще более теми преимуществами, которые дают вам ваши собственные достоинства, вы можете одним взглядом приказывать кому угодно; вы должны были бы поэтому поручить это дело какому-нибудь

* При чрезмерной утонченности рискуешь впасть в ошибку [538] (*ит.*).

опытному литератору, который гораздо лучше, чем я, развил бы и украсил бы эту мысль. Во всяком случае этого намека достаточно, чтобы вы поняли, как вам надлежит поступить.

Эпикур утверждал, что людям необходимы даже самые дурные законы, ибо, не будь их, люди пожрали бы друг друга [539]. Платон подтверждает это почти теми же словами, говоря, что без законов мы жили бы как дикие звери [540]. Наш разум — это подвижный, опасный, своенравный инструмент; его нелегко умерить и втиснуть в рамки. И в наше время мы замечаем, что те, кто выделяется каким-нибудь особым превосходством по сравнению с другими или необычайным умом, обнаруживают полнейшее своеволие как в своих мнениях, так и в поведении. Встретить степенный и рассудительный ум — просто чудо. Правильно делают, что ставят человеческому уму самые тесные пределы. Как в науке, так и во всем остальном следует учитывать и направлять каждый его шаг; нужно умело ставить границы его исканиям. Его пытаются обуздать и связать предписаниями религии, законами, обычаями, знанием, наставлениями, временными и вечными наказаниями и наградами; и все же он благодаря своей изворотливости и распущенности ускользает от всех этих пут. Разум — это такая скользкая вещь, что ее ни за что не ухватишь и никак не удержишь, он столь многолик и изменчив, что невозможно ни поймать его, ни связать. Поистине мало таких уравновешенных, сильных и благородных душ, которым можно было бы предоставить поступать по их собственному разумению и которые благодаря своей умеренности и осмотрительности, могли бы свободно руководствоваться своими суждениями, не считаясь с общепринятыми мнениями. Но все же надежнее и их держать под опекой. Разум — оружие, опасное для самого его владельца, если только он не умеет пользоваться им благоразумно и осторожно. Нет такого животного, которому с бóльшим основанием, чем человеку, надлежало бы ходить в шорах, чтобы глаза его вынуждены были смотреть только туда, куда он ступает, и чтобы он не уклонялся ни в ту, ни в другую сторону и не выходил из колеи, указанной ему законами и обычаем. Вот почему вам лучше держаться обычного пути, каков бы он ни был, чем предаваться необузданному своеволию. Но если кто-нибудь из этих новых учителей [541] в ущерб спасению своей души и вашей захочет умничать в вашем присутствии, то это предохранительное средство в крайнем случае поможет вам избавиться от той чумы, которая все шире распространяется при ваших дворах, и предотвратить действие этого яда на вас и ваших приближенных.

Свобода мнений и вольность древних мыслителей привели к тому, что как в философии, так и в науках о человеке образовалось несколько школ и всякий судил и выбирал между ними. Но в настоящее время, когда люди идут одной дорогой — qui certis quibusdam destinatisque sententiis addicti et consecrati sunt, ut etiam quae non probant, cogantur defendere * — и когда изучение наук ведется по распоряжению властей, когда

* Те, кто связали и посвятили себя определенным, строго установленным учениям, вынуждены теперь защищать то, чего не одобряют [542] (*лат.*).

все школы сходны между собой и придерживаются одинакового способа воспитания и обучения,— уже не обращают внимания на вес и стоимость монеты, а всякий принимает их по общепринятой цене, по установленному курсу. Спорят не о качестве монеты, а о том, каков в отношении ее обычай; таким образом, у нас на все одна мерка. Медицину принимают так же, как и геометрию; шарлатанство, колдовство, сношение с духами умерших, предсказания, астрологические таблицы — все, вплоть до нелепых поисков философского камня, принимается без возражений. Нужно только знать, что Марс помещается посередине треугольника на ладони, Венера — у большого пальца, а Меркурий — у мизинца и что когда поперечная линия пересекает бугорок указательного пальца, то это признак жестокости, когда же она проходит под средним пальцем, а средняя природная линия составляет угол с линией жизни в том же месте, то это указывает на смерть от несчастного случая, и, наконец, если у женщины природная линия видна и не образует угла с линией жизни, то это указывает на то, что она не будет отличаться целомудрием. Всякий подтвердит, что человек, обладающий подобными знаниями, пользуется уважением и хорошо принят во всех кругах общества.

Теофраст утверждал, что человеческий разум, руководясь показаниями чувств, может до известной степени судить о причинах вещей, но что когда дело доходит до самых основ или первопричин, ему необходимо остановиться и отступить, либо из-за его слабости, либо из-за трудности предмета. Мнение, что наш разум может привести нас к познанию некоторых вещей, но что есть определенные рамки, за пределами которых безрассудно пользоваться им, нельзя не признать умеренным и осмотрительным. Это мнение вполне правдоподобно и выдвигалось выдающимися людьми. Однако нелегко установить границы нашему разуму: он любознателен, жаден и столь же мало склонен остановиться, пройдя тысячу шагов, как и пройдя пятьдесят. Я убедился на опыте, что то, чего не удалось достичь одному, удается другому, что то, что осталось неизвестным одному веку, разъясняется в следующем; что науки и искусства не отливаются сразу в готовую форму, но образуются и развиваются постепенно, путем повторной многократной обработки и отделки, подобно тому как медведицы, неустанно облизывая своих детенышей, придают им определенный облик. Так вот и я не перестаю исследовать и испытывать то, чего не в состоянии открыть собственными силами; вновь и вновь возвращаясь все к тому же предмету и поворачивая и испытывая его на все лады, я делаю этот предмет более гибким и податливым, создавая таким образом для других, которые последуют за мной, более благоприятные возможности овладеть им:

ut Hymettia sole
Cera remollescit, tractataque pollice, multas
Vertitur in facies, ipsoque fit utilis usu *.

* Так размягчается на солнце гиметский воск и под нажимом большого пальца становится более податливым, принимая тысячи различных форм [543] (*лат.*).

То же самое сделает и мой преемник для того, кто последует за ним. Поэтому ни трудность исследования, ни мое бессилие не должны приводить меня в отчаяние, ибо это только мое бессилие. Человек столь же способен познать все, как и отдельные вещи; и если он, как уверяет Теофраст, признается в незнании первопричин и основ, то он должен решительно отказаться от всей остальной науки; ибо если он не знает основ, то его разум влачится по праху; ведь целью всех споров и всякого исследования является установление принципов, а если эта цель не достигнута, то человеческий разум никогда не может ничего решить [544]. Non potest aliud alio magis minusve comprehendi, quoniam omnium rerum una est definitio comprehendendi *.

Весьма вероятно, что если бы душа что-нибудь знала, то она в первую очередь знала бы самое себя; если же она знала бы что-либо помимо себя, то она прежде всего знала бы свое тело и оболочку, в которую она заключена. Однако мы видим, что светила медицины по сей день спорят по поводу нашей анатомии —

Mulciber in Troiam, pro Troia stabat Apollo **,

и сколько нам придется ждать, пока они сговорятся? Вопрос о нас самих нам ближе, чем вопрос о белизне снега или тяжести камня; но если человек не знает самого себя, то как он может осознать свои силы и свое предназначение? Иногда нас осеняют некоторые проблески истинного познания, но это бывает только случайно, и так как наша душа тем же путем воспринимает заблуждения, то она не в состоянии отличить их и отделить истину от лжи.

Академики считали возможным приходить к некоторым суждениям и находили слишком решительным заявлять, будто утверждение, что снег бел, не более правдоподобно, чем то, что он черен; или что мы не можем быть более уверены в движении камня, брошенного нашей рукой, чем в движении восьмой сферы. Желая устранить эти заблуждения и избежать подобных странных утверждений, не укладывающихся в нашей голове, академики хотя и считали, что мы не способны к познанию и что истина скрыта на дне глубокой пропасти [547], куда человеческий взор не в состоянии проникнуть, тем не менее признавали, что одни вещи более вероятны, чем другие. Поэтому они допускали способность человеческого разума склоняться скорее к одной видимости, чем к другой; они разрешали ему эту склонность, но запрещали какие бы то ни было категорические утверждения.

Точка зрения пирронистов более решительна и вместе с тем более правдоподобна. Действительно, разве эта признаваемая академиками склонность, это влечение к одному положению больше, чем к другому,

---

* Нельзя понять одну вещь больше или меньше, чем другую, так как есть только одно определение понимания всякой вещи [545] (*лат.*).

** Мульцибер ополчился на Трою, Аполлон стоял за нее [546] (*лат.*).

не равносильны признанию, что в одном утверждении больше видимой истины, чем в другом? Если бы наш разум способен был воспринимать форму, очертания и облик истины, то он с таким же успехом способен был бы воспринимать всю ее целиком, как и половину ее, растущую и незавершенную. Увеличьте эту видимость правдоподобия, которая заставляет людей склоняться скорее вправо, чем влево; умножьте во сто или в тысячу раз эту унцию правдоподобия, которая заставляет весы склоняться в какую-либо сторону, и вы увидите, что в конце концов весы полностью склонятся в одну сторону, выбор будет произведен, и истина будет установлена полностью. Но как могут они судить о подобии, если им неизвестна сущность? Одно из двух: либо мы способны судить о вещах до конца, либо мы совершенно не способны судить о них. Если наши умственные и чувственные способности лишены опоры и основы, если они так неустойчивы, так колеблемы ветром из стороны в сторону, то ни к чему выносить суждение о какой-нибудь части их действий, какую бы видимость правдоподобия она ни представляла; в таком случае наиболее правильным и наилучшим для нашего разума было бы держаться спокойно и недвижимо, не колеблясь и не склоняясь ни в какую сторону: Inter visa vera aut falsa ad animi assensum nihil interest *.

Всякому должно быть ясно, что воспринимаемые нами вещи не сохраняют свою форму и сущность их не входит в наше сознание сама, своей властью; ибо, если бы мы знали вещи, как они есть, мы воспринимали бы их одинаково: вино имело бы такой же вкус для больного, как и для здорового; тот, у кого пальцы потрескались или окоченели от холода, должен был бы ощущать твердость дерева или куска железа, который он держит в руках, так же как и всякий другой человек. Восприятие сторонних предметов зависит от нашего усмотрения, мы воспринимаем их как нам угодно. Ведь если бы мы воспринимали вещи, не изменяя их, если бы человек способен был улавливать истину своими собственными средствами, то, поскольку эти средства присущи всем людям, истина переходила бы из рук в руки, от одного к другому. И нашлась бы по крайней мере хоть одна вещь на свете, которую все люди воспринимали бы одинаково. Но тот факт, что нет ни одного положения, которое не оспаривали бы или которого нельзя было бы оспаривать, как нельзя лучше доказывает, что наш природный разум познает вещи недостаточно ясно; ибо восприятие моего разума не обязательно для моего соседа — а это доказывает, что я воспринял данный предмет не с помощью естественной способности, которая присуща мне наравне со всеми прочими людьми, а каким-то другим способом.

Но оставим в стороне этот нескончаемый хаос мнений, который царит даже у философов, оставим этот нескончаемый всеобщий спор о познаваемости вещей. Ибо совершенно справедливо признано, что нет такой вещи, относительно которой люди — а я имею в виду даже самых крупных и

---

* Разуму нечего выбирать, если выбор нужно производить между истинной и ложной видимостью [548] (*лат.*).

самых выдающихся ученых — были бы согласны между собой, даже относительно того, что небо находится над нашей головой; ибо те, кто сомневается во всем, сомневаются и в этом; а те, кто отрицает, что мы способны понять что бы то ни было, утверждают, что мы не знаем и того, находится ли небо над нашей головой; эти две точки зрения несомненно самые убедительные.

Но, кроме этих бесконечных расхождений и разногласий, нетрудно заметить по тому смятению, которое наш разум вызывает в нас самих, и по той неуверенности, которую каждый из нас в себе ощущает, что наш разум занимает далеко не прочную позицию. Как разно мы судим в разное время о вещах! Как часто меняем наши мнения! Я вкладываю всю свою веру в то, во что верю и чего придерживаюсь сегодня; все мои средства и способности удерживают это воззрение и отвечают мне с его помощью на все, что могут. Никакую другую истину я не в состоянии был бы постигнуть лучше и удерживать с большей силой, чем эту; я весь целиком на ее стороне. Но не случалось ли со мной — и не раз, а сотни, тысячи раз, чуть ли не ежедневно,— что я принимал с помощью тех же средств и при тех же условиях какую-нибудь другую истину, которую потом признавал ложной? Следует по крайней мере учиться на своих ошибках. Если я неоднократно обманывался в этом отношении, если показания моего пробного камня обычно оказывались неверными, а мои весы неточными и неправильными, то как могу я быть в данном случае более уверен, чем в предыдущих? Не глупо ли с моей стороны давать себя столько раз обманывать одному и тому же руководителю? И, однако, сколько бы раз судьба ни бросала нас из стороны в сторону, сколько бы раз она ни заставляла нас, подобно непрерывно наполняемому и опустошаемому сосуду, менять наши мнения, вытесняя их все новыми и новыми, тем не менее то последнее мнение, которого мы держимся в данный момент, всегда представляется нам самым достоверным и безошибочным. Ради него следует жертвовать своим имуществом, жизнью и спасением, одним словом всем:

posterior... res illa reperta
Perdit, et immutat sensus ad pristina quaeque *.

Следует всегда помнить — что бы нам ни проповедовали и чему бы нас ни учили,— что тот, кто открывает нам что-либо, как и тот, кто воспринимает это, всего лишь человек; рука, что дает нам истину, смертная, и смертная же рука принимает ее. Между тем только то, что исходит от неба, имеет право и силу быть убедительным; только оно отмечено печатью истины, хотя мы ее не видим нашими глазами и не воспринимаем нашими чувствами. Мы не могли бы вместить в нашем бренном существе священный и великий образ этой истины, если бы бог не подготовил нас

---

* Новое мнение губит предшествующее и всегда меняет устарелые вкусы [549] (*лат.*).

к этой цели, если бы он не преобразовал и не укрепил нас своей благодатью, своей особой и сверхъестественной милостью.

Наше несовершенное состояние должно было бы по крайней мере побудить нас быть настороже, когда мы меняем наши взгляды. Нам следовало бы помнить, что мы часто воспринимаем нашим умом ложные вещи, причем теми самыми средствами, которые часто изменяют себе и обманывают нас.

Впрочем, нет ничего удивительного, что они изменяют себе, поскольку так легко уклоняются и сворачивают с пути под действием самых ничтожных случайностей. Несомненно, что наши суждения, наш разум и наши душевные способности всегда зависят от телесных изменений, которые совершаются непрерывно. Разве мы не замечаем, что, когда мы здоровы, наш ум работает быстрее, память проворнее, а речь живее, чем когда мы больны? Разве, когда мы радостны и веселы, мы не воспринимаем вещи совсем по-иному, чем когда мы печальны и удручены? Разве стихи Катулла или Сапфо [550] доставляют такое же удовольствие скупому и хмурому старцу, как бодрому и пылкому юноше? Когда Клеомен [551], сын Анаксандрида, заболел, друзья стали упрекать его в том, что у него появились совсем новые и необычные желания и мысли. «Это, конечно, верно,— ответил он им,— но я и сам уже не тот, что прежде, когда был здоров; а когда я стал другим, то изменились и мои мысли и желания». В наших судах в ходу одно выражение, применяемое к преступнику, которому посчастливилось наткнуться на судью в благодушном и кротком настроении; про него говорят: Gaudeat te bona fortuna — «Пусть он радуется своей удаче»; ибо известно, что судьи в одних случаях склонны к осуждению и более суровым приговорам, а в других — к оправданию обвиняемого и более легким и мягким решениям. Судья, который, придя из дому, принес с собой свои подагрические боли или свои муки ревности или душа которого пышет гневом против обокравшего его слуги, несомненно более склонен будет к вынесению сурового приговора. Почтенный афинский сенат — ареопаг — судил обычно ночью, опасаясь, чтобы вид обвиняемых не повлиял на его правосудие. На нас действуют даже воздух и ясное небо, как гласит известный греческий стих в переводе Цицерона:

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse
Iuppiter auctifera lustravit lampade terras *.

Наши суждения изменяются не только под влиянием лихорадки, крепких напитков или каких-нибудь крупных нарушений в нашем организме — достаточно и самых незначительных, чтобы перевернуть их. Если непрерывная лихорадка способна сразить нашу душу, то нет сомнения, что и перемежающаяся производит на нас — хотя бы мы этого и не чувствова-

* Мысли людей меняются так же, как и плодоносный свет, которым отец Юпитер озаряет земли [552] (*лат.*).

ли — соответствующее действие. Если апоплексический удар вызывает полное помрачение или ослабление наших умственных способностей, то на них действует и простой насморк; и, следовательно, вряд ли можно найти хотя бы час в нашей жизни, когда бы наше суждение не подвергалось тому или иному воздействию, поскольку наше тело подвержено непрерывным изменениям и имеет столь сложное устройство, что я согласен с врачами, утверждающими, будто трудно уловить мгновение, когда хоть какой-нибудь из его винтиков не был неисправен.

Впрочем, эту болезнь не так-то легко обнаружить, если она не доведена до крайности и не неизлечима; тем более что разум всегда идет нетвердой походкой, ковыляя и прихрамывая. Он всегда перемешан как с ложью, так и с истиной, поэтому нелегко обнаружить его неисправность, его расстройство. Разумом я всегда называю ту видимость логического рассуждения, которую каждый из нас считает себе присущей; этот разум, обладающий способностью иметь сто противоположных мнений об одном и том же предмете, представляет собой инструмент из свинца и воска, который можно удлинять, сгибать и приспособлять ко всем размерам: нужно только умение владеть им [553]. Какие бы благие намерения ни были у судьи, все же на него оказывают влияние дружеские отношения, родственные связи, красота, мстительность; но даже и не такие важные вещи, а просто случайное влечение побуждает нас иной раз отнестись более благоприятно к одному делу, чем к другому, и, без ведома разума, произвести выбор между двумя сходными вещами; бывает, что какое-нибудь совсем незначительное обстоятельство может незаметно повлиять на наш приговор в положительном или отрицательном смысле и склонить чашу весов в определенную сторону.

Я, следящий за собой самым пристальным образом, неустанно всматривающийся в себя самого, подобно тому, кто не имеет других забот,

quis sub Arcto
Rex gelidae metuatur orae,
Quid Tyridaten terreat, unice
Securus *,

едва ли в состоянии буду сознаться во всех тех слабостях и изъянах, которые мне присущи. Я столь нетверд на ногах и шаток и так плохо соображаю и разбираюсь в вещах, что натощак я ни на что не годен и чувствую себя лучше только когда поем; если у меня прекрасное самочувствие и надо мною ясное небо, то я обходительный человек; если меня мучит мозоль на ноге, я становлюсь хмурым, нелюбезным и необщительным. Один и тот же аллюр лошади иногда кажется мне короче, другой раз длиннее; один и тот же вид кажется мне то более, то менее привлекательным. То я готов делать все, что угодно, то не хочу делать ничего;

* Меня нисколько не заботит, какого владыки ледяных пределов под Медведицей следует опасаться, и что страшит Тиридата [554] (*лат.*).

вещь, которая в данный момент доставляет мне удовольствие, в другое время мне тягостна. Я обуреваем тысячью безрассудных и случайных волнений; то я нахожусь в подавленном настроении, то в приподнятом; то печаль безраздельно владеет мной, то веселье. Читая книги, я иногда наталкиваюсь в некоторых местах на красоты, пленяющие мою душу; но в другие разы, когда я возвращаюсь к этим местам, они остаются для меня ничего не говорящими, тусклыми словами, сколько бы я на все лады ни читал и ни перечитывал их.

Даже в моих собственных писаниях я не всегда нахожу их первоначальный смысл: я не знаю, что я хотел сказать, и часто принимаюсь с жаром править и вкладывать в них новый смысл вместо первоначального, который я утратил и который был лучше. Я топчусь на месте; мой разум не всегда устремляется вперед; он блуждает и мечется,

velut minuta magno
Deprensa navis in mari vesaniente vento *.

Желая развлечь и поупражнять свой ум, я не раз (что мне случается делать с большой охотой) принимался поддерживать мнение, противоположное моему; применяясь к нему и рассматривая предмет с этой стороны, я так основательно проникался им, что не видел больше оснований для своего прежнего мнения и отказывался от него. Я как бы влекусь к тому, к чему склоняюсь, — что бы это ни было — и несусь, увлекаемый собственной тяжестью.

Всякий, кто, как я, присмотрится к себе, сможет сказать о себе примерно то же самое. Проповедники хорошо знают, что волнение, охватывающее их при произнесении проповеди, усиливает их веру, а по себе мы хорошо знаем, что, объятые гневом, мы лучше защищаем свои мнения, внушаем их себе и принимаем их горячее и с бо́льшим одобрением, чем находясь в спокойном и уравновешенном состоянии. Когда вы просто излагаете ваше дело адвокату и спрашиваете его совета, он отвечает вам, колеблясь и сомневаясь: вы чувствуете, что ему все равно, поддержать ли вас или противную сторону; но когда вы, желая подстрекнуть и расшевелить его, хорошо ему заплатите, не заинтересуется ли он вашим делом, не подзадорит ли это его? Его разум и его опытность примутся все более усердствовать — и вот уму уже начнет представляться явная и несомненная истина; все дело представится ему в совершенно новом свете, он добросовестно уверует в вашу правоту и убедит себя в этом. Уж не знаю, происходит ли от строптивости и упорства, заставляющих противиться насилию властей, или же от стремления к славе тот пыл, который принуждает многих людей отстаивать вплоть до костра то мнение, за которое в дружеском кругу и на свободе им бы и в голову не пришло чем-либо пожертвовать.

---

* Подобно утлому суденышку, застигнутому в открытом море неистовым ветром [555] (*лат.*).

На нашу душу сильно действуют потрясения и переживания, вызываемые телесными ощущениями, но еще больше действуют на нее ее собственные страсти, имеющие над ней такую власть, что можно без преувеличения сказать, что ими определяются все ее движения и что, не будь их, она оставалась бы недвижима, подобно кораблю в открытом море, не подгоняемому ветром. Не будет большой ошибкой, следуя за перипатетиками, защищать это утверждение; ибо известно, что многие самые благородные душевные движения обусловлены страстями и нуждаются в них. Так, храбрость, по их словам, не может проявиться без содействия ярости:

Semper Aiax fortis, fortissimus tamen in furore *.

Человек никогда не нападает на злодеев или на врагов с большей силой, чем когда он в ярости; говорят, что даже адвокат должен разгорячить судей для того, чтобы они судили по справедливости. Страсти определяли поступки Фемистокла [557], так же как и Демосфена; страсти заставляли философов трудиться, проводить бессонные ночи и пускаться в странствия; они же толкают нас на достижение почестей, знаний, здоровья, всего полезного. Та самая душевная робость, которая заставляет нас терпеть тяготы и докуку, побуждая нашу совесть к раскаянию и покаянию, заставляет нас воспринимать бичи божьи как ниспосылаемые нам наказания, ведущие к исправлению нашего общественного устройства. Сострадание пробуждает в нас милосердие, а страх обостряет наше чувство самосохранения и самообладания. А сколько прекрасных поступков продиктовано честолюбием! Сколько — высокомерием? Всякая выдающаяся и смелая добродетель не обходится в конечном счете без какого-нибудь отрицательного возбудителя. Не это ли одна из причин, заставившая эпикурейцев освободить бога от всякого вмешательства в наши дела, поскольку сами проявления его благости по отношению к нам не могут совершаться без нарушающих его покой страстей? Ведь страсти являются как бы стрекалами для души, толкающими ее на добродетельные поступки. Или, может быть, они смотрели на страсти иначе и считали их бурями, постыдно нарушающими душевный покой? Ut maris tranquillitas intelligitur, nulla ne minima quidem aura fluctus commovente; sic animi quietus et placatus status cernitur, cum perturbatio nulla est qua moveri queat **.

Какие различные чувства и мысли вызывает в нас многообразие наших страстей! Каких только ни порождает оно противоречивых представлений! Какую уверенность можем мы почерпнуть в столь непостоянном и переменчивом явлении, как страсть, которая по самой своей природе

* Аякс был храбр всегда, но всего храбрее в ярости [556] (*лат.*).
** Подобно тому как о спокойствии моря судят по отсутствию малейшего ветерка, колышащего его гладь, точно так же спокойствие и невозмутимость души узнаются по тому, что никакое волнение не в состоянии их нарушить [558] (*лат.*).

подвластна волнению и никогда не развивается свободно и непринужденно? Какой достоверности можем мы ждать от нашего суждения, если оно зависит от потрясения и болезненного состояния, если оно вынуждено получать впечатления от вещей под влиянием исступления и безрассудства?

Не дерзость ли со стороны философии утверждать, будто самые великие деяния людей, приближающие их к божеству, совершаются ими тогда, когда они выходят из себя и находятся в состоянии исступления и безумия? Лишившись разума или усыпив его, мы становимся лучше. Исступление и сон являются двумя естественными путями, которые вводят нас в обитель богов и позволяют предвидеть судьбы грядущего. Забавная вещь: из-за расстройства нашего разума, причиняемого страстями, мы становимся добродетельными; и благодаря тому, что исступление или прообраз смерти разрушают наш разум, мы становимся пророками и прорицателями! С величайшей охотой готов этому поверить. Благодаря подлинному вдохновению, которым святая истина осеняет философский ум, она заставляет его, вопреки его собственным утверждениям, признать, что спокойное и уравновешенное состояние нашей души, то есть самое здоровое состояние, предписываемое философией, не является ее наилучшим состоянием. Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Наши фантазии сто́ят больше, чем наши рассуждения. Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это мы сами. Но не полагает ли философия, что мы можем заметить по этому поводу следующее: ведь голос, утверждающий, что разум безумного человека является ясновидящим, совершенным и могучим, а разум здорового человека низменным, невежественным и темным, есть голос, исходящий от разума, который является частью низменного, невежественного и темного человека, и по этой причине есть голос, которому нельзя доверять и на который нельзя полагаться.

Будучи от природы вялым и нескоропалительным, я не имею обширного опыта в тех бурных увлечениях, большинство которых внезапно овладевает нашей душой, не давая ей времени опомниться и разобраться. Но та страсть, которая, как говорят, порождается в сердцах молодых людей праздностью и развивается размеренно и не спеша, являет собой для тех, кто пытался противостоять ее натиску, поучительный пример полного переворота в наших суждениях, коренной перемены в них. Желая сдержать и покорить страсть (ибо я не принадлежу к тем, кто поощряет пороки, и поддаюсь им только тогда, когда они увлекают меня), я когда-то пытался держать себя в узде; но я чувствовал, как она зарождается, растет и ширится, несмотря на мое сопротивление, и под конец, хотя я все видел и понимал, она захватила меня и овладела мною до такой степени, что, точно под влиянием опьянения, вещи стали представляться мне иными, чем обычно, и я ясно видел, как увеличиваются и вырастают достоинства существа, к которому устремлялись мои желания; я наблюдал, как раздувал их вихрь моего воображения, как уменьшались и сглаживались мои затруднения в этом деле, как мой разум и мое сознание отступали на задний план. Но лишь только погасло это любовное пламя, как в одно

мгновение душа моя, словно при вспышке молнии, увидела все в ином свете, пришла в иное состояние и стала судить по-иному; трудности отступления стали казаться мне огромными, непреодолимыми, и те же самые вещи приобрели совсем иной вкус, иной вид, чем они имели под влиянием пыла моего желания. Какой из них более истинный, этого Пиррон не знает. В нас всегда таится какая-нибудь болезнь. При лихорадке жар перемежается с ознобом; после жара пламенной страсти нас кидает в ледяной холод.

Я с не меньшей силой бросаюсь вперед, чем подаюсь потом назад:

Qualis ubi alterno procurrens gurgite pontus
Nunc ruit ad terras, scopulisque superiacit undam,
Spumeus, extremamque sinu perfundit arenam;
Nunc rapidus retro atque aestu revoluta resorbens
Saxa fugit, litusque vado labente relinquit *.

Познав эту изменчивость, я как-то выработал в себе известную устойчивость взглядов и старался не менять своих первых и безыскусственных мнений. Ибо, какую бы видимость истины ни имело новое мнение, я нелегко меняю свои старые взгляды из опасения, что потеряю на обмене; и так как я не умею сам выбирать, то принимаю выбор другого и держусь того, что мне определено богом. В противном случае я не мог бы остановиться и без конца менял бы свои взгляды. Благодаря этой устойчивости, я, не вступая в борьбу со своей совестью, сохранил, божьей милостью, верность старым формам нашей религии, вопреки множеству возникших в наше время сект и религиозных учений. Творения древних авторов — я имею в виду первоклассные и значительные произведения — всегда пленяют меня и как бы влекут меня куда им вздумается; последний прочитанный мной автор всегда кажется мне наиболее убедительным; я нахожу, что каждый из них по очереди прав, хотя они и противоречат друг другу. Та легкость, с какой умные люди могут сделать правдоподобным все, что захотят, благодаря чему нет ничего столь необычного, чего они не сумели бы преобразить настолько, чтобы обмануть такого простака, как я,— лучше всего доказывает слабость их доводов. В течение трех тысячелетий небосвод со всеми светилами вращался вокруг нас; весь мир верил в это, пока Клеанф Самосский [560] — или, согласно Теофрасту, Никет Сиракузский — не вздумал уверять, что в действительности земля движется вокруг своей оси по эклиптике зодиака; а в наше время Коперник так хорошо обосновал это учение, что весьма убедительно объясняет с его помощью все астрономические явления. Какое иное заключение можем мы сделать отсюда, как не то, что не нам устанавливать, какая из этих двух точек зрения правильна? И кто знает, не появится ли через

* Так море, набегая чередующимися потоками, то в пене обрушивается на землю, перебрасывая волны через скалы и заливая песок изгибающейся линией; то стремительно убегает назад, таща за собой увлекаемые течением камни, и покидает берег, унося свои воды [559] (*лат.*).

тысячу лет какая-нибудь третья точка зрения, которая опровергнет обе предыдущие?

Sic volvenda aetas commutat tempora rerum:
Quod fuit in pretio, fit nullo denique honore;
Porro aliud succedit, et e contemptibus exit,
Inque dies magis appetitur, floretque repertum
Laudibus, et miro est mortales inter honore *.

Поэтому, когда появляется какое-нибудь новое учение, у нас есть много оснований не доверять ему, памятуя, что до его появления процветало противоположное учение; и подобно тому, как оно было отвергнуто новой точкой зрения, точно так же в будущем может возникнуть еще какое-нибудь третье учение, которое отвергнет это второе. До того, как получили распространение принципы, введенные Аристотелем, человеческий разум довольствовался другими учениями, так же как нас теперь удовлетворяют его принципы. Почему мы обязаны больше им верить? Какой они обладают особенной привилегией, гарантирующей им, что ничего другого не может быть измышлено человеческим умом и потому отныне мы будем доверять им до конца веков? Ведь они могут быть вытеснены так же, как учения, им предшествовавшие. Когда мне навязывают какую-нибудь новую мысль, против которой я не нахожу возражений, то я считаю, что то, чего я не в состоянии опровергнуть, может быть опровергнуто другим; ведь надо быть большим простаком, чтобы верить всякой видимости истины, в которой мы не в состоянии разобраться. Иначе получится, что простые люди — а мы все принадлежим к их числу — будут постоянно менять свои взгляды, подобно флюгерам; ибо, будучи податливы и не способны к сопротивлению, они вынуждены будут непрерывно усваивать все новые и новые воззрения, причем последнее всегда будет уничтожать следы предшествовавшего. Кто сам слаб, должен, как водится, ответить, что будет судить о новом взгляде в меру своего понимания; либо же он должен обратиться к более знающим людям, у которых учился. Медицина существует на свете немало лет. И вот, говорят, появился некто, именуемый Парацельсом [562], который меняет и переворачивает вверх дном все установленные старые медицинские представления и утверждает, что до сих пор медицина только и делала, что морила людей. Я полагаю, что ему нетрудно будет доказать это; но считаю, что было бы не слишком благоразумно, если бы я рискнул своей жизнью ради подтверждения его новых опытов

Не всякому верь — говорит пословица,— ибо всякий может сказать все, что ему вздумается.

Один из таких новаторов и реформаторов в области физики недавно рассказывал мне, что все древние авторы явно ошибались в вопросе о

* Так вместе с ходом времени меняется значение вещей: что раньше было в цене, то вовсе перестает быть в почете; следом появляется другая вещь, которую до этого презирали, теперь она с каждым днем становится все более для всех желанной, ее все более прославляют и люди окружают ее особым уважением [561] (*лат.*).

природе ветров и их движения; он брался неопровержимо доказать мне это, если я захочу его выслушать. Набравшись немного терпения и выслушав его доводы, звучавшие очень правдоподобно, я сказал ему: «А как же те, кто плавал по законам Феофраста? Неужели они двигались на запад, когда направлялись на восток? Как они плыли — вперед или назад?» — «Случай им помогал,— ответил он мне;— но они безусловно ошибались». Я сказал ему, что в таком случае предпочитаю лучше полагаться на наш опыт, чем на наш разум. Однако эти две вещи нередко противоречат друг другу; мне говорили, что в геометрии (которая, по мнению геометров, достигла более высокой степени достоверности по сравнению с другими науками) имеются несомненные доказательства, опровергающие истинность опыта. Так, будучи у меня, Жак Пелетье рассказывал мне, что он открыл две линии, которые непрерывно приближаются друг к другу, но тем не менее никогда, до бесконечности, не могут встретиться [563]. Или взять пирронистов, которые пользуются своими аргументами и своим разумом только для опровержения истинности опыта: поразительно, до какой логической изворотливости они дошли в своем стремлении опровергнуть очевидные факты! Так, с не меньшей убедительностью, чем мы доказываем самые несомненные вещи, они доказывают, что мы не двигаемся, не говорим, что нет ни тяжелого, ни теплого. Великий ученый Птолемей [564] установил границы нашего мира; все древние философы полагали, что знают размеры его, если не считать нескольких отдаленных островов, которые могли остаться им неизвестными. Поставить под сомнение науку космографии и те взгляды, которые были в ней общеприняты, значило бы тысячу лет тому назад записаться в пирронисты. Считалось ересью признавать существование антиподов [565]; а между тем в наше время открыт огромный континент, не какой-нибудь остров или отдельная страна, а часть света, почти равная по своим размерам той, что нам известна. Современные географы не перестают уверять, будто в настоящее время все открыто и все обследовано:

Nam quod adest praesto, placet, et pollere videtur *.

Если Птолемей в свое время ошибся в расчетах, внушенных ему разумом, то не глупо ли было бы с моей стороны в настоящее время верить тому, что утверждают нынешние ученые? И не правдоподобнее ли, что то огромное тело, которое мы называем миром, совсем не таково, каким мы его считаем?

Платон считал, что мир меняет свой облик во всех смыслах [567], что небо, звезды и солнце по временам меняют свой путь, видимый нами, и движутся не с востока на запад, а наоборот. Египетские жрецы говорили Геродоту [568], что за одиннадцать с лишним тысяч лет, протекших со времени их первого царя (при этом они показали ему статуи всех своих царей, высеченные с них при жизни), солнце меняло свой путь четыре раза;

* Ибо то, что у нас под рукой, нравится нам и наделяется нами достоинствами [566] (*лат.*).

они утверждали, что море и суша попеременно менялись местами и что неизвестно, когда возник мир; так же думали Аристотель и Цицерон. Иные из христианских авторов считают [569], что мир существует от века, что он погибал и возрождался через известные промежутки времени; они ссылаются при этом на Соломона и Исаию, желая опровергнуть доводы тех, кто доказывал, будто бог некоторое время был творцом без творения и пребывал в праздности, но затем, отрекшись от своего бездействия, приступил к творению и что он, следовательно, способен меняться. Приверженцы самой знаменитой из греческих философских школ [570] считали, что мир — это бог, созданный другим, высшим богом и состоящий из тела и души, которая расположена в центре этого тела и посредством гармонических сочетаний распространяется на периферию; что он божественный, всеблаженный, превеликий, премудрый и вечный. В мире существуют и другие боги — суша, море, звезды,— которые общаются друг с другом путем гармонического и непрерывного движения и божественного танца, то встречаясь, то удаляясь друг от друга, то скрываясь, то показываясь, меняя строй, двигаясь то вперед, то назад. Гераклит считал [571], что мир создан из огня и по воле судеб должен в какой-то момент воспламениться и распасться, а потом возродиться. Апулей говорит о людях: Sigillatim mortales, cunctim perpetui *. Александр в письме к своей матери [573] передал рассказ одного египетского жреца, почерпнутый из египетских памятников; рассказ этот свидетельствовал о глубочайшей древности египтян и содержал правдивую историю возникновения и развития других стран. Цицерон и Диодор сообщают, что в их времена халдеи имели летописи, охватывавшие свыше четырехсот тысяч лет [574]; Аристотель, Плиний и другие утверждают, что Зороастр [575] жил за шесть тысяч лет до Платона. Платон сообщает [576], что жрецы города Саиса хранили летописи, охватывающие восемь тысячелетий, и что город Афины был основан на тысячу лет раньше названного города Саиса. Эпикур утверждал, что вещи, какими мы их видим вокруг нас, существуют совершенно в таком же виде и во множестве других миров. Он говорил бы это с еще большей уверенностью, если бы ему суждено было увидеть на самых странных примерах, какое сходство и какие совпадения существуют между недавно открытым миром Вест-Индии и нашим миром в его прошлом и настоящем.

Учитывая успехи, достигнутые нашей наукой в течение веков, я часто поражался, видя, что у народов, отделенных друг от друга огромными расстояниями и веками, существует множество одинаковых и широко распространенных чудовищных воззрений, диких нравов и верований, которые никак не вытекают из нашего природного разума. Поистине человеческий ум — большой мастер творить чудеса, но в этом сходстве есть нечто еще более поразительное; оно проявляется даже в совпадении имен, отдельных событий и в тысяче других вещей. Действительно существовали народы [577], ничего о нас, насколько нам известно, не знавшие, у которых

---

* Каждый человек в отдельности смертен, но в своей совокупности люди вечны [572] (*лат.*).

широко распространено было обрезание; существовали целые цивилизации и государства, где управление находилось в руках женщин, а не мужчин; были народы, соблюдавшие такие же, как у нас, посты и правила, ограничивавшие сношения с женщинами; были и такие, которые различным образом поклонялись кресту; в одних местах кресты ставили на могилах, в других — крестами пользовались (например, крестом святого Андрея [578]) для защиты от ночных призраков и при родах, чтобы охранить новорожденного от колдовских чар; а еще в одном месте, в глубине материка, нашли высокий деревянный крест, которому поклонялись как богу дождя. Встречались здесь также точные подобия наших духовников, ношение жрецами митр и соблюдение ими безбрачия, гадание по внутренностям жертвенных животных, воздержание от употребления в пищу мяса и рыбы; обнаружены были народы, у которых во время богослужения жрецы пользовались особым, а не народным языком, а также такие, у которых распространено было странное верование, будто первый бог был изгнан вторым, его младшим братом. Некоторые народы верили, что при своем сотворении они были наделены всеми качествами, но потом, из-за своей греховности, были лишены целого ряда своих первоначальных способностей, вынуждены были покинуть прежнее местопребывание, и их природные свойства ухудшились. Были найдены народы, полагавшие, что когда-то они были затоплены водами, хлынувшими из хлябей небесных, что от этого потопа спаслось только немного людей, укрывшихся в высоких горных ущельях, которые они загородили так, чтобы вода не могла проникнуть туда, и взявших с собой в эти ущелья животных разных пород; когда они заметили, что ливень прекратился, они выпустили собак, которые вернулись обратно чистыми и мокрыми, на основании чего они сделали вывод, что уровень воды еще недостаточно снизился; некоторое время спустя они выпустили других животных, и когда те вернулись, покрытые грязью, то люди решили выйти из своих укрытий и вновь населить мир, в котором они нашли одних только змей. В некоторых местах народы верили в наступление Судного дня и были чрезвычайно возмущены, когда испанцы, при раскопке могил в поисках сокровищ, разбрасывали кости умерших; они убеждены были, что этим мертвым костям не легко будет вновь соединиться. Они знали только меновую торговлю; для этой цели устраивались ярмарки и рынки. Карлики и уроды служили развлечением на княжеских пирах; у них был принят обычай соколиной охоты, сообразуясь с природой этих птиц; с покоренных племен деспотически взималась дань; они выращивали самые изысканные плоды; распространены были танцы, прыжки плясунов, музыкальные инструменты; приняты были гербы, игра в мяч, игра в кости и в метание жребия, причем они часто приходили в такой азарт, что проигрывали себя и свою свободу; вся врачебная наука сводилась к заклинаниям; писали не буквами, а изображениями; верили в существование первого человека, являвшегося отцом всех народов; поклонялись богу, который некогда был человеком и жил в совершенном целомудрии, посте и покаянии, проповедуя закон природы и выполнение религиозных обрядов, а потом исчез из мира, не умер-

ши естественной смертью; верили в гигантов; любили напиваться допьяна крепкими напитками, а иной раз пить в меру; в качестве религиозных украшений им служили разрисованные кости и черепа покойников; существовали духовные облачения, святая вода и кропила; жены охотно выражали желание взойти на костер и быть похороненными вместе с умершими мужьями, а равно и слуги со своим покойным господином; существовал закон, согласно которому все имущество наследовал старший сын, а младшему не выделялось никакой доли, причем он обязан был повиноваться старшему; был обычай, согласно которому тот, кто назначался на какую-либо высокую должность, принимал новое имя и отказывался от прежнего; существовал обычай посыпать колени новорожденного известью, приговаривая при этом: «Из праха ты родился и в прах превратишься»; существовало искусство гадания по полету птиц. Эти примеры слабого подражания нашей религии свидетельствуют о ее достоинстве и божественности. Христианская религия не только сумела вызвать подражания и распространиться среди язычников Старого Света, но и по какому-то как бы сверхъестественному наитию передаться варварам Нового Света. Действительно, у них можно было встретить веру в чистилище, хотя и в другой форме; то, что мы приписываем огню, они приписывают холоду и воображают, что души очищаются и наказываются действием сильного холода. Этот пример расхождения в мнениях напоминает мне о другом, весьма забавном случае такого же расхождения: наряду с найденными в Новом Свете народами, которые стремятся освободить кончик мужского детородного органа, совершая, подобно евреям и магометанам, обрезание крайней плоти, были обнаружены другие народы, которые, напротив, стараются всячески скрыть его и для этой цели тщательно завязывают тонкими тесемочками крайнюю плоть, чтобы только она как-нибудь не выглянула наружу. Различие обычаев наблюдается еще в следующем: в отличие от нашего обычая наряжаться на празднествах и при чествованиях государей в самые лучшие одежды, в некоторых краях подданные, желая показать владыке дистанцию, отделяющую их от него, и свою покорность, предстают пред ним в самых скверных одеждах и, входя во дворец, надевают поверх своего хорошего платья какое-нибудь другое, поношенное и изорванное, желая подчеркнуть, что весь блеск и вся роскошь принадлежат только властелину.

Но вернемся к прерванной нити изложения.

Если природа в своем непрерывном движении ограничивает определенными сроками, как и все другие вещи, также взгляды и суждения людей, если они также только известное время бывают в ходу и имеют, подобно овощам, свой сезон, свои сроки рождения и смерти, если на них влияют небесные светила, направляющие их по своей воле, то какое постоянное и неизменное значение можем мы им приписывать? Мы знаем по опыту, что на нас оказывает влияние воздух, климат, почва того места, где мы родились; причем они влияют не только на цвет нашей кожи, на наш рост, телосложение и осанку, но и на наши душевные качества: et plaga caeli non solum ad robur corporum, sed etiam animorum facit, — говорит Веге-

ций *: как рассказывали египетские жрецы Солону, богиня — основательница города Афин выбрала для закладки его место с таким климатом, который делает людей мудрыми: Athenis tenue caelum, ex quo etiam acutiores putantur Attici; crassum Thebis, itaque pingues Thebani et valentes **. Таким образом, подобно тому как плоды и животные бывают неодинаковыми от рождения, точно так же и люди, в зависимости от климата того места, где они живут, бывают либо менее воинственными, либо более, либо менее справедливыми, либо более, либо менее умеренными и послушными; в одном месте они склонны к вину, в другом — к воровству и распутству; в одних краях — к свободе, в других — к рабству; в одних местностях они бывают способны к наукам и искусствам; бывают невежественны или изобретательны; покорны или мятежны; добры или злы. Люди меняют свой нрав, если их переселить в другое место, совершенно так же, как и деревья; вот почему Кир не хотел разрешить персам покинуть свою суровую, гористую страну и переселиться в равнину с мягким климатом, ссылаясь на то, что тучные нивы делают людей изнеженными, а плодородная земля делает умы бесплодными [581]. Если мы видим, что под влиянием какого-то действия небесных светил процветает то одно искусство, то другое; или что каждый век порождает определенных людей и наделяет их определенными склонностями; что люди бывают то способными, то бесплодными, как бывают поля,— во что в таком случае превращаются все те прекрасные преимущества, которыми мы якобы обладаем? Поскольку ошибаться может и один умный человек, и сто умных людей, и целые народы, иначе говоря, поскольку, по нашему мнению, человеческий род в течение многих веков ошибается в том или ином вопросе,— какая может быть у нас уверенность, что он когда-нибудь перестанет ошибаться и что именно в этом веке он не ошибается?

Мне кажется, что среди показателей нашей слабости нельзя забывать и того, что даже при всем желании человек не умеет определить, что ему нужно. Мы не в состоянии прийти к соглашению, даже в нашем воображении и в наших пожеланиях, относительно того, что нам необходимо для нашего удовлетворения. Если даже предоставить нашему уму полную свободу выбирать что ему угодно, он и тогда не сможет пожелать того, что действительно нужно для его удовлетворения:

quid enim ratione timemus
Aut cupimus? quid tam dextro pede concipis, ut te
Conatus non poeniteat votique peracti? ***

Вот почему Сократ просил богов дать ему только то, что они сами считают полезным для него [583]. И точно так же лакедемоняне в своих

* Климат придает силу не только нашему телу, но и духу [579] (*лат.*).

** В Афинах воздух легкий и чистый — вот почему, как полагают, афиняне так сообразительны; в Фивах же воздух тяжелый — вот почему фиванцы тупы, но выносливы [580] (*лат.*).

*** Чего мы разумно боимся или хотим? Что когда-либо так удачно замыслили, чтобы после, когда желание исполнилось, нам не приходилось жалеть [582]? (*лат.*).

общественных и домашних молитвах просили богов лишь о том, чтобы те даровали им все прекрасное и благое, а выбор и определение того, что является для них действительно прекрасным и благим, предоставляли самим богам [584]:

> Coniugium petimus partumque uxoris; at illi
> Notum qui pueri qualisque futura sit uxor *.

И христианин также молит бога: «да будет воля твоя», страшась того, как бы его не постигла беда, в которую, по уверению поэтов, впал царь Мидас [586]. Он просил у богов, чтобы все, к чему бы он ни прикасался, превращалось в золото. Его молитва была услышана: и вот его хлеб, его вино, его рубашка, его одежды, все, все вплоть до перьев в его подушке превратилось в золото. Он был подавлен исполнением своего желания, получив в дар несносное богатство, и ему пришлось взять свои слова обратно:

> Attonitus novitate mali, divesque miserque,
> Effugere optat opes, et quae modo voverat, odit **.

Скажу о себе самом: в молодости я молил судьбу больше всего о том, чтобы мне был пожалован орден святого Михаила, ибо он считался тогда у французской знати высшим и весьма редким знаком почета. Судьба забавно удовлетворила мою просьбу: вместо того чтобы поднять и возвысить меня до него, она поступила со мной необычайно милостиво, снизив его и опустив до уровня моих плеч и даже ниже.

Клеобис и Битон просили у своей богини, а Трофоний и Агамед у своего бога [588], достойной награды за их благочестие: боги послали им смерть; вот до чего мнения небожителей о том, что нам нужно, отличны от наших!

Когда бог дарует нам богатство, почести, жизнь и даже здоровье, то это иной раз бывает нам во вред; ибо не всегда то, что нам приятно, благотворно для нас. Если вместо исполнения бог посылает нам смерть или усиление наших страданий — Virga tua et baculus tuus ipsa me consolata sunt ***,— то в этом обнаруживается его премудрость, которая знает гораздо лучше нас, что нам нужно; мы же должны принимать это за благо, ибо оно исходит от существа всеведущего и весьма к нам благосклонного:

> si consilium vis,
> Permittes ipsis expendere numinibus, quid
> Conveniat nobis, rebusque sit utile nostris:
> Carior est illis homo quam sibi ****.

---

* Мы стремимся к браку и хотим иметь потомство от жены, но богу известно, каковы будут эти дети и какова будет эта жена [585] (*лат.*).

** Пораженный этой нежданной бедой и богатый и бедный одновременно, он жаждет бежать от своих сокровищ и ненавидит то, чего алкал [587] (*лат.*).

*** Твой жезл и твой посох — они успокаивают [589] (*лат.*).

**** Если хочешь совета, предоставь самим богам выбрать, что подобает тебе и пойдет тебе на пользу: человек дороже богам, чем сам себе [590] (*лат.*).

Действительно, просить у богов почестей или высоких постов — значит молить их бросить тебя в бой или заставить тебя ввязаться в игру в кости или в какое-нибудь другое рискованное предприятие, исход которого неизвестен и результаты сомнительны.

Философы ни о чем не спорят так страстно и так ожесточенно, как по поводу того, в чем состоит высшее благо человека; по подсчетам Варрона, существовало двести восемьдесят восемь школ, занимавшихся этим вопросом [591].

Qui autem de summo bono dissentit, de tota philosophiae ratione dissentit *.

Tres mihi convivae prope dissentire videntur,
Poscentes vario multum diversa palato:
Quid dem? quid non dem? Renuis tu quod iubet alter;
Quod petis, id sane est invisum acidumque duobus **.

Так должна была бы ответить природа философам по поводу их споров.

Одни говорят, что наше высшее благо состоит в добродетели; другие — что в наслаждении; третьи — в следовании природе; кто находит его в науке, кто в отсутствии страданий, а кто в том, чтобы не поддаваться видимостям; к этому последнему мнению как будто примыкает следующее правило древнего Пифагора:

Nil admirari prope res una, Numici,
Solaque quae possit facere et servare beatum ***,

являющееся целью школы пирронистов. Аристотель считает проявлением величия души способность ничему не удивляться [595]. Аркесилай утверждал [596], что благом является стойкость и невозмутимость, объявляя уступчивость и податливость злом и пороком. Правда, выдвигая это положение в качестве бесспорной аксиомы, он отходил от пирронизма, ибо когда пирронисты заявляют, что высшее благо — это атараксия, то есть невозмутимость духа, то они не утверждают этого в положительном смысле; но та самая склонность, которая заставляет их избегать опасностей и укрываться в надежное место, побуждает их принять эту точку зрения и отвергнуть другие.

Как бы я хотел, чтобы кто-нибудь, например Юст Липсий — самый ученый человек нашего времени, обладающий остро отточенным умом,

---

* Кто поднимает вопрос о высшем благе, тот перебирает все философские учения [592] (*лат.*).

** Мне кажется, я вижу трех гостей, которые все расходятся во вкусах и каждый требует разных блюд. Что же мне им дать? Чего не дать? То, чего ты не желаешь, просит другой, а то, что требуешь ты, совсем уж противно и ненавистно двум другим [593] (*лат.*).

*** Ничему не удивляться, Нумиций,— вот почти единственное средство сделать себя счастливым и остаться таким [594] (*лат.*).

поистине родственным моему Турнебу[597], или кто-нибудь другой, еще при жизни моей обнаружил желание (имея при этом достаточно сил и времени) свести воедино и со всей доступной нам тщательностью составить перечень взглядов всех древних философов по вопросу о нашем благе и нашем поведении, распределив этих авторов по школам и направлениям, к которым они принадлежали; описал бы нам их споры, распространенность этих школ и судьбы каждой из них; наконец, показал бы, как основатели школ и их последователи применяли свои правила на практике, на примере наиболее замечательных, памятных случаев из жизни! Какая это была бы прекрасная и полезная книга!

А пока что, поскольку мы сами устанавливаем правила нашего поведения, мы обречены на чудовищный хаос. Действительно, правило, которое наш разум рекомендует нам, как наиболее в этом отношении надежное и правдоподобное, состоит в том, что каждый должен повиноваться законам своей страны; таково было воззрение Сократа, внушенное ему, по его словам, свыше. Но что это значит, как не то, что мы должны руководствоваться случайным правилом? Истина должна быть общепризнанной и повсюду одинаковой. Если бы человек способен был познать подлинную сущность справедливости и правосудия, он не связывал бы их с обычаями той или иной страны: истина не зависела бы от того, как представляют ее себе персы или индийцы. Ничто так не подвержено постоянным изменениям, как законы. На протяжении моей жизни наши соседи англичане три или четыре раза меняли не только свою политику, которая считается наиболее неустойчивой областью, но и свои убеждения в самом важном деле — в вопросе о религии[598]. Мне это тем более досадно и стыдно, что англичане — народ, с которым мои земляки некогда состояли в столь тесном родстве, что в моем доме еще и по сей день имеется немало следов этого старого родства.

И у нас во Франции я замечал, что некоторые проступки, которые раньше карались смертью, некоторое время спустя объявлялись законными; и мы, которые обвиняем в этом других, можем сами, в зависимости от случайностей войны, оказаться в один прекрасный день виновными в оскорблении человеческого и божеского величия, поскольку наша справедливость по прошествии немногих лет превратится в свою противоположность, оказавшись несправедливостью.

Мог ли древний бог[599] яснее обличить людей в незнании бога и лучше преподать им, что религия есть не что иное, как их собственное измышление, необходимое для поддержания человеческого общества, чем заявив — как он это сделал — тем, кто искал наставления у его треножника, что истинной религией для каждого является та, которая охраняется обычаем той страны, где он родился? О господи! Как мы должны благодарить милостивого нашего создателя за то, что он освободил нашу религию от случайных и произвольных верований и основал ее на нерушимом фундаменте его святого слова[600]!

Действительно, что может преподать нам в этом случае философия? Следовать законам своей страны, иначе говоря — довериться волную-

щемуся морю мнений каждого народа или государя, которые будут рисовать мне справедливость каждый по-своему и придавать ей разные обличия, в зависимости от того, как будут меняться их страсти? Такая изменчивость суждений не по мне. Что это за благо, которое я вчера видел в почете, но которое завтра уже не будет пользоваться им и которое переезд через какую-нибудь речку превращает в преступление? Что́ это за истина, которую ограничивают какие-нибудь горы и которая становится ложью для людей по ту сторону этих гор[601]?

Но смешно, когда философы, желая придать законам какую-то достоверность, утверждают, что существуют некоторые незыблемые и постоянные, неизменные законы нравственности, которые они именуют естественными и которые в силу самой их сущности заложены в человеческом роде. Одни уверяют, что таких естественных законов три, другие — что четыре; кто считает, что их больше, а кто — меньше. Эти разногласия подтверждают только, что указанная разновидность законов столь же сомнительна, как и все остальные. Эти жалкие законы (ибо как назвать их иначе, если из бесконечного множества законов нет ни одного, который по милости судьбы или по случайно выпавшему жребию был бы повсеместно принят с общего согласия всех народов?) столь ничтожны, что даже из этих трех или четырех избранных законов нет ни одного, которого не отвергли бы не то, что один какой-нибудь, а многие народы. Между тем всеобщее признание — это единственный показатель достоверности, который можно было бы привести в подтверждение некоторых естественных законов: ибо мы, несомненно, все беспрекословно следовали бы тому, что действительно было бы установлено природой. И не только целый народ, но и каждый отдельный человек воспринял бы как насилие или принуждение, если бы кто-нибудь захотел толкнуть его на действия, противоречащие этому закону. Но пусть мне покажут воочию какой-нибудь закон, удовлетворяющий этому условию. Протагор и Аристон считали, что справедливость законов покоится единственно на авторитете и мнении законодателя, вследствие чего если отнять этот признак, то благое и почтенное потеряют свои качества и станут пустыми названиями безразличных вещей. Фрасимах[602] у Платона заявляет, что нет другого права, кроме интереса сильнейшего. Нет большей пестроты и различий, чем в области обычаев и законов. Какая-нибудь вещь, которая в одном месте считается гнусной и предосудительной, в другом одобряется, например умение воровать в Лакедемоне. У нас под страхом смерти запрещаются браки между близкими родственниками, в других же местах они, наоборот, в почете:

gentes esse feruntur
In quibus et nato genetrix, et nata parenti
Iungitur, et pietas geminato crescit amore *.

---

* Говорят, что есть народы, у которых дочь сочетается с отцом, а мать с сыном, и что почтение к родителям возрастает у них вместе с удвоенной любовью[603] (*лат.*).

Убийство детей, убийство родителей, общность жен, торговля краденым, всякого рода распутство — нет такого чудовищного обычая, который не был бы принят у какого-нибудь народа.

Весьма вероятно, что естественные законы существуют, как они имеются у некоторых других созданий; однако у нас они утрачены по милости этого замечательного человеческого разума, который во все вмешивается и повсюду хочет распоряжаться и приказывать, но вследствие нашей суетности и непостоянства лишь затемняет облик вещей: Nihil itaque amplius nostrum est: quod nostrum dico, artis est *.

Вещи выглядят по-разному и могут восприниматься с различных точек зрения: отсюда главным образом и проистекает различие в мнениях. Один народ смотрит на какую-нибудь вещь с одной точки зрения и устанавливает себе о ней такое-то мнение, другой смотрит на нее иначе.

Нельзя представить себе ничего более ужасного, чем пожирание трупа собственного отца; и однако те народы, которые придерживались в древности этого обычая, видели в нем свидетельство благочестия и сыновней любви, ибо они считали, что таким путем обеспечивают своим родителям наиболее достойное и почетное погребение. Ведь, пожирая останки своих отцов, они как бы хоронили их в самой сокровенной глубине своего тела и до какой-то степени оживляли и воскрешали своих отцов, превращая их путем пищеварения и питания в свою живую плоть. Нетрудно представить себе, каким жестоким и отвратительным показался бы людям, проникнутым этим суеверием, обычай предавать останки своих родителей земле, где трупы гниют и служат пищей животным и червям.

Ликург считал [605], что для того, чтобы украсть какую-нибудь вещь у своего соседа, нужно проявить сметливость, проворство, смелость и ловкость; с другой стороны, он полагал, что для общества будет полезно, если каждый будет тщательно охранять свое добро; поэтому он решил, что воспитание обоих этих качеств — умения нападать и умения защищаться — принесет богатые плоды при обучении военному делу (являвшемуся главной наукой и добродетелью, которые он хотел привить своему народу) и что это возместит тот ущерб и ту несправедливость, которые вызываются присвоением чужой вещи.

Тиран Дионисий [606] захотел подарить Платону сшитое по персидскому образцу, длинное, пестро окрашенное одеяние, пропитанное благовониями, но Платон отказался принять его, говоря, что, будучи мужчиной, он не хочет одеваться в женское платье. Аристипп же принял этот подарок, заявив, что никакой наряд не в состоянии затмить неподдельное мужество. Друзья Аристиппа упрекали его в трусости за то, что, когда Дионисий плюнул ему в лицо, он очень легко отнесся к этому. «Ведь терпят же рыбаки,— ответил он им,— и допускают, чтобы морские волны окатывали их с головы до ног, ради того, чтобы выловить какого-нибудь пескаря». Однажды, когда Диоген мыл для себя зелень к обеду, он уви-

---

* Итак, не остается ничего нашего, и то, что я называю нашим, есть не что иное, как ухищрение [604] (*лат.*).

дел проходящего мимо Аристиппа и сказал ему: «Если бы ты умел довольствоваться зеленью, то не пресмыкался бы перед тираном», на что Аристипп ему ответил: «А если бы ты умел водиться с людьми, тебе не приходилось бы мыть себе зелень»[607]. Вот как разум оправдывает самые различные действия! Это — котелок с двумя ручками, который можно ухватить и с одной и с другой стороны:

Bellum, o terra hospita, portas;
Bello armantur equi, bellum haec armenta minantur.
Sed tamen iidem olim curru succedere sueti
Quadrupedes, et frena iugo concordia ferre;
Spes est pacis *.

Солона уговаривали не проливать слез по поводу смерти его сына, ибо они бесполезны и бессильны помочь горю; на что он ответил: «Потому-то я и проливаю их, что они бесполезны и бессильны»[609]. Жена Сократа растравляла свою скорбь, восклицая: «О, как несправедливо эти злые судьи приговорили тебя к смерти!» — «А ты предпочла бы, чтобы они осудили меня заслуженно?»,— ответил ей на это Сократ[610]. У нас прокалывают себе ушные мочки; греки же считали это признаком рабства. Мы таимся во время сношений с женщинами; индийцы же делают это открыто. Скифы приносили в жертву чужестранцев в своих храмах; в других же местах, наоборот, храмы служили местом убежища.

Inde furor vulgi quod numina vicinorum
Odit uterque locus, cum solos credat habendos
Esse deos, quos ipse colit **.

Мне рассказывали об одном судье, что когда он наталкивался на какой-нибудь вопрос, являвшийся предметом ожесточенных споров между Бартоло и Бальдом[612], или на какой-нибудь вопрос, по которому существует несколько различных мнений, то делал следующую пометку на полях своей книги: «по-приятельски». Это значило, что истина так темна и спорна, что в подобном случае он мог решить дело в пользу любой из спорящих сторон. Он считал, что только из-за недостатка остроумия и учености он не во всех случаях мог сделать свою пометку: «по-приятельски». Современные адвокаты и судьи во всех спорных случаях находят достаточно уверток, чтобы решить дело как им заблагорассудится. В такой запутанной науке, как юриспруденция, где сталкиваются столько авторитетов и столько мнений и где самый предмет исследования столь произволен, разнобой в суждениях совершенно неизбежен. Вот почему нет та-

* Гостеприимный край, ты несешь нам войну. Коней приучают к сражениям, и эти табуны сулят войну. Но ведь иной раз эти же самые животные влекут колесницы и ходят под одним ярмом. Будем же надеяться на мир[608] (*лат.*)

** Отсюда возникает вражда между народами, ибо повсюду ненавидят богов соседей и находят, что должны быть только те боги, которых почитают они сами[611] (*лат.*).

кого судебного дела, которое было бы настолько ясно, что не вызывало бы разногласий. Одна судебная инстанция решает дело в одном смысле, другая — в прямо противоположном, а бывает и так, что одна и та же инстанция во второй раз принимает противоположное решение. Отсюда наблюдаемые нами повседневно примеры того произвола, когда один за другим выносятся разные приговоры и когда для решения одного и того же дела перебегают от одного судьи к другому. Все это сильно подрывает авторитет нашего правосудия и лишает его всякого блеска.

Что касается разброда философских мнений по вопросу о пороке и добродетели, то об этом нет нужды распространяться, ибо есть среди них немало таких взглядов, что лучше о них промолчать, чем делать их достоянием неискушенных умов. Аркесилай утверждал, что в делах сладострастия неважно, что именно и как делается: Et obscoenas voluptates, si natura requirit, non genere, aut loco, aut ordine, sed forma, aetate, figura metiendas Epicurus putat *.

Ne amores quidem sanctos a sapiente alienos esse arbitrantur **.— Quaeramus ad quam usque aetatem iuvenes amandi sint ***. Приведенные два положения стоиков и упрек, брошенный по этому поводу Дикеархом самому Платону, показывают, сколько вольностей и излишеств, идущих в разрез с общепринятым обычаем, допускает самая здравая философия.

Законы приобретают тем большую силу, чем они древнее и дольше применяются. Опасно их ограничивать первоначальным их назначением. Они подобны рекам, которые становятся более мощными и величественными по мере своего движения вперед; если пройти вверх по течению до истоков, то можно убедиться, что вначале это едва заметный ручеек, который по мере своего роста набирается сил и становится полноводной рекой. Приглядитесь, каковы были первоначальные воззрения, положившие начало этому могучему потоку мнений, которые ныне внушают почтение и ужас; тогда вы убедитесь, что они были весьма шаткими и легковесными, и вы не удивитесь тому, что люди, которые все взвешивают и оценивают разумом, ничего не принимая на веру и не полагаясь на авторитет, придерживаются суждений, весьма далеких от общепринятых. Неудивительно, что взгляды людей, которые берут себе за образец природу, в большинстве случаев весьма уклоняются от общепризнанных; так, например, лишь очень немногие из них одобрили бы строгость нашего брака, а большинство из них разрешало общность жен и свободу от всяких ограничений. Они отвергали также наши приличия: так, Хрисипп утверждал, что за десяток маслин философ готов десять раз перекувырнуться перед зрителями, даже без штанов [616]. Он вряд ли посоветовал бы Клисфену отказаться выдать свою дочь, прекрасную Агаристу, за Гиппоклида,

* Эпикур полагает, что о запретных видах наслаждения, когда природа их требует, следует судить не по месту, полу и способу, а по возрасту, степени красоты и сложению возлюбленного [613] (*лат.*).

** Они [стоики] считают, что чистые способы любви не возбраняются мудрецу [614] (*лат.*).

*** Рассмотрим, до какого возраста отроков можно их любить [615] (*лат.*).

увидев однажды, как тот, вскочив на стол, встал на голову и растопырил в воздухе ноги [617].

Метрокл [618] однажды во время спора нечаянно выпустил газы в присутствии своих учеников. Он спрятался со стыда и не выходил из дому, пока его не навестил Кратет, который стал приводить ему в утешение разные доводы и наконец, желая показать ему пример своей полнейшей непринужденности, принялся наперебой с ним выпускать ветры. Ему удалось таким образом не только рассеять сомнения Метрокла, но и склонить его к стоическому учению, более свободному в вопросе о нравах, чем перипатетическое, которое Метрокл разделял раньше и которое больше придерживалось правил вежливости.

То, что мы называем непристойностью, а именно вещи, которые мы не решаемся делать явно, а делаем тайно, люди раньше называли глупостью, считая пороком замалчивать и как бы осуждать то, чего от нас требуют природа, обычай и наши желания. Им казалось, что лишить таинства Венеры их священного убежища в ее храме и выставить их перед толпой, значило унизить их; что показать ее игры без занавеса значило осквернить их. Ведь всякая стыдливость, по их мнению, есть вещь относительная, и решение вопроса о том, следует ли такие вещи скрывать, утаивать и обходить молчанием, зависит от точки зрения. Они считали, что отличным примером этого может служить сладострастие под маской добродетели, которому выгоднее, чтобы его не выставляли напоказ толпе на улицах и площадях, подвергая публичному позору, а предлагали ему ютиться в укромных уголках. Вот почему некоторые утверждают, что уничтожить публичные дома значит не только повсеместно распространить разврат, который до этого сосредоточен был в определенных местах, но что это еще значит способствовать разжиганию у мужчин влечения к пороку с помощью создания на их пути препон:

Moechus es Aufidiae, qui vir, Scaevine, fuisti;
Rivalis fuerat qui tuus, ille vir est.
Cur aliena placet tibi, quae tua non placet uxor?
Numquid securus non potes arrigere? *

Тысячи примеров подтверждают это:

Nullus in urbe fuit tota qui tangere vellet
Uxorem gratis, Caeciliane, tuam,
Dum licuit; sed nunc, positis custodibus, ingens
Turba fututorum est: ingeniosus homo es **.

* Ныне ты, Сцевин, стал возлюбленным Авфидии,— ты, который был ее мужем, меж тем как она стала женой твоего соперника. Почему она нравится тебе, став женой другого, и не нравилась тебе, когда была твоей? Не потому ли, что ты теряешь мужскую силу, когда тебе нечего опасаться [619] (*лат.*).

** Не было во всем городе никого, кто польстился на твою жену, Цецилиан, пока она гуляла на свободе. Но с тех пор, как ты приставил к ней стражу, толпы охотников осаждают ее. Ах, ты, умная голова [620] (*лат.*).

Одного философа, который был застигнут в момент любовного акта, спросили, что он делает. «Порождаю человека»,— ответил он весьма хладнокровно, нисколько не покраснев, как если бы его застали за посадкой чеснока [621].

Я полагаю, что великий писатель-богослов [622] одушевлен был весьма трогательными и почтенными чувствами, когда считал, что этот акт обязательно должен совершаться стыдливо и втайне и что разнузданные объятия циников не могут удовлетворить эту потребность до конца; он полагал, что циники выставляли напоказ свои сладострастные движения лишь для того, чтобы подтвердить, что их школа не признает стыда, но что в действительности они удовлетворяли свою потребность в уединении.

Наш мыслитель, однако, недостаточно оценивал степень распутства циников. Ибо, например, Диоген, открыто предававшийся мастурбации, выражал перед присутствующими свою полную готовность, с помощью растирания живота, также удовлетворить и другую свою потребность [623]. А тем, кто его спрашивал, неужели он не может найти, чтобы поесть, более подходящего места, чем людная улица, он отвечал: «Я на улице почувствовал голод, потому и ем на улице» [624]. Женщины-философы, принадлежавшие к цинической школе, открыто, без стыда, отдавались философам; Гиппархия [625] была принята в кружок Кратета только с условием, что она во всем будет подчиняться его правилам. Эти философы выше всего ценили добродетель и отказывались признавать все другие дисциплины, кроме морали; вот почему они приписывали высший авторитет во всех делах выбранному ими мудрецу, который считался стоящим выше законов. Они не ставили сладострастию никаких иных границ, кроме умеренности и соблюдения свободы другого.

На основании того, что вино кажется горьким больному и приятным здоровому, что весло кажется изогнутым в воде и прямым, когда оно вынуто из воды, и тому подобных видимых противоречий Гераклит и Протагор доказывали, что все вещи заключают в себе причины таких явлений; по их мнению, в вине содержится некая горечь, которая проявляется в ощущении больного, в весле — некое качество изогнутости, которое открывается тому, кто рассматривает его в воде, и так далее [626]. Но это означает, что всё находится во всем, а следовательно, ничто — ни в чем; ибо ничто не может быть там, где есть всё.

Это мнение напоминает мне то, в чем мы постоянно убеждаемся на опыте, а именно: что нет такого смысла и значения — прямого или косвенного, приятного или неприятного,— которых наш ум не обнаружил бы в читаемых нами произведениях. Сколько ошибок и заблуждений рождается из самого точного, ясного и совершенного слова! Какая только ересь ни находила в нем достаточных оснований для своего возникновения и распространения! Вот почему виновники таких заблуждений ни за что не желают отказаться от этого способа доказательства, покоящегося на истолковании слов. Один почтенный человек, всецело погруженный в поиски философского камня, недавно хотел доказать мне законность этого занятия, ссылаясь на авторитет Библии; он привел мне пять или шесть

мест из Библии, на которые он, по его словам, прежде всего опирался, чтобы успокоить свою совесть (ибо он был лицом духовного звания); и действительно, это не была просто смешная выдумка: приведенные им места были поистине весьма пригодны для защиты этой пресловутой науки.

Путем подобного же истолкования слов получают распространение разные пророческие вымыслы. Ведь всякого прорицателя, который пользуется таким влиянием, что к нему часто обращаются и старательно истолковывают все оттенки его слов и выражений, можно заставить говорить все, что угодно, как это и делают с сивиллами [627]. Ведь имеется такое множество способов толкования, что изобретательный ум всякими правдами и неправдами обязательно найдет в любом изречении тот смысл, который ему на руку.

Вот почему туманная и двусмысленная манера выражаться издавна приобрела широкое распространение. Пусть только автор сумеет привлечь к себе внимание потомства и заинтересовать его (что́ зависит не только от его дарования, но часто, или даже еще чаще, от интереса, вызываемого данным предметом), пусть он даже по простоте своей или из хитрости выражается несколько темно и двусмысленно — не беда! Найдется ряд истолкователей, которые, перелагая и переиначивая его сочинения, припишут ему множество воззрений — либо соответствующих, либо подобных, либо противоречащих его собственным,— которые окружат его имя почетом. Он обогатится за счет своих учеников, подобно учителям в день ярмарки Сен-Дени [628].

По этой причине стали ценить некоторые пустяковые вещи, приобрели популярность разные писания и во многие произведения стали вкладывать самое разнообразное содержание — кому какое вздумается,— вследствие чего одна и та же вещь приобрела тысячу смыслов и сколько угодно самых различных значений и толкований. Возможно ли, чтобы Гомер хотел сказать все то, что ему приписывают, чтобы он придерживался всех тех разноречивых воззрений, какие вычитывают у него богословы, законодатели, полководцы, философы, люди самых различных профессий, причастных к самым различным областям знания и человеческой деятельности? Все они на него опираются и ссылаются на него! Он мастер на все руки, вдохновитель всех творений, всех создателей! Он главный советник во всех начинаниях! Всякий, кому нужны были оракулы и предсказания, находил у него все, что ему было нужно. Один ученый человек из числа моих друзей нашел у Гомера столько поразительных совпадений и превосходных мест, говорящих в пользу нашей религии, что ему нелегко было отказаться от мысли, будто именно таково было намерение Гомера (тем более что Гомер был ему столь же близок, как и человек нашего времени). Беда только в том, что те доводы, которые, по его мнению, были свидетельством в пользу нашей религии, многими древними исследователями считались свидетельством в пользу их религий.

А посмотрите, что только выделывают с Платоном! Так как всякий почитает за честь иметь его на своей стороне, то и истолковывает его в желательном для себя смысле. Платону приписывают и у него находят

все новейшие взгляды, какие только существуют на свете, и, если потребуется, его противопоставляют ему же самому. Его заставляют отвергать нравы, принятые в его время, если только они неприемлемы в наши дни. Все эти истолкования тем убедительнее и ярче, чем изощреннее и острее ум толкователя.

Из того самого основания, из которого исходил Гераклит, утверждая, что каждая вещь содержит в себе все те свойства, какие в ней обнаруживают, Демокрит делал противоположное заключение, говоря, что вещи не содержат в себе ничего из того, что мы в них обнаруживаем; а из того факта, что мед сладок для одного и горек для другого, он делал вывод, что мед не сладок и не горек [629]. Пирронисты сказали бы, что они не знают, сладок ли мед или горек, или — что он ни то, ни другое, или — что он и то, и другое; ибо они всегда и во всем стоят на позициях крайнего сомнения.

Киренаики считали, что нельзя ничего познать извне и что мы можем познать только то, что постигается нами путем внутреннего ощущения, как, например, боль или наслаждение; по их мнению, мы не познаём ни звука, ни цвета, а лишь известные, вызываемые ими ощущения, которые и служат единственным основанием для нашего суждения. Протагор считал, что для каждого истинно то, что ему кажется. Эпикурейцы полагали, что всякое суждение покоится на чувствах, на них покоится познание вещей и они же составляют основу наслаждения. Платон же утверждал, что как суждение об истине, так и сама истина, в отличие от мнений и чувств, принадлежат уму и мышлению.

Это приводит меня к рассмотрению вопроса о роли чувств, которые составляют главное основание и доказательство нашего неведения. Все, что познается, без сомнения познается благодаря способности познающего; ибо поскольку суждение получается в результате действия того, кто судит, то естественно, что он производит это действие своими средствами и по своей воле, а не по принуждению, как это происходило бы в том случае, если бы мы познавали вещи принудительно и согласно закону их сущности. Всякое познание пролагает себе путь в нас через чувства — они наши господа [630]:

via qua munita fidei
Proxima fert humanum in pectus templaque mentis *.

Знание начинается с них и ими же завершается. В конце концов мы знали бы не больше, чем какой-нибудь камень, если бы мы не знали, что существуют звук, запах, свет, вкус, мера, вес, мягкость, твердость, шероховатость, цвет, гладкость, ширина и глубина. Такова основа, таков принцип всего здания нашей науки. По мнению некоторых философов, знание есть не что иное, как чувство [632]. Тот, кто смог бы меня заставить пойти наперекор чувствам, взял бы меня за горло, и я не мог бы сде-

---

* Это ближайший путь, по которому убеждение проникает в сердце и сознание человека [631] (*лат.*).

лать больше ни шагу. Чувства являются началом и венцом человеческого познания.

Invenies primis ab sensibus esse creatam
Notitiam veri, neque sensus posse refelli...
Quid maiore fide porro quam sensus haberi
Debet? *

Какую бы скромную роль ни отводить чувствам, необходимо признать, что все наше обучение происходит через них и при помощи их. Цицерон сообщает[634], что Хрисипп, пытаясь умалить роль чувств и их значение, приводил самому себе столь сокрушительные возражения, что сам не в состоянии был их опровергнуть. Карнеад, придерживавшийся противоположной точки зрения, похвалялся тем, что он побивает Хрисиппа его же оружием и пользуется для его опровержения его собственными словами; по этому поводу он воскликнул: «О, несчастный, твоя собственная сила погубила тебя!»[635] Нет большей нелепости, с нашей точки зрения, чем утверждать, что огонь не греет, что свет не светит, что в железе нет ни тяжести, ни прочности; все это понятия, которые нам доставляются нашими чувствами, и никакое человеческое знание или представление не может сравниться с этим по своей достоверности.

Первое имеющееся у меня возражение по поводу чувств состоит в том, что я сомневаюсь, чтобы человек наделен был всеми естественными чувствами. Я вижу, что многие животные живут полной и совершенной жизнью, одни без зрения, другие без слуха. Кто знает, не лишены ли мы одного, двух, трех или даже многих чувств? Ибо, если у нас не хватает какого-либо чувства, наш разум не в состоянии заметить этот недостаток. Чувства обладают тем преимуществом, что являются крайней границей нашего знания, и за их пределами нет ничего, что бы помогло нам открыть их. Нельзя даже открыть с помощью одного из чувств другое:

An poterunt oculos aures reprehendere, an aures
Tactus, an hunc porro tactum sapor arguet oris,
An confutabunt nares oculive revincent? **

Все они являются крайней границей наших способностей:

seorsum cuique potestas
Divisa est, sua vis cuique est ***.

* Ты сейчас убедишься, что познание истины порождается в нас чувствами, и их показания нельзя опровергнуть... Что может возбуждать в нас большее доверие, чем чувства[633]? (*лат.*).

** Окажется ли в состоянии слух исправить показания зрения или осязание — показания слуха? Сможет ли вкус уличить осязание в ошибке? Смогут ли зрение и осязание опровергнуть его[636]? (*лат.*).

*** Всякому чувству дана своя область и своя сила[637] (*лат.*).

Невозможно объяснить слепорожденному, что он не видит; невозможно заставить его желать видеть и жалеть о своем недостатке. Вот почему то обстоятельство, что наша душа довольствуется и удовлетворяется теми чувствами, которые у нас есть, ничего не доказывает; ибо она не в состоянии ощутить свою собственную болезнь и свое несовершенство, если они даже имеются. Невозможно привести слепорожденному какое-либо доказательство, довод или сравнение, которое вызвало бы в его воображении какое-то представление о том, что такое свет, цвет или зрение. Нет ничего стоящего за чувствами, что в состоянии было бы сделать чувства очевидными. Если слепорожденный выражает желание видеть, то не потому, что он действительно понимает, чего он хочет; он только слышал от нас, что он должен желать чего-то такого, чем мы обладаем, такого, что по своему действию, а также по своим последствиям люди называют благом,— но что же это такое, он все же не знает и не имеет об этом ни малейшего представления.

Я знал одного дворянина почтенного происхождения, слепорожденного или во всяком случае ослепшего в таком возрасте, когда он не знал, что такое зрение. Он до такой степени не понимал, чего ему недоставало, что применял, как и мы, слова, относящиеся к зрению, но только в особенном, свойственном лишь ему одному смысле. Однажды к нему подвели мальчика, которому он приходился крестным; обняв ребенка, он сказал: «Боже, какой прелестный мальчик! Приятно посмотреть на него! Какое у него очаровательное личико!» Так же как и мы, он сказал бы: «Этот зал прекрасно выглядит», «Погода ясная», «Солнечно». Более того, узнав о таких наших развлечениях, как охота, игра в мяч, стрельба в цель, он пристрастился к ним, стал ими заниматься и считал, что принимает в них такое же участие, как и мы; он гордился этим, находил в этом удовольствие, хотя обо всех этих играх знал только понаслышке. Когда он выезжал на открытое и просторное место, где мог пришпорить коня, ему кричали: «Вот заяц», а через некоторое время сообщали, что заяц пойман, и тогда он бывал так же горд своей добычей, как — согласно тому, что ему рассказывали,— это бывает с настоящими охотниками. При игре в мяч он брал его левой рукой и ударял по нему ракеткой; он стрелял наудачу из ружья и бывал доволен, когда его люди сообщали ему, что он попал выше мишени или рядом с ней.

Кто знает, не совершает ли человеческий род подобную же глупость? Может быть, из-за отсутствия какого-нибудь чувства сущность вещей большей частью скрыта от нас? Кто знает, не проистекают ли отсюда те трудности, на которые мы наталкиваемся при исследовании многих творений природы? Не объясняются ли многие действия животных, превосходящие наши возможности, тем, что они обладают каким-то чувством, которого у нас нет? Не живут ли некоторые из них, благодаря этому, более полной и более совершенной жизнью, чем мы? Мы воспринимаем яблоко почти всеми нашими чувствами: мы находим в нем красноту, гладкость, аромат и сладость; но оно может, кроме того, иметь и другие еще свойства, как, например, способность сохнуть или сморщиваться, для вос-

приятия которых мы не имеем соответствующих чувств. Наблюдая качества, которые мы называем во многих веществах скрытыми, — как, например, свойство магнита притягивать железо, — нельзя ли считать вероятным, что в природе имеются чувства, которые способны судить о них и воспринимать их, и что, из-за отсутствия этих способностей у нас, мы не в состоянии познать истинную сущность таких вещей? Какое-то особое чувство подсказывает петухам, что наступило утро или полночь, что и заставляет их петь; какое-то чувство учит кур, еще не имеющих никакого опыта, бояться ястреба; какое-то особое чувство предупреждает цыплят о враждебности к ним кошек, но не собак, и заставляет их настораживаться при вкрадчивых звуках мяуканья, но не бояться громкого и сварливого собачьего лая; оно учит ос, муравьев и крыс выбирать всегда самый лучший сыр и самую спелую грушу, еще не отведав их; учит оленя, слона и змею узнавать определенные, целительные для них травы. Нет такого чувства, которое не имело бы большой власти и не являлось бы средством для приобретения бесконечного количества познаний. Если бы мы не воспринимали звуков, гармонии, голоса, это внесло бы невообразимую путаницу во все остальные наши знания. Ведь, кроме непосредственных показаний каждого чувства, мы извлекаем множество сведений, выводов и заключений о других предметах путем сравнения свидетельств одного чувства со свидетельствами другого. Стоит только разумному человеку вообразить себе человеческую природу созданной первоначально без зрения и осознать, сколько тревог и смятений повлек бы за собой такой недостаток, в какой мрак погрузилась бы наша ослепленная душа, — и мы убедимся, какое важное значение для познания истины имело бы отсутствие у нас одного, двух или трех чувств. Мы установили какую-нибудь истину, опираясь и сообразуясь с нашими пятью чувствами, но может быть, для достоверного познания ее, самой ее сущности, нужно было бы получить согласие и содействие не пяти, а восьми или десяти чувств?

Философские школы, которые отрицают возможность человеческого знания, ссылаются главным образом на недостоверность и слабость наших чувств; ибо поскольку мы приобретаем все наши познания через чувства и благодаря их посредству, то если их показания, даваемые нам, ошибочны, если они искажают или изменяют то, что вносят в нас извне, если свет, излучаемый ими в нашу душу, затмевается при этом переходе, — тогда нам не на что опереться. Из этой трудности возникли все следующие призрачные представления: будто всякий предмет заключает в себе все то, что мы в нем находим; будто в нем нет ничего, что мы рассчитывали бы в нем найти; мнение эпикурейцев, будто солнце не больше размером, чем оно представляется нашему взору [638]:

Quidquid id est, nihilo fertur maiore figura
Quam nostris oculis quam cernimus, esse videtur;

и мнение, состоящее в том, что тело кажется нам больше, когда оно находится близко от нас, и меньше, когда оно далеко от нас, — и та и дру-

гая видимость одинаково истинны:

> Nec tamen hic oculis falli concedimus hilum...
> Proinde animi vitium hoc oculis adfingere noli *;

и, наконец, решительное заявление, что нет никакого обмана в показаниях чувств, что следует сдаться на их милость и искать в чем-то другом объяснения тех разногласий и противоречий, которые мы в них встречаем; они готовы прибегнуть к любой выдумке (они доходят даже до этого!), лишь бы не обвинить чувства в неверном изображении предметов. Тимагор[640] клялся, что, если даже он прищуривал глаз или смотрел искоса, ему никогда не удавалось увидеть двойного изображения свечи, и потому эта иллюзия происходит скорее от нашего неправильного мнения, чем от неправильности нашего органа зрения. По мнению эпикурейцев, нет большей нелепости, чем не признавать силу и значение чувств.

> Proinde quod in quoque est his visum tempore, verum est.
> Et, si non potuit ratio dissolvere causam,
> Cur ea quae fuerint iuxtim quadrata, procul sint
> Visa rotunda, tamen, praestat rationis egentem
> Reddere mendose causa utriusque figurae,
> Quam manibus manifesta suis emittere quoquam,
> Et violare fidem primam, et convellere tota
> Fundamenta quibus nixatur vita salusque.
> Non malo enim ratio ruat omnis, vita quoque ipsa
> Concidat extemplo, nisi credere sensibus ausis,
> Praecipitesque locos vitare, et cetera quae sint
> In genere hoc fugienda **.

Этот отчаянный и совсем не философского порядка совет свидетельствует лишь о том, что человеческое знание может поддерживаться безрассудными, несообразными и вымышленными объяснениями, но человеку все же лучше воспользоваться ими или любым другим средством, каким бы несуразным оно ни было, чем признаться в своей неизбежной слабости: чрезвычайно печальная истина! Человек не может уйти от того, что чувства являются верховными повелителями его знания; но они недостоверны, и показания их могут при всяких обстоятельствах оказаться ошибоч-

---

* Мы не допускаем, однако, чтобы глаза хоть слегка ошибались... Не будем поэтому винить их в том, в чем повинен разум[639] (*лат.*).

** Поэтому показания чувств всегда верны. Если же разум не способен разобраться в том, почему предметы, имеющие вблизи квадратную форму, издали кажутся круглыми, то лучше, за отсутствием истинного объяснения, дать ошибочное истолкование и того и другого явления, чем пренебрегать очевидностью и, подорвав основное доверие к чувствам, низвергнуть то, на чем держится вся наша жизнь и наше благополучие. Ибо, если мы, не полагаясь на чувства, не будем обходить пропасти и другие подобного рода опасности, которых нам следует избегать, тогда рушится не только всякий разум, но и вся жизнь тотчас же поставлена будет под угрозу[641] (*лат.*).

ными. Вот тут-то и надо бороться не на жизнь, а на смерть, и, если истинных сил нам не хватает, как это часто случается, надо пустить в ход упрямство, дерзость, бесстыдство.

Если правы эпикурейцы, утверждающие, что не существует знания, если чувства лгут, и если правы стоики, утверждающие, что чувства настолько ложны, что не могут дать нам никакого знания, то отсюда следует, в соответствии с положениями обеих великих догматических школ, что нет знания.

Что касается ошибочности и недостоверности показаний чувств, то это настолько обычное явление, что всякий может представить сколько угодно примеров ошибок и обманов, в которые они нас вводят. Когда, находясь в долине, мы слышим отраженный звук трубы, то нам кажется, что он раздается не сзади, а впереди.

Exstantesque procul medio de gurgite montes,
...idem ...apparent longe diversi licet...
Et fugere ad puppim colles campique videntur
Quos agimus propter navim...
...ubi in medio nobis equus acer obhaesit
Flumine, equi corpus transversum ferre videtur
Vis, et in adversum flumen contrudere raptim *.

Если на пулю аркебузы наложить указательный палец, наложив одновременно, поверх него, еще средний, то нам потребуется сделать усилие, чтобы признать, что налицо только одна пуля,— до такой степени нам будет казаться, что это не одна, а две пули. Действительно, на каждом шагу мы можем видеть, что чувства нередко господствуют над рассудком и заставляют его воспринимать такие впечатления, которые он считает ложными, и знает, что они таковы. Я оставляю в стороне чувство осязания, которое сообщает нам свои весьма важные и непосредственные свидетельства и которое посредством боли, причиняемой нашему телу, так часто переворачивает вверх дном прекрасные наставления стоиков и заставляет истошным голосом вопить того, кто в душе решительно придерживается правила, что колика, как и всякая другая болезнь или страдание, для мудреца ничего не значит и ничего не может изменить в том высшем блаженстве, в котором он пребывает благодаря своей добродетели. Нет души столь равнодушной, которая не пришла бы в возбуждение при звуках наших барабанов и труб, а равно и столь суровой, которую не растрогали бы нежные звуки музыки. Нет души столь черствой, которая не ощутила бы некоторого благоговения при виде наших огромных и мрачных соборов, на которую не подействовали бы пышные церковные украшения и обряды,

* Горы, высящиеся над морем, издали кажутся слившимися воедино, хотя и далеко отстоят друг от друга. Кажется, будто к корме убегают холмы и долины, мимо которых мы плывем, распустив паруса. Если лихой конь заупрямится под нами посередине реки, то будет казаться, будто стремительной силой тело коня влечется поперек и уносится против течения [642] (*лат.*).

благочестивый звук органа, стройная и выдержанная гармония хора. Даже тех, кто входит в храм с некоторым пренебрежением [643], пронизывает некий трепет, заставляющий их усомниться в своей правоте.

Что касается меня, то я недостаточно тверд, чтобы оставаться равнодушным, слушая стихи Горация или Катулла, когда их читает красивый голос и произносят прекрасные и юные уста.

Зенон был прав, говоря, что голос — это цвет красоты [644]. Меня уверяли, что один человек, хорошо известный во Франции, просто обольстил меня, читая мне стихи своего сочинения, что в действительности они на бумаге совсем не так хороши, как при чтении, и что мои глаза оценили бы их совсем иначе, чем мои уши, настолько произношение придает очарования тем произведениям, которые от него зависят. Нетрудно понять Филоксена [645], который, услышав, как некий чтец плохо читает одно из его произведений, разбил его горшки и стал топтать их ногами, приговаривая: «Я разбиваю то, что принадлежит тебе, подобно тому как ты портишь то, что принадлежит мне».

Если зрение не имеет никакого отношения к боли, то почему люди, твердо решившие покончить с собой, отворачивали голову, чтобы не видеть удара, который они готовились нанести себе? Или почему те, кто ради своего исцеления желают и требуют, чтобы их резали и делали им прижигания, не хотят видеть приготовлений к операции, инструментов и всего того, что делает хирург? Разве эти примеры не доказывают, какую власть над рассудком имеют чувства? Мы можем прекрасно знать, что эти локоны взяты у какого-нибудь пажа или лакея, эти румяна привезены из Испании, а белила и мази из-за Океана,— и все же это придает девушке такой вид, что, наперекор рассудку, она покажется нам милее и красивее. Рассудок здесь ни при чем.

Auferimur cultu; gemmis auroque teguntur
 Crimina: pars minima est ipsa puella sui.
Saepe, ubi sit quod ames inter tam multa requiras:
 Decipit hac oculos Aegide, dives amor *.

Поэты, рисующие нам Нарцисса, безумно влюбленного в свое отражение, показывают, какую власть имеют над нами чувства.

Cunctaque miratur, quibus est mirabilis ipse;
Se cupit imprudens; et qui probat, ipse probatur;
Dumque petit, petitur; pariterque accendit et ardet **.

---

* Украшения соблазняют нас: золото и драгоценности прикрывают пороки. Сама девушка — лишь ничтожнейшая часть того, что в ней нравится. Среди такого множества украшений часто нужно искать, где же то, что ты любишь. Пышно наряженная любовь ослепляет здесь глаз своей сияющей эгидой [646] (*лат.*).

** Он восхищается всем тем, чем сам восхитителен; безумный, алчет самого себя; восхваляет самого себя и, умоляя, умоляет себя же; так разжигает он пламя, в котором сам же сгорает [647] (*лат.*).

А у Пигмалиона при виде сделанной им самим статуи из слоновой кости так помутился рассудок, что он влюбился в нее и стал поклоняться ей, словно живой!

> Oscula dat reddique putat, loquiturque tenetque,
> Et credit tactis digitos insidere membris;
> Et metuit pressos veniat ne livor in artus *.

Если посадить какого-нибудь философа в клетку с решеткой из мелких петель и подвесить ее к верхушке башни собора Парижской богоматери, то, хотя он ясно будет видеть, что ему не грозит опасность из нее выпасть, он не сможет не содрогнуться при виде этой огромной высоты (если только он не кровельщик). Действительно, нам приходится все время себя подбадривать, когда мы ходим по открытым галереям наших колоколен, хотя они сделаны из камня; но есть люди, для которых непереносима даже самая мысль о хождении по ним. Пусть перебросят между двумя башнями перекладину такой ширины, чтобы можно было свободно пройти по ней, — все же никакая философская мудрость не в состоянии будет внушить нам пройтись по ней с тем же спокойствием, как если бы эта перекладина лежала на земле. Я часто испытывал это, когда ходил по нашим здешним горам (а между тем я из тех людей, которые не особенно боятся подобных вещей), однако я не мог выносить вида пропасти, и у меня дрожали поджилки, хотя для того, чтобы очутиться на краю пропасти, мне нужно было бы растянуться во всю длину, и потому я мог бы свалиться в нее только в том случае, если бы намеренно подверг себя этой опасности. Я замечал также, что как бы значительна ни была глубина, но если на склоне виднеются дерево или выступ скалы, на которых может задержаться наше зрение и которые делят это пространство, то это доставляет нам облегчение и вселяет в нас некоторую уверенность, как если бы эти предметы могли нам помочь в случае нашего падения; но мы не можем смотреть без головокружения на крутые и ничем не разделенные пропасти: ut despici sine vertigine simul oculorum animique non possit **. Но ведь это — явный обман зрения. Поэтому великий философ выколол себе глаза, чтобы освободить душу от соблазна чувств и иметь возможность размышлять более свободно [650].

Но в таком случае он должен был бы также заткнуть себе уши,— ибо, по словам Теофраста, это наиболее опасный орган, которым мы воспринимаем самые сильные впечатления, способные смутить и потрясти нашу душу [651],— и в конце концов лишить себя всех остальных чувств, иными словами лишить себя жизни. Ибо все чувства обладают способностью повелевать нашим разумом и нашей душой: Fit etiam saepe specie quadam, saepe vocum gravitate et cantibus, ut pellantur animi vehementius;

* Он целует ее, и ему чудится, что она отвечает на его поцелуи; он приникает к ней и обнимает ее; ему представляется, что тело ее трепещет от прикосновения его пальцев, и, сжимая ее в объятиях, он страшится оставить синяки [648] (*лат.*).
** Так что нельзя смотреть вниз, не испытывая головокружения [649] (*лат.*).

saepe etiam cura et timore *. Врачи утверждают, что есть люди такого склада, которых определенные звуки и инструменты могут привести не только в возбуждение, но даже в ярость. Мне приходилось встречать людей, которые, услышав, как собака грызет кость под столом, настолько страдали от этого звука, что выходили из себя; не много таких людей, которых не раздражал бы резкий и пронзительный звук напильника, скоблящего железо; некоторые не выносят, когда рядом с ними кто-нибудь чавкает; другие приходят в бешенство и готовы возненавидеть человека, который гнусавит или хрипит. Для чего понадобился бы Гракху тот флейтист-аккомпаниатор, который придавал различные оттенки его голосу, то снижая, то усиливая его, когда Гракх произносил свои речи в Риме, если бы эти переходы из одного тона в другой не были способны трогать слушателей и влиять на их мысли [653]? Можно поистине гордиться прекрасной устойчивостью человеческого суждения, которое способно меняться в зависимости от колебаний звука голоса!

Чувства обманывают наш разум, но и он в свою очередь обманывает их. Наша душа иногда мстит чувствам; они постоянно лгут и обманывают друг друга. Будучи охвачены гневом, мы видим и слышим не совсем то, что есть в действительности:

Et solem geminum, et duplices se ostendere Thebas **.

Человек, которого мы любим, кажется нам прекраснее, чем он есть на самом деле:

Multimodis igitur pravas turpisque videmus
Esse in delitiis, summoque in honore vigere ***,

а тот, к которому мы питаем отвращение,— более безобразным. Человеку огорченному и подавленному ясный день кажется облачным и мрачным. Страсти не только изменяют наши чувства, но часто приводят их в состояние полного отупения. Сколько есть вещей, которых мы совершенно не замечаем, когда ум наш занят чем-то другим!

In rebus quoque opertis noscere possis.
Si non advertas animum, proinde esse, quasi omni
Tempore semotum fuerint, longeque remotum ****.

Кажется, будто душа уходит в себя и отвлекает к себе все чувства. Таким образом, человек и снаружи и изнутри полон лжи и слабости.

---

* Часто случается, что какой-нибудь образ, голос или песня производят сильнейшее действие на умы; но нередко такое же действие производят заботы и страх [652] (*лат.*).

** Видит двойное солнце и удвоившиеся Фивы [654] (*лат.*).

*** Так, мы видим, что дурные собой и порочные женщины удерживают нашу любовь и живут, окруженные величайшим почетом [655] (*лат.*).

**** Даже на самых явных вещах ты можешь убедиться, что, если на них не обращать внимания, они кажутся принадлежащими к давнему прошлому и находящимися далеко от нас [656] (*лат.*).

Те, кто сравнивал нашу жизнь со сном[657], были более правы, чем им иногда казалось. Когда мы спим, наша душа живет, действует и проявляет все свои способности не в меньшей мере, чем когда она бодрствует. Правда, во сне она действует более вяло и смутно; однако разница между этими двумя состояниями не так велика, как между ночью и днем; она напоминает скорее разницу между ночью и сумерками: в первом случае она спит, во втором — дремлет более или менее крепко. Но и то и другое — потемки, киммерийские сумерки[658].

Мы бодрствуем во сне и спим, бодрствуя. Во сне я вижу все не очень ясно; но и когда я просыпаюсь, то не нахожу, чтобы все было достаточно ясно и безоблачно. Сон бывает так глубок, что мы иногда не видим даже снов; но наша явь никогда не бывает настолько полной, чтобы до конца рассеять фантазии, которые можно назвать снами бодрствующих и даже чем-то худшим, чем сны.

Так как наш разум и наша душа воспринимают те мысли и представления, которые возникают у человека во сне, и так же одобряют поступки, совершаемые нами во сне, как и те, что мы совершаем наяву, то почему бы нам не предположить, что наше мышление и наши поступки являются своего рода сновидениями и наше бодрствование есть лишь особый вид сна?

Если чувства — это наши высшие судьи, то следует учесть показания не только наших чувств; ибо животные имеют в этом отношении такие же права, как и мы, или даже бо́льшие. Не подлежит сомнению, что некоторые животные имеют более острый слух, чем человек; другие — зрение, третьи — обоняние, четвертые — осязание или вкус. Демокрит утверждал, что боги и животные обладают значительно более совершенными чувствами, чем люди[659]. Но показания чувств животных сильно расходятся с показаниями наших чувств. Например, наша слюна очищает и сушит наши раны, но убивает змей:

> Tantaque in his rebus distantia differitasque,
> Ut quod aliis cibus est, aliis fuat acre venenum.
> Saepe etenim serpens, hominis contacta saliva
> Disperit, ac sese mandendo conficit ipsa *.

Какое же свойство припишем мы слюне — благотворное, согласно опыту на людях, или зловредное, в соответствии с опытом на змеях? Каким из этих двух показаний проверим мы ее подлинную сущность, которую мы хотим установить? Плиний сообщает[661], что в Индии имеются морские зайцы, которые ядовиты для нас, как и мы в свою очередь для них, и что самое наше прикосновение для них смертельно. Возникает вопрос: кто же является действительно ядом — человек или рыба?

---

* Действие этих вещей весьма различно и разница между ними громадная; то, что одним служит пищей, для других — смертельный яд. Так, например, если слюна человека коснется змеи, она погибает, искусав самое себя[660] (*лат.*).

Кому следует верить — рыбе, считаясь с ее действием на человека, или человеку, считаясь с его действием на рыбу? Некое качество воздуха опасно для человека и совершенно не вредит быку; другое качество опасно для быка, но совершенно не вредит человеку. Какое же из этих двух качеств в действительности является вредоносным? Больным желтухой все вещи кажутся желтоватыми и более бледными, чем нам:

> Lurida praeterea fiunt quaecunque tuentur
> Arquati *.

Тем, кто страдает болезнью, которую врачи называют гипосфрагмой и которая представляет собой подкожное кровоизлияние[663], все вещи кажутся кроваво-красными. Встречаются ли эти жидкости[664], которые так искажают показания нашего зрения, и у животных и представляют ли они и для них обычное явление? Ведь видим же мы, что у одних животных глаза желтые, совсем как у наших больных желтухою, а у других — кроваво-красные; весьма вероятно, что цвет предметов кажется им иным, чем нам. Какое же из этих двух суждений будет истинным? Где сказано, что сущность вещей открыта именно человеку? Твердость, белизна, глубина, кислота — все эти качества имеют такое же отношение к животным, как и к нам, и так же им известны: природа дала им возможность пользоваться этими качествами так же, как и нам. Если мы надавим пальцем на веко, то все предметы покажутся нам продолговатыми и вытянутыми. У некоторых животных зрачок сужен таким образом: значит, возможно, что продолговатость, которую видят животные, и есть подлинная форма тела, а вовсе не та форма, которую придает предметам наш глаз, находясь в нормальном состоянии. Если мы надавим на нижнее веко, то предметы, находящиеся перед нами, станут двоиться:

> Bina lucernarum florentia lumina flammis,
> Et duplices hominum facies, et corpora bina **.

Если у нас заложены уши или закупорен слуховой проход, то мы воспринимаем звук иначе, чем обычно; следовательно, животные, у которых уши заросли шерстью или у которых вместо уха имеется лишь крохотное слуховое отверстие, слышат не то, что мы, и воспринимают звук иначе[666]. На празднествах и в театрах мы наблюдаем следующее: если поставить перед факелами стекла, окрашенные в определенный цвет, то все предметы в помещении будут казаться нам окрашенными в зеленый, желтый или фиолетовый цвет в зависимости от цвета стекол.

> Et vulgo faciunt id lutea russaque vela
> Et ferrugina, cum magnis intenta theatris
> Per malos volgata trabesque trementia pendent.

---

* На что ни посмотрит больной желтухою, все кажется ему желтоватым[662] (*лат.*).
** Станет двоиться пламя светильников, станут двоиться лица у людей и их тела[665] (*лат.*).

Namque ibi consessum caveai subter et omnem
Scenai speciem, patrum, matrumque deorum
Inficiunt coguntque suo volitare colore *.

Весьма возможно, что животные, у которых глаза иного цвета, чем у нас, видят предметы окрашенными в те же цвета, что и их глаза.

Таким образом, чтобы судить о роли чувств, надо было бы прежде всего добиться согласия между показаниями наших чувств и чувств животных, а затем также единогласия в показаниях чувств различных людей. Но в действительности этого нет, и мы постоянно затеваем споры о вещах, которые один человек слышит, видит или ощущает иначе, чем другой; мы спорим, как и о всякой другой вещи, по поводу различных показаний, которые дают нам чувства. Ребенок слышит, видит и осязает не так, как тридцатилетний человек, а тридцатилетний — не так, как шестидесятилетний; таков уж закон природы. У одних людей чувства более смутны и расплывчаты, у других — более ясны и остры. Мы по-разному воспринимаем вещи, в зависимости от того, каковы мы сами и какими вещи нам кажутся. Но так как то, что нам кажется, спорно и недостоверно, то неудивительно, что мы можем согласиться с тем, что снег нам кажется белым, но никак не можем поручиться за то, что именно такова его истинная сущность; а между тем если это основание рушится, то вместе с ним неизбежно терпит крушение и вся наука. Не вступают ли сами наши чувства в противоречие друг с другом? Так, картина представляется нам на вид выпуклой, на ощупь же она плоская; что сказать о том, приятен или неприятен мускус, который приятен для нашего обоняния, но неприятен на вкус? Некоторые травы и мази полезны для одной части тела, но вредны для другой; мед сладок на вкус, но неприятен на вид. Есть перстни, сделанные в виде перьев и известные под названием «перья без конца»; невозможно на глаз установить их ширину, ибо всем кажется, что они расширяются с одной стороны и сужаются с другой, даже если вертеть их вокруг пальца; но на ощупь они имеют одинаковую ширину во всей окружности.

Не наделяют ли наши чувства различными качествами предметы, которые имеют на деле всего лишь одно качество? Так, если взять хлеб, который мы едим, то это всего лишь хлеб; однако, будучи употреблен нами в пищу, он превращается в кости, кровь, мясо, волосы и ногти:

Ut cibus, in membra atque artus cum diditur omnis,
Disperit atque aliam naturam sufficit ex se **.

Вода, которая питает корни дерева, становится стволом, листьями и плодами. Воздух един, но он превращается в тысячу различных звуков,

* Часто над зрительным залом бывают натянуты желтые, розовые или коричневые полотнища. Когда полотнища эти, укрепленные на столбах и шестах, начинают колыхаться, они все заливают своей цветовой волной и бросают на все свой отблеск — на сцену, на одежды сенаторов, на женские наряды, на статуи богов [667] (*лат.*).

** Как пища, которая расходится по всем суставам и членам тела и, разложившись, образует совсем иную природу [668] (*лат.*).

если начать играть на трубе. Встает вопрос: придают ли наши чувства различные качества этим предметам или же они сами обладают ими? Как разрешить это сомнение? Что мы можем сказать о подлинной сущности вещей? Так как людям, находящимся в состоянии болезни, бреда или сна, вещи представляются иными, чем людям здоровым, рассудительным и бодрствующим, то нельзя ли допустить, что, будучи в нормальном состоянии, мы также наделяем вещи определенным бытием, соответствующим их качествам и вместе с тем сообразованным с нашим состоянием, подобно тому как мы это делаем, будучи больны? Нельзя ли допустить поэтому, что, будучи в здоровом состоянии, мы так же придаем вещам определенный вид, как и будучи в болезненном состоянии? Нельзя ли допустить, что человек сдержанный придает вещам такой вид, который соответствует его нраву, подобно тому как это делает человек несдержанный, накладывая на них отпечаток своего характера?

Так, пресыщенный находит вино безвкусным, испытывающий жажду чересчур сладким, а здоровый по-разному оценивает его аромат.

Так как мы приноравливаем вещи к себе и видоизменяем их, сообразуясь с собой, то мы в конце концов не знаем, каковы вещи в действительности, ибо до нас все доходит в измененном и искаженном нашими чувствами виде. Если неверны циркуль, наугольник и линейка, то все измерения, сделанные с их помощью, ошибочны, все сооружения, построенные на этих расчетах, неизбежно плохи. Недостоверность наших чувств делает недостоверным все, что они порождают:

Denique ut in fabrica, si prava est regula prima,
Normaque si fallax rectis regionibus exit,
Et libella si ex parte claudicat hilum,
Omnia mendose fieri atque obstipa necesse est,
Prava, cubantia, prona, supina, atque absona tecta,
Iam ruere ut quaedam videantur velle, ruantque
Prodita iudiciis fallacibus omnia primis.
Sic igitur ratio tibi rerum prava necesse est
Falsaque sit, falsis quaecumque a sensibus orta est *.

Кто же будет судьей при решении этих разногласий? Подобно тому как при религиозных спорах нужно иметь судью, не принадлежащего ни к одной из борющихся партий, свободного от всякой односторонности и пристрастия, что для христианина невозможно, точно так же обстоит дело и с нашими чувствами: ибо, если судья стар, он не может судить о чувствах старика, являясь одной из сторон в этом споре; то же самое, если

* Так, при постройке здания, если неверна линейка, фальшив наугольник, не дающий прямого угла, если хромает отвес и хотя бы чуть-чуть он неровен, все здание непременно получится криво и косо, все будет клониться и распадаться, точно готово вот-вот завалиться, и вся постройка действительно часто валится из-за ошибок, сделанных при начальном расчете. Точно так же и суждение твое о вещах окажется ложным и пустым, если оно исходит из заведомо ложного чувства [669] (*лат.*).

он молод, здоров или болен, если он спит или бодрствует. Нам нужен был бы судья, свободный от всех этих качеств, чтобы он без всякой предвзятости мог судить обо всех этих состояниях, совершенно ему безразличных; иными словами, нам нужен был бы судья, которого не существует.

Чтобы судить о представлениях, получаемых нами от вещей, нам нужно было бы обладать каким-то оценивающим инструментом; чтобы проверить этот инструмент, мы нуждаемся в доказательствах, а чтобы проверить доказательство, мы нуждаемся в инструменте: и вот мы оказываемся в порочном круге. Так как чувства не в состоянии разрешить наш спор, поскольку они сами совершенно недостоверны, его должно решить рациональное доказательство; но всякое рациональное доказательство нуждается в другом доказательстве — и мы, таким образом, обречены на непрерывное движение вспять. Наша мысль не проникает в окружающие нас предметы, но возникает через посредство чувств; чувства же со своей стороны познают не окружающие предметы, а лишь свои собственные впечатления; таким образом, мысль и представление исходят не из предмета, а из впечатлений и ощущений наших чувств; но впечатления и самый предмет — вещи различные; поэтому тот, кто судит по представлению, судит, отправляясь не от предмета, а от чего-то другого. Нельзя утверждать, что впечатления наших чувств раскрывают душе сущность окружающих нас предметов по сходству; ибо как могут душа и разум убедиться в этом сходстве, если они не имеют никакого общения с окружающими нас предметами? Так, например, тот, кто не знает лица Сократа, не может, увидев его портрет, сказать, похож ли он. Однако предположим, что кто-нибудь решил судить о вещах по представлениям о них; если он захочет отправляться от всех представлений, то это окажется невозможным, так как они противоречат друг другу и расходятся между собой, как мы убеждаемся в этом на опыте. Значит ли это, что некоторые избранные представления управляют всеми остальными? В таком случае этот отбор следовало бы проверить другим отбором, а этот другой — третьим, и так далее, а следовательно, наш отбор никогда не был бы закончен.

Итак, нет никакого неизменного бытия, и ни мы, ни окружающие нас предметы не обладают им. Мы сами, и наши суждения, и все смертные предметы непрерывно текут и движутся. Поэтому нельзя установить ничего достоверного ни в одном предмете на основании другого, поскольку и оценивающий, и то, что оценивается, находятся в непрерывном изменении и движении.

Мы не имеем никакого общения с бытием [670], так как человеческая природа всегда обретается посередине между рождением и смертью; мы имеем о себе лишь смутное и призрачное, как тень, представление и шаткое, недостоверное мнение. Если вы сосредоточите все усилия своей мысли на том, чтобы уловить бытие, это будет равносильно желанию удержать в пригоршне зачерпнутую воду; чем больше вы будете сжимать и задерживать то, что текуче по своей природе, тем скорее вы потеряете то,

что хотели удержать и зажать в кулаке. Так как все вещи претерпевают непрерывно одно изменение за другим, то наш разум, ищущий реального бытия, оказывается обманутым; он не может найти ничего постоянного и неизменного, ибо всякая вещь либо еще только возникает, но еще не существует, либо начинает умирать еще до своего рождения. Платон утверждал [671], что тела не имеют никакого бытия, но только рождаются; он опирался на Гомера, который сделал Океан отцом богов, а Фетиду — их матерью, желая показать нам, что все вещи находятся в непрерывном становлении и постоянно меняются. По его словам, это мнение разделялось всеми философами его времени, за исключением одного лишь Парменида, которого он высоко ценил и который утверждал, что вещи неподвижны. Пифагор заявлял, что всякая материя текуча и зыбка; стоики утверждали, что нет настоящего времени и что то, что мы называем настоящим, является лишь связью между прошедшим и будущим [672]. Гераклит говорил, что человек не может дважды войти в одну и ту же реку; Эпихарм [673] считал, что если кто-то когда-то занял деньги, то он не должен возвращать их в настоящее время, и что тот, кто был приглашен к обеду вчера, сегодня приходит уже не приглашенным, так как люди уже не те, они стали иными; он считал, что одна и та же смертная субстанция не может находиться дважды в том же состоянии; ибо, ввиду того что она быстро и неожиданно меняется, она то распадается, то воссоединяется, то появляется, то исчезает. Таким образом, то, что начинает рождаться, никогда не достигает совершенного бытия, ибо это рождение никогда не кончается и никогда не останавливается, так как оно не имеет конца; начиная с семени оно непрерывно изменяется и переходит из одного состояния в другое. Так, человеческое семя сперва превращается в утробе матери в бесформенный плод, потом становится ребенком, затем, выйдя из утробы матери, становится грудным младенцем, а позднее мальчиком, который последовательно становится юношей, взрослым человеком, потом пожилым человеком и наконец дряхлым старцем. Таким образом, время и непрерывное рождение постоянно разрушают и претворяют все предшествующее.

> Mutat enim mundi naturam totius aetas,
> Ex alioque alius status excipere omnia debet,
> Nec manet ulla sui similis res: omnia migrant,
> Omnia commutat natura et vertere cogit *.

А мы по глупости боимся какой-то смерти, хотя уже прошли и проходим через ряд смертей. Ибо не только, как говорил Гераклит, смерть огня есть рождение воздуха, а смерть воздуха есть рождение воды, но мы можем наблюдать это еще более наглядным образом на себе. Цветущий возраст умирает и проходит, когда наступает старость; юность об-

* Время меняет природу всего мироздания, все должно из одного состояния переходить в другое, ничто не остается незыблемым, все преходяще, природа все претворяет и все заставляет меняться [674] (*лат.*).

ретает конец в цветущем возрасте взрослого человека; детство умирает в юности, а младенчество — в детстве; вчерашний день умирает в сегодняшнем, а сегодняшний умрет в завтрашнем. Ничто не пребывает и не остается неизменным, ибо если бы мы оставались всегда одними и теми же, то как могло бы нас сегодня радовать одно, а завтра другое? Как могли бы мы любить противоположные вещи или ненавидеть их? Как могли бы мы их хвалить или порицать? Как можем мы иметь различные привязанности и не сохранять того же чувства, когда мысль остается той же? Ибо неправдоподобно, чтобы, оставаясь неизменными, мы стали испытывать другие страсти; ведь то, что претерпевает изменения, не пребывает в том же состоянии, а если оно изменилось, значит оно больше не существует. Но так как все бытие едино, то и просто бытие меняется, становясь все время другим. Следовательно, наши чувства обманываются и лгут, принимая то, что кажется, за то, что есть, так как они не знают, что есть Но в таком случае, что же действительно существует? То, что вечно, то есть то, что никогда не возникало и никогда не будет иметь конца, то, что не претерпевает никаких изменений во времени. Ибо время — вещь подвижная, которая появляется, подобно тени, вместе с вечно движущейся и текучей материей; оно никогда не остается неизменным и постоянным. Ко времени с полным основанием применяют слова: «раньше», «после», «было» или «будет», которые сразу наглядно показывают, что время не такая вещь, которая просто «есть»; ибо было бы большой глупостью и очевидной ложью утверждать, что есть то, чего еще не существует или что уже перестало существовать. Что же касается понятий «настоящее», «мгновение», «теперь», на которых, по-видимому, главным образом покоится понимание времени, то разум, открывая эти понятия, тут же и уничтожает их; ибо он непрерывно расщепляет и делит время на прошлое и будущее, как бы желая видеть его непременно разделенным надвое. То же самое, что со временем, происходит и с природой, которая измеряется временем; ибо в ней тоже нет ничего такого, что пребывает или существует, но все вещи в ней или рождены, или рождаются, или умирают. Поэтому было бы грехом по отношению к богу, который является единственно сущим, утверждать, что он был или будет, ибо эти понятия означают изменение, становление или конец того, что лишено устойчивости и неизменного бытия. На основании этого следует заключить, что только бог есть подлинно сущее и существует он не во времени, а в неизменной и неподвижной вечности, не измеряемой временем и не подверженной никаким переменам; что раньше бога ничего нет, как и после него ничего не будет, ничего более нового, ничего более юного; что он есть единственное истинно сущее, которое одним только «ныне» наполняет «во веки»; что, кроме него, нет ничего подлинно сущего и нельзя сказать: «он был» или «он будет», ибо он не имеет ни начала, ни конца.

К этому столь благочестивому выводу писателя-язычника [675] я хочу — в заключение моего затянувшегося и скучного рассуждения, которое можно было бы еще продолжить до бесконечности,— добавить еще следующее замечание другого писателя, тоже язычника: [676] «Какое презренное

и низменное существо человек,— говорит он,— если он не возвышается над человечеством!» Это хорошее изречение и полезное пожелание, но вместе с тем оно нелепо: ибо невозможно и бессмысленно желать, чтобы кулак был больше кисти руки, чтобы размах руки был больше ее самой или чтобы можно было шагнуть дальше, чем позволяет длина наших ног. Точно так же и человек не в состоянии подняться над собой и над человечеством, ибо он может видеть только своими глазами и постигать только своими способностями. Он может подняться только тогда, когда богу бывает угодно сверхъестественным образом протянуть ему руку помощи; и он поднимется, если откажется и отречется от своих собственных средств и предоставит поднять себя и возвысить небесным силам.

Только наша христианская вера, а не стоическая добродетель может домогаться этого божественного и чудесного превращения, только она может поднять нас над человеческой слабостью.



Глава XIII

О ТОМ, КАК НАДО СУДИТЬ О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА ПРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ

Когда мы судим о твердости, проявленной человеком пред лицом смерти, каковая есть несомненно наиболее значительное событие нашей жизни, необходимо принять во внимание, что люди с трудом способны поверить, будто они и впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чем нас в большей мере тешила бы обманчивая надежда; она непрестанно нашептывает нам: «Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит совсем не так уже безнадежно, как это представляется; и в конце концов господь явил немало других чудес». Происходит же это оттого, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение от того, что нас больше не будет, и что для нее вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете; к тому же наше извращенное зрение воспринимает окружающие нас вещи неправильно, и мы считаем их искаженными, тогда как в действительности оно само искажает их; в этом мы уподобляемся едущим по морю, которым кажется, будто горы, поля, города, земля и небо двигаются одновременно с ними:

Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt *.

* Мы покидаем гавань, и города и земли скрываются из виду [1] (*лат.*).

Видел ли кто когда-нибудь старых людей, которые не восхваляли бы доброе старое время, не поносили бы новые времена и не возлагали бы вину за свои невзгоды и горести на весь мир и людские нравы?

Iamque caput quassans, grandis suspirat arator,
Et cum tempora temporibus praesentia confert
Praeteritis, laudat fortunas saepe parentis,
Et crepat antiquum genus ut pietate repletum *.

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из-за этого наша смерть представляется нам событием большой важности; нам кажется, будто она не может пройти бесследно, без того чтобы ей не предшествовало торжественное решение небесных светил: tot circa unum caput tumultuantes deos **. И чем бо́льшую цену мы себе придаем, тем более значительной кажется нам наша смерть: «Как! Неужели она решится погубить столько знаний, неужели причинит столько ущерба, если на то не будет особого волеизъявления судеб? Неужели она с тою же легкостью способна похитить столь редкостную и образцовую душу, с какою она похищает душу обыденную и бесполезную? И эта жизнь, обеспечивающая столько других, жизнь, от которой зависит такое множество других жизней, которая дает пропитание стольким людям, которой принадлежит столько места, должна будет освободить это место совершенно так же, как та, что держится на тоненькой ниточке?»

Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем-то единственным, и в этом — смысл слов Цезаря, обращенных им к кормчему корабля, на котором он плыл, слов, еще более надменных, чем море, угрожавшее его жизни:

Italiam si, caelo auctore, recusas,
Me pete: sola tibi causa haec est iusta timoris,
Vectorem non nosse tuum; perrumpe procellas,
Tutela secure mei ***;

или, например, этих:

credit iam digna pericula Caesar
Fatis esse suis; tantusque evertere, dixit,
Me superis labor est, parva quem puppe sedentem
Tam magno petiere mari? ****,

* Старик-пахарь со вздохом качает головой и, сравнивая настоящее с прошлым, беспрестанно восхваляет благоденствие отцов, твердя о том, как велико было благочестие предков [2] (*лат.*).

** Столько богов, суетящихся вокруг одного человека [3] (*лат.*).

*** Если небо повелевает тебе покинуть берега Италии, повинуйся мне. Ты боишься только потому, что не знаешь, кого ты везешь; несись же сквозь бурю, твердо положившись на мою защиту [4] (*лат.*).

**** Цезарь счел тогда, что эти опасности достойны его судьбы. Видно, сказал он, всевышним необходимо приложить такое большое усилие, чтобы погубить меня, если они насылают весь огромный океан на утлое суденышко, на котором я нахожусь [5] (*лат.*).

а также нелепого официального утверждения, будто солнце на протяжении года, последовавшего за его смертью, носило на своем челе траур по нем:

Ille etiam extincto miseratus Caesare Romam,
Cum caput obscura nitidum ferrugine texit *,

и тысячи подобных вещей, которыми мир с такой поразительной легкостью позволяет себя обманывать, считая, что небеса заботятся о наших нуждах и что их бескрайние просторы откликаются на малейшие поступки: Non tanta caelo societas nobiscum est, ut nostro fato mortalis sit ille quoque siderum fulgor **.

Итак, нельзя признавать решимость и твердость в том, кто, кем бы он ни был, еще не вполне уверен, что пребывает в опасности; и даже если он умер, обнаружив эти высокие качества, но не отдавая себе отчета, что умирает, то и этого недостаточно для такого признания: большинству людей свойственно выказывать стойкость и на лице и в речах; ведь они пекутся о доброй славе, которою хотят насладиться, оставшись в живых. Мне доводилось наблюдать умирающих, и обыкновенно не преднамеренное желание, а обстоятельства определяли их поведение. Если мы вспомним даже о тех, кто лишил себя жизни в древности, то и тут следует различать, была ли их смерть мгновенною или длительною. Некий известный своею жестокостью император древнего Рима говорил о своих узниках, что хочет заставить их почувствовать смерть; и если кто-нибудь из них кончал с собой в тюрьме, этот император говаривал: «Такой-то ускользнул от меня»; он хотел растянуть для них смерть и, обрекая их на мучения, заставить ее почувствовать [8]:

Vidimus et toto quamvis in corpore caeso
Nil animae letale datum, moremque nefandae
Durum saevitiae pereuntis parcere morti ***.

И действительно, совсем не такое уж великое дело, пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве; совсем нетрудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла; это настолько нетрудно, что один из наиболее изнеженных людей, когда-либо живших на свете, Элагабал [10], среди прочих своих постыдных прихотей, возымел намерение покончить с собой — в случае если его принудят к этому обстоятельства — самым изысканным образом, так, чтобы не посрамить всей своей жизни. Он велел возвести роскошную башню, низ и фасад которой были облицованы деревом, изукрашенным

* Когда Цезарь угас, само солнце скорбело о Риме и, опечалившись, прикрыло свой сияющий лик зловещей темной повязкой [6] (*лат.*).

** Нет такой неразрывной связи между небом и нами, чтобы сияние небесных светил должно было померкнуть вместе с нами [7] (*лат.*).

*** Видели мы, что, хотя все его тело было истерзано, смертельный удар еще не нанесен, и что безмерно жестокий обычай продлевает его еле теплящуюся жизнь [9] (*лат.*).

драгоценными камнями и золотом, чтобы броситься с нее на землю; он заставил изготовить веревки из золотых нитей и алого шелка, чтобы удавиться; он велел выковать золотой меч, чтобы заколоться; он хранил в сосудах из топаза и изумруда различные яды, чтобы отравиться. Все это он держал наготове, чтобы выбрать по своему желанию один из названных способов самоубийства:

Impiger et fortis virtute coacta *.

И все же, что касается этого выдумщика, то изысканность всех перечисленных приготовлений побуждает предполагать, что если бы дошло до дела, и у него бы кишка оказалась тонка. Но, говоря даже о тех, кто, будучи более сильным, решился привести свой замысел в исполнение, нужно всякий раз, повторяю, принимать во внимание, был ли нанесенный ими удар таковым, что у них не было времени почувствовать его следствия; ибо еще неизвестно, сохраняли бы они твердость и упорство в столь роковом стремлении, если б видели, как медленно покидает их жизнь, если б телесные страдания сочетались в них со страданиями души, если б им представлялась возможность раскаяться.

Во время гражданских войн Цезаря Луций Домиций [12], будучи схвачен в Абруццах, принял яд, но тотчас же раскаялся в этом. И в наше время был такой случай, что некто, решив умереть, не смог поразить себя с первого раза насмерть, так как страстное желание жить, обуявшее его естество, сковывало ему руку; все же он нанес себе еще два-три удара, но так и не сумел превозмочь себя и нанести себе смертельную рану. Когда стало известно, что против Плавция Сильвана [13] затевается судебный процесс, Ургулания, его бабка, прислала ему кинжал; не найдя в себе сил заколоться, он велел своим людям вскрыть ему вену. В царствование Тиберия Альбуцилла [14], приняв решение умереть, ранила себя настолько легко, что доставила своим врагам удовольствие бросить ее в тюрьму и расправиться с ней по своему усмотрению. То же произошло и с полководцем Демосфеном [15] после его похода в Сицилию. Гай Фимбрия [16], нанеся себе слишком слабый удар, принудил своего слугу прикончить его. Напротив, Осторий [17], не имея возможности действовать собственной рукой, не пожелал воспользоваться рукой своего слуги для чего-либо иного, кроме как для того, чтобы тот крепко держал перед собой кинжал; бросившись с разбегу на его острие, Осторий пронзил себе горло. Это поистине такое яство, которое, если не обладаешь луженым горлом, нужно глотать не жуя; тем не менее император Адриан повелел своему врачу указать и очертить у него на груди то место возле соска, удар в которое был бы смертельным и куда надлежало метить тому, кому он поручит его убить. Вот почему, когда Цезаря спросили, какую смерть он находит наиболее легкой, он ответил, «Ту, которой меньше всего ожидаешь и которая наступает мгновенно» [18].

---

* ...ретивый и смелый по необходимости [11] (*лат.*).

Если сам Цезарь решился высказать такое суждение, то и мне не зазорно признаться, что я думаю так же.

«Мгновенная смерть,— говорит Плиний,— есть высшее счастье человеческой жизни» [19]. Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти; что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать,

Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo *.

Это та степень твердости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною, как она достигается теми, кто бросается в гущу опасностей, словно в море, зажмурив глаза.

Во всей жизни Сократа нет, по-моему, более славной страницы, чем те тридцать дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о приговоре, осуждавшем его на смерть, все это время сживаться с нею в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим, не выказывая при этом ни страха, ни душевного беспокойства и всем своим поведением и речами обнаруживая скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли.

Помпоний Аттик [21], тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призвал к себе своего тестя Агриппу и еще двух-трех друзей и сказал им: так как он понял, что лечение ему не поможет и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продлевает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому и другому; он просил их одобрить его решение и уж во всяком случае избавить себя от труда разубеждать его. Итак, он избрал для себя голодную смерть, но случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился: средство, которое он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратило ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованные столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми; ибо, несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение: он заявил, что поскольку так или иначе ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уже так далеко, он хочет освободить себя от труда начинать все сначала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, ради чего он вступил в это единоборство, он побуждал себя, подстегиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это не-

* Я не боюсь оказаться мертвым; меня страшит умирание [20] (*лат.*).

что гораздо большее, чем бесстрашие перед лицом смерти, это неудержимое желание изведать ее и насладиться ею досыта.

История философа Клеанфа [22] очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться десны; врачи посоветовали ему воздержаться от пищи; он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же, изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил тот порог, к которому успел уже так близко придвинуться.

Туллий Марцеллин [23], молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбой срок, хотя врачи и обещали если не скорое, то во всяком случае верное его исцеление. Он пригласил друзей, чтобы посовещаться с ними. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из малодушия они подали бы и себе самим; другие из лести советовали ему сделать то-то и то-то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стоик сказал ему следующее: «Не утруждай себя, Марцеллин, как если бы ты раздумывал над чем-либо стоящим. Жить — не такое уж великое дело; живут твои слуги, живут и дикие звери; великое дело — это умереть достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты одно и то же — ел, пил, спал, а потом снова ел; мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья, вынести которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть». Марцеллину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла, ибо слуги боялись быть замешанными в подобное дело. Этот философ, однако, дал им понять, что подозрения падают на домашних только тогда, когда существуют сомнения, была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счет сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его, ибо

Invitum qui servat idem facit occidenti *.

Он сказал, сверх того, Марцеллину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое-что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марцеллин был человеком великодушным и щедрым: он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от нее; не устремляться в объятия смерти, но предварительно познакомиться с нею. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть ее, он стал отказываться от пищи и на третий день, велев обмыть себя теплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил окру-

* Спасти человека против воли — все равно что совершить убийство [24] (*лат.*).

жающим. И действительно, пережившие такие замирания сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватывал сон и глубокий покой.

Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти.

Но желая, чтобы только Катон[25], и никто другой, явил миру образец несравненной доблести, его благодетельная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Она сделала это затем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло и чтобы пред лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным, вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его ваятели того времени: ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого.



Глава XIV

О ТОМ, ЧТО НАШ ДУХ ПРЕПЯТСТВУЕТ СЕБЕ САМОМУ

Забавно представить себе человеческий дух колеблющимся между двумя равными по силе желаниями. Он несомненно никогда не сможет принять решение, ибо склонность и выбор предполагают неравенство в оценке предметов. И если бы кому-нибудь пришло в голову поместить нас между бутылкой и окороком, когда мы в одинаковой мере хотим и есть и пить, у нас не было бы, конечно, иного выхода, как только умереть от голода и от жажды. Чтобы справиться с этой трудностью, стоики, когда их спрашивают, что же побуждает нашу душу производить выбор в тех случаях, когда два предмета в наших глазах равноценны, или отбирать из большого числа монет именно эту, а не другую, хотя все они одинаковы и нет ничего, что заставляло бы нас отдать ей предпочтение, отвечают, что движения души такого рода произвольны и беспорядочны и вызываются посторонним, мгновенным и случайным воздействием. На мой взгляд, следовало бы скорее сказать, что всякая вещь, с которой нам приходится иметь дело, неизменно отличается от подобной себе, сколь бы незначительным это различие ни было, и что при взгляде на нее или при прикосновении к ней мы ощущаем нечто такое, что соблазняет и привлекает нас, определяя наш выбор, даже если это и не осознано нами. Равным образом, если мы вообразим веревку, одинаково

крепкую на всем ее протяжении, то решительно невозможно представить себе, что она может порваться,— ибо где же, в таком случае, она окажется наименее крепкой? Порваться же целиком она также не может, ибо это противоречило бы всему наблюдаемому нами в природе. Если кто-нибудь добавит к этому еще теоремы, предлагаемые нам геометрией и неопровержимым образом доказывающие, что содержимое больше, нежели то, что содержит его, что центр равен окружности, что существуют две линии, которые, сближаясь друг с другом, все же никогда не смогут сойтись, а сверх того, еще философский камень, квадратуру круга и прочее, в чем причины и следствия столь же несовместимы,— он сможет извлечь, пожалуй, из всего этого кое-какие доводы в пользу смелого утверждения Плиния: solum certum nihil esse certi, et homine nihil miserius aut superius *.



Глава XV
О ТОМ, ЧТО ТРУДНОСТИ РАСПАЛЯЮТ НАШИ ЖЕЛАНИЯ

Нет ни одного положения, которому не противостояло бы противоречащее ему, говорит наиболее мудрая часть философов [1]. Недавно я вспомнил замечательные слова одного древнего мыслителя [2], которые он приводит, дабы подчеркнуть свое презрение к смерти: «Никакое благо не может доставить нам столько же удовольствия, как то, к потере которого мы приготовились». In aequo est dolor amissae rei, et timor amittendae **,— говорит тот же мыслитель, желая доказать, что наслаждение жизнью не может доставить нам истинной радости, если мы страшимся расстаться с нею. Мне кажется, что следовало бы сказать совершенно обратное, а именно: мы держимся за это благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его. Ведь вполне очевидно, что подобно тому как огонь, войдя в соприкосновение с холодом, становится ярче, так и наша воля, сталкиваясь с препятствиями, закаляется и оттачивается:

Si nunquam Danaen habuisset aënea turris,
Non esset Danae de Iove facta parens ***,

* Одно несомненно, что нет ничего несомненного, и что человек — самое жалкое и вместе с тем превосходящее всех существо [1] (*лат.*).

** Страшиться потерять какую-нибудь вещь — все равно что горевать о ее утрате [3] (*лат.*).

*** Если бы Даная не была заточена в медную башню, она не родила бы Юпитеру сына [4] (*лат.*).

и что нет, естественно, ничего столь противоположного нашему вкусу, как пресыщение удовольствиями, и ничего столь для него привлекательного, как то, что редко и малодоступно: omnium rerum voluptas ipso quo debet fugare periculo crescit *.

Galla, nega; satiatur amor, nisi gaudia torquent **.

Желая оградить супругов от охлаждения любовного пыла, Ликург повелел спартанцам посещать своих жен не иначе, как только тайком, и, найди их кто-нибудь вместе, это повлекло бы за собой такой же позор, как если бы то были люди, не связанные брачными узами [7]. Трудности в отыскании надежного места для встреч, опасность быть застигнутыми врасплох, страх перед ожидающим назавтра позором,

et languor, et silentium,
Et latere petitus imo spiritus ***,

это-то и создает острую приправу.

Сколько сладострастных забав порождается весьма скромными и пристойными рассуждениями о делах любви [9]. Сладострастие любит даже усиливать себя посредством боли; оно гораздо острее, когда обжигает и сдирает кожу. Куртизанка Флора рассказывала, что она никогда не спала с Помпеем без того, чтобы не оставить на его теле следов своих укусов [10]:

Quod petiere, premunt arcte, faciuntque dolorem
Corporis, et dentes inlidunt saepe labellis:
Et stimuli subsunt, qui instigant laedere id ipsum
Quodcumque est, rabies unde illae germina surgunt ****.

Так же обстоит дело и со всем другим: трудность придает вещам цену. Тот, кто живет в провинции Анкона, охотнее дает обет совершить паломничество к святому Иакову Компостельскому, а жители Галисии — к богоматери Лоретской [12]; в Льеже высоко ценят луккские целебные воды, а в Тоскане — целебные воды в Спа; в фехтовальной школе, находящейся в Риме, почти вовсе не увидишь жителей этого города, но зато там сколько угодно французов. И великий Катон, уподобляясь в этом всем нам, был пресыщен своею женою до полного отвращения к ней, пока она принадлежала ему, и начал жаждать ее, когда ею стал обладать другой [13].

---

* Всякое удовольствие усиливается от той самой опасности, которая может нас лишить его [5] (*лат.*).

** Галла, откажи мне: ведь если к радости не примешивается страдание, наступает пресыщение любовью [6] (*лат.*).

*** ...и томность, и молчание, и вздох из глубины души [8] (*лат.*).

**** Они неистово сжимают в объятиях предмет своих вожделений, и, причиняя телу боль, нередко впиваются зубами в губы; тайное жало заставляет их терзать то, чем и вызвано их неистовство [11] (*лат.*).

Я удалил с конского завода и отправил в табун старого жеребца, который, даже ощущая близ себя запах кобыл, оставался бессильным; доступность удовлетворения похоти вызвала в нем пресыщение своими кобылами. Совсем иначе обстоит дело с чужими, и при виде любой из них, появляющейся близ его пастбища, он разражается неистовым ржанием и загорается столь же бешеным пылом, как прежде.

Наши желания презирают и отвергают все находящееся в нашем распоряжении; они гонятся лишь за тем, чего нет:

Transvolat in medio posita, et fugientia captat *.

Запретить нам что-либо, значит придать ему в наших глазах заманчивость:

nisi tu servare puellam
Incipis, incipiet desinere esse mea **;

предоставить же его сразу, значит заронить в нас к нему презрение. И отсутствие, и обилие действуют на нас одинаково:

Tibi quod superest, mihi quod defit, dolet ***.

И желание, и обладание в равной мере тягостны нам. Целомудрие любовниц несносно; но чрезмерная доступность и уступчивость их, говоря по правде, еще несноснее. Это оттого, что досада и раздражение возникают из высокой оценки того, что вызывает наше желание, ибо она обостряет и распаляет любовь; однако обладание вдосталь порождает в нас холодность, и страсть становится вялой, притупленной, усталой, дремлющей:

Si qua volet regnare diu, contemnat amantem ****.

...contemnite, amantes,
Sic hodie veniet si qua negavit heri *****.

Чего ради Поппея [19] вздумала прятать под маской свою красоту, если не для того, чтобы придать ей в глазах любовников еще бóльшую цену? Почему женщины скрывают до самых пят те прелести, которые каждая хотела бы показать и которые каждый желал бы увидеть? Почему под столькими покровами, наброшенными один на другой, таят они те части своего тела, которые главным образом и являются предметом наших

---

* Он пренебрегает тем, что доступно, и гонится за тем, что от него ускользает [14] (*лат.*).

** Если ты перестанешь стеречь свою дочь, она тотчас же перестанет быть моею [15] (*лат.*).

*** Ты жалуешься на обилие, я — на скудость [16] (*лат.*).

**** Если кто хочет надолго сохранить свою власть над возлюбленным, пусть презирает его [17] (*лат.*).

***** Влюбленные, высказывайте презрение, и та, что вчера отвергла вас, сегодня будет сама навязываться [18] (*лат.*).

желаний, а следовательно и их собственных? И для чего служат те бастионы, которые наши дамы начали с недавнего времени воздвигать на своих бедрах, если не для того, чтобы дразнить наши вожделения и, отдаляя нас от себя, привлекать к себе?

Et fugit ad salices, et se cupit ante videri *.
Interdum tunica duxit operta moram **.

К чему эти уловки девического стыда, эта неприступная холодность, это строгое выражение в глазах и на всем лице, это подчеркнутое неведение тех вещей, которые они знают лучше нас с вами, будто бы обучающих их всему этому, если не для того, чтобы разжечь в нас желание победить, преодолеть, разметать все эти церемонии и преграды, мешающие удовлетворению нашей страсти? Ибо не только наслаждение, но и гордое сознание, что ты соблазнил и заставил безумствовать эту робкую нежность и ребячливую стыдливость, обуздал и подчинил своему любовному экстазу холодную и чопорную бесстрастность, одержал верх над скромностью, целомудрием, сдержанностью,— в этом, по общему мнению, для мужчины и в самом деле великая слава; и тот, кто советует женщинам отказаться от всего этого, совершает предательство и по отношению к ним, и по отношению к себе самому. Нужно верить, что сердце женщины трепещет от ужаса, что наши слова оскорбляют ее чистый слух, что она ненавидит нас за то, что мы произносим их, и уступает лишь нашему грубому натиску, склоняясь перед насилием. Красота, сколь бы могущественной она ни была, не в состоянии без этого восполнения заставить поклоняться себе. Взгляните на Италию, где такое обилие ищущей покупателя красоты, и притом красоты исключительной; взгляните, к скольким уловкам и вспомогательным средствам приходится ей там прибегать, чтобы придать себе привлекательность! И все же, что бы она ни делала,— поскольку она продажна и доступна для всех,— ей не удается воспламенять и захватывать. Вообще — и это относится также и к добродетели — из двух равноценных деяний мы считаем более прекрасным сопряженное с бóльшими трудностями и большей опасностью.

Божественный промысел преднамеренно допустил, чтобы святая церковь его была раздираема столькими треволнениями и бурями. Он сделал это затем, чтобы разбудить этой встряскою благочестивые души и вывести их из той праздности и сонливости, в которые их погрузило столь длительное спокойствие. И если положить на одну из двух чаш весов потери, понесенные нами в лице многих заблудших, а на другую — выгоду от того, что мы вновь стали дышать полной грудью и, взбудораженные этой борьбой, обрели наше былое рвение и душевные силы, то, право, не знаю, не перевесит ли польза вреда.

Полностью устранив возможность развода, мы думали укрепить этим брачные узы; но, затянув узы, налагаемые на нас принуждением, мы

* Убегает к ветлам, но жаждет, чтобы я раньше ее увидел [20] (*лат.*).
** Нередко закрытая туника привлекает внимание [21] (*лат.*).

в той же мере ослабили и обесценили узы, налагаемые доброй волей и чувством. В древнем Риме, напротив, средством, поддерживавшим устойчивость браков, долгое время пребывавших незыблемыми и глубоко почитаемыми, была неограниченная свобода их расторжения для каждого выразившего такое желание; поскольку у римлян существовала опасность потерять своих жен, они окружали их большей заботой, нежели мы, и, несмотря на полнейшую возможность развода, за пятьсот с лишним лет здесь не нашлось никого, кто бы ею воспользовался:

Quod licet, ingratum est; quod non licet acrius urit *.

К вышесказанному можно добавить мнение одного древнего автора, считавшего, что смертные казни скорее обостряют пороки, чем пресекают их; что они не порождают стремления делать добро (ибо это есть задача разума и размышления), но лишь стремление не попадаться, творя злые дела:

Latius excisae pestis contagia serpunt **.

Не знаю, справедливо ли это суждение, но по личному опыту знаю, что меры подобного рода никогда не улучшают положения дел в государстве: порядок и чистота нравов достигаются совершенно иными средствами.

Древнегреческие историки упоминают об аргиппеях, обитавших по соседству со Скифией [24]. Они жили без розог и карающей палки; никто между ними не только не помышлял о нападении на другие народы, но, больше того, если кто-нибудь спасался к ним бегством, он пользовался у них полной свободой — такова была чистота их жизни и их добродетель. И никто не осмеливался преследовать укрывшегося у них. К ним обращались за разрешением споров, возникавших между жителями окрестных земель.

Существуют народы, у которых охрана садов и полей, если они хотят их уберечь, осуществляется при помощи сетки из хлопчатой бумаги, и она оказывается более надежной и верной, чем наши изгороди и рвы [25]: Furem signata sollicitant. Aperta effractarius praeterit ***. Среди всего прочего, ограждающего мой дом от насилий, порождаемых нашими гражданскими войнами, его оберегает, быть может, и легкость, с какою можно проникнуть в него. Попытки как-то защититься распаляют дух предприимчивости, недоверие — желание напасть. Я умерил пыл наших солдат, устранив из их подвигов этого рода какой бы то ни было риск и лишив их тем самым даже крупицы воинской славы, которая обычно оправдывает и покрывает такие дела: когда правосудия больше не существует, все, что

* Дозволенное не привлекает, недозволенное распаляет сильнее [22] (*лат.*).
** Зло, которое считали выкорчеванным, исподволь распространяется [23] (*лат.*).
*** Двери на запоре привлекают вора; открытыми взломщик пренебрегает [26] (*лат.*).

сделано смело, то и почетно. Я же превращаю захват моего дома в предприятие для трусов и негодяев. Он открыт всякому, кто постучится в него; весь его гарнизон состоит из одного-единственного привратника, как это установлено старинным обычаем и учтивостью, и привратник этот нужен не для того, чтобы охранять мои двери, но для того, чтобы пристойно и гостеприимно распахивать их. У меня нет никаких других стражей и часовых, кроме тех, которых мне даруют светила небесные. Дворянину не следует делать вид, будто он собирается защищаться, если он и впрямь не подготовлен к защите. Кто уязвим хоть с одной стороны, тот уязвим отовсюду: наши отцы не ставили своей целью строить пограничные крепости. Способы штурмовать — я имею в виду штурмовать без пушек и без большой армии — и захватывать наши дома с каждым днем все умножаются, и они совершеннее способов обороны. Изобретательность, как правило, бывает направлена именно в эту сторону: над захватом ломают голову все, над обороной — только богатые. Мой замок был достаточно укреплен по тем временам, когда его возводили. В этом отношении я ничего к нему не добавил и всегда опасался, как бы крепость его не обернулась против меня самого; к тому же, когда наступит мирное время, понадобится уничтожить некоторые из его укреплений. Опасно отказываться от них навсегда, но трудно вместе с тем и полагаться на них, ибо во время междоусобиц иной из числа ваших слуг может оказаться приверженцем партии, которой вы всего больше и опасаетесь, и где религия доставляет благовидный предлог, там нельзя доверять даже родственникам, поскольку у них есть возможность сослаться на высшую справедливость.

Государственная казна не в состоянии содержать наши домашние гарнизоны; это ее истощило бы. Не можем содержать их и мы, ибо это привело бы нас к разорению или — что было бы еще более тягостно и более несправедливо — к разорению простого народа. Государство от моей гибели нисколько не ослабеет. В конце концов, если вы гибнете, то в этом повинны вы сами, и даже ваши друзья станут в большей мере винить вашу неосторожность и неосмотрительность, чем оплакивать вас, а также вашу неопытность и беспечность в делах, которые вам надлежало вести. И если столько хорошо охраняемых замков подверглось потоку и разграблению, тогда как мой все еще пребывает в полной сохранности, то это наводит на мысль, уж не погубили ли они себя именно тем, что тщательно охранялись. Ведь это порождает стремление напасть и оправдывает действия нападающего: всякая охрана связана с представлением о войне. Если того пожелает господь, она обрушится, разумеется, и на меня, но я-то во всяком случае не стану ее призывать: дом мой — убежище, в котором я укрываюсь от войн. Я пытаюсь оградить этот уголок от общественных бурь, как пытаюсь оградить от них и другой уголок у себя в душе. Наша война может сколько угодно менять свои формы; пусть эти формы множатся, пусть возникают новые партии; что до меня, то я не пошевелюсь.

Во Франции немало укрепленных замков, но, насколько мне известно, из людей моего положения лишь я один всецело доверил небу охрану

моего жилища. Я никогда не вывозил из него ни столового серебра, ни фамильных бумаг, ни ковров. Я не хочу ни наполовину бояться, ни наполовину спасаться. Если полное и искреннее доверие к воле господней может снискать ее благосклонность, то она пребудет со мной до конца дней моих, если же нет, то я пребывал под ее сенью достаточно долго, чтобы счесть длительность этого пребывания поразительной и отметить ее. Неужели? Да, вот уже добрых тридцать лет [27]!



Глава XVI

О СЛАВЕ

Существует название вещи и сама вещь; название — это слово, которое указывает на вещь и обозначает ее. Название не есть ни часть вещи, ни часть ее сущности. Это нечто присоединенное к вещи и пребывающее вне ее.

Бог, который в себе самом есть полная завершенность и верх совершенства, не может возвеличиваться и возрастать внутри себя самого, но имя его может возвеличиваться и возрастать через благословления и хвалы, воздаваемые нами явленным им делам. И поскольку мы не в состоянии вложить в него эти хвалы, ибо он не может расти во благе, мы обращаем их к его имени, которое есть нечто, хоть и пребывающее вне его сущности, но наиболее близкое к ней. Так обстоит дело лишь с одним богом, и ему одному принадлежат вся слава и весь почет. И нет ничего более бессмысленного, чем домогаться того же для нас, ибо, нищие и убогие духом, обладая несовершенной сущностью и постоянно нуждаясь в ее улучшении, мы должны прилагать все наши усилия только к этому и ни к чему больше. Мы совсем полые и пустые, и не воздухом и словами должны мы заполнить себя: чтобы стать по-настоящему сильными, нам нужна более осязательная субстанция. Не много ума проявил бы тот голодающий, который занялся бы добыванием нарядного платья вместо того, чтобы постараться добыть себе сытную пищу. Как гласит ежедневная наша молитва: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus *. Нам недостает красоты, здоровья, добродетели и других столь же важных вещей; о внешних украшениях можно будет подумать позже, когда у нас будет самое насущное. Этот предмет более пространно и обстоятельно освещается теологией; я же осведомлен в нем недостаточно глубоко.

---

* Слава в вышних богу, и на земле мир, в человеках благоволение [1] (*лат.*).

Хрисипп и Диоген [2] были первыми авторами — и притом наиболее последовательными и непреклонными,— выразившими презрение к славе. Среди всех наслаждений, говорили они, нет более гибельного, чем одобрение со стороны, нет никакого другого, от которого нужно было бы так бежать. И действительно, как показывает нам опыт, вред, проистекающий от подобного одобрения, необъятен: нет ничего, что в такой мере отравляло бы государей, как лесть, ничего, что позволяло бы дурным людям с такой легкостью добиваться доверия окружающих; и никакое сводничество не способно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемые им и столь приятные для них похвалы. Первая приманка, использованная сиренами, чтобы завлечь Одиссея, была такого же рода:

К нам Одиссей богоравный, великая слава ахеян,
К нам с кораблем подойди... [3]

Эти философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец:

Gloria quantalibet quid erit, si gloria tantum est? *

Я говорю лишь о славе самой по себе, ибо нередко она приносит с собой кое-какие жизненные удобства, благодаря которым может стать желанной для нас: она снискивает нам всеобщее благоволение и ограждает хоть в некоторой мере от несправедливости и нападок со стороны других людей и так далее.

Такое отношение к славе было одним из главнейших положений учения Эпикура. Ведь предписание его школы: «Живи незаметно», воспрещающее людям брать на себя исполнение общественных должностей и обязанностей, необходимо предполагает презрение к славе, которая есть не что иное, как одобрение окружающими наших поступков, совершаемых у них на глазах. Кто велит нам таиться и не заботиться ни о чем, кроме как о себе, кто не хочет, чтобы мы были известны другим, тот еще меньше хочет, чтобы нас окружали почет и слава. И он советует Идоменею [5] не руководствоваться в своих поступках общепринятыми мнениями и взглядами, отступая от этого правила только затем, чтобы не навлекать на себя неприятностей, которые может доставить ему при случае людское презрение.

Эти рассуждения, на мой взгляд, поразительно правильны и разумны, но нам — я и сам не знаю почему — свойственна двойственность, и отсюда проистекает, что мы верим тому, чему вовсе не верим, и не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем. Рассмотрим же последние слова Эпикура, сказанные им на смертном одре: они велики и достойны такого замечательного философа, но на них все же заметна печать горделивого отношения к своему имени и того пристрастия к славе, которое

* Что им в какой бы то ни было славе, если она только слава [4]? (*лат.*).

он так порицал в своих поучениях. Вот письмо, продиктованное им незадолго перед тем, как от него отлетело дыхание.

«Эпикур шлет Гермарху[6] привет.

Я написал это в самый счастливый и вместе с тем последний день моей жизни, ощущая при этом такие боли в мочевом пузыре и в животе, что сильнее быть не может. И все же они возмещались наслаждением, которое я испытывал, вспоминая о своих сочинениях и речах. Ты же возьми под свое покровительство детей Метродора[7], как того требует от тебя твоя склонность к философии и ко мне, которую ты питаешь с раннего детства».

Вот это письмо. И если я считаю, что наслаждение, ощущаемое им в душе, как он говорит, при воспоминании о своих сочинениях, имеет касательство к славе, на которую он рассчитывал после смерти, то меня побуждает к этому распоряжение, содержащееся в его завещании. Этим распоряжением он предписывает, чтобы Аминомах и Тимократ, его наследники, предоставляли для празднования его дня рождения в январе месяце суммы, какие укажет Гермарх, и равным образом оплачивали расходы на угощение близких ему философов, которые будут собираться в двадцатый день каждой луны в честь и в память его и Метродора.

Карнеад[8] был главой тех, что держался противоположного мнения. Он утверждал, что слава желанна сама по себе, совершенно так же, как мы любим наших потомков исключительно ради них, не зная их и не извлекая из этого никакой выгоды для себя. Эти взгляды встретили всеобщее одобрение, ибо люди охотно принимают то, что наилучшим образом отвечает их склонностям. Аристотель предоставляет славе первое место среди остальных внешних благ. Он говорит: избегай, как порочных крайностей, неумеренности и в стремлении к славе, и в уклонении от нее[9]. Полагаю, что, имей мы перед собой книги, написанные на эту тему Цицероном, мы нашли бы в них вещи, воистину поразительные. Этот человек был до того поглощен страстной жаждой славы, что решился бы, как мне кажется, и притом очень охотно, впасть в ту же крайность, в которую впадали другие, полагая, что сама добродетель желанна лишь ради почета, неизменно следующего за ней:

Paulum sepultae distat inertiae
Celata virtus *.

Это мнение до последней степени ложно, и мне просто обидно, что оно могло возникнуть в голове какого-нибудь человека, имевшего честь называться философом.

Если бы подобные взгляды были верны, то добродетельным нужно было бы быть лишь на глазах у других, а что касается движений души, в которых, собственно, и заключается добродетель, то нам не было бы никакой надобности подчинять их своей воле и налагать на них узы;

---

* Скрытая доблесть мало отличается от безвестной бездарности[10] (*лат.*).

это было бы необходимо только в тех случаях, когда они могли бы стать достоянием гласности.

Выходит, что обманывать допустимо, если это делается хитро и тонко! «Если ты знаешь,— говорит Карнеад [11],— что в таком-то месте притаилась змея и на это место, ничего не подозревая, собирается сесть человек, чья смерть, по твоим расчетам, принесет тебе выгоду, то, не предупредив его об опасности, ты совершишь злодеяние, и притом тем более великое, что твой поступок будет известен лишь тебе одному». Если мы не вменим себе в закон поступать праведно, если мы приравняем безнаказанность к справедливости, то каких только злых дел не станем мы каждодневно творить. Я не считаю заслуживающим особой похвалы то, что сделал Секст Педуцей, честно возвратив вдове Гая Плоция [12] те его сокровища, которые Гай Плоций доверил ему без ведома кого-либо третьего (подобные вещи не раз делал также я сам), но я счел бы гнусным и омерзительным, если бы кто-нибудь не сделал этого. И я нахожу уместным и очень полезным вспомнить в наши дни о Секстилии Руфе [13], которого Цицерон осуждает за то, что он принял наследство против своей совести, хотя и пошел на это не только не вопреки законам, но и на основании их, а также о Марке Крассе и Квинте Гортензии, равно осуждаемых Цицероном. Будучи людьми влиятельными и чрезвычайно могущественными, они были как-то приглашены в долю одним посторонним для них человеком, собиравшимся завладеть наследством по подложному завещанию и надеявшимся таким способом обеспечить себе свою часть. Красс и Гортензий [14] удовольствовались сознанием, что они не являются соучастниками подлога, но не отказались, однако, воспользоваться плодами его; они сочли, что, поскольку им не грозят ни обвинение по суду, ни свидетели, ни законы, они, стало быть, и не запятнали себя. Meminerint deum se habere testem, id est (ut ego arbitror) mentem suam *.

Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность ее основывалась только на славе. И бесплодными были бы в таком случае наши попытки предоставить ей особое, подобающее ей место, отделив ее от удачи, ибо есть ли еще что-нибудь столь же случайное, как известность? Profecto fortuna in omni re dominatur; ea res cunctas ex libidine magis, quam ex vero, celebrat, obscuratque **. Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ — это дело голой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу. Я не раз видел, что слава опережает заслуги, и не раз — что она безмерно превышает их. Кто первый заметил ее сходство с тенью, тот высказал нечто большее, чем хотел; и та и другая необычайно прихотливы: и тень также порою идет впереди тела, которое отбрасывает ее, порою и она также намного превосходит его своею длиной. Те, которые поучают дворян быть доблестными только ради почета,— quasi non sit honestum, quod nobilitatum

---

* Им следовало бы помнить, что свидетелем нашим является бог, то есть, на мой взгляд, наша совесть [15] (*лат.*).

** Без сомнения, всем управляет случай. Он скорее по прихоти своей, чем по справедливости, одни события покрывает славой, другие — мраком забвения [16] (*лат.*).

non sit *, чему они учат, как не тому, чтобы человек никогда не подвергал себя опасности, если его не видят другие, и всегда заботился о том, чтобы были свидетели, которые могли бы потом рассказать о его храбрости — и это в таких случаях, когда представляется тысяча возможностей совершить нечто доблестное, оставаясь незамеченным? Сколько прекраснейших подвигов бесследно забывается в сумятице битвы! И кто предается наблюдению за другими в разгар такой схватки, тот, очевидно, остается в ней праздным, и, свидетельствуя о поведении своих товарищей по оружию, свидетельствует тем самым против себя. Vera et sapiens animi magnitudo, honestum illud, quod maxime naturam sequitur, in factis positum non in gloria iudicat **.

Вся слава, на которую я притязаю, это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно и притом прожил ее спокойно не по Метродору, Аркесилаю или Аристиппу [19], но по своему разумению. Ибо философия так и не смогла найти такой путь к спокойствию, который был бы хорош для всех, и всякому приходится искать его на свой лад.

Чему обязаны Цезарь и Александр бесконечным величием своей славы, как не удаче? Скольких людей придавила фортуна в самом начале их жизненного пути! Сколько было таких, о которых мы ровно ничего не знаем, хотя они проявили бы не меньшую доблесть, если бы горестный жребий не пресек их деяний, можно сказать, при их зарождении? Пройдя через столько угрожавших его жизни опасностей, Цезарь, сколько я помню из того, что прочел о нем, ни разу не был ранен, а между тем тысячи людей погибли при гораздо меньшей опасности, нежели наименьшая, которую он преодолел. Бесчисленное множество прекраснейших подвигов не оставило по себе ни малейшего следа, и только редчайшие из них удостоились признания. Не всегда оказываешься первым в проломе крепостных стен или впереди армии на глазах у своего полководца, как если б ты был на подмостках. Смерть чаще настигает воина между изгородью и рвом; приходится искушать судьбу при осаде какого-нибудь курятника; нужно выбить из сарая каких-нибудь четырех жалких солдат с аркебузами; нужно отделиться от войск и действовать самостоятельно, руководствуясь обстоятельствами и случайностями. И если внимательно приглядеться ко всему этому, то нетрудно, как мне кажется, прийти к выводу, подсказываемому нам нашим опытом, а именно, что наименее прославленные события — самые опасные и что в войнах, происходивших в наше время, больше людей погибло при событиях незаметных и малозначительных, например при занятии или защите какой-нибудь жалкой лачуги, чем на полях почетных и знаменитых битв.

Кто считает, что напрасно загубит свою жизнь, если отдаст ее не при каких-либо выдающихся обстоятельствах, тот будет склонен скорее оставить свою жизнь в тени, чем принять славную смерть, и потому он про-

---

* ...как если бы достохвальным было только то, что пользуется известностью [17] (*лат.*).
** Человек подлинно благородный и мудрый считает доблестью то, что более всего соответствует природе, и заключается не в славе, а в действиях [18] (*лат.*).

пустит немало достойных поводов подвергнуть себя опасности. А ведь всякий достойный повод поистине славен, и наша совесть не преминет возвеличить его в наших глазах. Gloria nostra est testimonium conscientiae nostrae *.

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие, и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны,— от того нельзя ожидать слишком многого.

Credo che'l resto di quel verno cose
Facesse degne di tenerne conto;
Ma fur sin'a quel tempo si nascose,
Che non è colpa mia s'hor'non le conto:
Perchê Orlando a far l'opre virtuose,
Più ch'a narrarle poi, sempre era pronto;
Nè mai fù alcun' de li suoi fatti espresso,
Se non quando ebbe i testimoni appresso **.

Нужно идти на войну ради исполнения своего долга и терпеливо дожидаться той награды, которая всегда следует за каждым добрым делом, сколь бы оно ни было скрыто от людских взоров, и даже за всякой добродетельной мыслью; эта награда заключается в чувстве удовлетворения, доставляемого нам чистой совестью, сознанием, что мы поступили хорошо. Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы:

Virtus, repulsae nescia sordidae,
Intaminatis fulget honoribus,
Nec sumit aut ponit secures
Arbitrio popularis aurae ***.

Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, наша душа должна быть стойкой и добродетельной; нет, она должна быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного. Это она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора; она дает нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния; и, когда представляется случай, она же побуждает нас дерзать

* Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей [20] (*лат.*).

** Мне думается, что до самого конца этой зимы Роланд совершал подвиги, достойные увековечения, но покрытые до настоящего времени такой тайной, что не моя вина, если я не могу рассказать о них. Дело в том, что Роланд всегда скорее стремился совершать, чем рассказывать о них, и из его подвигов нам известны лишь те, у которых были живые свидетели [21] (*ит.*).

*** Доблесть сияет неоспоримыми почестями и не знает позора от безуспешных притязаний; она не получает власти и не слагает ее по прихоти народа [22] (*лат.*).

среди опасностей боя, non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore *. Это — выгода гораздо бо́льшая, и жаждать, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас.

Чтобы решить спор о каком-нибудь клочке земли, нужно выбрать из целого народа десяток подходящих людей; а наши склонности и наши поступки, то есть наиболее трудное и наиболее важное из всех дел, какие только возможны, мы выносим на суд черни, матери невежества, несправедливости и непостоянства! Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд? An quidquam stultius, quam, quos singulos contemnas, eos aliquid putare esse uiniversos **. Кто стремится угодить им, тот никогда ничего не достигнет; в эту мишень как ни целься, все равно не попадешь. Nil tam inaestimabile est, quam animi multitudinis ***. Деметрий [26] сказал в шутку о гласе народном, что он не больше считается с тем, который исходит у толпы ве́рхом, чем с тем, который исходит у нее низом. А другой автор высказывается еще решительнее: Ego hoc iudico, si quando turpe non sit, tamen non esse non turpe, cum id a multitudine laudetur ****.

Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могли бы направить наши шаги, вздумай мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым; среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые сбивают нас с толку, невозможно избрать себе мало-мальски правильный путь. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели; давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути. И так как оно зависит исключительно от удачи, то у нас нет решительно никаких оснований считать, что мы обретем его скорее на каком-либо другом пути, чем на этом. И если бы случилось, что я не пошел по прямой дороге, не отдав ей предпочтения потому, что она прямая, я все равно вынужден буду пойти по ней, убедившись на опыте, что в конце концов она наиболее безопасная и удобная: Dedit hoc providentia hominibus munus, ut honesta magis iuvarent *****. В древности некий моряк во время сильной бури обратился к Нептуну со следующими словами: «О, бог, ты спасешь меня, если захочешь, а если захочешь, то, напротив, погубишь меня; но я по-прежнему буду твердо держать мой руль» [29]. В свое время я перевидал множество изворотливых, ловких, двуличных людей, и никто не сомневался, что они превосходят меня житейскою муд-

---

* Не из какой-либо корысти, а ради чести самой добродетели [23] (*лат.*).

** Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем придавать значение совокупности тех, кого презираешь каждого в отдельности [24] (*лат.*).

*** Нет ничего презреннее, нежели мнение толпы [25] (*лат.*).

**** Я же полагаю, что вещь, сама по себе не постыдная, неизбежно становится постыдной, когда ее прославляет толпа [27] (*лат.*).

***** По милости провидения то, что служит к чести, есть в то же время и самое полезное для человека [28] (*лат.*).

ростью,— и все же они погибли, тогда как я выжил:

Risi successu posse carere dolos *.

Павел Эмилий [31], отправляясь в свой знаменитый македонский поход, с особой настойчивостью предупреждал римлян, «чтобы в его отсутствие они попридержали языки насчет его действий». И в самом деле, необузданность людских толков и пересудов — огромная помеха в великих делах. Не всякий может противостоять противоречивой и оскорбительной народной молве, не всякий обладает твердостью Фабия [32], который предпочел допустить, чтобы праздные вымыслы трепали его доброе имя, чем хуже выполнить принятую им на себя задачу ради того, чтобы снискать себе славу и всеобщее одобрение.

Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы слушать расточаемые тебе похвалы; но мы придаем ему слишком большое значение.

Laudari haud metuam, neque enim mihi cornea fibra est;
Sed recti finemque extremumque esse recuso,
Euge tuum et belle **.

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заемным богатством. Посторонние видят лишь внешнюю сторону событий и вещей; между тем всякий имеет возможность изображать невозмутимость и стойкость даже в тех случаях, когда внутри он во власти страха и весь в лихорадке; таким образом, люди не видят моего сердца, они видят лишь надетую мною маску. И правы те, кто обличает процветающее на войне лицемерие, ибо что же может быть для ловкого человека проще, чем избегать опасностей и одновременно выдавать себя за первого смельчака, несмотря на то что в сердце он трус? Есть столько способов уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело. Но и тут, обнаружив, что нам больше не отвертеться, мы сумеем и на этот раз прикрыть нашу игру соответствующею личиною и решительными словами, хотя душа наша и уходит при этом в пятки. И многие, располагай они платоновским перстнем [34], делающим невидимым каждого, у кого он на пальце и кто обернет его камнем к ладони, частенько скрывались бы с его помощью от людских взоров — и именно там, где им больше всего подобало бы быть на виду,— горестно сожалея о том, что они занимают столь почетное место, заставляющее их

---

* Смеялся над тем, что хитрый расчет оказывается безуспешным [30] (*лат.*).
** Не побоюсь похвал, ибо я не бесчувствен; но я не приму за истинный смысл и конечную цель честных поступков расточаемые тобой восторги и восхваления [33] (*лат.*).

быть храбрыми поневоле.

Falsus honor iuvat, et mendax infamia terret
Quem, nisi mendosum et mendacem? *

Вот почему суждения, составленные на основании одного лишь внешнего облика той или иной вещи, крайне поверхностны и сомнительны: и нет свидетеля более верного, чем каждый в отношении себя самого. И скольких только обозников не насчитывается среди сотоварищей нашей славы! Разве тот, кто крепко засел в вырытом другими окопе, совершает больший подвиг, нежели побывавшие тут до него, нежели те полсотни горемык-землекопов, которые проложили ему дорогу и за пять су в день прикрывают его своими телами?

Non, quidquid turbida Roma
Elevet, accedas, examenque improbum in illa
Castiges trutina: nec tu quaesiveris extra **.

Мы говорим, что, делая наше имя известным всюду и влагая его в уста столь многих людей, мы тем самым возвеличиваем его; мы хотим, чтобы оно произносилось с благоговением и чтобы это окружающее его сияние пошло ему на пользу — и это все, что можно привести в оправдание нашего стремления к славе. Но в исключительных случаях эта болезнь приводит к тому, что иные не останавливаются ни перед чем, только бы о них говорили. Трог Помпей сообщает о Герострате, а Тит Ливий о Манлии Капитолийском, что они жаждали скорее громкого, чем доброго имени [37]. Этот порок, впрочем, обычен: мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят; с нас довольно того, что наше имя у всех на устах, а почему — это нас отнюдь не заботит. Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что и наша жизнь, и сроки ее находятся под охраною знающих нас. Что до меня, то я крепко держусь за себя самого. И если вспомнить о другой моей жизни, той, которая существует в представлении моих добрых друзей, то, рассматривая ее как нечто совершенно самостоятельное и замкнутое в себе, я сознаю, что не вижу от нее никаких плодов и никакой радости, кроме, быть может, тщеславного удовольствия, связанного со столь фантастическим мнением обо мне. Когда я умру, я лишусь даже этого удовольствия и начисто утрачу возможность пользоваться той осязательной выгодой, которую приносят порой подобные мнения, и, не соприкасаясь больше со славою, я не смогу удержать ее, как и она не сможет затронуть или осенить меня. Ибо я не могу рассчитывать, чтобы

* Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почестью и страшится ложных наветов [35]? (*лат.*).

** Не следуй за тем, что возвеличивает взбудораженный Рим, не исправляй неверную стрелку этих весов и не ищи себя нигде, кроме как в себе самом [36] (*лат.*).

мое имя приобрело ее, хотя бы уже потому, что у меня нет имени, принадлежащего исключительно мне. Из двух присвоенных мне имен одно принадлежит всему моему роду и, больше того, даже другим родам; есть семья в Париже и Монпелье, именующая себя Монтень, другая — в Бретани и Сентонже — де Ла Монтень; утрата одного только слога поведет к смешению наших гербов и к тому, что я стану наследником принадлежащей им славы, а они, быть может, моего позора; и если мои предки звались некогда Эйкем, то это же имя носит один известный род в Англии[38]. Что до второго присвоенного мне имени, то оно принадлежит всякому, кто бы ни пожелал им назваться; таким образом, и я, быть может, окажу в свою очередь честь какому-нибудь портовому крючнику. И даже имей я свой опознавательный знак, что, собственно, мог бы он обозначать, когда меня больше не будет? Мог ли бы он отметить пустоту и заставить полюбить ее?

Nunc levior cippus non imprimit ossa?
Laudat posteritas; nunc non e manibus illis,
Nunc non e tumulo, fortunataque favilla,
Nascuntur violae *.

Но об этом я говорил уже в другом месте[40]. Итак, после битвы, в которой было убито и изувечено десять тысяч человек, говорят лишь о каких-нибудь пятнадцати видных ее участниках. Отдельный подвиг, даже если он совершен не простым стрелком, а кем-нибудь из военачальников, может обратить на себя внимание только в том случае, если это деяние действительно выдающейся доблести или счастливо повлекшее за собой значительные последствия. И хотя убить одного врага или двоих, или десятерых для каждого из нас и впрямь не безделица, ибо тут ставишь на карту все до последнего,— для мира, однако, все эти вещи настолько привычны и он наблюдает их изо дня в день в таком несметном количестве, что их нужно по крайней мере еще столько же, чтобы произвести на него заметное впечатление. Вот почему мы не можем рассчитывать на особую славу,

casus multis hic cognitus ac iam
Tritus, et e medio fortunae ductus acervo **.

Среди множества отважных людей, с оружием в руках павших за пятнадцать столетий во Франции, едва ли найдется сотня таких, о ком мы хоть что-нибудь знаем. В нашей памяти изгладились не только имена полководцев, но и самые сражения и победы; судьбы большей половины мира из-за отсутствия поименного списка его обитателей остаются безвестными и не оставляют по себе никакого следа.

* Не легче ли теперь надгробный камень давит на мои кости? Говорят, что потомство хвалит умершего: не родятся ли от этого ныне фиалки из духов его, из надгробного холма и блаженного праха[39]? (*лат.*).

** Это случай многим знакомый, даже избитый, одна из многих превратностей судеб[41] (*лат.*).

Если бы я располагал знанием неведомых доселе событий, то, какой бы пример мне ни потребовался, я мог бы заменить ими известные нам. Да что тут говорить! Ведь даже о римлянах и о греках, хотя у них и было столько писателей и свидетелей, до нас дошло так немного!

Ad nos vix tenuis famae perlabitur aura *.

И еще хорошо, если через какое-нибудь столетие будут помнить, хотя бы смутно, о том, что в наше время во Франции бушевали гражданские войны.

Лакедемоняне имели обыкновение устраивать перед битвой жертвоприношения музам с тем, чтобы деяния, совершаемые ими на поле брани, могли быть достойным образом и красноречиво описаны; они считали, что если их подвиги находят свидетелей, умеющих даровать им жизнь и бессмертие, то это — величайшая и редкостная милость богов.

Неужели же мы и в самом деле станем надеяться, что при всяком произведенном в нас выстреле из аркебузы и всякой опасности, которой мы подвергаемся, вдруг неведомо откуда возьмется писец, дабы занести эти происшествия в свой протокол? И пусть таких писцов оказалась бы целая сотня, все равно их протоколам жить не дольше трех дней, и никто никогда их не увидит. Мы не располагаем и тысячной долей сочинений, написанных древними; судьба определяет им жизнь — одним покороче, другим подольше, в зависимости от своих склонностей и пристрастий; и, не зная всего остального, мы вправе задаться вопросом: уж не худшее ли то, что находится в нашем распоряжении? Из таких пустяков, как наши дела, историй не составляют. Нужно было возглавлять завоевание какой-нибудь империи или царства; нужно было, подобно Цезарю, выиграть пятьдесят два крупных сражения, неизменно имея дело с более сильным противником. Десять тысяч его соратников и несколько выдающихся полководцев, сопровождавших его в походах, храбро и доблестно отдали свою жизнь, а между тем имена их сохранялись в памяти лишь столько времени, сколько прожили их жены и дети:

quos fama obscura recondit **.

И даже о тех, большие дела которых мы сами видели, даже о них, спустя три месяца или три года после их ухода от нас, говорят не больше, чем если бы они никогда не существовали на свете. Всякий, кто, пользуясь правильной меркой и подобающими соотношениями, призадумается над тем, о каких делах и о каких людях сохраняются в книгах слава и память, тот найдет, что в наш век слишком мало деяний и слишком мало людей, которые имели бы право на них притязать. Мало ли знали мы доблестных и достойных мужей, которым пришлось пережить собственную известность, которые видели — и должны были это стерпеть,— как на их глазах угасли почет и слава, справедливо завоеван-

* Слабый отзвук их славы едва донесся до нашего слуха [42] (*лат.*).
** ...те, кто умерли в безвестности [43] (*лат.*).

ные ими в юные годы? А ради каких-то трех лет этой призрачной и воображаемой жизни расстаемся мы с живой, не воображаемой, но действительной жизнью и ввергаем себя в вечную смерть! Мудрецы ставят перед этим столь важным шагом другую, более высокую и более справедливую цель: Recte facti fecisse merces est *.

Officii fructus, ipsum officium est **.

Для живописца или другого художника, или также ритора, или грамматика извинительно стремиться к тому, чтобы завоевать известность своими творениями; но деяния доблести и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной в них самих ценности, и в особенности — чтобы домогаться этой награды в тщете людских приговоров.

И все же это заблуждение человеческого ума имеет заслуги перед обществом. Это оно побуждает людей быть верными своему долгу; оно пробуждает в народе доблесть; оно дает возможность властителям видеть, как весь мир благословляет память Траяна и с омерзением отворачивается от Нерона [46]; оно заставляет их содрогаться, видя, как имя этого знаменитого изверга, некогда столь грозное и внушавшее ужас, ныне безнаказанно и свободно проклинается и подвергается поношению любым школьником, которому взбредет это в голову; так пусть же это заблуждение укореняется все глубже и глубже; и пусть его насаждают в нас, насколько это возможно.

Платон, применявший решительно все, лишь бы заставить своих граждан быть добродетельными, советует [47] им не пренебрегать добрым именем и уважением прочих народов и говорит, что благодаря некоему божественному внушению даже плохие люди часто умеют как на словах, так и в мыслях своих отчетливо различать, что хорошо и что дурно. Этот муж и его наставник — поразительно ловкие мастера добавлять повсюду, где им не хватает человеческих доводов, божественные наставления и откровения,— ut tragici poetae confugiunt ad deum, cum explicare argumenti exitum non possunt ***. Возможно, что именно по этой причине Тимон [49] называет его в насмешку «великим чудотворцем».

Поскольку люди в силу несовершенства своей природы не могут довольствоваться доброкачественной монетой, пусть между ними обращается и фальшивая. Это средство применялось решительно всеми законодателями, и нет ни одного государственного устройства, свободного от примеси какой-нибудь напыщенной чепухи или лжи, необходимых, чтобы налагать узду на народ и держать его в подчинении. Вот почему эти государственные устройства приписывают себе, как правило, легендарное происхождение и начала их полны сверхъестественных тайн. Именно это и придавало вес даже порочным религиям и побуждало разумных людей

---

* Наградой за доброе дело служит свершение его [44] (*лат.*).

** Вознаграждением за оказанную услугу является сама услуга [45] (*лат.*).

*** По примеру трагических поэтов, которые, не умея найти развязки, прибегают к богу [48] (*лат.*).

делаться их приверженцами. Вот почему, стремясь укрепить верность своих подданных, Нума и Серторий[50] пичкали их несусветным вздором, первый — будто нимфа Эгерия, второй — будто его белая лань сообщали им внушения богов, которым они и следовали.

И если Нума поднял авторитет своего свода законов, ссылаясь на покровительство этой богини, то то же сделали и Зороастр, законодатель бактрийцев и персов, ссылаясь на бога Ормузда, и Трисмегист египтян — на Меркурия, и Залмоксис скифов — на Весту, и Харонд халкидян — на Сатурна, и Минос критян — на Юпитера, и Ликург лакедемонян — на Аполлона, и Драконт и Солон афинян — на Минерву; и вообще любой свод законов обязан своим происхождением кому-нибудь из богов, что ложно во всех случаях, за исключением лишь тех законов, которые Моисей дал иудеям по выходе из Египта[51].

Религия бедуинов, как рассказывает Жуанвиль[52], учит среди всего прочего и тому, что душа павшего за своего владыку вселяется в новую телесную оболочку — более удобную, более красивую и более прочную, чем предыдущая, и он говорит, что из-за этого представления они с большей готовностью подвергают свою жизнь опасностям:

In ferrum mens prona viris, animaeque capaces
Mortis, et ignavum est rediturae parcere vitae *.

Вот весьма полезное верование, сколь бы вздорным оно ни было. У каждого народа можно встретить похожие вещи; этот предмет, впрочем, заслуживает отдельного рассуждения.

Чтобы добавить еще словечко к сказанному вначале — я не советую женщинам именовать своей честью то, что в действительности является их прямым долгом: ut enim consuetudo loquitur, id solum dicitur honestum quod est populari fama gloriosum **; их долг — это, так сказать, сердцевина, их честь — лишь внешний покров. И я также не советую им оправдывать свой отказ пойти нам навстречу ссылкою на нее, ибо я наперед допускаю, что их склонности, их желания и их воля, к которым, пока они не обнаружат себя, честь не имеет ни малейшего отношения, еще более скромны, нежели их поступки:

Quae, quia non liceat, non facit, illa facit ***.

Желать этого — не меньшее оскорбление бога и собственной совести, чем совершить самый поступок. И поскольку дела такого рода прячутся ото всех и творятся тайно, то, не чти женщины своего долга и не уважай они целомудрия, для них не составило бы большого труда начисто скрыть какое-нибудь из них от постороннего взора и сохранить, таким образом, свою честь незапятнанной. Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистою совестью.

* И стремится воин навстречу мечу и с готовностью приемлет смерть, не щадя возвращаемой жизни[53] (*лат.*).

** Ведь, согласно обычному словоупотреблению, честью (honestum) называется только то, что признает славным народная молва[54] (*лат.*).

*** Та, которая отказывает лишь потому, что ей нельзя уступить, уступает[55] (*лат.*).

Глава XVII
О САМОМНЕНИИ

Существует и другой вид стремления к славе, состоящий в том, что мы создаем себе преувеличенное мнение о наших достоинствах. Основа его — безотчетная любовь, которую мы питаем к себе и которая изображает нас в наших глазах иными, чем мы есть в действительности. Тут происходит то же, что бывает с влюбленным, страсть которого наделяет предмет его обожания красотой и прелестью, приводя к тому, что, охваченный ею, он под воздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим и более совершенным, чем тот является на самом деле.

Я вовсе не требую, чтобы из страха перед самовозвеличением люди принижали себя и видели в себе нечто меньшее, чем они есть; приговор во всех случаях должен быть равно справедливым. Подобает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине; если это Цезарь, то пусть он смело считает себя величайшим полководцем в мире. Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили собой самую сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научили женщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не стыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства. Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчиняемся этому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно,— и никто этому запрету не подчиняется. Я очень явственно ощущаю, насколько стеснительны для меня в данном случае законы, налагаемые приличиями, ибо они не дозволяют нам говорить о себе ни что-либо хорошее, ни что-либо дурное.

Но довольно об этом.

Те, кому их судьба (назовем ее доброю или злою, как вам будет угодно) предоставила прожить жизнь, возвышающуюся над общим уровнем, те имеют возможность показать своими поступками, которые у всех на виду, что же они представляют собой. Те, однако, кому она назначила толкаться в безликой толпе и о ком ни одна душа не обмолвится ни словечком, если они сами не сделают этого,— тем извинительно набраться смелости и рассказать о себе, обращаясь ко всякому, кому будет интересно послушать, и следуя в этом примеру Луцилия [1]:

> Ille velut fidis arcana sodalibus olim
> Credebat libris, neque, si male cesserat, usquam
> Decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut omnis

Votiva pateat veluti descripta tabella
Vita senis *.

Как видим, он отмечал в своих записях и дела, и мысли свои, рисуя себя в них таким, каким представлялся себе самому: Nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit **.

Вот и я припоминаю, что еще в дни моего раннего детства во мне отмечали какие-то особые, сам не знаю какие, повадки и замашки, говорившие о пустой и нелепой надменности. По этому поводу я прежде всего хотел бы сказать следующее: нет ничего удивительного, что нам присущи известные свойства и наклонности, вложенные в нас при рождении и настолько укоренившиеся, что мы не можем уже ни ощущать, ни распознавать их в себе; под влиянием таких естественных склонностей мы, сами того не замечая, непроизвольно усваиваем какую-нибудь привычку. Сознание своей красоты и связанное с этим некоторое жеманство явились причиной того, что Александр стал склонять голову несколько набок; они же придали речи Алкивиада картавость и шепелявость; Юлий Цезарь почесывал голову пальцем, а это, как правило, жест человека, одолеваемого тяжкими думами и заботами; Цицерон, кажется, имел обыкновение морщить нос, что является признаком врожденной насмешливости. Все эти движения могут совершаться неприметно для нас самих. Но наряду с ними есть другие, которые мы производим совершенно сознательно и о которых излишне распространяться; таковы, например, приветствия и поклоны, с помощью которых нередко добиваются чести, обычно незаслуженной, почитаться человеком учтивым и скромным, причем многих побуждает к этому честолюбие. Я очень охотно, особенно летом, снимаю в знак приветствия шляпу и всякому, кроме находящихся у меня в услужении, кто подобным образом поздоровается со мной, неизменно, независимо от его звания, отвечаю тем же. И все же я хотел бы высказать пожелание, обращенное к некоторым известным мне принцам, чтобы они были в этом отношении более бережливыми и расточали свои поклоны с бóльшим разбором, ибо, снимая шляпу перед каждым, они не достигают того, чего могли бы достигнуть. Если это приветствие не выражает особого благоволения, оно не производит должного действия. Говоря о манере держаться, сознательно усваиваемой иными людьми, вспомним о величавой осанке, которой отличался император Констанций [4]. Появляясь перед народом, он держал голову все время в одном положении: закинув ее немного назад, он не разрешал себе ни повернуть ее, ни наклонить, чтобы посмотреть на людей, стоявших на его пути и приветствовавших его с обеих сторон; тело его при этом также сохраняло полнейшую непод-

* Всякие тайны свои он поверял книгам, как верным друзьям: какое бы благо или зло с ним ни приключалось, он прибегал только к ним; таким образом старик начертал в своих сочинениях всю свою жизнь как на обетных дощечках [2] (*лат.*).

** Это [то, что они описали свою жизнь] не вызвало ни недоверия к Рутилию и Скавру, ни порицания их [3] (*лат.*).

вижность, насмотря на толчки от движения колесницы; он не решался ни плюнуть, ни высморкаться, ни отереть пот с лица. Не знаю, были ли те замашки, которые когда-то отмечали во мне, вложены в меня самой природой и была ли мне действительно свойственна некая тайная склонность к указанному выше пороку, что, конечно, возможно, так как за движения своего тела я отвечать не могу. Но что касается движений души, то я хочу рассказать здесь с полной откровенностью обо всем, что на этот счет думаю.

Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других. Что до первого из этих слагаемых, то, поскольку речь идет обо мне, необходимо, по-моему, прежде всего принять во внимание следующее: я постоянно чувствую на себе гнет некоего душевного заблуждения, которое немало огорчает меня отчасти потому, что оно совершенно необоснованно, а еще больше потому, что бесконечно навязчиво. Я пытаюсь смягчить его, но полностью избавиться от него я не могу. Ведь я неизменно преуменьшаю истинную ценность всего принадлежащего мне и, напротив, преувеличиваю ценность всего чужого, отсутствующего и не моего, поскольку оно мне недоступно. Это чувство уводит меня весьма далеко. Подобно тому как сознание собственной власти порождает в мужьях, а порой и в отцах достойное порицания пренебрежительное отношение к женам и детям, так и я, если передо мной два приблизительно равноценных творения, всегда более строг к своему. И это происходит не столько от стремления к совершенству и желания создать нечто лучшее, не позволяющих мне судить беспристрастно, сколько в силу того, что обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти. Меня прельщают и государственное устройство, и нравы дальних народов, и их языки. И я заметил, что латынь, при всех ее несомненных достоинствах, внушает мне почтение большее, чем заслуживает, в чем я уподобляюсь детям и простолюдинам. Поместье, дом, лошадь моего соседа, сто́ящие столько же, сколько мои, сто́ят в моих глазах дороже моих именно потому, что они не мои. Больше того, я совершенно не представляю себе, на что я способен, и восхищаюсь самонадеянностью и самоуверенностью, присущими в той или иной мере каждому, кроме меня. Это приводит к тому, что мне кажется, будто я почти ничего толком не знаю и что нет ничего такого, за выполнение чего я мог бы осмелиться взяться. Я не отдаю себе отчета в моих возможностях ни заранее, ни уже приступив к делу и познаю их только по результату. Мои собственные силы известны мне столь же мало, как силы первого встречного. Отсюда проистекает, что если мне случится справиться с каким-нибудь делом, я отношу это скорее за счет удачи, чем за счет собственного умения. И это тем более, что за все, за что бы я ни взялся, я берусь со страхом душевным и с надеждой, что мне повезет. Равным образом мне свойственно, вообще говоря, также и то, что из всех суждений, высказанных древними о человеке как таковом, я охотнее всего принимаю те — и их-то я крепче всего и держусь,— которые наиболее непримиримы к нам и презирают, унижа-

ют и оскорбляют нас. Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии и своем невежестве. И мне кажется, что корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, это — чрезмерно высокое мнение людей о себе. Те, кто усаживается верхом на эпицикл [5] Меркурия, чтобы заглянуть в глубины неба, ненавистны мне не меньше, чем зубодеры. Ибо, занимаясь изучением человека и сталкиваясь с таким бесконечным разнообразием взглядов на этот предмет, с таким неодолимым лабиринтом встающих одна за другой трудностей, с такой неуверенностью и противоречивостью в самой школе мудрости, могу ли я верить — поскольку этим людям так и не удалось постигнуть самих себя и познать свое естество, неизменно пребывающее у них на глазах и заключенное в них самих, раз они не знают даже, каким образом движется то, чему они сами сообщили движение, или как описать и изъяснить действие тех пружин, которыми они располагают и пользуются,— могу ли я верить их мнениям о причинах приливов и отливов на реке Нил? Стремление познать сущность вещей дано человеку, согласно Писанию, как бич наказующий [6].

Но возвращаюсь к себе. С великим трудом, мне кажется, можно было бы найти кого-нибудь, кто ценил бы себя меньше — или, если угодно, кто ценил бы меня меньше,— чем я сам ценю себя. Я считаю себя самым что ни на есть посредственным человеком, и единственное мое отличие от других — это то, что я отдаю себе полный отчет в своих недостатках, еще более низменных, чем общераспространенные, и нисколько не отрицаю их и не стараюсь придумывать для них оправдания. И я ценю себя только за то, что знаю истинную цену себе. Если во мне и можно обнаружить высокомерие, то лишь самое поверхностное, и происходит оно лишь от порывистости моего характера. Но этого высокомерия во мне такая безделица, что оно неприметно даже для моего разума. Оно, так сказать, слегка окропляет меня, но отнюдь не окрашивает [7].

И действительно, что касается порождений моего ума, то, в чем бы они ни состояли, от меня никогда не исходило чего-либо такого, что могло бы доставить мне истинное удовольствие; одобрение же других нисколько не радует меня. Суждения мои робки и прихотливы, особенно когда касаются меня самого. Я без конца порицаю себя, и меня всегда преследует ощущение, будто я пошатываюсь и сгибаюсь от слабости. Во мне нет ничего, способного доставить удовлетворение моему разуму. Я обладаю достаточно острым и точным зрением, но, когда я сам принимаюсь за дело, оно начинает мне изменять в том, что я делаю. То же самое происходит со мной и тогда, когда я предпринимаю самостоятельные попытки в поэзии. Я бесконечно люблю ее и достаточно хорошо разбираюсь в произведениях, созданных кем-либо другим, но я становлюсь сущим ребенком, когда меня охватывает желание приложить к ней свою руку; в этих случаях я бываю несносен себе самому. Простительно

быть глупцом в чем угодно, но только не в поэзии,

mediocribus esse poetis
Non di, non homines, non concessere columnae *.

Хорошо было бы прибить это мудрое изречение на дверях лавок наших издателей, дабы преградить в них доступ такой тьме стихоплетов!

verum
Nil securius est malo poeta **.

Почему нет больше народов, понимающих это так, как тот, о котором будет рассказано ниже? Дионисий-отец [10] ценил в себе больше всего поэта. Однажды он отправил на Олимпийские игры вместе с колесницами, превосходившими своим великолепием все остальные, также певцов и поэтов, повелев им исполнять там его поэтические произведения; отправляя их, он дал им с собой по-царски роскошные, раззолоченные и увешанные коврами шатры и палатки. Когда дошла очередь до его стихов, изысканность и красота декламации поначалу привлекли к себе внимание слушателей, но, раскусив, насколько беспомощны и бездарны эти стихи, народ исполнился к ним презрения, а затем, проникаясь все больше и больше досадой, устремился в ярости на шатры и сорвал свою злость, разметав их и изодрав в клочья. И то, что его колесницы также не показали на состязаниях ничего стоящего, и то, что корабль, на котором возвращались домой его люди, не достиг Сицилии и был выброшен на берег и разбит бурей близ Тарента, тот же народ счел достовернейшим знаком гнева богов, разъяренных, так же как он, плохими стихами. И даже моряки, избежавшие при кораблекрушении гибели, и те держались того же мнения, которое, как казалось, подтверждалось также и оракулом, предсказавшим Дионисию близкую смерть в таких выражениях: «Дионисий приблизится к своему концу, победив тех, кто лучше его». Сам Дионисий эти слова истолковал таким образом, будто тут подразумеваются карфагеняне, которые превосходили его своей мощью, и, ведя с ними войны, он нередко умышленно упускал из рук победу и останавливался на полпути, дабы не попасть в положение, на которое намекал оракул. Но он неправильно истолковал предсказанное, ибо бог имел в виду особые обстоятельства, а именно ту победу, которую он впоследствии несправедливо и при помощи подкупа одержал над более одаренными, нежели он, трагическими поэтами, поставив свою трагедию «Ленейцы» на драматическом состязании, происходившем в Афинах. Тотчас же после этой победы он умер, и это произошло отчасти от охватившей его безмерной радости.

То, что я нахожу в себе извинительным, не является таковым само по себе и не заслуживает, говоря по справедливости, оправдания; оно

* Ни боги, ни люди, ни книготорговцы не прощают поэту посредственности [8] (*лат.*).
** Нет никого наглее бездарного поэта [9] (*лат.*).

извинительно лишь в сравнении с еще худшим, что я вижу перед собой и что принимается всеми с одобрением. Я завидую счастью тех, кто умеет радоваться делам рук своих и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма легкий способ доставлять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из себя самого, в особенности если обладаешь известным упорством в своих оценках. Мне знаком некий поэт, которому и стар и млад, все вместе и каждый в отдельности, словом, и небо и земля, в один голос кричат, что он ровно ничего не смыслит в поэзии. А он тем не менее продолжает мерить себя той же меркой, которую себе назначил. Он все снова и снова берется за старое, перекраивает и перерабатывает, и трудится, и упорствует, тем более неколебимый в своих суждениях, тем более несгибаемый, что твердостью их он обязан лишь себе самому.

Мои произведения не только не улыбаются мне, но всякий раз, как я прикасаюсь к ним, вызывают у меня досаду:

Cum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno,
Me quoque, qui feci, iudice, digna lini *.

Пред моим мысленным взором постоянно витает идея, некий неотчетливый, как во сне, образ формы, неизмеримо превосходящий ту, которую я применяю. Я не могу, однако, уловить ее и использовать. Да и сама эта идея не поднимается, в сущности, над посредственностью. И это дает мне возможность увидеть воочию, до чего же далеки от наиболее возвышенных взлетов моего воображения и от моих чаяний творения, созданные столь великими и щедрыми душами древности. Их писания не только удовлетворяют и заполняют меня; они поражают и пронизывают меня восхищением; я явственно ощущаю их красоту, я вижу ее, если не полностью, не до конца, то во всяком случае в такой мере, что мне невозможно и думать о достижении чего-либо похожего. За что бы я ни брался, мне нужно предварительно принести жертвы грациям, как говорит Плутарх об одном человеке [12], дабы снискать их благосклонность:

si quid enim placet,
Si quid dulce hominum sensibus influit,
Debentur lepidis omnia Gratiis **.

Они ни в чем не сопутствуют мне; все у меня топорно и грубо; всему недостает изящества и красоты. Я не умею придавать вещам ценность свыше той, какой они обладают на деле: моя обработка не идет на пользу моему материалу. Вот почему он должен быть у меня лучшего качества; он должен производить впечатление и блестеть сам по себе. И если я берусь за сюжет попроще и позанимательнее, то делаю

* Перечитывая, я стыжусь написанного, ибо вижу, что, даже по мнению самого сочинителя, большую часть следовало бы перечеркнуть [11] (*лат.*).
** Если что-нибудь нравится, если что-нибудь приятно человеческим чувствам, то всем этим мы обязаны прелестным грациям [13] (*лат.*).

это ради себя, ибо мне вовсе не по нутру чопорное и унылое мудрствование; которому предается весь свет. Я делаю это, чтобы доставить отраду себе самому, а не моему стилю, который предпочел бы сюжеты более возвышенные и строгие, если только заслуживает названия стиля беспорядочная и бессвязная речь или, правильнее сказать, бесхитростное просторечие и изложение, не признающее ни полагающейся дефиниции, ни правильного членения, ни заключения, путаное и нескладное, вроде речей Амафания и Рабирия [14]. Я не умею ни угождать, ни веселить, ни подстрекать воображение. Лучший в мире рассказ становится под моим пером сухим, выжатым и безнадежно тускнеет. Я умею говорить только о том, что продумано мною заранее, и начисто лишен той способности, которую замечаю у многих моих собратьев по ремеслу и которая состоит в уменье заводить разговор с первым встречным, держать в напряжении целую толпу людей или развлекать без устали слух государя, болтая о всякой всячине, и при этом не испытывать недостатка в темах для разглагольствования — поскольку люди этого сорта хватаются за первую подвернувшуюся им,— приспосабливая эти темы к настроениям и уровню тех, с кем приходится иметь дело. Принцы не любят серьезных бесед, а я не люблю побасенок. Я не умею приводить первые пришедшие в голову и наиболее доступные доводы, которые и бывают обычно самыми убедительными; о каком бы предмете я ни высказывался, я охотнее всего вспоминаю наиболее сложное из всего, что знаю о нем. Цицерон считает, что в философских трактатах наиболее трудная часть — вступление [15]. Прав он или нет, для меня лично самое трудное — заключение. И вообще говоря, нужно уметь отпускать струны до любого потребного тона. Наиболее высокий — это как раз тот, который реже всего употребляется при игре. Чтобы поднять легковесный предмет, требуется по меньшей мере столько же ловкости, сколько необходимо, чтобы не уронить тяжелый. Иногда следует лишь поверхностно касаться вещей, а иной раз, наоборот, надлежит углубляться в них. Мне хорошо известно, что большинству свойственно копошиться у самой земли, поскольку люди, как правило, познают вещи по их внешнему облику, по коре, покрывающей их, но я знаю также и то, что величайшие мастера, и среди них Ксенофонт и Платон, снисходили нередко к низменной и простонародной манере говорить и обсуждать самые разнообразные вещи, украшая ее изяществом, которое свойственно им во всем.

Впрочем, язык мой не отличается ни простотой, ни плавностью; он шероховат и небрежен, у него есть свои прихоти, которые не в ладу с правилами; но каков бы он ни был, он все же нравится мне, если и не по убеждению моего разума, то по душевной склонности. Однако я хорошо чувствую, что иной раз захожу, пожалуй, чересчур далеко и, желая избегнуть ходульности и искусственности, впадаю в другую крайность;

brevis esse laboro,
Obscurus fio *.

* Стараясь быть кратким, я становлюсь непонятным [16] (*лат.*).

Платон говорит[17], что многословие или краткость не являются свойствами, повышающими или снижающими достоинства языка. Отмечу, что всякий раз, когда я пробовал держаться чуждого мне стиля, а именно ровного, единообразного и упорядоченного, я всегда терпел неудачу. И добавлю, что хотя каденции и цезуры Саллюстия[18] мне более по душе, я все же считаю Цезаря и более великим и менее доступным для подражания. И если мои склонности влекут меня скорее к воспроизведению стиля Сенеки, то это не препятствует мне гораздо выше ценить стиль Плутарха. Как в поступках, так и в речах я следую, не мудрствуя, своим естественным побуждениям, откуда и происходит, быть может, то, что я говорю лучше, чем пишу. Деятельность и движение воодушевляют слова, в особенности у тех, кто подвержен внезапным порывам, что свойственно мне, и с легкостью воспламеняется; поза, лицо, голос, одежда и настроение духа могут придать значительность тем вещам, которые сами по себе лишены ее,— и даже пустой болтовне. Мессала у Тацита[19] жалуется на то, что узкие одеяния, принятые в его время, а также устройство помоста, с которого выступали ораторы, немало вредили его красноречию.

Мой французский язык сильно испорчен и в смысле произношения и во всех других отношениях варварством той области, где я вырос; я не знаю в наших краях ни одного человека, который не чувствовал бы сам своего косноязычия и не продолжал бы тем не менее оскорблять им чисто французские уши. И это не оттого, что я так уж силен в своем перигорском наречии, ибо я сведущ в нем не более, чем в немецком языке, о чем нисколько не сожалею. Это наречие, как и другие, распространенные вокруг в той или иной области,— как, например, пуатвинское, сентонжское, ангулемское, лимузинское, овернское — тягучее, вялое, путаное; впрочем, повыше нас, ближе к горам, существует еще гасконская речь, на мой взгляд, выразительная, точная, краткая, поистине прекрасная; это язык действительно мужественный и воинственный в большей мере, чем какой-либо другой из доступных моему пониманию, язык настолько же складный, могучий и точный, насколько изящен, тонок и богат французский язык.

Что до латыни, которая в детстве была для меня родным языком[20], то, отвыкнув употреблять ее в живой речи, я утратил беглость, с какою некогда говорил на ней; больше того, я отвык и писать по-латыни, а ведь в былое время я владел ею с таким совершенством, что меня прозвали «учителем Жаном». Вот как мало сто́ю я и в этом отношении.

Красота — великая сила в общении между людьми; это она прежде всего остального привлекает людей друг к другу, и нет человека, сколь бы диким и хмурым он ни был, который не почувствовал бы себя в той или иной мере задетым ее прелестью. Тело составляет значительную часть нашего существа, и ему принадлежит в нем важное место[21]. Вот почему его сложение и особенности заслуживают самого пристального внимания. Кто хочет разъединить главнейшие составляющие нас части и отделить одну из них от другой, те глубоко неправы; напротив, их нужно связать тесными узами и объединить в одно целое; необходимо повелеть

нашему духу, чтобы он не замыкался в себе самом, не презирал и не оставлял в одиночестве нашу плоть (а он и не мог бы сделать это иначе, как из смешного притворства), но сливался с нею в тесном объятии, пекся о ней, помогал ей во всем, наблюдал за нею, направлял ее своими советами, поддерживал, возвращал на правильный путь, когда она с него уклоняется, короче говоря, вступил с нею в брак и был ей верным супругом, так чтобы в их действиях не было разнобоя, но напротив, чтобы они были неизменно едиными и согласными.

Христиане имеют особое наставление относительно этой связи, ибо они знают, что правосудие господне предполагает это единение и сплетение тела и души настолько тесным, что и тело, вместе с душой, обрекает на вечные муки или вечное блаженство; они знают также, что бог видит все дела каждого человека и хочет, чтобы он во всей своей цельности получал по заслугам своим либо кару, либо награду.

Школа перипатетиков, из всех философских школ наиболее человечная, приписывала мудрости одну-единственную заботу, а именно — печься об общем благе этих обеих живущих совместною жизнью частей нашего существа и обеспечивать им это благо. Перипатетики полагали, что прочие школы, недостаточно углубленно занимаясь рассмотрением вопроса об этом совместном существовании, в равной мере впадали в ошибку, уделяя все свое внимание, одни — телу, другие — душе, и упуская из виду свой предмет, человека, и ту, кого они, вообще говоря, признают своей наставницей, то есть природу. Весьма возможно, что преимущество, даруемое нам природой в виде красоты, и повело к первым отличиям между людьми и к тому неравенству среди них, из которого и выросло преобладание одних над другими:

agros divisere atque dedere
Pro facie cuiusque, et viribus ingenioque:
Nam facies multum valuit viresque virebant *.

Что до меня, то я немного ниже среднего роста. Этот недостаток не только вредит красоте человека, но и создает неудобство для всех тех, кому суждено быть военачальниками и вообще занимать высокие должности, ибо авторитетность, придаваемая красивой внешностью и телесной величавостью,— далеко не последняя вещь. Гай Марий [23] с большой неохотой принимал в свою армию солдат ростом менее шести футов. «Придворный» [24] имеет все основания высказывать пожелание, чтобы дворянин, которого он воспитывает, был скорее обычного роста, чем какого-либо иного; он прав также и в том, что не хочет видеть в нем ничего из ряда вон выходящего, что подавало бы повод указывать на него пальцем. Но если и нужна золотая середина, то в случае необходимости выбора между отклонениями в ту или другую сторону я предпочел бы — если бы речь

* Они поделили поля, одаряя всех согласно их красоте, дарованиям и силе, ибо красота тогда много значила и сила ценилась [22] (*лат.*).

шла о человеке военном,— чтобы он был скорее выше, чем ниже, среднего роста. Люди низкого роста, говорит Аристотель[25], могут быть очень миловидными, но красивыми они никогда не бывают; в человеке большого роста мы видим большую душу, как в большом, рослом теле — настоящую красоту. Индийцы и эфиопы, говорит тот же автор[26], избирая своих царей и правителей, обращали внимание на красоту и высокий рост избираемых. И они были правы, ибо, если во главе войска находится вождь могучего и прекрасного телосложения, его почитают те, кто идет за ним, и страшатся враги:

Ipse inter primos praestanti corpore Turnus
Vertitur, arma tenens, et toto vertice supra est *.

Наш великий, божественный и небесный царь, каждая мысль которого должна быть тщательно, благочестиво и благоговейно принимаема нами, не пренебрег телесной красотой: speciosus forma prae filiis hominum **.

Также и Платон наряду с умеренностью и твердостью требует, чтобы правители его государства обладали красивой наружностью[29]. Чрезвычайно досадно, если, видя вас среди ваших людей, к вам обращают вопрос: «А где же ваш господин?», и если на вашу долю приходятся лишь остатки поклонов, расточаемых вашему цирюльнику или секретарю, как это случилось с беднягой Филопеменом[30]. Однажды он прибыл раньше сопровождавших его в тот дом, где его ожидали, и хозяйка, не зная его в лицо и видя, до чего он невзрачен собой, велела ему помочь служанкам натаскать воду и разжечь огонь, чтобы услужить Филопемену. Лица, состоявшие в его свите, прибыв туда и застав его за этим приятным занятием,— ибо он счел необходимым повиноваться полученному им приказанию — спросили его, что он делает. «Я расплачиваюсь,— сказал он в ответ,— за мое уродство». Красота всех частей тела нужна женщине, но красота стана — единственная, необходимая мужчине. Там, где налицо малый рост, там ни ширина и выпуклость лба, ни белизна глазного белка и приветливость взгляда, ни изящная форма носа, ни небольшие размеры рта и ушей, ни ровные и белые зубы, ни равномерная густота каштановой бороды, ни красота ее и усов, ни округлая голова, ни свежий цвет лица, ни благообразие черт его, ни отсутствие дурного запаха, исходящего от тела, ни пропорциональность частей его не в состоянии сделать мужчину красивым.

В остальном я сложения крепкого и, что называется, ладно скроен; лицо у меня не то чтобы жирное, но достаточно полное; темперамент — нечто среднее между жизнерадостным и меланхолическим, я наполовину сангвиник, наполовину холерик:

Unde rigent setis mihi crura, et pectora villis ***;

* Впереди всех мчится, с оружием в руках, величавый с виду и на целую голову выше других, сам Турн[27] (*лат.*).
** Ты прекраснее сынов человеческих[28] (*лат.*).
*** У меня волосатые ноги и грудь[31] (*лат.*).

здоровье у меня крепкое, и я неизменно чувствую себя бодрым и, хотя я уже в годах, меня редко мучили болезни. Таким, впрочем, я был до сих пор, ибо теперь, когда, перейдя порог сорока лет, я ступил уже на тропу, ведущую к старости, я больше не считаю себя таковым:

minutatim vires et robur adultum
Frangit, et in partem peiorem liquitur aetas *.

То, что ожидает меня в дальнейшем, будет не более чем существованием наполовину; это буду уже не я: что ни день, я все дальше и дальше ухожу от себя и обкрадываю себя самого:

Singula de nobis anni praedantur euntes **.

Что до ловкости и до живости, то их я никогда не знал за собой. Я — сын отца, поразительно живого и сохранявшего бодрость вплоть до глубокой старости. И не было человека его круга и положения, который мог бы сравняться с ним в телесных упражнениях разного рода, в чем бы они ни состояли; точно так же не было человека, который не превзошел бы меня в этом деле. Исключение составляет, пожалуй, лишь один бег: тут я был в числе средних. Что касается музыки, то ни пению, к которому я оказался совершенно неспособен, ни игре на каком-либо инструменте меня так и не смогли обучить. В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда не достигал ничего большего, чем самой что ни на есть заурядной посредственности. Ну а в плаванье, искусстве верховой езды и прыжках я и вовсе ничего не достиг. Руки мои до того неловки, неуклюжи, что я не в состоянии сколько-нибудь прилично писать даже для себя самого, и случается, что, нацарапав кое-как что-нибудь, я предпочитаю написать то же самое заново, чем разбирать и исправлять свою мазню. Да и читаю вслух я нисколько не лучше: я чувствую, что усыпляю слушателей. Словом, я великий грамотей! Я не умею правильно запечатать письмо и никогда не умел чинить перья; не умел я также ни подобающим образом пользоваться ножом за едой, ни взнуздывать и седлать лошадь, ни носить на руке и спускать сокола, ни разговаривать с собаками, ловчими птицами и лошадьми. Моим телесным свойствам соответствуют в общем и свойства моей души. Моим чувствам так же неведома настоящая живость, они также отличаются лишь силой и стойкостью. Я вынослив и легко переношу всякого рода тяготы, но вынослив я только тогда, когда считаю это необходимым, и только до тех пор, пока меня побуждает к этому мое собственное желание,

Molliter austerum studio fallente laborem ***.

---

* Мало-помалу силы и здоровье слабеют, и вся жизнь приходит в упадок [32] (*лат.*).
** Годы идут, похищая у нас одного за другим [33] (*лат.*).
*** Рвение, заставляющее забывать тяжкий труд [34] (*лат.*).

Иначе говоря, если меня не манит предвкушаемое мной удовольствие и если мной руководит нечто другое, а не моя собственная свободная воля, я ничего не стою, ибо я таков, что, кроме здоровья и жизни, нет ни одной вещи на свете, ради которой я стал бы грызть себе ногти и которую готов был бы купить ценою душевных мук и насилия над собой,

tanti mihi non sit opaci
Omnis arena Tagi, quodque in mare volvitur aurum *.

До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своему характеру и по убеждению, я охотнее отдам свою кровь, чем лишний раз ударю пальцем о палец. Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь себе и никому больше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не зная над собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, я беспрепятственно шел по избранному мной пути, и притом тем шагом, который мне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому.

У меня не было никакой нужды насиловать мой характер — мою тяжеловесность, любовь к праздности и безделью,— ибо, оказавшись со дня рождения на такой ступени благополучия, что я счел возможным остановиться на ней, и на такой ступени здравомыслия; что это оказалось возможным, я ничего не искал и ничего не обрел:

Non agimur tumidis velis Aquilone secundo,
Non tamen adversis aetatem ducimus Austris:
Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re,
Extremi primorum, extremis usque priores **.

Я нуждался для этого лишь в одном — в способности довольствоваться своей судьбой, то есть в таком душевном состоянии, которое, говоря по правде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения, но на практике чаще встречающаяся среди бедняков, чем среди людей состоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его; а, кроме того, добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чем, кроме того, чтобы мирно наслаждаться благами, дарованными мне господом богом от неисповедимых щедрот его. Мне никогда не случалось нести какого-нибудь тягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственными делами; а если

* Не настолько ценю я пески скрытого в тени Тага, что катит золото в море [35] (*лат.*).
** Мы не летим на парусах, надутых попутным ветром, но и не влачим свой век под враждебными ветрами. По силе, дарованию, красоте, добродетели, рождению и достатку мы последние среди первых, но вместе с тем и первые средь последних [36] (*лат.*).

порою и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался я на это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время и по-своему. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручали мне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что́ я представляю собой и не толкавшие меня в спину. Ведь люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади.

Мое детство протекало в условиях весьма благоприятных и нестеснительных; мне было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле. Все это, вместе взятое, воспитало во мне мягкость характера и сделало меня неустойчивым пред лицом неприятностей, и я неизменно бываю рад, когда от меня скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня за живое. В графу моих расходов я вношу также и то, что, по моей нерадивости, было истрачено лишнего на прокорм и содержание моих слуг:

> haec nempe supersunt,
> Quae dominum fallant, quae prosint furibus *.

Я предпочитаю не вести счет тому, что имею, лишь бы не быть в точности осведомленным о понесенных мною убытках; и прошу тех, кто живет вместе со мной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувства признательности и обманывают меня, они делали это, хороня концы в воду. Не располагая достаточной твердостью, чтобы выносить докучливую возню с различными, обступающими нас со всех сторон заботами, не умея постоянно напрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне бы хотелось, я, полагаясь во всем на судьбу, следую, насколько это для меня достижимо, такому правилу: «Ожидать всего самого худшего и, в случае если это худшее грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением». Только к этому я и стремлюсь, именно к этому клонятся все мои рассуждения.

Когда мне угрожает опасность, я думаю не столько о том, как избегнуть ее, сколько о том, до чего, в сущности, не важно, удастся ли мне ее избежать. Ну а если она настигнет меня, что из этого? Не имея возможности воздействовать на события, я воздействую на себя самого, и покорно следую за ними, раз не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен в том, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставлять ее силой делать угодное мне, как никогда не умел также устраивать свои дела подобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Еще в меньшей мере я обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостными заботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для меня состояние — это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной и теснят меня, а также метаться между надеждой и страхом.

* Немало есть и такого, что ускользает от хозяйского взора и идет на пользу ворам [37] (*лат.*).

Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным,— занятие, для меня совершенно несносное, и я ощущаю, что мой ум подавлен неизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатания и толчки, порождаемые неуверенностью и сомнениями, чем когда, свободный от колебаний, он принимает, полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чем бы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон, но что до раздумий, то даже самое легкое безнадежно расстраивает его. Точно так же я не люблю покатых и скользких обочин дороги, а охотнее всего пользуюсь ее самой наезженной частью, хотя она и наиболее грязная и наиболее вязкая, ибо, стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда не свалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут по крайней мере меня не томит неизвестность — пройдут ли они стороной или нет; лучше уж пусть судьба одним ударом ввергнет меня в страдание:

dubia plus torquent mala *.

Когда приходит беда, я встречаю ее, как подобает мужчине, но во всех иных обстоятельствах веду себя как сущий младенец. Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которых не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвестные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Самая низкая ступенька — самая прочная: она — основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться; будучи вделана накрепко, она служит опорой всему остальному. Не содержит ли в себе нечто философское следующий пример, явленный нам одним дворянином, пользовавшимся в свое время широкой известностью. Он женился уже в летах, проведя молодость изрядным повесой. Это был мастак поболтать и большой насмешник. Вспоминая, сколь удобной мишенью были для него рогоносцы и как часто он потешался над ними, этот дворянин, дабы оградить себя от того же, взял в жены женщину, которую подцепил в таком месте, где каждый мог иметь ее за деньги, и они начали совместную жизнь, обменявшись такими приветствиями: «Добрый день, потаскушка», «Добрый день, рогоносец». И ни о чем он чаще и откровеннее не беседовал со своими гостями, как о причинах, побудивших его жениться на этой особе. Благодаря этому он обуздывал шедшие за его спиной пересуды и отводил от себя острие попреков этого рода.

Что касается честолюбия, которое — ближайший сосед самомнению или, скорее дитя его то для того, чтобы распалить во мне эту страсть, пришлось бы, пожалуй, самому счастью схватить меня за руку. Ибо навязать ради зыбкой надежды заботу на шею и подвергать себя бесчисленным тяготам, неизбежным вначале для всякого, кто жаждет возвыситься

* Ибо мучительнее всего неизвестность [38] (*лат.*).

над другими,— нет, это отнюдь не по мне:

spem pretio non emo *.

Я держусь того, что ясно вижу и чем обладаю, и никогда не удаляюсь от моей гавани,

Alter remus aquas, alter tibi radat arenas **.

И к тому же, мало кому удается достигнуть чего-нибудь, не рискуя предварительно своим кровным добром; и я считаю, что если его достаточно, чтобы поддерживать свое существование в тех же условиях, в каких ты родился и вырос, то совершеннейшее безумие терять то, что имеешь, в шатком расчете на возможность приобрести большее. Тому, кому судьба отказала в местечке, где он мог бы обосноваться и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь, тому простительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли, иначе ли, а нужда все равно заставит его пуститься в погоню за счастьем.

Capienda rebus in malis praeceps via est ***.

И я скорее готов оправдать младшего сына, бросающего на ветер свою законную долю [42], чем старшего, который, являясь блюстителем чести своего рода, сам доводит себя до разорения.

Руководствуясь советами моих добрых друзей минувших времен, я нашел самый прямой и легкий путь, чтобы избавиться от подобных желаний и оставаться невозмутимо спокойным,—

Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmae ****,—

имея достаточно трезвое представление о своих силах, понимая, что на бо́льшие дела их не хватит, и храня в памяти слова покойного канцлера Оливье, говорившего, «что французы похожи на обезьян, которые взбираются по деревьям, перескакивая с ветки на ветку, и успокаиваются только тогда, когда, добравшись до самой верхушки, показывают оттуда свои зады».

Turpe est, quod nequeas, capiti committere pondus,
Et pressum inflexo mox dare terga genu *****.

Даже те черты моего характера, которые, вообще говоря, нельзя назвать плохими, в наш век, по-моему, ни к чему. Свойственные мне уступчивость и покладистость назовут, разумеется, слабостью и малодушием;

---

* За деньги я надежды не покупаю [39] (*лат.*).

** Одно весло у тебя загребает воду, другое — песок [40] (*лат.*).

*** В беде следует принимать опасные решения [41] (*лат.*).

**** Если кому суждена без борьбы сладкая участь победителя [43] (*лат.*).

***** Постыдно возлагать себе на голову непосильную тяжесть и, как только она надавит, тотчас же с дрожью в поджилках отступать [44] (*лат.*).

честность и совестливость найдут нелепой щепетильностью и предрассудком; искренность и свободолюбие будут сочтены несносными, неразумными, дерзкими. Но нет худа без добра! Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности[45]:

Nunc si depositum non infitiatur amicus,
Si reddat veterem cum tota aerugine follem,
Prodigiosa fides et Tuscis digna libellis,
Quaeque coronata lustrari debeat agna *.

Не было еще такой страны и такого века, когда бы властители могли рассчитывать на столь несомненную и столь глубокую признательность в оплату за их милости и их справедливость. Первый из них, кто догадается искать народной любви и славы на этом пути, тот — или я сильно ошибаюсь — намного опередит своих державных товарищей. Сила и принуждение кое-что значат, однако не всегда и отнюдь не во всем.

Купцы, сельские судьи, ремесленники, как мы легко можем убедиться, нисколько не уступают дворянам ни в доблести, ни в знании военного дела[47]: они славно бьются как на полях сражений, так и на поединках; они отстаивают города в нашиx нынешних гражданских войнах. Среди этой сумятицы государь лишается своего ореола славы. Так пусть же он возблистает своей человечностью, правдивостью, прямотой, умеренностью и прежде всего справедливостью — достоинствами, в наши дни редкими, неведомыми, гонимыми. Лишь добрые чувства народов могут доставить ему возможность свершать значительные деяния, и никакие другие качества не в состоянии снискать ему эти добрые чувства, ибо именно эти качества наиболее полезны для подданных.

Nihil est tam populare, quam bonitas **.

Сопоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечто значительное и редкостное, подобно тому как я кажусь себе пигмеем и самой обыденной личностью, сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когда было вещью самою что ни на есть обычною — если к этому не присоединялись другие более похвальные качества — видеть людей умеренных в жажде мести, снисходительных по отношению к тем, кто нанес им оскорбление, неукоснительных в соблюдении данного ими слова, не двуличных, не податливых, не приспособляющих своих взглядов к воле другого и к изменчивым обстоятельствам. Я скорее пред-

---

* В наши дни, если друг твой не откажется, что он взял на хранение твои деньги, и вернет тебе старый мешок со всеми монетами, такая честность — просто чудо, заслуживающее увековечения в этрусских писаниях и принесения в жертву овцы с венком на шее[46] (*лат.*).

** Ничто так не ценится народом, как доброта[48] (*лат.*).

почту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности. Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, они не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или, по меньшей мере, все человечно.

Аристотель считает [49], что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрение и порицание, исходящие от других. Аполлоний сказал[50], что ложь — это удел раба, свободным же людям подобает говорить чистую правду.

Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком вполне правдивым. Моя душа, по своему складу, чуждается лжи и испытывает отвращение при одной мысли о ней; я сгораю от внутреннего стыда, и меня точит совесть, если порой у меня вырывается ложь, а это иногда все же бывает, когда меня неожиданно принуждают к этому обстоятельства, не дающие мне опомниться и осмотреться.

Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь,— это было бы глупостью, но все, что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это — злостный обман. Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похваляться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули б свою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях» [51] (что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским [52]), или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет как следует притворяться, тот не умеет и царствовать» [53],— это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман. Quo quis versutior et callidior est, hoc invisior et suspectior, detracta opinione probitatis *. Чело-

---

* Чем человек изворотливее и ловчее, тем больше в нем ненависти и подозрительности, когда он утратил свою репутацию честности [54] (*лат.*).

век, который, подобно Тиберию[55], взял себе за правило думать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворной миной разве что настоящего болвана; и я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди в отношениях с другими людьми, раз все, что бы ни исходило от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.

Те, кто уже в наше время в своих рассуждениях об обязанностях монарха толкуют лишь о способах извлечения выгоды при ведении им своих дел и пренебрегают при этом заботой о сохранении им добропорядочности и незапятнанной совести[56], быть может, и говорят кое-что дельное, но их советы пригодны лишь тому из монархов, дела которого устроены судьбой таким образом, что он может одним махом, раз и навсегда уладить их путем коварного нарушения своего слова. Но в действительности этого не бывает, ибо к уловкам такого рода государи прибегают постоянно: ведь не раз приходится заключать мир или какой-нибудь договор. Выгода — вот что толкает их на первую нечестность,— та выгода, которая манит людей на всякого рода злодейства, как, например, святотатство, убийства, мятежи и предательства, всегда предпринимаемые в каких-либо корыстных целях. Но эта первая выгода влечет за собой бесчисленные невыгоды, поскольку, показав образец своего вероломства, такой монарх сразу нарушает добрые отношения с другими монархами и теряет возможность вступать с ними в какие бы то ни было соглашения. Сулейман[57], государь оттоманской династии, не очень-то щепетильный в соблюдении обещаний и договоров, вступив в дни моего детства[58] со своим войском в Отранто и узнав, что Меркурин де Гратинаро и обитатели Кастро, сдав эту крепость, задерживаются, вопреки условиям сдачи, заключенным с ними его людьми, в качестве пленных, повелел возвратить им свободу, ибо, задумав предпринять в этой стране другие значительные дела, он полагал, что эта бесчестность, хотя на первый взгляд она и казалась полезной, может навлечь на него дурную славу и недоверие, чреватые неисчислимыми бедами[59].

Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что, когда держишься с такою искренностью и прямотой, не взирая на лица, как это свойственно мне, то тут, быть может, примешивается также немножко гордости и упрямства, и мне кажется, что я веду себя с большей непринужденностью именно там, где это меньше всего подобает, и что путы, налагаемые на меня необходимостью быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я по своей простоте следую в этих случаях за своею природой. Позволяя себе в общении с власть имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но, кроме того, что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него с помощью какого-нибудь ловкого хода или искажать истину, как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове искажен-

ную мною истину, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем: короче говоря, я храбр от слабости. Вот почему я решаюсь уж лучше быть непосредственным и почитаю необходимым неизменно говорить то, что думаю, и поступаю таким образом как в силу моего душевного склада, так и на основании здравого размышления, предоставляя судьбе делать со мною все, что ей будет угодно. Аристипп говорил, что главная польза, извлеченная им из философии, это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно со всяким [60].

Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память, и без нее наш ум почти бессилен. Я, однако, лишен ее начисто. Если мне хотят что-нибудь рассказать, необходимо, чтобы это делали по частям, ибо ответить на речь, в которой содержится много различных разделов,— это мне не по силам, и я не сумел бы выполнить ни одного поручения, не располагая записной дощечкой [61]. И если мне требуется произнести сколько-нибудь значительную и длинную речь, я вынужден прибегать к убогой и жалкой необходимости выучивать наизусть, слово за словом, все, что я должен сказать; в противном случае я не смогу держаться подобающим образом и не буду обладать должной уверенностью в себе, испытывая все время страх, как бы моя слабая память не подвела меня. Но этот способ для меня нисколько не легче; три стиха я учу три часа, и затем, когда имеешь дело с собственным сочинением, то свойственная автору свобода, с какой можешь делать перестановки, заменять те или иные слова, вносить новое в содержание, приводит к тому, что вещи этого рода укладываются в памяти хуже. И чем большим недоверием я к ней проникаюсь, тем больше она мне изменяет; она служит мне гораздо лучше, когда я о ней вовсе не думаю. Нужно, чтобы я увещевал ее без нажима, ибо, когда я на нее наседаю, она начинает сдавать, а если уж она начала спотыкаться, то чем больше я понукаю ее, тем больше она хромает и путается; она служит мне в свой час, а не в тот, когда нужна мне.

Все, что я замечаю в себе по части памяти, я замечаю и относительно многого другого: я не выношу подчинения, обязательств и насилия над собой. То, что я делаю легко и естественно, того мне больше не сделать, начни я побуждать себя к этому настойчивыми и властными понуканиями. То же самое могу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хоть малейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порою в повиновении, когда я заранее предписываю им послужить мне в определенных обстоятельствах и в определенный час. Это наперед отданное им приказание, твердое и властное, внушает им отвращение: они сжимаются от страха или неудовольствия и цепенеют.

Однажды, находясь в таком месте, где считалось варварской неучтивостью не отвечать согласием всякому приглашающему вас выпить, я попытался — хотя мне и была предоставлена свобода поступать по своему усмотрению — вести себя в угоду дамам согласно тамошним обычаям, присутствовавшим при этом, как подобает доброму собутыльнику, но тут со мной случилось нечто весьма забавное: эта угроза и приготовления к тому, чтобы пить сверх моей обычной и естественной меры, сжали мне гор-

ло, да так туго, что я так и не смог проглотить ни капли, лишив себя даже того, что привык выпивать за обедом: я чувствовал себя пьяным и пресыщенным той выпивкой, которой было полно мое воображение. Это явление отчетливее всего наблюдается у людей, наделенных могучим и необузданным воображением, но оно все же естественно, и нет ни одного человека, который не был бы в той или иной мере подвержен ему. Один превосходный лучник был приговорен к смерти; ему предложили помилование с условием, что он должен сделать какой-то особенно ловкий выстрел и тем самым дать доказательство своего замечательного искусства. Он не пожелал, однако, подвергнуться этому испытанию, опасаясь, что от чрезмерного напряжения воли рука его дрогнет и, вместо того чтобы спасти себя, он утратит славу, завоеванную им меткой стрельбой. Человек, который часто прогуливается в одном и том же месте, углубившись в свои мысли, обязательно покроет одинаковое расстояние в точности одним и тем же количеством шагов всякий раз того же размера; но если бы он стал отсчитывать и отмеривать свои шаги, оказалось бы, что он, прилагая все свои старания, никогда не проделает того, что ему удавалось проделывать естественно и без всяких усилий.

Моя библиотека, которая среди деревенских библиотек может считаться одной из лучших, расположена, в дальнем конце моего дома. Когда мне приходит в голову навести в ней какую-нибудь справку или сделать выписку, то, опасаясь, как бы, пересекая двор, я не забыл того, за чем отправился, я бываю вынужден сообщить о своих намерениях кому-нибудь из домашних. Если я отважусь, выступая с речью, отклониться хоть на самую малость от моей путеводной нити, я непременно утрачу ее; вот почему в своих речах я крайне сух, сдержан и краток. И даже людей, находящихся у меня в услужении, мне приходится называть либо по занимаемой ими должности, либо по месту, откуда они родом, ибо мне чрезвычайно трудно запомнить их имена; я скорее скажу, что в таком-то имени три слога, что оно неблагозвучно, что оно начинается или заканчивается такой-то буквой. И если мне суждено еще пожить на свете, то я отнюдь не уверен, что не забуду своего имени, как это случалось с другими. Мессала Корвин на целых два года полностью утратил память; то же самое рассказывают и о Георгии Трапезундском[62]. И я нередко прикидываю, какова же была жизнь этих людей, а также располагал ли бы я хоть чем-нибудь для поддержания мало-мальски сносного существования, если бы также потерял память; и задумываясь над этим, начинаю побаиваться, что этот изъян, дойдя до крайних своих пределов, может сгубить все проявления духовной жизни: Memoria certe non modo philosophiam, sed omnis vitae usum omnesque artes una maxime continet *.

Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo **.

---

* Память объемлет не только философию, но и все науки и применение их к жизни[63] (*лат.*).

** Кругом в дырах я и повсюду протекаю[64] (*лат.*).

Мне случалось не раз и не два забывать пароль, за три часа до того данный мною самим или полученный от кого-либо другого; случалось забывать и о том, куда я спрятал свой кошелек, что бы ни говорил на этот счет Цицерон[65]. Я помогаю себе терять то, за что держусь особенно цепко. Память есть склад и вместилище знаний, и, поскольку она у меня крайне слаба, я не имею никакого права сетовать на то, что решительно ничего, можно сказать, не знаю. Вообще говоря, я знаю названия всех наук и чем они занимаются, но дальше этого ничего не знаю. Я листаю книги, но вовсе не изучаю их; если что и остается в моей голове, то я больше уже не помню, что это чужое; и единственная польза, извлекаемая моим умом из таких занятий, это мысли и рассуждения, которые он при этом впитывает. Что же касается автора, места, слов и всего прочего, то все это я сразу же забываю.

Я достиг такого совершенства в искусстве забывать все на свете, что даже собственные писания и сочинения забываю не хуже, чем все остальное; мне постоянно цитируют меня самого, а я этого не замечаю. Кто пожелал бы узнать, откуда взяты стихи и примеры, которые я нагромоздил здесь целыми ворохами, тот привел бы меня в немалое замешательство, так как я не смог бы ответить ему. А между тем я собирал подаяние лишь у дверей хорошо известных и знаменитых, не довольствуясь тем, чтобы оно было щедрым, но стремясь и к тому, чтобы оно исходило от руки неоскудевающей и почтенной, ибо мудрость тут сочетается с авторитетностью. И нет ничего удивительного, что моя книга разделяет судьбу всех других прочитанных мною книг и что в моей памяти с одинаковой легкостью изглаживается как то, что написано мной, так и то, что мною прочитано, как то, что мной дано, так и то, что получено мной.

Кроме того, что у меня никуда негодная память, мне свойствен еще ряд других недостатков, усугубляющих мое невежество. Мой ум неповоротлив и вял; малейшее облачко снижает его проницательность, так что, к примеру сказать, не было случая, чтобы я предложил ему какую-нибудь загадку, сколь бы несложной она ни была, и он разгадал бы ее; какая-нибудь замысловатая пустяковина ставит его в тупик. В играх, требующих сообразительности, как, например, шахматы, карты, шашки и тому подобное, я способен усвоить лишь самое основное. Я воспринимаю медленно и неотчетливо, но если мне все же удалось что-нибудь уловить, я удерживаю воспринятое во всей его полноте, постигнув его всесторонне, точно и глубоко, пока оно удерживается во мне. Зрение у меня острое, отчетливое и без недостатков, но при работе оно легко утомляется и начинает сдавать. По этой причине я не могу поддерживать длительное общение с книгами и вынужден прибегать к посторонней помощи. Плиний Младший мог бы поведать тем, кто не знаком с этим на опыте, насколько велика эта помеха для всякого, предающегося подобным занятиям[66].

Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она ни была, в которой не сквозил бы проблеск какой-нибудь особой способности; и нет столь глубоко погребенной способности, чтобы она так или иначе не проявила себя. Каким образом получается, что душа, слепая и сонная

во всем остальном, становится живой, прозорливой и возвышенной в каком-то частном своем проявлении,— за разъяснением этого надлежит обратиться к нашим учителям. Но истинно прекрасные души всеобъемлющи, открыты и готовы к познанию всего, что бы то ни было, и если они порой недостаточно просвещенны, то для них во всяком случае не закрыта возможность стать просвещенными. Все это я говорю в укор моей собственной душе, ибо — то ли по своей немощности, то ли по нерадивости (а нерадивое отношение к тому, что у нас под ногами, что в наших руках, что непосредственно касается нашего повседневного обихода,— это то, что я всегда осуждал в себе),— но она такова, что не найти другой столь же бездарной и столь же невежественной в вещах самых обыденных и привычных, не знать которые просто стыд. Я хочу привести несколько примеров в подтверждение сказанного.

Я родился и вырос в деревне, среди земледельческих работ разного рода. У меня на руках дела и хозяйство, которые я веду с того дня, когда те, кто владел до меня всем тем, что теперь — моя собственность, уступили мне свое место. И все же я не умею считать ни в уме, ни на бумаге, не знаю большинства наших монет, и мне не под силу отличить один злак от другого ни в поле, ни в закроме, если различия между ними не так уж разительны; то же я должен сказать о капусте и салате в моем огороде. Я не разбираюсь в названиях наиболее необходимых в сельском хозяйстве орудий, и мне неведомы основы основ земледелия, известные даже детям. Еще меньше смыслю я в искусстве механики, в торговле, в различных товарах, в свойствах и сортах разнообразных плодов, вин, мяса, в натаскивании ловчих птиц, в лечении лошадей и собак. И чтобы окончательно посрамить себя, признаюсь, что не далее как месяц назад я был уличен в незнании, зачем нужны дрожжи при хлебопечении, и что означает, когда говорят, что вину нужно перебродить. В древних Афинах считали, что кто ловко укладывает и связывает вязанки валежника, тому свойственны математические способности [67]; обо мне, конечно, вынесли бы суждение прямо противоположное этому. Будь у меня полная кухня припасов, я все равно голодал бы. По тем недостаткам, в которых я признался, нетрудно представить себе и другие, столь же нелестные для меня. Но каким бы я ни был в собственном изображении, если это изображение отвечает действительности, я могу считать мою цель достигнутой. И если я не приношу извинений, осмелившись изложить письменно вещи столь ничтожные и легковесные, то единственная причина, удерживающая меня от этого шага,— ничтожность предмета, которым я занимаюсь. Пусть меня порицают, если угодно, за этот мой замысел, но не за то, как он выполнен. Как бы то ни было, я и без указаний со стороны отчетливо вижу незначительность и малоценность всего сказанного мною по этому поводу, равно как и нелепость моих намерений, и это доказывает, что мой ум, опыты которого — эти писания, еще не окончательно обессилен:

Nasutus sis usque licet, sis denique nasus,
Quantum noluerit ferre rogatus Atlas,

Et possis ipsum tu deridere Latinum,
Non potes in nugas dicere plura meas,
Ipse ego quam dixi: quid dentem dente iuvabit
Rodere? carne opus est, si satur esse velis.
Ne perdas operam: qui se mirantur, in illos
Virus habe; nos haec novimus esse nihil *.

Мне отнюдь не запрещено говорить глупости, лишь бы я не обманывался насчет их настоящей цены; и впадать в ошибки сознательно — вещь для меня столь обычная, что я только так и впадаю в них; но я никогда не впадаю в них по вине случая. Сваливать вину за поступки нелепые, но маловажные, на безрассудство моего нрава — это сущие пустяки, раз я не могу, как правило, запретить себе сваливать на него вину и за поступки явно порочные.

Как-то в Бар-ле-Дюке в моем присутствии королю Франциску II поднесли портрет, присланный ему на память Рене, королем сицилийским, и исполненный им самим [69]. Почему же нельзя позволить и каждому рисовать себя самого пером и чернилами, подобно тому как этот король нарисовал себя карандашом? Не хочу умолчать здесь и о гадком пятне, которое безобразит меня и в котором неловко признаваться во всеуслышание, а именно о нерешительности, представляющей собой недостаток, крайне обременительный в наших мирских делах. Мне трудно принять решение относительно той или иной вещи, если она, на мой взгляд, сомнительна:

Ne si, ne no, nel cor mi suona intero **.

Я умею отстаивать определенные взгляды, но выбирать их — к этому я не пригоден. Ведь в делах человеческих, к чему бы мы не склонялись, мы найдем множество доводов в пользу всякого мнения. Да и философ Хрисипп говорил [71], что он не хотел ничего перенимать у Зенона и Клеанфа, своих учителей, кроме самых общих положений; что же касается оснований и доказательств, то он и сам мог бы их найти в нужном количестве. Поэтому, в какую бы сторону я ни обратил свой взор, я всегда нахожу достаточно причин и весьма убедительных оснований, чтобы туда и устремиться. Таким образом, я пребываю в сомнении и сохраняю за собой свободу выбора, пока необходимость решиться не начинает теснить меня; тогда, должен признаться, я чаще всего отдаюсь, как говорят, на волю течения и поручаю себя произволу судьбы; малейшая склонность и

---

* Будь у тебя какой угодно нюх, имей ты даже такой нос, какой, если и попросить, не согласился бы таскать Атлант, и будь ты способен превзойти в своих насмешках шута Латина, ты не смог бы сказать о моих стишках больше, чем я сам сказал о них. Что толку грызть зубом зуб? Если хочешь насытиться, кидайся на мясо. Не трать зря усилий. Попридержи свой яд для тех, кто кичится собой; а я знаю, что все это — ничто [68] (*лат.*).

** Сердце не говорит мне решительно ни да, ни нет [70] (*ит.*).

обстоятельства подхватывают и увлекают меня:

Dum in dubio est animus, paulo momento huc atque illuc impellitur *.

Колебания моего разума в большинстве случаев настолько уравновешивают друг друга, что я был бы не прочь предоставлять решение жребию или костям, и я отмечаю себе, в оправдание нашей человеческой слабости, оставленные нам самой Священной историей примеры того же обычая отдавать на волю судьбы и случайности определение нашего выбора в том, что сомнительно: sors cecidit super Matthiam **. Разум человеческий — меч обоюдоострый и опасный. Взгляните-ка сами, о скольких концах эта палка даже в руках Сократа, ее наиболее близкого и верного друга! Итак, я пригоден только к тому, чтобы следовать за другими, и легко даю толпе увлечь меня за собой. Мое доверие к своим силам вовсе не таково, чтобы я мог решиться брать на себя командование и руководство, и мне больше по сердцу, чтобы тропа для моих шагов была проложена другими. Если нужно идти на риск, производя гадательный выбор, я предпочитаю следовать тому, кто более уверен в своих суждениях, нежели я, и чьим суждениям я верю больше, нежели своим собственным, основания и корни которых я нахожу весьма шаткими.

И все же я не очень люблю менять раз принятые мнения, поскольку в противных мнениях я обнаруживаю подобные же слабые места. Ipsa consuetudo assentiendi periculosa esse videtur et lubrica ***. Особенно дела политические предоставляют широкий простор для всяких столкновений и раздоров:

Iusta pari premitur veluti cum pondere libra
Prona, nec hac plus parte sedet, nec surgit ab illa ****.

Рассуждения Маккиавелли[76], к примеру, были весьма обоснованны в отношении их предмета, и все же опровергнуть их не составляет большого труда; а рассуждения тех, кто сделали это, могут быть в свою очередь опровергнуты с не меньшей легкостью[77]. На тот или иной довод всегда найдется где почерпнуть ответный довод, на возражение — новое возражение, на ответ — новый ответ, и так далее и так далее, до бесконечности; и отсюда — нескончаемые словопрения, затягиваемые нашими кляузниками и крючкотворами до пределов возможного,

Caedimur, et totidem plagis consumimus hostem *****

ибо всякое доказательство не имеет других оснований, кроме опыта, а мно-

---

* Душе, обуреваемой сомнениями, достаточно ничтожнейшей мелочи, чтобы склонить ее в ту или другую сторону[72] (*лат.*).

** ...и выпал жребий Матфею[73] (*лат.*).

*** Это обыкновение со всем соглашаться кажется мне опасным и сомнительным[74] (*лат.*).

**** Когда обе чаши весов нагружены одинаково, то в то время как одна из них опускается, другая настолько же поднимается[75] (*лат.*).

***** Мы бьемся и, отвечая ударом на удар, выматываем противника[78] (*лат.*).

гообразие дел человеческих снабжает нас бесчисленными примерами всякого рода. Один очень ученый человек нашего времени утверждает, что в наших календарях можно было бы свободно заменить все предсказания противоположными, вместо «зной» поставив «морозы», а вместо «великая сушь» — «дожди», и что любители биться об заклад могут с одинаковым успехом, не утруждая свой ум, делать ставку как на то, так и на другое, остерегаясь только утверждать вещи, заведомо невозможные, например, что будет зной на Рождество или что будут морозы в Иванову ночь. То же самое думаю я и о наших политических спорах; чью бы сторону вы ни взяли, ваша игра, если вы не нарушите первейших и очевидных основ, не хуже игры ваших противников; и все же, по моему разумению, в делах общественных нет ни одного столь дурного обыкновения, которое не было бы лучше, нежели перемены и новшества. Наши нравы до крайности испорчены, и они поразительным образом клонятся к дальнейшему ухудшению; среди наших обычаев и законов много варварских и просто чудовищных; и тем не менее, учитывая трудности, сопряженные с приведением нас в лучшее состояние, и опасности, связанные с подобными потрясениями,— если бы только я мог задержать колесо нашей жизни и остановить его на той точке, где мы сейчас находимся, я бы сделал это очень охотно:

numquam adeo foedis adeoque pudendis
Utimur exemplis, ut non peiora supersint *.

Худшее, на мой взгляд, в нашем нынешнем положении — это неустойчивость, это то, что наши законы, так же как наше платье, не могут закрепиться на чем-либо определенном. Чрезвычайно легко порицать пороки любого государственного устройства, ибо все, что бренно, кишмя кишит ими; чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, и всякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех; но установить вместо старого, уничтоженного государственного устройства новое и притом лучшее — на этом многие из числа предпринимавших такие попытки не раз обламывали зубы. В своем поведении я не руководствуюсь соображениями благоразумия; я просто с готовностью подчиняюсь установленному в нашем мире общественному порядку. Счастлив народ, который, не тревожа себя размышлениями о причинах получаемых им приказаний, выполняет их лучше, чем те, кто приказывают ему, и который кротко отдается на волю небесного круговращения. Кто мудрствует и спорит, тот никогда не оказывает безусловного и неукоснительного повиновения.

Короче говоря, если уж снова вернуться ко мне, единственное, за что я хоть сколько-нибудь ценю себя, так это только за то, в недостатке чего никогда не признался бы ни один человек: мое суждение о себе обыденно, свойственно решительно всем и старо, как мир, ибо кто же когда-нибудь

* Никогда не привести столь гнусных и столь постыдных примеров, чтобы не осталось еще худших [79] (*лат.*).

думал, что ему не хватает ума? Такая мысль заключала бы в себе непримиримое противоречие. Глупость — болезнь, которой никогда не страдает тот, кто ее видит в себе: она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточно одного проницательного взгляда больного, обращенного им на себя самого, чтобы пробить ее толщу и избавиться от нее, как достаточно одного луча солнца, чтобы рассеять густой туман. Обвинять себя в этом случае значит отводить от себя всякое обвинение, осуждать себя значит выносить себе оправдательный приговор. Не бывало еще на свете такого крючника или девки, которые не считали бы, что их ума для них достаточно. Мы готовы признать за другими превосходство в отваге, телесной силе, опытности, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим. Что же касается доводов, исходящих у любого другого человека от простого здравого смысла, то нам кажется, что, взгляни мы на вещь с того же самого боку, и мы также не преминули б наткнуться на них. Знания, стиль и прочие качества, обнаруживаемые нами в чужих сочинениях, мы легко замечаем, если они превосходят наши. Другое дело — проявления самой человеческой мысли: тут каждый думает, будто и он способен на то же, и ему нелегко понять их значительность и каких трудов они стоят, если между ними и им нет огромного, скажем прямо — гигантского расстояния. Но и в последнем случае он постигает это с большой неохотой. Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту. Итак, это такого рода занятие, от которого нельзя ждать много чести и славы, и такой вид сочинительства, который не приносит громкого имени.

И наконец, для кого вы пишете? Ученые, которым подсудна всякая книга, не ценят ничего, кроме учености, и не признают никаких иных проявлений нашей умственной деятельности, кроме тех, которые свидетельствуют о начитанности и обширности всякого рода познаний. Если вы смешаете одного Сципиона с другим, то что стоящее внимания можете вы еще высказать? Кто не знаком с Аристотелем, тот, по их мнению, не знаком и с собой самим. Души обыденные и грубые не видят ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенном рассуждении. Но ведь два этих разряда заполняют собой наш мир. Третий разряд, тот, которому вы, в сущности, и отдаете себя,— души чистые и сильные собственной силой,— настолько немногочислен, что не пользуется у нас, и вполне заслуженно, ни влиянием, ни известностью, так что стремиться ему угодить — значит попусту терять время.

Обычно можно услышать, что, оделяя нас своими благами, природа справедливее всего поступила при распределении между нами ума, ибо нет никого, кто бы не довольствовался доставшейся ему долею. Но разумно ли это? Кто пожелал бы заглянуть дальше отведенного ему, тому пришлось бы преступить пределы возможностей своего зрения. Я считаю свои взгляды правильными и здравыми, но кто же не считает такими и свои собственные? Одно из лучших доказательств этого — невысокая цена, которой я оцениваю себя. Ведь, если бы мои взгляды не были достаточно твердыми, их могло бы ввести в заблуждение то чувство любви и привя-

занности, которое я испытываю к себе, чувство, и впрямь, исключительное, ибо я обращаю его почти целиком на себя и не растрачиваю на сторону. Все, что другие делят между множеством друзей и знакомых и отдают заботам о своей славе и своем возвеличении, я обращаю только на то, чтобы обеспечить спокойствие моему духу и мне, и если кое-что от меня все же уделяется посторонним, то это происходит отнюдь не по велению моего разума,

mihi nempe valere et vivere doctus *.

Итак, что касается моих мыслей насчет себя, то они с бесконечной решительностью и столь же бесконечным упорством обвиняют меня в невежестве. Это и впрямь один из предметов, на котором я упражняю мой ум и чаще, и охотнее, чем на чем-либо другом. Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю мой взгляд внутрь себя; я его погружаю туда, там я всячески тешу его. Всякий всматривается в то, что пред ним; я же всматриваюсь в себя. Я имею дело только с собой: я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю,

nemo in sese temptat descendere **,

а я — я верчусь внутри себя самого.

Этой способностью докапываться до истины — в сколь бы малой мере я такой способностью ни обладал,— равно как вольнолюбивым нежеланием отказываться от своих убеждений в угоду другим людям, я обязан главным образом себе самому, ибо наиболее устойчивые и общие мои взгляды родились, так сказать, вместе со мной: они у меня природные, они целиком мои. Я произвел их на свет сырыми и немудреными, и то, что я породил, было смелым и сильным, но несколько смутным и несовершенным; впоследствии я обосновал и укрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, а также на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошелся в мнениях. Они-то и убедили меня в моей правоте, и благодаря им я придерживаюсь моих воззрений более сознательно и с большей твердостью [82].

Если всякий ждет похвалы за быстроту и живость ума, то я притязаю на нее за его строгость, если — за какое-нибудь достойное быть отмеченным и выдающееся деяние или какую-либо исключительную способность, то я — за упорядоченность, согласованность и уравновешенность моих мнений и нравов. Omnino si quidquam est decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitas universae vitae, tum singularum actionum, quam conservare non possis, si, aliorum naturam imitans, omittas tuam ***.

Итак, вот до каких пределов я чувствую за собой вину в том, что, как я сказал выше, есть первое слагаемое порока, носящего название са-

* Моя наука — это жить и здравствовать [80] (*лат.*).
** Никто не пытается углубиться в себя [81] (*лат.*).
*** Если вообще есть что-либо почтенное, то это, без сомнения, цельность всей жизни, всех отдельных поступков; ты не сможешь достигнуть этого, если, отказавшись от своего характера, будешь подражать другим [83] (*лат.*).

момнения. Что до второго слагаемого, состоящего в чрезмерно низком мнении о других, то я, право, не знаю, удастся ли мне привести столь же убедительные доводы в свое оправдание. Впрочем, чего бы это ни стоило, решусь выложить все, каким оно мне представляется.

Возможно, что непрерывно поддерживаемое мной общение с мудростью древних и сложившийся во мне образ этих беспредельно богатых душ прошлого отвращают меня и от других, и от себя самого; быть может, мы и впрямь живем в век, не способный создать что-либо возвышающееся над самой что ни на есть посредственностью, но так ли, иначе ли, а я не знаю ничего заслуживающего подлинного восхищения. Правда, я не знаю людей с такой доскональностью, которая необходима, чтобы иметь право судить о них; но те, с кем мое положение чаще всего сталкивает меня, в большинстве своем, не утруждают себя чрезмерной заботой о просвещении своих душ; в их глазах наивысшее счастье — почести, и наивысшее совершенство — мужество.

Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его.

Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, что думаю, позволяя себе небольшую ложь; однако выдумывать то, чего я не вижу в действительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям, что́, по-моему, подлежит в них одобрению, и их достоинства в один фут длиной с готовностью растягиваю до полутора футов; но приписывать им те качества, которых у них нет, этого я не могу, как не могу с пеной у рта защищать их недостатки.

Даже моим врагам — и им я воздаю сполна то, что должен, по чести, воздать. Мои чувства могут меняться, но мои суждения — никогда; и я не примешиваю своей личной неприязни к тому, что не имеет прямого касательства к ней. Я так ревниво оберегаю свободу своего ума, что мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была.

Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком я солгал.

Рассказывают о следующем похвальном обычае у персов: они неизменно говорили о своих смертельных врагах, с которыми вели беспощадные войны, уважительно и соблюдая полную справедливость, так, как того заслуживала их доблесть.

Я знаю немало людей, обладающих различными замечательными чертами: кто остроумием, кто сердечностью, кто отвагой, кто чуткой совестью, кто красноречием, кто еще чем-либо другим, но человека великого в целом, совмещающего в себе столько отличных свойств или обладающего хотя бы одним из них, но в такой исключительной степени, чтобы он вызывал в нас восхищение и его должно было бы сравнивать с теми, кого мы чтим среди людей, обитавших некогда на земле,— нет, с таким человеком моя судьба не дала мне встретиться. Самым великим из тех, кого я хорошо знал,— я говорю о природных дарованиях и способностях — и самым благородным был Этьен де Ла Боэси; это была душа, до краев полная до-

стоинств, прекрасная, с какой бы стороны на нее ни взглянуть, душа, скроенная на древний лад; и он совершил бы великие и памятные дела, когда б того захотела судьба его, ибо к своим богатым природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятий науками.

Не знаю, как это так получается,— а что так получается, это бесспорно,— но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможно большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами,— в тех обнаруживается столько чванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей. Быть может, это получается оттого, что в них ищут и от них ожидают большего, чем от других людей, и им не прощаются обычные недостатки; или, может быть, сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя напоказ и важничать, чем они выдают себя и сами себе причиняют ущерб. Так и ремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо явственнее тогда, когда в его руки попадает ценный материал, который он портит своей бестолковой и грубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым материалом: недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели в гипсовом. Точно так же поступают и те, кто, тыча всем в глаза вещи, которые сами по себе и на своем месте весьма хороши, пользуется ими безо всякого толку и меры и, оказывая честь своей памяти за счет разума, оказывая честь Цицерону, Галену, Ульпиану и святому Иерониму [84], выставляет себя самого в смешном виде.

Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, а учеными, и оно добилось своего: оно так и не научило нас постигать добродетель и мудрость и следовать их предписаниям, но зато мы навсегда запомнили происхождение и этимологию этих слов; мы умеем склонять самое слово, служащее для обозначения добродетели, но любить ее мы не умеем. И если мы ни из наблюдения, ни на основании личного опыта не знаем того, что есть добродетель, то мы хорошо знаем ее на словах и постоянно твердим о ней. Когда речь идет о наших соседях, нам недостаточно знать, какого они роду-племени, кто их ближайшие родичи и какими связями они обладают; мы хотим, чтобы они подружились с нами, хотим установить с ними близость и добрые отношения. А наше образование между тем забивает нам головы описаниями, определениями и подразделениями разных видов добродетели, как если бы то были фамильные прозвища и ветви генеалогического древа, нисколько не заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами хоть какие-нибудь знакомство и близость. К тому же, для нашего обучения отобраны не те книги, в которых высказываются здравые и близкие к истине взгляды, но написанные на отменном греческом языке или на лучшей латыни, и заставляя нас затверживать эти красиво звучащие слова, нас принуждают загромождать память нелепейшими представлениями древности.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы, вроде того как это произошло с Полемоном, распутным юношей-греком, ко-

торый, отправившись случайно послушать один из уроков Ксенократа, не только оценил полностью красноречие и ученость философа и не только принес домой много полезных знаний, но и вынес оттуда плоды еще более ощутительные и более ценные, а именно то, что характер его внезапно изменился и нрав исправился [85]. А кто из нас когда-нибудь почувствовал на себе подобное воздействие нашего обучения?

faciasne, quod olim
Mutatus Polemon? Ponas insignia morbi,
Fasciolas, cubital. focalia, potus ut ille
Dicitur ex collo furtim carpsisse coronas,
Postquam est impransi correptus voce magistri? *

Наименее недостойным представляется мне то сословие, которое по причине своей простоты занимает последнее место; больше того, его жизнь кажется мне наиболее упорядоченной: нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу более отвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи наших присяжных философов [87]. Plus sapit vulgus, quia tantum, quantum opus est, sapit **.

Самыми замечательными людьми, насколько я мог судить, наблюдая их издали (ибо, чтобы судить о них на мой лад, надо было бы к ним подойти ближе), были, если иметь в виду военные подвиги и познания в военной науке, герцог Гиз, скончавшийся в Орлеане, и покойный маршал Строцци [89]. Если же говорить о людях ученых и отличавшихся выдающейся добродетелью, то я назову Оливье и Л'Опиталя, двух канцлеров Франции [90]. Мне кажется, что наш век принес с собой расцвет поэзии, что у нас множество искуснейших знатоков своего дела в лице Дорá, Беза, Бьюкенена, Лопиталя, Мондоре и Турнеба [91]; что до пишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на какой оно еще никогда у нас не было и, если вспомнить тот род его, в котором блистают Ронсар с Дю Белле [92], то я никоим образом не считаю, что им далеко до совершенства древних поэтов. Адриан Турнеб знал больше — и если уж что-либо знал, то знал лучше,— чем кто бы то ни было из людей его века, да и не одного его века. Жизнь недавно умершего герцога Альбы, равно как и нашего коннетабля Монморанси, была благородной жизнью, причем судьба их во многом поразительно схожа [93]. Впрочем, красота и величие смерти последнего, скончавшегося на глазах у Парижа и своего короля, служа им в борьбе против ближайшей своей родни во главе войск, обязанных своей победой его водительству и нанесенному им решительному удару, в столь преклонном возрасте, заслуживают, на мой взгляд, быть отмеченными в ряду наиболее достопамятных событий нашего времени. Достойны нашей памяти и неизменные доб-

* Поступишь ли ты так, как поступил некогда преобразившийся Полемон? Бросишь ли признаки твоего безумия — все эти ленточки, подушечки, платочки? Рассказывают, что, хотя он и был пьян, Полемон украдкой сорвал со своей шеи украшения, настолько он был захвачен словами учителя [86] (*лат.*).

** Народ мудрее, ибо он мудр настолько, насколько нужно [88] (*лат.*).

росердечие, мягкость нрава и разумная снисходительность господина Ла Ну[94], выдающегося и весьма опытного военачальника, хотя он, можно сказать, вырос и прошел воспитание в самой гуще бесчисленных беззаконий, творимых обоими взявшимися за оружие станами (этой подлинной школе предательства, бесчеловечности и разбоя)[95].

Прочие[96] добродетели в наш век очень редко или совсем не встречаются, но мужество стало, по причине наших гражданских войн, вещью весьма обычной, и в этом отношении нетрудно найти среди нас души, почти совершенные по своей твердости, и притом в столь большом количестве, что сделать выбор здесь крайне затруднительно.

Вот и все о выдающемся и незаурядном душевном величии, с каким я сталкивался вплоть до этого часа.



Глава XVIII
ОБ ИЗОБЛИЧЕНИИ ВО ЛЖИ

Мне скажут, пожалуй, что намерение избрать себя предметом своего описания простительно людям незаурядным и знаменитым, которые благодаря своей славе могут вызвать у других желание познакомиться с ними поближе. Конечно, я это отлично знаю и не собираюсь этого оспаривать. Знаю также, что не всякий ремесленник удостоит поднять глаза от своей работы, чтобы взглянуть на человека, вылепленного из обыкновенного теста, хотя, чтобы поглазеть на въезд в город личности великой и примечательной, все они, как один, покидают свои лавки и мастерские. Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставлять себя напоказ. У Цезаря или Ксенофонта было достаточно прочное основание, дававшее им право занимать других рассказом о себе: это было величие свершенного ими. Равным образом всякому было бы любопытно прочесть дневники великого Александра, записки Августа, Катона, Суллы, Брута и прочих, повествующие об их деяниях, если бы такие записки остались после них. Образы подобных людей любят и изучают, даже когда они отлиты из меди или высечены из камня.

Это предостережение вполне справедливо, но меня оно, в сущности, едва ли касается:

Non recito cuiquam, nisi amicis, idque rogatus,
Non ubivis, coramve quibuslibet. In medio qui
Scripta foro recitent, sunt multi, quique lavantes *.

* Я читаю свои стихи не всякому, а только друзьям, и только по просьбе, и не везде, и не при всех. А многие готовы читать свои произведения на городской площади и даже в бане [1] (*лат.*).

Я не высекаю здесь изваяния, чтобы установить его на городском перекрестке, в церкви или в каком-нибудь другом общественном месте:

Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis
Pagina turgescat.
Secreti loquimur *.

Нет, это изваяние предназначается для укромного уголка библиотеки и для того, чтобы развлечь соседа, родственника или друга, которому будет приятно снова увидеть мои черты и узнать меня в этом изображении. Другие решаются говорить о себе, потому что находят этот предмет заслуживающим внимания и благодарным; я же, напротив, делаю это лишь потому, что, находя его пустым и неблагодарным, могу не опасаться обвинения в похвальбе.

Я охотно обсуждаю дела, совершаемые другими; что до моих, то я подаю мало поводов к их обсуждению по причине ничтожности их. Я не нахожу в себе столько похвального, что мог бы позволить себе говорить о нем без краски стыда на лице. Каким удовольствием было бы для меня послушать кого-нибудь, кто рассказал бы мне о нравах, наружности, душевном складе, наиболее привычных речах и превратностях судьбы моих предков! С каким вниманием ловил бы я каждое его слово! И в самом деле, только безнадежно дурной человек может относиться с презрением к портретам своих друзей и предшественников, к покрою их платья, к их оружию. Что до меня, то я сохраняю бумаги, печать, часослов и особого вида шпагу, которая в свое время служила им. Я не убрал из моего кабинета и длинной трости, которую не выпускал из рук мой отец. Paterna vestis et annulus, tanto carior est posteris, quanto erga parentes maior affectus **.

Если мои потомки не обнаружат в отношении меня охоты к чему-либо подобному, у меня найдется, чем отплатить им за это; ведь сколь бы мало они ни считались со мною, я к тому времени буду считаться с ними еще меньше. Все мои взаимоотношения с обществом сводятся в данном случае к тому, что я заимствую у него более удобные и быстродействующие орудия воспроизведения моих мыслей; в возмещение я предохраняю, быть может, когда-нибудь кусок масла на рыночной стойке от таяния на солнцепеке [4].

Ne toga cordyllis, ne penula desit olivis ***,
Et laxas scombris saepe dabo tunicas ****.

И если даже случится, что ни одна душа так и не прочитает моих писаний, потратил ли я понапрасну время, употребив так много свободных

* Я не стараюсь заполнить страницы напыщенным вздором... Говорю только в тесном кружке [2] (*лат.*).
** Отцовская одежда и кольцо тем дороже детям, чем сильнее они любили своего отца [3] (*лат.*).
*** Чтобы тунцы и оливки не оставались без прикрытия [5] (*лат.*).
**** И часто буду служить удобным покровом макрелям [6] (*лат.*).

часов на столь полезные и приятные размышления? Пока я снимал с себя слепок, мне пришлось не раз и не два ощупать и измерить себя в поисках правильных соотношений, вследствие чего и самый образец приобрел бо́льшую четкость и некоторым образом усовершенствовался. Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал себя и в своем воображении, и притом красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере создана мной, в какой я сам создан моей книгой. Это — книга, неотделимая от своего автора, книга, составлявшая мое основное занятие, неотъемлемую часть моей жизни, а не занятие, имевшее какие-то особые, посторонние цели, как бывает обычно с другими книгами. Потерял ли я даром мое время, с такой настойчивостью и тщательностью отдавая себе отчет в том, что я такое? Ведь те, кто лишь изредка и случайно оглядывают себя мысленно, не записывая своих наблюдений, те не исследуют себя так обстоятельно и не проникают в себя так глубоко, как тот, кто делает это предметом своего постоянного изучения, своим жизненным делом, своим ремеслом, как тот, кто ставит перед собой задачу начертать исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению со всею искренностью, со всем жаром своей души; ведь даже сладчайшие удовольствия, если переживаешь их лишь наедине с собою, уносятся, не оставляя никакого следа и ускользая от взгляда не только всего народа, но и окружающих нас людей.

Сколько раз отвлекала меня эта работа от докучных размышлений,— а докучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны! Природа наделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она часто приглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что, хотя мы чем-то и обязаны окружающим, все же гораздо большим мы обязаны самим себе. Для того чтобы приучить мое воображение к некоторому порядку и плану даже тогда, когда оно предается фантазиям, и оградить его от беспорядочных блужданий и расточения сил попусту, нет лучшего способа, как закрепить на бумаге и зарегистрировать все даже самые ничтожные мысли, возникающие в уме. Я прислушиваюсь к своим мечтаниям потому, что мне надлежит занести их в мой протокол. Сколько раз, будучи огорчен чьим-либо поступком, порицать который во всеуслышание было бы и неучтиво и неразумно, я облегчал свою душу на этих страницах не без тайной мысли о поучительности всего этого для других [7]. И эти поэтические шлепки,

Трах под глаз, трах по уху,
Трах в спину грязнуху [8],

оставляют более длительный след на бумаге, нежели на живом теле.

Что же в том, что я стал немного внимательнее просматривать книги, выискивая, нельзя ли стянуть что-либо такое, чем я мог бы подпереть и принарядить мою собственную? Я ничего не изучал ради написания моей книги, но, написав ее, я все же кое-что изучил, если можно назвать хоть сколько-нибудь похожим на изучение выщипывание и выдергивание ка-

ких-то клочков то отсюда, то оттуда у различных авторов,— конечно, не для того, чтобы создать себе какие-то взгляды, но для того, чтобы помочь выработанным мной уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их.

Но кому в наше развращенное время можем мы верить, когда он говорит о себе, если вспомнить, что мало найдется таких людей, которым можно верить, даже когда они говорят о других, хотя в этом случае ложь куда менее выгодна? Первый признак порчи общественных нравов — это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели, как говорил Пиндар [9], и является первым требованием, какое предъявлял Платон к правителю его государства [10]. Правда, которая ныне в ходу среди нас, это не то, что есть в действительности, а то, в чем мы убеждаем других,— совершенно так же, как и с обращающейся между нами монетой: ведь мы называем этим словом не только полноценную монету, но и фальшивую. Наш народ издавна упрекают в этом пороке. Еще Сальвиан Марсельский, живший при императоре Валентиниане, указывал, что лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок; для них это то же, что манера разговаривать [11]. Можно было бы выразиться об этом еще резче, сказав, что в глазах французов наших дней это — подлинная добродетель; ее выращивают и лелеют в себе, как нечто почетное, ибо двуличие — одна из главнейших черт нашего века.

Вот почему я часто задумываюсь над тем, откуда мог возникнуть обычай, соблюдаемый нами с таким рвением и состоящий в том, что мы считаем себя задетыми гораздо сильнее обвинением в этом столь распространенном среди нас пороке, чем когда нас винят в чем-либо другом, и что тягчайшее оскорбление словом, какое только можно нанести нам,— это упрек во лживости. Ведь это так естественно — сильнее всего отрицать наличие у нас тех недостатков, в которых мы более всего повинны. Нам кажется, что, негодуя по поводу этого обвинения и отклоняя его, мы некоторым образом сбрасываем с себя самую вину: если мы и впрямь повинны в этом, мы по крайней мере осуждаем ее на словах. Не происходит ли это также и потому, что подобный упрек — это одновременно упрек в трусости и малодушии? Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой знаешь?

Лживость — гнуснейший порок, и один древний писатель изображает ее как нечто крайне постыдное [12], говоря, что она свидетельствует как о презрении к богу, так и о страхе перед людьми. Нельзя выразительнее обрисовать мерзость, низость и противоестественность этого порока, ибо можно ли представить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми и дерзким перед богом? Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путем, а именно через слово; тот, кто извращает его, тот предатель по отношению к обществу: слово — единственное орудие с помощью которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и мыслях, оно — толмач нашей души; если мы лишимся его, то не сможем держаться вместе, не сможем достигать взаимопознания; если оно обманывает нас, оно делает невозможным всякое общение чело-

века с себе подобными, оно разбивает все скрепы государственного устройства.

Некоторые народы, обитавшие в Новой Индии (упоминать их имена излишне: ведь никто их больше не знает, ибо опустошения, произведенные завоеванием, привели к полному забвению и названий и былого местонахождения их поселений — вещь поразительная и доселе неслыханная!), так вот, эти народы предлагали своим богам жертвоприношения из человеческой крови, и притом только такой, которая извлекалась ими из языков и ушей жертв, ибо они делали это во искупление греха лжи, оскверняющей нас и тогда, когда мы ее слышим, и тогда, когда произносим ее [13].

Один древний грек остроумно заметил, что если дети тешатся бабками, то взрослые люди забавляются словами [14].

Что до различных принятых у нас способов изобличать друг друга во лжи, а также законов чести, соблюдаемых в делах этого рода, и изменений, которые они претерпели, то рассказ обо всем известном мне по этому поводу я отложу до другого раза. А пока что я хотел бы уточнить, с какого именно времени возникло обыкновение тщательно взвешивать и отмеривать наши слова, сообразуя их с понятием о чести. Нетрудно установить, что в древности, у греков и римлян, этого не было; и мне нередко казалось странным и непонятным, как это они уличали друг друга во лжи и отказывались от собственных слов, не вступая при этом в ссору. Законы, которыми определялось их поведение, сильно в этом отличались от наших. Цезаря нередко честили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей [15]. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг на друга потоки брани,— я имею в виду величайших полководцев обоих народов,— причем за слова у них расплачивались только словами, и словесная перепалка не влекла за собой иных последствий.



Глава XIX

О СВОБОДЕ СОВЕСТИ [1]

Дело обычное, что добрые намерения, если их приводят в исполнение не в меру усердно, толкают людей на весьма дурные дела. В той распре, из-за которой Францию наших дней терзают гражданские войны, лучшая и наиболее здравая партия несомненно та, что отстаивает и древнюю веру, и древнее государственное устройство этой страны [2]. И все же между честными и добропорядочными людьми, взявшими ее сторону (ибо я никоим образом не говорю о тех, кто пользуется удобным случаем, чтобы

свести личные счеты, насытить свою алчность или снискать благоволение принцев; я говорю лишь о тех, кто идет за ней, движимый искренней приверженностью к своей вере и стремлением к мирному существованию и благоденствию родины), так вот, говорю я, среди этих последних можно встретить довольно много таких, кого страсть увлекает за пределы разумного и заставляет принимать порою решения несправедливые, жестокие и вдобавок еще и безрассудные.

Известно, что в те далекие времена, когда впервые утверждалась наша религия и с нею начинали считаться законы, рвение к ней вооружило многих против языческих книг, от чего ученые люди понесли ни с чем не сравнимый ущерб; полагаю, что эти бесчинства причинили науке гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные варварами [3]. И Корнелий Тацит — достоверный свидетель этому, ибо хотя император Тацит, его потомок, и заполнил благодаря особым указам его «Анналами» все книгохранилища мира, все же ни один полный экземпляр их так и не уцелел после старательных поисков тех, кто жаждал расправиться с ними из-за пяти или шести ничтожных замечаний, враждебных нашей вере [4]. Эти люди повинны также и в том, что, не колеблясь, расточали лживые похвалы всем без исключения императорам, стоявшим за нас, и огульно осуждали действия и поступки тех из них, которые были против нас, как это нетрудно увидеть на примере императора Юлиана, прозванного Отступником [5].

А между тем это был человек и впрямь великий и редкостный, запечатлевший в своей душе наставления философии и почитавший обязанностью руководствоваться ими во всей своей деятельности. И поистине нет ни одной добродетели, замечательные образцы которой он не оставил бы по себе. Что касается целомудрия (а о нем ясно свидетельствует вся его жизнь), то тут мы можем прочесть о нем нечто такое, что роднит его с Александром и Сципионом: имея в своей власти множество пленниц поразительной красоты, он не пожелал взглянуть ни на одну, и это произошло тогда, когда он был в полном расцвете сил: ведь ему минул всего лишь тридцать один год, когда он был убит парфянами [6]. Что касается его правосудия, то он не гнушался брать на себя труд лично выслушивать тяжущихся и, хотя из любознательности расспрашивал всех представавших пред ним, какой они веры, все же, несмотря на враждебность, которую он испытывал к нашей, признание в принадлежности к ней нисколько не отягощало чаши его весов. Он сам придумал несколько хороших законов и отменил немало податей и налогов, введенных его предшественниками.

Мы располагаем показаниями двух превосходных историков, очевидцев его деяний. Один из них, Марцеллин, сетует [7] во многих местах составленной им истории на тот из его указов, который запрещал христианам иметь свои школы и строжайше возбранял христианским риторам и грамматикам всякое преподавание. Марцеллин говорит, что было бы хорошо, если бы этот его поступок остался неизвестным. Весьма вероятно, что если бы Юлиан принимал против нас какие-нибудь более жестокие меры, Мар-

целлин не забыл бы упомянуть об этом, ибо он был очень привержен нашей религии. Юлиан был суров по отношению к нам, это верно, но он не был нашим беспощадным врагом, ибо даже люди нашей веры рассказывают о нем следующую историю [8]. Однажды, когда он прогуливался в окрестностях города Халкедона, Марис, епископ этого места, осмелился назвать его негодяем и христопродавцем. Юлиан ограничился тем, что сказал ему на это: «Поди прочь, несчастный, и оплакивай слепоту свою!» Епископ бросил ему в ответ: «Возношу благодарение Иисусу Христу, ибо он лишил меня зрения, дабы я не видел бесстыдной рожи твоей». Юлиан и тут проявил терпение истинного философа. Как бы там ни было, а этот случай не очень-то совместим с теми рассказами о жестокостях, которые он якобы творил по отношению к нам. «Он был,— говорит Евтропий [9], второй из моих свидетелей,— врагом христианского учения, но он не проливал крови христиан».

Возвращаясь к вопросу об отличавшей его справедливости, скажу, что нет ничего, пожалуй, такого, что можно было бы поставить ему в вину, кроме строгостей, применявшихся им в начале его правления, против тех, кто примыкал к партии, поддерживавшей его предшественника Констанция [10]. Что касается присущей ему умеренности, то он неизменно вел солдатский образ жизни, как тот, кто готовится и приучает себя к тяготам и невзгодам войны [11]. Его способность бодрствовать была такова, что, деля ночь на три или, порой, на четыре части, он отдавал отдыху лишь самую меньшую; остальное время он тратил на то, чтобы лично проверять состояние своих войск и несение службы дозорами, или на чтение, ибо наряду с прочими редкостными своими качествами он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы. Передают, что Александр Великий, ложась в постель, из опасения, как бы сон не помешал ему заниматься и думать, приказывал ставить у изголовья своего ложа чашу, над которой держал руку с зажатым в ней медным шариком; он делал это для того, чтобы, в случае если дремота одолеет его и пальцы, ослабев, разожмутся, этот шарик, упав в чашу, разбудит его своим стуком [12]. Душа Юлиана, однако, бывала настолько поглощена тем, к чему он стремился, и винные пары, благодаря поразительной умеренности его образа жизни, так мало омрачали ее, что он отлично обходился и без этого ухищрения. Что касается его дарований в военном деле, то он блистал всеми качествами великого полководца. Почти всю свою жизнь он провел в непрерывных походах, и по большей части в союзе с нами [13], во Франции, против алеманнов и франков, и мы не находим упоминания о человеке, который повидал бы на своем веку столько опасностей, сколько пришлось изведать ему, и который чаще его выказывал бы личную доблесть.

Смерть его имеет черты сходства со смертью Эпаминонда, ибо он также был поражен стрелой и пытался вырвать ее,— и он достиг бы этого, если бы стрела, оказавшись по краям режущей, не поранила ему руку и не отняла у нее силу. Он настойчиво требовал, чтобы несмотря на состояние, в котором он находился, его снова отнесли в гущу сражения,

и он мог бы ободрять своих воинов, хотя они и без него дрались на этот раз весьма храбро вплоть до того мгновения, когда ночь разъединила противников [14]. Благодаря философии он усвоил себе презрение к жизни и к делам человеческим. Он твердо верил в бессмертие души.

В делах религии он был кругом неправ и заслуживает порицания. Его прозвали Отступником потому, что он отрекся от нашей религии. Впрочем, мне кажется более правдоподобным, что она никогда и не была ему по сердцу, но что, подчиняясь законам, он притворялся, будто почитает ее, пока не захватил власть над всей империей. Он был настолько привержен своей религии, что современники, даже из числа его единоверцев, посмеивались над ним, утверждая, что, если бы ему удалось одолеть парфян, он истребил бы всех быков, какие только водятся на свете, беспрерывно принося их в жертву своим богам. Он был, к тому же, неравнодушен к искусству гадания и доверял всякого рода прорицаниям. Умирая, он, среди прочего, говорил, что испытывает к богам чувство великой признательности и благодарит их за то, что они не возымели желания убить его неожиданно, но заблаговременно оповестили о часе и месте кончины, причем послали ему не легкую и презренную смерть, подобающую лентяям и неженкам, и не томительную и медленную, полную страданий, но сочли его достойным умереть столь благородным образом, посреди его победоносного шествия и в разгар его славы. Ему явился призрак, совсем так же, как Марку Бруту [15]. В первый раз грозное видение предстало ему, когда он находился в Галлии; затем призрак снова явился ему в Персии, перед самой его смертью. Слова, которые Юлиан будто бы произнес, почувствовав, что поражен насмерть: «Ты победил, Назареянин!» или, как утверждают другие: «Радуйся, Назареянин!»,— едва ли были бы забыты моими свидетелями, если бы они знали о них [16], а между тем они оба находились при войске и отметили все, даже ничтожнейшие поступки и слова Юлиана перед его смертью; то же можно сказать и о других чудесных явлениях, будто бы связанных с нею.

Но возвращаюсь к основной моей теме. Как говорит Марцеллин [17], Юлиан давно уже таил в своем сердце склонность к язычеству, но, так как его войско состояло почти сплошь из христиан, он не решался открыто признаться в этом. Наконец, когда он увидел себя достаточно сильным, чтобы открыто выразить свою волю, он велел открыть храмы древних богов и сделал все от него зависящее, чтобы идолопоклонство взяло верх над христианством. Обнаружив в Константинополе, что простой народ и христианские первосвященники плохо ладят между собой в вопросах веры, Юлиан, чтобы достигнуть желаемой цели, призвал обе стороны к себе во дворец и обратился к ним с настоятельным увещанием пресечь эти разногласия и предоставить каждому беспрепятственно и вполне свободно служить своей вере [18]. Он убеждал их в этом очень горячо, рассчитывая, что такая неограниченная свобода умножит среди них число партий и сект и помешает народу объединиться, а следовательно, и укрепиться при помощи доброго согласия и единомыслия, чтобы оказать ему сопротивление. Он действовал так, убедившись, на осно-

вании примеров жестокости некоторых христиан, что «нет зверя на свете страшнее для человека, чем человек». Таковы примерно его собственные слова.

Тут заслуживает внимания то обстоятельство, что Юлиан пользовался для разжигания гражданских раздоров тем же самым средством, а именно свободой совести, какое было совсем недавно применено нашими королями, чтобы успокоить раздоры. Таким образом, с одной стороны можно сказать, что снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов значит сеять и распространять между ними распри, значит способствовать умножению этих распрей, поскольку нет больше преград в виде законов, способных обуздывать и останавливать их. Но, с другой стороны, снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов означает вместе с тем и усыпление и расслабление их из-за легкости и удобства, с какими они могут отныне домогаться своего, означает притупление острия их воли, которая оттачивается в борьбе за что-либо необычное и труднодостижимое. И я склонен думать, воздавая честь добрым намерениям наших властителей, что, не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого [19].



Глава XX

МЫ НЕСПОСОБНЫ К БЕСПРИМЕСНОМУ НАСЛАЖДЕНИЮ

От слабости нашей природы проистекает, что нам не дано пользоваться вещами в их простом и естественном состоянии. Все, что бы мы ни употребляли, подверглось тем или иным изменениям. Это относится и к металлам: даже золото — и к нему приходится что-нибудь примешивать, чтобы сделать его пригодным для наших нужд. Ни столь простая и ясная добродетель, с какой мы сталкиваемся у Аристона, Пиррона и затем стоиков, провозгласивших ее целью жизни, ни наслаждение киренаиков и Аристиппа в чистом виде не достижимы для нас. Среди доступных нам удовольствий и благ не существует ни одного, которое было бы свободно от примеси неприятного и стеснительного,

medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat *.

* Из источника наслаждений исходит нечто горькое, что удручает даже находящегося среди цветов [1] (*лат.*).

Наше высшее наслаждение проявляется в таких формах, что становится похожим на жалобы и стенания. Разве мы не могли бы сказать, что это — предсмертные муки? И когда мы тщимся изобразить это наслаждение во всей его полноте, то приукрашаем его эпитетами и свойствами, связанными со страданием и болезнью, каковы, например, такие слова, как: истома, спазмы, изнеможение, обмирание, morbidezza[2]*. Не есть ли это вернейшее свидетельство кровной близости и единства наслаждения и боли? Глубокая радость заключает в себе больше суровости, чем веселья, крайнее и полное удовлетворение — больше успокоения, чем удовольствия. Ipsa felicitas, se nisi temperat, premit **. Блаженство истощает человека. Это то, о чем говорит один небольшой древнегреческий стих[4], содержание которого сводится к следующему: «боги продают всякое ниспосылаемое нам ими благо», что означает: они не даруют нам ни одного совершенного и чистого блага, и мы покупаем его ценой содержащегося в нем зла.

Тяготы и удовольствия — вещи крайне различные по природе — какимто образом соединяются природными узами. Сократ говорит, что некий бог сделал попытку сплотить в нечто целое и слить воедино страдание и наслаждение, но, так как ему не удалось осуществить этот замысел, он придумал связать их друг с другом хотя бы хвостами[5]. Метродор говорил, что не бывает печали без примеси удовольствия[6]. Не знаю, что именно имел он в виду, но я с легкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотой лелеять свою грусть, и настаиваю на том, что, кроме честолюбия,— а оно также может сюда примешиваться — во всем этом сквозит еще нечто приятное и заманчивое, которое тешит нас и льстит нашему самолюбию посреди самой безысходной и тягостной грусти. Разве не существует душ, которые, можно сказать, питаются ею?

est quaedam flere voluptas ***.

И некий Аттал заявляет у Сенеки[8], что воспоминание о потерянных нами друзьях нам столь же приятно, как горечь в очень старом вине,—

Minister vetuli, puer, Falerni
Ingere mi calices amariores **** —

или как яблоко с легкой кислинкой. Природа раскрывает перед нами это смешение: живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинки наблюдаются на лице человека и когда он плачет, и когда он смеется. И в самом деле, проследите за работой живописца, пока он не закончил изображения того или другого из этих двух состояний — и вы так и не сможете установить, какое из них перед вами. Вспомним также, что безудержный смех порождает слезы. Nullum sine auctoramento malum est *****.

* Изнеможение (*ит.*).
** Слишком неумеренная радость угнетает нас[3] (*лат.*).
*** Есть некое удовольствие и в плаче[7] (*лат.*).
**** Служитель старого фалерна, мальчик, наполни мне чаши самым горьким[9] (*лат.*).
***** Нет горя без услады[10] (*лат.*).

Мысленно представляя себе человека, испытывающего все желанные для него радости,— вообразим такой случай, когда все тело этого человека навеки охвачено наслаждением, подобным тому, какое бывает при акте оплодотворения, в момент наибольшей остроты ощущений,— я явственно вижу, как он изнемогает под бременем своего блаженства, и чувствую, что ему не под силу выдерживать столь беспримесное и столь всеобъемлющее непрерывное наслаждение. И действительно, едва насытившись им, он уже бежит от него и, побуждаемый естественным чувством, торопится спрыгнуть сам со ступеньки, на которой ему никоим образом не устоять и с которой он боится сверзиться вниз.

Когда я с предельной откровенностью исповедуюсь себе самому, я обнаруживаю, что даже лучшее, что только есть во мне, даже оно окрашено известным оттенком порочности. И я опасаюсь, как бы Платон, прислушайся он повнимательнее — что, несомненно, он делал не раз — к самой безупречной из своих добродетелей (а ведь я — искреннейший и преданнейший поклонник, какого только можно сыскать, как этой его добродетели, так и других, скроенных по такому же образцу), так вот, как бы Платон не уловил в этой своей добродетели некоего фальшивого тона, неизбежного в той совокупности, какую представляет собой человек, правда тона глухого и ощутимого лишь собственным слухом. Человек во всем и везде — ворох пестрых лоскутьев. И даже законы, блюстители справедливости, не могли бы существовать, если б к ним не примешивалась несправедливость; Платон замечает [11], что кто притязает очистить их от непоследовательностей и неудобств, тот пытается отрубить голову гидре. Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod contra singulos utilitate publica rependitur,— говорит Тацит *.

Равным образом верно и то, что наши умы бывают иногда слишком светлыми и прозорливыми в делах как частной, так и общественной жизни; ясности и проницательности подобных умов присуща чрезмерная утонченность и любознательность. Чтобы принудить их покоряться общепринятым правилам и обычаям, нужно отнять у них излишнюю пытливость и остроту; чтобы приспособить их к нашему смутному земному существованию, нужно придать им некоторую тяжеловесность и заставить их потускнеть. Но бывают также умы обыденные и менее яркие, которые более пригодны для ведения дел и лучше справляются с ними. Возвышенные и утонченные воззрения философии бесплодны в приложении к повседневной действительности. Эта повышенная живость души, эта беспокойная подвижность и гибкость ее препятствуют нам в житейских занятиях. Нужно вести предприятия человеческие проще, не мудрствуя, и добрую долю в них оставлять на усмотрение и произвол судьбы. Освещать дела слишком тонко и глубоко нет никакой надобности: наблюдая столь противоречивое освещение и многообразие форм, теряешься: volutantibus res inter se pugnantes, obtorpuerant animi **.

---

* Всякое примерное наказание заключает в себе нечто несправедливое по отношению к отдельным лицам, что, однако, вознаграждается общественной пользой [12] (*лат.*).

** Их разум терялся при размышлении о стольких противоречивых вещах [13] (*лат.*).

Вот что древние рассказывают о Симониде [14]: так как его воображение, пытаясь ответить на предложенный царем Гиероном вопрос,— а на обдумывание ответа ему было дано несколько дней — предлагало ему множество все новых и новых остроумных и тонких решений, он, колеблясь, какое же из них счесть наиболее правильным, отчаялся в конце концов отыскать истину.

Кто пристально разглядывает и старается охватить все до одного обстоятельства и все следствия, тот сам себе затрудняет выбор: обычная смекалка с таким же успехом делает свое дело и достаточна для разрешения как малых, так и больших вопросов. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что лучшие хозяева — это те, кто меньше всего мог бы ответить, каким образом они добиваются этого, и что велеречивые говоруны чаще всего не достигают ничего путного. Я знаю одного такого великого болтуна и превосходного мастера расписывать все, относящееся к любому виду хозяйственных дел; но он глупейшим образом пропустил сквозь пальцы сто тысяч ливров годового дохода. Знаю я и другого: этот уверяет, что разбирается в делах лучше, чем кто-либо другой; притом же на свете не сыщешь более благородной души и другого такого кладезя всяких знаний. А между тем слуги его утверждают, что, когда доходит до дела, он оказывается совсем не таким. При этом я отнюдь не ставлю этим господам в счет случайные бедствия разного рода.



Глава XXI

ПРОТИВ БЕЗДЕЛЬЯ

Император Веспасиан [1], страдая болезнью, которая и явилась причиною его смерти, не переставал выражать настойчивое желание, чтобы его осведомляли о состоянии государства. Больше того, даже лежа в постели, он непрерывно занимался наиболее значительными делами, и когда его врач, попеняв ему за это, заметил, что такие вещи губительны для здоровья, он бросил ему в ответ: «Император должен умирать стоя». Вот изречение, по-моему, воистину замечательное и достойное великого государя! Позднее, при подобных же обстоятельствах, оно было повторено императором Адрианом [2], и его надлежало бы почаще напоминать государям, дабы заставить их прочувствовать, что великая возложенная на них обязанность, а именно управлять столькими людьми, не есть обязанность тунеядца, а также что ничто, по справедливости, не может в такой же мере отбить у подданного охоту принимать на себя, ради служения своему государю, тяготы и невзгоды и подвергаться опасностям, чем возможность

видеть его в это самое время трусливо забившимся в угол за занятиями малодушными и ничтожными, и заботиться о его благополучии, в то время как он так равнодушен к нашему [3].

Если бы кто-нибудь вздумал доказывать, будто гораздо лучше, чтобы государь вел войны не сам, а поручал ведение их другим лицам, он нашел бы среди многообразия человеческих судеб немало примеров, когда назначенные государями полководцы успешно завершали за них великие предприятия; он натолкнулся бы и на таких государей, чье присутствие в войске приносило скорее вред, нежели пользу. Но ни один решительный и смелый монарх не потерпит, чтобы ему приводили столь постыдные доводы! Под предлогом желания уберечь свою жизнь ради блага всего государства — точно дело идет об изваянии какого-нибудь святого — иные из государей уклоняются от выполнения своего долга, который главным образом и состоит в военных деяниях, и тем самым уличают себя в неспособности к ним. Я же знаю одного государя [4], который, напротив, предпочитает быть битым, чем спать, пока за него бьются другие, и он даже не может смотреть без зависти на своих подчиненных, если те совершают в его отсутствие что-либо выдающееся. Селим I [5] говаривал — и, как мне кажется, с достаточным основанием,— что победы, одержанные без участия повелителя, не бывают полными и окончательными. И он сказал бы еще охотнее, что повелителю, который дрался в таком сражении лишь словами и мыслями, надлежит краснеть от стыда в том случае, если он домогается своей доли славы за достигнутую победу; и это тем более, что в подобных обстоятельствах советы и приказания могут доставлять честь только тогда, когда они подаются и отдаются на самом поле боя и в зависимости от положения дел. Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу. Государи оттоманской династии, первой по военному счастью династии в мире, глубоко восприняли эту истину, и Баязид II, равно как и его сын [6], отошедшие от нее, развлекаясь науками и другими домашними занятиями, надавали тем самым здоровенных пощечин своей империи; да и тот, что царствует в настоящее время, Мурад III, следуя их примеру, начинает поступать точно так же. Не английский ли король Эдуард III сказал о нашем Карле V [7]: «Не было короля, который брал бы в руки оружие реже, чем он, и не было короля, который причинил бы мне столько хлопот». И он был прав, находя это странным и видя тут скорее прихоть судьбы, чем следствие разумного порядка вещей.

И пусть ищут сочувствия у других, но только не у меня, те, кому хочется видеть в числе воинственных и великих завоевателей королей Кастилии и Португалии лишь на том основании, что, сидя в своих покойных дворцах, за тысячу двести лье, они трудом своих подначальных сделались властителями обеих Индий и других стран,— а ведь большой еще вопрос, хватило ли бы у них храбрости даже съездить туда самолично, чтобы вступить во владение этими землями.

Император Юлиан настаивал на еще большем [8]: он говорил, что «философу и честному человеку перевести дух и то возбраняется», то есть что им подобает отдавать дань потребностям нашего естества лишь настолько,

насколько это безусловно необходимо, занимая всегда и душу и тело делами прекрасными, великими и добродетельными. Он испытывал стыд, если ему доводилось сплюнуть или вспотеть на виду у народа (то же самое рассказывают о молодежи лакедемонян, а Ксенофонт [9] — и о персидской), ибо он полагал, что телесные упражнения, неустанный труд и умеренность должны выпарить и иссушить все эти излишние жидкости. То, о чем говорит Сенека [10], также не окажется здесь неуместным; а он говорит, что древние римляне держали свою молодежь всегда на ногах: они не обучали своих детей, сообщает он, ничему такому, что нужно было бы изучать сидя.

Жажда умереть с пользой и мужественно весьма благородна, но утолить ее зависит не столько от наших благих решений, сколько от благости нашей судьбы. Тысячи людей ставили себе целью или победить или пасть в сражении, но им не удавалось достигнуть ни того ни другого. Ранения и темницы пресекали на полпути их намерения и вынуждали жить насильственной жизнью. Существуют, кроме того, болезни, которые обрушиваются на нас с такой яростью, что подавляют и наши желания, и нашу память [11]. Молей Молук, властитель Феса, тот самый, который недавно разгромил Себастьяна, короля португальского, в битве, ставшей знаменитой по причине гибели трех королей и объединения великой португальской короны с кастильскою [12], этот Молей Молук тяжело заболел сразу после того, как португальцы вторглись в его страну. С каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже, и так продолжалось до самой его смерти, близость которой он ясно видел. Еще не было на свете человека, который вел бы себя столь же мужественно и благородно в подобных обстоятельствах. Слишком слабый, чтобы вынести тяготы торжественного прибытия в лагерь, что, согласно принятому у них обычаю, происходит с великой пышностью и обставляется множеством утомительных церемоний, он уступил эту честь своему брату. И это была единственная обязанность военачальника, которую он уступил кому-либо другому; что до всех остальных, необходимых для пользы дела и весьма важных, то он выполнял их сам, и притом поразительно усердно и тщательно; хотя тело его было простерто на ложе, свой разум и свое мужество он принудил твердо стоять на ногах и не сдаваться вплоть до последнего вздоха, а в некотором смысле и после него. Он мог взять неприятельское войско измором, поскольку португальцы безрассудно углубились в его владения, но ему было весьма тягостно, что из-за краткости срока, который ему оставалось жить, из-за отсутствия подходящего человека, который мог бы заменить его в ведении этой войны, и, наконец, из-за смут в государстве он вынужден искать победы кровавой и чреватой опасностями, хотя в его руках был и другой способ одолеть врагов, простой и вполне бесспорный. Все же он очень искусно использовал предоставленную ему болезнью отсрочку, всячески изматывая силы противника и завлекая его подальше от гаваней на побережье Африки и от его кораблей; и он делал это вплоть до последнего дня своей жизни, который приберег и предназначил для решительного сражения.

Свои войска он расположил в форме кольца, со всех сторон окружавшего армию португальцев. Сжимая и суживая это кольцо так, что врагам приходилось отбивать атаки одновременно со всех сторон, он не только затруднил им этим ведение боя — который был крайне жестоким, ибо юный португальский король непрерывно и доблестно пытался вырваться из кольца,— но и не дал им возможности спастись бегством, вернувшись назад тем же путем, каким они пришли. Так как все дороги оказались для них перехвачены и крепко заперты, португальцам пришлось топтаться на месте, тесня друг друга,— coacervanturque non solum caede, sed etiam fuga *— и, сбившись в кучу, уступить победителям, учинившим кровавую бойню, полную и окончательную победу. Уже умирающий, Молей приказал отнести себя на носилках к войску и переносить с места на место, туда, где его присутствие могло быть полезным; и когда его проносили вдоль рядов воинов, он воодушевлял на битву одного за другим своих военачальников и солдат. И так как на одном из участков его боевой порядок начал приходить в расстройство, он, как приближенные его ни удерживали от этого, сел на коня и пожелал ринуться с обнаженным мечом в самую гущу сражения. Окружающие, однако, не допустили его до этого, ухватившись кто за повод его коня, кто за платье, кто за стремена. Это усилие окончательно погасило еще тлевшую в нем искру жизни; его снова уложили на носилки. Он же, внезапно преодолев свое обморочное состояние и ввиду своей слабости не располагая никаким другим способом, чтобы отдать важнейшее в тот момент приказание — скрыть от всех его смерть, известие о которой могло бы вызвать смятение в рядах его войск,— приложил ко рту палец (как известно, общепринятый знак, приглашающий хранить молчание) и через мгновение испустил дух. Кто дольше его жил в самом преддверии смерти? И кто умер до такой степени стоя, как он?

Высшее проявление мужества пред лицом смерти, и самое к тому же естественное,— это смотреть на нее не только без страха, но и без тревоги, продолжая даже в цепких ее объятиях твердо придерживаться обычного образа жизни. Именно так и сделал Катон, продолжавший заниматься и не отказывавшийся от сна, когда голова и сердце его были уже полны смертью, которую он держал в своей руке.



* Они сбиваются в кучу не только в сечи, но и в бегстве (*лат.*).

Глава XXII
О ПОЧТОВОЙ ГОНЬБЕ

Я был когда-то не из последних в делах этого рода, самых что ни на есть подходящих для людей моего сложения и моего роста — крепкого и невысокого. Но я больше не занимаюсь ими: слишком уж они изнурительны, чтобы предаваться им долгое время.

Я только что прочитал о том, что царь Кир, дабы с большей легкостью получать известия со всех концов своего царства — а оно было весьма обширным,— повелел выяснить, какое расстояние за день может покрыть без отдыха лошадь, и, исходя из этого, поместить на соответствующей дистанции друг от друга особых людей, у которых были бы всегда наготове кони, чтобы поставлять их прибывающим к ним гонцам[1]. Некоторые передают, что быстрота передвижения этих гонцов достигала быстроты, с какой летят журавлиные стаи.

Цезарь рассказывает[2], что Луций Вибуллий Руф, торопясь доставить Помпею важное сообщение, мчался к нему день и ночь, меняя для скорости лошадей. Да и сам Цезарь, по словам Светония[3], делал по сто миль ежедневно, пользуясь наемной повозкой; впрочем, это был бешеный ездок, ибо там, где ему преграждали дорогу реки, он переправлялся через них вплавь, никогда не сворачивая с прямого пути ради поисков моста или брода. Тиберий Нерон[4], отправившись повидаться со своим братом Друзом, заболевшим в Германии, трижды сменив повозку, проделал за двадцать четыре часа целые двести миль. Во время войны, которую римляне вели с Антиохом[5], Тиберий Семпроний Гракх, как сообщает Тит Ливий, per dispositos equos prope incredibili celeritate ab Amphissa tertio die Pellam pervenit *, причем, если вчитаться внимательно в это место, то становится ясным, что речь идет о постоянных подставах, а не об учрежденных ради этой поездки.

Способ подавать весть о себе, который придумал Цецина[7], обеспечивал еще бо́льшую быстроту: покидая дом, он брал с собой ласточек и когда хотел что-либо сообщить домой, отпускал их лететь в свои гнезда, причем метил их краской того цвета, который обозначал то-то и то-то, в соответствии с тем, как он заранее уславливался с домашними.

Римские патриции, находясь в театре, держали за пазухой голубей и, когда им приходило в голову переслать домой какое-нибудь приказание своим людям, они выпускали этих голубей на свободу, прикрепив к ним записку. Эти голуби были также обучены возвращаться с ответом; ими пользовался и Децим Брут, осажденный в Мутине[8], и другие в иных местах.

В Перу вестники для своих разъездов употребляли людей, которые взваливали их на свои плечи вместе с особым сиденьем, проделывая это

* На перекладных лошадях он с почти невероятной скоростью прибыл на третий день из Амфиссы в Пеллу[6] (*лат.*).

до того ловко, что один носильщик, не останавливаясь и даже не замедляя бега, перебрасывал свою ношу другому [9].

Я слыхал, что валахи, гонцы султана, достигают изумительной скорости, и это происходит по той причине, что им дано право ссаживать первого встречного с приглянувшейся им лошади, отдавая взамен свою притомившуюся, и еще потому, что они, дабы предохранить себя от усталости, накрепко стягивают себе тело широким ремнем [10].



Глава XXIII

О ДУРНЫХ СРЕДСТВАХ, СЛУЖАЩИХ БЛАГОЙ ЦЕЛИ

Разительные подобия и соответствия сокрыты в той совокупности творений природы, которая есть мироздание, и это ясно показывает, что оно не случайно и никоим образом не подвластно многим хозяевам. Болезни и различные состояния, которым подвержено наше тело, наблюдаются также у государств и их общественного устройства: монархии и республики рождаются, переживают пору расцвета и увядают от старости совсем так же, как мы. Мы склонны к чрезмерному изобилию соков, которое бесполезно и скорее вредит. Это может быть либо излишек благодетельных соков (но и они пугают врачей, утверждающих, что, поскольку в нас нет ничего устойчивого, нам подобает умерять и ограничивать наше здоровье, если оно слишком уж выпирает из нас, ибо существует опасность, как бы наша природа, не умея прочно удерживаться на одном месте и лишенная возможности в таких случаях подняться ради своего улучшения на ступень выше, не подалась беспорядочно и внезапно назад, и ради предупреждения этого зла они предписывают людям атлетического сложения слабительные и кровопускания с целью избавить их от этого избытка здоровья [1]), либо изобилие соков дурных, которое и является обычной причиной болезней. Такое же полнокровие наблюдается часто и у больных государств, причем и тут имеют обыкновение пользоваться послабляющими разного рода. То, дабы разгрузить страну, отправляют за ее рубежи большое число семейств, которые уходят отсюда в поисках мест, где они могли бы обосноваться за счет кого-либо другого: этот способ был использован древними франками, вышедшими из самого сердца Германии, чтобы захватить Галлию и изгнать исконных ее обитателей. Так же слагались и бесчисленные людские потоки, хлынувшие в Италию под предводительством Бренна [2], и еще некоторые другие. Точно так же и готы и вандалы, равно как и народы, владеющие в настоящее время Грецией, покинули

некогда свою родину, чтобы осесть где-нибудь в другом месте, которое было бы попросторнее. И едва ли найдется на целом свете два-три угла, не испытавших на себе воздействия подобных переселений.

Применяя эти же средства, римляне учреждали свои колонии, ибо, понимая, что их город разрастается сверх всякой меры, они разгружали его от наименее нужных людей, отправляя их заселять и обрабатывать покоренные ими земли; иногда они даже сознательно затевали войны со своими врагами и притом не только ради того, чтобы не давать закисать своим людям или из опасения, как бы праздность, мать всех пороков, не доставила им неприятностей еще худшего свойства [3],—

Et patimur longae pacis mala; saevior armis
Luxuria incumbit *,—

но и для того, чтобы устроить кровопускание своему государству и охладить слишком уж ярый пыл своей молодежи, обрезав и проредив побеги этого непомерно буйно разрастающегося ствола; некогда в тех же целях они использовали и войну с Карфагеном.

При переговорах в Бретиньи Эдуард III [5], король английский, не пожелал уступить нашему королю — хотя на этот раз они заключали общий мир — захваченные им земли герцогства Бретонского, руководствуясь при этом теми соображениями, что ему хотелось иметь, где бы разместить своих воинов, дабы та тьма англичан, услугами которых он пользовался в своих заморских делах, не хлынула, чего доброго, снова в Англию. Такова же была одна из причин, побудивших нашего короля Филиппа отпустить своего сына Жана на войну за морем; он считал желательным и полезным, чтобы тот взял с собой сильных и пылких юношей, служивших в его конном отряде [6].

И в наши дни находится немало таких, кто рассуждает подобным же образом и жаждет обратить охватившее нас чересчур пылкое возбуждение в войну с кем-либо из наших соседей, опасаясь, как бы вредоносные соки, овладевшие в настоящее время всем нашим телом, не поддержали нашей горячки, сохраняя ее в прежней силе, и не привели в конце концов к нашей полной гибели [7]. И впрямь война внешняя — меньшее зло, чем война внутренняя, но я не думаю, чтобы бог благоприятствовал столь несправедливому делу — оскорблять и задирать войной другого ради нашей собственной выгоды:

Nil mihi tam valde placeat, Rhamnusia virgo,
Quod temere invitis suscipiatur heris **.

И все же слабость нашего естества нередко толкает нас к необходимости пользоваться дурными средствами для достижения благой цели.

* Мы терпим зло от длительного мира: изнеженность действует на нас хуже войны [4] (*лат.*).

** О Немезида, сделай так, чтобы я ничем не соблазнился до такой степени, чтобы желать отнять эту вещь у ее владельца [8] (*лат.*).

Так, например, Ликург, этот добродетельнейший и совершеннейший законодатель из всех, какие когда-либо жили на свете, придумал крайне безнравственный способ приучать свой народ к трезвости: он насильственно заставлял илотов, которые были рабами спартанцев, напиваться до полного отупения; и делал он это ради того, чтобы при виде этих погибших, погрязших в вине существ, спартанцев охватывал ужас перед крайними проявлениями этого столь омерзительного порока [9]. Еще более жестоко — ибо если уж приходится поступать неправедно, то гораздо извинительнее делать это для спасения нашей души, нежели для спасения нашего тела,— поступали в древности те, кто дозволял врачам кромсать заживо приговоренных к казни преступников, независимо от того, к какому роду смерти их присудили, с тем чтобы эти врачи, наблюдая в естественном состоянии наши внутренности, совершенствовались в своем искусстве. То же самое нужно сказать и о римлянах, воспитывавших в народе мужество, а также презрение к опасностям и к самой смерти посредством потрясающих зрелищ бьющихся не на живот, а на смерть гладиаторов и фехтовальщиков, которые резали и убивали друг друга у него на глазах,

Quid vesani aliud sibi vult ars impia ludi,
Quid mortes iuvenum, quid sanguine pasta voluptas? *

И этот обычай держался вплоть до императора Феодосия [11].

Arripe dilatam tua, dux, in tempora famam,
Quodque patris superest, successor laudis habeto,
Nullus in urbe cadat, cuius sit poena voluptas.
Iam solis contenta feris, infamis arena
Nulla cruentatis homicidia ludat in armis **.

Это и впрямь был пример поразительной силы воздействия и чрезвычайно полезный для воспитания в народе упомянутых качеств, ибо чуть ли не ежедневно у него на глазах сотня, две сотни, даже тысячи пар, выходивших с оружием в руках друг против друга, давали рубить себя на куски с таким непоколебимым мужеством, что никто никогда не слышал от них ни одного малодушного слова и ни одной жалобы, не видел ни одного, кто обратился бы вспять или даже позволил себе какое-нибудь трусливое движение в сторону, чтобы избежать удара противника; больше того, со многими из них случалось даже такое, что, прежде чем рухнуть наземь и тут же на месте испустить дух, они посылали спросить у народа, доволен ли он их поведением. Им подобало не только стойко сражать-

* Иначе каков смысл этого нечестивого искусства жестоких игр, этих смертей юношей, этого наслаждения, доставляемого кровью [10]? (*лат.*).

** Прими, государь, славу, выпавшую твоему царствованию, и стань наследником славы, доставшейся тебе от отца. Пусть не погибнет более никто в Риме, чьи муки были бы наслаждением для толпы. Довольствуясь кровью животных, пусть бесславная эта арена не увидит больше кровавых человекоубийственных игр [12] (*лат.*).

ся и так же принимать смерть, но и делать, сверх того, и то и другое весело и легко; им свистали и их поносили, если видели, что им не хочется умирать; даже девушки — и те побуждали их к этому:

consurgit ad ictus;
Et, quoties victor ferrum iugulo inserit, illa
Delicias ait esse suas, pectusque iacentis
Virgo modesta iubet converso pollice rumpi *.

Первоначально римляне пользовались для этих поучительных зрелищ только преступниками, но впоследствии стали выпускать на арену и ни в чем не повинных рабов, и свободных граждан, продававших себя для этого, и сенаторов, и римских всадников, и, больше того, даже женщин:

Nunc caput in mortem vendunt, et funus arenae
Atque hostem sibi quisque parat, cum bella quiescant **.

Hos inter fremitus novosque lusus,
Stat sexus rudis insciusque ferri,
Et pugnas capit improbus viriles ***.

Все это я счел бы крайне странным и непонятным, если бы мы не привыкли постоянно видеть в качестве участников наших войн многие тысячи чужеземцев, отдающих за деньги и свою кровь, и самую жизнь в распрях, до которых им нет ни малейшего дела.



* Скромная дева приподнимается со своего места при каждом ударе; всякий раз, как победный клинок вонзается в чью-либо шею, она приходит в восторг и, опустив вниз большой палец, отдает таким способом приказ о смерти поверженного побежденного [13] (*лат.*).

** Они продают себя, чтобы идти на смерть и быть убитыми на арене. И, хотя царит мир, каждый выбирает себе врага [14] (*лат.*).

*** Среди этих кликов и небывалых забав слабый и не приспособленный к оружию пол позорит себя, давая сражения, созданные для мужчин [15] (*лат.*).

Глава XXIV
О ВЕЛИЧИИ РИМЛЯН

Этому поистине неисчерпаемому предмету я намерен уделить всего несколько слов; моя цель — показать недомыслие тех, кто пытается сравнивать с величием римлян жалкое величие нашего времени. В седьмой книге «Дружеских писем» Цицерона (пусть филологи, если того пожелают, лишат их названия «Дружеских», ибо оно и в самом деле не очень-то подходит, и те, кто вместо «Дружеские» именует их письмами ad familiares *, могут извлечь кое-какие доводы в свою пользу из того, что в своем «Жизнеописании Цезаря» сообщает Светоний [2], а именно, что и у Цезаря был целый том писем, написанных им ad familiares) — так вот в этой седьмой книге есть одно письмо Цицерона к Цезарю, находившемуся в то время в Галлии. В этом письме Цицерон воспроизводит слова, содержавшиеся в конце письма, полученного им перед тем от Цезаря. Вот они: «Что касается Марка Фурия, о котором ты отзываешься с такой похвалой, то я сделаю его, если такова твоя воля, царем Галлии. И вообще, если ты хочешь выдвинуть кого-нибудь из своих друзей, присылай этого человека ко мне» [3]. Для простого римского гражданина, каким был тогда Цезарь, было уже не внове располагать по своему усмотрению целыми царствами, ибо к тому времени он успел отнять у Дейотара [4] его престол, чтобы отдать его некоему знатному пергамцу по имени Митридат. И те, кто описывает нам жизнь Цезаря, перечисляют еще несколько проданных им государств; да и Светоний рассказывает [5], что Цезарь вытянул с одного раза из царя Птолемея три миллиона шестьсот тысяч экю, то есть почти столько же, за сколько тот мог бы продать свое царство:

Tot Galatae, tot Pontus eat, tot Lydia nummis **.

Марк Антоний говаривал, что величие римского народа проявляется не столько в том, что́ он взял, сколько в том, что́ он роздал [7]; и все же за несколько веков до Антония этот народ отнял нечто настолько значительное, что во всей истории Рима я не знаю никакого другого события, которое сообщало бы его имени бо́льшую славу и большее уважение. Антиох [8] владел в те времена всем Египтом и готовился предпринять захват Кипра и прочих зависимых от него областей. В самый разгар одерживаемых этим царем побед к нему прибыл с поручением от сената Гай Попилий; он начал с того, что отказался коснуться царской руки, пока царь не прочтет врученного им послания. Антиох, прочитав это послание, заявил Попилию, что ему потребуется время на размышление. Тогда Попилий очертил находившимся у него в руке прутиком место, на котором

---

* К близким [1] (*лат.*).

** За такую-то сумму — Галатию, за такую-то — Понт, за такую-то — Лидию [6] (*лат.*).

стоял Антиох, и сказал, обращаясь к нему: «Сообщи, не выходя из этого круга, ответ, который я мог бы доставить сенату». Антиох, пораженный решительностью столь безоговорочно предъявленного ему повеления, подумав немного, ответил: «Я выполню все, что приказывает сенат». После этого Попилий обратился к нему с приветствием, какое отныне подобало ему, как «другу римского народа». Отказаться от столь беспредельной власти, и притом тогда, когда судьба так благоприятствовала ему,— и все это под впечатлением каких-то трех строк послания! И он был, разумеется, прав, приказав, как он сделал, сообщить через своих послов сенату римской республики, что он принял его приказания с таким же благоговением, как если бы они исходили от бессмертных богов.

Все царства, завоеванные Августом по праву войны, он возвратил тем, кто владел ими прежде, или раздарил чужеземцам. И по этому поводу Тацит, рассказывая о Когидуне, короле бриттов, одной замечательно удачной черточкой дает нам почувствовать всю бесконечность могущества римлян. Римляне, говорит он, имели обыкновение еще с древнейших времен оставлять во владении побежденных царей, под их властью, принадлежавшие им ранее царства, «дабы располагать даже царями в качестве орудий порабощения» — ut haberent instrumenta servitutis et reges [9]. Весьма вероятно, что Сулейман [10], который, как мы видели, весьма милостиво отнесся к венгерскому королевству и некоторым другим государствам, руководствовался при этом скорее указанными выше соображениями, а не тем, какое имел обыкновение приводить в объяснение своих действий, а именно — что «он пресыщен и обременен таким множеством монархий и владений».



Глава XXV

О ТОМ, ЧТО НЕ СЛЕДУЕТ ПРИКИДЫВАТЬСЯ БОЛЬНЫМ

У Марциала есть удачная эпиграмма (ибо не все его эпиграммы одинакового достоинства), в которой он рассказывает забавную историю о Целии. Последний, не желая быть на ролях придворного у некоторых римских вельмож — присутствовать при церемонии их вставания, находиться при них и сопровождать их — притворился страдающим подагрой. Стремясь отвести всякие сомнения в подлинности своей болезни, он стал лечиться от подагры: ему смазывали и закутывали ноги, и он до того естественно подделывался своим внешним видом и манерой держаться под по-

дагрика, что под конец судьба ниспослала ему это счастье на деле:

Tantum cura potest et ars doloris!
Desiit fingere Caelius podagram *.

Где-то у Аппиана [2], насколько мне помнится, я прочитал о подобном же случае с одним римлянином, который, чтобы не попасть в проскрипционные списки, составлявшиеся триумвирами, и желая ускользнуть от бдительности своих гонителей, не только скрывался переодетым, но еще и притворялся одноглазым. Когда он обрел бо́льшую свободу действий и решил снять пластырь, которым долгое время был заклеен один его глаз, то обнаружил, что действительно потерял зрение на этот глаз. Возможно, что в связи с длительным бездействием этого глаза зрение в нем ослабело, но зато увеличилась зоркость другого глаза. Ибо нередко мы наблюдаем, что закрытый глаз передает работающему часть своих функций, благодаря чему глаз, принявший весь труд на себя одного, как бы увеличивается и расширяется за этот счет. Нечто подобное могло произойти и в случае, приводимом Марциалом: отвычка Целия от ходьбы, укутывания ног и другие лечебные средства могли вызвать у его мнимого подагрика первые признаки этой болезни.

Читая у Фруассара [3] об одном отряде молодых английских рыцарей, которые, до переправы во Францию и до совершения каких-то там подвигов в войне с нами, все носили повязку на левом глазу, я часто весело смеялся при мысли, что с ними должно было приключиться то же, что и в приведенных случаях, и при возвращении в Англию они все предстали кривыми перед своими возлюбленными, ради которых пустились в это предприятие.

Матери правы, когда бранят детей за то, что они подражают слепым, хромым, косоглазым, людям с какими-либо другими физическими недостатками, ибо, кроме того, что это может причинить вред не сложившемуся еще организму ребенка, получается так, как будто судьба нас подстерегает, чтобы поймать на этом; мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшие какую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболевали ею.

С давних пор я до того привык — хожу ли пешком, езжу ли верхом — держать в руках трость или палку, что даже нахожу в этом известное изящество и мне нравится опираться на палку. Многие пугали меня тем, что когда-нибудь судьба обратит мое щегольство в печальную необходимость. Я льщу себя поэтому надеждой, что буду в таком случае первым подагриком во всем моем роде.

Однако вернемся к затронутой теме и поговорим еще о слепоте. Плиний сообщает [4] о случае, когда человек, вообразив себя во сне слепым, на другой день действительно ослеп, совершенно не болев до этого. Сила

* Вот к чему приводит столь искусное разыгрывание болезни! Целию незачем больше притворяться подагриком [1] (*лат.*).

воображения, как я утверждал в другом месте [5], могла при этом сыграть свою роль, и кажется, что это мнение разделяет и Плиний; но более вероятно, что внутренние ощущения потери зрения, которые испытывал организм и причину которых установят, если им угодно будет, врачи, явились поводом для такого сна.

Приведем еще один близкий к этому случай, о котором рассказывает в одном из своих писем Сенека. «Ты знаешь,— пишет Сенека Луцилию [6],— что Гарпаста, шутиха моей жены, осталась у меня в доме в этой должности, перешедшей к ней по наследству, ибо что касается меня, то я не выношу подобных уродов, и если мне хочется посмеяться над шутом, мне незачем для этого далеко ходить: я смеюсь над собой. И вдруг Гарпаста ослепла. Я рассказываю тебе о странном, но истинном происшествии; эта несчастная не сознает, что она ослепла и непрерывно требует от своего слуги, чтобы он увел ее из моего дома, ссылаясь на то, что у меня слишком темно. Поверь мне: тот самый недостаток, который вызывает в нас улыбку по ее адресу, присущ каждому из нас; никто не сознает, что он скуп или жаден. Слепые нуждаются в поводыре, мы же обязаны заботиться о себе сами. „Я не тщеславен,— говорим мы,— но в Риме нельзя жить иначе; я не мот, но такой город обязывает к большим тратам; не моя вина, если я вспыльчив и еще не выработал себе твердого уклада жизни; в этом повинна молодость. Не будем искать причину зла вне нас, оно сидит в нас, в самом нашем нутре. И именно потому, что мы не сознаем своей болезни, нам так трудно исцелиться. Если не начать лечиться при первых же признаках заболевания, то как справиться с таким количеством язв и недугов? Но у нас есть такое прекрасное лекарство, как философия: в отличие от других средств, радующих нас только после выздоровления, философия одновременно и радует и исцеляет нас“».

Таковы слова Сенеки, который увел меня далеко от темы, но и в перемене есть польза.



Глава XXVI

О БОЛЬШОМ ПАЛЬЦЕ РУКИ

Тацит сообщает [1], что у некоторых варварских королей был такой обычай: два короля, чтобы скрепить заключаемый между ними договор, плотно прикладывали одну к другой ладони своих правых рук, переплетая вместе узлом большие пальцы; затем, когда кровь сильно приливала к кончикам туго стянутых пальцев, они делали на них надрез и слизывали друг у друга брызнувшую кровь.

Врачи утверждают, что большой палец руки — властелин остальных пальцев и что латинское название большого пальца происходит от глагола pollere *[2]. Греки называли большой палец ἀντίχειρ, как если бы это была еще одна самостоятельная рука. Мне сдается, что и в латинском языке это слово иногда тоже обозначает всю руку:

Sed nec vocibus excitata blandis
Molli pollice nec rogata surgit **.

В Риме считалось знаком одобрения прижать один к другому оба больших пальца и опустить их:

Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum ***,

напротив, признаком же немилости — поднять их и наставить на кого-нибудь:

converso pollice vulgi
Qeumlibet occidunt populariter ****.

Римляне освобождали от военной службы раненных в большой палец на том основании, что они не могли уже достаточно крепко держать в руке оружие. Август конфисковал все имущество одного римского всадника, который отрубил обоим своим молодым сыновьям большие пальцы с целью избавить их от военной службы [6]; а еще до Августа, во время италийской войны, сенат осудил Гая Ватиена на пожизненное заточение с конфискацией имущества за то, что он умышленно отрубил себе большой палец левой руки, чтобы избавиться от этого похода [7].

Какой-то полководец — не могу припомнить, кто именно,— выигравший морское сражение, приказал отрубить побежденным врагам большие пальцы, дабы они не могли больше воевать и грести [8].

Афиняне отрубили эгинянам большие пальцы, чтобы лишить их превосходства в морском деле [9].

В Спарте учитель наказывал детей, кусая у них большой палец [10].



---

* Иметь силу.

** Ни ласковые слова, ни прикосновение нежного пальца, ни просьбы не могли пробудить его угасший пыл [3] (*лат.*).

*** Тот, кому ты понравишься, будет одобрять тебя обоими большими пальцами [4] (*лат.*).

**** Убивают публично любого, на кого народ укажет большим пальцем [5] (*лат.*).

Глава XXVII
ТРУСОСТЬ — МАТЬ ЖЕСТОКОСТИ

Я часто слышал пословицу: трусость — мать жестокости. Мне действительно приходилось наблюдать на опыте, что чудовищная, бесчеловечная жестокость нередко сочетается с женской чувствительностью. Я встречал необычайно жестоких людей, у которых легко было вызвать слезы и которые плакали по пустякам. Тиран города Феры Александр не мог спокойно сидеть в театре и смотреть трагедию из опасения, как бы его сограждане не услышали его вздохов по поводу страданий Гекубы или Андромахи, в то время как сам он, не зная жалости, казнил ежедневно множество людей [1]. Не душевная ли слабость заставляла таких людей бросаться из одной крайности в другую?

Доблесть, свойство которой — проявляться лишь тогда, когда она встречает сопротивление:

> Nec nisi bellantis gaudet cervice iuvence *,

бездействует при виде врага, отданного ей во власть, тогда как малодушие, которое не решается принять участие в опасном бою, но хотело бы присвоить себе долю славы, даруемую победой, берет на себя подсобную роль — избиений и кровопролития. Побоища, следующие за победами, обычно совершаются солдатами и командирами обоза; неслыханные жестокости, чинимые во время народных войн, творятся этой кучкой черни [3], которая, не ведая никакой другой доблести, жаждет обагрить по локоть свои руки в крови и рвать на части человеческое тело:

> Et lupus et turpes instant morientibus ursi,
> Et quaecunque minor nobilitate fera est **.

Эти негодяи подобны трусливым псам, кусающим попавших в неволю диких зверей, которых они не осмеливались тронуть, пока те были на свободе. А что в настоящее время превращает наши споры в смертельную вражду, и почему там, где у наших отцов было какое-то основание для мести, мы в наши дни начинаем с нее и с первого же шага принимаемся убивать? Что это, как не трусость? Всякий отлично знает, что больше храбрости и гордости в том, чтобы разбить своего врага и не прикончить его, чтобы разъярить его, а не умертвить; тем более, что жажда мести таким образом больше утоляется, ибо с нее достаточно — дать себя почувствовать врагу. Ведь мы не мстим ни животным, ни свалившемуся

---

* Он рад прикончить молодого быка, лишь если он сопротивляется [2] (*лат.*).

** Волк, медведь и все другие неблагородные животные набрасываются на умирающих [4] (*лат.*).

на нас камню, ибо они неспособны ощутить нашу месть. А убить человека — значит охранить его от действия нашей обиды.

Биант [5] как-то бросил одному негодяю: «Я знаю, что рано или поздно ты будешь наказан за это, но боюсь не увидеть этого»; и он жалел, что не осталось в живых никого из тех жителей города Орхомена, которых могло бы порадовать раскаяние Ликиска в совершенном по отношению к ним предательстве. Точно так же можно пожалеть о мести в том случае, когда тот, против кого она направлена, не может ее почувствовать, ибо, поскольку мститель хочет порадоваться, увидев себя отмщенным, необходимо, чтобы налицо был и обидчик, который ощутил бы при этом унижение и раскаяние.

«Он раскается в этом»,— говорим мы. Но можно ли надеяться, что он раскается, если мы пустим ему пулю в лоб? Наоборот, если мы присмотримся внимательнее, мы убедимся, что он скорчит нам презрительную гримасу. Он даже не успеет на нас разгневаться и будет за тысячу миль от того, чтобы раскаяться. Мы окажем ему величайшую услугу, дав ему возможность умереть внезапно, без всяких мучений. Нам придется бежать, скрываться и таиться от преследования судебных властей, а он будет мирно покоиться. Убийство годится в том случае, когда ты хочешь избежать предстоящей обиды, но не тогда, когда хочешь отмстить за совершенный уже проступок; это скорее действие, продиктованное страхом, чем храбростью, предосторожностью, а не мужеством, обороной, а не нападением. Не подлежит сомнению, что мы отклоняемся в этом случае и от подлинной цели мести и перестаем заботиться о нашем добром имени; мы боимся, чтобы враг не отплатил нам тем же, если останется в живых. Ты избавляешься от него ради себя, а не борясь с ним.

В Нарсингском царстве [6] такой способ борьбы был бы невозможен. Там не только воины, но и ремесленники решают возникающие среди них раздоры мечом. Царь предоставляет место для состязания тому, кто хочет сразиться, и присутствует сам, если это знатные лица, награждая победителя золотой цепью. Первый попавшийся, которому захочется завоевать такую цепь, может вступить в бой с ее обладателем, и случается, что тому приходится выдерживать несколько таких поединков.

Если бы мы хотели превзойти нашего врага доблестью и иметь возможность рассчитаться с ним, то мы огорчились бы, если бы он избежал этого, в случае, например, смерти; ведь мы хотим победить и добиваемся не столько почетной, сколько верной победы, мы стремимся не столько к славе, сколько к тому, чтобы положить конец ссоре. Подобную ошибку совершил по своей порядочности Азиний Поллион [7]: написав множество инвектив против Планка, он стал дожидаться его смерти, чтобы выпустить их в свет. Это походило на то, как если бы показать кукиш слепому или обрушиться с бранью на глухого, и меньше всего можно было рассчитывать оскорбить этим Планка. Поэтому по адресу Поллиона и было сказано, что только червям дано точить мертвецов. О чем свидетельствует поведение того, кто дожидается смерти автора, с писаниями которого он хочет бороться, как не о том, что он сварлив и бессилен?

Аристотелю рассказали, что кто-то клевещет на него. «Пусть он отважится на большее,— ответил Аристотель,— пусть бичует меня, лишь бы меня там не было» [8].

Наши предки довольствовались тем, что отвечали на оскорбительные слова обвинением во лжи, на обвинение во лжи — ударом, и так далее, все усиливая оскорбления. Они были достаточно храбры и не боялись встретиться лицом к лицу с оскорбленным ими врагом. Мы же трепещем от страха, пока видим, что враг жив и здоров. Не свидетельствует ли о том, что это именно так, наше великолепное нынешнее обыкновение преследовать насмерть как того, кто нас обидел, так и того, кого мы обидели сами?

Свидетельством трусости является также введенный у нас обычай приводить с собой на поединок секунданта, а не то даже двух или трех. В прежние времена бывали единоборства, а сейчас у нас — это стычки или маленькие сражения [9]. Тех, кто их выдумал, страшило одиночество: cum in se cuique minimum fiduciae esset *. Ведь вполне понятно, что, когда в момент опасности с тобой находятся еще несколько человек, то, кем бы они ни были, уж само их присутствие всегда приносит облегчение и подбадривает. В прежние времена в обязанности третьих лиц входило следить за тем, чтобы не было нарушений порядка или какого-нибудь подвоха, и они же должны были являться очевидцами исхода сражения; но с тех пор, как повелось, что они должны сами принимать участие в этих сражениях, всякий такой человек уже не может без ущерба для своей чести оставаться зрителем из опасения быть обвиненным в трусости или недостатке дружбы. Я нахожу, что это несправедливо, ибо гнусно для защиты своей чести привлекать кого бы то ни было, кроме самого себя; а кроме того, я еще считаю, что для порядочного человека, целиком полагающегося на себя, недопустимо заставлять другого разделять его судьбу. Всякий человек достаточно подвергает себя опасности ради самого себя, и не следует, чтобы он подвергал себя ей еще ради кого-нибудь другого; и с него хватает заботы о том, как бы отстоять свою жизнь собственными силами, не отдавая столь драгоценную вещь в чужие руки. А между тем, если в условиях поединка не оговорено противное, он неизбежно превращается в сражение по меньшей мере четырех бойцов. Если ваш секундант повержен на землю, вам предстоит, по правилам, биться одновременно с двумя. Да разве это не плутовство? Ведь это все равно, как если бы человек хорошо вооруженный нападал на имеющего в руках лишь рукоять без клинка или целый и невредимый — на раненого.

Но если подобных преимуществ вы добились сами, сражаясь, вы вправе ими воспользоваться, не боясь упреков. Неравенство в вооружении и состоянии сражающихся учитывается лишь в момент начала боя, а дальше уже вы должны положиться на собственную удачу. Если на поединке ваши два секунданта будут убиты и вам придется одному сражаться про-

---

* Никто не полагался на самого себя [10] (*лат.*).

тив троих, поведение ваших противников будет столь же безупречным, как и мое в том случае, если бы на войне я пронзил шпагой врага, имеющего против себя одного троих наших.

Всегда там, где рать стоит против рати (как это было, например, когда наш герцог Орлеанский вызвал на бой короля Генриха английского, с сотней своих бойцов против ста англичан с их королем, или во время битвы аргивян со спартанцами, где решено было сражаться тремстам воинам против трехсот, или когда трое бились против троих, как было в битве Горациев против Куриациев [11]), множество воинов, выставляемое каждой стороной, рассматривается как один человек. Всюду там, где налицо несколько сражающихся человек, битва полна превратностей и исход ее смутен.

У меня есть свои личные основания интересоваться этой темой: мой брат, сьер де Матекулон [12], был приглашен в Риме одним мало знакомым ему дворянином в качестве секунданта на дуэль между ним и другим дворянином, который вызвал его. В этом поединке моему брату пришлось скрестить шпагу с человеком, который был ему более знаком и близок, чем дворянин, ради которого он принял участие в этой дуэли (хотел бы я, чтобы мне когда-нибудь разъяснили смысл этих законов чести, которые так часто идут вразрез с разумом и здравым смыслом!). Разделавшись со своим противником и видя, что оба главных дуэлянта еще целы и невредимы, мой брат напал на секунданта. Мог ли он поступить иначе? Или ему следовало отойти в сторону и спокойно наблюдать, как тот, кто пригласил его секундантом, быть может, будет убит на его глазах? Ибо то, что он до сих пор сделал, не подвигало дела ни на шаг и спор оставался все еще неразрешенным! То великодушие, которое вы вполне можете и даже обязаны проявить по отношению к вашему личному врагу, если вы прижали его к стене или причинили уже ему какой-то огромный ущерб,— я не представляю себе, как вы могли бы его проявить, когда дело идет не о ваших собственных интересах, а об интересах третьего лица, которому вы вызвались помогать. Мой брат не имел права быть справедливым и великодушным, подвергая риску успех лица, в распоряжение которого он себя предоставил. Вот почему, по незамедлительному и официальному требованию нашего короля, он был освобожден из тюремного заключения в Италии.

Мы, французы,— ужасные люди: не довольствуясь тем, что весь мир знает о наших пороках и безумствах понаслышке, мы еще ездим к другим народам, чтобы показать их воочию. Поселите троих французов вместе в ливийской пустыне — они и месяца не проживут, не поцапавшись друг с другом. Можно подумать, что эти путешествия предпринимаются нарочно для того, чтобы доставить иноземцам удовольствие полюбоваться нашими драмами, и главным образом тем из них, которые смеются над нашими бедами и злорадствуют по этому поводу.

Мы ездим в Италию учиться фехтованию и, рискуя жизнью, практикуем это искусство, еще не научившись ему. Ведь по правилам обучения следовало бы сначала изучить теорию, а потом практику этого дела. Меж-

ду тем наше обучение ведется в обратном порядке:

Primitiae iuvenum miserae, bellique futuri
Dura rudimenta *.

Я знаю, что фехтовальное искусство преследует полезные цели (в Испании, например, по словам Тита Ливия [14], однажды на поединке двух двоюродных братьев знатного происхождения старший благодаря опытности в военном деле и хитрости легко одолел самонадеянного младшего брата), и убедился на опыте, что умелое пользование этим искусством придавало некоторым необычайную храбрость; но это не мужество в истинном смысле слова, ибо оно происходит не от природной смелости, а от ловкости. Доблесть в сражении состоит в соревновании храбрости, а эта последняя не приобретается путем обучения. Так, один мой приятель, считавшийся большим знатоком фехтовального искусства, выбирал для своих поединков такого рода оружие, которое лишало бы его возможности воспользоваться своим преимуществом и при котором все целиком и полностью зависело бы от удачи и уверенного поведения; он не желал, чтобы его успех приписывали не его мужеству, а искусству в фехтовании. В годы моего детства дворяне избегали приобретать репутацию искусных фехтовальщиков, ибо она считалась унизительной, и уклонялись от обучения этому искусству, которое основывается на ловкости и не требует подлинной и неподдельной доблести:

Non schivar, non parar, non ritirarsi
Voglion costor, ne qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi finti, hor pieni, hor scarsi;
Toglie l'ira e il furor l'uso del arte.
Odi le spade horribilmente urtarsi
A mezzo il ferro; il pie d'orma non parte:
Sempre e'il pie fermo, e la man sempre in moto;
Ne scende taglio in van, ne punta a voto **.

Военными упражнениями наших отцов были такие подобия битв, как турниры, стрельба в цель, стычки у барьера; а наши поединки считались тем менее почтенными, что они преследуют лишь частные наши цели: на них мы только уничтожаем друг друга, вопреки существующим законам и правосудию, и они всегда приносят лишь вред и ущерб. Гораздо более достойное и подходящее дело — заниматься такими вещами, которые не портят, а укрепляют наши нравы и направлены к обеспечению общественной безопасности и славы.

* Печальный первый урок юноши, жестокая первая проба грядущей войны [13] (*лат.*).
** Они [бойцы] не хотят ни уклоняться, ни отбивать, ни хитрить: в их сраженье ловкость ни при чем. Они не применяют ложных замахов, ударов то в полную силу, то ослабленных. Гнев и ярость заставляют их забыть об искусстве. Слышится устрашающий звон гнущихся посередине мечей. Их ноги тверды и неподвижны, а руки все время в движении; здесь колют и рубят не зря [15] (*ит.*).

Консул Публий Рутилий [16] впервые ввел военное обучение для воинов, установив, что при обращении с оружием искусство должно сочетаться с доблестью, но не в интересах частных лиц, а в интересах римского народа, для разрешения его военных споров. Уменье вести войну должно быть всеобщим и общегражданским делом. Кроме Цезаря, отдавшего во время битвы при Фарсале приказ своим воинам целиться воинам Помпея прямо в лицо [17], многие другие полководцы изобретали особые способы борьбы, новые виды обороны и нападения в зависимости от требований момента. Но Филопемен осудил кулачный бой [18], в котором он не имел себе равных, поскольку подготовка к нему была совершенно отлична от военного обучения, ибо он считал, что только почтенные люди должны упражняться в нем. Подобно этому и я считаю, что та ловкость, которую с помощью новейших способов обучения стремятся привить молодежи, те особые выпады и парады, в которых ей советуют упражняться, не только совершенно бесполезны, но скорее даже вредны, если их применять в настоящем сражении.

Вот почему военные люди в наше время пользуются в бою совсем особыми видами оружия, лучше всего для этой цели приспособленными. И не раз при мне выражали неодобрение дворянину, который, будучи вызван на поединок на шпагах и кинжалах, являлся на место боя в полном военном вооружении. Следует отметить, что платоновский Лахес [19], говоря о военном обучении, подобном нашему, заявляет, что никогда не видел, чтобы такая военная школа дала какого-нибудь видного полководца или хотя бы знатока военного дела. Наш опыт подтверждает это; но тут по крайней мере можно сказать, что это таланты, не имеющие отношения к обычному военному обучению. Платон запрещает при воспитании детей в своем государстве способы ведения кулачного боя, установленные Амиком и Эпеем, а также приемы борьбы, введенные Антеем и Керкионом, так как их цель отнюдь не в том, чтобы усовершенствовать военную подготовку молодежи или содействовать ей [20].

Но я несколько отклонился от моей темы.

Император Маврикий [21], будучи предупрежден некоторыми предсказаниями и сновидениями о том, что он будет убит неким безвестным до этого времени солдатом Фокой, обратился к своему зятю Филиппу с вопросом, что представляет собой этот Фока, каков его характер, его душевные качества, нрав. И когда Филипп при перечислении его качеств упомянул о том, что он труслив и робок, Маврикий тотчас же на основании этого заключил, что он, следовательно, жесток и склонен к убийствам. Почему тираны так кровожадны? Не потому ли, что они заботятся о своей безопасности? Не потому ли, что их трусость видит лучшее средство избавиться от опасности в том, чтобы истребить всех, вплоть до женщин, кто только способен встать против них, кто может нанести им хотя бы малейший ущерб?

Cuncta ferit, dum cuncta timet *.

* Он все разит, так как всего боится [22] (*лат.*).

Первые жестокости совершаются ради них самих, но они порождают страх перед справедливым возмездием, который влечет за собой полосу новых жестокостей с целью затмить одни зверства другими. Македонский царь Филипп, у которого было столько свар с римским народом, напуганный тем, что совершенные по его приказанию убийства вызвали общий ужас и величайшее волнение, и не зная, как обезопасить себя от такой массы потерпевших от него в разное время людей, решил арестовать детей всех убитых и день за днем приканчивать их, чтобы таким путем добиться успокоения[23]. Благородные поступки всегда хороши, где бы они ни совершались. Я всегда более озабочен тем, чтобы трактуемые мною сюжеты были важны и полезны, чем желанием добиться последовательности и стройности моего повествования, и потому не боюсь привести здесь одно замечательное происшествие, несколько отклоняющееся от нити моего изложения[24]. В числе осужденных Филиппом был фессалийский князь Геродик. Вслед за ним Филипп умертвил еще и двух его зятьев, каждый из которых оставил после себя малолетнего сына. Теоксена и Архо — так звали двух оставшихся вдов. Теоксену никак не удавалось уговорить выйти вторично замуж, несмотря на самые настойчивые ухаживания. Архо вышла замуж за самого знатного человека среди энийцев, Пориса, и имела от него много детей, которые после ее смерти остались малолетними. Охваченная материнской жалостью к несчастным детям своей сестры, Теоксена, желая взять их под свое попечение и воспитать их, вышла замуж за Пориса. К этому времени был издан упомянутый выше указ Филиппа об аресте детей. Отважная Теоксена, опасаясь жестокости Филиппа и его разнузданных приближенных, способных на все по отношению к этим юным и прелестным детям, осмелилась заявить, что она лучше убьет их собственными руками, чем отдаст палачам. Испуганный ее словами, Порис обещал спрятать их и затем увезти в Афины, чтобы там отдать на попечение своим преданным друзьям. Они воспользовались ежегодным праздником, который справлялся в Эносе в честь Энея, и отправились туда всей семьей. Днем они присутствовали на праздничных обрядах и на общем пиру, а ночью сели в приготовленную заранее лодку, чтобы добраться морем до Афин. Противный ветер помешал им, и наутро, очутившись неподалеку от того места, откуда они вчера отплыли, они были замечены портовой стражей. Когда их вот-вот должны были схватить, Порис попытался убедить гребцов удвоить свои усилия, чтобы ускользнуть от преследователей, а Теоксена, потеряв голову от любви к своим детям и жажды мести, вернулась к своему первоначальному намерению и стала готовить оружие и яд. Затем, показав все это детям, она сказала: «Дети, у меня осталось только одно средство защитить вас и сохранить вам свободу — это заставить вас умереть. Боги, внемля священному правосудию, рассудят это дело. В случае если мечи изменят вам, эти чаши откроют вам двери в тот мир. Будьте мужественны! Ты же, сын мой, так как ты старше всех, сам вонзи этот кинжал себе в грудь, чтобы умереть смертью храбрых». Дети, видя перед собой мать, бесстрашно призывавшую их скорее покончить с собой, и имея позади себя настигавших

их врагов, бросились грудью на те лезвия, которые были к ним ближе всего, и полумертвыми были сброшены в море. Теоксена, счастливая тем, что ей удалось так геройски спасти всех своих детей, горячо обняла своего мужа и сказала: «Последуем, друг мой, за нашими детьми! Пусть будет у нас с тобой та радость, что мы окажемся с ними в одной могиле». И, обнявшись, они бросились в море, так что когда лодку подтащили к берегу, она была пуста.

Тираны, стремясь чинить две жестокости одновременно — убивать и вымещать свой гнев,— прилагают все усилия к тому, чтобы по возможности продлить казнь. Они жаждут гибели своих врагов, но не хотят их скорой смерти; им нужно не упустить возможности насладиться местью [25]. Из-за этого они оказываются в затруднительном положении, ибо, если мучения нестерпимы, они коротки, если же они продолжительны, то тираны считают их недостаточно сильными; и вот они начинают разнообразить орудия пытки. Тысячи подобных примеров мы встречаем в древности, и я не уверен, не сохраняем ли мы в себе, сами того не сознавая, некоторых следов этого варварства.

Все, что выходит за пределы обычной смерти, я считаю неоправданной жестокостью [26]; наше правосудие не может рассчитывать на то, что тот, кого не удерживает от преступления страх смерти — боязнь быть повешенным или обезглавленным,— не совершит его из страха перед смертью на медленном огне или посредством колесования или из боязни колодок. И все же я не уверен, доводим ли мы таким путем осужденных до полного отчаяния. Действительно, каково должно быть душевное состояние человека, ожидающего смерти, подвергнутого колесованию или, по старинному обычаю, пригвожденного к кресту? Иосиф [27] рассказывает, что во время иудейской войны, проходя мимо одного места, где за три дня до того распяли нескольких евреев, он узнал среди них троих своих друзей, и ему удалось добиться того, что их сняли с крестов; двое из них, сообщает он, умерли, третий же прожил после этого еще несколько лет.

Халкондил [28], автор, заслуживающий доверия, в записках, оставленных им о событиях, происшедших на его памяти и часто на его глазах, описывает как самую чудовищную ту казнь, которую нередко применял султан Мехмед: он приказывал одним ударом кривой турецкой сабли рассечь человека пополам по линии диафрагмы, так что люди умирали как бы двумя смертями одновременно; можно было видеть, рассказывает он, как обе части тела, полные жизни, продолжали еще некоторое время трепетать в муках. Не думаю, чтобы это было придумано им очень умно. Не всегда те казни, которые выглядят самыми страшными, являются самыми мучительными.

Я нахожу несравненно более жестокой ту казнь, которую тот же Мехмед, по словам некоторых историков [29], применял к эпирским князьям: он приказывал сдирать с них заживо кожу частями, и таким коварно придуманным способом, что они мучились в течение двух недель.

А вот еще два примера. Когда Крез захватил одного вельможу, любимца своего брата, Панталеонта, он велел отвести пленника в мастерскую

валяльщика, где приказал до тех пор скрести его скребками и чесать чесальными орудиями, пока тот не скончался [30].

Георгий Секей, вождь тех польских крестьян, которые под предлогом крестового похода причинили массу бедствий, был разбит трансильванским воеводой и захвачен в плен [31]. Целых три дня, раздетый донага, он был привязан к особым козлам для пыток, и всякий мог терзать его и издеваться над ним, как ему вздумается; за все это время остальным пленникам не давали ни есть, ни пить. Наконец, когда в нем теплилась еще жизнь, на его глазах его собственной кровью напоили его любимого брата Луку, о спасении которого он молил, принимая на себя одного вину за все совершенные ими дела. Его тело, изрубленное на мелкие куски, были вынуждены съесть двадцать его ближайших помощников; а то, что еще оставалось, и его внутренности сварили в котле и скормили остальным членам его отряда.



Глава XXVIII

ВСЯКОМУ ОВОЩУ СВОЕ ВРЕМЯ

Те, кто сопоставляют Катона Цензора с умертвившим себя Катоном Младшим [1], сравнивают двух замечательных людей, у которых есть много общего.

Катон Цензор проявил себя в более разнообразных областях и превосходит Катона Младшего своими военными подвигами и более плодотворной государственной деятельностью. Но доблесть Катона Младшего — не говоря уже о том, что кощунственно сравнивать с ним кого бы то ни было в этом отношении,— куда более безупречна. Действительно, кто решится утверждать, что Катон Цензор был свободен от зависти и честолюбия, когда он отважился посягнуть на честь Сципиона, самого выдающегося по своим достоинствам человека своего времени? Мне не кажется особенно лестным для Катона Цензора то, что он, как сообщают [2], на старости лет принялся с величайшим усердием изучать греческий язык, словно стремясь утолить давнишнюю жажду. Это скорее говорит о том, что он стал впадать в детство. Все вещи — и похвальные, и обыденные — хороши в свое время; даже молитва может быть несвоевременной: ведь обвиняли же Тита Квинкция Фламинина в том, что в бытность его командующим армией его застали в разгар боя в укромном месте молящимся богу о сражении, в котором он одержал победу [3]:

Imponit finem sapiens et rebus honestis *.

* Разумный человек ставит себе предел даже и в добрых делах [4] (*лат.*).

Евдамид [5], глядя на то, как совсем уже дряхлый Ксенократ спешил на занятия в школу, с удивлением спросил: «Когда же он будет знать, если до сих пор все еще учится?»

Точно так же и Филопемен, обращаясь к тем, кто превозносил царя Птолемея за то, что он закалял себя ежедневно военными упражнениями, сказал: «Не похвально, чтобы царь в его возрасте упражнялся в военном искусстве; он должен был бы уже применять его на деле» [6].

По утверждению мудрецов, учиться надо смолоду, на старости же лет — наслаждаться знаниями [7]. Самым большим пороком человеческой природы мудрецы считают непрерывное появление у нас все новых и новых желаний. Мы постоянно начинаем жить сызнова. Надо было бы, чтобы наше стремление учиться и наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногой стоим в могиле, у нас все еще пробуждаются новые стремления:

Tu secanda marmora
Locas sub ipsum funus, et sepulchri
Immemor, struis domos *.

Я никогда не загадываю больше, чем на год вперед, и думаю тогда только о том, как бы закончить свои дни; я гоню от себя всякие новые надежды, не затеваю никаких новых дел, прощаюсь со всеми покидаемыми мною местами и ежедневно расстаюсь с тем, что имею: Olim iam nec perit quicquam mihi nec acquiritur. Plus superest viatici quam viae **.

Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi ***.

В конце концов единственное облегчение, даваемое мне старостью, состоит в том, что она убивает во мне многие желания и стремления, которыми полна жизнь: заботу о делах этого мира, о накоплении богатств, о величии, о расширении познаний, о здоровье, о себе. Бывает, что человек начинает обучаться красноречию, когда ему впору учиться, как сомкнуть свои уста навеки.

Можно продолжать учиться всю жизнь, но не начаткам школьного обучения: нелепо, когда старец садится за букварь [11].

Diversos diversa iuvant, non omnibus annis
Omnia conveniunt ****.

Если надо учиться, будем изучать то, что под стать нашему возрасту; тогда мы сможем сказать, как тот, кто на вопрос, к чему ему эти занятия

* Ты готовишь мраморы, чтобы строить новый дом на самом пороге смерти, забыв о могиле [8] (*лат.*).

** Вот уже давно, как я ничего не трачу и не приобретаю. У меня в наличности больше запасов на дорогу, чем оставшегося мне пути [9] (*лат.*).

*** Я прожил жизнь и совершил тот путь, что предназначила мне судьба [10] (*лат.*).

**** Люди любят разные вещи, не все подходит всем возрастам [12] (*лат.*).

при его дряхлости, ответил: «Чтобы я мог лучше и легче уйти отсюда» [13]. Таков был смысл занятий Катона Младшего, когда он, почувствовав приближение смерти, углубился в диалог Платона о бессмертии души. Он обратился к Платону не потому, что не был уже с давних пор подготовлен к уходу из жизни: непоколебимости, твердой воли и умения у него было не меньше, чем он мог почерпнуть из писаний Платона; его самообладание и его знания в этой области были выше всех требований, предъявляемых философией. Он погрузился в Платона не с целью получить наставление, как умирать, а как тот, кто, приняв столь важное решение, не желает ради него отказываться даже от сна; не меняя ничего в заведенном укладе жизни, он продолжал свои занятия наряду с другими своими привычными делами.

Ту самую ночь, когда его лишили претуры, он провел в игре, а ночь перед смертью провел за книгами. Утрата жизни и утрата должности равно казались ему чем-то незначительным.



Глава XXIX

О ДОБРОДЕТЕЛИ

Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека от твердой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нет ничего невозможного, вплоть до того, что мы способны иногда, как выразился некий автор [1], превзойти даже божество,— и это потому, что гораздо больше заслуги в том, чтобы, преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежели в том, чтобы быть безмятежным от природы, и особенно замечательна способность сочетать человеческую слабость с твердостью и непоколебимостью бога. Но это бывает только порывами. В жизни выдающихся героев древности мы нередко наталкиваемся на поразительные деяния, которые, казалось бы, значительно превосходят наши природные способности. Но в действительности это лишь отдельные проявления. Трудно себе представить, чтобы эти возвышенные устремления так глубоко вошли в нашу плоть и кровь, что стали обычной и как бы естественной принадлежностью нашей души. Ведь даже нам, заурядным людям, удается иногда подняться душой, если мы вдохновлены чьими-нибудь словами или примером, превосходящими обычный уровень; но это бывает похоже на какой-то порыв, выводящий нас из самих себя; а как только этот вихрь уляжется, душа съеживается, опадает и спускается если не до самых низин, то во всяком случае до такого уровня, где она уже не та, какой только что была; и тогда по любому поводу — будь то разбитый стакан или упущенный сокол — наша душа приходит в ярость, подобно всякой самой грубой душе.

Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.

Пиррон, который из нашего неведения сделал такую веселую науку, старался, как всякий подлинный философ, сообразовать свою жизнь со своим учением [2]. Он настаивал на том, что из-за крайней слабости человеческого суждения человек не может произвести выбора и склониться в определенную сторону, и потому требовал, чтобы суждение всегда находилось в равновесии, чтобы все вещи были человеку безразличны. Поэтому он, как передают, держался всегда одинаково и невозмутимо: если он начинал что-то говорить кому-нибудь, то непременно доводил свою речь до конца, даже если тот, к кому он обращался, уже ушел; он не сворачивал с пути, если встречал какие-нибудь препятствия, так что друзья оберегали его от ям или каких-нибудь других неожиданных случайностей. Бояться или избегать чего-нибудь значило бы для него отступиться от своих убеждений, согласно которым даже чувства лишены достоверности и не способны производить выбор. Он, не моргнув глазом, с поразительной выдержкой переносил боль, когда ему делали прижигания или какой-нибудь надрез. Немалое дело — усвоить себе подобные взгляды, и еще труднее — хотя все же это в силах человеческих — добиться, чтобы слова не расходились с делами; но сообразовать их с такой твердостью и постоянством, чтобы они вошли в плоть и кровь (разумеется, когда речь идет о вещах необыденных), кажется невероятным. Вот почему, когда Пиррона однажды застали ссорящимся с сестрой и упрекнули в том, что он изменяет своей невозмутимости, он ответил: «Как! Разве еще и эта ничтожная бабенка должна служить подтверждением моих правил?» В другой раз, когда Пиррона застигли отбивающимся от злой собаки, он сказал: «Очень трудно освободиться от всего человеческого; приходится быть настороже и бороться с обстоятельствами прежде всего делами, а на худой конец — с помощью разума и размышлений» [3].

Около семи или восьми лет тому назад один крестьянин, проживающий в каких-нибудь двух лье отсюда и здравствующий еще и поныне, жестоко страдал от своей жены, изводившей его своей ревностью. Однажды, когда он вернулся с работы и она стала угощать его своими обычными причитаниями, он разъярился до того, что отсек себе начисто косарем те части, которые так тревожили ее, бросив их ей в лицо.

Рассказывают также, что один молодой дворянин, весельчак и повеса, которому после упорного натиска удалось наконец покорить сердце своей возлюбленной, пришел в отчаяние из-за того, что в самый решительный момент его мужское естество отказалось служить ему и что

non viriliter
Iners senile penis extulerat caput *.

---

* Плоть его остается дряблой вместо того, чтобы мужественно восстать [4] (*лат.*).

Тогда он бросился к себе домой и через некоторое время послал своей красавице кровавое свидетельство жестокого жертвоприношения, которое он свершил, дабы загладить причиненную обиду. Интересно, как судили бы мы о столь героическом поступке, будь он свершен по философским убеждениям или во имя религии, как то делали жрецы Кибелы?

Недавно в Бражераке, в пяти лье от моего дома, вверх по реке Дордони, одна женщина, которую накануне избил и истерзал муж, пришла в такое отчаяние от его несносного характера, что решила ценой жизни избавиться от его жестокостей. На другой день с утра она, поздоровавшись, как обычно, со своими соседками и промолвив несколько бодрых слов о своих делах, взяла за руку свою сестру и отправилась с ней на мост; здесь она, как бы в шутку, простилась с сестрой и без всяких колебаний бросилась с моста в реку, где и погибла. В этом происшествии достойно внимания то, что женщина обдумывала свой план самоубийства в течение всей ночи.

Другое дело индийские женщины: согласно обычаю, мужья имеют не по одной, а по нескольку жен и самая любимая из них лишает себя жизни после смерти мужа. Поэтому каждая из жен всю жизнь стремится завоевать это место и приобрести это преимущество перед остальными женами. За все заботы о своих мужьях они не ждут никакой другой награды, кроме как умереть вместе с ним:

...ubi mortifero iacta est fax ultima lecto,
Uxorum fusis stat pia turba comis;
Et certamen habent leti, quae viva sequatur
Coniugium; pudor est non licuisse mori.
Ardent victrices, et flammae pectora praebent,
Imponuntque suis ora perusta viris *.

Один современный нам автор пишет [6], что у некоторых восточных народов существует обычай, согласно которому не только жены хоронят себя после смерти мужа, но и рабыни, являвшиеся его возлюбленными. Делается это вот каким образом. После смерти мужа жена может потребовать, если ей угодно (но лишь очень немногие пользуются этим), тричетыре месяца на устройство своих дел. В назначенный день она садится на коня, празднично разодетая и веселая, и отправляется, по ее словам, почивать со своим мужем; в левой руке она держит зеркало, в правой — стрелу. Торжественно прокатившись таким образом в сопровождении родных, друзей и большой толпы праздных людей, она направляется к определенному месту, предназначенному для таких зрелищ. Это огромная площадь, посередине которой находится заваленная дровами яма, а рядом с ямой возвышение, на которое она поднимается по четырем-пяти ступе-

* Когда на ложе почившего брошен последний факел, выступает толпа преданных ему жен с распущенными волосами и затевает спор, которой из них живой последовать за мужем, ибо для каждой позор, если нельзя умереть. Победительницы сгорают: они бросаются в огонь и припадают к мужьям [5] (*лат.*).

ням, и ей туда подают роскошный обед. Насытившись, она танцует и поет, затем, когда ей захочется, приказывает зажечь костер. Сделав это, она спускается и, взяв за руку самого близкого родственника мужа, отправляется вместе с ним к ближайшей речке, где раздевается донага и раздает друзьям свои драгоценности и одежды, после чего погружается в воду, как бы для того, чтобы смыть с себя грехи. Выйдя из воды, она заворачивается в кусок желтого полотна длиной в четырнадцать локтей и, подав руку тому же родственнику мужа, возвращается вместе с ним к возвышению, с которого она обращается с речью к народу и дает наставления своим детям, если они у нее есть. Между ямой и возвышением часто протягивают занавеску, чтобы избавить женщину от вида этой горящей печи; но некоторые, желая подчеркнуть свою храбрость, запрещают всякие завешивания. Когда все речи окончены, одна из женщин подносит ей сосуд с благовонным маслом, которым она смазывает голову и тело, после чего бросает сосуд в огонь и сама кидается туда же. Толпа тотчас же забрасывает ее горящими поленьями, чтобы сократить ее мучения, и веселое празднество превращается в мрачный траур. Если же муж и жена — люди малосостоятельные, то труп покойника приносят туда, где его хотят похоронить, и здесь усаживают его, а вдова его становится перед ним на колени, тесно прильнув к нему, и стоит до тех пор, пока вокруг них не начнут возводить ограду; когда ограда достигает уровня плеч женщины, кто-нибудь из ее близких сзади берет ее за голову и сворачивает ей шею; к тому времени, когда она испускает дух, ограда бывает закончена, и супруги лежат за ней, похороненные вместе.

Нечто подобное имело место в этой же стране с так называемыми гимнософистами [7], которые без всякого принуждения с чьей бы то ни было стороны и не под влиянием какого-то внезапного порыва, а лишь в силу усвоенного ими обыкновения, достигнув определенного возраста или почувствовав приближение какой-нибудь болезни, приказывали приготовить костер, а над ним роскошное ложе; весело попировав с друзьями и знакомыми, они укладывались на это ложе с такой непоколебимостью, что даже когда под ними занимался огонь, они и пальцем не шевелили; так умер один из них, Калан, на глазах у всего войска Александра Великого [8].

Они считали святыми и блаженными лишь тех, кто умер подобной смертью и отдал свою душу, предварительно очистив ее огнем и избавившись от всего земного и тленного.

Самым поразительным в этом обычае является предумышленность всех действий, то, что весь замысел остается неизменным в течение всей жизни.

Среди разных ведущихся нами споров есть спор о фатуме; когда мы хотим подчеркнуть неизбежность каких-нибудь вещей и даже наших желаний, то до сих пор пользуемся старинным рассуждением: раз бог знает наперед, что события произойдут именно так, а не иначе, то они и произойти должны в точности так, как он это предвидел. Но наши учителя отвечают на это: видеть, что данная вещь происходит, как видим мы и как

видит сам бог (ибо, поскольку бог видит все, он, следовательно, не предвидит, а видит), еще не значит заставить ее совершиться, иначе говоря, мы видим потому, что данные вещи происходят, но это вовсе не значит, что они происходят потому, что мы их видим. Совершившееся обусловливает знание, но не знание предопределяет свершение тех или иных вещей. То, что мы видим происходящим, происходит, но оно могло совершиться и по-иному; в цепи причин, которые бог предвидит, имеются и так называемые случайные причины, и добровольные причины, зависящие от той свободы, которую он предоставил нашему выбору; он знает, что мы ошибаемся потому, что мы захотим ошибиться.

Мне приходилось видеть, что многие военачальники вселяли бодрость в своих солдат верой в эту фатальную необходимость; ибо если для нашей погибели предназначен определенный час, то никакие вражеские пули, ни наша храбрость, ни наше бегство или трусость не в состоянии ни приблизить, ни отсрочить его. Это легко сказать, но попробуйте, как это сделать! Если верно, что сильная и пылкая вера влечет за собой решительные действия, приходится признать, что вера в наши дни стала очень слаба,— если только не допустить, что из презрения к каким-либо делам она склоняется к полному бездействию.

Именно об этом говорит сир Жуанвиль [9], очевидец, заслуживающий не меньшего доверия, чем другие, по поводу бедуинов, народа, смешавшегося с сарацинами, с которыми Людовик IX столкнулся во время пребывания своего в Святой земле. По его словам, бедуины твердо верили, что день смерти каждого из них по какому-то предопределению предустановлен от века и потому шли в бой, не имея в руках ничего, кроме турецкой сабли, и совершенно нагими, не считая легкого полотняного покрывала. Самым свирепым проклятием, когда они ссорились между собой, были в их устах следующие слова: «Будь ты проклят, как тот, кто вооружается из страха смерти!» Вот пример совсем иной веры, чем наша.

Сходна с нею и та вера, пример которой был явлен в дни наших дедов двумя флорентийскими монахами. Поспорив о каком-то научном вопросе, они договорились, что оба взойдут на костер на городской площади в присутствии всего честного народа, чтобы таким образом окончательно выяснить, кто из них прав. И когда все было уже готово для испытания, которое вот-вот должно было совершиться, только неожиданная случайность помешала этому [10].

Один молодой турецкий вельможа совершил геройский воинский подвиг пред лицом двух сошедшихся для боя армий Мурада и Гуньади. Когда Мурад [11] спросил турка, кто в него, столь еще молодого и неопытного — ибо он в первый раз участвовал в сражении,— вселил такую беззаветную отвагу,— турок ответил, что его главным наставником в доблести был заяц, и рассказал следующее: «Однажды, охотясь, я наткнулся на заячью нору, и, хотя со мной были две великолепные борзые, я решил, во избежание неудачи, что вернее будет прибегнуть к луку, которым я хорошо владел. Я выпустил одну за другой все сорок стрел, которые были у меня в колчане, но без всякого успеха: я не только не попал в зайца,

но даже не смог выгнать его из норы. После этого я натравил на него обеих моих борзых, но столь же безуспешно. Тогда я понял, что зайца охраняла сама судьба и что стрелы и меч опасны лишь с благословения судьбы, и не в нашей власти ускорить или задержать ее решение». Этот рассказ показывает, между прочим, насколько ум наш подвержен действию воображения.

Один очень пожилой человек, славившийся своим происхождением, достоинствами и ученостью, хвалился мне, что какое-то необыкновенное внушение побудило его переменить веру, причем внушение это было до такой степени странным и невразумительным, что я истолковывал его прямо в противоположном смысле: и он, и я называли его чудом, но каждый понимал это слово по-разному. Турецкие историки утверждают, что широко распространенное среди турок убеждение в том, что сроки их жизни раз и навсегда предопределены, придает им необычайную уверенность в опасных случаях [12].

Я знаю одного великого государя, который умеет искусно пользоваться тем, что судьба к нему благосклонна [13].

Не было на нашей памяти более замечательного примера отваги, чем проявленная теми двумя лицами, которые покушались на принца Оранского [14]. Поразительно, как мог решиться на это дело осуществивший его второй из покушавшихся после того, как первого, сделавшего все, от него зависящее, постигла полнейшая неудача! Как мог он решиться, действуя тем же оружием и на том же месте, напасть на человека, бдительность которого после недавнего урока была на страже и который находился в окружении целой свиты друзей у себя в зале, среди своих телохранителей, в преданном ему городе! Кинжал — вернейшее орудие смерти, но, поскольку он требует большей гибкости и силы в руке, чем пистолет, он легко может отклониться и изменить. Я не сомневаюсь в том, что второй заговорщик шел уверенно на смерть, так как ни один здравомыслящий человек не мог бы в таком положении тешить себя надеждами; и все поведение его в этом деле показывает, что у него не было недостатка ни в ясности мысли, ни в мужестве. Причины такой твердой убежденности могут быть разные, ибо наше воображение проделывает с самим собой и с нами все что угодно.

Покушение, которое осуществлено было около Орлеана [15], не имеет себе равных: решающую роль здесь сыграла удача, а вовсе не храбрость, и нанесенный удар не был бы смертельным, если бы не помогла случайность. Самая мысль стрелять издалека и сидя верхом на лошади в человека, который тоже сидит на коне и находится в движении, говорит о том, что покушающийся предпочитал лучше погибнуть, чем не достигнуть своей цели. Это подтверждается тем, что последовало. Стрелявший был до такой степени опьянен мыслью о своем блестящем подвиге, что совершенно потерял голову и не способен был думать ни о бегстве, ни о предстоящем допросе. Ему следовало просто-напросто присоединиться к своим, перебравшись через реку. Это средство, к которому я всегда прибегал при малейшей опасности и которое я считаю не сопряженным поч-

ти ни с каким риском, как бы широка ни была река, лишь бы только лошади было легко сойти в воду и на другой стороне виднелся бы удобный берег. Убийца принца Оранского, когда ему вынесли жестокий приговор, заявил: «Я был к этому готов; вы изумитесь моему терпению».

Ассасины [16], одно из финикийских племен, славятся среди магометан своим исключительным благочестием и чистотой нравов. Самым верным способом попасть в рай у них считается убить какого-нибудь иноверца. Нередко случалось поэтому, что один или два из них, ради столь важного дела презрев все опасности и обрекши себя на верную смерть, отправлялись убивать (слово assassiner «убивать» происходит от названия этого народа) своего врага на глазах его соратников. Так был убит на улице своего города граф Раймунд Триполитанский [17].



Глава XXX

ОБ ОДНОМ УРОДЦЕ [1]

Рассказ мой будет очень простодушен, ибо судить о таких вещах я предоставляю врачам. Позавчера я видел ребенка, которого вели двое мужчин и кормилица, называвшие себя отцом, дядей и теткой ребенка. Они собирали подаяние, показывая всем его уродство. Ребенок имел обычный человеческий вид, стоял на ногах, мог ходить и что-то лопотал, так же примерно, как и все дети его возраста; он не хотел принимать никакой другой пищи, кроме молока своей кормилицы, а то, что в моем присутствии ему клали в рот, он немного жевал, а затем выплевывал, не проглотив; в его крике было что-то необычное, ему было еще только четырнадцать месяцев. Пониже линии сосков он был соединен с другим безголовым ребенком, у которого задний проход был закрыт, а все остальное в порядке; одна рука была у него короче другой, но это оттого, что она была у него сломана при рождении. Оба тела были соединены между собой лицом к лицу в такой позе, как если бы ребенок поменьше хотел обнять большего. Соединявшая их перепонка была шириной не больше чем в четыре пальца, так что, если приподнять этого безголового ребенка, то можно было увидеть пупок второго; спайка проходила, таким образом, от сосков и до пупка. Пупка безголового ребенка не было видно в отличие от всей остальной видневшейся части его живота. Подвижные части тела безголового ребенка — руки, бедра, ягодицы, ноги — болтались вокруг второго ребенка, которому безголовый доходил до колен. Кормилица сообщала, что он мочится через оба мочевых канала; таким образом, органы безголового ребенка исправно действовали, и находились

на тех же местах, что и у того, другого, но только отличались меньшими размерами.

Это двойное тело, имевшее отдельные члены и заканчивавшееся одной головой, могло служить для нашего короля благоприятным предзнаменованием того, что под эгидой его законов могут объединяться различные части нашей страны; но, дабы не впасть в ошибку, пусть лучше вещи идут своим путем, ибо предпочтительно гадать о том, что уже произошло: Ut cum facta sunt, tum ad coniecturam aliqua interpretatione revocantur *. Так и об Эпимениде говорили, что он угадывает задним числом [3].

Я видел недавно в Медоке одного пастуха лет тридцати, у которого не было ни малейшего намека на детородные органы; у него есть три отверстия, из которых у него беспрестанно выделяется моча; у него растет густая борода, и он любит касаться женского тела.

Те, кого мы называем уродами, вовсе не уроды для господа бога, который в сотворенной им вселенной взирает на неисчислимое множество созданных им форм; можно поэтому полагать, что удивляющая нас форма относится к какой-то другой породе существ, неизвестной человеку. Премудрость божия порождает только благое, натуральное и правильное, но нам не дано видеть порядка и соотношения всех вещей.

Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante non vidit, id, si evenerit, ostentum esse censet **.

Мы называем противоестественным то, что отклоняется от обычного; однако все, каково бы оно ни было, соответствует природе. Пусть же этот естественный и всеобщий миропорядок устранит растерянность и изумление, порождаемые в нас новшествами.



* Так с помощью какого-нибудь толкования то, что произошло, согласуется с тем, что предсказывалось [2] (*лат.*).

** Человек не удивляется тому, что часто видит, даже если не понимает причины данного явления. Однако если происходит нечто такое, чего он раньше никогда не видел, он считает это чудом [4] (*лат.*).

Глава XXXI

О ГНЕВЕ

О чем бы ни писал Плутарх, он всегда восхитителен, но особенно в своих суждениях о человеческих поступках. Взять, например, его замечательные суждения, высказанные в его сравнении Ликурга с Нумой по поводу того, как нелепо оставлять детей на попечении и воспитании родителей. В большинстве государств, как указывает Аристотель [1], всякому отцу семейства предоставляется — все равно как у циклопов — воспитывать жен и детей как им вздумается, и только в Спарте и на Крите воспитание детей ведется по установленным законам. Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет для государства воспитание детей? И тем не менее, без долгих размышлений, детей оставляют на произвол родителей, какими бы взбалмошными и дурными людьми они ни были.

Сколько раз, проходя по улицам, я испытывал желание устроить скандал, заступившись за какого-нибудь малыша, которого потерявшие от гнева голову отец или мать колошматят, дубасят, избивают чуть ли не до смерти! Поглядите, как они вращают глазами от ярости:

> rabie iecur incendente, feruntur
> Praecipites, ut saxa iugis abrupta, quibus mons
> Subtrahitur, clivoque latus pendente recedit *.

А ведь, согласно Гиппократу [3], самые опасные болезни — это те, что искажают лица. Послушайте только, как неистово они орут на малютку, недавно, может быть, вышедшего из пеленок. В результате дети бывают покалечены или навсегда оглушены ударами; а наше законодательство не обращает на это ни малейшего внимания, словно эти вывихнутые суставы не принадлежат членам нашего общества:

> Gratum est quod patriae civem populoque dedisti,
> Si facis ut patriae sit idoneus, utilis agris,
> Utilis et bellorum et pacis rebus agendis **.

Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность суждения, как гнев. Никто не усомнится в том, что судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. Почему же в таком случае отцам и школьным учителям разрешается сечь и наказывать детей, когда они обуреваемы гневом? Ведь это не обучение,

---

* Пылая бешенством,—они несутся стремглав,— как камни, сорвавшиеся с горы, когда скала, что была под ними, выскальзывает, и у покатого склона оседает край [2] (*лат.*).

** Хорошо, что ты дал гражданина стране и народу, если ты создаешь его для служения родине, полезным для нив, годным для военных и для мирных занятий [4] (*лат.*).

а месть. Наказание должно служить для детей лечением, но ведь не призвали бы мы к больному врача, который пылал бы к нему яростью и гневом.

Мы сами, желая быть на высоте, никогда не должны были бы давать волю рукам по отношению к нашим слугам, пока мы обуреваемы гневом. До тех пор, пока пульс наш бьется учащенно и мы охвачены волнением, отложим решение вопроса; когда мы успокоимся и остынем, вещи предстанут нам в ином свете, а сейчас нами владеет страсть, это она подсказывает нам решение, а не наш ум.

Рассматриваемый сквозь призму этой страсти проступок приобретает увеличенные размеры, подобно очертаниям предметов, скрытых туманом. Голодный набрасывается на мясо, но желающий применить наказание не должен испытывать ни голода, ни жажды.

Кроме того, наказания, продуманные и взвешенные, воспринимаются наказуемым как заслуженные и приносят ему бо́льшую пользу. В противном случае он не считает, что был справедливо наказан человеком, охваченным гневом и яростью; наказуемый ссылается в свое оправдание на взвинченность своего хозяина, на его горящие щеки, необычные бранные слова, на его возбуждение и неистовую стремительность:

Ora tument ira, nigrescunt sanguine venae,
Lumina Gorgoneo saevius igne micant *.

Светоний сообщает, что, когда Луций Сатурнин осужден был Цезарем, ему удалось путем апелляции к народному собранию добиться пересмотра приговора, так как он ссылался на вражду и неприязнь Цезаря, которыми продиктовано было его решение [6].

Слово и дело — разные вещи, и надо уметь отличать проповедника от его проповеди. Те, кто в настоящее время старается подорвать основы нашей религии, ссылаясь на пороки служителей церкви, бьют мимо цели; истинность нашей религии зиждется не на этом; такой способ доказательства нелеп и способен лишь все запутать. У добропорядочного человека могут быть ложные убеждения, а с другой стороны, заведомо дурной человек может проповедовать истину, сам в нее не веря. Разумеется, это прекрасно, когда слово не расходится с делом, и я не буду отрицать, что, когда словам соответствуют дела, слова более вески и убедительны; вспомним ответ Евдамида, который, услышав философа, рассуждавшего о военном деле, сказал: «Эти рассуждения превосходны. Плохо только то, что нельзя положиться на человека, который их высказывает, ибо его уши не привыкли к звуку военной трубы» [7]. Клеомен же, услышав ритора, разглагольствовавшего о храбрости, громко расхохотался и в ответ ритору, возмутившемуся его поведением, сказал: «Я повел бы себя так же, если бы о храбрости щебетала ласточка; но если бы это был орел,

---

* Лицо его пышет гневом, жилы набухают черной кровью, а глаза горят более свирепым огнем, чем у Горгоны [5] (*лат.*).

я с удовольствием послушал бы его» [8]. Мне кажется, что в писаниях древних авторов можно ясно различить следующее: автор, высказывающий то, что он думает, выражает свои мысли более убедительно, чем тот, кто подделывается. Прислушайтесь к тому, как о любви к свободе говорит Цицерон и как о том же говорит Брут; сами писания Брута неопровержимо доказывают, что это был человек, готовый заплатить за свободу ценою жизни. Послушайте отца красноречия, Цицерона, рассуждающего о презрении к смерти, и Сенеку, рассуждающего о том же: Цицерон говорит об этом длинно и тягуче, вы чувствуете, что он хочет убедить вас в том, в чем сам не уверен, он не придает вам духу, ибо ему и самому его не хватает; Сенека же вдохновляет и зажигает вас. Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, в особенности когда дело касается пишущих о доблести и об обязанностях.

Если в Спарте какому-нибудь человеку, известному распутным образом жизни, приходило в голову подать народу полезный совет, эфоры приказывали ему молчать и просили какого-нибудь почтенного человека приписать себе эту мысль и предложить ее [9].

Писания Плутарха, если внимательно вчитаться в них, раскрывают нам его с самых разных сторон, поэтому мне кажется, что я знаю его насквозь; и тем не менее я хотел бы, чтобы до нас дошли какие-нибудь воспоминания о его жизни; горя этим желанием, я с жадностью набросился на тот стоящий особняком рассказ о нем, за который я необычайно благодарен Авлу Геллию [10], оставившему нам закрепленное на бумаге сообщение о нравах Плутарха, как раз относящееся к трактуемой мной здесь теме о гневе. Один из рабов Плутарха, человек дурной и порочный, имевший, однако, понаслышке кой-какое понятие о наставлениях философии, должен был за какой-то совершенный им проступок понести, по повелению Плутарха, наказание плетьми. Когда его стали бить, он сначала завопил, что его избивают зря, ибо он не виноват, но под конец пустился ругать и поносить своего хозяина, крича, что в нем нет ни на грош от философа, каковым он мнит себя; ведь твердил же он постоянно, что гневаться дурно, и даже написал об этом целую книгу, но то, что он сейчас, обуреваемый гневом, заставляет так свирепо избивать его, полностью опровергает его писания. На это Плутарх с полнейшим спокойствием ответил ему: «На основании чего, негодяй, ты решил, что я сейчас охвачен гневом? Разве на моем лице, в моем голосе, в моих словах есть какие-нибудь признаки возбуждения? Глаза мои не мечут молний, лицо не дергается, и я не воплю. Разве я покраснел? Или говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-нибудь, в чем мог бы раскаяться? Трепещу ли я, дрожу ли от ярости? Ибо именно таковы, да будет тебе известно, подлинные признаки гнева». И, повернувшись к тому, кто хлестал провинившегося, Плутарх приказал: «Продолжай свое дело, пока мы с ним рассуждаем». Таков рассказ Авла Геллия.

Архит Тарентский [11], вернувшись домой из похода, где он был главным военачальником, нашел свое хозяйство в полном расстройстве: земли оставались не обработанными из-за нераспорядительности управляюще-

го: «Убирайся с глаз моих,— сказал он ему.— Если бы я не был охвачен гневом, я бы отделал тебя, как следует». Сам Платон, распалившись против одного из своих рабов, поручил Спевсиппу наказать его, не желая сам и пальцем тронуть раба, поскольку он был сердит на него. Спартанец Харилл [12], обращаясь к илоту, который слишком непочтительно, даже нагло, разговаривал с ним, сказал ему: «Клянусь богами, не будь я разъярен, я бы убил тебя, не сходя с места».

Гнев — это страсть, которая любуется и упивается собой. Нередко, будучи выведены из себя по какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на представленные нам убедительные оправдания и разъяснения, продолжаем упираться вопреки истине, вопреки отсутствию вины. У меня удержался в памяти поразительный пример подобного поведения, относящийся к древности. Пизон [13], человек во всех отношениях отменно добродетельный, прогневался на одного своего воина за то, что он, вернувшись с фуражировки, не смог дать ему ясного ответа, куда девался второй бывший с ним солдат. Пизон решил, что вернувшийся солдат убил своего товарища, и на этом основании, долго не раздумывая, приговорил его к смерти. Когда осужденного привели уже к виселице, вдруг, откуда ни возьмись, появился потерявшийся солдат. Все войско необычайно обрадовалось его появлению, и после того, как оба приятеля крепко обнялись и по-братски расцеловались, палач повел их к Пизону, рассчитывая, что такой исход события доставит Пизону большое удовольствие. Но вышло как раз наоборот: со стыда и досады его еще не рассеявшийся гнев лишь еще более распалился и с молниеносной быстротой, внушенной яростью, Пизон решил, что ввиду невиновности одного виноваты все трое, и отправил их всех на тот свет: первого солдата во исполнение того смертного приговора, который был ему вынесен, второго за то, что он своей отлучкой явился причиной присуждения к смерти его товарища, а палача за то, что он ослушался и не выполнил отданного ему приказа.

Те, кому приходится иметь дело с упрямыми женщинами, знают по опыту, в какое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, не разделяя их возбуждения. Оратор Целий [14] был по природе необычайно раздражителен. Однажды, когда он ужинал с одним знакомым, человеком мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять все, что бы он ни говорил, и во всем с ним соглашаться. Целий, не выдержав отсутствия всякого повода для гнева, под конец взмолился: «Во имя богов! Будь хоть в чем-нибудь несогласен со мной, чтобы нас было двое!» Точно так же и женщины: они гневаются только с целью вызвать ответный гнев — это вроде взаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Фокиона и обрушился на него с резкой бранью, Фокион замолчал и дал ему полностью излить свою ярость. После этого, ни словом не упомянув о происшедшем столкновении, продолжал свою речь с того самого места, на котором его прервали [15]. Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание.

По поводу самого вспыльчивого человека во всей Франции (гневливость — всегда недостаток, но более извинительный для военного, ибо в военном деле бывают такие случаи, где без нее не обойдешься) я часто говорю, что это самый терпеливый из всех известных мне людей, умеющий обуздывать свой гнев: ибо гнев охватывает его с таким яростным неистовством —

magno veluti cum flamma sonore
Virgea suggeritur costis undantis aheni,
Exultantque aestu latices; furit intus aquai
Fumidus atque alte spumis exuberat amnis;
Nec iam se capit unda; volat vapor ater ad auras *,—

что ему приходится делать невероятные усилия, чтобы умерить его. Что касается меня, то я не знаю страсти, для подавления которой я способен был бы сделать подобное усилие. Столь дорогой ценой я не хотел бы обрести даже мудрость. Говоря об этом военном, я обращаю внимание не на то, что он делает, а на то, каких усилий ему стоит не поступать еще похуже.

Другой мой знакомый хвалился передо мной своим ровным и мягким нравом, и впрямь поразительным. В ответ я сказал ему, что в особенности для людей, занимающих, как он, высокое положение и находящихся у всех на виду, чрезвычайно важно всегда проявлять выдержку, но что главное все же в том, чтобы ощущать ее в себе, в глубине души; а потому, на мой взгляд, плохо поступает тот, кто тайком непрерывно гложет себя: можно опасаться, что он желает поддержать эту видимость сдержанности, сохранить эту надетую на себя личину.

Пытаясь скрыть гнев, его загоняют внутрь; это напоминает мне следующий случай: однажды Диоген крикнул Демосфену, который, опасаясь, как бы его не заметили в кабачке, поспешил забиться в глубь помещения: «Чем больше ты пятишься назад, тем глубже влезаешь в кабачок» [17]. Я рекомендую лучше даже некстати влепить оплеуху своему слуге, чем корчить из себя мудреца, поражающего своей выдержкой; я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чем скрывать их в ущерб самому себе: проявившись, они рассеиваются и улетучиваются, и лучше, чтобы жало их вышло наружу, чем отравляло нас изнутри. Omnia vitia in aperto leviora sunt; et tunc perniciosissima, cum simulata sanitate subsidunt **.

Я предупреждаю тех моих домашних, которые имеют право раздражаться, о следующем. Во-первых, чтобы они сдерживали свой гнев и не впадали в него по всякому поводу, ибо он не производит впечатления и

* Когда с великим треском разгорается пламя горящего хвороста, подложенного под медный котел, жидкость от жара закипает и клокочет; внутри неистовствует дымящаяся поверхность воды и вздувается высокою пеной; уже нельзя сдержать бурления, и густой пар поднимается в воздух [16] (*лат.*).

** Все явные недуги менее опасны; самыми страшными являются те, что скрываются под личиной здоровья [18] (*лат.*).

не оказывает никакого действия, если проявляется слишком часто. К бессмысленному и постоянному крику привыкают и начинают презирать его. Крик, который слышит от вас слуга, укравший что-нибудь, совершенно бесполезен; слуга знает, что это тот же крик, который он сотни раз слышал от вас, когда ему случалось плохо вымыть стакан или неловко подставить вам скамеечку под ноги. Во-вторых, я предупреждаю их, чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попреки доходили до того, кому они предназначаются, ибо обычно они начинают браниться еще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и след простыл;

et secum petulans amentia certat *.

Они воюют уже не с ним, а с тенью его, и эти громы разражаются уже там, где нет тех, против кого они направлены, где никто больше ничем не интересуется, кроме того, чтобы кончилась эта суматоха. Я также против тех, кто спорит и возмущается, не имея перед собой противника; следует обращать свои филиппики против тех, к кому они относятся:

Mugitus veluti cum prima in proelia taurus
Terrificos ciet atque irasci in cornua tentat,
Arboris obnixus trunco, ventosque lacessit
Ictibus, et sparsa ad pugnam proludit arena **.

Когда на меня находит гнев, он охватывает меня со страшной силой, но вместе с тем мои вспышки носят весьма кратковременный и потаенный характер. Сила и внезапность порыва не доводят меня все же до такого помрачения рассудка, при котором я стал бы извергать без разбора всякие оскорбительные слова, совершенно не заботясь о том, чтобы мои стрелы попадали в самые уязвимые места,— ибо я обычно прибегаю только к словесной расправе. Мои слуги легче расплачиваются за крупные проступки, чем за мелкие, ибо мелкие проступки застают меня врасплох, и со мной в таких случаях происходит то же, что с человеком, находящимся на краю глубокого обрыва: стоит ему сорваться — и он сразу же покатится и, какова бы ни была причина его падения, будет продолжать катиться вниз со всевозрастающей скоростью, пока не достигнет дна оврага. В случае серьезных проступков я получаю то удовлетворение, что каждый считает оправданным вызываемый им гнев; в таких случаях я горжусь тем, что действую вопреки его ожиданиям: я беру себя в руки и накладываю на себя узду, ибо в противном случае, если я поддамся

---

* И в своем безумии горячо спорит сам с собой [19] (*лат.*).

** Так бык, готовясь к первой схватке, издает ужасающий рев и в гневе пробует свои рога, упершись ими в ствол дерева; он то поражает ударами воздух, то, предвкушая бой, разбрасывает песок [20] (*лат.*).

приступам гнева, они могут увлечь меня слишком далеко. Я стараюсь поэтому не поддаваться им, и у меня хватает силы, если я слежу за этим, отбросить повод к гневу, каким бы значительным он ни был; но если мне не удалось предупредить вспышку и я поддался ей, она увлекает меня, каким бы пустячным поводом она ни была вызвана. Ввиду этого я сговариваюсь с теми, кто может вступить со мной в пререкания, о следующем: «Если вы заметите,— говорю я им,— что я вскипел первым, предоставьте мне нестись, закусив удила; а когда настанет ваша очередь, я поступлю так же». Буря разражается только из столкновения вспышек с двух сторон. Но это может произойти лишь добровольно с обеих сторон, ибо сами по себе вспышки эти возникают не в один и тот же момент. Поэтому, если одна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядиться, и тогда мир всегда будет обеспечен. Полезный совет, но как трудно его выполнить! Мне случается иногда разыгрывать гнев ради наведения порядка в моем доме, не испытывая на деле никакого раздражения. По мере того, как с годами я становлюсь более вспыльчивым, я учусь преодолевать такого рода настроения и буду стараться, если хватит сил, впредь быть тем более мягким и уступчивым, чем больше будет у меня законных оснований раздражаться и чем простительнее мне это будет; до настоящего же времени я был в числе тех, кому это наименее простительно.

В заключение еще несколько слов. Аристотель утверждает, что иногда гнев служит оружием для добродетели и доблести [21]. Это правдоподобно; но все же те, кто с этим не согласны [22], остроумно указывают, что это — необычное оружие: ведь обычно оружием владеем мы, а этот род оружия сам владеет нами; не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку, не мы держим его, а оно нас.



Глава XXXII

В ЗАЩИТУ СЕНЕКИ И ПЛУТАРХА

И Сенека, и Плутарх — настолько близкие мне авторы, такая незаменимая поддержка в моей старости и при писании этой книги, целиком созданной из взятых у них трофеев, что это обязывает меня вступиться за их честь [1].

Что касается Сенеки, то среди неисчислимого множества книжонок, выпускаемых приверженцами так называемой реформированной религии в защиту своего дела,— книжонок, иной раз выходивших из-под пера вполне почтенных авторов (приходится горько жалеть, что они не посвя-

щены более достойным сюжетам), мне пришлось натолкнуться на следующий памфлет [2]. Автор его, стремясь провести подробное сопоставление между правлением нашего покойного и злополучного короля Карла IX и правлением Нерона, сравнивает покойного кардинала Лотарингского с Сенекой [3]. Он сопоставляет судьбы их обоих, каждый из которых был первым лицом при своем государе, сравнивает характер обоих, их поведение и образ действий. Проводя это сравнение, он оказывает, на мой взгляд, слишком много чести названному кардиналу, ибо, хоть я и принадлежу к тем, кто высоко ценит его ум, красноречие, преданность своей религии и верную службу королю, а также признает, насколько удачно для себя он родился в такой век, когда человек, подобный ему, оказался явлением совершенно новым и необычным, а вместе с тем и весьма необходимым для общественного блага,— ибо чрезвычайно важно было появление духовного лица столь глубокого благородства и достоинства, богато одаренного и отвечающего своему высокому назначению,— несмотря на все это, если уж говорить начистоту, я считаю, что ему далеко до Сенеки, что его духовному облику недостает той цельности, твердости и законченности, которые присущи Сенеке.

Итак, возвращаясь к упомянутой книге, отмечу, что она содержит весьма оскорбительный отзыв о Сенеке, основанный на упреках, почерпнутых у Диона [4] — историка, показаниям которого я совершенно не доверяю. Ибо прежде всего Дион крайне непостоянен: то он называет Сенеку мудрецом и смертельным врагом пороков Нерона, то, в других местах, изображает его человеком скупым, жадным, низким, честолюбивым, распутным и только прикидывавшимся настоящим философом. Однако же добродетель Сенеки так ярко и убедительно проступает в его писаниях, а опровержение некоторых обвинений, выдвигаемых Дионом против него, как, например, в чрезмерном богатстве или в слишком больших тратах, так и напрашивается само собой, что я не поверю ни одному свидетелю, пытающемуся убедить меня в обратном. Кроме того, гораздо разумнее полагаться в таких вещах на римских историков, чем на греческих или каких-либо других иноземных. Но Тацит и другие римские историки с глубоким почтением отзываются о жизни и смерти Сенеки и изображают его нам человеком весьма достойным и весьма добродетельным во всех отношениях. Против отзыва Диона о Сенеке я приведу лишь один неопровержимый довод: он настолько искаженно судит о римских делах, что решается защищать дело Юлия Цезаря против Помпея и Антония против Цицерона.

Перейдем к Плутарху.

Жан Боден [5], выдающийся современный писатель, выделяющийся из толпы писак нашего времени своим большим здравомыслием, заслуживает всяческого внимания и уважения. Я нахожу излишне резким одно из мест его сочинения «Метод легкого изучения истории», где он обвиняет Плутарха не только в незнании (тут я спорить не берусь, так как это не по моей части!), но также и в том, что этот автор часто пишет о вещах невероятных, от начала до конца выдуманных (таковы подлинные

слова Бодена). Если бы Боден просто сказал, что Плутарх изображает вещи не такими, каковы они в действительности, это было бы не очень серьезным упреком, ибо то, чего мы не видели своими глазами, мы берем из вторых рук и принимаем на веру, и я действительно замечаю, что Плутарх иногда сознательно рассказывает один и тот же эпизод различным образом; возьмем, например, его суждение о трех величайших полководцах, когда либо живших на свете: в жизнеописании Ганнибала оно звучит совсем иначе, чем в жизнеописании Фламиния, и совершенно по-новому, на третий лад, в жизнеописании Пирра. Но обвинять Плутарха в том, что он принимал за чистую монету вещи невероятные и невозможные, это значит обвинять самого рассудительного автора на свете в неумении судить о вещах. В доказательство Боден приводит следующий пример. Плутарх рассказывает об одном спартанском мальчике, который, спрятав у себя под платьем украденную лисичку, предпочел, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не сознаться в краже[6]. Я нахожу прежде всего пример этот неудачным, ибо трудно установить предел наших душевных сил, между тем как о физических силах нам судить легче; поэтому если бы выбор надлежало сделать мне, я скорее выбрал бы пример из этой второй области. И тут можно найти примеры еще менее правдоподобные, вроде описанного Плутархом случая с Пирром[7]: будто последний, несмотря на то что он был весь изранен, с такой силой ударил мечом по вооруженному до зубов врагу, что рассек его надвое с головы до пят, так что тело его разлетелось пополам. Я не вижу никакого особого чуда в примере, сообщаемом Плутархом, и не признаю извинения, которым Боден пытается защитить Плутарха, предваряющего свой рассказ словами: «говорят, будто», как это делают в тех случаях, когда хотят набросить на рассказ тень сомнения. Плутарх и впрямь не хотел ни сам признавать невероятных вещей, ни побудить нас верить в них, за исключением тех случаев, когда дело касается вещей, принимаемых из уважения к древней традиции или из почтения к религии. Что же касается слов «говорят, будто», то нетрудно убедиться, что Плутарх употребляет их здесь не с целью заронить в нас сомнение, так как сам же он в другом месте[8], касаясь вопроса о выдержке спартанских детей, приводит примеры событий, случавшихся в его время, в которые еще труднее поверить; так, если взять пример, о котором Цицерон сообщил[9] еще до Плутарха, а именно, что в их времена можно было встретить юношей, которых для доказательства их выдержки испытывали перед алтарем Дианы: их бичевали до крови, а они не только не кричали, но даже не разрешали себе издать стон, некоторые же добровольно позволяли засечь себя насмерть. А вот еще пример, о котором также сообщает Плутарх[10] наряду с сотней других упоминающих об этом случае свидетелей: во время жертвоприношения в рукав одного спартанского юноши попал горящий уголь; рукав воспламенился и рука юноши стала гореть, но он терпел до тех пор, пока запах паленого мяса не ударил в нос присутствующим. Согласно понятиям спартанцев, ничто не могло в такой мере затронуть их честь и в их глазах не было ничего более ужасного

и позорного, как быть пойманным в момент кражи. Я до такой степени проникнут верой в величие этих людей, что рассказ Плутарха, вопреки Бодену, не только не кажется мне невероятным, но я не нахожу в нем даже ничего необычного и поразительного.

В истории Спарты можно найти тысячи гораздо более потрясающих и исключительных примеров, ее история полна таких чудес.

Марцеллин сообщает [11] по поводу воровства, что в его времена нельзя было придумать такой пытки, которая способна была бы заставить уличенных в этом весьма распространенном среди египтян преступлении хотя бы раскрыть свое имя.

Одного испанского крестьянина подвергли пытке, добиваясь, чтобы он выдал своих сообщников в убийстве претора Луция Пизона. В разгар своих мучений он завопил, что друзьям его нечего опасаться: пусть спокойно стоят на месте и смотрят на него; они тогда убедятся, что нет такой боли, которая могла бы вырвать у него хоть слово признания. В течение всего этого дня от него не могли добиться ничего другого. На следующий день, когда его привели, чтобы возобновить пытки, он с силой вырвался из рук стражи и, ударившись с размаху головой об стену, размозжил себе череп и пал мертвый [12].

Эпихарида, презрев жестокость приспешников Нерона и выдержав кандалы, бичевание и истязание колодками, не сказала в течение первого дня ни одного слова о заговоре, раскрытия которого от нее добивались. На другой день, когда ее несли в кресле (ибо она не могла держаться на переломанных ногах), чтобы возобновить пытки, она продела шнур от своего платья через ручку кресла и, сделав петлю, просунула в нее голову и, навалившись на шнур всей тяжестью тела, удавилась. Найдя в себе достаточно мужества, чтобы умереть подобной смертью, избежав продолжения пыток и дав такое удивительное доказательство своей выдержки, не посмеялась ли она тем самым над тираном и не подала ли она и другим пример противодействия ему [13]?

Порасспросите-ка наших конных стрелков о том, что им пришлось перевидать во время происходивших у нас гражданских войн, и они приведут вам замечательные примеры выдержки, упорства и сопротивления, проявленных в наш злосчастный век нашими современниками, гораздо более расслабленными и изнеженными, чем египтяне,— примеры, достойные сравнения с теми, какие мы сейчас привели относительно доблести спартанцев. Мне известно, что встречались простые крестьяне, которые шли на то, чтобы им поджаривали пятки, отрубали затвором ружья концы пальцев или так туго стягивали голову толстой веревкой, что глаза у них вылезали на лоб, лишь бы не платить требуемого от них выкупа.

Я видел крестьянина, которого признали мертвым и оставили лежать голым во рву, шея у него совсем посинела и вздулась от веревки, которая все еще болталась на ней; накануне он был привязан ею к хвосту лошади, которая всю ночь волочила его за собой; на его теле было множество колотых ран, нанесенных кинжалом — не для того, чтобы убить,

а чтобы причинить ему боль и напугать; он все это вытерпел вплоть до того, что лишился чувств и способности речи, ибо решил, как он потом рассказывал мне, лучше претерпеть тысячу смертей (и в самом деле, его страдания были не легче смерти!), чем согласиться на уплату выкупа: а ведь это был один из самых богатых крестьян в наших местах. А сколько было людей, которые мужественно шли на костер умирать за чужие идеи, непонятные и неизвестные им!

Я знал сотни женщин — говорят, что в этом отношении жительницы Гаскони занимают особо почетное место,— которые скорее согласились бы, чтобы их жгли раскаленным железом, чем отказались от своих слов, брошенных в пылу гнева. От ударов или всякого иного принуждения их упорство лишь возрастает. Автор, сочинивший рассказ о женщине [14], которая, несмотря ни на какие угрозы и избиения, продолжала обзывать своего мужа вшивым, а когда, под конец, ее бросили в реку, она, идя ко дну, все еще поднимала кверху руки, делая вид, будто щелкает вшей у себя на голове,— этот автор, повторяю, сочинил рассказ, который каждый день подтверждается примерами упорства женщин. А упорство — родная сестра выдержки, по крайней мере в отношении твердости и настойчивости.

Как я уже говорил в другом месте [15], не следует судить о том, что возможно и что невозможно, на основании того, что представляется вероятным или невероятным нашим чувствам, и грубая ошибка, в которую впадает большинство людей (в чем я, однако, не упрекаю Бодена), состоит в том, что они не хотят верить тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бы сделать. Всякому кажется, что он совершеннейший образец природы, что он — пробный камень и мерило для всех других. Черты, не согласующиеся с его собственными, уродливы и фальшивы. Какая непроходимая глупость! Что касается меня, то я считаю множество людей стоящими значительно выше меня, особенно мужей древности; и, хотя ясно сознаю свою неспособность следовать их примеру, стараюсь все же не упускать их из виду, пытаюсь разобраться в причинах, поднимающих их на такую высоту, и иногда мне удается найти у себя слабые зачатки таких же свойств. Точно так же я веду себя и по отношению к самым низменным душам: я не удивляюсь им и не считаю их чем-то невероятным. Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за свое возвышение, и восхищаюсь их величием; я перенимаю те стремления, которые, на мой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то во всяком случае мое внимание пристально обращено к ним.

Другой пример, приводимый Боденом из области невероятных и полностью вымышленных вещей, сообщаемых Плутархом, касается Агесилая, который был приговорен эфорами к штрафу за то, что снискал себе расположение и любовь своих сограждан. Я не понимаю, что неверного усматривает Боден в этом сообщении Плутарха, но во всяком случае Плутарх сообщает здесь о вещах, которые ему были значительно лучше известны, чем нам; ведь в Греции было вполне обычным делом наказывать

или изгонять людей только за то, что они чересчур потакали своим согражданам, доказательством чего служат остракизм и петализм [16].

У Бодена есть еще одно обвинение, которое я воспринимаю как не заслуженную Плутархом обиду; а именно, Боден утверждает, что Плутарх добросовестен, когда сравнивает римлян с римлянами и греков с греками, но не в своих параллельных жизнеописаниях греков и римлян; доказательством могут служить, говорит он, сравнения Демосфена с Цицероном, Катона с Аристидом, Суллы с Лисандром, Марцелла с Пелопидом, Помпея с Агесилаем. Боден считает, что Плутарх обнаружил свое пристрастие к грекам, сопоставив их с лицами, которые были им совсем не под стать. Бросать Плутарху такое обвинение значит порицать в нем самое прекрасное, самое достойное похвалы: ибо в этих сопоставлениях (которые являются наилучшей частью творений Плутарха и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренность его суждений не уступают их глубине и значительности. Здесь перед нами философ, наставляющий нас в добродетели. Посмотрим, сумеем ли мы снять с него приведенный выше упрек в предвзятости и искажении.

Поводом к такому суждению о Плутархе могло, мне кажется, послужить то великое преклонение перед именами римлян, которое тяготеет над нашими умами. Так, нам представляется, что Демосфен отнюдь не мог сравняться в славе с каким-нибудь консулом, проконсулом или квестором великой римской державы. Но кто захочет разобраться в истинном положении дел и в самих этих людях — к чему и стремился Плутарх,— кто захочет сопоставить нрав этих людей, их характеры и способности, а не их судьбы, тот согласится, думаю, со мной и, в отличие от Бодена, призна́ет, что Цицерон и Катон Старший во многом уступают тем людям, с которыми Плутарх их сравнивает. На месте Плутарха я скорее выбрал бы для осуществления его замысла параллель между Катоном Младшим и Фокионом, ибо при таком сопоставлении различие между сравниваемыми было бы более убедительным и преимущество было бы на стороне римлянина. Что касается Марцелла, Суллы и Помпея, то я охотно признаю, что их военные подвиги более доблестны, блестящи и значительны, чем подвиги тех греков, которых Плутарх сравнивает с ними. Однако в военном деле, ка́к и во всяком ином, самые необычайные и выдающиеся подвиги отнюдь не являются самыми замечательными. Я нередко вижу, как имена полководцев меркнут перед именами людей с меньшими заслугами; примером могут служить имена Лабиена, Вентидия, Телесина и многих других [17]. Если бы я с этой точки зрения захотел вступиться за греков, то разве не мог бы я сказать, что Камилл [18] куда менее годится для сравнения с Фемистоклом, братья Гракхи для параллели с Агисом и Клеоменом, Нума для сопоставления с Ликургом. Но ведь нелепо желать судить о столь многообразных вещах, сравнивая их лишь в одном отношении.

Когда Плутарх проводит сопоставление между ними, он не ставит между ними знака равенства. Кто в состоянии был бы с большей тща-

тельностью и добросовестностью установить черты различия между ними? Сравнивая победы, воинские подвиги и мощь армий, возглавлявшихся Помпеем, с победами, подвигами и военной мощью Агесилая, Плутарх заявляет [19]: «Я не думаю, чтобы даже Ксенофонт, если бы он был жив и если бы даже ему разрешили писать все, что угодно, в пользу Агесилая, отважился сравнить его с Помпеем». Сопоставляя Лисандра с Суллой, Плутарх пишет [20]: «Между ними не может быть никакого сравнения: ни по числу одержанных побед, ни по числу сражений, ибо Лисандр выиграл всего лишь две морские битвы», и т. д. Такие замечания Плутарха доказывают, что он ничего не отнимает у римлян; тем, что он просто сопоставляет их с греками, он нисколько не умаляет их, как бы ни велико было различие между ними. К тому же Плутарх не сравнивает их в целом и никому не отдает предпочтения: он сопоставляет события и подробности одно за другим и судит о каждом из них в отдельности. Поэтому, кто хочет упрекнуть его в пристрастии, тот должен разобрать какое-нибудь отдельное его суждение, или сказать вообще, что он неудачно выбрал для сравнения такого-то грека с таким-то римлянином, так как есть другие, более подходящие для сравнения, и более соизмеримые фигуры.



Глава XXXIII

ИСТОРИЯ СПУРИНЫ

Философия неплохо распорядилась своим достоянием, предоставив разуму верховное руководство нашей душой и возложив на него обуздание наших страстей. Кто считает самыми неистовыми страсти, порождаемые любовью, ссылается в подкрепление своей точки зрения на то, что они завладевают и душой и телом, заполняя человека целиком, так что даже здоровье его начинает зависеть от них и медицина иной раз вынуждена выступать здесь в роли посредницы.

Однако можно было бы возразить против этого, что вмешательство тела в наши страсти до известной степени снижает и ослабляет их, ибо такого рода желания утоляются, их можно удовлетворить материальным путем. Многие, стремясь избавиться от постоянных докук чувственных вожделений, отсекали и отрезали томившие и мучившие их части тела. Другие подавляли пыл чувственных желаний, применяя холодные компрессы из снега или уксуса. Таково же было и назначение власяниц, вытканных из конского волоса, которые носили наши предки, одни в виде сорочек, другие в виде поясов, терзавших их чресла. Один вельможа рас-

сказывал мне недавно, что в дни его молодости ему однажды взбрело в голову предстать на торжественном празднестве при дворе Франциска I[1], на которое все явились разряженными, одетым во власяницу, доставшуюся ему от отца; но при всем его благочестии у него едва хватило терпения дождаться ночи, чтобы поскорее сбросить ее с себя, и он долго болел после этого; нет такого юношеского пыла,— заявил в заключение мой знакомый,— которого применение этого средства не способно было бы убить. Но ему, по-видимому, неведомы были самые неистовые приступы этих вожделений, ибо опыт показывает, что нередко такие чувства скрываются под грубой и убогой одеждой и власяницы не всегда приносят успокоение тем, кто надевает их на себя. Ксенократ поступил более решительно; когда его ученики, желая испытать его выдержку, положили ему в постель прекрасную и прославленную куртизанку Лаису, полуобнаженную, у которой прикрыты были лишь ее прелести, он, чувствуя, что, вопреки его речам и правилам, тело его готово взбунтоваться, приказал прижечь возмутившиеся части тела[2]. Между тем душевные страсти, вроде честолюбия, скупости и тому подобных, больше зависят от нашего разума, ибо только он способен справиться с ними; эти желания к тому же неукротимы, ибо, утоляя, только усиливаешь и обостряешь их.

Достаточно привести в пример хотя бы Юлия Цезаря, чтобы убедиться в несходстве душевных и плотских страстей, ибо не было человека, который предавался бы любовным наслаждениям с большей яростью, чем Цезарь[3]. Доказательством его приверженности к ним может служить его необычайно тщательный уход за своим телом; он доходил до того, что прибегал к самым утонченным средствам, применявшимся в его время, например ему выщипывали волосы на всем теле и умащивали самыми изысканными благовониями. Если верить Светонию, он был хорош собой: белокурый, высокий, статный, лицо полное, глаза черные и живые; однако сохранившиеся в Риме статуи Цезаря не подтверждают этого описания его наружности. Не считая его законных жен — а он был женат четыре раза, не говоря о его увлечении в ранней молодости царем Вифинии Никомедом,— ему отдала свою девственность прославленная египетская царица Клеопатра, родившая ему сына — Цезариона; у него была связь с мавританской царицей Евноей, а в Риме — с Постумией, женой Сервия Сульпиция, с Лоллией, женой Габиния, с Тертуллой, женой Красса, и даже с Муцией, женой Помпея Великого, который по этой причине, как утверждают римские историки, развелся с нею[4] (впрочем, Плутарх заявляет, что ему на этот счет ничего не известно). Когда же Помпей женился на дочери Цезаря, то оба Куриона, отец и сын, упрекали Помпея в том, что он сделался зятем человека, который наставил ему рога и которого он сам часто называл Эгисфом[5]. Кроме всех перечисленных связей, Цезарь был близок с Сервилией, сестрой Катона и матерью Марка Брута, и, по единодушному мнению всех, этим объясняется чрезмерная любовь Цезаря к Бруту, так как, судя по времени его рождения, Брут мог быть его сыном. Я имею поэтому, как мне кажется, право считать Цезаря человеком весьма распутным и необычайно склонным к любовным утехам. Но когда

другая страсть, честолюбие, которое было у него не менее уязвимым местом, столкнулась с его пристрастием к женщинам, оно тотчас же отодвинуло его любовные дела на задний план.

Мне припоминается в этой связи завоеватель Константинополя Мехмед, не оставивший в Греции камня на камне. Я не знаю человека, у которого обе эти страсти находились бы в таком совершеннейшем равновесии: он был такой же неутомимый распутник, как и вояка. Но когда случалось в его жизни, что обе эти страсти сталкивались, воинский пыл неизменно брал верх над любовным. Сластолюбие полностью поглотило его — хотя это было уже совсем не ко времени — лишь в глубокой старости, когда бремя войны стало уже не по нем. Противоположностью Мехмеду может служить неаполитанский король Владислав[6]. Достойно внимания то, что сообщают о нем: прекрасный полководец, смелый и честолюбивый, он ставил, однако, превыше всего свое сластолюбие и обладание какой-нибудь редкой красавицей. Его смерть была под стать этому. Доведя длительной осадой город Флоренцию до такой крайности, что жители ее уже готовы были признать себя побежденными, он согласился снять осаду при условии, чтобы они выдали ему девушку необыкновенной красоты, о которой до него дошли слухи. Пришлось пойти на это и ценою попрания чести одной семьи избежать общественного бедствия. Красавица эта была дочерью славившегося в те времена врача, который, очутившись в таком тяжелом положении, решился на крайность. Так как все наряжали его дочь и дарили ей украшения и драгоценности, которые должны были сделать ее еще более привлекательной для ее будущего возлюбленного, то и отец со своей стороны подарил ей платок замечательной работы и надушенный необыкновенными духами; этим платком, который является у них обычной принадлежностью туалета, она должна была воспользоваться при первом же сближении с ним. Но, применив свое врачебное искусство, отец напитал этот платок ядом, который, быстро проникнув в открытые поры разгоряченных тел обоих возлюбленных, внезапно превратил их жаркие объятия в ледяные, и они скончались в объятиях друг у друга. Вернусь, однако, к Цезарю.

Он не жертвовал ради своих любовных похождений ни одной минутой, ни одним случаем, которые могли бы содействовать его возвеличению. Честолюбие властвовало так безраздельно над всеми другими его страстями и до того заполняло его душу, что способно было увлечь его куда угодно. Меня охватывает досада при мысли о величии этого человека и замечательных задатках, которые таились в нем, о его обширнейших и разнообразных познаниях, благодаря которым не было почти ни одной науки, о которой бы он ни писал. Он был такой несравненный оратор, что многие ставили его красноречие выше цицероновского, и сам Цезарь, помоему, был убежден, что ненамного уступает в этом Цицерону; оба антикатоновских памфлета были написаны Цезарем главным образом с целью парировать ораторское красноречие, обнаруженное Цицероном в его «Катоне». Кто мог сравняться с Цезарем в бдительности, неустанной деятельности и трудолюбии? Он несомненно обладал, кроме этого, еще мно-

гими другими исключительными и незаурядными задатками. Он был очень воздержан и поразительно неприхотлив в еде: Оппий сообщает, что однажды, когда Цезарю было подано за столом в виде приправы консервированное оливковое масло вместо свежего, он ел его большими порциями, не желая ставить в неловкое положение хозяина дома[7]. В другой раз Цезарь велел наказать плетьми своего пекаря, подавшего ему другой хлеб, нежели всем остальным[8]. Сам Катон говаривал о Цезаре, что он единственный из всех трезвым приступил к разрушению своего отечества[9]. Правда, был случай, когда тот же Катон назвал Цезаря пьянчугой. Произошло это вот как. Когда оба они находились в сенате, где обсуждалось дело о заговоре Катилины[10], причастным к которому многие считали Цезаря, Цезарю подали принесенную откуда-то секретную записку. Катон, решив, что этой запиской остальные заговорщики о чем-то предупреждают Цезаря, потребовал, чтобы Цезарь дал ему ее прочесть, на что Цезарь вынужден был согласиться, чтобы не быть заподозренным в худшем. Это была любовная записка сестры Катона Сервилии к Цезарю. Прочтя записку, Катон швырнул ее Цезарю со словами: «На, пьянчуга!» Но ведь этим бранным словом Катон хотел выразить Цезарю свой гнев и презрение, а вовсе не обвинить его всерьез в этом пороке,— совсем так, как мы часто ругаем тех, на кого сердимся, первыми же сорвавшимися с языка словами, совершенно неуместными по отношению к тем, к кому мы их применяем. К тому же порок, который Катон приписал в данном случае Цезарю, необычайно сродни той слабости, в которой Катон изобличил Цезаря, ибо, как гласит пословица, Венеру и Вакха водой не разольешь.

Но для меня лично Венера в союзе с трезвостью гораздо сладостнее.

Существует бесчисленное количество примеров снисхождения и великодушия Цезаря по отношению к своим противникам. Я имею в виду далеко не одни лишь случаи из времен гражданских войн: об относящихся к ним случаях Цезарь сам дает понять в своих писаниях, что проявлял мягкость с целью успокоить своих врагов и побудить их меньше опасаться его будущего владычества и победы. По поводу этих примеров надо признать, что если они не могут убедить нас в его природной мягкости, то они во всяком случае свидетельствуют о его поразительном мужестве и доверчивости. Ему не раз случалось после победы над врагами отпускать целые армии, не требуя от них даже клятвенного обещания, что они будут — не говоря уже о какой бы то ни было помощи ему — просто воздерживаться от войны с ним. Ему приходилось по три-четыре раза захватывать в плен некоторых полководцев Помпея и каждый раз отпускать их на свободу. Помпей объявлял врагами всех тех, кто не явится воевать вместе с ним, Цезарь же приказал объявить, что будет считать друзьями всех тех, кто не примкнет ни к той, ни к другой из борющихся сторон и фактически не выступит против него[11]. Тем из своих военачальников, которым случалось уходить от него ради более выгодных условий, он отсылал еще их оружие, лошадей и снаряжение[12]. Захватив тот или иной город, Цезарь предоставлял ему право примкнуть к какой

угодно партии и оставлял в качестве гарнизона только память о своем милосердии и человечности. В решающий для него день Фарсальской битвы он приказал щадить римских граждан, за исключением только самых крайних случаев [13].

Таковы рискованные, на мой взгляд, приемы Цезаря, и неудивительно поэтому, что во время нынешних гражданских войн те, кто, подобно ему, борются против старых порядков, не следуют его примеру, ибо это средства чрезвычайные, которые мог себе позволить только Цезарь с его необыкновенным счастьем и изумительной проницательностью. Когда я думаю о подавляющем величии этого человека, я оправдываю богиню победы, которая ни разу не пожелала разлучиться с ним, даже в названном мною весьма несправедливом и беззаконном деле [14].

Возвращаясь к милосердию Цезаря, заметим, что есть много убедительных примеров его, относящихся ко времени господства Цезаря, когда он обладал всей полнотой власти и ему незачем было притворяться. Гай Меммий [15] выступил против Цезаря с весьма острыми обличениями, на которые Цезарь отвечал с не меньшей запальчивостью, но это не помешало Цезарю вскоре после того поддержать кандидатуру Меммия в консулы. Когда Гай Кальв [16], сочинивший против Цезаря множество оскорбительных эпиграмм, изъявил через друзей желание примириться с ним, Цезарь с готовностью согласился первым написать ему. А когда наш славный Катулл, который так отделал его под именем Мамурры, явился к нему с повинной, он в тот же день пригласил его к обеду. Узнав, что кое-кто злословит о нем, он ограничился заявлением в одной из своих публичных речей, что ему это известно. Как ни мало он ненавидел своих врагов, он еще меньше боялся их. Когда его предупредили о некоторых замышлявшихся покушениях на его жизнь, он удовольствовался опубликованием указа, в котором сообщал, что знает о них, и не применил к виновным никаких других мер. Достойна внимания заботливость Цезаря по отношению к друзьям: однажды, когда разъезжавший вместе с ним Гай Оппий плохо себя почувствовал, Цезарь уступил ему единственное имевшееся пристанище, а сам провел ночь на голой земле и под открытым небом. Что касается его правосудия, то однажды он приговорил к казни своего любимого слугу за прелюбодеяние с женой одного римского всадника, хотя никто не принес ему на это жалобы. Ни один человек не проявлял большей умеренности после победы и большей стойкости в превратностях судьбы.

Но все эти отличные качества были омрачены и изуродованы его неистовым честолюбием, которое увлекло его так далеко, что — как это нетрудно доказать — все его поступки и действия целиком определялись этой страстью. Обуреваемый ею, он для того, чтобы иметь возможность раздавать щедрые дары, превратился в расхитителя государственной собственности; ослепленный ею, он не постеснялся такой гнусности, как заявить, что самых отпетых и мерзких негодяев, помогавших ему возвыситься, он будет ценить и всячески поощрять ничуть не меньше, нежели самых достойных людей. Опьяненный безмерным тщеславием, он не по-

стеснялся хвастаться перед своими согражданами тем, что ему удалось превратить великую римскую республику в пустой звук, а также заявить, что слова его должны считаться законом; он дошел до того, что сидя принимал весь состав сената и допускал, чтобы ему поклонялись и оказывали божеские почести. Словом, на мой взгляд, один этот порок загубил в нем самые блестящие и необыкновенные дарования, которыми наделила его природа; этот порок сделал его имя ненавистным для всех порядочных людей тем, что он стремился утвердить свою славу на обломках своего отечества, на разрушении самой цветущей и мощной державы в мире.

Можно было бы, наоборот, привести немало случаев, когда выдающиеся люди жертвовали делами государства ради своего сластолюбия: взять, к примеру, Марка Антония и других; но я не сомневаюсь, что там, где любовь и честолюбие одинаково сильны и приходят в противоборство между собой, честолюбие неминуемо возобладает.

Возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу, что великое дело — уметь обуздать свои страсти доводами разума или сдержать неистовые порывы своего тела. Однако, чтобы кто-нибудь подвергал себя бичеванию ради другого или чтобы кто-нибудь не только пожелал лишиться сладкой радости нравиться другому, вызывать к себе влечение, нежную страсть в этом другом, но и — больше того — возненавидел бы свою привлекательность, повинную в этом, осудил бы свою красоту за то, что она воспламеняет другого,— примеров тому я не наблюдал. А между тем примеры тому бывали. Молодой тосканец Спурина —

Qualis gemma micat, fulvum quae dividit aurum,
Aut collo decus aut capiti; vel quale, per artem
Inclusum buxo aut Oricia terebintho,
Lucet ebur * —

наделен был такой редкостной и неописуемой красотой, что самые сдержанные люди не могли устоять против нее. Однако жар и пламя, все пуще разгоравшиеся от его чар, не только оставляли его холодным, но возбудили в нем лютую ярость против самого себя, против щедрых даров, отпущенных ему природой, как если бы он ответственен был за то, что другие оказались обделенными в этом отношении. Он дошел до того, что изуродовал себе лицо, нанеся себе множество ран и шрамов и полностью обезобразив ту гармонию и благообразие, которые природа так заботливо запечатлела в его чертах [18].

Сказать по чистой совести, подобные поступки больше изумляют меня, чем восхищают: такие крайности противны моим правилам. Цель этого поступка прекрасна и высоконравственна, и, однако, он кажется мне без-

* Сверкает, как драгоценный перл в желтом обрамлении золота, украшающий шею или голову, или как слоновая кость в искусной оправе букса или орикийского терпентинного дерева [17] (*лат.*).

рассудным. А что если бы его безобразие ввело людей в грех презрения или ненависти, или зависти к такой неслыханной славе, или, наконец, побудило к клевете, приписав его поступок бешеному честолюбию? Есть ли хоть какая-нибудь форма, которую порок не пожелал бы использовать, ища возможность проявиться? Было бы более правильно и честно, если бы он обратил эти дары неба в образец добродетели, в пример, достойный подражания. Те, кто уклоняются от исполнения общественного долга и от бесчисленного количества разнообразных обременительных правил, связывающих в общественной жизни безукоризненно честного человека, по-моему, сильно облегчают себе жизнь, с какими бы частными неудобствами для них это ни было связано. Это похоже на то, как если бы человек решил умереть с целью избавиться от жизненных тягот. Такие люди могут обладать разными достоинствами, но мне всегда казалось, что они лишены способности противостоять трудностям и что в беде нет ничего более высокого, чем стойко держаться среди разбушевавшихся волн, честно выполняя все то, что требует от нас долг. Иногда легче обходиться вовсе без женщин, чем вести себя во всех отношениях должным образом со своей женой, в бедности можно жить более беззаботно, чем при хорошо распределяемом достатке. Ведь разумное пользование доставляет больше хлопот, нежели воздержание. Умеренность — добродетель более требовательная, чем нужда. Доблестная жизнь Сципиона Младшего имеет тысячу разных проявлений, доблестная жизнь Диогена — только одно. Жизнь Диогена настолько же превосходит своей чистотой обычную жизнь, насколько жизнь, заполненная выдающимися делами и подвигами, превосходит ее силой и большей пользой.



Глава XXXIV

ЗАМЕЧАНИЯ О СПОСОБАХ ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ ЮЛИЯ ЦЕЗАРЯ

О многих полководцах рассказывают, что у них были свои настольные книги; так, например, у Александра Великого — Гомер, у Сципиона Африканского — Ксенофонт, у Марка Брута — Полибий, у Карла V — Филипп де Коммин; говорят, что в наше время таким же успехом пользуется у многих Макиавелли. Однако несомненно наилучший выбор в этом отношении сделал покойный маршал Строцци[1], избравший «Записки» Юлия Цезаря, ибо это сочинение, являясь подлинным и высшим образцом военного искусства, поистине должно быть молитвенником всякого воина. К тому же Цезарь сумел облечь свой богатейший сюжет в столь

изящную и прекрасную литературную форму и довести ее до такой ясности и совершенства, что, на мой взгляд, нет сочинения, которое могло бы с ним в этом отношении сравниться.

Я хочу отметить здесь некоторые примечательные особенности Цезаря в деле ведения войны, которые врезались мне в память.

Когда на солдат Цезаря напал страх из-за распространившихся в его войске слухов об огромной армии, которую Юба ведет против Цезаря, последний, вместо того чтобы опровергнуть составившееся у его солдат представление и преуменьшить силы врага, собрал их на сходку с целью ободрить их и придать им мужества. Но он выбрал для этого совсем другой способ, противоположный обычно применяемому, а именно он посоветовал солдатам прекратить расспросы о численности направляющихся против них неприятельских войск, ибо он имеет на этот счет весьма точные сведения, и тут он назвал им цифру, намного превосходившую ту, о которой шли слухи среди его солдат. Цезарь последовал в данном случае совету, который у Ксенофонта дает Кир; ибо обман не так страшен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежели тогда, когда враг оказывается более сильным, чем по слухам предполагали [2].

Цезарь прежде всего приучал своих солдат к беспрекословному повиновению, требуя, чтобы они не интересовались планами своего полководца и не обсуждали их; для этого он сообщал им свои планы лишь в момент их выполнения. Ему доставляло удовольствие в тех случаях, когда солдаты угадывали его планы, сразу же менять их с целью обмануть солдат; он нередко так и делал: например, наметив стоянку в определенном месте он, достигнув ее, продолжал идти вперед, удлиняя переход; такие вещи он особенно любил проделывать в ненастную погоду [3].

Когда гельветы, в самом начале его похода в Галлию, отправили к Цезарю послов, прося у него разрешения пройти через римские владения, то, хотя он и решил им помешать в этом силой, однако притворился сговорчивым и попросил у них несколько дней якобы для размышлений, в действительности же чтобы выиграть время и собрать свою армию [4]. Несчастные гельветы и не подозревали, как искусно он умел использовать время. Цезарь неоднократно повторял, что умение вовремя воспользоваться случаем — одно из важнейших качеств полководца; быстрота, характерная для его военных действий, поистине неслыханна и невероятна.

Беззастенчиво используя преимущество, которое он получал над врагом, заключая с ним временное соглашение, Цезарь был беззастенчив и в том отношении, что от своих солдат не требовал никаких других качеств, кроме доблести, и налагал наказания только за неповиновение и бунт [5]. Нередко после одержанной победы он давал солдатам полную волю, предоставляя им делать что угодно и освобождая их на некоторое время от правил воинской дисциплины; при этом он говорил, что солдаты его так хорошо вышколены, что, даже надушенные и напомаженные, они яростно кидаются в бой [6]. Цезарь действительно любил, чтобы солдаты его имели богатое вооружение; он давал им позолоченные, посеребренные и разукрашенные латы, считая, что боязнь потерять в сражении

свои роскошные доспехи заставит их биться с еще большим ожесточением. Обращаясь к солдатам, он называл их «друзья мои», как это делаем мы еще до сих пор; однако преемник Цезаря, Август, отменил этот обычай, считая, что Цезарь ввел его лишь по необходимости, находясь в трудном положении, чтобы польстить солдатам, которые шли за ним по собственной доброй воле;

Rheni mihi Caesar in undis
Dux erat, hic socius: facinus quos inquinat, aequat *.

Считая, что это несовместимо с достоинством императора и вождя армии, Август восстановил прежний обычай называть их просто воинами [8].

Однако наряду с этим вниманием к солдатам Цезарь проявлял большую суровость при наказании их. Взбунтовавшийся у Плаценции девятый легион Цезарь без всякого колебания распустил с позором, несмотря на то что Помпей еще не был побежден, и принял этих солдат обратно лишь после их долгих и усиленных просьб [9]. Он приводил их к повиновению не мягкостью, а скорее своим авторитетом и храбростью.

Говоря о своем решении переправиться через Рейн в Германию, Цезарь заявляет [10], что считал несовместимым с достоинством римского народа, чтобы переправа его армии происходила на судах, и потому приказал построить мост, по которому должны были пройти его войска. Именно при таких обстоятельствах был воздвигнут этот великолепный мост, устройство которого он столь подробно рисует; нигде при изложении своих предприятий Цезарь не обнаруживает такой словоохотливости, как при описании своих изобретательных выдумок, осуществление которых требовало умелого применения рук.

Я обратил также внимание на то, что Цезарь придавал большое значение своим речам к солдатам перед боем, ибо в тех случаях, когда он хочет показать, что спешил или был застигнут врасплох, он всегда указывает на то, что не имел даже возможности обратиться со словами ободрения к своим солдатам. Так было, например, перед крупным сражением с жителями Турне. Отдав необходимые распоряжения, сообщает Цезарь [11], он поспешил со словами ободрения к солдатам, там, где их заставал; попав к десятому легиону, он успел только кратко сказать воинам, чтобы они твердо помнили о своей прежней доблести, не падали духом и смело отражали натиск неприятельской армии. Так как враги подошли уже на расстояние полета стрелы, Цезарь дал сигнал к бою. Быстро направившись в другое место для смотра других отрядов, он застал солдат уже в самом разгаре сражения. Вот все, что сам Цезарь рассказывает об этом в приводимом месте. И надо признать, что во многих случаях эти речи Цезаря оказали ему огромные услуги. Речи Цезаря пе-

* Полководцем был Цезарь для меня при переправе через Рейн, здесь он товарищ; злодейство равняет тех, кто им запятнан [7] (лат.).

ред солдатами даже в его время пользовались такой популярностью, что многие его соратники собирали и хранили их; благодаря этому составились целые тома его речей, надолго его пережившие. Он говорил всегда так своеобразно, что близко знавшие его люди — и в том числе Август,— слушая чтения тех речей, которые были собраны, могли отличить в них отдельные фразы и даже слова, ему явно не принадлежавшие [12].

Когда Цезарь впервые отправился из Рима с государственным поручением, он за неделю достиг реки Роны, причем рядом с ним в повозке находились один или два непрерывно записывавших за ним писца, а сзади воин, который держал его меч [13]. И правда, мало кто, даже непрерывно двигаясь, мог бы соперничать с Цезарем в быстроте. Благодаря ей он, всегда победоносный, оставив Галлию и преследуя Помпея, направился в Бриндизи; за девятнадцать дней он покорил Италию и вернулся из Бриндизи в Рим. Из Рима он отправился в самые отдаленные области Испании, где преодолел величайшие трудности в войне против Афрания и Петрея [14] и во время долгой осады Марселя. Отсюда он двинулся в Македонию, разбил римскую армию при Фарсале, а затем, преследуя Помпея, переправился в Египет и покорил его. Из Египта он прибыл в Сирию и Понтийское царство, где нанес поражение Фарнаку [15]. После этого он отправился в Африку, где разбил Сципиона и Юбу, и, вернувшись через Италию в Испанию, одержал победу над сыновьями Помпея [16].

Ocior et caeli flammis et tigride foeta *.

Ac veluti montis saxum de vertice praeceps
Cum ruit avulsum vento, seu turbidus imber
Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas,
Fertur in abruptum magno mons improbus actu,
Exultatque solo, silvas armenta virosque
Involvens secum **.

Говоря об осаде Аварика, Цезарь сообщает [19], что он, по своему обыкновению, день и ночь находился при работавших солдатах. Во всех важных военных операциях он всегда производил разведку сам и никогда не направлял своей армии в такое место, которое не было бы предварительно обследовано. Если верить Светонию, то Цезарь, решив переправиться в Британию, сначала сам обследовал, где и как лучше высадиться [20].

Он неоднократно повторял, что победу, одержанную с помощью ума, он предпочитает победе, одержанной мечом. Во время войны против Петрея и Афрания Цезарь не пожелал воспользоваться одним явно благо-

---

* Быстрей, чем небесное пламя или тигрица с детенышами [17] (*лат.*).

** Как мчится обломок горы, свергающийся с вершины, оторванный ветром или смытый бурным ливнем, либо незаметно подточенный временем; неудержимо несется с кручи гора; она стремительно движется и подпрыгивает, ударяясь о землю и увлекая за собой леса, стада и людей [18] (*лат.*).

приятным для него обстоятельством, заявив, что надеется доконать своих врагов с несколько большей затратой времени, но зато с меньшим риском [21].

Во время той же операции Цезарь придумал замечательную штуку, приказав всему своему войску без всякой к тому необходимости переправиться вплавь через реку:

rapuitque ruens in proelia miles,
Quod fugiens timuisset, iter; mox uda receptis
Membra fovent armis, gelidosque a gurgite, cursu
Restituunt artus *

Я нахожу, что Цезарь при проведении своих предприятий был более сдержан и рассудителен, чем Александр Македонский; тот как бы искал опасностей и бежал им навстречу, подобно бурному потоку, который без разбора крушит и сметает все на своем пути:

Sic tauriformis volvitur Aufidus,
Qui regna Dauni perfluit Appuli,
Dum saevit, horrendamque cultis
Diluviem meditatur agris **.

Дело в том, что Александр начал свое поприще еще будучи очень молод, находясь в самом пылком возрасте, между тем как Цезарь вступил в игру уже будучи зрелым и опытным человеком. Кроме того, Александр обладал более горячим, вспыльчивым и необузданным характером, а пристрастие к вину еще усугубляло его буйный нрав, Цезарь же был необычайно воздержан в употреблении вина. Однако в случае необходимости, если того требовали обстоятельства, не было человека, который щадил бы себя меньше, чем Цезарь.

Что касается меня, то во многих его подвигах я усматриваю готовность лучше погибнуть, чем снести позор поражения. Во время упомянутой битвы против обитателей Турне Цезарь, видя, что весь головной отряд его армии дрогнул, спешно пробрался в первые ряды своих солдат, представ перед врагом, как был, без щита [24]; и такое случалось с ним не раз. Услышав, что солдаты его осаждены, он, переодетый, пробрался через передовые посты неприятельской армии, чтобы ободрить их своим присутствием [25]. Переправившись в Диррахий с очень незначительным войском и видя, что остальная часть его армии, которую он поручил привести Антонию, замешкалась, он решил переплыть обратно и еще раз пересечь море, несмотря не неистовую бурю; он тайно направился в об-

* Рвущийся в бой солдат совершает тот путь, который казался ему страшным в бегстве; весь мокрый, он согревает тело, вновь хватаясь за оружие, и на бегу разминает застывшие в ледяной воде члены [22] (*лат.*).

** Как мчится подобный быку Авфид, орошающий царство Давна, и в гневе замышляет страшным наводнением затопить пашни Апулии [23] (*лат.*).

ратный путь с целью привести самому застрявшие войска, не считаясь с тем, что все тамошние порты и все участки моря контролировались флотом Помпея [26].

Что же касается подвигов Цезаря, совершенных с оружием в руках, то многие из них по своей дерзости превосходят все, что предписывается военной наукой: например, с какими ничтожными силами он двинулся, чтобы покорить Египет, а вслед за тем напал на армии Сципиона и Юбы, в десять раз превышавшие численность его войск. Такие люди, как Цезарь, должны были обладать какой-то сверхчеловеческой верой в свою судьбу.

Говорил же он, что великие дела надо совершать, а не обдумывать бесконечно.

После битвы при Фарсале, отправив свои войска вперед в Азию и переправляясь на единственном судне через Геллеспонт, он встретил Луция Кассия с десятью большими военными кораблями. У Цезаря хватило духу не только не отступить перед ним, но пойти прямо на врага и потребовать от него сдачи; и Цезарь добился своего [27]. Предприняв пресловутую жестокую осаду Алесии, где сосредоточено было 80 000 защитников, Цезарь фактически имел против себя всю Галлию, ибо галлы, все как один, поднялись против него, решив заставить его снять осаду и выставив армию из 18 000 человек конницы и 240 000 человек пехоты [28]. Какой же надо было обладать беззаветной храбростью и безрассудной верой в себя, чтобы не отказаться от своего замысла и решиться идти на преодоление двух таких гигантских трудностей одновременно. И все же он справился с обеими этими задачами: выиграв сначала крупнейшее сражение и сокрушив врага, находившегося вне Алесии, он вслед за тем заставил сдаться и осажденных. Так же поступил и Лукулл при осаде Тигранокерты в войне с Тиграном; разница, однако, заключалась в том, что Лукуллу пришлось иметь дело с неприятелем, гораздо менее мужественным [29].

Говоря об осаде Алесии, я хотел бы отметить две поразительные особенности, связанные с этим делом. Первая состояла в том, что галлы, собрав все, что они могли против Цезаря и произведя смотр своих сил, на своем совете решили не вводить в бой часть этой массы людей, опасаясь, как бы при таком множестве воинов не произошло замешательства в их рядах. Этот страх перед чересчур многочисленным войском был явлением совершенно новым. Оценивая его по существу, следует признать правильным, что основной костяк армии должен быть не слишком велик: надо, чтобы он был ограничен сравнительно умеренными пределами, как принимая во внимание трудность организации снабжения такого огромного войска, так и учитывая сложность руководства им и поддержания порядка. Во всяком случае нетрудно доказать на примерах, что такие гигантские армии не совершали ничего значительного.

Надо признать правильным изречение Кира, приводимое у Ксенофонта [30] что перевес в сражении дает не общее число бойцов, а количество смелых воинов,— все же остальные — скорее помеха, чем подспорье.

Баязид, решив, вопреки мнению всех своих военачальников, дать сражение Тамерлану, построил весь свой расчет на том, что надеялся на замешательство в чересчур многочисленной неприятельской армии [31]. Весьма опытный воин и знаток своего дела Скандербег любил повторять, что десяти-двенадцати тысяч преданных воинов достаточно, чтобы обеспечить полководцу славу во всяком военном деле [32].

Вторая особенность, которая противоречила принятому обычаю и способу ведения войны, состояла в том, что Верцингеториг, стоявший во главе объединенных сил всех частей восставшей Галлии, решил направиться к Алесии и подвергнуться там осаде [33]. Ведь вождь целой страны никогда не должен ставить себя в безвыходное положение, разве что в крайнем случае, когда речь идет о его последней крепости и единственной оставшейся надежде,— защищать ее до конца; во всех остальных случаях он должен быть свободен и иметь возможность приходить на помощь всем частям своей армии.

Возвращаясь к Цезарю, следует отметить, что, как сообщает близкий Цезарю человек — Оппий, с годами он стал более осмотрителен и не столь поспешен в своих действиях, полагая, что не должен рисковать славой, которую принесли ему его многочисленные победы, ибо достаточно одного поражения, чтобы погубить ее [34].

Именно эту сторону дела имеют в виду итальянцы, когда, порицая безрассудную смелость, нередко наблюдаемую у молодых людей, называют их «жаждущими славы» (bisognosi d'onore) и полагают, что они правы, если, страстно желая прославиться, добиваются этого любой ценой, но что так не должны поступать те, кто уже прославлен в достаточной мере. В стремлении к славе, как и во многом другом, должна соблюдаться какая-то мера, равно как и в утолении жажды; немало людей именно так себя и ведет.

Цезарю было очень далеко до щепетильности тех древних римлян, которые стремились достичь военной победы лишь своей простой и безыскусственной доблестью; но и он руководствовался в этом деле более возвышенными представлениями, чем это делается в наше время, и не все средства были для него хороши, лишь бы одержать победу. Во время войны с Ариовистом [35], в тот момент, когда Цезарь вел переговоры с ним, произошло столкновение между обеими армиями по вине всадников Ариовиста. Эта стычка была весьма на руку Цезарю, но он не пожелал ею воспользоваться из опасения, как бы его не стали упрекать в вероломстве.

Он имел обыкновение одеваться во время сражения в богатое платье яркого цвета, чтобы быть заметным.

Он был требователен по отношению к солдатам, но проявлял особую строгость к ним пред лицом врага.

Когда древние греки хотели изобличить кого-нибудь в полной бесталанности, они, по принятому изречению, говорили о таком человеке, что он не умеет ни читать, ни плавать. Цезарь тоже считал, что умение плавать весьма важно в военном деле, и извлекал из этого умения много

преимуществ. Если ему нужно было спешить, он обычно переправлялся через встречавшиеся ему по пути реки вплавь; в походе же любил шествовать пешком, как Александр Великий. Во время войны в Египте Цезарь принужден был, чтобы спастись, прыгнуть в небольшую лодку, но, когда он увидел, что в нее же устремились многие его солдаты и лодка рискует пойти ко дну, он предпочел броситься в море и вплавь достиг своего флота, переплыв расстояние в двести с лишним футов, держа в поднятой над водой левой руке таблички, а в зубах свое воинское снаряжение, чтобы оно не досталось врагу; и все это Цезарь проделал, будучи отнюдь не юношей [36].

Ни один полководец не мог похвалиться большей преданностью своих солдат. В начале гражданской войны центурионы всех легионов предложили ему выставить каждый по одному всаднику за свой счет, а все пехотинцы предложили служить ему бесплатно, причем солдаты побогаче брали на себя содержание менее достаточных [37]. Покойный адмирал Шатийон [38] явил нам подобный же пример во время наших гражданских войн: французские солдаты из его армии оплачивали из своих средств находившихся в их рядах иностранных наемников; подобных примеров горячей преданности и самоотверженности нельзя было встретить в лагере католической партии, среди сторонников старой веры.

Чувство диктует нам более повелительно, чем разум.

Во время войны с Ганнибалом солдаты и военачальники, следуя примеру щедрости римского народа, отказались от жалованья, так что в лагере Марцелла [39] тех, кто не отказывался от жалованья, называли наемниками.

Когда солдаты Цезаря в битве под Диррахием понесли поражение, они сами потребовали для себя наказания, и Цезарю пришлось скорее утешать их, чем наказывать [40]. Одна-единственная его когорта в течение четырех часов выдерживала натиск четырех легионов Помпея и почти до последнего человека была истреблена неприятельскими лучниками, так что под конец во рву было найдено 130 000 стрел [41]. Один из его воинов, Сцева, защищавший ворота укрепления, держался неколебимо, несмотря на то, что у него был выбит глаз, а бедро и одно плечо пронзены насквозь и щит пробит ста двадцатью ударами [42]. Многие его солдаты, попав в плен, предпочитали умереть, чем согласиться перейти на сторону врага. Граний Петроний [43] был захвачен в Африке Сципионом; тот приговорил к смерти всех находившихся с Петронием, а ему самому обещал помилование, ввиду того что он человек знатный и квестор. В ответ на это Петроний заявил, что воины Цезаря привыкли давать пощаду, но не получать ее от других, и с этими словами тут же покончил с собой.

Можно привести бесчисленное количество примеров преданности, выказанной Цезарю его солдатами. Нельзя забыть поведения тех, кто были осаждены в Салонах [44] (городе, стоявшем на стороне Цезаря против Помпея), ввиду исключительности происшедшего здесь случая. Марк Октавий подверг Салоны блокаде; осажденные терпели нужду во всем до такой степени, что для того, чтобы пополнить недостаток в людях — ибо

большинство их было либо перебито, либо ранено,— они отпустили на свободу всех своих рабов и, обрезав волосы у всех женщин, свили из них веревки для своих метательных орудий. Кроме всего этого, они терпели ужасные муки из-за полного отсутствия продовольствия, но тем не менее были полны решимости ни в коем случае не сдаваться. Затянув таким образом осаду надолго и добившись того, что Октавий стал более небрежен и менее внимателен, осажденные однажды в полдень улучили удобный момент. Они расставили на стенах своих укреплений жен и детей, чтобы отвлечь внимание неприятеля, а сами с такой яростью набросились на осаждавших, что захватили один за другим первые четыре их лагеря, а потом и остальные, вытеснив их полностью из укреплений и заставив бежать на корабли. Сам Октавий спасся бегством в Диррахий, где находился Помпей. Я не могу припомнить другого подобного примера, чтобы осажденные наголову разбили осаждающих и взяли инициативу в свои руки; не помню я также случая, чтобы простая вылазка привела к столь полной и решительной победе.



Глава XXXV

О ТРЕХ ИСТИННО ХОРОШИХ ЖЕНЩИНАХ

Всем известно, что хороших женщин не так-то много, не по тринадцать на дюжину, а в особенности мало примерных жен. Ведь брак таит в себе столько шипов, что женщине трудно сохранить свою привязанность неизменной в течение долгих лет. Хотя мужчины в этом отношении и стоят немного выше, однако и им это не легко дается.

Показателем счастливого брака, убедительнейшим доказательством его, является долгая совместная жизнь в мире, согласии, без измен. В наше время — увы! — жены большей частью выказывают свои неустанные заботы и всю силу своей привязанности к мужьям, когда тех уже нет в живых; по крайней мере именно тогда жены стараются доказать свою любовь. Что и говорить — запоздалые, несвоевременные доказательства! Жены скорее, пожалуй, доказывают этим, что любят своих мужей мертвыми. Жизнь была наполнена пламенем раздоров, а смерть — любовью и уважением. Подобно тому как родители нередко таят любовь к детям, так и жены часто скрывают свою любовь к мужьям, соблюдая светскую пристойность. Эта скрытность не в моем вкусе: такие жены могут сколько угодно неистовствовать и рвать на себе волосы, я же в таком случае спрашиваю какую-нибудь горничную или секретаря: «Как они относились друг к другу? Как они жили друг с другом?» Я всегда при-

поминаю по этому поводу чудесное изречение: iactantius maerent, quae minus dolent *. Их отчаяние противно живым и не нужно мертвым. Мы не против того, чтобы они радовались после нас, лишь бы они радовались вместе с нами при нашей жизни. Можно просто воскреснуть от досады, если та, кому наплевать было на меня при жизни, готова чесать мне пятки, когда я только-только испустил дух. Если, оплакивая мужей, жены проявляют благородство, то право на него принадлежит только тем, которые улыбались им при жизни; но жены, которые, живя с нами, грустили, пусть радуются после нашей смерти, пусть будет у них на лице то же, что и в душе. Поэтому не обращайте внимания на их полные слез глаза и жалобный голос: смотрите лучше на горделивую поступь, на цвет лица и округлившиеся щеки под траурным покрывалом: эти вещи раскроют вам гораздо больше, чем любые слова. Многие из них, овдовев, начинают расцветать,— разве это не безошибочный показатель их самочувствия? Они блюдут установленные для вдов приличия не из уважения к прошлому, а в расчете на то, что их ждет: это — не уплата долга, а накопление для будущего. В дни моего детства некая почтенная и очень красивая дама, которая и сейчас еще жива, вдова одного принца, носила больше драгоценностей, чем положено по нашим обычаям для вдов. Когда ее упрекнули в этом, она ответила: «Но ведь я не завожу больше новых привязанностей и не собираюсь вновь выходить замуж».

Не желая идти в разрез с принятым у нас обычаем, я расскажу здесь лишь о трех женах, вся глубина любви и доброты которых по отношению к их мужьям тоже проявилась в момент смерти последних; однако эти примеры несколько отличны от приведенных: здесь имели место крайние обстоятельства и женщины пожертвовали своей жизнью.

У Плиния Младшего [2], около одной его усадьбы в Италии, был сосед, который невероятно страдал от гнойных язв, покрывавших его половые органы. Жена его, видя долгие и непрестанные мучения своего мужа, попросила, чтобы он позволил ей самой осмотреть его, говоря, что никто откровеннее ее не скажет ему, есть ли надежда. Получив согласие мужа и внимательно осмотрев его, она нашла, что надежды на выздоровление нет и что ему предстоит еще долго влачить мучительное существование. Во избежание этого она посоветовала ему вернейшее и лучшее средство — покончить с собой. Но, видя, что у него не хватает духу для такого решительного поступка, она прибавила: «Не думай, друг мой, что твои страдания терзают меня меньше, чем тебя; чтобы избавиться от них, я хочу испытать на себе то самое лекарство, которое я тебе предлагаю. Я хочу быть вместе с тобой при твоем выздоровлении, так же как была вместе с тобой в течение всей твоей болезни. Отрешись от страха смерти и думай о том, каким благом будет для нас этот переход, который избавит нас от нестерпимых страданий: мы уйдем вместе, счастливые, из этой жизни». Сказав это и подбодрив своего мужа, она решила, что они выбросятся в море из окна своего дома, расположенного у самого берега.

* Те, кто меньше всего огорчены, будут выказывать тем бо́льшую скорбь [1] (*лат.*).

И желая, чтобы муж ее до последней минуты был окружен той преданной и страстной любовью, какою она дарила его в течение всей жизни, она захотела, чтобы он умер в ее объятиях. Однако боясь, чтобы руки его при падении и от страха не ослабели и не разомкнулись, она плотно привязала себя к нему и рассталась с жизнью ради того, чтобы положить конец страданиям своего мужа.

Это была женщина совсем простого звания, но именно среди простых людей нередко можно встретить проявления необыкновенного благородства:

extrema per illos
Iustitia excedens terris vestigia fecit *.

Две другие женщины, о которых я собираюсь рассказать, были богатые и знатного происхождения, а среди таких людей примеры доблести — редчайшее явление.

Аррия, жена консула Цецины Пета, была матерью Аррии младшей, жены того самого Тразеи Пета, что прославился своей добродетелью во времена Нерона, а через этого своего зятя Аррия старшая была бабкой Фаннии (одинаковые имена у этих двух жен и двух мужей, а также сходная их судьба привели к тому, что многие потом их смешивали)[4]. Аррия старшая, когда ее муж, Цецина Пет, был захвачен солдатами императора Клавдия после гибели Скрибониана[5] (сторонником которого он был), стала умолять тех, кто увозил его в Рим, позволить ей ехать вместе с ним. Она будет стоить им дешевле — убеждала Аррия солдат — и будет меньшей помехой, чем рабы, которые понадобятся им для обслуживания ее мужа, ибо она одна будет убирать его комнату, стряпать и исполнять все другие обязанности. Но ей было отказано. Тогда она, не медля, наняла рыбачье суденышко и на нем последовала за мужем от самой Иллирии. Однажды, когда они были уже в Риме, в присутствии императора Клавдия, Юния, вдова Скрибониана, приблизилась к ней с выражением дружеского участия ввиду общности их судеб, но Аррия резко отстранила ее от себя со словами: «И ты хочешь,— сказала она,— чтобы я говорила с тобой или стала тебя слушать? У тебя на груди убили Скрибониана, а ты все еще живешь?» Из этих слов Аррии, так же как из многих других признаков, родные ее заключили, что она замышляет самоубийство и стремится разделить судьбу своего мужа. Ее зять, Тразея, умоляя ее не губить себя, сказал ей: «Если бы меня постигла такая же участь, как и Цецину, то разве ты захотела бы, чтобы моя жена — твоя дочь — покончила с собой?» — «Что ты сказал! — воскликнула Аррия.— Захотела ли бы я? Да, да, безусловно захотела бы, если бы она прожила с тобой такую же долгую жизнь и в таком же согласии, как я со своим мужем». Ответ этот усилил бдительность ее близких, которые стали внимательно следить за каждым ее шагом. Однажды она сказала тем, кто ее стерег: «Это ни к чему: вы добьетесь лишь того, что

* На них справедливость, покидая землю, оставила последние следы [3] (*лат.*).

я умру более мучительной смертью, но добиться, чтобы я не умерла, вы не сможете». С этими словами она вскочила со стула, на котором сидела, и со всего размаху ударилась головой о противоположную стену. Когда после долгого обморока ее, тяжело раненную, с величайшим трудом привели в чувство, она сказала: «Я говорила вам, что если вы лишите меня возможности легко уйти из жизни, я выберу любой другой путь, каким бы трудным он ни оказался». Смерть этой благородной женщины была такова. У ее мужа Пета не хватало мужества самому лишить себя жизни, как того требовал приговор, вынесенный ему жестоким императором. Однажды Аррия, убеждая своего мужа покончить с собой, сначала обратилась к нему с разными увещаниями, затем выхватила кинжал, который носил при себе ее муж, и, держа его обнаженным в руке, в заключение своих уговоров промолвила: «Сделай, Пет, вот так». В тот же миг она нанесла себе смертельный удар в живот и, выдернув кинжал из раны, подала его мужу, закончив свою жизнь следующими благороднейшими и бессмертными словами: Paete, non dolet [6]. Она успела произнести только эти три коротких, но бесценных по своему значению слова: «Пет, это вовсе не больно» [7]:

Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto
Quem de visceribus traxerat ipsa suis:
Si qua fides, vulnus quod feci, non dolet, inquit;
Sed quod tu facies, id mihi, Paete, dolet *.

Слова Аррии в тексте Плиния производят еще более глубокое впечатление и еще более значительны. И правда, нужно было обладать беззаветным мужеством, чтобы нанести смертельную рану себе и побудить сделать то же самое мужа, но, чего бы это ей ни стоило, тут она была и побудителем и советчиком; однако самое замечательное в другом. Совершив этот высокий и смелый подвиг единственно ради блага своего мужа, она до последнего своего вздоха была преисполнена заботы о нем, и, умирая, жаждала избавить его от страха последовать за ней. Пет, не раздумывая, убил себя тем же кинжалом; мне кажется, он устыдился того, что ему понадобился такой дорогой, такой невознаградимый урок.

Помпея Паулина, молодая и весьма знатная римская матрона, вышла замуж за Сенеку, когда тот был уже очень стар [9]. В один прекрасный день воспитанник Сенеки, Нерон, послал своих приспешников объявить ему, что он осужден на смерть; делалось это так: когда римские императоры того времени приговаривали к смерти какого-нибудь знатного человека, они предлагали ему через своих посланцев выбрать по своему усмотрению ту или иную смерть и предоставляли для этого определенный срок, иногда очень короткий, а иной раз более длительный, сообразно степени их немилости. Осужденный имел таким образом иногда воз-

* Когда благородная Аррия подала своему Пету меч, который только что пронзил ее тело, она сказала: «У меня не болит, поверь мне, рана, которую я нанесла себе, но я страдаю от той Пет, которую ты нанесешь себе» [8] (*лат.*).

можность привести за это время в порядок свои дела, но иной раз за краткостью срока не в состоянии был этого сделать; если же приговоренный не повиновался приказу, императорские слуги присылали для выполнения его своих людей, которые перерезали осужденному вены на руках и на ногах или же насильно заставляли его принять яд; однако люди благородные не дожидались такой крайности и прибегали к услугам своих собственных врачей и хирургов. Сенека спокойно и уверенно выслушал сообщенный ему приказ и попросил бумаги, чтобы составить завещание. Когда центурион отказал ему в этом, Сенека обратился к своим друзьям со следующими словами: «Так как я лишен возможности отблагодарить вас по заслугам, то оставляю вам единственное, но лучшее что у меня есть,— память о моей жизни и нравах; если вы исполните мою просьбу и сохраните воспоминание о них, вы приобретете славу настоящих и преданных друзей». Вместе с тем, стараясь облегчить страдания, которые он читал на их лицах, он обращался к ним то с ласковой речью, то со строгостью, чтобы придать им твердость, и спрашивал у них: «Где же те прекрасные философские правила, которых мы придерживались? Где решимость бороться с превратностями судьбы, которые мы столько лет сносили? Разве мы не знали о жестокости Нерона? Чего можно было ждать от того, кто убил родную мать и брата? Разве ему не оставалось только прибавить к этому насильственную смерть своего наставника и воспитателя?» Сказав это, он обратился к жене и, крепко обняв ее,— так как, подавленная горем, она теряла и душевные, и телесные силы — стал умолять ее, чтобы она из любви к нему стойко перенесла удар. «Настал час,— сказал он,— когда надо показать не на словах, а на деле, какое поучение я извлек из моих философских занятий: не может быть сомнений, что я без малейшей горечи, а наоборот, с радостью встречу смерть». «Поэтому, друг мой,— утешал он жену,— не омрачай ее своими слезами, чтобы не сказали о тебе, что ты больше думаешь о себе, чем о моей доброй славе. Победи свою скорбь и найди утешение в том, что ты знала меня и мои дела; постарайся провести остаток своих дней в благородных занятиях, к которым ты так склонна». В ответ на это Паулина, собравшись немного с силами и укрепив свой дух благороднейшей любовью к мужу, сказала: «Нет, Сенека, я не могу оставить тебя в смертный час, я не хочу, чтобы ты подумал, что доблестные примеры, которые ты показал мне в своей жизни, не научили меня умереть как подобает; как смогу я доказать это лучше, чистосердечнее и добровольнее, чем окончив жизнь вместе с тобой?» Тогда Сенека, не противясь столь благородному и мужественному решению своей жены и опасаясь оставить ее после своей смерти на произвол жестокости своих врагов, сказал: «Я дал тебе, Паулина, совет как тебе провести более счастливо твои дни, но ты предпочитаешь доблестную кончину; я не стану оспаривать этой чести. Пусть твердость и мужество перед лицом смерти у нас одинаковы, но у тебя больше величия славы». Вслед за тем им обоим одновременно вскрыли вены на руках, но так как у Сенеки они были сужены и из-за возраста его, и из-за общего истоще-

ния, то он, очень медленно и долго истекая кровью, приказал, чтобы ему еще перерезали вены на ногах. Опасаясь, чтобы его муки не ослабили дух его жены, а также желая избавить самого себя от необходимости видеть ее в таком ужасном состоянии, он, с величайшей нежностью простившись с ней, попросил чтобы она позволила перенести ее в соседнюю комнату, что и было исполнено. Но так как и вскрытие вен на ногах не принесло ему немедленной смерти, то Сенека попросил своего врача Стация Аннея дать ему яд. Однако тело его до такой степени окоченело, что яд не подействовал. Поэтому пришлось еще приготовить ему горячую ванну, погрузившись в которую он почувствовал, что конец его близок. Но до последнего своего вздоха он продолжал излагать исполненные глубочайшего значения мысли о своем предсмертном часе. Находившиеся при нем секретари старались записать все, что в состоянии были расслышать, и долгое время после смерти Сенеки эти записи сказанных им в последний час слов ходили по рукам и пользовались величайшим почетом среди его современников. (Какая огромная потеря, что они не дошли до нас!) Почувствовав приближение кончины, Сенека, зачерпнув ладонью смешавшейся с кровью воды и оросив ею голову, сказал, что совершает этой водой возлияние Юпитеру Избавителю. Нерон, узнав обо всем этом и опасаясь, чтобы ему не поставили в вину смерть Паулины, которая принадлежала к именитейшему римскому роду и к которой он не питал особой вражды, приказал срочно перевязать ей раны, что и было исполнено его посланцами без ее ведома, ибо она была без чувств и наполовину мертвая. Оставшись, вопреки своему намерению, в живых, она вела жизнь похвальную, вполне достойную ее добродетели, а навсегда сохранившаяся бледность ее лица доказывала, как много жизненных сил она потеряла, истекая кровью.

Вот три истинных происшествия, которые я хотел рассказать и которые я нахожу не менее увлекательными и трагическими, чем все то, что мы по обязанности измышляем для развлечения публики. Меня удивляет, что те, кто занимается этим, не предпочитают черпать тысячи таких замечательных происшествий из книг: это стоило бы им меньших усилий и приносило бы больше пользы и удовольствия. Тот, кто захотел бы создать из них единое и долговечное произведение, должен был бы со своей стороны только связать и скрепить их, как спаивают один металл с помощью другого. Подобным образом можно было бы соединить воедино множество истинных событий, разнообразя их и располагая так, чтобы от этого красота всего произведения в целом только выиграла, как, например, поступил Овидий, использовавший в своих «Метаморфозах» множество прекрасных сказаний.

В истории этой четы — Сенеки и Паулины — достойно внимания еще и то, что Паулина охотно готова была расстаться с жизнью из любви к мужу, подобно тому как Сенека в свое время из любви к ней отверг мысль о смерти. Нам может показаться, что расплата со стороны Сенеки была не так уж велика, но, верный своим стоическим принципам, он, я думаю, полагал, что сделал для нее не меньше, оставшись в живых,

чем если бы умер ради нее. В одном из своих писем к Луцилию[10] Сенека сообщает, что, находясь в Риме и почувствовав приступ лихорадки, он тотчас же сел на колесницу и направился в один из своих загородных домов, вопреки настояниям жены, пытавшейся удержать его. Сенека постарался уверить ее, что лихорадка гнездится не в его теле, а в Риме. Вслед за тем Сенека пишет в упомянутом письме: «Она отпустила меня, строжайше наказав мне заботиться о моем здоровье. И вот, так как я знаю, что ее жизнь зависит от моей, я начинаю заботиться о себе, заботясь тем самым о ней. Я отказываюсь от преимущества, которое дает мне моя старость, закалившая меня и научившая переносить многое, всякий раз, когда вспоминаю, что с этим старцем связана молодая жизнь, предоставленная моим заботам. Так как я не могу заставить ее любить меня более мужественно, то мне приходится заботиться о себе как можно лучше: ведь надо же расплачиваться за глубокие привязанности, и, хотя в некоторых случаях обстоятельства внушают нам совсем иное, приходится призывать к себе жизнь, как она ни мучительна, приходится принимать ее, стиснув зубы, ибо закон велит порядочным людям жить не так, как хочется, а повинуясь долгу. Кто не настолько любит свою жену или друга, чтобы быть готовым ради них продлить свою жизнь, и упорствует в стремлении умереть, тот слишком изнежен и слаб. Наше сердце должно уметь принуждать себя к жизни, если это необходимо для блага наших близких, нужно иногда полностью отдаваться друзьям и ради них отказываться от смерти, которой мы хотели бы для себя. Оставаться в живых ради других — это доказательство великой силы духа, как об этом свидетельствует пример многих выдающихся людей; исключительное великодушие в том, чтобы стараться продлить свою старость (величайшее преимущество которой в том, что можно не заботиться о продлении своего существования и жить, ничего не боясь и ничего не щадя), если знаешь, что это является радостью, счастьем и необходимостью для того, кто глубоко тебя любит. И как же велика награда за это,— ибо есть ли на свете большее счастье, чем представлять для своей жены такую ценность, что тебе приходится дорожить и собой. Наказав мне заботиться о себе, моя Паулина не только передала мне свой страх за меня, но и усугубила мой собственный. Я не мог больше думать о том, чтобы умереть с твердостью, а должен был думать о том, как невыносимо будет для нее это страдание. И я подчинился необходимости жить, ибо величие души иногда в том, чтобы предпочесть жизнь». Таковы слова Сенеки, столь же замечательные, как и его деяния.



Глава XXXVI
О ТРЕХ САМЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЯХ

Если бы меня попросили произвести выбор среди всех известных мне людей, я, мне кажется, счел бы наиболее выдающимися следующих трех человек.

Первый из них — Гомер; и не потому, чтобы Аристотель или, к примеру, Варрон были менее знающими, чем он, или чтобы с его искусством нельзя было сравнить, скажем, искусство Вергилия. Я не берусь этого решать и предоставляю судить тем, кто знает и того, и другого. Мне доступен только один из них, и я, в меру отпущенного мне понимания в этом деле, могу лишь сказать, что, по-моему, вряд ли даже сами музы превзошли бы римского поэта:

Tale facit carmen docta testudine quale
Cynthius impositis temperat articulis *.

Однако же при этом сопоставлении следует помнить, что своим совершенством Вергилий больше всего обязан Гомеру; именно Гомер является его руководителем и наставником, и самый замысел «Илиады» послужил образцом, давшим жизнь и бытие непревзойденной и божественной «Энеиде». Но для меня в Гомере важно не это, мне Гомер представляется существом исключительным, каким-то сверхчеловеком по другим причинам. По правде говоря, я нередко удивляюсь, как этот человек, который сумел своим авторитетом создать такое множество богов и обеспечить им признание, не сделался богом сам. Слепой бедняк, живший во времена, когда не существовало еще правил науки и точных наблюдений, он в такой мере владел всем этим, что был с тех пор для всех законодателей, полководцев и писателей — чего бы они ни касались: религии, философии со всеми ее течениями или искусства,— неисчерпаемым кладезем познаний, а его книги — источником вдохновения для всех:

Quidquid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,
Plenius ac melius Chrisippo ac Crantore dicit **;

или, как утверждает другой поэт:

A quo, ceu fonte perenni
Vatum Pieriis labra rigantur aquis ***;

---

* Он слагает на своей ученой лире песни, подобные тем что слагаются под пальцами Аполлона [1] (*лат.*).

** Что прекрасно и что постыдно, что полезно и что вредно,— он учит об этом яснее и лучше, чем Хрисипп и Крантор [2] (*лат.*).

*** Неиссякаемый источник, из которого поэты пьют пиэрийскую влагу [3] (*лат.*).

или, как выражается третий:

> Adde Heliconiadum comites, quorum unus Homerus
> Astra potitus *;

или, как заявляет четвертый:

> cuiusque ex ore profuso
> Omnis posteritas latices in carmina duxit,
> Amnemque in tenues ausa est deducere rivos,
> Unius foecunda bonis **.

Созданные им самые замечательные в мире произведения не укладываются ни в какие привычные рамки и почти противоестественны; ибо, как правило, вещи в момент их возникновения несовершенны, они улучшаются и крепнут по мере роста, Гомер же сделал поэзию и многие другие науки зрелыми, совершенными и законченными с самого их появления. На этом основании его следует назвать первым и последним поэтом, так как, согласно справедливому, сложившемуся о нем в древности изречению, у Гомера не было предшественников, которым он мог бы подражать, но не было зато и таких преемников, которые оказались бы в силах подражать ему. По мнению Аристотеля [6], слова Гомера — единственные слова, наделенные движением и действием, исключительные по значительности слова. Александр Великий, найдя среди оставленных Дарием вещей драгоценный ларец, взял этот ларец и приказал положить в него принадлежавший ему лично список поэм Гомера, говоря, что это его лучший и вернейший советчик во всех военных предприятиях [7]. На том же основании сын Александрида, Клеомен, утверждал, что Гомер — поэт лакедемонян, так как он наилучший наставник в военном деле [8]. По мнению Плутарха, Гомеру принадлежит та редчайшая и исключительная заслуга, что он единственный в мире автор, который никогда не приедался и не надоедал людям, а всегда поворачивался к ним неожиданной стороной, всегда очаровывая их новой прелестью. Беспутный Алкивиад попросил некогда у одного писателя какое-то из сочинений Гомера и влепил ему оплеуху, узнав, что у писателя его нет [9]; это все равно, как если бы у какого-нибудь нашего священника не оказалось молитвенника. Ксенофан однажды пожаловался сиракузскому тирану Гиерону на свою бедность, которая доходила до того, что он не в состоянии был прокормить двух своих слуг. «А ты посмотри, — ответил ему Гиерон, — на Гомера, который, хоть и был во много раз беднее тебя, однако же и по сей день, лежа в могиле, питает десятки тысяч людей» [10].

А что иное означали слова Панэция, когда он назвал Платона Гомером философов [11]? Какая слава может сравниться со славой Гомера? Ни-

* Вспомни спутников муз геликонских, из коих один лишь Гомер поднялся до светил [4] (*лат.*).

** Все потомки наполнили свои песни влагой из этого обильного источника; они разделили реку на мелкие ручейки, обогатившись наследием одного человека [5] (*лат.*).

что не живет в устах людей такой полной жизнью, как его имя и его произведения, ничего не любят они так и не знают так, как Трою, прекрасную Елену и войны из-за нее, которых, может быть, на самом деле и не было. До сих пор мы даем своим детям имена, сочиненные им свыше трех тысяч лет назад. Кто не знает Гектора и Ахилла? Не отдельные только нации, а большинство народов старается вывести свое происхождение, опираясь на его вымыслы. Разве не писал турецкий султан Мехмед II папе Пию II [12]: «Я поражаюсь, почему сговариваются и объединяются против меня итальянцы? Разве мы не происходим от одних и тех же троянцев и не у меня ли та же цель, что и у них,— отомстить за кровь Гектора грекам, которых они натравливают на меня?» Разве не грандиозен спектакль, в котором цари, республиканские деятели и императоры в течение стольких веков стараются играть гомеровские роли? И не является ли ареной этого представления весь мир? Семь греческих городов оспаривали друг у друга право считаться местом его рождения; так, даже самая невыясненность его биографии служит к вящей славе его.

Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae *.

Вторым наиболее выдающимся человеком является, на мой взгляд, Александр Македонский. Если учесть, в каком раннем возрасте он начал совершать свои подвиги, с какими скромными средствами он осуществил свой грандиозный план, каким авторитетом он с отроческих лет пользовался у крупнейших и опытнейших полководцев всего мира, старавшихся подражать ему; если вспомнить необычайную удачу, сопутствовавшую стольким его рискованным — чтобы не сказать безрассудным — походам,—

impellens quicquid sibi summa petenti
Obstaret, gaudensque viam fecisse ruina **; —

если принять во внимание, что в возрасте тридцати трех лет он прошел победителем по всей обитаемой вселенной и за полжизни достиг такого полного расцвета своих дарований, что в дальнейшие годы ему нечего было прибавить ни в смысле доблести, ни в смысле удач,— то нельзя не признать, что в нем было нечто сверхчеловеческое. Его воины положили начало многим царским династиям, а сам он оставил после себя мир поделенным между четырьмя своими преемниками, простыми военачальниками его армии, потомки которых на протяжении многих лет удерживали затем под своей властью эту огромную империю. А сколько было в нем выдающихся качеств: справедливости, выдержки, щедрости, верности

* Смирна, Родос, Колофон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины [13] (*лат.*).
** Все разрушал, что стояло на его дороге, и с ликованием пролагал себе путь среди развалин [14] (*лат.*).

данному им слову, любви к ближним, человеколюбия по отношению к побежденным. Его поступки и впрямь кажутся безупречными, если не считать некоторых, очень немногих из них, необычных и исключительных. Но ведь невозможно творить столь великие дела, придерживаясь обычных рамок справедливости! О таких людях приходится судить по всей совокупности их дел, по той высшей цели, которую они себе поставили. Разрушение Фив, убийство Менандра и врача Гефестиона, одновременное истребление множества персидских пленников и целого отряда индийских солдат в нарушение данного им слова, поголовное уничтожение жителей Коссы вплоть до малых детей — все это, разумеется, вещи непростительные. В случае же с Клитом [15] поступок Александра был искуплен — и даже в большей мере, чем это было необходимо,— что, как и многое другое, свидетельствует о благодушном нраве Александра, о том, что это была натура, глубоко склонная к добру, и потому как нельзя более верно было о нем сказано, что добродетели его коренились в его природе, а пороки зависели от случая. Что же касается его небольшой слабости к хвастовству или нетерпимости к отрицательным отзывам о себе, или убийств, хищений, опустошений, которые он производил в Индии, то все это, на мой взгляд, следует объяснять его молодостью и головокружительными успехами. Нельзя не признать его поразительных военных талантов, быстроты, предусмотрительности, дисциплинированности, проницательности, великодушия, решимости, удачливости и везения. Даже если бы мы не знали авторитетного мнения Ганнибала на этот счет, то должны были бы признать, что во всем этом Александру принадлежит первое место. Нельзя не отметить его редчайших способностей и одаренности, почти граничащей с чудом; его горделивой осанки и всей его благороднейшей повадки при столь юном, румяном и бросающемся в глаза лице:

Qualis, ubi Oceani perfusus lucifer unda,
Quem Venus ante alios astrorum diligit ignes,
Extulit os sacrum caelo, tenebrasque resolvit *.

Нельзя не оценить его огромных познаний, его незабываемой в веках славы, чистой, без единого пятнышка, безупречной, недоступной для зависти, славы, в силу которой еще много лет спустя после его смерти люди благоговейно верили, что медали с его изображением приносят счастье тем, кто их носит. Ни об одном государе историки не написали столько, сколько сами государи написали о его подвигах. Еще до настоящего времени магометане, с презрением отвергающие историю других народов, в виде особого исключения принимают и почитают единственно историю его жизни и деяний [17]. Кто вспомнит обо всем этом, должен будет согласиться, что я был прав, поставив Александра Македонского

* Подобно тому как омытое волной океана светило, которое Венера предпочитает всем другим, поднимает свой священный лик к небу и рассеивает мрак [16] (*лат.*).

даже выше Цезаря, единственного человека, относительно которого я мог на минуту заколебаться при выборе. Нельзя отрицать, что в деяния Цезаря вложено больше личных дарований, но удачливости было несомненно больше в подвигах Александра. Во многих отношениях они не уступали друг другу, а в некоторых Цезарь даже превосходил Александра.

Оба они были подобны пламени или двум бурным потокам, с разных сторон ринувшимся на вселенную:

> Et velut immissi diversis partibus ignes
> Arentem in silvam et virgulta sonantia lauro;
> Aut ubi decursu rapido de montibus altis
> Dant sonitum spumosi amnes et in aequora currunt,
> Quisque suum populatus iter *.

И хотя честолюбие Цезаря было более умеренным, но оно являлось роковым в том смысле, что совпало с развалом его родины и общим ухудшением тогдашнего мирового положения; таким образом, собрав все воедино и взвесив, я не могу не отдать пальмы первенства Александру.

Третьим и наиболее, на мой взгляд, выдающимся человеком является Эпаминонд [19].

Он далеко не пользовался той славой, которая выпала на долю многим другим (но слава и не является решающим обстоятельством в этом деле); что же касается отваги и решимости — не тех, которые подстрекаются честолюбием, а порождаемых в добропорядочном человеке знанием и умом,— то нельзя представить себе, чтобы кто-либо обладал ими в более полной мере. Эпаминонд выказал, на мой взгляд, не меньше отваги и решимости, чем Александр и Цезарь, ибо, хотя его военные подвиги и не столь многочисленны и не так расписаны, как подвиги Александра и Цезаря, однако, если вникнуть во все обстоятельства, они были не менее сложны и трудны и требовали не меньшей смелости и военных талантов. Греки воздали ему должное, единодушно признав, что ему принадлежит первое место среди его соотечественников [20]; но быть первым среди греков без преувеличения значит занимать первое место в мире. Что касается его знаний и способностей, то до нас дошло древнее суждение, гласящее, что ни один человек не знал больше и не говорил меньше его, ибо он был по убеждениям своим пифагорейцем [21].

Но то, что Эпаминонд говорил, никто не мог сказать лучше его. Он был выдающийся оратор, умевший убеждать своих слушателей.

По части морали он далеко превосходил всех государственных деятелей. Именно в этом отношении, которое должно считаться важнейшим и первостепенным,— ибо только по нему мы можем судить, каков человек (и потому эта сторона перевешивает, по-моему, все остальные достоинства,

---

* Как огни, что обнимают в различных частях леса и сухие стволы и шуршащие заросли лавра; или как мчатся с шумом и в пене падающие с высоких гор потоки, устремляющиеся к равнинам и производящие каждый на своем пути опустошения [18] (*лат.*).

вместе взятые) — Эпаминонд не уступает ни одному философу, даже самому Сократу.

Нравственная чистота — основное, наивысшее качество Эпаминонда, оно постоянно, неизменно, нерушимо, между тем как в Александре оно играет подчиненную роль, изменчиво, многолико, неустойчиво и податливо.

Древние считали [22], что если подробно разобрать деяния всех великих полководцев, то у каждого из них можно найти какое-нибудь особое достоинство, дающее ему право на известность. И только у Эпаминонда все его достоинства и совершенства являют некую полноту и единство во всех отношениях, в общественных или частных делах, на войне или в мирное время, в житейском его поведении или в славной, героической смерти. Я не знаю никаких проявлений человеческой личности и никакой судьбы человеческой, к которым относился бы с бо́льшим уважением и преклонением. Правда, я нахожу чрезмерным его пристрастие к бедности, как оно было обрисовано нам его лучшими друзьями [23]. И лишь это его свойство, каким бы благородным и достойным восхищения оно ни было, представляется мне слишком суровым, чтобы я — хотя бы только мысленно — мог стремиться подражать ему. Единственно между кем я затруднился бы произвести выбор, это между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, если бы последний ставил себе столь же возвышенную цель, как Эпаминонд, и обладал бы такими же разносторонними и глубокими познаниями. Какая досада, что из числа интереснейших параллельных биографий, написанных Плутархом, до нас не дошло сопоставление между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, которые, по единодушному признанию всех, занимают первое место — один у греков, другой у римлян. Какая благодарная тема и какое мастерское перо! Если же брать не праведника, а человека просто порядочного и вообще и как гражданина, по величию души не выходившего из ряда вон, то, на мой взгляд, самая яркая, богатая и достойная зависти жизнь выпала на долю Алкивиада. Но что касается Эпаминонда, то в качестве примера его непревзойденного благородства я приведу здесь некоторые его высказывания.

Он заявлял, что наибольшее удовлетворение, пережитое им в жизни, дала ему та радость, которую он доставил отцу и матери своей победой при Левктрах [24]; их радость он ставил гораздо выше удовлетворения, полученного от столь славного подвига им самим.

Он не считал возможным допустить убийство хотя бы одного невинного человека, даже если бы дело шло о восстановлении свободы родины [25]; вот почему он так холодно отнесся к замыслу своего соратника Пелопида, затеявшего освободить Фивы. Он считал также, что следует избегать в сражении столкновения с другом, находящимся в стане врагов, и что друг заслуживает пощады.

Человечность Эпаминонда даже по отношению к врагам была столь велика, что он был заподозрен беотийцами в измене на следующем основании [26]. После блестящей, почти чудесной победы, принудив спартанцев открыть ему проход около Коринфа, через который можно было про-

никнуть в Морею, он ограничился тем, что разбил их, но не стал преследовать до конца. За это он был смещен с поста главнокомандующего, что было для него весьма почетной отставкой, принимая во внимание причину ее, для соотечественников же его — весьма позорным делом, ибо им пришлось вскоре же восстановить его в прежнем звании и признать, что от него зависит их спасение и слава, поскольку победа тенью шла за ним повсюду, куда бы он их ни вел. Благоденствие его родины кончилось с ним так же, как с него началось.



Глава XXXVII
О СХОДСТВЕ ДЕТЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ

Нагромождение множества рассуждений на самые различные темы в моих «Опытах» объясняется тем, что я берусь за перо только тогда, когда меня начинает томить слишком гнетущее безделье, и пишу только находясь у себя дома. Между тем обстоятельства вынуждают меня месяцами отлучаться из дому, и потому я пишу лишь время от времени, с большими перерывами. Однако я никогда не исправляю написанного и не ввожу в него позже явившихся мыслей, а только иногда изменяю какое-нибудь выражение, и то, чтобы придать ему другой оттенок, а не вовсе изъять его [1]. Я хочу, чтобы по моим писаниям можно было проследить развитие моих мыслей и чтобы каждую из них можно было увидеть в том виде, в каком она вышла из-под моего пера. Мне будет приятно проследить, с чего я начал и как именно изменялся. Один слуга, писавший под мою диктовку, рассчитывал поживиться богатой добычей, украв у меня несколько полюбившихся ему отрывков. Но я утешаюсь тем, что его выгода от этого дела будет столь же мала, как и понесенный мною ущерб.

То обстоятельство, что я постарел на семь или восемь лет с того дня, когда впервые приступил к писанию своих «Опытов» [2], тоже было мне до известной степени на руку. За это время годы успели наградить меня камнями в почках. Продолжительная дружба с временем не обходится без какого-нибудь подарка в таком роде. Я хотел бы, чтобы из множества подарков, которые годы могут сделать тем, кто с ними сжился, они выбрали для меня какой-нибудь более приемлемый, ибо нет дара, которого бы я больше страшился с детских лет, чем этот; из всех докук старости, говоря откровенно, это был для меня самый страшный. Я не раз думал о себе, что слишком долго живу и что, пустившись в такой долгий путь, должен быть готов к какой-нибудь малоприятной встрече.

Я прекрасно сознавал это и считал, что пора мне отправляться восвояси, что надо резать сразу, по живому телу, действуя, как хирург, когда он удаляет больному тот или иной орган. Я знал, что того, кто не сделает этого вовремя, природа, по обыкновению, заставит платить очень тяжкие проценты. Однако мои ожидания не сбылись. Мне совсем недолго пришлось готовиться. Прошло всего около полутора лет, как я оказался в этом незавидном положении, и вот уже сумел к нему приспособиться. Я уже примирился со своей болезнью и принял, как должное, ее приступы. Я нахожу себе и утешения и даже какие-то надежды в этой жизни. Столько людей свыкается со своими бедами, и нет столь тяжкой участи, с которой человек не примирился бы ради того, чтобы остаться в живых!

Послушайте, что говорит по этому поводу Меценат [3]:

Debilem facito manu,
Debilem pede, coxa,
Lubricos quate dentes:
Vita dum superest, bene est *.

Нелепой была попытка Тамерлана прикрыть свою чудовищную жестокость, когда он под предлогом человеколюбия приказал прикончить всех прокаженных, о которых ему стало известно, для того чтобы, как он выразился, избавить их от мучительного существования [5]. Ибо всякий из них предпочел бы быть трижды прокаженным, чем умереть.

Когда стоик Антисфен тяжело заболел, он воскликнул: «Кто избавит меня от этих болей?» Диоген, пришедший его навестить, сказал ему, указав на нож: «Вот он может тотчас же избавить тебя». «Я ведь имел в виду — от болей, а не от жизни»,— ответил Антисфен [6].

Чисто душевные страдания удручают меня значительно меньше, чем большинство других людей: отчасти по складу моего ума (ведь столько людей считает, что многие вещи ужасны и что от них следует избавляться ценой жизни, между тем как мне они почти безразличны), отчасти же по причине моей замкнутости и моего бесчувствия к вещам, которые не задевают меня непосредственно. Это свойство я считаю одной из лучших черт моего характера. Но подлинные физические страдания я переживаю очень остро. Это, возможно, объясняется тем, что некогда, отдаленно и смутно предвидя их, я благодаря цветущему состоянию здоровья и покою, дарованным мне милостью неба на протяжении большей части моей жизни, мысленно представлял себе физические муки до того невыносимыми, что, говоря по правде, мой страх превосходил те страдания, которые я впоследствии ощутил. Вот почему во мне все более крепнет убеждение, что большинство наших душевных способностей, по крайней мере при том, как мы их применяем, скорее нарушают наш жизненный покой, чем способствуют ему.

* Пусть у меня ослабеет рука, ступня или нога, пусть зашатаются все зубы — все же, пока у меня остается жизнь, все обстоит благополучно [4] (*лат.*).

Я борюсь с наихудшей болезнью, самой неожиданной по своим приступам, самой мучительной, смертельно опасной и не поддающейся лечению. Я испытал уже пять или шесть долгих и мучительных припадков ее и должен, однако, сказать, что либо я обольщаюсь, либо и в этом состоянии все же стоит жить тому, кто сумел избавиться от страха смерти и от тех угроз. выводов и последствий, которыми морочит нас медицина. Во всяком случае самая боль не настолько остра и невыносима, чтобы человек с выдержкой должен был впасть в отчаяние и обезуметь. Меня по крайней мере мои припадки убедили в том, что им удастся — раньше мне это не давалось — полностью примирить меня со смертью и заставить с ней свыкнуться: ведь чем больше они будут меня терзать и мучить, тем меньше буду я бояться смерти. Я уже добился того, что держусь за жизнь лишь ради самой жизни, но мои припадки могут подточить и это желание; если в конце концов боли мои станут столь нестерпимыми, что окажутся не по моим силам, то, бог знает, не приведут ли они меня к противоположной, не менее ошибочной крайности, заставив меня полюбить смерть и призывать ее к себе!

Summum nec metuas diem, nec optes *.

Обоих этих желаний следует опасаться, но одно из них утолить гораздо легче, чем другое.

Я всегда считал неуместным предписание, повелевающее строго и непоколебимо сохранять при перенесении боли присутствие духа и держаться спокойно, презирая ее. Почему философия, которая должна заботиться о духе, а не о букве своих наставлений, занимается подобными чисто внешними вещами? Пусть она предоставит эту заботу лицедеям и тем учителям красноречия, для которых важнее всего наши жесты. Пусть она безбоязненно позволит тому, кому больно, вопить, лишь бы это не было трусостью его сердца, его нутра. Пусть эти вынужденные стоны будут для нее чем-то вроде вздохов, рыданий, вздрагиваний, бледности, которые природа сделала независимыми от нашей воли. Лишь бы не было поколеблено наше мужество, лишь бы не было отчаяния в наших речах! Пусть философия удовольствуется этим: что из того, что мы ломаем руки, если дух наш остается несломленным? Ведь философия наставляет нас ради нас же самих, а не ради показных целей; она учит нас не казаться, а быть. Пусть она заботится о руководстве нашим разумом, который взялась обучить; пусть во время припадка она поможет нашей душе сохранять свой обычный строй, поможет ей бороться и выносить боль, не падая постыдным образом перед нею ниц; пусть заботится она о том, чтобы душа наша была возбуждена и разгорячена борьбой, а не беспомощно раздавлена болью, чтобы она оставалась способной до известной степени к общению с другими. При таких крайних обстоятельствах, как

* Не бойся последнего дня и не желай его [7] (*лат.*).

припадок, жестоко предъявлять нам столь суровые требования. При хорошей игре можно строить плохую мину. Если человеку стон приносит облегчение, пусть он стонет; если у него есть потребность двигаться, пусть вертится и мечется, как ему угодно; если ему кажется, что боль как бы улетучивается (некоторые врачи утверждают, что это помогает беременным женщинам при родах) вместе с сильными воплями, или, если вопли как-то заглушают его боль, пусть кричит благим матом; незачем понуждать его к крикам, но разрешить ему это надо. Эпикур не только позволяет, но даже советует мудрецу кричать во время припадка: Pugiles etiam, cum feriunt in iactandis caestibus, ingemiscunt, quia profundenda voce omne corpus intenditur, venitque plaga vehementior *. С нас хватит забот о том, как бы справиться с болью, и нечего заботиться об этих излишних предписаниях. Все это я говорю в оправдание тех, кто обычно неистовствует во время припадков этой болезни; ибо что касается меня самого, то до сего дня я переносил их с довольно большой выдержкой, и не потому, что я силюсь соблюсти какие-то внешние приличия,— я ведь не придаю им никакого значения и предоставляю себе полную свободу; но либо мои боли не были такими невыносимыми, либо у меня больше внутренней твердости, чем у многих других. Я позволяю себе и стонать и жаловаться, когда меня допекают острые, колющие боли; но не теряю самообладания, как тот, кто

Eiulatu, questu, gemitu, fremitibus
Resonando multum flebiles voces refert **.

Я испытывал себя в самый разгар боли и всегда убеждался, что способен говорить, думать и отвечать не менее здраво, чем в другие минуты, хотя и не столь последовательно, а с перерывами, поскольку меня мучает и все во мне переворачивает боль. Когда окружающие считают меня совершенно сраженным и хотят меня щадить, я нередко испытываю свою выдержку и начинаю говорить о предметах, не имеющих никакого отношения к моему состоянию. Внезапным усилием воли я оказываюсь способным на все, но лишь очень ненадолго.

О, почему я не в силах уподобиться тому цицероновскому фантазеру, который, воображая, что ласкает распутницу, сумел в это время освободиться от камня, очутившегося у него на простыне [10]! Мои же камни делают меня каменно равнодушным ко всякому распутству!

В промежутках между приступами этих острейших болей, когда мой мочевой канал дает мне небольшую передышку, я сразу же оправляюсь и принимаю свой обычный вид, ибо мое душевное смятение вызвано чисто физической, телесной болью. Я, несомненно, потому так быстро прихожу

---

* И кулачные бойцы, нанося удары своими цестами, вскрикивают, так как, когда испускаешь крик, напрягается все тело, и удар выходит более сильный [8] (*лат.*).

** Он стонет, жалуется и вздыхает, дрожит и испускает горестные вопли [9] (*лат.*).

в нормальное состояние, что долгими размышлениями приучил себя к перенесению подобных страданий:

laborum
Nulla mihi nova nunc facies inopinaque surgit;
Omnia praecepi atque animo mecum ante peregi *.

Между тем я испытал слишком внезапный и ошеломляющий для новичка переход от совершенно безмятежного и ничем не омрачаемого состояния к самому болезненному и мучительному, какое только мог себе представить. Ведь кроме того, что это весьма опасная болезнь, ее начальная стадия протекала у меня гораздо острее и томительнее, чем обычно. Приступы повторяются у меня так часто, что вполне здоровым я себя уже никогда не чувствую. Но во всяком случае я до настоящей минуты сохраняю такое присутствие духа, что, если мне удастся удержать его надолго, я буду в гораздо лучшем положении, чем тысячи тех, кто страдает от лихорадки или от боли лишь потому, что сами себе часто внушают, будто их муки невыносимы.

Бывает ложное смирение, порождаемое высокомерием. Мы сознаемся, например, в незнании многих вещей и скромно готовы согласиться с тем, что творения природы обладают некоторыми непостижимыми для нас качествами и свойствами, причин и механизма которых мы не в состоянии познать; но, делая это честное и добросовестное признание, мы стремимся добиться того, чтобы нам поверили тогда, когда мы скажем, что вот такие-то вещи мы понимаем. Нам не нужно вовсе далеко ходить в поисках необычайных явлений и чудес: по-моему, среди вещей, наблюдаемых нами повседневно, встречаются настолько непонятные, что они не уступят никаким чудесам. Разве не чудо, что в капле семенной жидкости, из которой мы возникли, содержатся зачатки не только нашего телесного облика, но и склонностей и задатков наших родителей? Где в этой капле жидкости умещается такое бесчисленное количество явлений?

И каков стремительный и беспорядочный ход развития этих признаков сходства, в силу которого правнук будет походить на прадеда, племянник на дядю? В Риме были трое представителей рода Лепидов, родившихся не один за другим, а в разное время, у которых один и тот же глаз был прикрыт хрящом [12]. В Фивах существовал род, у всех представителей которого была родинка в виде наконечника копья, и если у кого такой родинки не было, он считался незаконнорожденным [13]. Аристотель сообщает [14], что у одного народа, где существовала общность жен, детей узнавали по сходству с отцами.

Возможно, что предрасположение к каменной болезни унаследовано мной от отца, так как он умер в ужасных мучениях от большого камня в мочевом пузыре. Это несчастье свалилось на него на 67-м году жизни,

* Нет для меня никакого нового или неожиданного вида страданий; все их предвосхитил и заранее сам с собою обдумал [11] (*лат.*).

а до этого у него не было никаких признаков, никаких предвестий ни со стороны почек, ни со стороны каких-либо других органов. Пока с ним не стряслась эта беда, он пользовался цветущим здоровьем и болел очень редко; да и заболев, он промучился целых семь лет. Я родился за двадцать пять с лишним лет до его заболевания, когда он был в расцвете сил, и был третьим по счету из его детей. Где же таилась в течение всего этого времени склонность к этой болезни? И как могло случиться, что, когда отец мой был еще так далек от этой беды, в той ничтожной капле жидкости, из которой он меня создал, уже содержалось такое роковое свойство? Как могло оно оставаться столь скрытым, что я стал ощущать его лишь сорок пять лет спустя, и проявилось оно до сих пор только у меня, одного из всех моих братьев и сестер, родившихся от одной матери? Кто возьмется разъяснить мне эту загадку, тому я поверю, какое бы количество чудес он ни пожелал мне растолковать, лишь бы только он не предложил мне — как это нередко делают — какое-нибудь объяснение настолько надуманное и замысловатое, что оно оказалось бы еще более странным и невероятным, чем само это явление.

Да простят мне врачи мою дерзость, но из той же роковой капли зародились и воспринятые мной ненависть и презрение к их науке; антипатия, которую я питаю к их искусству, несомненно мной унаследована. Мой отец прожил семьдесят четыре года, мой дед — шестьдесят девять, а мой прадед около восьмидесяти лет, не прибегая ни к каким медицинским средствам. Должен пояснить: все то, что не употребляется в повседневной жизни, ими считалось лекарством. Медицина складывается из примеров и из опыта, но таким же образом составилось и мое мнение о ней. Разве это не вполне достоверный и весьма убедительный опыт? Я не уверен, сумеют ли они наскрести в своих анналах троих таких же людей, как мой отец, дед и прадед, родившихся, выросших и умерших в одной и той же семье, под одним и тем же кровом, которые прожили бы столько же лет, подчиняясь их правилам. Они должны признать, что в этом вопросе если не научные соображения, то удача — на моей стороне, а для врачей удача важнее научных соображений. Пусть не ссылаются они в доказательство своей правоты на меня, каков я сейчас; пусть не грозят мне, находящемуся в когтях болезни; это был бы чистейший обман. Бесспорно, что приведенные мной примеры из истории моей семьи красноречиво говорят в мою пользу, и врачи становятся перед ними в тупик. В человеческих делах такое постоянство редко. Прадед мой родился в 1402 году, так что все это длится в нашей семье почти двести лет (недостает лишь восемнадцати). Нет поэтому ничего удивительного, что опыт начинает нам изменять. Пусть не ссылаются на боли, во власти которых я нахожусь: разве мало тех сорока семи лет, в течение которых я не знал болезней? Если даже я стою у своего жизненного предела, все же путь мой был достаточно долог.

Мои предки не любили медицину по какому-то непонятному и бессознательному чувству. Уже один вид лекарств внушал моему отцу отвращение. Мой дядя по отцовской линии, духовное лицо, господин де Гожак,

с детства отличался болезненностью, но умудрился все же при своем слабом здоровье прожить шестьдесят семь лет; и вот, когда однажды он заболел тяжелой и длительной лихорадкой, врачи велели объявить ему, что если он не прибегнет к медицинской помощи (они называют помощью то, что часто оказывается помехой), то неминуемо умрет. Как ни напуган был этот милейший человек объявленным ему суровым приговором, но ответил: «Значит, я уже могу считать себя мертвым». Однако, по милости божьей, предсказание врачей оказалось ложным, что выяснилось весьма скоро.

Из братьев моего отца — а их было трое — только самый младший, господин де Бюссаге, который был немного моложе других, признавал врачебное искусство, думаю, потому, что ему приходилось иметь дело и с другими искусствами,— ведь он состоял советником парламента. Но результат этого признания был весьма неутешительный, ибо, будучи на вид самым крепким по сложению из братьев, он умер значительно раньше их, за исключением лишь одного брата, господина де Сен-Мишеля.

Возможно, что это врожденное отвращение к медицине я воспринял от них, но если бы это была единственная причина моего отрицательного отношения к ней, я попытался бы побороть его. Ибо все такого рода склонности, возникающие в нас без участия разума, оказываются ошибочными: своего рода болезнь, с которой следует бороться. Не исключено, что у меня была эта склонность, но я еще углубил и упрочил ее своими размышлениями, которые привели меня к сложившемуся у меня мнению о ней. Я не выношу, когда отказываются принимать лекарство лишь на том основании, что вкус его неприятен; это не в моем духе, ибо я считаю, что ради здоровья стоит претерпеть всякие надрезы и прижигания, как бы мучительны они ни были.

Вместе с Эпикуром я полагаю, что надо избегать таких наслаждений, которые влекут за собой еще большие страдания, и принимать с готовностью страдания, несущие за собой несравненно большие наслаждения.

Здоровье — это драгоценность, и притом единственная, ради которой действительно сто́ит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной. Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знания и добродетели; достаточно противопоставить всем самым убедительным наставлениям, которыми философы пытаются нас уверить в обратном, образ, скажем, Платона: предположим, что он поражен падучей или апоплексией, и посоветуем ему призвать в данном случае на помощь свои благородные и возвышенные душевные качества. Всякий путь, ведущий к здоровью, я не решился бы назвать ни чересчур трудным, ни слишком дорого стоящим. Но у меня есть кой-какие другие соображения, побуждающие меня относиться весьма недоверчиво к товару, который нам хочет всучить медицина.

Я вовсе не утверждаю, что не существует никакого врачебного искусства. Не может быть никакого сомнения в том, что среди неисчислимого множества существующих в природе вещей есть и благотворные для на-

шего здоровья. Я прекрасно знаю, что есть некие целебные травы, которые увлажняют, и другие, которые сушат; что хрен обладает ветрогонным свойством, а листья кассии действуют как слабительное. Я знаю еще много разных других средств и не сомневаюсь в их действии, так же как и в том, что согреваюсь от вина или насыщаюсь бараниной: говорил же Солон [15], что, подобно другим лекарствам, еда является средством, излечивающим болезнь голода. Я не отрицаю пользы, извлекаемой нами из богатств природы, и не сомневаюсь ни в ее могуществе, ни в том, что мы имеем полную возможность применить ее средства для наших целей. Я вижу, как щуки и ласточки прекрасно используют их. Но я не верю в измышления нашего разума, нашей науки и искусства, в которых мы не знаем ни границ, ни меры и в угоду которым поступились природой и ее предписаниями.

Подобно тому как мы называем правосудием груду первых подвернувшихся нам под руку законов, применяемых часто весьма нелепо и несправедливо, и подобно тому как те, кто смеется над этим и изобличает эту глупость, отнюдь не стремятся изобличить само это благородное занятие, а лишь хотят указать на злоупотребление священным именем правосудия и на профанацию его,— точно так же и в медицине я глубоко чту ее славное название, цели, которые она себе ставит, и те столь полезные вещи, которые она сулит человечеству, но у меня нет ни почтения, ни доверия к тому, что слывет у нас медициной.

Прежде всего опыт повелевает мне опасаться медицины, ибо на основании всего того, что мне приходилось наблюдать, я не знаю ни одного разряда людей, который так рано заболевал бы и так поздно излечивался, как тот, что находится под врачебным присмотром. Само здоровье этих людей уродуется принудительным, предписываемым им режимом. Врачи не довольствуются тем, что прописывают нам средства лечения, но и делают здоровых людей больными для того, чтобы мы во всякое время не могли обходиться без них. Разве не видят они в неизменном и цветущем здоровье залога серьезной болезни в будущем? Я довольно часто болел и, не прибегая ни к какой врачебной помощи, убедился, что мои болезни легко переносимы (я испытал это при всякого рода болезнях) и быстротечны; я не омрачал их течения горечью врачебных предписаний. Своим здоровьем я пользовался свободно и невозбранно, не стесняя себя никакими правилами или наставлениями и руководствуясь только своими привычками и своими желаниями. Я могу болеть где бы то ни было, ибо во время болезни мне не нужно никаких других удобств, кроме тех, которыми я пользуюсь, когда здоров. Я не боюсь оставаться без врача, без аптекаря и всякой иной медицинской помощи, хотя других эти вещи пугают больше, чем сама болезнь. Увы, не могу сказать, чтобы сами врачи показывали нам, что их наука дает им хоть какое-нибудь заметное преимущество перед нами, что они благоденствуют не в пример нам или что они более долговечны.

Нет такого народа, который на протяжении веков не обходился бы без медицины, особенно в раннюю, то есть в самую лучшую и счастливую

пору своего существования. Но и в наше время одна десятая мира живет без медицины; многие народы, не зная ее, более здоровы и более долговечны по сравнению с ними; а если взять французов, то простой народ благополучнейшим образом обходится без нее. Медицина появилась у римлян шестьсот лет спустя после основания Рима, но после того как они испытали ее действие, она была изгнана из их города по почину Катона Цензора, показавшего пример, как легко можно жить без нее: он сам прожил восемьдесят пять лет, и жена его прожила до глубокой старости — не то чтобы без «лекарств», а без врачей [16]; ибо всякое благотворно действующее на нас средство может быть названо «лекарством». По словам Плутарха [17], он поддерживал здоровье своих близких, кормя их (насколько помню) зайчатиной, подобно тому как аркадцы, по утверждению Плиния [18], излечивали все болезни коровьим молоком. А ливийцы, по словам Геродота [19], как правило, пользовались на редкость хорошим здоровьем благодаря особому их обычаю, а именно: когда ребенку исполнялось четыре года, они прижигали ему жилки на темени и на висках, чтобы он в дальнейшем не страдал от каких-либо простуд и воспалений. А разве наши деревенские жители не употребляют при всякой болезни снадобье из самого крепкого вина, сваренного с шафраном и пряностями, которое действует с не меньшим успехом?

И говоря начистоту, разве все эти разнообразные и противоречивые предписания не клонятся в конечном счете к одной и той же цели — к тому, чтобы очистить желудок? И разве простой слуга не в состоянии применить эти средства?

Но я даже не уверен в полезности этого всеми рекомендуемого средства и не знаю, не нуждается ли наш организм в том, чтобы эти отбросы некоторое время оставались в нем, подобно тому как вино, чтобы не портиться, должно выделять осадок. Ведь нередко у здоровых людей по непонятной причине начинается рвота или понос, сопровождающиеся усиленным выведением из организма отбросов пищеварения, причем эта чистка вовсе не бывала необходимой с самого начала и не приносила никакой пользы в дальнейшем, а оказывалась, наоборот, вредной. Недавно я вычитал у великого Платона [20], что из трех видов движения, свойственных человеку, опаснейшими являются те, что связаны с облегчением кишечника, и потому ни один разумный человек не должен прибегать к лечению слабительными без крайней необходимости, ибо такими противодействующими средствами можно только вызвать и усилить боль. Болезни следует смягчать и излечивать разумным образом жизни; напряженная борьба между лекарством и болезнью всегда причиняет вред, так как эта схватка происходит в нашем организме, на лекарство же нельзя полагаться, ибо оно по природе своей враждебно нашему здоровью и применение его вызвано только теми нарушениями, которые совершаются в нас. Предоставим же организм самому себе: природа, помогающая блохам и кротам, помогает и тем людям, которые терпеливо вверяются ей подобно блохам и кротам. Мы можем до хрипоты понукать нашу болезнь, — это ни на йоту не подвинет нас вперед. Таков неумолимый ход вещей в

природе. Наши страхи, наше отчаяние не ускоряют, а лишь задерживают помощь природы. Болезнь должна иметь свои сроки, как и здоровье. Природа не нарушит установленного ею порядка ради одного человека и в ущерб другим, ибо тогда воцарится беспорядок. Будем следовать ей, ради бога, будем ей подчиняться. Она ведет тех, кто следует за ней, тех же, кто сопротивляется, она тащит силком вместе с их безумием и лекарствами. Прочистите лучше мозги: это будет полезнее, чем прочистить желудок.

Одного спартанца спросили, каким образом он прожил здоровым столь долгую жизнь. «Не прибегая к медицине»,— ответил он [21]. А император Адриан, умирая, неустанно повторял, что обилие лечивших его врачей погубило его [22].

Некий незадачливый борец заделался врачом. «Вот здорово! — сказал ему Диоген.— Ты прав; теперь ты будешь загонять в гроб тех, кто раньше клал тебя на обе лопатки» [23].

Счастье врачей в том, что, по выражению Никокла [24], их удачи у всех на виду, а ошибки скрыты под землей, но, кроме того, они обычно искусно используют все, что только можно; если в нас есть крепкая и здоровая основа от природы или по воле случая, или еще по какой-нибудь неизвестной причине (а таких причин несметное множество), то они вменяют это в заслугу именно себе. Если пациенту, находящемуся под присмотром врача, повезет в смысле излечения какого-нибудь недуга, врач обязательно отнесет это за счет медицины. Случайности, которые помогли излечиться мне и тысяче других людей, не прибегающих к помощи врачей, они обязательно припишут себе и будут похваляться ими перед своими больными; но, когда дело идет о плохом исходе болезни, они полностью отрицают свою вину и сваливают ее целиком на пациентов, ссылаясь на такие пустяковые причины, каких всегда можно найти великое множество: такой-то заболел из-за того, что оголил руку, такого-то погубил стук колес —

rhedarum transitus arcto
Vicorum inflexu * —

в таком-то случае всему виной открытое окно, в другом — что больной лежал на левом боку, в третьем — что больной подумал о чем-то тягостном. Словом, какого-нибудь слова, сновидения или мельком брошенного взгляда вполне достаточно, чтобы они полностью сняли с себя всякую вину. В иных случаях врачи, если им вздумается, пользуются даже ухудшением в состоянии больного, действуя способами, в которых у них никогда не может быть недостатка: если болезнь от применения прописанного ими лечения обостряется, они уверяют, что без их лекарств было бы еще хуже. Выходит, что тот, чью простуду они обратили в ежедневную лихорадку, без их помощи страдал бы непрерывными приступами ее. Они не боятся плохо делать свое дело, так как и плачевный исход умеют об-

* Проезд повозок по узким поворотам улиц [25] (*лат.*).

ратить себе на пользу. У врачей несомненно есть основания требовать от больного веры в прописываемые ими средства, ибо надо действительно быть очень простодушным и податливым, чтобы довериться столь сомнительным фантазиям.

Платон вполне справедливо говорил [26], что врачам позволительно лгать сколько угодно, ибо наше выздоровление зависит от их щедрых и обманчивых посулов.

Эзоп, писатель редкого дарования, всю глубину мастерства которого способны оценить лишь немногие, бесподобно рисует нам, как деспотически врачи властвуют над своими несчастными пациентами, подавленными болезнью и страхом. Так, например, он рассказывает [27]: однажды врач спросил больного, как подействовало на него лекарство, которое он ему прописал. «Я сильно потел от него»,— ответил больной. «Это очень хорошо»,— сказал по этому поводу врач. Когда некоторое время спустя врач снова спросил больного о том же, больной заявил: «У меня был сильнейший озноб, меня всего трясло».— «Это хорошо»,— промолвил врач. Когда же врач в третий раз спросил больного, как он себя чувствует, последний ответил: «Я чувствую, что весь распух, как от водянки».— «Вот и прекрасно»,— заявил врач. Вслед за тем к больному зашел проведать его один из близких и осведомился, как он себя чувствует. «Так хорошо, друг мой,— сказал больной,— что просто помираю от этого».

В Египте существовал более справедливый закон, по которому врач брался за лечение больного с условием, что в течение первых трех дней болезни сам больной отвечал за все, что могло с ним приключиться, по прошествии же трех дней за все отвечал уже врач; и в самом деле, какой иной смысл имело то, что покровитель врачей, Эскулап, был поражен молнией за то, что воскресил к жизни Ипполита?

Nam pater omnipotens, aliquem indignatus ab umbris
Mortalem infernis ad lumina surgere vitae,
Ipse repertorem medicinae talis et artis
Fulmine Phoebigenam stygias detrusit ad undas *;

а его преемники, отправляющие столько душ на тот свет, освобождены от ответственности!

Какой-то врач выхвалял перед Никоклом огромную важность врачебного искусства: «Это бесспорно,— ответил Никокл,— ведь оно может безнаказанно губить столько людей» [29].

Если бы я был на месте врачей, я окружил бы медицину священным и таинственным ореолом: врачи в свое время положили хорошее начало этому делу, но не довели его до конца. Врачи умно поступили, объявив богов и демонов родоначальниками медицины, создав особый язык и особую письменность, невзирая на философское наставление, гласящее,

* Но всемогущий отец [Юпитер], негодуя на то, что какой-то смертный мог вернуться из обители подземных теней к сиянию жизни, сам поразил молнией изобретателя подобного врачебного искусства и низринул Фебова сына в воды Стикса [28] (*лат.*).

что безумно давать человеку благие советы на непонятном ему наречии — Ut si quis medicus imperet ut sumat:

Terrigenam, herbigradam, domiportam, sanguine cassam *.

Под стать их искусству было правило — его придерживаются все пустые и мнимые науки, толкующие о сверхъестественном,— которое требовало, чтобы больной заранее верил им и был убежден в правильности их действий. Они твердо держатся этого правила и считают, что самый невежественный и несмышленый лекарь более полезен больному, который верит в него, чем самый опытный, но незнакомый больному врач. Даже выбор большинства их лекарств загадочен и таинствен; вроде, например, левой ноги черепахи, мочи ящерицы, испражнений слона, печени крота, крови, взятой из-под правого крыла белого голубя, а для нас, злополучных почечных больных (до того глубоко их презрение к нашей болезни!), истолченный в порошок крысиный помет; можно перечислить еще много подобных нелепостей, которые скорее смахивают на колдовские чары, чем на серьезную науку. Я не стану распространяться о прописывании несчетного количества пилюль, о выделении особых дней и праздников в году для лечебных целей, об установленных часах для сбора целебных трав и, наконец, об их противных и высокомерных манерах в обхождении с больным, над чем издевался даже Плиний. Но я хочу сказать, что они просчитались, положив врачебному искусству столь блестящее начало и не присовокупив правила, в силу которого их совещания и консультации должны быть окружены ореолом святости и таинственности; никто из простых смертных не должен был бы иметь к ним доступа, так же как и к таинственным обрядам, посвященным Эскулапу [31]. Действительно, ввиду отсутствия такого правила их колебания, несостоятельность их доводов и предсказаний, резкость их споров между собой, проникнутых ненавистью и завистью друг к другу,— у всех на виду, и надо быть слепым, чтобы не понимать, как рискованно очутиться у них в лапах. Видел ли кто-нибудь врача, который согласился бы с назначением своего коллеги, ничего не вычеркнув или не прибавив? Они предают этим свою науку и выдают себя с головой, показывая, что больше заботятся о своей репутации и, следовательно, о своей выгоде, чем об интересах больного. Наиболее мудрым из сословия врачей был тот из них, кто в давние времена предписал, чтобы больного лечил только один врач, ибо если он не преуспеет в этом, то ущерб для врачебного искусства будет невелик, так как вина падет всего лишь на одного врача, и наоборот, если ему посчастливится, то это будет к вящей славе медицины; если же врачей, лечащих больного, много, то они все роняют свою профессию, поскольку большей частью их постигают неудачи. Врачи должны были бы не увеличивать и без того огромный разброд мнений, существующий у виднейших античных представителей медицинской науки, ибо об этой разного-

* Как если бы какой-нибудь врач предписал больному принять «земнородную, травоходную, домоносную, кровочуждую» [30] (*лат.*).

лосице знают только книжники, и не выставлять напоказ перед народом своих нескончаемых споров и сомнений.

Приведем образчик старинных споров, которые ведутся в медицинской науке. Гиерофил считает исконной причиной болезней соки; Эрасистрат — артериальную кровь; Асклепиад — невидимые атомы, проникающие в поры нашего организма; Алкмеон усматривает причину их в избытке или, наоборот, в истощении физических сил; Диоклес — в неодинаковом значении различных элементов нашего организма и в качестве воздуха, которым мы дышим; Стратон — в нашей пище, которая слишком обильна, недоброкачественна и плохо переваривается; наконец, Гиппократ считает источником болезней населяющих тело духов. Один из доброжелателей медицины, которого врачи знают лучше, чем я [32], воскликнул по этому поводу, что медицина самая важная из наших наук, поскольку она печется о нашем здоровье и долголетии, но, к несчастью, она же и самая недостоверная, ибо в ней множество невыясненных вопросов и все постоянно меняется. Не будет большой беды, если мы ошибемся, измеряя высоту солнца над горизонтом или напутав в дробях при каком-нибудь астрономическом подсчете; но в медицине, где речь идет о нашей жизни, неразумно отдаваться на волю борющихся между собой стихий.

До Пелопоннесской войны медицина находилась в зачаточном состоянии [33]. Гиппократ создал ей популярность. Но все установленное Гиппократом было отвергнуто Хрисиппом, а вслед за тем внук Аристотеля, Эрасистрат, опроверг все, что писал Хрисипп. На смену им пришли эмпирики, которые в отличие от древнейших врачей стали на совершенно новый путь в применении врачебного искусства. Когда популярность эмпириков стала сходить на нет, Гиерофил ввел новый вид этого искусства, который в свою очередь раскритиковал и уничтожил Асклепиад. Вслед за тем приобрели силу медицинские воззрения Фемисона, после него — Мусы, а еще позднее — Вексия Валента, врача, известного своими услугами Мессалине [34]. Во времена Нерона законодателем в области медицины сделался Фессал, развенчавший и отменивший все, что принято было в медицине до него. Учение Фессала было опровергнуто Крином из Марселя, который вновь установил, что все медицинские предписания должны сообразоваться с движением светил, что следует есть, пить и спать в часы, угодные Луне и Меркурию. Вслед за тем очередным авторитетом в медицине стал Харин, врач из того же города Марселя. Последний отрицал не только всю старинную медицину, но и выступил против принятых на протяжении многих веков теплых ванн. Он предписывал людям купаться в холодной воде, даже зимой, и назначал им окунаться в источники при той температуре воды, которая была им свойственна. Вплоть до времен Плиния ни один римлянин еще не отваживался заниматься медицинской практикой; этим делом занимались только иностранцы и греки, подобно тому как у нас, французов, ею занимаются «латинисты», ибо, как утверждает один выдающийся врач, мы не доверям лечению, которое нам понятно, так же как и лекарственным травам, которые мы сами собираем. Если народы отдаленных стран, из которых мы ввозили гваяковое дерево,

сальсапарель и хинное дерево, имеют лечебные средства, то мы полагаем, что они намного превосходят капусту или петрушку, так как они дороги, редки и необычны,— ибо кто посмеет отнестись с недоверием к вещам, которые прибывают из-за моря, подвергаясь опасностям столь далекого путешествия?

Все перевороты, о которых я говорил, произошли в медицине в давние времена, но с тех пор в ней произошло еще бесчисленное множество других, большей частью очень решительных и всеобъемлющих. Они продолжаются и по сей день; примером могут служить реформы, произведенные в наше время Парацельсом, Фьораванти и Аржантье[35]. Эти врачи дают больным не только иные предписания, но, как мне сообщали, совершенно меняют самую основу и принципы медицины, обвиняя в невежестве и обмане тех, кто занимался ею до них. Предоставляю вам самим решить, как должен себя чувствовать при этом несчастный пациент!

Если бы в тех случаях, когда врачи ошибаются, мы могли быть уверены, что их назначения, не помогая нам, по крайней мере не приносят нам вреда, нас утешала бы мысль, что, стремясь к лучшему, мы по крайней мере ничем не рискуем.

В одной из своих басен Эзоп рассказывает[36]: некий хозяин, купивший раба-мавра, решил, что его чернота случайного происхождения и вызвана дурным обращением прежнего хозяина. Поэтому он принялся усиленно лечить его непрерывным отмыванием и различными снадобьями, но добился только того, что мавр, нисколько не побелев, утратил свое первоначальное здоровье.

А сколько раз случается нам быть свидетелями того, как врачи обвиняют друг друга в смерти их пациентов! Мне припоминается эпидемия очень опасной болезни со смертельным исходом, которая несколько лет тому назад свирепствовала в городах моей области; когда эта буря унесшая множество людей, улеглась, один из самых прославленных наших врачей выпустил брошюру[37], касающуюся этой болезни. В ней он пересмотрел свое отношение к кровопусканию и пришел к выводу, что применение его при этой болезни было ошибочным; он признает, что это была одна из главных причин гибели множества людей. Более того, врачи считают, что нет такого лекарства, которое не было бы в какой-то мере вредным для организма. Но если даже помогающие нам лекарства причиняют известный вред, то что сказать о тех средствах, которые нам прописываются совершенно ошибочно?

Я же считаю, что не следует заставлять глотать лекарство тех, кому оно противно, ибо в трудную минуту болезни подобное усилие опасно и вредно; я полагаю, что это слишком большое испытание для больного в момент, когда он особенно нуждается в покое. Кроме того, расценивая обстоятельства, в которых врачи обычно усматривают причину наших болезней, я нахожу их предположения весьма легковесными и неубедительными,— из чего я делаю вывод, что небольшая ошибка в прописанном ими лечении может причинить нам серьезный вред.

Но если ошибка врача — вещь опасная, то наше дело совсем дрянь,

ибо врачу нелегко не впадать постоянно в ошибки. Врач должен знать очень много о самом больном, учитывать множество обстоятельств и соображений, чтобы правильно назначить лечение. Он должен знать физический склад больного, его темперамент и нрав, его склонности, его действия, даже его мысли и представления. Врач должен учитывать внешние обстоятельства, характер местности, состояние атмосферы и погоды, местоположение светил и их влияние; он должен знать причины болезни, ее симптомы, каково было начало заболевания, как протекали критические дни болезни; в отношении лекарства он должен знать его вес, силу, происхождение, вид, способ приготовления, срок действия, и все эти элементы он должен уметь дозировать и сочетать между собой так, чтобы получилось соответствие всех частей. Как бы ни была мала его ошибка в этом деле, но если только из этого множества винтиков хотя бы один неисправен, этого достаточно, чтобы погубить нас. Одному богу известно, как трудно врачу разобраться в большинстве этих вещей! Взять хотя бы вопрос о симптомах: как ему установить главный симптом болезни, раз у каждой из них неисчислимое множество симптомов! А сколько споров ведется между врачами по поводу истолкования анализа мочи, сколько сомнений высказывается на этот счет! В противном случае были бы непонятны постоянно происходящие у нас на глазах пререкания между врачами о причинах болезней. Чем могли бы мы иначе извинить постоянные ошибки врачей, принимающих петуха за сокола? Как ни легки были перенесенные мной в жизни болезни, я не помню случая, чтобы трое врачей были согласны между собой относительно них. Я уделяю больше внимания примерам, в какой-то мере касающимся меня. В недавнее время в Париже по решению врачей оперировали одного дворянина, у которого не оказалось никакого камня в пузыре; равным образом многие врачи, с которыми советовался один мой друг, епископ, настоятельно рекомендовали ему оперироваться, и я сам, полагаясь на врачей, со своей стороны убеждал его в этом, но когда он скончался, то при вскрытии обнаружилось, что у него были только больные почки. Врачам менее простительно ошибаться относительно этой болезни, ибо она до известной степени распознается на ощупь. Именно по этой причине хирургия представляется мне гораздо более достоверной областью медицины: она по крайней мере видит, с чем имеет дело; несравненно меньше простора для гипотез и догадок там, где у врачей нет speculum matricis *, чтобы заглянуть в наш мозг, в наши легкие, в нашу печень.

Нельзя не относиться с недоверием к результатам, ожидаемым от того или иного лекарства: нередко лекарство должно оказать свое действие сразу на несколько угнетающих нас болезней, которые имеют какую-то необходимую связь между собой, но требуют различного лечения, например, когда налицо жар в печени и холод в желудке. Врачи в таких случаях уверяют нас, что одни из составных частей их лекарства будут оказывать согревающее действие на желудок, другие же, наоборот, охлаждать

---

* Зеркала для исследования матки [38] (*лат.*).

печень, одни снадобья должны следовать прямо в почки или даже до мочевого пузыря, не оказывая своего действия нигде в другом месте, но сохраняя в целости свою силу на всем протяжении этого длинного и полного помех пути, пока они достигнут того органа, которому они в силу своих таинственных свойств призваны помочь; такое-то снадобие увлажняет легкие, другое — сушит мозг. Разве не фантазия ожидать, что, когда все эти средства будут смешаны в микстуру, каждое из них направится выполнять свои различные функции безо всякой путаницы и недоразумений? Я бы очень опасался, что они изменят или потеряют свои свойства и не окажут ожидаемого действия. Можно ли себе представить, чтобы при таком соединении в одну жидкость свойства отдельных составных частей не вступали в борьбу и не уничтожали друг друга? Уж не должны ли мы предположить, что правильное действие лекарства в конце концов зависит от некоего внешнего распорядителя, промыслу и милосердию коего вручаем мы нашу жизнь [39]?

Подобно тому как у нас есть мастера и по шитью курток и по шитью штанов, причем заказчики только выигрывают от того, что каждый такой мастер занимается только своим делом и обучается ему в более короткий срок, чем портной, умеющий шить все решительно; и подобно тому как богатые люди, желая особенно хорошо питаться, заводят поваров, особо искусных в изготовлении овощных блюд или жаркого, ибо обычный повар не сумел бы проявить подлинной утонченности в столь разнообразных областях,— точно так же надлежит нам поступать и при нашем лечении. Правы были египтяне, заменившие врача, лечившего все болезни, врачами по разным специальностям: для каждой болезни, для каждой части тела существовали свои специалисты, и лечение от этой специализации только выигрывало, ибо было более продуманным, более изощренным [40].

Наши врачи не хотят считаться с тем, что тот, кто помогает всем, на деле не помогает никому, что они не в состоянии справляться со всем организмом в целом. Так, опасаясь прервать приступ дизентерии, чтобы не вызвать лихорадку, врачи погубили мне такого друга, который стоил всех их, вместе взятых [41]. При лечении болезней они пользуются своими гаданиями на кофейной гуще, и, чтобы не излечить насморк в ущерб желудку, они своими смешанными, но не вяжущимися друг с другом лекарствами причиняют вред желудку и усиливают насморк.

Что касается разноречивости медицинских предписаний и их шаткости, то эти качества во врачебном искусстве проявляются еще сильней, чем в какой бы то ни было другой науке. Так, врачи говорят, что всякого рода слабительные полезны для людей, страдающих почечными коликами, так как, расширяя выводные пути, они проталкивают вперед те вещества, из которых образуются песок и камни, и несут вниз то, что начинает затвердевать и скопляться в почках. Вместе с теми они же утверждают, что всякого рода слабительные опасны для тех же больных, так как, расширяя выводные пути, они проталкивают в почки вещества, образующие песок, каковые, пользуясь этим, начинают усиленно осаждаться, так что в результате почки не в состоянии полностью освободиться от всего в них,

осевшего. Мало того, врачи говорят, что если случайно при этом выведении из организма встретится какое-нибудь тело бо́льших размеров, чем то, которое способно пройти по всем этим узким путям, чтобы выйти наружу, то это тело, приведенное в движение слабительным и оказавшись в этих узких каналах, закупоривает их, неминуемо вызывая очень мучительную смерть.

Подобная же сомнительность характерна и для указаний, которые они дают нам относительно режима. Полезно, говорят они, часто мочиться. ибо мы знаем по опыту, что в противном случае, задерживая в организме разложившиеся вещества, мы перегружаем его отбросами и элементами брожения, которые содействуют образованию камней в мочевом пузыре. Вредно, говорят они же, часто мочиться, потому что плотные осадки могут быть выведены вместе с мочой только при большом напоре, подобно тому как бурный поток чище сметает все со своего пути, нежели ручеек, медленно и тихо текущий. Они рекомендуют нам часто иметь дело с женщинами, ибо это открывает выводные пути и проталкивает песок и его осадок. Однако они же уверяют, что это вредно, так как возбуждает почки, утомляет и ослабляет их. Хорошо, говорят они, купаться в теплых источниках, так как это размягчает те места, где застаивается песок и скопляются камни, но это же и вредно,— заявляют они,— потому что внешнее тепло содействует затвердению и окаменению скопившихся в почках веществ. Лицам, лечащимся на водах, говорят врачи, полезно мало есть вечером, чтобы вода, которую им предстоит выпить утром, оказала лучшее действие на пустой и неперегруженный желудок, но они же утверждают, что лучше мало есть за обедом, чтобы не пресекать незакончившегося еще действия выпитой воды и не обременять желудок сразу же после этой работы, перенося переваривание пищи на ночь, когда это совершается лучше, чем днем, ибо днем тело и душа заняты кипучей деятельностью [42].

Такие коленца и фокусы выкидывают врачи, колеблясь во всех своих суждениях, и все это за счет нашего здоровья.

Пусть поэтому не осуждают тех, кто при виде хаоса, царящего в медицине, предпочитает послушно следовать голосу природы и собственных влечений, сообразуясь с участью большинства людей.

Я имел возможность познакомиться во время своих путешествий почти со всеми прославленными лечебными источниками Европы и в течение последних лет стал прибегать к водолечению [43], ибо считаю, что ванны оказывают целебное действие, и мы, я думаю, немало теряем от того, что перестаем пользоваться ими, как это практиковалось в старину почти у всех народов. Добавлю, что у многих и по сей день сохранился обычай ежедневно принимать ванны. Я не могу себе представить, чтобы для нас было полезно, когда поры наши закупорены и на теле образуется корка. Что же касается питья минеральной воды, то, к счастью, оно, во-первых, мне по вкусу, а во-вторых, это простой и естественный напиток, который если и не полезен, то во всяком случае не вреден, доказательством чего служит то, что минеральную воду пьет множество людей самого разного

физического склада. Мне не приходилось видеть каких-либо чудодейственных и разительных последствий от водолечения, и, на основании более тщательных расспросов, чем обычно, я убедился в несостоятельности и необоснованности россказней на этот счет; распространяемый в лечебных местах и обычно принимаемых на веру (ибо люди легко обманываются, когда хотят быть обманутыми) [44]. Но во всяком случае я не видел лиц, которым водолечение повредило бы. Нельзя отрицать — если только не быть предубежденно настроенным,— что водолечение возбуждает аппетит, содействует пищеварению и придает нам известную бодрость, если только лечащийся не приезжает на воды в слишком плохом состоянии, чего я не рекомендую делать. Водолечение не в состоянии помочь при очень тяжелом недуге, но оно может доставить облегчение при небольших нарушениях или устранить угрозу какого-нибудь неблагоприятного отклонения. Кто не приезжает на воды достаточно бодро настроенным, с желанием наслаждаться обществом людей, здесь находящихся, участвовать в прогулках, к которым весьма располагает красота мест, где обычно находятся целебные источники, тот несомненно сильно понижает полезное действие водолечения. По этой причине я до настоящего времени выбирал места с наиболее красивыми окрестностями, с наибольшими удобствами по части жилья, питания и общества; к числу их принадлежат во Франции — баньерские воды, на границе Германии и Лотарингии — пломбьерские воды, в Швейцарии — баденские источники, в Тоскане — луккские источники, в особенности так называемые «делла Вилла», которыми я пользовался чаще всего и в разное время.

Каждый народ имеет свои особые мнения насчет пользования водами, устанавливает свои законы и правила лечения ими, отличные от принятых у других народов, и все же, на мой взгляд, результаты водолечения всюду примерно одни и те же. В Германии, например, не принято пить минеральную воду, но ванны из нее принимают от всех болезней и от зари до зари плещутся в воде. В Италии девять дней пьют минеральную воду, но купаются в ней не менее месяца; при этом к питьевой минеральной воде обычно прибавляют еще другие прописанные лекарства, чтобы усилить их действие. В Италии после питья минеральной воды рекомендуют гулять для того, чтобы она лучше усвоилась, а в других местах, наоборот, предписывают лежать в постели, пока больные не выделят соответствующего количества жидкости причем им все время прикладывают грелки к желудку и к ногам. Немцы, сидя в ванне при водолечении, ставят себе кровососные банки и делают надрезы на коже для кровопускания, между тем как у итальянцев принято обливаться из душа, то есть проведенной по узким трубочкам теплой минеральной водой в течение часа по утрам и еще раз под вечер, в течение целого месяца, причем поливается либо голова, либо желудок, либо другая часть тела, в зависимости от того, что у них болит. Таких особенностей при водолечении несчетное множество в каждой стране; иначе говоря, оно всюду проводится на особый лад. Вот как даже в этом способе лечения — единственном, к которому я прибегаю,— царит та же разноголосица и неразбериха

что и в других областях медицины, хотя он и наименее искусственен.

Поэты высказывают то же самое мнение о медицине, облекая его в более возвышенную и изящную форму, доказательством чего могут служить следующие две эпиграммы.

Вот одна из них:

Alcon hesterno signum Iovis attigit. Ille,
Quamvis marmoreus, vim patitur medici.
Ecce hodie, iussus transferri ex aede vetusta
Effertur, quamvis sit deus atque lapis *.

А вот другая:

Lotus nobiscum est hilaris, coenavit et idem,
Inventus mane est mortuus Andragoras.
Tam subitae mortis causam, Faustine, requiris?
In somnis medicum viderat Hermocratem **.

По этому поводу я хочу рассказать два случая.

Барон де Копен из Шалосса [47] и я имеем совместное право патроната над обширным владением у подножья наших гор, которое носит название Лаонтан. О жителях этого захолустья можно сказать то же, что и о жителях долины Ангрунь: они живут своей особой жизнью, у них свои обычаи, нравы, манера одеваться; их общественный уклад регулируется некоторыми особыми установлениями и порядками, унаследованными ими от отцов, и они подчиняются этим порядкам из уважения к их древности. Эта небольшая область с давних времен находилась в таком благоприятном положении, что ни один соседний судья не вмешивался в ее дела, ни один адвокат не призывался для совета, никогда не приглашали ни одного чужестранца для улаживания споров и никогда не видели в этой местности ни одного нищего. Не желая нарушать своего покоя, они избегали связей и сношений с остальным миром; но все это продолжалось, по их словам, до тех пор, пока — еще на памяти их отцов — один из обитателей этой области, душа которого была уязвлена благородным честолюбием, не решил для прославления своего имени вывести одного из своих детей в люди и дать ему образование. Обучив его в каком-то соседнем городке грамоте, он сделал из него в конце концов недурного сельского нотариуса. Этот нотариус, возвысившись, проникся презрением к старинным обычаям своей местности и стал внушать своим односельчанам преклонение перед соседними краями. Одному из своих земляков, которого околпачили односельчане, он посоветовал искать правосудия у

* Алкон [имя врача] прикоснулся вчера к статуе Юпитера, и, несмотря на мрамор, Юпитер ощутил на себе власть врача. И вот сегодня его переносят из древнего храма и, хотя он бог и из камня, похоронят [45] (*лат.*).

** Вчера Андрагор весело купался и ужинал с нами а сегодня утром его нашли мертвым. Ты спрашиваешь, Фаустин, какова причина столь внезапной смерти? Он увидел во сне врача Гермократа [46] (*лат.*).

судей из соседней области, затем подал подобный же совет другому, пока не совратил всех. За этой порчей нравов, рассказывают они, вскоре последовала другая, еще более роковая по своим последствиям беда, приключившаяся из-за некоего врача, который вздумал жениться на одной из их девушек и поселиться среди них. Врач этот стал прежде всего просвещать их насчет названий разных лихорадок, катаров и нарывов, насчет местоположения сердца, печени и кишок — до того времени они имели о подобных вещах весьма смутное представление — и вместо чеснока, с помощью которого они привыкли излечивать все болезни, даже самые серьезные и опасные, он приучил их принимать от кашля или озноба иноземные микстуры, сделав предметом торговли не только их здоровье, но и самую смерть. Они уверяют, будто лишь с этого времени стали замечать, что от вечерней сырости в голове у них появляется тяжесть, что, разгорячившись, пить воду вредно или что осенние ветры чаще вызывают простуду, чем весенние; они клянутся, что с того времени, как стали лечиться, у них открылась уйма дотоле неизвестных болезней, и они замечают, что их крепкое здоровье стало сдавать и век их стал вдвое короче. Таков первый случай, о котором я хотел рассказать.

Другой случай относится к тому периоду моей жизни, когда моя болезнь почек еще не сказалась. Прослышав, какое чудесное действие оказывает на многих козлиная кровь, которую прославляют как манну небесную, ниспосланную нам в недавние времена для сохранения человеческой жизни, и узнав, что компетентные люди говорят о ней как о замечательном лекарстве, действующем безошибочно, я, который всегда допускал, что на меня могут свалиться те же болезни, что и на всякого другого человека, почел за благо, находясь в полном здравии, обзавестись подобным чудом и приказал, чтобы мне вырастили козла по всем правилам этого лечения. Дело в том, что козленка надо отлучить от матери в самые знойные летние месяцы и кормить его только целебными травами и поить одним только белым вином. Я случайно вернулся домой как раз в тот день, когда его зарезали; мне пришли доложить, что мой повар нащупал у него в брюхе среди остатков пищи два или три плотных образования, ударявшихся друг о друга. Меня это заинтересовало, я решил осмотреть всю требуху и велел при себе вскрыть козлиную тушу. Когда это было сделано, то обнаружились три объемистых тела, легкие, как губки, по виду как будто полые, снаружи плотные и твердые, окрашенные в различные темные цвета; одно из них было совершенно круглое, размером с кегельный шар, остальные два были несколько меньше, еще не совсем круглые, но близкие к этому. Опросив сведущих лиц, которым приходится часто вскрывать этих животных, я узнал, что явление это было редкое и необычное. Возможно, что то были камни сродни нашим, и если это так, то мало надежды, чтобы человек, страдающий камнями, излечился кровью животного, которое само должно было погибнуть от этой болезни. Ибо нельзя согласиться с тем, что подобная зараза не проникает в кровь и не изменяет ее обычного состава. Скорее есть основания полагать, что все, образующееся в теле, возникает при совместном

участии всех его частей; действие это совокупное, хотя та или иная часть может принимать большее или меньшее участие, в зависимости от различных обстоятельств. Поэтому очень похоже на то, что все органы этого козла обладали каким-то предрасположением к образованию камней. Я заинтересовался этим опытом не из страха перед ожидающим меня будущим и не столько из-за себя самого, сколько из-за принятого в моем доме обычая — впрочем, не только у меня в доме, но и во многих других,— в силу которого женщины собирают всякого рода лекарства для оказания помощи народу; они пользуются при этом одним и тем же средством против сотни болезней, средством, не испытанным на них самих и тем не менее при благоприятном стечении обстоятельств хорошо действующим на других.

Впрочем, я уважаю врачей не в силу библейского предписания, повелевающего чтить врача по мере надобности в нем [48], ибо этому завету противостоит изречение другого пророка, порицающее царя Асу за то, что он прибегнул к помощи врача [49]; я могу питать к ним личное уважение, так как мне приходилось встречать среди них многих почтенных людей, заслуживающих дружеского расположения. Я имею зуб не против них, а против их науки, и не особенно корю их за то, что они пользуются нашей глупостью, ибо так поступают все на свете. Многие профессии, и менее важные и более достойные, основаны исключительно на злоупотреблении доверием. Когда я заболеваю, я приглашаю врачей, если они есть под рукой, и прошу их лечить меня, и плачу им за это, как другие люди. Я предоставляю им предписывать мне тепло одеваться, если мне это более по душе, чем обратное; я предоставляю им назначать мне по их усмотрению бульон из порея или латука и пить белое вино или красное; я даю им полную свободу во всем, что не задевает моих желаний и привычек.

Я вполне согласен, что неприятные свойства лекарств — горечь и необычный вкус — вытекают из самой их сущности и врачи тут ни при чем. Ликург предписывал больным спартанцам пить вино. Почему? Потому что в здоровом состоянии они его терпеть не могли. Точно так же некий дворянин, сосед мой, лечится вином, считая его вернейшим средством против лихорадки, но в нормальном состоянии не выносит его вкуса.

А сколько мы встречаем врачей, которые разделяют мое отношение к лекарствам, врачей, которые пренебрегают лекарствами, когда дело идет о них самих, и которые придерживаются свободного режима, совершенно обратного тому, какой они предписывают другим! Но разве это не значит открыто злоупотреблять нашей доверчивостью? Ведь их собственная жизнь и здоровье им не менее дороги, чем нам наши, и потому они не стали бы действовать вопреки своей науке, если бы сами не были убеждены в полнейшей ее несостоятельности.

Страх смерти и страх перед страданием, боязнь боли, неистовое и неодолимое желание выздороветь во что бы то ни стало — вот что полностью ослепляет нас; только явная трусость побуждает нас к доверчивости столь кроткой и податливой.

Однако страдания большинства людей значительно сильнее их веры в лекарства. Я часто слышу, как они жалуются и говорят то же, что я сейчас, но в конце концов они не выдерживают и заявляют: «Что мне остается делать?» Точно нетерпение — более верное средство, чем терпение!

Из числа поддавшихся этой жалкой слабости найдется ли хоть один, кто не согласился бы на любой обман, кто не доверился бы первому попавшемуся шарлатану, который бесстыдно посулил бы излечить его?

Вавилоняне выносили своих больных на площадь, и врачом был весь народ, всякий прохожий, который из сострадания и учтивости осведомлялся об их состоянии и давал им, смотря по своему опыту, тот или иной полезный совет [50]. Мы поступаем примерно так же. Нет такой ничтожной бабенки, знахарством и наговорами которой кто-нибудь ни воспользовался бы; что до меня, то, если бы это оказалось нужным, я предпочел бы такое лекарство любому другому, потому что оно по крайней мере безвредно.

Гомер и Платон говорили о египтянах [51], что все они врачи, и то же самое следовало бы сказать о всех народах: нет человека, который не знал бы какого-нибудь верного средства и который не рискнул бы испытать его на своем ближнем, если бы тот захотел ему поверить.

Недавно, когда я находился в одном обществе, кто-то из моих близких сообщил о неких новых пилюлях, состоящих из ста с лишним составных частей. Известие это было встречено с необычайным ликованием и надеждой: в самом деле, какая скала устоит против такой мощной батареи? Однако от почечных больных, которые испытали на себе эти пилюли, я узнал, что ни малейшая песчинка не поддалась их воздействию.

Я не могу поставить точки на моем рассуждении, пока не выскажусь по поводу уверения врачей, ссылающихся в качестве гарантии действенности прописываемых ими лекарств на имеющийся у них в этом отношении опыт. Большинство лечебных свойств — более двух третей их, как мне кажется, — зависит от неизвестных нам качеств целебных трав, от их квинтэссенции, познать которую мы можем лишь путем применения их, ибо квинтэссенция есть всего-навсего лишь такое свойство, объяснения которого наш разум не в состоянии дать. Я готов согласиться с врачами, когда они утверждают, что целебные свойства того или иного снадобья для них открылись по какому-то наитию свыше (ибо чудес я никогда не оспариваю). Готов я принять и те доказательства, которые обнаруживаются благодаря частому пользованию данными вещами; так, например, мы наблюдаем, что в шерсти, в которую мы обычно одеваемся, имеется, видимо, какое-то свойство, излечивающее отмороженные места на пятках, или, например, что употребляемый нами в пищу хрен оказывает на нас послабляющее действие. Гален сообщает, что одному прокаженному удалось излечиться с помощью выпитого им вина, так как случайно в его стакан заползла гадюка. Мы видим на этом примере правдоподобное объяснение данного случая, как и тогда, когда врачи в подтверждение действенности того или иного лекарства ссылаются на свои

наблюдения над некоторыми животными. Но когда большей частью врачи заявляют, что удачно натолкнулись на тот или иной опыт, руководствуясь только случайностью, полезность таких указаний кажется мне весьма сомнительной. Я представляю себе человека, видящего вокруг себя несметное количество вещей, растений, животных, металлов. С чего ему начать свой опыт? Если по какому-нибудь поводу ему взбредет в голову обратить внимание, скажем, на рог лося — что очень мало вероятно,— то не меньше затруднений ожидает его при втором шаге на этом пути. Ему надлежит произвести выбор между столькими болезнями и столькими различными обстоятельствами, что разум его окажется бессильным еще до того, как даже в одном случае он сможет признать свой опыт безукоризненным, еще до того, как из бесконечного множества вещей он должен будет остановить свой выбор на этом роге, из нескончаемого числа болезней — на эпилепсии, из различных темпераментов — на меланхолическом, из различных времен года — на зиме, из множества народов — на французах, из всех возрастов — на старости, из разнообразных положений небесных тел — на сочетании Венеры и Сатурна, из всех частей тела — на пальце. И так как при установлении всего этого ему пришлось бы руководствоваться не догадкой, не примерами, не божественным вдохновением, а только чистой случайностью, то это должна была бы быть какая-то особая случайность — искусственно возникшая, упорядоченная и подчиненная правилам.

И затем, когда болезнь наконец излечена, как может врач убедиться в том, что это произошло не потому, что сроки данной болезни истекли или в силу какой-нибудь случайности, или из-за чего-нибудь съеденного или выпитого больным, или из-за вещи, к которой он прикоснулся в этот день, или же потому, что ему просто помогли бабушкины молитвы? Далее, сколько раз нужно повторить этот опыт, чтобы он мог считаться безукоризненным? Сколько раз нужно испытать цепь этих случайностей и совпадений, чтобы вывести из них закономерность?

А когда эта закономерность будет установлена, кому приписать ее? Из миллиона людей найдется не более трех, которые пожелают закрепить свой опыт. Угодно ли будет случаю натолкнуться именно на одного из них? И что, если кто-нибудь другой — и не один он а, сотни других людей — проделали прямо противоположный опыт? Может быть, вопрос до известной степени разъяснился бы для нас, если бы мы знали суждения и соображения всех людей. Но не дело, чтобы трое наблюдателей и трое ученых мужей направляли судьбы человеческого рода; для этого надо было бы, чтобы именно их человеческая природа выделила и избрала для этой цели, особым актом назначив их своими уполномоченными.

Госпоже де Дюра [52].

Сударыня, Вы застали меня за писанием этих строк, когда недавно явились меня проведать. Может статься, что эти мои благоглупости попадут когда-нибудь в Ваши руки, и поэтому я хотел бы здесь же засвидетельствовать вам, сколь глубоко польщенным чувствует себя их автор

вниманием, которое Вы ему окажете. Вы узнаете в его писаниях тот же характер и тот же образ мыслей, с которым Вам приходилось иметь дело в беседах с ним. Если бы я смог усвоить себе в этих моих писаниях какую-нибудь другую манеру, несвойственную мне вообще, и придать им какой-то другой, более благообразный и почтенный вид, я тем не менее не пошел бы на это; ибо я требую от этих писаний только одного — чтобы они напомнили и изобразили Вам меня таким, каков я на деле. Те самые мои способности и свойства, которые Вы, сударыня, знали во мне и отмечали с гораздо большей благосклонностью, чем они того заслуживали, я хочу запечатлеть (но без всяких искажений и прикрас) в чем-то вещественном, в книге, которая может пережить меня на несколько лет или всего лишь на несколько дней и в которой Вы вновь найдете их, если захотите освежить в своей памяти, не напрягая ее: да они этого и не стоят. Я хочу, чтобы Ваши дружеские чувства ко мне питались теми же свойствами моей натуры, которые их породили. Я не желаю, чтобы мертвого меня больше любили и уважали, чем живого.

Желание Тиберия нелепо, но тем не менее оно присуще многим: он не столько заботился о расположении современников, сколько о том, чтобы завоевать себе славу в потомстве.

Если бы я принадлежал к числу тех, кому люди могут пожелать воздать славу, то я избавил бы их от этого и попросил бы, чтобы они мне выдали ее авансом; пусть она поскорее придет ко мне и обовьется вокруг меня; пусть она даже будет покороче, но зато поплотнее; не очень долговечной, но зато ощутимой, и пусть она безвозвратно канет в вечность, когда я уже не смогу ощущать ее и внимать ее сладостному голосу.

Было бы глупо с моей стороны сейчас, когда я готовлюсь навсегда расстаться с людьми, стремиться предстать перед ними с какими-то новыми достоинствами. Я не коплю никаких таких благ, которых не смогу использовать в своей жизни. Каков бы я ни был, я хочу быть таким в жизни, а не в моих писаниях. Все мое уменье и труды были направлены на то, чтобы проявить себя в делах, и все мое обучение клонилось к тому, чтобы действовать, а не писать. Я употребил все отпущенные мне силы на то, чтобы устроить свою жизнь. Это было моим основным занятием, моим делом. Я меньше всего являюсь сочинителем книг. Я хотел обладать достатком, чтобы удовлетворять свои насущные и основные потребности, а не для того, чтобы накоплять богатства и оставить их моим наследникам.

Кто обладает достоинствами, пусть выкажет это в своем поведении, в своих повседневных словах, в любви, в ссорах, в игре, в постели, за столом, в ведении своих дел и в своем домашнем хозяйстве. Но тем, кто сочиняет хорошие книги и ходит в рваных штанах, я бы посоветовал — если бы они пожелали меня выслушать — сначала обзавестись приличными штанами. Спросите у спартанца, предпочитает ли он быть хорошим оратором или хорошим воином. Что касается меня, то я предпочел бы быть не хорошим оратором, а хорошим поваром, если бы мне пришлось самому о себе заботиться.

О, как претило бы мне, если бы обо мне распространена была слава, что я искусный писатель, но ничтожество и глупец в других отношениях. Правда, я предпочел бы быть совершенным глупцом во всех областях, чем избрать такое жалкое применение моих способностей. Поэтому я не стремлюсь снискать себе никакого нового почета этими досужими писаниями и буду доволен уже в том случае, если из-за них не потеряю той доброй славы, которую успел приобрести, ибо, кроме того, что это немое и мертвое мое отражение обедняло бы мой естественный облик, оно показывало бы меня не в лучшую мою пору, но когда я утратил уже свою былую жизнерадостность и безупречное здоровье и клонюсь к упадку. Я подобен остаткам вина, которые нередко отдают бочкой и имеют привкус брожения.

Разумеется, сударыня, я не решился бы так смело ворошить тайны медицины, зная, с каким уважением Вы и многие другие к ней относитесь, если бы меня не побудили к тому сами писавшие о ней. Под ними я разумею только двух латинских авторов — Плиния и Цельса. Если Вам придется когда-нибудь заглянуть в них, Вы убедитесь, что они отзываются о медицине куда резче, чем я: я лишь слегка сбиваю с нее спесь, другие же расправляются с ней совсем безжалостно. Плиний, издеваясь над измышлениями врачей [53], указывает, между прочим, на то, что, исчерпав все средства, они придумали великолепную уловку — отсылать больных, которых они зря мучили своими лекарствами и разными режимами, одних испытать на себе чудеса и обеты, других — на воды. Не обижайтесь, сударыня, Плиний не имел в виду наших здешних источников, которые находятся под покровительством Вашего дома и насквозь «грамонтуазны» [54]. Это для них лишняя уловка, чтобы сплавить нас куда-нибудь подальше и избавиться от упреков в том, что они так мало помогли нам в исцелении наших недугов, которые они так долго лечили. Им ничего больше не остается, как попытаться нас развлечь, и с этой целью они отправляют нас для перемены климата в другие страны. На этом, сударыня, я ставлю точку Вы мне, надеюсь, позволите вернуться к нити изложения, прерванной ради беседы с вами.

Если не ошибаюсь, был с Периклом такой случай [55]: когда его спросили, как он себя чувствует, он ответил: «Вы можете судить по этим вещам», — и указал на амулеты, висевшие у него на шее и на руках. Этим он хотел сказать, что серьезно болен, раз дошел до того, что прибегнул к таким безнадежным средствам, позволив нацепить на себя эти штуки. Я не зарекаюсь, что могу когда-нибудь прийти к нелепому решению вверить свою жизнь и здоровье врачам; я могу поддаться такой безумной мысли и не поручусь за свою стойкость на будущее время. Однако и тогда, если кто-нибудь спросит меня о моем самочувствии, я отвечу ему, как Перикл: «Можете судить по этому»,— и покажу зажатые у меня в кулаке шесть драхм опия; это будет бесспорным доказательством серьезности моей болезни. К этому времени я успею основательно свихнуться; если страх и

нетерпение смогли довести меня до подобных вещей, то можно вообразить всю глубину моего душевного смятения.

Я взял на себя смелость выступить в защиту моих взглядов на медицину, в которой довольно слабо разбираюсь, чтобы до известной степени оправдать и подкрепить мое естественное отвращение к лечебным средствам нашей медицины, унаследованное мной от моих предков. Я хотел, чтобы это отвращение не казалось просто неразумной и бессмысленной антипатией, чтобы оно было несколько более обосновано. Мне хотелось также, чтобы те, кому приходится наблюдать, как я бываю непреклонен, когда меня упрашивают и убеждают во время моих болезней, знали, что дело здесь не в моем упрямстве. Равным образом мне хотелось бы исключить чье бы то ни было досадное предположение, будто я поступаю так из какого-то тщеславия; было бы весьма нелепо желать прославиться этим, ибо так же точно поступают в случае болезни мой садовник или мой погонщик мулов. И не такой уж я спесивец и бахвал, чтобы стремиться обменять весомое, полнокровное и сладостное ощущение здоровья на такое эфемерное, воздушное и чисто духовное наслаждение, как слава. Для такого человека, как я, слава — хотя бы даже столь великая, как выпавшая на долю четырех сыновей Эмона[56],— вещь слишком дорогая, если за нее нужно заплатить тремя основательными припадками боли. Здоровье, здоровье — вот чего я хотел бы!

Я признаю, что и у защитников нашей медицины могут быть весьма серьезные, убедительные и веские соображения, и я отнюдь не отвергаю мнений, расходящихся с моими. Меня нисколько не пугает, если мои суждения противоречат суждениям других людей; и то, что эти люди придерживаются точек зрения, отличных от моей, нисколько не мешает моему общению с ними. Наоборот, в силу того что наиболее распространенным принципом в природе является разнообразие и что оно еще более свойственно человеческому духу, чем телу,— поскольку дух есть нечто более гибкое и многоликое,— мне гораздо реже приходится наталкиваться на совпадение моих воззрений и склонностей с воззрениями и склонностями других людей. Никогда не существовало двух совершенно одинаковых мнений, точно так же как один волос не бывает вполне похож на другой и одно зерно на другое. Наиболее устойчивым свойством всех человеческих мнений является их несходство.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ВТОРАЯ

Главы I—XII и XXV—XXXVII переведены
Ф. А. Коган-Бернштейн,
главы XIII—XXIV — А. С. Бобовичем.

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ

ОПЫТЫ

Книги первая и вторая



Утверждено к печати
редколлегией серии
«Литературные памятники»

Редактор издательства
О. К. Логинова
Художник
В. Г. Виноградов
Художественный редактор
Т. П. Поленова
Технический редактор
В. Д. Прилепская
Корректоры
Л. С. Агапова, Е. Н. Белоусова

ИБ № 5218

Сдано в набор 20.04.79.
Подписано к печати 4.09.79.
Формат 70×90[1]/16
Бумага типографская № 1
Гарнитура академическая
Печать высокая
Усл. печ. л. 51,91. Уч.-изд. л. 53,0.
Тираж 200.000 экз. 1-й завод (1—50.000). Тип. зак. 1798.
Цена 6 р. 90 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

6-90 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»